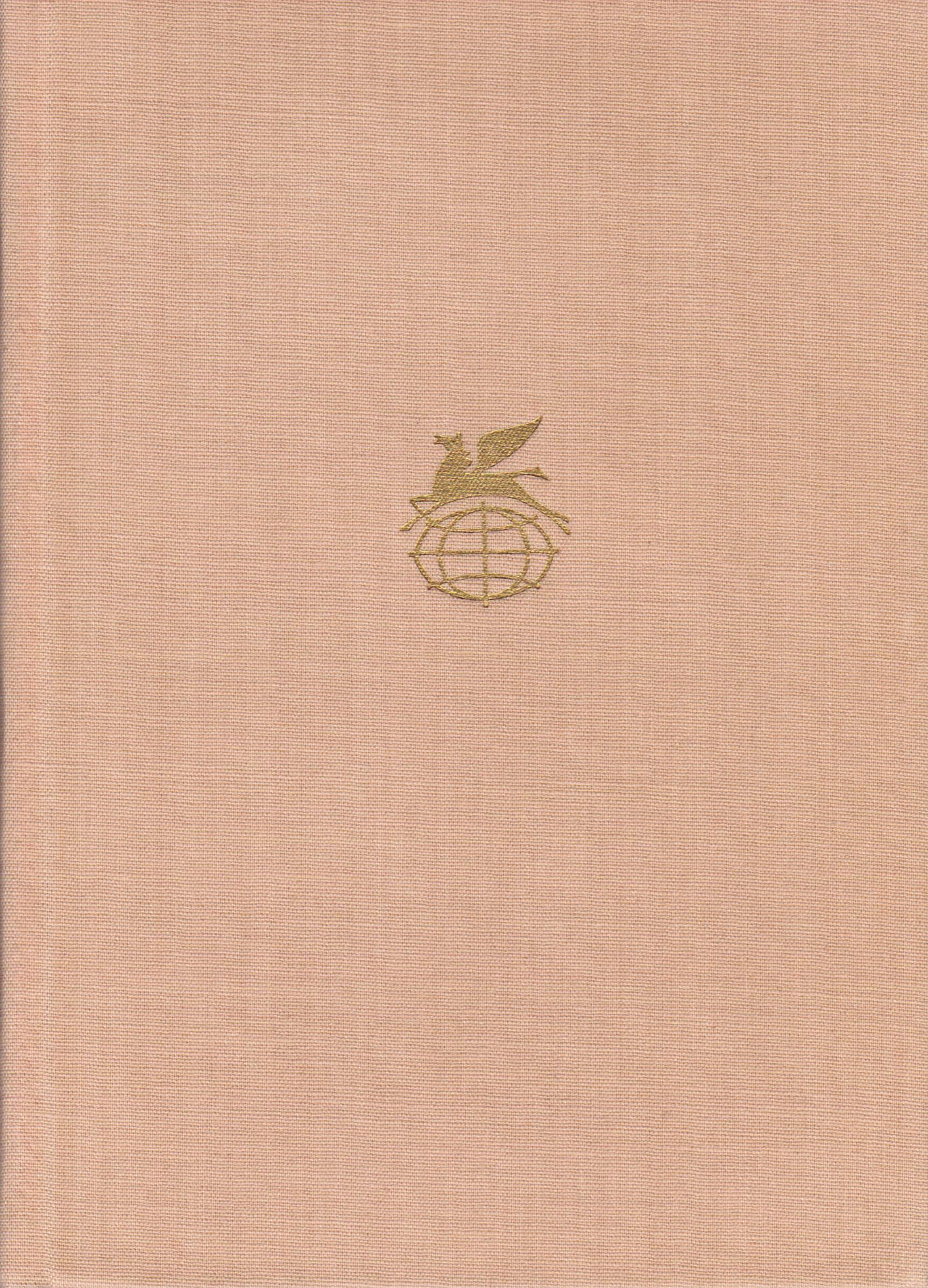
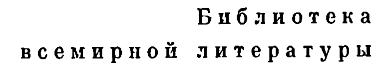
КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА







Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1975

Вступительная статья
Б. Рифтина

Сб 3
К 47

К $\frac{70304\text{-}358}{028\,(01)\text{-}75}$ подписное

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Понятие «регион» пришло в современную историю культуры из географии. Но регион географический — понятие раз навсегда установленное. Регион культурный — понятие исторически изменчивое, это некая культурная общность, которая в силу исторических причин может и нарушаться.

Для средних веков Дальний Восток — это Китай, Корея, Япония, Вьетнам. С точки зрения географической, Вьетнам — страна Юго-Восточной Азии, но его классическая средневековая литература — составная часть не столько юго-восточноазиатской, сколько дальневосточной культуры.

В первом томе «Библиотеки всемирной литературы», названном «Поэзия и проза Древнего Востока», из всех литератур Дальнего Востока была представлена только литература Китая. И это не случайность. В каждом культурном регионе есть своя древняя литература, традиции которой и местный фольклор составляют основу и почву для литератур, условно именуемых «молодыми» средневековыми литературами.

В глубокой древности, по крайней мере, к VI—V векам до н. э. в Китае сложилась своя письменная словесность — первые философские и исторические памятники датируются именно этим временем. Постепенно в различных жанрах исторической, географической и иной прозы происходит как бы накопление и выделение повествовательных элементов и к рубежу новой эры появляются произведения, которые можно условно назвать «древними повестями». Потом в Китае наступает пора средневековья. Ученые видят ее рубеж в III веке н. э.

На смену древним повестям приходят короткие мифологические рассказы о встрече человека с духом, исторические предания и анекдоты о знаменитых людях. В итоге к VII веку возникает литературная новелла как некая реализация повествовательных возможностей, заложенных в рассказах об удивительных случаях и в жанре жизнеописаний. Поясним, что литературной новеллой мы называем новеллы, написанные на литературном языке *вэньянь*, резко отличном от разговорного языка той же эпохи.

В это время китайская литература перестает быть единственной и одинокой на своем краю земной тверди. Рядом с ней появляются новые, молодые литературы. В корейских памятниках XII века упоминаются исторические анналы, составленные в конце IV — середине VI веков в различных корейских государствах. Серединой V века датируются первые надписи, обнаруженные в Японии, но пройдет еще более века, прежде чем там создается литература, обладающая бесспорными эстетическими качествами. Еще позже, примерно с X века, к уже существующим литературам Дальнего Востока добавится и литература вьетнамцев.

И корейцы, и японцы, и вьетнамцы стали пользоваться китайской иероглификой, уже весьма стандартизированной и практически не изменявшейся с III века до н. э. Корейцы и японцы, а впоследствии с XIV века и вьетнамцы, правда, приспособили иероглифы — своеобразные смысловые знаки — для звучания родной речи. Так же, как и на Руси, где введение письменности было связано с проповедью христианства, в Корее, Японии, Вьетнаме введение иероглифики было связано с распространением этико-религиозных учений: конфуцианства и буддизма. Конфуцианство давало подробно разработанную основу нарождающейся национальной государственности, формировало тип поведения человека в обществе, а буддийская проповедь была обращена к сердцу каждого, указывая индивидуальный путь спасения от бесконечной цепи перерождений.

Буддийские наставники появились на Дальнем Востоке в самом начале новой эры. Но они пришли в Китай не из самой Индии, а вначале из Средней и Центральной Азии. То были уроженцы Самарканда и Бухары, Термеза и Кучи. О масштабах тогдашних странствий дает яркое представление житие известного проповедника III века и переводчика буддийских сутр на китайский язык Кан Сэн-хуэя. Его родители были выходцы из Самарканда (недаром он взял себе китайскую фамилию Кан — сокращение от этого среднеазиатского названия), но переехали на жительство в северные районы Индии, потом перебрались по торговым делам в Зиао-тяу — так тогда именовался Вьетнам. Оттуда молодой Кан Сэн-хуэй, знавший, видимо, немало языков, отправился в столицу китайского царства У — город Нанкин, где основал буддийский храм и занялся переводом буддийских сочинений.

В Корею буддизм был занесен из Китая, и, видимо, первыми проповедниками его были уже китайцы. С IV по XIV век он был официальной государственной религией Кореи. В Японию его завезли корейцы. Известно, что в начале VI века из корейского государства Пэкче в Японию прибыли знатоки в «пяти науках»: лекарском искусстве, гадании, календаре, счете и музыке,— а вслед за ними и другие ученые люди. Они основали в Японии первый буддийский храм. Японцы сперва приняли привезенные изображения за корейских богов и только позже узнали, что выходцы из Кореи познакомили их с культурой далекой Индии.

Во Вьетнам буддизм пришел, видимо, двумя путями — и морским из Индии и Цейлона, и сухопутным из Китая и Камбоджи. Известно, что в

конце II века н. э., когда в Китае начался период смуты, в земли вьетов бежал китайский философ Моу Бо и, видимо, уже там сочинил свой знаменитый трактат «Сомнения о природе вещей», в котором обсуждал принципы буддийского учения, пытаясь увязать их с догматами даосизма и конфуцианства. Моу Бо одним из первых познакомил вьетнамцев с индийским религиозно-философским учением. В разное время во Вьетнаме побывали с миссионерскими целями и буддисты из Хотана (Центральная Азия), которые пытались через Вьетнам попасть в Индию, и проповедники из самой Индии, например, знаменитый Махадживака, стремившийся добраться до Китая (свидетельства эти относятся к III—IV вв.), и проходившие через земли вьетов ученые-буддисты из Фунани (современная Камбоджа). Все они, однако, стремились скорей попасть в Китай, а их проповедь среди самих вьетнамцев особого успеха, видимо, не имела. Гораздо удачливее оказались их ученики-китайцы, которые принесли во Вьетнам уже переработанное в духе дальневосточного мировоззрения учение *дхьяна* — по-вьетнамски *тхиен* (или *чань* по-китайски, *сон* по-корейски и *дзэн* по-японски). Так свидетельствуют китайские источники, и так пишут китайские ученые. В книгах самих вьетнамцев можно, однако, найти и совсем иные свидетельства. В старинных «Записях дивных речений в садах созерцания» (XIV в.) приводятся слова одного китайского монаха II—III веков н. э., который говорил своему государю: «Земля Зиао-тяу (то есть Вьетнам.— *Б. Р.*) связана прямыми путями с Индией. Когда учение Будды еще только пришло в Китай и не было распространено в землях к востоку от реки Янцзы, там было построено уже более двадцати пагод, имелось свыше пятисот проповедников и было переведено пятнадцать буддийских сутр. Таким образом,— продолжал монах,— в этих землях следовали учению Будды прежде нас».

Известно, что с распространением мировых религий в начале новой эры начинается новый период литературных связей. Вместе с христианством в страны Запада и Востока устремляется поток христианских легенд и специфических библейских образов. Так же и вместе с буддизмом на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию приходят сюжеты индийских легенд, сказок и притч. Сюжеты эти входят в каждую из возникающих национальных литератур, адаптируются, трансформируются и воспринимаются читателем как свои национальные (об этом несколько ниже). Буддизм оказал существенно влияние как на дальневосточную поэзию, принеся туда созерцательное мироощущение и своеобразную концепцию взаимоотношения человека и природы, так и на повествовательную прозу. Идеи кармы — воздаяния за добро и зло, совершенные живым существом в одном из его перерождений,— стали идейным и сюжетным стержнем ранних рассказов у народов Дальнего Востока. Буддийские идеи бренности всего мирского, представление о всяком ощущении как о страдании, иллюзорность самой жизни человека — все это сказывалось на особой организации сюжета. Жизнь героя со всеми поворотами его судьбы изображена в этих произведениях таким образом, чтобы

убедить читателя в тщетности всех человеческих желаний и страстей. Так построены, например, многие китайские новеллы и в их числе «Волшебное изголовье» Шэнь Цзи-цзи. Идеей буддийской кармы проникнуто и величайшее произведение, созданное в средние века на Дальнем Востоке — роман Мурасаки Сикибу «Повесть о принце Гэндзи» начало XI в.), через шесть-семь столетий в XVI—XVII веках и в Китае, и в Корее появляются романы, построенные во многом на изображении частной жизни — именно как демонстрация идеи буддийской кармы. Таковы роман «Подстилка из плоти» китайского прозаика и драматурга XVII века Ли Юя или «Сон девяти в облаках» его корейского современника Ким Манджуна. Поскольку авторы, приверженцы буддийской концепции восприятия мира, стремились проиллюстрировать свои идеи максимально убедительно, то они изображали людские страсти нередко в откровенном и даже гипертрофированном и гротескном виде...

Но вернемся теперь к китайской прозе VII—X веков. В это время в Китае продолжает развиваться наряду с повествовательной прозой и возникшая еще в древности проза бессюжетная. Это записи замечательных и достопамятных событий, жизнеописания знаменитых людей, восхваления и порицания, послания и плачи, жертвенные речи и доклады трону, послания об объявлении войны и указы самого государя. Словом, это была целая система жанров, отражавшая в своей сути сложную иерархическую систему феодального общества (отсюда особые обозначения для разных типов жизнеописаний, для форм соболезнования и плача в зависимости от возраста и ранга умершего — был он старше автора или, наоборот, младше и т. п. Некоторые ученые насчитывают более двухсот специальных жанровых обозначений, употреблявшихся в средневековой китайской бессюжетной прозе).

Каждый из этих жанров имел свою поэтику. Во многих из них полагалось писать особой ритмизованной или даже рифмованной прозой. Вообще критерий художественности был осмыслен китайцами весьма рано. В VI веке был создан «Литературный изборник», включавший поэзию и особо почитавшуюся бессюжетную прозу. Составитель его, принц Сяо Тун, предуведомлял читателей, что он поместил в свое собрание произведения «глубоко продуманные по содержанию и стремящиеся к словесной утонченности». Сяо Тун распределил все произведения по жанрам и расставил жанры в определенном порядке: от жанров более художественных и менее связанных с деловой сферой (а следовательно, и менее функциональных) к жанрам деловым и обрядовым. Эта система жанров дополнялась в последующие века и окончательно сложилась к IX веку, но принципы ее остались неизменны. Она целиком была перенесена из Китая в соседние дальневосточные страны. И если мы обратимся к японской антологии XI века, составленной знаменитым Фудзивара Акихира и названной «Лучшие образцы изящной словесности нашей страны», то увидим там тот же принцип расположения произведений по жанрам и ту же иерархическую систему жанров, что и в «Изборнике» Сяо Туна. В XV веке в Корее появляется составленная Сон Хёном

книга под названием «Восточный литературный изборник», и там, как и у Сяо Туна, на вершине высокой словесности стоит жанр описательных поэм-фу (по-корейски они называются «пу»), затем идут стихи, а затем королевские эдикты, писавшиеся строгим, но изящным слогом. И когда в XVIII веке во Вьетнаме составляется «Литературный изборник земель Виет», то и там жанры располагаются в той же последовательности, которую более тысячи лет до этого установил создатель китайской антологии.

Поскольку и японцы, и корейцы, и вьетнамцы восприняли жанры китайской высокой прозы, то естественно, что в этих странах возник интерес и к ее поэтике. В IX веке побывавший в Китае японский буддист и крупнейший деятель культуры Кукай составил знаменитое «Рассуждение о тайной палате литературного зерцала» и дал свою классификацию жанров высокой прозы, точно описав законы построения сочинений; при этом особое предпочтение он отдавал тем жанрам, где рифма была обязательным компонентом. То, что в развитие теории высокой прозы уже начали вносить свою лепту некитайцы, а представители других народов Дальнего Востока — явное доказательство того, что высокая проза стала уже своей и в соседних странах.

Было бы, однако, совершенно неверно представлять себе, что перенос системы высокой прозы из Китая в Корею, Японию или Вьетнам был процессом чисто механическим. В связи с особенностями национальной жизни естественно изменялся круг тем в произведениях традиционных жанров. В состав высокой словесности в Японии и в Корее, например, вошли буддийские жития, различные типы молитвенных обращений, философские рассуждения на темы буддизма. Дело в том, что буддизм в определенные эпохи играл в жизни Японии, Кореи, Вьетнама гораздо большую роль, чем в Китае, являясь на протяжении многих веков в этих странах государственной религией. Стоит заметить при этом, что удельный вес и место этой прозы были совсем неодинаковы в системах литератур разных стран Дальнего Востока. В китайской литературе бессюжетная проза занимала почетнейшее место и дала такие шедевры, как проза Хань Юя, Лю Цзун-юаня, Су Ши, а в Японии эта часть письменной словесности занимала место далеко не в первом ряду. Ее заслонили замечательные творения повествовательной и лирической прозы на японском языке.

Несколько иначе обстояло дело в Корее и Вьетнаме. Там высокая проза на классическом китайском языке (с некоторыми национальными стилевыми отличиями) пользовалась, пожалуй, такой же популярностью, как и поэзия. Недаром одному из известных вьетнамских поэтов и прозаиков XIV века, блестящему стилисту Нгуен Тхюену была высочайше пожалована фамилия Хан (по-китайски Хань), чтобы сделать его однофамильцем великого Хань Юя. В бытность свою правителем Хайзыонга он написал на родном вьетнамском языке с помощью особого национального письма *тьыном* «Жертвенное обращение к крокодилу»,— в подражание тому самому произведению Хань Юя, которое помещено в нашем томе в переводе академика

В. М. Алексеева. То, что Хан Тхюен написал на родном языке произведение в жанре жертвенной речи, было бесспорным новаторством (даже в Китае до великого Пу Сун-лина никто не отваживался писать в этом жанре на живом языке, да и Пу Сун-лин сделал это с пародийной целью) и одновременно свидетельствовало, что сам жанр стал восприниматься вьетнамцами как факт своей национальной литературы.

В каждой дальневосточной стране появлялись и свои талантливые писатели, вносившие вклад в развитие местной литературы на общем для Дальнего Востока литературном языке. И когда, например, в новелле вьетнамского короля Ле Тхань Тонга «Дивная любовь в краю Хоа-Куок» мы встречаем выражение «Посланец, летящий меж цветов», то оказывается, что одни комментаторы склонны видеть здесь намек на строку китайского поэта Ду Фу: «Средь цветов летает бабочка»,— а другие, не забывающие и о национальных корнях своей прозы, справедливо вспоминают в этой связи классика вьетнамской поэзии и высокой прозы полководца Нгуен Чая (1380—1442), в стихах которого говорится: «Мотылек летит повсюду посланцём весенних вестей». Можно предположить, что для Ле Тхань Тонга культурным фондом, из которого он черпал свои образы, были в равной степени и китайская литературная традиция, и своя национальная литература.

Известно, что и корейцы, и японцы, и вьетнамцы стремились при случае показать приезжавшим к ним китайским послам, что в их странах даже простолюдины хорошо знакомы с китайской словесностью. В тех же «Записях дивных речений в садах созерцания» приводится забавное предание о вьетнамском проповеднике-буддисте Фап Тхуане, человеке образованном и одаренном, которому в 986 году король повелел переодеться корабельщиком и встретить и сопровождать в столицу китайского посла. Однажды посол, сидя на корме и любуясь природой, сложил и произнес вслух двустишие. Фап Тхуан подхватил его и закончил, изумив до чрезвычайности посла сунского двора. Аналогичные истории можно отыскать и в книгах корейских авторов.

Если бессюжетная проза была перенесена в соседние страны во всех ее, так сказать, разветвлениях и подвидах, поскольку она была во многом связана с конфуцианским ритуалом и государственным управлением, то развитие повествовательной сюжетной прозы в каждой стране шло своими путями.

Выше мы уже говорили о том, что к VIII—X векам в литературе Китая происходит становление литературной новеллы. Ее развитие продолжалось и дальше, в каждую эпоху приобретая некоторые новые черты. Но в эпоху Сун в X—XII веках параллельно с ней на основе устного народного сказа вырастает и начинает развиваться народная повесть, достигая своего апогея к XVII веку и тут же прекращая свое развитие.

В XIV веке на основе устного же сказа и письменной, главным образом летописной, традиции складывается жанр книжной эпопеи — исторической— «Троецарствие» Ло Гуань-чжуна, героической — «Речные заводи»

Ши Най-аня, фантастической — «Путешествие на Запад» У Чэн-эня и т. п. В XVI веке из традиции эпопеи вырастает первое произведение, которое мы можем назвать бытовым романом. Речь идет о замечательном творении Ланьлинского Насмешника — «Цзинь, Пин, Мэй». Жанр национального романа в Китае развивается с тех пор непрерывно, вплоть до XX века.

У истоков сюжетной прозы в Корее тоже находились сборники записей всевозможных удивительных случаев. Но составлялись они в период исторически более поздний, поэтому в них преобладают уже не страшные рассказы о встречах человека с привидениями и оборотнями, а бытовые истории о глупцах, сластолюбцах, острословах. Показательны и названия первых сборников таких рассказов-заметок, как «Рассказы от скуки» Ли Инно (XII в.) или «Развлекательные рассказы» Чхве Джа (XIII в.) — в их заглавиях прямо подчеркивается нефункциональный характер сочинений, они составлены для развлечения, то есть удовлетворения того, что ныне называют эстетическими потребностями читателя. Китайские же сборники рассказов об удивительном III—VI веков составлялись с целью доказательства существования духов или иллюстрации буддийской идеи воздаяния за грехи, то есть явно с прагматической целью.

Если дальнейший путь развития китайской повествовательной прозы обусловлен, как уже говорилось, во многом расцветом устного профессионального сказа, то в Корее сказ, как явление профессиональное, связанное с развитием городской жизни и городской культуры, широкого распространения, видимо, не получил. В XV веке в Корее на основе национальной традиции сборников занимательных коротких рассказов и под непосредственным воздействием литературной китайской новеллы рождается своя литературная новелла. На основе этой новеллы, беллетризованных жизнеописаний и других жанров высокой прозы в Корее появляется повесть высокого стиля на *ханмуне* — кореизированном варианте китайского литературного языка. Подобная повесть — явление, можно сказать, чисто корейское, хотя и выросшее из той же общерегиональной традиции. (В Китае в XIII веке появилась повесть на литературном языке — «Жизнеописание Цяо и Хун», но она быстро затерялась в общем потоке литературы.) На основе повести высокого стиля, новеллы и устной сказочной традиции в XVII—XVIII веках в связи с общей демократизацией литературы, охватившей весь регион, в Корее рождается народная повесть, жанр, в известной мере близкий китайской народной повести XII—XVII веков, но, пожалуй, больше тяготеющий не к бытовым, как в Китае, а к эпическим и сказочным сюжетам. Бытовое начало преобладает в произведениях этого жанра, видимо, позже, к концу XVIII — началу XIX века. В XVII веке в Корее рождается и свой национальный роман.

Повествовательная проза во Вьетнаме развивалась от сборников коротких мифологических рассказов типа китайских историй об удивительном к развитой литературной новелле XVI века, а затем там, в отличие от других стран Дальнего Востока, появились не повести, а сюжетные поэмы

(XVII—XVIII вв.), занявшие в истории национальной литературы то самое место, которое по общерегиональной модели развития, казалось бы, предназначено было народным повестям. Произошло это не случайно. Сказались юго-восточноазиатские традиции. Известно, что у всех народов этой части Азии развитие повествовательности шло в поэтических формах — сюжетных поэмах. (Напомним, что дальневосточная литературная традиция почти не знала до XX века жанра сюжетной поэмы.) В XVIII веке, на сто лет позже, чем в Корее, во вьетнамской литературе появляется первый роман авторов из рода Нго «Император Ле — объединитель страны». Роман этот — не бытовой, как в Корее, а эпический. Он воспринял традицию китайских исторических эпопей, но описываются в нем бурные события собственной вьетнамской действительности — происходившее на глазах у авторов мощное восстание тэйшонов. Роман получил широкую известность, но остался единственным образцом данного жанра в национальной литературе. Только в XX веке прозаический роман стал во Вьетнаме ведущим жанром.

Совершенно другую картину развития повествовательной литературы (да, впрочем, и поэзии) дает нам Япония, где с самого начала существовало своеобразное культурное двуязычие: сочинения на китайском литературном языке сосуществовали там, по крайней мере, с VIII века с сочинениями на японском языке. Обе эти письменные традиции находились в непрерывном взаимодействии, обогащая друг друга и приводя к появлению различных литературных стилей, от чисто японского повествовательного стиля, например, в «Повести об Исэ» (X в.) до чисто китайского изящного слога Самона Кёкая, автора «Записей удивительных историй, происшедших в Японии и показывающих воздаяние за добро и зло» (IX в.)

Если Корея и Вьетнам как-то незаметно «проскочили» через период собственной древности в литературе, перейдя от архаического фольклора к развитым формам средневековой словесности, то в Японии первый — ранний — период (VII—VIII вв.) развития (на фоне общерегионального пути) сменился эпохой бурного расцвета повествовательной прозы. Хэйан — «Мир и Спокойствие» — так назвали этот период (IX—XII вв.) сами японцы по названию своей столицы. Хэйанская проза дала мировой литературе и сказочно-мифологическую в своих истоках книгу типа «Повести о старике Такэтори» (повести такой в X веке не знала и многовековая уже к тому времени литературная традиция Китая), и лирические повести, соединившие в себе прозу и стихи типа «Повести об Исэ», и поэтичные дневники, вроде «Дневника путешествия из Тоса в столицу» (поэзия и поэтика японского классического пятистишия вообще оказала огромное влияние на японскую прозу), и рассказы об удивительных происшествиях, собранные в конце XI века в огромный свод — «Стародавние повести», и совсем уже небывалое и уникальное произведение для всей мировой литературы той эпохи — роман «Повесть о принце Гэндзи», настоящий бытовой и сложнейший психологический и лирический роман начала XI века, произведение, равное

которому по масштабу изображения появится в соседнем Китае только, пожалуй, в XVI веке, а в Европе и вовсе в XVII веке во Франции. «Повесть о принце Гэндзи» — концентрированное выражение духовной жизни эпохи и одновременно пророчество ее конца.

В этой культуре и особенно в повествовательной прозе огромен вклад японских женщин-писательниц. В то время мужчины в Японии предпочитали писать по-китайски, и именно женщины оказались создательницами чисто японского повествовательного стиля; они писали на живом разговорном языке своего времени, превращая его в совершенный и выразительный язык эпохи.

Трудно объяснить такой необычный феномен в истории дальневосточной, да и всей мировой литературы, как хэйанская проза. Если подойти к этому явлению типологически, то аналоги ему следует, может быть, искать в древней литературе других народов. Казалось бы, почти начало пути — и тут же небывалый взлет. Дело тут, видимо, в том, что создатели этой культуры жили в период, когда общество еще не было задавлено бесконечными, свойственными феодальной эпохе регламентациями. Одновременно нельзя забывать и об ориентации хэйанских писателей на высокие образцы словесного искусства развитой континентальной культуры, и об удивительном, присущем японцам с древности умении перерабатывать в чисто национальном духе культурные ценности, заимствованные от других, соседних и дальних народов, и об ускоренном развитии в тот период японской литературы, начавшейся много позже литературы китайской [1].

Легко заметить, что в перечне основных достижений классической японской прозы с памятниками повествовательной литературы других дальневосточных народов может быть сопоставлена только одна линия: сборники рассказов о чудесах и удивительных событиях, связанные с фольклором. Линия эта для японской прозы важная, но далеко не основная, тогда как именно она была главным путем развития прозы в Китае, Вьетнаме, а в несколько преобразованном виде и в Корее. И здесь подтверждается, пожалуй, мысль, уже высказанная нами ранее: удельный вес и место одних и тех же пластов в литературах Дальнего Востока далеко не одинаковы. А разное положение, занимаемое тем или иным родом повествований в общем литературном процессе, дает и принципиально иную общую картину. Следует сказать и о том, что сами рассказы о чудесах в разные периоды и у разных авторов могли быть с литературной точки зрения явлениями разных планов. Авторов первых сборников интересовало само чудо как таковое, это заметно, например, и в «Записках о поисках духов» китайского историографа IV века Гань Бао, и в «Собрании чудес и таинств земли Виет» смотрителя королевских книгохранилищ вьетнамца Ли Те Сюйена, у более поздних авторов чудо лишь, так сказать, повод или удобный предлог увлечь

---

[1] Подробно об этом см. в кн.: Н. И. Конрад. Японская литература в образцах и очерках, Л., 1927.

читателя. (Эта интересная мысль высказана в статье М. Ткачева в настоящем томе.) Само чудо как бы отступает на второй план в пользу развития бытовых или повествовательных элементов.

Хэйанскую эпоху в Японии сменяет время, которое можно назвать средневековьем. В это время складываются героические эпопеи, выросшие на базе развитого устного сказа. Эпос этот, получивший название гунки или «записи о военных событиях», находит себе аналогию в китайских героических и исторических эпопеях XIV—XVII веков и в такой же мере типологически близок средневековому эпосу других, в том числе европейских народов. Напомним, что литература Кореи и Вьетнама такого жанра не знала, опять-таки во многом из-за отсутствия мощной традиции устного профессионального сказа.

Существование в середине хэйанского периода литературной новеллы об удивительном, подобной китайской или вьетнамской новелле, и дало толчок развитию литературной новеллы в более поздний период. Эта линия, чрезвычайно важная в истории других дальневосточных литератур, в самой Японии оказалась отнюдь не первостепенной и в известном смысле периферийной до XVII—XVIII веков. Бытовая повесть как специфический жанр городской культуры возникла в Японии в это же время — в XVII веке, когда рядом существовали повести китайские и корейские. Жанр вроде бы один, а реально существующие произведения, если судить даже по тем образцам, которые представлены в данном томе, весьма и весьма различны. Особая прелесть корейских повестей связана с их архаичностью, с заметным влиянием фольклорной, сказочной традиции, повести китайские, восходящие к творчеству уличных рассказчиков X—XII веков, это произведения авантюрные, плутовские, даже детективные, японские же произведения этого жанра, известные нам по переводам из Ихара Сайкаку,— это целиком плод индивидуального авторского гения и индивидуального стиля. Повести Сайкаку описывали пестрый, разнообразный мир позднесредневековой Японии, и в особенности города. А поскольку жизнь японского города XVII века была сравнительно менее связана различными условностями, столь характерными для средневекового уклада жизни (об этом с удивлением писал китайский философ XVII века Хуан Цзун-си, побывавший в Нагасаки), то отсюда и большие, чем в соседних литературах, достижения в развитии бытописательства, в утверждении реалистического взгляда на окружающий мир. Даже такой самый общий абрис эволюции повествовательной прозы в разных странах Дальнего Востока, как нам кажется, показывает и определяющее сходство путей развития и одновременно особенности истории каждой из национальных литератур. История каждой из литератур региона — есть факт, обусловленный уже не столько общими законами развития словесного искусства, сколько общественными условиями и особенностями национального исторического пути. Об этих особенностях с возможной мерой обстоятельности рассказано в предисловиях ко всем четырем разделам книги.

Здесь же нам осталось сказать еще о вещах общих, о литературных связях, о восприятии литературы древнеиндийской всеми без исключения литературами региона и о распространении китайских сюжетов в других странах Дальнего Востока. Почему только китайских, может спросить читатель? А потому, придется ему ответить, что литературные связи в средние века обычно «однонаправленны», они идут как бы лучами из одного культурного центра и практически почти не возвращаются обратно. Науке не известны факты обратного влияния или хотя бы широкого распространения корейской (до XVII в.), японской или вьетнамской литературы в старом Китае [1], хотя та часть произведений, которая была написана на общем для всего Дальнего Востока литературном языке — вэньянь, была доступна без всякого перевода образованному читателю в любой из тамошних стран. Общий литературный язык был (он отличался, правда, несколько от других литературных языков средневековья тем, что корейцы читали иероглифический текст по-корейски, вьетнамцы — по-вьетнамски и т. д., но это если читали вслух, а если про себя, то разница, видимо, отсутствовала), а общей литературы на вэньяне все-таки не было. Была литература на вэньяне в каждой отдельной стране, и была она органической частью своей родной литературы.

Но вернемся снова к Индии и могучей древнеиндийской литературе, этой, можно сказать, мировой сокровищнице сюжетов, давшей творческий (сюжетный) импульс многим литературам и Дальнего Востока, и Юго-Восточной Азии, и персам, и арабам, а через них уже испанцам, итальянцам и многим поколениям европейских писателей от Боккаччо и Хуана Мануэля до Г.-Х. Андерсена или В. Гаршина. Одна из характерных особенностей восприятия иноземных сюжетов в средневековых литературах — местная их адаптация. Как это происходило на Дальнем Востоке, прекрасно продемонстрировал Лу Синь, разыскавший в книгах III—VI веков историю о маге, носившем в своем нутре женщину и по своему желанию исторгавшем ее оттуда. (Женщина, между прочим, когда чародей спал, умела исторгать из своего рта возлюбленного и развлекаться с ним.) Сюжет этот впервые попал в Китай, видимо, в III веке н. э., и самый ранний и сюжетно простой его вариант был найден в переводном сочинении «Самъюктавадана сутре». Где происходит действие, там обозначено не было, а герой носил индийское имя, затранскрибированное иероглифами. В книге IV века «Описание душ и злых духов» автора по фамилии Сюнь этот рассказ уже несколько натурализован, действие происходит в Китае в 12 году правления государя Сяо-у-ди под девизом «Великого начала» — Тайюань, то есть в 387 году н. э., но герой все

[1] Любопытное исключение из этого правила являла Корея. Ее географическое положение (между Китаем и Японией) приводило к тому, что корейская литература часто оказывалась посредницей между китайской и японской; известно, например, что многие сборники китайской повествовательной прозы впервые попадали в Японию в корейских ксилографических, то есть отпечатанных с досок, изданиях.

еще иноземец-монах, умеющий творить чудеса. Еще через сто лет в сборнике «Продолжение историй Ци Се» исчезает и монах-иноземец, его заменяет обычный китайский юноша-студент, сам сюжет при этом усложняется, а добавленная концовка не оставляет сомнений в том, что дело происходило в Китае. Не зная всей цепочки переделок, едва ли даже искушенному читателю пришло бы в голову, что перед ним обработка сюжета, занесенного в Китай буддийскими проповедниками.

Но нет правил без исключения. Японцы, например, составляя в XI веке уже упоминавшийся выше свод «Стародавние повести», выделили индийские рассказы в отдельный и притом первый раздел. Точно так же они собрали вместе и китайские предания.

Литературные связи на Дальнем Востоке первоначально шли главным образом в сфере поэзии и высокой бессюжетной прозы. Танская столица Чанъань привлекала к себе паломников-иностранцев, послов, купцов и ученых. Там жил и творил корейский поэт Чхве Чхивон, учившиеся там вьетнамские монахи Во-нгай, Фунг-динь, Зюй-зиам обменивались стихотворениями с великим художником и мастером пейзажной лирики Ван Вэем, поэтами Цзя Дао, Чжан Цзи. С Ван Вэем дружил и известный японский поэт Абэ-но Накамаро, много лет проживший в Китае. Стихи Бо Цзюй-и еще при его жизни получили широчайшую известность в Корее и Японии, где ценились в полном смысле этого слова на вес золота.

Проза, особенно сюжетная, которая во всех странах рождается позже поэзии, была включена в этот культурный обмен только с XV—XVI веков. Ранние произведения этого жанра еще связаны с индийскими сюжетами. Пример тому «Волшебное изголовье» Шэнь Цзи-цзи; воспринятый и кратко пересказанный в IV веке Гань Бао иноземный сюжет, пройдя блестящую литературную обработку Шэнь Цзи-цзи, стал потом источником множества пьес и рассказов и у себя на родине, и в Японии. Конечно, и в новеллах позднего времени встречаются отдельные переложения сюжетов, видимо, восходящих к индийской словесности. Прочтите небольшую миниатюру китайского писателя XVIII века Юань Мэя о послушнике, который жил высоко в горах и никогда не видел женщин. Эта история удивительно схожа с той, которая рассказана в прологе четвертого дня «Декамерона». Что это — случайное совпадение или один источник? Скорее всего предположить последнее. Боккаччо, видимо, заимствовал эту историю, как и некоторые другие, из средневековых сборников примеров и притч. Наличие ее в популярнейшем на Ближнем Востоке и в средневековой Европе «Житии Варлаама и Иосафа», восходящем к жизнеописаниям Будды, наводит нас на мысль об индийском ее происхождении. И действительно, в древнеиндийской литературе: и в «Махабхарате», и в «Рамаяне», и в буддийских джатаках — мы встречаем этот сюжет. Видимо, именно оттуда он попал потом и на Дальний Восток, и на Запад.

В XIV веке китайский поэт Цюй Ю написал знаменитую книгу новелл «Новые рассказы у горящего светильника», которым суждено было

сыграть известную роль не столько в истории собственно китайской литературы (сборник вызвал продолжения и подражания, но был довольно быстро запрещен властями), сколько в литературах соседних стран [1]. Уже в XV веке его новеллы пленили корейского поэта и мыслителя Ким Сисыпа, жившего отшельником у горы Золотой черепахи», и тот создал свой вариант: «Новые рассказы с горы Золотой черепахи», заложив тем самым основы нового для своей литературы жанра — литературной новеллы. Вслед за Ким Сисыпом, по всей вероятности и не подозревая о своем корейском собрате, к новеллам Цюй Ю обратился вьетнамец Нгуен Зы. Его обработки дальше от оригиналов Цюй Ю — в них ощутимее дыхание южных земель, но и здесь новеллы Цюй Ю с их изысканностью стиля и удивительной законченностью сюжета в известной мере помогли становлению местной новеллистической традиции. Спустя столетие в Японии Асаи Рён, чье имя не стоит в первом ряду своей национальной литературы, переработал почти все двадцать новелл Цюй Ю, перенеся действие в Японию. Он именно переложил новеллы, а не творчески переработал их сюжеты, как его корейский или вьетнамский предшественники. Это сделал знаменитый прозаик XVIII века Уэда Акинари, автор сборника «Луна в тумане», в некоторых его новеллах ученые находят и отдельные сюжетные ходы, и словесные образы из новелл того же Цюй Ю. Блистательным апогеем и — финалом развития этой линии в литературах Дальнего Востока стал записанный в конце 80-х годов XIX века сказ знаменитейшего в Японии рассказчика повестей Санъютэя Энтё «Пионовый фонарь», восходящий в конечном счете к помещенной в нашем томе новелле Цюй Ю, но соединившей моралистический пафос японской прозы XVII—XVIII веков и ее изощренную повествовательную технику с традицией китайского рассказа об удивительном.

Еще позже, чем новелла, в этот культурный внутрирегиональный обмен включаются народная повесть и роман. И дело не только в том, что повесть и роман в Китае родились позже новеллы, а во многом в том, что новелла писалась на литературном языке и Ким Сисыпу и его читателям, и Нгуен Зы и его поклонникам была доступна без всякого перевода. Читать же повести и романы, не зная живого разговорного китайского языка, в странах соседних мало кто мог. А развитие собственной повествовательной прозы в каждой из стран Дальнего Востока, появление к XVII веку нового, городского читателя, привели к необходимости создания художественных переводов, потребность в которых ранее не ощущалась. Именно в XVII веке появляются корейские, японские и маньчжурские переводы китайских эпопей. Так с переходом от средневековья к новому времени меняется на Дальнем Востоке характер и само качество литературных связей — место поэзии

---

[1] При написании этого раздела нами использована не опубликованная еще работа К. И. Голыгиной «Новеллы Цюй Ю и дальневосточная повествовательная проза XV—XVIII вв.». Автор также приносит благодарность М. Н. Ткачеву за ценные замечания и дополнения.

и высокой прозы занимают роман и повесть, отвергавшиеся книжниками-конфуцианцами как недостойные для чтения, а ныне выходящие на арену и привлекающие к себе взоры всех грамотных людей. Пройдет еще столетие, и со второй половины XIX века на первое место среди дальневосточных стран выдвинется Япония, и уже китайцы будут ездить учиться в Японию и переводить во множестве японские романы, а поначалу с японского и русскую и западную классику.

Б. РИФТИН

КИТАЙСКАЯ ПРОЗА
IV—XVIII вв.

Вступительная статья и составление
Б. Рифтина

КИТАЙСКАЯ ПРОЗА

Читатель, знакомый с первым томом «Библиотеки всемирной литературы» и с образцами древнекитайских повестей, будет, наверно, несколько удивлен, не найдя им прямого продолжения в этом томе. Но такова общая закономерность развития литератур в странах с древней художественной традицией. При переходе от древности к средневековью происходит как бы разрыв в непрерывном развитии словесности. У греков прекращается развитие романа и драмы, у индийцев — повествовательной прозы, у китайцев этот перерыв в развитии заметен менее, но все-таки связан с утратами в развитии повествовательных форм.

Третий век нашей эры ученые называют временем вступления Китая в эпоху средневековья, эпоху длительного и весьма замедленного развития страны, прерывавшегося неоднократными войнами, от набегов тюрко-монгольских племен в IV—V веках до полного завоевания Китая маньчжурами уже в середине XVII века. Завоеватели захватывали то часть страны, то всю ее целиком, чинили разбой, разрушали цветущие города, уводили людей в полон, казнили непокорных, но никогда не могли прервать развития духовной культуры китайцев. Чаще происходило другое,— завоеватели сами проникались духом этой культуры, постепенно окитаивались и через сотню-другую лет растворялись в этой культурной среде почти без остатка. Так исчезли кидане, чжурчжэни, тангуты и, наконец, маньчжуры, которые остались сейчас лишь в самых глухих уголках Северного и Западного Китая.

III—VI века можно условно назвать эпохой раннего средневековья в Китае. Это было время бесконечных междоусобных войн, когда люди гибли сотнями тысяч, а население страны временами сокращалось чуть ли не до семи миллионов человек, против шестидесяти в предыдущие времена. Неустойчивое положение человека в период бесконечных войн, падения династий и набегов кочевых народов вызывало у людей мысли о бренности мира,

о непрочности человеческого существования. Все это способствовало распространению различных религиозных учений, нередко в самых мистических своих вариантах. Мечты об уходе из мира жестокости и бесконечных смут влекли за собой распространение даосских легенд о вознесении святых на небеса, о превращении в бессмертных гениев, о чудесах, творимых монахами и отшельниками, рассказов о загробном мире мрака, четкое представление о котором сформировалось у китайцев именно в это время под влиянием буддизма, занесенного в страну в первых веках нашей эры из Индии средне- и центральноазиатскими проповедниками. С проповедью буддизма были связаны и получившие тогда популярность многочисленные истории о воздаянии за грехи прежней жизни и о бесконечной цепи рождений. Древние китайские представления о стихийных бедствиях, насылаемых по воле Неба, соединились в это время в фольклоре с буддийскими идеями кармы. Людей стало привлекать все необычайное и удивительное.

С III века н. э. один за другим составляются многочисленные сборники рассказов об удивительном. (Нам известно сейчас около сорока названий.) Так постепенно складывается особая разновидность повествовательной прозы, через тысячу лет — в XVI веке получившая наименование «чжигуай сяошо» — «рассказы о чудесном». Но тогда авторы — составители этих сборников преследовали отнюдь не художественные цели, а весьма утилитарные: утверждение с помощью собранных примеров веры в нечистую силу, в неуспокоенные души умерших — гуй, в даосских святых — шэньсяней или в могущество учения Будды и его сподвижников.

Авторы первых сборников были в основном последователями даосского учения, они старались утвердить в читателе веру во всемогущество даосских монахов, совмещавших в себе функции магов, шаманов и алхимиков. Однако со временем, особенно с середины V века, усиливается влияние буддийских идей в сборниках рассказов о чудесах. Идеи воздаяния за грехи прежней жизни и цепи рождений, получившие в то время особо широкое распространение, стали своеобразным сюжетоформирующим фактором в поздних сборниках удивительных историй.

Было бы, однако, неверно думать, что все авторы ставили себе целью показать на ярких, занимательных примерах справедливость даосских или буддийских идей. Были среди них и рационалисты-конфуцианцы, которые составляли свои сборники примеров, доказывающих несостоятельность религиозных воззрений. Известно, например, что в VI веке художник Дай Куй составил целую книгу примеров, опровергающих учение о воздаянии. Он собрал истории, которые показывали, что люди, совершавшие добрые дела, не были вознаграждены, а дурные — не понесли наказания. Истые конфуцианцы в принципе всегда хорошо помнили слова Конфуция, который отказался говорить о духах и чудесах, но в эти времена завет древнего мудреца был явно «нарушен», так как большинство образованных в конфуцианском духе литераторов (другого образования в старом Китае и не существовало) наперебой старались доказать, что истории о духах это не пустые выдумки.

Живший в начале IV века историограф царства Цзинь по имени Гань Бао прямо так и писал в предисловии к составленному им сборнику «Записок о поисках духов», что «даже и написанного ранее вполне достаточно для доказательства, что существование духов не ложь». О написанном ранее он упоминает потому, что многие из приведенных в его книге рассказов о чудесах он просто выбрал из предшествующей литературы.

Как же, однако, обосновывали тогдашние писатели «истинность» существования нечистой силы? В основном с помощью занятных историй, случившихся будто бы с известными всем людьми. Есть в русском фольклоре такой жанр — быличка или бывальщина, короткий рассказ о встречах с нечистой силой, об удивительных кладах, о таинственных происшествиях. Эти рассказы отличаются от сказок своеобразной мнимой фактологичностью, о самом невероятном случае в них рассказывается так, как будто это имело место в действительности. Таковы же и ранние средневековые китайские рассказы о чудесах. Впечатление истинности, достоверности происходящего в них еще усиливается за счет чрезвычайно точной локализации действия и во времени и в пространстве. Взять хотя бы рассказ «Го Пу исцеляет скакуна» — удивительную историю о чудесном и явно совершенно невероятном воскрешении павшего скакуна. (История эта помещена в «Продолжении Записок о поисках духов», приписываемых, хотя, видимо, и без особых на то оснований, великому поэту Тао Юань-мину.) Его главное действующее лицо — знаменитый поэт и комментатор древних текстов, увлекавшийся магией и гаданиями Го Пу (276—324). В рассказе о нем есть одна, казалось бы, маловажная деталь,— там говорится, что Го Пу пришел с севера. Указание это, однако, было важно для тогдашнего читателя, ясно представлявшего себе всю реальную историческую ситуацию. Дело в том, что север Китая и его столица Лоян в 310 году были захвачены кочевниками-гуннами, город был разгромлен, более тридцати тысяч жителей вырезано, император взят в плен. Большинство ученых мужей, в том числе и Го Пу, бежало в то время на юг Китая. Вот почему рассказ о чудесном исцелении коня и кончается словами о том, что, получив щедрую награду от полководца, Го Пу смог пойти в земли к югу от Янцзы, куда впоследствии, в 317 году, и была перенесена столица Китая. Так же точно локализованы во времени и пространстве и сюжеты остальных рассказов об удивительном; идет ли в них речь о монахине, разрезавшей себя мечом на части и потом явившейся как ни в чем не бывало пред очи полководца Хуань Вэня, или об ожившей женщине, на которую претендовали сразу двое мужчин,— всюду действуют реальные исторические лица и точно указано, когда и где случилось невероятное происшествие. Сам удивительный «факт» в этих рассказах весьма напоминает нам устные народные бывальщины — мифологические рассказы о чертях, ведьмах, водяных, популярные у многих народов мира. Здоровое народное мировоззрение, восхваление ловкости и смекалки порой прорывается и в китайских рассказах о чудесах, в целом окрашенных мистической верой в силу и всемогущество духов. Из таких рассказов, пожалуй, наиболь-

шую известность получила история о Сун Дин-бо, который не просто ловко обманул привидение, а еще вдобавок ухитрился продать его на базаре.

Но с узкоутилитарными целями (доказательства «реальности» духов) создавались не только сборники историй о духах или воздаянии за добро и зло. Даже такой, казалось бы, как мы сейчас сказали, реалистичный, бытовой сборник «Записки о ревности» имел явно дидактический характер. Он составлен надзирателем охраны летнего дворца Юй Тун-чжи — приближенным императора Мин-ди (правил с 465 по 472 г.) по личному повелению государя. Столь несколько необычное повеление было вызвано чрезвычайно ревнивым характером государыни. Мин-ди, по-видимому, предполагал, что подобный сборник примеров сможет утихомирить разбушевавшуюся супругу.

В сборниках III—VI веков немало рассказов и о вине. Тема вина в них нередко смыкается с идеями поиска лекарства бессмертия. Даосские мыслители того времени рассматривали вино как «состав», дающий забвение. В пору беспрерывных войн люди мечтали о таком вине, отведав которого можно было опьянеть и очнуться, лишь когда в Поднебесной наступит спокойствие. Как писал поэт V века Ван Чжун: «Где добыть горное тысячедневное вино, чтоб пьяным пролежать до самой мирной поры?» Строки эти помогают нам понять тот утопический смысл, который вкладывали современники поэта в прекрасный рассказ из «Записок о поисках духов» Гань Бао про Ди Си из Чжуншаня, умевшего приготовлять именно тысячедневное вино. Рассказ этот — типичный образец стиля тогдашних прозаиков: минимум фактов, одноэпизодность повествования, умело организованная прямая речь, передача лишь действий и поступков персонажей, при этом автора не интересовали ни мысли персонажей, ни их внутреннее состояние. Стиль рассказов об удивительном III—VI веков ближе всего к простому и строгому изложению событий в китайской исторической прозе. Недаром, видимо, придворные библиографы начала VII века рассматривали эти сочинения как своеобразную неофициальную историческую литературу (герои-то — реальные исторические деятели).

Отличительной литературной особенностью всех этих рассказов является то, что авторы концентрировали все внимание на описании *одного* чудесного происшествия, случившегося с персонажем. Ни происхождение, ни карьера персонажа, ни предыдущие или последующие события, происходившие с ним, как правило, не описываются. В этом принципиальное отличие таких рассказов от популярных в тогдашней литературе жизнеописаний, излагавших жизнь героя от рождения до кончины. В коротких рассказах III—VI веков происходит постепенное накопление и развитие повествовательных элементов. Рассказы эти еще далеки от развитого художественного повествования, но они знаменуют собой начало сюжетной повествовательной прозы в Китае.

Проза эта получила свое непосредственное развитие в эпоху Тан (618—910 гг.), когда объединенный под эгидой единой империи Китай стал на

некоторое время могущественной и процветающей державой. Интенсивно стали развиваться наука, литература и искусство. Большее, чем в прошлые века, распространение получила тяга к сдаче государственных экзаменов, необходимых для получения официальной чиновничьей должности. Число экзаменующихся достигло едва ли не шестидесяти тысяч человек. Именно в это время (в VIII в.) возникла при дворе своеобразная Академия — собрание ученых, называвшееся Ханьлинь — «Лес кистей». Развивались историография и библиотечное дело, шло пополнение императорских библиотек старинными рукописями, за них платили весьма и весьма много, причем не деньгами, а дорогими сортами шелка. Огромные библиотеки существовали и при монастырях, одна из них, обнаруженная в 1900 году в северо-западной провинции в городе Дуньхуане (она была замурована в XI в.), насчитывала более сорока тысяч рукописей на китайском языке, санскрите, тибетском, уйгурском, согдийском и других центральноазиатских языках. Там же были найдены и отпечатанные с досок, так называемые ксилографические издания. Находка в Дуньхуане рукописей на многих языках не была случайностью. Танский Китай имел активные экономические и культурные связи с многими странами Дальнего Востока, Центральной, Южной и передней Азии. Сотни актеров — певцов и танцовщиц из Ташкента, Самарканда, Бухары выступали с песнями и танцами в Чанъани — столице Танского Китая. Об этом мы знаем не только из записей современников, но и из восторженных стихов многих крупных китайских поэтов.

Вместе с тем жизнь отдельного человека в Танском Китае была довольно строго регламентирована сводом законов, составленных в середине VII века. Были определены наказания тем, кто быстро ездил по городу, кто ночью зажигал огонь или ходил ночью по городу из квартала в квартал. Была упорядочена монетная система. До этого бронзовые деньги отливались в разных местах страны и соответственно имели разный вес и достоинство. Иногда торговцам платили и серебряными сасанидскими монетами, а то и византийскими золотыми. Теперь же была отлита стандартная бронзовая монета достоинством в одну десятую лана серебра, то есть около четырех граммов. Обо всем этом можно было бы и не писать здесь, если бы эти сведения не были важны для понимания танской новеллы, пришедшей на смену коротким рассказам о чудесах и историческим анекдотам прежних столетий.

Основное, что отличает так называемую танскую новеллу от предшествующей прозы,— это более развитый сюжет и появление определенных типов персонажей. В сборниках III—VI веков героем практически мог быть любой человек — чиновник и крестьянин, торговец и монах. Там важен был сам невероятный случай, а не с кем он приключился. Здесь же постепенно складывается определенный тип героя. Большей частью это молодой человек — конфуцианец, едущий или уже приехавший в столицу для сдачи экзаменов и получения доходной чиновничьей должности. Вспомним, сколько тысяч человек пыталось в то время сдавать экзамены, и нам станет

ясно, что фигура молодого студента (слово «студент», конечно, применено здесь и в переводах весьма условно) была типичной для Танского Китая. Этот герой действует и в «Жизнеописании красавицы Ли», и в «Жизнеописании Ин-ин», и, хотя это прямо и не обозначено, в знаменитой новелле «Волшебное изголовье», и во многих других новеллах. Чтобы понять, как изменился и усложнился сюжет новелл, достаточно сопоставить истории о чудесном изголовье. Рассказ этот встречается в нескольких сборниках IV—VI веков, начиная с «Записок о поисках духов» Гань Бао. Герой его — юноша ложится спать в храме, подложив под голову нефритовое изголовье (вроде валика). Через небольшую трещину он попадает внутрь изголовья, женится там на дочери сановника и живет с ней много лет. У них рождается шестеро детей, а герой все не собирается возвращаться домой. Но вдруг он просыпается,— оказывается, это было лишь видение. Весь этот рассказ изложен Гань Бао очень кратко — всего каких-нибудь сто слов-иероглифов. У танского новеллиста этот простой сюжет разрастается в настоящую новеллу. Герой Гань Бао — торговец, и мечта его — удачно жениться. Герой новеллы Шэнь Цзи-цзи мечтает уже о выгодной карьере и рассуждает как истый конфуцианец, и во время чудесного видения он не просто хорошо жил с женой — дочерью полководца, ожидая, пока дети получат государственные посты (они все становятся хранителями императорской библиотеки), а сам проходит весь путь от, как мы сказали бы сегодня, абитуриента до начальника Главного Секретариата империи, да и сыновья его получили должности много выше простых хранителей манускриптов. Главное содержание новеллы — сама жизнь героя, полная взлетов и падений; «за пятьдесят с лишним лет он много раз возносился на вершину могущества и снова падал в бездну немилости». Целых полвека прошло перед глазами героя, но оказалось, что то было лишь видение. Даже каша, которую поставил на огонь хозяин постоялого двора, когда юноша прилег на чудесное изголовье, еще не сварилась. Этим Шэнь Цзи-цзи как бы подчеркивает буддийскую идею мгновенности человеческого бытия в общем потоке мироздания. А общий вывод, который делает для себя герой (и который автор как бы предлагает сделать и читателю),— все мечты о карьере и славе суть мираж, жизнь земная — все тлен и суета,— тоже близок к даосскому учению о недеянии и буддийскому мировоззрению, отвергавшему, в отличие от рационалистического конфуцианства, идеи служения человека обществу. Для Гань Бао история о волшебном изголовье просто еще одно подтверждение реальности случающихся в мире чудес, для Шэнь Цзи-цзи эта же история повод выразить сложное сочетание буддийско-даосских идей, показать жизнь ученого чиновника, которому приходится сталкиваться и с ложными наветами, и с несправедливыми ссылками в окраинные земли.

Превратности человеческой судьбы в современном авторам обществе составляют содержание и других помещенных в нашей книге новелл. Взять хотя бы знаменитое «Жизнеописание красавицы Ли» Бо Син-цзяня — брата одного из крупнейших танских поэтов — Бо Цзюй-и. В новелле этой зало-

жена благородная идея: и простая певичка, гетера, может иметь благородную душу. Эта идея очень четко сформулирована самим Бо Син-цзянем в заключительной части повествования: «Поразительно! Продажная певичка, а какая душевная чистота, даже самые добродетельные женщины древности вряд ли превосходили ее!» Так автор подчеркнул свое понимание силы любви, для которой не важны сословные преграды. Представитель высшей знати женился на певичке, которая спасла его от верной голодной смерти и фактически вывела вновь в люди (правда, сперва разорив и бросив его), и певичка-то, двадцать лет занимавшаяся своим ремеслом, оказалась благородной дамой, совершающей строго все положенные обряды и соблюдающей верность мужу,— вот чему дивится автор и чему призывает удивляться читателя. История красавицы Ли и студента Чжэна была широко популярна в Танском Китае, есть запись о том, что старший брат писателя, Бо Цзюй-и, вместе со своим другом поэтом и прозаиком Юань Чжэнем слушал эту историю, видимо, из уст народного рассказчика в 808 году, известно, что Юань Чжэнь создал «Песнь о красавице Ли» (из нее сохранилось только две строки — описание самой красавицы: «Прическа пучком вздымается на целый чи, стоит у ворот — любуется весенним ветром»). Танские авторы восхищались этой историей, сунские же, то есть жившие в X—XIII веках, усмотрели в ней уже иной смысл. Им казалось, что Бо Син-цзянь создал эту новеллу с целью опорочить первого министра государя Си-цзуна (правил с 874 по 888 г.) по имени Чжэн Тянь, доказав, что он сын певички.

Действие новеллы Бо Синь-цзяня развертывается в столице Танского Китая, городе Чанъани (ныне город Сиань в северо-западной провинции Шэньси), где жило около миллиона человек. Столица эта имела вид прямоугольника (ок. 10 км в длину и 8 км в ширину), разделенного на маленькие прямоугольники (примерно по 1 км длины) — кварталы, имевшие свои образные благопожелательные названия, вроде «Спокойствия и человеколюбия», «Процветания и радости» и т. п. Каждый квартал был обнесен высокой стеной и имел по воротам с каждой стороны света, ворота эти на ночь запирались,— власти боялись воров. От Западных ворот к Восточным и от Северных к Южным шли большие улицы, так что в самом центре квартала оказывался перекресток, от этих улиц уже отходили переулки. Квартал Пинкан — или «Спокойствия и процветания»,— где жила сама красавица Ли, как раз славился своими певичками. Он прилегал с юга к самому оживленному кварталу Чунжэнь — «Почитания человеколюбия», где селились молодые люди, приезжавшие в столицу для подготовки к экзаменам. С востока квартал Пинкан примыкал к Восточному рынку (второй рынок, Западный, был расположен симметрично Восточному в западной половине города), где были лавки гадальщиков, специализировавшихся на предсказаниях результатов экзаменов, продавали письменные принадлежности и прочие товары. И когда мы читаем в новелле Бо Син-цзяня, что герой, приехавший в столицу на экзамены, возвращался с Восточного рынка, то, как знать, может быть, современники понимали, что он ездил туда справляться у гадателей

об успехе на предстоящих испытаниях. Маршрут его поездки выбран автором так, что ему непременно надо было проезжать через Пинкан, где от центра к югу и северу шли три улочки, населенные певичками. На улице Минкэцюй — «Звучащего нефрита» (пластинками такого нефрита богачи украшали сбрую своих коней) он и увидал красавицу Ли. Вся карта тогдашней столицы передана в этой новелле столь точно, что, как думают исследователи, Бо Син-цзянь должен был прожить в столице не один год, прежде чем создал это произведение.

Не меньшую известность среди танских новеллистов снискал себе и Юань Чжэнь, автор «Жизнеописания Ин-ин» — новеллы уже во многом психологической и сложной. Чувства героев описаны в ней отнюдь не трафаретно, а как бы изнутри. Недаром многие подозревали, что Юань Чжэнь описал в новелле собственную любовь к певичке Ин-ин, на которой в силу сословных предрассудков он не мог жениться. Едва ли это произведение столь прямо автобиографично, но известны лирические стихи самого Юань Чжэня, посвященные реальной Ин-ин, которую он безраздельно любил многие годы, но вынужден был с нею расстаться. По другой версии, студент Чжан, изображенный в новелле,— это поэт Чжан Цзи. О прототипе героя сейчас мы можем только гадать, но само повествование, искреннее в описании чувств героев, говорит о великом мастерстве автора, едва ли не впервые в китайской прозе давшего описание сложных и противоречивых чувств героев. Противоречивых потому, что, казалось бы, нет никаких преград любви Чжана и Ин-ин, а он почему-то не хочет на ней жениться. Сама его любовь названа во второй части новеллы ошибкой, которую он хотел исправить. А в чем же ошибка? Нынешним исследователям остается только гадать об этом. Существует предположение, что вообще вторая половина новеллы приписана позднее и не принадлежит самому Юань Чжэню. Возможно, что и так. Самый ранний сохранившийся текст «Жизнеописания Ин-ин» — список 1566 года, а новелла была создана за восемьсот лет до этого. Высказывается и другое предположение: ошибка Чжана была, возможно, в том, что он полюбил свою двоюродную сестру, а жениться на такой близкой родственнице в то время запрещалось законом. В этом объяснении, принадлежащем И. И. Соколовой, может быть, действительно и таится разгадка неясного места новеллы.

Танская новелла не только создала целую эпоху в истории китайской литературы, но и оказала влияние на последующую литературу и самого Китая, и сопредельных стран. Известно, что, например, «Жизнеописание красавицы Ли» уже в варианте Бо Син-цзяня вновь послужило основой для сказительских повествований и целого ряда драм, то же произошло и с «Жизнеописанием Ин-ин». Уже в XI веке поэт и ученый, князь Чжао Дэ-линь — переработал новеллу в сказ под барабан, а в начале XIV века, в период расцвета китайской драмы, Ван Ши-фу создал большую пьесу — «Западный флигель, где Ин-ин ожидала луну». Были созданы пьесы и по мотивам новеллы о чудесном изголовье Шэнь Цзи-цзи. История гуляки Ду Цзы-чуня

послужила впоследствии, в XVII веке, источником народной повести в сборнике Фэн Мэн-луна. Уже в XV—XVI веках история любви красавицы Ли и студента была переложена в Японии. Действие было перенесено в Киото, а герой получил японское имя. Красавица же осталась под своей фамилией Ли.

В начале X века под ударами мощного крестьянского восстания, возглавлявшегося Хуан Чао, пала Танская империя. Начался период междоусобных войн, завершившихся в 960 году образованием новой империи Сун. Столицей ее стал город Кайфэн (Чанъань была разрушена еще в начале века). Сунский Китай прославился развитием торговли, ремесел, живописи, народного сказа и театральных представлений. Еще в танскую эпоху, где-то в VII—IX веках, в Китае сформировалось искусство профессиональных сказителей. Сперва, видимо, такие рассказчики выступали в буддийских храмах с исполнением сказов по мотивам буддийских сутр. Рассказчики нередко вели рассказ по картинам, изображавшим жизнь Будды и его учеников. Впоследствии рассказчики стали использовать для своих повествований сюжеты собственно китайских народных легенд и исторических преданий. Постепенно национальная история и бытовые случаи стали занимать в репертуаре рассказчиков все большее и большее место, тем более что в начале XI века буддийский сказ был официально запрещен. В конце X — в XI веках в Кайфэне пять раз в месяц у знаменитого храма Сянского князя (Сянгосы) устраивались многолюдные ярмарки, на которых выступали народные певцы, танцоры, кукольники, актеры, разыгрывавшие пантомимы, фехтовальщики на мечах. Были там рассказчики исторических повествований и «специалисты» по новеллистическому сказу. Сказители широко использовали сюжеты танских новелл, а их искусство, в свою очередь, оказывало благотворное влияние на письменную повествовательную прозу. Появляется народная повесть — рассказы о простых горожанах, о ремесленниках и купцах, о супругах, разлученных в смутное военное время, о сложных судебных казусах. Повесть эта пишется, в отличие от литературной новеллы и вообще от произведений других жанров, на живом разговорном языке, она предназначена явно новому, демократическому читателю, не слишком искушенному в тонкостях архаического литературного языка и стиля, полного намеков и реминисценций. При династии Сун вообще широкое распространение получило образование: по императорскому указу 1044 года школы должны были быть открыты во всех областях и уездах страны. Небывалый размах приобретает и книгопечатание с досок (так называемая ксилография). Издаются конфуцианские классики, учебные пособия (включая и карманные «шпаргалки» для экзаменующихся), исторические и научные сочинения, целые своды и энциклопедии, а также поэзия и даже та самая простонародная проза, рожденная в устах народных рассказчиков, о которых говорилось выше.

В X—XIII веках продолжается и развитие литературной новеллы. Появляются произведения о придворных дамах — фаворитке танского импе-

ратора Сюань-цзуна знаменитой красавице Ян Гуй-фэй, о любви ханьского государя Чэн-ди к красавице по прозванию «Летящая ласточка». Появляются и целые сборники новелл. Один из них — «Высокие суждения у зеленых дворцовых ворот» («Цинсо гаои») — был составлен Лю Фу где-то в конце XI — начале XII века. В произведениях, составивших сборник, заметны и следы влияния танских новелл, и следы устной сказительской стихии. Большинство новелл имеет и заголовок, и, чего не бывало ранее, подзаголовок, состоящий из длинной по числу слогов фразы. Например, переведенный для данного тома рассказ «Чэнь Шу-вэнь» имеет еще и подзаголовок: «Чэнь Шу-вэнь толкает Лань-ин, и она падает в воду». Такие подзаголовки очень напоминают как раз названия сказов (или драматических представлений), а краткость самого текста наводит на мысль о том, не пересказывал ли Лю Фу на литературном языке устные сказительские произведения.

Если местом действия танских новелл часто была тогдашняя столица Чанъань, то действие этой новеллы, как ряда сунских повестей, происходит в Бяньцзине, как именовали тогда китайцы город Кайфэн по реке Бянь, на которой он стоит. Жизнь сунской столицы резко отличалась от чанъаньской. Казалось, столица вообще не засыпала. Никто не только не запрещал жителям ходить по ночам, а, наоборот, впервые в истории страны стала процветать ночная торговля. В полночь, когда отбивали третью стражу, по улицам разносили чай, чуть забрезжит рассвет — жителей будили призывные крики торговцев пирожками и питьем. Такая бурная жизнь вольно или невольно способствовала и развитию преступности. Отсюда уже расцвет сунской судебной науки, организация суда и сыска, появление первого в мире специального трактата по судебной медицине — «Записок о смытии обиды» Сун Цы (издано в 1247 г.), подробно описывающего способы осмотра трупов. Сказать об этом здесь стоит потому, что в новелле «Чэнь Шу-вэнь» — истории двоеженца, решившего утопить одну из своих жен и завладеть ее сбережениями, не случайно говорится о том, что впоследствии, когда самого Чэня нашли убитым, власти вызвали его жену для опознания трупа и сами явно осмотрели тело. Вообще история Чэнь Шу-вэня очень показательна, если сравнить ее с танской новеллой. Вспомним «Жизнеописание красавицы Ли». Юноша, которому оказала благодеяние певичка, женится на ней, и брак этот приносит его роду только славу. Чэнь Шу-вэнь тоже женится на певице Лань-ин, женится уже не по любви, а из-за денег (у него нет средств добраться до места, куда он был назначен после успешной сдачи экзаменов). Женится он, уже имея жену, почему в новелле и возникает, едва ли не впервые в китайской литературе, сложная психологическая и правовая коллизия. Страх перед женой и боязнь судебного дела,— сам-то герой прослужил три года помощником уездного судьи,— приводят его к преступлению, за которое его наказывает впоследствии дух погибшей певицы. Сюжетно новелла эта, пожалуй, не стала сложнее (по сравнению с историей красавицы Ли), усложнилась психологическая ситуация, деньги стали играть в жизни героя гораздо большую роль, чем естественные чувства. Совсем по-иному

пошло развитие новеллы в последующие эпохи. В XIV—XVI веках, в период правления династии Мин, пришедшей на смену монгольской династии Юань, литературная новелла как бы замыкается внутри себя, в некоем ограниченном литературном мире сюжетов предшествующих эпох, главным образом дотанского времени. Городская жизнь, бытовые коллизии мало интересовали первого из тогдашних новеллистов — Цюй Ю. Его больше волновали удивительные истории о духах и привидениях, причем именно в них он достиг небывалого стилистического и композиционного совершенства. Взять хотя бы «Записки о пионовом фонаре» — страшную историю любви студента Цяо и женщины-тени. Тут есть уже все аксессуары истории о привидениях: и гроб, который раскрывается сам по себе, и напудренный белый скелет и исчезнувший маг-даос, наказывающий всех героев за их грехи, нет лишь, пожалуй, того сложного жизненного содержания, которое отличало предшествующую новеллу, хотя и в произведениях Цюй Ю есть точный исторический фон. Особо силен он в «Жизнеописании девы в зеленом», куда автор ввел исторические предания о первом министре Южносунского двора (с 1217 г., когда чжурчжэни захватили север Китая, столица была перенесена на юг в город Ханчжоу, а сама династия получила название Южная Сун) Цзя Цю-хо, прославившемся своей жестокостью и предательским отказом в помощи войскам, отражавшим нашествие монгольских войск.

Несколько иной характер носит история писателя XVI века Ли Чжэня. Книга Цюй Ю называлась «Новые рассказы у горящего светильника». Ли Чжэнь назвал свой сборник «Продолжение рассказов у горящего светильника» и непосредственно использовал многие сюжеты своего предшественника. Однако среди его новелл есть и такие, которые напоминают скорее сунскую прозу, чем удивительные истории Цюй Ю. Один из таких рассказов — «Записки о ширме с цветами лотоса» — еще одну уголовную историю, разработанную уже более подробно, чем в книге Лю Фу. Есть основания предполагать, что эта усложненность перипетий сюжета пришла в новеллу из устного бытового сказа или основанных на нем народных повестей. Кроме Ли Чжэня у Цюй Ю были и другие последователи, но никто из них по своему мастерству не превзошел первого из минских новеллистов.

Новый расцвет литературной новеллы приходится уже на следующую историческую эпоху — время господства в Китае маньчжурской династии Цин. В 20—30-х годах XVII века Китай оказался в сложном экономическом и политическом положении. Стихийные бедствия, голод, массовое разорение ремесленников и крестьян — вот характерные приметы этого времени. И как отклик на них — мощная волна крестьянских восстаний, начавшихся в 1622 году. Китайские феодалы, будучи не в силах справиться с повстанцами, призвали на помощь войска маньчжуров, стоявших на северной границе страны и давно мечтавших захватить богатый Китай. Летом 1644 года маньчжуры заняли столицу Пекин и постепенно овладели всей страной. Начался период расправы с непокорными,— а таких было много,— время репрессий и казней. Казнили литераторов, например, известного писателя и издателя

средневековых романов Цзинь Жэнь-жуя, началось уничтожение книг, так называемая «литературная инквизиция». Все эти репрессии, однако, не смогли приостановить развитие китайской литературы, хотя и затормозили ее поступательный ход.

В этой обстановке гонений на свободную мысль в Китае появился новеллист поразительного масштаба. Звали его Пу Сун-лин, он происходил из уже достаточно старого рода Пу в Шаньдунь, который, как предполагают некоторые исследователи, пошел от приехавшей во второй половине XIII века в Китай арабской семьи и получившей китайскую фамилию Пу. Существуют сведения о том, что родовой храм семьи Пу на родине писателя был ранее посвящен семи мудрецам, то есть семи мусульманским пророкам. Известно, что сам Пу Сун-лин родился в обедневшей чиновничьей семье, где особо ценился «аромат книг». С детских лет Пу Сун-лин готовился к сдаче экзаменов, надеясь потом получить чиновничий пост. Но каждый раз оказывался в списках непрошедших, и только в семьдесят один год он удостоился степени суйгуна (нечто вроде «действительного студента» в дореволюционной России). Пу Сун-лин зарабатывал на жизнь частными уроками, а все свободное время отдавал литературному творчеству. Он писал в разных жанрах, но обессмертил свое имя литературными новеллами, собранными в книгу, названную «Ляо-чжай чжи и» или «Описание удивительного из Кабинета Ляо». В книге более четырехсот новелл. Развернутые новеллы с глубоким общественным содержанием перемежаются в сборнике Пу Сун-лина коротенькими историями, представляющими собой мастерски воспроизведенный удивительный случай в духе рассказов о необычайном III—VI веков. Вообще Пу Сун-лин, стремясь создать свою манеру повествования, вновь обращается к истокам жанра, к раннесредневековым рассказам, как бы минуя достижения танской и особенно минской новеллы. По своей тематике новеллы Пу Сун-лина весьма разнообразны. Тут и истории о дружбе и любовной связи с духами, божествами, оборотнями, лисами, разными тварями и даже растениями, описания всяческих чудес, удивительные случаи из жизни: раскрытие запутанных судебных дел, истории, связанные со сдачей экзаменов. Но, конечно, истории фантастические превалируют в его собрании, а среди них самое большое место занимают новеллы о любви ученого неудачника, вечного студента, к прекрасной неземной красоты деве, оказывающейся лисицей-оборотнем.

Объединив мир реальный и мир чудес в нераздельное единство, писатель построил свои новеллы так, что столкновение с волшебством у него усиливает критику действительности и как бы оттеняет обычную бытовую ситуацию. Лисы, существа более прозорливые, чем люди, в новеллах выносят суд над «ясными, как плоскости, людьми». Недаром, например, в новелле «Лис из Вэйшуя» старик лис, с удовольствием водивший дружбу с местными жителями и знатью, отказывается познакомиться с правителем области, поясняя, что тот «в предыдущем рождении был ослом. Хотя в настоящую минуту он и сидит торжественно над нами, но он из тех, кому какую

дрянь ни давай, все выпьют. Я, конечно, другой породы и стыжусь с такими якшаться».

Еще танские новеллисты заключали свое повествование авторскими резюме, в которых они, подобно историографам, давали свою личную оценку описанным событиям. Лю Фу в своем сборнике продолжил эту традицию, введя особый трафарет, отмечающий начало такого резюме. Потом эта традиция прервалась. Пу Сун-лин возродил ее вновь. Он заключал свои новеллы словами: «Историограф удивительного скажет так...» Резюме у него были уже столь важны и серьезны, что в отдельных случаях их размер чуть ли не равен описанию самого удивительного случая. В них писатель высказывал прямо свои взгляды, которые едва ли могли понравиться тогдашним правителям. Так, новелла «Сон старого Бо» кончается у него словами: «Отмечу с сожалением, что повсюду в Поднебесной крупные чиновники — тигры, а слуги — волки. Если крупный чиновник не тигр, то слуга его наверняка волк, и даже более свирепый, чем тигр!» Вот, видимо, почему сборник удивительных историй Пу Сун-лина был впервые напечатан в 1766 году — через пятьдесят лет после смерти автора, а до этого распространялся в списках.

Пу Сун-лин был прекрасным повествователем, соединившим, как указывали еще авторы старинных предисловий, в своем сборнике «простонародное» начало («су») и возвышенное, классически-изысканное («я»). «Простонародное» начало выразилось в самом материале новелл, сюжеты которых близки фольклору. (По преданию, Пу Сун-лин имел обыкновение ставить у дороги столик с чашкой чая и трубкой, останавливал прохожих и просил рассказать что-либо интересное и удивительное.) Классически-изысканным был изящный стиль, каким, пожалуй, никто до него не писал новеллистических произведений.

Как большой писатель, он вызвал к жизни немало продолжателей. Из их числа в нашей книге приведены образцы прозы Юань Мэя и Цзи Юня — известных писателей уже XVIII века. Если Юань Мэй, известный поэт и теоретик поэзии, создал свой сборник «О чем не говорил Конфуций» (а Мудрец Конфуций, как известно, не говорил о потустороннем мире) как простое собрание удивительных историй, носившее развлекательный характер, то ученый сановник Цзи Юнь принципиально пытался создать вещь серьезную, не допускающую усложненности сюжетов и противостоящую стилю и манере Пу Сун-лина. Он тоже обратился к опыту дотанских писателей, но ставил себе иные цели, более познавательные, чем художественные. В отличие от Пу Сун-лина, как считают исследователи, он критиковал не столько социальную несправедливость, сколько испорченные, с его точки зрения, нравы и моральные качества отдельных людей.

Параллельно с развитием новеллы на классическом литературном языке в Китае, как уже говорилось, с XI—XII веков шло развитие жанра народных повестей, рассчитанных на демократического читателя. Особую популярность они получили на рубеже XVI и XVII веков, когда многие яв-

ления художественного творчества, существовавшие до этого главным образом в устной традиции, входят в литературу и становятся фактом письменного слова и печатной продукцией издателей, причем продукцией явно массовой. Писатели в это время не только активно собирают фольклор, но и пытаются имитировать его формы, создавая свои собственные произведения в подражание фольклорным, нередко обрабатывая сказительские варианты, исправляя и шлифуя их. Расцвет городской повести падает на 20-е годы XVII века. В начале этого десятилетия вышел в свет первый сборник повестей Фэн Мэн-луна «Рассказы о древности и современности» (или «Слово ясное, мир наставляющее»), в 1624 году второй — «Слово доступное, мир предостерегающее» и в 1627 году третий — «Слово вечное, мир пробуждающее». Все три книги впоследствии получили название «Сань янь» — «Три слова». В том же 1627 году другой писатель — Лин Мэн-чу начинает издавать свои «Совершенно удивительные рассказы». В этих книгах было представлено двести повестей: любовных, волшебных, героических, авантюрных, судебных. Повести судебные, как показал в своих исследованиях их переводчик Д. Н. Воскресенский, обладают вполне определенной устойчивой композицией: они резко делятся на две части, в первой описывается само преступление, а вторая посвящена его раскрытию, в них чрезвычайно ярко проявляется черта, характерная для всего жанра повестей,— увлекательность и сложность фабулы, динамизм в развитии сюжета.

Обе повести, помещенные в нашем томе: «Сапог бога Эр-лана» или полностью — «Повесть о том, как расписка за сапоги помогла распознать бога Эр-лана» и «Глиняная беседка», или «Повесть о том, как с помощью глиняной беседки свершилась месть Вань Сю-нян»,— типичные образцы позднесредневековой народной повести из второго и третьего сборников Фэн Мэн-луна. Они сохраняют почти в неприкосновенности характерные черты китайского устного сказа. Возьмем для примера повесть о сапоге бога Эр-лана. Она начинается со стихов, точно так же, как и рассказы сказителей, которые начинали выступление «зачинными стихами» — «кайчанши». За ними полагалось давать объяснение стихов,— так создавался своеобразный зачин — жухуа, иногда связанный с событиями непосредственно или через аналогию, а то и противопоставление. Этот ввод нужен был рассказчику, чтобы дать возможность слушателям собраться вокруг него и чтобы подошедшие чуть позже не оказались бы в положении людей, не понимающих, о чем идет речь. Такого рода зачин есть и у нашей повести. Характерной чертой сказительского повествования были стихотворные вставки — своеобразные резюме, однообразно вводимые словами «Чжэн ши» — «Воистину», от устного сказа перешла в повесть и манера подробного описания костюма, внешнего облика персонажей и т. п. Все эти описания даны только через зрительное восприятие героев (может быть, это реликт того, что некогда повествование велось по картинам), причем описания эти сделаны не простой прозой, а ритмической, похожей по организации на стихи, но не скрепленные регулярной рифмой и допускающие перебивы ритма. Начав свое

выступление со стихов, сказитель обычно и заканчивал его стихотворной сентенцией. Прочитайте повесть о боге Эр-лане и вы найдете в ней все эти признаки китайского прозаического сказа, признаки, перенесенные в литературу письменную и закрепленные в ней традицией.

Сам сюжет повести о боге Эр-лане — история ловкого обмана, когда человек добивается близости с женщиной, выдавая себя за бога,— достаточно хорошо известен мировой литературе. Едва ли не впервые он разработан в древнеиндийской книге рассказов «Панчатантре», где есть история о ткаче, который прилетал к своей возлюбленной — дочери царя на деревянной птице и выдавал себя за бога Вишну. Впоследствии этот сюжет был использован арабскими писателями,— вспомним «Тысячу и одну ночь», где некий плотник мастерит летающий стул и, выдавая себя за ангела смерти Азраила, добивается руки дочери султана. Скорее всего, что именно арабская сказка подсказала эту тему Боккаччо, включившему в свой «Декамерон» новеллу о монахе Альберте, который уверяет одну женщину, что в нее влюблен ангел, и в его образе несколько раз соединяется с нею. Исследователи считают эту новеллу возможным источником пушкинской «Гавриилиады». Пришел этот индийский сюжет в танскую эпоху и в Китай. Однако из двух основных мотивов — полет на искусственной птице к возлюбленной и попытка добиться любви, выдавая себя за божество — танские авторы заимствовали как раз первый. История о хитром обмане женщины с целью добиться успеха в любви появляется в китайской литературе только к XVI веку в жанре повести и уже едва ли связана с древнеиндийским сюжетом. Если сравнить повесть о сапоге бога Эр-лана с новеллой Боккаччо, то легко заметить их принципиальное различие. Сюжет вроде бы и схож, но у Фэн Мэн-луна он разработан гораздо детальнее и усложненнее,— ведь любовная коллизия у него составляет только часть повествования, усложненного детективным элементом. Родственники мужа наивной дамы из итальянской новеллы просто подкарауливают любовника и пытаются его схватить, в китайской же повести найти того, кто, выдавая себя за бога Эр-лана, ходит по ночам к государевой наложнице, гораздо труднее. Этим занимается целый штат сыщиков, и в этом-то поиске, пожалуй, и заключен основной смысл повести. То, что сюжет китайской повести сложнее, чем новеллы Боккаччо, не должно нас удивлять,— за плечами Фэн Мэн-луна стояла уже почти тысячелетняя традиция устного сказа, на которую он опирался. Иное в области мировоззренческой. У Боккаччо эта история — одна из многих о ловких соблазнителях чужих жен, высмеивающая и наивную глупость красавицы, и притворную святость монаха Альберта, ловкого любовника и плута. У китайского автора вся повесть носит серьезный и даже трагический характер, вызванный грустным положением императорской наложницы, к которой государь никогда не приближался, ее несбыточной мечтой о собственном счастье и семье. Повесть эта лишена ренессансного жизнелюбия, которым проникнута книга итальянского новеллиста. Средневековый характер носит и вторая повесть из собрания Фэн Мэн-луна, «Гли-

нявая беседка», сюжет которой — история похищения дочери богатого торговца,— как предполагают, сложился в творчестве народных рассказчиков еще до XIII века. Таковы образцы повествовательной прозы китайцев, включенные в эту книгу.

Было бы, однако, неверно представлять себе китайскую классическую прозу только как прозу повествовательную. Кроме нее, существовала и проза бессюжетная. Причем именно она была почитаема официально, ею интересовались критики, ее изучали в школах и училищах. Эта высокая изящная проза носила во многом еще функциональный характер, она имела деловую или обрядовую предназначенность. То были доклады трону, жертвенные речи, обращения государя к народу, записки об отдельных событиях, жизнеописания знаменитых людей и десятки других разновидностей прозы, обеспечивающей средневековый государственный обиход. Причем все это писалось изящнейшим и весьма архаизованным стилем. Но вместе с тем именно в этих жанрах чаще всего выражались новые общественные идеи, давалась критика корыстолюбивого чиновничества, выражался протест против угнетения и неравенства. Из всего безбрежного моря эссеистической и деловой прозы мы выбрали для нашего тома лишь наиболее известные образцы прозы самых знаменитых стилистов: Хань Юя и Лю Цзун-юаня, творивших в эпоху Тан, Оуян Сю и Су Ши, живших в период Сун и некоторых авторов более позднего времени. Все эти авторы писали о своем месте в обществе, о долге чиновника перед государем и перед народом, они нередко критиковали нелепые обычаи и корыстолюбие, подлость и обман. Они говорили часто от первого лица, писали о себе, но, однако, не говорили никогда о семье и доме, об интимных сторонах своей жизни. Это было не принято. Едва ли не впервые в китайской литературе о самом себе просто и без прикрас рассказал художник Шэнь Фу, живший в конце XVIII века. Он написал «Шесть записок о быстротечной жизни», в которых поведал и о трогательной любви к своей рано умершей жене (в главе «Невзгоды и печали»), и об увлечениях певичками (в главе «Радость странствий»), и о своих странствиях по красивейшим местам Китая. Его «Записки» были найдены в 1877 году через семьдесят лет после его смерти, на книжном развале, и опубликованы литератором Ян Инь-чуанем. Они, пожалуй, так и остались уникальным фактом в истории китайской прозы, знаменуя собой переход к новому изображению глубоко личных переживаний человека.

Б. РИФТИН

ГАНЬ БАО

ИЗ «ЗАПИСОК О ПОИСКАХ ДУХОВ»

*

Цзян Цзы-вэнь, родом из Гуанлина, любил вино, был падок до женщин и беспредельно легкомыслен. Сам же про себя частенько говаривал, что кости его уже очистились и что после смерти он станет духом.

Однажды в конце династии Хань, будучи начальником стражи в Мэйлине, он преследовал разбойников у подножия горы Чжуншань. Разбойники ранили его в лоб. Он снял тесьму с печати, перевязал рану, но вскоре умер.

В начале правления первого государя царства У чиновники его встретили Вэня. Был он верхом на белой лошади, с белыми перьями в руке, за ним скакали подручные воины — всё как в прежней жизни. Чиновники в испуге бросились прочь, но Вэнь догнал их и сказал:

— Если я стану духом-покровителем этой местности, то осчастливлю здешний народ. Известите всех, что мне подобают жертвоприношения. Не скажете — будут большие беды.

В том же году случился мор, и многие, движимые тайным страхом, стали потихоньку приносить ему жертвы. В свой черед, Вэнь возвестил чрез прорицательницу:

— Я окажу дому Сунь большую помощь, но пусть он установит мне приношения. Если же нет, нашлю беду: насекомых, залезающих в уши.

Вскоре появились насекомые, похожие на пыльных мушек. Все, кому они залезали в уши, умирали, и лекари никого не могли

излечить. Страх простого народа возрастал, но правитель Сунь все еще не понимал причины. И снова чрез прорицательницу было объявлено:

— Коли не будете приносить жертвы, я пашлю еще и огненное бедствие.

В том же году возникло множество пожаров: в десятках мест на дню. Огонь подобрался и ко дворцу государя. Советники порешили, что если этого злого духа признать достойным поклонения, то беды не будет, а дух умиротворится. И вот прибыли к алтарю гонцы. Они объявили, что Цзы-вэню пожалован титул столичного хоу, а его младшему брату Цзы-сюю — титул Чаншуйского начальника стражи, и оба они получают печати с тесьмою.

Воздвигли также храм в его честь, а гору Чжуншань переименовали в Цзяншань — гору Цзяна. Это и есть нынешняя гора Цзяншань, что на север и на восток от Цзянькана.

Беды и напасти кончились, а простой народ почитает Цзывэня весьма высоко по сию пору.

[V, 1]

* * *

При династии Цзинь во времена государя У-ди юноша и девушка в округе Хэцзянь предавались тайным радостям и обещали друг другу пожениться. Вскоре юноша ушел на войну, и его не было много лет. Семья хотела выдать девушку за другого, но та все не желала. Тут приступили к ней отец и мать, и ей ничего более не оставалось как подчиниться. А потом она заболела и умерла.

А юноша этот возвратился из пограничных походов и спросил, где она. Родичи ее рассказали все как было. Он отправился на могилу. Хотел лишь оплакать ее, высказать скорбь, но не сумел сдержаться, раскопал могилу, раскрыл гроб... И она ожила. Он быстро отнес ее домой, покормил несколько дней — и она стала такой, как и прежде.

В не долгом времени прослышал об этом муж, явился и потребовал вернуть жену. Но тот, другой, не отдал.

— Ваша супруга давно умерла,— сказал он.— Да и случалось ли в Поднебесной, чтобы мертвые оживали? Но мне ниспослана была Небом такая награда, значит это совсем не ваша жена.

И возникла между ними тяжба, которую не смогли разрешить ни в уезде, ни в округе. Когда передали дело на решение двора, секретарь государя Ван Дао рассмотрел его и составил доклад, гласивший:

«Неслыханная чистота и искренность тронула небо и землю, и потому умершая вновь ожила. Дело это необыкновенное, и обычным порядком его разрешить невозможно. Поэтому прошу отдать женщину тому, кто вскрыл могилу».

И государев двор последовал его совету.

[XV, 2]

* * *

Чжан Хань-чжи из области Чэнь приехал в Наньян изучать «Предание Цзо» у правителя столичного округа Янь Шу-цзяня. Несколько месяцев спустя к его младшей сестре явилось привидение и сказало:

— Я заболел и умер, погребен на меже и бесконечно страдаю от голода и холода. Своими руками повесил я на бумажной шелковице позади дома несколько пар «туфель-недарилок». Пятьсот монет, что подарил мне Чжуань Цзы-фан, были под северной стеной. Я забрал их все без остатка и потом купил у Ли Ю корову,— купчая в книжном коробе.

Пошли проверять — все оказалось в точности так. Одна жена Чжан Хань-чжи ничего об этом не знала: сестра только что вернулась из дома своего мужа и не успела дойти до нее. Другие же домашние горько плакали, уверенные, что все это чистая правда. Отец, мать, младшие братья, накинув на себя ветхие дерюжные одежды, отправились совершать погребальный обряд.

Но, отойдя всего на несколько ли от дома, они вдруг повстречали Хань-чжи и с ним добрый десяток студентов. Хань-чжи увидал домашних и подивился, отчего это они в таком виде. А домашние, признав Хань-чжи, решили, что он привидение, и сильно растерялись. Тут Хань-чжи вышел вперед, поклонился и спросил отца, в чем дело. И, слушая его рассказ, не знал, смеяться или радоваться, настолько все было неслыханно, да и не видано.

Тут все поняли, что это проделки оборотней.

[XVII, 1]

* * *

В государстве У некий Дун Чжао-чжи из уезда Фуян переправлялся как-то на лодке через Цяньтанцзян. На самой середине реки увидел он муравья на коротенькой камышинке. Гонимый страхом муравей добегал до одного конца, потом поворачивал к другому концу. Чжао-чжи молвил: «Он тоже боится смерти!» — и хотел было взять муравья в лодку, но его попутчик стал браниться:

— Нечего разводить всяких жалящих и ядовитых тварей! Я его растопчу!

Но Чжао-чжи все равно пожалел муравья и привязал шнурком камышинку к лодке. Лодка достигла берега, и муравей получил свободу. Той же ночью Чжао-чжи увидел во сне мужчину в черных одеждах, со свитой человек в сто, который поклонился ему и сказал:

— Ваш слуга — царь среди муравьев — упал по неосторожности в реку и теперь благодарит вас за спасение жизни. Если вы окажетесь в какой-либо крайности, вам нужно будет только сообщить об этом мне.

Прошло лет десять. В этих местах завелись разбойники. Чжао-чжи облыжно назван был их главарем и заключен в тюрьму в Юйхане. Тогда-то он вспомнил сон и решил сообщить о себе муравьиному царю. Но где он сейчас и как сообщить?! Тут один из спутников прервал его раздумья и спросил, в чем причина его печали. И Чжао-чжи поведал все без утайки.

— Для этого нужно поймать пару муравьев, посадить на ладонь и сказать о вашей просьбе,— посоветовал тот.

Чжао-чжи так и поступил. Ночью ему и в самом деле явился во сне человек в черной одежде.

— Вам следует спешно скрыться в горах Юйханьшань,— сказал он,— раз в Поднебесной смуты, значит, вскоре появится указ о помилованиях.

После этих слов Чжао-чжи пробудился. Между тем муравьи успели источить надетые на него колодки. Чжао-чжи вышел из тюрьмы, а потом, переправившись через реку, скрылся в горах Юйханьшань. Скоро объявлена была амнистия, и он оказался вне опасности.

[XX, 8]

ТАО ЮАНЬ-МИН (?)

ИЗ «ПРОДОЛЖЕНИЯ ЗАПИСОК О ПОИСКАХ ДУХОВ»

МОНАХИНЯ, СОБИРАЮЩАЯ МИЛОСТЫНЮ

К великому полководцу Цзинь — дасыма Хуань Вэню, прозвание его было Юань-цзы, на склоне лет неожиданно пришла монахиня. Была она из дальних краев, имя ее ныне позабыто. Она прилепилась к Хуаню, словно бы к данапати — подателю милости. Дарования и поступки ее были удивительны.

Вэнь принял монахиню с великим почтением и дал ей жилье при доме. И вот всякий раз, как наступало время омовения, она непременно омывалась дольше обычного. Вэнь почел это странным. Он решил подглядеть и увидел: монахиня, совершенно нагая, одним взмахом меча распорола себе живот, после чего разрубила на куски тело и отсекла голову, отделила руки и ноги, а оставшуюся плоть искрошила.

Вэнь страшно испугался и быстро ушел к себе. Вскоре монахиня появилась из комнаты цела и невредима. Вэнь попросил ее сказать правду. Монахиня отвечала: «Тот, кто захочет оскорбить и изгнать государя, примет подобную же казнь». А Вэнь как раз злоумыслил на государя: как говорится, «собрался расспросить о треножниках». Услыхав ответ монахини, он впал в досаду, ибо предупреждение устрашило его.

До конца жизни Вэнь оставался верным государю слугой.

Монахиня простилась с ним и ушла. Где она, и поныне неизвестно.

ГО ПУ ИСЦЕЛЯЕТ СКАКУНА

Чжао Гу ходил в бранные походы обычно на гнедом коне. Он безмерно дорожил им и любил, а привязывал коня всегда там, где и сам становился на постой. Однажды у коня вздулось брюхо, и вскоре он издох.

Тут как раз с севера пришел Го Пу,— он хотел навестить Чжао Гу. Привратник сказал ему: «Любимейший конь моего полководца, которого он берег и лелеял, нынче издох, и полководец скорбит». Пу молвил: «Дозволь мне пройти. Да скажи полководцу, что я оживлю скакуна, но прежде он непременно должен повидать меня». Привратник изумился, обрадовался и поспешил доложить о нем.

Гу чуть не в пляс пустился от счастья, немедля велел привратнику просить гостя к себе.

Сперва они обменялись словами о жаре и стуже, потом Гу спросил: «Берешься оживить моего коня?» Пу ответил: «Берусь!» Гу возликовал и опять спрашивает: «Что тебе нужно для этого?» Пу отвечает: «Наберите преданных вам молодцов, числом так более двух десятков, дайте им длинные бамбуковые палки, и пусть идут прямо на восток. В тридцати ли отсюда будет холм, поросший лесом и очертаниями схожий с храмом бога земли. Как придут, пусть изо всех сил колотят по земле палками да шумят побольше. Все это нужно для поимки некой твари. Добудут — и мигом назад. И конь сразу оживет».

Пятьдесят доблестных и храбрейших воинов выступили в поход. Как и сказал Пу, они достигли густого леса, там таилась некая тварь. На вид подобие обезьяны, но и не обезьяна. Она выбежала, хотела удрать, но все дружно к ней кинулись, схватили и принесли Чжао Гу.

Тварь еще издали почуяла дохлого коня, запрыгала, хотела вырваться. Го Пу приказал спустить ее наземь. Она подбежала к коню с головы и стала вдыхать ему воздух в ноздри. Дула она долго, пока конь наконец вскочил и во всю прыть понесся, раздувая ноздри.

Тварь в тот же миг исчезла. Чжао Гу щедро одарил Го Пу, и тот смог пойти в земли к югу от Цзян.

ДЕВИЦА ИЗ РОДА СЮЙ

Во времена Цзинь некий уроженец Дунпина по имени Фын Сяо-цзян исправлял должность тайшоу в Гуанчжоу. Сын его звался Ма-цзы, что значит «Жеребенок». Ему уже исполнилось двадцать лет, а он все дни свои проводил в одиночестве, лежа в конюшне. Как-то ночью во сне явилась к нему дева лет едва ли восемнадцати с виду и говорит: «Я дочь прежнего тайшоу Сюй Сюань-фана, что родом из Бэйхая. К несчастью, я рано умерла: четыре года назад черти безвинно меня убили. А согласно Записям жизней, мне суждено дожить до девятого десятка, если не долее, к тому же я знаю, что должна ожить. Вот я и искала надежного человека, опору в судьбе. Вам, Ма-цзы, предсказана долгая жизнь. Мы могли бы стать мужем и женою. Могу я послушно следовать за вами, обрести опору и тем возродиться к жизни?» Ма-цзы ответил: «Да». И они сговорились о сроке будущего свиданья.

В назначенный день и час на полу перед ложем Ма-цзы забрезжили очертания головы: волосы — вровень с полом. Ма-цзы велел слугам подмести пол. Потом вгляделся, вспомнил сон и постиг видение. Тотчас удалил слуг. Тогда стал проступать лоб, затем все лицо, затем шея и плечи и, наконец, все тело.

Ма-цзы сказал деве присесть на тахту напротив. Склад речей и суть слов ее были удивительны и необычайны. Затем она легла с Ма-цзы почивать.

Всякий раз дева предостерегала его: «Я пока еще тленный дух». Как-то Ма-цзы полюбопытствовал: «Когда же ты покинешь свой мир?» Дева ответила: «Когда исполнится срок нисшествия духа, ибо день и час моего рождения еще не наступил».

Ма-цзы поселил ее в конюшне. Люди слышали звуки их бесед, разбирали отдельные слова.

Когда дева сочла, что срок приближается, то обучила Ма-цзы способам, какие надлежит применить, чтобы она покинула свой мир и вернулась к живым. Сказала, простилась и ушла.

Ма-цзы взял красного петуха, блюдо просяной каши и шэн чистого вина и окропил землю перед ее могилой, а она была в каком-нибудь десятке *бу* от его конюшни. Закончил жертвоприношение и раскопал могилу. Показался гроб, Ма-цзы открыл его и увидал в нем девушку, лицо и тело которой были в целости, как при жизни. Он бережно обнял ее, извлек из гроба, положил на кошму и отнес в шатер. Под сердцем у девы чуть теплело, из уст сквозило дыханье. Ма-цзы кликнул четырех служанок и велел им ходить за девой. А сам стал капать ей в глаза молоко от черной овцы.

Со временем глаза у девы начали раскрываться, а рот — принимать жидкую пищу. Наконец, дева заговорила. Дней через двести она уже смогла подниматься и ходить, опираясь на палку. Прошло еще время, и цвет ее лица, мускулы, кожа, а также телесные силы установились. Послали с вестью об этом к отцу ее, господину Сюю. Тут явились все, от мала до велика. Выбрали счастливый день, совершили церемонию, поднесли свадебные дары, и сделались они мужем и женою.

Дева родила Ма-цзы двух сыновей и дочь; старший сын по прозванию Юань-цин, в начале годов правления «Вечное счастие» получил должность хранителя книг при дворе, младший — Цзин-ду служил при наставнике молодого государя, ну а дочь выдали за Лю Цзы-яня из Цзинани, того самого, что приходился внуком удалившемуся от дел Лю Янь-ши, всем известному.

ГО СЯНЬ (?)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДУНФАН ШО

В детстве Дунфан Шо прозывался Мань-цянь, что значит «Красавчик». Отец его из рода Чжан, имя его было И, прозвание Шао-пин. Матушка — из рода Тянь. Годы И перевалили за вторую сотню, а обликом он был словно юный отрок. Шо было три дня от роду, когда опочила его мать. Это случилось на третьем году правления ханьского государя Цзин-ди. Соседка взяла младенца и вскормила. Она подобрала его, когда небо на востоке начало светлеть, отсюда и пошла его фамилия Дунфан — Восток.

В три года Шо знал уже все заклятия и наговоры Поднебесной, с одного раза запоминал их и бормотал или, тыча пальцем в

небесную пустоту, разговаривал сам с собой. Однажды приемная мать потеряла Шо. Через много лун он воротился. Она его выпорола. В другой раз он опять ушел и через год вернулся. Матушка увидела Шо и изумилась: «Где ты бродил целый год, что скажешь мне в утешенье?» Шо в ответ: «Ваш сын был на море Пурпурных глин,— пурпурной водой он загрязнил одежду. Пришлось идти к источнику Юйцюань, чтобы омыться. Утром я вышел, в полдень воротился. Почему вы говорите, будто минул год?» Матушка опять спросила его: «Какие же царства ты пересек?» Шо ответил: «Как отмыл платье, решил недолго отдохнуть на Восточной террасе, что в Сюаньду — «Столице мрака», там задремал. Правитель Ван угостил меня отваром каштанов с горы Алой зари, съел премного, насытился до того, что стало томно, словно в предсмертии, а как испил полмеры желтых рос с Темных Небес, тут же очнулся. На обратном пути я повстречал синего тигра, что отдыхал у дороги. Так, верхом на тигре, и воротился. Я больно бил его палкой, и он прокусил мне ступню». Матушка опечалилась, оторвала полоску от подола своего синего платья, перевязала ему ногу.

В другой раз Шо удалился от дома на десять тысяч ли, увидел сухое дерево, снял с ноги тряпку и повесил на него. Полоска материи тотчас оборотилась драконом. То место и поныне зовется озером Тряпичного дракона.

В середине годов под девизом «Начало пожалований» Шо отправился на озеро Туманов. Здесь повстречал он царицу Запада Си-ван-му. Она собирала тутовые деревья по берегам Белого моря. Вдруг предстал пред ним желтобровый старец и, указав на царицу, сказал Шо: «Некогда она была мне супругой, в те времена я пребывал в образе духа звезды Тайбо, а ныне ты тоже дух этой звезды. Я отринул пищу, глотаю эфир и так живу уж более девяти тысяч лет. Зрачки моих глаз сияют синим огнем, поэтому могу видеть вещи, спрятанные в тайниках. Раз в три тысячи лет я вынимаю кости и прополаскиваю их мозг, раз в две тысячи лет я снимаю с себя кожу и срезаю с тела волосы. Трижды я прополаскивал в костях мозг и пять раз срезал волосы».

Когда Шо вошел в возраст, государь У-ди дал ему высокое звание сановника среднего ранга. На склоне лет государь возлюбил искусства бессмертных, и Шо стал своим человеком при государе. Однажды государь спросил Шо: «Могу ли я пожелать, чтоб те, кого я милостиво дарю любовью, не старели?» Шо сказал: «Это в моих силах». Государь опять вопросил его: «Какое снадобье следует принимать?» В ответ услыхал: «В землях к северо-востоку есть чудесная трава линчжи, а на юго-западе водится рыба, что рождается из яйца». Государь поинтересовался: «Откуда ты знаешь?» В ответ Шо рассказал: «Трехногая птица — солнечный

ворон жаждет опуститься на землю и склевать траву линчжи, но возница солнца Сихэ закрывает рукой глаза ворону и не дает ему сесть на землю, опасаясь, как бы не наелся он той травы. Стоит зверям или птицам отведать ее, как они тотчас делаются красивы, но неподвижны». Государь опять спросил его: «Откуда тебе это ведомо?» — «Как-то, когда я был мал, рыли колодец, и я упал в него, несколько десятков лет я провел в колодце, не зная, что делать, пока не объявился человек, который повел меня, чтоб я набрал той травы. Путь нам преградил Красный источник, и я не мог его перейти. Тот человек дал вашему подданному одну туфлю, я надел ее, переплыл поток, нарвал травы и съел. Люди того царства из жемчуга и яшмы выткали циновки, желая, чтоб ваш подданный вошел в облачный полог, исполнили для меня резное изголовье из темного красивого камня, вырезали на нем образы солнца, луны, облаков и грома и назвали его «Резное полое изголовье», или еще «Резное изголовье из темного камня», постелили мне жемчужный тюфячок, тончайший, словно бы крылышки комара, ибо соткан он был из крылышек сотен комаров. Подстилка была нежна и прохладна, в знойный день приятна для тела, потому и дали ей наименование Мягчайший и нежнейший тюфячок на водяной ряске. Я попробовал было вытереть его рукой, но испугался, что его влага увлажнит циновку, пригляделся — то был просто блеск».

Как-то государь У-ди почивал в зале Чудесного сияния и призвал Дунфан Шо к своему пологу из дорогого белого шелка. Полог был подле окна, затянутого синим узорчатым шелком. Государь вопросил Дунфан Шо: «Благополучие дома Хань длится в соответствии со стихией огня. Какой дух управляет им? Какое явление надлежит почесть за благостный знак?» Шо ответил: «Когда я бродил в небесах, то к востоку от Чанъани, на расстоянии семидесяти тысяч ли от чудесной горы Фусан, лежит Облачная гора. На ее вершине есть колодец, через который облака выходят в небеса. Когда должно свершиться благодеяние под знаком земли, облака желты, под знаком огня — красны, под знаком металла — белы, под знаком воды — черны». Государь глубоко поверил Шо.

На второй год правления под девизом «Великого начала» Шо вернулся из княжества Синасе, где добыл дерево о десяти ветвях, в коих звучал ветер, и поднес его государю. Высоты в нем было девять чи, а толщиной с палец. Родиной деревца были воды Ипхуаня, в «Книге истории» в главе «Юйгун» так и сказано: «Из Хуань прибыло», то есть говорится о его происхождении. На верхушке дерева, что вышло из волн реки Тяньшуй, поселились среди ветвей Пурпурная ласточка и Желтый аист. Плоды дерева схожи с

мелким жемчугом. Когда ветер обдувает его, оно звенит, словно нефрит, отсюда и пошло его название — «Звучащее дерево». Государь отломал веточки и поднес каждому из тех своих приближенных, годы коих перевалили за сто. Если тот, кому подносили ветвь, был болен каким-либо недугом, на веточке тотчас выступал сок. Если человек вскорости должен был умереть, веточка сама надламывалась. Так некогда у Лао Даня, что прожил в царстве Чжоу семь сотен лет, ветка не истекла соком, а у наставника при древнем царе Яо по имени Хун Яй, что прожил три раза по тысяче лет, веточка дерева не надламывалась. Государь У-ди одарил ветвью и самого Шо. Шо сказал: «Ваш подданный видел, как это дерево трижды засыхало и, погибнув, трижды возвращалось к жизни. При чем тут его сок,— надломилась ветвь, и все. Ведь говорят: «Год сменяет год, и ветви вдруг сочатся соком». Лишь однажды за пять тысяч лет дерево это увлажняется, лишь однажды за десять тысяч лет засыхает». Государь поверил.

Еще говорят, что на втором году правления под девизом «Небесная Хань» государь взошел на Подворье синего дракона, желая предаться размышлению об искусстве бессмертных. Были призваны маги-фанши, с коими он вел речи о делах в отдаленных уделах и в дальних царствах. Один лишь Дунфан Шо опустился па циновку и, взяв кисть, набросал следующее: «Когда я бродил подле Северного предела, то достиг Горы отражения огня. Не светит там ни солнце, ни луна, но все четыре предела освещены огнем, что держит в пасти дракон. Есть там сады и огороды, пруды и парки, произрастают в них диковинные травы и деревья. Растет там трава минцзинцао: стебель ее наподобие золотого стремени,— надломить — станет вроде свечи, в ее сиянии видны истинные очертания духов и прочих тварей. Святой Нин-фын однажды ночью зажег эту траву, и стало словно утро, увидал он внутри и вовне своей утробы какое-то свечение, потому и назвал ту траву «злаком пещерного чрева». Государь нарезал этой травы и выжал масло, чтобы пропитать им стены храма под названием «Рассвет средь облаков». Если ночью сидели в храме, то не было надобности в свечах, потому и растение назвали также «травой, что освещает тени усопших». Если нарвать ее и подостлать под ноги, можно войти в воду и не утонешь.

Как-то Шо совершил странствие к востоку, в земли Благовещих облаков, где добыл волшебного скакуна около девяти чи ростом. Государь спросил Шо, что это за зверь, и тот ответил: «Хозяйка Запада Си-ван-му ездила на колеснице Облачного блеска в обиталище своего супруга, Владетеля Востока — Дун-ван-гуна, и пустила этого скакуна пастись в поле, где росла чудесная трава линчжи. Дун-ван-гун разгневался и выкинул этого скакуна к бере-

гам Цинцзиньтяня. Ваш подданный пришел к алтарю Ван-гуна, вскочил на коня и верхом поехал обратно. Всего три раза закатилось солнце, а скакун уже входил в заставу Ханьгуань. Крепостные ворота еще не закрывали. Сам я на коне задремал, и не заметил, как воротился домой». Государь спросил: «Как звать-то его?» Шо ответил: «По делам его ему дано имя, ибо зовут его «Жеребенок, что шествует по просторам земли». Государь сказал: «Сам попробую объездить его, хочу, чтоб слушался он меня, словно кляча или хромой осел». Шо сказал: «У вашего подданного есть тысяча цинов травы Благовещих облаков, что посеяна к востоку от горы Девяти просторов земли. Один раз в две тысячи лет она зацветает. На будущий год как раз созреет, я пойду и накошу травы, чтоб было чем кормить скакуна. Будет стоять в стойле и не знать голода».

Шо как-то сказал: «Направляясь к Восточному пределу, я проходил мимо озера Благовещих облаков». Государь полюбопытствовал: «Почему озеро зовется Благовещим?» Шо сказал: «В той стране часто гадают о счастье иль злосчастье по виду облаков. В преддверии радостного события облака подымаются, заполняя весь дом, пятицветным сиянием озаряют людей, на травах и деревьях выпадают пятицветные росы, и вкус у тех рос сладостен». Государь спросил: «А можно ли добыть сладкую росу с озера Пятицветных облаков?» Шо ответил: «Ваш подданный принесет траву из страны Благовещих облаков, дабы накормить своего коня, пока конь будет стоять, я наберу рос, так что через два дня на третий и отправлюсь». Тогда же он пошел на восток, к вечеру воротился, добыв пурпурной, белой, синей, желтой росы, наполнил ими пять, по числу рос, глазурных сосудов и каждый из пяти поднес государю. Государь роздал их своим приближенным. Те, что были в преклонных летах,— помолодели, те, что были больны,— избавились от недуга.

Еще рассказывают, что как-то император У-ди увидал комету. Шо сломал ветку от «дерева, указывавшего на звезды», и передал государю. Государь указал ею на хвостатую звезду, и та вмиг исчезла. Никто из современников не умел исчислять звезды.

Еще рассказывают, что Шо был искусен в свисте. Всякий раз, как разносился его непрерывный свист, пыль оседала, а свист разливался, летя. Еще при жизни Шо как-то сказал одному из придворных: «Люди Поднебесной не могут понять меня, один Да-ван-гун может». Когда Шо опочил, эти слова дошли до государя У-ди, тотчас же призвали Да-ван-гуна. Государь вопросил его: «Ты знал Дунфан Шо?» Тот ответил: «Не знал».— «А в чем твое умение?» — спросил он. «Искусен в составлении звездного календаря»,— был ответ. Государь спросил: «Все ли звезды на месте?» —

«Все звезды там, где им надлежит быть, только вот планета Суйсин, которой не было видно восемнадцать лет, сегодня вновь появилась на небосводе». Государь поднял голову к небу и со вздохом произнес: «Дунфан Шо пробыл подле нас восемнадцать лет, а я и не знал, что он есть дух звезды Суйсин!» Государь стал печален и безрадостен.

Следы других деяний Шо разбросаны по многим свиткам, не будем здесь приводить их.

ЮЙ ТУН-ЧЖИ

ИЗ «ЗАПИСОК О РЕВНОСТИ»

Когда дасыма Хуань, великий полководец, усмирил земли Шу, то взял в наложницы дочь Ли Ши.

Супруга Хуаня, владетельная госпожа земель Наньцзюнь, была злонравна и ревнива. Вначале она не знала о наложнице, но, узнав, вооружилась мечом и в сопровождении десятков слуг явилась к наложнице, ибо вознамерилась ее зарубить.

Ли в тот миг причесывалась перед окном. Волосы ее ниспадали до самого пола, да и ликом и статью дочь Ли Ши была дивно прекрасна. Она тотчас подобрала волосы и упала пред супругой Хуаня наземь. Почтительно сложила руки и молвила: «Царство мое порушено, семья погибла, встречаю без радости нынешний светлый день. Вы хотите убить меня? Так ведь миг смерти для меня желаннее года жизни!» Весь облик девы был отрешенно-строг, весь строй ее речи — достойно-печален.

Госпожа отбросила меч, обняла наложницу. «Буду тебе наместо старшей сестры! Как увидала тебя, не могла не пожалеть. Что за прок в старых рабынях?» — так сказала супруга Хуаня и милостливо приняла дочь Ли Ши в своем доме.

* * *

Госпожа по прозванию Цао, супруга первого сановника Вана, от природы была непомерной ревнивицей. Она запрещала сановнику иметь свою челядь, а когда приходили всякие слуги и мелкий люд, те тоже были у ней под вечным дозором. Случись князю увлечься красоткой, она тут же в брань да в попреки. Князю стало невмоготу, и он тайно завел себе дом на стороне. Там наложницы сновали толпами, а их дети бегали стайками.

Как-то в новогодние празднества госпожа Цао увидела с башни Циншутай двух ребятишек верхом на баранах. Они так ловко и прямо держались, что приглянулись ей. Цао глядела на них издалека и все более проникалась любовью. Велела служанке: «Пойди и спроси, чьи это дети, кого-то они мне напомнили».

Служанка узнала и, не сообразив всего дела, говорит госпоже: «Это отроки господина, четвертый и пятый». Услыхав ответ, Цао поначалу изумилась, потом впала в великий гнев и, не сдержав-таки себя, велела закладывать колесницу. С евнухами и дюжиной прислужниц, из которых каждая была с кухонным ножом в руке, она выехала из усадьбы, желая сама узнать всю подноготную.

Сановник Ван тоже не стал медлить. Взвились удила, и он выехал из усадьбы. Волы ехали медленно, а сановник спешил. Одной рукой он вцепился в перила повозки, а в другой у него была мухогонка из лосиного хвоста, и он ручкой колотил волов. Он колотил, возничий нахлестывал. Под конец волы взъярились, будто волки, и понесли во всю прыть. Сановник прибыл первым.

Сыту по имени Цай прослышав об этой истории, насмехался над Ваном. Когда тот как-то посетил его, сыту сказал: «Двор намерен пожаловать вас девятью регалиями. Ваша милость еще не знает об этом?» Ван поверил ему и стал, как говорится, «выказывать скромные свои упованья». Цай сказал: «Ни про что другое не слыхал, а знаю только, что хотят вас пожаловать колесницею под бычков с короткими оглоблями и мухогонкой с длинною ручкой». Вана охватил стыд. По прошествии времени он понизил Цая в должности и при том сказал: «В прежние годы, когда я с Аньци бродил по берегам реки Ло за тысячу ли отсюда, не слыхал я, что в Поднебесной есть мальчишка Цай Чунь». Воистину гневался на давнюю шутку Цая.

* * *

Дочь некоего У, правителя Лияна, что вышла за Жуаня по прозванию Сюань-цзы, была несносной ревнивицей. К примеру, она запрещала служанкам перевертывать чашки и накрывать крышками большие блюда, чтобы не возникла приязнь между супругом и прислужницами. Однажды Сюань восхитился красотою персикового дерева, росшего подле дома: цветы его были пышны, а листья блестящи. Супруга разгневалась и повелела служанкам срубить дерево мечами, а цветы оборвать!

* * *

Госпожа по прозванию Лю, супруга тайфу Се, не дозволяла мужу иметь наложниц. Но господин Се глубоко любил музыку и пение и, не в силах соблюсти ее запрета, скоро загорелся желанием взять в наложницы певичку.

Сыновья старшего брата Се и ее племянники прослышали об этом и принялись все вместе говорить с госпожою Лю, приводя в подтверждение стихи из «Книги песен» — «Встреча невесты» и «Саранча», в коих славится добродетель, не омраченная ревностью. Лю поняла, что они ее укоряют, и спрашивает: «Кто составил эти стихи?» Ей сказали: «Чжоу-гун». Лю ответила: «Что же тут удивительного. Ведь Чжоу-гун был мужчина! Вот если бы жена Чжоу-гуна составила эти стихи, в них не было бы подобных слов».

* * *

Супруга Сюя, некоего ученого из столицы, была безмерно ревнива. За малый проступок бранила мужа, за большую провинность била палками, а подчас делала вот что: привязывала ему к ноге длинную веревку и, если надо было позвать, дергала за веревку. Тогда ученый тайно отправился к ясновидице, и они вместе замыслили хитрость.

Как только супруга заснула, ученый пошел в отхожее место, привязал к веревке барана, а сам перелез через забор и скрылся.

Жена проснулась, потянула веревку — к ней пришел баран. Она сильно испугалась и позвала ясновидицу для совета. Ясновидица сказала: «Госпожа накопила зло, оскорбила предков попреками, оттого супруг и оборотился бараном. Сможете изменить нрав и раскаяться — предки простят вас». Супруга ученого с рыданьями обняла барана и жалобно запричитала. Она тут же раскаялась и поклялась в том ясновидице. Та наказала ей блюсти семидневный пост, а всем домашним от мала до велика велела укрыться в доме и принести жертвы чертям и духам. Сама же стала творить заклинание о возвращении барану доподлинного облика.

На восьмое утро Сюй важно воротился домой. Жена зарыдала и спрашивает: «Вы столько дней пробыли бараном. Верно, претерпели немало бед?» Тот отвечает: «Невкусно было щипать траву, да и живот потом сильно болел». И горю ее не было пределов. Как-то к ней вновь вернулась ревность. Сюй тотчас повалился наземь и заблеял бараном. Тогда она в испуге вскочила, ног не обула и обратилась к предкам, поклявшись впредь быть разумной и рассудительной. С той поры она более не ревновала мужа.

ЛЮ И-ЦИН

ИЗ КНИГИ «НОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РАССКАЗОВ, В СВЕТЕ ХОДЯЩИХ»

ИЗ ГЛАВЫ 1. «ПОСТУПКИ ВЫСОКОДОСТОЙНЫЕ»

* * *

Сюнь Цзюй-бо приехал к больному другу. В ту пору случилось на область нашествие хуских разбойников. Друг сказал Цзюй-бо: «Мне время умирать, а вы уезжайте». Цзюй-бо ответил: «Я так долго ехал, чтобы быть рядом с вами, а вы отсылаете меня! Попрать долг ради спасения жизни? Не таков Цзюй-бо!» Явились разбойники. Пришли к Цзюй-бо, спрашивают: «Нас большое войско, вся область разбежалась; и дети, и старики, и женщины. Как же ты, мужчина, один решился остаться?» Цзюй-бо сказал: «Друг мой болен. Я остался подле. Я пусть умру, а он будет жить». Разбойники сказали: «Люди, не ведающие долга, вторглись в царство долга». Они повернули войска и ушли восвояси. Область получила мир.

* * *

Гуань Нин и Хуа Синь как-то вместе пололи в огороде овощи и наткнулись на золотую пластину. Гуань продолжал мотыжить, словно это была черепица или булыжник. Хуа подобрал пластину с земли и отшвырнул в сторону. В другой раз сидели они рядом на циновках и читали, когда мимо дома проехал какой-то сановник. Нин продолжал читать как ни в чем не бывало, а Синь оторвался от книги и пошел взглянуть на выезд. Нин отодвинул в сторону свою циновку, сел от него поодаль и сказал: «Вы мне больше не друг».

ИЗ ГЛАВЫ 2. «МЕТКИЕ РЕЧЕНИЯ»

Однажды в детстве братья Чжуны, Юй и Хуэй, воспользовавшись тем, что отец их прилег вздремнуть, подобрались к кувшину с винной настойкой. А отец в это время проснулся, но притворился, что спит. Юй совершил поклон, а затем выпил вино, Хуэй же

выпил без поклона. Отец подошел к ним и спросил у Юя, почему тот совершил поклон. Юй ответил: «Само по себе винопитие — совершение этикета, вот почему я и не посмел не поклониться». Тогда отец спросил Хуэя, почему тот не совершил поклона. Хуэй ответил: «Само по себе воровство — нарушение этикета. Вот почему я и не посмел поклониться».

ИЗ ГЛАВЫ 6. «НАТУРЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ»

Когда Ван Жуну было семь лет, он как-то гулял со сверстниками, и вот возле самой дороги они увидали сливу, обильную плодами до того, что ветки ее гнулись к земле. Все дети наперегонки бросились к сливе, только Ван Жун не тронулся с места. Его спросили, почему. Он ответил: «Дерево стоит у обочины людной дороги, а плодов на нем полно. Значит, они горькие». Попробовали — так и оказалось.

ИЗ ГЛАВЫ 10. «УВЕТЫ»

Сунь Сю любил охотиться на фазанов. Едва наступала пора, он пропадал на охоте целые дни. Вся свита увещевала его: дескать, малая тварь, стоит ли она такого пристрастия. Сю отвечал: «Стоит и — весьма! Пусть и малая тварь, а естественностью своей превзойдет иного человека!»

* * *

Случилось так, что кормилица ханьского государя У-ди совершила вне дворца проступок, и государь решил наказать ее. Кормилица обратилась к Дунфан Шо за помощью. Шо сказал: «Тут языком не возьмешь... Сделайте вот что: когда будете уходить с аудиенции, обернитесь на государя несколько раз, но не говорите ни слова. Быть может, и будет надежда на успех». Кормилица явилась перед государем. Шо присутствовал в свите и в решительный миг промолвил: «До чего глупа! Уж не думает ли она, что государь вспомнит о своем милостивом к ней расположении в ту пору, когда она его еще грудного кормила?» Государь, хоть и отличался крутым нравом и твердым сердцем, все же в душе сохранил к ней привязанность. И в порыве сострадания повелел не наказывать ее.

ИЗ ГЛАВЫ 19. «ЖЕНЩИНЫ ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЕ И ПРЕКРАСНЫЕ»

У ханьского государя Юань-ди было великое множество наложниц, и он повелел художникам нарисовать их всех, дабы приглашать их, сообразуясь с портретами. Наложницы стали наперерыв подкупать живописцев. Ван Мин-цзюнь, прекрасная статью и ликом, сочла это унизительным для себя. И художник исказил ее внешность. Вскоре после того приехали гунны заключать мир и попросили у государя красавицу в подарок. Государь распорядился отправить Ван Мин-цзюнь. Но когда ее к нему привели, он пожалел о своем решении. Однако имя уже было объявлено, а он не захотел изменять своей воли. Пришлось ей отправиться в путь.

ИЗ ГЛАВЫ 21. «МАСТЕРСТВО»

Смотровая башня пагоды Воспарения к облакам выстроена была весьма искусно. Все бревна перед постройкой выверили по весу, так что ни одно из них даже слегка не давило на соседнее. И хотя вздымалась башня столь высоко, что, случалось, раскачивалась по ветру, но сама пагода стояла прочно. Однажды на пагоду поднялся вэйский государь Мин-ди. Решив, что башня в опасности, он приказал возвести подпорки. А башня вскорости рухнула. Говорят, что было нарушено равновесие.

ИЗ ГЛАВЫ 23. «НЕОБУЗДАННОСТЬ»

У Лю Лина был запой, и его мучила жесточайшая жажда. Он стал просить у жены вина. Но жена вылила вино, разбила плошку, и принялась плакать и стенать, и, увещевая Лю Лина, сказала так: «Господин пьет чрезмерно, это опасный для жизни путь, надобно с вином покончить!» Лин ответил: «Верно! Только сам я не могу себя обуздать. Придется мне дать клятву духам. Готовь жертвенное вино и мясо». Жена ответила: «С почтением повинуюсь». Расставила вино и мясо перед алтарем и попросила Лина произнести клятву. Лю Лин опустился перед алтарем на колени и поклялся такими словами:

«Не моя в том вина,
Коль рожден для вина.
Но я с хмелем покончу!
Выпью зелье до дна.
И, пожалуй, пустое
Тут болтает жена».

Он придвинул к себе вино и мясо и напился весьма основательно.

Лю Лин во хмелю давал себе полную волю. Как-то случилось, что он, напившись, снял с себя всю одежду и развалился голым в своих покоях. В таком виде его и застали и начали над ним смеяться. Лин же ответил так: «Я небо и землю почитаю для себя за крышу и стены, а дом да комнаты — за исподнее свое! Пристало ли господам заглядывать ко мне в подштанники?»

* * *

Ван Цзы-ю жил в Шаньине. Как-то ночью пошел сильный снег. Ван проснулся, открыл дверь и велел принести себе вина. Посмотрел — кругом все белым-бело. Тогда он встал и пошел бродить. На память ему пришли стихи Цзо Сы «Приглашение отшельнику», и тут он вспомнил о Дай Ань-дао. А Дай в это время жил у горы Яньшань. И вот Ван ночью сел в лодку и поехал к нему. Приехал он туда только утром. Подошел уже к самым дверям, да не вошел, а повернул назад. Его потом спросили, почему? Цзы-ю ответил: «Я поехал под влиянием чувства, а чувство прошло — к чему же мне было видеться с ним».

ШЭНЬ ЦЗИ-ЦЗИ

ВОЛШЕБНОЕ ИЗГОЛОВЬЕ

В седьмом году Кай-юань был среди даосских монахов некий старец Люй, постигший тайны бессмертия. Как-то раз по дороге в Ханьдань остановился он на отдых на одном постоялом дворе.

Сняв шапку и распустив пояс, сидел он, облокотившись на свой мешок. Вдруг взгляд его упал на юношу. Это был некий Лу. Одет он был в куртку из грубой шерсти, но приехал на вороном скакуне. Лу ехал на охоту, да заглянул по дороге на постоялый двор. Усевшись на одну циновку со старцем, юноша принялся болтать и шутить с самым беспечным видом. Но, взглянув ненароком на свою перепачканную землею простую куртку, Лу вдруг сказал с глубоким вздохом:

— Тяжко сознавать, что рожден ты на великое дело, а не нашел себе в жизни достойного места!

— Я-то подумал: вот счастливец, он и здоров и молод. И вдруг слышу, вы не довольны, ропщете на свою судьбу... С чего бы это? — усмехнулся старец.

— Что ж, по-вашему, мне выпала счастливая судьба? — спросил юноша.— Разве для этого я рожден?

— Значит, вы думаете, что достойны лучшей доли? Какой же, позвольте полюбопытствовать?

— Великий муж является в этот мир, чтобы замечательными делами прославить свое имя. Он покидает пост полководца лишь затем, чтоб стать главным министром, ест из священных треножных сосудов, услаждает слух изысканной музыкой. Если род его процветает, а семейство богато, можно сказать, что жизнь его удалась. Молодые годы провел я в ученье, углубил свои знания в странствиях. Я все думал: наступит время, выдержу экзамен и облачусь в одежды чиновника. И что же? Я в расцвете сил, достиг совершенного возраста, а все копаюсь в земле, ну не обидно ли это? — сетовал юноша.

Едва он закончил, как глаза его стали слипаться, и на него напал сон. В эту минуту хозяин поставил варить просо. Старец вытащил из мешка изголовье и, протянув его юноше, сказал:

— Прилягте на мое изголовье, и мечты ваши о славе сбудутся непременно.

Изголовье было из зеленого фарфора с отверстиями по бокам. Юноша склонил голову, собираясь прилечь, как вдруг увидел, что отверстия начали медленно расширяться и озарились светом. Тогда юноша встал, вошел внутрь и оказался у своего дома.

Через несколько месяцев он взял жену из рода Цуй, что из Цинхэ. Девушка была очень красива. Вскоре Лу начал богатеть. Одежды его и лошади день ото дня становились роскошнее. Юноше больше не приходилось сетовать на судьбу.

На следующий год Лу был выдвинут для сдачи экзаменов на степень цзиньши и выдержал испытания.

Вскоре он сменил свое грубое платье на облачение секретаря — редактора государственных бумаг. Потом император лично проэкзаменовал его и назначил начальником над стражею в Вэйнань, затем неожиданно он был переведен на должность цензора Двора внешних обследований, а позже — историографом, фиксирующим жесты и поступки императора. Одновременно ему было поручено редактирование императорских рескриптов и манифестов.

Через три года его перевели из Тунчжоу на должность правителя области Шэнь. Лу от природы любил нелегкий труд земледельца. Он приказал прорыть в западной части Шэнь оросительный канал в восемьдесят ли длиной, чтобы воды на полях было в достатке. Канал этот принес местным жителям благоденствие. Они поставили камень, на котором увековечили добродетели Лу. Затем он был военным наместником в Бяньчжоу, им-

перским ревизором в Хэнани и, наконец, губернатором столичного округа.

В этом самом году император предпринял военный поход против племен жун и ди, желая приобщить их к славе и величию своей империи. Пользуясь случаем, туфаньский полководец Симоло и чжулунский Манбучжи захватили крепость Гуа. Военный наместник Ван Цзюнь-чжо был убит. События эти привели к большой смуте в крае, что лежит между реками Хуанхэ и Хуаншуй. Император, вспомнив о талантах Лу как полководца, освободил его от обязанностей цензора Двора внешних обследований и помощника главы Большой императорской канцелярии и назначил военным наместником Западного края. Лу нанес врагам страшное поражение, срубил семь тысяч голов, очистил от врага огромный край величиной в девять сотен ли и возвел там три больших крепости, чем защитил эти земли от будущих набегов. Жители пограничных селений установили на вершине горы в Цзюйяне каменную плиту, увековечившую эти деяния.

По возвращении ко двору он был пожалован императорской грамотой с присвоением почетного титула. Благосклонность к нему императора достигла зенита. Он был назначен помощником главы Палаты чинов, затем возведен в начальники Казначейской Палаты управления государственных дел и одновременно получил пост Главы цензората. Все признавали его безупречность и достоинство. Но могущество Лу возбудило зависть одного из главных министров. Лу очернили посредством наветов и сплетен, и он был переведен в Дуаньчжоу правителем области.

Однако через три года он был возвращен ко двору и назначен чиновником, находящимся постоянно в распоряжении принца крови. Не успел он опомниться, как к нему перешли многие дела Главного секретариата империи и Большой императорской канцелярии. Десять с лишним лет вершил Лу государственные дела наравне с главою Главного секретариата империи Сяо Суном и главою Большой императорской канцелярии Пэй Гуан-тином. Он получил право высказывать свое суждение относительно тайных приказов самого наследника трона и по три раза в день виделся с императором. За советы свои и услуги он прозван был «Мудрым советником».

Однако завистливые сослуживцы Лу, желая ему навредить, возвели на него напраслину: будто стакнулся он с одним из начальников пограничных войск и замыслил измену. Император повелел заточить Лу в тюрьму. Чиновники в сопровождении воинов уже были у ворот его дома, готовые взять его под стражу. Лу, потрясенный, в смятенье и страхе обратился к жене и детям:

— У нашей семьи в Шаньдуне было пять цинов прекрасной земли. Можно было жить припеваючи. Нам не грозили ни голод, ни лютая стужа. Что за нелегкая погнала меня на службу? Вот к чему это все привело! Как желал бы я оказаться сейчас в короткой куртке из грубой шерсти на своем вороном скакуне на Ханьданьской дороге. Увы, это теперь невозможно!

Выхватив меч, он хотел заколоть себя, да жена удержала. Так он избежал погибели, но все его сторонники были преданы смерти, сам же он уцелел лишь благодаря заступничеству одного из евнухов: смертную казнь заменили ссылкою в Хуаньчжоу.

Прошло несколько лет. Император, убедившись, что Лу невиновен, возвратил его ко двору в должности начальника Главного секретариата империи, пожаловал ему титул яньского князя и удостоил множества неслыханных милостей.

К этому времени у Лу уже было пять сыновей: Цзянь, Чуань, Вэй, Ти и И, все не лишенные талантов. Цзянь получил степень цзиньши и был назначен внештатным секретарем Аттестационного ведомства. Чуань получил пост цензора Двора по общим вопросам. Вэй определен был главою Двора императорских жертвоприношений, а Ти стал военным главою в уезде Ваньнянь. Цзи, самый талантливый из всех, уже в двадцать восемь лет стал левым советником императора. Все сыновья переженились на девушках из самых знатных домов Поднебесной. В семье Лу родилось более десяти внучат.

Еще дважды ссылали его на пустынные окраины, и каждый раз ему снова удавалось возвыситься. Ссылка сменялась возвышением, возвышенье — падением. За пятьдесят с лишним лет он много раз возносился на вершину могущества и снова падал в бездну немилости.

От природы расточительный и невоздержанный, любил он праздность и наслаждения. Женские покои его дворца были полны певиц и наложниц удивительной красоты. Государь беспрестанно жаловал ему в дар то тучные земли, то великолепную усадьбу, то красавиц, то знаменитых скакунов,— всего и не счесть.

Но вот наконец Лу стал дряхлеть, недуги одолели его. Несколько раз обращался он с просьбой отпустить его на покой, но всякий раз получал отказ. Когда же Лу заболел, посланники государя, обгоняя друг друга, спешили к нему справиться о его здоровье. Его врачевали знаменитые лекари. Кто только не побывал у него! Чувствуя приближенье конца, Лу подал прошение на высочайшее имя:

«Ваш покорный слуга ведет свой род из Шаньдуна. Усладой его были сады и поля. Мудрой судьбой послан я был на высочайшую службу, где удостоился высших наград. Был я взыскан госу-

царевой милостью и достиг высоких постов. Вы удаляли меня от Двора лишь затем, чтобы сделать наместником, возвращали помощником Вашим. В перемещениях сих, среди дел и трудов, незаметно шло время, бежали годы. К прискорбию моему, случалось мне обмануть Высочайшее Ваше доверие, не подняться на вершину государственной мудрости, чем навлекал я Высочайшее недовольство, огорчал Вас и озабочивал. Дни шли за днями, неприметно подкралась старость. В этом году перевалил я за восемьдесят, а в такие годы у человека лишь три заботы: тяга к покою, страдания и болезни да ожидание близкой смерти. Глубоко сожалею, что более не могу быть Вам полезен. Надеюсь в Вашем Высочайшем ответе найти радость и утешенье. Не смею долее незаслуженно пользоваться Вашей неисчерпаемой милостью и прошу не числить меня с этих пор среди Ваших мудрых помощников. Не умея выразить Вам свою преданность и любовь, нижайше прошу Вас принять мою смиренную благодарность».

Ответ императора гласил:

«Ваши высокие добродетели сделали вас Нашим ближайшим помощником. Вы покидали Наш Двор только затем, чтоб оградить Нас от врагов, возвращались к Нам, неся с собой мир и процветание. Более двадцати лет царят в империи Нашей покой и благоденствие, поистине вы — опора Нашего государства. Ваша болезнь что корь у ребенка: дня не пройдет, как вы уж поправитесь. К чему огорчать себя опасеньями, что недуги ваши навечно? Нами отдан приказ верховному полководцу Гао Ли-ши срочно скакать к вам и ждать там известий о вашем здоровье. Выздоравливайте, берегите себя. Без сомнения, болезнь ваша скоро пройдет».

В тот же вечер Лу умер.

...Лу потянулся и пробудился от сна. Видит: он все на том же постоялом дворе, рядом сидит старец Люй, хозяин все еще варит на пару просо. Юноша присел на корточки и удивленно воскликнул:

— Неужели то был лишь сон?

— Таковы мечты человека о славе,— ответил юноше старец.

Долго сидел Лу, разочарованный, наконец с благодарностью молвил:

— Только теперь начинаю я постигать пути славы и позора, превратности нищеты и богатства, круговорот потерь и удач, суетность наших земных желаний, всего, к чему я так страстно стремился. Благодарю вас за урок.

Дважды склонившись в земном поклоне, юноша удалился.

БО СИН-ЦЗЯНЬ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КРАСАВИЦЫ ЛИ

Красавица Ли, госпожа Цяньго, была певичкой в городе Чанъань, но душевная чистота ее была столь необычайной, что заслужила всяческой похвалы; поэтому я, цензор, облеченный судейскими полномочиями, Бо Син-цзянь, записал ее историю.

В годы правления под девизом «Небесная драгоценность» жил некий правитель области Чанчжоу, Синъянский князь; имя его и фамилию я опущу и не стану указывать. Все его высоко почитали, он славился своим богатством, дом его был полон челяди.

В то время, когда он познал волю Неба, сыну его приспела пора надеть шапку совершеннолетия. Блестящий сочинитель изысканных стихов, юноша не имел себе равных, и современники восхищались им. Отец любил его и гордился им, называя «Тысячеверстным скакуном нашего дома».

Уездные власти заметили его талант и послали на экзамены. Юноша собрался ехать; отец щедро снабдил его всем, что было лучшего из одежды, лошадей, повозок, дал много денег, чтобы можно было нанять столичных учителей, и обратился к нему с напутственными словами:

— Я уверен, что с твоим талантом ты выйдешь победителем из первого же сражения, но на всякий случай я обеспечиваю тебя на два года всем, что только может тебе понадобиться. Все к твоим услугам, распоряжайся по своему усмотрению.

Юноша тоже был уверен в себе и считал, что первое место на экзаменах у него уже в руках.

Он выехал из Пилина и через месяц с лишним прибыл в Чанъань, где поселился в квартале Бучжэнли.

Как-то раз, возвращаясь с прогулки на Восточный рынок, юноша въехал в восточные ворота увеселительного квартала Пинкан, чтобы посетить приятеля, жившего к юго-западу. Доехав до улицы Минкэцюй, он увидел дом: ворота узкие, дворик тесный, но само здание высокое и величественное. У приоткрытой двери, опираясь на плечо молоденькой служанки с высокой прической, стояла девушка; такой красоты и изящества еще не бывало на свете. Увидев ее, юноша невольно придержал коня и все смотрел на нее, не мог наглядеться, топтался на месте и не мог уехать.

Нарочно уронив на землю плеть, он стал дожидаться своего слугу, чтобы тот поднял ее, а сам тем временем не отрывал глаз от красавицы. Она отвечала ему пристальным взглядом, словно

разделяя охватившее его чувство. Так и не решившись заговорить с ней, юноша в конце концов уехал.

С этой минуты он словно лишился чего-то. Пригласил к себе приятеля, хорошо знавшего все увеселительные места в Чанъани и рассказал ему все.

— Это дом коварной и корыстолюбивой женщины — госпожи Ли,— сказал приятель.

— Доступна ли красавица? — спросил юноша.

— Госпожа Ли очень богата. Все ее прежние возлюбленные — люди из именитых и владетельных семей, она привыкла к щедрым подаркам. Если не потратишь на нее несколько сотен тысяч монет, она и слышать о тебе не захочет.

— Да хоть бы и миллион — неужели пожалею! Лишь бы только она согласилась,— пылко воскликнул юноша.

На следующий день, надев лучшую свою одежду и взяв с собой всех своих слуг, он отправился к красавице. Как только он постучал в дверь, девочка-служанка сразу же открыла ему.

— Чей это дом? — спросил юноша.

Ничего не ответив, девочка убежала в дом, крича:

— Это тот господин, что вчера уронил плеть!

Красавица очень обрадовалась:

— Пусть старая госпожа его задержит, а я сейчас принаряжусь и выйду,— сказала она.

Услышав эти слова, юноша был счастлив. Когда его провели в дом, навстречу ему вышла седая сгорбленная старуха — мать красавицы.

Отвешивая низкие поклоны, юноша подошел к ней и спросил:

— Я слышал, что у вас сдается внаем свободное помещение. Это правда?

— Боюсь, что наша жалкая, тесная лачуга не подойдет такому почтенному человеку. Разве я посмею предложить ее вам?

Старуха провела юношу в просторную, очень красиво убранную комнату для гостей. Усевшись напротив юноши, она сказала:

— У меня есть дочь, нежное и слабое существо, таланты ее совсем ничтожны, но она любит принимать гостей. Мне хотелось бы представить ее вам.

И она велела красавице выйти к гостю. Чистые, прозрачные зрачки, белые кисти рук, грациозная походка так поразили юношу, что он вскочил с места, не решаясь поднять на нее глаза. Обменявшись с девушкой поклонами и положенными приветствиями, он наконец взглянул на нее и понял, что такой красоты ему еще никогда не доводилось видеть.

Юноша снова сел на свое место. Приготовили чай, подали вино, посуда сверкала чистотой. Прошло много времени, стемнело,

пробили четвертую стражу. Старуха спросила, далеко ли живет юноша.

— В нескольких ли за воротами Яньпин,— нарочно солгал юноша, надеясь на то, что его пригласят остаться, раз ему так далеко ехать.

— Барабан уже пробил,— сказала старуха.— Вам надо поспешить, чтобы не нарушить запрет.

— Я так наслаждался милым и ласковым приемом, оказанным мне, что не заметил наступления ночи,— ответил юноша.— Мне предстоит дальняя дорога, а в городе у меня нет родных. Как же мне быть?

— Если вы не пренебрегаете нашей убогой лачугой и собираетесь в ней поселиться, так что же дурного в том чтобы переночевать здесь? — сказала красавица.

Юноша несколько раз поглядел на старуху, и та наконец сказала:

— Ладно, ладно.

Тогда юноша позвал своего слугу и велел принести кусок двойного шелка, который он попросил принять в качестве небольшого возмещения за ужин. Красавица засмеялась и остановила его:

— Гостю не подобает так поступать. Сегодняшние расходы пусть лягут на наш жалкий дом, не побрезгуйте нашей грубой пищей. А вы угостите нас в другой раз.— Юноша настаивал, но она не соглашалась.

Перешли в западный зал. Занавеси, циновки, ширмы, широкие ложа слепили глаза своим блеском, а туалетные ящички, покрывала и подушки поражали роскошью и утонченным изяществом.

Зажгли свечи, подали ужин, кушанья были превосходно приготовлены и очень вкусны. Когда убрали посуду, старуха удалилась. Беседа юноши и девушки становилась все оживленней; они смеялись, шутили, обменивались любезностями...

— Вчера, когда я случайно проезжал мимо вашего дома,— сказал юноша,— вы стояли в дверях, и ваш образ запал в мое сердце. Всю ночь я провел в мыслях о вас, во сне и за едой думал о вас неотступно.

— То же было и со мной,— ответила красавица.

— Я приехал сюда не просто для того, чтобы снять у вас жилье, а в надежде, что вы подарите мне счастье, о котором я мечтал всю жизнь. Не знаю, какова будет ваша воля.

Не успел он это сказать, как вошла старуха и спросила, о чем они говорят. Юноша рассказал ей. Старуха улыбнулась:

— В отношениях между мужчиной и женщиной главное — желание. Когда любовь взаимна, даже воля родителей ей не пре-

града. Но ведь моя дочь — деревенщина, как может она служить вам у вашей подушки и циновки?

Юноша подошел к ней, низко поклонился и сказал:

— Считайте меня вашим слугой и кормильцем!

С этой минуты старуха стала смотреть на него как на любимого зятя. Выпив еще одну-две чары, они разошлись по разным комнатам.

На следующий день юноша перевез свои вещи в дом Ли и поселился там. С тех пор он начал сторониться людей своего круга и не встречался больше с прежними друзьями. Теперь он водил компанию только с актерами и певичками и тратил все время на пирушки и всякие увеселения. Кошелек его быстро опустел; тогда он продал повозку и лошадей, а затем и своих слуг.

Минул год с небольшим, а от его былого богатства и следа не осталось. Старуха стала относиться к нему с холодком, но любовь красавицы стала еще сильнее.

Как-то раз красавица сказала юноше:

— Мы с вами уже год как вместе, а потомства у нас все нет. Мне приходилось слышать, что дух Бамбуковой рощи безотказно отзывается на обращенные к нему мольбы. Я хочу отправиться туда, чтобы принести ему жертву. Как вы на это смотрите?

Ничего не подозревавший юноша, очень обрадовался. Он заложил в лавке свою одежду и на вырученные деньги купил мясо жертвенных животных и сладкое вино. Вместе с красавицей посетил храм, и они совершили там моление. На другой день вечером они пустились в обратный путь. Красавица ехала в своей повозке, а юноша следовал за ней на осле. Когда стали подъезжать к северным воротам квартала, красавица сказала юноше:

— В переулочке к востоку отсюда — дом моей тетки. Мне бы хотелось отдохнуть, да и ее повидать. Вы позволите?

Юноша согласился. Не проехали они и ста шагов, как показались большие ворота. Юноша заглянул в щелку, увидел большое здание. Служанка, следовавшая за повозкой, сказала: «Приехали». Юноша спешился; из дома вышел какой-то человек и спросил:

— Кто изволил пожаловать?

— Красавица Ли,— ответил юноша.

Слуга ушел в дом доложить. Вскоре вышла женщина лет сорока с лишним. Поздоровавшись с юношей, она спросила:

— Где же моя племянница?

Красавица вышла из повозки, и женщина пожурила ее:

— Почему столько времени не вспоминала обо мне?

Поглядев друг на друга, обе рассмеялись. Красавица представила тетке юношу; тот вежливо поклонился. Обменявшись приветствиями, прошли в сад, находившийся у западных ворот. На

холме, в густых зарослях бамбука, виднелся павильон; тихий пруд и уединенная беседка рождали чувство полной отъединенности от мира.

— Это собственный дом тетушки? — спросил юноша.

Красавица улыбнулась, но не ответила, заговорив о другом. Подали чай и редкостные плоды. Не успели закончить трапезу, как вдруг прискакал какой-то человек и, осадив взмыленного от быстрой скачки ферганского коня, закричал:

— Старая госпожа тяжко больна! Она без сознания! Немедленно возвращайтесь домой!

— Сердце мое в тревоге,— сказала красавица тетке.— Я поскачу домой верхом, а потом отошлю лошадь назад, и вы приедете с моим господином.

Юноша настаивал на том, чтобы сопровождать красавицу, но тетка и служанка стали с жаром уговаривать его остаться и даже загородили ему дорогу, мешая выйти из ворот.

— Старуха, наверное, уже умерла. Вы должны остаться и обсудить с нами, как устроить похороны, чтобы помочь ее дочери в беде. Зачем вам сейчас ехать с ней?!

Так и задержали его. Потом стали подробно обсуждать, что потребуется для похорон и жертвоприношений.

Свечерело, а лошадь все не присылали.

— Почему же никто не едет? — удивлялась тетка.— Вы бы, сударь, поспешили вперед, чтобы разузнать, а я приеду вслед за вами.

Юноша поскакал на осле, доехал до дома, глядит, а ворота наглухо заперты и запечатаны. Не помня себя от удивления, он стал расспрашивать соседа. Тот ответил:

— Собственно говоря, госпожа Ли арендовала этот дом только на время. Срок договора истек, и старуха выехала отсюда еще две ночи назад.

— Куда она переехала? — спросил юноша.

— Не сказала куда.

Юноша хотел немедленно пуститься в обратный путь, чтобы расспросить тетку красавицы, но уже совсем стемнело. Поневоле пришлось ждать до утра. Сосед дал ему поесть и пустил переночевать, взяв под залог его верхнее платье. Гнев юноши был так велик, что он до самого утра не сомкнул глаз. Едва забрезжил свет, как он оседлал осла и снова отправился к тетке красавицы. Долго стучал он в ворота; никто не отзывался. Несколько раз принимался кричать, наконец вышел какой-то слуга.

— Где госпожа? — спросил его в тревоге юноша.

— У нас нет никакой госпожи,— удивленно ответил слуга.

— Да ведь вчера вечером была, почему вы ее прячете? — возмутился юноша. Потом он спросил, чей это дом.

— Сановника Цуя. Вчера какой-то человек нанял этот двор на короткий срок, сказал, что ждет приезда родственника из дальних краев. Еще не стемнело, как все уехали.

Охваченный горем и смятением, юноша совсем потерял голову. Только теперь он понял, что его обманули. Совершенно убитый, вернулся он в свое старое жилище в квартале Бучжэнли.

Хозяин дома пожалел его и приютил, но юноша был так потрясен, что три дня не принимал пищи и тяжело заболел. Дней через десять ему стало совсем плохо. Боясь, что юноша уже не встанет, хозяин дома перевез его на рынок в лавку похоронных принадлежностей.

Прошло некоторое время; люди из лавки жалели юношу и кормили его в складчину. Постепенно бедняга начал вставать, опираясь на палку. Вскоре он уже смог помогать другим. Тогда хозяин лавки стал почти каждый день посылать его сопровождать похоронные процессии, носить траурный балдахин. Этим юноша и кормился.

Прошло несколько месяцев, юноша совсем окреп, но каждый раз, когда слышал траурные песнопения, он скорбел о том, что не он умер, начинал рыдать и долго не мог успокоиться. Возвращаясь с похорон, юноша повторял погребальные песни, а так как он был очень талантлив, то в скором времени так преуспел в этом искусстве, что певца, равного ему, не сыскать было во всей столице.

Его хозяин издавна соперничал с владельцем другой лавки похоронных принадлежностей, что находилась в Восточном ряду. Там были посилки и повозки редкой красоты, но зато с похоронными песнопениями у них не ладилось. Зная, насколько искусен юноша в песнопениях, хозяин восточной лавки дал ему двадцать тысяч и переманил к себе. Друзья и клиенты этого хозяина, видя способности юноши, всячески поощряли его и учили его новым мелодиям. Так прошло несколько недель, но никто не знал об этих тайных занятиях.

Как-то раз владельцы лавок похоронных принадлежностей заспорили между собой. Один из них предложил:

— Давайте устроим выставку похоронных принадлежностей на улице Тяньмэнь, посмотрим, у кого товары лучше. Проигравший выкладывает пятьдесят тысяч на угощение. Согласны?

Составили договор, для верности скрепили его печатями и устроили выставку. Народу собралось видимо-невидимо; несколько десятков тысяч человек. Надзиратель квартала доложил об этом начальнику городской стражи, начальник городской стражи довел до сведения правителя столицы. Горожане сбежались со всех сто-

рон, в домах почти не оставалось людей. Смотр начался утром и продолжался до полудня.

Лавка в Западном ряду оказалась в проигрыше: и повозки, и носилки, и похоронные принадлежности — все там было намного хуже. Вид у владельца лавки был очень пристыженный. Но вот он установил помост в южном углу улицы, и на него поднялся длиннобородый старик с колокольчиком в руках. Несколько человек встали позади него. Старик разгладил бороду, поднял брови, скрестил на груди руки, поклонился и запел похоронную «Песнь о белом коне». Кончив петь, он огляделся по сторонам с видом победителя, словно был уверен, что соперников ему не найдется. Все хвалили его исполнение, и сам он был уверен, что он единственный в своем роде и никто не может его превзойти.

Владелец другой лавки похоронных принадлежностей установил помост в северном углу. Вскоре на помост поднялся молодой человек в черной шапке, сопровождаемый пятью-шестью людьми, в руках он держал опахала. Это был наш юноша.

Оправив одежду и медленно обведя взглядом толпу, он начал петь высоким гортанным голосом с поразительным искусством. Он пел траурную песню «Роса на стеблях», и чем выше брал он ноты, тем чище звучал его голос, и эхо сотрясало деревья в соседней роще. Еще не отзвучали последние звуки, а слушатели всхлипывали, скрывая свои слезы.

Осмеянный толпой, владелец похоронных принадлежностей в Западном ряду вконец смутился. Выложив потихоньку пятьдесят тысяч, он незаметно скрылся. А люди стояли вокруг, как завороженные, никого не замечая, кроме певца.

Незадолго до этого был оглашен императорский указ, предписывавший начальникам пограничных областей раз в год прибывать ко двору; называлось это «представлением докладов». С этой целью приехал в столицу и отец юноши. Вместе с другими сановниками одного с ним ранга он переоделся и тайком пошел поглядеть на необычную выставку. С ним был старый слуга — зять кормилицы его пропавшего сына. Слуга вгляделся, вслушался — и узнал юношу, но не посмел сказать об этом, а только заплакал горькими слезами.

Удивившись, отец юноши спросил слугу, в чем дело, и тот сказал:

— Этот певец очень похож на вашего пропавшего сына.

— Моего сына убили разбойники, чтобы завладеть его богатством. Как же это может быть он? — возразил отец, но тоже не смог сдержать слезы и поспешил уйти. Слуга подбежал к тем, кто был с юношей, и стал расспрашивать:

— Кто это пел? Может ли быть что-нибудь чудесней!

— Сын такого-то,— ответили ему.

Когда слуга спросил, как его зовут, оказалось, что он изменил и имя.

Дрожа от волнения, слуга стал протискиваться через толпу, чтобы взглянуть на юношу поближе. Увидев его, юноша изменился в лице и хотел было скрыться, но слуга схватил его за рукав и закричал:

— Разве это не вы?

Они обнялись, заливаясь слезами. Потом слуга повел своего молодого хозяина к отцу. Но тот набросился на юношу с упреками:

— Ты опозорил наш род. Да как ты осмелился показаться мне на глаза?!

Он вывел юношу из дома и завел в восточный конец Абрикосового сада, что лежит к западу от пруда Цюйцзян. Тут он сорвал с сына одежду и начал избивать его плетью. Удары сыпались сотнями. Не в силах вынести страшной боли, юноша упал замертво, а отец ушел, оставив его лежать на земле.

Но среди тех, кто обучал юношу песнопениям, нашелся человек, заподозривший неладное; он велел одному из приятелей юноши потихоньку следовать за ним; тот видел, как жестоко расправился с юношей отец, и сообщил об этом товарищам; все очень опечалились. Двое взяли тростниковую циновку и пошли туда, где лежал юноша, чтобы прикрыть его мертвое тело. И вдруг они заметили, что под сердцем еще теплится жизнь. Они подняли его, стали приводить в чувство, понемногу он начал дышать глубже. Тогда его на циновке отнесли домой, стали поить через бамбуковую трубочку. Так прошла ночь, и наконец он очнулся.

Прошел целый месяц, но юноша не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Раны его начали гноиться, от них шел тяжелый запах. Товарищи измучились, ухаживая за ним. У них иссякло терпение, и однажды вечером они бросили его на дороге. Прохожие, жалея несчастного, бросали ему объедки, так что он не умер с голода. Прошло десять раз по десять дней, и юноша начал вставать на ноги с помощью палки. В лохмотьях, завязанных сотней узлов, чтобы они не развалились, с треснувшей тыквенной чашкой в руках, он бродил по городу, выпрашивая подаяние. Зима уже сменила осень; по ночам юноша устраивался на ночлег в навозных кучах, а днем скитался по рынкам и лавкам.

Однажды утром повалил сильный снег. Подгоняемый холодом и голодом, юноша брел по улице и жалобно просил милостыню. Если бы люди услышали его, то не могли бы остаться безучастными, но снег валил не переставая, и почти все двери были закрыты.

Юноша добрел до восточных ворот квартала Аньи и пошел вдоль кирпичной стены к северу. Миновав домов семь или восемь,

он увидел чуть приоткрытые ворота... Это был дом красавицы Ли, но юноша этого не знал и продолжал стонать:

— Я умираю с голоду и холоду!

Крик его раздирал душу, слушать его было нестерпимо.

— Это господин! Я узнаю его голос,— сказала красавица служанке и выбежала из дому.

Несчастный почти лишился человеческого облика, до того он был худ и покрыт струпьями.

Взволнованная до глубины души, красавица спросила:

— Вы ли это, господин?

Но юноша был так потрясен, так разгневан, что не мог вымолвить ни слова и только кивнул головой. Красавица крепко обняла его и, прикрыв своим вышитым рукавом, ввела в западный флигель. Теряя голос от волнения и горя, она прошептала:

— Это я виновата в том, что вы дошли до такого!

Сказав это, она лишилась чувств. Тут прибежала встревоженная старуха и закричала:

— Что случилось?

— Это господин такой-то,— сказала очнувшаяся девушка.

— Гони его отсюда! Зачем ты его привела? — кричала старуха, но красавица, строго взглянув на нее, ответила:

— Нет! Этот юноша из благородной семьи. Когда-то он ездил в богатой повозке, носил золотые украшения, придя же в наш дом, он быстро лишился всего. С помощью подлой хитрости мы его выгнали. Это бесчеловечно! Мы погубили его карьеру, сделали его посмешищем. Ведь любовь отца и сына установлена Небом; по нашей вине отец его разлюбил, чуть не убил и бросил погибать... Посмотрите, до чего он дошел! Все в Поднебесной знают, что я причина этому. У него при дворе полно родни, и если кто-нибудь из власть имущих займется расследованием этой истории, нам придется плохо. Раз мы обманывали Небо, дурачили людей, то и духи отвернутся от нас. Не будем же сами навлекать на себя несчастье! Вы были мне вместо матери целых двадцать лет, и если посчитать все расходы, то они не составят и тысячи лянов золота, Сейчас вам шестьдесят, я обеспечу вас деньгами на двадцать лет вперед и больше не буду от вас зависеть; я поселюсь с моим господином отдельно от вас, но мы будем жить неподалеку и сможем видеться с вами утром и вечером. Я так хочу, и этого достаточно!

Видя, что волю девушки ей не сломить, старуха нехотя согласилась. После расчета с ней у красавицы осталось сто лянов. Она сняла помещение домов через пять к северу, вымыла юношу, одела в новую одежду; сначала поила его рисовым отваром и кислым молоком, а дней через десять стала кормить отборными яствами.

Накупила ему нарядных шапок, туфель, носков. Не прошло и нескольких месяцев, как раны на его теле стали заживать, а к концу года юноша совершенно поправился.

Однажды красавица сказала ему:

— Теперь вы уже окрепли духом и телом. Поразмыслите как следует, много ли прежних знаний сохранилось у вас в памяти.

Подумав, юноша ответил:

— Пожалуй, лишь малая толика того, что я раньше знал.

Красавица приказала подать повозку и отправилась на прогулку. Юноша сопровождал ее верхом на коне. Доехав до книжной лавки, прилепившейся с южной стороны питейного заведения с флажком наверху, она дала ему сто лянов серебра, чтобы он купил себе все нужные книги. Уложив покупки в повозку, они вернулись домой. Ли попросила юношу отогнать от себя все заботы и думать только о занятиях.

Каждый день до глубокой ночи занимался он с необычайным усердием и прилежанием, красавица же сидела напротив него и ложилась спать, лишь когда начинал брезжить рассвет. Заметив, что юноша устал, она советовала ему отдохнуть за сочинением стихов иль поэм. Через два года он далеко продвинулся вперед, прочитав все книги, написанные в Поднебесной. Однажды он сказал красавице:

— Теперь, пожалуй, можно внести мое имя в списки экзаменующихся.

— Нет еще,— возразила красавица.— Вам надо заниматься с еще большим рвением, чтобы быть готовым ко всем трудностям.

Прошел еще год, и красавица сказала:

— Вот теперь можно сдавать экзамены.

На экзамене он прошел первым, слух о нем дошел до Палаты церемоний. Даже люди значительно старше его годами, увидев его сочинения, преисполнялись к нему уважением и тщетно старались добиться его дружбы. Красавица же сказала:

— Это еще не все. Талантливый муж, сдавший экзамены первым, может рассчитывать на место при дворе и на признание во всей Поднебесной. Но ваше прошлое ставит вас в худшее положение, чем других ученых. Поэтому вам придется заострить свое оружие, чтобы выиграть и следующую битву. Только тогда вы сможете соперничать с самыми знаменитыми мужами и стать первым среди них.

Юноша стал трудиться еще усерднее, чем прежде, слава его все росла. В том году были объявлены специальные экзамены для отбора выдающихся ученых. По высочайшему указу со всех концов страны созывались достойнейшие. Юноша написал сочинение на тему: «Говори с государем прямо, увещевай его настоятельно».

Имя его оказалось первым в списке выдержавших экзамены. Он получил назначение на должность военного советника в области Чэнду. Все сановники рангов чуть ниже первых министров стали его друзьями. Когда он собирался отправиться к месту службы, красавица сказала ему:

— Теперь, когда вы вновь обрели подобающее вам положение, я больше не испытываю чувства вины перед вами. Я хочу оставшиеся мне годы посвятить уходу за старухой матерью. А вам надлежит вступить в брак с девушкой из знатной семьи, чтобы не прервались жертвоприношения вашим предкам. Не уроните своего достоинства неравным браком. Берегите себя! Теперь я должна вас покинуть.

— Если ты оставишь меня,— воскликнул юноша, зарыдав,— я покончу с собой!

Но красавица была непреклонна. Юноша долго и страстно умолял ее; наконец она уступила:

— Я провожу вас за реку, но когда мы доедем до Цзяньмэня, вы должны будете отпустить меня.

Юноша согласился. Через месяц с лишним они прибыли в Цзяньмэнь. Еще до их отъезда отец юноши был отозван из Чанчжоу и назначен на должность правителя округа Чэнду и инспектора земель к югу от Цзяньмэня. Через двенадцать дней отец юноши прибыл в Цзяньмэнь, и юноша послал свою визитную карточку и сам явился на почтовую станцию. Сначала отец не решался поверить своим глазам, но, увидев на визитной карточке посмертное имя и ранги своего отца, был потрясен до глубины души. Приказав сыну подойти к нему, он обнял его и заплакал. Долго он не мог прийти в себя и наконец произнес:

— Теперь мы снова с тобой— отец и сын, как прежде!

Он стал расспрашивать юношу, и тот рассказал ему все, что с ним случилось. Отец был поражен его рассказом и спросил, где красавица.

— Она проводила меня до этого места, но теперь я должен отпустить ее домой.

— Так не годится! — сказал отец.

На рассвете он приказал подать упряжку и вместе с сыном отправился в Чэнду, а красавица осталась в Цзяньмэне, где нарочно для нее возвели хоромы. На следующий день по его приказу свахи занялись устройством счастья двух семей, надлежало подготовить шесть обрядов для встречи невесты, как это водилось, когда вступали в брак отпрыски владетельных домов Цинь и Цзинь. Когда все обряды были свершены и она принесла годичные жертвоприношения, Ли стала образцовой женой и рачительной хозяйкой дома. Все в семье мужа высоко ценили и почитали ее.

Несколько лет спустя родители юноши умерли, сын и невестка строго соблюдали траур. Подле хижин, сооруженных у могил родителей, выросли липжи, на каждом стебле было три цветка. Местные власти доложили об этом императору. Когда же несколько десятков белых ласточек свили гнезда под крышей их дома, то император был поражен и повысил юношу в чине. Когда срок траура кончился, его стали назначать на все новые важные посты; на протяжении десяти лет он достиг должности правителя нескольких областей. Красавице был пожалован титул госпожи Цяньго. У них было четверо сыновей, все они стали крупными чиновниками, даже самый низший по рангу и тот был, кажется, правителем города Тайюань. Сыновья женились на девушках из знатных семей, и по мужской и по женской линии все их потомки были имениты; такой знатной семьи и в столице было не сыскать!

Поразительно! Продажная певичка, а какая душевная чистота, даже самые добродетельные женщины древности вряд ли превосходили ее! Да разве может не перехватить дыхание от этого?!

Старший брат моего деда был правителем области Цзиньчжоу, затем его перевели в податное управление, а потом назначили смотрителем казенных перевозок по воде и суше. На всех этих трех постах он сменил героя этого повествования, поэтому знал его историю во всех подробностях.

В годы под девизом «Эра чистоты» мне довелось беседовать с Ли Гун-цзо родом из Лунси о женщинах высокой добродетели, и я рассказал ему историю госпожи Цяньго.

Слушая меня, Гун-цзо даже захлопал в ладоши от восторга; он-то и уговорил меня составить это жизнеописание.

И вот, напитав кисть тушью, я последовал его совету, изложил эту историю, чтобы сохранить ее в веках. Писал в восьмую луну, осенью года под циклическими знаками «и-хай» Бо Синцзянь из Тайюаня.

ЮАНЬ ЧЖЭНЬ

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ИН-ИН

В годы под девизом «Эра чистоты» жил студент по фамилии Чжан. Человек необычайно мягкого характера и утонченной души, красивый, с изящными манерами, он отличался высокой принципиальностью и чуждался всего недостойного.

Иногда он принимал участие в прогулках и пирушках друзей, но когда все предавались бурному веселью, словно боясь упу-

стить мгновенье, он лишь для вида делил веселье, не позволяя себе ничего лишнего. Так он достиг двадцати трех лет, не зная женщин. Друзья удивлялись этому, и Чжан говорил в свое оправдание:

— Вот, скажем, Дэн Ту-цзы, он ведь не был по-настоящему влюблен в женскую красоту, а просто предавался распутству. Я же искренне восхищаюсь красавицами, но еще не повстречал такой, которая могла бы ответить на мое чувство. Как бы мне объяснить вам? Ведь необыкновенную красавицу надолго не привяжешь к себе, а я способен на настоящее чувство.

Спрашивающие удовлетворялись этим объяснением.

Как-то раз Чжан поехал в город Пу. В десяти с чем-то ли к востоку от города находился буддийский монастырь «Обитель всеобщего спасения», и Чжан решил остановиться там. Случилось так, что одна вдова по фамилии Цуй, возвращаясь в Чанъань, проезжала через Пу и остановилась в том же монастыре. Госпожа Цуй происходила из рода Чжэнов; мать Чжана тоже была из этого рода. Сочлись родством, и оказалось, что вдова Цуй приходится Чжану теткой по женской линии.

В том году в Пу умер полководец Хунь Чжэнь. Находившийся при нем евнух Дин Вэнь-я мало смыслил в военном искусстве, и войско, воспользовавшись похоронами полководца как удобным моментом для мятежа, подняло бунт. В городе начались грабежи.

Семья Цуй путешествовала в сопровождении большого количества слуг и рабов и везла с собой множество ценных вещей. Оказавшись в чужом месте, приезжие дрожали от страха, не зная, к кому обратиться за помощью.

Чжан был в приятельских отношениях с местными военачальниками и добился, чтобы его родственникам дали надежную охрану; благодаря этому их никто не тронул.

Дней десять спустя в Пу прибыл Ду Цюэ, посланец императора, со специальным указом, предписывающим ему возглавить городской гарнизон. Ду Цюэ ввел строгие порядки, и солдаты пришли в повиновение.

Госпожа Цуй была безгранично благодарна Чжану за оказанную им помощь. Она пригласила юношу в зал для приезжих, где было приготовлено богатое угощение, и обратилась к нему со следующими словами:

— Ваша тетка, одинокая вдова, после смерти супруга осталась с двумя малыми детьми на руках. К несчастью, мы попали сюда в тревожное время и спаслись лишь благодаря вашей помощи. Я, мой маленький сын и юная дочь обязаны вам жизнью! Такое благодеяние нельзя сравнить с обычной услугой. Сейчас я

позову моих детей, чтобы они засвидетельствовали уважение своему старшему брату и благодетелю и хоть в ничтожной мере отблагодарили вас за оказанную им милость.

Она позвала своего сына Хуань-лана, миловидного славного мальчика лет десяти. Затем крикнула дочери:

— Выйди и поклонись своему старшему брату: он спас тебе жизнь!

Немного подождали, но Ин-ин не захотела выйти и попросила извинить ее, сославшись на нездоровье.

Мать рассердилась:

— Твой старший брат Чжан спас тебя. Если бы не он, тебя бы похитили мятежники. Как же ты можешь обижать его отказом выйти?!

Прошло много времени; наконец Ин-ин вышла; в домашнем платье, личико блестит, без всяких украшений, волосы не уложены в сложную прическу, только щеки слегка нарумянены. Девушка была поразительно хороша собой, красота ее ослепляла и волновала. Пораженный Чжан смущенно приветствовал Ин-ин. Та села рядом с матерью. Поскольку мать заставила ее выйти к гостю, то взгляд у нее был застывший, вид огорченный, казалось, она вот-вот лишится сознания. Чжан спросил, сколько ей лет. Мать ответила:

— Она родилась в седьмую луну года «цзя-цзы» правления нашего императора, а теперь у нас год под циклическими знаками «гэн-чэнь» правления под девизом «Эра чистоты», так что ей сейчас семнадцать лет.

Чжан пытался понемногу вовлечь Ин-ин в разговор, но девушка молчала. Тем и кончилось это первое знакомство.

С той поры Чжан, совершенно покоренный красотой девушки, только и думал, как бы дать ей знать о своих чувствах, но удобного случая все не представлялось.

Служанку семьи Цуй звали Хун-нян. Чжан не раз вежливо здоровался с ней и наконец улучил случай открыть ей свое чувство. Ошеломленная служанка прервала его и в смущении убежала. Чжан пожалел о своем поступке. На следующий день служанка снова пришла. Чжан чувствовал неловкость и стал извиняться, больше уже не заговаривая о своих чувствах. Но служанка сама начала разговор:

— Ваши слова, сударь, я не посмела передать барышне, не решусь передать их и никому другому. Но ведь вы, как мне известно, состоите в близком родстве с семьей Цуй. Почему бы вам не воспользоваться оказанным им благодеянием и не посвататься к барышне?

Чжан запротестовал:

— С детства у меня был не такой характер, как у других молодых людей. Даже находясь в компании кутил, я никогда не заглядывался на красоток. А теперь я словно в дурмане. С первой встречи голову потерял. Последние несколько дней иду и забываю куда, сажусь за стол и забываю о еде; боюсь, что и дня без нее не проживу. Если начать сговор через свах, то обмен брачными подарками, осведомление об именах — все это займет месяца три, к тому времени мои останки придется искать в лавке, где торгуют сушеной рыбой.

Служанка ответила:

— Целомудрие и скромность служат надежной защитой моей барышне. Даже почтенные люди не решились бы задеть ее слух каким-нибудь вольным словечком. А уж советы простой служанки она не станет слушать. Но она сочиняет прекрасные стихи и постоянно твердит их нараспев, печально устремив взор вдаль. Попробуйте смутить ее сердце любовными стихами. Другого пути я не вижу.

Чжан очень обрадовался, тотчас же написал «Весеннюю песню» в двух стансах и отдал служанке. В тот же вечер Хун-нян снова пришла к Чжану и вручила ему изящный листок тонкой бумаги:

— Вот, барышня велела вам передать.

На листке были написаны стихи, называвшиеся «Ясная луна в пятнадцатую ночь», они гласили:

«Я жду восхода луны
У западного павильона.
Легкий подул ветерок,
Тихо дверь приоткрылась...

Тени цветущих ветвей
Вдруг на стене колыхнулись.
Сердце мне говорит:
Это пришел любимый» [1].

Чжану показалось, что он понял тайный смысл стихов. Был четырнадцатый день второй луны. К востоку от флигеля, где жила семья Цуй, росло абрикосовое дерево. Взобравшись на него, можно было перелезть через стену.

И вот на следующий вечер Чжан влез на дерево и перелез через стену. Когда он подошел к западному флигелю, дверь была приоткрыта. Служанка спала, и Чжан разбудил ее.

[1] Здесь и далее стихи в переводе В. Марковой.

— Зачем вы пришли сюда? — вскрикнула Хун-нян в испуге.

— Твоя барышня в письме назначила мне встречу,— слукавил Чжан.— Пойди скажи ей, что я здесь.

Вскоре Хун-нян вернулась:

— Идет, идет! — повторяла она.

Чжана охватили и радость и страх, но он был уверен в успехе. Однако, когда Ин-ин пришла, она была одета скромно, держалась с достоинством и дала юноше суровую отповедь:

— Нет слов, вы, наш старший брат, оказали нам великое благодеяние. Вы спасли нашу семью! Поэтому моя добрая матушка и доверила вам своих детей, приказав нам лично выразить свою признательность. Зачем же вы прибегли к услугам бесстыдницы служанки и прислали мне непристойные стихи? Вы начали с того, что проявили благородство, защитив нашу семью от надругательства, а кончили тем, что сами нанесли мне оскорбление. Выходит, вы спасли меня от насильников, чтобы самому предложить мне позор? Какая же разница между ними и вами? По правде говоря, я хотела утаить ваши стихи от моей матери, хотя прикрывать безнравственность грешно. Но показать их матери означало бы причинить неприятность тому, кто сделал нам добро. Я думала послать вам ответ через служанку, но побоялась, что она не сумеет передать вам моих истинных мыслей. Хотела прибегнуть к короткому письму, но вы могли бы неверно его истолковать. Вот почему я решилась написать эти нескладные стихи. Мне надо было объясниться с вами лично. Я стыжусь того, что была вынуждена нарушить приличия, но единственное, чего я хочу, это — чтобы вы одумались и вели себя как подобает, не нарушая приличий.

Сказав это, Ин-ин повернулась и быстро ушла. Чжан долго стоял в растерянности. Наконец он перелез через стену и, совершенно убитый, вернулся к себе.

Прошло несколько дней. Как-то вечером Чжан в одиночестве спал на веранде; внезапно кто-то разбудил его. Вскочил в испуге, смотрит, а перед ним Хун-нян. В одной руке у нее подушка, в другой — сложенное одеяло. Прикоснувшись к плечу юноши, она прошептала:

— Идет, идет! Чего же вы спите?!

Положила подушку и одеяло рядом с постелью Чжана и ушла. Чжан долго сидел, протирая глаза. Ему все время казалось, что это сон. Но все же он оправил одежду и сидел, ожидая, в приличествующей позе. Наконец пришла Ин-ин, поддерживаемая служанкой. Пришла и прелестно смутилась, обворожительно прекрасная, такая истомленная на вид, словно у нее не было сил двигаться, совсем не похожая на ту строгую девушку, какой была в прошлый раз.

Был вечер восемнадцатого числа. Косые лучи луны, сияющие, как хрусталь, озаряли половину постели. Охваченному неописуемым восторгом Чжану казалось, что его посетила бессмертная фея, а не земная девушка. Время летело незаметно, вот уже ударил колокол в монастыре — близился рассвет. Хун-нян пришла поторопить девушку, и та, беззвучно заливаясь слезами, ушла, так и не сказав за всю ночь ни слова. Хун-нян поддерживала ее под руки. Придя в себя, Чжан встал и спросил себя в сомнении: «Не сон ли это?» Рассвело, и он увидел следы белил у себя на плече, одежда сохранила аромат духов, на постели еще блестели невысохшие слезы...

После этого дней десять от Ин-ин не было никаких вестей. И вот однажды Чжан принялся сочинять стихи в тридцать строк на тему «Встреча с небесной феей». Не успел закончить, как вдруг пришла Хун-нян. Он вручил ей листок со стихами, чтобы она передала их своей барышне. С этих пор Ин-ин стала снова допускать его к себе. Утром он тайком выходил из ее комнаты, вечером, крадучись, приходил. Почти месяц длилось их счастье в западном флигеле. Когда Чжан спрашивал, что будет, когда узнает мать, Ин-ин отвечала:

— Я ничего не могу поделать! — и старалась прекратить разговор.

Через некоторое время Чжан собрался ехать в Чанъань. Он заранее сказал об этом Ин-ин. Она ничего не возразила ему, но вид ее был так печален, что тронул бы любого. Две последние ночи перед отъездом Чжану не удавалось ее повидать, и он так и уехал на запад, не простясь с ней.

Прошло несколько месяцев, и Чжан снова приехал в город Пу. Свидания с Ин-ин возобновились, они встречались много раз.

Ин-ин была превосходным каллиграфом и отлично владела литературным слогом. Чжан много раз просил ее что-нибудь показать ему, но она отказывалась. Он пробовал своими стихами вызвать ее на ответ, но безрезультатно. Тем она и отличалась от других, что, обладая выдающимися талантами, делала вид, что ничего не умеет. Будучи красноречива, редко вступала в разговор. Питая глубокие чувства к Чжану, не выражала их в словах. Когда ее охватывала сильная тоска, она умела казаться безразличной, и выражение радости или гнева редко появлялось на ее лице.

Иногда вечерами Ин-ин в одиночестве играла на цитре. Мелодии были так печальны, что надрывали душу. Подслушав ее игру, Чжан просил ее продолжать, но она не захотела больше играть. Это еще больше усилило его страсть.

Близилось время государственных экзаменов, и Чжану надо было ехать в столицу. Вечером, накануне отъезда на запад, Чжан

не говорил больше о своей любви, а лишь грустно вздыхал, сидя рядом с Ин-ин. Зная, что близка разлука, Ин-ин, сохраняя почтительный вид, мягко сказала:

— Сначала обольстили, потом бросили! Так оно и должно было случиться. Я не смею роптать! Вы обольстили, вы и бросаете,— воля ваша. Теперь конец всем клятвам в верности до самой смерти! К чему же вам печалиться, уезжая? И все-таки вы огорчены, а мне нечем вас утешить. Вы часто говорили, что я хорошо играю на цитре, а я все стыдилась играть при вас. Но теперь вы уезжаете, и я исполню ваше желание.

Она приказала смахнуть пыль с цитры и тронула струны. Играла она мелодию «Из радуги яркий наряд, из сверкающих перьев убор», но почти сразу же звуки стали такими скорбными, что напев сделался неузнаваемо печальным. Все, до кого доносились звуки этой музыки, грустно вздыхали. Ин-ин вдруг прервала игру, оттолкнула цитру, по щекам ее текли слезы. Она убежала в комнату матери и больше не выходила.

На рассвете Чжан уехал.

В следующем году он потерпел неудачу на экзамене и решил остаться в столице. В письме к Ин-ин он излил все волновавшие его чувства. Вот ее ответ — в моем неискусном изложении:

«Я прочла Ваше письмо, полное глубокой любви ко мне. В чувствах любящих радость слита с грустью. Вы были так добры, что прислали мне в подарок пару резных заколок и пять цуней губной помады, чтобы я украшала свою прическу и красила губы. Хотя я очень благодарна Вам за внимание, но для кого мне теперь украшать себя? Я гляжу на Ваши подарки, и меня охватывают воспоминания, а тоска моя все растет. Вы заняты делом в столице, Вам необходимо оставаться там, чтобы добиться успеха на экзаменах. Я недостойна Вас, мне остается только испытывать боль от нашей разлуки. Но такова судьба, что тут еще можно сказать!

С прошлой осени я живу как в тумане, словно утратив себя. На людях заставляю себя говорить, улыбаться, а ночью, когда остаюсь одна, не перестаю лить слезы. Даже сны мои и те полны слез. Иногда во сне мы становимся близки, как прежде, и печальные мысли о разлуке снова бередят душу, но видение обрывается, прежде чем кончается тайное свидание. Опустевшее место на ложе еще кажется теплым, но тот, кто в моих мыслях, по-прежнему далеко.

Кажется, будто мы расстались вчера, а новый год уже пришел на смену старому. Чанъань — город соблазнов и наслаждений, захватывающий в путы чувств. Какое счастье, что Вы не забыли

меня, недостойную, и постоянно вспоминаете! Никогда я, ничтожная, не сумею по-настоящему отблагодарить Вас за это. Клятву же нашу о вечной верности я не нарушу! Раньше, благодаря нашему родству, нам довелось встретиться на пиру у моей матери. Служанка уговорила меня повидать Вас, и это привело к тайным свиданиям. Юноша и девушка не сумели совладать со своим чувством. Вы вели себя, подобно тому, кто увлек женщину игрой на цитре; у меня же, презренной, не хватило сил бросить в Вас челнок. Я стала преданно служить у Вашей подушки и циновки, чувство мое все росло. По своей глупости и простоте я полагала, что так будет всегда. В тот день, когда мы узнали друг друга, я не смогла совладать с собой и вот до какого позора дошла! Больше уже я не могу надеяться подавать полотенце и гребень. Пока жива, буду жалеть об этом. Но слова напрасны, остается лишь сдерживать рыдания!

Если по своему великодушию Вы не забудете меня, одинокую и несчастную, и снизойдете ко мне, то и после смерти я буду питать к Вам благодарность. А может быть, Вы, считающий себя выше всяких условностей, отвергнете мою любовь, погонитесь за большой удачей, пренебрегая тем малым, что принадлежит Вам, и прежнюю нашу близость сочтете для себя позорной, а наши клятвы — недостойными внимания. И все равно, даже когда кости мои истлеют, чувство мое к Вам не ослабнет, и моя душа, носясь по ветру и блуждая по холодной росе, будет вечно верна Вам. Живая и мертвая я буду верна Вам, больше мне нечего сказать. Слезы падают на бумагу, а чувство мне не излить! Берегите себя! Умоляю, берегите себя!

Яшмовый браслет — эту игрушку моих детских лет — я посылаю Вам, чтобы Вы носили как украшение на поясе. Яшмовый — потому, что яшма тверда и чиста, браслет — потому, что непрерывен, не имея начала или конца. Еще посылаю Вам моток спутанного шелка и бамбуковую ступку для измельчения чайных листьев. Эти вещи не стоят и взгляда, но они выражают мои желания: пусть будете Вы неподдельны, как яшма, пусть воля Ваша будет цельной, как этот браслет. На бамбуке следы моих слез, смятение моей тоски — как спутанный шелк. Я посылаю эти вещи как знак моей вечной любви к Вам. Сердце мое рядом с Вами, хотя тело мое далеко от Вас и на встречу нет надежды. И все же тайные мечты могут соединить две любящие души, разделенные расстоянием в тысячу ли. Берегите себя! Весенний ветер так опасен, ешьте побольше и теплее одевайтесь, чтобы не простудиться. Будьте осторожны в речах и берегите себя, обо мне же, недостойной, не беспокойтесь излишне».

Чжан показал это письмо кое-кому из своих приятелей, поэтому многие его современники узнали эту историю. Друг его Ян Цзюй-юань, прекрасно писавший стихи, написал «Стихи о девице Цуй». Вот они:

«Ты прекрасней Пань-лана.
Что яшма в сравненье с тобой?
В саду зацвели орхидеи,
Едва лишь растаял снег.

Поэт отзывчиво-чуткий,
Ты болен весенней тоской.
Прочел письмо от любимой:
В каждой строке печаль».

Юань Чжэнь из Хэнани написал продолжение к поэме Чжана «Встреча с небесной феей». Стихи его гласили:

«Лунный прозрачный луч
Проник сквозь плетеные шторы.
Уже огоньки светлячков
В густой синеве замелькали.

Край отдаленных небес
Начал тускнеть и меркнуть.
Ближних деревьев листва
Все темней и плотнее.

Среди бамбука в саду
Дракон на свирели играет.
Возле колодца поет
Феникс на ветке утуна.

Влажны шелка одежд,
Вечерней овеяны дымкой.
Подвески тихо звенят,
Колеблемы легким ветром.

Держит пурпурный жезл в руке
«Страны металла» хозяйка.
Духом парит в облаках
Юноша, чистый, как яшма.

Поздняя спустится ночь —
Сердце его тоскует,
Ранний блеснет рассвет —
Слезы дождем польются.

Играют жемчужин огни
На туфлях ее узорных.
Дракон меж пестрых цветов
Горит на расшитой одежде.

На яшмовой шпильке летит
Феникс в огненном оперенье.
На шарфе прозрачном ее
Красная радуга блещет.

«Здесь город,— сказала она,—
Зарос, словно пруд, цветами.
В столицу вернуться хочу,
Где стоит чертог государя.

Долгий-долгий вел меня путь
К северу мимо Лояна.
Случай забросил меня
На восток от дома Сун Юя...»

Сперва на его мольбу:
«Нет!» — отвечала сурово,
Но в юном сердце ее
Уже пробудилась нежность.

Склонила голову вниз,
Тень порхнула цикадой.
Тихо пошла — и летят
Нефритовые пылинки.

Лицо обратила к нему —
Сыплется снег лепестками.
В томленье легла на постель,
Сжала подушку в объятьях.

Утка с селезнем в тростниках
Шеи свои сплетают.
Зимородков чета
Наслаждается счастьем в клетке.

Черные брови слились
В одну черту от смущенья.
Алые губы мягки
И горячи, как пламя.

Дохнула — и пролилось
Благовоние орхидеи.
Сияет во тьме нагота
Безупречною белизною.

Не распрямиться. Не встать.
Не приподнимешь руку.
После боренья страстей
Сразу отхлынули силы.

Бегут по ее лицу
Бисером капельки пота.
Черные пряди волос
Разметаны в беспорядке.

Думалось, радость любви
Тысячи лет продлится.
Вдруг — мерно удары гудят...
Пробили пятую стражу.

Любовь оставляет всегда
Горечь воспоминаний.
Чем сильнее горела страсть,
Тем больнее ранит разлука.

На усталом ее лице
Следы глубокой печали.
Она находит слова
Одно другого прекрасней.

Дарит ему браслет
В знак верности нерушимой.
Клянется, что никогда
Своей любви не изменит.

Слезы и ночью видны
Там, где смыты белила.
Как летящий прочь светлячок,
Лампа едва мерцает.

Время любви бежит,
Словно конец свой торопит.
Уходит счастливая ночь,
Пришло нежеланное утро.

Он аиста оседлал
И к дальней Ло возвратился.
Звуки свирели ввысь
На гору Сун улетели.

Еще одежда его
Хранит аромат знакомый.
Еще на подушке его
Следы румян багровеют.

В печальных скитаниях он
Заглохший пруд посещает,
Но думой стремится туда,
Где чистый сияет лотос.

Простая лютня поет
О журавле одиноком,
А взор поневоле следит,
Как лебеди тянутся к югу.

Необъятна стремнина вод.
Не переплыть вовеки.
Далека небесная высь.
Никогда ее не достигнуть.

Облачко вдаль унеслось.
Разве его удержишь?
Смолкла музыка... Сяо Ши
Скрылся в высокой башне».

* * *

Друзья Чжана, услыхавшие об этой истории, были очень удивлены, но Чжан все-таки решил порвать связь с Ин-ин. Юань Чжэнь, который был особенно близок с Чжаном, спросил его о причине этого.

— Всегда было так,— ответил Чжан,— что женщины, которых Небо одарило необычайной красотой, приносили беду, если не себе, так другим. Если бы барышню Цуй полюбил какой-нибудь богатый и знатный человек, то и с ним у нее не было бы счастья. Почуяв свою силу, она обернулась бы драконом, сеющим страшные беды, или чудовищем, несущим гибель. Не знаю, каких превращений можно было от нее ждать! Синь, государь династии Инь, и Ю, государь династии Чжоу, были всевластными правителями

огромной империи, но они погибли из-за женщин. Народ возмутился против них. И до наших дней этих правителей все продолжают осуждать. Моей добродетели не хватило бы на то, чтобы одолеть губительные чары, поэтому я и поборол свое чувство к ней.

Все слышавшие слова Чжана вздохнули с сожалением.

Год спустя Ин-ин выдали замуж, Чжана тоже женили. Случилось ему проходить мимо дома, где жила Ин-ин, и он зашел туда и попросил ее мужа сказать ей, что двоюродный брат просит позволения повидать ее. Муж передал, но она не вышла. Чжан был так огорчен, что это было видно по выражению его лица. Узнав об этом, она тайком написала стихи, в которых говорилось:

«Истаяло тело мое, исхудало,
Увял цвет моей красоты.
Без роздыха мечусь на постели,
А встать с нее силы нет.

Не потому от людей убегаю,
Что взглядов досужих страшусь,
Но вам, признаюсь, на глаза показаться
Мне было бы стыдно теперь».

Так и не встретилась с ним...

Через несколько дней, когда Чжан собирался уезжать, она снова прислала ему стихи на прощанье:

«К чему теперь вам похваляться,
Что отказались от меня?
С какою силой обольщенья
Просили вы моей любви!

И если к нам вернетесь снова,
Прошу вас только об одном:
Любовь, что вы мне подарили,
Отдайте молодой жене».

С этих пор они уже не получали больше вестей друг о друге.

Большинство современников Чжана хвалило его за то, что он сумел исправить свою ошибку.

Встречаясь с друзьями, я часто заводил разговор об этой истории, чтобы те, кто знает о ней, не вели себя подобным образом, а поступающие так же, как Чжан, не упорствовали в своих заблуждениях.

В девятой луне года «Чжэньюань» правитель канцелярии Ли Гун-чуй ночевал у меня дома, в квартале Цзинъаньли. Во время

беседы мы коснулись этой печальной истории. Ли Гун-чую она показалась необыкновенной, и в назидание потомкам он написал «Песнь об Ин-ин». Барышню Цуй в детстве звали Ин-ин, поэтому Гун-чуй так назвал свое произведение.

ЛИ ФУ-ЯНЬ

ГУЛЯКА И ВОЛШЕБНИК

В те годы, когда на смену династии Северная Чжоу пришла династия Суй, жил некий Ду Цзы-чунь.

Молодой повеса и мот, он совершенно забросил дела семьи. Не знал удержу в своих прихотях, проводил время в кутежах и буйных забавах и очень скоро пустил по ветру все свое состояние. Попытался Цзы-чунь искать приюта у родственников и друзей, но не тут-то было: всякий знал, какой он бездельник.

В один из холодных зимних дней, оборванный, с пустым брюхом, шатался он по улицам Чанъани. Настал вечер, а поесть ему так и не удалось. И вот, сам не зная, зачем он сюда забрел, оказался он у западных ворот Восточного рынка. Жалко было смотреть на него. Голодный, измученный, стоял он, глядя на небо, и время от времени протяжно вздыхал.

Вдруг перед ним остановился, опираясь на посох, какой-то старик и спросил:

— Что с тобой? Отчего ты все вздыхаешь?

Цзы-чунь открыл ему душу, негодуя на родственников и друзей за их бессердечие. Лицо юноши красноречивее слов говорило о его страданиях.

— Сколько ж тебе надо, чтобы жить безбедно? — спросил старик.

— Да тысяч тридцати — пятидесяти, думаю, хватит,— ответил Цзы-чунь.

— О нет, мало! — воскликнул старик.

— Сто тысяч.

— Нет.

— Ну так миллион.

— Нет, и этого мало.

— Три миллиона.

— Трех миллионов, пожалуй, хватит,— согласился старец.

Он вытащил из рукава связку монет и, отдавая ее Цзы-чуню сказал:

— Вот тебе на сегодняшний вечер. Завтра в полдень я жду тебя у Подворья персов на Западном рынке. Смотри не опаздывай.

Цзы-чунь явился точно в назначенный срок и в самом деле получил от старца целых три миллиона. Старик ушел, не пожелав назвать ни имени своего, ни фамилии.

А Цзы-чунь, получив в свои руки такое богатство, принялся за прежнее. Казалось ему, что дни невзгод навсегда миновали. Он завел добрых коней, щегольские одежды и с компанией прихлебателей не вылезал из домов певиц, услаждая свой слух и взор музыкой, пеньем и танцами, а делом заняться и не думал. За два года он спустил все деньги.

На смену роскошным одеждам, экипажам и лошадям пришли одежды и лошади попроще и подешевле. Лошадей сменили ослы, а когда и ослы исчезли со двора, пришлось ходить пешком. Под конец Цзы-чунь снова впал в прежнюю нищету. Не зная, что предпринять, очутился он у рыночных ворот и хотел было снова дать волю жалобам. Но не успел он и слова вымолвить, к нему подошел тот же самый старик.

— Как! Ты опять в таком состоянии? — удивился он, взяв Цзы-чуня за руку.— Сколько же тебе нужно на этот раз?

Устыдившись, Цзы-чунь ничего не ответил. Старик настойчиво продолжал спрашивать его. Однако Цзы-чуню было так совестно, что он поблагодарил старика и отказался.

— Ну ладно, завтра в полдень будь на старом месте,— велел ему старик.

Как ни мучил стыд юношу, он все же явился к месту встречи и получил десять миллионов монет.

Пока у него не было денег в руках, Цзы-чунь сурово упрекал сам себя, всячески клялся употребить их с пользой и прибылью, да так, чтоб превзойти прославленных богачей Ши Цзилуня и И-дуня. Но получил он деньги — и все добрые намерения пошли прахом. Соблазны одолели его, и он зажил по-старому. Не прошло и двух лет, как сделался он беднее прежнего и снова пришел, голодный, к воротам рынка. И опять, все на том же месте, он повстречал старика. Сгорая от стыда, Цзы-чунь закрыл лицо руками и хотел было пройти мимо, но старик ухватил его за полу халата.

— Плохо же ведешь ты свои дела! — с упреком сказал старик и, вручая ему тридцать миллионов монет, добавил: — Если и они не пойдут тебе впрок, стало быть, тебе на роду написано прожить в бедности.

«Когда я, беспутный повеса, промотал свое состояние и пошел по миру, никто из моих богатых родственников не позабо-

тился обо мне. А этот чужой старик выручил меня уже три раза. Чем могу я отплатить ему?» — сказал сам себе Цзы-чунь и обратился к старцу:

— Я больше не растрачу попусту денег, которые вы так щедро мне подарили. Нет, я устрою все свои семейные дела, дам хлеб и кров моим бедным родственникам, выполню все свои обязательства. Я полон к вам такой глубокой привязанности, что решил, покончив с делами, отдать себя в полное ваше распоряжение.

— Этого я и хотел,— сказал старик.— Когда ты устроишь свои дела, приходи повидать меня. Я буду ждать тебя через год в пятнадцатый день седьмой луны возле двух священных деревьев Лао-цзы на горе Хуашань.

Почти все бедные родичи Цзы-чуня жили в местах, расположенных к югу от реки Хуай, и потому он купил в окрестностях Янчжоу большой участок земли размером в добрую сотню цинов, построил в пригороде отличные дома, открыл сотню с лишним гостиных дворов возле проезжих дорог. И дома и земли он роздал своим бедным родичам. Потом переженил племянников и племянниц и перевез на родовое кладбище прах своих близких, захороненных в чужих краях. Он расплатился со всеми, кто был к нему добр, и свел счеты с врагами. Едва он устроил свои дела, как подошло время встречи.

Цзы-чунь поспешил к условленному месту. Старик уже поджидал его в тени двух кедров, что-то напевая. Вместе они поднялись на вершину горы Хуа в Заоблачную беседку. Пройдя более сорока ли, увидели чертоги, которые, верно, не могли принадлежать простым смертным. Сверкающие облака парили над высокими крышами, в небе кружились аисты.

В середине главной храмины, воздвигнутой на самой вершине горы, стоял котел для приготовленья пилюль бессмертия. Был он огромен, более девяти чи вышиной. Пурпурно-лиловые блики пламени ложились на окна и двери. Вокруг него стояли девять Яшмовых дев, а спереди и сзади Зеленый дракон и Белый тигр. День начал склоняться к закату. Старец, сбросив мирскую одежду, предстал перед Цзы-чунем в желтом уборе и платье священнослужителя. Взяв три пилюли из белого камня и чарку вина, он подал их Цзы-чуню и велел тут же растворить их в вине и выпить. Затем расстелил у западной стены тигровую шкуру и, усадив на ней Цзы-чуня лицом к востоку, приказал ему:

— Остерегись произнести хоть слово! Что бы ни предстало пред взором твоим: высокие боги, мерзкие черти, ночные демоны, дикие звери, ужасы ада, твои близкие, связанные и изнемогшие в пытках,— знай, это все лишь наваждение, морок. Не издавай ни

звука, храни спокойствие и не пугайся: они не причинят тебе вреда. Крепко запомни мои слова!

Сказав это, он удалился. Оглядевшись вокруг, Цзы-чунь ничего не заметил, кроме корчаги, до краев заполненной водой. В огромной храмине было пусто.

Но едва даос исчез, как вдруг горные кручи и долины покрылись множеством колесниц и тьмой всадников. Запестрели знамена, засверкали боевые топоры и воинские доспехи. Крики сотрясли небо и землю. Среди всадников был один, по всему видно — главный предводитель. Был он великан, ростом более чжана. Его доспехи и броня на его коне слепили глаза блеском чистого золота. Он ринулся прямо в храмину с яростным криком:

— Кто ты, дерзнувший не склониться предо мной?

Сотни воинов, вооруженных мечами и луками, обнажив клинки, устремились вперед, на Цзы-чуня, и стали грозно вопрошать, что он здесь делает и как его зовут. Цзы-чунь упорно молчал.

Воины пришли в неистовое бешенство, они кричали, что надо отрубить ему голову, спорили, кому поразить его стрелами. Голоса их были подобны грому. Цзы-чунь не отвечал. Полководец впал в крайний гнев — и исчез.

Вдруг явились в великом множестве свирепые тигры, смертоносные драконы, грифоны и львы, гадюки и скорпионы. С рыком и ревом они заметались перед Цзы-чунем, грозя схватить и растерзать, сожрать и растоптать его. Ни единый мускул не дрогнул в лице Цзы-чуня. Мгновенье — и все рассеялось.

Затем хлынул страшный ливень, грянул гром, и молнии разорвали тьму, будто огненное колесо прокатилось по небу. Одна молния сменяла другую. Они так ослепительно сверкали, что Цзы-чунь не мог даже глаз открыть. Миг — и вода залила двор и стала быстро подниматься. Потоки, стремительные, как вспышки молний, ревели, подобно раскатам грома. Казалось, рухнули горы, реки покинули русла и ничто не остановит потопа. В мгновенье ока волны нахлынули на Цзы-чуня, но он продолжал сидеть, словно ни в чем не бывало.

Тут вдруг снова появился полководец, ведя за собой служителей Ада с буйволиными головами, демонов с устрашающе злобными мордами. Они принесли кипящий котел и водрузили его перед Цзы-чунем. Вокруг котла стали демоны с длинными копьями по два зубца на каждом.

— Назови свое имя, и ты свободен! — крикнул полководец.— А не назовешь, берегись! Эти демоны вырвут твое сердце из груди и бросят тебя в кипящий котел.

Цзы-чунь продолжал хранить молчание. Тогда привели жену Цзы-чуня и бросили ее, связанную, у подножья ступеней.

— Назови свое имя, и ты спасешь ее! — крикнул полководец.

И опять Цзы-чунь не проронил ни звука. Демоны били его жену и пороли кнутом, пускали в нее стрели и метали ножи, варили в котле и жгли огнем. Она исходила кровью и, не в силах вынести мучений, вскричала:

— Я уродлива и тупоумна и, конечно, не стою вас. Но вы позволили мне прислуживать вам с полотенцем и гребнем, и я честно служила вам десять лет. Теперь я во власти демонов и терплю страшные муки. Я бы не осмелилась вас просить, если б это стоило вам унижений, но одно ваше слово — и они пощадят меня. Кто сравнится с вами в жестокости? Вы можете спасти меня одним словом — и молчите!

Она кричала и молила, проклятья и упреки прерывались слезами. Видя, что этим его не пронять, полководец сказал Цзы-чуню:

— Может, ты думаешь, мы остановимся перед убийством твоей жены?

Он приказал принести топор, которым разрубают мясные туши, и начал медленно рубить жену Цзы-чуня на куски, начиная с ног. Она испускала дикие вопли, но Цзы-чунь и не взглянул на нее.

«Этот негодяй весьма поднаторел в дьявольском искусстве,— решил полководец.— Нельзя оставить его в живых».

И он приказал своим приближенным убить его. Когда Цзы-чунь был умерщвлен, все его высшие и животные души предстали пред Ямараджей.

— Это и есть дьявольское отродье с горной вершины Заоблачная беседка? Схватить его и низвергнуть в преисподнюю,— повелел Ямараджа.

Ему лили в глотку расплавленную медь, секли его железными батогами, колотили вальками, молотили жерновами, клали на огненную лежанку, варили в котле, гнали на гору, сплошь утыканную ножами, заставляли взбираться на деревья, ощетинившиеся острыми копьями,— не было пытки, которой бы его не подвергли. Но, твердо храня в сердце слова даоса, Цзы-чунь все стерпел, не проронив ни звука. Служители Ада доложили своему владыке, что у них в запасе нет новых пыток, все исчерпаны.

— Этот мерзавец с черной душой,— изрек свой приговор Ямараджа,— не достоин родиться мужчиной. Быть ему в новом рождении женщиной и явиться на свет в семье Ван Цюаня, управителя уезда Даньфу области Сун.

И Цзы-чунь родился девочкой. Она была слабенькой и много хворала. Не проходило и дня, чтоб ее не кололи лечебной иглой или не пичкали каким-нибудь снадобьем. То упадет в огонь, то свалится с кровати... Но, как бы ни было ей больно, она ни разу не вскрикнула. Девочка выросла и стала редкой красавицей, но никто никогда не слышал от нее ни единого слова. В семье все считали ее немой. Нередко девушке чинили всякие обиды и притесняли ее, а она все молчала.

Один ученый-цзиньши из их краев по имени Лу Гуй прослышал о ее красоте и прислал к ней сватов. Семья было отказала, заявив сватам, что девица нема, но Лу Гуй заупрямился:

— Разве нужен язык, чтобы стать хорошей женой? Она еще будет примером для иных длинноязыких.

Семья согласилась, и Лу женился на девушке, совершив все положенные по обычаю обряды. Супруги зажили в любви и согласии. Спустя сколько-то времени жена принесла сына. Мальчику едва сравнялось два года, а он был смышлен и разумен не по летам.

Но в глубине души Лу не верил, что жена его в самом деле нема. И вот однажды, взяв сына на руки, он заговорил со своей женой. Она молчала. Так и эдак пробовал он вытянуть из нее хоть слово, но напрасно.

Лу пришел в великую ярость и закричал:

— В прежние времена жена советника Цзя так презирала его, что он не мог добиться от нее ни слова, ни улыбки. Но как-то раз увидела она, сколь ловко муж ее стреляет фазанов, улыбнулась и заговорила... Я же не так уродлив, как этот Цзя. И что он умел? Только стрелять фазанов, а я владею литературным даром. Но ты все же не снисходишь до разговора со мной. Мужчине не нужен сын, рожденный матерью, что так презирает его отца!

Взяв ребенка за ножки, он хватил его о камень. Ребенок ударился головкой и убился, кровь забрызгала все вокруг. Мать любила ребенка всем сердцем. Позабыв о запрете, она, не помня себя, закричала отчаянным криком.

Не успел крик замереть, как Цзы-чунь уж сидел на прежнем месте. Перед ним был даос. Шла пятая стража. Пламя вдруг огромным снопом вырвалось через крышу наружу и охватило дом со всех четырех сторон, грозя обратить его в пепел.

— О, как глубоко я ошибся в тебе! — со вздохом молвил даос.

Схватив Цзы-чуня за волосы, он сунул его в котел с водой. Мгновенье — и пламя погасло.

— Твое сердце, сын мой,— сказал даос,— отрешилось от гнева и радости, скорби и страха, ненависти и вожделений. Лишь одну любовь не смог ты побороть. Это было последнее испытанье.

Не исторгни гибель ребенка крика из уст твоих, мой эликсир был бы готов и ты бы стал бессмертным. Воистину труден путь к бессмертию. Правда, я могу вновь приготовить мой эликсир, но жизнь твоя слишком крепко привязана к этому бренному миру. Что же! Живи человеком!

И он указал Цзы-чуню путь назад, к людям. Цзы-чунь с усилием встал на ноги и заглянул в котел. Огонь погас. Внутри котла лежал железный стрежень толщиною в руку, длиною в несколько чи. Сбросив с себя верхнюю одежду, даос начал резать стержень ножом.

Вернувшись домой, Цзы-чунь горько упрекал себя за то, что не сумел сдержать клятвы, и решил попытаться исправить свою ошибку.

Спустя немного времени Цзы-чунь еще раз поднялся на эту горную вершину, но все на ней было дико и пусто. Вздыхая от напрасных сожалений, возвратился он домой.

ЛЮ ФУ

ИЗ КНИГИ «ВЫСОКИЕ СУЖДЕНИЯ У ЗЕЛЕНЫХ ДВОРЦОВЫХ ВОРОТ»

ЧЭНЬ ШУ-ВЭНЬ

Чэнь Шу-вэнь толкает Лань-ин, и она падает в воду

Чэнь Шу-вэнь был уроженцем столицы. Он предался чтению классических книг и выдержал экзамен на знание классиков, а при получении должности, в соответствии со своими способностями был назначен на место чжубо — помощника судьи — в уезде Исин округа Чанчжоу. Дом Чэня дошел до крайности в бедности и нужде, не было припасов хотя бы на несколько дней, и Чэнь не мог поехать к месту службы. Чэнь был пригож и статен собой, но только очень удручен невзгодами. Вот как-то, праздный, сидел он в доме певицы Лань-ин и рассказал ей, что уже получил должность, но из-за бедности не может ехать. Лань-ин и скажи ему: «В кошеле у меня найдется не одна тысяча связок монет. С вами, господин, я не знакома исстари, но если у вас нет супруги, я бы пошла за вас, ибо давно хочу выйти замуж». Чэнь ответил: «Я еще не женат, а если так, то это славное дело». Не откладывая, они заключили свадебный договор.

Чэнь воротился домой и обманул жену, сказав ей: «Бедность наша такова, что у меня нет средств на дорожные расходы, и мы

не можем ехать вместе. Я поеду один, а как получу жалованье, помогу тебе деньгами». Супруга согласилась с его словами.

Чэнь и Лань-ин вместе поплыли на восток вниз по реке Бяньшуй. Они замечательно слюбились друг с другом. Время от времени Чэнь посылал жене что-нибудь из вещей. Ровно через три года истек срок его службы. Чэнь и Лань-ин сели в лодку и поплыли вверх по течению реки Бяньшуй. Чэня одолевали думы о своем: «В кошеле да шкатулках у Лань-ин не меньше тысячи связок монет, она облагодетельствовала меня и не знает, что у меня есть жена, а жена не ведает про Лань-ин, так что обе не подозревают друг о друге. Вернешься, увидят одна другую, и заварится судебное дело». День и ночь он строил разные сметы, стараясь найти выход, и надумал, что нет иного средства, кроме как убить Лань-ин,— если не избавиться от нее, не оберешься после хлопот. Не медля он принялся вместе с Лань-ин пить вино, и оба до чрезвычайности опьянели. А на исходе первой стражи он столкнул Лань-ин в реку, а вслед за ней и служанку. Чэнь стал голосить и лить слезы: «Моя жена нечаянно оступилась и упала в реку, служанка хотела ее спасти и вместе с ней потонула». Стояла кромешная тьма, вода в реке Бяньшуй стремительна, словно стрела, лодочник пытался выловить женщин у берега, но так ничего и не увидал.

Чэнь прибыл в столицу и стал жить со своей прежней женой. А как стали сообща обсуждать дела, то Чэнь сказал ей так: «Дом наш в крайней нужде, к счастью, есть у меня в коробе две-три тысячи связок монет, потому незачем мне служить». Тогда же он построил амбар и стал брать вещи под заклад. Минул год, и на этом деле Чэнь основательно разбогател. Наступил праздник Дунчжи — День зимнего солнцестояния, и Чэнь с женой пошел поглазеть на даосские храмы. Подошли они и к храму Сянского князя, от толпы отделились две женщины и последовали за ними по пятам. Чэнь обернулся, поглядел — вроде бы Лань-ин со служанкой. Вдруг одна из женщин забежала вперед и поманила Чэня рукой. Сославшись на какие-то обстоятельства, Чэнь отослал жену, чтобы та пошла далее одна. Чэнь и Лань-ин присели на каменные ступени галереи. Он спросил: «Как поживаешь?» Лань-ин ответила: «В прошлый-то раз попалась я на вашу уловку, обе мы угодили в реку. В обнимку вместе мы проплыли одно или два ли, то погружались в воду, то всплывали, пока не попалось нам бревно, оно-то и не дало нам уйти под воду. Мы кричали и звали вас на помощь». Чэнь покраснел от стыда, залился слезами и сказал: «Ты упилась вином, стояла на носу лодки, оступилась и упала в воду, твоя служанка хотела тебя спасти и бросилась вслед за тобой». Лань-ин сказала: «На что старое вспоми-

нать, только себя тревожить. Я осталась живой, и нет у меня на вас обиды. Я давно обитаю в здешних местах, дом мой как раз за рыбным переулком подле городской стены. Завтра днем господин непременно придет навестить меня, а не придет — подам жалобу властям. Тогда уж наверняка возбудят уголовное дело и велят вас стереть в порошок». Чэнь сделал вид, что согласен, и каждый пошел своей дорогой.

Чэнь воротился домой в тоске и страхе. При входе в переулок жил некто Ван Чжэнь-чэнь, он набирал детей и учил их. Чэнь подробно изложил ему свое дело, прося дать совет. Чжэнь-чэнь сказал: «Если не пойти, непременно начнется судебное разбирательство, а это вам не выгодно». Тогда Чэнь пошел на базар, купил баранины, фруктов, чайник вина и из опасения, что домашние узнают слишком много, снял для себя помещение в другом переулке и велел мальчику отнести вещи. Сам же направился к городской стене. Обе женщины уже встречали его подле городских ворот. Шу-вэнь вошел с ними. Стало смеркаться, а он все не выходил. Носильщик остался стоять за воротами, из-за ворот не доносилось ни звука. Кто-то спросил: «Что это вы так долго здесь стоите? На дворе темно, а вы все не уходите?» Носильщик сказал: «Я был нанят одним человеком, он сейчас в этом доме, еще не выходил, вот и жду». Кто-то из местных жителей сказал: «Этот дом пуст». Взяли свечу и все вместе вошли внутрь дома: на полу были разбросаны бокалы и блюда, сам Чэнь лежал на земле лицом вверх, руки его были сцеплены за спиной, будто связаны, а вид таков, как если бы он понес наказание и принял смерть. Доложили властям, позвали жену опознать труп. Поскольку никаких повреждений на теле не обнаружили, велели отнести труп домой и захоронить.

В рассуждение скажу так. Об этом деле прослышали все жители столицы. Говорили, что тот человек нанес обиду одной женщине, избежал наказания по закону людей, но был казнен гуем — неуспокоенной душой усопшей. Восторжествовала их справедливость, однако до чего все странно!

ЗАПИСКИ О СЯО-ЛЯНЬ

Лиса-оборотень Сяо-лянь завлекает ланчжуна

Некий человек, прозывавшийся Ли-ланчжуном, (забыл его фамилию и имя), был уроженцем столицы, происходил из могучего рода, из которого вышло немало правителей областей. Ли был человек удивительный и выдающийся, большого притом щедролюбия; сам почтительно питал родителей.

В середине годов Цзя-ю он купил девочку-рабыню, лет ей было как раз полных тринадцать. Начал учить ее музыке — нет таланта, стал приучать к женской работе — не разумеет. Прошло несколько дней, решил вернуть ее старой хозяйке. Сяо-лянь залилась слезами, сказала: «Если возьмете меня на попечение и под свой кров, когда-нибудь непременно отблагодарю вас». Ли изумился.

Шло время, понемногу она обучилась пению и танцам, между тем красота ее день ото дня расцветала.

Ли пожелал было взять ее в свои покои, но она как могла уклонялась. В другой раз стал искушать ее ласковой речью, но лицо ее было бесстрастно, движенья стыдливы, держалась твердо, не давала переступить черту. Наконец, мысли его разгорелись: напоил вином и всю ночь с нею блудил.

Наутро она стала просить прощения, говоря: «Разве я, недостойная, посмела бы и прежде противиться вам? Просто думала, не сумею насытить буйную страсть господина». Сказала и вновь поклонилась.

С той поры он полюбил ее непомерно. Супруга князя, урожденная Сунь, была женщиной совершенномудрой и не ставила мужу препон.

Как-то вечером — то было в последний день луны — Сяо-лянь прислуживала князю у ложа, а среди ночи исчезла. Ли испугался, взял свечу, пошел искать. Ни на кухне, ни у колодца, ни в отхожем месте не было. Тогда решил, что у нее тайная любовь, и впал в ярость.

На рассвете Сяо-лянь пришла, Ли был охвачен гневом. Избил плетьми, стал допытываться, где была она. Сяо-лянь говорит: «Досада! Хотела все быстро успеть, а теперь придется, видно, открыть потайное господину».

Ли повлек ее в укромный покой, велел отвечать. Сяо-лянь сказала: «Не повезло мне сегодня, обнаружилась моя природа, и более не смею утаивать правду, ибо, как говорят, «и руки и ноги наружу». Ваша наложница не человек сего мира, но и не гуй — неприкаянная душа. Терпение ваше прервется, пока я расскажу сполна о всех поворотах моей судьбы. Мне заранее стыдно,— ведь, наверное, господин прогонит меня! Но если он явит милосердие и жалость и не станет меня выспрашивать, буду вечной ему опорой и отблагодарю за щедрость».

Ли сказал: «Все иное прочее можно бы и простить, а вот куда ты ходила, мне не сказавшись?»

Сяо-лянь в слезы: «Далеко ходить я не смею, но в последний день каждой луны должна я предстать перед посланцем бога земли. Если не явлюсь, обвинят и тебя и родню. Это все равно, как

если бы я числилась в списках крестьян-земледельцев, так уж у нас заведено».

Ли все не мог поверить.

Но вот настал последний день луны, Ли устроил пированье, напоил Сяо-лянь густым вином допьяна, она и уснула. Он засветил вокруг ложа высокие свечи, стал караулить.

Перед рассветом тревожно встрепенулась, поднялась: «Господин милосерден, сам сторожит, чтобы я не ушла, но из-за него я буду наказана». И на другую ночь она все же исчезла, а на рассвете пришла. Ли хотел было вновь расспросить, Сяо-лянь приспустила одежду, показала ему — спина в синих шрамах. Ли попросил у нее прощения.

С тех пор на скончанье луны Сяо-лянь исчезала, и Ли не гневался.

Как-то он занемог. Сяо-лянь сказала ему: «Не зовите лекаря! Вы любите красный перец, от него воспалилась грудина. Пусть приготовят отвар из носорожьего рога и корня жэньшэня да добавят румян и белил и — толику белых квасцов. Примите — и сами без лекаря, выздоровеете». Так все и было. И потом всяк захворавший следовал ее советам и выздоравливал. Иной раз предсказывала она удачу или злосчастие, и не было случая, чтоб не сбывалось. Ли полюбил ее еще больше и доверился до конца. Однажды она известила, что некий родич его, согласно скрижалям судьбы, умрет в такой-то день. Он умер. В другой раз: «Тогда-то получите повеление, станете правителем области». Сбылось. Получил. Собрался в отъезд. Она заплакала: «Я приписана к здешним местам, не смею следовать за вами. В груди моей привязанность и любовь, на сердце — тоска и печаль. Не забывайте былое, вспоминайте меня!»

Ли твердо хотел ехать с ней. Но она сказала: «Помните, както ночью я не явилась к сроку и тяжко была наказана. Если уеду и пропущу год, казнят смертью!» Ли понял и более не настаивал. Настал день отъезда, Сяо-лянь провожала его. Взяла за руку, молвила: «Исполнится год службы, супруга ваша преставится. Еще пойдут раздоры с чиновником, что ведает доставкою хлеба в столицу, вы падете духом и вернетесь домой. Я приду к вам, но соблюдайте осторожность, храните тайну!»

Ли прибыл к месту службы. Минул год, и опочила его супруга. Прибыл в те края дурень-чиновник и обвинил Ли в утаивании денег, зерна, в проволочке казенных дел. Ли оправдывался, но его не желали слушать и отстранили от дел. Так кончен был его путь правителя области.

Жена Ли умерла, и он был безутешен. Поехал в столицу, но служить более не захотел. Вышел в отставку и жил затворником

в собственном доме. Вот как-то сидит он, глядя перед собой, вдруг — стук в дверь. Вышел — Сяо-лянь. Обрадовался, просит присесть. Расчувствовался, облился слезами, промолвил: «Все вышло, как ты и сказала!»

Он расставил вино, еду, велел Сяо-лянь танцевать, весь день радовался. Стала она жить в его доме. На скончанье луны собралась уходить. Со слезами на глазах поклонилась, сказала: «Есть у вашей наложницы тайная просьба — хотела бы умереть в этом обличье». Ли спросил: «Отчего ты так говоришь?» — «Ваша Сяо-лянь,— отвечает,— не человек сего мира, а лиса с городской стены. В прежнем рожденье жила в некоем доме наложницей, плела лукавые речи на сто ладов, чтобы оговорить хозяйку, капала ложью, пока хозяин не прислушался. Одной мне стал расточать ласки и любовь, а жена умерла от печали и гнева. Пожаловалась на меня судьям из мира мрака, и судили те быть мне лисой. Теперь истекли мои луны и годы, за деянья свои буду я растерзана соколами и псами. Тогда меня кинут в жертвенный треножник, и я стану усладой людской утробы, и застряну в ней, и не смогу возродиться в круговороте превращений. Потому прошу вас в означенный день выйти за столичные ворота. Увидите там охотника с лисами, посулите ему хорошие деньги, скажите: «Желал бы купить лису для целебного снадобья». Возьмите ту, у которой в ушах тонкий, в несколько цуней длиной, пурпурный волос! Потом обрядите ее в платье из северной бумаги, постройте гроб из древесной коры и захороните на высоком холме,— и благодарность моя будет вечной!» Она снова поклонилась и опять залилась слезами. Затем вынула два золотых слитка «на похороны», чтобы не думали, будто у тех, «кто отличен от людей, нет чувств».

Ли с жаром все обещал. Он оставлял ее в доме, Сяо-лянь воскликнула: «Господин узнал о моих нечестивых делах, он должен был возненавидеть меня». Но он не отпускал ее. На другой день с поклоном простилась: «И в мире мрака всему — свой срок. Не печальтесь! Когда-нибудь и я возвращусь к жизни! Быть может, господин не запамятует тогда о прежних счастливых днях». Скорбно поникнув, она удалилась, ушла.

В означенный день Ли ступил за городские ворота, пошел к северу и вправду увидал человека с убитыми лисами за спиной. Он выбрал лису с пурпурным волоском, купил ее и воротился домой. В надлежащий день схоронил, сам написал для нее поминальное слово. Схоронил по людскому обычаю — к югу от городской стены и от лавок. Место сие и поныне называют Лисья гора.

ЦЮЙ Ю

ИЗ КНИГИ «НОВЫЕ РАССКАЗЫ У ГОРЯЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА»

ЗАПИСКИ О ПИОНОВОМ ФОНАРЕ

В те времена, когда в восточных землях Чжэцзяна правителем был почтенный господин Фан, в Минчжоу каждый год в первую луну на все пять страж пятнадцатой ночи выставляли фонари. Ученые мужи и достойные жены со всей округи ходили и любовались фонарями.

В год «гэн-цзы» правления под девизом «Достижение истинного» некий студент Цяо поселился на склоне Чжэньминских гор. Незадолго пред тем он похоронил жену, жил одиноко и был безутешен. И на сей раз он не пошел на празднество, а только вышел из дому и остался подле ворот.

То была пятнадцатая ночь. Кончилась третья стража. Улица пустела. Вдруг он увидел служанку с фонарем в виде двух цветков пиона, следом шествовала красавица лет восемнадцати, юбка — красная, рукава — цвета зимородка. Грациозно-прелестная, как легко ступала она! Внезапно обе девицы свернули на запад и скрылись из виду.

Цяо при свете луны разглядел ее: нежное лицо и молодые зубы. Несравненная красавица Поднебесной! Душа и разум его всколыхнулись, сердце стеснилось, он не мог совладать с собой. Хвостом поплелся, пошел за ними. То вперед забежит, то отстанет. И так прошли они несколько десятков шагов. Девица вдруг обернулась и с улыбкой молвила: «Не пришел еще срок свидания в тутах. Но кажется мне, эта встреча при свете луны не случайна».

Цяо тут же к ней устремился, поклонился и говорит: «Моя бедная хижина рядом, в шаге отсюда, не более. Быть может, красавица заглянет ко мне». Та не противилась. Сказала служанке: «Цзинь-лянь, возьми фонарь и проводи нас». Затем отпустила ее. Взявшись за руки, студент и девица вошли в дом. Свиданье с Ушаньской девой или феей реки Ло не показалось бы студенту слаще. Он спросил ее, кто она и где живет. Она ответила: «Я из семьи Фу, прозванье мое Ли-цин, а имя Соу-фан. Я дочь прежнего судьи округа Фынхуа. Родители умерли, дела семьи пришли в упадок. Нет у меня ни старших, ни младших братьев, никого из родни не осталось, я одна как перст. Теперь вместе с Цзиньлянь оказалась на чужбине, поселилась к западу от озера».

Студент оставил ее у себя. Манеры ее были исполнены прелести и соблазна, речи — лукавства и очарования. Когда ж опу-

стили они полог и сблизили головы на подушке, оба предались любовной радости. На рассвете девица простилась с ним и ушла. Под вечер явилась снова. И так продолжалось с полмесяца.

Старик сосед заподозрил неладное. Однажды, просверлив дыру в стене, он заглянул в комнату и в ужасе отшатнулся: напудренный скелет и студент сидели рядышком под фонарем. На следующее же утро стал он допрашивать студента, но тот крепко хранил тайну и всячески отговаривался. Тогда старик сказал: «Беда ваша уже невдалеке! Человек: ведь он полнейшее проявление чистого света. Духи — несут нам бесовскую скверну из мира тьмы. Вы живете с бесовкою-оборотнем и о том не знаете, проводите ночи с мерзкой нечистою тварью и того не постигли, но в один безвестный день жизненные ваши соки иссякнут, и тогда беда подойдет к вам вплотную. Увы! Увы! Ранней весной своих лет вы окажетесь под гнетом Желтой земли. Не печально ли это!» Цяо испугался, все ему подробно рассказал и почтительно испросил совета. Старик ответил: «Коль скоро они говорят, что поселились к западу от озера, пойдите туда, разыщите их и все узнаете».

Цяо внял наставлению и отправился на западный берег Лунного озера. Он подымался на гребень длинной дамбы, спускался с высокого моста, справлялся у местных жителей, останавливал прохожих людей, но все говорили, здесь нет таких. Было уже под вечер, когда он забрел передохнуть в Храм на Средине озера. Он обошел восточную галерею, перешел на западную, а дойдя до конца ее, очутился вдруг в темной комнате. Посреди комнаты стоял гроб, с крышки гроба свисала белая полоса бумаги, на ней надпись: «Гроб с телом барышни Ли-цин, дочери судьи округа Фынхуа». Перед гробом висел фонарь в виде двух цветков пиона, под фонарем — погребальное изваяние служанки, на спине — начертано имя: Цзинь-лянь. Волосы у студента приподнялись, по телу побежали холодные просянки-мурашки. Он стремглав выбежал из храма, не смея оборотиться назад. Ночь он провел у старика-соседа, настолько велик был его страх!

Сосед сказал ему: «Наставник-даос Вэй из Обители тайного сокровения — ученик Истинно святого Вана, основателя храма. Его магические заклинания и амулеты по силе своей не знают себе ныне равных. Скорее идите к нему и просите о помощи».

Наутро Цяо поспешил в обитель. Цяо был еще далеко, наставник уже испуганно произнес: «Дух нечисти сгустился! Ты зачем пожаловал?» Студент склонился пред его церемонным возвышением и поведал о своем деле. Наставник вручил ему два написанных киноварью заклинания и наказал одно повесить на воротах, другое — прикрепить над ложем, а главное — ни под каким видом не ходить в названный храм. Студент вернулся домой

и сделал все по слову наставника. С той поры и вправду никто к нему более не являлся.

Так прошел месяц с небольшим. И вот однажды Цяо решил навестить приятеля, который жил вблизи Узорчатого моста. В гостях у него студент выпил, захмелел и, совершенно забыв о советах мудрого Вэя, забрел по дороге домой в Храм на Средине озера. Но не успел он подойти к воротам храма, а навстречу с поклоном выступила Цзинь-лянь: «Барышня давно ожидает вас. Кто мог подумать, что ваши чувства окажутся столь непрочны!»

Она повела студента по западной галерее прямо в ту самую комнату. Там его ожидала уже Ли-цин. Она принялась укорять Цяо: «С вами, господин, мы не были знакомы исстари, случайно встретились в Праздник фонарей. Но я поняла ваши намерения и согласилась служить вам. К утру я уходила, к ночи являлась вновь. Чувства мои были глубже, нежели ваши. Но вы поверили речам лукавого даоса. Он заронил в вас сомнение, и вы решили навеки порвать со мной. Вы оказались неверным возлюбленным. Я затаила на вас глубокую обиду. Ныне, к счастью, мы увидились снова, так неужто расстанемся опять?!» С этими словами она схватила студента за руку и повлекла к гробу. Тут гроб сам собою раскрылся, и Ли-цин, обняв студента, вместе с ним в него и вступила. Крышка захлопнулась. Студент умер в гробу.

Старик сосед удивился, что студент так долго не возвращается домой, и отправился его искать. Расспрашивал о нем по всей округе. Так он добрался до той самой комнаты в Храме на Средине озера. Глядит, а из-под крышки гроба выглядывает пола студентова платья. Старик попросил одного монаха поднять крышку. Студент, мертвый, лежал в гробу, повалившись ничком на труп Ли-цин. Девица же была словно живая. Монах вздохнул: «Барышня эта — дочь судьи Фу из округа Фынхуа. Скончалась семнадцати лет от роду. Семья перебралась на север, а гроб на время поставили здесь. Вот уж двадцать лет, как нет от них вестей. Не думал я, что станет она бесовкой».

Гроб с телами Ли-цин и студента Цяо вынесли и схоронили у Западных ворот.

С той поры на рассвете, когда небо затянуто тучами, или же ночью, когда луна подернута мглой, нередко видели, как идут рука об руку девица и студент, а служанка с фонарем в виде двух цветков пиона шествует впереди. И беда тому, кто встречался им на пути. Тотчас одолевал его тяжкий недуг, то охватывал жар, то сотрясал озноб. Лишь заказав поминальную службу и принеся в жертвы мясо трех животных да сладкое молодое вино, удавалось избавиться от болезни. А случалось, несчастный так и не подымался более.

Вся округа была в величайшем страхе. В конце концов обратились с жалобой и за помощью к наставнику Вэю. Наставник сказал: «Знаки моих заклинаний способны отвадить беду лишь в самом начале, но коль скоро морок сгустился, одолеть ее мне не по силам. Однако я слышал о славном даосе по прозванью Железная шапка. Обитель его на вершине горы Сыминшань. Посредством волшебной мощи он надзирает за духами и чертями. Пойдите к нему».

Жители гурьбою бросились в горы. Ветви и лианы сплетались в непроходимые дебри, ручьи и потоки внезапно преграждали тропы, но на самой вершине горы и в самом деле оказалась тростниковая хижина. Подле хижины, облокотясь на столик, сидел даос и наблюдал, как юный отрок-послушник приручал дикого аиста.

Люди пали пред старцем наземь и доложили о том, что привело их к нему. Даос поначалу упорно отнекивался: он — отшельник в горном лесу и равно утром и вечером — погружен в отрешенный покой, что не сведущ он ни в каком из волшебных искусств, а им, мол, наговорили лишнего. Они сказали: «Мы не сами о том проведали, наставник Вэй из Обители тайного сокровения научил нас». Даос немного смягчился: «Я стар, тому уж лет шестьдесят как не бываю внизу, а этот мальчишка распустил язык и затрудняет меня».

Даос вместе с отроком стали тут же спускаться с горы, легки и быстры были его шаги. К Западным воротам лежал его путь. Возле ворот воздвиг он алтарь саженью в длину, саженью вширь. Затем он взошел на него, сел на циновку, стал неподвижен и прям. Начертал заклинанье и сжег его. Тотчас явилось небесное воинство — в желтых повязках на головах, в кофтах из парчи, при золотых латах и копьях с резьбой. Все как один молодцы — ростом более чжана. Благоговейно склонившись, выстроились они кругом алтаря в ожиданье приказа. На лицах — почтительность, твердость. Даос им сказал: «Неужто не знаете, в здешних местах появилась нечисть, творит злодейство, тревожит, пугает людей. Поймайте немедля».

Выслушав приказ, воинство разбежалось. Не прошло и минуты, а уж всех троих — девицу, студента и Цзинь-лянь привели закованных в кангу. Их стегали кнутами, били плетьми, так что кровь увлажнила окрестность. Даос долго бранил и укорял их, потом приказал написать свои показанья. Небесные воины роздали бумагу и кисти. Вскоре каждый написал покаянья в несколько сот слов. Вот они кратко:

Студент Цяо показал: «Признаю, что некогда, похоронив супругу, я жил одиноко. Как-то стоял у ворот и нарушил запрет на плотскую любовь, не поборол соблазна. Я не смог уподобиться

юному Суню, что, увидев змею о двух головах, разрубил ее, а пошел по стопам Чжэня, что, повстречав лисицу о девяти хвостах, влюбился и пожалел ее. Но прошлого не переменишь, что толку в моем раскаянье?»

Девица Ли-цин показала: «Признаю, что в ранней молодости покинула мир. На всем свете у меня не осталось родных. Хотя шесть душ и покинули тело мое, но женское начало во мне не погибло. Однажды пятьсот лет назад, прогуливаясь с фонарем при луне, повстречала я лиходея и полюбила его. Поэтому в мире людей снискала я славу героини многих любовных повестей. Потеряв путь, я не ведала, как вернуться. Могла ли я избежать преступления!»

Цзинь-лянь показала: «Высушенная на огне бамбуковая дщица была моим костяком, раскрашенный шелк — моей плотью. Кто-то сделал меня погребальною куклой в могильном холме: и статью, и обликом, в точности по подобию людскому, только маленькой. Но хоть и дано мне имя, от людей я была отлична, ибо лишена души. Тогда-то и пришел мне в голову удачный замысел. Иначе разве б осмелилась я строить мерзкие ковы?!»

Затем воины собрали их показанья и представили даосу. Тот взял огромную кисть и вывел такой приговор: «Я слышал, что в древности Великий Юй отлил треножники, на коих изобразил все виды нежити. С той поры нечистые духи и тайные оборотни более не могли скрывать от мира свое обличье. Слышал еще, что некогда Вэнь Цяо зажег светильник в роге насорога и смог увидеть очертанья подводного царства и дворца дракона. Бесконечно деленье оттенков меж тьмою и светом, причиной тому изобилье дивных и странных существ. Встреча с ними не приносит людям добра, прочим тварям сулит злосчастье. Когда показалась в воротах душа умершего, правитель Цзин из царства Цзинь в тот же год опочил. Когда нечисть, оборотясь свиньей, визжала в диком поле, правитель Сян из земель Ци нашел свой конец. Несчастье вершится мерзкою нечистью, карающая беда являет возмездие.

Затем-то на девяти небесах и учредили чиновников, дабы казнить тех, кто напускает мару. Того ради в десяти преисподних установили суды для наказанья за зло, дабы не миновали кары бесприютные тени умерших и злые горные духи, духи деревьев, скал и речных потоков, за лукавые их обманы, а якши и демоны не посмели предаваться злодейству.

Но вот, когда в миру, являющем чистоту и спокойствие, наступает година смут, недобрые призраки переменяют облик, населяют иные стати, притворяясь травой, древесами. По ночам, когда небо во мраке и сеется дождь, иль на рассвете, когда луна низка и Шэнь-звезда блестит у окоема, лукавая нежить свищет, шумит

в стропилах, подглядывает в дома, а выйдешь взглянуть — никого. Подобно мухе, что вцепилась в собачий хвост, подобно озверевшему быку и жадному волку, с быстротою ветра, как яростный огонь разносится безжалостная хворь.

Студент из дома Цяо так и не прозрел причины. Что горевать о смерти Цяо? Девица из рода Фу хоть и рано умерла, но похоть ее была ненасытна. Как мог знать о том студент Цяо? Что же до бесовских наваждений Цзинь-лянь, то обреченная быть жертвенной куклой, она морочила людей. Дурачить свет и надувать народ — значит рушить устои и преступать законы.

Когда лисы спокойно разгуливают — быть смуте, когда перепела поднимаются с полей — быть беде. Нити злодейства проникли все и вся, тому, кто поименован преступником — нет снисхождения. Подобно человеку, что провалился в яму и тотчас начинает ее заваливать, бесприютные души умерших сами себя обнаруживают.

Посему следует: фонарь, испускающий двойной свет, сжечь, всех троих взять под стражу и отправить в тюрьму девятой преисподни».

Таков был приговор. Повеление даоса надлежало выполнить так же быстро, как некогда выполнял их Люй-лин. Тотчас раздались жалобные стоны осужденных, они упирались и не желали идти в тюрьму. Но главный из небесных чиновников, подгоняя и волоча, увел их. Даос стряхнул пыль с рукавов и ушел в горы.

На следующий день люди пошли благодарить даоса. Но больше никто не видел его. Только хижина под тростниковою крышей стояла на прежнем месте. Кинулись к наставнику Вэю, стали расспрашивать его, но Вэй вдруг онемел. С тем они и ушли.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕВЫ В ЗЕЛЕНОМ

Чжао Юань из Тяньшуя давно схоронил родителей и был еще не женат. В годы под девизом «Непрестанного покровительства духов» он отправился странствовать ради познаний в науках и добрался до Цяньтана. Здесь на Лиановом хребте близ озера Сиху и поселился. Рядом с его жильем оказался старый дворец сунского сановника Цзя Цю-хо.

Юань жил одиноко и печалился. Как-то раз он вышел постоять за воротами. День клонился к вечеру. Вдруг он заметил молодую женщину, шедшую с восточной стороны: в зеленом платье, на голове прическа «двойной шиньон», лет по виду неполных шестнадцати, и хотя не в богатом убранстве и густых румянах, блистала красотой, небывалой среди людей. Долго Юань не мог отвести

от нее взора. На другой день он снова вышел из дому и снова ее увидел. С той поры всякий раз в сумерки она проходила мимо его ворот. Однажды Юань спросил ее: «Где же тот дом, в который вы ходите каждый вечер?»

Девушка рассмеялась и с поклоном ответила: «Он соседствует с вашим, только вы, господин, о том не ведаете». Юань начал склонять ее к любовному свиданию, она радостно согласилась. Повинуясь желанью Юаня, осталась в его доме. Они предались любви. Под утро она простилась с Юанем и ушла. К ночи опять явилась. Так минул месяц с небольшим. Любовь их и сердечная нежность достигли края. Юань как-то спросил, какого она роду и где ее дом. Она ответила: «Довольно и того, что вам досталась красавица. На что вам знать больше?»

Но Юань был настойчив, и она наконец сказала: «Я одета в зеленое платье, вот и зовите меня Девой в зеленом». Но где живет, так и не открыла.

Юань подумал было, что подруга его — наложница из знатного дома и по ночам ускользает на любовные свидания. Быть может, она опасалась, что тайна выйдет наружу и пойдут толки, вот и прятала свое имя. В конце концов он поверил собственным рассуждениям и более не тревожился. Отныне все помыслы Юаня были сполна отданы той, кого он дарил любовью!

Как-то ночью Юань сильно захмелел. Он показал на зеленое платье девы и шутливо произнес: «Поистине, о тебе можно сказать стихами «Книги песен»:

«О, эти зеленые одежды!
Под зеленой одеждой юбка желтая видна».

При этих словах дева столь устыдилась, что несколько дней не навещала его. Когда она наконец пришла, Юань стал допытываться о причине. Дева сказала ему: «Я чаяла до глубокой старости быть подле господина. Зачем же вы обошлись со мною, как с простою наложницей или служанкой. Вы обидели меня и лишили покоя. Несколько дней не смела я прислуживать вам. Но теперь вы всё знаете, я не буду таиться. Выслушайте меня.

Мы с вами, господин,— продолжала дева,— знакомы не первый день, и не сегодня возникла наша любовь и нежность. Будь по-другому, я не могла бы прийти сюда».

Юань спросил, что все это значит. Дева печально вздохнула: «Мне трудно это вымолвить, но ведь, по правде говоря, я существо не здешнего мира. Однако я не навлеку на вас беды. Согласно сроку, что назначен нам в обители мрака, нить наших уз еще не пресеклась». Юань страшно испугался, сказал только: «Поведай мне обо всем».

«В те старинные времена я была в услуженье у первого сановника сунского дома Цзя Цю-хо. Родом я из почтенной линьаньской семьи, с юных лет искусна в шахматной игре. Когда минуло мне пятнадцать лет, я начала справлять должность отрока при шахматах в его покоях. Сановник имел обыкновение отдыхать в Зале полупраздного времяпровождения. Всякий раз, возвратясь из дворца, он звал меня с шахматами. Я была обласкана его милостями. В те самые годы вы, господин, были младшим слугою и ведали приготовлением чая. А когда было надобно, разносили чайную посуду и, случалось, нередко входили на женскую половину. Вы были молоды и хороши собой. Едва увидав, я вас полюбила. Как-то я вышила шелковый кошелек и темною ночью отдала его вам. Вы подарили мне черепаховую коробочку для румян. Так мы обменялись дарами, чтобы вечно помнить друг друга. Порядки в доме и усадьбе были строги, мы не могли поступать по собственной воле. Меж тем слуги приметили нас и очернили перед хозяином. Сановник милостиво пожаловал нас смертью. Здесь, на этом озере, возле Обломанных мостков мы и приняли казнь. Господин возродился в мире людей, меня ж занесли в Книгу неприкаянных духов. Ну разве не горестна моя участь?»

Дева умолкла. Рыдания сдавили ей горло, она залилась слезами. Рассказ ее взволновал и потряс Юаня. Наконец он произнес: «Значит, встреча наша была предначертана в наших судьбах. Станем же еще нежнее и ласковее друг с другом — во исполнение тех давних клятв».

Дева поселилась в доме Юаня и более никуда не уходила.

Юань не имел дарований к шахматам. Дева научила его играть. Она передала ему все тонкости своего искусства, и все, кто почитались в ту пору блестящими мастерами, были не в силах превзойти Юаня.

Дева поведала ему много старинных историй о сановнике Цю-хо, большей частью тех, которым сама оказалась свидетельницей. Рассказы ее были чрезвычайно подробны. Вот один из них:

«Однажды князь стоял на башне и в рассеянии смотрел вдаль. Ему прислуживали наложницы. Вдруг видят, к берегу быстро приближается лодка с двумя молодцами в простых платьях и темных повязках на головах. Одна из наложниц воскликнула: «Ах, до чего красивы эти молодые парни!» Цю-хо спросил ее: «Не желаешь ли ты им прислуживать? Ну что ж, велю прислать им свадебные дары». Наложница улыбнулась, но ничего не сказала. Через некоторое время князь велит людям принести ларец. Зовет наложниц. Когда те собрались, он обратился к ним: «Вот — свадебный подарок для одной дамы». Те заглянули в ларец — в нем голова наложницы. Женщины помертвели от страха и кинулись наутек».

Или другой рассказ: «Лодки, груженные солью, числом более сотни шли в город на торжище. Некий ученый муж из Государственного училища наук сложил стихи:

«Вчерашней ночью на реке
высокие ходили волны;
Тянулись лодки на базар —
и все господской солью полны.
Еда без соли — не еда,
приправа — тоже не приправа...
Но столько соли! — Нет ли здесь
какого-то излишка, право?» [1]

Стихи дошли до Цю-хо. Он велел бросить ученого мужа в тюрьму, обвинив в клевете».

Она рассказала также, как однажды сановный Цю-хо отмерял «общественные наделы» в западных землях Чжэцзяна. Надобно знать, что крестьяне несли от того большой ущерб. Как-то подле дороги появились стихи:

«Не один уже год
осажденный Сянъян голодает...
Из Хушани в поход
сытый люд выступать не желает
И не знает о том,
Что бездействие это опасно,
Что и общий надел
нарезáли крестьянам напрасно».

Сановник узнал о стихах и повелел хватать всех без разбору и отправлять в окраинные уделы.

Поведала она Юаню и такую историю: «Однажды Цю-хо раздавал милостыню отошедшим от мира. Хватило как раз на тысячу человек. Но тут к воротам подошел даос в поношенном платье с обтрепанной полой. Привратник не пустил его — набралось, мол, уже достаточно. Даос упорствовал. Делать нечего, пришлось подать ему прямо у ворот. Доев подношение, он поставил чашу на стол и перевернул ее дном кверху. Всей толпою пытались поднять чашу и не могли. Доложили Цю-хо. Он подошел и поднял. Под нею были такие стихи:

«В дни счастья знаешь только наслажденье...
В Чжанчжоу соберешь плоды цветенья!»

---

[1] Здесь и далее стихи в переводе Г. Ярославцева.

Тогда только поняли, что на землю спускался Истинно-святой, а вот ведь, не распознали. Да, в тот миг был темен и смысл намека на Чжанчжоу. Увы, увы, кто мог знать, что речь идет о гибели у Мусяньского скита в округе Чжанчжоу».

Рассказала она и такую историю:

«Некий кормчий причалил лодку у Дамбы Су, названной так в честь поэта Су Дун-по. В то время стояла великая сушь. Лодочник прилег на корме, но всю ночь не смог сомкнуть глаз. Вдруг видит: три человечка, каждый ростом чуть более двух чи, сошлись на краю песчаной отмели. Один из них говорит: «Почтенный Чжан уже прибыл. Что будем делать?» Другой отвечает: «Первый сановник Цю-хо не человеколюбив, он ни за что меня не помилует». Третий сказал: «Со мной-то все кончено, а вы вот еще увидите его конец». Тут все трое зарыдали и ушли под воду. На другой день рыбак Чжан поймал черепаху более двух чи длиной и отнес ее в дом первого сановника Цзя. Не прошло и трех лет, как начались беды. Значит, эти твари ведали всё наперед, судьбы же никто не минует!»

Юань сказал:

«А нынешняя наша встреча разве тоже предопределена судьбой?»

Дева ответила:

«Да, все это истинная вправда, а не пустые выдумки». Юань тогда полюбопытствовал: «Вот ты есть чистый дух, сколь долго ты можешь пребывать в этом мире?» — «Срок придет, и я истаю»,— отвечала дева. «Ну, а все-таки когда?» — «Через три года». Юань не верил. Но срок пришел. Дева захворала, слегла и более не вставала. Юань хотел пригласить лекаря. Но дева сказала: «Я ведь давно предупреждала вас. Ныне, согласно скрижалям судьбы, приходит конец нашей супружеской любви». Она положила руку на локоть Юаню и, прощаясь с ним, молвила: «По природе я воплощенье тьмы и женского начала — инь. Я удостоилась служить вам, и вы не покинули меня в круговороте превращений. Кто уходит, тому одно воспоминание о любви приносит неисчислимые беды. Скорее море иссохнет и камни истлеют, чем развеется моя досада, скорее земля одряхлеет и сгустеет небо, чем исчезнет моя привязанность. К счастью, нам удалось продлить нашу взаимную склонность, ту, что питали мы друг ко другу в прежней жизни, не нарушить союза, заключенного в давние годы. Исполнился мой срок — минуло три года. Претворились наши стремленья и упованья. Дозвольте проститься с вами. Отныне не вспоминайте меня!»

Договорив, Дева в зеленом опустилась на ложе и повернулась лицом к стене. Юань звал ее, она не откликалась. Скорбь его была

безмерна. Он заказал для девы гроб и саркофаг, а затем сполна совершил все обряды.

Когда стали ее хоронить, заметили, что гроб слишком легок. Открыли, а в нем только зеленое платье, шпильки и серьги. Так и захоронили порожний гроб на склоне Северной горы. Юань долго сокрушался и более не женился. Он отправился в монастырь Уединенной души, порвал с миром и принял монашество. Там и окончил свои дни.

ЗАПИСКИ О ШПИЛЬКЕ—ЗОЛОТОМ ФЕНИКСЕ

В годы под девизом «Великой добродетели» некий янчжоуский богач, фанъюй по имени У поселился подле башни Весеннего ветра. Соседом его оказался господин Цуй, чиновник. Вскоре они сблизились и подружились. У Цуя был сын Син-гэ, у фанъюя — дочь Син-нян, и тот и другая были еще в нежном младенчестве. Господин Цуй прочил в жены сыну дочь соседа, фанъюй не возражал. В знак сговора Цуй подарил Син-нян золотую шпильку в виде феникса. Но вскоре он получил новую должность и уехал в отдаленный край. Прошло пятнадцать лет, вестей от него не было. Девушка росла истой затворницей. Ей исполнилось восемнадцать лет. Как-то жена сказала фанъюю: «Пятнадцать лет прошло с тех пор, как уехал жених нашей дочери. И больше от них ни единой вести. Син-нян давно уже в возрасте, к чему нам хранить данный обет. Попусту уходят ее годы». Фанъюй сказал: «Но ведь я дал слово другу. Дело слажено. Могу ли я нарушить слово?»

Видя, что сын Цуя не едет, дочь фанъюя занемогла от сердечной тоски. Целыми днями лежала она на циновке, а по прошествии полугода скончалась. Родители скорбно оплакали ее. Во время обряда положения в гроб мать захотела сказать ей слова утешения. Она взяла золотую шпильку-феникс и со слезами сказала: «Это подарок твоего жениха. Ты умерла, и я оставляю тебе шпильку, чтобы и в ином мире она служила тебе». И она продела шпильку в узел ее волос. Так со шпилькой ее и похоронили.

Минуло два месяца после похорон, и приехал молодой Цуй. Фанъюй принял его, осведомился, как он жил эти годы. Цуй рассказал: «Отец мой служил уездным судьей в Сюаньде. Недавно он опочил. Матушка скончалась много лет назад. Я только что снял траурное платье и, не посчитав за даль тысячу ли, приехал к вам». Фанъюй прослезился: «Несчастна судьба у моей Син-нян. Все время она думала о вас и занемогла от тоски одиночества.

Сполна испила она горечь обиды и два месяца назад умерла. Гроб с ее телом уже погребен». Затем фанъюй повел юношу во внутренние покои. Поминая усопшую, он возжег пред алтарем бумажные деньги. Дом его огласился горестными стенаниями. Фанъюй сказал: «Родители ваши умерли, господин. Вы проделали дальний путь. В моем доме вы обретете кров и пищу. Сын моего друга — это словно бы и мое дитя. А если б не смерть Син-нян, мы с вами бы породнились».

Он велел отнести вещи студента в маленький кабинет неподалеку от ворот.

Прошло с полмесяца. Наступил день поминовения. Фанъюй недавно похоронил дочь и потому вместе с семьею пошел на кладбище.

Здесь следует заметить, что у покойницы была сестра по имени Цин-нян, семнадцати лет от роду. Она пошла на могилу сестры вместе со всеми.

В доме остался один только молодой Цуй. Ему поручили присматривать за усадьбой.

Была уже непроглядная темень, когда Цуй вышел встретить их у ворот.

Семья фанъюя прибыла на двух паланкинах. Один паланкин миновал Цуя и скрылся во внутреннем дворе. Когда же мимо Цуя проносили второй паланкин, из него вдруг что-то выпало и звякнуло оземь. Цуй подождал, пока пройдут носильщики, и быстро поднял вещь. Это была золотая шпилька.

Цуй хотел было отнести ее во внутренние покои, но двери были уже заперты, и он не смог войти в дом.

Воротясь к себе, он засветил свечу и предался одиночеству. Он размышлял о том, что сватовство его закончилось ничем, что он одинок как перст и никому не ведомо, как долго он еще проживет у чужих людей. Не раз и не два он грустно вздохнул. Он склонился уже головою к подушке, когда послышался стук в дверь. Он спросил, кто там. Ему не ответили. Постучали второй раз. Затем— в третий. Цуй вышел взглянуть, кто это. За дверью стояла красавица. Увидев, что дверь открыта, она подобрала юбку и вступила в комнату. Студент изумился. Девушка была смущена, стояла, потупив голову. И все же речь ее, к нему обращенная, прозвучала изысканно и приятно:

«Молодой господин не узнает меня? Я младшая сестра Син-нян. Имя мое Цин-нян. Вчера я обронила тут шпильку. Быть может, вы ее подняли?»

И сей же миг вцепилась она в Цуя и повлекла его к ложу. Памятуя о благосклонности, с которой отец девушки принял его, студент решил было презреть ее любовь. Он сказал: «Не смею!»

Он сопротивлялся из всех сил, но девица не унималась. Покрывшись краскою гнева, она воскликнула: «Отец мой принял вас как должно, со всем радушием, как родного племянника, поселил вас в своей усадьбе у ворот. А вы теперь, пользуясь темнотою, заманили меня. Каковы были ваши намерения?! Что, если я расскажу обо всем отцу, а он подаст на вас судейским жалобу? Они ведь не попустят вам вашей вины!» Студент затрепетал от страха. Он не имел более сил противиться и покорно пошел за нею. На рассвете она удалилась.

С той самой ночи, едва стемнеет — она являлась, а чуть светало — она уходила прочь. Хождения ее в комнату Цуя, что подле ворот, продолжались уже много более месяца. Однажды ночью она сказала Цую: «Я живу в тереме, находящемся глубоко, ваше жилище удалено за грань подворья. Никто пока не догадывается о наших встречах. Но я сердечно тревожусь, что на пути любви нашей слишком много препон. Любовным встречам легко помешать. Однажды поползет молва и все раскроется. Нас обвинят в преступлении в отчем доме и накажут. Закроют клетку, да запрут попугая, убьют дикую утку — спугнут мандаринских уточек-неразлучниц. Но не окажется ли обузой вашей добродетели то, что услада моему сердцу?! И не лучше ли упредить события и бежать «с цельною яшмой за пазухой»? Не скрыть ли следы свои в глухом селении, не затаиться ли в чужедальней округе? Тогда-то мы и сумеем на воле и в согласии дожить до старости».

Студент счел ее план удачным и сказал: «В словах твоих есть смысл, я подумаю над ними». Она ушла, а он отдался своим горьким думам. Он по-прежнему одинок. Он давно ничего не знает о своих родственниках. О, если бы убежать и скрыться, но куда и где?! Вдруг вспомнил, что отец некогда говорил ему о старом своем слуге Цзинь Жуне, человеке чести и долга. Живет он где-то в месте Люйчэн, на реке Чжэньцзян, пашет землю и сеет зерно. «Отправлюсь к нему,— решил студент,— авось он меня не отвергнет?!»

На другую ночь в пятую стражу студент и девица собрались налегке и покинули дом. Сели в наемную лодку, миновали Гуачжоу, добрались до Даньяна и там принялись расспрашивать о Цзинь Жуне. Он и вправду жил в тех местах, семья его не ведала нужды, а сам он был старостою стодворки. Цуй возликовал и не медля направился к воротам усадьбы Цзинь Жуна. Поначалу хозяин не узнал его. Лишь когда студент назвал фамилию, имя и должность отца, присовокупив еще и свое детское имя, Цзинь Жун признал гостя. Заплакав, он поставил поминальную таблицу с именем старого господина, затем, почтительно поддер-

живая студента, с поклоном его усадил: «Значит, вы — молодой господин».

Студент поведал ему о причине своего прибытия. Цзинь Жун освободил парадные комнаты и поселил в них студента. Служил Цую так, словно это был его старый господин. Снабдил беглецов платьем и пищей и старался во всем угодить им.

Год минул с той поры, как студент поселился у Цзиня. Однажды девица ему сказала: «Все началось с того, что, страшась родительского наказания, я, подобно Чжо Вэнь-цзюнь, бежала с господином. Как говорят, «старые хлеба кончились, новые уже созрели». Людям присуща любовь к детям, и если мы вернемся по своей воле, то испытаем радость встречи и будем прощены. Ведь нет большего благодеяния, чем то, что отец с матерью произвели нас на свет. А разве наша жизнь не есть воздаяние за милость?»

Студент внял ее словам. Они переправились через Янцзы и вступили в город. Но, прежде чем идти им к родителям, она сказала: «Уж год, как я бежала из дому. Наше возвращение будет для них неожиданным. Они разгневаются. Не лучше ли вначале пойти вам, подготовить их и все разузнать, а я тем временем привяжу лодку и стану ждать вас тут».

Цуй уже тронулся в путь, когда она окликнула его. Протянув ему заколку-феникс, она сказала: «Если вам не поверят, покажите эту шпильку». Цуй подошел к воротам усадьбы. Фанъюй, узнав о его приезде, радостно вышел навстречу. Однако вместо приветствия Цуй начал с признания: «Не переменишь день нынешний на день прошедший, но я все же пришел к господину, ибо на душе у меня неспокойно. Я спешил, потому что виноват пред почтенным отцом. Но вижу с радостью, что вы не корите меня». Цуй распростерся ниц, не смея поднять головы. Сказал еще, что, несомненно, достоин смерти, и замолк. Фанъюй переспросил: «О какой вине изволите вы говорить? Я ничего не знаю. Соблаговолите объясниться, рассейте мое недоумение». Тогда только Цуй поднялся и заговорил: «Речь идет о тайном деле, свершившемся за пологом опочивальни. Ваши сын и дочь, обуреваемые страстью, отяготили себя славою презревших долг; преступили закон, завязав потайные узы и поженившись без ведома родителей; затем бежали украдкой и скрылись в деревне. Целый год не давали вестей о себе: не писали писем, не послали даже привета. Чувства наши искренни, мы покойны и счастливы, как то и надлежит супругам, но смеем ли мы позабыть о родительских благодеяниях. Ныне я почтительно привел вашу любезную дочь под отчий кров. Распростершись ниц, уповаю, что вы поверите в искренность наших чувств и разрешите тяжелую нашу вину — дозволите нам,

словно чете фениксов, вместе дожить до глубокой старости. Великий муж снисходителен к беззащитной любви — дети обретают радость семейного очага. Ласкаюсь надеждой на состраданье родителя!»

Фанъюй тревожно сказал: «Вот уже год моя дочерь больна и не встает с постели, не ест ни густой, ни жидкой пищи, сама она и повернуться не в силах. До любовных ли ей утешений?» Цуй, полагая, что фанъюй страшится позора дому и потому опровергает его столь пышною речью, почел за благо прибавить: «Ваша дочь Цин-нян пребывает в лодке, пошлите слугу, он найдет ее». Фанъюй не верил, но все же отправил на берег мальчишку-слугу. Слуга воротился ни с чем. Фанъюй обвинил студента в чертовщине. Тогда Цуй достал из раструба рукава шпильку — золотого феникса. Фанъюй еще больше встревожился: «Шпилька эта принадлежала моей дочери Син-нян и была положена в гроб вместе с нею. Как она у вас оказалась?» Когда взаимные подозрения дошли до крайности, в зал неожиданно вошла Цин-нян. Поклонилась отцу и сказала: «Несчастлива была ваша Син-нян. Рано простившись с дорогим батюшкой, она покинула мир и очутилась в бесплодной пустыне. Но не порвалась еще нить судьбы, связующая ее и молодого Цуя. Теперь она пришла сюда с одним-единым желаньем — чтоб ее любимая младшая сестра Цин-нян продолжила ее брак. Исполнится просьба, болезнь Цин-нян тотчас же пройдет, иначе — ее жизнь угаснет».

Слова Цин-нян повергли домашних в ужас. Обликом и статью — подлинная Цин-нян, повадкой и речью — покойная Син-нян. Отец стал укорять ее: «Ведь ты умерла! Неужто явилась ты в мир людей, чтобы смущать и беспокоить?» Та ответила: «Я, ничтожная, умерла, это правда. Но начальники мрака сочли меня невиновной и не взяли под стражу. Напротив, я удостоилась должности в свите Владетельной госпожи земли Хоу-ту фужэнь, где ведаю перепискою и составленьем докладов. Мирская моя судьба еще не пришла к концу, и мне был дарован год, чтобы я, навестив господина Цуя, завершила сей отрезок моей судьбы». Фанъюй выслушал изъяснения покойной дочери и согласился поступить по ее воле. Син-нян сей же миг успокоилась, стала кланяться и благодарить отца. Она взяла студента за руки, оба зарыдали в голос и простились друг с другом. Покойница сказала Цую: «Родители согласны исполнить мою волю, и вы войдете в дом зятем. Боюсь только, что ради новой жены вы забудете старую подругу». Тут она горестно зарыдала и повалилась оземь. Поглядели, а она мертва. Тотчас обрызнули тело целебным отваром, и по прошествии некоторого времени девушка ожила. Все

случилось по слову Син-нян: недуги и хвори младшей ее сестры исчезли. Поступки и движенья ее сделались обычны. Когда ее спросили о недавних событиях, она ничего не ведала, словно бы только очнулась от тяжкого сна.

Вскоре выбрали счастливый день и назначили свадьбу. Цуй, полный сердечной нежности к Син-нян, продал шпильку на базаре, а вырученные двадцать слитков серебра потратил все до единого на ароматные курительные палочки, восковые свечи и жертвенные бумажные деньги. Затем он совершил паломничество в Храм желтой гортензии — Цюнхуа-гуань и поручил монаху-даосу устроить молебен на три дня и три ночи, чтобы отблагодарить Син-нян. Тогда она вновь явилась ему во сне и сказала: «Я получила дары молодого господина и вижу, что вы еще питаете ко мне привязанность. Хотя и разъединены царства мрака и света, вы помните меня. Сестра моя мягка и добронравна, она достойна, чтоб вы были милостивы к ней».

Студент скорбно зарыдал и проснулся. Больше дева не являлась.

Увы, как странно!

ЛИ ЧЖЭНЬ

ИЗ КНИГИ «ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗОВ У ГОРЯЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА»

ЗАПИСКИ О ШИРМЕ С ЦВЕТАМИ ЛОТОСА

Во времена под девизом «Достижение истины» жил в Чжэньчжоу некий студент из семьи Цуй по имени Ин. Дом его был богат необыкновенно. В год син-мао получил он благодаря отцу должность вэя — чиновника по розыску преступников. Вскоре он отправился к месту своей службы в город Юнцзя вместе с женой, урожденной Ван.

Путь Ина пролегал через Сучжоу. Близ Чуйшаньских гор велел он причалить к берегу, желая отдохнуть. Здесь он купил мяса, вина и бумажных денег, дабы вознести благодарственные жертвы богам в тамошнем храме. Закончив обряд, Ин с женою устроили пирование. Лодочник приметил, что винная утварь у них сплошь из золота и серебра, и замыслил недоброе. Тою же ночью он утопил Ина, перебил его слуг. Госпоже Ван он сказал: «Знаешь ли, отчего я пощадил тебя? Второй мой сын еще холост, сейчас он ведет

лодку в Ханчжоу для одного человека. Через месяц или два он воротится, и я выдам тебя за него. Ты породнишься с нами, а потому будь спокойна и ничего не бойся». С тем он завернул в циновку все ее добро и положил подле себя. С того дня звал он госпожу Ван не иначе как синьфу — молодою женой.

Та притворилась, что на все согласна, и принудила себя заняться хозяйством, показывая, будто старается изо всех сил. Лодочник, радуясь втайне, что заполучил столь покладистую невестку, исподволь к ней привык и с некоторых пор не стерег ее более.

Минул месяц с небольшим, наступил Праздник средины осени. По случаю праздника лодочник принес на лодку вино и еду. Все немало выпили и охмелели. Госпожа Ван подождала, пока они заснут, и тихо сошла на берег. Но, пройдя не более трех ли, она потеряла дорогу. Кругом были топи, тростник и цицания, и заросли эти тянулись до края небес.

Для госпожи Ван, выросшей в добронравной семье, не под силу было преодолеть тяготы дороги, ведь бинтованные ножки — слабы, к тому же, боясь погони, она, словно безумная, стремилась все дальше и дальше. Когда наконец побелело небо на востоке, она различила вдруг среди деревьев очертанья жилья. Направилась к ним. Ворота были заперты, откуда-то из глубины доносились до нее звуки колокола и песнопений. Вскоре засовы отперли. Оказалось, что это женский монастырь. Ван вошла по дорожке внутрь.

Настоятельница осведомилась о причине ее прихода. Госпожа Ван, не осмеливаясь открыть правду, обманно ответила: «Родом я из Чжэньчжоу. Свекор мой отправился к месту службы на лодке в провинцию Чжэцзян. Его сопровождала семья. Но когда мы приехали, милый супруг мой внезапно скончался. Я вдовствовала несколько лет. Затем свекор отдал меня второю женой одному вэю из Юнцзя по фамилии Цуй. Первая жена его обладала злым и жестоким нравом, угодить ей было весьма нелегко. Она меня била палками и нещадно бранила пред всеми. Спустя недолгое время господин оставил службу и на лодке отправился сюда. Однажды в Праздник средины осени он любовался луною, а мне, ничтожной наложнице, велено было разлить вино в золотые чаши. Одна чаша нежданно выскользнула из моих рук и упала в воду. Этот проступок грозил мне смертью. Я бежала, спасая жизнь». Монахиня сказала: «Раз вы не осмеливаетесь вернуться на лодку, а родные места вдалеке, вам надобна надежная опора. Но нет здесь искусной свахи! О одинокая, вам не к кому прилепиться душой». Госпожа Ван залилась слезами. Настоятельница молвила: «Однако есть у меня, несмысленной старухи, и утешительное слово.

Не знаю, правда, как вы к нему отнесетесь?» Госпожа Ван ответила: «Когда бы наставница приютила меня, то даже и смерть стала бы мне в охоту».

Монахиня сказала тогда: «Наша обитель в глухой стороне на пустынном прибрежье; след человеческий здесь великая редкость; плевел и горчица — наши соседи, чайки и цапли — нам заместо друзей. К счастью, со мною живут две сподвижницы, им уже за пятьдесят лет, да несколько преданных и почтительных слуг. Вы молоды и хороши собой, однако судьба к вам немилостива. Так покиньте же привязанности, бегите страстей, помыслите о том, что жизнь всего лишь сновидение. Не лучше ли облечься рясою, обрезать волосы и вступить в обитель? Не благо ли отдаться созерцанию на плетеной лежанке, устремившись думою к Будде — непотухающему светильнику?! Вкушать утром и вечером простую еду, провождая так длинные месяцы и долгие годы?! Или вам по сердцу наново стать чьей-то наложницей, терпеть мирскую пошлость, грязнуть в грехах, пока не падет возмездие?» Госпожа Ван поклонилась и молвила: «Желанная мысль!» Вскоре пред статуей Будды она обрезала волосы и назвалась монашеским именем Хуэй-юань.

Госпожа Ван умела читать, знала письмо, отменно владела кистью; не прошло и месяца, как она сполна постигла буддийский канон. Ван с почтением служила настоятельнице, и в недолгом времени ни единое дело без нее не решалось. Все в обители полюбили ее за мягкость и кротость нрава.

Каждый день свершала она несметное множество поклонений пред Белохитонною Гуань-инь, поверяя ей свои сокровенные мысли. Никогда — студеной ли зимою, жгучим ли летом — не оставляла она молитв. И редко кому доводилось созерцать ее лицо, ибо, помолясь, она тотчас уходила во внутренние покои.

В конце того года случилось одному человеку быть в упомянутых местах и забрести в монастырь. Он отведал монастырской трапезы и ушел. Но на другой день даровал он храму свиток с изображением лотосовых цветов. Настоятельница повесила картину на некрашеную ширму. Госпожа Ван увидела свиток и признала кисть мужа. Она стала выспрашивать у настоятельницы, откуда свиток. Та отвечала: «Сегодня один милостынник одарил нас». Ван полюбопытствовала, кто благодетель сей, какого он роду, где живет и чем кормится? Настоятельница сказала: «Это Гу А-сю, младший брат моего односельчанина. Он переправляет лодки по реке. Недавно весьма разбогател. Люди поговаривают, что он грабит лодки, но не знаю, верно ли это». Ван спросила еще, часто ли он бывает. «Не часто»,— было ответом. Более она ни о чем ее не спросила, но взяла кисть и написала на свитке:

«Мне кисть Чжан Би напоминали
　　твои рисунки ранних лет;
Теперь похож рисунок твой
　　на живопись Хуан Цюаня.
Как совершенны здесь цветы,
Как нежен лотосовый цвет!
То был предсмертный твой сюжет —
О, если б знать о том заране!..

Цвета, что видел ты при жизни,
　　безмолвный свиток сохранит,
А мне, отверженной душе,
　　кто скажет слово утешенья?
Наперсница моих молитв,
Простая ширма все молчит.
Нить вашей жизни порвалась,
И встретимся ль в ином рожденье?..»

Это были цы — строки на мотив «Бессмертный у реки». Никто из монахинь не понял их смысла.

Однажды в монастырь наведался человек по имени Го Цинь-чунь по какому-то делу. Увидев свиток и надпись, он восхитился их изяществом и купил вместе с ширмою. Как раз в то время императорский ревизор Гао На-линь удалился от дел и обосновался на покое в Сучжоу. Был он большим любителем каллиграфии и живописи. Го Цинь-чунь подарил ему ширму. Сановник поставил ее во внутреннем зале, но расспросить о ней поподробнее как-то не удосужился.

Меж тем однажды явился к нему торговец и принес четыре свитка, исполненные скорописью. Они весьма напоминали работы кисти монаха Хуай-су, отличались чистотой, мощью и стремлением избежать обыденного. Сановник спросил у торговца, чьи они. Тот ответил: «Это мои прописи». Сановник поглядел на него — облик не простолюдина. Осведомился об имени и из каких мест он родом. Он, сокрушаясь, начал рассказывать: «Я из семьи Цуй, зовут меня Ин, прозвание Цзюнь-чэнь, уроженец Чжэньчжоу. За заслуги отца был пожалован должностью вэя в Юнцзя. С женой и домашними я отправился к месту службы, но в пути был не осторожен, лодочник замыслил недоброе и сбросил меня в реку. С той поры я не видел ни богатств своих, ни жены. К счастью, с детства умея плавать, я глубоко нырнул и долго плыл почти незаметно. Лишь когда лодка была далеко, я выбрался на берег. Прибрежные люди меня приютили. Я был мокр и без единого гроша. Старик хозяин явил ко мне доброту, снабдил платьем, напоил вином, накормил и одарил деньгами на дорогу. Прощаясь, он сказал мне:

«Вас обокрали. Было бы разумно заявить об этом властям, но я не смею оставить вас у себя, потому что боюсь быть замешанным в уголовное дело». Я выяснил у него дорогу, отправился в Пинцзянскую управу и подал жалобу. Но вот уже год, а из управы никаких вестей. С тех самых пор я продаю свои рисунки и надписи и тем добываю пропитание. Я никогда не считал себя искусным каллиграфом и потому удивлен тем, что моя пачкотня удостоится внимания высокого сановника».

Услышав рассказ Ина, сановник Гао преисполнился к нему глубоким сочувствием. Он сказал: «Сколь злые беды обрушились на вас! Но, увы, здесь я бессилен. Но, быть может, вы останетесь у меня домашним наставником и научите внуков моих искусству владения кистью. Согласны ли вы?» Ин высказал искреннюю радость. Сановник повел его во внутренние покои, угостил вином, как вдруг Ин увидел ширму и на ней свиток — с лотосовыми цветами. Слезы хлынули у него из глаз. Удивленный Гао спросил его о причине плача. Ин сказал: «Это одна из вещей, бывших со мною в лодке. Мой почерк. Как свиток попал к вам?!» Затем он вслух прочел стихи и добавил: «А стихи написаны моею женой». Гао спросил: «Отчего вы так полагаете?!» Ин ответил: «Узнал ее манеру письма. А также по смыслу стихотворения. Да, это, вне сомнения, стихи моей супруги!» Гао тогда сказал: «Коли так, то почту за долг и возьму за обязанность поймать разбойника. Однако храните это до времени в тайне». После чего поселил Ина при своем доме.

На другой же день сановник зазвал к себе Го Цинь-чуня и спросил, откуда у того появился свиток. Тот сказал: «Я купил его в такой-то обители». Сановник послал его к монахине, дабы окольными путями выведать, кто принес ей свиток и чьи это стихи. Через несколько дней Цинь-чунь доложил: «Картину пожертвовал Гу А-сю из здешнего уезда. Имя монахини, написавшей стихи,— Хуэй-юань». Сановник отправил к старой монахине посланца со следующими словами: «Супруга моя любит читать вслух святые сутры, но в доме нет никого, кто бы разделил ее благостные занятия. Я слышал, будто почтенная Хуэй-юань проникла в глубины Учения. Почтительно зову ее быть наставницей, уповая, что не останется без внимания моя просьба». Настоятельница отказала ему. Однако Хуэй-юань, узнав об этом, исполнилась глубокой надежды на то, что удастся отомстить за обиды. Настоятельница не смогла удержать ее.

Сановник прислал за Хуэй-юань паланкин и поселил ее в одном помещении с женой. Та, едва представился случай, стала расспрашивать Хуэй-юань о ее жизни. Госпожа Ван, сдерживая слезы, поведала ей всю правду, рассказала и о стихах на свитке с лото-

совыми цветами. Она сказала: «Грабитель, видно, недалеко. Если госпожа передаст мой рассказ господину, разбойникам не уйти. Я искуплю позор и отомщу за погибшего мужа. О, сколь велико будет ваше благодеяние!» (Госпожа Ван еще не знала, что муж ее жив.)

Госпожа сановница передала мужу разговор с монахиней и заверила его, что Хуэй-юань не чужда учености, весьма добродетельна и не простого рода. Гао утвердился в мысли, что монахиня Хуэй-юань и есть жена Ина. Он просил жену быть с монахиней мягче и ласковей. Однако Ин до времени об этом ничего не знал. Не желая действовать опрометчиво, Гао На-линь решил сам следить за домом Гу А-сю и за его отлучками, наказав жене исподволь уговорить госпожу Ван отрастить волосы и вернуться к мирскому платью.

Минуло еще полгода. К тому времени императорским ревизором был назначен один цзиньши — по имени Сюэ Ли, по прозванию Бо-хуа. Он прибыл с ревизией в тот округ. Некогда Бо-хуа служил под началом сановника Гао, и тот, зная его твердость и неподкупность, подробно рассказал ему о деле.

Разбойник был схвачен, и у него найдены были бумаги о назначении Цуй Ина на должность и все его добро. Осталось неизвестным лишь местопребывание госпожи Ван. Строго пытали Гу А-сю, но тот говорил одно: «Я и вправду хотел выдать ее за второго сына, но не уследил: в восьмую луну на Праздник середины осени она от меня сбежала. Куда, не ведаю!» Бо-хуа нашел Гу А-сю виновным и приговорил к казни, а награбленное добро вернул Цуй Ину. Тот собрался ехать на службу и пришел проститься с сановником. Сановник Гао сказал: «Повремените несколько! Я намерен быть вашим сватом. Женитесь и тотчас поедете. А сейчас — не торопитесь, успеете, уверяю вас!»

Растроганный Ин ответил ему: «Долго я жил с женой в бедности. Как говорят, отруби вместе ели! Кто знает, жива ли она, покинутая ныне в чужом краю. Поеду один, буду ждать луны и годы, пока земля или небо не смилостивятся надо мной. Если жена еще жива, то есть и надежда, что мы встретимся вновь. Я взволнован добротой и щедростью господина, но до самой кончины буду помнить свою жену, оттого и нет у меня желания говорить о новой супруге». Сановник Гао печально промолвил: «Ну что ж! Если столь глубока ваша любовь и привязанность, всеблагое Небо непременно поможет вам. А я не осмеливаюсь принуждать вас силою. Однако разрешите мне все же устроить ваши проводы!»

На другой день сановник Гао созвал гостей, пригласил чиновников Пинцзянской управы и прочих именитых ученых мужей

города. Сановник поднял чашу и обратился к гостям с такою речью: «Я, старик, ныне связываю нить жизни господина Цуя — уездного инспектора».

Гости не поняли намека. Сановник приказал позвать Хуэй-юань, и Цуй Ин узнал в ней жену. Они обнялись и разрыдались. Разве думали они, что снова встретятся, и именно здесь, в доме Гао. Сановник поведал гостям об их горестях и скитаниях, показал ширму с лотосовыми цветами. Тут только все поняли, что слова «нить жизни» Гао взял из стихотворения госпожи Ван, а Хуэй-юань — ее монашеское имя. Рассказ Гао исторг слезы у всех собравшихся, и все принялись восхвалять великие и несравненные добродетели старого сановника.

Гао дал в услуженье Цуй Ину слугу и служанку, одарил деньгами и препроводил в путь.

Закончивши срок службы, Ин вновь проезжал через Сучжоу. Гао уже не было в живых. Узнав о его кончине, супруги рыдали в голос, словно они лишились родного отца. Они соблюли пост возле его могилы, помянули усопшего. Затем заказали службу на три дня и три ночи, желая воздать за милости покойному своему благодетелю. Только потом уехали.

С той поры госпожа Ван приняла обет долгого поста и до конца дней своих молилась Белохитонной заступнице — бодисатве Гуань-инь.

Талантливый муж из Чжэньчжоу по имени Лу Чжун-ян сложил песню «Свиток с цветами лотоса на ширме», дабы увековечить сие происшествие. Я переписал ее в назидание миру.

ПУ СУН-ЛИН

ИЗ СБОРНИКА «ОПИСАНИЕ УДИВИТЕЛЬНОГО ИЗ КАБИНЕТА ЛЯО»

ЛИС ИЗ ВЭЙШУЯ

У Ли из Вэйсяня был отдельный дом. Как-то к нему явился старичок, желавший снять помещение, за которое он давал пятьдесят лан в год. Ли согласился. Затем старик ушел и пропал без вести. Ли велел сдать помещение кому-нибудь другому, но на следующий же день явился старик и сказал:

— Ведь о сдаче помещения вы договорились со мною, и даже в присутствии свидетелей. Как же вы хотите сдать его другим?

Ли сказал, что именно ввело его в сомнение.

— Я намерен,— объяснил ему старик,— здесь жить долго. Почему я так задержался? А потому, что выбранное мною счастливое число будет еще через десять дней.

Вместе с этим он уплатил за год вперед и сказал, что если помещение будет пустовать до конца года, то, значит, нечего и спрашивать. Ли проводил старика и осведомился на прощанье, когда же он переедет. Старик указал срок, но после срока прошло уже несколько дней, и все-таки никого не было видно. Тогда Ли отправился сам лично поглядеть и увидел, что ворота закрыты изнутри, над домом поднимается кухонный дым и слышны человеческие голоса. Сильно изумившись, Ли послал свой визитный листок и пошел с визитом. Старик выбежал ему навстречу, ввел его в дом и, приветливо улыбаясь, старался с ним сблизиться. Ли, вернувшись домой, послал своего человека с угощениями в подарок старику и семье. Тот одарил и наградил слугу самым щедрым образом.

Прошло еще несколько дней. Ли устроил обед и пригласил старика. Они оба друг другу пришлись по душе и радовались этому бесконечно. Ли спросил старика, откуда он родом. Старик отвечал,— из Цинь. Ли изумился, что он пришел сюда из столь далеких мест. Старик сказал ему на это:

— Ваша прекрасная область — счастливая земля, а в Цинь — долго жить будет нельзя, так как там произойдут большие бедствия.

Так как время было тихое и мирное, то Ли оставил разговор, не расспрашивая подробнее.

Через несколько дней старик прислал Ли свой именной листок тоже с приглашением, чтобы, таким образом, отблагодарить хозяина дома за приют. На обед он поставил вино и кушанья в самом щедром изобилии и отменно вкусные. Ли все более и более приходил в недоумение и выразил догадку, что старик какой-то знатный вельможа. Тогда старик по дружбе сознался Ли, что он лис.

Ли, до крайности пораженный этим признанием, рассказывал это всем встречным, и вот вся местная знать, услыша про эти лисьи чудеса, каждый день стала направлять свои экипажи к воротам старика и вообще искать его дружбы. Старик всех принимал с преувеличенной скромностью. Понемногу и представители местной власти стали заглядывать к старику, и только когда сам правитель области просил разрешения познакомиться, то старик подчеркнуто отказал. Тот просил Ли как хозяина взять на себя переговоры по этому поводу, но старик опять отказал. Ли спросил, в чем тут дело. Старик пододвинулся к Ли и шепотом сказал ему:

— Вы не знаете, конечно, что он в предыдущем своем рождении был ослом. Хотя в настоящую минуту он и сидит торжествен-

но над нами, но он из тех, кому какую дрянь ни давай, все выпьют. Я, конечно, другой породы и стыжусь с такими якшаться.

Ли в осторожных выражениях сообщил об отказе начальнику, говоря, что лис боится его проницательного ума и потому не дерзает принять его. Тот поверил и перестал просить.

Все это происходило в 1672 году. Вскоре после этого в Цинь произошли мятежи и всякие несчастия. Значит, лис умел знать об этом наперед.

ПОСЛЕСЛОВИЕ РАССКАЗЧИКА

Осел — громоздкая тварь. Озлится — так брыкается, орет, глазищи больше чашки, и вид принимает свирепый, словно бык. Не только рев его противен, но и смотреть на него отвратительно. Однако попробуй поманить его горстью сена — и что же? Прижмет уши, опустит голову и с радостью даст на себя надеть узду. Конечно, если кто-нибудь с такими качествами сидит над народом, то правильно будет о нем сказать, что он пьян от всякой дряни. Позвольте выразить пожелание, чтобы те, кто собрался править нами, помнили об осле как о предостережении и, наоборот, старались походить на лиса. От этого, понятно, благотворное влияние правителя сильно возрастет!

ЛИСА НАКАЗЫВАЕТ ЗА БЛУД

Студент купил себе новый дом и стал постоянно страдать от лисицы. Все его носильные вещи были во многих частях приведены в негодность. Часто также она бросала ему в суп или хлеб всякую грязь и гадость. Однажды к нему зашел его друг, а его как раз не было дома: куда-то ушел, а к вечеру так и не вернулся. Жена студента кое-что приготовила и накормила гостя, после чего вместе со служанкой доедала оставшиеся от гостя хлебцы.

Студент отличался несдержанным характером и охотно пользовался любовным зельем. Неизвестно, когда это случилось, но лиса положила этого зелья в похлебку, и жена студента, поев ее, ощутила запах мускуса. Спросила служанку, но та отвечала, что ничего не знает. Кончив ужин, женщина почувствовала, как в ней вздымается горячий огонь плотского возбуждения, и такой, что нет сил терпеть ни минуты. Хотела силой заставить себя подавить страсть, но распаленный аппетит от этого стал еще сильнее и настойчивее. Стала думать, к кому бы бежать сейчас, но в доме не было мужчин, кроме гостя. Она пошла и постучала к нему в комнату. Гость спросил, кто там. Она сказала, кто именно. Спросил ее, что ей надо. Не отвечала. Гость извинился и стал отказываться:

— У меня с твоим мужем дружба по душе и совести. Я не посмею совершить этого скотского поступка.

Женщина все-таки бродила вокруг да около, не уходя прочь. Гость закричал ей:

— Послушай, ты погубила вконец теперь моего друга и брата, со всей его ученой карьерой и репутацией!

Открыл окно и плюнул в нее.

Страшно сконфузясь, женщина ушла и стала раздумывать: как все это я наделала? И вдруг вспомнила про этот странный запах из чашки: уж не было ли там любовного порошку? Посмотрела хорошенько — действительно: порошок из коробки был там и здесь просыпан по полке, а в чашке это самое и было. По опыту зная, что холодной водой можно успокоить аппетит, она напилась воды, и под сердцем у нее сейчас же прочистилось и прояснилось. Ей стало мучительно стыдно, и она ничем не могла себя извинить. Ворочалась, ворочалась на постели... Уж все ночные стражи окончились. Стало еще страшнее; вот уже рассветает, а как показаться теперь человеку? И вот сняла пояс и удавилась. Служанка, заметив это, бросилась спасать ее, но дух ее уже слабел и замирал; прошло все утро, прежде чем у нее появилось легкое дыхание.

Гость ночью, оказывается, ушел. Студент же пришел лишь после обеда. Смотрит: жена лежит. Спросил, в чем дело. Не отвечает, а только в глазах стоят чистые слезы. Служанка тогда все рассказала, как было. Студент страшно испугался, пристал с расспросами. Жена выслала служанку и выложила ему все по правде.

— Это мне месть за блудливость,— вздохнул он.— Какая тут может быть на тебе вина? К счастью моему, попался такой честный и хороший друг. Иначе как мне было бы жить по-человечески?

С этой поры студент ревностно занялся исправлением своего былого поведения. А затем и лисица перестала куролесить.

КАК ОН САДИЛ ГРУШУ

Мужик продавал на базаре груши, чрезвычайно сладкие и душистые, и цену на них поднял весьма изрядно. Даос в рваном колпаке и в лохмотьях просил у него милостыню, все время бегая у телеги. Мужик крикнул на него, но тот не уходил. Мужик рассердился и стал его ругать.

— Помилуйте,— говорил даос,— у вас их целый воз, ведь там несколько сот штук. Смотрите: старая рвань просит у вас всего только одну грушу. Большого убытка у вашей милости от этого не будет. Зачем же сердиться?

Те, кто смотрел на них, стали уговаривать мужика бросить монаху какую-нибудь дрянную грушу: пусть-де уберется, но мужик решительно не соглашался. Тогда какой-то рабочий, видя все это и наскучив шумом, вынул деньги, купил одну грушу и дал ее монаху, который поклонился ему в пояс и выразил свою благодарность.

Затем, обратясь к толпе, он сказал:

— Я монах. Я ушел от мира. Я не понимаю, что значит жадность и скупость. Вот у меня прекрасная груша. Прошу позволения предложить ее моим дорогим гостям!

— Раз получил грушу,— говорили ему из толпы,— чего ж сам не ешь?

— Да мне нужно только косточку на семена!

С этими словами он ухватил грушу и стал ее жадно есть. Съев ее, взял в руку косточку, снял с плеча мотыгу и стал копать в земле ямку. Вырыв ее глубиной на несколько вершков, положил туда грушевую косточку и снова покрыл ямку землей. Затем обратился к толпе с просьбой дать ему кипятку для поливки.

Кто-то из любопытных достал в первой попавшейся лавке кипятку. Даос взял и принялся поливать взрытое место. Тысячи глаз так и вонзились... И видят — вот выходит тоненький росток. Вот он все больше и больше — и вдруг это уже дерево, с густыми ветвями и листвой. Вот оно зацвело. Миг — и оно в плодах, громадных, ароматных, чудесных.

Вот они уже свисают с ветвей целыми пуками.

Даос полез на дерево и стал рвать и бросать сверху плоды в собравшуюся толпу зрителей. Минута — и все было кончено. Даос слез и стал мотыгой рубить дерево. Трах-трах... Рубил очень долго, наконец срубил, взял дерево,— как есть с листьями,— взвалил на плечи и, не торопясь, удалился.

Как только даос начал проделывать свой фокус, мужик тоже втиснулся в толпу, вытянул шею, уставил глаза и совершенно забыл о своих делах. Когда даос ушел, тогда только он взглянул на свою телегу. Груши исчезли.

Теперь он понял, что то, что сейчас раздавал монах, были его собственные груши. Посмотрел внимательнее: у телеги не хватает одной оглобли, и притом только что срубленной.

Закипел мужик гневом и досадой, помчался в погоню по следам монаха, свернул за угол, глядь: срубленная оглобля брошена у забора.

Догадался, что срубленный монахом ствол груши был не что иное, как эта самая оглобля.

Куда девался даос, никто не знал.

Весь базар хохотал.

Мужчина грубый и глупый. Глупость его хоть рукой бери. Поделом смеялся над ним базар.

Всякий из нас видел этих деревенских богачей. Пусть лучший друг попросит у него риса — сейчас же сердится и высчитывает: этого-де мне хватит на несколько дней.

Иногда случается его уговаривать помочь кому-либо в беде или накормить сироту. Он опять сердится и высчитывает, что этого, мол, хватило бы на десять или пять человек. Доходит до того, что отец, сын, братья между собой все высчитывают и вывешивают до полушки.

Однако на разврат, на азартную игру, на суеверие он не скупится,— о нет,— хотя бы на это ушли все деньги. Ну-ка, пусть его голове угрожает нож или пила — бежит откупаться без разговоров.

ЦЯО-НЯН И ЕЕ ЛЮБОВНИК

В Гуандуне жил потомок чиновной знати, некий Фу. Когда ему перевалило за шестьдесят, у него родился сын, названный им Лянь. Мальчик был чрезвычайно толковый, но кастрат от природы, и в семнадцать лет у него в тайном месте было еле-еле — с тутовый червяк. Об этом по слухам знали не только поблизости, но и дальние жители, и никто не хотел выдавать за него дочь. Старик уже решил, что ему судьба остаться без продолжения рода, тужил, горевал дни и ночи... Однако положение было безвыходное.

Лянь занимался с учителем. Случайно учитель куда-то ушел, а в это время у ворот их дома остановился фокусник с обезьянкой. Лянь загляделся на него и забыл про свои науки. Потом, спохватившись, что учитель сейчас придет, весь в страхе бросился бежать.

На расстоянии нескольких ли от дома он увидел какую-то барышню, одетую в белое платье; вместе с маленькой служанкой появилась она откуда-то перед его глазами. Она разок оглянулась,— дьявольская, ни с чем не сравнимая красота! Лотосовые шажки ковыляли вяло, и Лянь ее обогнал. Девушка обернулась к прислуге и сказала:

— Попробуй спросить у этого молодого человека, не собирается ли он идти в Цюн.

Служанка, и в самом деле окликнув Ляня, спросила. Лянь поинтересовался узнать, зачем это было нужно.

— Если вы направляетесь в Цюн,— ответила девушка,— то у меня есть, как говорится, в фут длиною письмо, которое я попросила бы вас по дороге передать в мое село. У меня дома старуха

мать, которая, между прочим, может быть для вас, как говорят в таких случаях, «хозяйкой восточных путей».

Убежав из дому, Лянь, собственно говоря, никакого определенного направления не брал. Теперь он решил, что может пуститься хоть в море, и обещал. Девушка достала письмо, передала его служанке, а та — студенту. Лянь осведомился, как имя и фамилия адресатки и где она живет. Ему было сказано, что ее фамилия — Хуа и что живет она в деревне Циньской девы, в трех-четырех ли от северных городских окраин. Студент сел в лодку и поехал. Когда он прибыл к северным предместьям Цюнчжоу, солнце уже померкло. Наступал вечер. Кого он ни спрашивал, о деревне Циньской девы решительно никто не знал. Пошел на север, отошел от города ли на четыре-пять. Уже ярко сияли звезды и луна. От цветущих трав рябило в глазах. Было пусто... ни одной гостиницы. В сильном замешательстве, увидев, что у дороги стоит чья-то могила, он решился как-нибудь у нее примоститься. Однако, сильно боясь тигра и волка, полез, как обезьяна, вверх, на дерево, и там прикорнул.

Слышит, как ветер так и гудит, так и воет в соснах. Ночные жуки жалобно стонут... И сердце юноши захолодело пустотой, а раскаяние жгло огнем.

Вдруг внизу раздались человеческие голоса. Лянь нагнулся, посмотрел. Видит — самые настоящие хоромы; какая-то красавица сидит на канпе, а две служанки держат по расписной свече и расположились одна направо, другая налево от нее.

Красавица взглянула влево и сказала:

— Сегодняшней ночью так бела луна, так редки звезды. Завари-ка чашечку круглого чая — того, что подарила нам тетушка Хуа... Насладимся, право, этой чудесной ночью!

Студенту пришло в голову, что это бесовские оборотни, и по всему его телу волосы стали торчком, словно лес. Сидел, не смея дохнуть. Вдруг служанка поглядела вверх и сказала:

— На дереве сидит человек!

Девушка вскочила в испуге.

— Откуда это взялся такой смельчак,— сказала она,— что берется из-за угла подсматривать за людьми?

Студент страшно испугался. Укрыться было уже некуда, и он, кружась по дереву, спустился вниз. Упал на землю и умолял простить его. Девушка подошла к нему, всмотрелась и вместо того, чтобы разгневаться, выразила удовольствие. Взяла и потащила его сесть с ней вместе.

Студент взглянул на нее. Ей было лет семнадцать — восемнадцать. Красота и манеры были прямо на редкость. Вслушался в ее речь — не простой говор.

— Вы куда, молодой человек, держите путь? — спросила она.

— Я, видите ли,— отвечал Лянь,— исполняю кой для кого роль почтаря!

— В пустынных местах часто встречаются страшные незнакомцы,— сказала девушка.— Спать на открытом месте опасно. Если не отнесетесь с пренебрежением к грубому нашему шалашу, то я желала бы, чтобы вы у нас остановили, так сказать, колесницу.

И с этими словами пригласила студента войти в помещение. Там была всего-навсего только одна кровать, но она велела прислуге застлать ее двумя одеялами. Студент, стыдясь своей телесной мерзости, выразил желание улечься на полу. Девушка засмеялась.

— Я познакомилась,— сказала она,— с таким прекрасным гостем. Смеет ли женщина Юань-лун лечь гордо и выше его?

Студенту не было иного выхода, и он лег с ней на одну кровать. Однако, дрожа от страха, не посмел вытянуться.

Не прошло и небольшого времени, как девушка незаметно залезла к нему под одеяло своей тоненькой ручкой и стала легонько щупать у его ног и колен. Студент притворился спящим и сделал вид, что ничего не чувствует и не понимает.

Вскоре она открыла одеяло и влезла к нему. Давай его расталкивать, но он решительно не шевелился. Тогда она стала нащупывать тайное место — и вдруг остановила руку, приуныла, с грустным-грустным видом ушла из-под одеяла, и студент сейчас же услыхал ее сдержанный плач. Весь в волненье стыда, не зная, куда деваться, со злобой и досадой роптал он на Небесного владыку за его проруху... Но больше ничего предпринять не мог.

Девушка крикнула служанке, чтобы та зажгла свечу. Та, заметив следы слез, удивленно спросила, в чем неприятность. Девушка помотала головой и сказала:

— Я сама оплакиваю свою же судьбу.

Служанка стала у кровати и пристально всматривалась в ее лицо.

— Разбуди барина,— сказала она,— и выпроводи!

Услыша такие слова, студент почувствовал еще более жестокий прилив стыда... Кроме того, его брал страх очутиться среди ночи в темных, мутных пустырях, не зная больше, куда идти... Пока он все это соображал, вошла, распахнув двери, какая-то женщина.

— Пришла тетушка Хуа,— доложила служанка.

Студент исподтишка взглянул на нее. Ей было уже за пятьдесят, хотя живая рама красоты ее еще не покидала. Увидев, что девушка не спит, она обратилась к ней по этому поводу с вопросом. Не успела еще девушка ответить, как женщина, взглянув

на кровать, увидела, что там кто-то лежит, и спросила, что за человек разделяет с ней ложе. Вместо девушки ответила служанка:

— Ночью здесь остановился спать один молодой человек!

Женщина улыбнулась.

— Не знала я,— сказала она,— что Цяо-нян с кем-то справляет свою узорную свечу.

Сказав это, заметила, что у девушки еще не высохли следы слез, и испуганно бросила ей:

— Ни на что не похоже тужить и плакать в вечер соединения чаш. Уж не грубо ли с тобой поступает женишок?

Девушка, не отвечая, стала еще грустнее. Женщина хотела уже коснуться одежды, чтобы посмотреть на студента. Едва она взялась за нее, чуть встряхнула, как на постель упало письмо. Женщина взяла, поглядела и, остолбенев от изумления, сказала:

— Что такое? Да ведь это же — почерк моей дочери!

Распечатала письмо и принялась громко вздыхать. Цяо-нян спросила, в чем дело.

— Вот здесь известие от моей Третьей. Муж ее умер, и она осталась беспомощной сиротой... Ну как тут теперь быть?

— Это верно,— сказала девушка,— что он говорил, будто кому-то несет письмо... Какое счастье, что я его не прогнала!

Женщина крикнула студенту, чтоб он встал, и стала подробно расспрашивать, откуда у него это письмо. Студент рассказал все подробно.

— Вы потрудились,— сказала она,— в такую даль нести это письмо... Чем, скажите мне, вас отблагодарить?

Затем пристально посмотрела на студента и спросила его с улыбкой, чем он обидел Цяо-нян. Студент сказал, что не может понять, в чем провинился. Тогда женщина принялась допрашивать девушку. Та вздохнула.

— Мне жалко себя,— сказала она.— Живою я вышла за евнуха, мертвой — сбежала к скопцу!.. Вот где мое горе!

Женщина посмотрела на студента и промолвила:

— Такой умный мальчик... Что ж это ты: по всем признакам мужчина — и вдруг оказываешься бабой? Ну, ты мой гость! Нечего тут дольше поганить других людей!

И повела студента в восточный флигель. Там она засунула руку ему между ног, осмотрела и засмеялась.

— Не удивительно,— сказала она при этом,— что Цяо-нян роняет слезы. Впрочем, на твое счастье, есть все-таки корешок. Можно еще что-нибудь сделать!

Зажгла лампу. Перерыла все сундуки, пока не нашла какой-то черной пилюли. Дала ее студенту, велела сейчас же проглотить и тихо рекомендовала ему не шуметь. Затем ушла.

Студент, лежа один, стал размышлять, но никак не мог взять в толк, от какой болезни его лечат.

Проснулся он уже в пятой страже и сейчас же ощутил под пупом нить горячего пара, ударяющего прямо в тайное место. Затем что-то поползло, как червяк, и как будто между ляжек свисла какая-то вещь. Пощупал у себя,— а он, оказывается, уже здоровенный мужчина! Сердце так и встрепенулось радостью... Словно сразу получил от государя все девять отличий.

Только что в рамах окна появились просветы, как вчерашняя женщина уже вошла и принесла студенту жареные хлебцы. Велела ему терпеливо отсидеться, а сама заперла его снаружи.

— Вот что,— сказала она, уходя, своей Цяо-нян,— молодой человек оказал нам услугу, принес письмо. Оставим его пока да позовем нашу Третью в качестве подруги-сестры для него. Тем временем мы его снова запрем, чтоб отстранить от него надоедливых посетителей!

И вышла за дверь.

Студенту было скучно. Он кружил по комнате и время от времени подходил к дверной щели,— словно птица, выглядывающая из клетки. Завидит Цяо-нян — и сейчас же захочется ее поманить, все рассказать... Но конфузился, заикался и останавливался. Так тянулось время до полуночи. Наконец вернулась женщина с девушкой, открыла дверь и сказала:

— Заморили скукой молодого господина! Третья! Можешь войти поклониться и попросить извинения!

Тогда та, которую он встретил на дороге, нерешительно вошла.

Обратясь к студенту, подобрала рукава и поклонилась. Женщина велела им называть друг друга старшим братом и сестрой.

Цяо-нян хохотала:

— Старшей и младшей сестрой... Тоже будет хорошо!

Все вместе вышли в гостиную, уселись в круг. Подали вино. За вином Цяо-нян в шутку спросила студента:

— Ну, а что, скопец тоже волнуется при виде красавицы или нет?

— Хромой,— отвечал студент,— не забывает времени, когда ходил. Слепой не забывает времени, когда видел.

Все расхохотались. Цяо-нян, видя, что Третья утомлена, настаивала, чтобы ее оставили в покое и уложили спать. Женщина обратилась к Третьей, веля ей лечь со студентом. Но та была вне себя от стыда и не шла. Хуа сказала:

— Да ведь это мужчина-то мужчина, а на самом деле — покойник! Чего его бояться?

И заторопила их убираться, тихонько шепнув студенту:

— Ты за глаза действуй, как мой зять. А в глаза — как сын. И будет ладно!

Студент ликовал. Схватил девушку за руки и залез с ней на кровать. Вещь, только что снятая с точильного камня, да еще в первой пробе... Известно, как она быстра и остра!..

Лежа с девушкой на подушке, Фу спросил ее: что за человек Цяо-нян?

— Она мертвый дух. Талант ее, красота не знают себе равных. Но судьба, ей данная, как-то захромала, рухнула. Она вышла замуж за молодого Мао, но тот от болезненного состояния стал как кастрат, и когда ему было уже восемнадцать лет, он не мог быть, как все люди. И вот она, в тоске, которую ничем нельзя было расправить, унесла свою досаду на тот свет.

Студент испугался и выразил подозрение, что Третья и сама тоже бес.

— Нет,— сказала она,— уж если говорить тебе правду, то я не бес, а лисица. Цяо-нян жила одна, без мужа, а я с матерью в это время остались без крова, и мы сняли у нее помещение, где и приютились!

Студент был ошарашен.

— Не пугайся,— сказала дева.— Хотя мы, конечно, бес и лисица, мы — не из тех, которые кому-либо вредят!

С этой поры они стали проводить вдвоем все дни, болтая, балагуря...

Хотя студент и знал, что Цяо-нян — не человек, однако, влюбленный в ее красоту, он все досадовал, что нет случая ей себя, так сказать, преподнести.

У него был большой запас бойких слов. Он умел льстить и подлаживаться, чем снискал себе у Цяо-нян большие симпатии. И вот однажды, когда обе Хуа куда-то собрались и снова заперли студента в комнате, он, в тоске и скуке, принялся кружить по комнате и через двери кричать Цяо-нян. Та велела служанке попробовать ключ за ключом, и наконец ей удалось открыть дверь. Студент сказал, припав к ее уху, что просит оставить все лишь промеж них двоих. Цяо-нян отослала служанку. Студент схватил ее, потащил на кровать, где спал, и страстно устремился... Дева, смеясь, ухватила у него под животом:

— Как жаль! Такой ты милый мальчик, а вот в этом месте — увы! — не хватает!..

Не окончила она еще этих слов, как натолкнулась рукой на полный обхват.

— Как? — вскричала она в испуге.— Прежде ведь было такое малюсенькое, а теперь вдруг этакий канатище!

Студент засмеялся.

— Видишь ли,— сказал он,— в первый-то раз мы застыдились принять гостью — и съежились. А теперь, когда над нами глумились, на нас клеветали — нам невтерпеж: дай, думаем, изобразим, что называется, «жабий гнев».

И свился с ней в наслаждении.

Затем она пришла в ярость.

— Ах, теперь я поняла,— говорила она,— почему они запирали дверь! Было время, когда и мать и дочь шлялись тут без места... Я им дала помещение, приютила... Третья училась у меня вышивать... И я, знаешь, никогда ничего от них не скрывала и ничего для них не жалела... А они, видишь, вот какие ревнивые!

Студент стал ее уговаривать, успокаивать, рассказывая все, как было. И все-таки Цяо-нян затаила злобу.

— Молчи об этом,— просил студент.— Тетушка Хуа велела мне строго хранить это в секрете.

Не успел он закончить свои слова, как тетушка Хуа неожиданно вошла к ним. Застигнутые врасплох, они быстро вскочили, а тетка, глядя на них сердито, спросила, кто отпер дверь.

Цяо-нян засмеялась, приняла вину на себя. Тетка Хуа еще пуще рассвирепела и принялась ругаться сплошным и путаным потоком оглушительной брани.

Цяо-нян с притворной и вызывающей усмешкой сказала:

— Слушай, бабушка,— ты, знаешь, меня сильно насмешила! Ведь это, не правда ли, по твоим словам, хоть и мужчина, да всетаки покойник... Что он, мол, может поделать?

Третья, видя, что ее мать сцепилась с Цяо-нян насмерть, почувствовала себя плохо и принялась сама их усмирять. Наконец обе стороны побороли свой гнев и повеселели. Хотя Цяо-нян и говорила гневно и резко, однако с этой поры стала всячески служить и угождать Третьей. Тем не менее тетка Хуа и днем и ночью держала дочь взаперти, подальше от Цяо-нян, так что у нее с Фу Лянем не было возможности открыть друг другу свои чувства, которые оставались лишь в их бровях и глазах, скрытыми, невыраженными.

Однажды тетка Хуа сказала студенту:

— Мои дети, государь мой,— и старшая и младшая,— уже имели счастье тебе услужить. Мне думается, что тебе сидеть здесь уже не расчет. Ты бы, знаешь, вернулся к себе домой и объявил отцу с матерью. Пусть они поскорее устроят вам вечный союз!

Собрала студента и заторопила в дорогу. Обе молодые женщины смотрели на него с грустными, скорбными лицами,— особенно Цяо-нян, которая не могла выдержать, и слезы так и катились из ее глаз, словно жемчуга из порвавшейся нитки,— без конца. Тетка Хуа остановила, отстранила ее и быстро вывела сту-

дента. Только что они вышли за ворота,— глядь, а уже ни зданий, ни дворов! Видна лишь одна заросшая могила.

Тетка проводила студента до лодки.

— Вот что,— сказала она ему на прощанье,— после твоего ухода я заберу обеих девочек и проеду в твой город, где и сниму помещение. Если не забудешь старых друзей, то мы свидимся еще в заброшенном саду дома Ли!..

Студент прибыл домой. До этого времени Фу-отец искал-искал сына, но найти не мог. Тосковал и волновался опасениями до крайности. Увидев вернувшегося, был нежданно обрадован. Студент рассказал все в общих чертах, причем упомянул, кстати, о своем уговоре с Хуа.

— Разве можно верить этой чертовщине? — говорил ему на это отец.— Знаешь, почему ты как-никак, а воротился живым? Только потому, что ты не мужчина, а калека. Иначе была бы смерть.

— Правда, что это необыкновенные создания,— возражал Лянь.— Тем не менее чувства у них напоминают те же, что у людей. Тем более что они такие сметливые, такие красивые... Женюсь на ней — так никто из земляков не будет смеяться!

Отец не стал разговаривать, а только фыркал.

Студент отошел от него... Его так и подзуживало. Он не желал мириться со своей участью. Начал с того, что, как говорится, усвоил себе служанку. И мало-помалу дошел до того, что среди бела дня с ней блудил вовсю, прямо желая, чтобы это во всей резкости дошло до ушей старика и старухи.

Однажды их подсмотрела маленькая служанка, которая сейчас же побежала и доложила матери. Та не поверила. Подошла, подсмотрела и была ошеломлена тем, что видела. Позвала служанку, допросила ее и наконец узнала все. Страшно обрадовалась и стала разглашать всякому встречному, направо и налево, заявляя, что сын их не бездейственный человек. Ею руководила мысль просватать сына за кого-нибудь из знатной семьи.

Однако студент тихонько шепнул матери, что он ни на ком, кроме Хуа, не женится.

— Послушай,— сказала мать,— на этом свете нет недостатка в красивых женах. Зачем тебе вдруг непременно понадобилась бесовщина?

— Если бы не тетка Хуа,— возразил Лянь,— мне никак не удалось бы узнать, в чем жизнь человека. Повернуть ей спину — не принесет добра.

Старик Фу согласился. Послали слугу и старую прислугу искать Хуа. Вышли за город с восточного конца, прошли четыре-пять ли, стали искать сад семьи Ли. Смотрят — среди разрушен-

ных стен бамбуков вьется ниточками дым. Старуха слезла с телеги и прямо прошла в дверь. Оказывается, мать и дочь вытерли стол, все чисто вымыли и, видимо, кого-то ждали.

Старуха с поклоном передала волю своих господ. Затем, увидя Третью, была поражена и сказала:

— Это и будет супруга моего господина? Я лишь взглянула на нее и то полюбила. Что же странного в том, что у молодого барина она в душе мыслится и во сне кружит?

Старуха спросила о сестрице. Хуа вздохнула:

— Это была моя приемная дочь. Три дня тому назад она внезапно скончалась, отошла от нас.

Вслед за этим стали угощать вином и обедом обоих прибывших: и старуху и слугу.

Вернувшись домой, старуха доложила полностью свои впечатления от внешности и манер Третьей. Отец и мать Фу пришли в восторг. Под конец старуха передала также известие о Цяо-нян. Студент пригорюнился и готов был заплакать.

В ночь встречи молодой у себя в доме он свиделся со старухой Хуа и сам спросил о Цяо-нян.

Та засмеялась и сказала ему:

— Она уже переродилась на севере.

Студент долго стонал и вздыхал. Встретил свою Третью, но никак не мог забыть о своем чувстве к Цяо-нян. Всех прибывших из Цюнчжоу он обязательно зазывал к себе и расспрашивал.

Как-то ему сообщили, что на могиле Цинской девы слышат по ночам плач мертвого духа. Студент, пораженный такой странностью, пошел к Третьей и сказал ей. Она погрузилась в думу и долго молчала. Наконец заплакала и сказала:

— Я перед ней так виновата, так неблагодарна!

Студент стал спрашивать. Она улыбнулась.

— Когда мы с матерью пришли сюда, то не дали ей об этом знать. Уж не из-за этого ли теперь раздается плач обиды? Я уж давно собиралась тебе все рассказать, но боялась, знаешь, раскрыть материн грех.

Услыхав такие слова, студент сначала затужил, а потом возликовал. Сейчас же велел заложить повозку и поехал. Ехал днем и ночью и во весь опор прискакал к могиле. Распластался перед деревом на могиле и крикнул:

— Цяо-нян, а Цяо-нян! Я — ты знаешь кто — здесь!

И вдруг показалась Цяо-нян с спеленатым младенцем на руках. Выйдя из могилы, она подняла голову и стала жалобно стонать и глядеть на него с бесконечной досадой. Студент тоже плакал.

Потом он коснулся ее груди и спросил:

— Чей это сын?

— Это твой оставленный мне грех! Ему уже три дня.

— Я, милая, по глупости своей поверил тогда словам Хуа и этим дал тебе закопать в землю свою обиду... Могу ли, скажи, отказаться от своей вины?

Посадив ее с собой в повозку, он по морю вернулся домой. Взял на руки сына и объявил матери. Та взглянула. Видит — огромный, красиво сложенный младенец, не похожий на бесовскую тварь, и была еще более довольна, чем прежде.

Обе женщины прекрасно между собой ладили и служили с должным почитанием свекрови.

Затем захворал старик Фу. Пригласили врача.

— С болезнью ничего нельзя поделать,— сказала Цяо-нян,— ибо душа уже покинула свое обиталище. Позаботьтесь лучше о погребальных делах.

Только что она закончила говорить, как Фу умер.

Мальчик рос удивительно похожим на своего отца и даже был еще более сметливый и способный. Четырнадцати лет он уже вошел в Полупруд.

Некто Цзы-ся, из Гаою, будучи наездом в Гуане, слышал эту историю. Названия мест он забыл, да и чем все это кончилось, тоже не знает.

ПРИГОВОР НА ОСНОВАНИИ СТИХОВ

Цинчжоуский обыватель Фань Сяо-шань торговал вразнос писчими кистями. Раз он ушел с товаром и домой не возвращался. Дело было в четвертой луне. Жена его, урожденная Хэ, легла спать одна и была убита грабителем.

В эту ночь моросил мелкий дождь... В грязи был обронен веер с написанными на нем стихами. Оказалось, что это некий Ван Чэн дарил веер и стихи некоему У Фэй-цину. Кто такой Ван Чэн, было неизвестно, но У был известный своею зажиточностью обыватель родом из Иду и земляк Фаня. Этот У всегда отличался легкомысленным поведением, так что все односельчане отнеслись к находке с доверием.

Начальник уезда велел его арестовать и стал допрашивать, но У свою вину упорно отрицал. Однако его заковали в тяжелые колодки и делу дали окончательный ход. Пошли ходить бумаги, то критикующие, то разъясняющие, но, пройдя инстанций с десять, все-таки иного суждения не выработали.

У решил, что ему придется умереть, и велел жене истратить все, что у них есть, на помощь его одинокой душе. Тем, кто явит-

ся к воротам дома и произнесет «Будда» тысячу раз, он велел давать теплые штаны, а тем, кто дойдет до десяти тысяч,— теплый халат. И вот у дома У стал толпиться целый базар нищих, и на десятки ли раздавались призывы Будды. От этого дом стал быстро беднеть. Каждый день то и дело занимались продажей земли и хозяйственного добра для покрытия расходов по расчету с причитавшими.

У тайно подкупил одного из тюремных смотрителей, велев ему приобрести яду, но в ту же ночь он видит во сне какое-то божество, обратившееся к нему со следующими словами:

— Не умирай! Тогда было несчастие извне, а теперь будет удача внутри.

Уснул еще раз — и опять те же речи. Тогда У своего намерения покончить с собой не осуществил.

Вскоре после этого прибыл на должность начальника почтеннейший Чжоу Юань-лян. При регистрации уголовных преступников он дошел до дела У и, по-видимому, над чем-то задумался.

— Вот тут,— спросил он,— некий У убил человека... А какое тому было заслуживающее доверия свидетельство?

Позвали Фаня (сына). Тот сказал, что веер — вот доказательство. Начальник стал внимательно разглядывать веер.

— А кто такой этот Ван Чэн? — спросил он.

— Не знаю,— сказал Фань.

Начальник взял дело и внимательно его пересмотрел, после чего сейчас же распорядился снять с У колодки и из тюрьмы перевести его в хлебный магазин.

Фань стал энергично протестовать.

— Ты что ж,— кричал он в сердцах,— хочешь, чтобы человека убили за здорово живешь, и, кончив на этом, от дела отойти? Или, быть может, ты хочешь, чтобы тот «достал своего врага и сердце на нем усладил»?

Всем вообще показалось, что почтенный начальник выказал в отношении к У пристрастность, но, конечно, никто ничего не посмел сказать.

Тогда начальник дал собственноручно подписанный наряд на немедленное задержание хозяина одной лавки в южном предместье города. Тот испугался, совершенно не понимая, в чем дело.

Когда он явился в управление, начальник обратился к нему с вопросом:

— Вот что, любезный: у тебя в лавке на стене есть стихи некоего Ли Сю из Дунгуаня. Когда они были написаны?

Лавочник в ответ на это сказал, что эти стихи написаны и оставлены у него в лавке какими-то студентами-кандидатами (их

было не то двое, не то трое), которые сидели и пьянствовали перед прибытием на экзамены окружного инспектора. Дело это было уже давно, и лавочник сказал, что не знает, где живет автор этих стихов.

После этого начальник отправил служителей в Жичжао, чтобы арестовать Ли Сю, как обвиняемого, на дому. Через несколько дней Сю был доставлен.

— Слушай, ты,— обратился к нему начальник гневным тоном,— раз ты ученый кандидат, то как же это ты замыслил убить человека?

Сю бухнул в ноги в совершенном недоумении и растерянности... Он твердил только одно: «Нет, не было этого!..» Начальник бросил ему вниз веер и велел самому посмотреть.

— Ясно, кажется,— добавил он,— что это твое сочинение. Зачем же ты обманным образом приписал это Ван Чэну?

Сю стал внимательно разглядывать стихи.

— Стихи,— сказал он,— действительно, сочинение вашего покорного слуги, но знаки, правду говорю и серьезно, писал не я.

— Ну, раз ты признал, что это твои стихи,— сказал начальник,— то это, должно быть, кто-то из твоих друзей. Кто писал? Говори!

— Почерк,— отвечал студент,— как будто похож на руку Ван Цзо из Ичжоу!

Начальник немедленно командировал своих служителей с печатью арестовать Ван Цзо. Когда того привели, начальник принял его с гневным окриком точно так же, как и Сю.

— Эти стихи,— сказал в ответ Цзо,— попросил меня написать торговец железом в Иду, некий Чжан Чэн. По его словам, Ван Чэн — его двоюродный брат.

— Вот он, негодяй, где! — воскликнул начальник и велел схватить Чжан Чэна.

При первом же допросе тот повинился.

А дело было, оказывается, так. Чжан Чэн высмотрел, что Хэ хороша собой, и захотел ее вызвать на близость. Однако, боясь, что дело не выйдет, решил воспользоваться именем У, считая, что на этого человека все подумают с уверенностью. С этой целью он подделал веер так, чтобы он казался принадлежащим У, и с ним направился к женщине. «Удастся,— рассуждал он при этом,— назовусь. Не удастся,— я, как говорится, отдам свое имя замуж за У». В сущности говоря, он не рассчитывал, что дело дойдет до убийства.

И вот он перелез через стену, вошел в комнату и начал к женщине приставать. Та, оставаясь одна на ночь, всегда держала

для самообороны нож. Она проснулась, ухватилась за одежду Чжан Чэна и встала, держа в руке нож. Чжан Чэн струсил и вырвал нож у нее из рук, но женщина изо всех сил тащила его, не позволяя ему вырваться, и все время кричала.

Чжан Чэн, теряясь все более и более, убил ее, а сам убежал, бросив веер на землю.

Таким образом, несправедливая кара, тяготевшая над человеком три года, была в одно прекрасное утро смыта до снежной белизны. Не было человека, который не превозносил бы эту сверхчеловеческую прозорливость начальника, и теперь только У понял, что слова «внутри будет счастье» — не более как знак «чжоу». Однако как это произошло, разгадать не мог.

Некоторое время спустя кто-то из местной знати, улучив удобную минуту, просил Чжоу объяснить это дело. Чжоу улыбался.

— Понять это,— сказал он в ответ,— было в высшей степени просто. Я, видите ли, внимательно просмотрев все производство по этому делу, обратил внимание на то, что Хэ была убита в первых числах четвертой луны, что эта ночь была темна, шел дождь и было все еще холодно. Значит, веер для этой ночи не являлся необходимой принадлежностью. Неужели ж, когда человек спешит и дорожит временем, ему придет в голову, вопреки всяким требованиям рассудка, брать этот предмет для того только, чтобы он еще более связывал ему руки?

Сообразив все это, я догадался, что тут кому-то сватается беда.

Далее, как-то давно уже я проезжал по южному предместью и, зайдя в лавку от дождя, увидал на стене стихи. Их, так сказать, «углы рта» напоминали те самые, что были на веере. Я воспользовался этим сходством, чтобы наудачу допросить студента Ли. И что ж? Оказалось, что этим самым я накрыл настоящего злодея. Удачно, значит, попал — счастье мое...

Слушавший эти речи вздохнул и выразил Чжоу свое почтение.

ТАЙЮАНЬСКОЕ ДЕЛО

В Тайюане жила семья простых людей, в которой и свекровь и невестка — обе вдовели.

Свекровь была женщина средних лет, сохранять себя в целомудрии не умела, так что один из беспутных односельчан частенько к ней наведывался.

Невестка, не одобрявшая подобного поведения, становилась незаметно у дверей или у забора и не пускала гостя. Свекровь

брал стыд, и вот она под каким-то предлогом выгнала невестку из дому, но та не ушла, и ссоры усилились.

Тогда свекровь, пылая гневом, пошла к правителю уезда и сделала ложный донос, обвиняя невестку как раз в том самом, в чем та винила ее.

Правитель спросил, как имя и фамилия блудника.

— Да он приходит к ней ночью и ночью же уходит,— отвечала свекровь.— Я, по правде сказать, не знаю, кто он и что он. Спросите невестку: та наверное знает!

Правитель вызвал невестку. Та действительно знала, о чем спрашивали, но обвинение в разврате вернула по адресу свекрови.

Женщины принялись свирепо спорить. Тогда правитель велел схватить беспутного блудника.

Тот явился, но стал кричать и отвергать обвинение.

— Ни с той, ни с другой я не связывался,— кричал он,— просто, знаете, обе эти вдовы не могут друг друга терпеть, вот и возводят на меня напраслину — совершенно зря!

— Послушай,— возразил правитель,— в селе сотня мужчин; почему это вдруг оклеветали одного тебя?

И велел ему всыпать палок побольше. Блудник бросился в ноги и умолял избавить его от наказания, причем сознался, что он в связи с невесткой.

Правитель велел надеть ей шейный хомут, но та не признала за собой вины. Тогда правитель просто выгнал ее вон.

Невестка, кипя гневом, подала жалобу губернатору. Но тот постановил по-прежнему, и так долгое время окончательно это дело не было разрешено.

Затем сюда, в Линьцзинь, был назначен губернатором доктор Сунь Лю-ся, выказавший свои способности к разрешению тяжеб и уголовных дел. Ввиду этого дело, о котором здесь речь, направили к нему в Линьцзинь. Привели подсудимых и прочих людей. Господин Сунь сделал беглый допрос, подержал их некоторое время в тюрьме, а затем велел приказным служителям запасти кирпичей, ножей и иголок, нужных — по его словам — при свидетельских показаниях. Все недоумевали, что это означает.

— Для строгих кар,— говорили вокруг,— существуют, как известно, канги, хомуты, колодки. Как это он хочет решить дело не общеуголовным порядком наказаний?

И не понимали, что у него на уме. Однако, что бы там ни было, приготовили все, чего он требовал.

На следующий день правитель поднялся в зал суда и, удостоверившись, что все эти вещи налицо, велел разложить их в самом зале. Затем велел позвать виновных и вкратце допросил их

по всем пунктам обвинения. После этого он обратился к обеим женщинам так:

— В вашем деле нет надобности доискиваться ясности и определенности. Хотя и не дознано окончательно, кто из вас блудная вдова, но зато ясно, кто блудник. Ваша семья, в сущности, семья чистых нравов. Просто вас как-то совратил с пути истины негодяй, так что вся вина на нем. Вот здесь перед вами ножи, кирпичи и прочее. Возьмите, что хотите, бейте его, убивайте!

Свекровь и невестка нерешительно переминались, боясь навлечь на себя преследование и месть, но правитель, видя их колебания, сказал им:

— Да вы не беспокойтесь: я ведь тут!

Тогда и свекровь и невестка вскочили с колен и, схватив кирпичи, принялись швырять в мужчину одна за другой. Невестка, давно таившая к этому человеку ненависть, обеими руками схватила огромную кирпичину и жалела, по-видимому, только о том, что не убила его одним ударом. Свекровь же брала лишь мелкие камешки; бросит ему в ляжку или ягодицу — только и всего.

Тогда правитель велел им взять по ножу. Свекровь опять замялась. Правитель остановил их.

— Я знаю,— сказал он,— кто из вас блудница!

И велел задержать свекровь, наложив на нее жестокие колодки.

Тут же он все и дознал. Дело было закончено.

ЮАНЬ МЭЙ

ИЗ КНИГИ «О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ КОНФУЦИЙ»

ГРОМ КАЗНИТ ГАРНИЗОННОГО СОЛДАТА

Во вторую луну третьего года Цянь-лун убило громом одного гарнизонного солдата. Так как ничего дурного за ним не водилось, то люди сочли это удивительным.

Старый солдат, служивший вместе с убитым, рассказал:

— Он давно уже стал хорошо себя вести... Почему стал? А все потому. Лет двадцать назад, когда он только что надел латы, была с ним одна история. Я служил с ним в одном отряде и хорошо все помню.

Наш командующий охотился у подножья горы Гаотиншань, а тот солдат поставил палатку у дороги; уже смеркалось, когда

мимо палатки прошла молоденькая монахиня; увидев, что поблизости никого нет, солдат втащил ее в палатку и хотел надругаться над ней. Монахиня сопротивлялась изо всех сил; оставив у него в руках свои штаны, она вырвалась; солдат гнался за нею пол-ли, не меньше, но она вбежала в какой-то крестьянский дом, и он, полный досады, вернулся ни с чем.

В доме, куда забежала монашка, были только молодая хозяйка и ее маленький сын; муж ушел на заработки. Женщина хотела прогнать монашку, но та рассказала, что с ней случилось, и стала умолять позволить ей переночевать, и женщина пожалела ее и позволила остаться. Она одолжила монашке свои штаны, и они договорились, что та через три дня их вернет. Монашка ушла от нее еще затемно.

Возвращается муж, снимает с себя грязную одежду, хочет переодеться. Жена открывает сундук, ищет — ничего нет, только ее штаны лежат. Тут она поняла, что в суматохе дала монашке мужнины штаны, но побоялась признаться. А ребенок возьми да и скажи:

— Вчера ночью приходил монах, он надел штаны и ушел.

Муж заподозрил неладное, стал расспрашивать сына, а тот все подробно рассказал: как пришел ночью монах, как жалобно просил мать, как остался на ночь, как та одолжила ему штаны, и как он еще затемно ушел.

Жена уверяла, что это была монашка, а не монах, но муж не поверил. Сначала он изругал ее, а потом избил, да еще пошел рассказать соседям, а те передали другим, так что все узнали об этой истории. Жена не стерпела обиды и повесилась.

На следующее утро муж открыл двери и увидел, что пришла монашка вернуть штаны, да еще принесла в благодарность корзинку с печеньем.

Указав на монашку, мальчик сказал: «Вот монах, что у нас ночевал позавчера».

Муж в раскаянии стал бить мальчика, да так, что забил его до смерти перед гробом матери, а потом и сам повесился.

Соседи не хотели вмешивать власти, сами похоронили покойников, не дав делу хода.

В следующую зиму командующий снова охотился в этих местах, и кто-то из местных жителей рассказал об этой истории. Хотя в душе я знал, что виновник этот солдат, но дело заглохло, и я не стал никому ничего говорить; только ему самому рассказал; на него это очень подействовало, и с тех пор он изменился к лучшему. Он надеялся, что добрым поведением искупил свою вину, никак не предполагал, что не сможет избежать небесной кары.

СЛУЖЕБНЫЙ ЗУД

Рассказывают, что во времена династии Мин в области Наньян был некий начальник области, который умер при исполнении служебных обязанностей в зале присутствия, и с этих пор каждое утро, на рассвете, дух его в головном уборе из черного шелка приходил в главный зал и усаживался на место, обращенное к югу. Слуги ему кланялись, словно он мог кивнуть им в ответ. Днем его видно не было.

В середине годов Юн-чжэн на должность начальника этой области прибыл достопочтенный Цяо; услыхав об этой истории, он засмеялся и сказал: «Это у него служебный зуд. Тело его хоть и умерло, но сам он не знает, что мертв, поэтому так и ведет себя. Мне надлежит уведомить его».

Рано утром Цяо в парадной одежде и головном уборе уселся на почетное место, обращенное к югу, а когда пришло время начать присутствие, показался тот в черном шелковом головном уборе; увидев, что его место занято, он стал переминаться с ноги на ногу, не решаясь пройти вперед. Затем тяжело вздохнул и удалился. С тех пор чудеса прекратились.

СОЖГЛИ ТРАВУ, ОБЛИЧАЮЩУЮ ВОРОВ

В Ланьфу есть трава, обличающая воров. Если в каком-нибудь доме пропадет какая-то вещь, сжигают эту траву, и у вора начинают дрожать руки и ноги.

У одной барышни пропала пара золотых шпилек, кто их украл — неизвестно. Она собрала всех слуг, служанок, старух-нянек, всего несколько десятков человек, и сожгла эту траву. У всех вид был совершенно спокойный, ничем не отличавшийся от обычного, но барышня вдруг заметила, что занавес у двери начал непрерывно дрожать. Она пригляделась и увидела, что на занавесе висят ее шпильки. Когда она проходила мимо, шпильки зацепились за занавес и повисли на нем.

УКРАЛИ КАРТИНУ

Некто при свете дня зашел в чужой дом и украл картину. Только он успел свернуть ее и выйти за ворота, как возвратился домой хозяин.

Вор, крепко держа картину в руках, низко поклонился и сказал:

— Это — портрет родоначальника нашей ничтожной семьи. Крайняя нужда заставляет меня просить вас дать мне в обмен за него несколько доу риса.

Хозяин громко рассмеялся над глупостью просителя, а потом замахал на него руками, накричал и прогнал, так и не взглянув на картину.

Когда же он поднялся в зал, то увидел, что висевшая там картина кисти Чжао Цзы-ана исчезла.

ОСТАНКИ САМИ СЕБЯ ХВАЛЯТ

На горе Шанфаншань в Сучжоу есть буддийский монастырь. Некий Ван из Янчжоу гостил там, и вдруг, среди бела дня, донесся до него из-под лестницы человеческий голос, что-то без умолку твердивший. Ван позвал других гостей. Они тоже услышали голос и решили, что это дух мертвого жалуется на обиду; вместе с монахами они взялись за кирки и лопаты и стали разрывать землю. На глубине пяти чи с лишком обнаружили они сгнивший гроб, а в нем сухие останки. И все. Тогда они снова закрыли гроб. Не прошло и получаса, как из-под земли опять послышался голос, идущий словно из этого гроба. Стали прислушиваться, но ни одного слова понять не могли. Все испугались.

— В западном флигиле живет наставник Дэ-инь, он — человек высокой добродетели, понимает язык бесов. Попросим его прийти послушать,— предложил кто-то.

Гости и Ван вместе с ними поспешили к Дэ-иню и попросили прийти послушать голос. Наставник пришел, склонился над землей, долго слушал и наконец промолвил с досадой:

— Незачем его раскапывать! Этот бес при жизни был важным сановником и любил, чтобы люди ему льстили; после смерти никто ему не льстит, вот он и лежит в гробу и сам себя расхваливает.

Все стали смеяться и разошлись. Звуки из гроба постепенно утихли.

ПОСЛУШНИК МЕЧТАЕТ О ТИГРЕ

Один буддийский монах с горы Утайшань взял себе в послушники мальчика, которому было три года.

Гора Утайшань весьма высокая, а монах с мальчиком жили на самой ее вершине и, всем сердцем стремясь к совершенству, ни разу не спускались вниз.

Когда лет через десять они сошли с горы, послушник впервые увидел волов, лошадей, петухов, собак.

Поэтому монах стал объяснять ему: «Вот это — вол, на нем можно пахать поле; а это — лошадь, на ней можно ездить верхом. Это — петух, он возвещает рассвет; это — собака, она сторожит дом».

Послушник кивал в ответ.

Вскоре мимо них прошла молоденькая девушка.

— А это что? — спросил послушник.

Монах, не желая, чтобы его ученик думал о подобных существах, ответил с серьезным видом: «Это тигр, всякого, кто к нему приблизится, пожирает, не оставляя даже косточки».

Вечером, когда они поднялись обратно на гору, монах спросил:

— Ну, понравилось тебе какое-нибудь существо там, внизу?

— Никто не понравился,— ответил послушник.— Только этот тигр, что пожирает людей, очень понравился. Никак из головы нейдет.

МИ ЮАНЬ-ЧЖАН ОТСТАИВАЕТ СВОЮ СЛАВУ И ДОБРОЕ ИМЯ

Некий Бао из Уху рисовал картины на продажу и тем зарабатывал на жизнь. Он усердно изучал произведения Ми Юань-чжана и в конце концов научился в точности их копировать, да еще при этом он мог так накладывать краски, что бумага принимала старинный вид. Знатоки его картины не покупали, зато антиквары с юга и с севера брали их наперебой, и вскоре Бао разбогател.

Однажды, нарисовав картину, Бао устал и заснул. Вдруг видит — человек в танской шапке и сунском халате поднялся к нему во двор и стал ругать его:

— Я — Ми Юань-чжан. Ты изучал мои картины, но освоил только их видимость, твое богатство — плод обмана. Из-за тебя много сотен лет потомки будут говорить, что картины Ми Юань-чжана ничего собой не представляют. Ты опозорил мое имя, погубил мою славу!

Тут он вынул из рукава камень и ударил им по правому локтю Бао. От нестерпимой боли Бао в испуге проснулся.

С тех пор, когда Бао держал в руке кисть, вся рука — от локтя до пальцев — болела нестерпимо; когда же он брал в руку палочки для еды или считал деньги — боли не было.

ЦЗИ ЮНЬ

ИЗ «ЗАМЕТОК ИЗ ХИЖИНЫ «ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ»

* * *

Цзи Жу-ай из Цзяохэ и Чжан Вэнь-фу из Цинсяня были старыми начетчиками и имели учеников в Сянь. Как-то, прогуливаясь при лунном свете, они оказались у заброшенного подворья; все было в зарослях кустарника, темно, запущено, тихо...

Ощутив в сердце тревогу, Чжан предложил пуститься в обратный путь.

— В развалинах и у могил часто водятся духи,— сказал он,— не будем здесь задерживаться.

Вдруг откуда ни возьмись появился какой-то старик, опирающийся на посох, и пригласил обоих присесть.

— Откуда бы в мире живых взяться духам? — спросил он.— Не слыхали вы разве о рассуждениях Юань Чжаня? Оба вы, достопочтенные,— ученые-конфуцианцы, зачем же даете веру глупой болтовне буддистов о существовании нечисти!

И тут он стал объяснять им смысл учения братьев Чэн и Чжу Си, приводить всяческие аргументы и доказательства, и все это в изысканных выражениях, плавно и красноречиво. Слушая его, оба начетчика согласно кивали головами, проникаясь истиной, содержащейся в учении сунских конфуцианцев. Угощаясь предложенным им вином, они даже забыли осведомиться об имени своего хозяина.

Но вот вдалеке послышался грохот проезжающих мимо больших телег, зазвенели колокольчики коров. Оправив одежду, старик поспешно поднялся и сказал:

— Покоящиеся под Желтыми источниками люди обречены на вечное молчание. Если бы я не повел речей, отрицающих существование духов, я не смог бы удержать вас здесь, почтеннейшие, и мне не довелось бы скоротать вечерок за болтовней. Сейчас нам надо расстаться, и я почтительнейше прошу вас не сетовать на меня за шутку!

Мгновение, и старик исчез.

В этой местности ученых мужей было очень мало, только могила господина Дун Кун-жу находилась неподалеку. Может быть, это был его дух?!

* * *

Старуха торговка цветами рассказывала:

— Был в столице один дом невдалеке от заброшенного сада; в том саду издавна водилось множество лис. А одна красавица перелезала через невысокую садовую стену и ходила туда на свидания со своим возлюбленным, юношей, жившим по соседству. Боясь, как бы их связь не вышла наружу, она вначале назвалась ему чужим именем, а потом, увидев, что он все больше к ней привязывается и уж не бросит, выдала себя за лисицу-оборотня из этого сада. Юноша был влюблен в ее красоту и, конечно, не отверг ее.

Прошло уже много времени, как вдруг с крыши дома этой красавицы посыпалась черепица и послышалась брань:

— Я уже давно живу в этом саду, у меня там дети бегают, кирпичами бросаются, соседи на беспокойство жалуются, до развратных ли мне развлечений?! Да как же ты посмела на меня клеветать?! — И тут, ясное дело, все обо всем узнали.

Вот уж поистине чудеса! Завлекая мужчин, лиса обычно выдает себя за женщину, а тут женщина выдала себя за лису. В искусстве обольщения она оказалась посильнее лисы; но лиса-то оказалась куда добродетельнее!

* * *

Чжу Цин-лэй рассказывал:

— Некто, скрываясь от врага, спрятался глубоко в горах; ярко светила луна, дул чистый ветер, и вдруг под каким-то тополем человек этот заметил беса; он упал ничком и боялся подняться. Увидев это, бес спросил:

— Почему вы прячетесь, почтеннейший?

Тот, весь дрожа, ответил:

— Я боюсь вас, господин.

— Люди ведь пострашнее будут,— возразил бес,— а бесов чего же бояться? Сюда-то вас кто загнал — человек или бес? — Засмеялся и пропал.

В рассказе Чжу Цин-лэя, по-моему, заключена аллегория.

* * *

Два учителя, содержавшие частные школы в соседних деревнях, пригласили как-то своих учеников на беседу; собралось человек десять. Шел спор о природе человека и неба, выяснялись вопросы высших принципов и человеческих желаний, речи их

были серьезны и осанка строга, как у истинных мудрецов или святых.

И вдруг легкий порыв ветра смел с возвышения, на котором они сидели, лист бумаги и, подхватив его, стал уносить. Когда ученикам удалось поймать его, они обнаружили, что там подробно записано, как да что делать, чтобы присвоить поле — собственность одной вдовы.

Может быть, добрым духам стало противно их лицемерие, поэтому они и сделали явной их подлость? А ведь эти двое так владели своим искусством, что прежде не ведали поражений. Теперь же, когда их план обнаружился, они не смогли его осуществить, и поле осталось за вдовой.

Эта одинокая женщина славилась душевной твердостью и строгим нравом. Наверное, жители потустороннего мира из сочувствия к ней и сотворили чудо, чтобы тайное стало явным.

* * *

Покойный мой дядя, господин И-ань, держал закладную лавку в Сичэне, там в маленькой башенке водились лисы; по ночам постоянно были слышны разговоры, но людям они вреда не причиняли, и те, в свой черед, не тревожили их.

И вот как-то ночью с башни послышались вопли, брань, звуки ударов, сбежались люди; внезапно раздался крик боли, и чей-то голос сказал:

— Вы, господа, собравшиеся внизу, все наверняка знатоки высших принципов. Скажите, неужели и в мире смертных тоже есть жены, которые бьют своих мужей?

А среди собравшихся внизу людей как раз был один, которого только что побила жена; на его лице еще были отчетливо видны следы ее ногтей; поэтому все засмеялись и хором ответили:

— Вот уж что есть, то есть. Это у нас не диво!

Лисы там, наверху, тоже стали смеяться, и ссора утихла.

Свидетели этого лопались со смеху.

Господин И-ань сказал:

— То, что лисы сумели смехом утишить гнев, это ведь прекрасно!

* * *

За воротами Фэнъи, в саду Фэншиюань росла старая сосна; многие из прошлых поколений складывали о ней стихи; господин Цянь Сян-шу еще видел ее, а сейчас сосна уже засохла.

Хэ Хуа-фэн рассказывал:

— Передавали, что, когда сосна эта еще не засохла, каждый раз, когда не было ветра и ярко светила луна, можно было услышать там звуки музыки. Некое весьма значительное лицо, как-то гуляя в этих местах, вместе с моими гостями и приятелями отправилось к сосне — послушать музыку; когда миновала вторая стража, раздались звуки цитры, они шли то изнутри дерева, то с его вершины. Спустя довольно много времени нежный голос неторопливо запел:

«Лгут, будто холодно ночью морозной зимой,
Я же скажу: — Лучше ночи и времени нет,
Под одеялом расшитым тепло нам с тобой,
Даже досадно, что скоро рассвет!»[1]

— Это что еще тут за оборотень! — закричало значительное лицо.— Как ты смеешь петь при мне такие непристойности!

Раздался скрип, и пенье прекратилось.

Внезапно снова раздались звуки лютни, и послышалась песня:

«Милый — как персика цвет или сливовый цвет,
Я ж — как сосна или стройный младой кипарис.
Сливовый цвет отцветает — мгновенье и нет,
Сосны по-прежнему тянутся ввысь».

Значительное лицо кивнуло головой и произнесло:

— Вот это уже ближе к классическому стилю.

В тот миг, когда еще звучали последние слова песни, за деревом чуть слышно прошептали:

— Этот старец очень податлив. Стоит только сочинить ему еще что-нибудь в таком же духе, и он сразу возрадуется.

Тут что-то хлопнуло, как бывает, когда лопается струна, и, сколько они ни прислушивались, сосна молчала.

* * *

В доме моего деда по матери, господина Чжан Сюэ-фэна, расцвели пионы; слуга Ли Гуй ночью увидел двух женщин, которые стояли, опершись на перила.

— При луне они особенно прекрасны,— сказала одна.

— В этих местах очень мало таких цветов,— ответила другая,— только в саду у господина Туна их больше.

Ли Гуй понял, что это — лисы, схватил черепицу и бросил в них; в то же мгновенье обе исчезли.

---

[1] Стихи в переводе А. Левинтона.

Внезапно посыпался град кирпичей; все оконные переплеты были повреждены. Господин Сюэ-фэн сам вышел из дому и видел это.

Разведя руками, он воскликнул:

— Как можно таким утонченным красавицам, которые любуются цветами, слагают стихи, восхищаются луной, как можно им уподобляться ничтожным людишкам! Ведь это значит «убивать красоту пейзажа».

Не успел он сказать это, как воцарилась тишина.

Дед с облегченным вздохом произнес:

— Обывательская вульгарность чужда этим лисам.

ФЭН МЭН-ЛУН

САПОГ БОГА ЭР-ЛАНА

«Дымкой зеленой окутались ивы;
Утро свежо, как озерная влага;
Дождик сеет и сеет украдкой.

Ветер восточный подул — и мгновенно
Гладь бирюзовая рябью покрылась.
Как по шелку бегущие складки...

В аромате цветов и в сиянье луны
Как небесные феи нежны!
Слышен флейт и свирелей чарующий звук,
Ищут фениксы милых подруг.

В криках застольных, в пылу восклицаний,
В искрах, что мечутся в полном стакане,
Вешний запах, пьянящий и сладкий...»[1]

В этих стихах, сложенных одним сунским ученым на мотив «Зеленые кроны ив», таится намек на восьмого императора династии Северная Сун Хуэй-цзуна, известного также под именами Праведного государя из Яшмового чертога Божественной выси, или Оперенного мужа истинной чистоты, возвещающего гармонию. Утверждают, будто сей государь был воплощением Ли —

[1] Здесь и далее стихи в переводе Г. Ярославцева.

Последнего владыки, того, что правил в Южноречье во времена династии Южная Тан.

Однажды родитель Хуэй-цзуна, государь Шэнь-цзун, прогуливаясь по дворцу, увидал портреты императоров былых времен, и среди всех прочих взгляд его поразил величественный облик Последнего владыки. Чело на портрете исполнено было такого величия духа, словно бы, отринув земную нечистоту и грязь, Ли устремился куда-то за пределы бренного мира. Вздох восхищения вырвался из груди государя. А спустя некоторое время Шэнь-цзун вновь увидел Последнего владыку, тот приснился ему входящим во дворец, и вскоре у Шэнь-цзуна родился сын — будущий Праведный государь. Сызмала отличался он изысканностью манер, непринужденным обхождением и редкостной красотой. Все давалось ему необычайно легко. Еще юношей он удостоен был титула князя Дуань-вана, а когда старший брат его Чжэ-цзун отошел к небожителям, сановники двора возвели его на престол и провозгласили Сыном Неба. В годы правления Праведного государя меж Четырех морей царило спокойствие, двор не ведал потрясений. Государь очень любил сады. В первый же год эры «Возвещения гармонии» повелел он сановнику Лян Шу-чэну начать большие работы в северо-восточном углу столицы, и вскоре там появились пруды и парки. Место это названо Серебряным холмом на Горе долголетия. Другому вельможе, Чжу Мяню, государь повелел собрать для сада редкие цветы и деревья, привезти бамбук и камни диковинных очертаний. Созваны были лучшие мастера Поднебесной. Работы длились несколько лет. Казна пустела. Но в конце концов устроение сада завершилось, и он получил название «Гора десяти тысяч лет». Чего только в нем не было! Среди прекрасных деревьев благоухали невиданные цветы, порхали неслыханные птицы, разгуливали диковинные звери. Высоко к небесам вздымались башни, а среди них были разбросаны легкие беседки. Величавая мощь соседствовала тут с изящною прелестью. Как описать всю эту дивную красоту?! Как перечислить достопримечательности роскошного сада: дворец Яшмовых цветов, Нефритового леса, Защиты гармонии, беседка Великого благоденствия, Небесной чистоты, Тонкого очарования, беседка Ступенчатой горы; павильон Яшмовой выси и парящего феникса. На дорожках государева сада вы могли бы увидеть прославленных вельмож: и Цай Цзина, и Ван Фу, и Гао Цю, и Тун Гуана, и Ян Цзяня, и Лян Ши-чэна, словом, всех, кого прозывали тогда «Шестью разбойниками годов Возвещения гармонии». Нередко приходили они туда полюбоваться пленительным садом. А сейчас послушайте-ка стихи:

«В чаще зеленых деревьев
яшмы прекрасной вкрапленья.
Вот можжевельник с бамбуком
манят, сплетенные, тенью.
Смертный, что был удостоен
здесь погулять,— не сказал бы,
Это земная ль прогулка,
в облаке ль это паренье!»

Так вот, рассказывают, что к юго-западу от дворца Защиты Гармонии стоял Яшмовый павильон, служивший опочивальней любимой наложницы государя Ань-фэй. То было на редкость красивое здание: двери выложены узорными пластинами, окна украшены причудливыми петлями и ручками; арки стрельчатые, стропила узорные... Все источало сиянье, все привлекало взоры. Как-то вельможа Цай Цзин устроил здесь пир в честь государя, после чего на одной из дворцовых стен оказались такие стихи.

«Защиты Гармонии славный дворец
сияньем осенних лучей озарен.
И смертный, достойный в покои войти,
роскошным убранством дворца покорен.
Здесь тонкость вина и изысканность яств
блаженную радость рождают в душе.
Чтоб видеть красу бесподобной Ань-фэй,
проникните в Яшмовый павильон».

Но оставим пока в стороне Ань-фэй — первую из любимых наложниц Шести покоев, а расскажем о другой — по имени Хань Юй-цяо. И ее ввели во дворец, выбрав в свой час среди множества прочих красавиц. И ее облачили в платье, пышное, что твое облако, и украсили дорогими каменьями. Госпожа Хань на диво была хороша собой: белизною кожи могла устыдить снег, нежной прелестью лика затмила бы прекрасные фужуны. Но вот беда! Вся любовь и вся ласка Сына Неба доставалась одной лишь Ань-фэй, ей же, госпоже Хань, не перепадало и капли от влаги государевой милости, меж тем как она тогда уже закалывала волосы в пучок.

Итак, весна была в самом расцвете. А очарование здешних мест способно было пленить любого человека,— любого! — но не красавицу Хань. Ее оно не трогало ничуть. Оттого и не в радость ей были дорогие украшения и пышные наряды. Ей противны были алые циновки, один только холод рождали изумрудные одеяла. Едва озарит луна яшмовое крыльцо, тоска охватывает сердце,—

оттого, что не слышит она посвиста фениксовой свирели. Едва застрекочут сверчки на белой стене, в душе возникает обида — оттого, что приходится ей одной томиться в одинокой постели. Весенние мысли мало-помалу покинули ее, тоскливые вздохи то и дело срывались с уст. В конце концов пришла к ней болезнь. Об этом сказано:

«Упрямый восточный ветер
Все старит меня, все старит;
Он дует без перерыва,
Все льются слезы, все льются.

Бывала весна и ранней,
И поздней весна бывала,
Холодной случалась и теплой,
Безоблачной и дождливой,
Но сколько же чувств высоких
В душе она пробуждала!

Когда цветы опадают,
С весною пора прощаться.
Когда в ароматных травах
Порхают бабочки сонно,
А тополь пышно разросся,—
Какая уж тут весна!..

Совсем недавно казалось,
Что молодость будет вечной;
Но вот оглянулась и вижу,
Что вечного в мире нет!

И все же — как во хмелю я:
То, словно в дурмане, брежу,
То вдруг весела без меры,
И ноги мои танцуют;
То будто бы я засыпаю,
А то встрепенусь внезапно...
Но только душа и ныне
Всецело во власти любви.

И кажется мне: я слышу
Души любимого отклик.
А сколько ночей печальных
Осталось до нашей встречи?
Где встретимся мы — не знаю.
Чист ветер, светла луна...»

В схожих случаях говорят еще и так: крошится мало-помалу яшма, сякнет ее аромат, ивы стоят в печали, никнут цветы в унынье. Из государевой аптеки прислали к госпоже Хань лекаря. Он прощупал ее пульс и велел принять какое-то снадобье. Но ведь это все равно, что камень кропить водою! И вот однажды Праведный государь призвал к себе тайвэя Ян Цзяня и говорит ему:

— Помнится, это ты в свое время привел во дворец деву по имени Хань? Теперь повелеваю тебе взять ее в свой дом на леченье. Пусть она поправится, и ты снова доставишь ее в наши покои. Ей каждый день будут приносить самолучшую еду из дворца, а смотреть ее и прописывать целебные снадобья приказано лекарям нашей аптеки. Едва заметишь, что дело идет к поправке, немедленно доложишь нам!

Ян Цзянь низко поклонился. И тотчас велел дворцовым прислужникам снести к себе в дом лари да сундуки госпожи Хань, полные украшений и всяческой утвари. В один прекрасный день красавицу усадили в особенный теплый паланкин. С двумя доверенными служанками и двумя же юными слугами, окруженная густою толпою челяди, явилась она к дому тайвэя. Ян Цзянь тут же известил жену о ее приезде, а сам поспешил навстречу гостье. Поместили госпожу Хань в западном саду, в домике с двумя небольшими дворами. Возле садовых ворот, обычно закрытых накрепко, стояла бадья для писем и еды. Замок снимался тогда лишь, когда приходил лекарь или кто-нибудь из дворни. Каждый день государеву наложницу навещали тайвэй и его жена. А вот стихи:

«У самых ступеней трава-изумруд
весенней прохладой дышала,
И звонкая иволга в чаще ветвей
пространство вокруг оглашала».

Прошло около двух лун. Мало-помалу госпожа Хань стала есть, на лице появился прежний румянец. Обрадованные хозяева решили отпраздновать выздоровление гостьи и уж недальние ее проводы. На столе дважды успели смениться яства, а вино пять раз побывало в бокалах, когда Ян промолвил:

— Какая радость, госпожа, что вы поправились! В скором времени мы сможем сообщить благую весть во дворец, и вы снова вернетесь в государевы покои. Что думает об этом госпожа?

— Тоска и печаль надломили меня. Почти две луны я была больна. Только сейчас мне стало немного лучше. Вот почему мне бы хотелось побыть у вас еще некоторое время.— Тут молодая женщина сложила у груди руки и поглядела на хозяев.— Господин тайвэй, госпожа, молю вас, не докладывайте пока ни о чем.

Беспокойство и хлопоты, что терпите вы из-за меня, велики, но я никогда не забуду вашей доброты и со временем щедро отблагодарю вас.

Ян Цзянь и жена согласились. Прошло еще две луны, и госпожа Хань устроила ответное пированье. Пригласили сказителя, и тот среди прочих рассказов поведал им о прекрасной наложнице танского императора Сюань-цзуна, что также звалась госпожою Хань. Государь обделил ее любовным вниманием, и красавица не знала, как ей жить дальше. Охваченная скорбью, написала она на красном кленовом листе стихи и бросила лист в ручей. Вот они, послушайте!

«Куда несешься быстро так,
    проточная вода?
В покоях праздного дворца
    вся жизнь течет лениво...
Плыви, опавший красный лист,
    прочь от дворца, туда,
Где люди есть. Уж потрудись,
    плыви скорей... Счастливо!..»

А как раз в эту пору возле дворцовой стены оказался молодой ученый по имени Юй Ю, ставший впоследствии весьма знаменитым. Он выловил из воды красный лист, приписал там стихи, созвучные первым, и по воде же отправил обратно... В конце концов Сын Неба проведал об этом и отдал госпожу Хань молодому ученому в жены. Супруги прожили в добром согласии не менее сотни лет.

Услышав рассказ, госпожа Хань глубоко вздохнула, ничего не сказала, но про себя подумала: «Мне бы такое счастье! Тогда можно было бы сказать, что жизнь не прошла впустую».

Пирование кончилось, государева наложница отправилась к себе в опочивальню и вскоре уснула. Как вдруг в полночь она пробудилась. В голове была тяжесть, глаза жгло. Все члены ее лишились силы, тело ломило. Появился жар. Снова недуг, только более опасный, охватил ее. Тут можно бы припомнить такие стихи:

«Дождь, зарядивший на долгие ночи,
    ветхую кровлю измочит-источит;
Встречные ветры осилит ли лодка,
    что и по ветру-то тянет неходко!»

Рано утром жена тайвэя пришла навестить ее.

— Счастье еще, что не успели сообщить во дворец! — сказала она и добавила: — Теперь-то уж вы поживете у нас. А мы,

госпожа, с радостью будем за вами ухаживать. И пусть мысли о возвращении во дворец более не заботят вас.

— О, как признательна я вам за участие! — воскликнула госпожа Хань.— Но только этот новый и, верно, роковой недуг не дозволит мне отблагодарить вас. Вот что меня мучит! Хоть до неба далеко — по пословице,— а земля совсем близко, но даже и там, в будущей моей жизни, я буду преданно служить вам, как собака или лошадь.

Последние слова наложница произнесла едва слышным голосом. Кто бы не заплакал, на нее глядя?! И жена тайвэя не выдержала.

— Не терзайте себя! — сказала она.— Еще в старину говорили, что на добром человеке — отмета Неба, беды его коротки и несмертельны. Вот вы... В природе вашей нет и тени недуга. Оттого и зелья, которыми пользуют вас, не лечат, а скорее наносят вред. Скажите, госпожа, не испытали ли вы во дворце сильное горе или неутоленное желанье? А может, вы обидели какого духа?

— Ваша правда! Ваша правда! Целыми днями томилась я во дворце тоской и уныньем. Желанья мне были неведомы. Да и что я могла почувствовать сердцем? Но вот сейчас я подумала, а что, если,— все равно ведь снадобья и зелья мне невпрок, недуг мой не исчезает,— что, если обратиться с мольбою к здешним духам или к святым отшельникам?! Излечат они меня — отблагодарю их сторицей.

— Что вам сказать, госпожа... Среди всех окрестных духов самыми сильными почитаются двое: Истинный и Святейший Правитель Северного предела и бог Эр-лан, хранитель Тайного пути у Чистого истока. Помолитесь им, попросите их о защите. И коль скоро просьба ваша исполнится, я самолично отправлюсь в храм вместе с вами и отблагодарю их богатыми подарками.

Госпожа Хань согласно кивнула головой. Тут же два мальчика-слуги внесли столик для моленья. Не отрывая головы от подушки, прижала она пальцы к вискам и из последних сил взмолилась к Небу. Вот молитва злосчастной Хань:

— О духи! Меня зовут Хань. Вы, верно, знаете: девушкою попала я когда-то во дворец, но так и не сподобилась любви государя. Злая судьба уготовила мне тяжкую болезнь, и вот я здесь, в доме господина Яна. О духи! Возьмите меня под свою защиту, верните здоровье. А за это я вышью для вас два шелковых полотнища, а также обещаю многие иные дары и богатые подношенья. Я поеду в храм на поклоненье, закажу там службу, словом, сделаю все, дабы отдарить вас на совесть!

Следом и жена тайвэя с курительными палочками в руках принялась молиться о судьбе своей гостьи. Наконец, они простились и... но об этом мы рассказывать не будем.

Вскоре произошло чудо. Госпожа Хань почувствовала облегчение, день ото дня она становилась все спокойнее, а через месяц и вовсе поправилась. Обрадованная хозяйка дома вновь устроила по этому случаю пирование.

— Вот кто поистине всемогущ и исцеляет понадежней любого снадобья,— сказала она.— Поэтому следует вспомнить о благодарности и исполнить обет.

— Да разве смею я о нем забыть? — воскликнула госпожа Хань.— Шелковые полотнища уже готовы, и я хочу ныне просить вас, госпожа, коли вы не имеете ничего против, отвезти меня в храм, дабы я смогла отблагодарить щедрых духов.

— С удовольствием поеду.

На этом разговор их и закончился.

А госпожа Хань вышила целых четыре длинных полотнища и приготовила обильные дары для духов. Ведь еще в древности говорили:

«Огнем — свиную голову коптить;
Делами — больше денег накопить».

И верно! Коли есть у тебя деньги, все тебе доступно, что любо — то и под силу! И так проходит несколько дней, и вот уж полотнища, расшитые государевой наложницей, прикреплены к бамбуковым шестам, и все, все кругом любуются их яркими красками.

Выбрали счастливый день, и обе женщины, а с ними толпа слуг и прислужников, нагруженных бесчисленными дарами, двинулись к храму Правителя Северного полюса. Настоятель Ян, а он был тайвэю родственник, торопливо вышел навстречу гостьям и проводил их в главный храмовый зал. Монахи возгласили слова сутр, после чего полотнища заняли подобающие места.

Госпожа Хань стала читать молитвы, пощелкивая, как то и полагалось, зубами для устрашения недобрых духов. Затем настоятель провел женщин по галерее в особенную келью и попотчевал чаем. Хань приказала слугам вручить деньги для храма, после чего женщины откланялись и сели в паланкин. Не будем рассказывать о том, что было с ними дальше в этот вечер, скажем только, что заутра женщины вновь отправились в путь. На сей раз они поехали в храм бога Эр-лана. Это-то путешествие и привело к событиям, весьма любопытным и даже странным. Но послушайте вначале такие стихи:

«Если чувства людские проявлены в слове,
То слова эти — леска с крючком наготове:
С ловкой помощью их ты легко обретешь
Несомненную правду иль явную ложь».

Впрочем, скорее — к сути рассказа! Путницы подъехали к храму, их встретил настоятель. Монахи прочли приличные случаю сутры, совершили воскурения и на том бы всему и кончиться! Но как раз в это время жена тайвэя отлучилась в соседний флигель, госпожа же Хань, оставшись одна, подошла поближе к месту, где восседал бог, и легонько пальцем отодвинула златотканый полог. Не сделай она этого, может быть, ничего бы и не произошло. Но она взглянула на бога, и дыхание у ней занялось, взор помутился. Что же она увидела?

«Шитье из цветов золотых —
　　головная повязка;
Пурпурный халат — не халат,
　　а волшебная сказка...
И яшмовый пояс ланьтяньский,
　　что в виде дуги;
Летящие фениксы —
　　черные сапоги.
Изваян из глины и дерева,
　　столь утончен,
Как будто краса
　　и величье всемирное — он!
Зубов белизна небывалая,
　　взор — чистота!
И полуотверсты
　　для вещего слова уста».

Все у госпожи Хань завертелось перед глазами, сердце затрепетало, и вот наконец с губ, вопреки ее воле, слетели неосторожные слова:

— О, если бы у меня была добрая судьба! Она сжалилась бы надо мной и дала мужа, вот такого, как этот бог. Это — желание всей моей жизни!

Но тут в зале появилась супруга Яна.

— Госпожа Хань! Вы что-то просили у бога? Что же? — спросила она.

— Нет-нет, я ничего не сказала,— спохватилась молодая женщина.

Жена тайвэя не стала донимать ее расспросами.

Пробыли они в храме до самого вечера, а потом вернулись домой, и каждая отправилась к себе отдохнуть. Однако об этом мы пока умолчим. Вот только послушайте, что говорят:

«Коль разобраться надобно
в заветном деле,
К словам прислушайся,
что с языка слетели».

Воротившись домой, госпожа Хань сняла выходные наряды и переоделась в домашнее платье. Она распустила волосы, похожие на черное облако, села и, подперев рукою щеку, глубоко задумалась. Мысли ее витали вокруг бога Эр-лана. Внезапно, словно бы вспомнив что-то, она кликнула служанку и велела поставить в тихом углу сада столик для богослужений.

— Ах, если бы только судьба смилостивилась и подарила мне мужа, похожего на бога Эр-лана! — взмолилась она к Небу.— Насколько это было бы лучше, чем томиться во дворце без срока и прока!

По ее щекам побежали жемчужины-слезы. Она свершила глубокий поклон и вновь стала молиться, потом поклонилась еще раз и снова взмолилась. Понятное дело, мечты ее были вздорные и даже бредовые, но — произошло чудо. Она уж собралась было уходить, как вдруг в глубине сада среди цветов послышался некий звук. Она оглянулась. Пред нею был сам бог Эр-лан!

«Глаза — как у феникса,
Брови — драконы,
Зубы — слепящие,
Губы — пионы.
Он, словно из праха поднявшись, парит.
Все ближе... Какой устрашающий вид!
И пусть он не парков инчжоуских житель —
Зари и росы утонченный ценитель».

Да! Внезапный гость нисколько, ни единою черточкой не отличался от бога Эр-лана, того, что стоял в храме, хоть распахни глаза да гляди в упор. И точно так же в руке у него был самострел, словно у Чжан Сяня, дарующего сына...

Госпожа Хань обрадовалась, но и испугалась. Конечно, она испугалась — ведь что ни говори, а спустился к ней сам бог, и неизвестно, с добром он или же с худом. Но вскоре она успокоилась. Лик Эр-лана источал веселость, губы смеялись, и будто

хотел он вымолвить что-то. Госпожа Хань совершила положенный поклон.

— Это великое счастье — лицезреть божество,— сказала красавица.— И меж ее пунцовых уст засияли чистые, ровно яшма, зубы.— Прошу вас, божественный, войдите в дом. Там я окажу вам должные почести.

Эр-лан со светлой улыбкой прошел в передние комнаты и сел. Хозяйка стала перед ним в подобающей позе и смиренною речью почтила его приход.

— Благодарю вас, о госпожа, за уважение, ко мне проявленное,— сказал Эр-лан.— Я, ничтожный из божеств, прогуливался в Лазоревой выси, как вдруг услышал ваши чистые моления. Я навел справки, и оказалось, что вы были отмечены знаком небожителей и печатью праведников и прежде жили вместе с ними около Яшмового пруда. Однако впоследствии душа ваша утратила покой и стройность, и Яшмовый владыка повелел вам на время низойти в земную юдоль. Но послал он вас во дворец государя, Сына Неба, дабы вы удостоились богатства, славы и почета, принятых среди людей. Исполнятся времена и сроки, и вы снова будете в Пурпурном чертоге,— но уж не обычною смертной.

Счастливая госпожа Хань поклонилась богу и сказала с мольбою в голосе:

— О божество! Мне не нужны ни богатство, ни почет и слава! И я не хочу возвращаться во дворец. Если судьба так милостива, то пусть поможет мне выйти за доброго человека, да чтобы муж мой внешностью походил бы на вас, о божественный! Я прожила бы с ним многие годы и узнала бы наконец, что есть на свете вешние цветы и осенняя луна.

— Ну это совсем не трудно! — улыбнулся Эр-лан.— Когда брачная нить определилась, то встреча произойдет и за тысячу ли отсюда. Только сильно ли ваше желанье, госпожа?

С этими словами бог поднялся и подошел к окну. Раздался негромкий звон, и он исчез.

Не приди бог Эр-лан к госпоже Хань, может, все так бы и обошлось, но тут она словно пригубила хмельного дурмана. Как была, в одежде, бросилась она на постель и крепко уснула до утра. Верно говорится:

«Веселье, радость — ночь укоротят;
Беда, печаль — минуту скорби длят».

Так вот и случилось, что набежали весенние чувства и госпожа Хань не совладала с ними!

«До чего сладко стало на душе, когда бог явился ко мне и мы глядели друг на друга...— думала она.— Но отчего он исчез так

внезапно? Впрочем, на то он и бог. Он лучше разумеет, чем мы, смертные... Ах, зачем я только все думаю о нем и тревожу себя...— Здесь мысли ее прервались, но затем вновь возвратились к Эрлану.— Он хоть и бог, а совсем как человек. И ликом, и обхождением, и речами, и смехом он точь-в-точь обычайный смертный. Так неужто сердце его не дрогнет при виде моей красоты? Ах, зачем я дала ему уйти просто-запросто! Надо было быть поласковее да понежнее. Ведь лаской можно покорить любого, даже если он из железа или из камня. А я! Глупая я, глупая! Ну когда он теперь придет опять?»

Ночь напролет она не смыкала глаз, все думала и не знала, что бы придумать. Только под утро забылась она сном, а пробудилась около полудня. Весь день красавица была сама не своя, в нетерпении ожидая вечернего часа. Едва сгустились сумерки, поставила она столик в дальнем углу сада и принялась молиться.

— О Небо! Хочу еще хоть разок увидеть бога Эр-лана! И не будет у меня большего счастья во всех моих трех жизнях!

Только она успела это вымолвить, как раздался знакомый уже негромкий звон, и пред нею появился Эр-лан. Она чуть не закричала от радости. Печаль ее улетучилась, тоска растаяла, будто весенний лед.

— Пожалуйте, о божественный, во внутренние покои,— сказала она, поклонившись.— Я хочу доверить вам одну сокровенную тайну.

По лицу Эр-лана разлилась широкая улыбка. Он взял красавицу за руку, и они вместе вошли в опочивальню. Бог сел, а хозяйка, совершив поклон, стала перед ним.

— Садитесь и вы,— сказал Эр-лан.— Ведь я говорил, что лик ваш отмечен знаком небожителей.

Госпожа Хань велела служанке принести вино и фрукты и с легким изяществом присела напротив гостя. Всем своим видом она показывала, что хочет открыть богу какую-то тайну. Тут уместны были бы такие слова, они прямо, что называется, рвутся с губ:

«Влюбленным свахой был бокал вина,
Чай разливала им сама весна».

— О божественный! — воскликнула госпожа Хань.— Быть может, хотя бы на краткий миг вы прервете бег своей колесницы и снизойдете до любви к простой смертной! — Ароматные уста ее приоткрылись, засияли жемчужные зубки, прекрасные, как у прославленной наложницы Сян-фэй.— Не сочтите слова мои за грубую дерзость.

Бог не замедлил согласиться. Взявшись за руки, они взошли на ложе, где их ждали, как говорят в таких случаях, густые облака и щедрый дождь. Госпожа Хань склонила свое тело, чтобы одарить бога любовью, и — забыла обо всем на свете. Пробило пятую стражу, когда Эр-лан поднялся наконец, с ложа. Он велел возлюбленной беречь себя и обещал снова прийти. Затем он оделся, взял самострел и подошел к окну. Снова раздался негромкий звон, и бог исчез.

Само собой, госпожа Хань рассталась с ним с великой неохотой, однако же сердце ее согревала радость, что бог Эр-лан все же посетил ее. Теперь она опасалась лишь одного, как бы тайвэй не отправил ее обратно во дворец. Что было делать? Разве что прикинуться снова больной и легкое недомогание выдать за сильный недуг. Вновь целыми днями она бродила по дому пасмурной, вновь улыбка пропала с ее лица. И никому было невдомек, что, едва спускался вечер, она расцветала, словно утренний цвет весною, и так и сияла от счастья. Приходил бог, и влюбленные, выпив одну за одной три чарки вина, всходили на ложе, где ждали их наслаждения, длившиеся до утра. И так было много дней кряду.

Но вот наступили осенние холода. Государь повелел выдать наложницам теплые осенние одежды. Тут-то он вспомнил о госпоже Хань. И послал придворного в дом Яна, дабы вручить государевой наложнице высочайшее послание и дары: атласное платье с поясом из яшмы. Получив все это, госпожа Хань поставила на столик душистую свечу и высказала государеву посланцу благодарность за высочайшую заботу.

— Мы рады вашему выздоровлению, госпожа,— сказал придворный.— Государь вспомнил о вас и послал вам дары. Он справляется о здоровье госпожи Хань. Если болезнь ваша прошла окончательно, вам надлежит поскорей воротиться в покои дворца.

Госпожа Хань оказала посланцу надлежащие знаки внимания, а затем промолвила:

— Мне, право же, стыдно попусту беспокоить вас,— но я должна признаться, что поправка моя затянулась. Я верю, господин, что вы так и доложите государю, а мне окажут милость и разрешат побыть тут еще хоть немного!

— Не предвижу препятствий, о госпожа, ведь у государя не одна вы. А во дворце я скажу: так, мол, и так, она еще не вовсе здорова, и ей надобно хорошенько за собою следить, чтобы поправиться сполна...

Придворный ушел, и больше нам о нем рассказывать нечего.

Между тем вечером бог Эр-лан вновь заявился к госпоже Хань.

— С великою радостью вас, о госпожа,— сказал он.— Оказывается, государева к вам любовь не иссякла. Он одарил вас платьем и яшмовой опояской. Дозвольте взглянуть?

— Как вы узнали об этом, божественный? — подивилась молодая женщина.

— Я обозреваю Поднебесную и ведаю все, что делается в четырех ее сторонах. Мне ли не знать о том, что происходит о вами? Дело пустячное!

Госпожа Хань вынесла богу дары государя.

— Одному человеку не пристало наслаждаться столь редкостными вещами,— сказал Эр-лан.— Вот видите ли, в моем наряде как раз не хватает яшмовой опояски. Было бы только справедливо, если бы госпожа подарила ее мне.

— О божественный! — воскликнула красавица Хань.— Ведь мы теперь связаны тесными узами, я всем телом принадлежу вам. Так возьмите же и опояску, раз она вам нужна. Она — ваша!

Эр-лан рассыпался в благодарностях. Они взошли на ложе, где предались обычным удовольствиям, а в пятую стражу он, как всегда, поднялся, оделся, взял самострел, прихватил яшмовую опояску и подошел к окну. Раздался негромкий звон, и бог исчез.

Надо ли приводить здесь такие слова:

«Чтоб люди не узнали ни о чем,
Будь сам, как говорится, ни при чем».

Как мы уже рассказывали, госпожа Хань жила отдельно от всех в особом домике с двумя дворами. Ведь это была как-никак наложница государя, и осторожный тайвэй окружил ее тщательными заботами. В комнатах царила тишина, никто из посторонних не смел даже и заглянуть в покои красавицы. Однако в последнее время дворня стала примечать, что из комнат, соседних западному саду, всю ночь пробивается свет и доносятся словно бы звуки беседы. Замечено было и то, что госпожа Хань на удивление похорошела и лицо ее так и пышет довольством и счастьем. Тайвэй заподозрил неладное и после коротких колебаний решил посоветоваться с госпожой Ян.

— Мне кажется, дело нечисто,— сказал он жене.— А ты как считаешь?

— Вначале я тоже было засомневалась, но потом подумала: домик тщательно стерегут, ворота запирают накрепко. Вряд ли кто сумеет проникнуть туда без помех. Но ты беспокоишься, и надо проверить. Дело это, впрочем, нетрудное. Пошли-ка ночью слугу на разведки, он потихоньку туда проберется и посмотрит, что там да как. Мы все узнаем и никого не обидим.

— Верно,— согласился Ян. Он тут же вызвал двух слуг половчей и объяснил им, что делать.— Не вздумайте лезть через ворота,— напутствовал он.— Возьмите лестницу и, когда все стихнет, перелезьте через стену. Проникните в спальню, разведайте и мигом назад. Только будьте осторожней, дело нешуточное!

Слуги исчезли, а тайвэй стал ожидать их возвращения. Прошло не меньше часов четырех, прежде чем они появились. Тайвэй удалил посторонних, и разведчики поведали об увиденном. А увидели они вот что. В спальне госпожи Хань восседает гость. Они распивают вино и беседуют очень сердечно.

— А госпожа величает его божественным,— рассказывали они.— Мы внимательно все осмотрели: стены высокие, запоры надежные, никакой дурной человек не проникнет в покои, будь у него даже крылья. Может, он и вправду бог?

Известие это сильно напугало тайвэя Яна.

— Странно, очень странно! — воскликнул он.— Возможно ли случиться такому? А может быть, вы все наболтали? Глядите, шутить тут не приходится!

— Мы говорим правду, даже на полслова и то не соврали,— клялись слуги.

— Обо всем этом знают лишь вы да я. И чтоб больше ни одна душа не узнала. Ни гу-гу!

Слуги удалились, а хозяин пошел к жене и обо всем ей рассказал.

— Может быть, они и не врут, а только я должен увидеть собственными глазами,— сказал он.— Завтра ночью пойду туда сам. Какой такой бог?

На следующий вечер хозяин кликнул обоих названных слуг.

— Вот что. Один из вас идет со мной, другой сторожит здесь,— приказал он.— Но опять-таки — тихо!

С немалой опаской тайвэй и слуга перелезли через стену и подкрались к окну опочивальни. Тайвэй приник глазом к щелке. Что же он увидел? В комнате и вправду восседал бог. Все точно, как сказали слуги. Ян чуть было не завопил во весь голос, да вовремя затаил дыхание. Вот беда! Он вернулся к себе и, вновь наказав слугам держать язык за зубами, отправился прямо к жене.

— Госпожа Хань очень молода, и душа ее находится в брожении. Недаром говорят: сердце скачет обезьяной, мысли мчатся иноходцем,— говорил тайвэй.— Не иначе, повадился к ней злой дух, чтобы испортить государеву деву. А поскольку дело идет не о простом смертном, а о духе, здесь потребен заклинатель. Я сам пойду за ним, а ты подготовь госпожу.

На следующее утро жена Яна отправилась в Западный сад, где ее встретила госпожа Хань. Государева наложница пред-

ложила хозяйке дома сесть и угостила чаем. Жена тайвэя удалила служанок и, когда они остались вдвоем, доверительно сказала:

— До меня дошел слух, о госпожа, что каждую ночь вы с кем-то разговариваете и смеетесь. Прошу вас, расскажите мне все без утайки. Ведь это дело серьезное.

Лицо молодой женщины залилось пунцовою краской.

— У меня никто не бывает по ночам, и ни с кем я не беседую. Разве что иногда болтаю с прислугой. Кто, скажите на милость, может пробраться сюда?!

Тогда жена Яна рассказала о том, что видел ночью ее муж, и госпожа Хань помертвела от страха. Глаза ее широко раскрылись, уста занемели.

— Не бойтесь, госпожа! — успокоила ее жена Яна.— Мой супруг сейчас пошел за ворожеем, и тот точно скажет, кто бывает у вас: человек или нечистая сила. Когда наступит вечер, соберитесь с силами и не пугайтесь.

Хозяйка ушла, а молодая женщина так и осталась сидеть, обливаясь холодным потом.

Наступил вечер, и к ней снова явился бог Эр-лан. На этот раз он положил самострел рядом с собой. Тем временем в доме появился еще один гость — известный ворожей Ван, ученик Праведника Линя из храма Божественной помощи. Он заблаговременно вошел в передний зал и сразу же приступил к заклинаниям. С наступлением сумерек прибежали слуги.

— Бог пришел! — закричали они.

Ворожей Ван, облаченный в пышные одежды, взял в руки меч и с важным ликом быстро направился к домику госпожи Хань.

— Вражья сила! — громогласно завопил он, едва переступив порог.— Как смеешь ты осквернять государеву жену! И ни шагу, ни шагу! Сей миг мечом разрублю!

— Да ты невежа! — молвил Эр-лан, нимало не смутившись.

Нет, вы только представьте себе:

Десницей он словно бы обнял дитя,
А шуйцей Тайшань ухватил он шутя.
Луною вдруг выгнулся лук-самострел,
И вырвался шарик, стремглав полетел.

Трах! И шарик угодил прямо в висок заклинателю! Брызнула кровь, и, роняя меч, грохнулся Ван оземь. Слуги бросились на помощь и поспешили унести его в передний зал.

Эр-лан вскочил на окно. Снова раздался негромкий звон, и Эр-лан исчез. Чем все это кончилось? Право же, не ведаю.

Как о таком событье рассказать,
Чтоб небеса и землю не пугать?
От правды, что всплывает, обнаружась,
Подчас приходят даже духи в ужас.

Госпожа же Хань, после победы Эр-лана над заклинателем совершенно воспряла духом, уверовав в божественную его сущность. Меж тем тайвэй, узнав о позоре Вана, вручил ему несколько денег за причиненное беспокойство и отпустил восвояси. Теперь он решил послать за подмогою к другому чародею — даосу Паню из обители Пяти холмов. Тот ведал тайны заклинаний по Пяти громам и Небесному сердцу, был весьма хитроумным и проницательным ворожеем, знающим колдовство. Он мигом явился к тайвэю, и сановник посвятил его в суть дела.

— Пусть мне сначала покажут этот Западный сад. Я сам хочу понять, как проникает сюда гость. Тогда я точно скажу, дух это иль человек.

— Согласен,— ответствовал Ян.

Ворожей отправился в сад и дотошно его осмотрел. Потом попросил привести госпожу Хань. Вглядевшись в красавицу, он обернулся к тайвэю и заключил:

— На лице госпожи нет следов нечистой силы. Значит, это дело рук человеческих. Правда, знакомых с колдовством. Есть у меня некий замысел. Для его осуществления не нужны ни заклинания, ни заговорная вода. Не надо ни бить в барабаны, ни звонить колокольцами. Если он появится, я сам схвачу его, как ловят черепаху в глиняный чан. Может статься, конечно, что, почуяв опасность, он не придет. Что ж, на нет — и суда нет!

— Но ведь, если он не придет, дело не раскроется,— заметил тайвэй и говорит: — Оставайтесь у меня, мы посидим и поболтаем, словом, дождемся вечера.

Рассказчик! Если бы гость наложницы Хань знал, что творится в доме тайвэя, он был бы куда осмотрительней и уж ни за что не явился бы в тот день. А тогда ищи ветра в поле! Все шито-крыто! И имя цело, и слава не подмочена! Тут поживился — идет на другое место. Не прекрасная ли жизнь! Ты словно бумажный змей с оборванной бечевою, лети куда хочешь! Да только не зря говорят: не делай дважды милое сердцу дело, не испытывай сызнова место, раз принесшее выгоду.

Однако Эр-лан (а ведь нам еще толком и неизвестно, кто он: дух или человек) уже отведал от сладкого плода. И вечером, как обычно, бесстрашно явился к госпоже Хань.

— О божественный! — воскликнула госпожа Хань.— Я уж и

не верила, что вы придете. Извините за такую встречу, ведь я не ждала вас. Но — о, радость! — вы невредимы.

— Так я же бог настоящий! Живу в запредельных высях. А сюда прихожу того ради, что связан с вами небесною нитью. Я хочу, чтоб вы очистились телом и сердцем и я мог бы взять вас с собою на небо. Что мне эти ничтожные букашки! Да мне целая армия не страшна! Пусть только посмеют сунуться!

И госпожа Хань прониклась к Эр-лану еще большим почтением, и радость ее удесятерилась.

Тем временем Яну доложили о приходе незнакомца, а он, в свой черед, сообщил новость чародею Паню. Тот попросил тайвэя послать в Западный сад служанку с каким-нибудь поручением, а на самом деле она должна была незаметно выкрасть у бога самострел и принести хозяину. Служанка ушла. Пань не стал облачаться в одежды для заклинаний, лишь подвязал потуже халат. Не взял он и меча, прихватил лишь короткую дубинку, с тем он и двинулся в сад, приказав двум слугам освещать дорогу.

— Если боитесь самострела, спрячьтесь! — сказал он.— А я пойду один. Посмотрим, заденет меня его пуля или нет?!

— Говорить-то хорошо! — ухмыльнулись слуги.— А уж влепят ему, это непременно!

Итак, служанка пришла к госпоже Хань и сказала, что ей надо прибрать комнаты. Потерла здесь, убрала там и незаметно подползла к Эр-лану. Бог сидел рядом с госпожой Хань и угощался вином. Надо ли говорить, что ему было не до самострела, и служанке удалось схоронить оружие в соседней комнате. Между тем двое слуг подвели Паня к дверям.

— Он здесь! — сказали они и бросились прочь, оставив Паня одного.

Чародей откинул занавеску и сразу увидел бога, сидевшего за столом. Пань с громким криком бросился на Эр-лана, целя своей дубинкой ему прямо в голову. Эр-лан стал шарить рукой возле себя в поисках самострела, но самострел исчез.

— Меня предали! — завопил он и бросился к окну. Все происходило почти мгновенно, не то что в рассказе. Ворожей погнался за ним и успел хватить бога дубинкой по ляжке. С ноги что-то свалилось. Но тут снова раздался негромкий звон, и Эр-лан исчез среди зарослей цветов. Ворожей не поймал беглеца, но обнаружил то, что потерял ночной гость. Это оказался сапог черного цвета, хорошей кожи, прошитый в четыре стежки. С тем Пань и отправился к хозяину.

— Я был прав, это никакой не бог, а самый обыкновенный человек, правда, знакомый с колдовским ремеслом. Теперь как его изловить?

— Вы хорошо потрудились, учитель, и можете возвращаться домой. Я сам возьмусь за расследование и приму нужные меры,— сказал тайвэй, щедро награждая даоса.

Здесь мы закончим одну часть истории и перейдем к следующей.

Тайвэй Ян приказал подать паланкин и отправился к Главному императорскому наставнику Цаю. Он застал вельможу в кабинете и подробнейшим образом рассказал о случившемся.

— Когда бы на этом все и кончилось, а то ведь мошенник поднимет меня на смех. Я не снесу позора!

— Дело поправимое,— успокоил его Цай.— Надо сообщить господину Тэну, правителю Кайфынской области. Тэн пошлет своих лучших и хитрейших сыщиков, и они отыщут следы. Сапог — важная улика. Так что суд недалек, поверьте.

— Благодарю вас за мудрое утешение, господин Наставник,— ответствовал тайвэй Ян.

— Извольте побыть тут,— проговорил хозяин, вызвал скорохода Чжана и приказал ему бежать за правителем области. Тэн явился без промедления. После взаимных приветствий хозяин услал слуг и вместе с Яном объяснил, что произошло.

— Он смеет злодействовать в священной близости Сына Неба! — воскликнул наставник Цай.— Господин правитель! Вам не следует медлить, но надо проявить большую осторожность и не вспугнуть преступника. Тронешь траву, вспугнешь змею! Дело нешуточное!

— Слушаюсь! — торопливо сказал правитель Тэн. Он посерел от страха. Взяв сапог, Тэн откланялся и поспешил в ямынь. Там он немедленно вызвал старшего сыщика Вана, который как раз в этот день находился на службе. Удалив слуг, правитель остался наедине с сыщиком и рассказал все, что было ему известно.

— Даю тебе три дня срока. Ты должен изловить мошенника, что беспутничал в доме Яна. Внимательно все разузнай, но делай дело тихо, без огласки. Выполнишь это поручение, щедро тебя награжу. Не выполнишь — пеняй на себя!

Правитель Тэн удалился, а Ван, тяжко вздохнув, взял сапог и направился в комнату сыщиков.

Тут можно бы сказать так:

Брови сдвинул-нахмурил,
　　словно запер их на замок.
Скорбь на душу легла,
　　будто камень тяжелый лег.

Надо вам сказать, что среди прочих сыщиков под началом у Вана служил некто Жань Гуй, по кличке Жань Большой. Это

был очень ловкий сыщик, распутавший множество темных дел. Ван очень им дорожил.

Жань сразу заметил, что начальник чем-то встревожен, но не стал надоедать ему расспросами. Он весело болтал с сыщиками в стороне, делая вид, будто увлечен разговором. Ван достал из-за пазухи сапог, в сердцах швырнул его на стол и сказал:

— Злосчастная наша судьба! И начальство попалось бестолковое! Вот,— показал он на сапог.— Он говорить не может, а начальник дал три дня сроку: поймайте, мол, по этому сапогу злодея, который напаскудил в доме тайвэя Яна. Ну как, служивые, вам до смеха?

Сыщики принялись разглядывать сапог, и только Жань Большой, казалось, не проявлял к нему никакого любопытства. Только и сказал:

— Да, трудно, трудно! — Он помедлил и добавил.— А вот что начальство наше бестолковое, это верно. Не удивительно, что ты так убиваешься.

Старший сыщик словно ждал этих слов.

— Жань Гуй! Вот и ты говоришь, что дело нелегкое! Да мне-то от этого не легче! Что ответить правителю Тэну? Ведь это не какая-нибудь там приказная строка, а сам правитель столичной области! И вы тоже хороши! Жалованье получать вы все мастера! А как до дела — то оно, выходит, нелегкое!

— Заурядного мошенника поймать просто, всегда концы найдутся,— промолвил кто-то из сыщиков.— А этот, говорят, знаком с колдовством. Разве к нему просто так подберешься? А если и подберешься, то не обрадуешься! Вон ворожей Пань! Сколько времени потратил, чтобы настигнуть злодея, а что получил? Один сапог! Не за что здесь ухватиться, никакой зацепки. Верно, не везет тебе, начальник.

Расстроенный сыщик от этих слов совсем понурил голову.

— Начальник! — вдруг спокойно сказал Жань Гуй.— Не падай духом! Этот злодей всего лишь человек. Голов у него не три, а одна, а рук — не шесть, а две. Вот найдется зацепка, хоть небольшая, и все всплывет наружу.

Он взял сапог, повертел в руках, внимательно осмотрел со всех сторон.

— Жань Гуй! Жань Гуй! Побереги голову! — прыснули сыщики.— Сапог как сапог — ничего в нем нет примечательного. Подумаешь, невидаль! Взяли кусок кожи, покрасили в черную краску, дратвой прошили, внутрь прилепили синюю ткань, посадили на колодку, брызнули водой — кожа натянулась, и вот сапог готов. Просто загляденье!

Но Жань Большой знай делал свое дело — и так и эдак вертел сапог при свете лампы. Его заинтересовал шов: в четыре ряда мелкой стежкой. У носка дратва в одном ряду ослабла. Жань Гуй поддел мизинцем нитку и разорвал ее. Кожа отошла, и открылась синяя ткань. Сыщик вгляделся: к подкладке была приклеена полоска бумаги... Если бы Жань Гуй не обратил внимания на эту полоску, может быть, на этом все и кончилось. Но, взглянув на бумагу, он до того возликовал, будто нашел драгоценность. Тут и Ван радостно заулыбался. Сыщики склонились над находкой, и вот что они прочли: «Сделано в лавке Жэнь И-лана в пятый год третьей луны третьего года эры «Возвещения гармонии».

— Сейчас у нас четвертый год. Сапоги сшиты не более двух лет назад. Надо найти сапожника, тогда многое прояснится.

— Нет, сегодня мы его пугать не станем. А вот завтра утром пошлем к нему наших людей. Они скажут, что правитель, мол, области заказывает ему спешную работу. Он придет сюда, тут-то мы его и скрутим. Тут уж он и не отопрется!

— Правильно говорят, Жань Гуй, что ты парень с головой,— заметил Ван.

Всю ночь сыщики пили вино, и никто не уходил домой, а когда рассвело, Ван послал двух из них за сапожником. Через некоторое время появился сапожник, которого хитростью завлекли в приказ. Едва он вошел, сопровождавшие его посланцы мигом заговорили иначе.

— А ты, оказывается, смелый мошенник! Хороших дел натворил! — заорали они, скручивая сапожнику руки.

Жэнь И-лан затрясся от страха.

— Что случилось, почтенные! В чем я провинился? За что вы меня связали?

— Ты еще смеешь спрашивать? — заревел Ван.— А ну, взгляни на этот сапог. Твоей работы?

Жэнь И-лан взял сапог и внимательно его осмотрел.

— Моей, вы правы. Почему моей? А вот почему. Когда я открыл мастерскую, я тут же завел счетную книгу, в которую вписывал имена почтенных господ, заказчиков, равно здешних и из других мест. Писал, в какой год и месяц сделан заказ и из какого дома присылали за ним людей. В сапоги я вкладывал полоску бумаги, на которой стоял номер, такой же, как в книге. Если не верите, господин начальник, отдерите кожу и там увидите полоску.

Ван быстро смекнул, что, коли мастер раскрывает такие секреты, значит, не врет. Поэтому он решил вначале поговорить с И-ланом по душам, а потом и отпустить его с миром.

— Не обижайся, И-лан, но таков уж приказ начальника. Ничего не поделаешь.— Ван протянул бумажную полоску сапожнику.— Ну-ка взгляни!

— Начальник! Не важно, когда сделаны сапоги: год или пять лет назад. В книге все равно должна быть запись. Пусть кто-нибудь сходит за книгой вместе со мною, и все вам станет ясно.

Ван приказал сыщикам бежать вместе с Жэнь И-ланом в мастерскую. Трое что есть духу, помчались в лавку, и вскоре книга лежала перед старшим сыщиком. Ван стал листать ее, просматривая записи с первой страницы. Но вот он дошел до страницы, помеченной пятым днем третьей луны третьего года эры «Возвещения гармонии»: записи в счетной книге и на полоске в злосчастном сапоге действительно совпадали. Однако же имя заказчика до того испугало Вана, что он едва не лишился речи. Выходило, будто сапоги-то заказал управляющий Чжан из дома самого императорского наставника Цая.

Ван схватил сапог, счетную книгу и приказал Жэнь И-лану следовать за собой. Он спешил к правителю области, чтобы доложить о своем открытии.

Правитель Тэн как раз в это время вошел в большой зал, чтобы открыть присутствие. Ван рассказал о случившемся и протянул книгу вместе с бумажной полоской. Тэн ушам своим не поверил!

— Вот так история! — изумился он. Потом перевел дыхание и говорит: — В любом случае сапожника можно отпустить, он в этом деле не замешан.

Жэнь И-лан грохнулся в ноги правителю.

— Отпускать-то я тебя отпускаю, да только гляди у меня, ни гу-гу! — бросил он вдогонку сапожнику, который уже торопился к выходу.— Станут допытываться, отделайся какой-нибудь шуткой. Запомни!

— Все запомню, господин правитель! — воскликнул обрадованный сапожник и помчался домой.

Правитель Тэн вместе со старшим сыщиком Ваном и Жэнь Гуем отправились к тайвэю Яну, который, как оказалось, только что вернулся с аудиенции. Узнав от привратника о визите гостей, он поспешил к ним навстречу.

— Дело такое, господин тайвэй,— сказал Тэн,— что здесь нам говорить не совсем удобно.

Хозяин предложил гостям пройти в небольшой уединенный кабинет в западной части дома. Он удалил слуг, и в кабинете остались лишь он сам и его гости. Правитель поведал ему, как обернулась эта история.

— Не смея действовать по своему разумению, прошу высшего совета,— закончил Тэн.

Рассказ правителя поверг тайвэя в смятение: «Императорский наставник — один из первых людей страны. Он богат и знатен. Вряд ли он способен на такое дело. Однако заказ был сделан из его дома, значит, это грязное дельце совершил кто-то из близких ему людей».

В конце концов они решили, что самое лучшее будет показать сапог самому наставнику Цаю.

«Только бы не задеть ненароком наставника, не обидеть его,— думал Ян.— А может, сделать вид, что ничего не случилось? Нет, дело нешуточное, к тому же получившее огласку. О нем знают два ворожея, сыщики да чиновники, которые допрашивали Жэнь И-лана... Если сейчас и удастся кое-как увильнуть от ответа, то впоследствии, когда все всплывет наружу, уже не докажешь, что тебе, мол, было ничего не известно. К тому же история может дойти до ушей государя. А уж если он разгневается, жди беды».

После долгих размышлений тайвэй отпустил старшего сыщика Вана и Жань Гуя и велел слугам приготовить паланкин. Оба сановника отправились к Цаю. В руках одного из слуг был ларец со счетною книгой и сапогом.

Воистину:

Покуда доказательства искали,
железные туфли стоптали.
А стоило ли хлопотать так много
о том, что лежит у порога?

Мы остановились на том, что тайвэй вместе с правителем области поехали к императорскому наставнику Цаю. Они прибыли к дому, и привратник доложил о них хозяину. Ждали они довольно долго. Наконец вельможа позвал их в свой кабинет. После положенных церемоний, гости испили чаю, и хозяин дома спросил:

— Удалось ли что-нибудь узнать?

— Да, господин наставник,— воскликнул Ян.— Откуда злодей, нам известно, но схватить мы его не решались, боясь повредить вашему имени.

— То есть как? По-вашему, я покрываю злодея?

— Что вы, господин наставник! Разумеется, вы никого не покрываете. Но вы сами поразитесь и даже испугаетесь, если узнаете правду.

— Так говорите же, кто злодей? Не томите меня!

— Я смогу вам сказать, если вы удалите слуг,— сказал тайвэй.

Как только слуги покинули комнату, тайвэй открыл ларец и извлек из него счетную книгу.

— Господин наставник, дело касается вас, поэтому извольте решать его сами,— сказал он, подавая книгу Цаю.— Другие здесь не замешаны.

— Странно, весьма странно! — подивился Цай.

— Не взыщите, господин наставник, но ведь дело государственное.

— Я нисколько на вас не сержусь, но история с сапогом кажется мне очень странной и весьма туманной.

— Здесь все точно. В книге ясно сказано, что заказывал ваш человек по имени Чжан.

— Верно, что Чжан заказал сапоги и заплатил за них, но только к делу он вряд ли причастен. В моем доме всем гардеробом, то есть парадными одеждами, разными шляпами, обувью ведают управительницы, каждая из которых отвечает за свое. Они знают, где сделать какую-то вещь: дома или ее заказать на стороне. Они же отмечают все приходы и расходы и ежемесячно отчитываются. Надо заметить, что в делах у них полный порядок. Давайте посмотрим в книге, и все станет ясно.

Цай кликнул слугу и велел ему позвать управительницу, ведавшую обувью. Вскоре появилась женщина со счетной книгой в руках.

— А ну отвечай,— сказал наставник,— каким образом сапог из нашего дома оказался у посторонних людей? Проверь по книге!

Женщина тщательно сверила записи и вот что обнаружила. Оказалось, что в пятую луну прошлого года она действительно посылала слугу Чжана заказать сапоги, и он же их потом доставил домой. Но вскоре господин наставник подарил их некоему Ян Ши — начальнику уезда. Этот Ян, известный также под именем Ян Гуй-шань, был любимым учеником наставника Цая. Тогда его как раз повысили в должности и назначили начальником уезда близ столицы. По случаю отъезда он зашел проститься с учителем. Этот Ян Ши был ученым мужем и не слишком следил за своей внешностью. Вот наставник Цай и подарил ему на прощанье парадный воротник, пояс, отделанный серебром, пару сапог и четыре веера сычуаньской работы. Все эти подарки оказались отмечены в расходной книге, и хозяин дома показал запись гостям.

— Простите, господин наставник,— воскликнули тайвэй Ян и правитель Тэн,— поистине, эта история не касается вашего дома. Своим подозрением мы оскорбили вас, но ведь дело — государственное! Нижайше просим вас проявить снисхождение.

— Я ничуть не обижен,— рассмеялся наставник,— такова уж ваша служба, и вы исполняете ее как следует... Что же до Ян Гуйшаня, то вряд ли он причастен к делу. Что-то здесь не то. Впро-

чем, это легко узнать,— ведь господин Ян служит недалеко от столицы. Я постараюсь без лишнего шума вызвать его, а вы, я думаю, можете сейчас идти, но опять-таки никому ни слова!

Гости простились и разошлись по домам, но об этом мы пока умолчим.

Сразу же после их ухода наставник Цай вызвал слугу и приказал ему немедленно ехать за Ян Гуй-шанем. Всего через два дня Ян прибыл в столицу. После взаимных приветствий и чаепития наставник подробно рассказал гостю историю с сапогом и заключил такими словами:

— Вы знаете, что начальник уезда словно бы отец для народа. Изъясните же мне, как могли вы решиться на такой опрометчивый шаг? Великое преступление! Можно сказать — обман Неба!

— Почтенный учитель, дозвольте сказать! — воскликнул начальник уезда, низко склоняясь перед Цаем.— Как вам известно, в прошлом году, вскоре после того, как получил я щедрые ваши дары, я покинул столицу. В дороге внезапно заболел: что-то случилось с глазами. Слуги сказали, что в этих местах есть один даосский храм под названием обитель Чистого истока с богом Эр-ланом, который будто бы делает чудеса. Я решил заехать туда, желая поставить перед богом свечу и поднести дары, ну и, разумеется, попросить об исцелении. А дальше? Дальше я и вправду поправился. Тогда-то я и решил вновь поехать на богомолье. И вот, взирая на бога, я приметил, что все в нем хорошо — и шапка и одежда,— но вот сапоги, кажется, прохудились. Тогда я и решил поднести ему дар — именно пару ваших сапог. Поверьте, господин наставник, я не лгу. Я никогда никого не обманывал, и темные дела мне не по нутру! Разве тот, кто изучает книги Конфуция и Мэн-цзы, способен подражать разбойнику Чжэ? Прошу вас, господин наставник, взгляните на дело непредвзято!

Цай, впрочем, знал своего ученика как истинного ученого, никак не способного на бессовестный поступок, вот почему, услышав его объяснения, он сказал:

— Не волнуйтесь, ваша добрая репутация мне хорошо известна, и вызвал я вас к себе, единственно чтобы установить некоторые подробности, без которых следователи не могут идти дальше, и, конечно, не успокоятся, пока не выведают все как есть.

Хозяин угостил Яна вином, попотчевал вкусною едою, а когда они прощались, предупредил Яна о полном молчании. А ведь верно сказано кем-то:

«Коль днем не сделал ничего дурного,
Не задрожишь от стука в дверь ночного».

Цай пригласил к себе тайвэя Яна и правителя Тэна и рассказал им о своей беседе с начальником уезда.

— Как я предполагал, уездный начальник здесь ни при чем. Сдается мне, что столичным властям придется поусердствовать, дабы изловить мошенника.

Правитель области, молча выслушав его слова, взял сапог и откланялся. Возвратившись в ямынь, он немедленно вызвал к себе старшего сыщика Вана.

— Раньше у нас была хоть небольшая зацепка,— сказал он,— а сейчас — ничего, будто перед нами нарисованная лепешка... Вот тебе сапог и пять дней сроку. Без преступника не показывайся на глаза.

Вконец огорченный Ван поплелся к себе.

— Жань Гуй,— сказал он младшему сыщику,— ну и не везет же мне! Когда с твоею помощью нашли этого сапожника, я подумал: уж вроде бы все уладилось и утряслось, и делу конец. Раз тут задет сам господин наставник Цай, значит, непременно похерят дело! Чиновник чиновника всегда покроет. Ан нет, все закрутилось сначала — снова лови преступника! Да только ищи ветра в поле! Я начинаю думать, уж не бог ли он в самом деле? Кто знает? Сапоги-то уездный Ян ему подарил! А других улик у нас, кажется, и нет. Что же мы скажем правителю Тэну?

— Как и вы, я уверен, что сапожник не причастен к делу. Не виноваты господин наставник Цай и начальник уезда. Что касается бога Эр-лана, то вряд ли божество способно на подобные мерзости. Думаю, это кто-то из тех, кто живет поблизости с храмом, к тому же знакомый с колдовством. Придется мне сходить в этот храм. Похожу-погляжу, разведаю-разнюхаю, может быть, что и узнаю. Но только, начальник, не слишком радуйся, когда схватим кого, и не кручинься, коли никого не найдем!

— Согласен! — сказал Ван, протягивая Жань Гую сапог.

Итак, Жань Гуй, переодетый бродячим торговцем, прихватив звонкий барабан с бубенцами под названием «волнитель женских покоев», направился к храму, вошел, отложил в сторону коромысло с коробами, зажег благовонные палочки и склонился в низком поклоне:

— О Небо, ясновидящее и всемогущее! Помоги Жань Гую найти правду и поймать злодея, дабы сохранить имя бога в чистоте!

Кончив молиться, Жань Гуй вытащил из сосуда три гадательных бирки. Все три сулили большую удачу. Жань Гуй поклонился, чтобы выразить свою благодарность, и, вскинув коромысло, вышел из ворот. Что он делал? Прохаживался подле храма туда и сюда и обходил храм вокруг, внимательно глядел по сторонам.

Вот он заметил домик с маленькими оконцами, с одностворчатой дверью, прикрытой ветхим завесом из пятнистого бамбука.

— Торговец! — услышал он чей-то голос.— Иди-ка сюда.

Жань Гуй обернулся, перед ним стояла молодая женщина.

— Это ты меня звала, девица? — спросил он.

— Я! Ты, как я вижу, и скупаешь и продаешь, а у меня как раз есть для тебя одна вещь. Отдаю задарма,— всего за несколько вэней. Захотелось дитя моему сластей, вот я и решила продать кое-что.

— Видишь эти короба, девица? Они у меня не простые. Я зову их «склад-сарай, что угодно собирай». Это потому, что все я беру и все покупаю. А ну показывай, что там у тебя?

Женщина что-то крикнула дочери, и та принесла... Как бы вы думали, что она принесла?

Оленя лошадью назвав,
сановник рассчитал вполне:
Одни согласны будут с ним,
другие не снесут обмана.
Никто не знает: мотылька ль
Чжуан-цзы увидал во сне,
Или увидел мотылек
философа Чжуана.

Перед Жань Гуем лежал сапог, точь-в-точь под пару тому, что добыл в свое время Пань-заклинатель,— те же четыре стежки! Сыщик едва не задохнулся от радости, потом вскричал:

— Так он же один, чего он стоит? — Потом спрашивает: — А сколько ты хочешь? Смотри, не запрашивай лишку!

— Я же сказала, продам за несколько вэней. Мне бы только купить что-нибудь моей девочке. Короче, назначай цену сам, но только по-честному!

Жань Гуй полез в кошель и достал полсвязки монет.

— Вот бери, коли согласна, а не хочешь, я пошел. Ведь у тебя всего один сапог, а нужна пара.

— Прибавь хоть немного, вещь-то хорошая.

— Не упрашивай, все равно не прибавлю.— Он вскинул коромысла и сделал несколько шагов.

Девочка захныкала.

— Постой-ка! — Женщина остановила Жань Гуя.— Полно тебе, прибавь хоть самую малость.

— Так и быть! — Сыщик отсчитал еще двадцать медяков.— Даю намного больше, чем он стоит.— С этими словами он сунул сапог в один из коробов и зашагал прочь, ликуя в душе.

«Дело-то наполовину сделано! — радовался он.— Главное теперь держать язык за зубами и хорошенько разузнать об этой бабенке!»

Спустился вечер. Жань Гуй оставил короба с товарами у знакомца, что жил возле моста Небесного брода, а сам отправился в приказ. Само собой, Ван приступил к нему с расспросами, но Жань Гуй ответил, что новостей пока нет.

На следующее утро, наскоро закусив, Жань Гуй пошел к названному знакомцу за своим товаром, а потом вновь направился к женщине, продавшей сапог.

Двери дома были на замке. Помрачневший сыщик стал соображать, что делать дальше. Поставив короба на землю, он подошел к соседнему дому. У ворот его на низенькой скамейке сидел старик и плел веревку из рисовой соломы.

— Эй, дядя, а дядя! — обратился к нему сыщик, соблюдая, разумеется, осторожность.— Хочу тебя спросить, куда это запропастилась твоя соседка-молодуха?

Старик оставил работу и поднял голову:

— А на что она тебе?

— Понимаешь, торговец я, купил вчера у нее старый сапог, да только плохо смотрел. Одним словом, убыток я потерпел. Вот и пришел забрать свои деньги обратно.

— Вроде к свекрови эта сучка ушла,— проворчал старик.— Придется тебе, парень, с убытком смириться. Ты знаешь, кто эта сучка? Она — полюбовница самого Сунь Шэнь-туна, настоятеля из храма бога Эр-лана. А знаешь, кто Сунь? Страшный он человек и с колдовством знаком. Наверное, и сапог-то с помощью ворожбы достал а потом велел полюбовнице продать его да сластей накупить. С настоятелем она путается не один день. Правда, месяца два, а то и три назад разошлись они, только не знаю почему. Но недавно опять как будто снюхались... Денег она тебе ни за что не вернет. А коли разозлишь ее, нажалуется своему монаху, а с ним шутки плохи. Он тебя заколдует, и конец.

— Вон оно как получается...— протянул Жань Гуй,— ну спасибо и на этом.

Сыщик вскинул на плечо коромысло с коробами и, посмеиваясь, зашагал в город.

— Неужели повезло? — спросил его Ван.

— Вот именно. Только покажи мне для верности тот сапог.

Ван достал сапог, и Жань Гуй сравнил его со своим. Сапоги были парой.

— А этот у тебя откуда? — вскричал Ван.

И Жань Гуй не торопясь подробно рассказал обо всем, что с ним случилось.

— Говорил я, что бог ни при чем,— сказал он.— Все это проделки настоятеля храма. Сомневаться не приходится.

Ван ног не чуял от радости. По случаю такой удачи он зажег свечу и поднес Жань Гую чарку вина.

— Вот только как мы его сцапаем? — снова засомневался он.— Вдруг он пронюхал обо всем и дал стрекача?

— Вряд ли! Объявим завтра, что идем в храм на богомолье и несем подношенья. Настоятель выйдет нам навстречу, а кто-нибудь даст условный знак,— плошку уронит или еще что,— тут-то мы его и схватим.

— Это все так,— согласился Ван,— да только сначала надобно доложить правителю. Без его приказа арестовать нельзя.

И старший сыщик Ван отправился к правителю Тэну.

— Ну и молодцы! — воскликнул обрадованный Тэн.— Но только будьте осторожны, чтобы не сделать какого промаха. Я слышал, этот мошенник знаком с колдовством, может изменить обличье и даже вовсе исчезнуть. Поэтому захвати с собой зелье от колдовства: свиную и песью кровь, смешанную с чесноком и калом. Брызни на него, и он — бессилен.

С тем старший сыщик Ван отправился домой — готовить отворотное зелье. На следующее утро он велел одному из сыщиков спрятаться с зельем где-нибудь возле храма, а в нужный миг, когда схватят злодея, быть под руками. Сам Ван, Жань Гуй и еще несколько человек, все переодетые в богомольцев, направились в храм. В главном зале, где возжигают свечи, гостей встретил настоятель Сунь. Он успел прочитать всего несколько строк из священных текстов, как вдруг раздался звон — это Жань Гуй, стоявший рядом, уронил плошку с жертвенным вином. По этому знаку люди Вана бросились вперед.

Не выпустят ласточку
 цепкие когти орла,
А в пасти тигриной
 погибель ягненку пришла.

Итак, сыщики набросились на Суня и тотчас облили его названным зельем. Теперь уж никакие волшебства помочь ему не могли, настоятель понял это и смирился.

Сыщики повели его в столичное управление, награждая по дороге тумаками да палками. Правитель Тэн, прослышав об этом, поспешил в зал присутствия.

— Подлый раб! — закричал он в страшном гневе.— Ты посмел заниматься колдовством! Мало этого, ты еще и осквернил государеву жену и выкрал у нее драгоценность. Отвечай!

Сунь Шэнь-тун стал было отпираться, но под пыткой во всем признался.

— Я занимался колдовством с малолетства. Потом стал монахом в храме Эр-лана, а затем с помощью подкупа и связей сделался настоятелем. Как-то я увидел в храме госпожу Хань и услышал, что она просит у бога дать ей мужа, похожего на него самого. И вот я решил нарядиться Эр-ланом. Совратил ее и выманил яшмовый пояс. Все это сущая правда.

Правитель отдал приказ: надеть на преступника кангу и бросить в темницу. Тюремщикам было сказано хорошенько сторожить злодея и ждать решения государя. Изложив суть дела в докладе на высочайшее имя, правитель Тэн отправился к тайвэю Яну, а затем они вместе отправились за советом к наставнику Цаю.

Вельможа доложил обо всем государю, и вскоре последовал высочайший рескрипт: «За осквернение государевой жены и кражу драгоценности приговорить злодея к смерти через четвертование. Женщину к суду не привлекать. Яшмовый пояс, который не был в употреблении, вернуть в казну. Госпожа Хань, не сохранившая верности долгу, лелеяла греховные помыслы, а посему впредь ее во дворец не допускать, судьбу же ее препоручить тайвэю Яну, дабы он, когда воспоследует надобность, выдал ее за простолюдина».

Молодая женщина, узнав о решении государя, вначале всплакнула, но потом отбросила печаль свою прочь. Ведь она и сама, в конце концов, того же хотела! И верно, со временем она вышла замуж за торговца из далеких краев, который имел в столице лавку. К себе на родину он госпожу Хань не взял, ибо почасту бывал в столице. Умер торговец в глубокой старости, но это уже другая повесть, а мы вернемся к нашей истории.

Когда пришло государево решение, Сунь Шэнь-туна вывели из кайфынской тюрьмы и зачитали приговор. На тростниковом щите были записаны преступления монаха, а в конце были такие слова: «Казнить через разрубление на части». Злодея вывели на главную площадь города, где и казнили перед людьми. Вот уж поистине:

Его проделкам да проказам
Теперь конец положен разом.

На казнь Суня сошлось поглазеть множество народа — стояли плечо к плечу, спина к спине. Глашатай зачитал список преступлений, а палач, призвав на помощь духов казни, приступил к делу. Так вот и четвертовали Суня, и толки и пересуды

об этом долго еще не утихали в городе. Кто-то из прежних столичных сказителей составил жизнеописание Суня, оно и по сей день числится среди самых диковинных историй. Закончим же мы его такими стихами:

Если заветы мудрых
    хоть изредка да вспомянешь,
Заповеди Сяо Хэ
    нарушать никогда не станешь.
Издревле за распутство
    законы бывали строги,
Мошенников, плутодеев
    никогда не прощали боги.

ГЛИНЯНАЯ БЕСЕДКА

Весной, когда густы и сочны травы,
Слабеет у девицы строгость нрава;

Крепчает ветер, месяц скрыт от взора —
Мужает сердце юноши в ту пору.

Остёр язык рассказчика, как жало.
Длиной в три цуня будет он, пожалуй.

Всё взвесит он и перескажет честно,
Что глубоко, что мелко в Поднебесной.

Рассказывают, что во времена династии Тан область Сянъян в Шаньдуне именовалась еще «Восточной округой к югу от гор». Говорят также, что проживал в Сянъяне один торговец. Фамилия его была Вань, а все кругом величали его Служивый Вань. Был он третьим в семье, поэтому его еще звали господин Третий Вань. Лавка его в городе стояла на самом виду, на главной улице. Вань торговал чаем, а рядом с лавкой была у него и чайная.

У Ваня служил приказчик лет двадцати от роду по фамилии Тао, а по прозвищу Железный монах. Служил он в лавке с самого детства, с тех самых пор, как на голове его было всего несколько пучочков волос. В день, о котором пойдет речь, торговля уже кончилась. Хозяин, находившийся в это время в комнате, отгороженной матерчатой занавеской, заметил, что Тао — вот ведь мошенник! — зажал в кулаке сорок, а то и пятьдесят монет. «Посмотрим,

что будет дальше»,— подумал Вань. Надо вам знать, что у разливальщиков чая было в ходу выражение: «Сходить в такую-то округу или область». Вот, к примеру, кто-то сказал: «Сегодня я сходил в Юйхан». А Юйхан, как известно, находится в сорока пяти ли, значит, слуге удалось припрятать сорок пять монет. Бывало, и так говорили: «Сходил в Пинцзян». Значит, слуга прикарманил никак не меньше трехсот шестидесяти монет. Ну, а если кому удавалось добраться до Чэнду в Сычуани, можете себе представить, сколько он загребал за день! Так вот, хозяин стал смотреть, что же этот негодный Тао будет делать дальше. А Железный монах, вертя шеей, будто коршун, и с опаской озираясь по сторонам, сунул деньги за пазуху. Он, видно, думал, что его никто не заметил. Тут Вань откинул занавеску, неторопливо вошел и сел на скамью подле шкафа. Тао руку ослабил и давай шарить за пазухой, точно гладил себя. «Я, мол, сам себя щупаю». Потом снял пояс, отстегнул от него кошель, взял его за оба конца и тряхнул, а затем хлопнул себя по брюху и бедрам. Все это означало: «Ты, хозяин, может, что-то и видел, но только денег я твоих не крал». Хозяин поманил слугу пальцем.

— Я стоял за занавеской и все видел. Сначала ты монеты зажал в кулаке, а потом стрельнул глазом вот сюда и где-то их спрятал. Говори по-честному, сколько от меня утаил? Ну чего ты трясешь своим кошельком? Надуть меня хочешь? Где деньги схоронил? Скажешь по-хорошему, прощу, не скажешь — в суд потащу!

— Не скрою, хозяин, утаил я сорок пять монет, спрятал их в одном месте,— сказал Тао, сложив почтительно руки на груди.— Я их сунул вон в ту железную подставку от висячей лампы.

Хозяин взобрался на скамью. Действительно, в подставке лежала кучка монет.

— Сколько лет ты живешь у меня в доме? — спросил Вань, слезая со скамьи.

— Лет четырнадцать, а может, и пятнадцать. Еще мальчишкой, когда отец был жив, я разносил чашки и блюда. После смерти отца вы, хозяин, оставили меня у себя и вырастили.

— Так-так. Если в день ты способен утаить пятьдесят монет, то за десять дней ты крадешь пятьсот; за месяц это будет целая связка да еще пятьсот монет. В год это будет восемнадцать связок, а за пятнадцать лет — двести семьдесят связок. К судье я тебя тащить не стану, но работать ты у меня больше не будешь! — И он рассчитал Тао.

Пришлось Железному монаху собрать свои пожитки и уйти из чайной.

Тут надо сказать, что Тао был весьма непутевым парнем, подаяние клянчить и то не умел. Деньги кончились уже дней через десять. А за это время Вань успел рассказать о нем во всех сяньянских чайных, так что Тао негде было не только что подработать, но даже и милостыни попросить. Стояла осень, а о ней в старину еще сложены такие стихи:

«Как палка, гол водяной каштан,
И лотос поник, увял.
Утун роняет лист за листом,
И вот уж почти опал.
Ближе, все ближе холод зимы,
И дождевую нить
Легким пушинкам снега пора
Над стылой землей сменить.
Где-то у корня жухлой травы
Стонет еще сверчок;
Гусь одинокий спустился, сел
На отмель, в мягкий песок.
Страннику в долгом его пути
Пристанища нет и нет.
Ему ли, скитальцу, всех не познать
Осени скорбных примет!..»

Правдивые стихи! Да вы и сами знаете: вдруг задует студеный ветер, внезапно припустит холодный дождь... У Тао были, правда, две куртки: одна шелковая, а другая — из грубого желтого рядна. Да только одна оборвалась вконец, а другая протерлась до дыр. Вначале Железный монах думал, что, кроме чайной Ваня, есть много других мест, где можно подработать, но вскоре, как уже было сказано, убедился, что не припасено для него нигде и горсточки рису. Как тут не вспомнить стихи одного почтенного мужа из Цзянькана, сложенные на мотив «Куропатки». Вот они, послушайте:

«Осенней поры желтизна,
Увы, уж не радует взгляд;
У всех вызывает лишь грусть
Изорванный в клочья халат.

Поблекли и краски одежд,
Обтерлись вконец рукава;
Песнь ветра, унылая в ночь,
И в утренний час не нова.

В отрепьях, с печальным челом,
Лишь из дому нос покажу,
Мне стыдно смотреть на людей,
И я прохожу, не гляжу.

Соседушек-женщин толпа
Глядит на убранство мое,
И шепот мне слышится вслед:
«Продай-ка халат на тряпье!»

Так вот, желтая куртка у Тао совсем протерлась, и ветер забирался ему в самую душу. Железный монах решил пойти к посреднику Чжоу и попросить его о работе. Шел и думал о Ване: «Экий злыдень этот Вань! Ну взял я у тебя тридцать — пятьдесят монет (какая кошка не крадет?). Так рассчитай меня, и делу конец. Зачем же рассказывать во всех чайных Сянъяна, чтоб не брали меня на работу. Теперь вот негде даже поесть попросить. Сейчас осень, а там подойдет зима. Что тогда делать, как быть?» Размышляя, он подошел к дому Чжоу и столкнулся с незнакомым ему человеком, который разговаривал с хозяином.

— Почтенный Чжоу! — говорил тот.— Дай мне на время твое коромысло с коробами.

— На что оно тебе? — спрашивает Чжоу.

— Сегодня приезжает Вань Сю-нян, дочь Третьего Ваня. У нее умер муж, и она возвращается домой. Коромысло мне нужно, чтоб тащить ее вещи.

Железный монах мигом смекнул: «Пойду-ка я вместе с этим парнем! Что, как меня не прогонят и мне удастся подзаработать сотню медяков?!» Но тут он вспомнил о Ване, и вновь его взяла досада на прежнего хозяина. «А не побежать ли мне за город? Встречу его дочь и попрошу замолвить за меня словечко перед хозяином. Может, возьмут обратно в лавку?»

Железный монах вышел за ворота и зашагал к Улитоу, что в пяти каких-нибудь ли от города. Но вот и Улитоу, а никого нет! Стал он прохаживаться эдак с прохладцей,— гуляю, мол, и все; вдруг слышит:

— Эй, Железный монах!

Повернулся, а перед ним незнакомец:

Он был огромным и могучим,
Ни дать ни взять — чертей владыка,
Ему б земную ось вращать.
С такой наружностью и мощью,
С чертами дьявольскими лика —
Чертоги неба сотрясать.

— Вы меня звали, господин? Я вам нужен? — спросил Тао.

— Несколько раз я заходил в вашу чайную, но все тебя не заставал. Ты, что же, там больше не служишь?

— Ах, господин! Злыдень Третий Вань тому уж несколько дней, как выставил меня из лавки. Коли бы просто прогнал, а то наговорил на меня во всех лавках Сянъяна, чтобы не давали мне нигде работы. Посмотрите на мое платье — одни дыры! А уже осень и холода. И есть хочется. Не дожить мне, как видно, до зимы: или с голоду подохну, или замерзну.

— А куда ты сейчас направляешься?

— У дочки хозяина Вань Сю-нян умер муж, и она вечером приедет домой. Говорят, везет всякую утварь и денег, несколько тысяч монет. Хочу встретить ее здесь и рассказать обо всем. Попрошу ее замолвить за меня словечко.

Незнакомец хотел было еще что-то сказать, как вдруг осекся. Недаром говорят: «Легче иногда тигра в горах поймать, чем разлепить уста и вымолвить слово». Но затем он будто решился:

— Почтенный! А для чего тебе просить хозяйскую дочку? Не лучше ли на самого себя положиться? — И он поманил Тао пальцем.— Здесь не место вести такие разговоры, пошли за мной!

Они сошли с проезжей дороги и оказались на узкой тропинке, которая скоро привела их к заброшенной хижине... Впрочем, послушайте стихи:

Впереди глухая дорога,
Где кошель у прохожего срежут;
Позади — бугор, за которым
Человека легко убить.
Смотришь издали — дым зловеще
Там, над самой кровлей, клубится,
А вблизи увидишь такое,
Что лишишься тотчас души.
Не Мэнчан живет в этом месте,
Добродушный и хлебосольный,
В этом логове лишь убийцы,
Поджигатели здесь живут.

Дверь хижины оказалась запертой. Незнакомец не стал, однако, стучать. Он просто поднял камень и швырнул его на крышу. В доме послышался звук отодвигаемого засова. Дверь распахнулась, и стал в ней здоровенный детина, губошлепый и скуластый. На его лице виднелась татуировка — шесть иероглифов (оттого и прозвали его, наверное, Цзяо Цзи Меченый).

— Это еще кто? — проворчал Меченый, кивая в сторону Тао.

— Этот парень сегодня вынюхал одно выгодное дельце. Работка что надо!

Все вошли в дом. Незнакомец извлек из кошеля серебряную мелочь и велел Меченому принести вина и закусок. Наконец-то Тао поел всласть! Заправившись, он пошел узнать новости и очень скоро вернулся обратно.

— Уважаемые! — сказал он.— Больше двадцати коробов с вещами уже внесли в город. Сама Вань Сю-нян с малолетним братцем и слугою Чжоу Цзи будут тут к вечеру. Они на двух лошадях, груженных коробами с золотом и серебром.

Главарь велел каждому взять по ножу.

— Железный монах! Иди за мной! — приказал он, и они углубились в лес.

И верно, под вечер на дороге близ Улитоу показались пять человек: Вань Сю-нян с братом, слуга Чжоу Цзи и два погонщика. Вы хотите знать, что это было за место? Извольте!

Если издали посмотреть —
Будто черная туча клубится;
Подойти, поглядеть вблизи —
Пелена сплошная дождя.

Тени мрачные в тыщу ли,
Как драконы и змеи, вьются;
Страшный рев сотрясает небо,
Ветер стонет, и дождь сечет.

И только путники достигли первых деревьев, из лесу раздался крик:

— Эй вы, триста молодцев с Цзыцзиньских гор! Оставайтесь на своих местах, зря не пугайте девицу с парнишкой.

Из-под деревьев прыгнули на дорогу трое с ножами. Погонщики побросали поклажу и пустились наутек. Вань Сю-нян, ее брат и слуга Чжоу Цзи остановились ни живы, ни мертвы.

— А ну выкладывай деньги, кому жизнь дорога!

Молодой Вань велел слуге достать серебро. Чжоу Цзи вытащил слиток в двадцать пять лянов и протянул Цзяо Цзи.

— Ну и ловкач! Хочешь отделаться каким-то огрызком? — взревел Меченый, схватился за нож и замахнулся на слугу.

— Мы вам дадим еще, если нужно! — вскричала Вань Сю-нян. Меченый поднял короба и пошел к лесу.

— Железный монах! Так это ты нас ограбить решил! — раздался вдруг крик молодого Ваня.

Слова эти встревожили Меченого. «Еще не легче,— подумал он, бросая короба на землю.— Если их сейчас отпустить, завтра

все станет известно в Сянъянской управе. Сначала схватят Монаха, а за ним и нас».

Разбойники подбежали к молодому Ваню, взлетели в воздух ножи и...

Отлетело бренное тело,
словно легкий ивовый пух;
Рвутся лотоса тонкие нити,
жизнь угасла, пресекся дух.

Одним ударом Меченый повалил молодого Ваня, а вторым прикончил слугу. Разбойники оттащили тела в лес и снова подняли короба с вещами. Железный монах взял под уздцы коня молодого Ваня, а главарь — лошадь Вань Сю-нян. К ночи они добрались до хижины Меченого и тут же устроили пиршество с закусками и вином, которые принесли из харчевни. Потом разбойники вынули из коробов драгоценности и платья и принялись делить добычу на три равные части.

— Вещи мы разделили, а женщину я беру себе,— сказал главарь.— Она станет моей женой.

Так Вань Сю-нян осталась в доме Меченого и прожила в нем не один день. Чтобы избежать смерти, ей приходилось хитрить и задабривать разбойников сладкими речами. Главарь часто уходил на промысел, а после очередного грабежа возвращался домой, чтобы набить живот и выпить. Однажды он сильно захмелел. Воистину:

Три чарки бамбуковой водки
Проникнут в самое сердце,
А на щеках вдруг вспыхнут
Два персиковых цветка.

Так вот, когда он опьянел, Вань Сю-нян обратилась к нему с такой речью:

— Тебя все величают почтенным господином. Но как гласит поговорка: «Собак и коней отличают по масти, а у людей есть имена и фамилии». Ты мой муж, и я хочу знать, как тебя зовут.

Бандит, удоволенный и разомлевший, ответствовал:

— Я человек, знаменитый в Сянъяне. Ты, верно, не догадываешься, кто я, но я могу тебе сказать. Вот только у тебя от страха душа уйдет в пятки.— Он задрал штанину и показал на ногу. Она увидела несколько красных знаков.— Имя мое — Мяо Чжун по кличке Десять Драконов!

Но, оказывается:

У стен есть чуткие уши,
Живые за окнами души.

И правда, слова главаря услышал Меченый, который как раз в это время оказался возле окна. «Напрасно вожак раскрыл этой бабе свое имя»,— проворчал он и вошел в дом.

— Старший брат! — обратился он к главарю.— Дело такое, что придется теперь «боднуть корову»!

На языке бандитов это означало: кого-то прикончить. Вы уже догадались, конечно, что Меченый предлагал разделаться с Вань Сю-нян. Недаром ведь есть поговорка:

«Своди траву под самый корешок,
Иль вновь она весною даст росток».

Но Десять Драконов был против.

— Мы разделили деньги и вещи. Я взял больше всего лишь на одну — вот эту женщину. А ты, выходит, завидуешь мне? Зарезать ее хочешь? Дудки! Она мне жена, и наши дела никого не касаются!

— Рано или поздно из-за нее выйдет несчастье. Она нас погубит,— сказал Меченый.

На этом разговор и кончился. Но однажды, когда главаря не было дома, Меченый решил осуществить свой план. «Много раз я советовал брату прикончить эту бабенку, да он ни в какую. Ни сегодня, ни завтра не хочет, и все тут. Что ж, придется исполнить вместо него, чтоб беду отвести!» У него был длинный острый нож с короткой рукояткой. Тыльная кромка ножа была широкой и с острым лезвием образовывала как бы треугольник. Разбойник всегда держал свое оружие за пазухой в ножнах. С этим ножом он и появился в комнате, где сидела Вань Сю-нян. Схватив одной рукой женщину за волосы, Меченый занес нож над ее головой, но тут кто-то сзади схватил его за руку. Оказывается, это был Мяо Чжун.

— Ты все-таки решил погубить ее, несмотря на мой приказ.

Меченый опустил оружие.

— Я уведу ее из твоего дома,— продолжал Мяо Чжун.— Иначе ей здесь не жить.

Тем временем наступил вечер, и... послушайте-ка вперед известные строки:

«Вот огненный круг покатился на запад,
А яшмовый заяц привстал на востоке.
К себе со свечой удаляется дева,
Бросает уженье рыбак до рассвета.
В траве замелькал светляка огонечек,
Луною подсвечено облако в небе».

Так вот, наступил вечер. Подошло время первой стражи.

— Вань Сю-нян! — обратился к молодой женщине Десять Драконов.— Здесь тебе оставаться опасно. Меченый только и думает, как бы прикончить тебя.

— Что же делать, мой господин?

— Я знаю что делать! — проговорил Мяо Чжун. Он посадил женщину к себе на спину и вышел из дому. Десять Драконов шагал всю ночь, а когда рассвело, путники оказались возле неведомой хижины. Мяо Чжун опустил женщину на землю и постучал в ворота.

— Сейчас, сейчас! — раздался голос, и на пороге появился слуга.

— Пойди скажи хозяину, что у ворот господин Мяо,— сказал Десять Драконов.

Слуга ушел, а через некоторое время у порога появился хозяин дома.

Синими цветами куртка вышита,
Шляпа с твердой тульей за спиной.
Стянуты штаны красивым поясом,
Шелковые туфли на ногах.

Мужчины поклонились друг другу, и хозяин позвал их в дом. Вошли они в комнату для гостей.

— Хочу побеспокоить вас одной просьбой, старший брат,— обратился к хозяину Мяо.— Нельзя ли оставить у вас эту женщину?

— Что ж, оставляйте,— кивнул хозяин.

Мужчины выпили несколько чарок вина, позавтракали, и Десять Драконов ушел. Хозяин показал гостье в сторону внутренних комнат.

— Вам, надеюсь, ясно, что господин Мяо продал вас мне,— сказал он Сю-нян.

Женщина заплакала. И понять ее можно, не правда ли?! Тут уместны такие стихи, сложенные на мотив «Куропатки»:

«Рассыпана ль жемчуга нить?..
Осенним обилием рос
Бегут и бегут по щекам
Потоки жемчужинок-слез.

Вот так и бамбук окропить
Они на Сяншуе смогли,
Разрушили стену они
На многие, многие ли.

Я милого помню любовь...
Слабеет, уходит она.
Так яшма-душа отлететь
Навечно обречена.

Подолгу смотрю я на твой
Оставленный некогда плат,
И новое горе растет,
И старые раны болят».

Вань Сю-нян ничего не ответила хозяину, она только горько заплакала. «Проклятый бандит! Мало того, что ты убил брата и слугу, ограбил и обесчестил меня, ты еще и продал меня. Что ж мне теперь делать?»

Прошло несколько дней. Была темная безлунная ночь. Все в доме отправились на покой. Вань Сю-нян открыла боковую дверцу и вышла в сад, расположенный позади дома. Она подняла лицо к небу и воскликнула:

— Мой родитель, ты часто был несправедлив ко мне! И нынешние мои беды тянутся от тебя! Мяо Чжун! Проклятый висельник! Ты ограбил меня, убил брата и слугу. Ты надругался надо мной, а теперь еще и продал!

Вань Сю-нян сняла широкую ленту, стягивающую грудь, и привязала ее к суку высокого тута.

— Брат! Чжоу Цзи! Ваши души где-то неподалеку! Ждите меня у ворот царства теней. Я жила в Сянъяне, теперь умру и стану духом этой округи! — Молодая женщина стянула лентою шею и уж собралась было поквитаться с злосчастной своею жизнью, как вдруг заметила, что за садовой горкой будто прячется кто-то. И тут же метнулся к ней рослый мужчина с ножом в руках.

— Не пугайся,— сказал он.— Я все слышал. Не думай о смерти, я спасу тебя.

— Кто ты, как твое имя?

— Меня зовут Инь Цзун, я живу с матерью, которой сейчас восемьдесят лет. За примерное послушание прозван Почтительным Инь Цзуном. А сюда я пришел за поживой. Продаю, что к рукам приберу, и кормлю мать. Тебя я встретил случайно и решил спасти. Как говорится: «Увидел чужую невзгоду — за нож и на помощь!»

Инь Цзун посадил женщину на закорки и подбежал к стене в углу сада. Натужно крякнув, он приподнял Сю-нян, и она очутилась верхом на стене. Затем Почтительный воткнул нож в глиняную стену, схватился за него, взобрался наверх, спрыгнул вниз

и помог женщине спуститься. Потом снова взял ее на закорки, но только тронулся в путь, как вдруг прямо перед собою увидал человека с копьем.

— Бей! — раздался крик, и копье полетело прямо в Почтительного. Это был дозорный, стороживший между домами. Он увидел мужчину с ножом, спрыгнувшего со стены, а с ним — женщину и решил, что это бандит, и бросился на него. Но было темно, да и Инь Цзун сумел увернуться. Копье вонзилось в стену и загудело, раскачиваясь. Инь Цзун и Сю-нян исчезли в темноте.

Почтительный решил отвести женщину к себе домой. По дороге он сказал ей:

— Матушка не любит чужих и сторонится их. Когда мы придем, расскажи о себе, что с тобой стряслось.

Вань Сю-нян согласно кивнула. Они подошли к хижине. Услышав шаги сына, мать Инь Цзуна пошла открывать.

— Вот ты и вернулся, сынок! — сказала она.

Тут она заметила какую-то поклажу за спиной у сына и, довольная, протянула к ней руку. Вдруг радость старухи сменилась гневом. Она схватила клюку и, не слушая никаких объяснений, принялась колотить Почтительного.

— Я велела тебе украсть что-нибудь и принести мне еды! А ты вместо этого бабу в дом приволок! — Старуха стукнула сына раза три, а то и четыре.

Инь Цзун смиренно молчал. Он помог испуганной Вань Сю-нян встать на землю и велел поклониться матери. Вань Сю-нян рассказала старухе, что с ней стряслось, и стала благодарить ее за сына:

— Он спас мне жизнь!

— Сразу бы и сказал,— проворчала старуха.

— Я хочу отвести ее домой, как вы думаете, матушка? — спросил Инь Цзун.

— Как это у тебя получится?

— В дороге или на постоялых дворах я буду говорить, что мы брат и сестра.

— Подожди, я научу тебя, что надо делать,— проговорила мать и заковыляла внутрь дома. Скоро она появилась, держа в руках латанную-перелатанную красную кофту.

— Взгляни на нее,— сказала она сыну, натягивая кофту на Сю-нян,— она в ней прямо как старуха. Только вот что запомни: в дороге не вздумай безобразничать с ней или тем паче — блудить!

Вань Сю-нян простилась со старухой, Инь Цзун взял молодую женщину на закорки, и они глухими окольными тропами на-

правились к Сянъяну. Под вечер путники набрели на постоялый двор. Сказавшись братом и сестрою, сняли они комнату. Сю-нян легла на кровать, а Инь Цзун расстелил постель прямо на полу. Наступила полночь. Сю-нян не спала. Она думала об Инь Цзуне: «Он спас меня и стал для меня таким же близким, как самые близкие родственники. Может быть, мне выйти за него замуж? Только так я могла бы отблагодарить его!»

Вань Сю-нян спустилась с кровати и подползла к Инь Цзуну.

— Старший брат! — тихонько толкнула она его.— Мне надо поговорить с тобой. Ты спас меня, а мне отблагодарить тебя нечем, разве только поклониться тебе в ноги.

— А ну не балуй! — сказал Инь Цзун, схватившись за нож.

«Ладно, доберемся до дому, поженимся по закону,— решила Сю-нян.— А на баловство он не пойдет!»

И правда, Почтительный Инь Цзун, образец верного сына, хорошо помнил слова матери и отгонял прочь греховные мысли. Видя, что ее спутник находится в растерянности, Вань Сю-нян решила переменить тему разговора.

— Старший брат,— обратилась она к парню,— ты, наверное, не захочешь знакомиться с моими родителями.

— А зачем это мне? Придем в Сянъян, ты пойдешь к себе, а я вернусь домой,— ответил Инь Цзун и на следующий день, подсадив на спину Вань Сю-нян, зашагал к Сянъяну. До города оставалось всего пять или семь ли пути. Воистину:

Вдали поднимаются башни,
видна городская стена,
А в ветре то наигрыш лютни,
то песенка флейты слышна.

Так вот, когда город был уже совсем близко, вдруг хлынул дождь.

Северо-восток темнеет тучей,
Юго-запад в пелене тумана.
Разразился ливень страшной силы,
Будто чан с водою опрокинут.
В несколько мгновений от потоков
Поднялась вода в морях и в реках.

Дождь лил не переставая, и укрыться от него было негде. На счастье, у обочины дороги стояла хижина. В ней можно было переждать непогоду. Они приблизились к дому и вошли в дверь. Как говорится:

Темное облако в небе плывет, и внезапно
Образ печальный напомнят его очертанья.
Белые кости в могилу еще не зарыты,
Вот и витает дух бесприютный повсюду.

Да, видно, судьба у Инь Цзуна была несчастливой. Пришлось ему, как говорится, толкать тачку с мертвою костью! Ведь попал-то он в жилище Цзяо Цзи, а сам Меченый сидел дома! Вань Сю-нян, увидев злодея, оцепенела от ужаса — глаза ее округлились, слова застряли в горле. Впрочем, и сам Меченый вроде бы тоже был в нерешительности и молчал. Тут появился еще один человек с ножом в руке. Он был сильно навеселе.

— Брат! — шепнула Сю-нян Инь Цзуну.— Это и есть Мяо Чжун по прозвищу Десять Драконов. Это он украл меня!

Инь Цзун выхватил нож и бросился вперед. Мяо Чжун встретил противника оружием. Но сладить с юношей он не мог, потому что мешали ему две вещи. Во-первых, он был пьян, а во-вторых, справедливость была на стороне Инь Цзуна. И, наконец, последнее,— Десять Драконов имел трусливую душу бандита. Он скоро понял, что одолеть ему парня не удастся, и пустился наутек. Инь Цзун рванулся за ним. Они пробежали около ли, и тут на их пути оказалась стена. Мяо Чжун успел перелезть. Инь Цзун собрался сделать то же, но Меченый, который бежал сзади, ударил его в спину.

Недаром говорят:

«Жук-богомол цикаду схватил,
но жертвою птицы стал в тот же миг;
Птица, увы, улететь не могла —
тяжелый камень ее настиг».

Действительно, разве один Инь Цзун мог одолеть двух злодеев? Через некоторое время все было кончено. Меченый вместе с Мяо Чжуном вернулись в дом.

— Подлая тварь! — рявкнул Десять Драконов, схватив Сю-нян за платье.— Из-за тебя этот верзила чуть не прикончил меня! Нечего с тобой возиться, вот получай! — Он отбросил в сторону нож, с которым бежал от Инь Цзуна, и поднял тесак с короткой рукоятью.

Он хочет стебель цветка преломить,
он яшму разбить готов;
Не жаль ему ни ветвей мэйхуа,
ни нежных ее цветов.

В голове женщины мигом созрел план.

— Погоди! — вскричала она, схватив злодея за руку.— Ты ничего не уразумел! Я, как и ты, не знаю этого парня, не ведаю, что он за человек и как его зовут. Он просто-напросто взвалил меня на спину и потащил к себе. Хорошо еще, что оказался в твоих местах. Я знала, что здесь неподалеку стоит хижина Меченого, вот и сказала ему, иди, мол, по этой дороге. Я хотела найти тебя, господин. А ты меня убиваешь! Виданное ли это дело!

— Ну так и быть! — проворчал Мяо и спрятал тесак в ножны.— Чуть было не прикончил тебя по ошибке.

Вдруг Вань Сю-нян вцепилась ему левой рукою в куртку, а правой влепила затрещину. Разбойнику показалось, будто возле уха у него гром грянул. Как говорится — удар был с ветерком.

И выпучил глаза от страха,
И словно проглотил язык.

Сначала Мяо оторопел, потом страшно рассердился, но Сю-нян крикнула ему:

— Бандит проклятый! У меня дома осталась старуха мать восьмидесяти лет. Запомни, если ты или Меченый убьете меня, вам тоже не жить! — Сказав эти слова, женщина грохнулась оземь.

Понял тогда Мяо Чжун, что в женщину вселилась душа Инь Цзуна. Он тут же поднял ее и стал приводить в чувство. Здесь мы их пока оставим, а поведем рассказ о Третьем Ване, владельце чайной лавки.

Когда ему рассказали о том, что сын и слуга убиты, а тела их лежат в лесу близ Улитоу, да что к тому же разбойники унесли более десяти тысяч связок монет, а дочь Сю-нян исчезла, торговец тотчас бросился в Сянъянскую управу. Он выложил тысячу связок, чтобы только поймали и наказали злодеев. Но как их схватить? Прошло несколько месяцев, а о разбойниках ни слуху ни духу. Торговец посулил еще тысячу. Вместе с казенными деньгами награда за поимку выросла уже до трех тысяч связок! Повсюду вывесили объявления о злодеях, а они словно канули в воду.

Неподалеку от Третьего Ваня проживал некий старец семидесяти лет с приемным сыном по имени Хэ-гэ.

— Хэ-гэ! — сказал как-то старик.— Ты вот только слоняешься без дела, занялся бы чем-нибудь путным. Сходил бы нынче да купил глиняных игрушек — беседочек всяких для продажи.

Хэ-гэ взял деньги (монет двести или триста), перекинул через плечо два домотканых мешка и пошел в ту самую деревню, где жил Цзяо Цзи. Приходит он в дом Цзяо и спрашивает: не продаст ли тот ему игрушек. Отобрал и купил: беседки, кумирни, башенки, мостики, фигурки людей.

— А нет ли еще беседок получше? — спросил Хэ-гэ.

— Вот там, в угловой комнате за окном. Сам выбирай,— ответил Меченый.

Парень пошел, куда послал его хозяин дома, чтоб выбрать товар. Вдруг слышит, будто кто-то зовет его шепотом:

— Хэ-гэ! Хэ-гэ!

«Неужто дочь Служивого Ваня? Как будто ее голос»,— подумал Хэ-гэ и спрашивает:

— Кто здесь?

— Это я, Вань Сю-нян!

— Как ты здесь очутилась?

— Сразу все не расскажешь. Железный монах навел их, и они украли меня! Хэ-гэ, очень прошу тебя, сходи ко мне домой и расскажи родителям. Пусть напишут челобитную, чтоб власти схватили всех трех: Десять Драконов, Меченого и Тао Железного монаха. На всякий случай вот тебе мой знак.— Сняв с пояса вышитый мешочек для благовоний, она просунула его сквозь решетку окна и тут же отпрянула в глубь комнаты.

Хэ-гэ спрятал мешочек за пазухой. Расплатившись с Меченым, он поднял коромысло с мешками и зашагал.

— Стой! — вдруг раздался окрик Меченого.— С кем это ты, парень, болтал возле окна.

Хэ-гэ стоял ни жив ни мертв.

Как будто бы череп ему рассекли,
Как будто водой ледяной окатили!..

— Ты что, ума лишился?! С кем мне тут болтать? — отвечал Хэ-гэ, кладя мешки на землю.

Меченый заглянул в окно, но никого не увидел. Хэ-гэ взвалил на плечи коромысло и зашагал прочь. Нигде не отдыхая, он дошел до города и, остановившись возле реки, вывалил всю поклажу в воду.

— А где же товар? — спросил его старик.

— Бросил в реку.

— А куда дел мешки?

— Туда же швырнул.

— А где коромысло?

— По реке пустил.

— Убить тебя мало! — разъярился старик.— Что ты мелешь!

— К нам подвалила награда в целых три тысячи связок.

— Как так?!

— Я повстречал в одном месте Вань Сю-нян — дочь Служивого Ваня.

— Будет болтать! Где ты мог ее видеть?

Хэ-гэ достал из-за пазухи расшитый мешочек для благовоний и показал старику. Вместе они кинулись к торговцу. Едва взглянув на мешочек, Вань тотчас кликнул жену. Та, конечно, сразу признала вещь своей дочери и — в слезы.

— Плакать сейчас не время,— сказал Вань. Вместе с Хэ-гэ он пошел в управу и подал челобитную. Начальник управы тут же послал двадцать с лишним вооруженных солдат с приказом о поимке бандитов. Хэ-гэ велено было идти проводником. Начальник отряда взял бумагу об аресте с указанием срока поимки, отдал последние распоряжения, и они тронулись в путь.

Об этом можно было бы сказать так:

Каждый солдат
Отважен, как тигр,
Каждый могуч
И свиреп, как дракон.
Плащ-дождевик,
Пеньковые туфли,
Заплечный мешок
Со скарбом дорожным;
Вооруженье —
Кривая секира,
Кинжал и рогатина,
Стрелы и лук,
Голод и жажда
Их поджидают,
Долгие ночи
Под крышей харчевен.
Тяжек их путь
От селенья к селенью
И нелегки
Переправы речные.
Каждый в отряде
В погоню стремится
Беркутом хищным
За ласточкой сизой,
Тигром голодным
За малым ягненком.

Наконец солдаты подошли к дому Меченого.

— Стойте здесь! — сказал Хэ-гэ.— Вначале я сам пойду на разведку.

Парень исчез и долго не появлялся. Тем часом солдаты переговаривались между собой.

— Может, этот Десять Драконов все узнал и скрылся,— сказал один из них. Не успели ему ответить, как появился Хэ-гэ.

— Надо как-то их выманить,— шепнул он.

Солдаты окружили дом, однако бандиты никак себя не обнаруживали. Кто-то сказал:

— Странно, что не видно этого Мяо, ведь он прежде встречал Хэ-гэ как родного.

Тут кто-то возьми да предложи подпалить дом и выкурить злодеев. Так и сделали. Через мгновенье Десять Драконов выскочил из дому и побежал; следом неслись его сообщники. А солдаты

Словно черные коршуны
рвутся за уточкой хрупкой,
Словно дикие голуби
за беззащитной голубкой.

Десять Драконов мчался во всю прыть, и ему удалось добежать до леса. Он бросился в чащу и успел пробежать с десяток шагов, как вдруг дорогу ему заступил окровавленный человек громадного роста. В руке он сжимал нож. Это был убитый бандитами Почтительный Инь Цзун! Он ждал своего лиходея в лесу, чтобы с ним рассчитаться.

Совет: смертельного врага,
смотри, себе не заводи:
На узкой тропке встреча с ним
ждет неизбежно впереди.

Бандиты, разумеется, узнали свою жертву. Им бы хотелось проскользнуть вперед, да только на пути их стоял Инь Цзун. В это время подбежали солдаты. Бандиты оказались в ловушке. Мяо Чжуна и двух его дружков связали одной веревкой и потащили в управу. В уголовном приказе преступников подвесили к потолку и стали пытать. Бандиты один за другим сознались в своих злодеяниях. В тот же день всех трех (Цзяо Цзи по прозванию Меченый, Мяо Чжуна по кличке Десять Драконов и бывшего слугу Тао Железного монаха) казнили на площади города. Хэ-гэ, как то и положено, получил свои три тысячи связок монет. Что же до

Ваня, торговца чаем, то в память об Инь Цзуне он решил взять к себе в дом его старую мать и послал за нею слугу. Еще он написал бумагу властям, прося разрешения на свои деньги поставить в Улитоу кумирню в честь Инь Цзуна. И до сих пор в пяти ли от города стоит кумирня Сыновней почтительности и верности, воздвигнутая в честь храбреца, и свечи в ней никогда не гаснут.

Вот и подошел конец нашему рассказу. Мы назвали его «Глиняной беседкой», но есть у него и другое название: «Злоключения Десяти Драконов, Тао Железного монаха, а также Инь Цзуна Почтительного и Верного». Впоследствии кто-то сложил такой стих:

«Торговец Вань был крут, жесток безмерно,
И с ним судьба распорядилась скверно.

Монах Железный нищим был пропащим —
Бандитом стал, злодеем настоящим.

У Вань Сю-нян, познавшей боль страданий,
Желанье мстить сильней других желаний.

Инь Цзун, при жизни справедливость чтивший,
Возмездья духом сделался, почивши».

ИЗ БЕССЮЖЕТНОЙ ПРОЗЫ РАЗНЫХ ВЕКОВ

ХАНЬ ЮЙ

МОЛИТВЕННОЕ И ЖЕРТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КРОКОДИЛУ

Такого-то года, луны и числа губернатор области Чаочжоу Хань Юй послал своего старшего стражника Цинь Цзи с бараном и свиньей (каждого по одной голове), веля бросить их в затон Дурного ручья на съедение крокодилу-рыбе, и обратился к крокодилу-рыбе с такою речью: «Когда наши прежние ваны-цари владели всем миром под небом Китая, они выжигали горы, болота, ловили силками, сетями, кололи ножами, чтоб только совсем уничтожить и змей, и червей, и всякую подлую тварь, которая людям вредит, ее отгоняя туда, за пределы живого народа, что среди четырех океанов живет. Когда ж у позднейших владык обаяние внутренней силы ослабло и стало ничтожным, они не умели вла-

деть пространствами дальше обычных, забросили даже совсем все земли по Цзяпу и Хапю, отдав их владетелям Чу и Юэ из варваров *маней* и *и*. А что же, говорить об этой стране Чаочжоу, которая здесь лежит среди моря и горных хребтов, отстоя от столицы на тысяч с десяток ли? Для вас, крокодилов-рыб, в воде и пучине класть яйца, плодиться — вот именно здесь как раз подходящее место!

Теперь, в наши дни, Сын Неба наследовал танский престол. Он богу подобен: он мудр, как древний мудрец, он благостен сердцем, он грозен в войне. И все беспредельные земли, лежащие где-то в пространстве, за гранью больших четырех океанов, а также внутри всех шести направлений земли,— он всеми державно владеет и всех опекает; тем более здесь, где почва покрыта следами работ Великого Юя, в земле, что соседствует с древней Янчжоу, на этих местах, управляемых мной, губернатором, совместно с уездным начальством, в местах, где приносят все жители пóдать, идущую на поддержание жертв и молений небу-земле и царственным предкам, а также всем прочим сотням богов или духов. Послушай, рыба-крокодил! Не можешь ты одновременно жить в той же местности, где я — губернатор здешних мест!

Я, губернатор, получил веление от Сына Неба хранить и лично опекать вот эту землю, управлять живущим здесь ее народом. А ты, о рыба-крокодил! Глаза свои выпуча, ты сидеть не умеешь спокойно в этом водном затоне и вот захватил все эти места и тут пребываешь, поедая у жителей местных их скот и дальше медведей, кабанов, оленей и ланей, чтоб на этом жиреть, чтоб на этом плодить и детей и внучат. Ты вздумал губернатору сих мест сопротивляться, оспаривать его значение и силу. Я, губернатор, хоть и слаб и даже немощен кажусь, но как могу я согласиться перед тобою, рыбой-крокодилом, поникнув головой, с упавшей вниз душой, весь в страхе, со зрачком, остановившимся внезапно, конфузом стать для всех, и для чинов и для народа, и вообще, чтоб кое-как снискать себе здесь лишь жизнь и хлеб! Притом же я, приняв от Сына Неба повеленье, пришел сюда как губернатор, и ясно, что уже по положенью я не могу не спорить здесь с тобой, о рыба-крокодил! И если ты, о крокодил, способен что-либо понять, ты слушайся тех слов, что губернатор говорит. Смотри, вот область Чаочжоу: большой океан расположен на юге, большие киты, и чудовища-грифы, и мелочь ракушек, креветок — все это вмещает в себя океан, не исключая ничего. Всему дает он жизнь и пропитанье. Ты, рыба-крокодил, направишься туда поутру рано, а к вечеру, гляди, и доплывешь. И вот теперь с тобой я, рыба-крокодил, здесь заключу условие такое: к концу трех дней ты забирай с собой свое поганое отродье и убирайся в океан, на юг, чтоб с глаз

долой от мандарина, здесь правящего именем царя и Сына Неба. Но если ты в три дня не сможешь, дойдем и до пяти. А ежели и в пять не сможешь дней, пойду и до семи. А ежели и в семь ты не сумеешь, то это будет означать, что ты не собираешься уйти. И будет означать, что для тебя совсем не существует губернатор, к словам которого прислушиваться должно. А если ты не сделаешь, что надо, то, значит, рыба-крокодил — тупая тварь и темная совсем, нисколько нет в тебе ни духа, ни ума: ведь губернатор говорит, а ты не слушаешь и не соображаешь. А так высокомерно поступать с официальным представителем царя, который здесь сидит по повеленью Сына Неба, не слушаться того, что он сказал, и не уйти чтоб с глаз его долой, то вместе с прочей грубой тварью, ничем не отмечаемой чудесным, но вред народу приносящей, тебя надо убить. Тогда я, губернатор этих мест, сейчас же наберу искуснейших людей из служащих моих или народа, которые возьмут по луку в руки, а с ним отравленные стрелы и с крокодилом этаким расправятся, да так, что остановятся не раньше, чем тебя и все отродье истребят. Тогда не кайся, не пеняй!»

ЛЮ ЦЗУН-ЮАНЬ

САДОВНИК ГО-ВЕРБЛЮД

Го-Верблюд (не знаю я, как было ему имя спервоначала) болезнью скрючен был, горб ясно выдавался, и он ходил, согнувшись до земли, и было сходство у него с верблюдом. Поэтому односельчане прозвали его Верблюдом. Узнав об этом, Го сказал: «Конечно, я считаю, что это так». И вот он забыл свое имя и сам себя зовет Верблюдом (так говорят, по крайней мере). Его деревня называется Фэнлэ, лежит на запад от Чанъани. Верблюд наш промышляет посадкою деревьев. Всегда бывало так, что богачи чанъаньские и знатные персоны — любители деревьев для забавы и удовольствия, а также те, что фруктами торгуют, все как есть наперебой его к себе зовут, чтоб поучиться у него искусству сажать и наблюдать деревья. Ведь те, что он садил иль пересаживал, бывало,— все как одно (других и нет) отлично жили, развивались, цвели, давали ранний плод и разрастались пышно. Другие если что посадят, то, даже подсмотрев, как садит Го, и подражая ему во всем, никак не могут с ним сравниться в результатах. Какой-то человек стал спрашивать его, как это так. Го отвечал: «Верблюд ваш не умеет дать долговечность дереву и плодовитость. Все дело в том, что я умею идти вслед дереву, туда, где в нем сидит природа, небо — исполь-

зовать его живую сущность — и это все. А вот в чем состоит природа основная в посадке дерева? Корень его любит простор, надо его ровно окутать, спокойно. Землю ему надо прежнюю дать; обстраивать его, ограждать надо как можно усердней. Когда посадил, не трогай его, о нем не заботься. Уйди, на него не смотри! Во время посадки береги, как свое дитя. Когда же закончил — то словно его отбрось. И тогда все, что в дереве — небо, будет полностью сохранено, и природа его живая будет также обретена. Так я не врежу его росту — и это все. И нет у меня никакого умения делать его большим и цветущим. Я не насилую плод, не злодействую с ним — и это все! И нет у меня никакого уменья заставлять его раньше и гуще цвести. А вот те другие, что садят деревья, они поступают совсем не так. Корень у них согнут в кулачок, и землю ему они заменяют другою. Затем учиняют уход за ним, который у них то чрезмерен, а то недостаточен вовсе. Если сумеют справиться с этим и сделать наоборот, то и тогда опять-таки то любят его слишком, чрезмерно много доброты к нему являя, то вдруг бояться начинают за жизнь его, заботиться излишне. Утром все осмотрят, вечером поглядят, только отойдут прочь, снова обернутся. А то еще доходят до чего (и это чересчур!): ногтем давай скрести его кору, чтоб убедиться в том, живет оно иль засыхает; пошевелят и корешок, чтоб посмотреть, идет ли густо он. От этого жизнь дерева, его природа отходит от него со дня на день. Хоть говорят, что любят, мол, деревья, на самом деле — им вредят. Хоть говорят, что пестуют, жалеют, на деле же враждуют с ними. Всем этим люди не похожи на меня. А я, что делать я могу сам по себе?» Тот человек, что говорил с Верблюдом, еще спросил: «Скажи, возможно ль применить твой этот способ к чиновникам, что нами управляют?» Верблюд сказал: «Умею я одно — садить деревья только. А управление людьми — то дело просто не мое. Однако ж я живу в своей деревне и вижу, как начальник наших мест надоедает нам (и любит это делать!) приказами своими. Как будто бы и любит нас, жалеет, но в результате нам от них — одна беда. И днем и вечером приходит к нам чиновник и кричит: «Приказ начальника! Торопит вас пахать! Велит сажать и сеять! Смотреть за всходами своими! Скорей сучите свою нить! Скорей, проворней тките холст! Заботьтесь о своих детях и подростках! Кормите кур и поросят!» Ударит это в барабан и соберет нас всех, ударит в деревяшки — вызывает. А мы, простые маленькие люди, изволь готовить утром и на дню обеды, ужины, чтобы принять как надо чиновника в селе: и то боимся не поспеть! Куда уж там обогащать нам жизнь и дать душе покой? И вот откуда все наши беды, нерадивость и все такое, что видят все. Теперь как будто бы выходит, что с моим делом здесь сходство есть!»

Тогда спросивший Го об этих его делах, обрадовавшись, сказал: «Не прелесть ли? Я спрашивал его о том, как мне растить деревья, а получил в ответ искусство растить людей! Я это напишу в урок и назиданье чиновникам сих мест!»

НЕЧТО ОБ ОХОТНИКЕ ЗА ЗМЕЯМИ

На пустырях Юнчжоу водится особая порода змей: по черному фону белый узор. Стоит коснуться ей дерева или травы — сейчас же умрут; укусит людей — ничем не спасешься. Однако же если поймать ее, высушить мясо, в пилюли целебные все обратить, то можно лечить, прекращая большую горячку, скрюченность ног, опухоль шеи, всякие злостные язвы, а если отрезать кусок ее мертвого мяса — оно убивает троих червей. Давно уже Великий врач, по императорскому повеленью, змей этих собирал и ежегодно в два приема их представлял как дань двору. Он нанимал людей, умевших змей ловить, засчитывая змей в земельный их оброк,— и населенье Юн друг с другом наперебой бросалось это исполнять.

Здесь есть какой-то Цзян, который, только этим занимаясь и извлекая пользу для себя, уж в третьем поколенье так живет. Его спросил я: как, мол, ты? Он отвечал: «Мой дед от этой штуки помер, и мой отец от этой штуки помер, и вот теперь я сам, их дело продолжая, живу уж так двенадцать лет. Неоднократно был и я на самом краю смерти». Когда он это говорил, то вид имел при этом будто невеселый и даже очень, скажу, грустный. Мне стало жаль его, и я, подумавши, сказал: «Ты, что же, считаешь это злом, что отравляет жизнь? Вот я тогда пойду скажу правителю уезда, что вами здесь заведует во всем, пускай заменит он повинность тебе эту, вернув тебя к обычному оброку. А? Как по-твоему, так будет хорошо?»

Цзян огорчился чрезвычайно, и слезы хлынули потоком. «О господин,— сказал он мне,— вы, кажется, жалеючи меня, хотите дать мне как бы жизнь! Но если это так, то все несчастия мои, входящие в повинность эту, не могут и в сравнение идти с ужасною бедой, которая ведь ждет меня, когда меня вернут к обычному оброку. Ведь если б я не исполнял повинность эту постоянно, то я давно бы захворал. С тех пор как я живу в деревне этой, прошло лет, в общем, шестьдесят, три поколения сменилось. А между тем мои соседи в деревне этой так живут, что с каждым днем все хуже и несчастней. Истратят все то, что приносит земля; дотла проедят все то, что приходит в их дом. Со стоном и криком они, повернув свою спину, уходят отсюда иль просто от голода,

жажды валятся на месте. Лежат труп на трупе погибшие здесь один за другим от бурь и дождей, иль от страшной жары, иль от разных миазмов, которыми они надышались. Из тех, кто когда-то жил с дедом моим, теперь не осталось в живых ни одной из десятка семей. Из тех, кто с отцом моим жил, теперь сохранилось лишь две или три здесь семьи на десяток. А те, кто со мною жил вместе в течение этих последних двенадцати лет, из этих семейств сохранилось четыре иль пять на десяток, и если не умер из них кто-нибудь, то, значит, убрался из этой деревни. А я вот один существую пока, и только лишь тем, что ловлю своих змей.

Когда приходит злодей-чиновник в деревню нашу, с востока и с запада — крики, проклятья, с севера, с юга — рев и насилья,— шум невозможный, визги испуга: куру, собаку — и тех не оставят в покое. Я же встаю, никуда не спеша, загляну в свою крынку, а там мои змеи еще все лежат, и я с облегченной душою иду и ложусь; кормлю их усердно, а время подходит, сдаю их — и все. Затем ухожу я к себе и вдосталь наесться могу того, что дает мне земля, и так до скончания жизни моей. И в самом-то деле, всего лишь два раза я в год здесь рискую нарваться на смерть, а прочее время отлично, спокойно живу, наслаждаюсь и жизнью доволен. Неужто сравню я такую вот жизнь с той жизнью, которой живут земляки мои, каждое утро рискуя, как я? И если теперь я даже умру на этой своей змеиной повинности, то все ж по сравнению с теми смертями, которыми мрут все мои земляки, моя будет после всех. Так как же я смею со злостью и ядом об этих своих делах толковать?»

Я слушал все это, предавшись унынию. Кун-цзы сказал нам: «Жестокое правительство злее всякого тигра». А я-то, бывало, в душе сомневался, чтоб это уж было действительно так! Теперь посмотрю я на Цзяна такого — как будто бы даже поверить готов.

Да, увы! Кто мог бы знать, что яд от податных чинов похуже и позлее будет, чем змеиный, такой, как тот, о коем речь? По этому поводу я и составил это свое настоящее слово. Я жду, значит, чтобы те люди, которые смотрят за нашим народом, за всеми его настроениями, приняли к сведению эти слова.

РАССКАЗ О ПЛОТНИКЕ

Дом Пэй Фэн-шу находится на улочке Гуан-дэ, иль Светлой добродетели царя. Какой-то плотник постучал к нему в ворота, желая снять пустое помещение и поселиться у него слугой. На службе у него в руках саженный шест, и десятисаженный круг

«гуй», и наугольник «цзюй», веревка, тушь — и все, а дома он не держит инструментов, которыми рубить или точить. Спросил его я, в чем его уменье. Он отвечал: «Я хорошо умею вот что: вымерить весь матерьял, прикинуть размеры постройки всей, какая потребуется высота, глубина и формы какие нужны, круглые или в углах; где надо короче отмерить, где надо длиннее пустить. Я распоряжаюся сам, а рабочий народ исполняет и трудится, как я велю. Ведь если не будет меня, то эта масса людей никак не сумеет закончить простейшей постройки, какой-нибудь даже простой комнатушки. Поэтому, если нас кормят в каком-нибудь месте, присутственном и учрежденье, то я получаю свое содержание в три раза больше других, и если работаем мы в каком-нибудь частном доме, то я получаю значительно больше, чем прочие все».

Однажды я пришел туда, где жил он: там у кровати не хватало ножки, а он не мог ее наладить и мне сказал: «Мне нужно будет поискать какого-нибудь мастера другого!» Я этому смеялся очень, считая, что он бестолков, что ничего он не умеет и только жаден до получки и падок до вещей готовых.

Затем столичный губернатор задумал отделать поизящней свои присутственные залы, и я пришел туда случайно как-то. Он свалил там уже весь как есть матерьял, он собрал там уже всех рабочих своих. Одни из них стояли там с топорами, в руках других пила и нож, и все стоят вокруг него, лицом к нему лишь обернувшись. А плотник мой, в левой руке держа мерку инь на десять сажен, а в правой руке держа саженную чжан, стоит среди них в самом центре. Он соображает, куда предназначить ту балку иль эту, в какую часть стройки; он смотрит, чтоб дерево было бы в силах поднять то иль это. Он машет своею саженною мерой, кричит: «Эй! Топор!» И те, у кого в руках топоры, бегут, чтобы стать по правую руку. Он взглядом укажет и крикнет: «Пила!» И всякий, пилу кто держит в руках, бежит, чтобы стать по левую руку. Мгновенье — рубят уже топоры, стругают ножи,— и все смотрят ему в лицо, и все ожидают, что скажет он им. Никто не посмеет по-своему делать. Тех, кто с работой своей не справляется, он, осерчав, отстраняет совсем,— никто не посмеет на это ворчать. Он рисует все здание, постройку, на маленькой стенке лишь в чи вышиной; но все то, что надо, наносит туда он до мелких деталей и вычислит точно вплоть до волоска. А строит огромное здание, да так, что к нему ничего не добавишь, не снимешь! Когда ж он закончит постройку, то пишет на верхнем консоле вот так: «В таком-то году, в такой-то луне, такого-то дня, такой-то воздвиг». И это его фамилия будет, а все те рабочие, что под началом, в ту подпись не входят совсем.

Я все это видел, кругом осмотрел, весьма подивился; и понял тогда я огромное знанье его и искусство и в чем состоит его труд. Подумал затем и вздохнул в умиленье, сказав себе так: — Выходит, что плотник такой бросает ручную работу, и весь целиком он уходит в свое размышленье, в жизнь только ума. Выходит, что он умеет понять и познать то, что самое важное в деле. Я слышал, что тот, кто работает мыслью, других заставляет работать, а тот, кто работает силой своей, того заставляют работать другие! Выходит, значит, так, что он работает умом, не правда ль? Тот, кто уменьем обладает, распоряжается другими; тот, у кого есть в голове, дает совет и распорядок. Выходит, значит, так, что этот человек есть умница большая, не правда ль? Вот образец, что может послужить помощнику при троне Сына Неба, министру, управляющему нами и всей страной затем под нашим небом. Нет ничего, что б ближе было к делу, чем эта параллель. Он — тот, который занят делом страны под небом нашим всем,— он опирается в служенье на других, а исполнители — рабочие его — служители и сторожа официальных канцелярий, в деревне ж — староста, урядник; над ним стоит чиновник рядовой, над тем есть средние чины и высшие затем, над ними всеми есть сановники большие, министры, графы, наконец. Они поделены на шесть различных ведомств, которые затем распределяют работу всю меж сотнями чинов. А те уже идут из центра по стране, которая меж всех морей лежит. Имеем мы старшин на месте, имеем также окружных. В районе управляющий сидит, в уезде — малый губернатор, и все они своих помощников имеют. Под ними мелкие чины и исполнители приказов, а дальше вниз — хранители амбаров, десятские и прочие такие, которые идут на исполнение приказов тех, кто наверху. Все это мне напомнило рабочих, которые, каждый своим управляя уменьем, питаются силой работы своей. И те, кто в помощниках Сыну Небес состоит и в министры поставлен в нашей стране Поднебесной, имеют все это поднять и к своим приспособить задачам. Они всем указывают и распоряжаются всеми. Они же в систему приводят основы, статуты, принципы и их пополняют иль их сокращают. Они в согласье приводят законы, в законах наводят строгий порядок. И это мне напоминает, как плотник владеет своим наугольником, кругом, шнуром или тушью, чтоб дать окончательно план и размеры. Они выбирают крупнейших людей для постов на виду у страны Поднебесной, следят, чтоб они были годны для дела. Они строят жизнь для людей Поднебесной, стараясь, чтоб каждый был счастлив своим достояньем. Они по столице судят о том, что в глуши их провинций; они по провинции знают о том, что творится во всей их стране; они по стране иль уделу знать могут о всей Поднебесной, и все, что далеко иль близко, ничтожно

иль очень огромно, они обсудить умудряются прямо по карте, которую держат в руках у себя. Опять это напоминает, как плотник рисует весь дом на стене и этим способствует делу, его завершенью, успеху. Они продвигают и ставят на службу способных, но так, что тем не за что быть им признательным, чтить их; они отрешают от службы людей неспособных и их на покой удаляют, но так, чтоб и эти не смели бы вовсе ворчать иль быть недовольны. Не хвастаются своими талантами, славой своей блистать не желают; за мелкие вещи не станут и браться; у мелких чиновников рвать не хотят. И каждый день они с великими умами Поднебесной садятся обсуждать великие дела, принципиальные начала. И это опять-таки напоминает, как плотник умело рабочими распоряжается, сам не берясь за ручную работу и не хваляся своим мастерством.

Вот только при этом получится истинный путь для министра и все наши области будут управлены в должном порядке. Когда путь министра таким вот порядком достигнут, когда вся тьма тем областей управлена будет в порядке, то вся Поднебесная наша страна воспрянет и с поднятою головой так скажет тогда: «То дело великое нашего было министра!» А люди позднейшие будут идти по его уж стезе, говоря с умиленьем: «Вот кто владел талантом министра!» Ученые люди, из тех, что толкуют о принципах Иней и Чжоу,— те скажут еще: «То был И, или Фу, или Чжоу, иль Шао». А эти все трудящиеся люди на всяких сотнях должностей — они в удел свой никогда упоминанья не получат, точь-в-точь как плотник мой, который сам себя прописывал в настройке, а тех, кто у него рукой работал, тех он с собой отнюдь не проставлял.

Велик, о да, велик министр! Того, кто путь его постиг, и называем мы министр, и точка здесь. А вот такой, который правит, не зная в деле существа того, что есть всего важнее,— тот делает наоборот: он честным считает того, кто почтительно вежлив, усерден, смирен; почетным считает писанье бумаги; своими талантами хвастается и имя свое ставит первым везде; с любовью берется за мелкую вещь и все отнимает от низших чинов; себе незаконно присваивает дела всех шести министерств и сотен различных чиновничьих мест; дудит и дудит о всем этом в присутственном месте, а главным, большим и далеких масштабов трудом он пренебрегает совсем. Такой человек назовется у нас не нашедшим в себе понимания пути и правды министра. И это нам может напомнить лишь плотника, не понимающего, как определить прямую, кривую шнуром своим, тушью, квадрат или круг — наугольником, круглым патроном; как знать, что короче — длиннее при помощи чжана — шеста на одну сажень иль инь на десяток. Такого, который

нарочно брал бы работу ручную рабочих других с топорами, ножами, пилами, чтоб этим помочь своему ремеслу, и все же не может свой труд завершить в полной мере, а, наоборот, приводит все дело к провалу работы, без всяких как есть результатов. Не есть ли, скажите, все это ошибка?

Иные мне скажут: «Представьте себе, что хозяину стройки придет вдруг фантазия личного вкуса, и он вдруг все замыслы плотника будет сводить к своему измышленью, презрев все его вековые традиции, как бы отняв их, использовав даже при этом советы первого встречного. Тогда ведь наш мастер хотя не сумеет как следует дело закончить свое, но разве ж его тут вина? Все дело лишь в том, что его принуждали».

А я так скажу: — Неверно, не так! Послушайте, шнур здесь и тушь в наличии полном, не правда ль? На месте лежат наугольник и круг, не так ли? Конечно! То, что высшим должно быть, не может быть сдавлено книзу и стать невысоким; а то, что поу́же должно быть, нельзя же распялить и сделать широким. По моему строить,— так будет и прочно; а если не так, как хочу я, то рухнет постройка — и все. И ежели тот человек найдет удовольствие в том, что прочность отвергнет, а примет развал в результате работ, то я свое дело сверну, заставлю замолкнуть свой разум, возьму-ка себе да уйду потихоньку, совсем не желая кривить свою правду. Вот это и есть всех плотничных дел замечательный мастер. А если он жаден до денег, вещей, и будет терпеть что угодно, не в силах отвергнуть его; и если погубит он план свой, масштабы, согнется в кривую, не в силах хранить их, да так, что стропила не выдержат — лопнут и дом весь развалится, скажет тогда он: «Не я виноват здесь...» Такое приемлемо разве? Приемлемо разве такое?

И я скажу — путь плотника похож на путь министра. Вот почему я это написал и сохраню.

Этот мастер плотничных дел — он тот самый, что в древнем быту назывался экспертом по тонким деталям и общей конструкции. Теперь он зовется заведующим матерьялом построек. А тот, повстречавшийся мне, фамилию носит он Ян, а имя ему было Цянь.

ПРЕДИСЛОВЬЕ К МОИМ ЖЕ СТИХАМ «У ПОТОКА ГЛУПЦА»

На юг от реки Гуаньшуй — там есть поток. На восток он струится, впадает в реку Сяошуй. Одни мне говорят, что здесь когда-то жил какой-то Жань, поэтому поток и окрестили, мол, фамилией его, назвав его Жань-ци, потоком Жаня. А ныне говорят, что в

нем удобно красить вещи, и, мол, по этому удобству его зовут Жань-ци, красильщиком-потоком.

На кару сверху я нарвался в наивной глупости своей, меня сослали на реку Сяо. Понравился этот поток мне, прошел я вдоль него две или три версты, нашел отменно восхитительное место, построился, осел.

Когда-то, говорится в книгах, была долина Глупого магната. Теперь и я здесь домом сел, на этом вот потоке, название которого никто, как видно, не умеет вполне установить. Живущие здесь постоянно люди и те лишь спорят без конца, как называть поток. Поэтому и имя ему нельзя не изменить. Вот я и изменил его в поток Глупца.

На этом потоке Глупца я купил небольшой бугорок и назвал его также холмом Глупца. От этого холма Глупца прошел я к северо-востоку, шагов так с шестьдесят, и там нашел родник. Опять купил и поселился там, и это стал родник Глупца. Родник Глупца имеет шесть отверстий, которые выходят под горой, на ровной плоскости земли. Воды из них выбиваются вверх и дружно текут по зигзагам кривым и прямо стремятся на юг: это будет теперь канава Глупца. И вот наносил я земли, набросал я камней, завалил в узком месте поток — теперь получился прудок Глупца. На восток от прудка Глупца появился теперь кабинет Глупца, а на юг от него — павильон Глупца. На самом прудке оказался и остров Глупца.

Превосходные деревья, замечательные камни вперемежку здесь растут и громоздятся — все это причудливый вид один за другим создает. Но ради меня осрамилось все это в глупце.

Начнем с воды: тот рад ей, кто мудр. Теперь же поток посрамлен, он один лишь именем глупого стал. Как это так? А вот: его течение совсем, совсем внизу, он не годится для поливок. Затем он слишком быстр и весь в камнях — большая лодка не войдет. Он весь укрыт, вода мелка, теченье узкое, и никакой речной дракон в нем жить не соблаговолит: он не сумеет в нем поднять с дождями тучи, и, значит, ничего полезного людям в потоке этом нет... Совсем как я! Раз это так, то позволяется его глупить, хоть это и зазорно.

Но древний Нин-у-цзы был глуп всегда, коль не было пути в его родной стране. То был мудрец, игравший роль глупца. Философ Янь весь день не возражал — совсем глупец! Но он был очень мудр, играл лишь роль глупца. Ни одного и ни другого нельзя и впрямь считать глупцами! Я ныне на своем пути обрел уж праведных людей, но сам от правды отошел и против жизни бунтовал. Поэтому из всех, кого глупцами называют, нет никого, к кому бы это шло скорее, чем ко мне. А если это так, то в мире нашем нет

и не найдется никого, кто мог бы спор со мной вести за этот вот поток, и я могу названье это ему присвоить полновластно. Хоть людям от него нет пользы никакой, но он ведь мастер отражать в себе природу всю в ее многообразье. Он чист, сверкает, как алмаз, прозрачен весь до дна, звенит, поет он, как металл иль камень дорогой. Он может ведь дать человеку-глупцу, счастливо смеясь, любоваться им всласть до восторга, да так, что тому ни за что от него не уйти.

Так вот, хотя я и не пришелся к толпе людей, но тоже сам себя я утешаю; сижу за мастерством своим литературным, в нем промывая всю как есть многообразную природу, и в нем держу, как в оболочке, все сотни форм ее, и нет на свете ничего, что от меня бы ускользнуло.

Итак, я глупыми словами пою поток Глупца. Пою неистово, вовсю, не избегая ничего; затем смиряюсь и мрачнею и возвращаюсь вместе с ним со всем живым к небытию. Вздымаюсь затем к первозданному в небе эфиру, растворясь весь в хаосе звуков и форм, неслышимых вовсе, незримых совсем... Пропадаю в безмолвии дивно высоком, и нет на земле никого, кто б меня понимал...

Теперь сочинил я стихи о восьми подходящих местах для глупца. И вот это пишу я на камне, который стоит вот здесь, над потоком моим.

ОУЯН СЮ

ГОЛОС ОСЕНИ

ОДА

Оуян-ученый как-то раз сидел над книгой. Вдруг он слышит: звук какой-то появился и донесся с юго-запада к нему. Задрожав от страха, стал он в эти вслушиваться звуки и сказал: «Как это странно! Я сначала слышал звуки брызг дождя, паденья капель вместе с резким свистом ветра. Вдруг теперь галоп я слышу, бег стремительный коней и затем — «хлёст-хлёст» — как будто волны моря, взбушевавшись, ночью темной нас пугают, дождь и ветер ураганом налетают вдруг на нас. И когда они заденут по пути за что попало,— «цссун-цссун-чхэн-чхэн» — медь, железо вслед тотчас же заревут. Иль еще, как будто войско, устремляясь на врага, быстро мчится... Рты заткнуты... Крик команды уж не слышен... Слышен только шаг и топот конской рати на походе».

Я обратился к слуге-мальчику: «Что это за звуки? Выйди, посмотри, что там такое?» Отрок ответил: «Звезды, месяц белы и

чисты, и лежит на небе Светлая Река. Но нигде людских нет голосов. Этот звук — в деревьях, где-то там».

Я промолвил: «Ой, беда! Это голос осени! Зачем, зачем он вдруг явился? В самом деле, что дает нам видеть осень?

Ее краски и угрюмы и бледны. Сселась дымка, полетели тучи вверх. Ее образ — образ чистый, светлый лик. Небо — высь одна, а солнце — что хрусталь. Ее воздух — резкий, жесткий холодок. Колет кожу человеку до костей. Мысль ее живет безрадостным томленьем; горы, реки — все безмолвно, все мертво. Вот почему и голос ее в жуткой стуже резко резок. Стон и вой несутся в выси. Роскошные травы спорили друг с другом бархатным цветом густой зелени. Деревья, прекрасные плотной листвою своею, были нам приятны, милы, дороги. Но травы, лишь осень коснется их, краски свои изменяют; дерево, с ней повстречавшись, лист свой роняет на землю.

Что же ломает, мертвит, валит на землю, крушит? То жестокость неизбывная духа этого единого.

Да, скажу я, осень — это уголовный комиссар, а в движенье времен года — это тень и тьма. И еще скажу: то символ войск с оружием... Стихия ж осени — металл. Она означает тот дух завершенной идеи в природе небесно-земной. Она всей душою живет в сурово-безжалостной казни.

Ведь небо для тварей природы весной все рождает в жизнь и осенью все завершает в плод. Вот почему и в музыке для осени есть нота шан — тот тон определяет запад. И далее — ицзэ, иль нота в строе люй, что соответствует седьмой луне. Шан-нота — это «шан», что значит — повредить, убить. Когда живое существо стареет, то оно скорбит от повреждений тела, ран. В ицзэ «и» — значит убивать. Когда живое существо чресчур полно, то надлежит его убить.

Увы, что делать? Травы и деревья — существа бездушные: как подходит время им, в вихре опадают. Человек же — это тварь одушевленная, и средь тварей самый одаренный он. Сотни всяких скорбей потрясают его душу. Сотни тысяч дел мирских тело изнуряют. Если ж в недрах человека начинается движенье, то оно сейчас же двинет дух живой его природы, всколыхнет.

А тем более, когда мы знаем, как томится он мечтой о том, что его силам недоступно навсегда; как печалится о том, чего ему не одолеть... И понятно станет сразу, почему — то, где сочилась киноварью кровь, вдруг стало сохлой древесиной, а где чернел черным-черневший цвет, вдруг раззвездилося звездами... Еще бы! Человек ведь не металл иль камень по природе и хочет вдруг заспорить то с травой, то с деревом в цветенье пышном их.

Подумай же теперь, кто мой злодей с ножом в руках? И почему б я злиться стал на голос осени, скажи!»

...Но мальчик мой мне ничего не отвечал. Он свесил голову и спал. Я слышал лишь, как там, в стенах вокруг меня, трещал сверчок: «цсси-цсси»... Он словно помогал вздыхать моей тоске.

В БЕСЕДКЕ ПЬЯНОГО СТАРЦА

Кольцом вокруг района Чу — все это будут горы. Но чащи леса и ущелья гор средь юго-западных вершин особо хороши, и ежели всмотреться в них, то там есть, как букет, роскошная гора, глубокая, красивая весьма — и это будет Ланъе. Горой идти верст шесть или семь, и слышен станет постепенно шум от воды, с бульбулькающим звуком выходящей в расселине двух скал,— то будет Винный родничок. Но вот вершины повернут, дорога тоже обогнет, и там стоит одна беседка — простерлись крылья, словно птичьи, вплоть подошли и стали над водой — и это будет та беседка, где старец пьян.

Кто выстроил беседку эту? То горный был монах Чжи Сянь (с умом, ушедшим от земли). Назвавший так ее был кто? То губернатор здешних мест имел в виду себя. Да, губернатор приходил сюда с гостями пить. Немного выпьет, а уж пьян. Летами он куда уж как высок и потому себя титуловал «хмельной старик». При этом помысел хмельного старика не заключается в вине, а в здешних водах и горах. Он эту радость гор и вод всем сердцем воспринял и сопоставил образно с вином вот так...

Теперь, когда восходит солнце, когда туман в лесу раскроется совсем, иль в час, когда на небе облака уйдут к себе и меркнут в мгле утесы и пещеры,— вся эта смена света в тьму, для гор то будет утро-вечер.

Вот распустились дикие цветы и скромно пахнут; прекрасные деревья так стройны, и тень от них обильна и густа; вот ветер с инеем высоко летают в воздухе, прозрачны и чисты; спадает уровень воды, и камни выступают вверх — такими будут здесь, в горах, четыре времени в году. Идти туда с утра, а вечером — домой. Природа четырех времен хоть не одна и та же, но наслажденье ею без границ. А вот с поклажей на спине идут, поют среди пути; идут, под деревом стоят и отдыхают от ходьбы; те, кто из них ушел вперед, окрикнут тех, кто позади, и те в ответ им прокричат. Согнувшись, как горбун-урод, несут, несут и все идут вперед-назад, и без конца. То будет населенье Чу, что путешествует в горах.

Подходит он к ручью и удит рыбу. Ручей глубок, а рыба так жирна! Из Винного источника он делает вино. Источник — прямо

аромат, вино же — холод, стужа... Деликатесы гор и дикие плоды положены на стол, одно с другим и как попало — все это будет на пиру у губернатора гостям. А музыкою на пиру хмельным гостям не будут здесь ни струны и ни флейты, а вот — стрелять и в цель попасть; сыграть тур в шахматы — побить... Штрафная чарка, счетный фант везде валяются вокруг... Один встает, другой сидит, кричат, шумят — все это будет для гостей весельем на пиру.

А тот, кто с лицом посеревшим и белыми прядями длинных волос валяется здесь, на пиру, средь гостей,— упился это губернатор.

Пройдет момент — вечернее светило на горе; и человеческие тени пошли вразброд. К себе домой уходит губернатор, за ним и гости чередой. Лес в мрак одет теперь, и птичьи голоса то там, вверху, то здесь, внизу. Гулявшие ушли; пернатому народу теперь веселье здесь. Да, птица знает радость гор и чащ, не знает только радости людей. И люди тоже знают лишь, как с губернатором гулять и веселиться, не знают лишь они о том, как губернатор весел сам весельем их.

Теперь тот, кто, пьянея с ними, умеет слиться с радостью их, а протрезвев, умеет на письме об этом рассказать, то губернатор сам. А губернатор кто, скажите? Лулинский Оуян Сю!

СУ ШИ

КРАСНАЯ СТЕНА

ОДА ПЕРВАЯ

Осенью года под знаками «жэнь» и «сюй», в тот день, как полна седьмая луна, ученый Су Ши со своими гостями на лодке плыл и в этой прогулке под Красной стеной очутился. Чистый ветер потихоньку веял, и на воде волна не поднималась. Подняв вино, я пригласил гостей продекламировать стихи о «Светлой и белой луне», пропеть главу о «Милой скромной, о ней»... Еще мгновенье — и луна восходила уж там, над горами, с востока, качаясь-шатаясь по небу в созвездьях Ковша и Вола.

Белые росы легли через Цзян, водные светы с небом сплелися... Мы дали тростинке-ладье плыть всюду, куда ей идется, и выплыли вдруг на безбрежность просторов на тысячу цин. О, водные глади, о, водные шири! Я словно приник к пустоте, я словно помчался на ветре, не зная, не видя, где будет стремленью, движенью конец. Порхаю, взлетаю! Словно мир весь оставив, презрев,

я стою одиноко над миром. Как крылатый святой, существо свое преображаю и вздымаюсь в святую обитель бессмертных живых существ.

И вот тогда я пил вино, возвеселился чрезвычайно, бил лодку по борту и пел. И песнь моя была:

«Кормовое весло — коричное... да!
А гребное весло — орхидейный ствол.
Вот ударю я веслом по воздушному светилу — да!
Поплыву навстречу волн, их текучему сиянию.
Как бескрайни, как безбрежны, да, безбрежны, все мои воспоминанья!
Устремлюсь мечтой к прекрасным людям, людям, где ж они?
Там, в одной стране под небом!..»

Один из гостей играл на свирели сяо. Он стал теперь мне вторить в такт.

Однако тон его вдруг как-то загудел, заныл. Там словно злоба слышалась, то словно зависть и томленье, то словно плач, то жалоба на что-то. Остатним звуком плыл другой, звеневший чем-то долгим-долгим, не прерываясь, словно шелковая нить. На пляску подымал дракона он, что лег в глуби безлюдного затона, и слезы исторгал он у вдовы, скучающей на лодке одинокой.

Тогда ученый Су с обеспокоенным лицом оправил на себе одежду, сел настороженно и прямо и гостя вопросил: «Зачем, скажи, все это у тебя выходит так?» Гость отвечал: «Луна светла, но звезды поредели. И черные грачи летят на юг...» Эти стихи разве не принадлежат (знаменитому) Цао Мэн-дэ? Ну, а эти стихи: «На запад гляжу — там Сякоу. Гляжу на восток — там Учан. Гора у реки и река у горы серым-серы, грусти полны»,— разве эти стихи не говорят о том, как Мэн-дэ попал в западню Чжоу-лана? Ведь когда он разбил врага под Цзинчжоу и поплыл по реке до Цзянлина, он шел по теченью реки на восток.

И нос одного корабля шел за кормою другого на протяжении тысячи ли. А бунчуки, знамена с перьями, хвостами пустóты высей закрывали. С вином в руке он подошел к самой реке, поперек лодки положил свое копье и стал на нем писать стихи.

То доподлинно был герой целой эпохи. А теперь — где он? Тем паче мы с тобой вдвоем ведем себя здесь, на речных мелях, как рыбаки и дровосеки. Запанибрата здесь мы с рыбой, раком; дружим с оленем, кабаргой. Сидим на маленькой лодке размером в лепесток, вздымаем тыквенные чаши, друг друга приглашаем пить. Мы здесь, меж небом и землей, живем какой-то миг один,

поденкой, тлей. Мы — что крупиночка одна, ничтожны в океане вод, седых морей.

И плачу я, что жизнь моя есть только миг один. Завидно мне, что долгий Цзян так вечен, без конца! Вот если б ухватить летящего святого и с ним все реять, реять и блуждать! О, если бы обнять мне светлую луну и в вечность с ней кончину отдалить! Я понимаю, что нельзя всем этим сразу овладеть, и вою бури отдаю свой стон, ушедший от земли».

Ученый Су сказал: «Послушай, друг, ты понимаешь, что такое вода, луна? Уходящее от нас — вот в этом роде — да, но вода ведь не уйдет совсем. Что полно и что пусто — вот таково, а все ж в конце концов луна вполне не исчезает, как и не пухнет без конца.

И вот попробуем, посмотрим, исходя из вечного начала изменений,— тогда и небо и земля не могут ни на миг один самими быть собою. А если взглянем, исходя из истины неизменяемой природы, то все на свете здесь, и ты и я не можем никогда прийти к уничтоженью. И если это так, к чему ж тогда завидовать, желанием томиться?

Еще скажу: меж небом и землей на свете все, вещь каждая себе хозяина имеет. И если что-нибудь мне не принадлежит, то хоть бы был то волосок, я не возьму. Но вот над Цзяном чистый ветерок иль вот в горах лучистая луна — мое ухо уловит его, как звучное нечто, мой глаз, повстречавши ее, в красках себе закрепляет. Бери его — никто не возбранит. Ей пользуйся — ее не истощишь. Вот где сокровища земли, неисчерпаемые в век, которые создал все тот же он, творец вещей! И вот оно, чем ты и я совместно можем наслаждаться!»

Мой гость был удовлетворен, смеялся... Он чарку вымыл и еще себе налил. А на столе съестное все пришло к концу. Подносы, чарки были в беспорядке, валялись зря. И мы на лодке тоже кое-как уснули друг на друге, как на подушках... Не знали мы, что уж восток белел.

КРАСНАЯ СТЕНА

ОДА ВТОРАЯ

Все в этом же году, в день полной десятой луны, я шел пешком из «Студии в снегах» своей к себе домой, ко Взгорью, и двое гостей провожали меня за пригорок, именуемый Желтая грязь.

Сел иней холодной росою, и листья опали, деревья обнажив догола. Тени людей ложились на землю, над головою сияла луна. Я посмотрел вокруг — и стало так приятно! Мы шли и пели, вто-

рили друг другу. И вот я так сказал, вздохнув: «Есть гости, нет вина. Иль есть вино, но нечем закусить. Луна бела, ветер чист, в такую ночь, в глубокий час, как быть?» Гость отвечал: «Сегодня дело было так. Под вечер я свой невод вытащил и рыбу в нем нашел с большою пастью, тонкой чешуей... По виду мне она напомнила сазана, что ловится в реке Сунцзян. Я посмотрел, сказал: «Но где же мне взять теперь вина?» Пошел домой поговорить с женой. Она ж мне вот что: «У меня есть целая мера вина. Запасла я его уж давненько, ждала все, когда ты потребуешь вдруг пить».

И вот гость притащил вина и рыбу. Мы вновь направились гулять под Красною стеной.

Янцзыцзян катил свои волны, шумел. Обломанный берег высился тысячей чи. Высокие горы и маленький месяц... Спадала вода, и камни под ней выступали.

Много ли всего дней и месяцев прошло, а воды и горы стали вдруг неузнаваемы!

И вот тогда я, полы подобрав, взбираться стал наверх. Я пошел по скалистым утесам, пробираясь сквозь заросли трав и кустов. То хватался за тигра какого иль барса, то взлезал на дракона какого с рогами... Забрался на круче в гнездо, где коршун сидит, и видел внизу под собою храм тайный Фын И — водяного.

Сюда, конечно, оба гостя, идя за мной, взобраться не могли. Вдруг воздух полоснул далекий, долгий свист. Трава, деревья, вздрогнув, закачались. В горах завыло дико, долы отвечали. Поднялся ветер, воды всколыхнулись. Я тоже горестно, признаться, приуныл. Потом я испугался, стал дрожать. Здесь оставаться было невозможно. И я вернулся, сел в лодку и пустил ее плыть по течению реки: где остановится, и ладно — там пусть и будет мой ночлег.

А ночь была уж в половине. Куда ни глянь — везде такая тишина! И в это время вдруг какой-то одинокий, смотрю, журавль пересекает Цзян, летя откуда-то с востока. А крылья у него изогнуты, как колесо телеги, подол весь черный, как шелк-сырец, его одежда... С протяжным криком «га» пронесся он на запад, задев крылом ладью.

Еще момент-другой, и гости стали уходить, и я лег тоже спать. Вдруг вижу я во сне какого-то даосского святого в одежде из перьев. Порхая в воздухе, кружа, пронесся, сел у Взгорья моего. Он чинно так приветствовал меня и вежливо спросил: «Как вам понравилась прогулка ваша внизу, где Красная стена?» А я спросил, как его имя, фамилия, и все. Он, опустивши вниз лицо, мне ничего не отвечал. «Ага! Ага! — сказал тут я.— Я понял, да! Ска-

жите-ка, в ту ночь, когда я там гулял, не были ли вы тем, кто с криком пролетел мимо меня?» Даос с улыбкой отвернулся. Ну, а я все понял, все, весь встрепенулся, дверь отворил, чтоб на него взглянуть, но, где он, мне уж было не видать.

ЦЗУН ЧЭНЬ

ОТВЕТ ЛЮ И-ЧЖАНУ НА ПИСЬМО

Из-за нескольких тысяч ли я от Старшего и Уважаемого от времени до времени имею письмо, что изволите мне пожаловать Вы, и этим мои непрестанные думы о Вас утешаются, в общем. Я счастлив и так уже очень. Что ж было, когда дошло до того, что Вы сделали честь мне подарки прислать: тут я, бездарный Ваш корреспондент, еще пуще того не знаю, чем благодарить Вас?

В Вашем письме чувства и мысли очень приветливы, очень сердечны и так. Но Вы же, мой Старший и Уважаемый, не забываете старого батьку: Вы знаете, батька — глубоко он к Вам расположен.

Теперь перейду я к Вашим словам, обращенным ко мне, бесталанному Вашему, к Вашим речам, что, мол, дело все в том, чтобы высшие с низшими жили в доверии полном, чтоб каждый из нас свой талант и все качества лучшие мог приноравливать к месту, которое он занимает. Я, ваш бесталанный, растроган всем этим глубоко.

Конечно, я сам понимаю и знаю, что я по талантам и качествам вовсе не стою быть там, где я был. Но вот что касается тех из моих недостатков, что о недоверии напоминают, то вся бесталанность моя особенно сильно сказалась на этом. А впрочем, что, собственно, мы называем теперь доверием этим, скажите? Вот этак с утра и до вечера лошадь настегивать, ждать у ворот влиятельного лица. Привратник, конечно, меня не пускает. Тогда я сладчайшею речью, в милейших таких вот словах веду себя с ним, как какая-то женщина. В рукав ему тут же деньги сую, чтоб его к себе расположить. Тогда мой привратник берет мою карточку, вводит меня. Да, но хозяин и не собирается выйти ко мне и принять. Стою я вот так у конюшни среди лошадей и слуг, выезжающих с ним. Зловонием полны одежды мои, рукава. Мне голодно, холодно, жарко, удушливо и нестерпимо, но я не уйду. Под вечер выходит тот самый, который взял деньги, что я ему дал, и часто теперь объявляет, что барин, мол, очень устал, извините. Просит он гостя

завтра прийти. Ну, завтра, опять же, не смею нейти. Ночью сижу, накинув одежду. Как только заслышу я крик петуха, сейчас же вскочу, помоюся и причешусь, коня погоню, в ворота толкнусь. Привратник сердито: «Эй, кто там такой?» А я: «Это гость к вам вчерашний пришел». Он снова сердито: «Уж очень усердны! Да разве наш барин в такие часы выходит навстречу гостям?» Ну, гость, весь сконфуженный, сделав усилие и претерпев, говорит ему дальше: «Но что же мне делать? Позвольте мне все же войти». Привратник тогда, опять получив от меня мои деньги, встает и проводит меня. Опять я стою у прежнего стойла. И вот, о счастье, хозяин выходит. Лицом, словно царь, на юг обратясь, подзывает к себе. Тогда я, весь настороживишись, иду смиренненько этак, согнувшись, ползу у крылечка тихонько. А он мне: «Войди!» Тогда я с поклоном, одним и другим, нарочно замедлюсь и не поднимаюсь. Когда ж поднимусь, то тут же подам, как царю, ему деньги, поздравив с Высоким рожденьем. А он ни за что не берет. Тогда я настойчиво снова прошу. Он снова делает вид, что, мол, ни за что не возьмет. Тогда я опять настоятельно снова прошу. Тогда только он велит управляющему принять мои деньги. А я, значит, снова ему поклонюсь, и не раз и не два, и, опять-таки, медлю нарочно и не поднимаюсь. Когда ж поднимусь, то пять или шесть раз приветствую, руки сложив и подняв,— тогда только я выхожу. Когда же я выйду, я, руки сложив в приветствие и приподняв их с поклоном, привратнику так говорю: «Ваше степенство изволили мне оказать вниманием вашим честь. Я приду как-нибудь еще: будьте добры, не препятствуйте мне». Привратник ответно приветствие делает. В полном восторге я выбегаю. Сажусь на коня, встречаю знакомого, плеткой помахивая, говорю ему: «Только что, значит, иду я сейчас от превосходительства прямо. Превосходительство очень мне благоволит!» И тут же тщеславно и вздорно ему расскажу, как и что. Но этот знакомый тоже боится за расположенье к нему превосходительства общего нашего. Сам же его превосходительство скоро начнет говорить кой-кому: «Этот, вы знаете, в общем, годится! Этот, вы знаете,— он ничего себе!» И те, кто услышат такое, тоже в уме рассчитают и дружно начнут подхваливать в тон ему. Вот что у нас называется нынче «у высших и низших взаимным доверием». Старший и Уважаемый, вы как же, считаете разве, что я, ваш покорнейший, в общем, способен на это?

Нет, к тем, о которых я только сейчас говорил как о лицах влиятельных, к тем я весь год не хожу, не считая, пожалуй, праздника летней жары и зимнего солнцестояния. Когда ж иногда случится мне мимо ворот проезжать их, то, уши закрыв и зажмурив глаза, галопом скачу на коне и быстро мчусь мимо, как будто кто

гонится сзади за мной. Вот, значит, как я настроен, вот что творится в моей ущемленной душе! И вот почему никогда я не пользуюсь благоволением высших чиновников. Я же, в ответ, еще больше на них никакого внимания не обращаю, а громко везде заявляю. Человек в своей жизни имеет каждый свою судьбу. Я же держусь того, что мне дадено,— точка!

Старший и Уважаемый мой! Вы, слыша такое, не будете разве питать отвращенье к наивности этой?

ШЭНЬ ФУ

ШЕСТЬ ЗАПИСОК О БЫСТРОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ

(фрагменты)

РАДОСТЬ СТРАНСТВИЙ

За тридцать лет, что я провел в разъездах по делам службы, я не видел только земли Шу, Цянь и те, что к югу от Дянь. Мой путь, верхами или на телеге, избирался сообразно воле других людей, лишь отчасти я мог любоваться видом гор, рек, сменяющимися пред взором облаками и туманами, не будучи в состоянии отыскать себе глухой угол и обрести уединение. Я склонен обо всем судить сам, и мне в тягость повторять других, подчас говоря о поэзии и достоинствах живописи, я отрину то, что для иных «жемчужина», и приму творение, которое отвергли; так и с примечательными и известными славой местами, ибо они дороги настроением, коим их наделило сердце: бывает знаменито место, а не чувствуешь его красоты, а другое, безвестное, восхитит. Я напишу здесь о том, что сам повидал за жизнь.

Мне было пятнадцать, когда мой отец г-н Цзяфу служил в Шаньине, где в это время жил один достойный конфуцианец родом из Ханчжоу, некто Чжао по прозванию Шэн-чжай, имя его было Чжуань. Начальник уезда пригласил его в наставники сыну, отец приказал мне пойти к Шэн-чжаю и тоже попроситься в ученики. Раз в свободное время мы отправились на прогулку и добрались до Куншаньских гор, горы были не более чем в десяти ли, по добраться до них можно только на лодке. Неподалеку от гор я заметил каменную пещеру, над входом ее лежал надтреснутый поперек камень,— глядишь, вот-вот обрушится, лодка прошла под ним и неожиданно вступила в просторную пещеру. С четырех сторон нас окружали отвесные стены. В народе пещере дали название

«Сад на воде». У самой протоки стоял павильон из камней на пяти устоях, против него на каменной стене можно прочесть надпись: «Полюбуйтесь на резвящихся рыбок». В том месте вода безмерно глубока, говорили, будто в этой пучине живет превеликих размеров черепаха. Я попробовал приманить ее куском блина, но увидал лишь одну рыбешку с вершок, не более, она всплыла и склевала мой блин. От павильона шла тропа в «Сад на суше», в «саду» как попало громоздились камни, иные величиной с кулак и больше, иные стояли стоймя, точно ладони, были здесь и каменные столбы, на плоских верхушках коих покоились глыбы,— следов от зубила не было ни на одном из камней. Мы погуляли, осмотрели окрестности, а потом устроили пирушку в Водяном павильоне, где я велел запалить хлопушки; раздался грохот — и горы, что были окрест, тысячекратно ответили эхом, донеся до нас словно бы раскаты грома. Таково начало моих радостных странствий в дни отрочества. В тот раз я не смог добраться до Беседки орхидей и могилы Великого Юя, о чем сокрушаюсь и по сей день.

Когда на следующий год я приехал в Шаньинь, мой наставник устроил школу у себя в доме, по старости лет он не мог совершать дальние прогулки. Вскоре я сопровождал его в Ханчжоу, красоты озера Сиху превратили поездку в радостное путешествие. Более всего я был восхищен завершенной красотой Драконова колодца и «Небесного садика». Плиты для него частью привезли из Индии, с горы Фэйлай, а частью взяли из Древней пещеры Благовещего камня в Сучжоу, с горы Духа-покровителя города. Воду подвели из Нефритового источника, вот отчего вода в «Небесном садике» светла и прозрачна, а рыбки на удивление оживленны. Но сколь безмерно грубым показался мне Агатовый храм на Лиановом хребте! Остальные сооружения, вроде Беседки посреди озера или Источника старца по прозванию «Один из шести», исполнены каждое своей красоты; невозможно всех их описать, однако окрестности озера не отделить от «духа румян и пудры», потому для меня ничто не сравнится с заброшенной уединенностью Малой обители спокойствия, ибо изысканность здесь почти сравнялась с природой.

Могила Су Сяо как раз возле моста Силинцяо. Когда в первый раз мне показали могилу, я увидел полуразрушенный холм и груду желтой пыли. В год «гэн-цзы» государь Цянь-лун предпринял поездку на юг в целях осмотра тамошних земель. В весну года «цзя-чэнь», когда был повторен блистательный образец предшествующего путешествия, холм на могиле Су Сяо облицевали камнем, теперь это был восьмигранный купол со стелой, на которой крупно начертали имя: «Могила Су Сяо, уроженки Цяньтана». Отныне скорбящие о древнем поэты не будут бродить по округе в поисках

могилы. Я полагаю, что невозможно исчислить, сколько павших героев и верных жен в прахе канули в вечность, но даже тех, о ком дошли известия, и то не мало. Су Сяо — имя певицы. Со времен династии Южная Ци и поныне нет человека, который не слыхал бы его. Уж не дух ли ее существа, сгустившись, воплотился в том настрое, коим веет от гор и озер?

В нескольких шагах к северу от моста Силинцяо было училище Почитания словесности, где я вместе с моим однокашником по имени Чжао Ци-чжи должен был сдать экзамен. То как раз стояла пора Долгого лета. Мы поднялись рано, вышли из Цяньтанских ворот, миновали храм Чжаоцинсы, поднялись на Оборванный мостик, посидели на его каменных перилах. Вот-вот собиралось взойти солнце, и свет занимающейся зари брезжил сквозь ивы, придавая виду неописуемую красоту. Сквозь аромат белых лотосов иногда долетал до нас легкий ветерок, очищая душевно и телесно. Шаг за шагом мы приближались к училищу, но темы сочинений еще не объявили. А около полудня мы уже вернули свои экзаменационные манускрипты. В поисках прохлады я вместе с Ци-чжи зашел в пещеру Пурпурных облаков. Пещера могла вместить не один десяток человек, через отверстие в каменном своде в нее пробивался солнечный свет. Нашелся некто, кто, расставив в пещере низенькие столики и табуреты, начал торговать вином. Мы сняли верхнее платье, пригубили вина, отведали сушеной оленины, наиизумительнейшей, а трапезу заключили свежими водяными орехами и белыми, совсем как снег, корнями лотоса. Из пещеры вышли чуть охмелевшие. Ци-чжи сказал мне: «На вершине горы есть терраса Утреннего солнца, терраса высокая, и с нее открываются многие дали и просторы. Не прогуляться ли?» Я вдохновился этой мыслью и храбро полез на гору. Только здесь я преисполнился сознанием, что озеро Сиху схоже с зеркалом, город Ханчжоу подобен шарику от самострела, а река Цяньтан вьется словно кушак,— ведь моему взору открылись сотни ли окрест,— это был первый в моей жизни большой обзор. В беседке мы просидели долго, до тех пор, пока не стало садиться солнце — Золотой ворон, мы взялись за руки и начали спускаться с горы, в Наньбине звонил вечерний колокол. В тот раз я не добрался до Таогуана и Пристанища облаков из-за дальности пути. От рощи дикой сливы возле Управы Красных ворот и зарослей железного дерева в храме Гу-гу остались лишь отдельные редкие деревца. Я считал, что следует еще осмотреть пещеру Пурпурного солнца, и направился к ней. Вход в пещеру был узок, через отверстие не более пальца струйкой сочился ручей. Если верить народной молве, как раз в этой пещере и находится земной рай, но, к досаде моей, я не смог расширить отверстие и проникнуть в райское обиталище.

В день поминовения мой наставник совершил обряд весенних жертвоприношений и обметания могил, в эту поездку он взял и меня. Могилы были в Дунъюэ. Здешние места богаты бамбуком, могильщики выкапывали еще не вылезшие из земли ростки (они походят на сливы, только более заостренные) и готовили похлебку на продажу. Похлебка пришлась мне по вкусу, я осушил две пиалы. Наставник заметил: «Эх! Отвар заманчив на вкус, но он разжижает кровь сердца, надо съесть побольше мяса, чтобы не было вреда». Не в моей природе, как говорится, «зариться на лучший кусок мясника», а из-за этих ростков мой аппетит и вовсе пропал. На обратном пути я изнывал от головной боли и жара, язык и губы у меня растрескались. Когда подошли к пещере Каменная палата, у меня не было охоты ни на что смотреть. В другой пещере под названием «Водяная музыка» отвесные стены сплошь покрыты ползучими лианами. Мы вошли в небольшую, схожую с кельей пещеру, по ней из родника тек ручей, на удивление быстрый, явственно слышалось его переливчатое журчание. Небольшое озерцо не более трех чи в ширину и около пяти в глубину не пересыхало и не переполнялось. Я припал к ручью и напился — боль и жар тотчас отпустили меня. Возле пещеры стояли две маленькие беседки, в них можно посидеть и послушать всплески ручья. Монах повел нас осмотреть Чан десяти тысяч лет. Чан находился в помещении, называемом «Кухня средоточия благовоний», он был огромен и сообщался с родником при посредстве бамбуковой трубы, нам был слышен шум вливающейся в него воды, хотя за долгие годы он оброс мхом на несколько чи. Зимой вода в чане не замерзала, потому холода не причиняли ему вреда.

На исходе осени года «син-чоу» отец схватил малярию и принужден был вернуться домой, в ознобе он просил огня, в жару требовал льда. Моим советам он не внимал, а когда болезнь дополнилась тифом, он с каждым днем быстро плошал. Я находился подле, подносил целебные отвары, не смыкал глаз ни днем, ни ночью, и так весь месяц. К тому времени тяжело занемогла Юнь, она напрочь слегла в постель. Мое душевное состояние и я сам были в столь тяжком виде, что не передать словами. Однажды отец призвал меня в намерении сказать последнюю волю: «Я болен, опасаюсь, уже не встану. Ты держишься за свои несколько книг и по сей день не ведаешь, как прокормить себя. Потому препоручаю тебя моему побратиму Цзян Сы-чжаю в надежде, что ты продолжишь мое дело». В тот же день прибыл Сы-чжай. Мне было велено пред ложем отца поклониться ему как наставнику. А по прошествии нескольких дней отец был осмотрен первейшим лекарем Сюй Гуан-лянем, который взялся излечить его. Отец стал по-

немногу оправляться благодаря врачеванию Сюя, моя жена Юнь тоже поднялась с постели. А я? С той поры началась моя служба в управе. Служба не доставляла мне ни малейшего удовольствия, стоит ли писать о ней здесь? Скажу, «следует»! Ибо с тех пор я совсем забросил книги и начались мои скитания.

Весной года «цзя-чэнь» я сопровождал отца в Уцзянскую управу, где в ту пору начальствовал минфу Кэ и моими сослуживцами были Чжан Пин-цзян, уроженец Шаньиня, Чжан Ин-му из Улиня и Гу Ай-цюань родом из Таоси. Нам было поручено почетное благоустроительство в Наньдоуюй походного дворца и подворья для его светлости государя, так мы удостоились лицезреть его небесный лик второй раз. Однажды, когда небо завечерело, меня вдруг потянуло домой. Я нанял небольшую быстроходную лодку с парой весел на носу и корме, эти челноки резво, словно бы на летящих веслах, носятся по озеру Тайху (в местности У их прозвали «взнузданными скакунами, выходящими из вод»), будто на аисте я взвился в поднебесье и в мгновение ока был уже подле моста «*Уские* ворота», но это не придало мне бодрости духа. Домой я прибыл до ужина.

Издавна мои земляки отличались тягой к пышному великолепию, и по сей день они еще гонятся за вычурностью и состязаются в роскоши, правда, в сравнении с прошлым стали гораздо расточительнее. Напрасно склонность моего народа к вычурности — эти до ряби в глазах раскрашенные фонари, обычай оглушающе орать под цевницу песни — древние именовали «расписными стропилами и резными кровлями», «жемчужными занавесями и расшитыми пологами», «яшмовыми перилами» и «завесами из парчи». Мои друзья не раз тащили меня в разные стороны, прося помочь расставить цветы или по случаю радостных событий вывесить разноцветные ленты. Я пребывал в праздности, созывал друзей по духу, и мы развлекались выпивкой, горланили песни, с великим удовольствием бродили или любовались окрестностями. В молодые годы ты силен и воодушевлен, не ведаешь ни усталости, ни недугов. Я родился в год мира и спокойствия, но, случись мне жить в глухом углу, довелось бы тогда много странствовать и увидеть?

В тот год управа г-на Хэ из-за каких-то обстоятельств была упразднена, и отец получил приглашение служить в Хайнине под началом г-на Вана. В Цзясине проживал некто Лю Хуэй-цзе в недавнее время принявший учение Будды и вместе с ним обет годичного поста; однажды он пришел навестить моего отца. Дом Лю Хуэй-цзе стоял подле терема Тумана и дождя, к нему с видом на реку примыкала некрытая постройка под названием «Приют луны в воде», хозяин обычно читал здесь сутры, а вокруг царила

чистота, словно это монашеская келья. Терем Тумана и дождя посреди Зеркального озера, берега его в зеленых тополях, жаль только, что мало там бамбука; к терему пристроен помост, откуда открывались дальние просторы. Рыбачьи лодки, раскиданные по озеру, мерная зыбь спокойных волн — вид, достойный лунной ночи. Послушник подал нам постные кушанья, на редкость вкусные.

В Хайнине я справлял службу вместе с Ши Синь-юэ родом из Баймэня и Юй У-цяо, уроженцем Шаньиня. У Синь-юэ был сын Чжу-хэн, права чистого и спокойного; он всегда хранил молчание, то был человек цельный, классический образ конфуцианского ученого, он ни в чем не шел мне против,— так второй раз я познал истинную дружбу и расположение; жаль только, что мы провели вместе не много дней и расстались, точно в воду канули. В тот год я посетил сад «Умиротворенный разлив», принадлежащий г-ну Чэню; на площади в сто му были разбросаны двухэтажные терема, павильоны с надстройками, крытые галереи, террасы. Было и озеро, чрезвычайно широкое, с мостом в виде шести зигзагов. Лианы, укутавшие камни так, что полностью спрятали следы от зубила на их поверхности, старые деревья, чьи стволы упирались в небо, крики птиц и опадающие лепестки цветов вызывали настроение, словно я вступил в глухие горы. Из всех равнинных садов с искусственными камнями и садовыми беседками, которые когда-либо видел, то был лучший сад,— хотя и созданный людьми, он возвращался к естественной простоте. В тереме под названием «Кассия в цвету» г-н Чэнь накрыл стол. Благоухание цветов корицы изгнало запах блюд, только аромат имбиря и сои был стоек и ничем не смягчен. По своим свойствам имбирь и корица с возрастом терпчают, в моем сознании они служат образом мужа, преданного высокому долгу, чей взмет жизненных сил подобен водовороту, а не бессодержательной пустоте.

От Южных ворот я вышел прямо к Великому морю. Дважды в день здесь набегает прилив; точно серебряная дамба в тысячи тысяч чжанов, он отсекает море, а потом уходит назад. На здешних кораблях есть особые люди, кои встречают прилив, когда набегает волна, они подымают весла и ставят корабль навстречу гребню. На носу корабля установлено деревянное кормило, по форме оно схоже с большим ножом на длинной рукояти. Стоит гребцам навалиться на кормило, как гребень рассекается надвое, и вслед за кормилом корабль устремляется вперед. Но в тот же миг кормило всплывает, поворачивает нос корабля вслед приливу, и он несется — в мгновение делая по сто ли. Как-то вечером в Праздник средины осени вместе с отцом я наблюдал с прибрежной пагоды такой прилив. Если пойти от дамбы к востоку, то примерно через тридцать ли в море высится утес под названием «Острая гора»,

кажется, он вот-вот ринется в море. На вершине утеса стоит павильон, на котором такая надпись: «Здесь море безбрежно, небеса — бездонны». И поистине, взглянешь — ни конца им, ни края, только разгневанные валы сливаются с небом.

От начальника уезда Кэ я получил приглашение на службу в управу Цзиси в Хуэйчжоу, было мне тогда двадцать пять лет от роду. Я отплыл из Улиня на речной барке с верхней палубой для путников, миновал гору Фучуньшань, поднялся на Террасу, с которой Цзы-лин некогда удил рыбу. Терраса стоит в седловине и, как утес, высится над водой чжанов на десять или больше. Неужели при Ханьской династии она была вровень с водой? Лунной ночью мы причалили в Цзекоу, здесь и была моя управа. Высокие горы, над которыми малым кругом плыла луна, тихое течение воды по выступающим камням — то был упоительный вид. Я не мог охватить взором всю гору Хуаншань, ибо с этого места видно только ее подножие. Цзиси лежит среди тысячи горных вершин, это маленькое селение, как принято говорить, «не более шарика для самострела», а люди его нравом просты и бесхитростны. Недалеко от города есть гора под названием «Каменное зеркало». Если попетлять по горным кручам около одного ли, то попадешь к нависшему утесу, где низвергается стремительный поток, и увлажненная зелень, того и гляди, начнет сочиться каплями. Чуть выше — окажешься у каменной беседки в седловине горы. Все четыре стены ее совершенно отвесны. Одна из них гладко обтесана, словно бы ширма, темна цветом и до того блестяща, что в нее можно глядеться. Если верить народной молве, в стене можно увидеть свой облик в будущей ипостаси: так некогда Хуан Чао будто бы пришел к стене и увидел в ней обезьяну; в намерении сжечь ее изображение, он пустил огонь, опалил камень, и видение исчезло. Ли в десяти от города находилось место, называемое «Рай огненных облаков», где причудливо сплелись каменные узоры: пади и холмы, кручи, утесы походили на замыслы, рожденные кистью Дровосека с горы Желтого аиста, только хаотичнее и в беспорядке. В пещере от камней исходил темно-багровый отсвет. Подле был скит, уединенный и тихий.

Как-то некий торговец солью по имени Чэн Сюй-гу позвал меня на прогулку и устроил угощение. Были поданы маньтоу с мясом. Молодой послушник не отрываясь смотрел на них, и мы дали ему четыре штуки. Как собрались уходить, решили вознаградить тамошнего монаха двумя заморскими серебряными монетами. Горный отшельник, не разумея их назначения, нашу благостыню отверг и денег не принял. Тогда сказали ему, что за одну эту монету можно выменять семьсот с лишком бронзовых зеленых грошей. Но поблизости не было меняльной лавки, и он денег не взял.

Мы скинулись и набрали ему мелочью шестьсот монет, и монах с благодарностью принял подношение.

В другой раз я пригласил друзей, и мы, захватив короб со снедью, отправились в те же места. Нас встретил знакомый монах, в назидание он сказал: «Уж не знаю, что в прошлый раз съел у вас послушник, только у него расстроился живот. Не вздумайте опять его угощать». Я понял, что брюхо, привыкшее к листьям гороха и травам, не принимает мясного, о происшедшем я весьма сожалел. Я сказал друзьям: «Чтобы стать монахом, надо жить вот в таком глухом углу и всю жизнь ничего не видеть и не слышать, может быть, тогда укрепишь в себе изначально-истинную природу и обретешь покой в мыслях. Если же удалиться на Хуцюшань — Тигровый холм, что на моей родине, по целым дням глазеть на кокетливых отроков и размалеванных певичек, слушать песни под струны и цевницу, вбирать в себя ароматы изысканных закусок и хорошего вина, вряд ли твое тело уподобится иссохшему дереву, а сердце — мертвому пеплу!»

В тридцати ли от города была деревня под названием Жэньли — «Поселение человеколюбцев», раз в двенадцать лет в деревне устраивали празднество цветов и плодов, причем каждый выставлял свои вазоны с цветами, состязаясь друг с другом. Мое пребывание в Цзиси совпало с праздником, и я загорелся желанием пойти в деревню, но, на беду, не оказалось ни паланкина, ни коня; тогда я велел нарубить бамбука, сделать шесты и к ним привязать стул — так получилось подобие носилок. Наятые носильщики подняли шесты на плечи, и мы тронулись в путь. Один из моих сослуживцев по имени Сюй Цэ-тин отправился со мной, и всякий, кому случилось попасться нам на пути, смеялся, дивясь зрелищу. Пришли на место, в деревне оказался храм, но не знаю, в честь какого божества его воздвигли. Пред храмом на открытой площадке сколотили для представлений высокий помост, его разрисованные перила и квадратные стойки поражали грандиозностью и ослепительно блестели, но, подойдя ближе, я разглядел, что это разрисованная и скрученная в трубу бумага, поверх крытая лаком. Вдруг донеслись удары гонга и показались люди: четыре человека несли две свечи, огромные, словно распиленные колонны, а восемь других тащили на палке здоровенного, совсем как вол, борова. Двенадцать лет всем миром его откармливали и только сейчас закололи в честь божества. Цэ-тин рассмеялся и сказал: «Свинье повезло с долголетием, но, видно, и зубы у бога остры. Будь я божеством, не сумел бы насладиться подношением». Я ответил: «Но это так полно показывает их нелепую преданность». Мы вошли в храм и увидели, что галереи и двор заставлены вазонами с цветами и деревьями; здесь не было растений с под-

резанными ветвями или обломанными коленцами, вся прелесть деревьев была в серебристой блеклости причудливых ветвей — большей частью это были сосны с Желтой горы. Началось представление, и народ повалил валом, мы поспешили уйти. Не прошло и двух лет, как я повздорил со своими сослуживцами, как говорится, «взмахнул длинными рукавами», и воротился домой.

Со времени службы в Цзиси мне нестерпимо было видеть всю убогость и презренность моего положения в сутолоке казенной жизни, и я решил сменить ученые занятия конфуцианца на торговое дело. У меня был дядя, муж сестры отца, по имени Юань Вань-цзю, в Паньси, в местечке Сяньжэньтан, он занимался виноделием. Вместе с неким Ши Синь-гэном я затеял дело на паях. Мы продавали вино Юаня за море. Но не прошло и года, как на Тайване разразился мятеж Линь Шуан-вэня, сообщение морем прервалось, у нас скопилось много товару, и мы понесли убыток в капитале. Мне ничего не оставалось, как «уподобиться Фэн Фу». Четыре года я прослужил в Цзянбэе и за все время не совершил ни одного приятного путешествия, о котором стоило бы написать.

Поселившись в Сяошуанлоу, нам с Юнь приходилось довольствоваться пищей святых отшельников. Муж моей двоюродной сестры по имени Сю-фын как раз вернулся из Восточного Гуандуна. Видя, что я не у дел, он с великой горячностью воскликнул: «Вы ждете жалованья, чтоб было чем растопить очаг, а на огонь ставите то, что заработаете кистью. Вижу, нет у вас дальней сметы. Почему бы вам не поехать со мной в Линнань? Ведь непременно будем при выгоде «все ж более мушиной головы». Юнь принялась уговаривать меня: «Воспользуйся случаем, пока твои родители в добром здравии и ты в расцвете лет. Ведь говорят, продай хворост, рассчитай на рис — будешь жить в довольстве, лучше один раз утрудиться, чтобы потом не ведать забот». Вскоре я и мои товарищи по торговому делу сложили средства и составили капитал нашего предприятия, Юнь приготовила для меня вышивки, ко всему прочему я взял еще сучжоуское вино, «пьяных крабов» — ничего этого нет в Линнани; затем известил отца о своем намерении и на десятый день Малой весны отбыл вместе с Сюфэном.

Мы вышли из Дунба и поплыли в Уху. Я впервые видел Янцзы и был преисполнен радостью и воодушевлением. Каждый вечер, когда мы причаливали к берегу, я устраивался на носу лодки и выпивал немного вина. Однажды я увидел, как рыбаки тянут квадратную сеть; в ширину и длину сеть имела не более трех чи, притом была с широкими, в четыре вершка, ячейками; ухватив-

шись со всех сторон за ее железный обод, рыбаки то подымали ее, то осторожно опускали. Я рассмеялся и сказал: «Хотя в наставлении мудреца и сказано: «При ловле не бери частую сеть»,— но разве что-нибудь выловишь этим малым покрывалом с большими прорехами?» Сю-фын пояснил: «Эта сеть предназначена для ловли леща». Я увидел, что рыбаки, ухватившись за длинные веревки, то погружают сеть, то вытаскивают, как бы желая убедиться, есть ли рыба. Но немного погодя они вдруг выдернули сеть из воды — в ней трепыхался лещ, застрявший жабрами в ячейках. Я вздохнул и сказал: «Поистине, не исчислить, сколько ты можешь постичь, увидев все своими очами».

Однажды мы проплыли мимо одинокой горы, она возвышалась из воды на самой середине реки, так что со всех сторон её омывала вода. Сю-фын сказал мне: «Это гора Сирота». Сквозь заиндевевший лес редко проглядывали разбросанные строения и храмы, мы шли при попутном ветре и не могли останавливаться, чтобы их осмотреть. Наконец подошли к Беседке Тэнского князя. Я понял, что не заслуживает веры утверждение Ван Бо, высказанное во вступлении к оде «Беседка Тэнского князя», будто казенное училище «Павильон почитания классиков» в Сучжоу находилось подле Сюймынских ворот у Большой пристани. Подле Беседки мы пересели на сампан — лодку с высокой кормой и сильно задранным носом. Из Ганьгуаня отплыли в Наньань, где снова высадились на берег; это как раз пришлось на день моего рождения, и Сю-фын в знак пожелания долголетия приготовил мне длинную лапшу. На следующий день мы миновали хребет Даюйлин, на самой вершине его стояла беседка, о высоте коей гласила надпись на ней: «Подыми голову — солнце ближе». Вершина горы разламывалась надвое, обе стороны среза были отвесны, точно стены, меж ними, словно в каменном переулке, пролегала тропа. У самого входа на тропу были высечены две надписи: «Здесь потоки стремительны, отступи мужественно»,— и другая: «Останься и не иди дальше». На самой вершине стоял храм военачальника, что носил фамилию Мэй — «Дикая слива», не знаю, при какой династии жил этот полководец. Что же до сливы, в округе не нашлось ни одного деревца. Возможно ли, чтобы название Сливовый хребет пошло от фамилии этого полководца?

Деревце мэйхуа, которое я вез в вазоне в подарок друзьям, уже отцвело, листья его пожелтели. И то сказать, ведь был канун месяца ла — двенадцатой луны. Когда мы миновали хребет и вышли из ущелья, пейзаж сразу стал необычным. К западу от хребта лежала гора, а в ней виднелась каменная расселина, вся прозрачная, я уже забыл ее название. Носильщики мне сказали: «В той

пещере ложе бессмертного небожителя». Ехали мы поспешно, жалею, что не удалось побродить в тех местах.

В Напьсюне я нанял старую «ладью-дракон». Я проплыл мимо городка Фошань, где видел выставленные рядами у стен домов цветочные горшки. Листьями растения походили на падуб, а цветами — на пион, но были только трех оттенков — ярко-красного, розового и белого. Оказалось, это камелии. Мы прибыли в Кантон к полнолунию и остановились подле Цзинхайских ворот, сняв у некоего господина Вана на втором этаже три комнаты окнами на улицу. Свои товары Сю-фын сбыл местным торговцам, я сопутствовал ему, когда он наносил визиты согласно составленному им самим перечню. На новый год много брачных церемоний, товары брали без перерыву, так что не прошло и десяти дней, как у меня иссякло все, что я привез. В новогоднюю ночь гудение комаров громче грома. Кантонцы носят подбитые ватой халаты, поверх которых по случаю нового года они одели платья из легкого шелка. В здешних местах не только погода иная, даже сами люди, хотя и имеют те же пять телесных органов, по духу и нравам отличаются чрезвычайно. В полнолуние, что приходится на пятнадцатый день первой луны, трое моих земляков — служители здешней управы, потащили меня на реку поглядеть на певичек. Этот обычай называется «выйти на лов». Певичкам дали прозвание «лаоцзюй» — «старушки».

Мы вышли из Цзинхайских ворот и наняли лодчонку с навесом, она походила на расколотую надвое скорлупку от яйца. Вначале причалили к Песчанному острову — Шамянь, джонки с певичками — «цветочные ладьи» здесь были в два ряда, образуя посредине нечто вроде прохода для снующих взад и вперед небольших яликов. В каждом ряду не менее десяти и не более двадцати лодок, для придания им устойчивости и ради защиты от морских ветров их привязывали к поперечному бревну. К тому еще меж каждой парой лодок была вбита деревянная свая с насаженными на нее кольцами из лиан, это позволяло лодкам свободно опускаться и подыматься на волнах.

Управительница подобного заведения прозывается Шутоупо — «Матушка, расчесывающая волосы»; на голове ее обычно убор — каркас из серебряной проволоки около четырех вершков высоты, изнутри полый, а снаружи обвитый волосами, он дополнительно украшается цветами, воткнутыми в волосы при помощи длинных уховерток; одета она в темную короткую куртку и такие же темные шаровары до пят, по поясу повязывается красным или зеленым полотенцем, а ходит на манер актерок из Грушевого сада,— ее босые ножки будто сбрасывают на ходу туфельки; если кто подымается на лодку, она с улыбкой и в глубоком поклоне

семенит навстречу, приподымает занавеску и пропускает посетителя внутрь. В каюте в ряд стоят стулья и табуреты, посредине широкий кан, рядом с ним дверь, через которую можно выйти на корму. Когда мы подъезжали, женщина крикнула: «Гости пришли»,— и тотчас мы услыхали топот многих ног, потом все скопом показались девицы: у одних волосы подобраны в узел, у других уложены пучком, все напудрены, словно выбеленные стены, нарумянены, будто огонь граната, одеты или в красные куртки и зеленые шаровары, или в зеленые куртки и красные шаровары, на ногах у иных короткие носки и туфли с вышивкой «бабочка среди цветов», другие хотя и босы, но зато с серебряными браслетами на щиколотках. Девицы сели на кан, прислонились к стенам, они не произносили ни слова, молча сверля зрачками. Я повернулся к Сю-фыну: «Что сие означает?» Сю-фын мне разъяснил: «Моргни какой-нибудь, подзови и слюбись по взаимному согласию». Я попробовал подозвать одну,— тотчас какая-то девица радостно вышла вперед, вынула из рукава бетель и в знак приветствия протянула мне. Я поднес бетель ко рту, кусанул, вкус был невыносимо терпким, я поспешил выплюнуть бетель и обтер бумажкой губы — моя слюна походила на кровь. На соседних лодках громко засмеялись.

Потом мы направились к Арсеналу. Девушки были одеты и убраны в точности так же, только все женщины, молодые и постарше, умели играть на лютне. Когда я заговорил с одной, то в ответ услышал: «Ми?» — что по-кантонски значит: «Что это?» Молва гласит: «Молодым не ходи в Гуандун — душой истаешь». Но могут ли тронуть сердце дикие наряды и варварское наречие? Один из друзей заметил: «Вот в Чаочжоу красотки разряжены и убраны, словно бы небожительницы. Можем прогуляться и к ним». Отправились в Чаочжоу. Порядок лодок здесь тот же, что и на Шамяне. Была там знаменитая управительница по имени Су-нян — «Пречистая матушка», наряженная что танцовщица с разрисованным барабанчиком. Размалеванные певички носят особый наряд: платье с длинным воротником, свободно свисающим спереди, и с застежкой на шее сзади; их распущенные волосы доходили до плеч, но над самым лбом были стрижены вровень с бровями, в дополнение ко всему на манер девочек-служанок они закручивали на макушке узел; те, что бинтовали ноги, ходили в юбках, те, что не бинтовали, носили длинные волочащиеся штанины, короткие носки и были обуты в туфли, расшитые непременным узором «бабочки среди цветов». Произношение здешних девиц я кое-как мог разобрать, но их нелепые одеяния вконец отвратили меня, так что всякая охота пропала. Сю-фын сказал мне: «На другом берегу реки против Цзинхайских ворот есть еще Янчжоуское заведение,

девицы там одеты, как у нас на родине, в местности У. Пойдем, вот где непременно найдешь кого-нибудь по душе». Один из друзей добавил: «Да ведь это одно название, что Янчжоуское заведение,— тамошняя хозяйка по прозвищу вдова Шао, да при ней невестка — Старшая тетушка и правда уроженки Янчжоу, а остальные — кто родом из Цзянси и Хунани, кто из Хубэя, а то и Гуандуна или Гуанси».

Янчжоуское заведение, куда мы поехали дальше, располагалось на десяти лодках, поставленных в два ряда. Наряд девушек состоял из широких рукавов и длинных юбок, румяна и белила были положены тонко, волосы уложены, словно бы облака, а на висках — как иней, и главное — речь их была мне совершенно понятна. Вдова Шао встретила нас с величайшей приязнью. Один из моих друзей подозвал лодку, с которой торговали вином (те, что побольше, вроде джонки с надстройкой, а те, что меньше, здесь называют «плоскодонки для девиц»), и, взяв на себя роль хозяина, предложил мне выбрать певичку. Я остановил свой выбор на одной молоденькой, словно птенец феникса, у нее были маленькие слабые ножки, а фигурой и лицом она напомнила мне Юнь, мою жену. Имя ее было Си-эр. Сю-фын подозвал девушку, которую звали Цуй-гу. Остальные предпочли своих старых подружек. Мы принялись радостно и весело пить вино, пустив лодку по течению. Пробило третью стражу. Я испугался, что не смогу держаться на ногах, и пожелал вернуться домой. Оказалось, городские ворота запирают, как только сядет солнце, а я и не знал. Веселье иссякло, некоторые гости легли на кан и предались курению опиума, другие принялись обнимать певичек и весело хихикать. Слуга принес каждому по стеганому одеялу и подушке и принялся стелить постели на сдвинутых в ряд кроватях. Я потихоньку спросил у Си-эр: «А можно ли устроиться на ночлег на твоей лодке?» Она ответила: «Можно бы устроиться в ляо, да не знаю, нет ли гостей» (ляо — каюта в пристройке на верхней палубе). Я сказал: «Давай-ка, сестрица, съездим и разузнаем». Я окликнул лодочника с ялика и велел ему переправить нас на джонку вдовы Шао. Огни лодок разных заведений светились друг против друга, образуя подобие длинной освещенной галереи. В каюте гостей не оказалось. Хозяйка с улыбкой встретила меня и сказала: «Знала, что приедет дорогой гость, потому и оставила для вас каюту». Я улыбнулся: «Ах, матушка, воистину вы небожительница под лотосовым листом!» Тотчас же явился со свечой слуга и повел нас на корму. Я поднялся на несколько ступенек и очутился в комнатке, похожей на келью. У стены стояла длинная тахта, к ней были придвинуты столик и стулья. Раздвинув еще одну занавеску, я попал на крышу, она служила кровлей носовой части лодки. В каморке

была кровать и широкое прямоугольное окно, заделанное стеклом. Лампы не было, комнатка озарялась отсветом огней с лодок напротив. Одеяло, полог, туалетный столик и зеркало были нарядные и большого изящества. Си-эр сказала: «С террасы можно полюбоваться луной». Я поднялся на ступеньку порога, растворил окно и выполз наружу. Я стоял над кормой, с трех сторон меня ограждали низкие перильца. Светлый овал луны, безбрежные воды, бездонные небеса... по реке, подобно плывущим в беспорядке листьям, сновали лодки, с которых торгуют вином, а фонари их, как мириады звезд, выложенные на небесах, рассыпали по воде блестки. Легкие ялики, точно гребни на ткацком станке, разбегались по реке, где-то лилась песня, ей вторила свирель и струны, звуки сливались с рокотом волн,— все чувства моей души сместились. Я вспомнил: «Молодым не ходи в Гуандун...» — и подумал: «Воистину верно». Жаль, что Юнь не сопровождала меня в этом путешествии. Я обернулся и увидел Си-эр, лунный свет придал ей редкое сходство с Юнь, я повлек ее с палубы, задул свечу и лег. Наутро, едва рассвело, с компанией шумно появился Сю-фын. Я накинул платье и вышел, все стали укорять меня за вчерашнее бегство. Я ответил им присловьем: «Боялся, что вы, господин, да и вся ваша братия не оставите на мне ничего: «и постель сдерете, и полог унесете», вот и все». Все вместе мы двинулись домой.

Через несколько дней я с Сю-фыном отправился прогуляться к храму Морской жемчужины. Храм стоит посреди воды и, словно город, с четырех сторон окружен стеной. На случай защиты от морских разбойников в стене для жерл больших пушек на высоте более пяти чи над водой пробиты бойницы. Орудийные замки пушек то подымаются, то опускаются силой прилива, а насколько — точно сказать трудно, думаю, что всякий расчет тех, кто постигает законы явлений, здесь бессилен. «Тринадцать иноземных рядов» были сооружены к западу от ворот Простой орхидеи, линия их расположения походила на европейскую картину. На противоположной стороне реки был Цветник — кантонский цветочный рынок, цветов и деревьев здесь великое изобилие. Я-то полагал, что нет цветка, которого я бы не знал, но на этом торжище мне были знакомы лишь шесть-семь названий из десяти. Я стал выспрашивать названия, и оказалось, что в «Собрании всевозможных благовоний» они не значатся, возможно, дело было в их местном произношении.

Храм Покрова над морем превеликих размеров. Сразу за храмовыми воротами росла большая смоковница, ствол ее в десять обхватов, а тень густая, точно от балдахина. Дерево не увядало ни в зимние, ни в осенние холода. Колонны, перила, решетки, окна

и стропила были выточены из железного или грушевого дерева. Подле храма росло еще дерево бодхи, листья его как у хурмы. Прибой ободрал ему кору, и истонченные волокна древесины приобрели сходство с шелковистыми крылышками цикад; склеенные, они годились бы для небольших тетрадок, в каковые обычно переписываются буддийские сутры. На обратном пути я заехал к Си-эр на «цветочную ладью». У Си-эр и Цуй-гу, оказалось, нет гостей. Чаепитие закончилось, я хотел уже уходить, но девушки трижды просили меня остаться. Во исполнение их желания я решил подняться с ними в каюту на верхнюю палубу, но хозяйка — «старшая невестка», в нашей каюте уже потчевала гостей вином. Я решил испросить разрешение у матушки Шао: не будет ли она против, если девушки пойдут ко мне домой. В ответ Шао сказала: «Ладно, идите».

Сю-фын отправился первым, чтобы сделать приготовления и послать слугу за вином и закуской. Я привел с собой Си-эр и Цуй-гу. Среди разговоров и смеха нежданно-негаданно нагрянул Ван Мао-лао из местной управы, мы потащили его с нами выпить. Едва мы пригубили вина, как внизу послышался шум и гвалт, казалось, будто кто-то лезет к нам на второй этаж. У хозяина была племянница, отроду, видно, порядочная дрянь, она прознала, что я пригласил певичек, и созвала людей, замыслив вымогательство. Сю-фын сказал мне с укором: «Не по мне была затея, а вот поддался твоей минутной прихоти». Я сказал: «Раз дело сделано, поспеши найти способ, как «отвести солдат», не время препираться». Мао-лао предложил: «Попробую спуститься первым и поговорить с ними». Мой замысел был в том, чтобы кликнуть слугу и послать его поскорее нанять два паланкина, ибо я принял решение вначале избавиться от девиц, а затем пытаться самому «выбраться из крепости». Было слышно, как Мао-лао уговаривает тех, что внизу. Они не отступали, хотя больше и не лезли к нам. Тем временем паланкины были поданы. Я приказал слуге поработать руками и ногами, дабы проложить девицам дорогу. Сю-фын бросился за слугой, таща за собой Цуй-гу, следом я волок Си-эр, с боем мы спустились вниз. С помощью слуги Сю-фын и Цуй-гу вырвались за ворота. Вдруг дорогу Си-эр заградила чья-то рука. С быстротой я поднял ногу и пнул того в плечо — рука ослабла, и Си-эр удалось выскользнуть. Тут и я, улучив момент, вырвался и удрал. Мой слуга стоял на страже подле ворот на случай преследования и нападения. Я взволнованно спросил его: «Ты видел Си-эр?» Он ответил: «Цуй-гу села в паланкин, и его унесли. Я видел, как девица Си вышла из ворот, но чтоб она садилась в паланкин, не видал». Немедля я запалил факел, но на обочине дороги увидел

второй пустой паланкин. Тогда стремглав я помчался к Цзинхайским воротам, где нашел Сю-фына, который стоял подле паланкина Цуй-гу. Я стал их расспрашивать. Они ответили: «Ей надо бы бежать на восток, а она, видно, кинулась на запад». И вот, повернув к дому, я прошел его и еще с десяток других строений, как услыхал, что в темноте меня кто-то зовет. Посветил — оказалось, Си-эр. Я с великой поспешностью усадил ее в паланкин, взял на плечи один шест, и мы пошли. Сю-фын бросился ко мне со словами: «При вратах Простой орхидеи есть шлюз, через него можно выйти за городскую стену. Я послал человека, чтобы за плату нам отперли замок. Цуй-гу уже пошла к шлюзу, Си-эр, не медли». Я сказал ему: «Быстрее возвращайтесь домой и «отгоните неприятеля», а Цуй-гу и Си-эр препоручите мне».

Мы подошли к шлюзу. И правда, замок был снят. Цуй-гу опередила нас и была уже там. Я взял Си-эр под правую руку, Цуй-гу под левую, и они, пригнувшись и высоко, по-журавлиному, подымая ноги, прошли по шлюзу. С неба заморосило мелким дождем, дорога стала скользкой, словно бы масляной. До Шамяня мы добрались берегом. На реке вовсю звучали цевницы и песни. На одной из лодок у Цуй-гу была приятельница. Цуй-гу окликнула ее, и мы сели к ней в лодку. Тут только я заметил, что волосы у Си-эр растрепаны, точно куст полыни на ветру, а шпильки и серьги бесследно исчезли. «Что, отняли?»,— спросил я. Она улыбнулась: «Слыхала, что они чистого золота, это ведь вещи матушки-хозяйки. Когда мы спускались, я сняла их и спрятала в карман. Если бы шпильки отняли, непременно затеяли бы тяжбу и заставили вас возмещать убыток». Я услыхал объяснение, и мое сердце исполнилось к Си-эр благодарности. Я велел водворить шпильки и серьги на место и ни слова не говорить хозяйке, а нарочно сказать так, что-де в моем доме много народу и потому мы вернулись. В точно таких словах Цуй-гу доложила управительнице, притом добавила: «Вином и закусками мы уже угостились, хорошо бы дать нам теперь чжоу — рисовой кашицы».

К тому времени бражники из верхней каюты ушли, и хозяйка заведения, вдова Шао, послала Цуй-гу проводить меня в каюту. Тут я увидел, что расшитые девичьи туфельки насквозь промокли, вымазаны грязью и в глине. Втроем мы принялись за чжоу и слегка заморили голод. Потом сняли нагар со свечи, и потянулась долгая беседа. Я узнал, что Цуй-гу родом из Хунани, а Си-эр — уроженка Хэнани, подлинная ее фамилия — Оуян, отец ее умер, мать вновь вышла замуж, а жестокосердный дядя, брат отца, продал Си-эр. Цуй-гу принялась рассказывать о горестях своего житья-бытья: «Как говорится, одного проводишь — другого встречай;

сердце не радостно, а улыбайся, вина душа не принимает, а пей насильно, тело радостей не просит — иди с гостем, в горле скребет — непременно пой. Находятся и такие беспутные нравом посетители,— чуть что не по нему, швырнет бокал с вином, опрокинет столик, наговорит грубейших слов — знает ведь, что хозяйка не станет проверять, еще скажет, будто девица необходительно встретила гостя. Случаются и вовсе мерзкие гости,— всю ночь напролет словно топчут тебя или ездят колесами, так что мочи нет. Когда Си-эр, годами еще молодая, только пришла в заведение, матушка-хозяйка всегда жалела ее». Цуй-гу рассказывала, а из моих глаз лились слезы. А тут и Си-эр вдруг заплакала молчаливыми слезами. Я привлек ее к груди, приласкал и успокоил. Я велел Цуй-гу лечь на тахте, ибо считал ее подружкой Сю-фына.

С той поры раз в десять, а то и в пять дней за мной непременно посылали кого-нибудь и звали на лодку. Иногда Си-эр приезжала в ялике и поджидала меня на берегу. Каждый раз, отправляясь на «цветочную ладью», я брал в компанию Сю-фына, но мы никогда не звали других гостей и не шлялись по другим лодкам. За всевозможные услады одной ночи брали всего четыре заморских серебряных монеты. Правда, Сю-фын имел обыкновение нынче пригласить одну, а назавтра другую, как говорится, «то в зеленом, то в красном», в народе это называется «прыгать от лохани к лохани», а порой доходил до того, что звал двух певичек зараз. Я всегда был только с Си-эр. Случалось, я приезжал на лодку один, выпивал на верхней палубе чашечку-другую вина, вел тихие беседы в каюте, не заставляя ее петь, не принуждая много пить, проявляя участие и сострадание, и у каждого на лодке веселело сердце. Девушки, товарки Си-эр, завидовали ей. Узнав, что я в заведении, девицы, которые были свободны и не принимали гостей, обязательно приходили с визитом. Все они знали меня. Придешь на лодку, так окликают без перерыву. Взглянешь на одну, кивнешь другой, всем-то ведь и не ответишь,— да осыпь их десятью тысячами монет, и то не удостоишься подобного расположения. Я же за четыре месяца истратил всего сто с лишним монет, а уж сколько плодов личжи и свежих фруктов мне привелось отведать! Редкое удовольствие на всю жизнь.

Вскоре управительница заведения возымела желание получить с меня пять сотен монет, принуждая, чтобы я их внес за Си-эр. Я стал тяготиться ее назойливостью и принял решение уехать. Сю-фыну, который пришел в помрачение от любовной страсти, я посоветовал купить наложницу. В Сучжоу мы воротились тем же путем.

На следующий год Сю-фын снова поехал в Кантон, отец не разрешил мне ему сопутствовать. Я был приглашен в Цинфу на

службу к начальнику уезда Яцу. Возвратясь из Кантона, Сю-фын рассказал мне, что Си-эр не раз хотела покончить с собой, тоскуя, что я не еду. Увы!

Те полгода минули словно сон.
На «цветочной ладье» прослыл я равнодушным!

После Гуандуна я два года прожил в Цинпу и за это время не совершил ни одного приятного путешествия, о котором стоило бы рассказать.

КОРЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Вступительная статья и составление
Л. Концевича

КОРЕЙСКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПРОЗА В ЕЕ ИСТОРИЧЕСКОМ И ЖАНРОВОМ РАЗВИТИИ

На крайнем востоке Азии находится страна, которую в литературе нередко именуют «Страной утреннего спокойствия». И действительно, кто хоть раз побывал в Корее, тот не мог не восторгаться спокойствием долин, гордой и суровой красотой горных кряжей, великолепием окрестных видов, овеянных легендами... Но — увы! — как не соответствует это поэтическое название страны реальной судьбе корейского народа, пережившего за всю свою многовековую героическую историю целую вереницу войн, нашествий, социальных потрясений.

По своему географическому положению Корейский полуостров образует естественный мост, связывающий азиатский континент на севере и островной мир Тихого океана на юге. В культурном отношении Корее испокон веков пришлось выполнять роль своего рода посредника между материком и Японскими островами. В то же время она оставалась страной древней самобытной культуры.

Ранняя история Кореи — еще не написанная глава всемирной истории, которую восстановить можно лишь весьма приблизительно. Местная мифологическая традиция начинает историю Кореи с 2333 года до н. э., когда под сандаловым деревом от медведицы и Хвануна, сына Небесного владыки, будто бы родился первопредок корейцев — Тангун. Более или менее достоверные, хотя и отрывочные и перемешанные с легендарными, свидетельства о народах, населявших Корейский полуостров в древности, впервые встречаются в китайских исторических хрониках начиная со II века до н. э. Сохранились и многочисленные памятники материальной культуры эпохи неолита. Однако дошедшие до нашего времени собственно корейские письменные источники относятся уже к эпохе средневековья. Столь поздняя отправная дата письменной литературной традиции в Корее объясняется рядом причин.

Находясь на перекрестке между материковым и островным миром, Корея многократно подвергалась то опустошительным нашествиям с севера, то пиратским набегам южных соседей. Кроме того, смена династий, а вместе с ней и повороты в области идеологии приводили к серьезным издержкам в развитии корейской культуры. Монархические режимы расправлялись с оппозиционно настроенными учеными и литераторами путем высылки их из столицы и казней. Как и большинство стран эпохи средневековья, Корея не избежала книжных катастроф. Например, узурпатор Ёнсан-гун в 1504 году запретил пользоваться корейским фонетическим алфавитом и приказал сжечь книги, написанные по-корейски. И такие случаи не были единичны. В результате погибли все ранние письменные памятники Кореи и многие сочинения на корейском языке, оставив будущим поколениям одни только названия да в лучшем случае отдельные отрывки.

Эпоха средневековья в Корее охватывает огромный отрезок времени — примерно с V века до первой половины XIX века. Затяжному характеру корейского средневековья в немалой степени способствовала внешнеполитическая изоляция страны, находившейся с конца XIV и до конца XIX века в номинальной зависимости от Китая. Еще в XIX веке Корею именовали «государством-отшельником». Между тем в эту эпоху страна дала миру такие прекрасные творения непреходящей ценности, как настенная живопись когурёских гробниц, буддийская архитектура периода Силла, корёский фарфор с селадоновой глазурью, подвижный металлический шрифт (применявшийся с середины XIII века, то есть задолго до Гуттенберга), и в эту же эпоху были созданы великолепная лирическая поэзия, интереснейшая проза.

Корея уже с первых веков новой эры прочно вошла в орбиту дальневосточной культуры, где ведущая роль принадлежала мощной и древней китайской цивилизации и куда несколько позже были вовлечены Япония и Вьетнам.

Древняя культура Кореи не только находилась под воздействием китайской цивилизации, но и впитывала в себя элементы культуры племен северо-восточной Азии, а также народов, живших на запад от Китайской империи. В IV—VI веках через Китай и посредством прямых контактов корейских государств с Индией на полуостров была привнесена буддийская культура, обретшая здесь благодатную среду.

Если в начале проникновения китайской культуры на Корейский полуостров ее влияние на корейскую было поверхностным, то начиная с X века оно приняло всеохватывающий характер. Политическое и государственное устройство, идеология, законодательство и этические нормы, культура и образование, церемонии, литература, письменный язык и т. д.— то есть многое из того, что составляло официальную сферу жизни в средневековой Корее, напоминало китайское. Но это не было заимствованием в чистом виде; все воспринятое перерабатывалось и становилось своим, «домашним». Причем ряд явлений и процессов в области культуры и идеологии Китая

получал новую жизнь на корейской земле с заметным опозданием, порою в несколько веков, и в своеобразной форме. Так произошло, например, с конфуцианством в толковании сунских мыслителей (XI—XIII вв.). В 1313 году корейцы приобрели в Китае библиотеку бывшего сунского двора, в которой хранились сочинения выдающегося философа-конфуцианца Чжу Си и его последователей. Постепенно, только к XVI веку сунское конфуцианство переросло в крайне догматическую идеологию правящих классов феодальной Кореи.

И вместе с тем корейский народ в быту, обычаях, местных верованиях, фольклоре, устном общении и многом другом, из чего складывалась, так сказать, «неофициальная» сторона его жизни, продолжал бережно сохранять и развивать свои древние традиции.

Двойственная природа старой культуры Кореи наложила отпечаток и на корейскую литературу. В словесном творчестве корейского народа вплоть до конца XIX века параллельно развивались два типа литературы: литература на ханмуне, то есть кореизированной форме китайского письменного языка «вэньянь», и литературы на корейском языке, первоначально в устном бытовании и в записях способом «иду» (сложной системой передачи корейского языка посредством китайских иероглифов, применявшейся с VI века, но не получившей широкого распространения, кроме как в эпистолярном стиле), а с середины XV века корейским фонетическим алфавитом. Если литература на ханмуне, бывшая достоянием образованных слоев феодальной Кореи, оставила богатейшее наследие в виде авторских сборников и антологий, то литература на родном языке, считавшаяся в средневековом обществе «второсортной», не достойной внимания, в количественном и жанровом отношении была не столь обильной, но она заняла в сокровищнице средневековой культуры корейского народа весьма важное место.

В корейской словесности на ханмуне были представлены почти все жанры китайской средневековой литературы. Корейскими художниками слова были восприняты и переработаны также многие сюжеты, образы, художествено-изобразительные средства китайской литературы и вместе с тем создана масса оригинальных произведений на ханмуне, которые напоминают китайские только по языку. Иными словами, литература на ханмуне была органической частью корейского художественного наследия и находилась в постоянном взаимодействии с литературой на корейском языке.

Литература на родном языке представляет собой сплав художественных традиций корейской литературы на ханмуне и собственно китайской, с одной стороны, и устного народного творчества, с другой. Корейский фольклор был главным и постоянным источником для этого типа литературы. И подчас бывает трудно провести грань, где кончается фольклор и где начинается литература.

На становление и развитие художественной литературы средневековой Кореи оказали немалое влияние буддизм, как общегосударственная религия

до конца XIV века, и конфуцианство, как официальная идеология с XV века, и роль их посредника, переносчика выполняла главным образом литература на ханмуне. Даосское учение и корейские народные верования нашли отражение главным образом в поэзии и прозе на корейском языке. Следует отметить, что, хотя в действительной жизни между этими религиозно-философскими учениями шла борьба за право называться официальной идеологией, в художественной литературе они сравнительно мирно сосуществовали, дополняя друг друга.

Еще одной особенностью корейской средневековой литературы, как, впрочем, и многих литератур Востока той же эпохи, является преобладание поэзии в словесном искусстве корейцев. Она была более ранним и развитым родом литературы по сравнению с прозой. Стихотворные строфы нередко украшали и прозаические произведения. Надо отметить, что в средневековой Корее любой образованный человек старался блеснуть своей эрудицией в стихах и «изящной прозе» на ханмуне.

Согласно эстетическим нормам позднего средневековья, корейская литература незримо была как бы расчленена на несколько ярусов. Самый верхний ярус занимали «высокая» (изящная) проза и поэзия на ханмуне, в жанровом отношении целиком совпадающие с китайскими; ниже располагалась проза *пхэсоль* на ханмуне как своего рода антипод «высокой» прозе; наконец, на нижнем ярусе находилась литература на родном языке, в которой, в свою очередь, выделялись три ряда: верхний — поэзия (корейские трехстишия — *сиджо* и поэмы — *каса*), средний — своя «высокая» проза (дневники и романы) и нижний — простонародная повествовательная литература (корейские повести и новеллы).

Этапы развития корейской литературы, и, в частности, ее прозаических жанров, в общем укладываются в те исторические периоды и историко-культурные эпохи, через которые прошла Корея с первых веков новой эры до XIX века.

Раннее средневековье в Корее (V—X вв.) охватывает два исторических периода: первый период характеризуется ростом и укреплением Трех государств — Когурё, Пэкче и Силла и совпадает со временем формирования феодальных общественных отношений; во второй период происходит объединение этих государств под властью Силла в середине VII века и феодализм становится господствующей системой.

Истоки корейской литературы уходят в доисторическую эпоху и неразрывно связаны с фольклором древнекорейских племен, представленном в легендах, сказках, народных песнях. Корейская словесность пережила свой «век мифологии», и именно отсюда берут начало ее повествовательные формы и жанры.

И хотя от письменных памятников периода Трех государств остались только их названия и небольшие фрагменты, включенные в сочинения XI—XIII веков, все же можно предполагать, что в этот период существовала развитая историческая проза на ханмуне. Самые древние образцы ее сохра-

нились и в довольно многочисленных эпиграфических памятниках — надписях на каменных надгробьях и стелах возле гробниц правителей — ванов. Эти надписи составлялись в традиционной на Дальнем Востоке форме биографии, идущей от «Исторических записок» китайского историографа Сыма Цяня (II—I вв. до н. э.). Например, в надписи на стеле, установленной в 414 году в память когурёского правителя Квангэтхо-вана («Расширителя земель») излагается в хронологической последовательности родословная героя и его жизнь, наполненная ратными подвигами и добродетельными деяниями. В такого рода биографиях формируется нормативный с точки зрения конфуцианства образ человека. Имеются также надписи на «иду», но в целом следует сказать, что художественная проза на «иду», по-видимому, так и не была создана.

В период Объединенного государства Силла (вторая половина VII в.— начало X в.) наряду с биографическим жанром литературы на ханмуне и поэзией на корейском языке (в записи способом «иду») получил распространение жанр путевых записок, не увядавший в Корее вплоть до XIX века. Первыми авторами путевых записок были буддийские монахи, совершавшие паломничества в Китай и даже в более отдаленные страны. Один из буддийских проповедников Хечхо побывал в Индии и вернулся в Силла в 727 году. От него осталось, правда в сокращенной форме, сочинение на ханмуне «Хождение в пять индийских княжеств» (в издании IX в.), в котором автор поведал о красотах природы, достопримечательностях, людях и обычаях, увиденных им во время путешествия.

Самым крупным литератором той поры был Чхве Чхивон (857—ок. 915), чьи стихи и «высокая» проза на ханмуне получили признание даже в танском Китае. К сожалению, все его сочинения, в том числе собрание прозаических и поэтических произведений в двадцати томах — «Кевон пхильгён» и «Силлаские сказания об удивительном и разном», утеряны. Сохранились лишь отдельные его стихи и несколько «историй об удивительном».

В X веке Корея вступает в эпоху «развитого» средневековья, которая продолжалась до середины XVII века и включала три исторических периода. Первый период — X—XIV века — условно можно подразделить на два этапа: X—XII века, когда образовалось и переживало пору расцвета единое централизованное государство Корё, и XIII—XIV века, когда корейский народ поднялся на борьбу против монгольских завоевателей и когда обострение внутренних противоречий в стране и междоусобицы привели к смене династий. В это время происходил процесс кристаллизации средневековой культуры Кореи. С воцарением династии Ли в 1392 году начался период укрепления феодального государства. С ним совпал «золотой век» в развитии корейской средневековой культуры, ставший переломным и для литературного процесса, ибо после обнародования фонетического алфавита в 1446 году корейская словесность впервые обрела возможность быть свободно записанной на родном языке. Но уже в конце XVI века наступил период ослабления централизованного феодального государства. Оно было

вызвано междоусобной борьбой внутри правящего класса, а также тяжелой Имджинской отечественной войной корейского народа против японских захватчиков (1592—1598 гг.) и опустошительными маньчжурскими нашествиями в первой половине XVII века.

В начальный период Корё вместе с введением системы государственных экзаменов на чин (958 г.) и открытием частных конфуцианских школ сильно возрос интерес к литературе на ханмуне. Теперь ей официально отводится роль «высокой» литературы. В ней все явственнее стали ощущаться два потока: конфуцианское и буддийское начала. Конфуцианская линия отчетливо видна в крупнейшем памятнике корейской историографии — «Исторические записи о трех государствах» («Самгук саги»), составленном Ким Бусиком в 1145 году по типу «образцовых» китайских династийных историй. Это сочинение по праву считается не только первой исторической хроникой Кореи, но и сокровищницей ее древней и раннесредневековой корейской литературы.

Особенно примечательные в художественном отношении образцы прозы содержатся в основных анналах летописи и в разделе жизнеописаний. Хронологическое изложение событий в каждом из трех упомянутых выше государств Ким Бусик начинает с предания о его легендарных основателях. (Одно из них — предание о Тонмён-ване, первопредке когурёцев — включено в данный том.) Но если в анналах границы между мифологией и литературой еще размыты, то в некоторых жизнеописаниях представлен жанр беллетризированной исторической биографии. Историк характеризует общую картину прошлого с помощью рассказов об отдельных исторических или же вымышленных личностях. Для жизнеописания всегда отбирается необыкновенный человек, который совершает какие-то выдающиеся деяния; причем образ героя как бы заранее предопределен и иллюстрирует один из конфуцианских устоев — либо это добродетельный сын, либо преданный чиновник, либо же целомудренная женщина (см. «Госпожа Соль» в настоящем томе) и т. п. Это сказалось и на построении биографии, которое стало постоянным и для некоторых других повествовательных жанров [1]. Вот жизнеописание Соль Чхона, ученого и мудрого советника у правителя Силла. После рассказа о происхождении жизни описывается ситуация, которая приводит его к подвигу: Соль Чхон сочиняет притчу, содержащую предостережение государям. Затем автор перечисляет деяния, благодаря которым герой удостоился жизнеописания: Соль Чхон, рассказывая притчу, в которой осуждаются поступки правителя, рискует поплатиться головой, но ему удается с честью выйти из положения. Наконец, автор сообщает о воздаянии за подвиги (указывая титулы и должности, пожалованные Соль Чхону), а иногда и о заслугах потомков. Биография может завершаться послесловием от имени историографа, в котором он дает свое суждение о деяниях

---

[1] Подробно об этом см. в кн.: А. Ф. Троцевич. Корейская средневековая повесть. М., 1975.

героя или же приводит изречение из китайского канонического произведения, а порою просто народную мудрость. Все названия биографий были отмечены иероглифическим знаком «чон» («жизнеописание»), который добавлялся к имени героя.

Другой тип жизнеописания сложился в буддийской литературе[1] в XI—XIII веках. Это буддийские жития. В них перечислялись выдающиеся деяния того или иного наставника веры, дабы перед читателем нарисовать его величественный образ. При всей кажущейся бессвязности и дробности эпизодов, характерной для жития, они были объединены общим эмоционально-нарастающим пафосом звучания. Жития могли быть самостоятельными произведениями, каковы, например, «Житие Кюнё» Хёк Нёнджона (1075) и «Жизнеописания выдающихся монахов Страны, лежащей к востоку от моря» Каккуна (1215 г., сохранились частично), и входить в состав исторических сочинений, написанных по типу «неофициальных историй» — *яса*, то есть без соблюдения принципа конфуцианской историографии: «фиксировать, а не сочинять». В связи с более свободным обращением с историческими фактами в них гораздо шире используются фольклорные и литературные источники. Ценнейшим памятником «неофициальных историй» Кореи являются «Дополнения к Истории трех государств» («Самгук юса») буддийского наставника Ирёна (XIII в.). В этом памятнике, в частности, собраны жизнеописания буддийских подвижников (также помеченные знаком «чон») и буддийские предания. Среди житий есть эпические, в которых прослеживается жизнь героя от начала и до конца; есть легендарные, сказочные, и есть похожие на новеллы, в которых всего лишь несколько эффектных эпизодов. Все жития завершаются стихотворными славословиями, в которых автор как бы подводит итог деятельности подвижника. Одно из полных житий новеллистического типа — жизнеописание Вонхё, в котором автор создает одновременно образ знаменитого мудреца, чудака и гуляки, включено в настоящее издание.

В XII—XIII веках корейская художественная проза отделяется от исторической и житийной. Именно в этот период рождается новый вид литературы — *пхэсоль* — проза малых форм на ханмуне[2], расцвет которой приходится на XV—XVII века. Мы уже вкратце упоминали о ней. Возможно, появление пхэсоль вызвано усилением буддийских и даосских настроений в корейской литературе, что привело к некоторой раскованности авторской воли. Название пхэсоль восходит к китайскому жанру «байшо»

---

[1] Подробно об этом и вообще о корейской литературе с древнейших времен до XIV в. см. в кн.: М. И. Никитина, А. Ф. Троцевич. Очерки истории корейской литературы до XIV в. М., 1969.

[2] О литературе пхэсоль подробно см. в кн.: Д. Д. Елисеев. Корейская средневековая литература *пхэсоль* (Некоторые проблемы происхождения и жанра). М., 1968; русский перевод произведений пхэсоль см. в сб.: «Черепаховый суп. Корейские рассказы XV—XVII вв.». Л., 1970 (перев. Д. Елисеева).

или «байгуань сяошо» — «литература байгуаней», то есть мелких чиновников во времена династии Хань, которым было поручено собирать «уличные рассказы», анекдоты, народные предания, песни для доклада императору о настроениях подданных. В средневековой Корее сбором, обработкой и сочинением такого рода произведений занимались видные литераторы, причем делали они это «от скуки», ради развлечения. Пхэсоль распространялись в виде отдельных авторских сборников, в которых подряд, без каких-либо подзаголовков, повествовалось о всякой всячине, начиная с заметок на разные темы, анекдотов, юморесок и кончая сюжетными историями и новеллами в сборниках позднего времени. Отношение к литературе пхэсоль, несмотря на ее популярность, было в придворных кругах как к развлекательному «чтиву». Ранними сборниками пхэсоль считаются «Рассказы от скуки» Ли Инно (XII в.), «Развлекательные расказы» Чхве Джа (XIII в.), «Рассказы Пэгуна», принадлежащие выдающемуся поэту Ли Гюбо (XIII в.), «Пхэсоль Ёгона» Ли Джехёна (XIV в.). Источниками сюжетов произведений пхэсоль были не только устные рассказы, но и «неофициальные истории». Поэтому во многих пхэсоль обыгрываются исторические эпизоды и действуют реальные исторические личности, но, в отличие от «неофициальных историй», все это обработано в литературно-художественном плане. Персонажами пхэсоль были не только известные сановники, ученые, писатели, но также певички-кисэн, ремесленники, торговцы, лекари, слуги и т. д. Через пхэсоль перед читателем как бы приоткрывалась «неофициальная» сторона жизни общества. Наиболее развитый жанр литературы пхэсоль позднего периода (XV—XVII вв.) — это короткий рассказ, в котором герой нередко изображается как участник необыкновенного приключения. Основной упор в таком рассказе делается на впечатляющую концовку, которая обычно завершается авторской оценкой. В нашем томе помещены два небольших рассказа с явной фольклорной основой: «Оплошал» и «Спутался с собственной женой» из сборника «Гроздья рассказов Ёнджэ» Сон Хёна (XV в.); три новеллы литературного слоя: «Голый чедок в сундуке» из сборника «Разные рассказы из Страны, лежащей к востоку от моря» Чхон Е (ок. XVII в.); новелла «Арка с надписью «Верной жене», в которой рассказывается о развратной вдове, снискавшей славу целомудренной женщины, из сборника «Простые рассказы Оу» Лю Монъина (вторая половина XVI — начало XVII в.); наконец, последняя новелла «Если бамбук твой...», в которой безвестный автор с тонкой иронией вывел образ мнимого эстета-мечтателя, из сборника «Маленькие рассказы от скуки» (не ранее XVII в.).

Как бы в противовес литературе пхэсоль в XII—XIV веках в изящной прозе на ханмуне возникает совершенно новый жанр вымышленных биографий (называемых также псевдобиографиями и помеченных опять-таки знаком «чон»). В большинстве своем — это аллегории, в которых героями выступают олицетворенные животные, растения, предметы, предупреждающие человеческое общество о зловещих пороках. В структуре одних псевдобиографий соблюдается форма исторических биографий из «офи-

циальных» историй. Они обычно сопровождаются резюме автора, составленным от имени придворного историографа. К таким аллегориям относятся помещаемые здесь «История Деньги» Лим Чхуна (XII в.), «История премудрого Хмеля» Ли Гюбо (литературным намеком для написания этой псевдобиографии, вероятно, послужила поэма в прозе «Беседка старца во хмелю», принадлежащая китайскому историку и поэту XI века Оуян Сю) и «История госпожи Бамбучинки» Ли Гока (XIV в.). Построение других псевдобиографий, вроде «Истории служки Гвоздя», напоминает буддийские жития из «неофициальных историй». Автор последнего произведения, также публикуемого здесь,— отшельник Сигён (или Сигёнам?). Под этим прозвищем, по-видимому, скрывается корейский поэт и писатель Ли Джахён (1061—1125). Авторы беллетристических биографий были блестящими стилистами. Все эти произведения взяты из «Восточного изборника» («Тонмунсон»), составленного Со Годжопом в 1478 году. Традиции жанра псевдобиографии прослеживаются в позднесредневековой «высокой» прозе на ханмуне в XVII—XIX веках.

С вступлением на трон династии Ли конфуцианство стало господствующей идеологией, что сказалось и на развитии литературы. Она все больше стала наполняться конфуцианскими нормативами. Особенно много в этом направлении было сделано членами придворной академии Чипхёнджон (Павильон собрания мудрецов). Несмотря на введение корейской письменности и появление первых поэтических произведений на нем («Ода дракону, вознесшемуся в небеса», 1445, и др.), а также корейских переводов конфуцианских и буддийских сочинений, языком художественной прозы еще почти два столетия оставался исключительно ханмун.

XV век, принесший небывалый расцвет корейской средневековой культуре и науке, был началом серьезных сдвигов в области художественной литературы. Он дал ей несколько известных имен и новых открытий. В прозе на ханмуне наблюдается становление жанра юмористического рассказа, о чем свидетельствует появление сборников «Деревенские смешные рассказы» Кан Химэна и «Юмористические рассказы при великом спокойствии» Со Годжона. Особенно велика заслуга Со Годжона в составлении уже упоминавшегося «Восточного изборника» (в 130-ти томах), включавшего лучшие образцы поэзии и прозы на ханмуне. Этой антологией как бы подводился итог развития корейской литературы на ханмуне с периода Силла до начала правления династии Ли.

Литературным кругам тогдашней Кореи были хорошо известны китайские новеллы и повести сунского и юаньского времени, минский роман. Короткие рассказы об удивительном, вымышленные биографии и ранние произведения пхэсоль вместе с распространившейся китайской повествовательной литературой в Корее подготовили возникновение сюжетной художественной прозы (сосоль) — литературной новеллы и повести сначала на ханмуне, а затем и на корейском языке. Честь создания литературной новеллы на ханмуне принадлежит Ким Сисыпу (1435—1493), кото-

рый в 1471 году составил сборник «Новые рассказы, услышанные на горе Золотой черепахи [Кымо]», взяв за образец сборник китайского писателя XIV века Цюй Ю «Новые рассказы у догорающей лампы». Сохранилось всего пять новелл фантастического содержания, дошедших в более поздних изданиях [1]. В них изображены корейские персонажи, действия происходят в Корее и завершаются, как правило, трагически. Почти все новеллы украшены стихами.

В корейской литературе, особенно в «неофицальных историях», в прозе пхэсоль, давно уже жило даосско-буддийское отношение к миру, выражавшееся, в частности, в неприятии конфуцианских норм поведения. Проявлялось это отношение не только в нарочито подчеркнутом изображении непристойных, низких сторон жизни, но и в осмеянии «официально-серьезного» — государственной сферы деятельности человека. Блестящими образцами такого пародирования в XVI веке были аллегорические повести на ханмуне, принадлежащие Лим Дже (1548—1587). В повести «Мышь под судом» (два фрагмента из которой публикуются здесь) [2] писатель-сатирик с негодованием обрушился на продажных чиновников-казнокрадов, разоблачил злоупотребления в судебной практике того времени. Другая повесть Лим Дже «История цветов» [3] написана по правилам исторического сочинения, но героями в ней выступают персонифицированные цветы и насекомые, повествование изобилует критическими замечаниями «летописца», то есть самого автора. В ней резко осуждается межпартийная борьба внутри правящего класса, обострившаяся в последней четверти XVI века.

При переходе от «развитого» средневековья к позднему, который в Корее совершился вскоре после Имджинской войны, то есть приблизительно к середине XVII века, наметились сдвиги в социально-экономическом развитии, в духовной и культурной жизни страны. Традиционная система управления, основанная на учении сунских конфуцианцев, постепенно начала видоизменяться под воздействием веяний эпохи нового времени, в которую уже вступил мир. Стала набирать силы городская культура; корейцы впервые узнали о Европе и ее культуре; возросла роль практических знаний; возникло течение «сирхакпха» («Школа реальных наук»), оказавшее огромное влияние на идейную атмосферу в стране; среди народа стали широко пользоваться корейским письмом, до этого подвергавшимся гонениям... В таких условиях и родился самый популярный в «низах» общества и у женщин жанр художественной прозы — повесть на корейском языке. Если становление жанра повести на корейском языке можно лишь предположительно отнести к первой половине XVII века, то расцвет его опре-

---

[1] См. в кн.: Ким Сисып. Новые рассказы, услышанные на горе Золотой черепахи. М., 1972 (перев. Д. Воскресенского и В. Сорокина).

[2] Полный перевод повести на русский язык см. в кн.: Лим Чже. Мышь под судом. М., 1964 (перев. Г. Рачкова).

[3] Русский перевод повести см. в кн.: «Черепаховый суп. Корейские рассказы XV—XVII вв.». Л., 1970 (перев. А. Троцевич).

деленно приходится на XVIII — начало XIX века. Известно несколько сотен повестей, но самих текстов их, записанных ранее XIX века, пока не найдено. Поэтому датировка повестей на корейском языке является весьма условной.

Повесть на корейском языке — специфическое явление корейской средневековой прозы XVII—XIX веков. Многие ее особенности определялись культурными представлениями традиционного общества на Дальнем Востоке. Читателей того времени не интересовало, кто и когда написал повесть, их занимал только сюжет — исторический (из жизни Кореи прошлых веков или соседнего Китая) или сказочный — с нагромождением однотипных, но необычайных событий (войн, кораблекрушений, сновидений и т. п.), с нарастанием конфликта, который, как правило, завершался благополучно путем вмешательства мудрого государя или же сверхъестественных сил. Повесть на корейском языке всегда изображает удивительные деяния необыкновенных героев. Это в большинстве случаев известные корейскому читателю того времени идеальные персонажи (лишь в поздних повестях XIX в. они становятся более реалистичными).

Главный герой повести обычно в самом начале обездоленный человек, но к концу изложения он обязательно вознаграждается за выпавшие на его долю испытания и занимает подобающее ему место в обществе. По приемам описания повести в одних случаях близки исторической биографии, в других — вымышленной биографии. Эта связь с предшествующими жанрами прозы подчеркивается и наличием традиционного знака «чон» (реже *«рок»* — «запись» или *«ки»* — «записки»). «Из всей прозы позднего средневековья,— справедливо отмечает А. Ф. Троцевич, специально посвятившая свое исследование старой корейской повести,— пожалуй, только повесть излагала на родном языке в общедоступной форме идеи социальной гармонии, представление о том, что благодаря «правильному» поведению и «высокой внутренней природе» человек может в конце концов подняться «наверх», как бы он ни был унижен в данный момент» [1].

В основу многих повестей легли литературно обработанные фольклорные произведения («Повесть о Хынбу») [2] или же новеллы из сборников *пхэсоль* (например, помещенная в томе новелла «Голый чедок в сундуке» явилась источником для поздней «Повести о чиновнике Пэ»). Нередко повести сами становились достоянием фольклора. Написаны такие повести языком, близким народному. Недаром они распространялись до их литературной обработки в форме устного сказания, рукописных списков и дешевых ксилографических изданий в различных вариантах. Их авторы стесня-

[1] А. Ф. Троцевич. Корейская средневековая повесть.

[2] Почти со всеми упоминаемыми здесь повестями на корейском языке читатель может познакомиться по сборникам переводов: «История о верности Чхун Хян. Средневековые корейские повести». М., 1960; «Повести Страны зеленых гор». М., 1966; «Роза и Алый лотос. Корейские повести (XVII — XIX вв.)». М., 1974.

лись показать свою причастность к «низкой», простонародной литературе. Не потому ли подавляющее большинство повестей анонимны?! Немало повестей было сокращенным переложением китайских романов (например, китайский роман о полководце Сюэ Жэнь-гуе был переработан в Корее в «Повесть о Сор Ингви [корейское чтение китайского имени]»). Язык этих повестей наполнен лексикой из ханмуна, текст их изобилует ссылками на древних авторов, аналогиями с классическими героями. Есть корейские повести и с сюжетами индийского происхождения. Так, индийская притча о драконе и обезьяне, известная по «Панчатантре», перекочевала в «Исторические записи о трех государствах» в преобразованном виде, как история о зайце и черепахе, которая стала бытовать также в форме сказки и лишь позже легла в основу «Повести о зайце».

Жанр повести на корейском языке представлен в настоящем издании двумя наиболее популярными в Корее произведениями. «Повесть о Хон Гильдоне» считается самой ранней среди произведений этого жанра. Авторство ее приписывается Хо Гюну (1569—1618). Утопическое царство справедливости, которое создает герой повести Хон Гильдон, напоминающий многими чертами Робин Гуда, перекликается с романом китайского писателя XIV века Ши Най-аня «Речные заводи». Вторая повесть — «Повесть о Чхунхян» является жемчужиной корейской средневековой прозы. История «запретной любви» Чхунхян и Ли Моннёна — корейский образец «Ромео и Джульетты». Перевод выполнен с краткого варианта, по всей видимости, конца XVIII века, который отличается от полных более динамичным развитием действия, активностью героев, живостью языка.

Среди прозы на корейском языке, сумевшей быстро овладеть умами и сердцами средневекового читателя, можно выделить и свою «высокую» прозу, которая распространялась в высших слоях общества. Одним из ее жанров были «дворцовые дневники», писавшиеся преимущественно придворными женщинами. Например, в «Записках обиженной», созданных женой наследника престола короля Ёнджо — госпожой Хон в конце XVIII века, рассказывается о страданиях нелюбимой женщины. Другим жанром «высокой» прозы явились многотомные романы на корейском языке. Зачинателем этого жанра был Ким Манджун (1637—1692). В романе «Облачный сон девяти» [1] он описывает историю любовных отношений монаха и восьми небесных фей. Герой романа приходит в конечном счете к буддийскому пониманию, что мирская суета, богатство и слава являются всего лишь коротким сном. Это произведение Ким Манджуна породило целую серию любовных романов-«снов» («Сон в нефритовом тереме», XVIII в., и др.). По-видимому, самым выдающимся корейским романом восемнадцатого столетия был роман «Им, Хва, Чон и Ён» — настоящая человеческая панорама, в которой участвуют несколько сотен действующих лиц. Наряду с романами любовного содержания в корейской литературе XVII—XIX веков хорошо

[1] Русский перевод А. Артемьевой и Г. Рачкова (М.—Л., 1961).

представлены семейные романы на корейском языке. В качестве семейных романов можно назвать «Скитания госпожи Са по югу» Ким Манджуна[1] и «Историю добродетельных и преданных долгу» неизвестного автора, в которых на примере взаимоотношений внутри одной семьи дается оценка поступков героев с точки зрения представлений о конфуцианских нравственных устоях.

Критическая направленность идейного течения «сирхакпха» была впервые перенесена в «высокую» литературу на ханмуне крупнейшим писателем и ученым-энциклопедистом Пак Чивоном (1737—1805). Велик вклад его в развитие реалистических тенденций в корейской литературе. В новеллах на ханмуне, включенных в его сборник «Неофициальная история павильона Пангёнгак», писатель с большой художественой силой отразил многие социальные проблемы эпохи («Повествование о дворянине-янбане», «Повествование о барышниках» и т. д.). Важное место в творчестве Пак Чивона занимает «Жэхэйский дневник» — путевые записи о поездке в Китай в 1780 году. В него вошли философская новелла «Повествование о студенте Хо», в которой писатель воплотил свои идеалы, изобразив бесклассовое утопическое общество, и помещенная здесь сатирическая аллегория «Отповедь тигра», в которой он бичует ханжество и жестокость в современном ему мире через восприятие дикого зверя.

Однако в целом развитие прозы на ханмуне шло уже к закату. Никаких открытий в области жанра не было. Корейская литература позднего средневековья стояла на пороге вступления в современный мир литературы, который настал для нее после очень краткого переходного периода «новой прозы» и «новой поэзии» на корейском языке в первые полтора десятилетия XX века.

Л. КОНЦЕВИЧ

---

[1] В русском переводе А. Троцевич опубликован в сб.: «История о верности Чхун Хян...». М., 1960.

КИМ БУСИК

ИЗ «ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ О ТРЕХ ГОСУДАРСТВАХ»

СЫН СОЛНЦА И ЛУНЫ — ТОНМЁН-ВАН

Основателем Когурё был священный государь Тонмён, происходил из рода Ко, а личное имя носил Чумон [1].

Это было давным-давно. Хэбуру, правитель страны Пуё, до старости не имел сына. Горы и реки молил он послать наследника. И вот однажды он оседлал коня и направился к озеру Копён. Там он увидел большой камень, из которого текли слезы. Правитель удивился и велел своим людям перевернуть его. Под камнем лежало дитя, похожее на лягушку золотистого цвета. Правитель возликовал:

— Небо ниспослало мне наследника!

Он взял его себе, дал ему имя Кымва — Золотая лягушка, вырастил и сделал наследником.

Однажды министр Аранбуль сообщил правителю:

— Нынче во сне низошел ко мне Небесный владыка и молвил: «Настанет время, и мой внук оснует здесь царство, а тебе придется оставить эти места. На берегу Восточного моря есть земля, зовется Касобвон. Там ровные, тучные поля, где можно растить пять хлебов, там ты и поселись».

---

[1] Комментарий автора: «Это имя еще произносят как Чхумо или Чунхэ».

Все это Аранбуль передал правителю. Вскоре столицу перенесли на новые земли, и страна стала именоваться Восточным Пуё. В прежней же столице объявился некто Хэмосу, назвавший себя сыном Небесного владыки. Он стал жить в столице.

Когда скончался правитель Хэбуру, на престол вступил Кымва. Однажды у реки Убальсу, что к югу от горы Тхэбэксан, он встретил женщину и спросил, кто она такая. Женщина назвалась Люхва, дочерью речного божества Хабэка, и вот что рассказала о себе:

— Однажды я вышла погулять вместе с младшими сестрами. Тут мне повстречался один мужчина, назвавшийся Хэмосу, сыном Небесного владыки, увлек меня в домик под горой Унсимсан на берегу реки Амноккан и соблазнил, но вскоре ушел и назад не вернулся. Отец и мать бранили меня за то, что я доверилась мужчине не просватанная, а потом выгнали меня из дома и поселили у реки Убальсу.

Кымва подивился, взял ее к себе и поместил в светелке. Солнце озаряло ее. Люхва старалась укрыться, но солнечный луч всюду следовал за ней и освещал ее. Люхва зачала и породила огромное яйцо, величиной в пять сын. Правитель бросил его собакам и свиньям, но те не стали есть. Тогда выбросил его на дорогу, но быки и лошади обходили его. Наконец решил оставить в поле, но птицы прикрывали его крыльями. Правитель хотел было разбить яйцо, но не смог, поэтому он вернул его матери. Мать завернула яйцо и положила в теплое место. Через некоторое время лопнула скорлупа, и наружу вышел мальчик. Обликом он был редкой красоты. Уже в семь лет он выказывал необыкновенные способности. Сам делал луки и стрелы и стрелял из них. Выпустит сто стрел — все сто попадут в цель! На языке Пуё «хорошо стрелять из лука» звучит как «чумон», поэтому его так и прозвали.

У Кымва было семь сыновей. Они всегда играли вместе с Чумоном, но в дарованиях превзойти его не могли. Как-то старший сын Тэсо сказал правителю:

— Чумон рожден не от человека, он храбр, и если загодя не помыслить о будущем, как бы не случилась беда! Надо во что бы то ни стало от него избавиться.

Правитель не послушал сына и отправил Чумона пасти лошадей. Юноша знал толк в конях: хороших кормил мало, чтобы худели, плохим давал корма побольше, чтобы жирели. Сам правитель ездил на тучных, а тощих отдавал Чумону. Однажды они охотились в поле. Поскольку Чумон был превосходным стрелком, ему дали немного стрел, но он все равно набил много зверей. Сыновья правителя и вельможи порешили убить Чумона, но его мать узнала об этом.

— Люди царства задумали навредить тебе,— предупредила она сына.— Ты сметлив. Подумай, как спастись. Уходи лучше отсюда подальше! Промедлишь — погибнешь!

Чумон бежал с тремя друзьями — Ои, Мари, Хёппу. Они подошли к реке Омхосу [1], но не было моста. Чумон, испугавшись, что преследователи нагонят их, обратился к реке:

— Я сын Небесного владыки, а по матери — внук речного божества Хабэк. Меня догоняют преследователи, они близко. Как быть?

Всплыли рыбы и черепахи и составили мост. Когда Чумон и его спутники переправились, они тут же уплыли, и погоня остановилась.

Чумон достиг долины Модунгок [2]. Навстречу ему попались три человека. Один был в льняном платье, другой — в стеганом, а третий — в одежде из речных водорослей.

— Кто вы такие? — спрашивает Чумон.— Какого рода? Как вас зовут?

Человек в льняном платье ответил:

— Меня зовут Чэса.

Человек в стеганом платье сказал:

— Меня зовут Муголь.

Человек в платье из речных водорослей, назвался Мукко. Но рода своего никто не мог назвать. Тогда Чумон пожаловал Чэса родовое имя Кык, Муголю — Чунсиль, а Мукко — Сосиль. Обратясь к народу, он сказал:

— Я получил повеление Неба и осную государство. По дороге я встретил трех мудрецов. Разве это не дар Небес?

Каждому он назначил дело по разумению и вместе со всеми прибыл в Чольбончхон [3]. Увидев, что земли здесь ровны, тучны и красивы, а горы и реки неприступны, Чумон решил воздвигнуть столицу. Не спеша стал строить дворцовые помещения, а для начала сплел из тростника хижину у реки Пирюсу и поселился в ней.

Свое государство Чумон назвал Когурё, поэтому и родовым его именем стало имя Ко [4]. В то время Чумону исполнилось двадцать два года, что приходится на второй год правления ханьского

---

[1] Комментарий автора: «Называют также Кэсасу. Находится к северо-востоку от реки Амноккан».

[2] Комментарий автора: «В «Вэйшу» сказано: «Достигли реки Посульсу».

[3] Комментарий автора: «В «Вэйшу» сказано: «Достиг крепости Хыльсынгольсон».

[4] Автор, комментируя этот отрывок, пишет: «Некоторые считают, что Чумон достиг Чольбон Пуё. У правителя не было сына. Увидев Чумона, понял, что это необычный человек. Женил его на своей дочери. Когда правитель умер, Чумон стал его преемником».

императора Юань-ди под девизом Цзянь-чжао и двадцать первый год правления государя Силла Хёккосе — то есть год «капсин». Слух о нем пошел повсюду, и люди со всех сторон собирались к нему. Земли его граничили с поселениями мохэ. Опасаясь, что разбойники нанесут вред его стране, он изгнал их, и те, испугавшись, более не решались напасть.

Однажды Чумон увидел, как вниз по реке Пирюсу плывут травы. Он понял, что кто-то живет в верхнем течении, и тотчас отправился на поиски и прибыл в страну Пирюгук. Правитель этих мест Сонъян вышел ему навстречу и сказал:

— Мы здесь, на морском побережье, живем одни, и по сию пору не видели столь благородного мужа. Это великое для нас счастье, что ныне мы с вами нежданно встретились! Но нам неизвестно, откуда вы пришли.

Чумон ответил:

— Я сын Небесного владыки и пришел, чтобы основать в этих местах столицу.

— Я правитель этой недостойной земли,— в ответ на это сказал Сонъян,— владения мои невелики, и для двух государей места здесь не найдется. Если вы построите в этих землях столицу, меня ведь вы сделаете своим подданным?

Чумону не понравились его речи. Они стали спорить друг с другом и решили устроить состязание в стрельбе из лука, но Сонъян не смог его одолеть...

ГОСПОЖА СОЛЬ

Госпожа Соль — дочь чиновника Юлли. Хотя и происходила она из бедного рода, была хороша собой, нрава строгого и поведения добродетельного. Все любовались ее красотой, но оскорбить ее не смел никто.

В правление государя Чинпхён-вана ее престарелый отец должен был в свою очередь нести осеннюю пограничную службу в Чонгоке. Он был немощен и болен, дочь тревожила долгая разлука, но она была женщиной и не могла отправиться вместе, чтобы ухаживать за ним. Оставалось ей только страдать.

А в это время в Сарянбу жил молодой человек по имени Касиль. Он был беден и незнатен, однако отличался умом и добропорядочностью. Давно уже пленила его сердце дочь господина Соль, но он не смел и заикнуться об этом. Прослышав, что отец девушки должен отправиться на военную службу, он пришел к Соль:

— Хотя я и не из храброго десятка, но могу сказать, что в свое время обладал воинским духом. Разрешите мне, недостойному, пойти служить заместо вашего батюшки.

Соль обрадовалась и рассказала об этом отцу. Отец позвал его:

— Я слышал, вы хотите отправиться вместо меня, старика. Не могу не радоваться, но и боюсь за вас и надеюсь отблагодарить. Коли мы не кажемся вам слишком низкими и вы не откажетесь, то хотел бы отдать вам свою юную дочь в жены, в чьих руках, как говорится, будет и сито и метла.

Касиль дважды поклонился:

— О таком я не смел и мечтать, но вы сами этого пожелали!

Уходя, Касиль спросил, когда будет свадьба. Соль ответила ему:

— Со свадебной церемонией торопиться не стоит. Я отдала вам сердце и теперь до самой смерти не изменю своих чувств. Сейчас вы поезжайте служить, а когда окончите службу и вернетесь, мы тут же выберем счастливый день и сыграем свадьбу.

Затем она вынула зеркало, разломила его пополам, и они взяли себе по куску.

— Пусть это будет знаком нашей верности,— сказала Соль.— Наступит день, когда мы вновь соединим обе половинки!

У Касиля был конь, которого он оставил Соль.

— Это лучший конь в поднебесье. Я очень дорожу им, но теперь я должен ехать, и ходить за ним некому. Вы уж присмотрите!

С тем он и уехал.

Шло время. Из-за разных событий в государстве людей на смену не посылали, и Касиль задержался в службе еще на шесть лет, и тогда отец сказал дочери:

— Назначили три года службы, а нынче уж и сроки все минули. Почему бы тебе не выйти за другого?

— Прежде, чтобы угодить родителю, я дала согласие Касилю,— ответила Соль.— Касиль поверил мне и теперь много лет на военной службе страдает от холода и голода. Он защищает границы от врагов, не выпуская из рук оружия, будто перед ним тигриная пасть, он все время настороже, как бы тот не укусил. Было бы жестоко нарушить верность, забыть обещание. Я не могу подчиниться вашему приказанию и надеюсь, что вы снова об этом не заговорите!

Отец ее был стар, и в голове у него словно помутилось. Он думал только об одном: дочь стала взрослой, а мужа нет, надо непременно выдать ее замуж,— и он договорился о браке с односельчанином. Назначили день, отец пригласил этого человека, однако Соль наотрез отказалась. Она даже решила тайно сбежать из дома, но не уступить. На прощанье девушка вошла в конюшню и, увидев коня, оставленного Касилем, тяжело вздохнула и залилась слезами.

А Касиля между тем сменили, и он вернулся домой, исхудавший, платье все в лохмотьях. Даже Соль не узнала его и приняла за чужого. Тогда Касиль стал перед ней и протянул обломок зеркала. Соль взглянула на него и расплакалась. Отец и все домочадцы обрадовались его возвращению, выбрали счастливый день и сыграли свадьбу. Соль и Касиль прожили вместе до глубокой старости.

СОЛЬ ЧХОН И «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЦАРЮ ЦВЕТОВ»

Прозвищем Соль Чхона было Чхонджи — «Ясновидящий». Деда звали Тамналь, а отца — Вонхё. Сперва Соль Чхон стал буддийским монахом и глубоко изучил буддийские сочинения, потом он вернулся в мир и сделался известен под именем «Сосонский отшельник».

Чхон обладал ясным и проницательным умом. С самого рождения он постиг учение даосов. А еще переложил на родной язык девять классических книг и обучил этому своих последователей. Ученые до сих пор чтут его. Он и сам умел сочинять, но теперь уж не осталось тех, кто помнил бы его творения. Лишь где-то в дальних южных землях сохранилась надпись на памятном камне, сделанная Соль Чхоном, но она совсем истерлась, так что прочесть ее уже нельзя, и теперь неизвестно, что там было сказано.

Как-то в середине лета великий государь Синмун-ван, отдыхая в высоком и светлом покое, обратился к Соль Чхону:

— Только что кончились затяжные дожди, чуть веет свежий ветерок. Мы вкушаем дивные яства, внимаем приятной музыке, но ничто не сравнится с изящною речью и доброю шуткой, способными утишить даже яростный гнев. У тебя, сын мой, наверняка найдется удивительная история. Отчего бы тебе не рассказать ее нам?

— Хорошо, послушайте! — ответил Соль Чхон.

Жил некогда Царь цветов. Его вырастили в благоуханном саду под зеленым шатром. Вот настал третий месяц весны, и он пышно расцвел. Царь цветов высился один, прекраснее всех цветов. И вот тогда духи разных прелестных цветов, и дальние и ближние — все поспешили навестить царя, боялись только, что не поспеют вовремя. Среди них оказалась какая-то красавица, румяная лицом, с нефритовыми зубами, искусно подкрашенная и в нарядном платье. Легкой походкой она подошла к царю и с изящным поклоном промолвила:

— Я ступаю по песку, белому, как снег, смотрюсь в зеркало чистого моря, умываюсь весенним дождем, и грязь не касается

меня. Рукава мои овевает свежий ветер, доставляя мне удовольствие. Я — Красная роза. Прослышав о достоинствах Царя, я хотела бы служить вам за благоуханным пологом у подушки. О великий государь, снизойдите ко мне!

Следом почтительно приблизился к царю седовласый муж в холщовом одеянии, подпоясанный кожаным поясом, с посохом в руках.

— Я живу за столицей,— произнес он,— у обочины большой дороги. Передо мной расстилается безбрежная равнина, а наверху — горы с отвесными скалами. Я — Анемон, Белоголовый старец. Ваши приближенные живут в достатке, лучшая еда наполняет их чрево, чай и вино очищают души, а сундуки полны добра, но кажется мне, всегда нужно иметь хорошее снадобье для укрепления духа и «дурные камни» для избавления от немощи. Не зря говорят: «Даже если есть шелк и конопля, не выбрасывай осоку и тростник!» А потому благородный муж всегда держит наготове то, чем можно заменить недостающее. Что об этом думаете вы, государь?

Кто-то стоявший рядом проговорил:

— Пришли двое. Кого же оставить, а кого отпустить?

— Ты прав,— сказал тогда Царь цветов,— но ведь и красавицу добыть трудно! Как же поступить?

— Я слышал, что государь мудр и справедлив,— ответил старец,— потому и пришел сюда. Но правители обычно приближают к себе бесчестных льстецов, а справедливых и честных отдаляют. Вот почему Мэн Кэ до конца жизни не пользовался благосклонностью у императора, а Фэн Тан до седых волос остался в маленьком чине. Так идет с древних времен, что поделать?

— Я был неправ! Я был неправ! — вскричал Царь цветов.

Выслушав историю, государь Синму-ван внезапно переменился в лице и проговорил:

— Слова твоей притчи искренни и полны глубокого смысла. Я прошу записать ее и назвать «Предостережение государям».

А Соль Чхону он пожаловал высокую должность.

Из поколения в поколение рассказывают, будто один архат из Японии преподнес Солю, бывшему тогда посланником Силла, стихи, а в предисловии к ним написал: «Некогда я читал сочинение Вонхё «Шастра о самадхи по Алмазной сутре» и глубоко сожалею, что не пришлось встретиться с этим человеком. Я узнал, что посланник Силла Соль — внук праведника. Мне не довелось видеть вашего предка, но рад встрече с его внуком, поэтому я сочинил стихи и преподнес их вам». Стихи эти сохранились и поныне, но имена его потомков неизвестны.

На тринадцатом году по вступлении на престол нашего государя Хёнджона, в год «имсуль» — начальный год правления «Цянь-син» — Соль Чхону был пожалован посмертно титул «Хонъюху». Кто-то рассказывал, будто Соль Чхон ездил учиться в Танское государство, но правда ли это, неизвестно.

ИРЁН

ИЗ «ДОПОЛНЕНИЙ К ИСТОРИИ ТРЕХ ГОСУДАРСТВ»

ВОНХЁ, СБРОСИВШИЙ С СЕБЯ ПУТЫ

Мирская фамилия мудрейшего наставника Вонхё была Соль. Дед его — Инпхи-гон или, как еще говорят, Чоктэ-гон. Ныне вблизи озера Чоктэён есть родовой храм Инпхи-гона. Отец его, Тамналь, занимал должность нэмаля. Сам он родился под деревом Пхара в долине Юльгок, что находится к северу от деревни Пульджи в южной части уезда Амнян (ныне — уезд Чансан). Деревню, кроме Пульджи, называют еще Пальджи (в народе же ее называют Пульдыныль).

О дереве Пхара рассказывают так: род Мудрейшего наставника искони жил на землях к юго-западу от этой долины. Его матушка, будучи на сносях, в полнолуние переходила через эту долину и разрешилась под необычным каштановым деревом. Естественно, задержалась и не смогла дойти до дому. И тогда она, развесив на ветвях дерева одежду своего мужа, провела ночь под этим укрытием. Так дерево и назвали деревом Пхара — «Деревом, где матушка развесила одежду».

Плоды этого дерева были также необычны. До сих пор подобные каштаны называют каштанами Пхара. В старом жизнеописании говорится: «Некогда настоятель монастыря разрешил служке каждый вечер брать на ужин по два каштана. Служка возблагодарил настоятеля за щедрость. Настоятелю это показалось странным, он взял каштан и рассмотрел его. Один плод заполнял собой чашку для милостыни. И тогда он, уменьшив долю служки наполовину, распорядился брать по одному каштану на ужин. Отсюда и пошло название Юльгок — «Каштановая долина».

Став монахом, Вонхё обратил свой дом в монастырь под названием Чхогэ — «Открытый впервые». А тот монастырь, который был установлен рядом с деревом, назвал Пхара.

В перечне деяний Мудрейшего наставника говорится: «Он — наставник из столицы. Пошел по стопам своего деда», а в «Жи-

тиях танских подвижников» написано: «Он родом из Хасанджу». За два года, которые приходятся на годы правления под девизом «Линь-дэ», государь Мунму-ван отрезал земли от Санджу и Хаджу и учредил область Самнянджу. Хаджу — это нынешний округ Чханнёнгун, а Амнянгун изначально принадлежал как уезд к области Хаджу. То Санджу и есть нынешнее Санджу; это название еще пишут иначе, но читается тоже Санджу. А деревня Пульджи ныне отнесена к уезду Чаин, она как раз и была отделена от местности Амнян.

По рождении Мудрейший наставник имел детское имя Содан и еще другое — Синдан («дан» на местном наречии — «волосы»). В свое время матушка его увидала во сне, как падающая звезда вошла ей в грудь. От этого она и зачала, а когда собралась рожать, пятицветные облака окутали землю. Было это на тридцать девятом году правления Чинпхён-вана и на тринадцатом году эры Да-е.

От рождения Мудрейший был совершенно удивительным человеком и в учении не следовал никому из наставников. Истории о том, как он бродил повсюду, о том, каким необыкновенным было его проникновение в Учение и каким выдающимся следование заветам Будды,— все это есть в «Житиях танских подвижников» и перечне его деяний, и здесь ни к чему поминать. Стоит обратить внимание лишь на один-два случая, помещенные в наши жизнеописания и отражающие необычные его поступки.

Как-то однажды Мудрейший наставник, впавши в безумие запел среди улицы: «Кто подберет мне топор без топорища? Я подрублю столб, подпирающий небо!» Никто ничего не понял, но тут его услышал государь Тхэджон и сказал:

— Этот наставник говорит, что ему нужна знатная невеста, которая родит сына-мудреца. А для государства нет большего блага, чем иметь мудреца!

В то время во дворце Ёсоккун — «Яшмовом дворце» (ныне там Хагвон — Академия) жила одинокая принцесса. Она как раз велела дворцовым слугам разыскать и привести Вонхё. Слуги, согласно повелению, отправились на розыски. А он меж тем шел по мосту через реку Мунчхон, что по пути с Намсана. (Эту реку еще называют Сачхон. На местном же наречии — Нёнчхон или Мунчхон. Мост еще называют Югё.) Тут они его и встретили. Вонхё тотчас свалился нарочно в воду, и одежда его промокла. Его привели во дворец, он снял одежду и стал сушить ее на солнце. И, естественно, остался ночевать во дворце. Принцесса же и впрямь после этого понесла и разрешилась Соль Чхоном.

Соль Чхон от рождения был мудр и прозорлив, глубоко постиг классиков и исторические сочинения и почитается одним из десяти мудрецов Силла. С помощью родного языка он, проникнув в имена

вещей, в обычаи Китая и нашей земли, истолковал классиков. До сего времени в «Стране, лежащей к востоку от моря», конфуцианцы передают из поколения в поколение свои знания, и эта традиция не ведает перерыва.

Вонхё тогда утратил заповеди и породил Соль Чхона. С тех пор он сменил одежду на мирскую и назвался «Сосонским отшельником». Как-то он раздобыл огромную тыкву, на которой подыгрывают танцам бродячие актеры. Она была необычных очертаний, и по ее образцу впоследствии стали изготовлять монашескую утварь. Согласно сутре «Хуаяньцзин»: «Единственно важно — не надо мешать человеку. Единственный путь — выйти за пределы жизни и смерти». И он дал название своей тыкве «Муэ» — «Не надо мешать». Как и раньше, он слагал песни и пускал их по свету. Он все время носил эту тыкву с собой по деревням и селам, распевал песни и танцевал. Он склонял мирян к Учению своим пением и возвращался назад. Он добился того, что все нищие и побродяжки знали имя Будды и прославляли его. Обращенных стараниями Вонхё было великое множество.

Деревня, где он родился,— Пульджи; его монастырь — Чхогэ. Сам он называл себя Вонхё, а это означает «Впервые воссиявшее солнце Будды». «Вонхё» также и местное слово. Люди того времени все как один звали Мудрейшего наставника на местном наречии — «Рассвет».

В бытность свою монахом он отправился в монастырь Пунхванса и составлял комментарий к сутре «Хуаяньцзин». Дошел до сороковой ступени и отложил кисть. Некогда его также славили за то, что он, как говорится, разделял свое тело на сотню сосен, оставаясь верным опоре — «первозданной почве». Также в свое время, когда, по наущению дракона моря, удостоился Вонхё государева указа, заставшего его в дороге, он составил комментарий к сутре «Саньмэйцзин». При этом он клал свои кисти и тушечницу между рогами вола, почему сочинение его и получило название «Рогатая колесница». К тому же он выявил сокровенный смысл двух видов просветленности. Великий наставник Тэан, явившись, расположил в порядке написанное и, вникнув в него, предложил свою помощь Вонхё.

Как только Мудрейший наставник Вонхё перешел в нирвану, Соль Чхон раздробил его кости, вылепил его изображение и поместил в монастыре Пунхванса, выражая при этом безграничное его почитание. Но как только Соль Чхон начал церемонию подле изображения, оно внезапно отвернулось. Так оно и до сих пор повернуто.

Говорят, что рядом с пещерным храмом, где жил Вонхё, сохранились развалины дома Соль Чхона.

В славословии сказано:

Когда плясал он, поднимался ветер
и появлялась полная луна.

«Рогатой колесницею» впервые
суть сутры «Саньмэйцзин» он проявил.

А в «Яшмовом дворце» с Вольмён-принцессой
весеннего познал объятья сна...

Скончался в Пухванса — в уток пустотный
Теней бесплотных вечный взор вперил [1].

ИЗ «ВОСТОЧНОГО ИЗБОРНИКА»

ЛИМ ЧХУН

ИСТОРИЯ ДЕНЬГИ

Величали Деньгу Кунфан — «Квадратная дырка», а прозывали «Связкой». В давние времена его предок жил уединенно в пещере горы Шоуяншань, никогда никому не показывался и не служил людям. Впервые мало-помалу стали извлекать его на свет во времена Хуан-ди, но по природе он был тверд и еще не очищен в печи — не искусен в делах своего века. Тогда государь призвал кузнеца, дабы тот на него взглянул. Кузнец долго к нему присматривался, наконец сказал:

— По своей сути он — руда из горной глухой стороны, и невозможно пускать его в ход, как он есть, пока он еще словно сырая глина. Но дайте ему порезвиться в плавильном котле да под молотом — там, где вы, государь, творите и изменяете вещи, а потом соскоблите с него грязь да отчистите до блеска — вот тогда проявятся его природные свойства. Когда высокомудрый правитель использует людей на службе, он оценивает их по достоинству, и хотел бы, чтобы вы, государь, не сочли его просто куском негодной меди.

Вот почему предок Деньги и прославился в мире. Затем, правда в смутные времена, он удалился, скрылся, как говорится, на реках и озерах, и тогда-то завел себе дом. Отец Деньги, Монета, будучи канцлером при династии Чжоу, ведал налогами страны.

[1] Перевод стихов Г. Ярославцева.

Сам же Деньга был круглый снаружи, квадратный внутри, ловко подлаживался к потребностям времени и приноравливался к переменам.

При династии Хань он служил великим глашатаем, а когда Пи, правитель владения У, слишком возомнил о себе, повел себя как император и самоуправно стал лить монету, Деньга принялся действовать вместе с ним во имя прибыли.

Во времена У-ди страна была разорена. Правительственные сокровищницы и амбары опустели. Обеспокоенный государь предложил Деньге высокий пост, пожаловал ему титул «Князя — обогатителя народа». Он угнездился при дворе вместе со своим приспешником Куном — «Дыркой», который в то время был в должности «Помощника управляющего солью и железом». Дырка величал Деньгу старшим братом, а по имени не называл.

Деньга от природы обладал алчной и грязной душой, не имел ни углов, ни принципов — катился окольными путями. Когда он стал управлять казною, излюбленным его приемом сделалось уравновешивание легких и тяжелых монет. Деньга считал, что польза для государства не обязательно состоит в возвращении древних порядков, но большею частью коренится в способах формовки и литья. Потому-то он и состязался с простолюдинами из-за пустячной выгоды,— то подымал, то снижал цены, презирал хлебные злаки и ценил средства обмена. Деньга побуждал народ бросить главное занятие — земледелие и гнаться за второстепенным — торговлей. Все это подтачивало основы сельского хозяйства.

Встревоженные советники государя то и знай подавали ему доклады, высказывали устные опасения, но государь не внимал.

Деньга же, умело оказывая услуги знатным семьям, стал вхож в их дома. Злоупотребляя властью, он продавал титулы. Повышения и увольнения чиновников — все было в его руках! Даже многие министры были у него в услужении.

Деньга копил богатства, его деловые бумаги громоздились целыми горами, так что невозможно было их и сосчитать. Когда Деньга сближался с кем-либо, он не любопытствовал, достойный ли это человек, водил дружбу даже с теми, кто торговал на рынке и у колодцев, кто без зазрения совести наживал богатство. Деньга, что называется, вращался на рынке. Ему случалось даже, заодно с испорченными юнцами из деревень и селений, играть в азартные игры. Он весьма охотно раздавал любые обещания, отчего современники говорили о нем: «Одно лишь слово Деньги весомо, будто сто цзиней золота!»

Когда на престол вступил Юань-ди, Гун Юй подал императору доклад: «С давних пор ведает Деньга многочисленными делами, но важности земледелия не понимает. Он только и знает, что умно-

жать прибыли от казенных монополий, а сие подтачивает государство и вредит народу. И частные лица, и казна — все впало в крайнюю нужду. Взяточничество ведет к беспорядкам и путанице, а власть имущие открыто потворствуют этому. Важные посты занимают мелкие людишки, и оттого развелись смутьяны. Все это предвещает великие перемены. Прошу Вас уволить Деньгу с должности, дабы это послужило назиданием алчным и низким».

В то время среди стоящих у власти были и такие, кто выдвинулся благодаря знанию комментария Гуляна к «Веснам и Осеням». Они-то и вознамерились использовать средства, предназначенные для войска, чтобы установить новую пограничную политику. Ненавидя Деньгу, они поддержали совет Гун Юя, и тогда император внял его докладу. Деньга был разжалован и отстранен. Своим приверженцам, которые жили у него на хлебах, он заявил:

— Я на краткий миг повстречался с императором, который один, подобно мастеру, формующему глину на гончарном круге, изменял обычаи своего народа. Мне хотелось с его помощью сделать достаточными государственные средства и обильными богатства простолюдинов. Ныне из-за крошечной провинности меня оклеветали и вышвырнули, но ведь сам я ничего не добавил, не убавил к своему выдвижению и применению на службе. К счастью, у меня осталась жизнь, которая не прервалась, подобно тонкой нити. Однако, поистине, как из пустого меха не нацедишь вина, так и отвергнутый сановник должен молчать. Я удаляюсь на покой. Следы мои исчезнут, словно на пруду, поросшем ряской. Ну а я — на реках Янцзыцзян и Хуайшуй — предамся иным занятиям: закину леску в ручей Жое, буду удить рыбу и скупать вино. Вкупе с торговцами миньской земли и морскими купцами поплыву я в лодке, груженной вином! Только так и стоит завершить свою жизнь! Разве соглашусь я променять все это даже на жалованье в тысячу чжунов зерна и на еду сановника, высокий чин, дозволяющий приносить жертвенную пищу в пяти треножниках? Однако я думаю, что мои приемы управления через долгое время возродятся!

И верно! При династии Цзинь некий Хэ Цяо, прослышав о нравах, оставшихся в наследство от Деньги, обрадовался им и скопил несметное состояние — в сотни миллионов! Тогда любовь к ним обратилась у него в страсть, по какой причине Лу Бао и написал трактат, в котором порицал это и призывал к исправлению обычаев, привитых Хэ Цяо.

Юань Сюань-цзы, имея широкую натуру, не находил удовольствия в заурядных людях. Он стакнулся с последователями Деньги и, опираясь на посох, отправлялся на прогулку, заходил в кабак, брал там вино и пил.

Уста Ван И-фу никогда не произносили имени Деньги, он называл его просто «эта дрянь». Вот как пренебрегали им честные и прямые люди.

Когда возвысилась династия Тан, Лю Янь назначен был ведать счетом расходов. И поскольку средств не хватало, он просил восстановить методы управления, введенные Деньгой, для удовлетворения нужд государства. Рассказ об этом помещен в «Трактате о пище и деньгах».

Сам Деньга к тому времени давно уже скончался, ученики его переселились и разбрелись повсюду. Но тут все пустились разыскивать их, а когда находили, возвышали их и вновь начали использовать на службе. Поэтому приемы, введенные Деньгой, были в большом ходу в годы Кай-юань и Тянь-бао. Самому же Деньге императорским эдиктом посмертно пожаловали титул Придворного подателя советов и помощника малого казначея.

В правление Шэнь-цзуна династии «Огненная Сун» Ван Ань-ши, став у власти, привлек на службу Люй Хой-цина; вместе они помогали государю в правлении и учредили плату за зеленые всходы. В Поднебесной тогда начались беспорядки и наступила великая нужда. Су Ши в докладах императору обстоятельно обсудил этот изъян их нововведений и хотел было полностью устранить его, но случилось обратное: он сам попал в западню, после чего был разжалован и изгнан. После этого честные ученые при дворе уже не смели говорить правду.

Но вот на должность первого министра вступил Сыма Гуан. Он подал доклад государю об отмене законов Ван Ань-ши. По его рекомендации вновь взяли на службу Су Ши. Тогда только последователи Деньги стали понемногу хиреть, уменьшаться в числе и уж более не имели успеха. Сын же Деньги, Кругляк, осуждался людьми своего века за легковесность, а после, когда он стал главным смотрителем вод и парков, обнаружилось, что он наживался в обход закона, и его казнили смертью.

Историк говорит:

«Можно ли назвать верноподданным того, кто, будучи на службе у государя, таит в себе двоедушие ради сугубой выгоды? Деньга сосредоточил все свои духовные силы на том, как обходиться с законом и с правителем. Благодаря дружбе с государем, которого он держал за руку, настойчиво внушая ему свои мысли, он получал от него безмерные милости. Он должен был бы умножать его выгоду, устранять грозящий ему вред и тем отблагодарить за милостивое отношение. А он вместо этого помог Пи присвоить государеву власть и сплотил вокруг себя зловредных сторонников. Да, Деньга не был тем верноподданным, что не заводит связей за пределами царства! Когда же Деньга скончался, его последыши

снова вошли в силу и при «Огненной Сун» стали приниматься на службу. Они льстиво примыкали к власть имущим, а честных людей, напротив, ловили в западню. Никому не ведомо, как обернется дело, выгодой или невыгодой, но если бы некогда император Юань-ди последовал совету Гун Юя и однажды утром казнил всех приспешников Деньги, можно было бы все же отвести грядущие беды. Но он перестал ограничивать и проверять прибыли — и вот пороки разрослись и в последующие века. Как можно, чтобы тот, кто предупреждал об этом заранее, некогда пострадал бы от недоверия к своим словам?»

ЛИ ГЮБО

ПРЕМУДРЫЙ ХМЕЛЬ

Премудрый господин Цюй, то есть Хмель, по прозвищу Чжунчжи, что означает «Меткий», был из округи Винный источник. Еще во младые его годы его полюбил великий бражник Сюй Мо, который и дал ему имя и прозвище. Дальние родичи Хмеля происходили из места Теплынь, где усердно работали на поле и пожинали плоды трудов. Когда воины царства Чжэн напали на Чжоу, то среди прочей добычи они прихватили с собой и хмелевых родичей, почему в названном царстве и завелись некоторые его потомки. Имени прадеда историки не сохранили. Деда же звали Моу — Ячмень. Ячмень-то и перебрался некогда в округу Винный источник, дав корень всему Хмелеву роду.

Отец Хмеля, господин Белое вино, служил вначале досмотрщиком в Пинъюане, где и женился на дочери господина Просо, ведавшего казною и хлебом. Вскоре у них народился сынок, которого серьезность и невозмутимость прославились с самого детства. Както пришел к отцу гость, увидал Хмеля и тут же полюбил его. «У этого младенца сердце,— промолвил гость,— огромное, словно бы море. И сколько ни очищай его, прозрачней оно не станет, сколько ни волнуй, не замутится! Чем беседовать с тобой, повеселюсь-ка я лучше с этим маленьким мудрецом».

Когда Хмель повзрослел, с ним водили дружбу Лю Лин из Чжуншаня, воспеватель пиров, и певец вина Тао Цянь из Сюньяна. Однажды они сказали: «Если не видишь Хмеля хотя бы день, так и чувствуешь, что в тебе пробиваются ростки скаредности». И они проводили с ним дни напролет, забывая об усталости, и возвращались к себе упоенные сердцем.

Из округи призвали Хмеля на службу в заведение «Гора винных дрожжей», но не успел он добраться до места, как был при-

глашен чиновником особых поручений в Цинчжоу, от названия которого веет Чистым вином. Вельможи наперебой рекомендовали его к повышению, и государь приказал назначить его экипажмейстером. Спустя некоторое время государь призвал к себе Хмеля, беседовал с ним и, отпуская его, произнес: «Значит, ты и есть тот самый Хмель, рожденный в Винном источнике? Я хотел бы, чтобы твое ароматное имя сохранилось как можно дольше». Следует заметить, что как раз перед тем придворный историограф докладывал государю, что ярче засияла звезда Цзюцисин, и — вскоре явился премудрый Хмель! Подобное совпадение весьма поразило государя, и он сделал Хмеля телохранителем, ответственным за прием гостей, а немного спустя назначил на должность главного кравчего и одновременно устроителя пирований. Хмель стал ведать также церемониями на пирах, весенними и осенними жертвоприношениями в храме предков, и всякий раз его величество был упоен его послушанием. Оценив дарования Хмеля, государь назначил его верховным прокурором и исполнился небывалым к нему почтением. Когда Хмель являлся к государю, тот сей же миг приказывал ему подняться в тронный зал и величал его не по имени, а только так: «господин Хмель». И если государь был огорчен чем-либо, но видел, что к нему поспешает премудрый Хмель, он начинал смеяться от радости. Вот с какой любовью относился государь к Хмелю.

Ласковый и уступчивый Хмель день ото дня становился все более близок его величеству. Он никогда и ни в чем не перечил своему господину, что весьма способствовало его возвышению и славе его имени. Сопровождая государя, он беспрепонно бывал на всех пированиях.

Его сыновья: Ку — Крепкое вино, Бао — Молодое вино и И — Отличное горькое, пользуясь благосклонностью государя к родителю, вели себя весьма вольно и распустились донельзя, так что главный писец по прозванию Кисточка принужден был подать на высочайшее имя докладную записку с жалобой на них. В ней говорилось:

«Неумеренная любовь, которой злоупотребляют Ваши подданные, причиняет ущерб всей Поднебесной. Ныне премудрый Хмель, чьи способности можно вместить в бамбуковую корзинку, успешно продвигается по служебной лестнице. И хотя достиг он высшего третьего ранга [1], в глубине души это разбойник. Ему нравится ранить и увечить людей. Тысячи тысяч их кричат от возмущения, отчего у них и болит голова и ноет сердце. Это не преданный чиновник, способный излечить государство от пороков, а доподлинный разбойник, губящий народ. К тому же трое сыновей Премуд-

[1] Вино бывает трех сортов.— *Прим. автора.*

рого, пользуясь Вашим благорасположением к их отцу, бесчинствуют и распутничают, доставляя людям одни страдания. Прошу Ваше величество пожаловать их всех смертью и тем самым заткнуть рты возмущенной толпе».

Едва докладная записка коснулась до государева слуха, отпрыски Хмеля покончили с собой, выпив отравленное вино, настоянное на перьях птицы чжэнь, а сам Премудрый, будучи замешан в сем деле, низложен был до положения простолюдина. Некто, по имени Кожаный бурдюк, также испустил дух, попавши под повозку. А ведь прежде, заметим, он отличался добрым нравом и остроумием, почему и обрел любовь государя и вошел в дружбу с премудрым Хмелем. Во время выездов государь препоручил ему следовать в свите. Как-то он прилег от усталости, а премудрый Хмель шутливо сказал ему: «У вас, уважаемый, брюхо-то огромно, но пусто, словно пещера. Зачем вам такая прорва?» Тот ему и ответил: «Да чтобы вместить сотни таких, как Вы, сановник!» Вот так они, бывало, шутили.

После отстранения Премудрого от должности между округой Ци и областью Гэ стала бродить шайка бандитов. Государь хотел отдать приказ о том, чтобы разделаться с нею, но никак не мог найти, кому бы поручить это. И тогда он снова выдвинул Хмеля, назначив его главнокомандующим. Премудрый держал войско в строгости и делил вместе с воинами все радости и все лишения. Одним ударом овладел он крепостью Чоучэн — «Город печали», залив ее вином, и, воздвигнув там вал Вечных наслаждений, возвратился назад. Государь наградил премудрого Хмеля за подвиги и пожаловал ему титул «князя владений к востоку от реки Сян». Но через год Премудрый подал записку на высочайшее имя, в которой просил об отставке:

«Ваш покорный слуга происходит из бедного дома об одно окошко — да и то из черепков глиняного кувшина! В юности был я нищ и презираем. Я сполна и во всем зависел от других, пока не встретил Вас, всесовершеннейший государь. Вы отнеслись ко мне с сердечною искренностью и стали оказывать великие милости, не раз упасая от бед. Вы дали мне место, как земля дает место рекам и озерам! Однако я опозорил великие Ваши деяния, ничего не прибавив к чести страны. Я попрал долг почтительного слуги. Ныне я ухожу на покой в родное селение. Явленная ко мне милость, наверное, иссякнет, но дозвольте мне сохранить последние капли жизни, чтобы радоваться свету солнца и луны. Опрокинутый винный сосуд можно снова наполнить, а наполнив, снова перевернуть. Таков непреложный закон естества! И сейчас Ваш покорный слуга страдает недугом чрезмерной жажды. Жизнь его уходит, подобно пузырям на воде. Повинный в великих винах,

высказал Вам все единым духом, чтобы Вы отпустили меня на покой и даровали мне мирный остаток дней».

Издан был высочайший указ, в коем разрешения на просьбу Премудрого не содержалось, но государь отправил в дом Хмеля гонца с корою коричного дерева, благовонным аиром и другими снадобьями, дабы осведомиться о здравии страждущего Хмеля и поддержать его в его болезни. С той поры Премудрый неоднократно посылал государю докладные записки с прежнею просьбой, и в конце концов его величество изъявил свое согласие. Хмель воротился в родные места, где и скончался от старости.

Младший брат премудрого Хмеля был также весьма светлого ума и дослужился до жалованья в две тысячи даней зерна в год. Дети его: И — Игристое вино, Доу — Водка двойной перегонки, Ян — Темная водка и Линь — Выдержанное вино — принимали древний настой из персиковых цветов, желая обрести бессмертие. Его молодые сородичи: Чжоу — Водка тройной перегонки, Мань — Дрожжевой грибок и Тань — Вино с подмешанным ядом — все были приписаны к службе, ведавшей запретом воды, и т. д. и т. п.

Историк говорит:

«Основным занятием рода Хмеля из поколения в поколение оставалось земледелие. Благодаря своим добродетелям и способностям премудрый Хмель стал для государя тем, чем являются сердце и желудок для простого смертного. Он управлял делами государства, сообразуясь с обстоятельствами, и тем самым обогащал сердце государево. Подвиги, им совершенные, принесли государству великое умиротворение, страна опьянилась покоем. Разве это не прекрасно?! Однако же, достигнув благорасположения государя, он едва не потряс устои. И хотя на сыновей его обрушились несчастья, он нисколько не раскаивался в своих поступках и в преклонном возрасте, понимая и ведая меру, сам ушел в отставку и затем тихо опочил. Разве не о том сказано в «Книге перемен»: «Если улучишь подходящий миг и начнешь действовать, приблизишься к совершенномудрым»?!»

ЛИ ГОК

БАМБУЧИНКА

Госпожа была из рода Бамбуков, а звали ее Опора. Она — дочь того самого Огромного Бамбука с берегов реки Вэйшуй, который служил удилищем Цзян-тайгуну, а весь их род произошел от Молодого Бамбука. Предок ее отличался тонким слухом и мог

служить дудочкой, поэтому Хуан-ди повелел выкопать его и назначил ведать музыкой. Чудесная свирель Юя, звучавшая во времена благоденствия,— его потомок.

Еще в давние времена Молодой Бамбук перебрался с севера, с гор Куньлунь, на восток. Во времена государя Фу-си он вместе с Кожей ведал писаниями и имел в них большие заслуги. Потомки продолжили его дело и стали историками. Но вот начались Циньские бедствия, когда по замыслу Ли Сы сжигали книги и закапывали в землю конфуцианцев. Род Молодого Бамбука совсем захирел.

А тут еще во времена Хань некто Бумага из дома Цай Луня в совершенстве овладел письмом и приворожил к себе Кисть. В те времена он водил дружбу с господином Бамбуком, но еще тогда этот Бумага слыл гулякою и клеветником. Ему не по нраву пришлись стойкость и прямота Бамбука. Втихомолку подослал он Червя, он сгубил Бамбук, а Бумага завладел его должностью.

В правление династии Чжоу росли те самые потомки Бамбука, среди которых жил Удилище, вместе с тайгуном удивший рыбу на берегу реки Вэйшуй. Удилище частенько говаривал своему другу:

— Я слышал, что у большого крючка нет зацепки. А вообще-то, какой лучше брать крючок, прямой или кривой,— все зависит от важности дела. Прямым можно выудить царство, а кривым — всего лишь поймать рыбу!

Тайгун послушался его совета: впоследствии он стал наставником Вэнь-вана и был пожалован владением Ци. Тайгун не забыл мудреца Удилище и дал ему в кормление берега реки Вэйшуй. Вот почему эти Бамбуки — родом с вэйшуйских берегов. Ныне потомство Удилища разрослось, прямо как заросли Тонких Бамбуков. Из них одни перебрались в Янчжоу и стали Мелким и Крупным Бамбуком, другие отправились во владения *ху* и получили должности бамбуковых навесов.

Бамбуки имели способности к военной и гражданской службе. Поэтому их приглашали на церемонии и музицирование, они служили плетеными корзинами и жертвенными сосудами, пели свирелями и даже прославились как стрелы и рыболовная снасть. Ясно видно, что и про их мелкие дела писали в книгах.

Из всей семьи только Бамбук Гань по природе был непрактичным, замкнутым и не хотел учиться. Он жил в уединении и нигде не служил, хотя уже вырастил такого сына, как Огромный Бамбук. У Огромного Бамбука был только один брат, звали его Крупный Бамбук, и прославился он так же, как старший брат.

Огромный Бамбук обладал прямым характером и внутренней чистотой... Он водил дружбу с Ван Цзы-ю, который про него както сказал: «И дня мне не прожить без друга моего!» С тех пор его так и прозвали «Мой друг». Вот ведь как получается! Цзы-ю сам был прямым человеком и друзей себе выбирал прямых — умел распознать человека.

Огромный Бамбук женился на дочери Желтой лилии и родил дочь. Это и есть Бамбучинка. С детства она славилась чистотой. Жил по соседству с ней некто Лилейник. Он сочинил нескромные стишки и преподнес ей. Госпожа разгневалась: «Мужчины и женщины, конечно, не похожи друг на друга, но честь — она вроде стебля и дорога всем одинаково. Сломаешь ее хоть раз, попробуй снова подняться к свету!»

Пришлось Лилейнику со стыдом удалиться. Разве привлекать женщину все равно, что тащить бычка на веревочке? Как можно быть таким невоздержным!

Когда Бамбучинка подросла, к ней, соблюдая этикет, посватался Сосна.

— Князь Сосна человек благородный,— сказали ее родители.— Изящные манеры князя подходят для нашей семьи.

И потому ее выдали за него замуж.

Госпожа день ото дня становилась все тверже нравом и разумней. Она умела все понять, она могла разрешить все сомнения,— словно бы рассекала острым лезвеем. В тяжелые времена ей всегда служили образцом стойкость достославной Сливы Мэй, к которой питала она доверие, и безмолвие Сливы Ли, сказавшей некогда, что знающий не говорит. Собственный предок не был для нее примером, а уж о непреклонной гордости старика Мандарина или о мудреце Абрикосе, что вслушивался в наставления Конфуция, и говорить нечего! Туманными утрами и лунными вечерами она распевала стихи с Ветром и перешептывалась с Дождем. Не опишешь кистью ее влажный, прохладный стан! Я, недостойный любитель увлекательных историй, словно Вэнь Юй-кэ и Су Цзы-чжань, искусно воспевшие бамбук, попытался описать ее облик, дабы сохранился он для потомков как драгоценность.

Господин Сосна был восемнадцатью годами старше супруги. На склоне жизни он, подражая бессмертным, отправился на гору Гучэншань, но превратился там в камень и не вернулся. Госпожа в одиночестве коротала дни, пела и защищалась от Ветра. Сердце ее тосковало и, не в силах совладать с собой, она полюбила вино. В истории не сохранились все вехи ее жизни, но известно, что в тринадцатый день пятой луны — «день бамбукового хмеля» — Бамбучинка переселилась в цветочный горшок и беспрерывно пила вино. От вина заболела сухоткой и утратила былую внешность.

Бамбучинка ослабела и уж не могла более стоять без поддержки, но и на склоне лет она все еще была крепка в добродетелях. Односельчане расхваливали ее, а некто Бамбук — правитель трех областей и однофамилец госпожи — составил ее жизнеописание. Ей был дарован титул «верной супруги».

Историк по этому поводу говорит:

«Предки госпожи Бамбучинки имели большие заслуги, все их потомки обладали незаурядными талантами. По всему свету славились их высокие достоинства — под стать мудрости госпожи! Ах, ведь она сочеталась браком с благородным человеком, снискала признание людей, но, увы, скончалась, не оставив потомства! Не зря говорят, что пути Неба непостижимы!»

ОТШЕЛЬНИК СИГЁН

СЛУЖКА ГВОЗДЬ

Однажды в начале зимы, на заре, отшельник Сигён сидел в ските. Прислонившись к стене, он задремал. Вдруг, слышит, со двора голос:

— Прибыл новый служка Гвоздь!

Сигён удивился и вышел взглянуть на него. Служка был высок, худ, с темным, блестящим лицом. Он высоко держал красный рог, словно защищался от нападения, а темные глаза его сверкали, будто от гнева. Подошел он, семеня ногами, и стал поодаль. Сигён было испугался, но тот быстро проговорил:

— Я пришел к вам с просьбой.

— Почему вас зовут Гвоздем? — спросил его Сигён.— Откуда вы и зачем пришли? Я вас не знаю, почему же вы назвались служкой Гвоздем? Что все это значит?

Он еще не кончил говорить, а уж Гвоздь вприпрыжку, словно воробей, проскакал вперед и с важным видом повел неторопливую речь:

— Жил когда-то в глубокой древности совершенномудрый с головой быка, и звали его Фу-си. Он был моим отцом. А ту, что с телом змеи, звали Нюй-ва. Она была моей матерью. Меня родили и бросили в лесу, даже кормить не стали. Я страдал от инея и града, совсем зачах и чуть было не умер, но ветер и дождь пощадили меня, и я остался в живых. Множество раз переносил я холод и зной, а когда наконец возмужал, оказался нужен человеку. Чередой сменялись поколения, и вот пришло время правления

династии Цзинь. Я стал подданным семейства Фаней. И тут я показал, что умею быть преданным и благодарным тому, кто почитает меня достойным мужем, а не отребьем: я покрыл свое тело лаком, неузнаваемо изменился, чтобы заколоть злейшего врага, который погубил моего хозяина. А когда пришло время правления династии Тан, я стал буддийским монахом и пошел в ученики к старцу Чжао. Сообразительный и неутомимый в познаниях, я получил прозвище «Твердый клюв». А потом отправился как-то в Динтао и на дороге повстречал Гвоздя — Дин-саньлана. Он воззрился на меня и сказал: «Посмотришь на тебя, вверху ты поперечный, внизу — вертикальный. Не связать ли тебе свою фамилию с моей?» Вот потому-то я и ношу его фамилию, и с тех пор так ее и не переменил. Я всегда готов услужить, и все пользуются мною. Но хоть я и низок по званию и усерден, недостойные не смеют прибегать к моей помощи, поэтому столь мало тех, кому я прислуживаю. Вот и до недавнего времени я никак не мог встретить достойного человека, и у меня не было пристанища. Бродил, неприкаянный, между морем и небом, и даже глиняный идол надо мной смеялся. Но вчера Небо сжалилось над моими несчастьями и дало наказ: «Повелеваю тебе стать служкой в ските на горе Хуашань! Ступай туда, служи наставнику и ухаживай за ним с почтением!» Выслушав повеление, я от радости прискакал прямо на одной ноге. Жажду, чтобы вы, почтенный, приняли меня!

Пустынник Сигён ответил ему на это:

— Вот, оказывается, какой вы! Поднимитесь, пожалуйста, на сиденье, ведь вы потомок совершенномудрых! Рог ваш не сокрушал мужественных, а глаза не опускались перед храбрыми. Лаком покрыли свое тело, чтобы отомстить врагу,— понимаете, кто благодетель, а кто недруг. Как вы доверчивы! Как справедливы! Сразу смекаете, что спросить и как ответить, недаром прозвали вас Твердым клювом — о мудрый! Красноречивый! Поддерживаете того, кому служите,— как вы человеколюбивы! Как блюдете приличия! Выбирайте, кому пойти в услужение,— о прямой! Разумный! Вы соединяете в себе самые прекрасные качества! Живете долго — не умираете и не стареете. Если вы и не совершенномудрый, то уж наверняка бессмертный дух! Разве можно не взирать на вас с надеждой? Я и помыслить не смел о таком, как вы. Даже другом вашим стать не решусь, а уж куда мне до наставника! Знаете, в области Хуаду есть еще одна гора Хуашань. Вот уж два года, как там поселился старый монах, зовут его вроде бы «Пустынник». Горы-то по названию одинаковы, а люди, живущие на них, разных достоинств. Должно быть, и Небо повелело вам отправиться не ко мне, а туда. Вот вы и ступайте-ка лучше на ту гору!

И с этими словами он, выпроваживая Гвоздя, затянул песню:

«Есть еще одна гора,
        что зовется Хуашань.

Там пустынник имярек
        доживает долгий век.

Указует путь моя
        к вам почтительная длань:

Ведь совсем не пара вам
        я, ничтожный человек»[1].

СОН ХЁН

ИЗ СБОРНИКА «ГРОЗДЬЯ РАССКАЗОВ ЁНДЖЭ»

ОПЛОШАЛ

В Чонпха жили два юноши — Сим и Лю. Оба они были из знатных семей и каждый день в праздности пили вино с красивыми женщинами. Однажды решили они с несколькими близкими друзьями развлечься у Сима. Кисэн Чон Ёнхва, любовница Сима, хорошо пела и танцевала, а слепец Ким Боксан — лучший в наше время игрок на каягыме — тоже пел свои песни и был в большом ударе. Гости, сидя тесным кружком, подносили друг другу чаши. Царило всеобщее согласие и веселье. Уже глубокой ночью кто-то предложил:

— Пусть каждый расскажет какую-нибудь забавную историю из своей жизни, и мы посмеемся!

Все дружно согласились. Веселые истории следовали одна за другой, гости хохотали не переставая. Но вот настал черед Ким Боксана.

— Я, пожалуй, тоже расскажу об одном случае из моей жизни,— начал он в наступившей тишине.— Не так давно был я приглашен в дом богатого янбана. В увеселении участвовало несколько известных кисэн, и среди них была Симбан — самая лучшая танцовщица. После порядочной выпивки все гости — каждый со своей девушкой — разошлись по отдельным комнатам. Так вот: со мной спала Симбан!

---

[1] Перевод стихов Г. Ярославцева.

— В самом деле, очень интересно,— смутившись донельзя, воскликнул Сим.— Но давайте-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом!

— Да что за охота без конца рассказывать,— тоже смутились гости.— Уж лучше скоротаем ночь под музыку да песни!

Но кисэн петь отказались, а у гостей пропало настроение, и они стали расходиться. Едва выйдя за ворота, Лю сказал Ким Боксану:

— Какую ты, однако, сболтнул глупость. Ведь Симбан была среди гостей. К тому же она теперь любовница хозяина. Как ужасно быть слепым!

— Да что ты,— густо покраснел слепец,— с каким лицом я теперь покажусь ему?! Впрочем, ведь сейчас все зовут ее Чоп Ёнхва, а детского имени Симбан, наверное, никто и не знает.— Так пытался утешить он себя.

Однако все-все узнали о промахе слепого и с удовольствием рассказывали друг другу эту забавную историю.

СПУТАЛСЯ С СОБСТВЕННОЙ ЖЕНОЙ

Некогда один слепец попросил своего соседа сосватать ему какую-нибудь красавицу. И вот как-то сосед говорит ему:

— Тут недалеко живет одна женщина. Не тощая и не толстая, ну писаная красавица! Я передал ей твои слова, и она согласна. Только она запросила много подарков.

— Да пусть я разорюсь,— вскричал слепец,— но для нее ничего не пожалею!

Когда жены его не было дома, он открыл сундуки, набрал кучу всякого добра, дал соседу и просил договориться с той женщиной о дне встречи. В назначенный день слепец принарядился и отправился на свидание. А жена его, чисто умытая и напудренная, пошла вслед за ним и явилась в условленное место раньше своего супруга.

Пришел ничего не подозревавший слепец. Они по всем правилам поклонились друг другу, как бы совершая брачную церемонию, и в ту же ночь счастливый слепец лег спать со своей «новой женой».

— В жизни не было у меня такой радостной ночи,— не в силах одолеть любовного томления и поглаживая женщину по спине, воскликнул слепец.— Ведь если сравнить тебя и мою жену с едой, то ты — медвежья лапа и зародыш барса, а она — лишь постная похлебка из лебеды да жидкая каша!

На рассвете его жена первая прибежала домой. Она закуталась в одеяло и сделала вид, что дремлет.

— Где же это ты ночевал? — спросила она слепца, когда тот явился.

— Да был я в гостях у одного министра, читал сутры. День выдался холодный, и у меня вдруг живот схватило. Пришлось выпить немного подогретого вина.

— А не оттого ли у тебя заболело брюхо,— закричала жена,— что ты обожрался медвежатиной, барсовыми зародышами, похлебкой из лебеды да жидкой кашей?!

А слепцу нечего и сказать было. Он понял, что жена его перехитрила.

ЧХОН Е

ИЗ СБОРНИКА «РАЗНЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ СТРАНЫ, ЛЕЖАЩЕЙ К ВОСТОКУ ОТ МОРЯ»

ГОЛЫЙ ЧЕДОК В СУНДУКЕ

Был в недавние годы один человек из гражданских чинов, которого назначили чедоком в Кёнджу. Всякий раз, когда он объезжал свой уезд и ему встречалась кисэн, он презрительно восклицал:

— Эй ты! Бесовское отродье, исчадие ада! Таких, как ты, и близко-то к себе подпускать нельзя. А те, кто любит вас, и не дети человеческие вовсе!

При этом он непременно постукивал кисэн трубкой по голове. Было так не раз и не два. Его возненавидели не только все кисэн, но и сам губернатор терпеть его не мог. Собрал он как-то нескольких кисэн и сказал:

— Ах, если бы которая-нибудь из вас смогла проучить этого человека. Право, не пожалел бы я для нее хорошего подарка!

И одна молоденькая, прелестная кисэн вызвалась сделать это. Чедок поселился с мальчишкой-посыльным в помещении храма Конфуция. И вот стала к ним наведываться та молоденькая кисэн, переодетая в деревенское платье. Явится к воротам храма и будто украдкой вызывает мальчика-посыльного. То незаметно войдет, то только заглянет в ворота. А сама старается привлечь внимание чедока. Выйдет посыльный — она начинает о чем-то шептаться с ним, кокетливо улыбается. Она приходила каждый день, иногда по два раза. Так продолжалось несколько дней.

— Эй, что это за женщина? — спросил чедок у мальчика.— Приходит каждый день и зачем-то тебя вызывает!

— Она сестра моя,— ответил тот.— Муж ее вот уж год, как уехал по торговым делам и не возвращается. Живет она совсем одна и каждый день просит меня присмотреть за домом, когда ей надо куда-нибудь отлучиться.

Вот однажды вечером мальчик куда-то ушел, а чедок сидел один в пустой комнате для занятий. Молодая женщина пришла опять. Прислонившись к воротам, она несколько раз окликнула посыльного. И тут чедок пригласил ее войти. Сделав вид, что стесняется, женщина поколебалась немного и все-таки вошла.

— Мальчишки как раз нет,— повел чедок такую речь.— Я выкурю трубку, а ты принеси-ка жаровню. Подойди сюда, сядь,— продолжал он, когда женщина принесла жаровню,— выкуришь и ты одну трубочку.

— Осмелюсь ли я, ничтожная?

— Никто ведь не увидит. Да и что ж тут особенного? Ну-ка, живо иди сюда!

Снова сделав вид, что не смеет ослушаться чедока, женщина подошла и села. Чедок заставил ее выкурить трубку.

— Много видел я красивых женщин,— дружелюбно начал чедок,— но такую красавицу встретил впервые. Как увидел тебя однажды, потерял аппетит и сон. Думаю только о тебе. Легко ли это? Вот было бы недурно, если бы ты пришла ко мне потихоньку ночью. Сплю я здесь один, и никто не узнает.

— Да как же это можно?! — притворно испугалась женщина.— Вы — начальник, благородный янбан, а я — презренная простолюдинка. Да и как вы могли сказать такое? Вы надо мной насмехаетесь!

— Да нет же, нет! Говорю тебе от чистого сердца. Какая же тут насмешка?! — нетерпеливо воскликнул чедок и даже поклялся, что не лжет.

— Сказать по правде, я и сама влюблена сильно. Да и приказа ослушаться не смею...

— Встреча с тобой — это счастливая судьба! — радостно воскликнул чедок.

— Одно только меня смущает. Это помещение находится в школе и почитается всеми весьма. Непристойно здесь спать с женщиной. Не решусь я прийти сюда!

— Ого! — хлопнул себя по коленкам чедок.— Для деревенской женщины ты рассуждаешь совсем не глупо. Это верно. Но как же нам устроиться?

— Вы, начальник, ведь уже сказали мне о своем желании. Я вам поверила и осмелюсь предложить вот что. Мой дом в каких-

нибудь трех шагах от ворот школы. Живу я совсем одна, и ночью вы могли бы прийти ко мне незаметно. А с братишкой я прислала бы вам простую шерстяную поддевку и шляпу. Если кто и встретит вас ночью, ни за что не узнает!

— Чудесный план! — несколько раз радостно повторил чедок.— Так и сделаем. Смотри же, не нарушай уговора! — И с тем отпустил женщину.

А кисэн и в самом деле жила в одной из лачужек недалеко от школьных ворот. Ночью она дала мальчишке одежду и велела отнести чедоку. Тот, как было условлено, переоделся и пришел к ней. Женщина встретила его, зажгла свечу, приготовила вино и закуски. Они сели друг против друга и, весело обмениваясь чарками, стали пить и есть. Вскоре чедок разделся, первым забрался под одеяло и позвал женщину. А та нарочно старалась оттянуть время. И вдруг за дверью кто-то заорал. Женщина испуганно прислушалась.

— Ах, вот беда! — зашептала она.— Это мой первый муж — Чхорхо. Прежде он был слугой в управе, и я, несчастная, жила с этим негодяем. Он — мерзавец, каких нет в целом свете. Он уже убил нескольких человек. Года три назад я едва от него отвязалась и вышла за другого. И чего это он вдруг пришел сегодня? По голосу слышно, что пьяный. Если вы здесь останетесь, он непременно оскорбит вас. Как же быть?! — Женщина быстро встала и проговорила в сторону двери: — Ну, чего ты шумишь среди ночи? Все ведь спят уже!

— Эй, баба! — вдруг опять заорали за дверью.— Ты что, не узнала мой голос? Живо отворяй!

— Да кто ты мне такой? Мы же давно с тобой разошлись. Чего безобразничаешь по ночам?!

— Ты бросила меня, мерзкая баба, — еще больше разъярился при этих словах Чхорхо,— а теперь небось спуталась с другим? Меня все время душит злоба, и сегодня я пришел поговорить с тобой!

Пнув ногой дверь, он уже входил в дом. Женщина поспешно вошла в комнату и зашептала чедоку:

— Господин начальник! Спрячьтесь где-нибудь поскорее. Ах, в моей комнате, размеро́м с черпак, и спрятаться-то негде. Ну, вот хотя бы в этот сундук. Мне страшно! Скорее, умоляю вас!

Подгоняя чедока, кисэн подняла крышку. И тот, до смерти перепуганый, как был, нагишом, залез в сундук. Женщина быстро захлопнула крышку и тут же закрыла сундук на замок. С пьяным брюзжанием в комнату вошел Чхорхо. Женщина сразу же напустилась на него.

— Мы с тобой разошлись три года тому назад! — закричала она.— Ну, зачем ты пришел опять и оскорбляешь меня?!

— Ты, конечно уж, спуталась с другим. Я хочу забрать платья и посуду, что купил тебе!

— На, все забирай! — закричала женщина и принялась швырять ему какие-то вещи.

— Сундук тоже мой,— вдруг говорит этот мерзавец.— Я и его заберу!

— Как это твой? Два куска холста ведь я за него отдала!

— Да один кусок был мой, дура. А раз так, я сундука не оставлю!

— Ты бросил меня, и еще из-за какого-то куска дерюжки хочешь отобрать сундук? Да пусть я умру, а сундука не отдам!

Так ссорились они из-за этого сундука, пока Чхорхо не сказал:

— Я тебе сундук не оставлю. Придется идти жаловаться в управу!

Скоро наступил день. Чхорхо, взвалив сундук на спину, понес в управу. Вслед за ним пришла женщина, и они стали жаловаться друг на друга начальнику округи. Тот выслушал их и вынес такое решение:

— Муж и жена сообща купили сундук, равно истратив на него по одному куску холста. А посему закон велит: разделить сундук пополам!

И тут же он приказал разрубить сундук большими топорами на две равные части. Стражники схватили топоры, встали по обе стороны сундука и принялись рубить. Но как только застучали топоры, из сундука донесся истошный крик:

— Не убивайте! Не убивайте человека!

— В сундуке кто-то есть,— сказал начальник с притворным удивлением.— Живо открыть крышку!

Стражники сбили замок и, быстро откинув крышку, опрокинули сундук. Выскочил совсем голый человек и встал посреди двора. И был это не кто иной, как сам чедок! И начальник, и подчиненные управы удивились еще больше. Они не могли без смеха смотреть на такое поразительное зрелище и хохотали, зажимая себе рты.

— Да это же господин чедок! — восклицали в толпе.— Как же он нагишом попал в сундук? Уму непостижимо!

По приказу начальника округи голый чедок, согнувшись и прикрывая руками чресла, поднялся на возвышение. Сидя на циновке с низко опущенной головой, он выглядел жалким и убитым. Начальник и служащие управы вдоволь над ним посмеялись, и только потом начальник приказал принести ему одежду. Тогда

кисэн, которые всегда ненавидели его, нарочно принесли ему длинное женское платье. В женском платье, с непокрытой головой, босиком прибежал чедок в школу и в тот же день куда-то скрылся. А в Кёнджу его прозвали «Чедок в сундуке», и стал он посмешищем всей округи.

ЛЮ МОНЪИН

ИЗ СБОРНИКА «ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ ОУ»

АРКА С НАДПИСЬЮ «ВЕРНОЙ ЖЕНЕ»

Некий столичный муса имел усадьбу в Мильсоне и часто разъезжал между Сонджу и Санджу. По пути он всегда останавливался на ночлег в доме одного сонби — ученого-конфуцианца, с которым был очень дружен. Но вот случилось так, что в течение четырех-пяти лет муса не смог ни разу съездить в Мильсон из-за неотложных дел. Когда же ему наконец удалось туда отправиться, он поспешил к своему старому другу. Но оказалось, что тот уже три года как умер. Было поздно, другого места для ночлега муса не знал, и, развязав свой дорожный мешок, он решил хоть немного отдохнуть здесь.

А жена сонби, как только услышала у себя в покоях, что прибыл друг ее покойного мужа, горько расплакалась. Она приказала слуге прибрать флигель для гостя, где бы он мог переночевать.

Муса вспоминал о своем друге, его одолевали разные думы, и он не мог уснуть до глубокой ночи. С северной стороны флигеля возвышалась ограда, во дворе густо разросся бамбук, образовав небольшую рощицу. Тускло светила луна. Вдруг муса услышал шорох и заметил, что меж деревьев кто-то ползет. «Либо тигр, либо барсук!» — подумал он и, притаившись, стал наблюдать. И тут, к своему великому изумлению, он увидел: какой-то монах вороватo высунул голову из-за деревьев, внимательно огляделся, потом вдруг вскочил на ноги и вбежал прямо в женскую половину дома!

Стараясь не шуметь, муса последовал за ним. За окном ярко горело пламя светильника. Муса послюнявил палец, проткнул оконную бумагу и заглянул в комнату. Молодая вдова, накрашенная и напудренная, была одета в красивое платье. Она обжарила на угольях сверкающей бронзовой жаровни мясо, подогрела вино и, кокетничая, стала угощать монаха. Тот поел и принялся слишком уж вольно заигрывать со вдовой.

Не в силах побороть справедливого негодования, муса вынул стрелу и лук и выстрелил в окно. Испустив душераздирающий крик, монах замертво повалился на пол. А муса возвратился во флигель и, притворившись спящим, захрапел. Немного погодя из женских покоев донеслись вопли хозяйки, которая звала слуг. В доме поднялся переполох, сбежались соседи. Притворно удивляясь, Муса спросил, что случилось.

— Хозяин наш умер,— доложили ему слуги,— и госпожа хранит ему верность. А сейчас в дом ворвался какой-то сумасшедший монах — хотел ее обесчестить. Но госпожа убила мечом этого негодяя и в гневе порубила его тело на куски. Она порывалась даже покончить с собой от обиды, еле-еле ее удержали!

Муса подавил улыбку, вздохнул и покинул этот дом. А на следующий год, когда он снова проезжал через эту деревню, там уже гордо высилась арка — «Верной жене».

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ИЗ СБОРНИКА «МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ ОТ СКУКИ»

ЕСЛИ БАМБУК ТВОЙ...

В старинном селении Чуджин жил один человек, которого называли учитель Ун Су. Был он со странностями. Построил себе здесь крытый соломой домишко в два-три кана, по примеру Тао Юань-мина выращивал хризантемы, а в пруду, будто Чжоу Мао-шу, разводил лотосы. Ун Су очень любил природу. Он срывал банановые листья и кормил ими оленей. Он приручал журавлей, бросая им семена сосны. Временами, нежась в постели, читал Ун Су главу «Основы долголетия» Чжуан-цзы либо цитировал «Добрые речи о процветании» Чжун Чжан-тупа. По утрам он вдыхал свежий ветерок в саду, вечерами любовался опускающимися за вершины гор солнцем.

Шляпа соломенная одна —
      это лесной отшельник.
Множество чайничков,
      полных вином,—
Это даос
      захмелевший.

В небе пустынном
    сверкает луна,
Мчит
    журавлиная пара...
Дерево персика
    в зелени все...
Сколько цветов запестрело!

Вот даже и в стихах говорится, что, покинув суетный свет, как это сделал Ун Су, можно попасть в совершенно иной, неземной мир. А еще раздобыл где-то Ун Су необыкновенный бамбук и посадил его у себя в саду. Колена бамбука были причудливо изогнуты, каждый побег кривился как-то по-особенному. И если был он вывезен не с берегов Ци, что во владениях Вэй, то уж непременно из Аншаня! Ун Су неустанно над ним трудился — унавоживал, окучивал, подрезал. День и ночь любовался он бамбуком, на все лады его лелеял.

Ясной ночью
    чист его шелест,
Душным летом
    он свежесть приносит!

Красота-то какая! Да можно ль без такого друга прожить хоть один день?

Без еды —
    человек похудеет,
Без бамбука —
    душа оскудеет...
Будет пища —
    он вновь пополнеет,
А бездушье —
    оно не исчезнет!

А еще Ун Су любил цветы сливы, как Линь Бу. Подобно господину Ли, обожал он необыкновенные камни!

И вот этот самый бамбук вдруг пророс сквозь ограду и пустил побеги в чужом дворе. Разрастаясь мало-помалу, новая поросль оказалась еще лучше, чем была у Ун Су.

А вообще-то Ун Су был человек туповатый и не сразу сообразил, что к чему. Но потом вдруг его пробрало.

— Семена-то ведь мои,— сказал он соседу,— и как же это получается, что владеешь бамбуком ты? — И, отыскав столь веский довод, Ун Су вознамерился было срезать соседский бамбук.

— Семена, конечно, твои,— возразил ему, однако, старик сосед,— но ведь они проросли в моем дворе. Чей же может быть бамбук, как не мой?

Так, препираясь друг с другом, уподобились они княжествам У и Чу, оспаривавшим шелковицу, что росла на границе. Ссорились они, будто Юй и Жуй из-за пограничной грядки. И трудно было разобраться, кто из них виноват, кто прав. Кто мог разрешить их спор? Сцепившись, как птица-рыболов с жемчужною устрицей, они не могли оторваться друг от друга. И хотя прошло уже полдня, конца сражению было не видать. А ночью Ун Су все-таки срезал бамбук у соседа.

После этого случая прошло, пожалуй, около года. И вдруг соседский бык покрыл корову Ун Су. Когда корова отелилась, мигом прибежал старик сосед, схватил теленка на руки и понес к себе.

— Ты что же это средь бела дня хватаешь чужого теленка? — рассвирепел Ун Су.

— В прошлом году,— спокойно возразил сосед,— ты срезал на моем дворе бамбук, который вырос из твоих семян. Ну что же, пожалуй, ты был прав. Этот теленок — от моего быка. Разве не справедливо, что я беру его?

И тогда они пошли с жалобой в уездную управу.

— У каждой вещи есть свой хозяин,— решил правитель,— и если хозяин потерял ее, то она должна быть ему возвращена. И бамбук и теленок возвращены каждый своему хозяину. На что вы жалуетесь? Это же смешно! — И вдруг расхохотался.

КИМ СИСЫП

ИЗ «НОВЫХ РАССКАЗОВ, УСЛЫШАННЫХ НА ГОРЕ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ»

ПЬЯНЫЙ В ПАВИЛЬОНЕ ПЛЫВУЩЕЙ ЛАЗУРИ

Город Пхеньян лежит на земле, издревле именуемой Чосон. Еще когда чжоуский правитель У-ван одержал победу над государством Шан, он посетил там мудрого Киджа, и тот поведал царю «Великий план в девяти разделах». У-ван отдал мудрецу во владение эту местность, но числить Киджа своим подданным не стал.

Чего только не увидишь в Пхеньяне: там Узорчатая гора, и башня Феникса, и Тюлевый остров, и пещера Единорога, и скала Обращенная к Небу, и городище Чхунам... Всех красот и досто-

примечательностей, прославленных еще с давних пор, и не перечесть. Одна из них — павильон Плывущей лазури у монастыря Вечной ясности. Монастырь этот прежде звался «Дворцом с девятью лестницами», и владел им правитель Тонмён-ван. Стоит он в двадцати ли к северо-востоку от городской стены. Глянешь с высоты его вниз — увидишь реку, посмотришь вдаль — откроется бескрайняя равнина. Вот уж поистине прекрасное зрелище!

По вечерам расписные лодки и торговые суда, миновав ворота Тэдонмун, обычно останавливаются на реке возле утеса, поросшего ивами. И если кто из путников решит там заночевать, то не преминет подняться вверх по реке, вдоль и поперек осмотрит монастырь и возвращается ублаготворенный. К югу от павильона есть две каменные лестницы с высеченными на них надписями: слева — «Лестница белых облаков», справа — «Лестница черных туч». Узорные каменные колонны вызывают у приезжих восторг.

В начале годов «Послушания Небу» в Согёне жил некий Хон — молодой человек из состоятельной семьи. Он обладал привлекательной наружностью, изящными манерами, а вдобавок и хорошим слогом. Однажды в Праздник средины осени,— а он всегда приходится на полнолуние,— юноша вместе с компаньонами привез в Пхеньян на продажу полотно и шелк. Когда он причалил к берегу и сошел с судна, все прославленные певички города высыпали за ворота, чтобы поглазеть на него.

Живший в городе давний друг Хона, некто Ли, устроил в его честь пирушку, и молодой человек вернулся на судно, изрядно захмелев. Ночь выдалась прохладная, сон не приходил, и Хону вдруг вспомнились стихи Чжан Цзи о том, как поэт ночью приплыл к Кленовому мосту. Внезапный порыв охватил Хона: он прыгнул в лодчонку и, покорный какому-то смутному влечению, поплыл по освещенной луной реке. Вскоре он очутился у подножия павильона Плывущей лазури. Привязав лодку в зарослях тростника, юноша поднялся по лестнице. Опершись на перила, окинул он взором дали. Чистый напев зазвучал в дыхании ветра. Лунный свет разливался вокруг, как море, нитями шелка блестели в нем волны речные, над отмелями дикие гуси кричали, а меж сосен, стоя в росе, дрожал озябший журавль. Холодно и безмолвно было вокруг, словно юноша поднялся на луну, в Пурпурный чертог. С высоты устремил он взгляд на древнюю столицу: туманом окутаны побелевшие башни, волны бьются у обветшавших стен... Хотелось вздохнуть, как при виде пшеницы, растущей на развалинах иньских дворцов. И тогда Хон стал вслух сочинять стихи. Вот они [1].

---

[1] Стихи в этой новелле даны в переводе Арк. Штейнберга.

* * *

«Я вошел, вдохновения полный,
в павильон над рекою Пхэган.
Плачут волны,— печальные стоны
долетают ко мне сквозь туман.
Духа тигра и духа дракона
в этих древних развалинах нет,
Но величье покинутый город
не утратил до нынешних лет.
Серебристые отмели блещут,
белый месяц в полночь высок,
И пролетные дикие гуси
принимают за воду песок.
В длинных травах, как звезды в тумане,
размерцались рои светлячков.
Берега Пхэгана безлюдны,
город пуст уже столько веков...

* * *

Вместо тронного зала — осенние травы...
Полон ветра и стужи древний чертог.
Где далекие годы расцвета и славы?
Смотрит лестница в небо — и нет к ней дорог...
Там, где жили певицы,— терновник колючий.
На руинах стены, под белесой луной,
Лишь вороны кричат и взвиваются тучей
Над лесистою кручей, во тьме ледяной.
Неужели навек, навсегда?.. Неужели?
Где богатство и роскошь, тепло и уют?
Только волны речные шумят, как шумели,
да на запад все к морю бегут и бегут...
Как меняются судьбы!.. Но люди упрямо
гнезда вьют, хоть от гибели на волоске!
Дальний звон колокольный из горного храма
слышу я, размышляя в глубокой тоске.

* * *

В Пхэгане волна — синей синевы,
а в душе нестерпима печаль:
Разрушенье, паденье, забвенье... Увы!
Мне величья прошлого жаль.

Над забытым колодцем струится листва,
в нем давно иссякла вода,
Тамариски да сосны над ним, и едва
серебрится в тучах звезда.
Я гляжу на забытый алтарь Небесам,
он в убранстве косматых мхов.
Шепчет ветер, шепчу нескончаемо сам
шелестящие строки стихов.
Край родной в этом дальнем и чуждом краю
вспоминаю, хмельной, с неизбывной тоской,
И, не в силах уснуть, на террасе стою,
под луной, над бегущей на запад рекой.

* * *

Как хорош в этот праздник осенней поры
свет, пролитый полной луной!
Но печально гляжу, как на склоне горы
мертвый город возник предо мной.
Постарели деревья у храма Киджа,
храм Тангуна приметен вдали.
Вижу, стены его — зеленей бирюзы
от лиан, что их оплели.
Где героев безмолвных могучий отряд,
где ушедших витязей след?
Лишь деревья и травы о них говорят
и о том — сколько минуло лет.
Да луна, как в древние те времена,
озаряя одежды мои,
Смотрит строго и льет на землю она
серебристого света ручьи.

* * *

Над восточной горой проплывает луна.
Не смолкают сорок и ворон голоса!..
Ночь, глубокая ночь холодна.
На одежде сверкает роса.
Где одежды и шапки чиновников? Где
кисти, свитки древних ученых? Давно
Поистлели в песке и подземной воде
и в забвенье ушли, на самое дно...
Древний город разрушен. В небесный чертог
вознесся король; но если б сейчас,

По ошибке, на землю вернуться он мог,
что нашел бы ныне у нас?
От его золотых колесниц, от коней
не осталось даже следа,—
Заросла дорога травой, и по ней
лишь монахи идут иногда...

* * *

Студеная осень... С травы облетает роса,
посветлели уже облака вдалеке.
С переката чуть слышно журчат голоса —
души воинов суйских вторят реке.
Стала звонкой цикадой царевны душа, и грустна
ее песенка — не умолкает она!
Императорская дорога пуста: ни одна
на ней колесница теперь не видна.
На месте дворца — бурелом, поваленных сосен стволы,
лишь колокол спорит с глухой тишиной...
Слагаю стихи, взобравшись на гребень скалы,
но видом никто не любуется вместе со мной,
Мне тревожно и сладко, веет ветер ночной.
Я стою и гляжу сквозь легкий туман
На холмы, озаренные полной луной,
на бегущий внизу Пхэган...»

Когда было закончено шестое стихотворение, юноша, хлопая в ладоши и приплясывая, стал повторять строку за строкой. Время от времени он останавливался и переводил дух. Ни рокот струн, ни звук свирели не сопровождали его пение, но сколько было в нем разнообразных чувств: то казалось, будто пляшет дракон в мрачном ущелье, то будто стонет несчастная вдова в одинокой лодке.

Наступила уже третья стража, когда юноша наконец умолк и решил возвратиться, но вдруг с западной стороны донесся звук приближающихся шагов; Хон решил, что это кто-нибудь из монахов, услыхав его голос, удивился и пришел узнать, что здесь происходит. Молодой человек сел на ступеньку и стал ждать. Видит — появилась прекрасная дева в сопровождении двух прислужниц; у одной в руке опахало с яшмовой ручкой, у другой — веер из тонкого шелка. Строгостью одеяния и достоинством манер дева походила на барышню из знатного дома. Хон спустился с лестницы, притаился за стеной и стал смотреть, что они будут делать.

Облокотившись на перила в южной части павильона и любуясь луной, дева негромко запела. Нечто игривое появилось в чертах ее лица, но при этом оно ничуть не утратило своей благопристойности. Служанки разложили перед девой парчовые подушки.

Она села, оправила одежду и спросила звонким голосом:

— А куда делся тот, кто слагал здесь стихи? Я ведь не дух, что насылает любовные чары, не обольстительница с ножками-лотосами!.. Какая удача, что сегодня куда ни глянь — на тысячи ли раскинулось безоблачное небо, катится по небу холодный круг месяца, и от блеска его побледнела Серебряная река! Опадают плоды с коричного дерева, и похолодало в Нефритовом тереме. Можно ли в такую чудесную ночь не излить сокровенные чувства, кубком вина провожая каждую песнь!

Долго переминался Хон с ноги на ногу, не зная — страшиться ему или радоваться. Наконец он решился тихонько кашлянуть. К нему тотчас подошла служанка и сказала:

— Госпожа просит вас пожаловать.

Юноша робко приблизился и, отвесив поклон, опустился на колени. Красавица не выказала ему особого почтения, только произнесла:

— Можете подняться сюда.

Служанка мигом поставила между ними ширму, наполовину скрывшую лицо девы. Та продолжала с невозмутимым видом:

— Что за стихи вы сейчас читали? Прочтите-ка их еще раз для меня!

Юноша вновь прочитал одно за другим все шесть стихотворений.

— А вы, оказывается, знаете толк в стихах! — с улыбкой сказала красавица и велела служанкам принести вино и закуски.

Кушанья оказались непривычные для смертного — такие твердые, что не укусишь. Вино тоже нельзя было взять в рот — одна горечь.

Дева с усмешкой промолвила:

— Может ли житель этого бренного мира оценить по достоинству нектар из белой яшмы и мясо красного дракона! Сходи поскорее в монастырь Священной защиты,— приказала она служанке,— и попроси у монахов вареного рису.

А надобно вам сказать, что в монастыре том не было никаких монахов, одни только статуи архатов.

Служанка побежала исполнить повеление и очень скоро вернулась, неся, как и было ей сказано, вареный рис, только без всякой приправы. И снова раздался голос красавицы:

— Сбегай к Винному утесу и попроси какой-нибудь закуски. (А под утесом в озере жил дракон.)

Прошло совсем немного времени, и появилось блюдо с мелко нарезанным карпом. Хон с удовольствием принялся угощаться. Не успел он закончить трапезу, как дева написала на бумаге из листьев коричного дерева стихи, созвучные по настроению стихам молодого человека. Через служанку она передала их Хону. Вот эти стихи.

* * *

«Лунный свет над восточной беседкой
разгоняет ночную тьму.
Задушевные речи нередко
порождают печаль... Почему?
Ветви — словно зеленая крыша,
колонной высится ствол,
И река сияет, колыша
волны, как юбки подол.
Словно птиц перелетная стая,
проносились тут времена,
Шли события, нарастая,
как в реке — за волной волна.
На душе — томительно странно...
Кто поймет мой ночной полусон?
Из-за гущи лиан, средь тумана,
колокольный слышится звон.

* * *

От города к югу, в долинах плутая,
двумя рукавами ветвится река.
С криком слетает гусиная стая
на синий плес, на полоску песка.
Вовек королевская колесница
сюда не прикатит; скрылся дракон.
Могилой стала земля,— ей снится
свирельная трель минувших времен.
Облако озарено лучами
позднего солнца... Хмельна от вина,
Перед дождем в заброшенном храме
слагаю стих за стихом дотемна.
С болью гляжу на верблюдов медных,
позеленевших, скрытых листвой,
Жизнь, отгремевшая в бурях победных,
облачком стала и мглой дождевой...

* * *

Плачет цикада на высохшей ветке,
никнут желтые травы, шурша...
Едва поднялась я к высокой беседке —
тоской омрачилась моя душа.
Стихающий дождь и рваные тучи
напомнили мне о беге веков,
И символом бренности неминучей
упала в воду горсть лепестков.
А волны плещут снова и снова,
бьют о край скалистой стены.
Беседка, среди теченья речного,
озарена лучами луны.
Могучей жизни уклад старинный
когда-то цвел над этой рекой,
А нынче безлюдные эти руины
переполняют сердце тоской.

* * *

Горы — ярче парчи, воздух — чище слюды,
но пейзаж осенний печален...
Кроны кленов у берега шумной воды
скрыли стены развалин.
Что за странные звуки слышны вдалеке? —
Это стук вальков о каменья.
Чалят лодку, и крик на туманной реке
гулко слышится из отдаленья.
Одинокое дерево возле скалы
издает печальные вздохи.
Древний памятник выступает из мглы
отшумевшей, ушедшей эпохи...
Прислонившись к перилам, в беседке стою
молчаливо и строго.
Лунный свет и волна вторглись в душу мою,—
в ней печаль и тревога.

* * *

Дворец Владыки Небес чуть-чуть
горсткой звезд озарен.
Ясна луна, бледен Млечный Путь,
и в мире царствует сон.

Я только теперь осознала вполне,
что расцвет бесследно пройдет,
Что новое воплощение мне
лишь новую боль принесет.
Но в чарке не оскудело вино,
и нас дурманит оно.
Минувшее пылью покрылось давно,
тоскуй, не тоскуй — все равно!
Герои, чья слава храниться должна
вовеки в преданьях людских,—
Истлели. Пустые одни имена
остались нынче от них.

* * *

Ночь склонилась к рассвету. Руины стены,
пережившей столько времен,
Озаряет свет равнодушной луны,
покидающей небосклон.
Скоро каждый из нас в мир особый, свой,
отойдет, утечет, как ручей,
И лишь память о радостной встрече со мной
пронесется сквозь тысячу дней.
Мы проститься должны над шумной рекой,
в этой беседке, увы!
Лучезарные звезды ушли на покой,
блещут росы на стеблях травы.
Но приникнет ли снова стих ко стиху?
Мы сойдемся ли снова и где? —
Легче персикам вызреть на голой скале
и в морях иссякнуть воде!..»

Стихи девы привели юношу в восторг. Но тут ему показалось, что красавица собирается покинуть павильон. Желая удержать ее подольше, Хон обратился к ней с вопросом.

— Смею ли я узнать, из какого рода вы происходите и какое носите имя? — спросил он.

Дева, печально вздохнув, так отвечала:

— Ваша недостойная собеседница происходит из рода Киджа, предки мои — иньские властители. Когда древний мой прародитель получил во владение эту местность, он во всем — в ритуалах и музыке, в канонах и наказаниях — наставлял народ с помощью восьми заповедей. Оттого-то более тысячи лет процветала наша страна и распространялось в ней просвещенье. Но пришло лихое время,

Небо лишило нас своей благосклонности, разом обрушились на страну засухи и прочие беды. Государь, мой покойный отец, потерпел поражение от безвестного простолюдина, и пришлось ему покинуть храм своих царственных предков. Ви Ман, воспользовавшись смутой, похитил его трон. Злой рок постиг страну Чосон. Я же, слабая девушка, охваченная горем и смятением, решила ценой жизни сохранить верность трону. Вдруг мне явился некий святой и, ласково утешая меня, сказал: «Я — один из основателей этого государства. Как только закончился назначенный мне срок царствования, я удалился на остров посреди моря и приобщился к сонму бессмертных. Тому уже не одна тысяча лет. А ты, девушка, готова последовать за мной в Пурпурный чертог и в Потаенную столицу, чтобы жить там привольно и радостно?»

Я сказала, что готова. Тогда он взял меня за руку и повел за собой. Он поселил меня одну в павильоне и стал приносить мне эликсир бессмертия с Потаенных островов. Так прошло несколько дней, и вдруг я почувствовала, что тело мое обрело легкость, а дух окреп; мне даже стало казаться, будто все существо мое переродилось. С той поры я свободно летаю между небом и землей, достигаю самых отдаленных пределов вселенной, побывала в десяти землях и на трех островах — в тех блаженных местах, где в гротах обитают бессмертные.

Однажды, когда ярко блистало осеннее небо, а яшмовый свод был прозрачен и ясен, когда свет луны потоком струился на землю, я запрокинула голову и стала смотреть на лунную жабу и коричное дерево. И тут во мне родилось неодолимое желание полететь на луну, и я полетела, взошла там в обитель Холода и Пустоты и в Хрустальном дворце преклонила колени перед Чан-э. Она же, видя, что я целомудренна, скромна и к тому же сведуща в науках, обратилась ко мне с такой речью:

— Хотя и зовут у вас обитель бессмертных краем блаженства, сотворена она из праха и из пыли. А как чудесно ступать по синеве небосвода и впрягать в колесницу белого феникса, упиваться нежным ароматом под сенью алого коричного дерева и, словно покрывалом, окутывать себя прохладными лучами в небесной лазури, праздно бродить по Нефритовой столице и купаться в Серебряной реке!

И велела мне Чан-э прислуживать при алтаре с благовониями и помогать ей во всем. Наслаждалась я там блаженством, какого и не передашь словами.

Но нынешней ночью мною вдруг овладели думы о родине. Посмотрела я с высоты на этот бренный мир, недолговечный, как мотылек-однодневка, отыскала знакомые с детства места. Все здесь осталось, как прежде, только близких людей уже нет. Лунным сия-

инем залиты поля былых сражений, белая роса омыла нагромождения развалин. Я рассталась с прозрачной твердью, опустилась поспешно на землю, поклонилась могиле предков. А потом мне захотелось побродить над рекой у павильона, дать выход глубокому чувству... Тут я встретила вас, ученый юноша, и меня охватили радость и смущение. И дерзнула я своей грубой, бесталанной кистью прибавить несколько строк к вашему драгоценному творению. Не потому, что нашла у себя дар слова, но лишь затем, чтобы поведать о своих чувствах.

Хон упал на колени и, коснувшись лбом земли, произнес:

— Я, низкорожденный и невежественный, не смел даже надеяться, что дева из царского рода, небесная фея откликнется на мои строки!

Он приблизил к себе листы с ее стихами, проглядел их еще раз и тут же запомнил. Затем снова почтительно склонился и сказал:

— Не просветленный благодатью, я глубоко погряз в грехах и не в силах вкусить пищу бессмертных. Поистине чудо, что я хоть немного разбираюсь в письменах и рисунках и слышал коечто о заоблачных напевах. Я, разумеется, не могу и мечтать о всех четырех удовольствиях жизни, но прошу вас написать мне в назидание сорок двустиший на тему: «Любуюсь луной осенней ночью в беседке над рекой».

Красавица кивнула, насытила тушью кисть, взмахнула ею — и на бумаге словно завихрились тучи и заклубился дым. Миг — и стихи были готовы:

«К павильону Плывущей лазури
　　лунной ночью упала роса.
Млечный Путь
　　нежным светом омыл небеса.

Тень павлоний —
　　не преграда палящей жаре.
Лунный мир
　　потонул в серебре.

Здесь двенадцать террас —
　　и по-своему все хороши.
Ветерок
　　пробудился в душистой глуши.

Он коснулся
　　утомленных, поникших ресниц,
Будит их,
　　словно дремлющих птиц.

На бегущих волнах
    остроносые лодки видны,
И жилье бедняка
    освещается светом луны.

Виден остров,
    где густые цветут камыши,
И сдается — звучит
    затаенная песня в тиши.

Красота этих мест
    в изумленный вторгается взор.
Все вокруг
    словно яшмовый высек топор.

Так прекрасен дворец,
    где владыка — подводный дракон.
Мир — как царство умерших,
    где факел огромный зажжен.

Гун-юань и Чжи-вэй
    побывали тут вместе со мной.
Лунный свет
    падал вниз, как поток ледяной.

И пугал
    в царстве Вэй длиннохвостых сорок...
Что за зной —
    даже ветер не впрок!

Озаряет луна
    черных буйволов княжества У...
Вся земля
    в эту пору глядит на луну.

Мы замо́к
    нашим старым ключом отомкнем
И вдвоем
    веселиться пойдем.

В эту пору Ли Бо
    подымать свою чарку любил,
И У Ган
    ствол коричный упорно долбил...

Белой ширмой
    восхищен вознесенный мой взор:
На шелку
    вышит пестрый узор.

Надо мной
    колесо ледяное — луна,
Над моей головой,
    словно зеркало, блещет она,

Под луной
    на бегу золотится волна.
И вокруг —
    тишина, тишина...

Острый меч подниму
    и коварную жабу убью.
В западню
    зайца лунного я заманю.

Дождевая
    с края неба развеялась мгла
И дымок
    с горных троп увела.

Выше старых стволов
    этой древней террасы порог,
А к реке
    пролегли десять тысяч дорог.

Кто не сыщет
    верный путь свой у этой реки —
Пропадет
    на чужбине с тоски.

Я вернулась домой,
    на родимую землю свою.
Друга встретив,
    с ним рядом стою.

Поверяем друг другу
    мы заветные чувства сейчас,
И вино
    чем-то сблизило нас.

Сочиняя стихи,
　　мы устроили ныче какчхок
И глотком
　　провожаем каждый глоток.

Пусть в жаровне
　　потемнел уже уголь давно,
Но горит
　　в наших чарках вино.

Пена бьет через край,
　　и куренья струят аромат.
Журавли
　　между сосен тревожно кричат.

Донеслось до меня
　　заунывное пенье сверчка —
Я опять
　　загрустила слегка.

Вижу, словно сквозь даль:
　　вот с Инь Хао на башне Юй Лян...
Как время летит!
　　Где башня была — там бурьян.

А на кленах,
　　у развалин стены крепостной,
Сверкает роса,
　　все сильнее блестит под луной...

Желтизну камышей
　　на лету взволновал ветерок,
Небосвод
　　над волшебной страною широк.

Здесь когда-то
　　красовался дворец-исполин,
А теперь —
　　только груда руин.

Остается от нас
　　только имя на камне седом!
Журавли,
　　расскажите вы мне о былом!

Острый месяц
    округлился над морем листвы.
Человек —
    лишь поденка, увы!..

Был когда-то дворец,
    а теперь — только храм на холме.
Прах царей
    затерялся в лесах и во тьме.

У опушки
    блуждают рои светляков.
Полон дом
    голубых огоньков...

О минувшем грущу
    и о том, как летят времена.
Но ведь жизнь
    и сегодня тревоги полна.

Только кости
    от Тангуна остались в Монмёк,
От Киджа —
    только камень да мох.

Словно единорог
    спрятал след свой в пещерную тень,
А в полях
    наконечники стрел сушэнь...

Но, Ткачихой подхлестнут,
    поспешает зеленый дракон,
И Лань-сян
    возвратилась на трон.

Утомленный стихами,
    кисть и тушь отодвинет поэт.
Расстаемся...
    Для бесед уже времени нет.

Фея кончила песню,
    свой затихший конху унесла,
И слышны
    только всплески весла».

Дева отбросила кисть, взмыла ввысь и исчезла неведомо куда. Но перед тем, как покинуть юношу, велела служанке передать ему такие слова: «Строги веления Небесного владыки. Настала пора — уже впрягают белого феникса; не окончена возвышенная беседа, тоска проникла мне в душу».

Вдруг налетел вихрь, сбил юношу с ног и вырвал у него заветные листы, видимо, затем, чтобы стихи гостьи из иного мира не распространились среди людей. Хон застыл в растерянности и погрузился в глубокое раздумье. «Сон ли то был? Вроде бы не сон... Наяву ли это было? Не похоже, что наяву...» Опершись на перила, он старался припомнить каждое слово прекрасной девы. Вновь и вновь переживая чудесную встречу, он сокрушался, что не высказал деве своих чувств, и в конце концов сложил такие стихи:

«В павильоне чудесная встреча!
    Она — как сон под луной.
Мне доведется ли снова
    напиток испить неземной?
Даже бесстрастные волны
    плачут вместе со мной!»

Прочитав стихи вслух, он огляделся вокруг и прислушался: гудел колокол в горном храме; в прибрежном селении пели петухи; луна ушла на запад, и в небе ярче заблестели звезды. Слышно было, как пищат крысы да цикады поют возле павильона. Скорбь и благоговейный трепет овладели Хоном — он страдал оттого, что не смог удержать красавицу. Спустившись к реке, юноша сел в лодку и, вконец расстроенный, поплыл к тому месту, где покинул своих спутников. На судне его стали спрашивать, где он провел ночь. Хон в ответ выдумал, будто еще с вечера ему пришло в голову порыбачить при луне. Взял-де он удочку, добрался до Чангёпмун — ворот Долгого счастья — и расположился возле скалы Обращенной к Небу. Думал было добыть, что называется, «золотую чешую», однако ночь оказалась холодной, и в студеной воде не удалось поймать даже карася. Такая досада!.. Никто из спутников не стал допытываться, так ли было на самом деле.

С той поры Хон все думал и думал о прекрасной деве. Он стал чахнуть, ослаб и исхудал. Когда он добрался до дому, мысли его путались, а речь была несвязной. Долго метался он в постели, но болезнь все не проходила.

Однажды юноша увидел во сне красавицу в изысканном одеянии. Она подошла к нему и сказала:

— Дева-госпожа замолвила за вас словечко перед Верховным государем. Ценя ее за таланты, Верховный государь соблаговолил

определить вас в свиту бога созвездия Волопаса. Таково повеление Небесного владыки, и никто не смеет его нарушить!

Юноша проснулся в страхе и тут же велел домашним умыть его, переодеть, возжечь курения, подмести двор и разложить циновки. Потом он лег, подпер рукой щеку и незаметно отошел. Случилось это в девятом месяце, как раз во время полнолуния. Несколько дней пролежал он в гробу, но цвет лица его не менялся. И люди решили, что он приобщился к сонму небожителей.

ЛИМ ДЖЕ

МЫШЬ ПОД СУДОМ

(фрагменты)

В прежние времена амбары строили на отшибе, подальше от жилищ, чтобы уберечь зерно, если деревню охватит пожар. Со временем тропинки, ведущие к амбарам, зарастали бурьяном, загромождались камнями, густой зеленый мох покрывал стены ограды, а запах гнили пропитывал даже каменные ступени входа. Оно и понятно: жилища далеко, и люди здесь — редкие гости.

Жила когда-то в глубокой норе Мышь; туловище у нее было длиной в полча, шерсть — в два чхи; хитростью и лукавством превосходила она всех мышей, и те почитали ее своею наставницей. На уме у старой Мыши были одни только плутни да каверзы. Всякий знает: это она однажды устроила себе норку в горшке с рисом; она же повесила колокольчик на шею Кошке...

Как-то раз созвала Мышь-наставница своих подопечных и, поглаживая усы, повела речь о том, как тяжело стало жить.

— Припасов у нас нет, жилье не огорожено, всякий час угрожают нам то люди, то собаки: что и говорить, туго приходится! Проведала я, что в Королевской кладовой горы белояшмового риса гниют и никому до этого дела нет. Прогрызть бы нам стену, пробраться в кладовую, да и поселиться там — вот когда зажили бы мы припеваючи: и ели бы вволю, и веселились до упаду! Право же, Небо не обходит нас своими милостями! Эх, и заживем мы теперь!

Собрала Мышь-наставница всю стаю и повела к Королевской кладовой. Стали мыши стену грызть. Полдня не прошло, глядь, а в стене уже большая дыра. Юркнула Мышь в кладовую, огляделась и решила, что поселиться тут совсем неплохо. За нею ввалилась тьма-тьмущая мышей и ну шнырять да шарить, рыть да об-

нюхивать все углы. Видят, и впрямь: на земляном полу насыпаны горы риса — сразу весь и не съесть...

Лет десять прожила мышиная стая в Королевской кладовой. Почти совсем опустела кладовая.

Но тут очнулся ото сна Дух — хранитель кладовой. Взял он счетные книги и стал сверять по записям наличие зерна. До чего же он был удивлен и напуган, когда обнаружил, что в кладовой недостает много со́мов риса. Созвал он тотчас же Святое воинство и приказал разыскать виновников. Вскоре схватили Воины Мышь-наставницу.

Грозно встретил Дух обвиняемую:

— Мерзкая тварь! Забыла, кто ты?! Дом твой — убогая нора, пища — в грязи и во прахе! Как посмела ты со своими прихвостнями прогрызть дыру в стене и поселиться в кладовой?! Как посмела уничтожить столетний запас зерна и оставить народ без риса?! Придушить бы все ваше племя до последнего мышонка — тогда только, наверно, и удастся искоренить воровство! А что до твоих сообщников и подстрекателей, никого не пощажу, всем воздам по заслугам!

Выслушала Мышь грозную речь, в притворном смятении пала ниц перед Духом-хранителем и, сложив передние лапы, запричитала:

— Осмелюсь слово молвить: хоть я и стара, и с виду невзрачна, но не так уж я плоха, ибо природа наделила меня многими талантами. Среди зверей я, конечно, не первая, но все-таки и не последняя: поэты древности писали обо мне в «Шицзине», Совершенный муж упомянул мое имя в «Лицзи». А это означает, что племя наше издавна знакомо людям. Но вспомните, ваша милость: даже Человек, этот двуногий царь природы, у которого нос торчком, а глаза — поперек лица, день-деньской на поле трудится, а поесть досыта никогда не может — вечно его голод терзает. Каково же мне, старухе? Как жить, если в норе пусто? А пожить охота, хотя и тяжко... И стала я отруби да бамбуковые гвозди грызть! Вот до чего дошла! Разве это с радости? С нужды это!

Велика моя вина, сознаюсь. Но что делать: семья голодает, дети мучаются. Сыновья погибли в ловушке у Восточного дома, внучата — в капкане у Западного. Да, страшное на меня обрушилось горе. Глаза мои потускнели и плохо видят, сама я одряхлела, одышка одолевает, где уж тут быстро бегать... Ни на что я теперь не гожусь. Да и кому я нужна такая? Правду говорю: не было у меня среди мышей сообщников!

И стала хитрая тварь зверей оговаривать, и не только зверей, а и растения, и Духов; они, мол, подстрекали ее преступление

совершить! Без зазрения совести лгала она, лишь бы свалить на кого-нибудь свою вину...

Уселась коварная Мышь перед Хранителем кладовой и, глядя ему прямо в глаза, начала такими словами:

— Осмелюсь утверждать, все время говорила я правду: нет такого животного, которое хоть однажды не совершило бы провинности. Но ваша милость так добры — вы никого не покарали. Вот никто и не признался в своих преступлениях! Я же с самого начала не хотела лукавить. Вы считаете меня старой пройдохой, а ведь все эти звери в сто раз хитрее меня! Разве не досадно мне терпеть напраслину?

Возьмем, к примеру, Улитку: нет у нее ни семи отверстий, ни конечностей. Эта мелюзга, и согрешив, не ведает, что согрешила!

Или, скажем, Муравей: насекомое крохотное, хотя и рушит крепостные стены. Безо всякого права присвоил он себе королевское имя, образом жизни подражает Сыну Неба. Нет, лучше тысячу раз умереть, нежели оставить безнаказанными его дерзкие проделки! Уж если осмелился он присвоить себе королевский сан, то подстрекать меня на ограбление Королевской кладовой ему легче, чем, как говорится лежа на боку, бобы уплетать.

Или Светлячок: что сказать о нем? Большой огонь — Солнце и Луна, малый огонь — лампа и свечи. А Светлячок и ростом-то не более одного чхи: огонек у него слабенький; прилепится Светлячок к дереву, зажжет свой фонарик — огонек этот и от воды не гаснет. Вот Светлячок и бахвалится, что умеет ночь превращать в день! А что пользы? Тоскуя в одиночестве, осенней ночью досадует на него покинутая жена; морочит он усталых, промокших от дождя путников, которым мерещится вблизи постоялый двор. Что же тут хорошего? Зато он освещает путь хитрой Лисе, коварной Рыси, свирепому Тигру и злобному Шакалу. Он помогает им преодолеть ограду, войти в дом Человека, натворить неисчислимые беды. Хоть он и мал, а вреда приносит, ей-же-ей, немало!

Ну, а Петух? Живет он в доме Человека, пользуется его милостями и должен бы Человеку служить. А Петух что? Человек трудится, выращивает овощи — Петух топчет их, выклевывает зерно, которое Человеку дороже золота и драгоценных камней. Курица день-деньской кудахчет, а Петух — тот уже на заре горло дерет. Неблагодарный!

Кукушку, как известно, всегда легко узнать: перья у нее редкие, кукуя, харкает она кровью, детей подбрасывает в чужие гнезда, всех птиц считает своими подданными. По одному этому можно судить о ее невежестве. Кроме высоких гор да широких рек, нет для нее ничего недоступного. Порой идете вы — она молчит, но

вдруг захочет возвратить вас назад — и закукует свое: «Лучше вернуться!» Хоть она и твердит, что воплощает в себе душу древнего императора, все это ложь! Зачем, покинув рощу, подлетает она к человеческому жилью и кукует? Каких бед натворила днем, если так жалобно стонет ночью? Не знаю, что и думать.

Попугай единственный понимает человеческую речь, умеет постичь ее смысл. А ведь с тех пор, как Небо создало живых тварей, Человек и Зверь говорят на разных языках: таков закон природы. Попугай же, едет ли гость — непременно известит о том хозяина, случится ли что — немедля доложит! Колдовская птица! И вот, ваша милость, поверив речам «вещего» Попугая, вы мое чистосердечное признание сочли коварной ложью. А ведь в старину говорили: «Колдовство не осилит мудрости!» Пустые это, значит, слова?

Что же сказать об Иволге? Как ни красиво ее оперение, на картинке оно все же лучше; как ни хорош ее голос, с музыкой его не сравнить! И все же люди отворачиваются от картинки, чтобы полюбоваться Иволгой! Люди пренебрегают музыкой, чтобы послушать ее пение! Это ли не волшебство?! К тому же голос Иволги то весел, то грустен — он заставляет Людей то радоваться, то печалиться. Не колдовство ли это? Но раз голос у нее колдовской,— значит, и душа такая же! Следовательно, ваша милость, напрасно вы называете коварной меня одну.

Или вот Бабочка. Ей и вовсе неведомы пять отношений. Бабочка — всего лишь никчемное насекомое. И все же Человек любуется этим легким и хрупким созданием, поэты воспевают нарядные белые крылышки Бабочки. Почему же? Да потому, что, желая понравиться Человеку, Бабочка всячески перед ним заискивает. Это крохотное существо умеет колдовать: то оно явится во сне философу, то примет облик красавицы и обольстит неискушенного юношу. Волшебные чары Бабочки под стать нечистой силе! Ну кто поручится, что это не она, обернувшись грызуном, съела все зерно в Королевской кладовой?

Что до Ласточки,— в ней, как известно, ничего хорошего нет, к тому же она глуповата: только и знает, что тараторить без толку да носиться взад-вперед. Она, как рассыльный, разносит чужие письма — разве почтенное это занятие? Беспечно резвится она в гнезде, развлекая своих птенцов, а огня-то зажечь и не умеет! Вот бестолковая!

Теперь скажу о Лягушке. Эта квакает всю ночь напролет, словно клянчит подачку, да и весь день бормочет, раздражая Человека и заставляя его хмуриться. К тому же негодница лопочет что-то непонятное. Кого она думает обмануть? Только вашу милость!

Летучая мышь — нашему племени сродни. Впачале род наш был беден, жилось ему нелегко,— вот Летучая мышь и восстала против своего рода, порвала с соплеменниками и переметнулась к летающим тварям. Выпросила она себе крылья и зажила подобно пернатым, но зажила, как отщепенец, позоря честь своих соплеменников. Собрала я тогда всех Мышей, позвала эту гнусную тварь, усадила перед алтарем предков, желая учинить допрос. Она же вспорхнула и улетела, бросив свысока: «Я искони птица и Мышам не родня!» Мало того, переметнувшись к птицам, она до конца раскрыла свою мерзкую сущность. Недаром говорят: «Посуда, протекавшая дома, протекает и в поле». И вот прогнали птицы от себя Летучую мышь — куда ей деваться? Приходит она ко мне, называет «тетенькой», прощения просит, но держится при этом нахально. Встретила я ее холодно, даже отчитала. Вот она и затаила ненависть и с тех пор наговаривает на меня. Когда же узнала она, что попала я в беду,— от радости в пляс пустилась... Да разве скажет Летучая мышь правдивое слово в мою защиту?

А Воробей? Ростом он меньше меня, да и ума у него не больше, но он все кичится своими талантами и наше племя поругивает. Если же Человек подобьет ему крыло, он непременно заберется ко мне в нору и умоляет приютить его. Однако, памятуя о чести нашего рода, я выгоняю его. Приходится ему у моего порога от голода и стужи подыхать. Вот он и затаил против меня злобу и норовит при всяком удобном случае заклевать меня. Разве не говорит это против него?

Теперь о Вороне. Нрав у нее подлый, голос препротивный. Умрет Человек — Ворона первая разносит эту весть, заболеет кто — сразу растрезвонит. Вот Люди и думают, что Ворону нечистая сила посылает. А Ворона-то бахвалится: «Я, мол, на двенадцать голосов пою!» Да только кто ее слушает?!

Сорока — птица хитрая. Все думают — она умная, искусница, а она попросту глупа. Говорят, если ранним утром стрекочут сороки — жди радостных вестей. Хорошая примета. Только неверная. Говорят еще, если Сорока совьет гнездо на дереве с южной стороны, это к счастью. Да ведь так только говорят. Зря, выходит, все хорошее приписывают Сороке. И как ей только не стыдно?

Вспомните Коршуна и Сову: и нравом и делами они друг с другом схожи. Зерно всем по вкусу, а Коршун его не терпит, тухлятиной питается. Солнечным лучам каждый радуется, а Сова их боится, признает лишь темную ночь. Вот какие это мерзкие птицы, вот какие гнусные у них повадки! Мне, право, стыдно, что поддалась я их уговорам.

Скажу еще о Гусе и об Утке. Живут они неподалеку от моей норы, неумолчным гамом непрестанно мой покой нарушают. Однажды, не сдержав накипевшую злость, пролезла я потихоньку к ним в птичник и укусила за ногу Гуся — тот с воплем кинулся бежать; тогда вцепилась я зубами в Утку, разодрала ей грудь, так что жир потек и кости чуть не вывалились — но она даже рта не раскрыла, не крякнула ни разу! Вот и видно, что Гусь легкомыслен, Утка же упряма донельзя. Можно ли добром добиться от них признания?

Что до Крапивника, так, право же, в нем ничего достойного внимания нету.

Голубь слишком кроток, да и не пригоден ни к чему.

Перепел и Фазан вечно терзаются мучительной заботой — как сохранить свою жизнь: уж очень у них мясо вкусное. Птицы они, правда, недалекие, но напрасно вы думаете, что в помощники мне они не годятся. У всякого скрытый талант имеется. Даже у Червяка — умение ползать!

У Сокола и Ястреба таланты особые,— вот почему за ними Человек и охотится. Право, лучше не иметь никаких талантов! Вот я, например,— не будь я так умна и хитра, не случилось бы со мной беды!

А Дикий гусь и Лебедь? Стоит их заметить — они улетают. Стоит коснуться — от страха чуть живы. Но часто заплывают они в камыши на поиски водяных орехов и плодов лотоса — тогда-то и вонзаются в них стрелы и копья Людей. Разве поступки этих птиц не схожи с моими? Ведь и я подвергаю опасности свою жизнь, чтобы продлить ее! Правду говорит поговорка: «Голодное брюхо до тюрьмы доведет!»

Что сказать об Аисте и Крякве? Только и есть у них хорошего что длинный клюв у одной да длинные ноги у другого. Ума у них маловато — вот и гибнут они от стрел Человека. Изворотливости нет — потому-то и подбивают их камнями. Добыть пропитание смекалки у них хватает, а вот сохранить себе жизнь — на это ума недостает! Разве не похожа я, старая, на этих птиц?

Чайка и Цапля снаружи белые, зато нутро у них черное,— этим они от других и отличаются. Над Вороной рады они потешаться: «Чернавка!» — воображают, что она и внутри черная, как снаружи. У самих же оперение белое, зато душа черным-черна. А раз душа у них черная,— значит, они преступницы. Тут и гадать нечего: они подбили меня на воровство.

Не могу умолчать ни о Беркуте, ни об Орле. Эти птицы сильны духом и жестоки сердцем, им и смерть не страшна; а раз они никого и ничего не боятся — никогда и ни в чем они не признаются.

Ну, а Зимородки, Мандаринский селезень и Мандаринская утка? Оперение у них красивое, поэтому и удалось им избегнуть кары! Право, все — даже судьи — смотрят только на внешность! А на мой взгляд, эти птицы и с виду лишены всякого благородства. Я, говорят, безобразна, но будь я, по милости предков, столь же красива, как они, уже конечно, не стала бы признаваться ни в каких преступлениях!

Ночная Цапля и Крахаль с утра до вечера только и знают рыбешку ловить. Уж если они так падки на свежую рыбу, не могут разве быть столь же падки на рис? Ведь вы слыхали про мудрецов древности? Достигнув почтенного возраста — шестидесятилетия,— они без рыбы не могли уже насытиться. Когда я поселилась в кладовой, я — что ни день — по три часа кряду ела рис, и вдруг захотелось мне рыбки. Вот и заключила я с Крахалем договор: он мне — рыбку, я ему — рис.

Луань и Журавль, Феникс и Павлин — красивы, как прекрасные плоды, что и говорить. Назовем в придачу Льва, Слона и Единорога,— вот и все удивительные животные. И стоят они четырнадцать лянов серебра, если считать по ляну на самца и самку. Их-то вы рады освободить. Но ведь и я животное необыкновенное — по уму, способностям, положению. Разве нельзя простить и меня?

Что сказать о птице Пэн и Ките? Они в тысячу, в десять тысяч раз сильнее меня. Совести же и чести у них куда меньше: птица Пэн, как известно, может небо и землю опрокинуть, Кит — разом всю рыбу в море проглотить,— где еще видали вы подобную жадность и разнузданность? Если же ваша милость даст волю этим силачам, наступит время, когда сильные захватят власть и повсюду воцарится беззаконие. На кого тогда надеяться слабым и беззащитным зверюшкам, детям отца-Неба и матери-Земли?

Что до насекомых: Пчелы и Цикады, Паука и Богомола, Однодневки и Стрекозы, Мухи и Комара, то у них либо есть крылья, но нету хвоста, либо есть хвост — нету крыльев. Однако, если эти насекомые видом на животных и не похожи, они походят на них нравом. В одном все звери — и большие и малые — друг с другом схожи: все они одинаково коварны! Это они подбили меня на воровство!

Молча выслушал Дух-хранитель утомительную речь старой Мыши и прикрыл глаза, словно теряя сознание от усталости.

Только кончила Мышь, сидевший рядом Пес бросил на нее алчный взгляд, роняя слюну, страшная Кошка уставилась, готовая выпустить когти. Задрожала от страха Мышь, не знает, куда де-

ваться. Поникла она, призадумалась, но вот вскинула голову и запричитала:

— Пришел мой смертный час! Как ни грустно сознаваться — каюсь: все время лгала я. Теперь же открою вам правду, честно назову подстрекателей!

Лишь тогда понял Дух, что все признания Мыши лживы. Гнев обуял его. Ударил он кулаком по столу и громовым голосом повелел своим Воинам:

— Возьмите камень, что лежит во дворе, и выбейте у этой твари зубы!

Пала ниц Мышь, извивается всем телом и вопит:

— Каюсь: по воле Небесного повелителя принудили меня съесть зерно из кладовой Духи неба, земли и полей, Духи гор, зеленая густая Сосна, стройный Кедр, легкий Ветерок, клубящиеся Облака, тусклый Туман, влажная Роса, мерцающие Звезды, яркое Солнце, серебристая Луна! Повинна ли я в этом преступлении?

Выслушал Дух-хранитель причитания Мыши, уже не помнившей себя от страха, хлопнул в ладоши и расхохотался:

— Глядя на тебя, можно подумать, что Небесный повелитель затем и сотворил гнусный мышиный род, чтобы нес он миру зло. Несколько месяцев оговаривала ты птиц и зверей, возводила на них напраслину, а под конец осмелилась объявить сообщником своим самого Небесного владыку! Это уже не просто преступление, это великое кощунство. Не вправе я своей властью карать тебя и вынужден доложить обо всем Повелителю Небес, дабы узнать его волю.

И повелел Дух заковать Мышь в двойные колодки, бросить в сырую темницу и не спускать с преступницы глаз, а сам, свершив трехдневное омовение, приготовил судебные бумаги и отправился в чертоги Небесного повелителя. Подал Дух Повелителю небес подробную запись всех допросов и почтительно молвил:

— Твой ничтожный раб совсем не печется о народе. Проглядел я вероломного преступника,— нет мне прощения во веки веков! Да падет позор на мою голову! В темнице полно обвиняемых, но ни один виновным себя не признает, а вынести справедливое решение мне самому не под силу. Наставь же ничтожного раба своего, Владыка верховный!

Прочитал Небесный владыка судебные бумаги и порешил:

— Преступники должны быть строго наказаны, а священные птицы и звери — вознаграждены. Ты, Дух-хранитель, возвратишься в свои владения, на площади перед кладовой казнишь грабительницу Мышь, а прах ее развеешь на все четыре стороны. А перед казнью повелишь ты всем, кто наделен клювом, когтями или зубами, рвать на части, раздирать и терзать тело Мыши, дабы зве-

ри могли дать волю справедливому гневу своему. Всех, оклеветанных Мышью, из темницы выпустить; нору преступницы разрыть до основания, соплеменников ее изничтожить. Искоренить вредоносное семя.

Выслушал Хранитель кладовой волю Небесного повелителя, поклонился низко и немедля возвратился в суд. Повелел он обезглавить старую Мышь, потом отворил двери темницы, выпустил томившихся там зверей на волю и сказал им:

— Дано вам Небесным владыкой право отмщения!

Услыхали это птицы и звери, толпою вырвались из темницы и радостно пустились в пляс. А потом взмыли птицы в небо, махая крыльями; побежали звери в леса, семеня всеми четырьмя лапами. Пошумели они, и смолкло все, словно рассеялись тучи и стих ветер.

Кинулись тогда Кошка и Пес к норе, где жила Мышь, разыскали всех ее родичей: отца и мать, сестер и братьев, детей и внуков — до третьего колена, выволокли их всех на площадь перед Королевской кладовой.

Вонзились Шакал и Рысь в мышиное отродье клыками, Ворона и Коршун стали клевать Мышам брюхо; Сокол и Ястреб теребили им лапы, Кабан и Выдра таскали их за хребет и загривок, Еж колол иглами, Богомол, вцепившись Мышам в хвост, взлетел в воздух, увлекая свои жертвы за собой; Петух клевал личинки, гнездившиеся в мясе поверженных, Сорока трепала мышиную шерсть, Червяк, Муха, Медведка и Муравей пили мышиную кровь. Все, кто жаждал свежей крови, рвали на части, терзали и пожирали мышиное мясо. Право, отталкивающее это зрелище — убийство.

Но были и такие, как Тигр, Дракон, Журавль и Луань; только выпустили их из темницы — тотчас убежали они и даже не оглянулись на растерзанное тело старой Мыши. А Единорог и Феникс, увидев кровавое побоище, сказали:

— Всех вас выпустили на волю — чего ради терзаете вы мертвое тело?

Так сказали они зверям и птицам. И тогда разошлись все по домам.

А Дух — хранитель кладовой повелел Святому воинству разрыть мышиную нору и осмотреть ее. Выполнили Воины повеление Духа и увидели, что всех родичей и соплеменников Мыши сожрала Кошка. Завалили тогда Воины мышиную нору землей и каменьями, не оставив даже малой щелочки, а Кошку и Рысь заставили по очереди сторожить то место, где было прежде логово преступницы. И никогда больше не пропадало зерно из Королевской кладовой.

ПАК ЧИВОН

ИЗ «ЖЭХЭЙСКОГО ДНЕВНИКА»

ОТПОВЕДЬ ТИГРА

Тигр — великолепен! Он талантлив и остроумен, он всесторонне образован и великодушен, он мудр, он почтителен к родителям, он быстр и ловок, он силен и отважен. Кажется, нет в Поднебесной достойного ему противника. Правда, говорят, что чудовища фэйвэй, чжуню, бо, цзыбай и пятицветный лев, который живет в расщелине скалы в Цзюйму, убивают и пожирают тигра. Хуанъяо выгрызает у тигра и леопарда сердце, а бескостный хуа — едва они проглотят его — изгрызает им печенку. Цюэр разрывает тигра на куски и пожирает его, а когда тигр попадается мэнъюну, он закрывает глаза от страха и не осмеливается даже посмотреть на него. Человек же не боится мэнъюна, а тигра — боится. Как страшен тигр!

Если тигр съест собаку, то он пьянеет, а съест человека — обретает необычайные способности. Дух первого съеденного тигром человека называется «цюйгэ» и постоянно пребывает у тигра под мышками. Проведет цюйгэ тигра на кухню человеческого жилья и полижет ушко котла. Тотчас хозяин начинает чувствовать острый голод и посылает жену готовить ужин. А тигру — только того и надо! Дух второго съеденного тигром человека зовется «иу». Он поселяется в пасти тигра. Поднимется иу на высокое место и смотрит, нет ли впереди какой-нибудь ловушки или капкана. А заметит что-нибудь подобное — идет вперед и убирает все с дороги тигра. Духа третьего съеденного тигром человека называют «юйхунем». Место его — под нижней челюстью тигра, и он обычно сообщает тигру имена своих друзей-приятелей...

— Солнце уже садится,— строго сказал однажды тигр этим духам,— надо бы поужинать!

— Я кое-что приметил,— ответил цюйгэ.— У зверя этого нет ни рогов, ни шерсти. Голова у него черная, походка нелепая: на снегу он оставляет редкие следы. И хвост у него находится не сзади, а на затылке!

— У Восточных ворот есть чем полакомиться,— вслед за цюйгэ сказал иу.— Это блюдо называется «лекарь». Лекарь постоянно пробует разные травы, и поэтому мясо его ароматно. Есть подходящая еда и у Западных ворот. Она называется «шаманкой». Шаманка, чтобы задобрить разных духов, каждый день совершает омовения и воздерживается от мясной пищи. Может быть, соизволите откушать одно из этих блюд?

— Лекарь вряд ли съедобен,— сердито прорычал тигр, встопорщив усы.— Своими сомнительными снадобьями он каждый год губит тысячи человеческих жизней. А шаманка — одна морока. При помощи духов она задуривает головы тысячам живых людей и приносит им огромный вред. Ненависть людская вошла в самые кости обоих негодяев и превратилась в смертельную отраву «цзиньцань». Разве можно есть таких ядовитых гадов?

— В недальней роще водится чудесное животное,— вступил тогда в разговор юйхунь.— Печенка у него добрая, желчный пузырь — небеспокойный. Оно крепко держит в руках верноподданность и нашпиговано твердыми убеждениями. На голове его одна элегантность, а в ногах его одни церемонии. Изо рта его льются заученные писания и в сердце его нет неведомых законов. Называется это животное — «высоконравственный и многоученый конфуцианец». Спина у него покатая, тело пухлое и содержит в себе все вкусы — сладкий, кислый, горький, соленый и вяжущий. Вот, право, отличный ужин!

Как только тигр услышал это, у него задрожали брови и обильно потекли слюнки. Он поднял голову и со смехом сказал:

— Я уже слышал об этой дичине. Да только верно ли, что она хороша на вкус?

Тут духи наперебой принялись расхваливать животное: только истый конфуцианец точно знает, как Инь и Ян в совокупности образуют Дао; только он постиг, как порождают друг друга пять первоэлементов и как взаимодействуют шесть начал природы. Да разве есть в мире деликатес более изысканный?! Но тигр вдруг помрачнел и неодобрительно сказал:

— Силы Инь и Ян едины по своей природе, они то растут, то убывают. Конфуцианец же противопоставляет их друг другу. А раз так — мясо этого субъекта должно иметь дурной привкус. Нельзя, конечно, утверждать и то, что пять первоэлементов,— которые существуют сами по себе,— порождают друг друга, что они находятся в материнско-дочерних отношениях и имеют либо соленый, либо кислый вкус. Такое утверждение, безусловно, портит мясо конфуцианца. Шесть начал природы находятся в естественном круговращении, и никто не может сказать, что это он управляет ими. А конфуцианец, помимо всего прочего, хвастается и этим, когда придется. Оттого наверняка мясо у него жилистое, жесткое и вряд ли хорошо переваривается!

...Жил в столице царства Чжэн один ученый человек, презиравший мирскую славу. Звали его — господин Бэй-го. К сорока годам он собственноручно исправил чуть ли не десять тысяч цзюаней чужих сочинений и сам написал чуть ли не пятнадцать тысяч,

в которых толковал старинные книги. Сын Неба поражался чувству долга господина Бэй-го, удельные правители с почтением произносили его имя. А в восточной части столицы жила красивая молодая вдова, которую звали Дун-ли. Сын Неба поражался ее целомудрию, удельные правители почитали ее за добродетели. Поэтому вдове Дун-ли была пожалована вся округа в несколько ли, где она жила, Дун-ли строго блюла верность покойному мужу, но у нее было пятеро сыновей с разными фамилиями.

Однажды собрались все пятеро ее отроков и так говорили между собой:

— В деревне на том берегу реки петухи бьют крыльями. Над деревней, что под горой, уж поблескивают утренние звезды. А в женской половине нашего дома раздаются голоса. И один из них очень уж похож на голос господина Бэй-го! — И пять братьев поочередно заглянули в дверную щель. (И действительно, там оказался не кто иной, как Бэй-го.)

— С давних пор,— просительно сказала Дун-ли Бэй-го,— я почитаю господина за добродетели. А нынче ночью хотела бы послушать его стихи. Пожалуйста, очень прошу вас!

Господин Бэй-го поправил ворот одежды, сел, скрестив ноги, и произнес:

«Мы с тобою — селезень с уткой,
на ограде счастливая пара;

Говорят о глубокой ночи
светлячки, что во тьме мерцают.

А вот тут торчат перед нами
этот самый кувшин и чара...

Кто они, я узнать хотел бы,
и кого собой представляют?» [1]

— По правилам этикета,— зашептались братья,— посторонний мужчина ни в коем случае не должен входить в ворота вдовьего дома. А ведь господин Бэй-го — человек в высшей степени почтенный.

— Я слышал,— сказал один из братьев,— что в развалинах городских ворот есть лисья нора. Говорят, если лиса проживет тысячу лет, то она обретает магические свойства и может превращаться в человека. Разве это не лиса приняла облик господина Бэй-го?

— Рассказывают,— продолжали шептаться братья,— что если достанешь шляпу лисы, то сделаешься большим богачом. Заполу-

[1] Перевод Г. Ярославцева.

чишь ее обувь — будешь ходить средь бела дня, и люди тебя не увидят. А уж если раздобудешь хвост лисы,— то сможешь легко околдовывать людей. Давайте схватим лису и поделим все эти чудесные вещи между собой. Вот будет здорово!

И тут пятеро сыновей — все скопом — неожиданно ворвались в покои Дун-ли. Господин Бэй-го смертельно перепугался. Он хотел было просто сбежать, но, боясь, что люди узнают его, затопал ногами, закружился в безумной пляске и принялся бесовски хохотать. С трудом вырвавшись за ворота, он со всех ног бросился наутек, но вдруг провалился в выгребную яму, что была вырыта в поле. А когда он еле-еле выбрался из этой ямы, до краев наполненной жидким пометом, увидел — дорогу ему загородил тигр! Морда у тигра перекосилась, и его стошнило. Зажав нос лапой и отворачивая морду, он с отвращением прорычал:

— Ух, ученый, как от тебя воняет!

Господин Бэй-го от ужаса втянул голову в плечи. Стоя на коленях, трижды поклонился тигру и, только тогда подняв голову, поспешно затараторил:

— Господин тигр! Ваша добродетель столь велика, что словами о ней и не скажешь. Великие люди подражают вашим многообразным талантам, императоры учатся у вас поступи, дети следуют вашему примеру в почтительности к родителям, а полководцы, ведущие войны, хотят быть грозными, как вы. Ваше имя равно имени священного дракона: один из вас ведает ветром, другой — облаками. И я, ничтожный человечек, осмеливаюсь просить вас: позвольте мне служить вашему величеству!

— Не подходи ко мне! — с бранью прорычал тигр.— Я еще раньше слышал, что так называемые ученые — все подлецы. Выходит, что это правда. Обычно ты поносишь меня самыми отборными ругательствами. А сейчас, когда ты попал в опасное положение, раболепствуешь от страха. Но кто поверит твоим словам? В мире существует только одна правда. Если у тигра плохой характер, то и у человека плохой. Если же у человека добрый характер, то у тигра — тем более. То, о чем ты всегда так многословно бубнишь, не выходит за пределы пяти устоев и трех нравственных начал. И, хотя ты призываешь людей следовать им, в многолюдном городе полно негодяев, нарушивших эти устои,— с изуродованными ступнями ног, с клеймами на лицах. Изо дня в день тушь и орудия пыток не выходят из употребления, и не похоже, что наступит время, когда этот изуверский человеческий обычай будет отменен.

У тигров никогда таких казней не было. Разве тигры не добрее людей? Тигры не едят травы, плодов и листьев, не едят насекомых и рыбу, не любят дурманящего хмельного зелья, не трогают стельных животных. В горах они охотятся на косуль и оленей, а

спускаясь в долины,— на коров и лошадей. Для своего пропитания тигры не зарятся на чужое добро и не таскаются по судам. Разве тигры не более нравственны, чем люди? Пока тигр охотится на косуль и оленей, вы, негодяи, и звука не проропите. Но стоит нам только один раз задрать лошадь или корову, как вы сразу же объявляете нас разбойниками. Почему? Да потому, что вы не ждете выгоды от косуль и оленей, а коровы и лошади на каждом шагу приносят вам пользу. Изо всех сил они работают на вас так, что кости трещат. И как искренне привязаны они к своему хозяину! А вы этого даже не замечаете. Вы безжалостно загоняете их в бойню, убиваете и разделываете так, что от них не остается ни рогов, ни гривы!

Но вам и этого мало. Вы протягиваете свои жадные руки к оленям и косулям, которые служат единственной пищей нам, тиграм. И мы, не имея возможности наполнить желудок в горах, вынуждены в поисках пищи спускаться в долины. Если бы попросить Небо рассудить нас по справедливости, то разве не повелело бы оно тиграм поедать людей? Разве, скажете, нет? Тот, кто берет чужую вещь,— вор, а тот, кто губит чужую жизнь,— кровавый разбойник. Днем и ночью вы лихорадочно мечетесь по земле, размахивая руками и свирепо выпучив глазища. Вы хватаете все, что попадает под руку, и тащите к себе в дом без зазрения совести. Да ведь только самые отпетые негодяи способны величать деньги своим «старшим братом Кунфан»! А один из вас, чтобы стать полководцем, убил даже свою собственную жену! С такими мерзавцами о пяти устоях и трех началах и говорить-то нечего!

Но вам и этого еще мало. Вы тащите прямо из-под носа пищу у кузнечиков, отбираете одежду у шелковичных червей, сгоняете пчелиный рой и воруете его мед. А самые отвратительные из вас кладут муравьиные яйца в яства и, поминая своих отцов и дедов, пожирают их. Разве есть в мире существа более злобные и жестокие, чем вы? Не считаясь с разумными законами мира, вы возвеличили человека и чуть что ссылаетесь на Небо. А для Неба, если говорить по справедливости, что тигр, что человек — равны. Все живые существа неба и земли — и тигры, и кузнечики, и шелковичные черви, и пчелы, и муравьи, и люди — должны жить дружно и не нападать друг на друга. Если различать добро и зло, то негодяй, разрушающий средь бела дня жилища пчел и муравьев, не есть разве самый настоящий разбойник? А мерзавец, бессовестно грабящий кузнечика и шелковичного червя, не есть разве бандит, лишенный чувства справедливости?!

Тигр не убивает леопарда, потому что невозможно трогать своих сородичей. Да и косуль и оленей, лошадей и коров и даже людей тигры убивают не так много, как сами люди. В прошлом году

в провинции Шаньси во время сильной засухи люди убили и съели десятки тысяч себе подобных. Несколько лет тому назад в провинции Шаньдун во время наводнения также было съедено несколько десятков тысяч людей. Но, если уж говорить о том, что люди убивают друг друга, то может разве что-нибудь сравниться с эпохой «Весен и Осеней»? Тогда люди вели семнадцать войн «за правду» и тридцать — «для отмщения врагу». Текли реки крови длиной в тысячи ли и громоздились горы из сотен тысяч трупов! А для тигров не существует ни наводнений, ни засух, поэтому они не поклоняются Небу. Они не помнят ни врагов, ни благодетелей, в мире нет никого, кто был бы им ненавистен. Они живут так, как постановило Небо, согласно своей природе. Они довольны своей судьбой, у них нет даже повода стать жертвой шаманок или лекарей, и они не могут заразиться алчностью, царящей в мире людей.

Ведь недаром говорят, что тигры отважны и справедливы. Если даже взять только один кусочек полосатой шкуры тигра, то разве нельзя гордиться ее красивейшим в мире узором? Тигры не пользуются никаким оружием, кроме своих клыков и когтей, но они широко прославились воинским умением. В старину тигры изображались на самой различной посуде: так люди ценили их почтительность к родителям. Тигры никогда не съедают свою добычу одни, они всегда делятся ее остатками с воронами, ястребами и муравьями. Не пересказать словами всей душевной доброты тигров, они щадят невинно оклеветанных, не трогают больных и калек, не нападают на тех, кто одет в траур.

А люди — поистине жестоки! Вы, негодяи, убиваете и с жадностью пожираете тигров и других животных. Мало вам силков и волчьих ям, так вы еще изобрели тенета для птиц, сети для косуль, всевозможные сети с большими ячеями и сети с малыми ячеями, разные бредни и невода. Каким мерзавцем был тот, кто первым связал сеть! А разве нет у вас, кроме того, мечей, кинжалов, длинных и коротких копий, больших и малых топоров, железных молотов, железных дубинок и палок? А уж если раз бабахнет так называемая пушка, то от ее грохота обрушиваются горы и сноп огня, вырывающийся из ее жерла,— пострашнее молнии! Но вам и этого всего мало. Вы изготовили еще одно страшное оружие — тоненькую палочку с приклеенным клочком мягкой шерсти, напоминающим финиковое зернышко, длиной не более одного чхи. Когда вы обмакиваете ее в тушь и начинаете махать ею вдоль и поперек,— на бумаге возникают отвратительные фигуры, похожие то на кривые копья с крючками, то на острые ножи и мечи, то на трезубцы, то на прямые стрелы, то на изогнутые луки. От одного взмаха этого ужасного оружия даже сонмы духов начинают выть по ночам

от страха. Ну скажи, есть ли на свете существа, которые пожирали бы друг друга с такой беспощадностью, как твои мерзкие собратья?!

Господин Бэй-го пошевелился, совсем уткнулся носом в землю и медлил с ответом. Потом он дважды поклонился и, втянув голову в плечи, сказал:

— В старинных книгах написано, что если человек — даже самый дурной! — совершает омовения и соблюдает пост, то Небо его не оставит. Осмеливаюсь просить позволить мне, ничтожному человечку, почтительно служить вашему величеству!

Затаив дыхание, он прислушался, но никакого приказа не последовало. Трепеща от страха, он сцепил руки, еще глубже втянул голову в плечи и наконец поднял глаза. Видит — небо на востоке уже посветлело, а тигр исчез.

...Какой-то крестьянин, вышедший рано утром на работу в поле, увидя господина Бэй-го, спросил:

— Господин! Почему это вы в такую рань кланяетесь в поле?

— Слышал я,— отвечал господин Бэй-го,— говорят так: как бы ни было высоко небо, ходить под ним нужно, пригнувшись; как бы ни была прочна земля, ступать по ней нужно на цыпочках!

ХО ГЮН

ПОВЕСТЬ О ХОН ГИЛЬДОНЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рассказывают люди, будто давным-давно, еще при государе Седжоне, жил сановник по фамилии Хон, а по имени Мо.

Знатен и родовит был этот Хон. Еще юношей сдал он государственные экзамены и дослужился до главы палаты чинов. Имя Хона гремело по всем городам и селам, и шла о нем слава как о преданном сыне и верном слуге государя.

Двое сыновей было у Хона. Старшего звали Инхён. Мать его, законная супруга Хона, происходила из рода Лю. Младший сын, Гильдон, был рожден от служанки Чхунсом.

Перед рождением Гильдона приснилось отцу, будто загрохотал гром, сверкнула молния и на него ринулся с неба зеленый дракон с косматой взъерошенной бородой. В испуге очнулся Хон Мо. Дивный сон, под стать сну о муравьином царстве Нанькэ! Он с радостью подумал: «Увидел во сне дракона, значит, жди дорогого сына!» — и поспешил к супруге на женскую половину.

Встала навстречу госпожа Лю. Взял он ее за яшмовые руки, хотел тут же обнять и приласкать. Но чинно молвила ему госпожа Лю:

— Вы солидный человек, а ведете себя, словно ветреный мальчишка! Не стану потакать вам!

И с этими словами отвела его руки.

Хон Мо вышел, досадуя на супругу. А как раз в это время принесла ему чай служанка Чхунсом. Плененный красотой девушки, Хон Мо тут же увлек ее в соседнюю комнату. В ту пору Чхунсом было восемнадцать лет.

С этого дня она не выходила за ворота и даже не смотрела на других мужчин. Господину это пришлось по праву, и он возвел ее в наложницы. А ровно через десять лун Чхунсом родила дивного мальчика. Отец радовался и жалел, что не от законной супруги родился такой прекрасный сын.

А Гильдон рос да рос и к восьми годам всех превзошел разумом, как говорится, все схватывал на лету. Одна беда: низкое рождение запрещало мальчику называть отца отцом, а брата братом. Если по забывчивости он позволял себе такое, ему тотчас же указывали на оплошность. Даже слуги не испытывали к нему никакого почтения.

Однажды осенью, в девятую луну, сиял на небе месяц, дул свежий ветерок — все успокаивало душу. Гильдон сидел за книгами, но вдруг оставил их со вздохом:

— Хоть и рожден я мужем, следовать примеру Конфуция и Мэн-цзы мне не дано. Так не лучше ли изучать науки ратные! Сделаюсь я военачальником. Падет передо мной Восток и будет завоеван Запад. Великий подвиг для государства, а Гильдону — слава... Такие подвиги достойны мужчины! Но почему я все-таки одинок?.. Есть у меня отец и брат, да не дозволено называть отца отцом, а брата братом. Как же тут не горевать, как не печалиться!

Гильдон вышел во двор — и принялся учиться искусству фехтования.

В ту же ночь Хон Мо любовался лунным светом и увидал сына.

— Отчего тебе не спится? — спросил он.

— Я любовался лунным светом,— почтительно ответил Гильдон.— «Небо сотворило десять тысяч вещей, и самое высшее его творение — человек». Меня же никто не ценит. Так человек ли я?

— Это что еще за речи?! — рассердился отец.

А Гильдон опять:

— Вот что тревожит мою душу: я ваш сын, плоть от плоти, кровь от крови вашей, но мне не дано звать отца отцом, а брата братом. Могу ли я называться человеком? — И слезы полились на его платье.

Отец выслушал Гильдона, но утешать не стал, побоялся, что сын совсем осмелеет, и принялся браниться:

— В моей семье не один ты низкого происхождения. Что это за дерзости? Не смей больше так говорить!

Гильдон плакал, не проронив ни слова. А когда услыхал: «ступай прочь»,— ушел к себе и закручинился еще больше.

Вот и одарен-то он превыше всех, и сердцем добр, но нет душе его покоя, сон бежит от глаз.

Однажды пришел Гильдон в покои матери и, сетуя, сказал ей так:

— Еще в прошлой жизни предопределила мне судьба быть вашим сыном. Это для меня великая милость. Но мне придется расстаться с вами. С судьбою трудно спорить. Дорогая матушка, не беспокойтесь о недостойном сыне и берегите свое драгоценное здоровье.

Мать встревожилась:

— Низкого рождения в нашем доме не только ты, зачем же говорить столь пристрастно, надрывая мне сердце?

Сын отвечал:

— Кильсан, сын Чан Чхуна, тоже был низкого рождения. Покинув мать, ушел он в горы Унбонсан, постиг там великое учение о Пути, и его имя славили потомки. Я избираю ту же дорогу. А вы не горюйте и ждите, что последует дальше. Одно лишь меня беспокоит: что-то не по душе мне коксанская тетка. С каждым днем отец все больше благоволит к ней. Боюсь, не причинила бы она зла нам с вами. От нее, как от врага, так и жди беды. Обо мне же вы не беспокойтесь.

Мать совсем опечалилась.

Действительно, была у господина любимая наложница по имени Чхоран — Ранний лотос. Некогда в Коксане все знали ее как кисэн, и потому получила она прозванье коксанской тетки. Нрава она была спесивого и вздорного. Любого, кто не угодит ей, тотчас опорочит перед хозяином. Все зло в доме шло от нее. Дворовые слуги ее ненавидели. Когда же у Чхунсом родился сын и господину это пришлось по сердцу, Чхоран из зависти решила погубить Гильдона.

Однажды, зазвав к себе шаманку, Чхоран сказала ей:

— Не знать мне покоя до тех пор, пока не изведу мальчишку. Исполни мое желание, а за услуги я щедро тебя одарю.

— За Восточными воротами столицы живет гадалка,— посоветовала шаманка,— только глянет на человека, сразу все расскажет: что было и что будет, в чем счастье и в чем лихо. Растолкуй ей свои желанья, а потом отведи к господину. Ее пророчества так

его запугают, что он сам пожелает сжить сына со света. Вот и выход, только бы удалось!

Чхоран дала ей на радостях пятьдесят лянов серебра и пригласила заходить. Шаманка ушла довольная.

На другой день Хон Мо на женской половине беседовал с супругой, госпожой Лю, о младшем сыне. Расхваливая его таланты, они сетовали, что мальчик родился от служанки.

Неожиданно в покои вошла какая-то женщина и поклонилась господину. Тот удивился:

— Кто ты? Зачем пожаловала?

— Я, недостойная, людям ворожу. Вот и к вам зашла.

Хон Мо тотчас захотел узнать, что ждет Гильдона. Его позвали и показали ворожее. И она робко проговорила:

— Я вижу, что ваш сын — необыкновенный человек, герой, каких не видел свет, но рождения он низкого... Вот будто бы и все... — И она умолкла на полуслове.

Хон Мо, заинтересовавшись, приказал:

— Ну что там, договаривай!

Ворожея, чуть помявшись, продолжала:

— Гляжу я на вашего сына: он великодушен и добросердечен. В междубровье мне ясно виден дух наших гор и рек. Внешность у него царская. Но когда он вырастет — погубит весь ваш род. Молю, подумайте об этом!

Хон Мо призадумался, но ворожее сказал:

— От судьбы не уйдешь. А о сказанном молчи! — и, вознаградив ее, отпустил.

С того дня Хон Мо поселил Гильдона в уединенном домике в горах и приказал следить за каждым его шагом.

Тоскливо было на сердце у Гильдона, да что поделаешь! И стал он изучать военные науки по «Шести планам» и «Трем тактикам», движение светил и географию.

Обо всем этом Хон Мо знал и беспокоился:

— Этот негодник талантлив. Если дать окрепнуть его далеко идущим замыслам, как бы не сбылось предсказание гадалки! Что с ним тогда поделаешь?

В душу господина закрался страх.

А Чхоран тем временем за тысячу золотых наняла убийцу по имени Тхыкчэ, господину же без устали нашептывала:

— Ну и гадалка! Всех насквозь видит! Как вы решили поступить с Гильдоном? Не лучше ли от него поскорее избавиться?

Но господин нахмурил брови:

— Это — моя забота. Нечего болтать пустое! — и прогнал Чхоран с глаз долой.

Потеряв покой и сон, Хон Мо занемог. Супруга и старший сын Инхён встревожились, а Чхоран уж тут как тут и знай твердит:

— Господин наш занемог. А все из-за Гильдона. Мне кажется, что господин поправится, только когда этого мальчишки не будет на свете. И благополучию нашего рода тоже ничто не будет угрожать. Поразмыслите об этом!

— Как бы ни было, но установленные издревле отношения между людьми — самое важное на свете,— возразила госпожа,— как можно решиться на такое дело?

А Чхоран все свое твердит:

— Говорят, есть какой-то Тхыкчэ. Ему прикончить человека все равно, что залезть рукой в собственный карман. За тысячу золотых он темной ночью управится с мальчишкой. Когда господин проведает об этом, будет уже поздно. Подумайте хорошенько!

Госпожа и старший сын со слезами отвечали:

— Мы не можем на такое решиться, но ты для блага государства, ради жизни отца и супруга и во имя сохранения рода Хонов, делай, как разумеешь.

Чхоран обрадовалась, позвала Тхыкчэ и наказала ему убить Гильдона той же ночью. И убийца стал ожидать полночи.

Гильдон меж тем все горевал о том, что им пренебрегают. Но против отцовской воли не пойдешь. Не спится Гильдону, при свече читает он «Книгу перемен». И вдруг слышит: прокаркал ворон. Гильдон удивился: «Ворон обычно бежит от ночи, а тут вдруг каркает. Быть беде!» Он углубился в «Книгу перемен», стал изучать восемь триграмм. Но, тотчас же в ужасе отпрянув, оттолкнул столик и, сотворив заклинание, сделался невидимкой. И что же — в третью стражу тихо отворилась дверь, и в комнату прокрался какой-то человек, вооруженный кинжалом.

Невидимый Гильдон произнес заклинание. Тотчас поднялась буря, дом исчез, и взору открылся величественный вид в горах. Перепугался убийца, понял, что Гильдон чародей, спрятал свой кинжал и попытался скрыться. Однако дорогу ему преградили высокие утесы и отвесные скалы. В страхе заметался Тхыкчэ.

Тут откуда-то послышались звуки нефритовой флейты. Убийца воспрянул духом и огляделся. Видит — едет на осле отрок. Подъехал, перестал играть и принялся его стыдить:

— За что ты хотел погубить меня?! Небо тебя покарает! — И тут он произнес заклинание.

Набежали черные тучи, хлынул дождь, посыпались на землю камни и песок. Тхыкчэ понял: перед ним Гильдон!

«Хоть он и чародей, но со мной ли ему тягаться!» — подумал убийца, выхватил кинжал и бросился вперед, крича:

— Не вини меня! Это Чхоран все устроила, она призвала себе на помощь шаманку с ворожеей и внушила господину, что тебя надо убить.

Еле сдерживая гнев, Гильдон снова прибегнул к волшебству и отобрал у Тхыкчэ кинжал.

— Так ты польстился на золото и погубить человека для тебя пустяк? Таких злодеев казнят без жалости!

Меч его отсек убийце голову, и она скатилась на пол. Пылая гневом, разыскал Гильдон в ту же ночь шаманку с гадалкой, притащил их в свою комнату, где лежал мертвый Тхыкчэ, и с руганью набросился на них.

— Вы задумали вместе с Чхоран погубить меня, ни в чем не повинного, так получайте за это!

Разделавшись с тремя злодеями, Гильдон взглянул на небо. Близился рассвет. Серебряная река клонилась к западу. Свет луны померк, потянуло прохладой. Природа словно хотела смягчить его душевные страдания. В гневе Гильдон собирался покончить и с Чхоран, но, зная, что отец любит ее, отбросил меч. Он решил покинуть родные края и пошел к отцу проститься.

Почувствовав, что кто-то стоит под окном, отец открыл его и увидел Гильдона.

— Ночь на дворе, а ты не спишь и бродишь под окнами. Что с тобой?

Пал ниц Гильдон, промолвил:

— Мечтал я хоть тысячную долю воздать родителям, меня взрастившим, да не пришлось. Меня оклеветали, и только чудом избежал я смерти. Не суждено мне, видно, послужить вам. Мы теперь долго не увидимся, и я пришел проститься.

— Что за беда с тобой стряслась? Ты еще мал, а собираешься покинуть дом. Куда же ты отправляешься? — спросил в испуге Хон Мо.

— На рассвете все узнаете... Моя судьба подобна гонимому по небу облаку. Как избавиться мне от злых наветов? — И, не в силах продолжать, залился слезами.

Стал Хон Мо уговаривать сына:

— Я понимаю, как тебе обидно. Зови же меня отныне отцом, а брата Инхёна — братом.

Дважды поклонился Гильдон отцу и сказал:

— Вы, батюшка, меня утешили, теперь и умереть не страшно. Живите же долго и счастливо.

Хон Мо не удерживал сына и пожелал ему благополучия.

Гильдон пошел проститься с матерью:

— Я покидаю вас, матушка, но наступит день, когда я снова буду заботиться о вас. Берегите себя!

Чхунсом почуяла недоброе. Сжав руки сына, она запричитала:

— Куда же ты? Мы так привязаны друг к другу, все время жили под одной крышей, а теперь ты уходишь невесть куда! Возвращайся же скорее! Сможет ли материнское сердце вынести разлуку!

Гильдон дважды поклонился матери и покинул дом. Вышел он за городские ворота, а вокруг громоздятся горы, окутанные облаками. И пошел Гильдон куда глаза глядят.

Ну не печально ли все это?!

Между тем Чхоран, не получив вестей от Тхыкчэ, послала человека разведать. Тот доложил, что Гильдона след простыл, а Тхыкчэ и ворожея с шаманкой мертвыми лежат в его комнате. Струсила Чхоран, бросилась со всех ног к госпоже и рассказала, что приключилось.

Госпожа от страха переменилась в лице, тут же послала за Инхёном. Доложили господину.

Тот испуганно проговорил:

— Гильдон приходил ко мне ночью весь в слезах прощаться. Тогда мне это показалось странным. А тут вот, оказывается, какое дело!

Не смог больше таиться Инхён, рассказал отцу о кознях Чхоран. Хон Мо разгневался, выгнал Чхоран из дому, слугам же приказал убрать трупы и держать язык за зубами.

Между тем Гильдон, простившись с отцом и матерью, покинул родной дом и отправился бродить по свету. Однажды он забрел в места необычайной красоты. Шел он, шел, разыскивая человеческое жилье, и в одной пещере заметил каменную дверь. Гильдон тихонько открыл ее, вошел и видит: расстилается перед ним широкая долина. Как зубья частого гребня, теснятся на ней дома, кругом полно людей, кипит веселье, идет веселый пир.

Оказалось, здесь жили разбойники. Посмотрели они на Гильдона, поняли, что он не простой человек, и приветливо обратились к нему:

— Кто вы и зачем пожаловали к нам? Мы здесь все удальцы, но вот никак не можем выбрать себе предводителя. Если вы силой не обижены и хотите остаться с нами, попробуйте поднять вон ту глыбу!

Гильдону эти речи пришлись по душе, и он, дважды поклонившись, ответил:

— Я из столицы, сын главы палаты чинов и его служанки. Зовут меня Гильдон. Не пожелав терпеть унижений в отчем доме, я пошел куда глаза глядят и, скитаясь без цели, забрел сюда. Вы предлагаете мне стать вашим предводителем? Премного благодарен вам за это. Но что стоит для настоящего героя поднять какой-

то камень? — С этими словами он подхватил каменную глыбу, пронес ее немного и швырнул. А глыба была тяжелая, в тысячу кынов!

Разбойники обрадовались, поздравили его:

— Вы в самом деле богатырь! Среди нас, из нескольких тысяч, не нашлось такого, кто поднял бы эту глыбу. Сегодня Небо сжалилось и даровало нам предводителя.

Тут же они усадили Гильдона на почетное место, поднесли вина. Заколов белую лошадь, разбойники поклялись Гильдону в верности, затем поздравили друг друга. Пир продолжался до ночи.

Со следующего дня молодцы с Гильдоном без устали учились воинскому искусству. Прошли месяцы, и их воинское умение достигло совершенства.

Однажды разбойники сказали:

— Задумали мы было напасть на монастырь Хэинса, что в уезде Хапчхон, и завладеть его богатством, да не хватает ума-разума, как за дело взяться. Что вы на это скажете?

— На днях пошлю отряд,— ответил Гильдон,— а вы лишь выполняйте то, что я скажу.

И вот он в зеленых одеждах, подпоясанный черным поясом, выехал на осле со свитой, наказал разбойникам:

— Поеду в монастырь, разведаю и возвращусь обратно.

Сразу видно, что сын государственного мужа!

Приехал Гильдон в монастырь и приказал позвать настоятеля.

— Я из столицы, сын главы палаты чинов. Приехал поучиться у вас наукам. Завтра велю прислать вам двадцать сóков риса, вы приготовите угощение, и устроим пир,— говорил Гильдон, а сам тем временем разглядывал монастырское убранство.

Договорился Гильдон с монахами и поехал назад. Монахи были рады предстоящему угощению, а Гильдон, вернувшись к своим молодцам, первым делом отправил в монастырь обещанный рис, а потом стал объяснять, что сам намеревается делать и что надлежит делать им.

Дождавшись условленного дня, Гильдон с молодцами явился в монастырь Хэинса. Монахи встретили его с почетом, а он осведомился у настоятеля, хватило ли риса.

— Как не хватить, безмерно благодарны!

Гильдон восседал на почетном месте и потчевал монахов, по старшинству угощая всех вином. Монахи рассыпались в благодарностях. Но вот и сам Гильдон принялся за еду. Незаметно он взял в рот щепотку песку, жует, а песок громко хрустит у него на зубах. Монахи заметили, перепугались и стали оправдываться. Гильдон же сделал вид, что разозлился:

— Эй вы, чем кормите людей?! Вы сделали это, чтобы оскорбить меня! — И отдал приказание связать всех монахов одной

веревкой и усадить в ряд. Монахи в ужасе не знали, что и подумать. Откуда ни возьмись появились сотни молодцов, обобрали дочиста монастырь и были таковы. Монахам оставалось лишь вопить.

В это время в монастырь возвращался отлучившийся по делам служка. Увидел он, в какую беду попали монахи, и побежал доложить в управу. Правитель уезда послал стражников с наказом поймать разбойников. Сотни стражников устремились в погоню. Вдруг видят: стоит на горе монах в шапочке и темной холщовой рясе и кричит:

— Разбойники туда, по северной дороге, побежали! Быстрей хватайте их!

Стражники послушно повернули на север, как им указал монах, и помчались с быстротой урагана.

Уже стемнело. Так и не догнав разбойников, погоня воротилась.

А это был Гильдон. Послав разбойников на юг по большой дороге, сам облачился в монашеское платье и обманул стражников. А потом цел и невредим вернулся к себе в долину.

Разбойники уже управились с захваченным добром и вышли навстречу, восхваляя Гильдона.

— Смекалка предводителю нужна прежде всего! — посмеивался Гильдон.

После этого Гильдон и его молодцы стали называть себя «бедняцкими заступниками».

«Бедняцкие заступники» гуляли по всем восьми провинциям Кореи. Повсюду отбирали нажитое неправдой, помогали беднякам. Однако простой люд не обижали и государственного добра не трогали, поступали по справедливости.

Однажды Гильдон собрал своих молодцов и объявил:

— Губернатор Хамгёндо — алчный человек. Он грабит народ до нитки, люди бедствуют. Мы не можем этого так оставить. — И он отдал приказ поодиночке пробираться в город.

А в условленный день за Южными воротами вспыхнул пожар. Губернатор перепугался, приказал всем горожанам тушить его. Нижние чины и простой люд сбежались на пожар. В это время молодцы Гильдона ворвались в город, открыли закрома и склады, погрузили на повозки весь рис и оружие и покинули город через Северные ворота.

Город бурлил, как кипяток в котле. Застигнутый врасплох губернатор не мог понять, что происходит. А когда рассвело, обнаружилось, что опустели склады с оружием и амбары с зерном. Губернатор до смерти перепугался и решил во что бы то ни стало изловить разбойников.

Тем временем на Северных воротах появилась надпись: «Зерно и оружие забрал Гильдон, предводитель «бедняцких заступников».

Губернатор послал стражников в погоню за разбойниками.

А дальше было вот что. Молодцы Гильдона вывезли все добро из складов и амбаров. Гильдон, беспокоясь, как бы их не настигла погоня, прибег к волшебству, и все кончилось благополучно.

Снова созывает своих людей Гильдон:

— Мы обобрали монастырь Хэинса, очистили амбары и склады у губернатора Хамгёндо. Слухи об этом разнеслись далеко окрест. Мое имя красуется на воротах сыскного приказа. Этак и головы лишиться недолго. Вот что я придумал, смотрите и дивитесь! — И живо смастерил из соломы семь чучел. Затем, произнеся заклинание, вдохнул в них души. Чучела тотчас ожили, замахали руками, загалдели, собрались в круг и наперебой заспорили. Узнай попробуй, где настоящий Гильдон!

В каждую из восьми провинций отправилось по Гильдону, и с каждым сотни молодцов. И невозможно было узнать, где подлинный Гильдон.

А Гильдоны между тем бродили по всему государству, навлекая ветры, посылая бури. Бывало, за одну и ту же ночь в разных местах бесследно исчезало зерно из амбаров, пропадали отправленные из провинции подношения столичным чиновникам.

В государстве воцарился хаос. Из-за беспорядков по ночам люди боялись ложиться спать, на дорогах замерло движение. Губернаторы в донесениях на высочайшее имя сообщали: «Невесть откуда взявшийся разбойник по имени Гильдон, повелевая ветрами и тучами, присвоил себе имущество во всех уездах. Товары не доходят до столицы. Его проделкам нет числа. Если не изловить его теперь же — кто знает, чем это кончится! Соблаговолите дать распоряжение в сыскной приказ изловить этого разбойника».

Государь подивился таким известиям и приказал левому и правому главам сыскного приказа доставить донесения сразу из всех провинций. И что же? Оказалось, разбойника всюду зовут Гильдоном, а налеты и грабежи во всех восьми провинциях совершались в одно и то же время.

Изумился государь:

— Дерзость и ловкость этого разбойника превосходит все, что известно было до сих пор, и даже самого Чи-ю! Но кем бы ни был он, немыслимо, чтобы один и тот же человек чинил разбой сразу в восьми местах в один и тот же день и час! Видно, то не простой разбойник, и схватить его будет не так-то легко. Я повелеваю вам взять стражников и изловить Гильдона!

Тут выступил вперед левый глава Ли Хып:

— Я, бесталанный, постараюсь схватить этого разбойника. Не беспокойтесь, государь! Зачем посылать нас обоих с войском за одним недостойным смутьяном?!

Государь согласился с ним и велел немедля собираться в дорогу. Ли Хып откланялся и тотчас выступил в поход с большим отрядом. Договорившись пробраться в Мунгён поодиночке и там встретиться в определенный день, стражники разбрелись, и каждый отправился своей дорогой. Сам Ли Хып переоделся и с несколькими стражниками тоже двинулся в путь.

Шли они, шли и под вечер решили отдохнуть в кабачке. В это время к кабачку подъехал на осле какой-то юноша, вошел и представился. Ли Хып ответил на приветствие. Неожиданно юноша со вздохом промолвил:

— Говорят, «Поднебесная— владение государя, а подданные государя должны быть его верными слугами». Я, хоть и необразованная деревенщина, душою исстрадался за наше государство.

— Что так? — для вида поинтересовался Ли Хып.

— Разбойник Гильдон разгуливает по всем провинциям,— продолжал юноша,— делает что хочет. Народ волнуется, а его до сих пор не поймали. Как тут не возмущаться?!

— Сразу видно, что вы герой,— оживился Ли Хып,— в ваших речах видна преданность государю. Давайте вместе ловить этого разбойника, согласны?

— Я уже давно думал его поймать, да не нашлось надежного напарника,— обрадовался юноша.— Встреча с вами для меня счастье! Но я еще не знаю, на что вы способны. Давайте отправимся в какое-нибудь уединенное место и померяемся силами.

И они отправились. Вот уселся юноша на краю высокой скалы и говорит Ли Хыпу:

— Попробуйте-ка столкнуть меня вниз, да толкайте посильнее.

Ли Хып подумал:« Как бы ни был он силен, неужели не столкну?» — и толкнул юношу что было силы. А тот повернулся к нему и говорит:

— Вы настоящий богатырь! Я испытал нескольких человек, и никому не удавалось даже поколебать меня, а от вашего удара во мне все содрогнулось. Теперь следуйте за мной, пошли ловить Гильдона,— и повел его глубоким ущельем.

Ли Хып шел и думал: «Я всегда гордился своей силой, но этот парень, поистине, достоин удивления! Однако как бы он не обманул меня!»

А юноша вдруг остановился и сказал:

— Здесь разбойничий притон Гильдона. Я пойду разведаю, а вы подождите.

Сомнение взяло Ли Хыпа. Однако делать нечего, остался,— только велел юноше возвращаться не иначе, как с пойманным Гильдоном.

Вдруг видит Ли Хып: с криком бегут по ущелью какие-то воины. Оробел он, но спрятаться не успел — настигли его и связали.

— Это ты Ли Хып, глава сыскного приказа? Мы пришли по велению Владыки ада, чтобы схватить тебя.

Погнали злосчастного Ли Хыпа, хлеща его железными плетьми. Едва у него душа с телом не рассталась, чуть рассудка он не лишился. Потом швырнули его на колени. Не успел Ли Хып прийти в себя, поднял голову — и что же видит? Перед ним великолепные чертоги, кругом тьма-тьмущая богатырей в желтых повязках, а на троне их повелитель.

Грозно вопрошает он Ли Хыпа:

— Как, ничтожный, осмелился ты искать Гильдона? Мы отправляем тебя на остров Ветров, в подземное царство.

Собравшись с духом, взмолился Ли Хып:

— Бедный я, несчастный, безвинно пострадавший!.. Молю вас, оставьте мне жизнь.

И слышит он в ответ с трона брань и смех:

— Открой глаза пошире! Я — Хон Гильдон, предводитель «бедняцких заступников». За мной охотишься?.. Ну что ж! Ведь тот юноша в зеленом был я. Это я привел тебя сюда, желая испытать твой ум и силу. Теперь ты убедился, как я грозен?

Гильдон приказал развязать Ли Хыпа, усадить за стол и, потчуя его вином, напутствовал:

— Нечего тут попусту шататься! Убирайся да не болтай, что видел меня, не то худо будет!

Гильдон еще раз поднес ему вина и приказал стражникам отпустить Ли Хыпа.

«Сон это или явь? Как я сюда попал? — недоумевал Ли Хып.— Ну и чародей этот Гильдон!»

Хотел он подняться, да не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Очнувшись окончательно, увидал он, что сидит в кожаном мешке. Насилу из него выбрался. Глядь, а на дереве еще такие же три мешка. Снял их, и что же? Там трое стражников, которых он захватил с собой.

— Что случилось? Ведь мы же договорились встретиться в Мунгёне? Как мы тут очутились?

Огляделись, оказывается, они на горе Пугак близко от столицы, да и сама столица внизу как на ладони.

— Вас-то как сюда занесло? — спросил Ли Хып.

— Расположились мы на ночлег. Вдруг, то ли на яву, то ли во сне, поднялся вихрь и умчал нас. Мы лишились памяти и чувств

и в одно мгновение очутились здесь. Сами не знаем, как все это приключилось.

Ли Хып сказал:

— Такие дела выше человеческого разумения. Но вы обо всем этом молчите. Гильдон неуловим, нет меры его талантам, и сладить с ним не по силам простому смертному. Если мы вернемся сейчас в столицу, нас накажут. Лучше переждем месяц-другой.

Между тем государь во все концы слал указы поймать Гильдона. А тот, волшебством меняя облик, сегодня разъезжал в повозке, как большой чиновник, завтра путешествовал на носилках, несомых парою лошадей, или бродил, как государев ревизор. Покарав алчных начальников уездов за их преступления, он, как ревизор, докладывал в столицу: «Это сделал Хон Гильдон».

Государь вспыхнул от гнева:

— Этот смутьян разгуливает где вздумается. Бесчинствам его нет числа. Так просто его, пожалуй, не поймаешь. Что будем делать? — обратился он однажды к своим приближенным.

В это время принесли очередные донесения о Гильдоне. Государь просмотрел их и, вне себя от беспокойства, сказал придворным:

— Это же нечистая сила, а не человек! Кто из вас способен понять, в чем тут дело?

Тогда выступил вперед один из приближенных:

— Хон Гильдон — побочный сын Хон Мо, главы палаты чинов, и брат Хон Инхёна из военной палаты. Надо их позвать и допросить, тогда, может быть, что-нибудь прояснится.

— Почему же только теперь вы сообщаете мне об этом?! — разгневался государь.

Хон Мо тотчас доставили в сыскной приказ, а Инхёна — пред очи самого государя.

О том же, что было дальше, вы узнаете из следующей главы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, Хон Мо доставили в сыскной приказ, а Инхён держал ответ перед самим государем.

Государь сказал:

— Разбойник Гильдон твой сводный брат. Как мог ты допустить, чтобы он принес государству столько бед? Изволь немедленно схватить его. Не то не посмотрю, что ты примерный сын сановника, верного престолу! Поторопись исполнить приказ! Пусть Гильдон мне более не докучает.

Инхён затрепетал, стал кланяться государю:

— Мой младший брат рожден от служанки. Еще в юном возрасте сделался он убийцей и сбежал из дому. Уж столько лет нет о нем ни слуху ни духу. Из-за него тяжело хворает старик отец, того и гляди, помрет. И вам, государь, доставил беспокойство этот безнравственный мальчишка. Я виноват, но молю — помилуйте отца. Если мне будет дозволено вернуться домой и ухаживать за ним, я хоть лишусь жизни, но поймаю Гильдона, искуплю нашу вину.

Государь повелел освободить Хон Мо, а Инхёна назначил губернатором Кёнсандо, сказав при этом:

— Будешь губернатором — скорее поймаешь разбойника. Даю тебе год сроку.

Инхён, благодарно поклонившись сто раз, покинул приемный зал и тотчас же собрался в дорогу. Прибыв на место, он по всем уездам велел расклеить обращения к Гильдону. В них говорилось:

«Человек от рождения следует пяти устоям. Пока не нарушаются эти устои, в государстве царят гуманность и справедливость, учтивость и мудрость. Тому, кто их не признает, не повинуется отцу и государю, став непочтительным сыном и неверным подданным,— нет места на земле. Брат мой Гильдон, вспомни об этом и поспеши отдаться в руки властей. Из-за тебя болеет наш отец и в большом волнении пребывает государь. Поступки твои вопиющи. Наш государь, назначивший меня правителем Кёнсандо, приказал поймать тебя, в противном случае наш род будет обесславлен. Как не скорбеть об этом! Надеюсь, что, поразмыслив, ты явишься с повинной, дабы смягчить себе наказание и сохранить честь рода. Одумайся! Вернись!»

Приказав расклеить обращения, Инхён отложил все дела и стал ждать, когда объявится Гильдон. И вот однажды к дому Инхёна подъехал на осле какой-то юноша в сопровождении слуг и попросил принять его. Инхён пригласил юношу в дом, и когда тот вошел, Инхён, вглядевшись, узнал в нем долгожданного Гильдона. Обрадованный Инхён, отослав приближенных, сжал руки брата и залился слезами:

— С той минуты, как ты ушел из дома, мы ничего не знали о тебе — жив ты или нет. Отец занемог. Ты показал себя дурным сыном, а главное, сделался опасным для государства. Как посмел ты проявить непочтительность к отцу и нарушить преданность государю? И к тому же, став разбойником, натворил столько бед. Ты прогневил государя, и он повелел мне изловить тебя. Как совершивший тягчайшие преступления, ты должен немедленно отправиться в столицу и ждать высочайшего решения.

С поникшей головой внимал Гильдон словам брата.

— Я вызволю из беды отца и брата. Иначе поступить я не могу. Если бы с самого начала мне было дозволено называть

родного отца отцом, а брата — братом, разве дошло бы до этого? Но что толку говорить о прошлом! Вяжи меня и отправляй в столицу! — И больше не проронил ни слова.

С печалью в сердце отослал Инхён донесение в столицу. Гильдону надели на шею кангу и на ноги колодки и под усиленной охраной повезли в столицу, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Народ, наслышанный о подвигах Гильдона, выходил навстречу, преграждая путь повозке.

Тем временем поймали еще семерых Гильдонов. Столичные чиновники и горожане пребывали в растерянности, а больше всех недоумевал государь: когда, созвав весь двор, он приготовился к допросу, к нему доставили сразу восьмерых Гильдонов. И эти восьмеро тотчас заспорили, загалдели и стали драться:

— Не я Гильдон, а ты!

— Нет, ты!

Поди угадай, кто из них настоящий! Государь подивился и приказал доставить Хон Мо:

— Говорят, отец лучше всех знает свое дитя. Опознай-ка из этих восьми своего Гильдона!

Хон Мо поклонился до земли:

— Это нетрудно сделать: у него на левой ноге родимое пятно,— и принялся браниться, обращаясь к Гильдонам: — Перед тобой государь и отец. Ты совершил столько преступлений, так хоть умри достойно!

Тут из горла у него хлынула кровь, и он лишился чувств.

Заволновался государь, призвал придворных лекарей, но все их старанья ни к чему не привели.

А восемь Гильдонов. залились слезами, разом полезли в свои карманы и вытащили по пилюле. Вложили их в рот Хон Мо, и тот очнулся. А Гильдоны хором обратились к государю:

— Мой отец не раз видел от вас милости. Разве я могу сейчас поступить недостойно? По рождению своему я был лишен права называть отца отцом, а брата — братом. Всю жизнь страдал из-за этого, покинул дом и сделался разбойником. Однако простой народ я не обижал, отбирал имущество лишь у начальников уездов, выжимающих из бедняков последние соки. Прошло десять лет, и теперь мне есть, где приютиться. Вы не волнуйтесь больше, государь, отмените лишь указы о моей поимке!

И тут же все восемь разом повалились на пол. Глядь, а Гильдонов уже нет, лежат одни соломенные чучела.

Удивлению государя не было предела. Он снова разослал во все провинции указы о поимке настоящего Гильдона. А тот снова бродит по стране, на четырех воротах столицы расклеил обращения:

«Сколько ни старайтесь поймать Гильдона, вам это не удастся до тех пор, пока не выйдет распоряжение о назначении его главой военной палаты».

Государь прочел, собрал придворных, и те в один голос заявили:

— Ловили этого разбойника — не поймали, а теперь его же и назначить главой военной палаты! Да слыхано ли это?!

Государь согласился с ними и снова послал строгий наказ губернатору провинции Кёнсандо поймать Гильдона.

Прочел Инхён наказ, затрепетал от страха, не знает, что делать.

Но вот однажды Гильдон спустился к нему с неба и сказал:

— Я настоящий Гильдон. Не беспокойся больше ни о чем. Вяжи меня и отправляй в столицу.

Опять залился слезами Инхён:

— Нет в тебе разума! Ведь мы же родные братья, а ты не желаешь слушать ни меня, ни отца и будоражишь все государство. Как не сожалеть об этом? Но вот ты пришел с повинной, сам просишь, чтобы тебя схватили и связали. Так может поступить только настоящий брат!

И, увидав на ноге Гильдона родимое пятно и, таким образом, удостоверившись, что это действительно он, Инхён тотчас велел связать его по рукам и ногам и в повозке, окруженной охраной, как в железной клетке, вихрем мчать в столицу. Гильдон даже бровью не повел.

Через несколько дней подъехали к столице, и перед самыми воротами дворца Гильдон чуть шевельнулся, железные путы лопнули, повозка развалилась. Как змея сбрасывает старую кожу, так и Гильдон стряхнул путы, взвился в небо и исчез средь облаков.

Стражники не могли опомниться, они глядели на небо и не знали, как им быть. Пришлось доложить государю. Тот всполошился:

— Невиданное дело!

Кто-то из приближенных посоветовал:

— А что, если сделать его главой военной палаты, как он хочет, а потом потребовать, чтобы он немедленно покинул Корею? Только явится он благодарить за милость, тут ему и вручить приказ.

Государь подумал и решил, что так и надо поступить. Тотчас же на воротах столицы вывесили приказ о назначении Хон Гильдона главой военной палаты.

Узнал об этом Гильдон и в чиновничьем одеянии, восседая торжественно в повозке, подъехал ко дворцу и приказал доложить о своем прибытии. Слуги из военной палаты толпою встретили его

и проводили к государю. Чиновники же тем временем решили: «Гильдон сейчас поблагодарит государя за милость и выйдет. Устроим засаду из вооруженных секирами и топорами воинов. Как только выйдет, сразу и прикончим его».

Гильдон же предстал перед государем и поклонился:

— Глубока моя вина, государь, но тем выше ваше благодеяние. Теперь у меня словно камень свалился с души. Я ухожу навсегда и желаю вам, государь, долгой и счастливой жизни.

С этими словами Гильдон поднялся на небо и бесследно исчез в облаках.

— Дивное искусство,— вздохнул государь.— Гильдон обещал покинуть Корею, значит, беспорядки кончатся. Хоть и странно он себя вел, но все-таки он благородной души человек и вряд ли будет теперь нас беспокоить.— И распорядился во всех провинциях огласить помилование Гильдону и отменить указы о его поимке.

А Гильдон, возвратившись к своим молодцам, приказал:

— Я на время вас покину. Вы же не смейте вольничать и ждите моего возвращения.

И тут же, взмыв в небо, полетел к Южной столице. В странствиях попал он в земли Юльдогук. Куда ни кинешь взор — всюду зеленые горы, текут прозрачные реки. Люди живут счастливо. «Обетованный край»,— подумал Гильдон и отправился дальше. Затем, полюбовавшись на Южную столицу, он побывал на острове Чедо, где наслаждался красотою гор и рек, присматривался к людям. Но прекраснее всего оказались горы Обонсан — «Пятиглавые». На семь сотен ли тянулись тучные поля и цветущие луга. Вот где рай для человека! И Гильдон подумал: «С Кореей я уже распростился. Переселюсь сюда и буду жить в тиши, готовиться к великим подвигам».

Он вернулся к удалым молодцам, велел выйти к реке, отстроить корабли и по реке Ханган подвести их в назначенное время к столице. Сам же отправился к государю просить ссуду в тысячу соков риса.

Шли дни. О Гильдоне ничего не было слышно, и Хон Мо начал поправляться. Покоя государя также ничто не нарушало.

Как-то раз глубокой осенней ночью государь гулял в саду, любуясь лунным светом. Неожиданно поднялся свежий ветерок, и с неба под нежное пение флейты спустился прекрасный юноша. Он пал ниц перед изумленным государем.

— Зачем ты снизошел на землю, прекрасный юноша? Что хочешь нам поведать?

И в ответ услышал:

— Я — Хон Гильдон, которого вы назначили главой военной палаты.

Еще больше удивился государь:

— Чего же ты ищешь в глухую полночь?

— Я был бы рад служить вам, государь, всю жизнь,— ответил Гильдон,— но я сын служанки. Если я сдам экзамены на гражданский чин, то не смогу служить даже мелким чиновником, и даже если бы я сдал экзамены на военный чин, мне все равно не довелось бы принести пользу государству. Вот потому я и бродяжничал, возбуждая беспорядки в государстве. Я наделал столько шуму, что мое имя стало известно вам, государь. Вы милостиво успокоили страдания моей души. Я, простившись с вами, покидаю родину и собираюсь в дальний путь. Об одном прошу прежде, чем уехать: прикажите выдать мне из ваших житниц тысячу соков зерна и переправить их на реку Ханган. Своей милостью вы многим спасете жизнь.

Государь внял просьбе Гильдона.

— До сих пор мне так и не довелось разглядеть как следует твое лицо,— промолвил он.— Взгляни на меня хоть теперь, при лунном свете.

Гильдон поднял голову, но глаз не открыл.

— Почему ты не открываешь глаз?

— Если я их открою, вы испугаетесь.

И государь понял: «Видно, он и впрямь человек нездешнего мира!»

С поклоном поблагодарив государя за милость, Гильдон поднялся в небо и исчез.

Государь подивился его чародейству и на следующий день распорядился выдать зерно и доставить все тысячу соков к переправе Соган. Чиновники, ведающие выдачей, недоумевали, но государев приказ исполнили точно. Тут же явились какие-то люди и перенесли зерно на корабли, сказав, что оно пожаловано государем Хон Гильдону. Доложили об этом государю, и он подтвердил, что в самом деле одарил Гильдона.

И вот Гильдон, забрав рис, с тремя тысячами молодцов вышел в открытое море и поплыл к острову Чедо, к Южной столице. Там они сошли на берег, и работа закипела: настроили домов, распахали и засеяли поля, изготовили оружие и стали обучаться военному искусству. Снова у Гильдона полные житницы зерна и отборные войска. О местах этих никто не знал, а край был богатый.

Однажды Гильдон созвал молодцов:

— Я отправляюсь на гору Мантаншань за отравой для смазывания стрел, а вы будьте начеку и охраняйте подходы к острову.

Путь на гору Мантаншань лежал через земли уезда Лочуань. Слыл здесь богачом человек по прозванию Бо-лун — «Белый дракон». Единственная дочь его была хороша на диво, умна и

начитанна и меч умела держать в руках. Отец и мать души не чаяли в своей красавице дочери и прочили ей в мужья не иначе как богатыря.

Но вот однажды разыгралась буря, мрак окутал небо и землю, и красавица дочь исчезла. Горько убивались родители, ходили по улицам и обещали щедро наградить того, кто ее найдет, и отдать в жены, кто бы он ни был.

Как раз в это время и проезжал здесь Гильдон. Услышал обо всем, посетовал и отправился дальше, на гору Мантаншань за отравой для стрел. Стемнело, и он не знал, куда идти. Вдруг слышит: где-то раздаются голоса, а там, дальше, и свет мерцает. Поспешил Гильдон на огонь. И что же? Перед ним целый рой неведомых существ: так и кишат, о чем-то споря меж собой. Вгляделся Гильдон — да это люди только обликом, на самом деле — звери. Ульдонами называются эти существа. Смерти они не ведают, а на старости лишь претерпевают бесконечные превращения.

«Много я странствовал по свету, но таких чудовищ встречаю впервые. Надо бы их сразу истребить всех до одного»,— подумал Гильдон и послал из засады стрелу. Подбила она одну из тварей. Раздался громкий вопль, а остальные ульдоны бросились бежать.

Хотел настичь их Гильдон, да раздумал: ночь темна, а горы коварны. Пожалуй, никого не поймаешь!

Он скоротал ночь под деревом, а утром, припрятав лук и стрелы, стал бродить вокруг в поисках лекарственных трав.

И вдруг замелькали перед ним один за другим ульдоны. Они заметили юношу:

— Зачем пожаловал в заповедные места?

Отвечает им Гильдон:

— Я родом из страны Чосон, знаю искусство врачевания, умею исцелять болезни. Прослышал, что растут здесь чудодейственные травы, потому и пришел. Да вот встретился с вами, чем бесконечно счастлив.

Обрадовались оборотни-ульдоны, оглядели его со всех сторон и говорят:

— А мы давно живем на горе Мантаншань. Повелителя нашего вчера, в день его свадьбы, поразило Небо, и он сейчас при смерти. Если исцелишь его чудодейственными травами, мы тебя отблагодарим сторицей. А теперь просим следовать за нами.

«Так вот кого я вчера подстрелил!» — смекнул Гильдон.

Пришли на место. Из-под ворот дворца струилась кровь. Гильдона попросили подождать, потом ввели в роскошные чертоги. Глядит — распростертый на ложе, стонет злой дух. При виде гостя чудовище чуть пошевелилось:

— Вчера, в день свадьбы, поражен я небесною стрелой, умираю... Спаси меня! Не пожалеешь своих знаний — щедро одарю тебя.

Гильдон солгал, что рана не опасна.

— Сперва,— сказал он,— следует прибегнуть к травам, употребляемым для лечения наружных ран, а потом взяться за травы, изгоняющие немочь. Сделаем так, и все пройдет.

Чудище взыграло от радости. Гильдон всегда носил при себе всевозможные пилюли. Пока чудище радовалось, извлек он из своих запасов очень сильный яд, разбавил его теплой водой и дал выпить больному. Вскоре повелитель ульдонов дико завопил, начал колотить себя по брюху, вращать белками и, дважды подпрыгнув, издох.

Тут остальные чудища с мечами набросились на Гильдона:

— Смерть злодею! Отомстим за государя!

Но взмывший в небо Гильдон кликнул Духа ветра. Поднялся бешеный ураган, а сам Гильдон осыпал врагов сверху дождем стрел. Как ни искусны были в колдовстве ульдоны, не сравниться им было с чародеем Гильдоном. В короткой схватке все они были перебиты.

Входит Гильдон в жилище чудищ и видит возле каменных ворот двух девушек. Думая, что они тоже ульдоны, хотел убить обеих, но те слезно взмолились:

— Мы ведь люди! Чудища схватили нас и собирались погубить. Но Небо сжалилось над нами: пришел герой, уничтожил их и спас нас от смерти. А теперь помогите нам вернуться на родину!

Жалкий вид был у пленниц. Но, хорошенько приглядевшись, убедился Гильдон, что красота их способна низвергать царства.

Спросил герой у девушек, откуда и кто они. Одна оказалась дочерью Белого дракона, другая — дочерью Чжао Те.

Тут же собрались все трое и отправились к реке Лочуань. Разыскав Белого дракона и рассказав, что приключилось с ними, Гильдон представил ему дочь. Родители, увидев свое дитя, которое они считали навек потерянным, радостно кинулись к девушке и залились слезами. И Чжао Те тоже, вновь увидав свою дочь, как бы заново рожденную, был безмерно счастлив.

И вот счастливые отцы держат между собой совет. Потом созывают на пир всю ближнюю и дальнюю родню и выдают за Гильдона обеих девушек. Первой женой стала дочь Белого дракона, второй — дочь Чжао Те.

В ту пору Гильдону уже было за двадцать, а он все еще не изведал счастья селезня и утки. И тут вдруг две жены сразу! И зажил он счастливо.

Дни текли за днями, но пришла пора подумать и о доме. Забрал Гильдон обеих жен, родню, богатства и отбыл на остров Чедо. Всех осчастливил. Для жен воздвигли палаты, и все зажили на славу.

Как-то раз в полнолуние седьмого месяца стало вдруг Гильдону грустно. Поднял он глаза к звездам и залился слезами. Встревожилась его первая жена, спрашивает, почему печален супруг.

И Гильдон ответил:

— Я самый недостойный из всех сыновей на свете. Сам я не из здешних мест. Родился в стране Чосон, в семье главы палаты чинов Хона. Мать моя была служанкой. Отверженный среди людей, я долго страдал, и наконец, расставшись с родителями, нашел пристанище здесь. Гадая сейчас по звездам о родителях, я узнал, что отец опасно болен и находится при смерти. А я — далеко от родного дома и не смогу уже застать его в живых.

Опечалилась его супруга.

На другой день Гильдон, отправившись в горы и поднявшись на Лунную вершину, выбрал счастливое место погребения. Сразу же закипела работа и были воздвигнуты усыпальница и надгробие, не уступающие по великолепию государевым.

Затем созвал Гильдон своих людей, велел им снарядить большой корабль, плыть к берегам реки Ханган и там ждать. Сам же, выбрив голову и облачившись в монашеское одеяние, на малом корабле тоже отправился в страну Чосон.

Тем временем старый Хон, в отсутствие Гильдона безмятежно проживший до восьмидесяти лет, занемог, да так, что и не поправился. Перед смертью он позвал супругу и старшего сына:

— Дожил я до восьмидесяти лет и теперь спокойно умираю. Одно лишь тревожит меня: нет вестей от Гильдона, жив он или нет — не знаю. Это не дает мне спокойно закрыть глаза. Но, если он жив, непременно вернется. А вы его не попрекайте низким рождением. С матерью его будьте поласковей.

С этими словами старый Хон скончался. Все в доме безутешно горевали. Справили по нем достойные поминки, но, увы, никак не могли найти достойного места для могилы.

В это время слуги доложили, что у ворот стоит монах, прося разрешения взглянуть на усопшего и выразить соболезнование семье покойного. Странно это всем показалось, но ему разрешили. Монах же вошел и зарыдал. Опять все удивились:

— Господин, кажется, никогда не водил дружбу с монахами. С чего это он так убивается?

А монах, обращаясь к Инхёну, спросил:

— Неужели ты меня не узнаешь?

Тот вгляделся. Да это же Гильдон! Бросился он к брату и залился слезами:

— Бессердечный! Где ты пропадал? Отец перед смертью вспоминал о тебе, говорил, что не может умереть спокойно, не повидавшись с тобой. Как это горько! — И он, взяв Гильдона за руку, повел его к матери и госпоже Лю.

Мать и сын бросились друг к другу и заплакали. Тут она вгляделась в Гильдона и говорит:

— Никак, ты монахом стал?

И Гильдон ответил:

— Не находя себе места от горя, я сначала стал разбойником. Опасаясь навлечь беду на отца и брата, покинул родину. Потом принял постриг, увлекся геомантией. А узнав, что отец при смерти, приехал домой. Молю, не убивайтесь так, матушка!

Услышав это, мать и госпожа Лю осушили слезы:

— Если ты изучил геомантию, значит, ты прославлен в Поднебесной. И для захоронения отца ты, конечно, постараешься выбрать хорошее место.

Гильдон ответил, что у него уже все готово, но могила выбрана за тысячу ли от дома и добраться до той страны нелегко.

— Я верю в твои таланты и вижу, что ты преданный сын,— обрадовался Инхён.— Было бы счастливым место, кого может заботить дальняя дорога?

— Если старший брат согласен, едем завтра же. Там и гробницу уже возводят, и день похорон назначен. Не надо ни о чем беспокоиться.

Гильдон пригласил с собою мать. Госпожа Лю разрешила, и мать была согласна. Тотчас же все трое, сопровождая покойного, направились к реке, где их ожидал корабль. Взошли на корабль и тронулись в путь. В безбрежном море дул попутный ветер, и корабль помчался как стрела.

На подходах к острову их встречали десятки кораблей. Толпы людей поджидали Гильдона на берегу и сопровождали его на всем пути. Это было величественное зрелище!

— Что это значит? — недоумевал Инхён.

Тогда-то и поведал Гильдон обо всем, что приключилось с ним в скитаниях.

— Мои поля простираются на тысячи ли, амбары полны зерна, женам некуда девать богатства. Чего же мне еще надо?

Братья поднялись на вершину горы. Величавы и прекрасны стояли вокруг горы. Гильдон повел брата к облюбованному месту. Огляделся Инхён: дивный вид, усыпальница по красоте не уступает государевой.

— Неужто здесь? — почтительно осведомился Инхён.

— Да, не удивляйся,— ответил брат.

Похоронив в назначенный час отца, облаченный в траур Гильдон безутешно горевал. Когда он вернулся с похорон вместе с матерью и Инхёном, им навстречу вышли обе жены и почтительно приветствовали свекровь и деверя. Инхён не мог нарадоваться на брата.

А время шло.

Однажды Гильдон сказал Инхёну:

— Отца мы схоронили в счастливом месте, и род наш будет процветать. Возвращайся домой и ухаживай за матерью. Ты послужил отцу при жизни, я же буду служить ему после смерти. Наступит день, когда мы снова встретимся. Поторопись, не заставляй свою матушку томиться ожиданием.

Инхён, поняв справедливость его слов, простился с отцовской могилой. Отдали распоряжение готовиться в дорогу, а через несколько дней Инхён уже был дома и рассказывал своей матери о том, что ему довелось узнать и увидеть у Гильдона. Госпожа Лю не могла надивиться всему услышанному.

Похоронив отца в земле Чедо, Гильдон дни и ночи проводил в заупокойных службах, вызывая этим восхищение людей. Бежало время, миновали три года траура. И снова скликает Гильдон своих молодцов, обучаются они военному искусству, пашут землю, сеют. Проходят годы, и опять у Гильдона отборное войско и амбары, полные зерна.

В те времена неподалеку от острова Чедо находилась страна Юльдогук. На тысячи ли раскинулась она, окруженная стенами, воистину, государство за крепкой золотой степой. Обетованный край! Давно мечтал о ней Гильдон, мечтал быть в ней государем.

Однажды обратился он к своим молодцам с такими словами:

— В пору моих странствий приглянулась мне земля Юльдогук, прямо в душу запала. И теперь я хочу испытать судьбу. Великий совершим мы подвиг, если все вы, как один, пойдете за мной.

Выбрали день. Он пришелся на девятую луну года «капча». Гильдон двинул свое войско на Юльдогук, к горе Железной. Правитель здешней округи Ким Хёнчхун, увидев неизвестно откуда взявшуюся конницу, перепугался. Тотчас отправил он в столицу к государю донесение, а сам повел свои отряды в бой. Но справиться с Гильдоном оказалось ему не под силу, он был разбит, отступил и укрылся за крепостными стенами.

Гильдон в это время держал совет со своими воинами:

— У нас мало еды и корма для коней. Мы ничего не добьемся, если затянем осаду. Нужно хитростью схватить правителя округи, забрать зерно и корм для коней, а затем напасть на сто-

лицу. Для этого — полкам укрыться в засадах, а Ма Суку с пятью тысячами воинов делать, что я скажу!

Действуя по приказу Гильдона, Ма Сук повел войска и завязал сражение. Ким Хёнчхун стал его преследовать. Гильдон же, обратившись к Небу, сотворил заклинание. Тотчас же появились со своим воинством владыки пяти стран света: с востока — зеленый, с юга — красный, с запада — белый, с севера — черный. В середине же сражался сам Гильдон в золотом шлеме и с мечом в руке. В упорном бою он зарубил коня Ким Хёнчхуна и сбросил его самого на землю:

— Сдавайся, если не хочешь умереть!

— Я в твоих руках, пощади! — взмолился тот.

Увидев своего противника поверженным, Гильдон помиловал его. Затем, наказав оборонять крепость, двинул свои войска к столице, а государю земли Юльдогук направил послание:

«Предводитель Воинства справедливости Хон Гильдон шлет грамоту государю земли Юльдогук. Известно, что государи правят не по воле людей, а по воле Неба. Чэн Тан покарал Цзе, а У-ван сверг Чжоу. Предначертания Неба осуществляются сами собой. Я, встав во главе войска, поверг крепость на горе Железной. Передо мной все трепещет, все сдаются, едва заслышав обо мне. Хочешь воевать — воюй, а нет — сдавайся!»

Государь прочел и упал духом: «Гора Железная была оплотом нашего государства, а теперь на ней враг. Что же делать?» — Он покончил с собой, а с ним — государыня и наследник.

Гильдон вступил в столицу, успокоил жителей и приказал зарезать быков и баранов для угощения воинов.

И вот Гильдон взошел на престол. Это случилось в первую луну года «ыльчхук». Верные его сподвижники получили должности. Ма Сук был назначен левым министром, а Ким Джи — правым министром. Прочие тоже не были обижены. Чхве Чхоль стал государевым ревизором и поехал осматривать шесть провинций и триста девяносто округов. Чиновники с почтением относились к новому государю, простой народ благоговел перед ним.

Обеим женам Гильдона были пожалованы звания государынь, отцу его посмертно присвоили имя Хёндок-вана — «Мудрого и добродетельного государя». Мать Гильдона стали величать великой государыней, отцов двух жен Гильдона именовали отныне тестями государя. Каждому из них пожаловали по дворцу. Гробница отца Гильдона именовалась усыпальницей государя, и там постоянно приносились жертвы его духу. Госпожа Лю получила звание вдовствующей государыни. Великой государыне и вдовствующей государыне Гильдон направил царедворцев и телохранителей.

Прошло три года с того дня, как Гильдон сделался правителем страны Юльдогук. Вокруг царили мир и спокойствие, и добродетели государя можно было сравнить с добродетелями Чэн Тана.

Однажды на большом пиру, потчуя свою мать, Гильдон вспомнил прошлое и вздохнул:

— Если бы я тогда дома погиб от руки наемного убийцы, разве дожили бы мы до этих дней? — И слезы полились на его одежды. Мать и обе государыни опечалились.

Прервав беседу, Гильдон пригласил Белого дракона и сказал:

— То, что сейчас на троне в землях Юльдогук я, кореец,— воля случая. Государь моей родины даровал мне тысячу соков риса. Милость его можно сравнить лишь с обилием воды в морях и реках. Об этой милости я буду помнить вечно. Я хочу послать вас, чтобы отблагодарить его. Не жалейте же своих трудов. Да будет вам дальняя дорога легкой! — Гильдон тут же сочинил послание государю, а заодно и письмо семейству Хон и оба вручил тестю. Погрузив на корабль зерно, тот отбыл в сопровождении свиты.

С тех пор как государь пожаловал зерно Гильдону, миновало лет десять, а о нем не было ни слуху ни духу. И государь не переставал этому дивиться.

Но вот однажды государю доставили послание от правителя земли Юльдогук. С изумлением распечатал его государь и прочел следующее:

«*Бывший глава военной палаты, ныне правитель государства Юльдогук, Ваш верный подданный Хон Гильдон сто раз бьет челом государю Чосон.*

Низкое происхождение всю жизнь угнетало меня. Я нарушал Ваш покой, как плохой подданный, отцу был недостойным сыном, из-за меня он болел. Но Вы меня простили, дали должность и пожаловали тысячу соков риса. Раньше я не имел возможности Вас отблагодарить. Скитаясь по свету, собрал я войско, пришел в страну Юльдогук и завоевал ее. А ныне, недостойный, там воцарился. Вечно признательный за Вашу милость, возвращаю Вам зерно. Прошу простить мне мои прегрешения. Желаю Вам здоровья и счастья на многие годы».

Государь прочел послание и подивился. Тотчас велел позвать Инхёна и показал ему послание правителя Юльдогук, сказав, что такое редко можно услышать. К тому времени Инхён преуспел по службе. Он только что прочел письмо, которое Гильдон направил дому Хонов, был потрясен, а теперь ему пришлось удивиться еще больше. И он тут же обратился к государю с просьбой:

— Гильдон — мой сводный брат. Отправившись в другое государство, он стал там знатным человеком. Но все это случилось

только благодаря вашей милости. Хоть это и не упоминается в послании, прах нашего отца покоится в земле по соседству со страной Юльдогук. Снизойдите к моей просьбе, разрешите мне провести год у могилы моего отца.

Государь дал свое согласие и отпустил Инхёна в страну Юльдогук.

Вернувшись домой к матери, поведал Инхён о своей беседе с государем.

— Я прочитала письмо Гильдона. Он выражает желание, чтобы я тоже поехала с тобой. И я поеду.

Сыну так и не удалось ее отговорить, и они вместе отправились в путь. Через три месяца они подплыли к острову Чедо. Сам государь со своею свитой, в сопровождении обеих государынь вышел им навстречу. Это было торжественное зрелище.

Шло время. Госпожа Лю заболела, и никакие лекарства ей уже не помогали. Однажды госпожа произнесла со вздохом:

— Горько умирать на чужбине, но меня утешает то, что я побывала на могиле мужа.

С этими словами она скончалась. Братья похоронили ее в усыпальнице, рядом с ее супругом. Несколько месяцев спустя Инхён сказал брату:

— Прошли месяцы с тех пор, как я сюда приехал. Нас постигло большое горе — смерть матушки. Подходит время мне возвращаться обратно. Как ни жаль, придется расставаться. Будь счастлив.

Распрощались братья, и через несколько дней Инхён уже был дома. Он доложил государю о своей поездке. Государь, сочувствуя горю Инхёна, разрешил приступить к службе по истечении трех лет траура.

А у государя страны Юльдогук, только он проводил брата, тоже заболела и скончалась мать. Государь и обе государыни были убиты горем. Ее похоронили со всеми почестями в усыпальнице и три года носили по ней траур.

Правление Гильдона можно было сравнить с правлением Яо и Шуня, о которых поется в песне игрока в биту.

У государя родились три сына и две дочери. Старшего звали Хёном, он родился от главной жены. Среднего звали Чхон, а младшего — Ёль. Оба родились от второй жены. Обе дочери родились от придворных дам. Дети во всем походили на родителей. Сыновья были талантливы и благородны, дочери — скромны и чисты. Старший сын был провозглашен наследником престола, младшие — принцами. Обеим девушкам выбрали достойных мужей.

Гильдона вполне можно было сравнить с Го из Фэньяна.

Тридцать лет прошло с начала воцарения Гильдона, ему уже исполнилось семьдесят лет. Однажды вместе с женами он наслаждался стихами и музыкой в Тереме вечного блаженства.

— Жизнь, если вдуматься,— говорил Гильдон,— подобна капельке росы на кончике травинки. Проживи сто лет, и все равно она — что облако, плывущее по небу. Для знатного и подлого равно приходит свой час. Прошлого не воротить. Молодость — словно вчера была, откуда же взялись седые волосы?

Вдруг опустилось пятицветное облако и заволокло весь дворец. Перед ними предстал старец с дягилевым посохом, в шляпе и одеянии из перьев журавля:

— Ты покончил с мирскими заботами? Нам пора!

И тут же государь и обе государыни исчезли. Трое сыновей и придворные, видевшие это, предались отчаянию и горько зарыдали. Три пустых гроба поставили в гробнице, назвав ее «Усыпальницей совершенномудрого». Наследник вступил на престол. Тысячи подданных славили его, провозглашали многие лета. Во все уезды были разосланы манифесты о снижении налогов на десять лет. Народ славил нового государя, а тот ревностно справлял поминальные обряды по отцу и правил на редкость мудро.

Народ благоговел пред ним. Один за другим шли урожайные годы. И люди пели песни, сложенные когда-то игроком в биту.

Минуло несколько лет, и у нового государя появилось трое сыновей. Все они были щедро одарены талантами и из поколения в поколение счастливо правили государством.

Вот какие дивные дела бывают на свете!

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ПОВЕСТЬ О ВЕРНОЙ ЧХУНХЯН, НЕ ИМЕВШЕЙ СЕБЕ РАВНЫХ НИ ПРЕЖДЕ, НИ ТЕПЕРЬ

Рассказывают, что во времена государя Инджо из династии Ли у правителя города Намвона провинции Чолладо был сын шестнадцати лет. Красивый, как знаменитый Ду Му, с лицом прекрасным, словно чистый нефрит, он к тому же и стихи писал, как прославленный китайский поэт Ли Бо. Все дни юноша проводил в комнате для занятий и усердно учился.

Стояла чудесная пора цветения ив — благоуханная весна. Ликовало все живое — даже травы и деревья. У барсука появилось четверо внучат, а жаба вывела детенышей — вот какое это было

время! И юношу охватили весенние чувства, он позвал слугу, чтобы пойти полюбоваться природой.

— Я хотел бы осмотреть места, которыми славится твоя провинция, расскажи мне о самых красивых!

— Говорят, будто великолепный вид открывается с башни Пубённу в Пхеньяне, хвалят храм Мэвольдан в Хэджу, башню Чхусонну в Чинджу, террасу Кёнпходэ в Канныне, монастырь Наксанса в Янъяне, бухту Самильпхо в Когёне, беседку Чхонсокчон в Тхончхоне, башню Чуксору в Самчхоке, беседку Вольсонджон в Пхёнхва, беседку Манъянджон в Ульджине и беседку Чхонганджон в Кансоне. Но особенно славится по всем восьми провинциям необыкновенной красоты пейзаж, которым можно полюбоваться с нашей башни Кванхаллу; место это по красоте уступает лишь Цзяннани.

— Если это на самом деле так, как ты говоришь,— сказал юноша,— давай отправимся к башне Кванхаллу! Хочу насладиться прекрасными видами.

Вслед за слугой он весело зашагал по дороге. Он ступал легко, будто ласточка, порхающая под весенним ветерком среди нежных ив. Приблизившись к башне Кванхаллу, юноша обошел ее вокруг, потом подозвал слугу:

— Какой великолепный вид! Зачем нам стремиться к прославленной Юэянской башне и террасе Фениксов или к пейзажу, который открывается с башни Желтого журавля и с террасы Гусу?

Хитрец-слуга солгал:

— Здесь так красиво, что в ясную погоду, когда рассеиваются туман и облака, сюда спускаются небожители.

— Да, здесь удивительно красиво,— согласился юноша.

Был как раз праздник — пятый день пятой луны. Местная кисэн Чхунхян нарядилась, нарумянилась и отправилась покачаться на качелях. С ее прелестным обликом могла бы соперничать лишь красота весны, он затмевал пышное цветение вокруг. Брови дугой — будто темные вершины гор, а белые зубы и алые губы напоминали чуть приоткрывавшийся за ночь бутон персика с каплями холодной росы на лепестках. Волосы — темные тучи — она расчесала гребнем в форме полумесяца с вырезанными на нем драконами, а потом заплела в косы, широкие, как гладильные доски, и завязала фиолетовыми лентами. На ней была накидка из белого шелка, отделанная двойной строчкой, шелковая нижняя кофточка, шелковые же короткие шаровары под верхними шароварами из белого шелка. И еще — нарядная кофточка из тонкого китайского шелка и синяя юбка вся в мелкую складку. На голове — шелковый платок, а на ногах — нитяные носки и лиловые башмачки...

Спереди к волосам были приколоты украшения из бамбука, сзади прическу схватывали золотые шпильки в виде фениксов, на пальце красовалось нефритовое кольцо, в ушах сверкали сережки полумесяцы — ни дать ни взять сокровища из королевских кладовых! А нефритовый ножичек был привязан к поясу пятицветной шелковой нитью, словно знак воинской доблести у генерала, словно колчан у воинов с северных и южных границ!

Как восхитительно поднялась она легкой походкой на зеленые холмы, нарвала букет цветов, искупалась в прозрачной-прозрачной воде у девяти излучин, а потом набрала на берегу гальки и вспугнула иволгу, притаившуюся среди ив! Полная восторга, бродила Чхунхян в дальних горах. В безлюдной чаще нежными нефритовыми ручками ухватилась она за веревки от качелей, и, оттолкнувшись, устремилась ввысь. На лету она постукивала одна о другую ножками, а когда задевала ветви цветущего персика, его лепестки дождем сыпались на землю. Девушка качалась с таким упоением, что не заметила, как у нее из прически выпала золотая шпилька и с нежным звоном ударилась о камни.

А юноша Ли любовался красотами природы, вспоминал строки стихов и вдруг заметил, что среди зелени какая-то красавица качается на качелях. Он обрадовался и тотчас позвал слугу.

— Что это там такое?

— Где? — спросил слуга.

— Вон там, что это виднеется? Может, это фея спустилась с небес?

— Здесь ведь не священные горы Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу,— ответил слуга,— как же могла очутиться здесь фея?

— Тогда, быть может, это золото?

— Говорят, «золото встречается на реке Лишуй»,— заметил слуга,— а здесь нет Лишуй. Откуда же взяться золоту?

— Может, это нефрит?

— Говорят, что нефрит находят в горах Куньлунь, а это ведь не горы Куньлунь! Как мог попасть сюда нефрит?

— Тогда что же это такое? Не дикая ли роза?

— Ведь здесь нет чистого морского песка, откуда же взяться розе?

— Наверное, это оборотень!

— Тут не крутые скалистые горы, откуда же здесь быть оборотню?

— Так что это, наконец? — разгневался Ли.

— Ах, это,— спохватился слуга.— Да это же Чхунхян — «Весенний аромат». Дочь здешней кисэн Вольмэ.

— Прекрасно,— воскликнул юноша,— раз это певичка, нельзя ли на нее взглянуть? Ну-ка позови ее!

Слуга, причмокнув от удовольствия, наломал целую вязанку дубовых веток и направился к Чхунхян со страшным шумом, чтобы привлечь ее внимание. Подойдя поближе, он козырьком приставил руку к глазам и заорал:

— Чхунхя-я-ян!

Чхунхян испугалась и спрыгнула с качелей.

— Кто меня зовет?

— Молодой господин Ли,— ответил слуга.— Важное дело есть! Пойдем скорее!

— Вот негодник! Ты зачем меня напугал? Даже не покачалась вволю. Что тебе за дело, весенний ли я аромат или другой какой?.. Зачем ты наболтал обо мне молодому господину Ли?

— Устроила бы свои качели где-нибудь в укромном местечке,— возразил слуга.— А то вот сын правителя, господин Ли, захотел полюбоваться природой, поднялся на башню Кванхаллу и вдруг видит, что среди зелени твой зад мелькает. Велел сию же минуту тебя позвать. Не пойти никак нельзя! Пусть даже хлынет дождь, господин Ли все равно не уйдет отсюда, теперь для него здесь будто обитель бессмертных! А ты, уж если разоделась в шелка, так не выставляй хоть наружу свою задницу. Молодой господин приклеился глазами к твоей левой ягодице — и забыл обо всем на свете! Разве тебе это не по праву?

Пришлось Чхунхян подвязать пестрой шелковой лентой свои косы и заколоть на затылке. Нежной нефритовой ручкой она подобрала подол синей шелковой юбки и, прижав его к груди, пошла грациозной походкой. Вслед за слугой ступала она по дороге, залитой солнцем, словно большая черепаха по белому песку, будто ласточка по балке дворца Дамин. Перед входом в башню Чхунхян остановилась и почтительным поклоном приветствовала юношу. А тот, едва глянул на нее — в глазах у него померкло, и он прокричал что было мочи:

— Эй, слуга! Так-то выполняешь приказание? А ну, быстро проведи барышню наверх!

Пришлось Чхунхян подняться на площадку. Усадив ее, юноша обратился к ней с вопросом:

— Сколько тебе лет? Как тебя звать?

И Чхунхян нежным голоском ответила:

— Лет мне дважды по восемь, а звать — Чхунхян.

Юноша улыбнулся.

— Дважды по восемь — значит, шестнадцать. Мне тоже шестнадцать, значит, мы с тобой одногодки! Вот удача! Зовут тебя Весенний аромат, ты прекрасна так же, как и твое имя. До чего ж ты хороша, просто загляденье! Но пройдут годы, и станешь ты вроде совы на трухлявом дереве или одинокого журавля, бу-

дешь как бесприютная ласточка на веревке. А когда у тебя день рождения?

— Мой день рождения летом в начале четвертой луны, в восьмой день, в час Мыши,— ответила Чхунхян.

— В четвертой луне? — воскликнул юноша.— Ведь мы с тобой родились в одну и ту же луну, да нам судьбой назначено стать мужем и женой! Досадно только, что день и час не совпадают.

Юноша, сидящий перед Чхунхян, был очень хорош собою — прямо Фань Куай, который на пиру в Хунмэне смерил гневным взглядом Сян Юя и, прищурив глаза, выхватил большой меч и исполнил танец — ну точь-в-точь старый дракон из озера Девяти драконов, который, пробудившись от сна, играет с драгоценной жемчужиной, исполняющей любые желания. Он был как белолобый тигр с темных круч, который утащил собаку и забавляется с ней. Ли не сиделось на месте, и он снова заговорил:

— Я не просто пригласил тебя. Ведь, когда мы жили в Сеуле, я в третью луну, в сезон весеннего ветра — зеленеющих ив и благоуханных цветов, в десятую луну — время осенних ветров и желтых хризантем, все дни проводил в харчевнях да в зеленых теремах, знавал необыкновенных красавиц и смотрел на время, как на легкий танец. А теперь увидел тебя — и все другое перестало для меня существовать. Душа моя пришла в смятение, полна страстными чувствами. Пусть свяжут нас единою нитью Лунный старец, струна от цитры Чжо Вэнь-цзюнь. Соединим свои жизни союзом на сто лет!

Чхунхян, выслушав его, нахмурила тонкие брови-бабочки:

— Хоть я и певичка, но душа моя чиста, как небесные ворота, что у Полярной звезды, и наложницей я не стану! Вы хотите, чтоб мы дали друг другу клятву, но я не могу уступить вашему желанию!

— Мы с тобой, конечно, не сможем исполнить все шесть свадебных церемоний,— снова заговорил юноша,— но наш союз будет настоящим! Не стоит зря терять время, соглашайся!

— А если после того, как я соглашусь,— возразила Чхунхян,— вашему отцу придется уехать в столицу? Ведь вы тоже поедете за ним! Потом женитесь на девице из знатной семьи, и души ваши будут звучать в лад, как гусли с цитрой. Разве вспомните вы тогда о жалкой наложнице вроде меня? Не останется у меня никакой надежды, и буду я одна, неприкаянная, как желудь в собачьей похлебке. Давайте уж лучше этого не делать!

Юноша опять начал ее уговаривать:

— Если даже случится беда и папаша отправится в столицу, неужели я брошу тебя и уеду? Конечно, я должен буду ухаживать за своей матушкой, но ты поедешь вместе со мной в повозке, за-

пряженной парой. Янбан на ветер слов не бросает. Соглашайся скорее!

— Чего там ждать, пока тушь прокиснет или загустеет и ее придется подогревать. Поклянитесь, как в управе, и напишите обещание о том, что никогда меня не забудете!

Юноша обрадовался, разгладил бумагу, растер тушь «слюна дракона» и, обмакнув в нее кисточку из шерсти ласки, одним взмахом написал: «В такой-то год, такую-то луну и день обещаю Чхунхян никогда ее не забыть. Желая полюбоваться природой, я поднялся на башню Кванхаллу и встретил супругу, суженую Небом. Все чувства мои пришли в смятение, и я заключил с ней союз на сто лет. Клянемся умереть, если когда-нибудь случится беда и мы нарушим клятву!»

Чхунхян взяла бумагу, сложила и спрятала в карман.

— Я низкого происхождения. Если пойдут слухи и ваш отец обо всем узнает, мне, одинокой, останется только умереть. Прошу вас, будьте осторожны!

Юноша ответил на это:

— Папаша сам в молодости был гулякой, ходил по зеленым теремам, и хоть сейчас он этого не помнит, но, бывало, захаживал в самые захудалые публичные дома! Так что ты не беспокойся!

Так они беседовали между собой, а под конец юноша спросил:

— А где твой дом?

Чхунхян взмахнула прелестной ручкой.

— Минуете ту горку и еще вон ту, потом опять будет горка, когда пройдете ее, увидите тенистую бамбуковую рощу. Там среди платанов и будет мой дом.

Проводив Чхунхян, юноша вернулся в комнату для занятий, но душа его была полна смятения. Тогда, чтобы успокоиться, он решил заняться книгами, разложил их, но в каждой строчке, в каждом иероглифе он видел только Чхунхян. Один иероглиф, другой... одна строчка, другая — и все Чхунхян! Он рассердился и решил во что бы то ни стало заставить себя читать.

— «Небо — чхон, земля — чи, темный — хён, желтый — хван...» «Среди всего сущего на небе и земле самое ценное человек!..» «Небесный государь правил под покровительством стихии «дерево». Он придерживался принципа недеяния и воздействовал на подданных собственным нравственным примером...» «В чем сущность пути Неба? Начало, развитие, выявление, завершенность — вот в чем сущность пути Неба...» «Книга обрядов» — основа человеческой жизни...» «Путь «Великого учения» — в достижении высшей радости...» «Философ сказал: «Разве не радостно учиться с постоянным упорством и прилежанием?..» «Мэн-цзы представился лянскому правителю Хуэй-вану. Правитель сказал:

«Вы пришли, не посчитав далекими тысячу ли. Могу ли я предположить, что у вас найдется нечто, способное принести выгоду моему царству?»

«Утки крякают в камышах речных.
Остров маленький. Там гнездо у них.
Эта девушка хороша, скромна.
Эту девушку полюбил жених» [1].

Сказано: «Изучая древность, мы находим, что государь Яо...» «Юань — суть, хэн — суть, ли — суть, чжэн — суть...» А! Не охота мне читать эти книги!

Все иероглифы у него перепутались. Иероглиф «небо» превратился в «большой», написано «Краткая история» — ему кажется «разбой», «История Китая», а он читает «высохшая слива», «Беседы и суждения», а ему кажется «окунь», написано «Мэнцзы», а ему мерещится «дикий мандарин», «Книгу песен» он прочитал как «шелковая штора», а «Книгу перемен» — как «соломенный плащ», и неизменно всюду ему виделась Чхунхян. Он так страстно желал ее увидеть, как жаждали дождя во время Семилетней засухи, как жаждали солнечных лучей во время Великого девятилетнего потопа, как мечтают об искорке света безлунной зимней ночью. Слуги, чиновники, стражники уездной управы — все стали похожи на Чхунхян, и в домашних он тоже видел одну Чхунхян! Что и говорить, ведь ему так хотелось встретиться с ней хотя бы на мгновение! Юноша не мог усидеть на месте и, не выдержав, громко закричал, что хочет увидеть Чхунхян. Его крик услышали в управе, правитель позвал слугу и приказал:

— Сходи быстрей в комнату для занятий и разузнай, почему это молодой господин не занимается, а орет во все горло, что хочет кого-то там увидеть?

Слуга вошел в комнату для занятий и передал молодому господину слова отца.

— Скажи,— ответил юноша,— что я читал и очень мне захотелось заглянуть в песню «Седьмая луна» из «Книги песен», вот я и кричу «хочу увидеть».— Тут он позвал своего слугу и спросил: — Когда же сядет солнце?

— Сейчас солнце яркое и стоит высоко,— отвечал слуга, указывая на небо.

Юноша вздохнул.

— Хлопнуть бы этот день по загривку, чтобы быстрее убирался. Привязали его, что ли, почему он так лениво уходит? Какой скверный характер у этого дня!

---

[1] Перевод Вл. Микушевича.

Вскоре слуга принес столик с ужином.

— Рис там или что-нибудь другое? А солнце-то долго еще собирается оставаться? — снова спросил юноша.

— Солнце село в Сяньчи, луна взошла над восточными вершинами.

Дождавшись, когда в управе подадут сигнал к окончанию службы, Ли тайком перелез через ограду и вслед за слугой кружным путем побежал прямо к дому Чхунхян.

А Чхунхян тем временем, прислушиваясь к шепоту в бамбуковых зарослях, полуоткрыла затянутое шелком окно и, положив на колени комунго, стала наигрывать мелодию о тоске ожидания. В этот момент Ли подошел к дверям и позвал мать Чхунхян. Та вышла.

— Да, никак, это молодой господин? — И сделала вид, будто испугалась.— Вот беда-то, ведь если правитель узнает, что вы приходили, нас с дочкой до смерти изобьют! Уходите скорее!

— Да ничего не случится,— успокоил ее юноша,— давайте войдем в дом.

Он остановился перед матерью Чхунхян, а она, втайне желая пригласить его, проговорила:

— Ну, уж так и быть, зайдите на минутку.

Юноша стал внимательно разглядывать дом Чхунхян. Рядом с гостиной, в которую вели большие квадратные двери, прилепилась маленькая комнатка для прислуги; в ней в несколько ярусов стояли стенные шкафчики, а в кухне под потолком была пристроена кладовка... Веранда имела выход в сад, над ней изогнутая стреха, а переплет на раздвижных стенках сделан в виде буддийского знака из четырех «г». Потолок оклеен промасленной бумагой, а украшенные картинами стены — бумагой с узором в виде водяных каштанов.

На одной картине был изображен правитель округи Пэнцзэ, цзиньский отшельник Тао Юань-мин, плывущий осенней лунной ночью на лодке в Сюньян. На другой — художник запечатлел эпизод из «Троецарствия»: Лю Сюань-дэ из ханьской императорской фамилии пожелал навестить учителя Во-луна — «Лежащего дракона», жившего в Наньяне, в домике, крытом травой, и отправился в путь на своем верном коне по кличке «Красный заяц», невзирая на снег и ветер. Следующая картина была посвящена Цзян-тайгуну, который бедствовал восемьдесят лет: в камышовой шляпе набекрень он на реке Вэйшуй, забросив в воду удилище без лески, ожидает чжоуского правителя Вэнь-вана. И еще одна картина изображала Сонджина — ученика настоятеля Юкквана в тот самый момент, когда он повстречал восемь фей, Юкkван развеял их души среди белых облаков, а потом соединил опять.

В виде пожелания счастья на свитках были нарисованы десять символов долголетия — солнце, журавль и другие, над кухонной дверью висело изображение духа — хранителя очага, у входа в кладовую — золотой свиток с пожеланиями счастья на десять тысяч лет. И тут и там красовались надписи: «Подношу родителям чашу с настоем травы долголетия с Трех гор» и еще: «Продление жизни седовласым родителям на тысячу лет и их внукам на десять тысяч лет». У центрального входа висели таблички с надписями: «Ветры и дожди — все в свое время», «Урожайный год», у больших ворот — «Процветание и покой», а рядом: «Народ живет в довольстве». Над дверью была прибита дощечка с пожеланием успешно сдать экзамены и обрести богатство. Позади дома, на восточной горке прилепилась «Беседка в горах», а у лотосового пруда перед домом — «Беседка среди лотосов», к ней вели ступени из песчаника. Здесь парами летают мандаринские утки, резвятся и плещутся в воде золотые рыбки, похожие на пиалы, цветут разные цветы и травы. На восточной и западной стороне гнездятся белые цапли, на юге — ибисы, а на севере из тонких ветвей бамбука выглядывает длинноногий журавль. Повсюду цветут хризантемы, завезенные из столицы, раскинули ветви столетние сосны, коричные деревья и рододендроны — все необыкновенно красивы. Мимозы, ветви гранатовых деревьев, бересклет, разные сорта пионов, гортензий, камелий, листья бананов, тонкие, как бумага, сливы весенних и поздних сортов, виноград, красные и желтые азалии, лилии и туты — все это причудливо сплелось и перепуталось.

Потом Ли принялся рассматривать убранство комнат. У раздвижной стенки стояли сундуки с замками, добротные сундуки для платья и комод с темно-красными ящиками. Туалетный столик был уставлен шкатулками для украшений, а у вешалки для платья была подставка в виде куриных лапок. Рядом придвинут ящик для постели и корзина с крышкой. Шкатулка для гребней разрисована драконами, у метелки — длинная ручка в виде двух драконов, а перед латунной жаровней — тазик. И тут и там можно было увидеть подставки для светильников, а на комунго натянуты новые струны. Стояли, будто оспаривая первенство, посуда для ужина, сверкающая, как утренняя звезда, плевательница и скамеечка для ног. Разного рода шкафчики, полочки, ларь были заполнены китайским фарфором и корейскими блюдами с ободками.

Чхунхян быстро спустилась с террасы, взяла Ли за руку и ввела в свою комнату. Воспользовавшись приглашением, юноша сел и огляделся. На большой ширме был изображен Го из Фэнъяна со своим семейством, на ширме, что стояла посередине — Ван Си-чжи, отдыхающий в беседке Ланьтин. Эта ширма загоражива-

ла двустворчатую ширму, на которой висели гусли; на ширме была запечатлена сцена охоты у варваров. На постели лежали подушки, похожие на орешки, фиолетовое одеяло и покрывало, расшитое утками-неразлучницами.

Чхунхян принесла вино, закуски и почтительно предложила гостю. Угощение поражало обилием.

На столике стояли восьмиугольные тарелочки. Были поданы жареная грудинка на черепаховом блюде и свинина — на маленьком блюде. Тут же разложены сонпхён и замечательное на вкус медовое печенье, хлебцы, выпеченные в форме цветочных лепестков, и пончики из рисовой муки. Рядом с грушами лежали чищеные каштаны, сливы. А вот на блюде красиво уложены «морское ушко», сердце, рубец, фазаньи ножки и отварная курица. Стол ломился от плодов — зеленого и черного винограда, смородины, лимонов, хурмы, яблок, гранат, дынь и арбузов. Были даже поданы куриные яйца под соевой подливкой и мед. А рядом расставлены кувшины с разными винами. Стеклянный кувшин, разрисованный цветами, чуть поодаль — кувшин из панциря черепахи и глиняный — с длинным горлышком. В один налито виноградное вино Ли Бо, в другой — вино Тао Юань-мина, а там — рисовое вино, тысячедневное вино небожителей и вино однолетнее, можжевеловое — напиток отшельников в горах, вино из белого риса и меда с имбирем, «Алая сладкая роса» и вино «Алый туман».

Наполнив до краев чашу с вином из раковины «морского попугая», она подала его Ли и запела застольную песню:

«Выпейте, выпейте
 полную чашу вина —
Тысячелетия
 ваша продлится весна,
Тысячелетия
 будут у вас впереди:
Влаге живительной
 рад был и ханьский У-ди.
Не оставляйте же,
 выпейте это вино,
Сладкое, горькое ль —
 пейте его все равно.
Жалок не выпивший,
 напоминая скупца,
Чьи драгоценности
 вдруг уплыли из ларца.
Жизнь оборвется —
 кто скажет вам: «Выпей винца?»

Живы покуда —
давайте же пить без конца!
Милый вдали от меня...
Как хотелось бы мне
С ним повстречаться сегодня
хотя бы во сне.
Чувства нахлынули —
и не прогонишь их прочь,
А между тем отступила,
рассеялась ночь!..»[1]

Юноша слегка захмелел и попросил Чхунхян:
— Повесели меня еще!
И Чхунхян спела еще одну песню:

«За домиком, крытым травою,
кукушка: «Ку-ку!»
Куда мне деваться! Не скрою,
не спрячу тоску.
В «ку-ку» этих слышу с досадой
лишь «он» да «она»...
Не надо, кукушка, не надо,
лети от окна!
Незваная гостья забора,
любви не взыскуй,
Лети-ка в пустынные горы
да там и кукуй!»

Ли тем временем осушал чарку за чаркой и до того опьянел, что понес всякий вздор: ведь когда начинает говорить вино — разум молчит.

— Что это Большую Медведицу так скрючило? — пробормотал он.

Чхунхян показалось это скучным.

— Луна уж опустилась, глубокая ночь, а вы все чепуху болтаете!

— Вот и хорошо! — воскликнул юноша.— Разденься, ляг!

— Нет, сперва вы,— промолвила Чхунхян.

Они стали было препираться, но тут Ли предложил:

— Я порядком захмелел, может, попробуем друг друга стихами утешить.

Они выпили вина, которое полагалось пить молодым на свадьбе, и юноша стал читать подряд все, что знал:

---

[1] Стихи в повести даны в переводе Г. Ярославцева.

«День нашей встречи предопределен.
Запишем слово «встреча» знаком «пон».
Мы рядом сели — хорошо двоим.
Для «хорошо» знак «хо» употребим.
Сто лет продлится радостный наш брак.
Знак «радости» здесь иероглиф «пак».
Вот в третью стражу при свете луны
Друг перед другом мы обнажены.
Для «обнаженья» иероглиф «тхаль»,
Точнее знак отыщется едва ль.
В одной постели мы вдвоем поспим.
«Сон» обозначит иероглиф «чхим».
Мы на подушку головы кладем.
Знак «ва» для слова «класть» мы изберем.
Объятья рук, переплетенье ног,
Два тела были — стал один клубок.
«Пхо» для «объятий» самый точный знак,
Иначе их не выразить никак.
Слиянье в поцелуе жадных губ,
Для «поцелуя» символ «пё» не груб.
Я у тебя ложбинку разгляжу.
«Ложбинку» знаком «ё» изображу,
На выпуклость мою смотреть изволь.
Для «выпуклости» — иероглиф «тхоль».

— Мне теперь все нипочем, как говорится, «большие Южные ворота стали, что вход в нору краба». А ведь любовь может быть все равно, что колокольчик на хвосте у сокола, что контора, где принимают налоговый рис, вроде мелкой монеты!

Небо и земля завертелись у него перед глазами, все смешалось, и, полный восторга, он проговорил:

— А мы с тобой связаны судьбой, вот почему и встретились друг с другом. Давай споем песню о судьбе, так, чтобы каждая строка заканчивалась словом «человек».

Судьба захотела, чтоб в чаще зеленой
мне встретился близкий один человек.
Луна осветила высокую башню,
здесь много людей — не один человек!
Сравнил бы я нынешний век процветанья
с тем веком, что древний познал человек!
Я через дворцовую прыгнул ограду —
не встретился мне ни один человек.

За тысячи ли, на чужбине далекой,
старинного друга нашел человек.
Ветвистые ивы вокруг зеленеют —
в дороге о друге грустит человек.
Мост Ло обезлюдел, но снегом и ветром
средь ночи назад возвращен человек.

Уважаемый человек, большой человек, нищий человек, старый человек, молодой человек, многие люди связаны судьбами. Два человека соединены брачными узами и радуются бесконечно!

Чхунхян на это говорит:

— Молодой господин сочинил песню со словом «человек», а я попробую придумать песню, где в каждой строке будет слово «лета».

На дождь моросящий и непогоду
судьба обрекает не на сто лет.
Любому из нас ненавистна старость,
но не вернуть уже юных лет.
Резвятся фениксы — дружная пара,
им целый год угомона нет!
Вокруг пустынно, бедна природа
не мало, не много — уж сотню лет!..
Воспитывать нужно дух благородный
у тех, кто не вышел из детских лет.
Год уж в пути до границы далекой!..
Сколько же минет их, долгих лет?..
Не замечаешь, живя на покое,
куда-то вдаль убегающих лет...

Один год, десять лет, тысяча лет, прошлый год, а в этом году нас случайно судьба связала на сто лет, а сто лет — ведь это, говорят, очень много лет!

— Мы с тобою связаны любовью на десятки тысяч лет,— согласился юноша.—

Час настанет с миром распроститься —
Будешь ты не феникс, не кукушка,
Не фазан, не утка-говорушка!
Станешь ты лазоревою птицей.
Я умру — и разольюсь водою:
Хуанхэ не стану я рекою,
Девятью истоками не стану —
Я ручьем Инь-Ян тебе предстану,
Чтобы ты, лазоревая птица,

На моих волнах могла резвиться.
Станешь ты кымсонскою ольхою,
Мне плющом бы стать всего верней:
Летом обовью тебя, укрою
От корней до кончиков ветвей.
Тесно перевьются ветви, плети —
Единенья истинного знак!
И тогда уже ничто на свете
Разлучить не сможет нас никак!

Так они наслаждались счастьем. Забрезжит рассвет — прячутся по своим домам, а как стемнеет — снова встречаются и радуются друг другу. Таясь от людей, они все ночи проводили вместе.

А тем временем государь, прослышав о том, что правитель Намвона печется о народе и правит по справедливости, повысил его в должности и назначил главой палаты финансов. Правителю Намвона предстояло отправиться в столицу, и он призвал сына:

— Собирайся в дорогу, ты поедешь первым!

Юноша при этом известии упал духом и не знал, что делать. К горлу у него подступил комок, и он еле слышно пробормотал:

— Я сейчас, только...

Он сделал вид, будто ему нужно собрать в дорогу вещи, а сам помчался к Чхунхян. Чхунхян выбежала ему навстречу и, едва взглянув в лицо, поняла: случилось что-то неладное. Она заплакала и стала трясти его за плечи.

— Что случилось? Почему вы так печальны?

— Нам предстоит разлука!

— Если мы сейчас расстанемся, неужто больше никогда не увидимся? Всякая разлука страшна, но для живого она все равно, что огонь для дерева или травы. Ох, уж эта разлука! На севере и на юге разлучались государи с подданными, на постоялых дворах прощались братья, десятки тысяч ли отделяли мужей от жен и детей. Говорят, что любая разлука печальна, но разве было расставание горестнее, чем у нас?

— Зачем ты так сокрушаешься?

Юноша вытер лицо рукавом, но к горлу у него подступил комок, и он тоже заплакал.

— Не плачь, Чхунхян! Твои слезы терзают мне сердце, оно разрывается от печали! Не плачь! Я хотел бы всю жизнь быть рядом с тобой. И после смерти мы станем бабочками, все три весенних месяца будем вместе. Но ведь у людей множество дел, они заняты десятью тысячами вещей... Вот и мы должны разлучиться, но ведь не навсегда же!

— Уедете вы и забудете обо мне,— сетовала Чхунхян,— для кого я буду наряжаться, что буду делать зимними ночами, летними днями? Уж лучше убейте меня, а тогда поезжайте!

— Послушай, Чхунхян, если б папаша не получил должность главы палаты финансов, а так и остался в уезде правителем, мы бы с тобой, конечно, не расстались. Не плачь, нас с тобой связала судьба навеки, она нерушима, как темные горы и лазурные воды! Пройдет время, и мы снова встретимся, не давай волю грустным мыслям. Ведь наша любовь не заиндевеет!

Трудно сдержать слезы разлуки. Юноша достал из кармана зеркальце и отдал его Чхунхян со словами:

— Моя душа чиста, как это зеркало. Пусть сотни лет пройдут — она не переменится.

— Вы уезжаете,— промолвила Чхунхян,— вернетесь ли когда-нибудь? А разве на засохшем дереве распустятся снова цветы? Разве желтый петух, что нарисован на ширме, когда-нибудь закричит «кукареку», вытянет шею, захлопает крыльями? Разве горные вершины Кымгансана станут ровным полем? Может ли такое случиться, чтоб их затопила потом вода, а по воде поплыли бы лодки?

С этими словами она сняла с пальца нефритовое кольцо и отдала юноше.

— Моя верность — как это нефритовое кольцо. Оно десятки тысяч лет пролежит в пыли, но чистоты не утратит. Настанет день, когда мы снова встретимся, счастливого вам пути!

Юноша на прощанье сложил для нее песню:

«Счастливо оставаться я желаю,
Ты пожелай мне доброго пути.
Навек ли расстаемся мы — не знаю,
Но уезжаю, ты же — не грусти.
Проснешься — и меня не будет рядом,
Возлюбленный твой в дальней стороне,
Он помнит о тебе... Грустить не надо,
Но вспоминай почаще обо мне».

Чхунхян прочла и тоже ответила песней:

«Вы говорите: «Не грусти, не надо...»
Вас провожу — надолго иль навек?
Гор между нами вытянутся гряды,
Пролягут между нами сотни рек.
Но я желаю: пусть благополучен,
Спокоен будет весь ваш долгий путь.
Прощаемся — тоской мой дух измучен,
Уйдете — будет ныть от вздохов грудь».

Чхунхян далеко, за целых десять ли, пошла провожать возлюбленного.

— Страдания мои бесконечны,— сказала она на прощанье,— забудете вы меня. Приедете в столицу, начнете учиться, а потом сделаетесь важным чиновником. Вы уж хоть тогда меня навестите, а я в безысходной тоске буду вас ждать.

— Зачем ты так говоришь,— упрекнул ее юноша,— ты лучше побереги себя и жди моего возвращения.

С этими словами он нехотя сел на коня и отправился в путь. Переехал гору — пять ли остались позади, переправился через реку — и вот уже десять, и фигурка Чхунхян растаяла вдали. Что поделаешь? Теперь лишь тоска его удел.

А Чхунхян, проводив любимого, долго лила слезы и глядела на север, но милый был далеко! И увидеть его невозможно. Она вернулась в дом, убрала все свои наряды и румяна, плотно прикрыла раздвижные двери и затянутые шелком окна. Пришла для нее безрадостная пора!

А тем временем в Намвон был назначен новый правитель. В столицу прибыли чиновники из местной управы, чтобы сопровождать его в Намвон. Правитель отдал необходимые распоряжения, а потом как бы между прочим поинтересовался:

— У вас в уезде есть некая... Ян...

— У нас в уезде нет ни одной овцы,— ответил один из чиновников,— а козы есть, несколько десятков голов.

— Вот болван,— разгневался правитель,— да я говорю о кисэн по имени Ян!

— А, действительно есть певичка по имени Чхунхян,— спохватился чиновник,— однако в книге кисэн ее имя не значится.

Новый правитель удивился:

— Не значится в книге кисэн? Это еще что за новости?

— Все дело в том, что она заключила брачный союз с сыном прежнего правителя и теперь хранит ему верность на женской половине дома,— ответил чиновник.

— Что же это творится? — изумился правитель.— Красотка пошла в наложницы? Что-то я не слыхал такого!

Правитель собрался в дорогу к месту службы. Он выехал за Южные ворота, проехал по мосту в семь-восемь досок, миновал Чхонпха, потом — озаренное луной предместье Бронзового воробья и заночевал в Синсувоне. На следующий день оставив позади горы Омве, что протянулись между реками Саннючхон и Харючхон, правитель отобедал в Чинвиыпе и переночевал на почтовой станции в Чхирвоне... Утром он снова тронулся в путь и, одолев немалое расстояние, прибыл наконец в Намвон. Чиновники

всего уезда надели лучшее платье и вышли встречать нового правителя со всеми полагающимися почестями. В первых рядах встречающих были военачальники и другие военные чины. Как только появился правитель, справа и слева от него выстроилась конница, а за военными в несколько рядов стояли кисэн. Впереди — молоденькие, в алых юбках и зеленых кофточках, за ними — кисэн постарше, а еще дальше — совсем старые. Чиновники наперебой спешили услужить новому начальству. Поистине величественная картина! Но правитель думал только о Чхунхян. После приезда в Намвон мысли о ней не покидали его ни на минуту.

Поэтому первым делом правитель изъявил желание провести смотр кисэн в надежде отыскать ее. Он положил перед собой книгу и стал выкликать всех по порядку. Однако имени Чхунхян в книге не оказалось. Тогда он призвал ведающего служащими управы и спросил:

— Отчего в списке нет имени Чхунхян?

— Чхунхян вышла замуж,— ответил чиновник,— и теперь хранит верность.

— Подумать только, певичка, а хранит верность,— возмутился правитель.— А ну-ка, быстро приведи ее!

Стражники вместе с чиновником, который ведал наказаниями, бросились выполнять приказ. Они ворвались в ворота дома Чхунхян и кликнули ее. Чхунхян очень испугалась и поспешно спросила, зачем они пожаловали.

— Тебя велели привести к правителю.

Чхунхян заплакала и позвала мать. А та быстро приготовила угощение и, напоив стражников, дала им еще и денег.

— Хоть тут и немного,— заметила она,— но вы уж возьмите, пожалуйста, на выпивку-то вам хватит.

Стражники не стали упираться и взяли деньги.

— Мы люди честные, чего уж тут говорить. Не беспокойтесь.— С этими словами они вышли и, вернувшись в управу, доложили: — Чхунхян вот уже три-четыре луны как болеет, совсем плоха, не могли мы ее привести. Ждем ваших указаний.

Новый правитель разгневался и велел ослушников строго наказать и бросить в темницу, а за Чхунхян послал других стражников.

— Только посмейте не выполнить моего приказа! Накажу!

Кто же осмелится нарушить приказ правителя? Стражники отправились к Чхунхян.

— Из-за тебя могут другие пострадать. Тебе ничего не остается, как явиться в управу, да побыстрее!

Чхунхян заплакала:

— Послушайте, братья, человек не знает своих прегрешений. В чем моя вина? За какие грехи вы хватаете меня?

Стражник ответил:

— Хоть нам и жаль тебя, но мы ничего не можем поделать, придется тебе идти.

Чхунхян повязала голову, надела старую кофточку и рваную юбку, обулась в стоптанные башмаки и пошла, едва передвигая ногами. Вся в слезах, переступила она порог управы. Новый правитель, едва завидев ее, вскричал громовым голосом:

— Подвести ко мне!

Стражники, толпившиеся у входа, тут же бросились к Чхунхян, схватили ее за волосы и швырнули на пол. Правитель взглянул на Чхунхян — и сердце его дрогнуло. Она походила на драгоценный нефрит с горы Цзиншань, брошенный в грязь, на светлую луну, затянутую темными тучами. Правитель задрожал, как лист кукурузы, даже слюна изо рта потекла. Повернувшись к чиновнику, он проговорил:

— Совсем такая, как мне рассказывали!

Чиновник угодливо согласился. У него не было своего мнения, и правителю пришлось это по душе.

— Ведь ты кисэн здешнего уезда,— обратился он к Чхунхян,— хорошо ли не являться на зов правителя?

— Я не подчинилась вашему приказу,— ответила Чхунхян,— потому, что стала прислуживать сыну прежнего правителя и теперь принадлежу его семье.

Новый правитель скорчил недовольную мину.

— Странно, что такая гулящая девка, как говорится, «ива при дороге, цветок у ограды», рассуждает о преданности. Да моя жена в обморок упадет, если услышит, что ты решила хранить верность. Оставь эти легкомысленные речи! С сегодняшнего дня будешь служить мне.

— Пусть я лучше умру,— возразила Чхунхян,— но вам не подчинюсь!

— Не болтай ерунду, а исполняй приказание! — рассердился правитель.

А Чхунхян на это отвечает:

— В старину говорили: «Верноподданный не служит двум правителям, целомудренная женщина не выходит замуж дважды». Думаю, если бы случилась беда и наша страна оказалась во власти мятежников, вы, правитель, пожалуй, склонили бы перед ними голову.

Правитель, услыхав такие слова, заметался, словно бык, которому подпалили шкуру, и велел наказать Чхунхян. Стражники

подскочили, скрутили Чхунхян руки и бросили на скамью для преступников. Судья тут же огласил обвинение:

— «Ты, будучи местной певичкой, самовольно назвала себя добродетельной и благородной. Ты хулила вновь вступившего в должность правителя, ослушалась его приказа. Это неслыханное дело! Твое преступление заслуживает десяти тысяч смертей, но сперва тебя строго накажут».

— Бейте как следует,— раздался приказ.

Сердце Чхунхян упало, будто весенний снег, растаяло. Палач перебрал и отбросил в сторону несколько палок для наказания. Потом выбрал одну и с силой ударил ею по скамье. При этом раздался такой треск, словно разразился гром среди ясного неба.

— И теперь не подчинишься приказу? — обратился к Чхунхян правитель.

— Ни к чему говорить об этом,— ответила Чхунхян.— Пронзите меня острым мечом, разрубите на куски, режьте и жгите, а потом посыпьте раны солью — душа моя только пуще гневом разгорится и отлетит в столицу.

— Бейте эту девку как следует,— приказал правитель,— пока не признает свою вину!

Палач ударил два раза, выждал немного, ударил еще раз — и на ногах Чхунхян, белых, как нефрит, выступила кровь. Все, кто видел это, жалели ее. На нее обрушилось десять, тридцать ударов, и в голове у нее помутилось: она потеряла сознание. Тогда правитель приказал бросить ее в темницу, и тюремщик исполнил приказ.

— Разве я не знаю пяти вечных добродетелей и трех нравственных начал? — громко стенала Чхунхян.— Разве я воровала казенное зерно? Как несправедливо наказывать меня палками! За что мне надели кангу на шею и ноги? Я не страшилась бы смерти, если бы хоть разок удалось взглянуть на любимого, но придется мне умереть в жестоких мучениях. Как это печально!

А мать твердила свое:

— Кому нужна твоя верность? Какое страшное наказание пришлось вытерпеть! Если бы ты послушалась меня и пошла в наложницы к правителю, ничего бы этого не случилось. Все в Намвоне прибрала бы к рукам, все в уезде стало бы твоим! А верность твоя никому не нужна. Я, одинокая женщина, оберегала тебя, как золото и нефрит, думала, увижу когда-нибудь счастливые дни. Как же мне теперь не горевать?

Весть о случившемся быстро облетела весь Намвон. Проститься с Чхунхян пришли подруги и соседи, все жалели ее, принесли ей снадобья, чтоб привести в чувство, давали лакомства. Все наперебой спешили помочь ей. Пока Мусук нес Чхунхян на

спине до темницы, Кунпхён обмахивал ее веером, Тходжун поддерживал ее голову в канге, а Тхэпхён и Кунбин шли следом. С великим трудом они протиснулись в дверь темницы. На их хлопотливость стоило посмотреть!

Чхунхян всех отослала и, оставшись одна, заплакала:

— Как я буду страдать длинными днями, долгими месяцами! В древности знаменитый чжоуский Вэнь-ван сидел в темнице Юли, но потом вернулся в свое царство. Если вспомнить этот пример, то, может, и я когда-нибудь покину темницу и свижусь со своим любимым?

Она опустилась на циновку из мешковины и незаметно уснула. А в это время мать Чхунхян принесла ей рисовый отвар.

— Чхунхян, уж не померла ли ты? Если жива, отзовись, почему ты молчишь?

Мать заплакала, Чхунхян испугалась и пришла в себя.

— До чего вкусная еда,— похвалила Чхунхян...— Прямо восемь лакомств. Роса в фарфоровой чаше! Но как мне развеять тоску, если придется умереть, не повидавшись с любимым? Боюсь, что дни мои сочтены. Когда я умру, заверните меня в юкчинское полотно. Есть в наших краях большие реки и высокие горы, но вы меня здесь не хороните! Перевезите мой прах в столицу и закопайте у дороги, по которой ходит мой любимый. Пусть вспомнит обо мне, когда будет проходить мимо.

— Это еще что за речи? — возмутилась мать.— Я с рождения холила и лелеяла тебя, бывало, на руки возьму — боюсь сделать больно, ветер подует — боюсь, унесет тебя. Ты же поверила какому-то мерзавцу, хранишь ему верность, бережешь свою чистоту. Теперь вот наказана за это. Думаешь, мне не обидно? Укроти-ка лучше свою гордыню да поразмысли, не мучайся. Пойдешь в наложницы к правителю — все уладится.

— Мама, не говорите больше таких слов,— взмолилась Чхунхян.— Время идет, зима сменяет осень, но человеческие поступки неизменны. Пусть я умру, душа моя останется чистой, как небо и земля. Вы, мама, не тревожьтесь понапрасну, идите лучше домой.

Так в тоске и одиночестве прошло несколько лун. И вот однажды во сне, как наяву, видит она, будто стоит между небом и землей дом, и над дверью повешена кукла, будто двор усыпан лепестками вишни, а большое зеркало, в которое она смотрелась, треснуло посередине. От испуга она проснулась. Необычный сон — прямо сон о Нанькэ! Видно, неспроста ей такое привиделось. Совсем как долгий сон в Наньяне, в хижине, крытой травой! Что бы он мог значить? «Наверное, предвещает мне смерть,— по-

думала Чхунхян.— Смерти я не боюсь, но если придется умереть, не повидав любимого, не сомкнутся глаза мои».

Чхунхян сокрушалась, а тут как раз мимо проходил слепой из соседней деревни, и она попросила тюремщика позвать его.

— Эй, тебя Чхунхян зовет,— окликнул тот слепого.

Слепой направился к темнице. Дорожка заросла травой, и мусор с нее не убирали. Нащупывая дорогу палкой, он моргал незрячими глазами, морщил нос и сопел, как вдруг поскользнулся на коровьем помете и упал навзничь, да прямо в собачий помет. Он приподнялся на локте и заплакал.

— Поскользнулся вот...

Тряхнул рукой и ударился о выступ тюремной стены, да так больно, что сил не было терпеть, и он сунул руку в рот. Как тут не посмеешься? Слепой подошел к дверям темницы.

— Войдите,— позвала его Чхунхян.

Слепой вошел, уселся и проговорил:

— Что толковать о твоих делах? Дай-ка я лучше ощупаю те места, по которым тебя били.

Но бесстыдник-слепой задумал дурное. Он и не собирался ощупывать ее раны, а взял да и завернул ей юбку.

— Такая красивая, а как избили! Кто это тебя? Ким или Ли? Ты расскажи мне все, как было.

— Я хочу, чтобы вы мне погадали, что меня ждет, жизнь или смерть?

— Ты еще расквитаешься с ними.— Он опять принялся ее ощупывать, постепенно пробираясь все выше и выше и наконец добрался до самых сокровенных мест. Чхунхян стало стыдно, и она уж хотела было надавать ему пощечин, но побоялась, что он нагадает плохое.

— Подумайте, ведь вы мне вроде отца или старшего брата, на худой конец, вроде лучшего друга. Судьба моя несчастна, мой батюшка рано скончался, и вы уж будьте мне старшим братом. Мне бы хотелось, чтоб вы погадали хорошенько.

Слепой понял ее, но, прикинувшись глуповатым, сказал:

— Ты права, между нами не может быть ничего, кроме дружбы. А может, мы даже и родня. Ведь ты приходишься внучкой родственнику Ли из нашей деревни — его брату в восьмом колене. А раз так, мы с тобой вроде родственников в седьмом колене.

Чхунхян, выслушав его, сказала:

— И все-таки мы не родня. Лучше погадайте как следует.

И она протянула ему деньги. Слепой сначала отказывался, ворча: «Нужны мне твои деньги!» — но потом все-таки взял и спросил, что это за сон она видела.

Чхунхян в нескольких словах рассказала, а слепой, высоко подняв гадательные кости, стал гадать.

— Небо, что скажешь ты? Обращаюсь к тебе и спрашиваю! Божества и духи усопших, будьте милостивы ко мне. Скажите сейчас, в этот год, луну и день! Будет ли счастлива судьба супругов, мужа и жены, женщины, родившейся в Намвоне в таком-то году, и мужчины, родившегося в таком-то году? В такую-то ночь ей приснился такой-то сон, разгадайте его! Растолкуйте, прошу вас! Шао Кан-цзе, чжоуский Шао-гун, Го Пу, Ли Чунь-фэн, Чжугэ Кун-мин, все великие учителя! Решите, счастье или несчастье! — Кончив гадание, он заговорил: — Цветы опали — значит, плоды созреют, зеркало разбилось — будет много шума! Кукла висит над дверью, все люди будут смотреть на тебя с уважением! Вот что это значит. Молодой господин Ли сдаст экзамены, и вы с ним опять свидитесь!

— Разве я могу на это надеяться! — вздохнула Чхунхян.

— Завяжи тесемки на платье и не волнуйся! Все будет в порядке,— успокоил ее слепой и собрался уходить.

— Если бы получилось так, как вы нагадали, и сбылось ваше предсказание! — воскликнула Чхунхян.

Она страдала дни и ночи. А тем временем Ли, прибыв в столицу, без устали занимался науками, забросил все дела — волосы, как говорится, завязал на макушке, а ноги шилом пригвоздил. Он поставил столик для занятий и стал усердно учиться. Прочел «Тысячесловие», «Трехкнижие», «Четырехкнижие» и «Сто танских поэтов». Больше других он любил Ли Тай-бо и Лю Цзун-юаня, Бо Лэ-тяня и Ду Му. А разве сам он не обладал талантами китайских поэтов?

В стране царил мир, и урожай был богатый, ветры и дожди случались в положенное время. Все напоминало ту счастливую пору, о которой поется в песне игрока в биту. Государь решил устроить большой экзамен, чтобы выбрать себе талантливых помощников.

И вот Ли, прихватив бумагу для сочинения, взошел на площадку для экзаменующихся и взглянул на тему, а тема была такая: «На мирных улицах слушал песни народа». Он разгладил бумагу, растер тушь в тушечнице, сделанной в виде слезы дракона, окунул в нее кисточку из желтого волоса и одним взмахом кисти написал сочинение. Экзаменатор прочитал сочинение и отметил каждую строку красным кружком, каждый иероглиф — точкой. Сочинение Ли было признано лучшим, и в списке выдержавших экзамен его имя значилось первым. Когда объявили об успехах Ли, он быстро поднялся на нефритовое возвышение и поблагодарил государя за милости, а когда уходил, голову его

украсили цветком коричного дерева, облачили в синее платье, а талию опоясали драгоценным поясом. В левой руке он держал белую нефритовую дщицу, в правой — красную, деревянную. Кругом звучала музыка. Юноша сел на белого коня в седло, расшитое золотом, и по главной улице направился к дому. Вслед ему отовсюду неслись возгласы: «Это тот, кто первым сдал экзамен!»

После трехдневного пира юноша посетил могилы предков, а потом взошел с поклоном на нефритовые ступени. Государь сказал ему:

— Твой отец — опора страны, а ныне мы узнали и о твоих талантах. Разве это не замечательно? — И он осведомился о желаниях юноши.

Ли почтительно ответил.

— В Поднебесье сейчас царит мир и спокойствие. Но, возможно, кое-где чиновники злоупотребляют своим положением. Я готов обойти все восемь провинций, чтобы убедиться в том, что народ ваш не сетует на свою судьбу, и повсюду я буду распространять ваши, государь, наставления.

Государь выслушал его.

— Слова твои верноподданны и искренни, будешь моей правой рукой! Тотчас же отправляйся королевским ревизором по трем южным провинциям!

Ли простился и стал собираться в путь. Он привязал к ноге табличку для получения лошадей на станциях и приказал своему слуге:

— Поезжай вперед и послушай, о чем говорит народ!

А в дорогу он нарядился вот так: старая рваная шляпа на прорванной подкладке ценой в семь грошей, к подшляпнику потрепанным шнурком привязаны колечки, вырезанные из тыквы-горлянки, поношенная рубашка подпоясана бумажным кушаком ценой в пять грошей, башмаки подвязаны веревками, а лицо он прикрывал ломаным веером, от которого осталось всего три пера. В мешочке из старого носка лежала прожженная трубка.

Выйдя за ворота Суннемун, он прошел по каменистой дорожке шириной в семь-восемь досок, миновал Пэксаджан и предместье Бронзового воробья, по тропинке, проложенной монахами, поднялся на гору Намтхэрён, миновал речку Квачхон, Индогвон, быстро прошел Кальмве, Сагырэ, Дубовую беседку, прошел усталым шагом Чинви, Чхирвон, Сосэ, Сонхван, потом миновал перекресток в Чхонане и почтовую станцию Чинге, прошел Токпхёп, Вонтхо, Иллюгвон, Кванджон, харчевню Хварвон, монастырь Мурвонса, миновал Кымган и Конджу, оставил позади Чончхон и Носон, прошел Ынджин, Таккири, Ёсан, Самне, перешел через деревянный мостик и тайно вошел в город Чонджу.

Побродил по городу, послушал, о чем говорит народ, и добрался до Имсиля.

Стояла весна — прекрасная пора! Посмотришь вокруг — высятся дальние горы, громоздятся ближние горы, величественные скалы стоят стеной, ступенями поднимаются причудливые пики. Раскинули ветви высокие сосны, а под ними струятся речные воды и утки качаются на волнах. Кукуют кукушки, кричат горные ибисы. А рябой кедровке среди голых камней не сыскать себе корма, вот и каркает она у подножия горы Тхэбэксан. Среди отвесных скал одиноко растет ясень, жуки и черви источили его так, что внутри ничего не осталось. А взгляните-ка на дятла! У него клюв длинный, туловище узкое, а хвост широкий. Он уселся против дупла на огромном дереве и «тук-тук» — клювом постукивает. В той стороне все густо заросло кустами и деревьями. У одних макушки уходят в небо, другие — стелются по земле. Здесь кедры и абрикосы, ивы свешивают ветви, тут и высокие сосны, и раскидистые дубы, вязы, березы, тамариск — все это перепутанное, переплетенное, в сплошном хаосе высилось ступенями. Друг против друга стоят две высоченные ольхи, а за ними еще двенадцать деревьев. Вот абрикосовое дерево тоскует без любимого, а у четочника листья сцеплены друг с другом, горец красильный облепил все скалы. Деревья не похожи одно на другое: тутовое — это одно, кедр же — совсем другое. Ясень называют простолюдином, а кипарис — янбаном. Вяз будто возносит молитву Будде, а рядом — самшит.

Полюбовавшись природой, юноша двинулся дальше и за поворотом дороги увидел рисовые поля, на которых работали крестьяне; одни пахали, другие высаживали рассаду. Все напоминало те счастливые времена, о которых поется в песне игрока в биту.

«Крестьяне мы. В дни мира и затишья
Пахать поля, сажать рассаду вышли.
О чем в полях поют крестьяне — встарь
Любил послушать Яо-государь.
Был мир, и пели пахари об этом.
Мы тоже Яо следуем заветам.
Оль-ноль-ноль-сансадэ!
Крестьянин — сыт, крестьянин — весельчак...
И десять тысяч лет да будет так!
Оль-ноль-ноль-сансадэ!
Шунь-государь посуду сам лепил,
Сам землю на горе Лишань рыхлил.
Шэнь-нун принес крестьянам облегченье:
Плуг, говорят, его изобретенье.

Был царь похож на пахаря во всем...
Мы ж с голоду язык во сне сосем!
Оль-ноль-ноль-сансадэ!
Циновкой служит нам простой мешок,
Сосновый сок нам — лотосовый сок!
Оль-ноль-ноль-сансадэ!»

Пока они пели, ревизор прикрывал веером лицо, а как только песня кончилась, он окликнул крестьян:

— Эй, мужички, мне бы надо поговорить с вами кое о чем!

Крестьяне оставили работу и распрямили спины, а один подошел к нему.

— Горы здесь дикие, откуда ты взялся? Чего тебе надо? Ух, какой страшный, будто под скалой валялся.

Тем временем другой крестьянин предостерегал своих собратьев:

— Я слышал, будто в наши края послан ревизор. Вы лучше не грубите этому человеку. По-моему, он совсем не так уж прост. Надо бы говорить с ним поучтивее!

Ли, услышав это, отметил про себя: «Старый догадлив!»

— Ну, а как у вас правитель правит? — снова спросил он у крестьян.— Не чинит ли зло народу? А еще, правду ли говорят, будто он сластолюбив и взял к себе в наложницы Чхунхян?

Крестьянин разозлился.

— Плохо ли, хорошо ли правит наш правитель, но попробуй-ка сломать этот дуб!

— А что слышно о делах в управе?

Крестьянин громко расхохотался.

— Да они там, в управе, все друг друга покрывают. А сам правитель, уж не знаю, жаден он или нет, да только у народа отбирает и рис и хлопок. А еще он развратен, но Чхунхян, стойкая, как железо и камень, не пошла к нему в наложницы и за это жестоко наказана. Сын-то прежнего правителя уехал — и никаких вестей. Хотел бы я знать, куда этот негодяй запропастился?

— Нечего болтать! Что ты знаешь о чужих делах? — рассердился Ли и отвернулся. А крестьянин подумал: «Что-то уж слишком разобиделся господин».

Юноша отправился дальше, а крестьяне снова взялись за мотыги и запели песню «Цветы в горах»:

«Кому наказанье — судьба,
а кому — и награда:
Достаток в еде и одежде,
безделье, утехи;

За вины из прошлых рождений
платить им не надо...
Другим выпадают
четыре злосчастные вехи,
Весь век не избавиться им
ни от бед, ни от мук.
Богатство, и бедность,
и радость, и горе вокруг!»

А молодые парни пели такую песню:

«Наша-то девчонка — загляденье
Парню из соседнего селенья!..»

Да, удивительны дела людские под этим равнодушным небом! Юноша стоял и рассуждал сам с собой: «Вон того мальчишку кормилица еще кашей кормит, а этот еще не женат, работает вовсю!»

Он посмотрел вдаль: там воды реки Хванхасу вливаются в реку Хансу. Соединяясь в бурливом кипении, они, грохоча, низвергаются водопадом. Цветы распускаются и опадают, под порывами ветра облетают листья. Разве все это не удивительно?

Он еще прошел по дороге. За поворотом у харчевни сидел пожилой человек лет пятидесяти, плел веревки из травы и пел песню «Полжизни прошло»:

«Полжизни минуло,
уж молодость мне не вернуть,
Но мне не по нраву
и дряхлости близкой картины.
На волосы гляну —
«Еще постарел ты чуть-чуть»,—
Все снова и снова
нашептывают мне седины».

Веревочки он плел тонкие-тонкие. Ли попробовал заговорить с ним, но старик не отвечал, а только оглядывал его с ног до головы. Допев до конца песню, он проговорил:

— Послушай-ка, в пословице сказано: «При дворе первое дело — чин, а в деревне — старшинство». Смотрю я на тебя, ты что же, не знаешь, что полагается здороваться?

— Простите, пожалуйста. Я только хотел спросить у вас об одном,— стал оправдываться юноша.— Мне вот довелось услышать, будто здешний правитель сластолюбив, взял к себе в наложницы Чхунхян, и та живет вольготно. Правда ли это?

Старик сделал недовольное лицо:

— Не смей пачкать такой сплетней нашу Чхунхян, стойкую, как сосна и кедр. Что и говорить, правитель, конечно, развратен, но Чхунхян не пошла к нему в наложницы и за это брошена в темницу. Наверное, скоро духом станет. А молодой господин Ли — этот сын разбойника — бросил такую девушку и даже не придет ее проведать. Разве сыщешь на свете таких сыновей крысы, сыновей кошки?

Юноша выслушал старика, и думы о Чхунхян стали еще больше мучить его. Один час стал для него все равно что три осени. Он быстро одолел оставшуюся часть пути и вошел в Намвон. Прислушался, о чем шептались люди на улицах. Среди чиновников поднялся переполох. Даже в дуновении ветра им слышалось: «Ревизор приехал!» В управе спешно приводили в порядок давно забытые книги с записями податей и рисовых ссуд и теперь с участка земли в четыре кёль брали по одной мере зерна, а с шести кёль — по три меры. На западных и восточных складах ни с того ни с сего стали раздавать в долг рис, войлок и бумажные ткани, а ведающий чинами и казначей, трясясь от страха, исправляли в книгах неправильные записи.

Разузнав обо всем, Ли отправился к дому Чхунхян. Ступени его поросли зеленой травой, она стелилась вдоль перил, платан, росший в садике, изъели черви, изгородь повалилась, наружные постройки обрушились, внутренние покосились, и стропила торчали наружу, а двор так зарос, что не видно было дорожек. У кого не защемит сердце при виде такого запустения? Ли заглянул во двор: мать Чхунхян варила похлебку в котле и лила слезы.

— Что за горькая у меня доля! Я рано осталась сиротой, потом потеряла супруга, а на старости лет лишилась и дочери. Доверилась этому проклятому молодому Ли! Отчего все так получается? О Небесный владыка, обрати же на нас свои взоры!

Юноше Ли стало жаль ее, и он со вздохом проговорил:

— Сейчас у вас такая беда, но разве не настанут добрые времена? — И он окликнул мать Чхунхян. Та встрепенулась.

— Кто это? Кто пришел ко мне в такую трудную пору?

Она вышла посмотреть.

— Видно, нищий. Слепой он, что ли? Не видит разве, какая здесь бедность? Была у меня единственная дочь, и ту бросили в темницу, вот и пришлось все распродать. Нечего мне подать, проходи мимо!

Юноша усмехнулся и снова окликнул.

— Что же это, мамаша не узнает меня?

— Да кто ты такой? Ким Гвоннон, что ли? Покажись хоть! Не пойму, кто это.

Тогда юноша сказал:

— Это молодой господин Ли пришел.

Мать Чхунхян стала пристально всматриваться и вдруг спохватилась.

— Лицом и на самом деле молодой Ли, но по платью — нищий из нищих! Очень странно. Что случилось? Ох, беда! Кому покажешься в таком виде? Будто синее море стало тутовым полем, а тутовое поле превратилось в синее море! Отчего так все переменилось? Вот беда-то! Теперь из-за вас моя дочь Чхунхян умрет в темнице. Дни и ночи мы с ней надеялись на вас, господин Ли, только вас и ждали, а вы являетесь в таком виде! Что же с нами теперь будет?

Юноша прикинулся, будто ничего не знает, и стал расспрашивать, что случилось. Мать Чхунхян расплакалась и принялась рассказывать все по порядку.

— Так быстро все переменилось! И моя судьба оказалась несчастливой. Экзаменов я не сдал, и дела мои весьма плачевны. Вот я и решил отправиться в путь, теперь пришел к вам, как говорится, «не посчитав далеким путь в тысячу ли». Пойдемте к Чхунхян!

Матери ничего не оставалось, и она отправилась вместе с юношей. Невыносимо смотреть, как он едва плетется по краю дороги, в рваной шляпе и соломенных сандалиях! Он даже от ветра качался, словно больной. Они подошли к воротам тюрьмы и позвали Чхунхян.

— Вот беда-то! Мы все надеялись, а вон что вышло. Смотри, к тебе нищий с Колокольной улицы пришел! Посмотри, глупая девчонка!

Тут юноша рассердился и прогнал мать. Он подошел ближе к темнице и снова окликнул Чхунхян.

А Чхунхян совсем упала духом, положила голову на кангу и задремала, но, когда ее позвали, встрепенулась.

— Кто это меня ищет? Может быть, это Чао-фу и Сюй-ю — отшельники с реки Иншуй — пришли побеседовать о мирских делах? Или это духи знатоков вина приглашают меня разделить с ними застолье? А может, это Бо-и и Шу-ци, что жили в горах Шоуяншань, призывают меня умереть, сохранив верность, или Э-хуан и Нюй-ин зовут меня вместе пойти к супругу Шуню? А может, Ли Тай-бо желает побеседовать со мной о стихах, или ищут меня четыре седовласых старца с гор Шаншань, чтобы в шашки поиграть? Может быть, это фея Ма-гу со священной горы Тайшань хочет, чтоб я окликнула Сукхян? Кто же зовет меня?

Тут юноша снова позвал ее. На этот раз Чхунхян узнала его голос и опьянела от счастья. Она с трудом поднялась и расчесала волосы.

— Во сне это или наяву? — волновалась она.— Как он разыскал меня здесь? Может, он спустился с небес? Или прилетел на облаке? Может быть, он все время был занят по службе и потому не приходил? Говорят,

«Летом облака узорные
похожи на вершины горные...»

Может, вы не приходили, потому что те горы слишком высоки?

«Весною от разлившейся воды
вздуваются и реки и пруды...»

Может, вода преградила вам путь? Почему от вас даже весточки не было? Ведь я могла умереть, и тогда мы встретились бы только на том свете. Теперь мы свиделись, и радость моя безмерна, счастью нет границ! Словно пролился дождь во время Семилетней засухи, словно засияло солнце во время Великого потопа. Какая радость! Ваши слова вернули меня к жизни.

С трудом переставляя ноги в колодках, она подошла к тюремной двери и попыталась выглянуть наружу.

— О, желанный меня зовет! Сейчас увижу лицо любимого!

Юноша Ли подошел ближе. Чхунхян приникла к щели в дверях. Она вздыхала, проливая слезы.

— Неужто это мой любимый? Почему вы в таком виде? Вы теперь нищий, а я умру и стану духом. Отчего Небо так безжалостно ко мне?

— Моя судьба тоже сложилась неудачно,— ответил ей юноша,— мне не повезло на экзамене, вот я и стал таким. На кого посетуешь? Но союз наш крепок, я не посчитал далекой дорогу в тысячу ли и пришел к тебе. Зачем горевать? У нас с тобой судьба несчастливая, поэтому все так и получилось, но вот увидишь, наступят и хорошие времена! Не печалься, будь спокойна!

— Какое горе! Какое горе! — сокрушалась Чхунхян.— Почему я так несчастна? — Она позвала мать.

— Чего уж меня звать! — сказала та.— Дни и ночи я надеялась, а теперь и надеяться не на что. Зря мы ждали. Разве случалось еще с кем-нибудь такое несчастье?

— Не надо так говорить,— сказала ей Чхунхян,— в пословицах сказано: «Пусть даже небо обрушится, все равно можно найти лазейку, чтобы спастись!», «И от смертельной болезни есть снадобье!». Не надо так убиваться, сделайте лучше то, о чем я вас попрошу, возвращайтесь домой и ухаживайте за господином. Приготовьте ужин, как следует его угостите, а потом посте-

лите ему постель в спальне и убаюкайте, как баюкали меня в детстве. Продайте оставшиеся у меня вещички — шпильки, куски шелка и справьте господину хорошее платье. А вы,— обратилась она к юноше,— идите, пожалуйста, ко мне домой и отдыхайте спокойно. Завтра будет день рождения правителя, и, когда кончится пир, меня казнят.

Голова ее в канге задрожала, а Ли, утешив ее как мог, ушел вслед за матерью. Когда они миновали поворот дороги, мать спросила его:

— Что вы собираетесь делать?

А юноша ей в ответ:

— Хоть вы и плохо обо мне думаете, но я все же переночую у вас, а завтра куда-нибудь уйду. Так что не беспокойтесь.

Он пришел в дом Чхунхян, переночевал, а на следующий день на рассвете отправился к воротам управы.

А там вовсю шла подготовка к празднику. Посмотрите, как распоряжается начальник стражи. Он велел прибрать комнаты в управе и высоко натянуть тент, похожий на облако. Вынесли ширмы с нарисованными на них пейзажами, зверями и птицами, расстелили циновки, затканные цветами и травами, расставили лампы под шелковыми абажурами, посуду для вечерней трапезы, плевательницы и пепельницы. Первыми прибыли на торжество высшие чиновники из ближайших уездов, потом появились старые кисэн в сопровождении молоденьких учениц в пестрых платьях. Столики были заставлены угощениями, и отовсюду, словно звон нефритовых подвесок, неслись звуки гуслей, цитр и других инструментов. Кисэн исполнили танец «инчхум», потом — танец с мечами. Комунго напоминали лодки, и, когда музыкантши играли, инструменты слегка покачивались, словно лодки на волнах.

Юноша тоже захотел войти в зал, где происходило пиршество, но его вытолкали за дверь.

— Ваше веселье кончится слезами,— проворчал он,— ну а пока веселитесь вволю! Ловко я вас проведу! В штаны от страха наложите! — И он усмехнулся.

Вскоре послышался стук — начали играть в ют. Юноша сердитый бродил вокруг управы, а тем временем стражник, что стоял у ворот, отлучился по малой нужде. Ли воспользовался этим, прошмыгнул внутрь и вошел в зал. Правитель, заметив его, рассердился и, подозвав стражника, приказал выгнать вон. Тотчас выскочили стоявшие неподалеку стражники, схватили юношу за шиворот и поволокли наружу. Сдержав свой гнев, юноша снова стал прохаживаться возле ворот управы, соображая, как бы ему пробраться внутрь. Тут он заметил позади управы отверстие в

ограде, закрытое мешком из-под риса. Он тихонько пролез туда и, поднявшись во флигель, обратился прямо к правителю:

— Я оказался в вашем городе случайно, нельзя ли мне отведать кушаний с вашего великолепного стола?

Правителю это не понравилось, а военачальник из Унбона засмеялся:

— Я ничего не имею против, если вы сядете слева.

Юноша Ли уселся и быстро очистил весь поднос.

Тогда военачальник из Унбона приказал принести столик с вином и подать Ли. Слуга налил вина и подал юноше, но тот не взял.

— Пусть какая-нибудь из здешних кисэн споет «Застольную»! Не интересно пить вино без застольной песни. Я человек холостой, выберите-ка мне среди кисэн самую хорошенькую!

Правитель, услыхав это, возмутился.

— Экий мерзавец! Из-за унбонского военачальника приходится смотреть на этого противного оборванца.

А военачальник засмеялся и велел одной из кисэн подойти к нищему. Та неохотно поднялась и приблизилась к юноше.

— Начинай-ка,— сказал ей юноша,— у меня без застольной песни вино в глотку не лезет!

Кисэн налила вина и запела:

«Выпейте, выпейте
　　полную чашу вина —
Тысячелетия
　　ваша продлится весна,
Тысячелетия
　　будут у вас впереди:
Влаге живительной
　　рад был и ханьский У-ди.
Не оставляйте же,
　　выпейте это вино.
Сладкое, горькое ль —
　　пейте его все равно...»

— Прекрасно! — воскликнул юноша Ли,— спой еще!

И она снова запела:

«Твои дела разъединили нас,
Одна в постели я не сплю — дрожу!
Я без тебя тоскую каждый час,
Кому о чувствах горьких расскажу?

* * *

Луна взошла на небосклон,
Был ею Ли Тай-бо пленен.
Давно в живых поэта нет,
Зачем, луна, струишь ты свет!

* * *

Я не рано очнулась
от весеннего сна,
Плотный шелк занавесок
убрала от окна.
Распустились цветы,
ярко двор расцветив,
И застыли в них бабочки,
крылья сложив.
Густо ивы у скал
над рекой разрослись,
И зеленый покров
над потоком повис.

* * *

Седовласый рыбак
поселился у самой воды.
Говорит, что привольнее здесь,
что в горах, мол, тесней...
Быстро лодку спускай,
принимайся в отлив за труды,
Скоро станет вечерний прилив
все слышней и слышней.
Чи-гук-чхон, чи-гук-чхон,
оса-ва!..
Вот он лодку толкает,
упираясь ладонями в нос.
И плечо рыбака
высоко над другим поднялось.

* * *

Не стану ловить тебя, белая чайка,
не улетай от меня.
Увы, государь от меня отвернулся,
лишь ты — утешенье мое.

На белом коне с золотою уздечкой
среди цветов поскачу.
У пяти зеленеющих ив прекрасна
в пышном цветенье весна.

* * *

Среди молчаливых зеленых гор,
У хлопотливых лазурных вод,
В порывах свежего ветерка,
Под ярким светом вольной луны,
Все хвори и немочи миновав,
Спокойно до старости доживу.

* * *

Всем звездам Большой Медведицы
На тоску, на разлуку жалуюсь,
Только звезды не отвечают мне,
Встречу ль я моего любимого.
А рассвет все близится, близится,
Я в стихах изливаю жалобы.
Может, другом моим, утешителем
Станет утренняя звезда...»

После того как она пропела песни, гостям подали яства. Перед Ли поставили покосившийся столик с отломанными углами, на котором стояла миска лапши и лежали кусок хлеба, кусок говяжьей грудинки, жужуб и каштан. Ему подали почтительно, как министру, но он разобиделся и обеими ногами опрокинул столик. Все почувствовали себя неловко, но юноша разошелся, он размазал рукавом пролитое вино и стряхнул прямо на столик сидящим слева. Какой ужас! Все лицо правителя оказалось забрызганным. Правитель поморщился.

— До чего же отвратительны люди! Это из-за унбонца меня так оскорбили. Зачем я только послушался его?

Но тут заговорил Ли:

— Родители позаботились обо мне и обучили грамоте. Я славно попировал здесь, и с моей стороны было бы невежливо уйти просто так. Вы ничего не имеете против, если я по заданной рифме сочиню стихотворение?

Сидящие слева назвали рифму:

— Плоть — знак «ко», высокий — знак «ко».

Ему дали тушь и кисточку. Ли тотчас написал:

«В кубках точеных искрятся вина,
кровью людской отливая.
Множество яств на нефритовых блюдах —
это же плоть живая!
Капает воск со свечей горящих —
слезы народные льются,
Громкие песни звучат повсюду —
стоны людей раздаются!»

Сидящие слева прочитали стихотворение и принялись размышлять, а военачальник из Унбона только взглянул, как сразу догадался, в чем его смысл: «Прекрасное вино в золотых чашах — это кровь десяти тысяч людей, роскошные кушанья на нефритовых блюдах — это плоть тысячи людей, воск, капающий со свечей,— это слезы народа, а там, где громко распевают песни, громко ропщет народ».

«Критикует правление и печется о народе — это подозрительно. Некогда Чжоу-синьлан оказался первым среди тридцати шести надо бы и мне пораньше улизнуть»,— решил он и сказал правителю:

— Завтра у меня день раздачи риса крестьянам. Я не могу больше веселиться с вами, мне нужно идти,— и ушел.

Тут слуга ревизора вынул ревизорский знак и, забарабанив в ворота, гаркнул:

— Прибыл тайный ревизор!

Вся управа всполошилась. Началась паника. Ломали хэгымы, флейты, перебили комунго и барабаны. Высокие чиновники, словно мыши, бросились врассыпную. Правитель Имсиля, пытаясь надеть шляпу вниз донышком, завопил:

— Кто заткнул отверстие в шляпе? — и как бешеный выскочил наружу. Правитель Чонджу в этой неразберихе уселся на лошадь задом наперед и заорал слуге:

— Куда девалась голова у лошади?.. А... наплевать, поехали быстрее!

Правитель Ёсана до того напугался, что схватил себя за чуб и принялся сам себя тузить.

— Ой, меня кто-то поймал,— кричал он.— Бежим скорей!

Поднялась страшная суматоха. Правитель Чоксона наложил в штаны, ведающий чинами упал в обморок, а уездные чиновники обмочились. Сам правитель Намвона затрясся от страха и, бормоча: «Того гляди, и у меня голова кругом пойдет. Мы тут все потонем в дерьме»,— выскочил вон.

А тем временем ревизор отправил во дворец донесение, а намвонского правителя отстранил от службы. После этого он все

в управе привел в порядок, разобрался в делах правления, а потом приказал привести узников, и прежде всего — главную преступницу Чхунхян.

Тюремщик привел Чхунхян. Она держалась за кангу и громко причитала:

— Я так просила молодого господина хоть сегодня подержать мне кангу, но он, видно, замерз и куда-то ушел. Сейчас будут решать, жить мне или умереть, а его нет. Не случилось ли с ним какой-нибудь беды? — И она опять заплакала в голос.

Стражник подошел к Чхунхян и сказал:

— С сегодняшнего дня ты по приказу правителя поступаешь к нему в наложницы. Приготовься к этому!

— У меня брачный союз на сто лет с сыном прежнего правителя,— возразила ему Чхунхян,— я не подчинюсь его приказу!

Тогда к ней обратился ревизор:

— Гулящая девчонка, как говорится, «ива при дороге, цветок у ограды», а хочет быть целомудренной! Интересно, отчего это ты, подлая кисэн, поверила молодому господину и теперь хранишь ему верность. Станешь моей наложницей! И разговаривать нечего!

— Какой бы я ни была подлой,— возразила ему Чхунхян,— не пойду наперекор самой себе, особенно теперь, после такого жестокого наказания! И вы, правитель, даже не пытайтесь меня сломить! Воля моя неизменна!

— Разве не прекрасна твоя верность?! — воскликнул ревизор и приказал кисэн, что стояли поблизости, снять с нее кангу.

Разве кто-нибудь осмелится не повиноваться его приказанию? Кисэн подбежали и разломали кангу.

— Подними голову и взгляни на меня! — обратился к ней ревизор.

— Не стану я смотреть на вас,— промолвила Чхунхян в ответ,— и говорить больше не буду, лучше убейте меня! Исполните последнее желание несчастной!

Ревизор пожалел ее.

— Как бы тебе ни было противно, подними глаза хоть на мгновение и взгляни на меня.

Чхунхян прислушалась к его голосу, заколебалась и, подняв голову, взглянула: да это молодой господин Ли! В порыве радости она подбежала к нему.

— Какое счастье! Разве случалось когда-нибудь такое? Правда, в древности Хань Синь жил на средства прачки и терпел лишения, а потом стал полководцем при династии Хань. Кто мог заранее это предвидеть? Цзян-тайгун тоже бедствовал восемьдесят лет и удил рыбу на берегу реки Вэйшуй, а потом стал первым

министром при государях Чжоу. Разве можно о таком знать заранее? Кто же мог подумать, что любимый, явившийся в облике нищего, окажется ревизором? А могла ли я знать, томясь в темнице, что нынче встречусь с любимым и увижу белый свет? Какое счастье! Мой супруг — ревизор! Не сон ли это? Радость моя бесконечна, и вы, любимый, тоже радуйтесь! Вчера нищим приходил на меня посмотреть, а сегодня стал ревизором — разве могла я об этом знать заранее?

Она плясала и прыгала от счастья. Тут пришла ее мать с рисовым отваром.

— Если уж так обернулось дело,— сказала она,— может, и мое имя занесут в книгу хранивших целомудрие? Ох-ох, досада-то какая! Случались ли у кого-нибудь такие неприятности. Некогда верноподданный Цюй Юань, потерпев неудачу в своих надеждах, бросился в реку Мило и погиб. Бессмертные Бо-и и Шуци, храня верность, умерли голодной смертью в горах Шоуяншань. Если б ты последовала их примеру, тоже стала бы знаменитой женщиной. Лучше бы ты бросилась в реку Сян и погибла! — И она с плачем подошла ближе. Тут все чиновники, увидев ее, бросились поздравлять.

— Какое счастье! Какое счастье!

— Что случилось? — спросила с удивлением мать Чхунхян и заглянула в щель в воротах. Тут она подпрыгнула от радости, миску с рисовым отваром отбросила чуть ли не на десять ли и захлопала в ладоши.

— Вот здорово! Когда еще под небесами случались такие необыкновенные дела? И я-то, старая, ни к месту затесалась сюда, вроде коралловых бус, нанизанных на нитку для янтаря, или красных бусин в прическе старика, будто ячменное зерно в треснувшей ступе, словно суп в дырявом котле! Чхунхян попала в ревизорши! А мать Чхунхян — теща ревизора! Правда это или нет? Какое счастье! — В безумной радости она пустилась в пляс.— Вот здорово! Какая радость! Как хорошо! Сначала покинул мою Чхунхян и уехал, а теперь вернулся. Радость мою не измерить, счастье — бесконечно! Пусть у каждого из вас так оставляют дочерей! А если ваши дочери так же преданны, как моя, то и вы скажете, что справедлива пословица: «Не радуйся рождению сына, а радуйся рождению дочери».

Пока она веселилась, намвонскому распорядителю церемониями приказали приготовить все для пира. Все были довольны и поздравляли Чхунхян. Ревизор рассказал ей, как он учился, как сдал экзамен и пожелал стать ревизором. Чхунхян поведала ему о своих страданиях. Пировали весь день. А потом ревизор призвал слепого и дал ему много золота да похвалил за то, что

правильно нагадал, тюремщика за усердную службу наградил провизией. На следующий день после пира он закончил все оставшиеся дела и отправился с ревизией дальше.

Государь, прослышав об этих событиях, порадовался.

— В древности много было таких, кто хранил верность, нынче же это случается очень редко. Какая прекрасная история!

Государь возвеличил Чхунхян и пожаловал ей титул «верной жены». А ревизора похвалил за усердную службу и щедро наградил. Сто раз поклонившись государю и поблагодарив его за милости, ревизор вместе с Чхунхян покинул столицу. Родились у них сыновья и дочери, и вместе они прожили в радости сто лет.

Вообще необыкновенная верность и у замужних-то женщин встречается крайне редко, а тем более у певички — вот что здесь главное! Я записал вкратце эту историю для того, чтобы такая удивительная верность служила назиданием для потомства. А еще, те мужи, что служат государю, ни в коем случае не должны забывать о своих обязанностях!

ВЬЕТНАМСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Вступительная статья, составление и перевод
М. Ткачева

Стихи в переводе
А. Ревича

ВЬЕТНАМСКАЯ ПРОЗА СРЕДНИХ ВЕКОВ

У этой страны было много имен. По-разному называли ее летописцы и землесловы старых китайских царств. Но в писаниях их нередко звучало высокомерье и алчность; они многое знали об этой земле: знали, какие ведут к ней пути по водам и суше и где лучше стоять крепостям, знали, что и откуда можно на ней взять. Им казалось, будто они знают и, как согнуть и смирить людей, живущих на этой земле; но годы складывались в столетья, и мудрость их оказывалась ложной: люди распрямлялись, как выстреливший лук, и вновь обретали свободу.

Да и могли ли они отдать чужим землю, сотворенную их руками! Веками насыпали они плотины и дамбы, отвоевывая пядь за пядью у соленого моря и изменчивых рек. С топорами в руках наступали на зельную стену тысячелетнего леса, оставляя за спиной полотнища пашен. В эти пашни ложились они после смерти, и плуг постепенно сравнивал невысокие насыпи их могил, а сами они становились частицею щедрой земли, соком наливавшихся зерен, дыханьем цветов и листвы. Земля была священна, как священен был труд земледельца. Государи именовали его «корнем» процветанья и долгие столетья еще выходили в положенный день провести, возвещая начало трудов, первую борозду... Название ее помечали в нехитрых своих лоциях кормчие кораблей, доставлявших сюда из страны Западного неба — Индостана оборотливых купцов и степенных буддийских монахов в шафрановых рясах. Ее имя выговаривали нараспев корабельщики с благословенного острова Явы. Берега ее, пусть и неточно, вывел на своей знаменитой карте Птолемей. О ней писал неутомимый Марко Поло. Даже автор курьезной «Книги познанья», более шести столетий назад сбъехавший якобы из Кастилии весь обозримый мир и указавший для самых невероятных стран их гербы и флаги, счел нужным сказать про эту страну: «Я там был...» Ее включил в XV веке в свое пособие по мореходству араб Ахмед ибн Маджид. А еще через двести лет там побывал и описал ее в нашумевших своих «Странствиях» потугалец Фернан Мендес Пинто.

Мы называем ее сегодня «Вьетнам», но имя это новое, ему нет еще и двух столетий. И так уж вышло, что, пожелай мы узнать о давнем ее прошлом, начинать нам придется не только со старых летописей, а и с «изящной словесности». Ибо первая из дошедших до нас вьетнамских летописей — «Краткая история земли Виет» (или Дай-виет, как назывался тогда Вьетнам) и самая старая книга новелл, написанная Смотрителем Королевских книгохранилищ Ли Те Сюйеном, «Собрание чудес и таинств земли Виет» — обе датируются XIV веком; а если следовать формальному принципу, новеллы (предисловие к ним подписано 1329 г.) моложе чуть ли не на полстолетия. Потом книги житийных рассказов, буддийские трактаты, ритмическая и эпистолярная проза многих авторов своим появленьем опережают «Описание деяний государя из Лам-шона» (исторический труд, условно пока датируемый 1433 г.) и следующий дошедший до наших дней летописный свод — «Полные исторические записи» Нго Ши Лиена (1479). А затем в течение лишь нескольких десятилетий появляются еще четыре книги: «Дивные повествования земли Линь-нам»[1] Ву Куиня и Киеу Фу (новеллы; послесловие датировано 1493 г.), книга новелл и книга ритмической прозы короля Ле Тхань Тонга (он умер в 1497 г.) и «Пространные записи рассказов об удивительном» Нгуен Зы, завершенные где-то в первой половине XVI века.

Правда, оговоримся сразу, что примерно за два столетия до «Краткой истории земли Виет» написаны были «Исторические записи» До Тхиена, а в семидесятые годы XIII века появился тридцатитомный свод Ле Ван Хыу «Исторические записи земли Дай-виет» (в основу которого, возможно, легла более ранняя хроника Чан Тана); но ни один из этих памятников не сохранился, как не сохранились и написанные позже, в конце XIV века, два исторических труда Хо Тон Тхока. Впрочем, точно так же до нас не дошла и первая книга повествовательной прозы — «Повесть о высшем воздаянье» (XII—XIII вв.).

XV и XVI века — золотая пора средневековой литературы Дай-виета. В это время были созданы поэтические шедевры Нгуен Чая и стихи Ле Тхань Тонга и его академии — «Собрания двадцати восьми светил словесности», которую государь возглавлял отнюдь не ради придворного пиетета, поэзия Нгуен Бинь Кхиема[2]. От этого времени дошла до нас проза того же Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы. И если учитывать так называемый фактор времени, достижения эти представляются тем более выдающимися, ведь первые литературные памятники Дай-виета относятся к концу X — началу

[1] Земля Линь-нам (дословно: «южнее хребта») — в старых вьетнамских и китайских книгах — территория южнее хребта Нгулинь, куда входил и Северный Вьетнам, иногда его обозначали этим названием.

[2] Нгуен Бинь Кхием (1491—1585) — выдающийся поэт и просветитель; служа при дворе, потребовал казни восемнадцати временщиков; получив отказ, вышел в отставку, вернулся на родину и преподавал там долгие годы в своей школе.

XI века, когда в соседних странах существовала уже многовековая литературная традиция. Разумеется, влияние этих литератур, и в первую очередь литературы китайской, сыграло здесь немалую роль. Но важным и, видимо, определяющим моментом стал здесь высокий духовный подъем, которым охвачен был народ, как раз в это время, в X—XI веках, утвердивший свою свободу и государственность («Волею неба,— ликовал летописец,— вновь возродилась держава Виет...»). И если в первые столетия своей жизни литература Дай-виета говорила еще на вэньяне, языке общем тогда для многих дальневосточных литератур, то творения Нгуен Чая, стихи академии Ле Тхань Тонга и Нгуен Бинь Кхиема писались уже на вьетнамском языке и вьетнамской письменностью «ном», на «номе» впервые написал Ле Тхань Тонг и свою ритмическую прозу — «Десять заповедей о неприкаянных душах».

Историческая проза отнюдь не была только плодом на древе чужой традиции; великие свершения времени властно требовали своего увековечения (вспомним пушкинского Пимена: «Да ведают потомки... земли родной минувшую судьбу»). Эта потребность вызвала к жизни и первые две книги повествовательной прозы: «Собрание чудес и таинств земли Виет» Ли Те Сюйена и «Дивные повествованья земли Линь-нам» Ву Куиня и Киеу Фу.

Правда, для Ли Те Сюйена важно не само по себе связное изложение истории. Событие, факт для него лишь ступенька, с которой начинаются чудеса; причем чудеса не всякие, вернее, не от всякого исходящие, а, как бы это сказать поточнее,— благополезные государству и государю. В предисловии своем он писал так: «В нашей державе Виет издревле и доныне поклоняются в храмах огромному множеству духов; но много ль меж ними таких, чьи подвиги велики и несомненны и кто помог бы народу?» Конфуцианец Ли Те Сюйен, во все вносивший иерархию и порядок, пожелал составить некую опись официально признанных духов, отделить их от бесполезной и пакостной чертовщины. Усопшие государи и государыни у него продолжают споспешествовать живым монархам, подданные и после смерти служат земным властителям, и духи стихий и земель тоже трудятся для блага трона. Но схема эта отнюдь не абстрактна. И если не любой дух услужает государям, то, с другой стороны, и не любому государю служат пришельцы из потустороннего мира; не любому, а — своему государю, повелителю Дай-виета. Причем, излюбленное служение духов дай-виетским королям — помощь им на поле брани. Конечно, Ли Те Сюйен не смог с исчерпывающей полнотой выполнить поставленную им для себя задачу, за рамками его сочиненья осталось немало достойных духов (трудно предположить, чтобы за все прошедшие века на целое государство их набралось лишь двадцать семь — столько рассказов в книге), и не случайно он приглашал «просвещенных мужей» продолжить его труд, и многие охотно продолжали его вплоть до начала XX века. Но он достиг иной цели — из-под его кисти вышла книга, донесшая до нас спустя шесть с половиной веков частицу живой

жизни его времени. Он старался быть точным в изложенье земных дел своих героев,— ведь дела эти были предпосылкою, объяснением чудотворных деяний их после смерти. Он ссылается на историка До Тхиена, на китайские хроники; но все равно персонажи книги ведут себя точь-в-точь как его современники (вернее,— это уже художественный прием,— так, как они должны были себя вести в соответствии с нравственным идеалом автора, основанным на конфуцианских догматах). Вот Ми Е, королева индуистского государства Тямпа [1], является во сне исповедующему буддизм вьетнамскому королю Ли Нян Тонгу [2] и произносит конфуцианские словеса о долге верной жены. Но, заговори она по-иному, и чудо уже было бы «от лукавого». Интерес автора прежде всего к самому чуду, как подтверждению святости духа, приводит его иногда к тому, что чудо свершается во имя дела, заведомо несправедливого. Так, Дух — повелитель земли в Данг-тяу, доказал однажды свою святость сыну короля Ле Дай Ханя (он правил с 980 по 1005 г.), проведя границу ливня ровно по середине реки, чтобы струи его не задели принца. Но несколько лет спустя принц, задумав убить своего брата и захватить престол, является к духу за советом, и тот, представ перед ним во сне, в изящном восьмистишье пророчествует удачу. Все хорошо бы, да только принц этот, убив брата, прославился как величайший злодей и распутник, чего Ли Те Сюйен спустя триста лет не мог не знать. Но он, указав для точности тронное имя узурпатора, сообщает (как во всех других рассказах), какой именно титул был пожалован духу...

Сам Конфуций, говорят, никогда не высказывался о чудесах и духах. Да и последователи его к материям этим относились без особенного интереса. Как же тогда расценивать сочинение Ли Те Сюйена, ведь написано оно отнюдь не для усладительного чтения? Он, правда, не смеет полемизировать с Учителем, как это с поистине королевской непринужденностью делает Ле Тхань Тонг (тоже, кстати, конфуцианец) в первых же строках предисловия к своим новеллам; но все же...

Объясненье этой, не такой уж, впрочем, и редкой, «странности», кроется, видимо, в обстоятельствах, при которых складывались мироощущенья и взгляды вьетнамца той далекой от нас эпохи. Вьетнамец — рождался ли он в семье пахаря или вельможи — с самого детства знал: вспышки молний и гром — это знак приближения Духа громов, который, размахивая своим каменным топором, спешит исполнить волю Повелителя неба и покарать содеянное кем-то зло. Он знал, что прохладный ветерок и опустошительный ураган нагоняет своим опахалом безголовый Дух ветров, а дождевые тучи исторгает в небо огромный дракон — Дух дождя. Знал: если старец Дух риса

---

[1] Тямпа — индуистское государство на территории Центрального Вьетнама, упоминается в источниках со II в.; из длительных столкновений с Дай-виетом вышла побежденной и утратила независимость (конец XV в.); искусство Тямпы оказало влияние на вьетнамскую культуру.

[2] Король Ли Нян Тонг — правил с 1072 по 1127 г.; при нем проводились первые конкурсные экзамены, создана Придворная академия.

явится кому-нибудь во сне веселым, жди недорода, а явленье изможденного духа предвещает большой урожай... В каждой реке, в лесных чащах и горных пещерах жили духи, и всем были известны обычаи их и повадки. Святынею дома почитались алтари предков, духи которых на небесах предстательствовали за живых; в динях (деревенских общинных домах) поклонялись духу — первооснователю деревни. Виетам приходилось то и дело с мечом в руках отстаивать свою свободу, и в каждой округе стояли поминальные храмы — дены и миеу, где чтили память героев; считалось, что в черные дни вражеского нашествия они помогают живым защищать родину. Среди этих обожествленных впоследствии героев были не только государи и военачальники. «Малая отроковица» Чан Нгаук Тыонг девяти лет от роду помогла знаменитому полководцу Ли Тхыонг Киету (сам он и чудеса его описаны в книге Ли Те Сюйена) разбить воинство Тямпы, и государь за то пожаловал ей, простолюдинке, титул принцессы, а народ воздвиг храм. Это случилось в 1103 году. А, скажем, в 1285-м,— быть может, уже на веку Ли Те Сюйена,— когда в Дай-виет вторглись из Китая полчища монгольской династии Юань, «отпрыск государева рода» Чан Куок Тоан (было ему тогда пятнадцать лет) собрал из своих сверстников «рать» и бился рядом со взрослыми...

Любой вьетнамец знал досконально историю происхождения своего народа — не ту, над которой по сей день ломают головы ученые, а другую — чудесную, но по тем временам вполне достоверную историю. Они именовали себя «внуками Неба, детьми Дракона» и рассказывали, что некогда у Божественного земледельца Тхэн Нонга (китайский Шэнь-нун) был праправнук Кинь Зыонг, поставленный властелином южных пределов; Кинь Зыонг взял в жены девицу из рода Драконов — Лаунг Ны, у них родился сын, которому Кинь Зыонг уступил престол, и тот стал править под именем Лак Лаунг Куана (Дракона — Царя земли Лак; «лак» — древний этноним предков вьетнамцев «лак-виетов»). Жил Лак Лаунг Куан большею частью в Подводном дворце. Он взял в жены красавицу Ау Ко, и она родила на свет диковинный ком; внутри него оказалось сто яиц, из которых вышли сто сыновей. Когда сыновья выросли, Лак Лаунг Куан и Ау Ко расстались, потому что он происходил от драконов, а она — от небесных духов, и они не могли всегда быть вместе. Пятьдесят сыновей ушли вместе с отцом в Подводное царство, а другие пятьдесят остались с матерью на суше. Старший стал первым государем династии Хунг, а всего их было восемнадцать в державе виетов, которая называлась тогда Ван-ланг. И никого, конечно же, не смущало, что, по принятой тогда хронологии, каждый из государей Хунг правил более ста тридцати лет. А Лак Лаунг Куан, научивший людей земледелию, давший им первые установления и законы и перебивший множество чудищ, вредивших людям, так и остался для них «отцом» и никогда не оставлял их в беде. И долго еще у виетов держался обычай разрисовывать себя рисунком наподобие рыбьей чешуи, чтобы во время рыбной ловли, сбора жемчужниц или плаванья по морю и рекам водяные твари признавали в них тотчас соро-

дичей и не причиняли вреда. Говорят, первым королем, отказавшимся от этого обычая, был Чан Ань Тонг, умерший за двадцать лет до появления книги Ли Те Сюйена; но в народе, да и, наверное, при дворе, ритуал этот держался еще долго.

Весь этот зыбкий, но весьма и весьма влиятельный мир чудес и духов входил в сознание вьетнамца задолго до того, как он приобщался к конфуцианской книжной премудрости. Да и потом чудеса, запечатленные в письменном слове, сопровождали его всю жизнь. Летописи отнюдь не бедней чудесами, чем новеллы Ли Те Сюйена. Вот взятое из «Краткой истории земли Виет» описание похода короля Ле Дай Ханя на Тямпу (1001 г.): «Враги, узрев государя, напрягли луки, прицелились, но стрелы их попадали наземь; вновь напрягли они луки, и тотчас на всех лопнула тетива; в страхе враги отступили». И дальше, когда королевское войско было окружено, «государь трижды воззвал к Небу, и враги были разбиты». Среди подарков государям, отмеченных летописцем, рядом с существующими (пусть и редкими) белыми слонами, мы находим белого коня со шпорами наподобие петушиных, трехлапых черепах с шестью глазами или панцирями с пророческими письменами. А драконы за восемнадцать лет царствования Ли Тхань Тонга (1054—1072) появляются чуть ли не тридцать раз. Но летописца интересуют «прижизненные» чудеса, связанные с его персонажами, а Ли Те Сюйена — «посмертные». Само упоминание чуда в летописи уже как бы ставило его в ряд реальных событий, Ли Те Сюйен же использует такую схему изложения, которая, развиваясь по нарастающей и завершаясь монаршьим благословением, должна убеждать читателя. И этот прием вынуждает его уделять не так уж много внимания земной ипостаси героя. Портрет у него обычно отсутствует или же сводится к скупым трафаретам, рисующим часто героя уже в его «посмертном» существованье. Невозможно представить себе обличье короля Ли Нян Тонга (он правил с 1072 по 1127 г.), встречающегося в «Собрании чудес и таинств земли Виет». А вот его описанье из летописи: «Государь был муж с высоким челом и лицом дракона, длинными — ниже колен — руками; он имел особый дар к искусству созвучий, все песни и пангрыши были сочинены им». В «Краткой истории земли Виет», несмотря на всю лаконичность письма, немало ярких драматических сцен, интересных психологических наблюдений, диалогов, есть, как и в книге Ли Те Сюйена, стихотворные вставки, правда, их совсем немного. Это все — полезный «строительный» материал, который использует в будущем художественная проза, ибо взаимовлияние двух этих жанров отнюдь не сводилось к одному лишь заимствованию сюжетов (кстати, многие из рассказов Ли Те Сюйена были использованы в летописном своде Нго Ши Лиена); летописи давали литераторам и материал для реминисценций; несомненно, из исторической прозы (не обязательно только китайской, а — и своей, вьетнамской) пришли в уже оформившийся у Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы жанр новеллы завершающие рассказ правоучения, у китайских новеллистов встречающиеся не так уж и часто.

Неким сводом чудес представляются с первого взгляда и «Записи дивных речений в Саду созерцанья» (XIV в.), где собрано сорок одно житие знаменитых святых и проповедников вьетнамского буддизма Тхиен. Однако, собранные воедино, все эти чудеса должны, очевидно, служить подтвержденьем не только личной святости каждого из персонажей житийных рассказов, но и истинности самого учения. Вероятно, перед книгой ставилась еще одна важная цель — сохранить наследие учителей буддизма Тхиен, и потому многие жития перегружены поученьями и философскими рассужденииями. И все же она обладает, несомненно, бо́льшими литературными достоинствами, чем другой дошедший до нас житийный сборник — «Записи деяний трех патриархов», где рассказ нередко сводится к сухому перечислению фактов. Пожалуй, самый запоминающийся эпизод здесь — смерть короля Чан Нян Тонга, который, отказавшись от престола (1293 г.), принял — подобно многим государям своей династии — постриг и стал основателем одной из ветвей вьетнамского буддизма.

Учение Будды распространилось здесь еще с I века н. э. и было тогда по преимуществу связанно с индийскими его истоками. В VI и IX веках двумя волнами в землю виетов пришел из Китая буддизм Тхиен (к и т а й с к.— чань), который главенствующую роль утверждает за личным постижением истинного пути и приобщением к духу Будды через медитацию. Вот как в одном из житий «Записей дивных речений в Саду созерцанья» поучает преподобный Дао Хюэ: «У каждого в сердце запечатлено слово Будды, и незачем следовать за кем-то, чтоб обрести это слово». В Тхиене к обычной для буддизма проповеди бездействия, безучастья присоединяется умаление роли учителя. Для государственной религии, а ею долгое время оставался буддизм, это, конечно, были непростительные изъяны. И именно против них сосредоточили свои главные нападки конфуцианцы, которые с конца XI века постепенно становились все более значительной силой в государственном аппарате и при дворе. Конфуцианство с его строгой регламентацией в социальной и нравственной областях, требованием подчинения «низших» «высшим» и определением обязанностей подданных по отношению к государю, разумеется, было для формировавшегося феодального государства более подходящей официальной идеологией, чем буддизм.

Утверждению конфуцианства помогала и развивавшаяся система конкурсных экзаменов, на которых практически отбирались государственные чиновники. О сонмах людей, связавших все свои помыслы со схоластической книжной премудростью, входившей в программы экзаменов, бредящих успехом на испытаньях и алчущих связанных с этим успехом благ, писал не без сарказма король Ле Тхань Тонг в своих «Десяти заповедях о неприкаянных душах». Но это было в конце XV века, когда конфуцианство взяло уже верх над буддизмом, и тот же Ле Тхань Тонг запретил даже строительство новых пагод. А пока в XIV веке буддизм был еще силен; причем авторитет его в какой-то мере объяснялся и теми элементами магии и волшебства, которые он заимствовал из других верований. И сильно было

влияние даосизма, который из философского учения, каким он был в древности, давно уже переродился в религиозное течение, проповедующее отшельничество, возвращение к «естественной жизни». Даосы занимались алхимией, поисками эликсира бессмертия, изгнанием нечистой силы. Они пользовались в народе славой чародеев, были в силе и при дворе (когда-то, в XI в. король Ли Тхай Тонг выдавал даже им во дворце особые грамоты, подтверждавшие их чудодейственное искусство). Правда, потом, в XV веке, опять же при Ле Тхань Тонге, даосов станут преследовать и придворным запретят даже разговаривать с ними. Но пока — пока не случайно король Чан Минь Тонг (умер в 1358 г.), чуть ли не полстолетия сохранявший влияние на государственные дела, отвечая распалившимся конфуцианцам, требовавшим смены всех обычаев, говорил, что подобные меры могут привести к мятежу...

Более полутора столетий отделяют от книги Ли Те Сюйена следующий дошедший до нас сборник новелл — «Дивные повествованья земли Линьнам» Ву Куиня и Киеу Фу. Некоторые источники утверждают, будто книгу эту написал Чан Тхе Фап, а Ву Куинь с Киеу Фу лишь собрали ее и отредактировали. Но о самом Чан Тхе Фапе и труде его нам практически ничего не известно, а из предисловия Ву Куиня (1492) и послесловия Киеу Фу (1493) можно заключить, что работа их над рассказами носила в какой-то мере и авторский характер.

Они жили совсем в другое время. Чего не случилось только за эти полтора столетия! Одряхлевшая династия Чан была свергнута в 1400 году канцлером Хо Куи Ли, человеком незаурядного дарования. Он попытался разбить и отбросить прочь цепи рутины и отсталости, сковавшие страну. Начал реформы едва ли не во всех областях внутренней политики, привлек на государственные должности новых, поистине просвещенных людей. Но судьба отмерила ему недолгий срок. В 1407 году под предлогом восстановления на престоле «законной» династии Чан, китайский император из дома Мин — Чэнцзу двинул на Дай-виет двухсоттысячное войско. Хо Куи Ли и его сын, пытавшиеся организовать сопротивление, были разбиты, захвачены в плен и вместе с немногими оставшимися им верными вельможами отправлены в клетках в Китай. (Любопытно, что Хо Куи Ли, сам истый поклонник Конфуция, переводивший с китайского книги конфуцианского канона, сделался у конфуцианцев Дай-виета притчей во языцех как изверг, поправший долг подданного и посягнувший на священную особу государя.)

Двадцать лет минской оккупации,— пожалуй, едва ли не самая мрачная страница в истории Вьетнама. Захватчики грабили народ, жестоко подавляя то и дело вспыхивавшие восстания; запрещались национальные обычаи, даже — национальный костюм... Но вот в 1418 году началось восстание в Лам-шоне, горной местности в округе Тхань-хоа, совпадающем практически с современной провинцией того же названия. Во главе его стоял тамошний землевладелец Ле Лой, наделенный огромной энергией, силой воли и талантом правителя и полководца. Правой рукою его стал Нгуен Чай,

разносторонняя одаренность которого и сегодня, спустя пять с половиной столетий, вызывает у нас изумление. Он был великим поэтом, гуманистом и ученым, выдающимся политиком и стратегом. Роль его в руководстве восстанием была весьма велика. От имени Ле Лоя он, в частности, вел переписку с китайскими военачальниками. Четыре досятка его посланий, сложенные в хронологической последовательности,— безупречный документ о завершающем пятилетии народной войны, когда ценою огромных усилий, жертв и великого мужества была добыта победа. Пожалуй, только большому художнику, каким был Нгуен Чай, дано было с одинаковой отточенностью словесной формы передать отразившиеся в стилистике посланий сложные перипетии борьбы. Мы словно слышим его голос — то язвительный и гневный, обращенный к китайским военачальникам, бесчинствовавшим на земле Дай-виета,— то спокойный, полный достоинства и мудрости, обращенный к минским вельможам, с которыми велись дипломатические переговоры. Высокий накал страстей, звучащий в его посланиях, заставляет невольно вспомнить написанное почти полутора столетиями раньше «Воззвание к военачальникам» великого вьетнамского полководца Чан Хынг Дао, возглавившего войну против полчищ юаньского императора: «Глядите — вражьи послы чванливо шагают по нашим дорогам, клекоча, как стервятники, совиными языками поносят государя и двор; выказыв козью душу и псиный норов, запугивают наших вельмож. Высшею волею Хубилая требуют жемчуг и дорогие шелка, чтоб утолить ненасытную алчность; повеленьем Юннаньского князя [1] отнимают золото и серебро, выскребая до дна наши сокровищницы. Не все ли это равно, что подносить мясо голодному тигру, чая избегнуть напасти? В пору еды я забываю о пище и среди ночи в ярости бью кулаком по подушке; сердце мое разорвано на части, слезы текут из глаз, и горло сжимает гнев: ах, отчего не дано мне впиться во вражью плоть и рвать с нее кожу, выгрызть их печень, упиться их кровью!..» После разгрома юаньской армии и флота слова ликованья вырезались на бронзе колоколов. Победное торжество народа, изгнавшего минские полчища, прозвенело в чеканных строках ритмической прозы Нгуен Чая, написавшего от имени короля Ле Тхай То (Ле Лоя) «Великую весть о замирении Нго» (1428)...

Но в девяностые годы все выглядело по-иному. Уже улеглись победные восторги, и постаревший государь, основатель новой династии, отправил в могилу или в изгнание многих своих сподвижников; изведал горечь опалы и Нгуен Чай, возвращенный потом ко двору. Умер уже сын основателя династии, и казнен был обвиненный в отравленье его Нгуен Чай. Отцарствовал следующий король,— взойдя на престол младенцем, он, едва возмужав, был убит своим братом, и бесчестный брат этот тоже убит вельможами, а на престоле вот уже четвертое десятилетье восседал «Святой и благодетельный государь» Ле Тхань Тонг. В державе царили благополучие и мир, были упо-

---

[1] Юннаньский князь — Хугэчи, сын императора Хубилая; ставка его находилась в южнокитайской провинции Юннань.

рядочены налоги, строились дороги, плотины и даже общественные больницы. Создан «чертеж» земли Дай-виета и по-новому перекроены округа и уезды. Усмирены были малые соседи и захвачено давно уже, подобно перезрелому плоду, готовое пасть королевство Тямпа; урегулированы отношения с Китаем. Отладили и пустили в ход громоздкую машину конкурсных экзаменов, лауреаты их, понаторевшие в книжной премудрости, переполняли государственные учреждения, школы и Королевскую письменную палату «Лес кистей», ведавшую архивами и составлением документов. Конфуцианство торжествовало победу. Были «исправлены» обычаи и нравы; знаменитые «Двадцать четыре уложения» Ле Тхань Тонга строго регламентировали всю общественную да и частную жизнь. К конкурсным экзаменам теперь допускались лишь лица, имевшие выданное местными властями подтверждение благонадежности и свидетельство о том, что в семье не было изменников, мятежников и... актеров. Актерам вообще не повезло: при дворе теперь установились строгие нравы, распускались труппы музыкантов и лицедеев, находившие, правда, иногда приют в домах богатых вельмож. Королевский двор при всей его пышности становился чопорным и скучноватым; Ведомство церемоний Ле Тхань Тонга, наверно, приходило в ужас при одном воспоминанье о «варварских» нравах двора государей из дома Ли[1], где наложницы восходили на костер вслед за усопшим королем, чужеземные пленницы плясали и пели и сами государи тешились «искусством созвучий», или — двора государей из дома Чан, где король с принцем танцевал перед «отцом царствующего монарха» танцы варварских народов; государи и принцы тех династий тешились борьбой, петушиными боями, усмиреньем слонов и тигров, играли в ножной и ручной мяч «кау», приглашая еще и иноземных послов; а пьяные пиры тех времен или короли-игроки, приглашавшие во дворец богатых купцов для игры на деньги... Нет, все эти игрища были отвергнуты. При дворе поощрялась одна лишь забава — словесная; но в ней-то уж, надо признать, ведали толк и государь, и его приближенные. «Собрание двадцати восьми светил словесности» вовсе не было капризом балующегося рифмами самодержца; стихи, оставленные ими, стали гордостью вьетнамской поэзии. Даже чудеса, случавшиеся теперь при дворе, были непосредственно связаны со словесностью и науками: феи являлись государю, чтобы состязаться с ним в стихосложении, а единственный «небожитель» из королевской свиты, Лыонг Тхе Винь,— когда-то давно Небесный император представил его якобы во сне государыне-матери как помощника будущего ее сына-монарха,— попал ко двору, лишь выдержав конкурсные экзамены, и был потом опознан государыней-матерью...

Здесь нам уместно будет вернуться к книге Ву Куиня и Киеу Фу, потому что она, как видно из самого ее названья,— о чудесах. О Ли Те Сюйене нам не было известно ничего, кроме его должности. О Ву Куине мы знаем

---

[1] Дом Ли — династия Поздняя Ли, правила в Дай-виете с 1010 по 1225 г.

довольно много: известны три его пышных литературных псевдонима («Сохранивший изначальную простоту», «Книжный покой вседневно взыскующего истины» и «Средоточие радости»), он родился в 1453 году, двадцати шести лет от роду сдал экзамены, дослужился до главы Ведомства церемоний, написал, кроме «Дивных повествований земли Линь-нам», исторические записки, книгу стихов и трактат по математике, выйдя в отставку, был убит по дороге на родину грабителями. О Киеу Фу сведения гораздо скудней: псевдоним — «Неизменно почтительный и преданный долгу», родился в 1450 году, экзаменовался в 1475-м...

Новеллы их, построенные главным образом на материалах легенд и преданий, выгодно отличаются от произведений Ли Те Сюйена большей естественностью в развитии действия и ясностью стиля. Это особенно заметно на примерах тех новелл, где повторяются сюжеты и персонажи первой книги. Конечно, авторы не сохранили собранные ими легенды в их первозданном виде; и обработка должна была, видимо, их приблизить к мироощущению и идеалам человека XV столетия. И вот мы снова видим в «Рассказе о Золотой черепахе», одной из древнейших вьетнамских легенд, как принцесса Ми Ныонг и муж ее оба говорят о дочернем, сыновнем и супружеском долге совершенно в духе конфуцианских «основ»; да и сама Золотая черепаха излагает конфуцианские взгляды о связи между добродетелями государя и судьбами государства. Здесь же в описании превращений нечистой силы можно усмотреть близость к символике даосских трактатов. В рассказах о буддийских чудотворцах отражены представления о «сокровенном искусстве» магии... Можно предположить, что авторы достаточно широко пользовались не только фольклорными источниками, но и летописями — вьетнамскими и китайскими, и житийными сборниками. Однако цель их уже не та, что у Ли Те Сюйена, они хотят не убедить в чем-то читателя, а развлечь его, и потому ссылки на труды историков им не так уж и нужны. Кстати, именно новеллы, содержащие такие ссылки, меньше других «обработаны» литературно, и в них заметны «стыковки» сюжетов, заимствованных из разных источников. Любопытно, что в этой книге, как и у Ли Те Сюйена, есть сюжеты о столкновении Гао Пяня [1], наместника китайской династии Тан в Зиао-тяу (древнее название Северного Вьетнама), с местными духами, повелителями земли и стихий. Гао Пянь, очевидно, и впрямь пытался магическим искусством подчинить себе духов этой земли, что, вероятно, должно было подчинить ему и живущих на ней людей. До сих пор находят иногда во Вьетнаме глиняные девятиярусные башенки высотой в тридцать — сорок сантиметров, в каждом ярусе — окошко, за которым находится изо-

---

[1] Гао Пянь — с 866 по 874 г. (?) вел большое строительство в центральном городе Дай-ла (около Ханоя) и других местах, разбил вторгавшиеся в страну войска тайского государства Нам-тиеу (находилось на западе современной китайской провинции Юннань); деятельность его, направленная на укрепление владычества Китая, тяжким бременем ложилась на плечи виетов.

бражение божества. Сделано было их, по преданию, восемьдесят тысяч. Закопанные в местах, где, согласно геомантии, были средоточия мощи тамошних духов, чудесные башенки должны были эту мощь сковать и уничтожить...

Особняком стоит в книге последняя новелла — «Рассказ о Ха О Лое», где чудо (рождение героя от духа и смертной женщины и подарок даоса — прекрасный голос) играет как бы роль «первотолчка», а все остальное — так часто встречающуюся в самых разных литературах историю искусного соблазнителя — можно легко себе представить, даже если бы герой был простым смертным и от природы наделен сладостным голосом. В новелле точно очерчены характеры и ситуации, и стихи в ней являются органичным элементом, а не «вставным номером».

«Рассказ о Ха О Лое» как бы приводит нас к следующей книге — «Сочиненьям, оставленным государем Тхань Тонгом из дома Ле». Не касаясь здесь вопроса об истинном авторстве короля Ле Тхань Тонга, отметим, что перед нами, несомненно, произведенья, принадлежащие к жанру формирующейся уже литературной новеллы. Автор свободно строит сюжет, искусно пользуется сменою ритма, диалоги его естественны и точны. Но самое главное — чудо у него становится как бы элементом повествования, задуманного автором, отводящим «чудесному» определенное место и роль. У Ли Те Сюйена духи являются людям только во сне, у Ву Куиня и Киеу Фу и те и другие встречаются уже наяву, но они лишь соприкасаются, как бы «сосуществуют». У Ле Тхань Тонга же духи и люди действуют на равных, причем, могущество и превосходство духов вовсе не так уж бесспорны. Интересно проследить эволюцию сюжета о сватовстве Духа гор и Духа вод, имеющегося во всех трех упомянутых книгах. У Ли Те Сюйена скупая запись о том, как оба духа явились к государю Хунг, он испытал их силу и обещал выдать дочь за того, кто первым доставит свадебные дары; первым был Дух гор, а опоздавший Дух вод разъярился, поднял воды, попытался отнять невесту; с тех пор каждый год бывают наводнения, это духи сводят свои счеты. У Ву Куиня и Киеу Фу повторяется то же, но рассказ более детален и по-другому описаны чудеса. У Ле Тхань Тонга же ярко выведены образы обоих духов — хвастунов и честолюбцев, превосходно написана демонстрация чудотворной мощи духов и простодушное восхищение Самодержца Нефрита (здесь отец невесты не государь Хунг, а сам Повелитель Неба); но совершенно неожидан финал — появляется человек, простой смертный, посрамляет обоих духов и получает в жены принцессу. В новеллах Ле Тхань Тонга много выдумки и юмора; но, пожалуй, самая запоминающаяся их черта — высокий лирический настрой чувств, любовь и верность в любви для него одна из самых главных человеческих ценностей. Государь нередко сам появляется на страницах своих новелл, и прием этот придает им какую-то особенную художественную достоверность. Любопытно, что среди новелл Ле Тхань Тонга, в общем-то, за редким исключением, достаточно отвлеченных от конкретной действительности, мы среди недобрых духов, скрываю-

щихся от наказанья, вдруг находим Ван Туна, китайского военачальника, которому адресовал свои письма Нгуен Чай, и Хуан Фу, минского вельможу, покончившего с собой после того, как его войска были разбиты на земле Дай-виета. Так в изящную мелодию волшебного вымысла вторгаются вдруг грозные отзвуки истории.

Совсем иным предстает перед нами Ле Тхань Тонг в другой своей книге — «Десять заповедей о неприкаянных душах», без сомненья, вышедшей из-под его кисти. Это первое из дошедших до нас прозаических произведений, написанное по-вьетнамски, и тем не менее поражает совершенством формы (заповеди написаны ритмической прозой, и каждая завершается стихотворным нравоучением). Оно выдержано в жанре «увещеваний», обращенных, якобы к душам усопших, не нашедшим успокоения; но на самом деле государь обращается к живым — их хочет он устыдить и предостеречь от дурных поступков. Заповеди обращены к десяти «сословиям» и «разрядам» тогдашнего общества: буддистам, даосам, чиновникам, конфуцианцам, астрологам и геомантам, врачевателям, военачальникам, певицам и лицедейкам, торговцам, бродягам и дармоедам. Добрые слова он находит лишь для военачальников, чиновников и конфуцианцев; прочие же погрязли в невежестве, алчности и лжи. И, по всему судя, автор не очень-то верит в возможность их исправления...

Должно быть, не больше пятидесяти лет лежит между прозой Ле Тхань Тонга и книгой Нгуен Зы «Пространные записи рассказов об удивительном». Опочил Святой и благодетельный государь Ле Тхань Тонг, а через семь лет, в 1504 году умер и его сын Ле Хиен Тонг, которому еще как-то удавалось продолжать политику отца. И началось тяжкое безвременье. Заговорщики «делали» королей, свергали и убивали их спустя месяцы, а иной раз — и дни. Те же, кто продержались на троне подольше, вроде Ле Уи Мука (1505—1509) или Ле Тыонг Зыка (1510—1516), прославились бессмысленными кровопролитиями, порчею нравов и страстью к возведению новых дворцов. Правителям не было никакого дела до поддержанья плотин, каналов и дамб. Поля пустели и приходили в упадок. Летописцы чуть ли не под каждым годом выводили: «Голод»... «Неурожай»... «Засуха»... Повсюду вспыхивали крестьянские восстания. Жалкие государи и алчные временщики не терпели даже книжных аллегорических упоминаний о пользе народа, справедливости и чести. Многие литераторы и ученые, среди них и бывшие Ле Тхань Тонговы «светила словесности», были казнены или изгнаны. В 1527 году военачальник Мак Данг Зунг захватил трон. Многие чиновники и ученые оставили службу, другие благоразумно сочетали верность конфуцианским «основам» со служением узурпатору, третьи бросали обвиненья в лицо самозванцу, расплачиваясь за это жизнью. Считается, что Нгуен Зы в то время вышел в отставку, прослужив всего лишь год в должности правителя уезда, и возвратился навсегда в родную деревню. Кроме этого, нам известно лишь имя его отца Ле Тыонг Фиеу, дослужившегося до должности главы Королевского казначейства, и имя его учителя — Нгуен

Бинь Кхием (!). По некоторым косвенным данным можно предположить, что Нгуен Зы родился в самом конце XV века. Вот и все — если не считать, конечно, написанной им книги, которая снискала ему восхищение современников и еще при узурпаторах Маках (а они пали в 1592 г.) была с вэньяна пересказана и истолкована по-вьетнамски.

Между новеллами Ле Тхань Тонга и Нгуен Зы много общего и в выборе тем, и в лирической взволнованности чувств, и в том значении, которое оба придавали стихам, украшающим их прозу. У Нгуен Зы мы, кстати, впервые находим новеллу, герои которой — реально существовавшие литераторы и поэты, и их устами пальму поэтического первенства Нгуен Зы присуждает Нгуен Чаю и Ле Тхань Тонгу! Но от новелл Ле Тхань Тонга книгу Нгуен Зы отличает грустноватый сумеречный колорит — знамение времени! В ней мало счастливых стечений обстоятельств, героев его преследует рок. Но только ли рок виновен в людских несчастьях? Нет, писатель с недвусмысленной ясностью обвиняет в людских бедах алчных и несправедливых государей и их временщиков — всех, кто употребляет во зло данную им власть. Причем, это не абстрактные обвиненья и сетованья, многие личности здесь узнаваемы, и реченья персонажей Нгуен Зы весьма близки к оценкам, содержащимся в исторических документах. Обличительный пафос его имеет явно сатирическое звучание. И это произошло впервые во вьетнамской литературе, где социальные мотивы звучали прежде достаточно отвлеченно и общо. «Чудо» же для Нгуен Зы, как и для Ле Тхань Тонга, а возможно, и в большей степени, чем для Ле Тхань Тонга,— литературный прием, долженствующий, по традиции, привлечь читательское внимание. Ли Те Сюйен, а потом и Киеу Фу с Ву Куинем как бы не ставили в конце своих книг точку, приглашая желающих продолжить их труды. Но ни Ле Тхань Тонг, ни Нгуен Зы уже не делают этого, ибо сознают себя создателями самостоятельных художественных ценностей и, как явствует из завершающих новеллы нравоучений, мечтают именно в такой, ими самими задуманной, форме донести свой труд до потомков...

Книга Нгуен Зы близка к сочинению китайского новеллиста минской эпохи Цюй Ю, чьи «Новые рассказы у догорающей лампы» относятся к 1378 году. Можно найти при желании китайские аналоги и для других рассмотренных нами книг. Влияние китайской словесности и культуры на культуру Вьетнама, несомненно, было долгим и значительным. Но это вопрос специального исследования. И все же формальное заимствование, близость или сходство еще не определяют всей ценности и значимости художественного произведения; ибо сама по себе форма, не заполненная живым дыханием жизни, не оплодотворенная воплотившимся в ней творческим духом, мертва.

* * *

Быть может, вьетнамская средневековая литература не самая обильная книгами. Цифры, как говорится, упрямая вещь, и с ними не спорят. Но и то, что каждая из этих книг прожила столь долгую жизнь, а говоря точ-

нее — выжила, есть несомненное чудо. Потому что вторгавшиеся в Дай-виет из Срединного государства «просвещенные» воинства воевали с книгами, как с людьми,— их рубили, и жгли, и забирали в плен (поименные списки плененных и вывезенных на чужбину книг можно найти во вьетнамских летописях). И часто люди ценой своей жизни сохраняли жизнь книгам. Вот почему сегодня так дороги для потомков эти бесценные книги — живое подтверждение слов великого Нгуен Чая:

Издревле наша держава, Дай-виет,
Твореньями слова,
талантами взыскана щедро...

И знакомство с талантами этими снова и снова дарит нам радость.

М. ТКАЧЕВ

ЛИ ТЕ СЮЙЕН

ИЗ КНИГИ «СОБРАНИЕ ЧУДЕС И ТАИНСТВ ЗЕМЛИ ВИЕТ»

ВЫСОКОРОДНЫЕ И ПОБЕДОНОСНЫЕ ВОИТЕЛЬНИЦЫ ЧЫНГ

Сказано в летописях: старшую сестру нарекли Чак, младшую — Ни; были они из рода Лак — дочери властителя земель в Зиао-тяу, выходца из Ме-линя, что в округе Фуанг-тяу (Горный край).

Достопочтенная старшая сестра сочеталась браком с господином Тхи Шатем, выходцем из Тю-зиена (земли Красного коршуна). Славился Шать отвагой и силой и был за доблесть свою почитаем и любим всеми.

Видя такое, Су Дин, ханьский наместник в Зиао-тяу, прибегнув к коварству, возвел на Тхи Шатя ложное обвиненье и погубил его.

Гневом воспылала достопочтенная Чак, тотчас вместе с младшей сестрою подняла войска, изгнала Су Дина и захватила Зиаотяу. Тут уж и округа Нят-нам, Кыу-тян и Хоп-фо, узнав обо всем, покорно примкнули к ним. Они взяли более шестидесяти пяти городов в пределах земли Линь-нам, объявили себя государынями страны Виет, обосновались со своим двором в Тю-зиене и приняли имя Чынг.

Тем временем Су Дин бежал на Север, в Наньхай. Услыхав об этом, император Гуанъу-ди разгневался, разжаловал Су Дина и сослал в Даньэр, а против обеих сестер отправил Ма Юаня и Лю Луна с превеликим войском. Когда ханьская рать достигла Волнистого озера — Ланг-бак, достопочтенные сестры заступили ей путь; однако войско их было малочисленно и не могло долго противиться неприятелю. Пришлось достопочтенным сестрам отступить в Кра-

сивое ущелье — Кэм-кхе; войско их день ото дня редело. И сестры, оставшись с малою силой, погибли в бою.

Оплакивая обеих, тамошний люд воздвиг в их честь деп — храм поминовенья, и было там много чудес и знамений. Ныне тот храм стоит в уезде Ан-хат.

Во времена государя Ли Ань Тонга случилось великое бездождие, и преподобный муж по прозванью Тинь Зиой (Средоточие блаженства) был послан государем в храм сестер Чынг вознести моление о дожде; само собою, тотчас же хлынул дождь и опустилась прохлада. Государь, обрадованный, прилег отдохнуть, и вдруг явились ему во сне две незнакомые девицы. Лики их были подобны цветам фу зунг, брови — как листья ивы. Они ехали верхом на железных конях; на девицах были красные шапки, зеленые рубахи и красные юбки, стянутые дорогими поясами. Следуя за падающим дождем, они подъехали поклониться государю. Государь, изумившись, стал расспрашивать их, и они отвечали:

— Мы, сестры из рода Чынг, выполнив волю Повелителя Неба, сотворили дождь.

Восстав ото сна, государь, растрогавшись, тотчас послал подновить и изукрасить храм и велел собрать подобающие дары для жертвоприношенья. Затем он отправил послов — торжественно доставить святыни на Север, в престольный град, где воздвигнут был храм Подательниц дождя.

Потом достопочтенные сестры снова явились во сне государю и попросили поставить им храм в Ко-лай (?). Государь внял их просьбе и особою грамотой пожаловал обеим звание: Целомудренные и чудотворные жены.

В четвертый год «Многократного процветания» достопочтенным сестрам пожаловано было звание Победоносных воительниц, а в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» почтительно присовокуплены были к званию достопочтенной старшей сестры еще два слова: Чистая и непорочная, а к званию достопочтенной младшей сестры — слова: Охраняющая и мягкосердая. Чудотворная их святость несомненна с давних времен.

ЖЕНА ВЕРНАЯ И НЕИЗМЕННО СЛЕДУЮЩАЯ ИСТИННОЮ СТЕЗЕЙ, ЦЕЛОМУДРЕННАЯ И ДОБЛЕСТНАЯ, ПОСТОЯННАЯ И ГРОЗНАЯ

Из какого рода происходила благонравная жена, неизвестно; звали ее — Ми Е, жила она в Тямпе и была супругою тямпского короля Ша Дэу.

В царствованье государя нашего Ли Тхай Тонга, Ша Дэу не пожелал платить нам дань и разорвал вассальные узы. Государь тогда самолично повел войско на Юг. Ша Дэу заступил ему путь на реке Возвещенного владычества — Бо-тинь, но был сразу разбит королевским войском. Воины его разбежались, а сам Дэу пал в битве. Жены его и наложницы были захвачены и уведены в плен.

Достигнув на возвратном пути Благодетельной реки (Ли-нян), государь, наслышанный о красоте Ми Е, тайно послал придворного доставить ее для услуг на государеву ладью. Но она в великом негодовании отказалась, вскричав:

— Я ведь жена варвара, я дурно одета и косноязычна! Куда мне до младших жен вашего знаменитого двора! Держава моя погибла, супруг мой убит, и мне, я вижу, нет выхода — кроме смерти. А если меня силой заставят сойтись с государем, боюсь, замараю я плоть благородного дракона!

Тотчас схватила она белое покрывало, завернулась в него и бросилась в реку. Раздался лишь громкий всплеск, и красавица исчезла из глаз. Узнав обо всем, государь в изумлении содрогнулся и, раскаиваясь в содеянном, велел ее спасти, но было уже поздно.

С той поры по ночам, когда умолкали волны и ярко светила луна со звездами, слышался на реке женский голос, горько рыдавший и сетовавший. Деревенский люд, сочтя это чудом, подал прошение, чтоб разрешили поставить в том месте малый храм — миеу для поклоненья духу утопленницы. И тогда лишь слезные жалобы смолкли.

Потом государь Ли Нян Тонг, плывя как-то в своей ладье, достиг Благодетельной реки и, увидав на берегу храм, тотчас стал о нем спрашивать. Ему рассказали все как было. Государь умолкнул надолго, потом сказал:

— Вот уж не думали Мы, что между женщин варварского племени бывает подобная добродетель. Если и впрямь дух ее чудотворен, пусть подаст Нам какой-нибудь знак.

Ночью, в час третьей стражи, вдруг пронесся благоуханный ветер, потом повеяло холодом, и государь увидал некую жену; она кланялась и говорила сквозь слезы:

— Слыхала я: долг супруги — быть верной одному лишь единому мужу. Прежний повелитель моей страны,— пускай и не ровня он вам, величество,— был достойнейшим мужем, чьи дарованья украсили нашу окраину. Я служила ему как могла — всякою малостью, супружеская наша любовь была неомраченной и щедрой. Увы, государство мое разрушено и король мой погиб! Страдая и мучась, я денно и нощно мечтала о мести. Но женщина слабосильна, где уж ей затевать подобное дело. Благо, покойный ваш государь прислал придворного проводить меня к Желтому источнику.

Там я свиделась наконец с супругом, и сбылись мои чаянья. Ну, а что до чудесных сил — откуда им быть у меня? И смею ли вам докучать?

Сказала и тотчас исчезла.

Вздрогнув, государь пробудился и понял: это был сон.

Тотчас возлил он, как положено, жертвенное вино и особою грамотой пожаловал Ми Е звание Отважной и преданной сердцем.

С той поры люди из ближних и дальних мест возносили к ней молитвы и всегда обретали просимое.

В первый год «Многократного процветания» пожаловано было ей звание Верная и неизменно следующая истинной стезей, в четвертый год прибавлены были к этому званию еще два слова: Целомудренная и доблестная, и, наконец, в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» — почтительно присовокуплены слова: Постоянная и грозная.

Доныне поклоняются ей, и подтвержденья ее святости множатся день ото дня.

КНЯЗЬ, НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ ГОСУДАРЕВЫМ ВОЙСКОМ, СПАСИТЕЛЬ ДЕРЖАВЫ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ СОВЕРШЕННОМУДРОГО

Князя из семьи Ле звали Фунг Хиеу, и был он уроженцем деревни Чистая гора (Банг-шон), что в округе Тхань-хоа (Светлые превращенья). Некоторые считают его внуком вельможи по имени Ле Динь.

Князь был высок ростом и пригож собою, с прекрасными усами и бородой. Природа наделила его отменной силой. Еще в юные годы его, когда жители Лыонг-зианга затеяли с односельчанами князя спор из-за полевых земель, кичась своей силой и удалью, Фунг Хиеу с корнем вырвал мощный бамбуковый ствол и дал волю гневу,— никто не мог тогда справиться с ним.

В «Дополнениях к истории земли Виет» сказано: в молодые годы Князь отличался великой доблестью и отвагой. Когда две деревни — Ко-би и Дам-са заспорили, где проходить меже, и ополчились друг на друга, Князь, засучив рукава, сказал людям Ко-би:

— Да Мы в одиночку одолеем хоть десять тысяч.

Деревенские старосты на радостях учинили богатый пир; Князь на пиру один опростал котел риса на тридцать едоков, выпил море вина и вышел на бранное поле. Едва нагрянула дружина Дам-са, вырвал Князь с корнем огромное дерево, закрутил над головой и точно вихорь обрушился на врага. Раненым и увечным

не было числа, поворотили люди Дам-са вспять и разбежались. Деревня их преисполнилась страхом и уступила земли деревне Ко-би.

В ту пору государь Ли Тхай То набирал в дворцовую стражу мужей, прославленных дородством и силою. Взяли туда и Князя; был он усерден, и оттого доверяли ему многие дела; государь неизменно отзывался о нем с похвалой и, повышая в чине, со временем сделал его Начальником стражи, так что Князь стал вровень с главными военачальниками — Дам Тханом, Куать Тхинь Затом и преподобным Ли Хюйеном.

После смерти государя, согласно его завещанию, на престол возведен был Тхай Тонг. Но Зык Тхань, Ву Дык и Донг Тинь, младшие сыновья Тхай То, стакнувшись, подняли мятеж, двинули войска свои из округов к столице и окружили запретный град, соревнуясь каждый вперед другого ворваться в крепостные ворота. Опасность была весьма велика. Тхай Тонг, растерявшись, не знал, как быть, и, призвав к себе Князя, сказал:

— Как Мы ни бьемся с неприятелем — все тщетно. Отныне вручаем тебе полную власть, сражайся по-своему.

Князь тотчас вывел полк государевой стражи за городские ворота и начал бой. Долгое время неясно было, кто же возьмет верх. Тогда Князь в ярости выхватил меч и бросился к воротам Всеозаряющего света, громко крича Ву Дыку:

— Бесчестные принцы! Как смеете вы посягать на Законного государя! Вы презрели волю Покойного повелителя и нарушили долг подданных! Примите же от Фунг Хиеу добрый удар мечом!

Тотчас очутился он перед конем Ву Дыка, тот не успел и рукой шевельнуть, как голова его скатилась наземь. Войска принцев обратились в бегство; государевы воины гнались за ними, покуда не выловили всех до единого; лишь принцам Донг Тиню и Зык Тханю удалось спастись.

С победною вестью Князь первым делом явился к гробнице Тхай То, а затем и во дворец Небесного первородства — доложить обо всем государю Тхай Тонгу.

— Одна лишь твоя отвага,— сказал Тхай Тонг,— спасла Наше величество и упрочила дело Покойного государя! Прежде, читая в истории Танского дома о том, как Вэйчи Цзин-дэ помог императору в беде, Мы думали, в позднейшие времена вряд ли найдутся столь верные подданные. Но ты — ты преданностью своей и отвагой превзошел самого Цзин-дэ.

Князь поклонился ему и ответил:

— Вы, ваше величество, заботами и помыслами своими обнимаете небо и землю, утверждая незыблемость рубежей. Все и вся поклоняются вам и споспешествуют. Трое принцев решились на

подлое дело, и боги и духи обратили на них гнев свой — волею Неба, а не моими усилиями замирен враг.

Государь тотчас произвел его в Главнокомандующие и пожаловал княжеским титулом — хау.

В первый год «Небесного озарения и мудрости» Тхай Тонг пошел походом на Тямпу, и Князь начальствовал передовым войском. Воинство Тямпы было разбито наголову, и молва об этой великой победе облетела подвластные нам страны. Награждая достойнейших, государь повелел отписать в личное имение Князя более тысячи мау доброй земли близ горы Банг-шон и освободил его от ежегодных податей.

Князь служил государю верой и правдой и всегда говорил ему все без утайки. Куда бы ни пришел он со своим войском, всюду одерживал победы. Умер он семидесяти семи лет от роду. После его смерти люди, охваченные скорбью, поставили ден в его честь, и все, кто шел туда с молитвой, обретали просимое.

В первый год «Многократного процветания» пожаловано было ему звание Князя, Начальствующего королевским войском, в четвертый год — к этому званию прибавлены были еще два слова: Спаситель державы; а в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» почтительно присовокуплены слова: Приближенный Совершенномудрого. В великолепном его храме по сию пору не угасают огни курений.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПРЕДАННЫЙ И МУДРЫЙ, ВЕЛИКОДУШНЫЙ ВОИТЕЛЬ

Летописи и повествования наши рассказывают, что происходил он из семьи Мук, звали его — Тхан и кормился он ловлею рыбы.

Во времена государя Ли Нян Тонга канцлер Ле Ван Тхинь держал у себя слугу, выходца из Дай-ли. Слуга был чародеем: с помощью заклинаний умел он преображаться в тигра. Ван Тхинь ублажал слугу всячески, дабы перенять его искусство, но, едва лишь постиг оное, решил немедля убить слугу, извести чародейством государя и самому воссесть на престол.

Однажды государь Нян Тонг, желая полюбоваться рыбною ловлей, отправился на прогулку по озеру Туманов. Едва государева ладья отвалила от берега, заклубились над водой облака и заволокли все вокруг, послышался плеск весел, и вдруг в густом тумане возник огромный тигр на лодке. Тигр ощерил клыки, ощетинил усы и готов был броситься на людей. Государя охватил страх.

В это время неподалеку рыбачил Мук Тхан, увидел он все и сказал:

— Нет, здесь медлить нельзя!

Метнул свою сеть, накрыл ею лодку, тигра схватили, и признали в нем Ле Ван Тхиня.

Государь разгневался, велел заковать Ван Тхиня в железные цепи и заточить в клетку, а после отправил в изгнанье на реку Омовения — Тхао.

Нян Тонг похвалил Мук Тхана, спасшего жизнь государю, и пожаловал чином до уи во дворцовой страже, а со временем назначил его помощником Главнокомандующего. Когда Мук Тхан умер, государь пожаловал ему чин Главнокомандующего, повелел воздвигнуть ден и вырезать для храма его статую.

Храм этот славится чудесами. В расщелине колонны, что стоит перед деном, обитает большой змей; в первый и пятнадцатый день месяца, во время храмовых празднеств, выползает он и ложится у основания статуи. Люди, идущие на молитву, проходят мимо него невредимы, он жалит лишь тех, кто с нечистым сердцем посмел приблизиться к храму. А едва стемнеет, змей опять уползает в расщелину.

В нынешние времена деревенский люд обновил и изукрасил храм, почитая Мук Тхана как Доброго духа-хранителя. В четвертый год «Многократного процветания» особою грамотой пожаловано было Мук Тхану звание Преданный и мудрый, а в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» к этому званию почтительно присовокупили еще два слова: Великодушный воитель.

КНЯЗЬ, ПОДАТЕЛЬ СПАСИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ ЧУДОТВОРЕЦ, В ВОЗДАЯНИЯХ НЕИЗМЕННЫЙ

Согласно преданиям, Князь был Властелином звезды Огненного Дракона.

В древние времена в деревне Киеу-хан, что в Благой земле (Хонг-тяу), жили два брата из рода Данг. Старшего звали Кюйет Минь, младшего — Тхиен Ша, оба промышляли ловлею рыбы и, что ни день, уходили на своей лодке далеко в море. Однажды увидали они среди волн нечто похожее на бревно почти в три тхыока длиною, а цветом напоминавшее птичье яйцо; извлекли братья чудо сие из воды, положили в лодку и привезли восвояси. Вдруг ночью слышат они — внутри бревна словно бы человеческая речь раздается, только все слова непонятны; испугались братья, бросили диковину обратно в море, а сами попросились скоротать ночь на

другую лодку. Оба они, утомленные, уснули крепким сном; под утро явилась им во сне некая жена и молвила:

— Не ведали вы, что творили, а потому откроем вам истину. Мы — супруга Государя драконов Южного моря, волею случая сошлись Мы с Огненным Драконом и родили от него дитя. Боялись Мы, как бы не проведал о том Государь драконов, вот и укрыли дитя в здешних водах. Бревно подле вашей лодки и есть Наше чадо.

В изумлении проснулись братья, втащили бревно в лодку и поплыли. Но едва достигли они пределов земли Ан-ки и Ан-зиан, бревно само выпрыгнуло из лодки и очутилось на пристани.

Решили братья там его и оставить. Однако для верности захотели, как водится, бросить жребий двумя монетами. Само собой, выпало им «оставить». Братья построили ден и наняли мастеров — вырезать из диковинного бревна статую. Ей стали поклоняться под именем Лаунг Куан — Царь драконов.

Прошло много лет, и однажды послан был от двора чиновник нанять искателей жемчуга. Но изо всех ныряльщиков только отпрыски рода Данг наловили много жемчужин. Удивился чиновник и тотчас приступил к ним с расспросами, а люди из рода Данг рассказали все как есть о случившемся встарь.

Придворный, вернувшись, доложил обо всем, и государь повелел устроить пышное шествие с музыкой, а впереди на носилках нести статую Духа, дабы сподобиться его помощи. Само собою, жемчуга наловили тогда великое множество, и государь тотчас пожаловал Духу звание Князя драконов, Повелителя жемчуга.

В первый год «Многократного процветания» особою грамотой пожаловано было ему звание Князя драконов, Подателя спасительной помощи; в четвертый год добавлены были к этому званию слова: Всепроникающий чудотворец, а в двадцать первый год «Возвышения и изобилия» почтительно присовокуплены слова: В воздаяниях неизменный. Храм его и доныне славится чудотворною силой.

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСИ ДИВНЫХ РЕЧЕНИЙ В САДУ СОЗЕРЦАНИЯ»

ПРЕПОДОБНЫЙ КХУОНГ ВИЕТ

Великий настоятель Кхуонг Виет (прежнее имя его Тян Лыу — «Вездесущая истина») был настоятелем пагоды Постигшего учение в деревне Кат-лой (Благодетельное добро), что в округе Тхыонг-лак. Настоятель Лыу происходил из деревни Катлой и род свой вел от императора Нго Тхуэна. Обличье преподоб-

ный имел смышленое, нрав прямой и открытый, сызмальства он изучал конфуцианскую премудрость и, лишь возмужав, стал следовать учению Будды. Вместе с другими учениками явился он в пагоду «Основанье державы» внимать поученьям настоятеля Вэн Фаунга, чье имя «Облако и ветер» означает Извечные перемены. Там преподобный перечитал все, какие ни есть, священные книги учения Будды и постиг до конца сокровенную суть Тхиена.

Сорока лет от роду стал он известен и славен по всей стране. Государь Динь Тиен Хоанг приглашал его во дворец для беседы и, проникшись восторженным почтением, тотчас пожаловал должность Главного смотрителя храмов. На второй год «Благодатного мира» государь вновь наградил его — званием Великого настоятеля Кхуонг Виета (Заступника земли Виет). Высокочтимый и уважаемый государем, преподобный участвовал неизменно во всех делах правления и войны.

Имел он обыкновенье прогуливаться на горе Духа-заступника, что в округе Бинь-ло. И, восхищенный красотой и тишиною тех мест, задумал поставить на горе пагоду.

Однажды ночью предстал ему во сне некий дух в золотом панцире. Левой рукою дух сжимал золотое копье, правой — придерживал на плече многоярусную башню, какие обычно ставят у пагод. А за ним следом шли более десяти мужей ужасающего облика.

— Мы,— сказал дух преподобному,— Небесный князь из Обители блаженных. Идущие позади — все как один — демоны ночи. Небесный государь послал Нас оберегать здешний предел неба, дабы утверждался и процветал Закон Будды. Меж тобою и Нами давние узы, вот Мы и сочли своим долгом явиться к тебе.

Преподобный проснулся в испуге, услыхал прокатившийся по горам громоподобный глас и изумился. Ранним утром отправился он в горы и увидал там огромное дерево, густая и прекрасная крона его поднималась едва ли не на десять чыонгов и была окутана купами облаков. Нанял преподобный мастеров, и они срубили дерево и высекли статую, во всем подобную духу из сновиденья, чтоб люди могли ему поклоняться.

В первый год «Небесного блаженства» сунское войско вторглось в наши пределы. И государь Ле Дай Хань, наслышанный об этом духе, отправил к нему посла с мольбою о заступничестве. Тогда сунское войско, охваченное страхом, отошло назад и укрепилось на реке Хыу-нинь. Однако нагрянул с реки вихрь, нахлынули волны, вышли из них злобные чудища и змеи, и вражьи полки разбежались.

В седьмой год «Небесного блаженства» прибыл к нам в страну посол Сунского дома по имени Нгуен Цзюе. Государь, услы-

хав, что монах До Тхуэн славится своими дарованьями, тотчас велел ему, притворясь лодочником, плыть навстречу послу, туда, где сливаются реки. Нгуен Цзюе приметил в До Тхуэне способность к поэзии и подарил ему стихотворение, где была такая строка:

«За небом другое, новое небо
сияет лучами света...» [1]

Государь дал прочитать стихи преподобному Кхуонг Виету, и тот почтительно молвил:

— Судя по этой строке, посол хотел сказать, что уважает ваше величество как своего императора.

Когда же пришло время Нгуен Цзюе возвращаться восвояси, преподобный, чтобы достойно его проводить, сложил песню «Возвращение Вана».

Вот эта песня:

Ярко горит в небесах ореол,
парус надут шелковый;
К царским чертогам блистательный муж
должен вернуться снова.
Пересечет он хребты и холмы,
моря опасные дали,
Дабы достигнуть в конце пути
центра круга земного.
Выпиты — горькой разлуки знак —
чаши вина хмельного.
Как за послом вослед из груди
рвется душа в печали!
Прошу, чтоб до царского слуха дошло
мудрое верное слово
И пограничья дела государю
ведомы стали.

Позднее преподобный, одряхлевший уже и слабый, упросил отпустить его, построил пагоду на горе Зу-ки и был в ней настоятелем.

Сошлось к нему множество учеников. Однажды Дай Бао, ближний его ученик, спросил преподобного:

— Что есть неизменность Пути и Ученья?

— Нет ничего неизменного,— отвечал он,— но превращенья совершаются в пустоте. Если постиг ты всеобщую истину, знай, суть неизменности та же.

---

[1] Стихи в этом рассказе переведены М. Ткачевым.

— Что делать, дабы оберечь ее извечную сокровенную суть? — снова спросил Дай Бао.

— Человеку,— ответствовал преподобный,— некуда здесь приложить ни дарованье свое, ни силу.

Тогда Дай Бао сказал:

— Прекрасно вас понял, святейшество.

— Что же ты понял? — переспросил преподобный.

Дай Бао возопил во весь голос.

На второй год «Небесного благополучия» дома Ли, в пятнадцатый день второго месяца, прежде чем возвестить о скором своем преставленье, преподобный прочел Дай Бао поучительный стих «ке».

Вот он:

Истинно — в плоти древесной заложен огонь искони,
Пламень угаснувший из древесины опять оживает вмиг.
Пусть утверждающий, будто бы в древе жар не сокрыт,
Древо о древо потрет и ответит: откуда огонь возник?

Дочитав до конца, преподобный уселся, скрестив ноги и положив поверх них руки — ладонь в ладонь, и угас. А лет ему было от роду пятьдесят два.

НГУЕН ЧАЙ

ИЗ «ПОСЛАНИЙ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ»

ОТВЕТ ФАН ЧЖЭНУ

Говорим тебе, злой тать Фан Чжэн: долг истинного военачальника коренится в справедливости и человеколюбии, смекалка же с доблестью служат лишь им опорой. А ты с подручниками твоими сеете всюду беззаконье и ложь, убиваете невинных, волочите людей на плаху, не ведая состраданья. Злодейства ваши неугодны земле и небу и ненавистны людям. Оттого и во всех походах своих,— вот уже год,— сколько бы ни сражались, бываете побеждены. Но вы, и не помышляя об искупленье содеянного, творите новые мерзкие бесчинства. Знайте: не успеть вам принять покаяние! Уже собрался весенний паводок, сгущаются ядовитые тучи, и веку вашему скоро конец!

А ты, презренный, в чьих руках власть над войском, колеблешься и медлишь, покуда воины твои травятся ядовитыми испареньями и мрут от болезней. Чья тут, по-твоему, вина? В наставленьях по ратному делу сказано: «Человечный воитель и малою

силой одолеет великую, справедливый — со слабым войском отразит сильное». И ты, презренный, если хочешь сразиться, выходи с войском вперед, пусть в бою решиться, кому жить, а кому умереть. Полно тебе морочить и изводить ожиданием воинов — и твоих и Наших.

ЕЩЕ ОДИН ОТВЕТ ФАН ЧЖЭНУ

Говорим тебе, злой тать Фан Чжэн: слыхали Мы, истинный военачальник справедливость и человеколюбие всегда предпочтет коварству и воинским хитростям. У тебя с подручниками твоими и хитрости-то воинской нет, откуда же взяться справедливости иль человеколюбию?

Некогда ты, презренный, написал Нам, будто бы Мы хоронимся в горных чащобах как робкая мышь, и не смеем выйти сразиться с тобой на равнине. Вот, смотри, Мы пришли сюда с войском; за крепостными валами Нге-ана (Умиротворенного правления) всюду удобное поле для битвы. Что здесь, по-твоему,— горные чащи? Или равнина? Отчего затворился ты в крепких стенах, словно старая баба? Боимся Мы, так или этак, а придется тебе с подручниками вырядиться на позорище в бабий нагрудник и повязаться платком.

ЕЩЕ ОДИН ОТВЕТ ВАН ТУНУ И ШАНЬ ШОУ

Слыхал я, говорят: «Верность слову — великая ценность для всякого государства. Как людям без доверия вершить дела?» Давно ль, господа, прислали ко мне вы письмо и посланца с просьбой о замиренье? Ведь я им поверил всецело. Но что я вижу сегодня: в крепости вашей копают по-прежнему рвы и волчьи ямы, насыпают валы, ставят частоколы, крушат древности, расплавляя их на огнеметные трубы и прочее оружие. Спрашивается, господа, вправду ли вы намерены увести войска восвояси? Или хотите удерживать крепость до последнего? Мне этого не понять.

Разве не сказано в книге «Описанья»: «Без честности ничего не возможно»? Иными словами, когда душа неправдива, всякое начинанье оборачивается обманом. И если вы, господа, не задумали втайне отречься от прежних своих обещаний, пусть это ясно докажут ваши деянья. Желаете отвести войска — отводите войска, надумали обороняться — обороняйтесь. Зачем, разглагольствуя о мире, таить в глубине столь несхожие замыслы? Пускай грядущее у вас не противоречит былому и видимость не расходится с сутью.

Простолюдины, хоть и невежественны, весьма смекалисты и разумны. Сам я, конечно, недалек и знаньями скуден. Но ведь го-

ворил Конфуций: «Наблюдая чьи-то деяния, вникай в побужденья его, подмечай, доволен ли он содеянным»,— тут все движенья души человечьей — правдивы ль они или ложны — никак не сокрыть.

В послании этом я не все еще высказал до конца.

ПОСЛАНЬЕ ЧИНОВНЫМ МУЖАМ В КРЕПОСТЬ ДИЕУ-ЗИЕУ

Древние говорили: «Ворон, куда б ни летал, возвращается на старое место; лис перед смертью поворачивается мордой к горам». Если дикая тварь постоянна, каков должен быть человек? А ведь вы все до единого уроженцы земли Тэй-виет, отпрыски чиновных родов, взысканные умом и познаньями.

Прежде, когда семейство Хо отринуло долг и стыд и полчища Нго творили насилия и беззаконья, одних из вас силою удержали при вражьем дворе, другим навязали должности и званья; зло это было неизбежно и случилось помимо вашей воли. Ныне Верховный владыка, видя страданья народа, избрал Нас ревнителем высшей воли, сделал Нас Канцлером и Наставником державы, Воплощающим предначертания Неба, дабы спасти людей, покарать злодеев и возродить государство. Повсюду, куда б ни пришло Наше войско, возносится глас справедливости, народ со всех сторон поспешает туда, и матери несут за спиною малых детей — чтобы идти следом за Нами.

А вы, если в ваших силах переменить и очистить от скверны душу, отриньте измену, примкните к правому делу. Вредите врагу изнутри, сдавайтесь Нам в плен,— и вы не только смоете прежний позор, но дадите Нам повод навечно запомнить ваши заслуги. А Мы никогда не берем назад своих обещаний.

Если же вы, цепляясь за вражеские должности и звания, станете и впредь противиться войскам государя, вина ваша — после падения крепости — будет намного тяжелей, чем провинность захватчиков Нго.

ПОСЛАНЬЕ В КРЕПОСТЬ ТРОЕРЕЧЬЯ—ТАМ-ЗИАНГ

Военачальникам, служилым людям и воинам в крепости Тамзианг это письмо:

«Важное достоинство просвещенного мужа — умение предугадать перемены, понять их и беспристрастно судить свои собственные поступки.

Пожелай кто-нибудь сегодня птичьим яйцом расколоть высокую гору Тайшань или клешней богомола остановить колесницу, его бы, само собою, сочли безумцем! А вы, вы, с сотней-другою воинов собравшиеся оборонять от Нас одинокую как перст крепость,— не таковы ли? Стены ваши не так высоки, как в Нге-ане, провианта у вас запасено поменьше, чем в Зиеп-тяу (Распростертой округе), храбрые воины не столь многочисленны, как в этих двух крепостях, и чином никто из вас не ровня Военному наместнику императора. Но ведь охрана в Нге-ане, Зиеп-тяу и прочих семи крепостях сама отворила пред Нами ворота и сдалась в плен.

А недавно под деревом боде сам Военный наместник расписал сроки возвращенья своих войск на Север, в столицу. Ни воинам, ни семьям их, ни имуществу не причинят никакого ущерба. Зачем вам одним упорствовать в заблуждениях? Отчего не печетесь о будущем? Одумайтесь, покуда еще не поздно!

Нет среди наших военачальников ни одного, который не рвался б с оружьем в руках разрушить стены. Но Мы — Нам жаль неповинных людей, обманом согнанных в крепость: ведь, едва загрохочут военные барабаны, некогда будет уже различать, где какие каменья и яшмы,— все они рассыплются в прах.

Оттого и написали Мы эти строки, обращаясь к мужам разумным».

ПОСЛАНЬЕ ВАН ТУНУ

Одним-единым столбом не подпереть готовое рухнуть здание, горстью земли не укрепить подмытую плотину. Тот, кто, не соразмерив сил, слепо прет напролом, редко уходит от поражения.

Нет, не стоит говорить о прошлом. Обратимся к нынешним событиям, о них пойдет речь. Единственной надеждой для вас всех был приход подкрепленья. Да и на что еще вы могли уповать? И вот в первом месяце года ваш императорский двор повелел Аньюаньскому князю с сиятельным властителем Баодина, главнокомандующим Цуем, полномочным главою ведомства Хуаном, советником Ли и чиновником из здешнего люда Нгуен Хуэном двинуть на нас полки. Двор обещал: в четвертом месяце подкрепленье прибудет в Зиао-ти.

Месяц спустя ваши полки прошли пограничные ворота. Наше войско заманило их к укрепленью Ти-ланг (Рубежный холм) и во втором месяце наголову разгромило передовой отряд; вся ваша конница была перебита, Аньюаньский князь пал в бою. На двадцать пятый день второго месяца войско наше снова дало сражение и разбило ваши главные силы, сиятельный властитель Баодина погиб, воины его, разбежавшиеся по лесу, выловлены все до единого.

Случилось такое помимо Нашей воли, войском распорядились военачальники на границе, и самоуправство их весьма отягчило Нашу пред вами вину. Сами Вы, господин, справедливый военачальник. Вступив в Зиао-ти, опирались Вы на силу оружия, сочетая ее с разумными деяньями. Помню, как некогда, прочитав Ваше письмо ко двору о реставрации дома Чан, прониклись Мы благодарностью, которую не хотели бы ничем омрачить.

Сегодня, когда в Наших руках мощь всего государства, Мы могли б без труда взять приступом малую крепость Донг-куан (Восточную твердыню); но не делаем этого в память о прежнем Вашем великодушии, а равно — следуя отношеньям, принятым между малой страной и великой державой. Ежели Вы, господин, и впрямь намерены отозвать воинов, снять панцирь, открыть крепостные ворота и выполнить давние обещанья, можете уводить восвояси полки, препонов на Вашем пути не встретится. Полно кичиться силой, как бывало при династиях Хань или Тан. Что пользы бряцать оружием и алкать бесконечных подвигов! Не лучше ль, подобно Тану и У, возродить погибшее государство и продолжить прервавшееся царствованье? Это ли не прекрасное и возвышенное деянье?

Но, если Вы и впредь будете медлить и колебаться, Мы опасаемся, как бы воины Наши и военачальники, истомясь долгой службой и тоскуя по привычным трудам пахарей и садовщиков, не ринулись самочинно на приступ. С ними тогда не совладать, и Мы окажемся, увы, бессильны. А это бы снова отягчило Нашу вину.

Почтительно ожидаем от Вас ответа.

ВУ КУИНЬ, КИЕУ ФУ

ИЗ КНИГИ «ДИВНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ ЗЕМЛИ ЛИНЬ-НАМ»

РАССКАЗ О ДУХЕ ДЕРЕВНИ ФУ-ДОНГ

Шестой государь наш из дома Хунг, уповая на мощь и богатство своей державы, перестал исправно посылать дань Северу. И тогда Иньский император, пользуясь этим предлогом, двинул на нас войска. Государь Хунг, узнав об этом, собрал своих вельмож — подумать сообща, как бы им отразить напасть. Один мудрец и прорицатель почтительно предложил:

— А отчего бы не вознести молитву Царю драконов Лаунг Куану, чтобы привел на помощь воинство духов?

Государь внял его словам и без промедления распорядился поставить алтарь в честь Царя драконов. Он возложил на него золото, серебро, камку и тончайший шелк и три дня кряду постился, куря благовония и читая молитвы.

Вдруг налетел вихорь с дождем, и все увидели старца с огромным чревом и желтым лицом, с белыми бровями и бородой, ростом более девяти тхыоков; восседал старец у скрещения трех дорог и что-то бормотал, посмеиваясь, напевал и раскачивался. Едва завидев его, люди поняли,— он не из смертного рода, и тотчас доложили о нем государю. Государь вышел к нему самолично и поклонился, сложив на груди ладони, а потом усадили старца в паланкин и доставили в храм.

Старец отказался от яств и питий и хранил молчание. Тогда государь спросил его:

— Слыхали Мы, полчища Севера скоро нагрянут сюда. Вы ведь мудры и учены, скажите, одержим Мы верх или будем разбиты?

Старец, помолчав, извлек гадальные таблы, глянул на них и возвестил:

— Полчища Севера будут здесь через три года: готовьте оружие и доспехи, учите воинов, пусть будут готовы отстоять свою землю. И непременно отыщите мужа, наделенного талантом и доблестями. Тому, кто отразит неприятеля, жалуйте звания и земли, славьте его в веках. Найдется искусный военачальник — и враг будет замирен.

Умолкнув, старец взлетел в небеса и исчез; тут лишь и стало ясно: это был сам Лаунг Куан.

Через три года стражи границ донесли о приближении иньского войска. Государь, памятуя советы старца, отправил во все концы страны послов на поиски могучего воина. Прибыл посол и в деревню Фу-донг (Спасительная помощь), что в уезде Чудотворных хождений — Тиен-зу. Проживал там богатый старик, лет шестидесяти от роду, и был у него сын, родившийся в седьмой день первого месяца. Отрок в три года лишен был еще дара речи, только и знал, что лежать на спине, не умея ни встать, ни сесть. Узнав о приезде посла, мать посетовала:

— Родила я на свет сына, а он лишь умеет есть да спать. Увы, не ему суждено прославиться на поле брани, не его государь взыщет своею милостью, а значит, и мне нечего ждать воздаяния за все труды и заботы.

Услыхал сын ее слова и вдруг сказал:

— Матушка, пригласите сюда посла.

Изумленная, рассказала она обо всем соседям.

Соседи обрадовались и тотчас призвали посла.

— Эй, чадо, едва отверзшее уста, зачем ты звал Нас? — спросил посол.

Отрок встал и не спеша ответил:

— Торопись, доложи государю: пусть скуют железного коня в восемнадцать тхыоков ростом, железный меч в семь тхыоков длиною, железную плеть и железный нон. Мы сядем на коня, наденем нон и выступим в бой,— само собою, враг будет разбит наголову. О чем государю еще беспокоиться?

Посол, возликовав, поспешил назад и доложил обо всем государю. Государь, изумленный и обрадованный, воскликнул:

— Теперь нам не о чем тревожиться!

— Но под силу ли одному-единому человеку разбить целое войско? — усомнились вельможи.

— Слова Лаунг Куана не могут быть обманом! — гневно вскричал государь.— Полно вам сомневаться! Ступайте-ка да поскорей раздобудьте пятьдесят канов железа, пусть скуют из него коня, меч с плетью и нон.

И вот государев посол доставил все, что запрашивал отрок. Мать, опасаясь беды, поспешила к сыну. Но сын засмеялся и сказал:

— Вы, матушка, лучше позаботьтесь, чтоб у меня было вдоволь еды и питья, а уж о том, как одолеть врага, не тревожьтесь.

Сын рос не по дням, а по часам, ел он и пил столько, что матери было не под силу его пропитать. Соседи пригоняли ему быков, несли плоды, пироги, напитки, а он все не мог насытиться. Соткано было видимо-невидимо шелка и пестроцветной парчи, но на платье ему все равно не хватало. Пришлось нарезать перистых цветов тростника, чтобы он мог прикрыть свою наготу.

Едва иньское войско достигло подножья Буйволовой горы — Чэу-шон, что в Ву-ине, отрок встал, распрямился во весь рост, а было в нем более десяти тхыоков (иные говорят, даже не тхыоков, а чыонгов), чихнул грому подобно — громче десяти глоток разом, и, выхватив меч, воскликнул:

— Эй, трепещите, пред вами небесный воитель!

Нахлобучил нон и прыгнул в седло. Конь взвился на дыбы, громко заржал и помчался, словно на крыльях. В мгновение ока богатырь обогнал изготовившуюся к бою государеву рать и поскакал впереди, размахивая мечом. Еще миг, и он со всею мощью обрушился на врагов. Враги побежали вспять, одни рушились замертво, другие, уцелев, падали ниц и кланялись небесному полководцу, моля о пощаде. Иньский император погиб в сражении.

Достигнув горы Шаук-шон — «Северной горы», что в уезде Золотых цветов (Ким-хоа), небесный воитель сбросил одежды и уле-

тел на своем коне в небеса. Случилось это в девятый день четвертого месяца, и по сию пору на скалах хранятся его следы.

В благодарность за великий подвиг государь Хунг велел величать богатыря Благородным князем духов из Фу-донга, поставил в деревне, близ старого его дома, поминальный храм — миеу и пожаловал храму тысячу мау доброй земли. С утра и до вечера горят там огни курений. После этого Иньский дом на шестьсот сорок четыре года закаялся ходить против нас войной.

Позднее государь Ли Тхай То пожаловал воителя званием Вознесшегося на небеса Великого князя духов, поставил храм в деревне Фу-донг подле пагоды Изначального постижения и приказал изваять статую на горе Духа-заступника (Ве-линь); весною и осенью — дважды — в тех храмах возлагались дары и совершались празднества.

При государе Тхуан Де из дома Ле проживала в деревне Фу-ло девица по имени Нго Ти Лан: жадная до книжной премудрости и искушенная в стихотворчестве, она во множестве слагала прекрасные стихи. Совершив как-то прогулку на гору Ве-линь, сложила она такое четверостишие:

«Молодая листва на вершине Ве-линь
 тонет в белых волнах облаков:
Склон окутан в лиловый и розовый цвет:
 сотни тысяч горят лепестков.
В поднебесье железный скакун улетел,
 но прославлен скрижалью седок,
И останется он на родимой земле
 навсегда, до скончанья веков».

РАССКАЗ ПРО ТОПЬ, ВОЗНИКШУЮ В ОДНУ-ЕДИНУЮ НОЧЬ

Третий наш государь из дома Хунг родил дочь по имени Тиен Зунг Ми Ныонг — «Красотой равная феям». Когда исполнилось ей восемнадцать лет, красота ее стала несравненной; но, не стремясь к замужеству, она только и знала, что веселиться да странствовать в поисках развлечений; государь же ни в чем ей не препятствовал. Из года в год во втором и третьем месяце имела она обыкновение странствовать по морю и за многими утехами забывала вернуться в срок.

Жил тогда в деревне Тьы-са, на берегу большой реки, человек по имени Тьы Ви Ван с сыном, которого звали Тьы Донг Ты (От-

рок с прибрежья). Отец был великодушен и добр, сын — почтителен и предан, но, увы, пожар погубил все их добро, осталась лишь одна — на двоих — набедренная повязка, которой они — всяк в свой черед — прикрывали свою наготу. Вскоре отец занемог и наказал сыну:

— Когда я умру, схорони меня голым, а повязку оставь себе.

Но сын не посмел исполнить волю отца и похоронил его с повязкой. Сам он остался нагишом. Голодный и продрогший, стоял он на берегу реки, а завидев купеческие ладьи, входил в воду и просил подаяния; иногда он кормился рыбною ловлей.

Вдруг нежданно-негаданно показалась проворная ладья Тиен Зунг, на ней звучала изысканная музыка гонгов и барабанов и толпилась тьма-тьмущая придворных и слуг. Донг Ты затрепетал от страха. Из прибрежных песков торчали лишь чахлые тростники да два или три деревца; вырыл Донг Ты под ним яму, улегся в нее и забросал себя сверху песком.

А ладья причалила к берегу, и Тиен Зунг решила выйти и прогуляться. Потом велела она завесить тростники со всех сторон полотнищами, вошла за завесы, сбросила одежды и начала купаться. Но тут вода смыла песок, и принцесса увидела Донг Ты. Тиен Зунг изумилась, испугалась, но затем разглядела юношу и сказала:

— Мы вовсе не думали о замужестве! Но вот Мы встретили тебя, и оба здесь без одежды, нагие. Конечно, это — знамение свыше. Встань, умойся. Мы жалуем тебе платье и приглашаем к себе на ладью. Будем пировать и веселиться.

И свита ее согласилась: столь благоприятных и дивных совпадений еще не бывало.

— Нет,— вскричал Донг Ты,— я не осмелюсь!

Тиен Зунг стала сетовать и уговаривать его жениться. Но он отпирался и так и этак, и она сказала:

— Ведь это Небо соединило нас, чего ж ты противишься?

Приближенные ее тотчас доложили обо всем государю. И государь Хунг сказал:

— Тиен Зунг не соблюла долга и чести; разгуливала где придется и, позабыв о Нашем богатстве, сошлась с худородным и нищим. Как же она посмеет теперь взглянуть Нам в лицо?

Узнав об этом, Тиен Зунг испугалась и не решилась вернуться восвояси. Заложили они с Донг Ты пристань, построили торговые ряды и вместе с тамошним людом открыли торговлю. Со временем торжище это сделалось знаменитым, и богатые гости из чужедальных стран приплывали туда торговать. А Тиен Зунг и Донг Ты все поклонялись, как законным властителям.

Однажды некий богатый гость сказал им:

— Высокородные! Отчего вам не отправиться за море за дорогим товаром? Через год каждая мера золота обернется десятью.

Тиен Зунг обрадовалась и сказала Донг Ты:

— Нас ведь соединило Небо, пропитание и одежда нам тоже дарованы свыше. Давай соберем золота, и поезжай вместе с купцами за море — торговать.

Есть посреди моря гора Красная яшма; стоит на той горе малая пагода, а подле нее причаливают к берегу купцы-корабельщики за питьевой водой. Пошел Донг Ты прогуляться к храму и повстречал молодого монаха по прозванью Нгыонг Куанг — «Пресветлая чистота». Монах приобщил Донг Ты к дивным таинствам. И Донг Ты вручил купцам деньги, чтоб закупили ему товар, а сам остался постигать учение. На возвратном пути причалили купцы к храму и увезли Донг Ты восвояси. Преподобный подарил ему на прощание посох и нон и сказал:

— В этих вещах заключена чудотворная сила.

Вернулся Донг Ты и стал проповедовать учение Будды. Тиен Зунг тотчас прозрела; бросили они свой дом и торговые лавки, покинули все дела и отправились на поиски наставника истинного пути.

Однажды на долгой дороге застала их ночь вдали от жилья, и они остановились передохнуть, опершись вдвоем на посох и покрывшись ноном. Вдруг в пору третьей стражи возникли пред ними крепостные валы и стены, хоромы из нефрита, золотые дворцы, башни и храмы, дома для чиновников, сокровищницы с кладовыми. Повсюду серебро, злато, дорогие каменья, прекрасные ложа под пологами застланы яркими покрывалами, кругом теснятся услужающие отроки и девицы, военачальники, стража — глазом всего не охватишь.

Наутро окрестный люд, завидя диковинный город, изумился, понес дары — благовонья с цветами и рис, прося принять их в подданство. Вельможи с военачальниками, поделив между собою чины и воинов, основали новое государство.

Узнав об этом, государь Хунг решил, будто дочь его учинила мятеж, и тотчас послал против нее войско. Военачальники стали просить у Тиен Зунг дозволения выйти с войсками и заступить неприятелю путь. Но она отвечала с улыбкой:

— Этого Мы не сделаем. Пусть Небо рассудит нас, в животе и смерти оно лишь и властно. Как можно поднять оружие против отца? Нет уж, будем уповать на высшую справедливость, если придется даже класть головы под меч.

Тут недавно пришедших в город людей обуял страх, и они разбежались кто куда; остались лишь исконные жители. А государево войско подошло совсем близко и, не успев засветло с пере-

правою, стало лагерем в округе Ты-ниен (Сотворение сущего) на другом берегу реки. Вдруг в полночь нагрянула буря, вздымая песок, вырывая с корнем деревья; войско обуяли смущение и страх. А Тиен Зунг вместе с приближенными своими и подданными, с дворцами и крепостными стенами в мгновение ока вознеслась на небеса. Земля же в том месте осела, и возникла огромная топь. Со временем люди поставили здесь храм и круглый год служат молебны. Огромную топь назвали Нят-за-чать — «Топью единой ночи небесного вознесения», ближнюю отмель нарекли отмелью Излившихся вод, а торжище — торгами Недреманного ока или Ночным базаром.

Много лет спустя У-ди, император из дома Лян, послал Чэнь Ба-сяня с войском, дабы завоевать Юг. Государь наш Ли Нам Де поставил Чиеу Куанг Фука главнокомандующим и велел заступить путь врагу. Куанг Фук укрыл своих воинов посреди болот Нят-за-чать. Топь была обширна и глубока; вражеские отряды, увязая в трясине, двигались с немалым трудом, между тем Куанг Фук, посадив своих воинов на лодки-однодревки, захватывал врага врасплох, отбивал припасы и долгим противодействием истомил его вконец. Прошло три, а то и четыре года, но Ба-сяню так и не удалось встретиться с Куанг Фуком в открытом бою.

— О, горе! — воскликнул Ба-сянь.— Топь единой ночи небесного вознесения назовут ныне «Топью единой ночи людской погибели».

Когда начался мятеж Хоу Цзина, лянский император отозвал Ба-сяня, возложив начальствование на помощника его Ян Чаня, весьма искусного полководца. Куанг Фук стал поститься, воздвиг посреди топи алтарь, жег благовония и молился. Вдруг явился ему Донг Ты верхом на драконе, спустился к алтарю и сказал:

— Отсюда Мы вознеслись на небо, и дивное величие Наше доныне осеняет здешнюю землю. Знаем, ты молился всем сердцем, и потому Мы явились помочь тебе замирить захватчиков.

Умолкнув, вырвал он коготь у дракона и наказал Куанг Фуку:

— Возьми его и укрепи на боевом шлеме. Он погубит врага.

Потом взлетел в небеса и исчез.

Куанг Фук, получив коготь, издал ликующий клич, поднял воинов и тотчас обрушился на неприятеля. Лянское войско было разбито наголову. Ян Чань был обезглавлен на поле брани, и лянским захватчикам пришлось отступить.

Узнав о кончине государя Нам Де, Куанг Фук объявил себя государем под именем Чиеу Виет Выонг и выстроил город близ Буйволовой горы, что в уезде Ву-нинь.

В древние времена у государя был сын необычайной силы и огромного роста. Отец дал ему имя Као, что означает «Высокий», и стало оно его родовым именем. Као родил двоих сыновей, похожих один на другого, словно две капли воды; старшего нарекли Тэн, младшего — Ланг.

Когда одному исполнилось восемнадцать лет, а другому семнадцать, родители их умерли, и братья поступили в ученье к даосу Лыу Хюйену.

А в доме сородичей Лыу была дочь лет семнадцати или восемнадцати по имени Лиен. Приглянулась она братьям, и оба решили на ней жениться. Девица же, не зная, кто из них старше, подала им миску похлебки и одну пару палочек на двоих. Младший, понятно, уступил палочки старшему, чтобы тот поел первым. Тут девица пришла к родителям и попросила выдать ее за Тэна, старшего брата.

После женитьбы Тэн не мог, как бывало, проводить все время с братом и стал с ним вроде менее ласков. Ланг сокрушался, решив, будто из-за жены Тэн и думать о нем забыл, и, не простившись, не сказав никому ни слова, ушел из дому и отправился восвояси. Но посреди леса встретилась ему глубокая быстрая речка; лодки для переправы он не нашел, зарыдал с горя и умер, обернувшись деревом подле речного устья.

Старший брат хватился младшего, не нашел его и отправился на поиски. Прибрел он к речке, рухнул наземь у того самого дерева и умер, оборотившись камнем, прильнувшим к древесным корням.

Жена пошла искать мужа, дошла до того места, упала на землю, обвила камень руками и умерла, сделавшись ползучим растением с горько пахнущею листвой. Побеги его оплели и дерево и камень.

Отец ее с матерью бросились искать свое дитя, пришли туда и, безмерно скорбя, поставили поминальный храм — миеу, потом воротились домой. Ночью явились им во сне оба брата, поклонились, сложив на груди ладони, и сказали:

— Свято берегли мы братские узы. Переступив их, мы не смогли жить долее, а из-за нас погибла и ваша дочь. Но вы не призвали на нас кару, да еще и построили храм в память о нас.

Потом заговорила их дочь:

— Вы родили меня, растили и пестовали, а я ничем не воздала вам за великие ваши заботы. А недавно, забыв обо всем, кроме

супружеских уз, исполнила я до конца долг жены, но нарушила, увы, дочерний долг. Смею ли умолять о прощении?

— Ах, дети,— отвечали сородичи Лыу,— вы соблюли братскую верность и супружеский долг. За что ж нам на вас гневаться? Бытие и небытие двуедины,— продолжали они,— не лучше ли поскорей отойти в вечность и не терзаться попусту печалью и горем!

Тамошний люд воздавая хвалу преданным братьям и верным супругам, приносил в миеу дары и возжигал курения.

Однажды,— случилось это в седьмом или восьмом месяце, когда еще не спала жара,— государь наш Хунг объезжал свои владения и остановился на отдых в прохладной тени у храма. Увидел он дерево с густою кроной и опутавшие его ползучие побеги, сорвал плод дерева и лист с лианы, положил их в рот, разжевал и сплюнул слюну на камень. Послышался приятный запах, и на камне проступило красное пятно. Тотчас государь Хунг велел обжечь этот камень, взял известь и стал жевать ее вместе с плодом дерева и листом лианы. Он ощутил сладостный вкус и благоуханный запах; губы его заалели, на щеках показался румянец. Государь Хунг понял: всему этому нет цены, и захватил с собою листья, плоды и известь.

Дерево это, растущее повсюду, именуется ареком, есть везде и ползучее растение — бетель, и камень-известняк. С тех пор у нас, в стране Юга, всякий раз, когда сходятся гости на свадьбу или иной великий или малый праздник, перво-наперво подаются плоды арека, завернутые вместе с известью в листья бетеля.

Вот откуда взялось дерево арек.

РАССКАЗ О НОВОГОДНИХ ПИРОГАХ

После того как государь наш Хунг разгромил иньские орды и держава его обрела покой и благоденствие, решил он уступить престол одному из своих детей. Немедля созвал государь всех принцев и принцесс, а было их два десятка и еще двое, и объявил о своем решении.

— В скором времени Мы сложим с себя власть, но достанется Наш престол тому только, кто поднесет Нам в конце года наилучшие и вкуснейшие яства, чтоб, возложив их на алтари почивших государей, могли Мы исполнить долг почитания предков.

И государевы дети бросились тотчас на поиски всего самого лакомого и самого диковинного: плодов земли, порождений моря — всего и не перечесть. Один лишь восемнадцатый сын его по имени Ланг Лиеу, чья мать, давно покинутая государем, умерла в оди-

ночестве, не знал покоя ни днем, ни ночью. Ведь мало кто из придворных помогал ему даже советом. Но однажды явился ему во сне дух и сказал:

— Среди всего сущего па земле и в небе, среди драгоценнейших сокровищ людских ничто не сравнится с рисом. Рис насыщает людей, дает им здоровье и силу и никогда не приедается. Вот и возьми клейкого риса да приготовь из него пироги; одни сделай круглыми, как небо, другие — четырехугольными, как земля. А начинка их пусть напомнит вкусом своим о великих трудах родителей, зачинающих и пестующих потомство свое. Оберни пироги листьями и поднеси государю.

Ланг Лиеу проснулся и радостно воскликнул:

— Наконец-то помог мне всесильный дух!

И тотчас принялся за дело: нашел клейкий рис отменной белизны, выбрал округлые и неповрежденные зерна, тщательно промыл, слепил из них четырехугольный пирог с чудесной начинкой, означающий землю и все живое, и, обернув листьями, парил его до тех пор, пока он не поспел. Этот пирог назвали «бань тинг». Потом он взял клейкий рис, сварил его на пару, размял и вылепил круглый пирог, означающий небо. Пирог этот нарекли «бань зай».

В положенный срок государь пригласил детей своих представить заготовленные яства, оглядел все и видит: тут ничего не забыто — налицо все привычные лакомства и наилучшие кушанья. Один Ланг Лиеу принес неведомые пироги — бань тинг и бань зай. Изумленный государь приступил к нему с расспросами, и сын рассказал свой сон. Государь Хунг отведал пирогов и нашел их великолепными и куда более вкусными, чем яства, приготовленные прочими детьми. Он причмокивал языком, нахваливая угощение, и признал победителем Ланг Лиеу.

С тех пор, едва наступал Тет — Лунный новый год, государь, поминая своих родителей, возлагал на жертвенный алтарь пироги Ланг Лиеу. Примеру его последовали и подданные, а со временем, по причине сходного начертания письмен и созвучности слов, имя Ланг Лиеу превратилось в Тиетлиеу, что означает: «Праздничные кушанья».

Государь тотчас уступил Лиеу престол, а братьев и сестер его поставил правителями в разных землях державы.

Впоследствии началась между ними свара, военачальники их повадились нападать друг на друга, и люди, желая обезопасить себя, стали обносить дома частоколами. Так возникли горные селения, деревни в долинах и городища.

Государь Ан Зыонг, повелитель Ау-лака, происходил из земли Ба-тхук, из рода Тхук, и звали его Фан. Дед его сватался некогда к Ми Ныонг, дочери государя Хунг, но государь отказал ему, и дед воспылал злобой и жаждой мести. Фан, желая исполнить волю предка, пошел на государя Хунг войной, разбил его, уничтожил государство Ван-ланг и название тех земель сменил на Ау-лак. Потом он стал государем под именем Ан Зыонга и заложил крепость в округе Виет-тхыонг (Долговечная Виет). Но едва начинали класть стены, как они тотчас рушились наземь. Возвел тогда он алтарь, начал поститься и возносить молитвы духам и божествам.

Седьмого числа третьего месяца явился с востока некий старец, подошел к крепостным воротам и с досадой промолвил:

— Когда же наконец соорудят эти стены!

Государь пригласил старца во дворец, воздал ему почести и спросил:

— Не раз и не два возводили Мы эту стену, но всякий раз она рушилась вровень с землей. Сколько великих усилий положено понапрасну — отчего это?

— Ждите посланца вод Чистой реки,— отвечал старец,— с его помощью вы, государь, счастливо завершите строительство.

Умолкнув, старец поклонился и ушел.

На другой день государь вышел к Восточным воротам и стал ждать; вдруг показалась с востока Золотая черепаха, поднялась над волнами и ясным человеческим голосом назвалась посланцем вод Чистой реки, постигшим дела небесные и земные, тайны жизни и смерти, деяния духов и демонов.

Король, обрадованный, воскликнул:

— Именно это и предрек Нам старец.

Тотчас послал он за золотым подносом, и на нем отнесли черепаху в город. Государь пригласил ее сесть подле трона и спросил, отчего невозможно построить крепость.

— Зловредные начала — в недрах горы Виет-тхыонг,— ответила Золотая черепаха.— Это дух некоего принца, сына властителя давней династии, он мстит за былой позор своей державы. Помехой здесь и белый петух. Прожив на свете тысячу лет, он стал оборотнем и укрывается ныне в горе Тхат-зиеу, что значит: «гора Небесных светил». В той же горе обитает призрак — душа погребенного в ней музыканта, игравшего при дворе в древние времена. Рядом с могилой есть постоялый двор. Владелец его — Нго Кхонг. Живут у него в дому дочь-девица и упомянутый белый петух, оба — бесовское отродье. Всякий раз, когда путники остаются

там на ночлег, нечистая сила воплощается в десять тысяч существ, принимает десять тысяч обличий, чтобы их извести. Великое множество людей уморили они. А недавно белый петух взял в жены хозяйскую дочь. Убейте белого петуха, и оборотни сгинут. Но сущность их не исчезнет, а сольется в сгусток холодного мрака и станет бесом, бес обернется совою, сова взлетит на сандаловое дерево, а в клюве у нее будет письмо к Повелителю Неба с просьбой разрушить крепость дотла. Тут я ее, с вашего соизволения, укушу, письмо упадет, а вы, государь, тотчас его подберите. Лишь после этого можно будет построить крепость.

Золотая черепаха научила государя притвориться путником, ищущим на постоялом дворе ночлега, а ее попросила взять с собою и оставить в доме у дверей.

— По ночам у нас нечистая сила губит людей,— сказал государю Нго Кхонг.— Да и небо сегодня хмурится. Прошу вас, господин, уходите, вам тут нельзя оставаться.

Государь усмехнулся и ответил:

— Жизнь и смерть подвластны одной лишь судьбе, оборотни перед нею бессильны, и Нам они не страшны.

Сказал и остался там ночевать. Поздней ночью явился оборотень и закричал:

— Это кто еще здесь такой?! Почему не спешит отворить Нам дверь?!

— А если дверь останется на запоре, что можешь ты сделать, презренный? — воскликнула Золотая черепаха.

Тут нечистая сила стала принимать сотни обличий, превращаться в тысячи разных существ, прибегала к десяти тысячам уловок, но не сумела проникнуть в дом.

Едва петухи возвестили рассвет, оборотень бросился наутек. А Золотая черепаха вместе с государем устремилась за ним в погоню, но у самой горы Небесных светил оборотень исчез. И государь тотчас вернулся на постоялый двор.

Утром хозяин послал людей прибрать труп ночлежника и схоронить его, но оказалось, гость цел и невредим, да еще улыбается как ни в чем не бывало. Бросился к нему хозяин, упал на колени и сказал:

— Вижу я, господин, вы — святой, иначе бы вам не уцелеть. Сжальтесь, дайте нам небесное снадобье, чтоб люди спасались от нечисти.

— Убей белого петуха, принеси его в жертву духам, и нечисть исчезнет,— отвечал государь.

Нго Кхонг внял его совету, зарезал петуха, тут хозяйская дочь вдруг поворотилась и испустила дух. Государь тотчас послал раскопать землю на горе Небесных светил, люди нашли там древнюю

музыкальную утварь и человечий костяк, сожгли все, а пепел сбросили в реку.

Едва стемнело, государь с Золотой черепахой взобрались на гору Вiет-тхыонг. Нечистая сила тем временем превратилась в шестилапую сову, сова взлетела на сандаловое дерево с письмом в клюве. Тут Золотая черепаха обернулась черной мышью, подкралась к сове и укусила ее за лапу. Письмо упало на землю, а государь тотчас схватил его и разорвал в клочья. Так победили нечистую силу.

Спустя полмесяца крепость была построена. Ширина ее составляла более тысячи чыонгов; стены поднимались кверху уступ за уступом, как завитки раковины, оттого и нарекли ее Лоатхань — «Крепость-улитка»; называли ее также крепость Ты-лаунг, то есть «Воспоминание о драконе», а во времена Танской династии из-за огромной ее высоты крепость прозвали Куньлуньской, ибо Куньлунь — высочайшая гора.

Золотая черепаха прогостила у Ан Зыонга три года, затем распрощалась со всеми и воротилась восвояси. Прощаясь с нею, благодарный государь сказал:

— Лишь с вашею помощью возведены эти стены. Но если нагрянет враг, чем Мы его отразим?

— Судьбы царств, величие их и паденье, покой и вражья напасть — все предопределено Небом,— ответила Золотая черепаха,— государь же, если он добродетелен, способен продлить счастливый жребий державы. Но могу ли я отказать вам в вашей просьбе?

Выдернула она свой коготь и протянула его государю:

— Вот, возьмите мой коготь и прикажите выточить из него спусковой крючок к самострелу. Вы лишь прицельтесь в неприятеля и стреляйте, о прочем же не тревожьтесь.

Умолкла и возвратилась в Восточное море.

Государь велел Као Ло изготовить самострел и сделать к нему спусковой крючок из черепашьего когтя. Назвали его «Чудотворное оружье божественной Золотой черепахи».

Прошло время, и князь из рода Чжао, по имени Та, вторгся в южные земли и начал войну с государем. Взял государь Чудесный самострел, выстрелил, и полчища Чжао Та были разбиты наголову; побежали они к Буйволовой горе, думая там укрепиться и отразить государево войско. Но Чжао Та, узнав о чудесном самостреле, не смел больше биться с государем и тотчас запросил мира. На радостях государь рассудил так: земли к северу от Малой реки отойдут к Чжао Та, а те, что к югу, останутся под его рукой.

Вскоре Чжао Та послал к Ан-Зыонгу сватов. Государь, не ведая ни о чем, отдал дочь свою по имени Ми Тяу — «Прекрасная жемчужина», за сына Чжао Та — Чжун-ши. Однажды Чжун-ши

подговорил Ми Тяу тайком показать ему Чудесный самострел, вырезал украдкой другой спусковой крючок, подменил им коготь Золотой черепахи и объявил жене, что едет на Север: настало-де время ему проведать отца.

— Узы супружества нерасторжимы, но нерушим и сыновний долг. Пора уж Нам съездить проведать отца. Если случится, что мир между нашими странами рухнет, и Север с Югом отойдут друг от друга, Мы все равно будем искать тебя повсюду, назови лишь верную примету.

— Ах, горька женская доля,— отвечала Ми Тяу,— чую, сердцу моему не снести тяжкой разлуки. Запомни, надену я платье из гусиных перьев и, где бы ни очутилась, буду выдергивать их и бросать на перекрестках дорог. Так мы отыщем друг друга и спасемся.

Вернулся Чжун-ши восвояси с волшебным когтем. Чжао Та, заполучив коготь, возликовал и тотчас выступил в поход. Государь же, полагаясь во всем на Чудесный самострел, спокойно играл себе в шахматы и, узнав о вторжении неприятеля, усмехнулся:

— Видно, Чжао Та уже не страшен Чудесный самострел?!

Едва полчища Чжао Та приблизились к крепости, государь взял самострел, но, обнаружив, что драгоценный крючок исчез, отшвырнул его и ударился в бегство. Он усадил Ми Тяу позади себя на коня, и они помчались на юг. А Чжун-ши, находя на дороге гусиные перья, преследовал их по пятам. Доскакал государь до самого моря, дорога здесь обрывалась, и лодки поблизости не было.

— Это Небо карает Нас! — вскричал государь.— Где ты, о посланец вод Чистой реки, приди поскорей на помощь!

Тут всплыла над водой Золотая черепаха и крикнула:

— Тот, кто сидит на коне позади тебя,— главный твой враг!

Государь выхватил меч и тотчас отрубил дочери голову. Перед смертью Ми Тяу взмолилась:

— Увы, такова женская доля! Но если замыслила я в сердце своем против отца, быть мне после смерти прахом нечистым. Если ж верна была долгу и обманута злыми людьми, пусть стану я жемчугом светлым, чтобы очиститься мне от позора и содеянного зла.

Ми Тяу умерла на морском берегу; кровь ее, стекавшую в море, заглотали жемчужницы, и каждая капля стала чистым жемчужным зерном.

А государь поднял носорожий рог семи пядей в длину, вода расступилась, и Золотая черепаха увела его за собой в море.

Люди из поколения в поколение передают, будто случилось все это на земле Ночной горы (За-шон), что в местности Као-са — «Высокий дом», в Распростертой округе (Зиен-тяу). Воины Чжао Та, достигнув тех мест, нашли лишь мертвую Ми Тяу. Обнял

Чжуп-ши бездыханное тело жены и отвез в Лоа-тхань, чтоб там похоронить. Тело ее превратилось потом в камень нефрит. А Чжуп-ши скорбел и сокрушался без конца, но однажды во время купанья почудился ему на воде образ Ми Тяу. Тотчас он бросился в колодец и умер.

Люди, жившие позже них, открыли: ежели жемчуг, добытый со дна Восточного моря, омыть в воде из того колодца, станет он чистым и заиграет яркими красками. Избегая упоминать имя Ми Тяу, нарекли они эти жемчужины перлами — большими и малыми.

РАССКАЗ О ГОРЕ-БАЛДАХИНЕ

Гора Тан-виен высится к западу от града Взлетающего дракона (Тханг-лаунга), столицы государства Нам-виет. Она вознеслась на двенадцать тысяч триста чыонгов, а путь вдоль ее подножья равен девяноста восьми тысячам шестистам чыонгов (?). Три вершины ее, поднимаясь к небу одна над другою, напоминают балдахин, именуемый «таном»; оттого и зовется она Тан-виен — «Балдахин». Согласно сочинению Танского монаха «Вступленье к плачу о Цзяочжоу», Великого князя этой горы звали Шон Тинь, то есть «Дух гор», и происходил он из рода Нгуен. Чудотворная сила Духа не знала границ. В бездождье ли, в половодье — стоило лишь помолиться ему о заступничестве, и все сбывалось. Оттого поклонялись ему люди и чтили его всем сердцем.

Часто в ясные дни чудится людям, будто в ущельях Горы-балдахина проплывают знамена и стяги. Говорят, это шествует Дух гор со своей свитой.

Когда Гао Пянь послан был танским императором в Ан-нам, он вознамерился было усмирить и изгнать всех тамошних духов. Тотчас велел схватить девицу семнадцати лет от роду, не познавшую мужчины, вспороть ей чрево и вырвать внутренности. Потом — набить ее травою, обрядить в платье и усадить на алтарь, поднеся жертвенное мясо буйвола и быка. Ежели тело девицы хоть чуть шелохнется, надобно с маху отсечь ей голову. К этой уловке прибегают всегда, чтоб извести духа обманом. Но тут Гао Пянь, решивший обманом извести Великого князя горы Тан-виен, увидал вдруг, что Князь скачет во весь опор по облакам на белом коне. Приблизившись, он плюнул на чучело и умчался.

— Увы! Духов Юга никак не обманешь,— посетовал Пянь.— Когда же иссякнет наконец их чудесная мощь?!

Вот как являла себя чудотворная сила.

Давным-давно Великий князь, увидав несравненную красоту Горы-балдахина, тотчас проложил дорогу от пристани Белая изго-

родь через ущелье Мирной твердыни к южному ее склону, туда, откуда берут начало ручьи. Вдоль дороги воздвиг он дворцы и построил беседки для отдохновения. Затем он взошел по гребню на самую вершину, утопавшую в тучах, и решил там поселиться. Иногда Дух гор плавал в своей ладье по Малой Желтой реке — Тиеухоанг-зианг, любуясь рыбною ловлей, и, останавливаясь в деревнях, непременно ставил беседки для отдохновения. Многие годы спустя люди, открыв следы этих беседок, строили там дены и миеу для поклонения и молитв.

Согласно древнему преданию, изложенному в сочиненье Лугуна «Записки о Цзяочжоу», Великий князь Дух гор из рода Нгуен жил в веселье и согласии с водяными тварями в земле Прекрасного спокойствия (Зиа-нинь), что в Горном краю (Фаунг-тяу). При чжоуском императоре Нуань-ване восемнадцатый государь наш из дома Хунг пришел в землю Водоемов Виет (Виет-чи) и Горный край и основал там государство Ван-ланг. Была у него дочь Ми Ныонг, внучка Божественного земледельца в двадцать седьмом колене, славившаяся необычайной красотой. Фан, властелин страны Тхук, сватался к ней, но государь не дал согласия, ибо желал найти зятя великодушного и доброго.

Некое время спустя пришли к государю двое: один назвался Шон Тинем, или «Духом гор», другой — Тхюи Тинем, или «Духом вод», и оба просили отдать им в жены прекрасную Ми Ныонг. Но государь предложил им сначала показать силу своего волшебства.

Дух гор протянул палец к горе, твердь расступилась перед ним, он вошел в гору и с такою же легкостью вышел назад. Дух вод исторг в небеса струю воды, и она обернулась дождевыми тучами.

— Вижу, волшебной силы вам не занимать,— молвил государь.— Но дочь у Нас только одна, и Мы отдадим ее за того, кто первым подарит свадебные дары.

На другое утро Дух гор преподнес Ми Ныонг дорогие каменья, злато и серебро, диковинных птиц и зверей. Само собой, государь дал согласье на свадьбу.

Дух вод прибыл позже него и уже не нашел Ми Ныонг. Разгневался он, созвал всех водяных тварей, и выступили они в поход — отвоевать невесту. Дух гор перегородил железной решеткою реки в уезде Ты-лием (Благодетельная чистота), но Дух вод тотчас сотворил для Малой Желтой реки новое русло, и стала она впадать в реку Хат-зианг. Затем он проник в реку Полноводный проток (Да-зианг), чтоб с ходу ударить Горе-балдахину в тыл. Сотворил он еще один новый речной проток... и направил его Горе-балдахину в лоб. Он обрушил берега рек, затопил их озерами и болотами, открыв удобный путь для водяных полчищ. То и дело насылал он вихорь с ливнем и тучами, поднимал бурные воды рек —

чтоб сокрушить Князя. Люди, жившие у подножья горы, видя все это, начали забивать в землю бревна, ставить частоколы, застучали в барабаны и ступы и закричали что было мочи, призывая всех на подмогу. Приметив подплывшие к частоколу отбросы, люди выпустили в них стрелы и увидели мертвых водяных ратников; трупы черепах и морских змеев запрудили всю реку.

С тех пор всякий год в седьмом и восьмом месяцах происходит одно и то же: урожай, выращенный людьми, что живут у подножья горы, терпит великий урон от ветра и половодья. Говорят, будто это Дух гор и Дух вод сражаются из-за прекрасной Ми Ныонг.

Великий князь постиг тайну бессмертия небожителей, оттого чудотворная сила его и могущество беспредельны. Он — первый среди Добрых духов — заступников страны Дай-виет.

При государях из дома Чан муж по имени Нгуен Ши Ко, удостоенный в Королевской письменной палате «Лес кистей» чина хаук ши, направляясь на запад, побывал на Горе-балдахине и сложил такие стихи:

«Известно: высокая эта гора —
    высокого духа приют.
На ней воспевали его в стихах,
    струился курильниц дым.
О дух, за которым пошла Ми Ныонг
    и стала творить чудеса.
Молю, защити ты меня среди битвы,
    щитом огради своим».

РАССКАЗ О ХА О ЛОЕ

В третий год «Унаследованного изобилия» при государе Чан Зу Тонге муж по имени Данг Ши Зоань, родом из деревни Ма-ла (Сеть из волокон Ма), дослужившийся до Правителя округа, был послан в Северную державу. Супруга его, урожденная Ву, осталась дома.

Был в их деревне храм, посвященный духу-охранителю Ма-ла, и дух этот, еженощно принимая облик Ши Зоаня, стал являться в его дом. Лицом и телом, повадками и походкой похожий на уехавшего супруга, пробирался он к Ву в опочивальню, соединялся с нею и уходил лишь с первыми петухами. Однажды Ву сказала:

— Ведь вас высочайшею волей отправили послом на Север: но вот вы по ночам возвращаетесь, отчего ж я не вижу вас днем?

— Государь послал вместо меня другого,— солгал ей дух,— меня же оставил он при себе, чтобы играть со мной в шахматы, и никуда не отпускает. Но я верен долгу супружества и потому

украдкой навещаю тебя, дабы вкусить с тобой всю сладость любовных утех. Однако с рассветом я должен быть во дворце и оттого не смею побыть здесь подольше.

Раздался петушиный крик, и дух поспешил уйти, оставив Ву в тревоге и сомнениях.

На следующий год Ши Зоань воротился домой и нашел жену свою на сносях. Немедленно он доложил обо всем государю, и Ву бросили в темницу.

Тою же ночью пригрезился государю дух и почтительно молвил:

— О величество, пред вами дух Ма-ла. Жену мою, ждущую разрешенья от бремени, захватил Ши Зоань, лишив меня чада.

Восстав ото сна, государь велел стражникам привести к нему Ву и вынес такой приговор: «Жену возвратить Ши Зоаню, дитя же пускай достанется духу Ма-ла».

Через три дня Ву разродилась диковинным темным комом, надрезали его, и внутри оказался мальчик, черный, как тушь.

До двенадцати лет мальчик считался безродным, но потом король дал ему родовое имя Ха и нарек О Лоем — «Черным громом». И хотя он был чернокож, зато кругл и упитан — весь так и лоснился, будто смазанный салом.

В пятнадцать лет государь призвал его ко двору и отнесся к нему с радушием и добротой, как к дорогому гостю.

Однажды О Лой повстречал на прогулке почтенного Люй Дунбиня.

— Чего бы хотел ты в сей жизни, отрок? — спросил его Люй Дун-бинь.

— Поднебесная ныне пребывает в покое и мире, и в государстве — благоденствие и порядок,— вежливо отвечал О Лой.— Мне же самому ничего не надобно, кроме сладкозвучного голоса и внешности, приятной взору.

— Обретая сладостный голос и красоту, человек столько же в ином и утрачивает,— засмеялся Дун-бинь.— И память о нем хранят лишь собственные его современники.

Он приказал О Лою раскрыть уста, плюнул ему в рот и велел проглотить слюну. Затем вскочил на облако и исчез.

С той поры О Лой, хотя он по-прежнему не различал начертанья и смысла письмен, сделался великим умником и остословом. Он сочинял превосходные стихи, песни и нгэмы и распевал их, вызывая зависть у ветра и прельщая луну в небесах. Голос его вился вокруг стропил и останавливал бегущие облака. Всякий, кому случалось услышать О Лоя, дивился его искусству.

Когда О Лой проходил по мостам, висящим среди дворцов и храмов, и напевал свои нгэмы, они уносились ввысь, до самого

неба. Он удалялся,— но там, где ступала его нога, еще долго витали чудесные звуки песен. Женщины и девицы грезили об О Лое и томились желанием взглянуть на него хоть раз.

Государь говорил придворным:

— Ежели О Лой согрешит с чьей-нибудь дочерью и будет пойман с поличным, представьте его пред Наши очи. Мы выплатим жалобщику возмещение в тысячу связок монет. Но ежели кто убьет или ранит О Лоя, с того Мы взыщем в казну десять тысяч связок.

А было все просто: сам государь развлекался нередко вместе с О Лоем.

Как раз в это время жила в деревне Нян-мук (Людское око) принцесса А Ким по прозванию «Золотой лотос». От роду ей было двадцать три года, муж ее умер, и она оставалась вдовой. Принцесса была обольстительна и на диво хороша собой; о такой красоте говорят: она рушит крепостные стены и низвергает царства,— равной ей на свете не сыщешь. Государь, охваченный страстью, домогался любви принцессы, но ничего не добился и втайне ее возненавидел.

Вот почему он сказал как-то О Лою:

— Измысли какую ни на есть хитрость и овладей ею, Нам тогда станет легче на сердце.

— Подданный просит год сроку,— отвечал О Лой.— Если не возвращусь через год, значит, не вышло дело и нет уж меня среди живых.

С тем поклонился он и вышел.

Воротившись домой, О Лой сбросил одежды и улегся в грязь, потом обсушился на солнце и снова обмазался грязью; затем он вырядился в холщовые порты и рубаху, взял в руки серп и две бамбуковые корзины и отправился к дому принцессы. Сказавшись конюхом, он задобрил молодого привратника двумя свертками бетеля и попросил у него разрешения войти в сад и нарезать травы.

А было все это в пятом месяце года, когда распустились цветы тхай ле. Срезал О Лой все цветы до единого и сложил их в свои корзины, но тут какая-то из служанок принцессы подняла шум, велела схватить О Лоя и держать взаперти, покуда хозяин его не явится с выкупом.

Так прошло три дня и три ночи, но когда и на четвертый день никто не пришел за О Лоем, служанка спросила:

— В чьем доме ты служишь и почему не несут за тебя выкуп?

— Я ведь побродяжка,— отвечал Ха О Лой,— и нет у меня ни хозяина, ни дома, ни отца с матерью. Таскаю пожитки певиц и

лицедеек, тем только и кормлюсь. У южной окраины, близ коновязи, встретился мне чиновник; нечем ему было задать корм коню, и он, посулив мне пять монет, велел нарезать травы. Обрадовался я деньгам! А какие такие цветы тхай ле — знать не знаю и ведать не ведаю, по мне, все одно — трава. Откуда возьму я выкуп? Лучше примите меня в работники, и я отслужу вам свою провинность.

Подумали и решили: держать его за домом для черной работы. Так прошло более месяца. О Лой поначалу сильно страдал от голода и жажды, но служанки, жалея его, стали носить ему потихоньку еду и питье. Зато вечерами О Лой заводил свои песни для развлеченья привратника, и не было между служанок и евнухов никого, кто, внимая ему, не лил бы слезы от умиления, не растрогался бы, позабыв о делах и заботах.

Однажды некому оказалось зажечь светильники в покоях принцессы. Обождав немного, она крикнула служанок и в сердцах разбранила их, грозя отхлестать плетью. Тотчас признали они свою вину и воскликнули:

— Бейте нас и казните, мы виноваты! Заслушались мы, недостойные, песен косаря и не заметили, как время прошло.

Принцесса удивилась и отпустила их.

Как-то душными летними сумерками сидела она со служанками подле дома, как говорят, привечая ветер и забавляясь с луной. Вдруг послышалась песня О Лоя. Переливы его голоса были так чарующи и прекрасны, словно он повторял напевы богов. Принцессе казалось, что душа ее истаивает в звуках песни. Чувства ее и мысли пришли в смятение, сердце замлело в истоме.

Тотчас призвала принцесса его в дом и сделала доверенным слугой, желая видеть его подле себя постоянно и слышать вблизи его голос. Все чаще, чтобы рассеять снедавшую ее тоску, заставляла она О Лоя распевать нгэмы. А он, пользуясь всяким удобным случаем, преклонял пред ней колени, спешил на каждый ее зов и старался не отдаляться от нее и на волосок, когда надобно, поднимая и опуская взор. Днем он с величайшим усердием прислуживал ей, а вечерами стоял близ нее со светильником. Принцесса была весьма довольна новым слугой. Когда же она приказывала ему петь, голос его наполнял весь дом и разносился по ближним и дальним пределам:

В одной из песен он шутил с ветром:

«Откуда, ветер, ты летишь?
В забытые века
Ты из пещеры вылетал —
из темного мешка.

В цветущем ты играл саду,
качался на луче:
Ты, как никто, умеешь гнать
ладьи и облака.
Влетишь в окно — и нам легко,
как древле — Хуан-ди.
Нас, как Сян-вана, посетишь —
душа поет в груди.
Развей же девичью печаль,
веселье разбуди».

В другой заигрывал с луной:

«Луна, о яшмовый поднос!
Как ты изменчива, луна.
Глядишь на запад, на восток,
То ты ущербна, то — полна.
Берешь у солнца яркий свет.
Плывешь в небесной вышине,
прекрасна и нежна.
Тебе, земле и небесам
навечно жизнь дана.
Неужто можешь ты остыть,
о светлая луна?»

Голос О Лоя разливался, наполняя все и вся; он поддерживал диких гусей в небесах и пронзал рыб в океане, словно нанизывая их на бечеву.

Тем временем сердечное увлеченье принцессы выросло в истинную страсть; прошло месяца три или четыре, и она вконец извелась тайным любовным недугом. Служанки и слуги с ног сбились, угождая ее прихотям, и засыпали как мертвые, едва наступал вечер.

Однажды среди ночи позвала их принцесса, но они не услышали зова; один Ха О Лой явился в ее покои. И тут принцесса, не совладав со своими чувствами, сказала:

— Вот что сделал со мной твой голос. Источила меня любовная хворь. Теперь мне и жизни нет без тебя. Едва ты запел в моем саду, ветер примчался и замер, облака опустились пониже лишь для того, чтобы послушать твое пенье. Уж если сама природа возлюбила тебя, то каково же мне, смертной? Что мне до твоего рода: высок ли он или низок, все одно, пускай соединятся цитра и гусли и будет сломлена потаенная орхидея! И не надобно мне иного целителя моего недуга, кроме тебя.

О Лой стал было отнекиваться, но принцесса воскликнула в нетерпении:

— Ах! До чего ты неразумен! Что может быть прекрасней сочетания неземного голоса и несравненной красы? Не заставляй же Нас попусту тратить слова и упрямством своим не отнимай надежду на исцеление!

Тут наконец О Лой согласился, и тотчас они кинулись друг другу в объятия. Позабыли они обо всем на свете, отринули всякие тревоги и сожаленья.

Болезнь принцессы вскоре пошла на убыль, любовь же ее к О Лою становилась день ото дня все неистовей, будто подгоняемая бичом. Ничего ей не было жаль для возлюбленного, и решила она отдать ему все свои земли.

— У меня никогда ведь не было и крыши над головой,— сказал О Лой госпоже.— Ныне я встретил вас, прекрасную, как небожительница, и нету теперь человека счастливей меня. Для чего недостойному рабу поля и усадьбы, зачем ему жемчуга, каменья и злато? Подарите мне, если можно, ту шапку, в какой вы являетесь ко двору. Она будет мне памятью и утешеньем до самого смертного часа.

Шапку эту, украшенную золотом и яшмой, в знак великой своей милости подарил ей покойный государь. Но принцесса и ее не пожалела для своего возлюбленного!

О Лой, заполучив драгоценную шапку, воротился потихоньку в столицу, надел ее и пришел во дворец. Государь обрадовался и тотчас послал за принцессой. О Лою же приказал стать поблизости.

— Знаешь ты этого человека? — спросил государь у принцессы.

И принцесса ощутила великий стыд и раскаяние.

С тех пор О Лой прослыл искуснейшим певцом во всем государстве.

Сам он сложил о случившемся такие стихи на просторечье:

«Хитро обличье изменив, прикинулся слугой
И все удачно совершил искуснейший
О Лой».

Девицы из знатных семейств распевали язвительную песню об О Лое:

«Болтун с лицом черней золы,
всегда несущий вздор,
Приличных недостоин слов,
хула ему, позор!

К высокородной он проник
бесчестно, словно вор».

Но хоть они и поносили О Лоя за его обличье, зато не было среди них ни одной, которая не прельстилась бы его голосом и не домогалась его любви. А он привораживал их своим пением, прелюбодействовал с ними, и все сходило ему с рук. Даже когда бесчестил он дочерей вельмож и сановников, все они, помня о назначенной королем вире, не смели на него посягнуть.

Наконец он сошелся с дочерью самого князя, чей титул был Светлейший властитель. Князь схватил О Лоя, однако торопиться с казнью не стал. Наутро он явился к государю, преклонил перед ним колена и сказал:

— Этой ночью О Лой проник в дом к слуге Величества. В темноте мудрено узнать человека, и я убил его, не ведая, кто он. Прошу Величество назначить, сколько связок монет я должен внести в казну.

Король, полагая, что О Лой уже мертв, отвечал:

— Полно, здесь ведь не было умысла.

Государь не учинил князю ни суда, ни допроса, ибо князь приходился роднею его супруге.

Тут Светлейший властитель воротился домой, схватил тяжелую палку и стал избивать О Лоя, желая забить его насмерть, да только тот никак не умирал. Взял князь тогда вытесанный из бревна пест и принялся молотить им пленника.

Прежде чем испустить дух, О Лой произнес на просторечье такие стихи:

«И жизнь и смерть — в руках судьбы,
но как судьбу прозреть?
Учись же доблести мужской
и не склоняйся впредь.
Я, как усладу, боль приму.
За песнь и красоту
Готов страдать и умереть».

Затем он сказал:

— Давным-давно Люй Дун-бинь предостерег меня: «Обретая сладостный голос и красоту, человек столько же в ином и утрачивает». Ныне постиг я истину этих слов...

ИЗ КНИГИ «СОЧИНЕНИЯ, ОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРЕМ ТХАНЬ ТОНГОМ ИЗ ДОМА ЛЕ»

ПЕРЕБРАНКА ДВУХ БУДД

В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Воды и Змея, случилось великое наводнение, и змеи хоронились от него на вершинах деревьев. Птиц и прочую домашнюю живность людям пришлось относить на деревья самим. Дены и пагоды были по большей части подмыты водою, иные — разрушены вовсе.

На двадцать седьмой день восьмого месяца вода спала. Мы поплыли в ладье, чтоб самолично убедиться, каков нанесенный водою ущерб, и помочь народу. К вечеру невдалеке от пристани в уезде Кроткой реки (Ван-зианг) застиг Нас ветер с частым и сильным дождем. Мы распорядились причалить ладью близ стоявшей у берега пагоды и прилегли отдохнуть. В час третьей стражи среди полнейшей тишины донеслись до Нас из пагоды чьи-то голоса. Вельможи и чиновники Наши спали уже крепким сном. Мы осторожно выбрались на берег, приблизились к дверям пагоды и заглянули внутрь. Что же Мы увидели?! Глиняный Будда с мечом в руке попирал ногами голову некоего зверя; усы у него стояли торчком, словно наконечники копий, четырехугольное лицо имело в ширину целый тхыок, спина была в добрых три обхвата. На верхней ступени алтаря восседал деревянный Будда. Красный от злости глиняный Будда кричал деревянному:

— В шестом и седьмом месяцах, когда водяные духи навлекли на землю ужасные беды, у тебя, жалчайшего, недостало силы, устоять перед наводнением; ты, как болван, уплыл туда, куда понесли тебя волны; вода то накрывала тебя с головой, то выталкивала на поверхность. Твоя разноцветная шляпа съехала набок и держалась разве что чудом, твои расписные туфли были выпачканы в грязи, и деревенские бабы, глядя на тебя, думали, ты банан, вырванный с корнем, а плотники приняли тебя за бревно. Который год молодцы в коричневых рясах то и знай ублажали тебя тайком, зато уж теперь не видать тебе подношений и жертвований. Да ты должен быть счастлив, что тебя отыскали, и настоятель принес тебя сюда, подновил твое платье и шляпу да заново позолотил и покрасил тебя. И вот после того, как обнаружилась позорная твоя немощь, у тебя еще хватает бесстыдства сидеть выше Нас и втрое против Нашего получать даров.

Деревянный Будда, охваченный раздражением, встал и сказал:

— Ты небось и не слышал, невежда, те строки из священной книги, где говорится: «От века все сущее подвержено переменам,

но это не пугает мудреца, ибо умеет он долее прочих сохранить свой дух неизменным». Наводненья и засуха — в природе сущего. Когда поднялись воды, Мы последовали их течению; сошли они, и Мы воротились на прежнее место. Разве, покорившись течению, увлекшему Нас в странствия, нанесли Мы хоть малейший урон Нашему «вечному духу»? Нет и нет! Да и возможно ли «овладеть десятью тысячами сущностей, не следуя законам смены четырех времен»? Отплывая по мятущимся водам, устремляли Мы взоры на удалявшуюся от Нас пагоду, и если и сокрушались о чем, так это о постигшей тебя беде. Ибо знали: едва волны достигнут твоих ног, как их тотчас размоет, поднимется вода тебе по брюхо — чрево твое лопнет, потом развалятся спина и плечи, а там смоет поток высокое чело твое и долгие ресницы, и — только тебя и видели! О, горе! О, печаль! Ах, как Нам было жаль тебя! Утратить свой облик и телесную сущность — кому приятно сие!

Долго они еще препирались и спорили столь же яростно, пока не явился вдруг Будда Сакьямуни с флягою вина в руках; охмелевший, он сделал два-три неверных шага по пагоде и изрек:

— Оба вы кругом виноваты! Когда прихлынул вал, неистовый и безбрежный, вам и в голову не пришло вооружиться пятью проникновениями и прибегнуть к шести знаниям, дабы громовыми заклятьями возвернуть воды обратно в Восточное море! Куда там! Разве озаботит вас что-нибудь, кроме бренной вашей плоти — деревянной или глиняной; выпивая и поедая подносимые людьми напитки и яства, вы погрязли в отвратительной праздности. Вы и прежде не ведали стыда, а теперь еще учинили здесь постыдную свару,— или не боитесь, что «и у стен есть уши»?

Будды, столь явно осужденные Сакьямуни, начали было ему возражать, но, почуяв вблизи человека, тотчас умолкли.

Мы же, толкнув дверь, вошли в пагоду: на алтаре в мерцанье свечей виднелись три изваяния из дерева и глины — безмолвные и неподвижные.

Нравоучение мужа с Южных гор. Перебранка двух Будд, что и говорить, дело диковинное. Да и строгие речи Будды Сакьямуни сами по себе необычны. Ведь ежели поразмыслить, то оба Будды стоят друг друга, а вернее — не стоят ничего: препираются, никчемные пустословы, из-за почетного места и большей доли от даров и жертвований! Стало быть, прав был Будда Сакьямуни, их порицавший. Но сам-то он, пьяница, разгуливающий с флягою вина, принес ли хоть малую пользу людям? Нет, он ничуть не лучше первых двух Будд!

Осененный благодатью, Сын Неба направляет сии слова против дурных и бесплодных деяний, а значит, и диковинная его исто-

рия исполняется глубокого смысла. Читая ее, бездельники и тунеядцы, без сомненья, не раз утрут пот со лба, а многие затворники в монастырях, ознакомясь с нею, решат, наверное, немедля возвратиться на правильную стезю и уж более не дадут завлечь себя на пути бесполезные и лживые. Поистине: «Под названьем ничтожным — великое создано сочиненье».

ПОСЛАНЬЕ КОМАРА

Некий Полевой комар познакомился, а затем и весьма подружился с комаром Домашним. Полевой комар уступил Домашнему права и звание старшего брата, сам же назвался младшим. Однажды, на закате дня, Домашний комар прилетел в поле проведать своего братца.

Полевой комар сказал:

— Вот, видите ли, какое множество буйволовых голов и козьих спин на моих обширных полях,— все они ваши, угощайтесь вволю, наедайтесь досыта, но торопитесь: и буйволов и коз вскоре загонят в хлев, и нам только и останется, что утешаться приятной беседою.

Через некое время пастух угнал весь скот, а Домашний комар так и не успел насытиться: пришлось ему, однако же, принять скрепя сердце приглашение Полевого комара взлететь следом за ним на листок сыти и развлечься беседою. Не успели братья обменяться друг с другом первыми словами, как налетел сильный восточный ветер, и они принуждены были спасаться от него в стебле дикого сахарного тростника, проникнув туда через дыру, проточенную гнилью. Но, увы, мгновение спустя хлынул проливной дождь. Братья поспешно вылетели из своего убежища и забрались в свернувшийся лотосовый лист.

— Здесь, правда, немного тесновато — сказал Полевой комар,— зато дождь может лить неделями,— я тут совершенно недосягаем.

На рассвете Домашний комар собрался в обратный путь, но прежде, чем откланяться, сказал своему брату:

— Отчего воззренья твои на мир, братец, столь ограниченны, а обитель твоя так низка и тесна? Возьми, к примеру, Наш дом; все у Нас устроено по-иному, не то что в твоем непросторном поле. Крыша дома высока и необозрима: дождь и ветер ей нипочем. Днем Мы обычно размышляем, прислонясь к украшеньям резной колонны, а чуть стемнеет — восседаем на затканном цветами пологе в спальне. По утрам с довольной и благостной песнею Мы отправляемся на базар развлечься, а потом играем в игры

с соседями и кружимся в хороводах; когда же вновь опускаются сумерки, Мы не спеша вылетаем на промысел. В это время люди спят, неподвижные и усталые, и тут Мы насыщаемся допьяна. Ты сам понимаешь, что это еще не все: прочих Наших услад и приятностей, как ни старайся, не счесть!

Полевой комар слушал его и приходил в восторг. Уже на следующий вечер отправился он к жилищу людей, в гости к старшему брату.

Домашний комар обрадовался, завидя его, и молвил с приветливой улыбкой:

— Уж не дергался ли у тебя сегодня, братец, указательный перст? Ведь как раз только что явились сюда погостить две девицы из деревни, и у хозяина, слышали Мы, не хватит нынешней ночью пологов на всех. Так что ты можешь взять паутинку и препоясать чресла перед славною трапезой. Это тебе не буйволы и козы на закате дня!

И Полевой комар ощущал угрызения совести.

Едва пробило первую стражу, Домашний комар пригласил Полевого осмотреть дом, поясняя всячески, сколь величествен он и изобилен. Затем отыскали они щель и проникли сквозь нее в спальню. Само собою, комары узрели там двух девиц. Они возлежали совсем нагие. Храп их был подобен грому.

Домашний комар сказал Полевому:

— Кровь близ пупка весьма горяча, не то что в мякоти бедер и ляжек. Кожа на белых руках толстовата, щеки же приятно упруги.

Немедля вытянули они губы, выставили жала и стали вскоре весьма похожи на спелые вишни. Чувствуя сладостную тяжесть во всем теле, братья уселись на затканный цветами полог и задремали. Как вдруг слышат они, хозяин призывает к себе слугу и говорит:

— Что-то сегодня много комаров налетело. Разложи-ка огонь да выкури их отсюда едким дымом.

Домашний комар сказал Полевому:

— На черепичной крыше, меж изразцов, есть щели. Летим туда, спрячемся, и, сколько бы ни бушевал огонь, мы будем в безопасности.

Так они и сделали и, само собой, остались невредимы.

Однако много времени не прошло, а они снова слышат голос хозяина. Призывает он слугу и говорит:

— Нет, их, как видно, простым дымом не выкуришь. Ты возьми листья соана, свежую рыбу и панцирь речной черепахи, сложи все это вместе и подожги.

И вот клубы дыма поплыли по дому, проникая во все дыры и щели. У обоих комаров глаза от дыма набухли, как наливные яблоки; не раз и не два побратимы едва не сделались добычею муравьев.

Полевой комар запинаясь спросил Домашнего:

— Как же теперь быть? Если ничего не придумаем, выйдет, что мы, едва наполнив чрево, потеряем бессмертье души, и вы станете тварью бесчеловечной, а я — безвольной.

Домашний комар и сам перепугался насмерть, от ужаса он даже бредил, однако собрал последние силы и вместе с Полевым комаром отправился на поиски свиного хлева, надеясь хоть там укрыться.

Глаза их были столь сильно изъедены дымом, что побратимы ничего толком не видели и даже два раза по ошибке залетали в паутину, из которой едва освободились. Лишь спустя час отыскали они место, где можно было спокойно присесть; теперь дурные запахи хлева нисколько их не смущали.

Внезапно с крыши сорвалась целая стая летучих мышей и закружилась над двором. Всех комариных родственников, которые, спасаясь от ядовитого дыма, вылетели из дома на воздух, постигла презлая участь, и стали они песчинками, светящимися во мраке.

Полевой комар затрепетал от страха и впал в беспамятство, продолжавшееся более часа.

Когда он очнулся, огонь уже угас, дым рассеялся, а летучие мыши вернулись в свое жилище. Не медля более ни минуты, простился он с братом, захлопал крыльями и улетел восвояси.

Окончательно придя в себя и исцелившись, написал он письмо и со своим соседом москитом отправил его Домашнему комару. В письме было сказано:

«О многочтимый старший брат!
Неужто кровью нежных щек поныне сыты вы с тех пор?
Неужто дым не отлетел от ваших воспаленных глаз?
Осмелюсь думать, что не нам, чьи пращуры — из Бао-ха,
В атласе щеголять, в парче,
Мы слабы и легки, как пух, дрожащий в солнечных лучах.
Для нас ведь и пылинка — твердь, нам опояской — волосок.
А вы, живущие в домах, вы роем демонов ночных
Являетесь из темноты, едва светильник погасят,
Как радостно поете вы, кружитесь в комнате пустой;
К постели девичьей тайком за тонкий полог проскользнув,
Вы свежую сосете кровь.
Но если станут вас в ночи выкуривать, тогда — беда:
Кому не выест очи дым, того огонь (о, душегуб!)

Испепелит.
А если кто-нибудь из вас днем промышлять рискнет — того
Прихлопнут если не рукой, так опахалом,— смерть одна.
Сравню ли ваш удел с моим?
Как буйвол ни мотай башкой — меня рогами не достать,
Как ни маши хвостом коза — меня не сгонишь со спины.
Пускай тростинка подгнила — в ней может схорониться мой
Нетленный дух.
Хоть лотосовый лист и мал, я в нем убежище найду.
Комар Домашний! Старший брат!
Коль не послушаете нас, беда случится невзначай:
Мелькнете искоркой в огне, миг — и рассеетесь дымком.
Пора одуматься, мой брат!..»

Читая это письмо, Домашний комар чувствовал себя вконец пристыженным.

Нравоучение мужа с Южных гор. Полевой комар всего лишь мелкая тварь, однако изъясняется весьма достойно, а главное — справедливо, осуждает опасный путь со всей очевидностью. Не постигший глубоко смысла жизни не мог бы написать подобного. Должно быть, осененный благодатью Сын Неба по влечению души сочинил это, дабы не только власть предержащие извлекли для себя должный урок, но и любящие водить с ними корыстную дружбу стали бы осмотрительней да разборчивей.

Поистине, каждое движение кисти полно здесь великого смысла.

ДИВНАЯ ЛЮБОВЬ В КРАЮ ХОА-КУОК

В долине Округлой горы — Шон-ла, что в округе Хынг-хоа (Несчетные преображенья), жил юноша по имени Тю Шинь (Тю-школяр), сирота с самого своего рождения. Дядя, младший брат отца, приютил мальчика у себя в доме, а когда исполнилось Шиню восемь лет, определил его в школу. Наделенный острым умом от природы, Шинь был, однако ж, сверх меры ленив, и, хотя дядюшка его прозябал в величайшей бедности, племянник, бывало, и перстами не шевельнет, чтобы ему помочь. По утрам он ходил в школу, а вечерами нежился в безделье и праздности: больше ни о чем он и думать не желал.

Юные дни быстротечны; Тю Шиню исполнилось уже девятнадцать лет, а он даже не заметил, как пролетели годы. Меж тем скаредной тетке давно надоело кормить его задаром, и как-то од-

нажды, когда муж по какому-то делу уехал из дома, достались племяннику на ужин и завтрак только чистая чашка да пустой котелок; вдобавок тетка набросилась на него с попреками и бранью. Не говоря ей худого слова, Тю Шинь собрал свои книги и воротился в родительский дом.

С той поры как отец и мать Тю Шиня покинули этот мир, в доме их никто не жил, и он стоял заколоченный и заброшенный вот уж двадцатый год. Пол в нем порос травою и мхом, а у порога торчал колючий кустарник. Кроме старой скамьи, лежанки да куска изодранной циновки, в доме ничего не нашлось. Тю Шинь сложил на скамью свои книги и прилег на лежанку. В сердце его не было ни обиды, ни гнева, лицо хранило спокойствие.

Когда дядя вернулся домой, жена, не жалея слов, принялась чернить и хулить племянника всячески. Дядя же, хотя и понял, отчего Тю Шинь ушел из дому, спорить с нею не стал, а только воскликнул в притворном гневе:

— Твоя правда! Да и кто захочет кормить и обихаживать такого бездельника? И не подумаю звать его обратно, сам приползет к порогу! — А после спросил жену: — Давно ли ушел племянник?

— Вот уже третий день,— отвечала жена.

Не сказав ей больше ни слова, дядя покончил с ужином, улегся в постель и притворился, будто заснул. Дождавшись полуночи, он встал потихоньку с постели и отнес Тю Шиню немного денег и рису. Отдавая все это племяннику, он сказал:

— Повремени денек-другой, женина злость уляжется, и ты снова вернешься к нам.

Шинь согласился. Однако три дня миновали, а он все не приходил.

Дядя явился к нему опять и сказал:

— Тетка давно перестала сердиться, отчего ты не возвращаешься? Деньги и рис у меня кончились, я беден, чем же, скажи на милость, мне кормить и содержать тебя дальше? Древние говорили: «Лишняя чашка да пара палочек — риса в котле не убавят». Ведь когда ты ешь вместе с нами, в семье, расход незаметен. Брат и сестра мои умерли, нет у меня в этой жизни ни единой родной кровинки, кроме тебя. И вот я вижу: ты задумал уморить себя голодом. За что же ты так терзаешь мне сердце?

Снова Тю Шинь пообещал вернуться через три дня и вновь его обманул. Трижды, а то и четырежды приходил за ним дядя, однако Тю Шинь всякий раз просил у него отсрочки. Потеряв наконец терпение, дядя сказал:

— Если уж ты совсем ума решился, что ж, живи как знаешь. Но ноги моей здесь больше не будет, и приносить я тебе ничего уже не смогу!

Заплакал дядя и побрел восвояси. А Тю Шинь в эту ночь уснул голодный. Вдруг появился пред ним придворный в четырехугольной шляпе, за ним шествовала свита в два или три десятка человек; в руке у придворного была золотая дощечка с надписью: «Повелеваем принцу-супругу прибыть ко двору. Такова Наша воля».

Тю Шинь отправился вслед за ним. Не прошли они и пяти замов, как вырос перед ними величественный дворец, где жил, как видно, сам государь. Придворный повел Тю Шиня запутанными и хитроумными переходами, по галереям и залам, красоту которых описать невозможно, и вскоре они оказались в просторных золотых покоях. У крыльца высились изваянья драконов, потолки подпирали покрытые лаком колонны с резными змеями, пол был выложен хрусталем, на стенах — изображения фениксов. Посреди покоев висела завеса, расшитая жемчугами.

— Прошу вас, принц, обождите немного, покуда я, недостойный, доложу о вас ее величеству,— прошептал придворный.

Тут он на некоторое время оставил гостя одного, затем вернулся и возгласил:

— Вдовствующая государыня уже восседает на троне, прошу вас, принц, сотворить положенные поклоны.

Не успел Тю Шинь, преклонив колена, дважды поклониться, как сквозь завесу послышался громкий голос:

— Наш зять не чета всем прочим подданным, для чего же ему воздавать Нам обычные почести?

И государыня приказала одному из придворных помочь Тю Шиню подняться с колен и ввести его в тронный зал.

Тю Шинь увидал старую женщину лет шестидесяти, сидевшую на ложе, украшенном изваяниями драконов. Весь ее облик внушал почтение и трепет.

— Перед вами вдовствующая государыня,— шепнул придворный Тю Шиню.

Государыня приветливо улыбнулась Тю Шиню:

— О, вот и пожаловал зять, поистине дорогой Нашему сердцу!

И предложила ему присесть. Вельможа из свиты подвел Тю Шиня к стоявшему вблизи трона золотому ложу.

Государыня приказала подать чай.

Четыре служанки красоты несравненной подали Тю Шиню нефритовую чашку с чаем, источавшим сладостное благоухание орхидей. Тю Шинь поднес чашку к устам.

После чаепития государыня подала знак к началу пиршества. Предшествуемые музыкантами и певцами, вошли восемь служите-

лей и поставили перед Тю Шинем большой золотой поднос. Затем были внесены вина и яства, и государыня послала за наследным принцем. Вскоре на золотых носилках появился в зале отрок лет одиннадцати. Прислужницы, обступив носилки, помогли ему сойти наземь, и государыня сказала:

— Дитя мое, вот супруг твоей сестры. Он сегодня у нас впервые, полон смущенья, ободри его и как подобает угости на пиру.

Тут они оба, Тю Шинь и принц, начали пировать: прозрачное вино источало хмельной дух, на подносах теснились диковинные яства, отменные и прекрасные на вкус,— каких не увидишь у смертных.

Когда они оба слегка захмелели, государыня, возлежавшая на украшенном драконами ложе, промолвила, обращаясь к гостю:

— Некогда покойный государь, супруг Наш, и царственный ваш родитель, поклялись связать наши семьи узами брака, подобно семьям Чжу и Чэнь. Вам сравнялось ныне девятнадцать лет, принцесса Монг Чанг встретила восемнадцать весен, Нам исполнилось недавно шестьдесят. Наконец-то сбылось желание Наше устроить счастье детей: единственная дочь обретает супруга.

Не постигая ее слов, Тю Шинь, однако, кивал головою и поддакивал. Вдруг течение их беседы прервал придворный звездослов и летописец; склонившись пред государыней, он сказал:

— Сегодняшний день неблагоприятен для брачных обрядов. Счастливый срок наступает через три дня, когда совместятся небесная добродетель с добродетелью лунной.

Государыня задумалась и, по окончании пира, сказала Тю Шиню:

— В делах, замышляемых на века, торопливость вредна и пагубна. Но до свершения брачных обрядов вам, принц, негоже здесь оставаться. Как только настанут положенные сроки, Мы обещаем послать за вами придворного с колесницей.

Затем она велела музыкантам проводить Тю Шиня до самых ворот дворца и долго глядела ему вслед.

Тю Шинь же, едва он покинул дворец, услышал внезапный порыв холодного ветра и пробудился. Тут только он сообразил, что все случившееся ему лишь пригрезилось. Однако уста его хранили еще винный дух, а в чреве ощущалась приятная сытость. Так-то три дня кряду Тю Шинь пребывал и сытым и пьяным.

В назначенный день, едва отойдя ко сну, Тю Шинь, как и прежде, очутился в золотом чертоге, украшенном цветами и наполненном запахом благовоний; отовсюду слышались согласные звуки цитр и флейт.

Государыня велела придворному лекарю доставить только что спитые яркие и богатые одеяния, затем, по ее приказу, Тю Шиня облачили в парадную шапку и платье. И тут, сопровождаемая служанками, в тронный зал вошла принцесса и обменялась, как должно, поклонами с женихом. Государыня своею рукой наполнила вином две нефритовых чаши и сказала:

— Пусть у вас будет, дети мои, сто детей и тысяча внуков!

Молодых супругов поздравили и пожелали им всяческого счастья наследный принц и придворные красавицы. После этого пышная свита сопроводила Тю Шиня и принцессу в Западный покой.

Тю Шинь и Монг Чанг наконец остались вдвоем и сели друг против друга. Тут лишь Тю Шинь разглядел впервые принцессу и увидал: кожа ее белизной посрамляет снег, чистотой затмевает яшму; пальцы гибки и тонки, как молодые побеги бамбука, зубы круглы и белы, словно семечки тыквы. Воистину, если она была не дева из Нефритового дворца на луне, то, уж наверно,— фея с горы Соцветие яшм! Разве среди смертных встретишь такую красавицу? Правда, потом он рассмотрел на животе ее пятнышки, прикрытые кисеей, и это его слегка удивило.

Ночь прошла во взаимных ласках и наслаждениях, о которых незачем распространяться.

На другой день не успели супруги покончить с утреннею едой, а государыня уже позвала Тю Шиня к себе. Он облачился в подобающие одежды и отправился на ее зов. Государыня усадила его рядом с собой и заговорила не спеша:

— Страна эта именуется Хоа-куок. С тех пор как государь, супруг Наш, отошел в иной мир, все державные дела и попеченья пали на Наши плечи. Наследник еще дитя, а Мы уж в преклонных летах, и бремя правления для Нас тяжело. К счастью, принцесса Монг Чанг помогает Нам денно и нощно, облегчая Наши заботы. Разве стали бы Мы иначе держать ее при себе?! Тотчас после свадьбы она покинула бы родительский кров и перебралась, как должно, к супругу. Поэтому, принц, вам придется еще раз исполнить Нашу волю: Монг Чанг останется здесь, с Нами, а Мы — единожды в три дня будем присылать за вами посланца, летящего меж цветов. Он будет ждать вас с колесницей, вы только не пропустите условленного срока.

Тю Шиню ничего не оставалось, как согласиться и отдать государыне прощальный поклон. Монг Чанг пришла проводить мужа, и наследник престола, видя ее, охваченной печалью, шутливо спросил:

— Ах, неужто супруги, проведя вместе одну-единую ночь, связаны на века, как сплетенные шелковые нити?

Государыня усмехнулась. Следом рассмеялись вельможи из свиты. Солнце поднялось на небо, и Тю Шинь, пробудившись, снова увидел, что все это было сном.

Так-то всякий месяц десятикратно посещали Тю Шиня подобные сны. Поистине:

Во сне он улетал
    в Хоа-куок.
Над книгами корпел,
    восстав от сна.
Хоть в очаге зола
    и холодна,
Хозяин хорошеет
    с каждым днем.

Дядя Тю Шиня, не понимая, что с ним происходит, терялся в догадках.

Через год Монг Чанг родила сына. Вдовствующая государыня повелела вторым женам вельмож и первым женам главнейших чиновников явиться во дворец, дабы кормить дитя грудью. А еще через год государыня сказала Тю Шиню:

— Близится день, когда Нашему внуку исполнится ровно двенадцать месяцев — срок отлученья детей от груди, и надо бы вам, сын мой, прибыть раньше обычного.

В тот вечер, едва Тю Шинь смежил веки, за ним тотчас явился посол. Войдя во дворец, он увидел прекрасное здание в два света, под легкою кровлей, устроенное нарочно к празднику. Наверху, по обе стороны вдоль колонн, восседали и пировали шестеро ближних вельмож, шестеро высших чинов государства, шестеро наместников и шестеро полководцев; внизу — пировали самые уважаемые и старейшие жители столицы. Дары, принесенные гостями, громоздились ввысь, словно горы.

Государыня, державшая на руках внука, поворотилась к Тю Шиню и спросила:

— Принц, на кого похож Наш внучек?

— Позвольте сказать: более всех на вас, матушка.

— Нет, вы не правы,— отвечала она,— чадо похоже на вашего царственного родителя.

После пиршества Тю Шинь, как и обычно, отправился в покои жены.

Но вот однажды заметил Тю Шинь, что лик государыни исполнен грусти, и, низко ей поклонившись, спросил:

— Скорбь и заботы лежат на вашем челе. Дозволено ли мне узнать, в чем их причина?

— Вот уже третий месяц,— отвечала она, заливаясь слезами,— что ни день, приходят с границ злые вести. Вражье племя Черноперых орда за ордою надвигается на Нас. Полчища их ворвались в пограничные ворота. Народ Наш и воины гибнут во множестве; из каждых трех одного уже нет в живых. Мы решили завтра же перенести отсюда столицу и с каждым часом, о сын мой, будем удаляться все дальше и дальше от вас. Вот почему грусть снедает Наше сердце.

Не успела она умолкнуть, как появился Начальник королевского войска и, преклонив у трона колени, почтительно доложил:

— Полчища Черноперых множатся с каждым часом. Если Величество промедлит хотя бы день, половина всего податного люда погибнет. Чем же тогда снова возвысится наша держава? Этой ночью время второй стражи благоприятствует походу. Недостойный смиренно просит, отдайте приказ о выступленье, иначе не уберечь народ и войско.

Государыня в волненье схватила кисть и начертала такой приказ:

«Казною сполна
обеспечить народ.
Приказ Войсковой
пусть готовит поход.
Знамена — вперед,
следом — лучников строй,
Богатый обоз
за войсками пойдет.
Без музыки, тихо
отправиться в путь,
Пускай барабан
тишины не прервет.
И младшим и старшим
исполнить свой долг.
Лишь стража вторая
пробьет — и вперед!»

Потом она обернулась к Тю Шиню и промолвила:

— Настали тяжкие времена. Все четыре страны света в огне и дыму, словами этого не выразишь. На прощание Мы по-матерински жалуем вам скромный подарок — как говорят, деньги на кисть и тушечницу,— он доставлен уже к вам домой. Внук же Наш еще мал и не может последовать за отцом. Позвольте вам возвратить его через двадцать шесть месяцев.

Выслушав государыню, Тю Шинь опрометью бросился в Западный покой, обнял Монг Чанг и заплакал:

— Любящие супруги неразлучны и в жизни и в смерти, отчего же я должен так скоро с тобою расстаться? Покуда мы живы — пребудем вместе! Возможно ль отцу разлучиться с чадом, мужу — с возлюбленной женою?!

Он зарыдал и без памяти рухнул наземь.

Монг Чанг подняла его и сказала:

— Ведь когда-то, не зная еще друг друга, мы уже были в разлуке, но потом соединились. Так уж всегда случается в жизни, а чтоб одиночество не было вам в тягость, я оставлю у вас в услуженье девицу Донг Нян. Полно, не предавайтесь гневу и отчаянью. Когда я узнала, что государыня решила покинуть эти края, я всю ночь не смыкала глаз. Есть у меня листок из мягкого камня, я начертала на нем стихи и в них открыла все свои чувства и чаянья. Прошу вас, о мой возлюбленный, примите его в подарок. Пусть он неизменно будет при вас, словно бы это я всегда рядом с вами. В камне, из коего сделан листок, сплавлено тончайшее вещество, собранное с десяти тысяч цветов, и ему, поистине, нет цены. Тому, кто носит его при себе, летом не страшен зной, а зимой нипочем стужа. Храните его, о мой возлюбленный. Настанет и в вашей судьбе счастливая развязка, я верю, она не замедлит свершиться. Увы, связанная дочерним долгом, я не могу выполнить долг жены и уйти вместе с вами! А вам оставаться здесь долее невозможно. Берегите, мой дорогой, мой несравненный возлюбленный, берегите свое здоровье; дождливыми вечерами пораньше ложитесь спать, не торопитесь вставать по утрам, если дует холодный ветер. Взаимному нашему счастью еще суждено продлиться.

С этими словами Монг Чанг опустила каменный листок со стихами в кошель Тю Шиня и удалилась, горестно раздирая одежды.

Так-то проснулся Тю Шинь в своем бедном доме один-одинешенек. Он затеплил светильник и увидал на скамье парчовый кошель. Найдя в нем десять лангов золота, он тотчас же спрятал их под ветхой стеною дома. Затем снова пошарил в кошеле и, само собой, нащупал некий предмет длиною около двух пядей и толщиной в полфэна, закругленный, будто футляр для кисти. Раскрыл Тю Шинь кошель и увидел диковинный листок, белый, словно лепестки дикой сливы; по белизне расходились разводы, как на дорогом атласе, весь он сверкал, переливался и был удивительно мягок на ощупь. На листке было начертано восьмистишье. В изящном почерке чувствовались одухотворенность и сила. Разве что прославленный в древности почерк госпожи Вэй или письмена жившего позднее знаменитого вельможи по имени Ван Си-чжи могли бы сравниться с ним.

В стихах говорилось:

«К реке, устремившей в теснину поток,
придешь ты в осенние дни.
Со знаком «шаунг» знак «тхиен» сочетай,
со знаком «тиеу» — знак «ни».
Дойдешь до горы под названьем Хоа
тотчас поверни на восток,
Увидишь бурливый поток Хо-тхюи —
направо тотчас поверни.
Знай, в день «нят тхап нят» ты избудешь печаль,
которую годы влачил,
А в ночь «люк тхиен» речь пойдет о любви,
завещанной нам искони.
Меня по скончанье пятнадцати лет
в местах повстречаешь иных:
Прошу я: не надо так тяжко скорбеть,
скорее печаль прогони».

Шинь читал и перечитывал стихи, переворачивал их и так и этак, но уразуметь их значенья не мог. Казалось бы, все с ним случившееся было только во сне, но откуда тогда взялись золото и диковинный камень? Если же драгоценности осязаемы и существуют, отчего исчезло все прочее, столько раз предстоявшее его очам? В смятении и тревоге Тю Шинь просидел до рассвета. «Отныне,— думал он,— не будут уж мне, как прежде, являться видения, и снова меня одолеют голод и жажда». Обмакнул он кисть в тушечницу и начертал на стене дома такие стихи:

«Любовь в краю Хоа-куок
за годом год жила.
А ныне пыл души остыл,
как в очаге зола.
Где колесница и дракон,
где Феникс на стене?
Неужто не вернется сон,
рассеялся, как мгла?»

Едва он закончил писать, как где-то в деревне послышались крики и плач. Оказалось, там умерла его тетка.

На следующий день, взяв золото и книги, Тю Шинь возвратился в дом дяди.

Увидев его, дядя начал браниться:

— Подумать только, и двух лет не прошло, а ты уже вернулся?

— Прошлою ночью,— стал оправдываться Тю Шинь,— явился мне покойный родитель и говорит: «Дядюшка твой вконец обеднел, да теперь еще и овдовел. Под стеною нашего дома закопано десять лангов доброго золота. Возьми его и отдай дяде, пусть он достойно похоронит жену». Кто знает,— продолжал Тю Шинь,— не моя ль к вам любовь и преданность привлекли дух покойного отца? Ах, дядюшка, неужто вы все еще гневаетесь?

Дядя задумался, потом сказал:

— Чтобы утешить дух моего покойного брата, я возьму это золото, но помни: схороним покойницу, и ты останешься у меня насовсем. Здесь ты будешь избавлен от домашних забот и все свое время посвятишь предстоящим экзаменам; ну, а иногда сможешь и отдохнуть.

Тю Шинь согласился и с этого дня от зари до зари усердно корпел над книгами. Через год он отправился на испытания в главный город округи и вышел восемнадцатым среди удостоенных отличий.

Когда Тю Шинь, по обычаю, с почетом воротился домой, дядя задумал сосватать ему невесту. Однако ни одна из невест не пришлась Тю Шиню по нраву — ни из городских домов, ни из деревенских. В конце концов дядюшка рассердился:

— Высокие, по-твоему,— дылды, маленькие — коротышки. Уж не желает ли ваша милость взять за себя принцессу?

— А почему бы и нет! — улыбнувшись, ответил Тю Шинь.

— Ну, если так,— сказал дядя,— послушай: в прошлом году отправился я по торговым делам и повстречал на дороге девицу, сидела она у обочины и плакала в голос. Приступил я к ней с расспросами и вот что услышал: «Я из семьи Донг, зовут меня Нян, родилась я на Облачном острове. Я заблудилась и никак не найду обратной дороги». Сжалился я над ней и приютил под своим кровом. Ныне сравнялось ей восемнадцать лет, она целомудренная, добрая и почтительная девица. Ты уже в возрасте. Не взять ли тебе пока Донг Нян в наложницы? А потом, если встретишь девицу знатного рода, сочетаешься браком, как с первою женой.

Тю Шинь, услыхав имя Донг Нян, вспомнил прощальные слова Монг Чанг, возликовал и тотчас ответил:

— Позвольте почтительно следовать вашим советам.

Дядя без промедленья накупил для Донг Нян красивых нарядов и в счастливый день привел ее к Тю Шиню, устроив подобающий случаю праздник. С той поры девицу так и называли: наложница Тю Шиня.

Год спустя Донг Нян разродилась сыном. Когда же Тю Шинь взял его на руки, чтобы дать ему имя, то, приглядевшись, увидел: во всем, до самой малости, похож он на дитя, родившееся некогда

от него в стране Хоа-куок. Шинь пораскинул умом и быстро догадался о причине такого сходства, к тому же он отсчитал по пальцам месяцы — сколько прошло их со дня разлуки с принцессой,— вышло ровно двадцать шесть.

Дни мелькают за днями, словно ткацкий челнок, и вот уже подошло время столичных экзаменов. Тю Шинь участвовал в них вместе со многими и был удостоен высокого отличия. Вскоре его сделали Смотрителем столичных школ. С тех пор каждые три года ему выходило повышение в чине, так что спустя двенадцать лет стал он большим вельможей.

В самом начале года, на коем в месяцеслове сошлись знаки Воды и Козла, презренный Ву Ван Хой, полагаясь на неприступность окрестных гор, поднял мятеж в земле Возвещенного света (Тюйен-куанге) и отказался выплачивать подать. Король многократно высылал против него войска, но одолеть его никому не удавалось. Тогда разгневанный вконец государь пожаловал Тю Шиню чин Главного военачальника — усмирителя варваров, и вручил ему двадцатитысячное войско, дабы он сокрушил мятежника.

Поистине, Тю Шинь в ратную премудрость привнес наставления Дуна и Цзя: не берись за оружие попусту, но, взявши его,— побеждай; готовясь к сражениям, уподоблялся он Суню и У,— либо не затевал дела, либо уж, начав его, доводил до завершенья.

Поэтому после недолгого раздумья он принял знаки верховной власти — изображение рыбы, подвесил к поясу, поднял боевые знамена — и тотчас выступил на врага. Он шел, свернув многоцветные стяги, без барабанного боя, по мало кому известным дорогам, переходил быстрые реки и зловонные топи, восходил на крутые вершины, продирался сквозь лесные чащобы. Через полмесяца достиг он округи Люк-ан (Умиротворенная зелень), от которой было рукой подать до вражеского стана. Однако путь ему преградила река, мчавшаяся в глубоком ущелье. Переправиться через нее вброд не было никакой возможности, поэтому Тю Шинь приказал разбить поблизости лагерь, разыскать окрестных жителей и выведать у них доподлинно, каково положение неприятеля и как к нему подобраться.

Жители отвечали:

— Река эта — Хо-тхюи — «Текучая вода». Ежели пойдете вдоль берега направо, то через день увидите стан мятежников. Если пойдете на восток, то и тогда потратите не меньше дня. Есть, правда, еще один путь. На другом берегу реки стоит гора Хоадиеп; если вы, перейдя реку, обогнете гору, а там двинетесь напрямик, то поспеете и за полдня. Но воинам вашим придется прорубать дорогу сквозь лесные чащи.

— Сколько же замов надо пройти, огибая гору? — спросил Тю Шинь.

— Никак не менее сорока,— отвечали жители.— Склоны ее поросли густым лесом; в том лесу круглый год не опадают цветы. Лет пятнадцать назад около полуночи слетелись сюда бабочки — десятки и десятки тысяч. Они поселились здесь и теперь, когда поднимаются над землею, заслоняют полнеба. Поэтому мы и назвали вершину Хоа-диеп — «Гора цветов и бабочек».

Слушал Тю Шинь, а про себя отмечал: каждое их слово в точности совпадает со стихами, начертанными на листке из дивного мягкого камня. Открылись ему значенье и смысл прежних его сновидений: вдовствующая государыня — это и есть Королева бабочек, а Монг Чанг — бабочка-принцесса. Да и само названье государства «Хоа-куок» просто-напросто — «Страна цветов». В давние времена Чжуан Чжоу (по-нашему, Чанг Тю) приснилось как-то, будто он сделался мотыльком. Что ж удивительного в ясном теперь совпаденье: имя жены его — Чанг, а его самого нарекли Тю?! «Посланец, летящий меж цветов» — это ведь мотылек, порхающий среди лепестков, так и сказано в древнем стихотворении; отметины на теле Монг Чанг — конечно же, пятнышки, которыми испещрены бабочки. Вражье племя Черноперых, само собою,— вороны и сойки, пожиравшие бабочек. А когда государыня говорила о переносе столицы, речь, разумеется, шла, о перелете сюда, на эту гору.

Шинь достал листок со стихами Монг Чанг и принялся разбирать их строку за строкою.

«В первой строке говорится, что я поведу войска на врага, засевшего в неприступных лесах за горами.

В следующей — слова «ни» — «второй» и «тиеу» — «малый» дают в сочетанье знак «муи», а слова «шаунг» — «пара» и «тхиен» — «небеса» образуют иероглиф «куи», что означает, бесспорно, нынешний год «куи-муи» — год Воды и Козла.

Третья строка советует идти на восток, не переходя, однако, гору Цветов и бабочек, что на другом берегу.

Смысл четвертой строки совершенно ясен.

В пятой три слова: «нят» — «единица», «тхап» — «десятка» и «нят» — «единица» дают в сочетанье цифру «ньэм» — «девятый». Значит, именно на девятый день я «избуду» — уничтожу того, чье имя Хой, ибо так же звучит и слово «хой» — «печаль».

В шестой строке слова «люк» — «шесть» и «тхиен» — «тысяча» образуют цифру «тан» — «восьмой». Стало быть, ночью восьмого дня я встречусь с Монг Чанг,— ведь здесь упомянута беседа о «любви, завещанной нам искони».

Седьмая строка объяснений не требует.

И смысл заключительной строки — ясен. Обе они означают: «Не печалься, через пятнадцать лет в иных краях я встречусь с тобою, возлюбленный».

Уразумев сокровенную суть стиха, Тю Шинь хоть и понял, что сочетался узами брака с летучей тварью, но ничто уже не могло отрешить его от сладких воспоминаний и поколебать былую любовь.

Созвал он своих военачальников и объявил:

— Путь через гору Хоа-диеп короче других, но весьма утомителен; чтобы пройти там, пришлось бы свалить немало деревьев и долго прорубаться сквозь чащу. Так мы еще, чего доброго, спугнем мятежников. Не лучше ли Нам двинуться вдоль реки Хотхюи, перейти на правый берег и обрушиться на вражеский лагерь слева, а помощнику Нашему с его полком обойти гору с востока и ударить по лагерю справа?! Замысел этот прост и безупречен.

Едва опустил он свой бунчук с головою тигра, как военачальники бросились исполнять приказ. Само собой, они наголову разбили мятежников, а Ву Ван Хоя взяли живьем. Тю Шинь опечатал захваченную казну, сжег дотла вражеский лагерь, переписал податной люд и, покончив за десять дней со всеми делами, старой дорогой повел победоносное войско в обратный путь. Случилось же это в день тан, и потому Тю Шинь на исходе дня велел причалить ладью близ горы Хоа. Он вспоминал стихи принцессы и преисполнялся надеждой снова увидеть прежние сны.

Когда закатилось солнце, Тю Шинь приказал поставить в ладье тигровый шатер и отошел ко сну. Вскорости, как в бывалые времена, явился за ним посол и пригласил ко двору. Тю Шинь отправился следом за ним и немного спустя очутился в роскошных палатах, красотою и блеском превосходивших старый дворец десятикратно. Тотчас увидел он вдовствующую государыню, она восседала на престоле в открытой галерее.

Еще издали услыхал он ее голос:

— Не устали ли вы, о прославленный Усмиритель варваров? Глядя на густые усы ваши и бороду, думаем с грустью: пропала юная ваша краса и пригожесть. Увы, месяцы и годы снуют, будто ткацкие челноки, и недолговечна весна! Нет, люди не должны без пользы расточать отпущенный им срок.

Тю Шинь поклонился и взошел во дворец. Справились они, как водится, друг у друга о самочувствии и здоровье, а затем государыня велела придворным приготовить все для пиршества в Западном покое, уединенном и тихом. Встретились там Тю Шинь и Монг Чанг и подняли чаши с вином. Она была так прекрасна, что гуси, завидя ее, упали бы с неба, а рыбы — утонули в пучине, фея, лучезарная, как утренняя заря. Он — знаменитый полководец, чья

слава обошла земные пределы, подобен был быстрокрылому соколу и рыкающему тигру. Сколько лет страдали они в разлуке, и вот свиделись вновь,— возвышенные духом супруги, которых небо взыскало богатством и знатностью. Хмельное вино горячило сердца, очи лукаво косились, и брови взлетали, подавая некие знаки. Солнце взошло и закатилось снова, но пиршеству их не видно было конца.

Узнав о том, государыня послала принцессе такой наказ: «Супругу твоему повелитель доверил великое дело, не затягивай же, дитя мое, сверх меры радости и утехи».

Тогда лишь прервался их пир, и Тю Шинь пришел отдать государыне прощальный поклон. Она взяла его за руку и сказала:

— Знайте, матушка ваша уже в преклонных летах и силы ее покидают. Зато наследник престола вырос и возмужал. Не далее как через месяц Мы сложим с себя бремя правления и удалимся в запретные чертоги — вкусить там отдохновение и покой. Державу решили Мы разделить надвое: земли по левую руку, что на востоке, отойдут к принцу; землями же по правую руку, на западе, будет владеть принцесса. Однако с тех пор, как перенесли Мы сюда столицу, число Наших подданных и достояние государства выросли многократно, а принцесса — всего лишь слабая женщина, и ей одной не под силу держать народ в повиновенье. Вот почему вы должны поскорей завершить дело, порученное вам государем, вернуться к нам и царствовать вместе с нею.

Тю Шинь отвечал согласием.

— Древние говорили,— молвила далее государыня,— «Остережешься заранее, можешь потом не страшиться беды». Сказано также: «Готовься встретить беду, пока ее тень тебя не коснулась», и еще: «Запирай ворота и двери, покуда не хлынули ливни». Так и вы позаботьтесь всячески, чтобы полчища Чернoперых не перешли через гору Хоа-диеп. А слава государя, пекущегося о народе, продлится в веках.

Тю Шинь обещал ей и это.

Мгновенье спустя ветер всколыхнул полог, и Тю Шинь проснулся. Военачальники, ожидавшие его пробуждения, почтительно молвили:

— Вы отошли ко сну вчера, в час тхан, и проспали двенадцать часов. Только что стражи снова пробили час тхан. Должно быть, ратные дела вконец утомили вас и потому вы почивали так долго?

— Впервые после долгих тревог и волнений вкусили Мы сладость сна,— усмехнулся Тю Шинь.

Поднявшись на берег, он один, без провожатых, обошел гору Хоа-диеп, пригляделся ко всему повнимательней и купил тридцать

земельных наделов близ ее склонов, нанял из тамошних жителей искусных лучников и поселил на тех землях, чтоб стрелами своими отгоняли птичьи стаи. И, лишь устроив все наилучшим образом, он отбыл в столицу.

Зная, что вскоре ему суждено стать властелином Страны цветов и потому ненадолго задержится он в этом мире, подал Тю Шинь государю прошение, чтоб отпустили его на покой восвояси. Воротился домой и в тот же день умер.

Нравоучение мужа с Южных гор. Все, кому бы ни довелось прочитать этот рассказ, твердят, будто мало в нем правды и лишь благодаря искуснейшей кисти, расцветившей повествование узорами и словесами, история эта слывет отменной и занимательной. Но причина всему одна: видя вокруг себя мало чудес, люди, когда и свершается диво, почитают его небылицей.

А ведь у нас, в горных долинах земель Хынг и Туйен, Тхай, Ланг и Као-банг, столько диковин, что летописцам и не под силу все перечислить. К примеру — оборотни: днем они сохраняют человеческий облик, а ночью становятся привидениями, летающими по воздуху... Мертвецы, чьи останки сохраняют для поклонения, в скудные годы становятся тиграми и рыщут повсюду в поисках пищи. И сколько еще подобных ужасов?!

Ежели люди таковы, то почему должны быть иными прочие твари? Известно ведь, в сыром и удушливом мраке дальних лесных топей, куда не ступала нога человека, звери, с течением времени, становятся оборотнями.

У бабочек есть своя царица, как и у муравьев — свой государь и подданные.

Сам же рассказ этот по смыслу напоминает «Историю о пчелиной матке». Но там:

вместе со сновиденьем — кончается и любовь, а свиданья и встречи разлетаются, как ветер.

Здесь же:

виденья становятся явью, и все сохраняют свое обличье и сущность.

Что же до искусства и изящества повествованья, то осмелится ль кто утверждать, будто мы, живущие ныне, уступаем древним?!

ПРИНЦЕССА НЕФРИТА ОБРЕТАЕТ СУПРУГА

У самодержца Нефрита уже в преклонных летах родилась дочь; лицо ее было прекрасно, как цветок, кожа — белее снега; и самому искусному живописцу не передать было одухотворенности ее обличья. Она превосходно рисовала, играла на цитре и пела,

проявляя к тому же удивительные дарованья не только к этим, второстепенным занятиям. Родись она с усами и бородой, быть бы ей среди первых мудрецов, отличаемых на испытаниях. Ей минуло дважды по восемь лет, а звали ее Нгаук Ти — «Нефритовая печать». И вот Самодержец Нефрита решил учинить состязание женихов, названье его — «Ожидание феникса» — было начертано на доске близ дворца. В состязании мог участвовать каждый, кто пожелает.

Услыхав об этом, Повелитель гор сказал самому себе:

— Горы — высоки, превыше всего на свете. Кому, как не Нам, победить в состязании феникса? А когда Мы возьмем за себя Нгаук Ти, все станут чтить Нас как Бодхисатву, вседневно восседающего на лотосовом троне, будут возносить к Нам молитвы и любоваться Нами. У себя в дому Мы — владыка птиц и зверей, а за пределами его станем принцем-супругом и зятем самого Самодержца Нефрита. Вот это — величие! Вот это — власть!

Тотчас уселся он в колесницу, запряженную белыми косулями, и помчался к Небесным воротам.

Узнав о том же, Повелитель вод собрал на совет всех водяных тварей и сказал:

— Вода проникает собою все и вся. Так было, есть и так будет! Кому, как не Нам, подстрелить воробья, нарисованного на ширме?! Когда Мы возьмем за себя Нгаук Ти, то построим для нее жемчужный дворец посреди моря, и будет она возлежать там под пологом из яркой парчи, сотканной подводными ткачами. А Мы станем любоваться ею и всячески о ней заботиться. В морях и реках все водяные твари будут Нам верными подданными, а в небесах Мы станем супругом царской дочери. Вот какова будет Наша сила и слава!

Тотчас вскочил он на коня, вода расступилась, и конь полетел ввысь.

Оба Повелителя столкнулись у Нефритовых ворот и вместе вошли во дворец. Один из них был высок и темен лицом, а другой — низок и светлокож. Они сотворили положенные поклоны на Драконьем дворе и одновременно распрямились оба во весь рост.

Самодержец выслал дворцовую стражу, и стража спросила их:

— Откуда вы пожаловали и по какой надобности? Каковы имена ваши и род? Говорите все как есть.

Назвали они свои имена и звания, а потом сказали:

— Дошла до нас весть, что Ваше величество учредили состязанье «Ожидание феникса». Мы, недостойные, хоть и не обладаем девятью красотами и семью добродетелями, присущими фениксу, однако же дарованьями и искусством своим этому предвестнику

великого спокойствия ни в чем не уступим. Жаль лишь, неведомы нам возвышенные желанья и мудрые намеренья Величества.

Самодержец Нефрита изобразил на лице улыбку и молвил:

— Нам подвластны десять тысяч стран, и есть у Нас единственная дочь Нгаук Ти. Если б сыскался муж, равный ей талантами и достоинствами, Мы тотчас бы отдали за него принцессу. Покажите Нам каждый, на какие чудеса вы способны, а Мы посмотрим.

Повелитель гор взмахнул рукою в сторону дворцового входа — куда устремлен был взгляд Самодержца Нефрита, и в тот же миг поднялась там высокая гора, вершина которой терялась в тумане, как Лазоревый пик, а иные отроги видны были четко и ясно, как у горы Соцветия яшмы; там порхали и садились прекрасные птицы, гуляли дивные звери. Стоило сделать один лишь шаг в сторону, и картина тысячекратно менялась. Все оглашалось криками чудищ и стенаньями духов, и эхо в горах и глубоких ущельях вторило им; рычали тигры, ревели медведи, огромные змеи разевали пасти, способные проглотить слона; а над ними летали птицы, и крылья их, словно тучи, заслоняли небо. При виде ужасающих тварей и нежити придворные охотно бы отвернулись, а слыша их рык и вопли, почли бы за благо оглохнуть.

Самодержец Нефрита наклонил голову и изрек:

— Великий искусник!

Повелитель гор снова взмахнул рукою, и вход во дворец принял свой прежний вид.

Тогда Повелитель вод высунул язык с магическими письменами, и в тот же миг дворцовый вход превратился в морскую пучину. Волны с гребнями пены взметнулись до небес и ринулись наземь. Высочайшие горы скрывались под водою, а из-под воды вырывались языки пламени, развевавшиеся, как знамена. Губительные смерчи вздымались выше самых высоких деревьев и падали, рассыпаясь ливнями дождя. Вдруг разом пропали с глаз долой все драконы и рыбы, показался цветистый парчовый парус, возносившийся к лунным чертогам, и посреди спокойных вод поднялся дворец Пэнлай, окруженный купами разноцветных облаков. Раздалась стройная, веселая музыка, в лад ей звучали пленительные и чистые голоса певиц. Чудесные звуки слышались словно бы со всех сторон, все, представавшее очам, было исполнено удивительной красоты. В один-единый миг сменились тысячи очертаний и красок.

Самодержец Нефрита снова наклонил голову и молвил:

— Великий искусник!

Повелитель вод во второй раз высунул язык с магическими письменами, и вход во дворец принял свой прежний вид.

Самодержец с великой радостью усадил Повелителей обеих стихий на циновку по левую руку от себя и стал их потчевать чаем.

Оба гостя, тешась самодовольством, восседали близ Самодержца; вдруг они видят — вошел во дворец какой-то человек.

Пришелец обладал осанкой дракона и поступью тигра, очами Шуня и бровями Яо, он был огромен и ясен, словно гора, и душа его была безбрежна, как море. Человек этот вышел на середину двора и остановился — недвижно и прямо.

— Это место особое и чтимое всеми! — грозно закричала дворцовая стража.— Кто ты? Откуда явился и почему не падаешь ниц?

Человек сложил руки на груди и сказал:

— Зачем все эти придворные церемонии победителю состязанья «Ожидание феникса»? Не пробив воробьиного глаза, ужель торопился бы я предстать пред царственным тестем? Прошу Самодержца оказать мне свою благосклонность.

Самодержец Нефрита весьма изумился, однако предложил незнакомцу сесть на циновку по правую руку и медленно произнес:

— Почтенные гости, сидящие слева от Нас,— вот кто победил в состязании феникса. Оба они из прекрасного рода и искусны превыше всяких похвал. Поистине, нет им равных во всей вселенной. Ежели не они — избранники, достойные восседать на восточном ложе, то кто, спрашиваем Мы? Каковы же должны быть твои дарованья, если дерзаешь соперничать с ними? Слов нет, изрядно ты поразвлек Нас своим скудоумием!

Человек с достоинством поднялся и сказал:

— Вы не правы, Ваше величество. Духи, повелевающие горами и водами, сильны и всемогущи в пределах своих владений, но не более того. Чем иным, как не хитростью и хвастовством, добились они столь лестного о себе мнения? Сколь ни высока гора, люди восходят по ней до самой вершины; сколь ни велико море, но корабельщики, соревнуясь друг с другом, переплывают его от берега и до берега. Познанья и ум, царящие во вселенной, суть познанья и ум единого властелина. Горы беспрекословно исполняют назначенный им долг; реки не смеют нарушить предначертанное им течение. Если недруг притаился, как заяц, в горах или скрылся, подобно киту, в отдаленном море, против него посылают умудренного науками мужа либо полководца, славного ратным искусством. Полки ныне строят в боевой порядок, наподобие змея с горы Чаншань, а поступь войск неудержима, словно течение рек Цзян и Хань. Горы могут стать вровень с землей, а хребты — превратиться в долины; разбушевавшиеся воды можно утихомирить, бурливым речным потокам — преградить путь. Оглянитесь: реки смиренны, горы невозмутимы, повсюду царит покой. Река Хуанхэ подобна поясу, а гора Тайшань — точильному камню. Пять вершин и

Четыре реки хранят вассальную верность. Кто посмеет противиться восходящему на вершины гор и одолевающему пучину моря, дабы выразить преданность Небу?! Самодержец, Сын Неба, владеет всем видимым миром, Царице, супруге его, подвластны душа и нутро всего сущего, им — все плоды земли и дары моря, все вкуснейшее, сладчайшее, драгоценнейшее. Кто после этого станет слушать черпак, кричащий, будто он бездонен, или камешек, возомнивший себя горою?

Самодержец Нефрита возликовал в душе, поднял руку и объявил:

— Воистину, ты — Наш зять! Без тебя лжецы и пустоболты могли бы Нас обмануть.

Видя и слыша все это, оба гостя, сидевшие по левую руку Самодержца, на мгновение оцепенели, а потом втихомолку скрылись, не смея и заикнуться более о сватовстве и женитьбе.

Нравоучение мужа с Южных гор. Дол порастает травою, как черепаха облекается в панцирь; глубокая расселина в горной пещере — словно раковина, таящая дивную жемчужину. О, которая из девиц не похожа на всех прочих?! А Повелитель гор, похвалявшийся собственной мудростью, и Повелитель вод, возносивший свои таланты,— оба остались ни с чем, ибо воспользовались чудотворным искусством ради обмана. Внемля речам человека, постигаешь, насколько он благородней и выше Повелителей обеих стихий; об этом говорят и заключительные его слова: «Самодержец, Сын Неба, владеет всем видимым миром, Царице, супруге его, подвластны душа и нутро всего сущего; им — все плоды земли и дары моря, все вкуснейшее, сладчайшее, драгоценнейшее». Именно они определили выбор Самодержца Нефрита, объявившего человека своим зятем. «В поисках мест, очертаньем похожих на жилы Дракона, люди проходят тысячи замов, ибо земля в тех местах благодатна для погребенья; а ведь сама могила мала и неприметна». Вот изречение, передающее истинный смысл сего рассказа.

ИСТОРИЯ МЫШИ-ОБОРОТНЯ

В некой богатой семье был сын, и когда исполнилось ему двадцать лет, родители его женили. Жена была пригожа и хороша собой, и он полюбил ее страстно. Но едва миновало полгода после их свадьбы, отец сказал сыну:

— «Не учась во младости, что станешь делать в старости?» Ты сейчас в самом цветущем возрасте, полон здоровья и сил. Не пора ль тебе взяться за учение и усовершенствовать свой дух!

Ведь, предаваясь одним лишь утехам супружества, ты попусту растрачиваешь время; не упускай его — после раскаешься, да будет поздно. Отправляйся-ка, сынок, в дальние края и займись книжной премудростью; а иногда ты сможешь гостить дома.

Поняв правоту отца, юноша тотчас простился с семьей и вместе со старым слугою отправился в дальний путь на поиски ученого наставника. Нежная и заботливая жена тихо сказала ему на прощанье:

— Супружеская любовь — на долгие годы, а не на денек-другой. Вы идете в далекие земли учиться. Если вам повезет и вы отличитесь на испытаньях, этим вы, перво-наперво, прославите отца с матерью, а потом порадуете меня с детьми. Прошу вас, забудьте на время о вашей любви ко мне, старайтесь лишь преуспеть в науках. И не тревожьтесь: я позабочусь о том, как родителей ваших почтить и уважить, выбрать им лучший кусок, приветить их поутру и утешить вечером.

С отъездом мужа жена принялась всячески ублажать свекровь со свекром; послушная и любезная, не навлекала она на себя и тени их неудовольствия. Так прошло полгода. И вот однажды ночью видит она; муж перелезает через ограду и входит в ее опочивальню.

— О супруг мой,— удивилась женщина,— отчего вы приходите так поздно? И хорошо ли, вернувшись издалека и не поклонясь отцу с матерью, торопиться сразу к жене! Утром они обо всем узнают и возмутятся: дескать, любовные ласки для вас выше сыновнего долга и ничему вы не научились в чужих краях; а обо мне скажут, будто я думаю только о плотских утехах.

— Милая супруга,— отвечал муж,— очень я по тебе соскучился и давно уж хотел вернуться, да все боялся родительского гнева. Поэтому я сегодня, едва дождавшись ночи, украдкой явился к тебе и уйду с первыми петухами. Держи мой приход в тайне.

Жена промолчала. Укрылись они под одним пологом и отдались страсти. С первыми петухами муж встал и вышел из опочивальни.

На другую ночь он явился к ней снова.

— Я ведь знаю, вы учитесь более чем в двух днях пути от дома,— сказала жена в изумленье,— как же вы успеваете возвращаться обратно?

— Откроюсь тебе во всем,— отвечал ей муж,— ради тебя я сменил место ученья и проживаю теперь лишь в десяти замах от дома. Но чтобы видеться с тобой без помех, я утаил это от родителей.

Жена очень любила его и более ни о чем не расспрашивала. Так миновало еще полгода. О тайных их встречах никто не дога-

дался, но красота жены с каждым днем увядала, словно ее подтачивал скрытый недуг.

Родители мужа, видя, как невестка их чахнет от тоски, посоветовались и сказали:

— Молодые супруги, живущие в разлуке, заслуживают состраданья. С тех пор как сын наш уехал, прошел ровным счетом год. Невестка — ничего не скажешь — почтительна и прилежна, но у нее болезненный вид и в глазах — печаль. Поэтому мы отправляем сыну письмо и разрешаем ему приехать. Пусть погостит с месяц дома, порадует родителей,— мы ведь и сами глаза проглядели, стоя в воротах у прохожей дороги,— а там и жену утешит, одинокую на супружеском ложе.

Итак, отец отправил сыну письмо. Сын испросил разрешения у своего наставника и без промедленья пустился в путь. На другой день, в полдень, он добрался до дома и тотчас прошел в родительские покои. Отец стал первым делом расспрашивать его об успехах в ученье. Сын отвечал толково и без запинки, чем несказанно обрадовал старика. Кликнул отец невестку и, со смехом показывая на сына, сказал:

— Ну-ка, невестка, взгляни на своего мужа да на его слугу! Видишь, как поистрепалось их платье и волосы разлохматились. Что же ты не торопишься подать супругу чистую одежду, не согреешь воду — умыться с дороги?

Невестка с поклоном повиновалась.

Вечером вся семья сошлась за веселою трапезой, и было там немало выпито и съедено. Лишь поздней ночью сын, с позволенья родителей, удалился в опочивальню.

— По-прежнему ли батюшка твой и матушка в добром здравии? — спросил он, присев рядом с женой.

Но она промолчала. Тогда он сказал шутливо:

— «Не сравнить новобрачных с супругами, что встретились после долгой разлуки». Знаешь ли, по какому случаю это сказано?

Жена опять ничего не ответила.

— В «Книге песен» говорится:

«Этот вечер — не знаю, что это за вечер сегодня?
Я тебя увидала — собою прекрасен мой милый».

Разве наши с тобою чувства не созвучны древним стихам?

Жена и на этот раз промолчала. Помедлив, муж легонько погладил ее по спине:

— С того самого часа, как я оставил родной кров, я, говоря словами поэта, «у петушиного окна в ночи безмолвной разворачивал свитки книг», и знания мои умножались день ото дня. Уподо-

бился я бедному мудрецу, который, не имея светильника, читал книги в сиянии белого снега, просветляя свой дух, и добродетели мои с каждым днем укреплялись. Постиг я, что старое изречение: «Отец и мать, возлюбя свое чадо, пекутся о будущем его на долгие годы вперед»,— по справедливости относится и ко мне. Пребывая вдали от дома, я был твердо уверен: ты всегда воздашь родителям должное,— и был покоен. Однако, едва вспоминал я нашу опочивальню, сердце мое загоралось страстью, и в мечтах я уносился к тебе. Послушай, какую сложил я песню:

«По ком на чужбине тоскую и ночью и днем?
Любовь неизбывная в сердце моем,
      вовеки моя неизбавна тоска!
Кого я зову? Кто мне видится издалека?
Печаль, словно горный хребет, высока,
      любовь — словно туча, плывущая вдаль.
Неужто тебе, о любимая, вовсе не жаль
Страдальца, в чьем сердце гнездится печаль?
      Скажи, вспоминаешь ли ты обо мне?
О ком день и ночь я печалюсь в чужой стороне?
Не в силах забыться я даже во сне,
      все яства безвкусны, все яства пресны.
Тревожны осенние ночи и полдни весны.
Вдали от тебя, от родной стороны
      мгновение — как нескончаемый год.
О Небо! Зачем ты послало нам столько невзгод?
Неделя одна за другою идет;
      мне рыба и гусь не приносят письма.
Второй уже год я тоскую, подумай сама!
В жилище моем одиночество, тьма,
      возлюбленной нет; и, тоскою сражен,
Томлюсь, как томились влюбленные давних времен».

Но жена по-прежнему не отвечала.

— В песне «Боевая колесница»,— сказал разгневанный муж,— супруга, оставшись одна, от тревоги не спит по ночам. В песне «Возвращение из похода» жена, разлученная с супругом предается тоске и горестно вздыхает. Любящие сердца страдают в разлуке,— так бывает со всеми, и этому тьма примеров. Отчего же, скажи, я по тебе истомился, а ты со мной так холодна? Трижды я обращался к тебе, и трижды не ответила ты на мои слова. Что это значит? Взгляни на горлицу, как кричит она в дождь, призывая солнце, ибо только при солнечном свете может встретиться со своим любимым. Если уж птица, малая тварь, выказывает по-

добную силу чувства, то человек тем более должен хранить верность своей любви. Или сердце твое переменчиво, как листок, что поворачивается, куда ветер дует, и ты, как говорят: «Одного провожаешь к воротам, а другой уже к двери твоей в паланкине спешит»? Есть еще и старинное присловье:

«Проводит супруга — и тут же замену найдет:
к чему тосковать ей всю ночь напролет?
И ночи одной в одиночестве не проведет».

Оно ведь словно про тебя придумано.

Широко раскрыв глаза от изумленья и гнева, жена воскликнула:

— Для чего вы городите весь этот вздор?! Не прожили мы в разлуке и полугода, как вы, тайком от отца и матери, перебрались поближе к дому. По ночам вы лазили сюда через ограду и с первыми петухами уходили, крадучись, в притворенную дверь. Вспомните, сколько раз встречались мы за это время! К чему же теперь болтать о тоске и разлуке? Я любила вас, жалела, боялась за вас, потому и сдержала свое обещанье и никому не открыла нашей тайны. А вы здесь наговорили великое множество слов, весьма для меня обидных и оскорбительных. Униженная вами, как я стану глядеть в лицо вашим родителям, да и своим родителям тоже?

— Вот уже второй год тому, как я и в глаза тебя не видел,— вскричал муж,— старый слуга подтвердит, что я говорю чистую правду. Да разве это похоже на меня — втихомолку менять наставника или лазить в собственный дом через ограду? Не иначе, у тебя гащивал какой-то развратник, прикинувшийся мною, а ты, обознавшись в ночной темноте, да и сама лишившись от похоти разума, с немалой, как видно, охотою раскрыла ему объятья. И ты, ничтожная, смеешь говорить мне, будто он — это я!

Жена заплакала и сказала:

— У кого, как не у вас, красный шрам на шее и черная родинка в ухе, словно зернышко риса? Голос, подобный звону кханя и губы, как киноварь? Кто другой ростом не выше и не ниже вас, дородством и статью — вылитый вы? Не я ли своими руками сшила белые ваши порты и платье из тонкого шелка? Как же я могла обознаться? Ваш шелковый веер и красный платок — не мои ли подарки, как же мне было ошибиться? Не далее как позапрошлой ночью вы разделяли со мною ложе и говорили так сердечно и нежно? Я ясно все помню. И вы еще смеете говорить, будто я спутала вас с кем-то?

И она зарыдала в голос.

Родители мужа услышали плач, прибежали и давай допытываться, что случилось. Невестке же, оскорбленной мужем,

злость ударила в голову; обливаясь слезами, стала она кататься по земле и, позабыв приличия, рассказала о ночных делах все, как было.

— Если то, что наговорил здесь супруг мой, правда,— заключила она,— значит, я не только нарушила супружескую верность, но и запятнала доброе имя семьи. Как мне жить теперь дальше?! Как глядеть вам в глаза?

Тут она стала биться головой о колонну, желая лишить себя жизни. Свекор со свекровью и муж бросились утешать ее и уговаривать ласковыми словами. Наконец она пришла в себя.

Родители, поразмыслив, сказали сыну:

— С того дня, как ты отправился на ученье, жена твоя была нам во всем послушна, добродетельна и хранила верность тебе. Если и обольстили ее, то только обманом. Странно, однако, другое, ведь мы за полгода ничего не заметили! Уж не злой ли дух или оборотень, пленившись ее красотою, повадился к ней? Возвращайся назад и продолжай ученье, а мы попытаемся заклятьями и амулетами его одолеть.

Сын послушался их и через месяц вместе со старым слугой вернулся к своему наставнику.

Свекровь шепнула невестке:

— Ночью, как только он явится, хватай его и держи покрепче, а сама — кричи что есть мочи, зови нас на помощь.

Когда на третью ночь старики услыхали крики невестки, они тотчас вскочили с постелей и подняли на ноги всех домочадцев и слуг. Прелюбодея схватили и привязали к колонне. Утром родители пришли поглядеть на пленника, и видят: он как две капли воды похож на родного их сына. Невестка подтвердила: точь-в-точь ее муж. Родичи, близкие и дальние, все в один голос признали: он — отпрыск их семейства. В конце концов отыскался меж ними некий умник и сказал:

— Надо послать человека туда, где учится ваш сын, и узнать, вернулся ли он. Только так мы установим, самозванец ли это или подлино ваше дитя.

Отец так и сделал.

На другой же день сын получил его письмо и вместе со старым слугою заторопился домой.

Мать с отцом, родня и невестка, глядя на того и другого, только даром глаза проглядели: вместо одного человека перед ними стояли двое, и оба на одно лицо. Двойников тотчас отвели к уездному начальнику, чтобы тот рассудил, который из двух — оборотень. Начальник в этом деле разобраться не смог и переслал их к наместнику. Но и наместнику оказалось оно не под силу, и потому направил он всех ко двору, отписав особый доклад.

Узнав об этом, Мы решили сами устроить дознание. Мы приказали страже снять с них одежды и выяснили: не только лицом, но и телом они похожи во всем, даже щербинки от оспы и родимые пятна в самых сокровенных местах были у них одинаковы.

Один из приближенных Наших сказал:

— Днем надобно вывести их на яркий солнечный свет, а ночью — осветить фонарями; тот, у кого не окажется тени, и есть оборотень. Позвольте их испытать, вреда здесь никакого не будет.

Прибегли Мы и к этому средству, увы, все было напрасно! Наши придворные, тщетно изыскивая способ разрешить сие престранное дело, впадали в отчаяние. И тут наполнили Наше сердце гнев и досада:

«Ежели Мы, государь и повелитель, не рассудим своим судом этого дела, то у родителей появится сын-оборотень, а у супруги — еще один муж, порожденье нечистой силы. К тому же, если дело оставить без последствий, оборотень снова примется за свое».

Воскурили Мы благовония светлейшему духу Фу-донга и попросили его о помощи. Едва поднялись к небу клубы пахучего дыма, слетел к Нам дух в образе юноши и сказал:

— Оборотень этот не кто иной, как старая мышь. Прожила она на свете несчетное множество лет и стала кровожадным чудовищем, ибо нет такой твари, плоти которой она б на своем веку не отведала. Она не боится ни огня, ни воды, и никакие заклятья и амулеты изгнать ее не в силах. Оборотни вроде этой старой мыши искусно принимают сотни разных обличий; их способности к превращениям с древнейших времен и по сей день не имеют себе равных. В Китае, к примеру, при династии Сун подобная мышь оборотилась самозванным императором Жэнь-цзуном. И сам Баогун, разбиравший их тяжбу, не смог уличить оборотня. Пришлось обращаться к его величеству Самодержцу Нефрита и почтительнейше просить у него на время кота с яшмовыми глазами; тогда только мышь лишилась своей волшебной мощи, предстала в подлинном своем естестве и пала от кошачьих зубов. Увы, сейчас в Небесном дворце очень много книжных хранилищ, кот с яшмовыми глазами стережет их, и залучить его будет трудно. Но ради вас, государь, я попытаюсь сокрушить оборотня чудесным мечом.

Он начертал на листах бумаги два магических знака и велел прилепить их на спины обоим юношам, чтобы оборотень не сумел убежать.

На другой день Мы приказали вывести юношей на Драконий двор и поставить лицом друг к другу. Вдруг все вокруг заволокли густые черные тучи, и посреди двора что-то сверкнуло, будто упала молния. Через мгновение небеса прояснились, и Мы увидали

пятицветную мышь с усами, белыми, как снег, и висячими когтями на всех четырех лапах; весила она никак не менее тридцати канов. Уткнувшись головой в землю, она подыхала; черная кровь ее изливалась сквозь все семь отверстий. А рядом как ни в чем не бывало стоял юноша.

Стражники, приставленные к ним, содрогнулись от ужаса.

Мы же, подняв лицо к небесам, возблагодарили духа, после чего приказали сжечь мертвую мышь и пепел ее выбросить в реку.

Супруга того юноши из богатого дома еще более года принимала лекарства, прежде чем окончательно исцелилась от зловредных последствий общения с мышью-оборотнем.

Нравоучение мужа с Южных гор. Чересчур долгий век любую тварь превращает в оборотня. Однако с древних времен и доныне обезьяны, лисы и мыши хитрей и злокозненней прочих. Впрочем, обезьяна по природе своей способна и к добрым делам. Так, Сунь У-кун, служивший некогда конюшим у Самодержца Нефрита, за шутки и забавы свои, превысившие всякую меру почтения и приличия, был заколдован и сослан на землю, где через пятьсот лет исправился и вернулся опять на стезю добродетели. Вместе с Танским монахом совершил он паломничество в Тхиен-чук, побывал у Будды Татагаты и получил от него в дар более восьми десятков священных свитков. По сей день ставят в пагодах статуи Сунь У-куна в образе человека с обезьяньей головою и поклоняются ему; чудесам его нет конца. Лисы, хотя и злобны, все ж не доходят до того, чтобы менять свой облик и прелюбодействовать с человеческими женами. Зато еще в эпоху Весен и Осеней мышь трижды тайком прогрызала рога жертвенных буйволов. Выедая глаза у покойников, она становится мышиной царицею и разгуливает по ночам, укрываясь на день в потаенных глухих местах. В Китае при императоре Сунской династии Шэнь-цзуне мышь родом из Цзиньлина поменяла старые своды законов, вызвав мятежи и возмущения. А после клика Цай Цзина и Тун Гуаня, пользуясь обстоятельствами, ввергла династию Сун в ничтожество, и она потеряла трон. Изречение: «Без длинных клыков наши стены насквозь прогрызает»,— показывает вредоносность мышиного племени. Другое изречение: «Ты ль собирала зерно, что пшеницею нашей живот набиваешь»,— показывает, сколь велика мышиная жадность. Поэт в стихах упоминает мышь лишь для того, чтоб сравнением с нею осмеять и унизить никчемного человека. А Су Дун-по непотребство мышей выносит даже в названье одной из своих од. В сундуках мышей постоянно подстерегают оставленные людьми мышеловки; если же мыши превращаются в перепелок, люди их ловят сетями; из нор в основаниях жертвенников мышей выкуривают дымом;

в полях поклоняются Духу — повелителю кошек, дабы те их сожрали. Тварью, обреченной на истребление и гонения от рода людского, во все времена была мышь. О мышь, мышь! Отчего ты столь зловредна и скрытна? Почему нрав твой так отвратителен?

ЛЕ ТХАНЬ ТОНГ

ИЗ КНИГИ «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ О НЕПРИКАЯННЫХ ДУШАХ»

1. БУДДИЙСКИЕ МОНАХИ

Некогда, следуя учению Будды, обязаны были они хранить воздержание и соблюдать запреты. Ходили они в ярко-желтых рясах, приятностью цвета подобных лепесткам горчицы. Каждый имел при себе красную чашу-патру для подаяния, блестевшую гладким лаком. В зной покрывались они шапками, округлыми, как скорлупа кокоса, увенчанными изваяниями Будды. Крепкий бамбуковый посох пролагал им путь среди утренних рос. Зерна их четок, отполированные до блеска, сияли адамантами; деревянные подошвы сандалий попирали склоны Ястребиной горы. Как сказано в «Сутре Лотоса», поученье завершается дождем, и влага сия надолго пропитывала храмовые одеянья; переводы письмен, начертанные на пальмовых листьях, овевал ветерок, очищавший душу от мирского праха.

Обители с храмами были места их совместного жительства, и дымы очагов их соседствовали с тучами. Набрав себе дров, что были в цене корицы, затевали они чаепития, кичась друг перед другом своими чайниками да чашками; возлежали в кельях меж облаков, омывались из чистых ключей и блаженно напевали вполголоса — не то Будды, не то небожители. Питая в душе состраданье и скорбь, поливали красивые цветы; сосредоточась на постижении истины, отрешась от всего мирского, восседали, нюхая пряный дух курений...

Помышляя о трех тысячах чертогов Четвертого неба, куда возносятся, покинув бренную плоть, души праведников, они и знать не желали о двенадцати вратах Подземного царства, тешась мечтами.

Увы! Каково прожить жизнь лишь ради смиренного самоотреченья, а после смерти маяться, изничтожая в себе все и всяческие горести?!

Печальное нравоучение таково:

Чашку и чайник брал каждый из них
и, облачась, как монах,
Прятался в пагоде, четки свои
перетирая во прах.
Целыми днями, бывало, сидят,
тайную суть постигая,
В кельи бредут, когда длинная тень
в травах скользит и цветах.
Вечно они проявленье добра
судят согласно ученью,
Царство подземное и небеса
часто у них на устах.
Тело и дух очищают они
в Селах начал бестелесных,
Но не постигнут вовек свою суть,
тщетно блуждают впотьмах.

4. КОНФУЦИАНЦЫ

Некогда, взысканные книжным знанием и утонченно вежливые, все упованья свои возлагали они на счастливый итог испытаний. О еде их и платье пеклись родители, а сами они денно и нощно перечитывали творения мудрецов. Прожитье им ставало недешево: дрова были в цене корицы, рис — дороже жемчуга. А сколько невзгод и тягот выносили они до того, как предстать на испытаньях; книги их на окне освещало мерцание светляка, отблеск белого снега озарял письмена на столе. Бумага стала их пашней, кисть — плугом; вчера читали они книги канона, сегодня — исторические сочиненья.

Были они подобны Ма Жуну, поучавшему перед завесою, и Дун Чжуну, читавшему под пологом; они не замечали ни туманов, ни стужи; пред ними горел светильник мудрого Ханя и высилось изголовье благородного Вэня, они же не смыкали глаз, обратив ночь в день. Не ведая отдыха, трудились они в чаще познанья и море премудрости, читая нараспев словеса, проникнутые мыслью Конфуция и духом Чжу Си. Усердье в занятиях отточило словесное их искусство. С языка у них то и дело слетали посулы выпить до дна озеро Юньмын, а в груди у каждого бряцали оружием тысячи латников; причмокивая, твердили они изреченья полководцев Суна и У и, опустя рукава, вспоминали главу за главою трактаты по воинскому искусству. Придя на поэтическое ристалище, искали глазами сигнальные флаги и слушали бой барабанов, а на

ином подобном ристалище (?) грозились остриями копий и держали в руках пищали. В стихах у них каждая строка была хороша и своеобычна — как у древних поэтов.., а письмена их — любой знак, любая черта — превосходны — как на листке из Линьчуаня или в книге «Белой лотос». Вирши эти, где воспевались высокие горы и текучие воды, когда читали их нараспев, будили безысходную тоску. Как говорится, проглочены жемчуга, исторгнуты перлы — вот каковы были даже невольно произнесенные ими слова, а сами они, натянув тетиву, били без промаха, подобно пронзавшему ивовый лист стрелку.

Преступив красный порог государевых чертогов, они в ответах своих толковали ученые книги и, преуспев в словесных состязаниях, ворочались обряженные в парчу, блиставшую над лошадиной гривой (?); имена их сверкали на золотых досках, и слава гремела как гром, сотрясавший землю. Дух их и воля стремились вдаль, словно рыба гунь или птица пэн, и помощь их в державных делах была столь успешной, что объявились — счастливее нет приметы — единорог и феникс.

Помышляя о водах Инчжоу и вершине Пэнлай, где возможно превращение в небожителей, они и знать не желали про селенья усопших или гору Бэйман, которой владеют демоны.

Увы! Каково прожить жизнь лишь среди словопрений о чужих делах и писаньях, а после смерти скитаться, ища место успокоения?!

Печальное нравоученье таково:

С яркой повязкою на голове,
в шелковом платье до пят,
На испытаньях толпились они,
всяк был прославиться рад.
Пеструю обувь носили они
в солнечный день и в туманный,
В стужу дарил их своей белизной
снег, ослепляющий взгляд.
Слава о них, словно песни Нин Ци,
по городам расходилась,
С ними в сравненье и сам Гуньсунь Хун
мудростью не был богат.
Но почему же, нужду позабыв,
люди, владевшие кистью,
Вечно мечтали о благах земных
и добивались наград?

9. КУПЦЫ И БРОДЯЧИЕ ТОРГОВЦЫ

Некогда богатые гости заполоняли своим товаром лавки и торжища. Дороги их пролегли по всему государству, видели их в предместьях и городских кварталах, плыли они по морю, по озерам и рекам. Наменяв свежей рыбы, и ту тщились сбыть подороже; а дождавшись высокой воды, складывали весла и засыпали у входа в канал. Плывя вниз по течению, они трелями флейты и песнями встречали луну, но, выйдя в море, ставили парус и приглядывали за ветром.

Благовоньями из алоэ, панцирями морской черепахи, душистыми смолами стиракса, мешками перечных зерен, латунными тазами из Лаоса и наилучшим рисом (?) загружены были чуть не до самой палубы большие лодки длиною в восемь тэмов; штуки пятицветного шелка, пестрые (?) ткани, узорчатая парча, тюфяки и покрывала из переливчатой камки, шелка, сотканные в земле Тхук, бумага из земли У заполняли под самую крышу просторные — в пять покоев — лавки с кладовыми. Что ни вещь — все редкость или диковина красоты и чистоты несравненной.

Проходя пограничные ворота, купцы укрывали запретный товар: дорогие перлы, девятиустые жемчужины; а прибыв на торги, продавали всякую вещь по отдельности втридорога; серебро само плыло к ним, и золото их умножалось. Войдя в полюбовную сделку, они за худой товар брали высокую цену. Протори и прибыли считали с дядьями и братьями, а чуя особенную наживу, каждому из своих чад совали длинный черпак. Когда гребли барыши, ликовали, пересмеивались с подторжниками, что сновали вкруг них с корзинами, набивая цену; оставшись в накладе, мрачнели и сокрушались, понося всех, кто втравил их в безвыгодное дело. Мелочь поплоше отдавали в залог, неходкие вещи сбывали оптом и щедрою выручкой покрывали убыток. Они ведали наперед, где и что будет в цене, и оттого многоводный поток во вратах их пользы не иссякал. Откуда им было знать, что все мимолетно, как сон на подушке в Ханьдане, видения тают и грезящих ждет внезапное пробуждение.

Увы! Каково прожить жизнь лишь ради корысти и прибыли, а после смерти маяться, прося подаяния?!

Печальное нравоучение таково:

Их занимáли и ночью и днем
торжища да барыши,
В дом свой добро, что ни день, волокли,
деньги копили в тиши.

Нравом с геккопами схожи купцы,
вечно готовые к сварам,
Дан им, как ящерке, длинный язык,
вежливый, но без души.
Песня одна у них — прибыль да ложь,
нет бессердечнее песен.
В разных местах наживая добро,
грабят страну торгаши.
Вдумайтесь: разве во благо обман,
разве же хитрость во благо?
Нет, если люди торгуют людьми,
способы все хороши.

НГУЕН ЗЫ

ИЗ КНИГИ «ПРОСТРАННЫЕ ЗАПИСИ РАССКАЗОВ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ»

РАССКАЗ О ТЯЖБЕ В ДРАКОНЬИХ ЧЕРТОГАХ

В уезде Винь-лай (Непреходящая польза), что в округе Хонг-тяу — Благой земле, обитало когда-то великое множество водяных тварей. И люди, поставив в их честь вдоль реки более десятка храмов, поклонялись им и приносили жертвы. Иные из тварей со временем стали всесильными духами; когда просили их люди о ясной погоде или молили о дожде — всегда обретали просимое, поэтому на алтарях не угасали курения, а народ боялся и чтил их все сильнее.

При государе Чан Минь Тонге некий муж из семьи Чинь, удостоенный звания Наместника, был послан на службу в Хонг-тяу.

Жена его, Зыонг Тхи — урожденная Зыонг — отправилась как-то проведать родителей, и на возвратном пути ее ладья причалила у одного из тех храмов. Вдруг предстали перед Зыонг Тхи две неведомые девицы, подали ей раззолоченный ларец и сказали:

— Всеблагой повелитель велел отнести вам в подарок этот ларец, чтоб хоть подобной малостью открыть свои чувства. Рано или поздно, но знайте — в краю вод и туч увенчаются любовные чаянья и вознесетесь вы на драконе.

Сказали и тотчас исчезли. Зыонг Тхи отомкнула ларец и видит: лежит в нем багряный пояс — знак соединенья сердец, а на нем начертано такое стихотворение:

«Красавица, в чьих волосах на заколке
зеленый горит самоцвет,
Тоской по тебе переполнено сердце,
ему исцеления нет.
Прими же, избранница, этот подарок —
залог нашей будущей свадьбы
В хрустальных чертогах, где вскоре увидишь
светильников праздничный свет».

В страхе покинула она ладью и со служанкою отправилась дальше пешком. Возвратившись домой, Зыонг Тхи обо всем поведала мужу, и Чинь, растревоженный в свой черед, сказал:

— Водяные твари отныне станут тебя подстерегать и преследовать. Надо их всячески избегать. Не приближайся к пристаням, страшись подходить к берегу. А дождливыми, безлунными ночами придется до света нам жечь светильники и выставлять стражу.

Так они береглись почти полгода, но за все это время ничего не случилось. И вот настало полнолуние Середины осени. Видит Чинь: ночью на небе ни облачка, все стороны окоема чисты и прозрачны, сияет Млечный Путь, и луна со звездами светят ярко, как днем.

Обрадовался он и говорит:

— В такую ночь, когда луна светла, а ветер прохладен и тих, можно ни о чем не тревожиться.

Стали они угощать друг друга вином, опьянели и впали в беспамятство.

Вдруг нежданно-негаданно грянул гром, сверкнула молния. Вскочил Чинь, и что же: ворота, двери и окна — все на запоре, а жены пропал и след.

Поспешил он к храму: речная гладь не шелохнется под холодной луной, лишь на берегу видны одежды возлюбленной жены. Стал тут Наместник из рода Чинь скорбеть об утраченной жемчужине и загубленном цветке — горя его не передать словами. Застыл под открытым небом, не в силах перевести дух, не зная, как быть дальше.

Отчаявшись, бросил он службу и соорудил пустую гробницу у подножья Опорной горы. А сам укрывался рядом, в тесном жилище на возвышении. Глядело оно прямо на реку, где у самого берега темнели водовороты и омуты.

Чинь обычно поднимался к себе и, стоя у входа, любовался красивым видом. Всякий раз замечал он дряхлого старика с красным кошелем; по утрам старик уходил куда-то, а к вечеру возвращался.

«Странное дело! — думал Чинь.— На берегу, подле здешних омутов,— ни двора, ни деревушки. Откуда же появляется и куда уходит этот старик?»

Однажды обшарил он все окрест и убедился: повсюду нетронутые пески и никакого жилья, лишь редкий тростник да камыш колышутся над водой. Изумленный, Чинь решил обойти все ближние дороги и тропы и наконец отыскал старика. Тот сидел посреди Южного торжища и предсказывал будущее. Разглядев лицо старика, худое, но просветленное мыслью, Чинь догадался: если пред ним не книгознатец, ушедший от мира, и не мудрец, взысканный добродетелями, то, уж конечно, бессмертный, сошедший в земной мир.

Подружился он со стариком и, что ни день, приглашал к себе. Они угощались вином, ублажали себя чаем, в веселии проводя время. Старику вроде бы полюбилось радушие Чиня, но на расспросы об имени и родне не отвечал он ни слова, а лишь усмехался, распаляя сомнения Чиня и его любопытство.

Как-то поднялся Чинь ни свет ни заря и спрятался в тростниках — высмотреть тайно, в чем здесь дело. Мокрый от росы берег заволокло туманом. И тут увидал он старика, поднимавшегося из глубины вод. Подбежал к нему Чинь и пал на колени.

— Ну вот,— усмехнулся старик,— выходит, решили вы отыскать мои следы? Раз уж вам многое ведомо, открою все до конца. Я — Сиятельный господин, Белый дракон. Благо, на нынешний год пала великая сушь, я свободен и праздно провожу время. Но если бы Самодержец Нефрита повелел нам творить дожди, разве сумел бы я предсказывать людям будущее?

— В старину,— сказал Чинь,— Лю II опускался в озеро Дунтин, и Шань Вэнь пировал в Драконьих чертогах. А ныне возможно ли мне, земному жителю, пройти по стопам древних?

— Что может быть проще! — ответил Сиятельный господин.

Концом своего посоха он провел по воде черту, река расступилась, и Чинь следом за Знатным драконом сошел в пучину. Не прошли они и половины зама, как увидал Чинь: земля и небо залиты светом, а впереди высятся чертоги, все — и жилые покои, и угощенье на столах — такое, какого не водится у людей.

Сиятельный господин принял гостя с великим радушием.

— Вот уж не думал,— сказал Чинь,— что убогому бедняку доведется побыть в таких хоромах. Прежде постигло меня небывалое горе, а сегодня случилась небывалая встреча! Не значит ли это, что зло будет наказано?

Знатный дракон стал его спрашивать. Поведал Чинь о несчастье, случившемся с Зыонг Тхи, и высказал надежду, что Сиятельный господин величьем своим и властью покарает бесчестную

тварь. Ведь парусу, чтоб устремиться вдаль, нужен добрый ветер; и лис, желая возвыситься, ищет поддержки могучего тигра. Ах, если бы столь же полезной и благотворной оказалась и эта встреча! Так говорил Чинь.

— Хоть злоумышленники и не правы, но ведь Государь драконов облек их доверьем и властью,— сказал Знатный дракон.— Тем более каждый из нас — господин лишь в своих владениях, а над чужими не властен. Кто же дерзнет совершить проступок, которому нет прощенья? Кто поднимет закованных в панцири воинов и перейдет речные пределы?

— А могу ли я при дворе Государя драконов подать жалобу и требовать правосудия?

— Дело ваше пока еще темное. Вы намерены — безо всяких улик — обвинить могущественного врага. Боюсь, долг вашей мести не будет заплачен. Не лучше ли сперва найти верного человека: пусть все узнает, отыщет улики, а там расправиться с лиходеем — проще простого. Жаль, некому из моих приближенных доверить такое дело. Но будем искать и приглядываться.

Тут подошла к ним девица в синем платье и говорит:

— Я прошу, поручите мне это дело.

Чинь отнесся к ней уважительно, поведал о всех своих бедах и дал ей — как знак доверия — шпильку с зелено-голубым смарагдом.

Девица направилась тотчас в Хонг-тяу, к храму, где почитаем был дух Водяной змей. А там расспросила людей и узнала, что и впрямь урожденная Зыонг (ей даровано званье «Супруга из земли Красоты») живет в Лазуритовых чертогах посреди озера лотосов; ложе ее властелину дворца любезнее всех прочих, и она год назад родила сына.

Девица возликовала. Но в огромный дворец ей было не пройти, и она безо всякой пользы слонялась у ворот. А случилось все это в самый разгар весны, и цветы тыонг ви распускались повсюду, розовея на стенах, точно яркие блики зари. В притворном неведенье девица начала обрывать их, ломая ветки. Страж у ворот пришел в ярость. Но тут она сунула ему смарагдовую шпильку, как бы в возмещенье ущерба, и сказала:

— Могла ль я подумать, что высокородный оберегает ползучие эти цветы? Вот и осмелилась их оборвать. Вина моя велика. Но слабому телу не вынести бичей. Прошу вас, возьмите мою шпильку и отнесите хозяйке Лазуритового дворца. Может, простят мне мою вину и не назначат побоев. Я буду очень вам благодарна.

Страж послушал ее, взял шпильку и отнес Зыонг Тхи. Долго разглядывала она вещицу и наконец, притворясь разгневанной, закричала:

— Экая невежа!.. Испортила мне всю розовую беседку!

И приказала связать девушку и доставить в сад. Улучив мгновенье, когда вокруг не было ни души, Зыонг Тхи потихоньку приблизилась к ней со шпилькой в руке и сквозь слезы спросила:

— Откуда она у тебя? Вещь эта некогда принадлежала моему мужу, господину Чиню.

Девица в синем платье открыла ей все как есть:

— Господин Чинь самолично и дал мне эту вещицу. Сейчас он гостит у Сиятельного господина Белого дракона. Тоскуя по вас, утратил он вкус к еде и лишился сна. Он послал меня к вам напомнить о верности нерасторжимым узам, когда-то соединившим вас.

Не успела она договорить, как вошла служанка и объявила: дух Водяной змей требует супругу к себе. Зыонг Тхи поспешно удалилась. Поутру она снова явилась, поговорила ласково с девицей и, вручив ей письмо, сказала:

— Передайте, прошу, господину Чиню, когда вернетесь, что бедная супруга его в дальнем краю вод все время думает и горюет о нем. Пусть порадеет он и постарается, чтобы, как говорится, феникс мог снова взлететь в облака и конь воротился назад, к пограничной заставе. Пускай не обрекает меня томиться до старости в водяном дворце, среди туч.

Вот что говорилось в письме:

«Многое горы сулят и моря обещают, но, увы, ожиданиям нашим не суждено сбыться. Бьет нас ветер, секут дожди, переполняя жизнь бедствиями и горем. За десять тысяч замов, через горы и реки шлю немногие, идущие от сердца слова. Ах, как изменчива и ненадежна моя судьба, как истомлена и обессилена плоть! Двое любящих, соединенные Небом, мечтали и после смерти быть вместе, в одной могиле. Не думали мы, что в одну-единую ночь все рухнет и я буду ввергнута в бездну. Увы, как утаить сверкающую жемчужину? Где скрыть искрящиеся каменья? Вот и должна я терпеть ненавистные ласки! Одежды мои осквернены, жизнь во мне еле теплится. Тоска моя беспредельна, как море; дни бесконечны, как годы.

О, сколько счастья — в беспросветном моем одиночестве — подарили Вы мне своей вестью! Сколько я пролила слез при виде смарагдовой шпильки! Гляжу я на вестницу Вашу, и сердце терзает боль. Пусть оступилась я, сделав неверный шаг, но ведь грешат — без вины — и полевые травы с цветами; а клятвам, что мы принесли друг другу навек, свидетели были высокое небо с огромной землей! Яшма по-прежнему нетронута, без изъяна,— бросайте от сердца злато на чашу весов и спешите ее выкупить».

Девица вернулась назад и обо всем рассказала.

— Теперь,— сказал Чиню Знатный дракон,— стоит затеять дело.

Тотчас оба они устремились к Южному морю, где и остановились у городских стен. Сиятельный господин вошел в город, оставив Чиня ждать за крепостными воротами. Вскоре увидел он человека, и тот отвел его во дворец.

Там восседал государь в багрянице, препоясанный жемчужным поясом. По обе руки от него теснились чины и царедворцы, и не было им числа. Опустился Чинь перед ним на колени и скорбным голосом изложил свою жалобу. Государь обернулся, подозвал одного из вельмож левой руки и приказал немедля доставить виновного. Тотчас же двое стражей отправились в путь.

Прошла половина дня, и они вернулись, ведя впереди себя дородного мужа,— черный его лик венчала алая шапка, а борода с усами торчали, как корешки бамбука из комеля. Достигнув середины двора, он преклонил колени.

Государь гневно возвысил голос:

— Слыхано ли, чтоб благородные званья венчали коварство и ложь?! Нет! Высокие звания — награда за подвиги и добродетель! И закон существует не смеха ради, а на страх лжецам и лихоимцам! За былые заслуги отдали Мы под твою руку обширные владения, поручив тебе печься о людях и быть им защитой. Но ты позабыл честь и предался алчности и любострастию! Что дал ты подданным, кроме нужды и горя?

Муж, доставленный во дворец, ответил:

— Человек, опорочивший меня, живет на земле, а ваш недостойный слуга — под водою. Каждому свое! Что же меж нами общего? Он возвел на меня напраслину, очернил, оклеветал безвинно! Если Величество поверит его наветам, восторжествует несправедливость, царский двор будет запятнан ложью, а я пострадаю напрасно. Но поможет ли это упрочить спокойствие среди верхов и в низах?

Тяжущиеся спорили и препирались без конца. Ответчик стоял на своем: он, мол, невиновен. И государь колебался, не зная, какое принять решение.

— Остается одно,— шепнул на ухо Чиню Сиятельный господин,— назвать имя и возраст Зыонг Тхи, чтоб ее вызвали для дознания.

Чинь так и сделал. Государь тотчас велел привести Зыонг Тхи.

День клонился уже к закату, когда воротились опять двое стражей и привели с Восточного моря красавицу в изысканном платье.

Государь спросил ее:

— Где твой муж?

Зыонг Тхи отвечала:

— Вон тот человек в синей одежде и есть мой муж. А человек в красном — мой лиходей. Увы, на беду мою, эта тварь похитила меня силой и держит в плену вот уже три года! Если милосердие, подобное солнцу, не озарит меня, дух мой иссохнет и плоть увянет от мерзкого любострастья. Ужели обречена я терпеть его до конца дней, не смея и глянуть людям в лицо?!

— О! — воскликнул в ярости государь.— Мы и помыслить не могли, чтоб злодей был настолько коварен! Высокие речи, праведные слова и грязное, похотливое нутро! Да за такие дела не жаль и предать его смерти!

Тут выступил вперед человек в голубом придворном платье,— был он Главным письмоводом Судебной палаты,— и сказал:

— Я, недостойный, слышал: награды, что жалуют под наплывом чувств, незаслуженны, и кары, наложенные во гневе, чрезмерны. Как говорится, остря клыки и когти, не расколи кувшина и не порушь изгороди. Пусть осужденный виновен, но ведь были у него и заслуги. За преступленье положено наказанье. Но, будь он и десять тысяч раз достоин казни, не лучше ль оставить ему жизнь, чтоб милосердием Величества он смог искупить прегрешенья. Нет, не казните его, а бросьте в темницу.

Государь похвалил справедливое слово и тотчас же вынес такой приговор:

— Слушайте и внимайте: люди в этой жизни, как путники на дороге,— один прошел, следом идет другой. Небеса не уклонятся от истины ни на волос: содеявший благо — обретает счастье: злодей — не находит успокоения. Закон издревле неизменен и ясен. Некогда, награждая былые заслуги, поставили Мы виновного правителем пограничного края. Ему бы творить чудеса добра! Он же выказал не благородство, обычное для драконов, а подлость и любострастие — свойства змеи. Безумства его и прихоти множились день ото дня. Закон — справедливомудрый — требует наказания. Горе ему, захватившему силой чужую жену себе на потребу! Да будет тяжким возмездие — на страх всем злодеям и лихоимцам! Женщина же, урожденная Зыонг, хоть и нарушила верность, но, став жертвой насилия, заслуживает состраданья. Пусть же она возвратится к своему первому мужу, а дитя, рожденное ею, оставит второму. Приговор Наш повелеваем исполнить без изъятий и промедленья!

Выслушав решение, дух Водяной змей понурился и ушел прочь. Царедворцы, стоявшие по левую и правую руку от государя, взглядом подали знак удалиться и Чиню.

Сиятельный господин, вернувшись домой, тотчас устроил достойный пир и подарил гостям дорогие подарки из носорожьего рога и панциря черепахи. Супруги Чинь, благодарные безмерно, низко поклонились ему и возвратились на землю.

Дома рассказали они обо всем родичам и домочадцам, а те радовались и дивились чудным делам.

Спустя какое-то время оказались у Чиня дела в Хонг-тяу. Проехал он мимо старого храма и видит: стены его какие совсем покосились, а какие и рухнули, каменные плиты с письменами треснули и поросли мхом; одно лишь дерево гао возносит в лучах заката белые цветы. Расспросил он древних стариков и старух и услышал:

— Год назад среди бела дня из ясного неба вдруг хлынул дождь, по реке заходили волны, и объявился огромный змей в десять чыонгов длиною, с синими плавниками и красным гребнем. Змей устремился на север, а следом за ним вереницей плыли сто или больше змеенышей. С той поры в храме чудеса совсем прекратились.

Сосчитал Чинь время по пальцам и понял: случилось все это в тот день, когда разбиралась его тяжба.

* * *

Нравоучение. Увы! Чтобы выстоять против насилья — поклоняются духам и приносят им жертвы; желая избегнуть беды — поклоняются и приносят жертвы. Так уж ведется: чуть что — кланяться и подносить дары. Но, откликаясь на моленья и просьбы, не должно ли различать их смысл? А не то, ублаготворив одного молящегося, можно навредить многим.

Дух Водяной змей за свои злодеянья отделался ссылкой. Великодушье государя здесь было поистине неуместным. А обойдись он с преступником, как некогда Сюй Сунь или Шу Фэй,— все бы остались довольны. Потому-то Ди Жэнь-цзе, когда стал наместником в Хэнани, просил у государя разрешения снести тысячу и семь сотен храмов и алтарей, недостойных поклонения.

Вот уж, поистине, благое дело.

РАССКАЗ О ЗЛЫХ ДЕЛАХ ДЕВИЦЫ ДАО

Легкомысленная девица из уезда Ты-шон (Благосклонные горы) по имени Дао Тхи — урожденная Дао, по прозванью Хан Тхан — «Хладный берег», была искусна в сочиненье стихов и словесной игре. В пятый год «Унаследованного изобилия» при госу-

дарях из дома Чан попала она в число дворцовых прислужниц и с той поры — что ни день — представала перед государем на игрищах и пирах.

Однажды государь поплыл в ладье на прогулку по реке Круглой серьги и достиг Первой восточной сходни. Здесь он в рассеянности прочитал две строчки стихов:

«Плотен туман, глух колокольный звон,
Гладок песок, шеренги деревьев длинны».

Никому из вельмож и царедворцев не под силу было продолжить государевы стихи, одна лишь Дао, не задумываясь, подхватила рифму:

«Берег хладен, рыба клюет луну,
Гусь на рассвете криком тревожит руины».

Государь довольно долго хвалил ее, и с той поры Дао — по первым словам стиха — стали звать «Хладный берег».

Но когда король Зу Тонг умер, она, очутясь за дворцовыми воротами, взяла себе обыкновение захаживать в дом Блюстителя посольских и дворцовых дел Нгуен Ньыок Тяна. Жена Тяна, бездетная и очень ревнивая, вообразила, будто Хан Тхан спуталась с ее мужем, схватила ее и избила до полусмерти.

Разъяренная, Хан Тхан продала свои заколки и украшения из дорогих каменьев и злата и наняла лихих людей, чтобы забрались в дом вельможи и отомстили бы за нее.

Но люди ее тотчас были схвачены слугами Тяна и на дознании показали на Хан Тхан. Пришлось ей — с испугу — обрить голову и в шафранной монашеской рясе бежать прочь из города и укрыться в пагоде «Стопа Будды». Здесь предалась она изученью молитв и канона и уже через месяц-другой весьма преуспела.

Построила она себе келью с алтарем, созвала сочинителей и попросила сложить надпись для доски, прикрепляемой обычно у входа. Явился на это собрание и некий школяр лет четырнадцати — пятнадцати из соседней деревни. Пренебрегая его малолетством, она сказала язвительно:

— Выходит, отрок этот — знатный стихотворец? Хорошо бы взглянуть на его искусство.

Школяр, вроде и не рассердясь, удалился, вызнал всю подноготную Хан Тхан и сложил такие стихи:

«Слушайте, люди: милостив Будда, недаром зовется он
Постижимым и Отрешенным.
Истинный праведник, чистый душою,
может неправду истиной сделать.

Тот, кто идет по пути совершенства, отыщет благую обитель
В лесах, на вершинах, у горных потоков
и почитаемым станет.
Я почитаю пагоду эту, Дао ее возвела на священной вершине,
Пленница звонких пьянящих созвучий
В пагоде этой ищет укрытья.
Губы ее — лепестки абрикоса, стан ее — ива, язык сладкозвучный
слагает напевы Лян, знаменитого песнями края.
Солнце сияет, рассеялись тучи.
Очи воздев, красавица просит
доступа на Тридцать третье небо.
Кажется: вот она бросится в реку, как некогда царские вдовы.
Волосы в горе она распустила, густые, как черные тучи.
Мир этот видит она в сновиденье, но в царстве духов
лишь половина того сновиденья,
В шелесте ветра слышатся Дао сладкие звуки,
струн перезвоны, трели свирели.
Дао алтарь посещает не часто, чаще поет и играет,
А ведь покровы отшельницы легче, чем одеянье для танца.
Влаги священной черпнув из ущелия Цао,
сразу же к зеркалу тянется дева,
Хоть не затихло напевное слово молитвы
и отзывается долго в стропилах.
Может быть, Дао свыкается с жизнью благочестивой,
Но не оставила прежних привычек, давних замашек.
Горестно ей, что никто не внимает ее искусному пенью,
Только постриглась она и немедля плюнула на поученья.
Что ей монашеское одеянье! Тянется Дао,
как прежде тянулась, к парчовой накидке певицы.
Все благочестье — обман и притворство.
Так был на Празднике лотоса некогда Тао бессмертный
обманут.
Колокол смолк. Вечереет. И чай уже выпит. Пойду восвояси.
В горы уйду, отыщу там пещеру глухую,
залягу и высплюсь на славу».

Завершив свое сочиненье, он переписал его покрупнее и прилепил у входа в пагоду. Окрестный люд — ближний и дальний — спешил наперебой выучить стихи.

Хан Тхан, увидав это, покинула пагоду и скрылась. Прослышав, будто пагода Поучений истинного пути в округе Хай-зыонг (Светлое море) стоит в превосходном месте между красивыми горами и чудными водами, а оберегают храм преподобный старец

Фап Ван — «Вездесущее облако истины», и нестарый летами монах, Во Ки — «Отрешенный своекорыстия», Хан Тхан явилась туда и попросила пристанища.

Фап Ван, не соглашаясь на это, сказал Во Ки:

— Девица сия несдержана нравом и легко разгорается любострастием; годы ее самые что ни на есть пылкие, а красота великолепна. Надобно нам поостеречься,— ведь сердце людское не камень, красота чарует нас и туманит разум. Пусть розовый лотос и не пятнит черная грязь, но ведь бывает — и малое облако затмевает луну. Отыщи подобающие слова и откажи ей, чтоб не раскаяться после.

Но Во Ки не внял ему и позволил Хан Тхан остаться. А Фап Ван, разгневанный, перебрался на гору Феникс.

Хан Тхан же, хоть и поселилась в святом и тихом месте, старых привычек своих не оставила. И всякий раз, поднимаясь на гору, в храм, надевала шелковое платье и глаженые шаровары, красила губы и пудрила щеки. Предел любострастия рядом с нами, и добродетель легко уязвима. Во Ки и Хан Тхан соединились на ложе любви. Они полюбили друг друга и в опьянении страстью были точно весенние мотыльки или дождь после долгой засухи. Отныне им было не до молитвенных бдений.

День за днем слагали они стихи, она — строку, он — другую, воспевая всяческие красоты гор. Стихов этих много, всех и не перепишешь, позвольте предложить лишь некоторые.

ТУЧИ В ГОРАХ

По сумрачным глубинам небосвода
Тяжелые проходят облака.
Дождливым утром, на заре вечерней
Со всех сторон плывут издалека.
Ленивый служка при ленивом бонзе,
Способны оба спать и спать века.
Врата Прозренья, Самосозерцанья
Закроет чья прилежная рука?

ДОЖДЬ В ГОРАХ

Темные выси дол окропили водой,
С шумом протяжным дождь ниспадает густой,
С горных вершин осыпаются чистые перлы,
Падает с неба на землю звезда за звездой.
Сыростью зябкой воздух прохладный пропитан,

Влаги дыханье в дом проникает пустой.
В комнате нет ни души, только тьма и безмолвье,
Ночь на исходе, мрак поредел за стеной.

ВЕТЕР В ГОРАХ

До утра всю ночь ярился ветер,
Слышался зловещий свист и стон,
А теперь цветов сверкают краски,
Зеленеют листья шумных крон.
Льется колокола звон протяжный,
В чистый уплывает небосклон,
О каком противоречье мира
Говорит тревожный этот звон?

ЛУНА В ГОРАХ

Из-за чащ восходит к небу свет,
Разливаясь, озаряя дали.
На горе поставлен ясный диск,
Пламя в этом светится зерцале.
Лаской озарены сердца,
И глаза от счастья замерцали.
С Южной галереи глядя в ночь,
Что вздыхать о тяготах в печали?

ПАГОДА В ГОРАХ

Шорохи в косых тенях таятся,
Затевают с бликами игру.
Пряно пахнет старый ствол коричный,
Сосны запевают на ветру.
Слышится разноголосый щебет,
Эхо откликается в бору.
Вспомнит ли когда-нибудь о ближнем
Тот, кто в суетном гостит миру?

ПОСЛУШНИК В ГОРАХ

Ты родился в горах, в этой чаще лесной вырастал.
Лет немало промчалось, и зим пролетело немало.
Ты привык с облаками шутить, зори песней встречать,
Ты луну в небесах окликал вечерами, бывало.
Ты со стаями птичьими все эти годы дружил,

Был собратом косули и другом лесного марала,
И порою завесу дымящихся туч пред тобой
Раздвигали родители на крутизне перевала.

ГИББОН В ГОРАХ

Карабкаешься по крутому склону,
В листве мелькаешь, прячешься за пнем,
Печальным криком оглашаешь чащи
Так жалобно, что часто слезы льем.
Ведешь друзей, как верный провожатый,
Захочешь пить — склонишься над ручьем.
Уходишь, ты уже за облаками,
Недостижим в убежище своем.

ПТИЦА В ГОРАХ

И дни и недели проводишь ты за облаками,
Над кручей паришь ты и плавно садишься на сук,
В тенях предвечерних мелькаешь ты легкою тенью,
Когда ты поешь, откликаются горы вокруг.
Летишь на бугор, держишь сладкую ягоду в клюве,
Банановый плод или тоненький сочный бамбук,
Ты прыгаешь с ветки на ветку в листве шелестящей,
Кружишься, порхаешь среди беззаботных подруг.

ЦВЕТЫ В ГОРАХ

Алые, вы расцвели весной
И на каждой ветке запылали,
Юг и север, запад и восток
В расписном парчовом покрывале,
Долы полонил ваш аромат,
Он пьянит в лесу, на перевале,
С сотворенья мира сколько раз
Распускались вы и опадали.

ЛИСТЬЯ В ГОРАХ

Крохотным, нет вам числа, вы — зеленый разлив,
Весь вы простор затопили от края до края.
Осень приходит — и, желтые, сохнете вы,

Снова весна — вы бушуете, зелень густая.
Вы одеваете ветви, на этих ветвях
Звонко щебечет пернатых веселая стая.
Клонится солнце к закату, колышетесь вы,
Продолговатые тени на землю бросая.

Они любили друг друга без памяти и ни о чем, кроме радостей и утех, не могли и помыслить.

В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Буйвола, Хан Тхан понесла и оттого занемогла. Болезнь то отпускала ее, то возвращалась снова. Она прохворала всю весну и лето. Само собою, ей нужен был лекарь. Но Во Ки не знал целебных снадобий и не умел врачевать болезни. Вот и случилось Хан Тхан в муках умереть родами.

Во Ки горевал безмерно. Он поместил до погребенья останки ее в конце западной галереи и с утра до ночи стучал в крышку гроба, плача и сетуя:

— О возлюбленная, из-за меня умерла ты неправедной смертью. Отчего не дано было нам умереть вместе? Как я хотел бы разделить твое одиночество у Девяти источников! При жизни умом и познаньями затмевала ты прочих людей, и, если обрела ты чудотворную силу, прошу: уведи меня поскорее под землю. Невмоготу мне видеться снова с праведным старцем Фап Ваном.

Спустя месяц-другой Во Ки захворал от скорби и горя. С полгода маялся он, не вкушал ни похлебки, ни риса. Однажды ночью явилась ему Хан Тхан и сказала:

— Была я изменчива и непостоянна. Искала опоры у врат Будды, но не отлепилась сердцем от суеты и праха. Надо мной тяготело суровое предопределенье, и нас разделила судьба. В этой жизни нам не было счастья в любви, лишь смерть свяжет нас воедино. Жду, что постигнешь ты поученье шести подобий и оставишь пределы четырех материков. Надеюсь, покинув на время царствие Будды, воротишься ты к Девяти источникам, чтобы и я сумела поднять свой лик к всемогущему Будде и, в смерти обретя превращенье, снова родиться и искупить былые грехи.

Умолкла и скрылась.

С той поры недуг его день ото дня становился все тяжелей и опасней. И когда преподобный Фап Ван, прознав обо всем, спустился к нему с горы, хворь была уже неисцелима. Они лишь глядели один на другого, заливаясь слезами. Вскоре Во Ки скончался.

В ту ночь бушевал ветер с дождем, сорвал он в столице немало крыш и порушил многие стены. А жена Блюстителя посольских и дворцовых дел Нгуен Ньыок Тяна увидала во сне, будто в левый бок ее, у самой подмышки вгрызлись два змея. С той ночи понес-

ла она и во благовременье родила двоих сыновей; первенца нарекли Лаунг Тхук — «Дракон-отрок», а другого Лаунг Куи — «Дракон-дитя». Оба, едва отлучили их от груди, умели уже говорить, а к восьми годам преуспели в словесности. Отец с матерью не чаяли в них души.

Однажды стояло жаркое лето. Ньыок Тян наслаждался прохладною тенью на высокой галерее, дверь которой глядела вниз, на дорогу. Вдруг на дороге показался нищий монах. Подле дома Блюстителя он замешкался, устремил на него взор, как бы не в силах двинуться дальше, и сказал с сокрушеньем:

— Экая жалость, такие хоромы обречены стать логовом водяных змеев! Беда!..

Ньыок Тян от страха изменился в лице и опрометью кинулся вслед за монахом. Сперва тот стал запираться: мол, болтал безо всякой причины и подозрения Тяна напрасны. Но Ньыок Тян не отступился, улещал его и упрашивал, и монах открыл ему наконец, что дом его заполонила нечисть. Если это не кара, предопределенная в прошлом, то, наверное, наказанье за грехи нынешней жизни. И спустя пять месяцев в его доме не останется ни одной живой души.

Ньыок Тян возопил, моля уберечь его от напасти, и тогда монах сказал:

— У меня глаз наметанный и верный. Покажите мне всех ваших родных и домочадцев. А я, если опознаю кого, дам вам знать — постучу по этому горшку. Но помните: стоит вам выдать себя хоть единым словом, и беда разразится в тот же миг.

Ньыок Тян вызвал всех поклониться монаху. Монах оглядел их и покачал головой.

— Нет,— сказал он,— все они ни при чем.

И снова спросил, не остался ли кто-нибудь в доме. Ньыок Тян самолично вошел в дом и кликнул своих сыновей, сидевших в книжном покое. Едва оба отрока вышли, монах постучал по горшку и стал их нахваливать:

— Ах, что за сыновья, истинное сокровище! Уж кому суждены великие свершенья и громкая слава, так это — им обоим.

— Из какой же пагоды принесло вас с вашими похвалами? — в сердцах отвечали отроки.

И, взмахнув полами одежды, они удалились в дом.

Ньыок Тяну все это пришлось не по душе. А монах простился с ними и ушел.

Ночью Лаунг Куи заплакал и сказал Лаунг Тхуку:

— Чую я, этот сладкоречивый монах явился сюда неспроста. Как бы он чего не пронюхал,— ведь нам тогда несдобровать.

Но Лаунг Тхук отвечал, смеясь:

— Одолеть нас мог бы только старец Фап Ван. У прочих одним мановеньем руки исторгнем мы заговорные амулеты. Да и Ньыок Тян, видя в нас свою плоть и кость, ничего не заподозрит. Уймись, нам не о чем вовсе тревожиться.

А Ньыок Тян, утратив покой и сон, встал и бродил бездумно. И сквозь незатворенное до конца окно услышал невольно их разговор. В отчаянье не знал он, как ему быть, что делать.

На другой день, сказавшись занятым, он удалился из дома и стал обходить одну за другой знаменитые пагоды, спрашивая повсюду о преподобном старце, принявшем имя Фап Ван — «Вездесущее облако истины».

Спустя месяц или более добрался он и до горной пагоды Поучений истинного пути. Там некий отрок-послушник сказал ему, будто еще во младенчестве слышал такое имя, но старец тот давно удалился на далекую гору. И, указав на гору Феникс, добавил:

— Он во-он на той вершине.

Ньыок Тян подобрал тотчас полы одежды и начал взбираться на гору. Пройдя четыре или пять замов, достиг он места, где обитал старец. Фап Ван почивал на лежанке, и храп его был подобен грому. По правую и левую руку от него стояли двое служек. Завидя восходившего согнутым в три погибели Ньыок Тяна, отроки стали гнать его с бранью и криком своим разбудили преподобного.

Ньыок Тян пал перед ним ниц и поведал о приведшем его сюда несчастье.

Преподобный усмехнулся и молвил:

— Как же вы, господин мой, так обознались? Ведь я — дряхлый старец, не служу в важных храмах, и ноги моей давно уже не было в городах. Мне дано лишь теперь обретаться в келье из трав и листьев да, пройдя по голой земле, возжечь куренья и прочитать раз-другой молитвы по книге «Лэн-янь». Где уж мне до заклинаний и чародейств?

— А высокосовершенный Будда не избегал состраданья и из него построил свой плот, жалеючи тех, кто носился в волнах бескрайнего моря бедствий, и спасая иных, утопавших вконец одурманенными в потоке грехов и соблазнов. Не он ли желает, чтоб все и каждый достигли Просветления, осененные добром? И если вы, учитель, откажетесь мне помочь, как сможете вы и впредь утверждать истинное учение?

Тут старец возрадовался и дал свое согласие. Тотчас воздвиг он на горе алтарь, повесил на всех четырех его сторонах светильники и, взяв в руки кисть, начертал красной краской волшебные письмена. Не прошло и одной стражи, как густые черные тучи заволокли алтарь на десять чыонгов вокруг. Налетел холодный вихрь, и люди затрепетали от страха и стужи. Преподобный под-

пял в руке посох, указуя им и отдавая приказы. Временами выходил он из алтаря с видом яростным и гневным.

Ньыок Тян укрылся в хижине, стоявшей на отшибе, стараясь тайком углядеть хоть что-нибудь. Но ничего не было видно. Потом в небе послышались стоны и плач, но вскоре умолкли, и тучи растаяли.

Наутро преподобный взял камень, окрасил его желтой охрой и, начертав на нем письмена, вручил Ньыок Тяну с такими словами:

— Ежели, воротясь восвояси, увидите нечисть в каком ни на есть обличье, бросьте немедля в нее этот камень, и последние беды исчезнут.

Возвратился домой Ньыок Тян и видит: все сидят с удрученными лицами и плачут. Жена рассказала, что прошлой ночью, в час третьей стражи, их сыновья взялись за руки, бросились в колодец и утонули; а вода из колодца поднялась и едва не затопила крыльцо. Мертвые же тела детей поставлены до погребенья в южном саду; дожидались лишь Ньыок Тяна, чтобы предать их земле.

— А перед смертью они ничего не говорили? — спросил Ньыок Тян.

— Нет. Сокрушались только, что пожили мало. Еще бы месяц-другой, довели бы дела до конца. Да вроде какой-то неистовый старец вдруг все загубил.

При этих словах она снова заплакала навзрыд.

Ньыок Тян утешил ее, и они отправились вместе в южной сад. Отворил он крышки гробов и видит: мертвые сыновья превратились в желтых змеев. Взял Ньыок Тян заветный камень, бросил, и оба змея рассыпались в прах.

Тотчас собрали супруги много золота и шелка и понесли с благодарностью преподобному Фап Вану. Но добрались они до места, а вокруг никаких следов, стоит только келья из трав и листьев, вся поросшая мхом, и нигде ни души. Огорчились супруги и отправились восвояси.

* * *

Нравоучение. Увы! Ложные верованья могут лишь причинить вред. Ну а ежели к ним вдобавок преступать приличия и законы, тут уж и говорить нечего!

Недостойный этот Во Ки, будучи прелюбодеем, дал волю своему похотливому нраву; лгал он не только людям, но и Будде, коему поклонялся. А потому, будь он осужден на смерть, как некогда Ша Мыня и его людей осудил государь Вэй, никто бы не усмотрел в этом ни малейшей несправедливости.

Ну, а сам Ньюок Тян, ужели он без вины? Отвечу: ежели он, вельможа, таков,— кого же тогда называть безупречным правителем?! Ростки наказанья уже взошли и могли обернуться бедой.

Содеявший да претерпит,— в этом нет ничего удивительного.

РАССКАЗ О ПОКИНУТОЙ ПАГОДЕ В УЕЗДЕ ВОСТОЧНЫХ ПРИЛИВОВ

Во времена государей из дома Чан, наверно, не было места, где бы не поклонялись нечистым духам, обосновавшимся в буддийских молельнях и храмах — в пагоде Желтой реки и в пагоде Бронзового барабана, в пагодах Умиротворенного жития и Кротчайшего чада, в пагоде Всепроникающего сияния и под навесом Лазурной яшмы. Возведены они были повсюду, а людей, что постриглись в монахи и монахини, было великое множество — чуть ли не половина всех жителей.

Но особо сильны поклонения эти и верованья были в уезде Восточных приливов — Донг-чиеу. Пагод с часовнями построено было в каждой большой деревне с десяток, а в малых деревушках по пяти или шести; и были они снаружи обнесены изгородями, а внутри расписаны красным и золотым лаком. Каждый человек, одолеваемый недугом, верил в одно лишь «несуществованье», и во всякое время по всем праздникам у алтарей тесно было от молящихся и приносящих дары. Сам Будда выглядел милосердным и щедрым,— молящийся вроде всегда обретал просимое,— и чудотворная сила его слыла безмерной. А потому почитанье и вера людская росли, и смел ли кто в них усомниться!

При государе Зиан Дине из дома Чан война полыхала круглый год. Многие селения были сожжены, а пагод с часовнями уцелело едва по одной из десятка; да и те, что остались, брошенные на волю падающих дождей и летучих ветров, поблекли на пустошах, среди диких трав и кустарников, покосились, скособочились, а местами рухнули.

Когда полчища Нго отступили, народ воротился к привычным своим трудам. Служилый человек по имени Ван Ты Лэп прибыл править уездом и, найдя запустение и разруху, тотчас велел податному люду во всех общинах вязать тростник и ладить плетенки, чтобы восстановить хоть часть разрушенного. Просидел он в уезде год и видит: тамошний люд страдает от воровства; пропадает напрочь все, что только возможно съесть,— от кур со свиньями и красногребенчатых уток с гусями до рыб из пруда и плодов из сада.

И сказал Ты Лэп самому себе: «Я ведь прибыл оберегать эту землю и управлять ею. Но мне не несут жалобы, по которой я мог бы разобрать злодейства воров,— видно, нет во мне твердости, чтобы унять их, а робость с уступчивостью только во вред делу. Сам я во всем и виновен».

Но потом Ты Лэп решил: воровство это — сущий пустяк и не стоит особенных опасений; довольно будет из ночи в ночь отряжать в деревнях тайные дозоры.

Неделя прошла, дозорные никого и в глаза не видели, а воровство продолжалось по-прежнему. Со временем лиходеи, и вовсе утратя страх, стали таскать кувшины с хмельным прямо из кухонь, заходить в дома, приставать к хозяйским женам и детям. Бывало, соседи всем миром нагрянут, окружат их, а они исчезнут неведомо куда.

Узнав об этом, Ты Лэп засмеялся и сказал:

— Зря мы так долго валили все на воров, здесь явно козни чертей и злых духов. От них — вся маета.

И отправился он собирать искусных чародеев и заклинателей, прося усмирить нечисть. Творили они колдовство и заклятья — день ото дня все усерднее, а лихие дела продолжались пуще прежнего. Устрашился Ты Лэп, созвал деревенский люд и стал советоваться:

— Вы ведь в прежние времена поклонялись Будде. Но давно уже, из-за войны, неусердны в молитвах и возжиганье курений, потому он и не помог вам, не спас от несчастий и бед. Отчего бы вам не отправиться в пагоду и не помолиться Будде? Вдруг, вам на счастье, это поможет.

Тотчас поспешили люди в часовни и пагоды, зажгли куренья, совершили положенные обряды и начали молиться:

— Мы, недостойные, поклоняемся небесному Будде, давно уверовали мы и всею душой уповаем на данный Буддой закон. Ныне восстали черти и оборотни, изводят не только нас, но и вредят шести бессловесным тварям. Неужто же Будда сидит и молча взирает на это? Ведь есть в нем жалость и состраданье? Склонясь, умоляем явить милосердие и великодушье, чтобы народ не шатался в мыслях, чтоб и люди и твари обрели покой. А мы, недостойные, всем миром будем за то благодарны безмерно. Ведь только улеглись беспорядки и смута, нет у нас самих насущного пропитанья, не на что даже доставить сюда малый кусок древесины или изразец черепицы! Но обещаем, когда заживем мы богаче, почтительно подновить и отстроить часовни и пагоды в награду за нынешнее благодеяние.

Той же ночью случилось воровство еще злее прежних. Ты Лэп не знал, как дальше и быть. Но тут услыхал он о просвещенном

Вьонге в уезде Ким-тхань (Золотая крепость), отменно гадавшем по книге «Ицзин», и тотчас отправился узнать, что он предскажет.

Просвещенный Вьонг, закончив гаданье, сказал:

«С колчаном кожаным,
Полным стрел,
На добром коне,
Летящем, как птица,
Одетый в холщовый
Наряд стрелка,—
Прискачет всадник,
И чудо свершится».

И так объяснил свои слова:

— Если хотите избавиться от напасти, завтра же поутру, выйдя налево из уездных ворот, отправляйтесь в южную сторону. Когда увидите человека, одетого и снаряженного, как сказано, знайте: именно он может изгнать нечисть. Просите его, зовите, не слушайте никаких отказов.

На другой день Ты Лэп вместе со старцами сделали все, как сказал просвещенный Вьонг. Они глядели во все глаза,— дорога заполнялась прохожими, но не было между ними ни одного подходящего.

Солнце клонилось уже к закату, и они, приуныв, едва не собрались обратно; но тут появился с гор человек верхом на коне, в полотняной одежде, с луком за спиной. Бросились они к нему и преклонили колени. Человек этот изумился и стал их расспрашивать, тут они — все разом — выложили свою просьбу.

— Ну можно ли так полагаться на прорицанья! — засмеялся всадник.— Я с малых лет занимаюсь охотой, не покидаю седла, не выпускаю из рук лука. Вчера услыхал я, будто бы на горе Кротчайшего родителя полным-полно жирных оленей и добрых зайцев, и вот решил поохотиться. Откуда мне знать, как ставят алтари и колдуют? А стрелять по бесплотным духам я не умею!

Ты Лэп про себя решил: человек этот знатный чудотворец, но чурается славы волшебника, боясь излишних хлопот, и живет себе беззаботно в горах в обличье стрелка и наездника.

Тотчас он стал зазывать и просить его всячески.

Человек видит, не отказаться ему никак, и нехотя дал согласие. Пригласил его Ты Лэп в уезд, на постоялый двор, а там уж готово ложе под пологом с циновками и тюфяком. Убрано все богато, уход за ним и уваженье, словно бы он — святой.

«Они принимают меня с таким почтеньем,— подумал гость,— считая великим чародеем. Но ведь на самом деле я ничего в этом

пе смыслю. Чем отплачу я им за заботу? Да и зачем мне в это ввязываться? Если вовремя не оберегусь, не скроюсь, настанет день моего позора».

Долго не медля, около полуночи, когда все вокруг сладко спали, он потихоньку покинул уезд. Направился он на закат и достиг дощатого моста. Небо было туманным и темным, поздняя луна еще не взошла. И вдруг он видит: какие-то люди огромного роста, весело перекликаясь, поднимаются с поля. Спрятался он в укромном месте и решил посидеть в засаде, покуда не выяснит, что они там затеяли. А пришельцы мгновенье спустя сунули в пруд ручищи, взбаламутили воду и давай хватать без разбора рыбу, большую и малую. Мечут ее в отверстые рты, жуют, заглатывают и вдобавок, поглядывая друг на друга, приговаривают со смехом:

— А рыбешка-то хоть куда! Вот так, с толком да не торопясь, и расчувствуешь вкус. Еда эта будет получше цветов да курений, которыми вечно они нас потчуют! Жаль, не довелось ее раньше попробовать.

А один, хохоча, воскликнул:

— Право слово, головы наши велики, да глупы! Сколько времени нас люди обманывали. Если уж и расщедрится кто из них да притащит жертвенный рис, все одно — отсыплет тебе ле-другой, не больше, а ты изволь умудрись набить себе брюхо, куда и тысяча канов упрячется. Да еще карауль им вечно у входа. Не будь у нас этаких славных деньков и продолжайся наш пост по-прежнему, жизнь поистине ничего бы не стоила!

Другой сказал:

— А я — так и раньше едал скоромное; не был, как вы, целомудренным. Да вот беда, народ обеднел вовсе, нечем даже меня одарить. В брюхе — ничего, во рту — пусто. Я уже забыл, чем мясо-то пахнет, точь-в-точь как святой Конфуций, когда он в земле Ци три месяца не прикасался к мясному. Что-то сегодня ночь холодна и вода студена, боюсь, нам здесь долго не выстоять. Не лучше ли дочиста выдрать в саду сахарный тростник, подражая древнему Военачальнику Тигриной головы!

И повели они друг друга в сад, где рос сахарный тростник, начали выдергивать его, обдирать кожуру и высасывать сок.

Тут человек, сидевший в засаде, наложил стрелу, натянул тетиву и, выстрелив внезапно, пронзил сразу двоих. Грабители заголосили, бросились прочь и, пробежав десяток-другой шагов, все куда-то исчезли.

Была лишь слышна их перебранка:

— Говорил ведь, нынче и день дурной, и час, не надо ходить! Не послушались, пеняйте теперь на себя!

Человек тогда криком стал созывать народ. Люди в деревне переполошились, вскочили, засветили фонари, зажгли факелы и, разделясь, побежали в погоню по разным дорогам.

При свете увидали они на земле кровавый след и тотчас пустились по нему — прямиком на закат. Пройдя более половины зама, достигли они заброшенной пагоды, вошли и видят: стоят, покосившись, посреди пагоды изваянья обоих Стражей истинного пути, а спина у каждого глубоко пробита стрелою. Начали люди качать головами да прищелкивать языком: чудное, мол, дело, такого еще не бывало. Навалились они и опрокинули оба изваяния наземь.

Тут послышался чей-то странный голос:

— Захотели брюхо набить... Думали ль, что от этого рассыплемся в прах? А ведь всему виной этот старый олух — Водяной дух. Втравил нас в беду, а сам небось спасся. Мы же из-за него погибаем. Горе нам, горе!

Послали тогда часть людей в храм Водяного духа. А там стоит истукан из глины. Вдруг видят: обличье его изменилось, лицо сделалось иссиня-бледным, словно его окропили индиго, а на губах налипла рыбья чешуя. Тотчас разнесли и этого истукана.

Правитель уезда Ван Ты Лэп опорожнил все лари и сундуки, чтобы отплатить тому человеку за его благодеянье, и он, отягченный, отправился восвояси. А нечисти с той поры не видно было нигде и следа.

* * *

Нравоучение. Увы! Учение Будды поистине бесполезно и даже весьма вредоносно. Послушаешь громкие слова — вроде бы сострадание и доброта всеобъемлющи, а станешь доискиваться воздаянья — все очень туманно и ускользает, как ветер меж пальцев. Но ведь почтенье и вера людей дошли до того, что многие разорялись дотла, жертвуя на пагоды.

Взглянем на это суровым и беспристрастным оком: ежели в полуразваленной пагоде творились такие бесчинства, сколько же зла и бед в красивых и шумных храмах, где теснятся молящиеся!

И все ж, сколько бы раз благой государь или добронравный военачальник ни пытались искоренить ложную веру, им это не удавалось. Ибо среди почитаемых и просвещенных мудрецов всегда находились ее приверженцы, подобные хаук ши по имени Су в правление дома Сун или чанг нгуену из рода Лыонг у нас при государях Ле.

Такое могло бы случиться, лишь уродись сотни мужей вроде Хань Чан-ли да соберись они воедино. Нагрянули бы, спалили все книги и захватили дома.

Муж родом из земли Киен-хынг (Зримое благополучие) по имени Зы Нюан Ти, прозванный «Новым творением», был известен уменьем слагать стихи, а особенно песни. В столице распространялось благоуханье его славы, и лицедеи с певцами за каждую сочиненную им песнь дарили ему великие деньги. На исходе лет «Унаследованного изобилия», при государях из дома Чан, явился Зы по какому-то делу на прием к военачальнику округа Верной реки — Ланг-зианг, звали его Нгуен Чунг Нган.

Тот, узнав о приходе Зы, поспешил ему навстречу и учинил роскошный пир в Плавучем чертоге зеленой яшмы, вызвав туда более десятка певиц, дабы пеньем своим и плясками потешали пирующих. Была среди них и прекрасная собою девица по имени Туи Тиеу — «Пьянящий шелк». Сиятельный Нгуен спросил Зы:

— Не приглянулась ли вам какая из них? Которая из девиц вам по сердцу, ту и прошу принять от меня в подарок.

Вновь зазвучала музыка, и Зы прочитал нараспев такие стихи:

«Сколько здесь лотосов белых прошло,
чудом возникли на миг,
Их неземные чисты голоса,
светел божественный лик.
Разгорячил нас напиток *пьянящий*.
Шелк охладил белоснежный.
Нежный напев из страны Цзяннань
в душу волненьем проник».

Сиятельный Нгуен, смеясь, обратился к Туи Тиеу:

— Итак, учитель отметил тебя перед всеми.

Зы в тот день захмелел до беспамятства и, очнувшись уже среди ночи, видит: Туи Тиеу сидит подле него. Возблагодарил он в душе несказанно сиятельного Нгуена, а поутру, прежде чем уйти восвояси, отправился выразить ему свою признательность.

— Девица эта,— сказал сиятельный Нгуен,— весьма хороша и изысканна, берите ее, учитель, и любите как должно.

Зы тотчас и увез ее в Киен-хынг. Туи Тиеу, одаренная ясным умом, всякий раз, когда Зы читал книги, тоже училась украдкой и вскоре весьма преуспела. Тогда он принес сочиненья о составлении писем и ответов и стал обучать Туи Тиеу. Года не прошло, как она повела всю его переписку.

В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Пса, Зы, намереваясь держать испытанья в столице, уложил вещи и собрался в дорогу; но, не в силах расстаться с Туи Тиеу, взял с со-

бой и ее. Добравшись до места, сняли они себе жилье в квартале Мира и согласия, подле речного устья.

Однажды, в первый день нового года Туи Тиеу подбила подружек отправиться в пагоду у башни Небесного воздаяния и воскурить благовония пред изваянием Будды. В эту же пору вельможа из рода Тхэн, пожалованный званьем «Опора державы», гулял переодетый по улицам и, увидав красоту Туи Тиеу, силой увлек ее в свой дом.

Зы подал жалобу на государево имя, но род Тхэн был влиятелен и силен, и потому суды и палаты избегали выносить свой приговор, а судьи откладывали кисти, не смея вникать в эту тяжбу.

Вконец опечаленный, он и думать забыл про науки да испытанья. Однажды шел он понурясь за город и повстречал множество всадников. Они любовались цветами и теперь возвращались в столицу. Впереди голосили глашатаи, позади двигалась стража. Вид у всех был торжественный и важный; дорогие заколки и булавки градом сыпались на дорогу, повсюду переливался багрянец. Под конец Зы увидел Туи Тиеу: восседая в носилках, затянутых цветастым шелком, она проплывала под ивами.

Хотел он броситься к ней, но окружали ее люди именитые и знатные; оробел он и лишь проводил ее страстным взглядом. Слезы ручьями побежали по его лицу, и он не промолвил ни слова.

Туи Тиеу прежде завела себе двух дроздов-пересмешников, и вот однажды Зы, указуя на них перстом, сказал:

— Хорошо вам, малые твари, всякий день милуетесь друг с дружкой, не то что я — маюсь на пустой и холодной подушке. Отчего бы вам не расправить крылья и не доставить любимой мое письмо?

Дрозд, услыхав его, закричал и запрыгал, вроде бы собираясь в путь. Тотчас Зы написал письмо и привязал к птичьей лапке. В письме говорилось:

«Вчера промелькнули под ветками ивы так быстро носилки,
Что мы не успели обмолвиться словом.
Несчастные, слезы тайком мы стирали, страдая в разлуке.
Теперь нас туманная ночь разделяет, а были мы вместе.
Жилище вельможи хранят бесконечные двери, замки и засовы.
И утром печалимся и вечерами страдаем в тоске друг по другу.
Ведь старое чувство — оно не слабеет.
Тоска и отчаянье связаны в узел.
Читая стихи, вспоминаю тот праздник, где мы повстречались,
И голос — твой голос, высокий и чистый,
И неповторимую снова я слышу мелодию дана.
Мой дар драгоценный! Впервые домой тебя вел я в тот вечер.

Еще наша страсть не успела вполне разгореться.
Так рано с тобою нас лезвие зла разделило.
Крик дикого гуся печален, и ласточек щебет невесел,
И тучи над землями Цинь небосклон застилают.
Стемнеет — в глубокой тоске раздвигаю наш полог парчовый,
Прижмусь к твоему одеялу, холодную ткань обнимаю.
Где наши утехи на ложе лиловом под пологом алым?
Я так одинок, так мне грустно в покое для чтенья.
Сверчка стрекотанье и дождь — как созвучны две эти печали!
За тонкой стеной безысходность и холод,
С утра перелетные гуси рыдают,
кричат в непроглядном тумане.
Грустит вечерами свирель одиноко, и по ветру стелются звуки.
Молчу, чтоб страдания скрыть, слово мне вымолвить трудно.
И только над книгами молча склоняюсь.
Ни в чем не могу я найти утешенья.
Но как же унять эту боль, эту муку?
Но как же мне доступ найти во дворец
ненавистного мне царедворца?
Где храбрый Кун-но или Сюй Цзюнь знаменитый?
Ну как же вернуть мне мою драгоценную яшму?
Как мне донести до тебя мои тайные мысли?
Я этой бумаги клочок посылаю,
Ему лишь могу я доверить печали».

Дрозд улетел и опустился у полога близ ложа Туи Тиеу. Она, прочитав письмо, тотчас раскрыла бумажный листок,— на подобном когда-то писала Сюэ Тао,— и, обмакнув в тушечницу кисть, сравнимую по совершенству с кистью из Линьчуаня, написала ответ. В письме говорилось:

«Я бедная девушка Туи Тиеу, в простой родилась я семье.
Росла я, друзья меня песням учили,
Училась приятному я обхожденью,
Постигла тайны игры на дане, напевы страны Хэси.
Но никогда еще из раболепства, как Мэн Гуан,
я не поднимала до самых бровей поднос.
Могла ли я знать, где опору найду
И кто мне когда-нибудь счастье вручит?
Игрою на каме, как древле Чан Цин знаменитый,
никто еще сердце мое не сумел полонить.
Я чтила высокий талант стихотворца Ду Му за стихи
о красавицах юных, цветущих в покоях дворца.

Зерно — к янтарю, железо — к магниту, а я потянулась к тебе,
К тебе я, счастливая, прислонилась, как стебелек маниока к сосне.
Чудом была наша встреча, как будто в Обители духов
случилась она.
Но так же, как в давнее время другую,
меня на дороге похитил злодей,
И мы, друг для друга рожденные,
стали отныне несчастнейшими из живых,
И счастье для нас обернулось несчастьем и худшим из зол,
Сношу я позор и обиду терплю,
Робею, страшусь я ударов судьбы.
Я пищу вкушаю и сплю по ночам, потому что
страшусь умереть, никогда не увидев тебя.
Разлука не в силах любовь мою вырвать из сердца,
вовеки не в силах она мою память убить.
Я так изменилась в разлуке, я стала другой,
Волос не чешу, а к помаде и не прикоснусь,
Светильник мой гаснет, и вечною стала пора непогожей весны.
А в зеркало гляну: сквозь слезы — морщины.
Я больше не в силах глядеть.
Но птица мне весть принесла, и надеюсь опять,
Хоть горечь разлуки, увы, нестерпима для нас.
Хань Хэн написал, что поломаны ветви у ивы и ствол,
Но снова жемчужницы к старым прибьет берегам.
Тревоги меня одолели, печали и страхи...
Но как все могу я в письме описать!..»

С этого дня Туи Тиеу, опечалясь вконец, занемогла. Вельможа в званье «Опора державы» спросил у нее:

— Ты, верно, томишься по тому юнцу, торговавшему стихами?

— Само собою,— отвечала она,— узы страсти еще не распались, горе не стало легче, клятва не разлучаться друг с другом еще не поблекла, хоть и нарушен обет жить и состариться вместе. Нынче, увы, как говорится, над землею Чу дождь, а в Яне — солнце; ивы увяли, а персики свежи! И потому еще в древности некая женщина, презирая богатство и знатность, горевала о бедном лепешнике, а другая, отвергнув мирские утехи, бросилась с галереи наземь. О, как они были правы!

И с этими словами она вознамерилась сдавить себе горло платком и умереть. Тогда вельможа, кривя душою, сказал:

— Мы и сами частенько задумывались об этом. Утешься же и озаботься исцелением плоти; рано или поздно пригласим Мы сюда поэта Зы Нюан Ти, дабы продлилась твоя давняя любовь.

Ведь ты ни в чем не повинна. Отчего же, отвергая предначертанья судьбы, ты ищешь бессмысленной смерти?

— О, если так,— отвечала она,— позвольте мне, ваша милость, согласиться с дарованным обещаньем. Ежели нет, жизнь моя сегодня и оборвется!

Вельможа в званье «Опора державы», не в силах противиться, пригласил к себе Зы, посулил возвратить ему Туи Тиеу и объявил:

— Мы при дворе достигли высочайших должностей и званий; власть Наша велика, жалованье обильно. На угощенье гостей Мы, что ни день, изводим не один амбар риса. Мы пригласили вас безо всякого злого умысла. Где вам взять деньги на прожитье, когда в столице рис не дешевле жемчуга, а дрова — в цене коричного дерева? Не лучше ли вам, коль не боитесь молвы, поселиться здесь, во избежанье расходов?

Тотчас распорядился он прибрать небольшой покой, где Зы мог бы читать книги, и всякий день посылал к нему для услуг молоденькую служанку. А когда в доме затевался пир, хозяин неизменно приглашал и Зы.

Вельможа всегда встречал его сладкими словами; однако о возвращенье Туи Тиеу не было и речи. Как-то Зы обиняками завел о том разговор. Но вельможа не согласился с гостем и сказал:

— В любовных делах все одинаковы. И, думаем Мы, она тоскует по вас, точь-в-точь как и вы по ней. Но ведь она совсем недавно хворала и потому не может встретиться с вами. Потерпите немного, куда вам торопиться.

А Туи Тиеу, узнав о переезде Зы, только и чаяла с ним увидеться. Но в доме было такое множество служанок, наложниц и младших жен и такой за всеми велся неусыпный надзор, что случая ей не представилось.

Однажды, когда вечерний прием во дворце еще не закончился, а дома служанки, наложницы и младшие жены отошли ко сну, Туи Тиеу прокралась украдкой в книжный покой возлюбленного. Сам он, увы, отлучился куда-то, но она увидала начертанные на стене два стихотворения. Вот они.

I

Возле крыльца на замшелых камнях
    старые туфли стоят.
Холод проник в приоткрытую дверь,
    дом этой стужей объят.
Всюду глухое безмолвье царит.
    Где она, синяя птица?
Нет ни души на пустынном дворе.
    Солнце плывет на закат.

II

Холодом скован лунный дворец
    в хмуром пустынном краю.
Заперты двери. Когда же опять
    фею увижу мою?
Знаю, не хватит мне нежных слов.
    их растерял я в разлуке,
И, ничего не в силах сказать,
    слезы напрасно лью.

Она собралась было начертать — тем же размером — два ответных стиха; но тут послышался шум у ворот: это вельможа воротился домой из дворца; и ей, понятное дело, стало не до стихов.

Тогда подослала она в покои, где жил Зы, свою ближайшую служанку по имени Киеу Оань — «Прелесть и чистота», и та попросилась остаться у него на ночь. Зы стал прогонять ее прочь, но Киеу Оань сказала:

— Госпожа моя, Тун Тиеу, нарочно прислала меня сюда. Зная, как горюет одинокий ее супруг, госпожа велела угождать вам на ложе, словно бы это она сама была подле вас.

Зы согласился. С этого дня известья из женских покоев доходили к нему и от него к возлюбленной без промедленья.

А тем временем приспела новогодняя ночь, и Зы, улучив мгновение, обратился к вельможе в званье «Опора державы» с такой речью:

— Влекомый возвышенной страстью, поселился я в вашем доме. Но вижу, увы, что скорее, как говорится, обмерю пядью великую гору У, чем услышу отрадную весть. А дни бегут, месяц уходит за месяцем, и скоро году конец. Я уж не смею и заводить речь о возвращении жемчуга. Прошу дозволения хоть из-за шторы взглянуть на нее, перемолвиться словом и распроститься.

Вельможа согласился с ним и сказал:

— Еще день-другой, и наступит благая ночь. И Мы намерены уподобиться И Чэну, даровавшему свободу Цзинь Кэ, или Чан-ли, который отпустил прекрасную Лю-чжи. Решили Мы не препятствовать чужой любви и усладить вашей радостью Наше зренье и слух.

Зы, ответив согласием, удалился.

Едва настала условленная ночь, зажег он светильник и присел, томясь ожиданьем.

На исходе первой стражи услыхал он вдруг из-за купы бамбуков стук деревянных подошв и растворил навстречу двери. Но это была служанка в синем платье. Зы спросил, что ей надобно, оказалось: она принесла чай.

Прошло время, и снова услышал он шорох там, где росли цветы; приподнявши полы, поспешил он узнать, кто идет, и увидел на сей раз отрока-слугу.

Ждал он и ждал, время перевалило за полночь, а Туи Тиеу не появлялась. Тут он и вовсе отчаялся.

На другой день Зы сказал Киеу Оапь:

— Будь добра, передай госпоже: ослепленный любовью, поверил я лживым словам. Ах, ежели нам не дают и единого раза увидеться и перемолвиться словом, тщетно надеяться, будто когда-нибудь снимут запоры и отпустят ее на волю! Останься я здесь и дольше, сердце мое — рано или поздно — вспыхнет от ревности, затею лихое дело и загублю последнюю нашу надежду, а они все одно своего добьются. Нет, прочь! Прочь отсюда! Кто же, ища дорогую жемчужину, уляжется перед пастью Черного дракона?

Но Туи Тиеу вновь отослала к нему Киеу Оапь с такими словами:

— Если еще задержалась я в этой жизни и не умертвила себя, подобно Люй Чжу, так оттого, что ты был рядом. Но ты решил уйти. Неужто расстанемся, ни о чем не условясь? Слыхала я, есть старый обычай, любезный и нынешним государям: в первую новогоднюю ночь поджигать шутихи и огненное древо на берегу реки. Столичный люд набивается туда поглазеть на огни — не пройти, не продохнуть. Если не охладел ты ко мне и не хочешь меня покинуть, будем в ту ночь дожидаться друг друга. Это — единственный случай для феникса соединить разбитые узы супружества. Прошу тебя — не уходи!

И Зы тотчас решился.

Вельможа в званье «Опора державы», узнав, что Зы просит его отпустить, вздохнул с облегчением и, не скупясь, подарил на прощание много денег и шелку.

Зы удалился с тяжелою ношей. По дороге встретил он старого своего слугу.

— Отчего ты так исхудал — сам на себя не похож? Какое у тебя горе? — спросил слуга.

Зы открыл ему все и рассказал об обещанье Туи Тиеу.

— Дело твое,— сказал старый слуга,— легче легкого. Позволь, я тебе помогу.

В первый день нового года хозяин и слуга отправились вместе к Восточной пристани и, само собою, увидели Туи Тиеу, стоявшую на берегу. Старый слуга тотчас приблизился к ней тихонько, достал из рукава железную дубинку и давай молотить без разбору окружавших ее слуг. Носильщики, отроки с зонтами и балдахинами разбежались кто куда, а старик подхватил Туи Тиеу и унес.

Завидев друг друга, влюбленные смеялись и плакали. Потом испугались, как бы вельможа, узнав обо всем, не пустился в погоню и не настиг их. Туи Тиеу сказала:

— Он подл и труслив: на словах — победителен, как Вэй или Хо, а встретясь с врагом, побежит, крича от страха. У дверей его вечно толпятся люди, дом его доверху набит золотом, серебром и дорогими каменьями — одному лишь пожару под силу извести его достоянье. Преступленьям его нет счета! Он погряз в злодеяниях, и долго такое продлиться не может. Однако пока его род влиятелен и богат, нам надо остерегаться. Самое лучшее — скроем свое обличье и заметем следы, затаившись в деревне; во избежанье беды укроемся от чужих глаз.

Зы признал ее правоту, и тотчас они втайне спустились в округ Небесной вечности (Тхиен-чыонг) и поселились в доме у своего друга из рода Ха.

На седьмой год «Великого правления» вельможа в званье «Опора державы» был предан суду за хищенья и незаконные траты. А Зы воротился в столицу, удостоился на испытаньях степени тиен ши, и они с женою вместе состарились.

* * *

Нравоучение. Увы! Государь, верный своему долгу, постыдится иметь подданным неверного человека; а достойный муж, верный своему долгу, постыдится взять в жены неверную женщину.

Но Туи Тиеу, певица и лицедейка, не была добродетельной, и непостижимо, отчего Нюан Ти так страстно ее любил. За ее доброту? Но ведь она, как говорится, едва перестав быть супругой Чыонга, стала соложницей Ли. За ее красоту? Но ведь, как говорят, стоит покончить с сомнениями в Сяцае, вновь заблуждаешься в Янчене.

Вот так, недооценивая значенье житейских дел, терпишь позор и поношение, живя с дурным человеком; гладишь голову тигра, касаешься его усов, а там — еще самую малость — и угодишь к нему в пасть.

Таков и Нюан Ти, человек поистине темный и недалекий.

РАССКАЗ О ВОЕНАЧАЛЬНИКЕ ЛИ

Когда Зиап Динь, государь из дома Поздних Чанов, взошел на престол в уезде Обретенной помощи (Мо-до), смельчаки со всех четырех сторон света, из ближних и дальних краев, явились к нему на подмогу и, сплотясь воедино, создали войско, названное Государевым подспорьем.

Муж из уезда Донг-тхань (Восточная твердыня) по имени Ли Хыу Ти, выходец из землепашцев, был нравом свиреп, силен и ловок в бою. Сиятельный князь Данг Тат пожаловал Ли званием Командующего полками, поставил во главе ополчения и двинул на неприятеля.

Облеченный высокой властью, Ли тотчас начал творить беззакония. Воров и лихоимцев возлюбил он, как кровных сородичей, а на ученых мужей и книжников глядел как на злейших врагов. Он тешил свое любострастие и ненасытную алчность, скупая сады и земли; строил себе хоромы, разоряя и раскапывая пашни под пруды; сгонял с насиженных мест односельчан и соседей, расширяя свое именье, и отовсюду из прочих уездов тащил на свой двор необычные цветы и диковинные камни. Весь окрестный люд обязан был на него работать: старшего брата тотчас сменял младший; муж возвращался домой, на смену спешила жена — у всех ныли плечи и кровоточили руки, люди изнемогали; но он не внимал их пеням, ничто не трогало его сердца.

Однажды прибрел к его двери гадатель,— из тех, что прорицают будущее по очертаньям лица,— и попросил милостыню, обещая открыть хозяину его судьбу. Ли велел прорицателю взглянуть на его обличье, и тот сказал:

— Для дела нет ничего полезней нелицеприятных слов, как в исцеленье недуга ничто не сравнится с горьким зельем. Ежели вы, господин, будете терпеливы, я скажу все как есть. Не отвергайте из-за горечи самый плод, ибо тогда буду я скован и робок.

— Ладно,— ответил Ли,— будь по-вашему.

Тогда прорицатель молвил:

— Злодеянья, пускай и давние, всегда очевидны, и высшее правосудие не ошибется даже на самую малость. А потому, предрекая будущее, надобно прежде всего доискаться смысла,— ведь облик лица — это еще не обличье души. Вот вы, Командующий полками, нравом свирепы и недобры; презирая людей, вы чтите одно лишь богатство и власть свою употребляете ради насилья и зла. Вам только бы дать волю похоти и алчбе да исполнить свои желания. Вы идете наперекор велениям Неба и будете им, само собою, наказаны. От беды вам не уйти!

Ли засмеялся:

— У Нас под рукою войска и крепости, и сами Мы не выпускаем из рук протазан! Силой поспорим Мы с вихрем и молнией, и Небу, сколь оно ни искусно, с Нами не совладать! Где уж ему свалить на Нас беду?!

Прорицатель сказал:

— Командующий полками уповает на свою силу и ловкость, и слова, вижу, здесь бессильны. Но вот есть у меня связка малых

жемчужин. Прошу, посмотрите на них, и вы увидите воочию свою судьбу. Угодно ли глянуть?

И он достал из рукава связку жечужин.

Ли поглядел и видит: печи пылают огнем, кипят котлы; рядом вроде бы люди, да на плечах у них щерятся бесовские хари; у одних в руках толстые веревки, у других — ножи с пилами, а сам он в цепях и колодках ползает подле котла с кипящим маслом, озираясь в тоске и страхе.

Спросил он, есть ли какой-нибудь путь к спасению, и прорицатель изрек:

— Корни зла глубоки, и ростки возмездия вот-вот прорастут. Спасение лишь в одном — тотчас, немедля разогнать всех до единой служанок с наложницами, напрочь порушить сады с прудами отречься от власти и смиренно склонить главу перед Небом. Всей вины, конечно, уже не избыть, но, возможно, отпадет хоть одна из десяти тысяч.

Ли погрузился в раздумье, потом ответил:

— Нет, будь что будет, учитель, не сделать мне этого! Да и кто же из опасения перед грядущими и пока неясными бедами откажется от насущных давно затеянных дел?

После того он еще пуще предался буйству и похоти, убивал и рубил головы, не зная пощады.

Мать его, разгневанная вконец, сказала:

— Всякому живущему жизнь любезна, а смерть ненавистна. Отчего убиваешь ты всех без разбора? Думала ль я, дожив до старости, увидеть дитя свое в мерзком обличье смертоубийцы!

Сын военачальника Ли по имени Тхук Кхоан тоже всегда сдерживал отца, но Ли по-прежнему не знал удержу и меры. Как вдруг сорока лет от роду умер он у себя в дому.

Прохожие на дорогах судили об этом на все лады и говорили друг другу:

— Муж, содеявший много добра, погибает от вражеского оружия; а тот, кто вершил зло, умирает дома своей смертью! Где же она, небесная справедливость?

Был раньше у Тхук Кхоана друг по имени Нгуен Куи, человек прямодушный, чтивший долг и правила чести, но три года назад он умер. Вышел однажды Тхук Кхоан поутру на прогулку и вдруг повстречал на дороге Нгуен Куи.

Тот сказал:

— Скоро родителя твоего поведут на судилище. Я ради старой дружбы пришел упредить тебя об этом. Хочешь, я завтра вечером пришлю за тобой и ты сам все увидишь? Только, если проговоришься хоть словом, не миновать мне беды.

Сказал и тотчас куда-то исчез.

В назначенный срок Тхук Кхоан уселся в малом покое и стал ждать. В полночь и впрямь увидал он воинов с конскими головами, и доставили они его в огромный дворец.

Наверху восседал государь, а вокруг люди в железных панцирях и медных шлемах с секирами, молотами и кривыми мечами стояли рядами торжественно и стройно. Вдруг слева, огибая их, вышли четыре чина. Одним из них оказался Нгуен Куи. Все четверо с записями в руках преклонили колена перед красным государевым столом.

Первый начал читать:

— Служилый муж Имярек при жизни был справедлив и тверд и не заискивал перед имущими власть. Чем выше становился он чином, тем скромнее был и достойней, и, наконец, не щадя себя, умер во имя отчизны, покрыв ее блеском славы. Прошу почтительно царский суд претворить этого мужа в небожителя.

Второй сказал:

— В некой семье жил Такой-то, человек алчный и грязный; вымогал он дары и взятки, а получив чин, преисполнился гордыни и спеси; презирая людей добронравных, он не выдвинул ни единого достойного и одаренного мужа, полезного государству. Прошу почтительно судилище Южного созвездия искоренить самое имя его.

Третий сказал:

— В неком округе проживал муж из рода Ха, всеми силами творивший добро, хотя сам, у себя в дому, и не ел досыта; а когда, после недавней войны, нагрянул великий мор, предписаниями его составлено было лекарство, коим спаслись люди — числом более тысячи. Прошу почтительно даровать ему новое рождение в семье, отмеченной счастьем, и пусть потомству его удача сопутствует в трех поколениях, дабы воздать должное за спасение стольких людей.

Четвертый сказал:

— В некой деревне жил мужлан из семьи Динь, вечно он ссорился с братьями и враждовал с роднею; а после, употребив во зло неопытность малолетних племянников, подделал десяток расписок и отобрал у них все поля и земли, не оставя и клочка, куда удалось бы воткнуть шило. Я бы хотел, чтобы он родился заново в доме убогого бедняка, маялся от голода и жажды, ютился на пустырях и в канавах, претерпевая за то, что обирал и грабил людей.

Государь согласился со всеми их предложеньями.

Следом за ними справа, огибая ряды, вышел еще один муж в красной одежде и, тоже преклонив колена перед красным столом, доложил:

— В делах, порученных моему ведомству, значится Имярек из некого рода, человек упрямый и неразумный, творивший всякие беззакония. Год уже, как заключен он в темницу, но еще не предстал перед судьями. Прошу разрешения вызвать его сюда, в Государев суд.

И зачитал обвинение. Вот оно.

— Молвить осмелюсь:
День сотворенья небес и земли — это срок появленья
женских начал и мужских, то есть темных и светлых.
Эти начала присущи и людям и тварям и резко различны:
там зло — здесь добро,
там боязнь — здесь бесстрашье.
Столько причин здесь и переплетений,
Что невозможно их всех перечислить.
Небом начертаны судьбы людей, и не всякий способен
к прозренью прийти,
к состоянию Бодхи:
Сущность людей порождает поступки, она неизменна,
и нрав человеку дается навечно, до гроба —
то темный, то светлый.
Люди поэтому столь нетерпимы, жестки и пристрастны,
И потому столько подлостей в мире творится.
Зло и добро неизбежно влекут за собой воздаянье,
не спутают здесь жеребца вороного с гнедою кобылой.
Связаны тесно деяние и воздаянье, так же, как эхо со звуком,
как с тенью предметы.
Связь эту просто понять и представить — нехитрое дело.
Люди поистине глупы в деяньях своих и упрямы,
Сколько угодно у них оснований найдется для злобы.
Сколько меж ними грызни из-за мелкой корысти.
В омут они попадут иль в колодец — и сами себя
с удовольствием топят,
Роют без всякого смысла и цели каналы какие-то
и подземелья,
И, прозябая во тьме постоянно,
Мерзкие, жалость они вызывают.
Лишь небеса всемогущие в силах все взвесить, разъять,
рассудить и рассудок вернуть потерявшим рассудок.
Вот для чего и темницы построены,— чтобы томились там
души злодеев, чтоб было другим неповадно.
Но разве можно забыть преступленья?
Разве деянья его поправимы?

Вот он, ничтожнейшее насекомое, Ли недостойный
стоит перед вами.
Он, как букашка, бессилен и жалок,
Тучи и те, как ни зыбки,— надежней.
Где бы он ни был, к чему б ни стремился,
всюду встречали его наважденья.
Он презирал все творенья словесности,
мудрость считая ничтожной.
Он почитал лишь богатство и золото и потому
отнимал его силой,
Нивы чужие и пашни присваивал, был он Хун Яну подобен,
Словно Ян Су, он убийствами тешился,
тысячи жизней сгубил он,
Был он зловредней пантеры и тигра,
невинных чернил, клеветою губил их и хитростью.
Столь непомерны его злодеяния, что не поместишь их в горных
ущельях, в долинах речных, на равнинах.
Алчность толкала его на поступки бесчестные,
Лживым он был, двоедушным, лукавым.
Надо карать его полною мерой,
Так, чтоб другим это было уроком.

Едва было оглашено до конца обвинение, как страж привел Хыу Ти, бросил распростертым ниц у входа, взял бич и ударил его с неистовой силой,— кровь так и брызнула липкой струей. Хыу Ти застонал громко и жалобно: боль была невысима.

Вдруг сверху послышался голос:

— Разве меж вами не поделены ведомства для быстроты дознания?! Отчего это дело затянулось на целый год?!

Муж в красной одежде ответил:

— Винам его и злодействам нет счета, оттого и не смел я решать все на скорую руку. Теперь обвиненье закончено и представлено высокому суду. Преступления таковы: он домогался чужих жен и прелюбодействовал с чужими дочерьми! Каков должен быть приговор?

Государь сказал:

— Причина здесь та, что утонул он, погряз в волнах любострастия. Пусть кипящей водою промоют ему нутро, чтобы похоти негде было возникнуть!

Царедворцы, стоявшие по правую и левую руку от государя, тотчас схватили Хыу Ти и бросили в кипящей котел; тело его разорвалось и увяло. Затем, взяв живую воду, они окропили его, и в мгновение ока Хыу Ти снова был без единого изъяна, как все люди.

— Он отнимал у людей землю и рушил чужое имущество! Каков должен быть приговор?

Государь сказал:

— Причина здесь та, что его захлестнуло потоком алчности и стяжательства. Пусть изогнутым лезвием вытащат из него кишки, чтоб неоткуда было подняться жадности!

Царедворцы тотчас разрезали Хыу Ти живот и извлекли наружу печень, кишки и прочие внутренности. Затем, взяв ветку тополя, помахали над ним, и Хыу Ти оказался цел и невредим.

— Он дошел до того, что поганил и рушил древние могилы. В отношеньях с роднею преступал веления долга! Каков должен быть приговор?

Святой государь долго молчал, потом произнес:

— Последнему безумству нет никакой меры! Назначь Мы ему муку на древе Меча и горе Ножа, в расплавленной меди и под железными батогами — все одно будет мало. А потому заточить его в узилище Девятой темницы! И пусть ему стиснут голову кожаными ремнями, а в ноги вонзят раскаленные шила; пусть ястреб проклюет ему грудь и ядовитые змеи прокусят брюхо! Пускай это длится вечно, во все существованья, и не будет ему вовеки спасения и исхода!

Адские стражи без промедленья уволокли Хыу Ти прочь.

И тут Тхук Кхоан, прятавшийся в расщелине стены, выглянул тайком и горько заплакал. Но стражи тотчас руками заткнули ему рот, вывели прочь и швырнули с неба на землю.

Содрогнувшись, пришел он в себя и видит: родичи с домочадцами сидят вокруг и плачут. Они рассказали: он второй уже день мертв, просто, заметив, что грудь его по временам чуть колышется и вроде не вовсе еще холодна, они не посмели его хоронить.

Долго не медля, Тхук Кхоан оставил жену и детей, раздал имущество людям и сжег все до одной долговые записи. Потом он ушел в лес, стал собирать целебные травы и совершенствовать дух.

Свое приключение Тхук Кхоан хранил в тайне; кроме него, обо всем знал лишь кое-кто из старых слуг, вот почему случай этот почти неизвестен.

* * *

Нравоучение. Увы! Небеса беспристрастны и бескорыстны; пускай широки ячеи небесной сети, сквозь них никому не пролезть. А потому, если кто при жизни избегнет возмездия, все одно — будет наказан потом, после смерти. Но ежели вдруг беда

постигает человека при жизни, он не понимает: должен ли он после того ожидать еще кары за гробом,— вот что ему неясно. Оттого и не счесть в земной жизни бунтарей, упрямцев и тугодумов. Будь им, к примеру, все понятно и ясно, их бы тогда и уговорами не сподвигнуть на злое дело.

Но некий Ли все увидал и, узнав наперед, стал бесчинствовать пуще прежнего. Это самые падшие и подлые люди, их не переделать, и нечего о них рассуждать.

РАССКАЗ О ПОВЕЛИТЕЛЕ ДЕМОНОВ НОЧИ

Удивительный муж из семьи Ван по имени Зи Тхань, уроженец земли Куок-оай (Величье державы), нравом был истинный воин и не поддавался соблазнам и чарам нечистой силы. Чертовы лупоцветья, иначе говоря — любострастье, бесовскую похоть и дьявольскую красу, что и словами не описать, он презирал и нисколько их не страшился.

На исходе лет «Многократного сияния» при государе из дома Чан люди умирали и гибли во множестве. Души безвинно погибших, не найдя приюта и успокоения, собирались толпами и в поисках пропитанья ломились в двери харчевен, а не то еще подстерегали гулящих девиц, желая развлечься с ними. Всякого, кто им противился, поражал тяжкий недуг; а ежели кто пытался унять их молитвами и заговорами, убеждался: заклятья бессильны. И демоны царили в полях подле города, не ведая страха и опасений.

Но вот однажды Зи Тхань, выпив вина, вскочил на коня и выехал из города. Бесы и демоны в страхе разбежались все до единого. А он, торопясь, стал их окликать и уговаривать:

— Вы ведь храбрые воины, только вас подкосила злая судьба. Знайте, Мы к вам пришли ради вашей же пользы. Постойте! Не убегайте!

Демоны один за другим воротились, обступили Зи Тханя и пригласили его сесть на высокое место. Усевшись, он их спросил:

— Вы страсть как любите изводить людей, губите их и казните. А почему, чего ради — неясно.

Они отвечали:

— Желаем умножить свое воинство.

— Но разве, вредя живым, вы умножите войско?! Да и потом, прибавится войско — не хватит питья и пищи; а где меньше людей — там и излишек. Какой, не пойму, прок от разлюбезных вам дел? Попробуй выпусти вожделения на свободу, а там потока не запрудить; дай волю злу, и тигры с волками покажутся рядом

с тобою кроткими созданиями. Это — о вас! И еще — иные, корысти ради, не брезгуют даже тряпицей и, утоляя алчность, не дрогнут разбить пенал с кистью или расколотить вазу. Вот вы рыщете всюду, выискивая кувшины, бутыли с хмельным, добывая рис и похлебку. Вы сеете горе, разносите беды, попирая права Небесного творца, как говорится — вопиете под крышами и заглядываете в дома, навлекая на себя людской гнев. Вам-то оно в удовольствие, но Мы — Мы устыдились бы этого. Небо и то творит свою волю добром, а не силой; люди предпочитают рождать, а не убивать. Как вы дерзнули в своей гордыне перекраивать судьбы?! Нет, Повелитель Неба не потерпит такого, и грянет неотвратимая кара! Где вы тогда укроетесь от правосудья и казни?!

Демоны в удручении молвили:

— Увы, мы грешили невольно, без злого умысла. Не было нам счастья в жизни и в смерти не повезло. Чем нам насытить голод, где приютиться? Горестно белым костям истлевать во мхах и травах, на желтых песчаных буграх, под студеным ветром и росами. Вот и скликаем друг друга — искать сообща пропитанье. А тут еще близится изменение судеб, и уготованы людям новые беды и разрушенья. Оттого Повелитель мрака и не ставит препон — куда бы мы ни устремили набег. И опасаемся мы: грядущий год будет еще пострашнее нынешнего.

Тут кухари затеяли пир, ставя куда попало невысокие столы и подносы с яствами. На расспросы же, что откуда, они отвечали: буйвол, забитый на мясо, уведен из соседней деревни, а водка — целый бочонок — украдена в ближнем селенье.

Зи Тхань в еде и питье был скор, словно вихрь. И демоны, видя такое, радовались и говорили друг другу:

— Вот бы кого нам в вожди и предводители!

Потом обратились они к Зи Тханю:

— Жаль, в нашей вольнице всяк себе голова. Нет у нас мудрого предводителя, и узы наши непрочны. Вас, милосерднейший Повелитель, нам послало само Небо.

— О! — отвечал Зи Тхань.— Мы равно могучи в делах словесных и бранных! И Нам любой чин по плечу! Но ведь из Царства мрака к живым не найти дороги, как же оставим Мы здесь Нашу старую мать?

Демоны тут сказали:

— Ах нет, мы просим лишь Повелителя употребить свою силу и власть. Днем будем мы скрываться, каждый в своих пределах, а по ночам — слать к вам гонцов с докладом. Повелителю вовсе и нет нужды уходить к Девяти источникам. Разве посмели бы мы вас этим обременять?

— Вы обратились к Нам сами,— заявил Зи Тхань,— по собственной воле. Знайте же, есть у Нас шесть условий, и, если не присягнете вы следовать им во всем, уговор невозможен.

Демоны отвечали согласием, прося разрешенья на третью ночь вернуться и возвести алтарь для клятвы.

Все собрались в срок. Опоздал лишь один старый демон. И Зи Тхань тотчас велел отрубить ему голову. Демоны затрепетали от страха. А Зи Тхань объявил им свою волю:

— Отныне не смеете вы пренебречь ни одним Нашим приказом,— не вернетесь к своим похотливым привычкам, не будете рушить своими кознями человеческие судьбы, не грабить станете вы людей, а помогать им в беде, днем не возьмете чужого обличья, ночью не соберетесь в лихие ватаги! Всех, кто Нам будет покорен, примем под Нашу руку, а смутьянов Мы покараем без всякой жалости. Извольте-ка вдуматься в Наши слова, дабы не каяться после.

Затем разбил он их на разряды, поделил на дружины и распорядился: что б ни случилось, тотчас ему докладывать.

Так прошло более месяца, и однажды, когда Зи Тхань предавался праздности, пришел к нему некто, назвался послом Повелителя мрака и передал приглашенье Владыки. Зи Тхань совсем уж решился его отвергнуть, но незнакомец сказал:

— Это ведь воля пресвятого Зием Выонга. Видя вашу решительность и твердость, он намерен пожаловать вам высокий чин. Вам не грозят ни малейшие утесненья, и, право, отказываться не стоит. Прошу вас, возьмите срок подлинней — на раздумье; а там уверен, вы захотите сами пожаловать к нам. Я вас встречу тогда на дороге.

Умолк и исчез неведомо куда.

Зи Тхань потребовал к себе демонов и стал их расспрашивать.

— Почтительно сообщаем,— ответили демоны,— все чистая правда. Просто мы не успели сами известить Повелителя. Недавно Зием Выонг, видя брожение и неспокойствие в мире, учредил четыре Приказа демонов и, поставив над каждым военачальника, дал им власть казнить или миловать и право решать людские судьбы. Сила их велика, не то что у прочих чинов. Слава же ваша, о Повелитель, известна повсюду, сам Зием Выонг знает о ней и слышал все, что мы говорили про вас. Вот и решил он пожаловать вам эту высокую должность.

— Ну, а ежели говорить без обиняков, удача Нам выпала или несчастье? — спросил Зи Тхань.

— В преисподней у Зием Выонга достойных мужей оделяют не хуже избранников Будды. Подкупом там ничего не до-

бьешься и случаем не продвинешься. Верный долгу, пусть мал и низок, возвысится, о нечестивце же, взысканном славой, не будет и речи. Кому, как не вам, править, учить и вразумлять? Но если Повелитель, из-за приверженности к семье, заколеблется и промедлит, должность достанется другому, а нас это опечалит.

Щелкнул Зи Тхань языком и ответил:

— Хоть смерть ненавистна, но слава и власть не даются даром. Ведь тонкая кисть от тонины своей скоро сотрется, и срубят сосну из-за густых ветвей; фазану грозит беда не из-за ярких перьев, и не от белизны своих бивней умирает слон; диких гусей стреляют не потому, что они не гогочут,— лишь никчемный конский каштан долго живет на свете. Янь Хуэй тридцати двух лет от роду стал Письмоводом в Подземном царстве, а Чан-цзи, когда он сочинил описанье Небесных чертогов, едва было двадцать семь. Праведному человеку при жизни негоже отягощаться златом и ступать по дорогим каменьям — лучше оставить навек по себе добрую славу. Ради чего же обречены Мы склонять голову в этом нечистом мире? Нет, долгожительство не сравнится с раннею смертью!

Тотчас привел он в порядок дела по дому и умер.

В те времена сельский житель по имени Ле Нго, задушевный приятель Зи Тханя, странствовал по Светлой земле Куе и поселился там на постоялом дворе. Однажды, едва пробили первую стражу, Ле Нго увидал благородного всадника, окруженного челядинцами и слугами. Они подошли спросить разрешения на постой. Хозяин, подняв штору, вышел навстречу гостю. Тут Ле Нго изумился, до того всадник своим голосом напоминал Зи Тханя, только лицом он слегка отличался от умершего друга.

Ле Нго направился было к дверям, избегая гостя, но тот сказал:

— Давний друг сразу узнал вас, а вы — ужель вы его не вспомнили?

Тут гость открыл свое имя, происхожденье и должность в Подземном царстве и сказал, что ради старинной дружбы отыскал Ле Нго и пришел повидаться с ним.

Без промедления сняв кафтан из овчины, Зи Тхань послал хозяина за вином, чтобы выпить и развеселиться.

Осушив чашу-другую, Ле сказал:

— Я ведь держался всегда добродетели не напоказ, а душою и сердцем. Ни в чем не искал я корысти, никому не чинил зла. Я ль не учил других, в меру сил и познаний, и сам не стремился постигнуть еще неведомое? Не обольщался я смутными мечтами, не желал чрезмерного. За что же лишен я добра и пропитания и

ищу чужих милостей? Почему мои чада плачут от голода, а жена горюет и жалуется на стужу? Отчего, воротясь восвояси, не нахожу я и хижины, где бы укрыться от ветра, а выходя в путь, не имею даже шляпы из листьев — прикрыться от дождя? За что отовсюду валятся на меня напасти и беды? Вот из друзей моих многие достигли чинов и мест, а дарованьями мы равны, хоть молва о нас и различна. Почему же одним выпадает счастье, а другим — нужда и горе?

— Как ни молись,— ответил Зи Тхань,— не выпросишь знатности или богатства, и бедность предрешена судьбой. Потому и умер от голода Дэн, владея медной горой; а Чэ, появясь на свет, лишил достояния Чжу. И не по этой ли самой причине разбушевался ветер подле горы Маян и молния расколола плиту с письменами у пагод Цзиньфу? Когда бы не рок, неужто все люди высокого нрава, как Янь или Минь, не вознеслись бы к голубым облакам, а искусные сочинители, вроде Ло или Лу, оставались простолюдинами? Вот и выходит: несотворенное — совершается волею Неба, непрошеное — даруется судьбой. Лучший удел достойного мужа — бедность, не знающая лести, и умеренность, чуждая соблазнов. Всяк на своем поприще пусть радеет, сообразуясь с делами,— не более. Ибо везения и неудачи, падения и взлеты никому из людей не подвластны.

Давно было выпито вино, а они — и раз и другой вытянув фитиль фонаря — толковали о том, о сем и не могли наговориться.

Когда на другой день сошлись они для прощанья, Зи Тхань, удалив всех прочих, сказал другу:

— Я выполняю указ Повелителя Неба. Величество приказывает, в дополнение к прежним моим обязанностям, возглавить воинство моровых поветрий и развести его по округам и уездам. К поветрию должно прибавить голод и смуту. Достоянье людское пойдет прахом, ото всего добра едва останется половина, а то и поменее. Все, чьи истоки счастья мелки и скудны, разорятся вконец. Жаль, жребий вашей семьи непрочен, и, думаю, не избежать вам беды. А потому возвращайтесь скорей восвояси, полно вам мешкать в чужих краях.

— А я ведь надеялся прибегнуть к вашей помощи и защите,— сказал Ле.— Ужель это невозможно?

— Увы,— отвечал Зи Тхань,— живете вы не в моих землях, и заступить рубежи я не властен. К северу от Янцзы — моя вотчина, а все, что западнее,— под рукой военачальника из семьи Динь. Мое войско — демоны в черных одеждах, они сохранили еще зачатки добра; но демоны в белом из полчища Диня большею частью злы и коварны. Вам хорошо бы заранее приуготовиться ко всему.

— Что же мне делать? — спросил Ле.

— Каждый наш полководец по ночам выводит в поход более тысячи демонов — разносить поветрие по городам и весям. Надо бы вам поставить у дома столы да подносы с питьем и едой. Демонов после долгой дороги одолеют, конечно, голод и жажда, и они, не задумываясь, накинутся на угощение. Ну, а вы сами спрячьтесь в укромном месте, покуда их трапеза не подойдет к концу. Тогда выходите и падайте перед ними ниц. Кланяйтесь, но ни о чем не просите. Кто знает, не повезет ли, не выйдет ли вам облегченье?

Тут они оба заплакали и распрощались.

Едва воротился Ле Нго домой, вспыхнул жестокий мор. Жену и детей свалил тяжкий недуг, они никого уже не узнавали.

Тотчас Ле сделал все, как сказал Зи Тхань, и ночью приготовил у себя на дворе обильное пиршество. Само собою, слетелось множество демонов. Поглядели они друг на друга и говорят:

— Голодны все мы ужасно! Как же уйти от этого угощения? Не грех и выпить здесь чашу-другую вина.

Не медля, собрались они в круг и подняли чаши. Посредине степенно уселся некто в багряной одежде, прочие же почтительно стали поодаль, держа в руках кто нож или молот, а кто и счетную книгу.

Дождавшись, покуда их трапеза не подошла к концу, покинул Ле Нго свое убежище, пал на колени и начал без устали кланяться. Демон в багрянице крикнул:

— Зачем это отродье оскверняет нам пиршество?!

Прочие отвечали:

— Наверное, он — хозяин всего угощения. Семью его поразил недуг, и он молит о милосердии.

Демон в багрянице бросил в сердцах свою счетную книгу и крикнул:

— Слыхано ль, ради убогой снеди менять предначертанья судьбы?!

— Но мы,— возразили прочие,— вкусили уже от его щедрот! Как же не внять его просьбе и не помочь ему? Пусть угрожают за это нам кары и даже смерть — мы готовы на все!

Демон в багрянице задумался, потом взял кисть, раскрыл свою книгу и, зачеркнув красной тушью более десяти слов, удалился.

День-два спустя в семье у Ле все исцелились. И он, тронутый благодеянием друга, поставил близ дома алтарь, где поклонялся его памяти.

Односельчане, бывало, приходили туда с молитвой и всегда обретали просимое.

* * *

Правоучение. Увы! Как можно презреть дружбу, одну из пяти истинных добродетелей?

Хорош ли, плох ли рассказ о Повелителе демонов ночи — об этом не стоит и спорить. Одно лишь достойно упоминанья и разговора — встреча Зи Тханя с другом,— ведь он, избавя Ле Нго от страшной беды, доказал: для истинной дружбы и смерть не помеха.

Ужель не раскаются, не устыдятся, слушая этот рассказ, все, чье содружество прочно лишь на пирах, за яствами и вином, чья верность и мужество меняются и исчезают вместе с превратностями судьбы и кто, отвернувшись, не признает друзей, попавших в беду.

Вступительная статья
Е. Пинус

Составление
И. Борониной

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЯПОНИИ

Японская классическая проза — интереснейшее и по-своему уникальное явление мировой литературы. Проза в Японии возникла в VIII веке, а уже в самом начале XI века появился огромный многоплановый роман, поражающий и по сию пору удивительным проникновением в психологию своих героев, разнообразием характеров, стилистическим богатством.

Истоки японской прозы — в глубокой древности, в гуще народных сказаний, преданий, в мифах, сказках племен, населявших японские острова.

Японская литература начинается с памятника, где собран, обработан и записан мифологический эпос,— с «Записи древних дел» («Кодзики», 712 г.) и с исторической хроники «Анналы Японии» («Нихонсёки», 720 г.). Спустя несколько десятилетий появляется выдающийся памятник народной и авторской поэзии — «Собрание мириад листьев («Манъёсю»).

Необходимость создания такой книги, как «Записи древних дел», была обусловлена исторически.

Во второй половине VII века в Японии завершалась долгая борьба сильнейших родов за власть, складывалось централизованное феодальное государство. Земля в стране принадлежала государству — в лице главы победившего рода, носившего титул «тэнно» (небесный император), жители ее объявлялись подданными тэнно. «Записи древних дел» были призваны обосновать право государева рода на власть, возвести его генеалогию к центральной богине синтоистского культа Аматэрасу.

Молодая японская государственность складывалась под сильным влиянием Китая. Оно проявлялось во всем: в территориальном устройстве, в системе правительственного и чиновничьего аппарата, в законодательстве... Первая столица Японии, город Нара, был построен по образцу танской столицы Чанъань. Китайский язык, китайская письменность, континентальная культура вообще прочно вошли в духовную жизнь японцев.

На китайском языке, по-видимому были записаны не дошедшие до нас древнейшие материалы — «династийные записи» и «исконные слова». Одна-

ко произведение, замысленное как «история страны» и предназначаемое для потомков, не могло быть записано на языке, которым владела лишь образованная верхушка,— для него нужна была запись на родном языке. Китайские иероглифы, передавая смысл слова, не воспроизводили японского звучания, которое было особенно необходимо для имен богов и священных предметов. Ведь они представлялись важнейшими древнему человеку, веровавшему в «душу слова». Большую часть «Кодзики», ту, где ведется рассказ о событиях, составитель их О-но Ясумаро записал по-китайски, однако для передачи собственных имен, географических названий, для записи народных песен он использовал те китайские иероглифы, звучание которых соответствует слогам японского слова. В других же случаях он передавал слово иероглифом, соответствующим ему по смыслу, а звучание воспроизводил в специальном примечании, опять-таки используя иероглиф как фонему. Способ записи, примененный О-но Ясумаро, содержал в зародыше всю систему японского письма. Творчески овладев элементами чужой графики, японцы сделали огромный шаг в развитии собственной культуры. В XI веке была создана японская слоговая азбука.

Художественная проза на японском языке периода средневековья, знаменитая хэйанская проза, была написана с помощью этой азбуки.

Период этот — с 794 по 1192 год — называется «периодом Хэйан», по названию столицы, где жили император и окружавшая его аристократия во главе с могущественным родом Фудзивара.

Город Хэйан был построен по образцу старой столицы Нара и великолепной китайской столицы Чанъань. А между столицей и провинцией лежала в эту эпоху глубокая пропасть, и жизнь вне столицы воспринималась аристократией как изгнание и несчастье.

Название «Хэйан» означает «мир» и «покой». Действительно, Япония не знала иноземных нашествий. И все же это название обманчиво: в стране возникали крестьянские волнения, острая борьба за власть шла внутри правящей верхушки между аристократией и набирающими силу поместными феодалами.

В японском литературном наследии эта эпоха представлена многочисленными произведениями, созданными в придворной среде. Но в то же время существовали и другие взгляды на жизнь, близкие к взглядам народа, существовали и другие способы изображения человека и его судьбы. Они нашли свое выражение в первом произведении японской художественной прозы — «Повести о старике Такэтори» («Такэтори-моногатари») [1]. Автор повести неизвестен, датируется она лишь приблизительно — первой половиной X века.

В основе повести лежат сказочные мотивы, и самый сюжет разработан в духе сказки, его отличает вымысел, фантастика. Родиной этих мотивов

---

[1] Термин «моногатари» дословно обозначает «повествование» и прилагается к прозаическим произведениям как малого, так и большого размера.

нельзя считать Японию, по-видимому, он заимствован из буддийской легенды. Но под фантастической оболочкой повести кроется жизненная правда, явственно проступают народные этические воззрения.

Старик-бамбукосек Такэтори и найденная им девочка — лунная фея оказываются носителями лучших моральных качеств. Никто из молодых придворных, сватающихся к красавице, не в силах выполнить заданные ею трудные задачи, совершить подвиг. А ведь способность совершить подвиг обычно характеризует в сказке ее подлинного героя. Красавица отвергает знатных женихов. Так сказка любовно оберегает свою героиню от печальной участи — стать жертвой увлечения недостойных ее людей.

Однако по вполне понятным причинам в хэйанскую эпоху получила преимущественное развитие другая линия художественной литературы — та, где всесторонне изображалась жизнь японской аристократии.

Начало этой линии положила «Повесть об Исэ» («Исэ-моногатари», конец IX — начало X в.). Уже здесь как в зародыше проявилось то, что стало в дальнейшем характерным для произведений придворной литературы: центральное место в повествовании занимают любовные переживания героя, проза перемежается стихами, на всем лежит отпечаток лиризма.

Эти черты получили такое полное и яркое выражение, какое возможно лишь в выдающемся художественном произведении, в романе «Повесть о блистательном принце «Гэндзи» («Гэндзи-моногатари», начало XI в.). Детальная картина жизни и быта придворной аристократии, история блестящего принца Гэндзи, его многочисленных любовных увлечений, а затем перелома в его судьбе изображены с такой полнотой и художественным совершенством, что этот роман должен считаться крупнейшим памятником не только японской, но и мировой литературы [1].

Образ Гэндзи, созданный на несколько столетий раньше образа Дон-Жуана и в других условиях, является по-своему столь же обобщенным: в нем целиком воплотилась характерная черта хэйанской аристократии — стремление к наслаждению жизнью, доведенное до крайних пределов. Автор тонко мотивирует развитие этой черты у Гэндзи: он — побочный сын императора и потому отстранен от наследования, от государственной деятельности; но именно в силу высокого рождения ему все доступно, а красота и таланты, которыми он наделен, способствуют тому, что Гэндзи не встречает преград в своем стремлении к наслаждению.

Автор романа — придворная фрейлина Мурасаки (Мурасаки Сикибу) — рисует вереницу женщин, ставших жертвами увлечений Гэндзи, она наделяет каждую из героинь романа своими, неповторимыми чертами, глубоко проникая в их внутренний мир.

При всем различии положения и характеров этих женщин в их судьбах есть общее: любовь Гэндзи не приносит им счастья. И хотя Мурасаки —

---

[1] См. статью Н. И. Конрада «Гэндзи-моногатари». В кн.: «Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми». М., 1974, с. 240—241.

дитя своей среды и эпохи и ей свойствен традиционный взгляд на женщину как «женщину в руках мужчины» (Н. И. Конрад), но гибель содержательной личности, становящейся объектом мимолетного увлечения, вызывает у нее глубокую грусть. В таком изображении женской судьбы сказывается присущий автору глубокий гуманизм, и замысел романа приобретает еще более обобщенное звучание.

Наступает пора старости Гэндзи. Умирают, уходят в монастырь близкие ему женщины. Все явственней проступает к концу романа идея бренности, обреченности всего окружающего. Мурасаки, конечно, не видит, что причина всеобщего упадка лежит внутри самого общества, ей кажется, что Гэндзи виновен лишь в том, что в своем стремлении к наслаждению преступил предел дозволенного, и его — согласно буддийской идее «кармы» — ждет неизбежная расплата за содеянное. Но то, что Мурасаки изображает, в действительности есть разрушение целого мира, которому она глубоко симпатизирует и детищем которого она сама является.

Чем же объяснить, что в такую раннюю эпоху в японской литературе уже созрел метод тонкого и детального изображения психологии людей?

Жизнь придворной аристократии была, по выражению Мурасаки, жизнью людей, «имеющих досуг». Эти люди имели возможность удовлетворять свои разнообразные желания, развивать эстетический вкус. В этой среде создается культ любования природой, наслаждения «очарованием вещей» («моно-но аварэ»). Личность с ее желаниями, мечтами, страстями, со всем ее внутренним миром становится центром создаваемой здесь литературы. Возникают предпосылки для развития психологического метода. Развернутое изображение личной жизни, с богатством ее переживаний, начинает определять собой перипетии сюжета, развитие повествования. Ни ранее, ни позднее — на протяжении веков существования японского феодального общества — не возникало таких условий и, соответственно, таких произведений. В период феодальной раздробленности, например, в XIII—XIV вв., человек выступает в литературе в основном как участник исторических событий, его личная судьба представляет интерес прежде всего в той мере, в какой она связана с судьбой мощных феодальных домов, участником борьбы или вождем которых он является. Исключения здесь редки.

Вместе с тем развитие человека в дворцовой среде было односторонним и глубоко противоречивым. Недаром феодальная эпоха, позже признавшая культурную утонченность «древних», начала с ожесточенного обвинения хэйанского общества в изнеженности и слабости.

В этой среде мужчины были заняты поддержанием дворцового церемониала, дипломатией, интригами, борьбой за власть, иссушающими ум и душу. Система многоженства способствовала укреплению взгляда на женщину лишь как на объект кратковременного любовного приключения. А в жизни женщины была лишь одна область, где создавалась известная возможность проявления личных качеств,— красота, образованность, способ-

ность к искусству могли привлечь внимание мужчины и перевесить в его глазах даже недостаток знатности. И поэтическим материалом значительной части литературы этого периода оказалось противоречие между духовным богатством хэйанской женщины и судьбой, которая выпадала на ее долю.

В этом — драма женщины, хотя и не осознаваемая ею. Отсюда — печаль, настроения, глубоко согласующиеся с буддийским догматом бренности всего сущего.

И вот высокообразованная женщина хэйанского двора, стремясь найти выход своим чувствам, обращается к бумаге и туши. Женщины становятся авторами выдающихся произведений этой эпохи. Они создают жанр лирического дневника, насыщенного стихами, раскрывающего тонкий и сложный душевный мир «хэйанской затворницы». Правда, начало этому жанру положил мужчина — один из крупнейших поэтов хэйанского периода Ки-но Цураюки, написавший «Дневник путешествия из Тоса в столицу» («Тоса-никки», середина 30-х годов X в.). Но автор счел нужным выдать себя за женщину. Думается, к этому его побудило то, что содержанием его дневника стали не традиционные записи об официальных событиях, а лирическое описание его путешествия, его личные переживания.

Для хэйанской эпохи характерно многообразие литературных жанров. Сэй-Сёнагон создает свои знаменитые «Записки у изголовья» («Макура-но соси», начало XI в.).

Это богатство литературных жанров тоже находит себе объяснение в своеобразии жизни хэйанского общества.

Внутри дворцового круга, внешне изолированного и оторванного от остальной страны, шла по-своему многообразная жизнь. Сюда сходились нити управления страной, приезжали губернаторы провинций и чиновники, сюда приходила китайская культура. Люди, занимавшие в этом мире различное положение, каждый со своим характером, своими пристрастиями и склонностями, пользовались значительной свободой личного общения, и это создавало особую атмосферу, какой не могло быть, например, в замкнутом и самодовлеющем феодальном поместье. Стремясь изобразить этот круг с его сложными внутренними связями «в натуральную величину», Мурасаки развертывает большое художественное полотно. У Сэй-Сёнагон же личность становится тем «магическим кристаллом», через который прихотливо преломляется многообразие окружающих явлений. Личность становится «мерой» вещей, явлений, обычаев. Сэй-Сёнагон рассказывает подчас не о действиях человека, не о событиях его жизни, а о том, «что приятно» или о том, «отчего вчуже берет стыд» или — «глубоко трогает» — мир предстает разложенным на «приятное» и «неприятное». Отказываясь от единого сюжета, связанного с течением человеческих судеб, она группирует явления сообразно своему восприятию: «То, о чем сожалеешь», «То, что приятно волнует». Отсюда — изощренность ее восприятия, фиксирующего даже такие детали, как ощущение, вызванное волоском кисти, попавшим в тушь для письма.

Но и тогда, когда главное место в литературе занимало изображение жизни дворцовой среды, народное творчество не прекращалось. В конце рассматриваемого периода появилось произведение, по-своему свидетельствующее об этом.

Сборник «Стародавние повести» («Кондзяку-моногатари», приблизительно 60—70-е годы XI в.) принадлежит к повествовательной литературе. Один из его разделов посвящен Индии, другой — Китаю, третий — собственно Японии. Из девятнадцати книг (свитков), первоначально составлявших последний раздел, уцелело семнадцать.

В каждом из рассказов японского раздела идет речь о каком-либо происшествии, часто необыкновенном, даже чудесном, фантастическом. Героями их являются люди из самых различных слоев общества — придворные, ремесленники, монахи, разбойники. Одни рассказы излагают буддийские легенды, повествуют о том, как «богиня Каннон милость явила», о «воздаянии». Другие посвящены «житейским делам». Но везде ощущается обработка в буддийском духе.

В разнородности, тематической и жанровой «пестроте» этих коротких произведений, однако, явственно проступает черта, характерная — и в плане литературы, и в плане истории — для того периода, когда они создавались.

Фантастика рассказов этого сборника снижена, она вдвинута в рамки быта, житейской прозы. Но сама жизнь людей в это время изобиловала случайностями, зачастую менявшими их жизнь с катастрофической быстротой. Рождались устные рассказы о всякого рода происшествиях, подобно тому, как складывались уже в X веке народные китайские рассказы «на рынке и у колодца», то есть в городе и деревне. Устные рассказы записывались. Следы устной традиции сохранились в «Стародавних повестях» — в зачинах («В стародавние времена...») и в концовках («Я рассказал лишь то, что слышал от других»).

Этот короткий жанр предполагает иной метод изображения, чем, скажем, роман японской дворцовой литературы,— скупую, а на заре своего развития часто одноплановую характеристику героев, краткую запись сюжета, лаконичный язык. Обработка, которой подверглись рассказы, сказалась также на их композиции: к ним — часто искусственно — присоединялось поучение, буддийская мораль, придавая им назидательный характер. Эта «мораль» сравнительно легко отделяется от сюжета рассказа. А сами рассказы, во всяком случае, лучшие из них, несут в себе бесценные свидетельства о жизни людей своего времени, в том числе и простых людей. Не случайно виднейшие мастера новой японской прозы, как, например, Акутагава Рюноскэ, черпали в этих безыскусных рассказах сюжеты своих произведений.

...«Золотой век» хэйанской аристократии кончался. Невыносимая эксплуатация на государственных надельных землях вынуждала крестьян бежать в отдаленные окраинные поместья, где жилось легче. Там в эту пору складывалось и накапливало силы военно-феодальное сословие — самурай-

ство. Возникали сильные феодальные дома, которые начали претендовать на центральную власть в стране. Раздоры, политические интриги, борьба за императорский трон в дворцовой среде оказались на руку крупным феодалам, и они активно использовали сложившуюся обстановку в своих интересах. Уже к XIII веку сложилась идеология нового сословия. «Среди цветов — вишня, среди людей — самурай»,— в такой формуле нашла свое воплощение мысль о превосходстве самураев над простыми людьми. Сложился и кодекс поведения, морали самураев — «бусидо» («путь воина»). Он был призван внушать беззаветную преданность воина своему начальнику, готовность принести ему в жертву не только свою, но и жизнь своих близких. «Когда стоишь перед господином, не оглядывайся ни на отца, ни на сына»,— гласила самурайская пословица.

В результате ряда столкновений японские феодалы разделились на два враждебных лагеря. Предводителем северо-восточного оказался глава сильного дома Минамото, юго-западный возглавил древний дом Тайра. На протяжении десятилетий шла с переменным успехом их жестокая борьба, окончившаяся поражением и гибелью Тайра.

Именно в это время — XII—XIII века — широко развивается эпическое творчество. Странствующие певцы, зачастую слепые монахи, бродили по Японии, они исполняли перед неграмотными самураями свои сказы, повествующие о кровопролитных сражениях и героических подвигах, аккомпанируя себе на струнном инструменте «бива». Постепенно, как это бывало и в других литературах, устные сказы объединялись в циклы и записывались в монастырях, которые в то смутное время являлись культурными центрами. В этом принимали участие люди, сочувствовавшие тому или иному из враждующих лагерей, потомки древних аристократических родов, силой обстоятельств вынужденные искать здесь прибежища, ученые монахи. Вот почему сложившиеся и записанные в XIII веке основные циклы сказаний — «записи о войнах» («гунки») имеют сложный, своеобразный характер.

В основу этих сказаний легли события феодальных войн, прежде всего борьбы Тайра и Минамото. Им посвящены «Сказание о годах Хогэн» («Хогэн-моногатари»);[1] «Сказание о годах Хэйдзи» («Хэйдзи-моногатари»)[2], «Сказание о доме Тайра» («Хэйкэ-моногатари») и др. Уже в записанном виде эти произведения снова «пошли в народ» и стали разноситься по стране такими же бродячими сказителями.

Гунки отличаются приподнятым гиперболическим стилем, особенно при изображении битв, авторы рисуют силу и ловкость воинов как нечто превосходящее все возможное для обыкновенных людей. Приподнятость придают описанию также ритмически организованные периоды, которыми изобилуют гунки. Так, «Сказание о доме Тайра» начинается стихами, звучащими торжественно и величаво:

---

[1] Годы Хогэн — 1156—1158 гг.
[2] Годы Хэйдзи — 1158—1160 гг.

Голос колокола в обители Гион
звучит непрочностью всех человеческих деяний.
Краса цветков на дереве Сяра
являет лишь закон: «живущее — погибнет».
Гордые — недолговечны:
они подобны сновидению весенней ночью.
Могучие — в конце концов погибнут:
они подобны лишь пылинке пред ликом ветра.
(Перев. Н. И. Конрада)

Наряду с эпизодами, изображенными с большой художественной силой, в гунки содержится много чисто документального материала: выдержки из хроник, длинные списки титулов и званий действующих лиц, истории строительства храмов и т. п. Поэтому при решении вопроса о жанре гунки следует учитывать ту сложную историческую и культурную обстановку, в которой они создавались.

Сюжетом художественного произведения стала историческая борьба, героями — ее деятели. Новое время вовлекло в исторические события огромные массы людей. Эти люди в большинстве своем были неграмотными. Достоверность того, о чем рассказывали им странствующие сказители, играла для них первостепенную роль. Поэтому перечисление титулов и званий предводителей домов и их вассалов давало слушателям возможность составить себе более полное представление о положении и мощи воюющих лагерей. Они слушали рассказ как бы о самих себе и своих противниках. А истории строительства храмов давали им представление о стране, которую они подчиняли себе.

Таким образом, новые произведения несли на себе «родимые пятна» — они характерны для того времени, когда художественная литература об исторических событиях стал выделяться из собственно исторической литературы.

Крупнейшим среди гунки является «Сказание о доме Тайра». Автор рассказывает о Тайра в период их расцвета и могущества, а затем изображает постепенное падение и гибель этого дома в решающем сражении у Симоносекского пролива. Мы видим гигантскую фигуру предводителя рода, Киёмори, с его неукротимыми страстями и неописуемой храбростью. Но автор не скрывает и горечи, рассказывая о его многочисленных прегрешениях, в числе которых и пренебрежение религией, и нарушение вассального долга. Предав огню храм и знаменитую статую Будды в древнем городе Нара, Киёмори затем умирает, словно испепеленный сжигающим его внутренним огнем. В самой смерти его автор воплощает буддийскую идею о неизбежности возмездия.

Повествование строится так, чтобы две главные идеи выступили как выражение мирового закона: идея бренности, непрочности человеческого существования, и мысль о гибельности стремления к власти тех, кто не имеет на нее законного, а в рамках феодальной идеологии — священного права,

Головокружительная быстрота, с которой рушились военная слава и могущество, все, что вчера еще казалось незыблемым, способствовали укреплению буддийских идей о бренности сущего. Судьба правителей из домов Тайра и Минамото трактовалась как доказательство того, сколь гибельна измена феодальному долгу даже для таких могущественнейших князей. «Родительские грехи ложатся и на детей» — эту старинную пословицу приводит автор «Сказания о доме Тайра» в главе «Искупление».

Таким образом, обе идеи, о которых мы говорили выше, представляют, в сущности, две стороны единого мировоззрения: божественная и непреходящая власть принадлежит императору, удел же феодальных властителей, какого бы могущества они ни достигали на краткое время,— бренность. Об этом и вещал колокол обители Гион...

В эпоху феодальной раздробленности и ожесточенных распрей такая критика и взгляд на центральную власть как представительницу «порядка в беспорядке» (Энгельс) могли сочувственно восприниматься и народом.

И все же не следует преувеличивать значение этого. Авторы не могут не любоваться феодальными обычаями и традициями, сверканием мечей и доспехов, зрелищем воинских подвигов. Осуждение жестокостей и измен имеет место лишь тогда, когда они совершаются по отношению к центральной власти или к члену того же феодального рода.

Но не эти идеи и не эти особенности «сказаний» обеспечили им долгую жизнь в истории японской литературы. Причину следует искать в другом — в глубоком и содержательном чувстве, их наполняющем.

Каждая эпоха вырабатывает свой идеал. Для феодализма это — могущественный, справедливый господин и верный вассал. Однако этот идеал в действительности сплошь и рядом нарушался. Ожесточенная борьба японских князей с законным сюзереном — императором — не только являлась преступлением против основного завета — верности, но и вовлекала в неправедную борьбу людей, которые свято соблюдали этот завет по отношению к своему военачальнику. Преданный вассал становился жертвой честолюбивых замыслов своего князя. Верному человеку было трудно выжить в насыщенной коварством и предательством атмосфере междоусобной борьбы князей. Люди, вовлеченные в эту борьбу, оказывались перед лицом неразрешимых противоречий — и создатели гунки сумели понять это.

Вот почему сквозь всю героику, сквозь звон оружия слышится сурово-печальный голос автора, глубоко переживающего трагедию обреченных на гибель. Тысячи людей, составляющие основные силы, цвет и мощь феодального сословия, попадают в трагическое положение — и автор не может не скорбеть об этом. Среди них есть люди, которые, по мысли автора, представляют собой образец ума и рыцарских доблестей, есть любящие, верные женщины. Все они, повинуясь долгу верности, вынуждены служить неправому делу, и в их гибели автор видит неизбежное возмездие, ложащееся на весь род до последнего колена. Такой взгляд на исторический конфликт как по-

рождающий неразрешимое противоречие приводит автора «Сказания о доме Тайра» к художественному отражению событий в плане трагедии, с трагической коллизией, виной и гибелью героев.

Таким образом, гунки стали трагедией, воплощенной в форме военно-феодальных эпопей. И не случайно позднее, когда театр в Японии прошел сложный путь развития от народного игрища, храмового действа, придворного дивертисмента до самостоятельного рода искусства, многие наиболее драматические эпизоды гунки легли в основу его пьес.

Междоусобные войны феодалов, длившиеся в течение всего XIII века, не прекратились и в следующем столетии. Война крупнейших коалиций, всеобщая сумятица, в которую вносили свой вклад и буддийские монастыри, присоединявшиеся то к одному, то к другому лагерю, затянулась. Она уничтожила остатки централизованного управления страной. Япония окончательно вступила в период феодальной раздробленности.

Восстания крестьян, разоряемых жестокой эксплуатацией и длительными междоусобицами, принимают теперь массовый характер, ускоряя расслоение самурайства. Не удивительно, что и в самурайской среде, и особенно в среде придворной аристократии, мысли людей все чаще обращаются к прошлому, к периоду Хэйан, который сквозь даль более чем двух столетий стал восприниматься как «золотой век» культуры. «Только старина близка моему сердцу!» — восклицает автор крупнейшего прозаического произведения XIV века, «Записок от скуки» («Цурэдзурэгуса»), Кэнко-хоси.

Кэнко — «мирское» его имя Канэёси — происходил из старинного рода Урабэ и был близок ко двору, но позже постригся в монахи. За свой выдающийся поэтический дар он был назван одним из «четырех небесных владык японской песни». Однако основную известность он снискал как автор «Записок от скуки» [1].

Глубокое чувство разочарования, понятное у представителя одной из древних фамилий, в полной мере испивших чашу превратностей судьбы, рождало стремление к философским раздумьям, обращало мысли к буддийской идее бренности мира, как объяснению причин падения власти родовой аристократии. Вместе с тем ощущение неизбежного конца заставляло особенно дорожить тем немногим, что еще оставалось, не пренебрегать радостями жизни, хотя бы и скромными. Подобные идеи явственно прослеживаются в творчестве Кэнко. Отсюда — противоречивая оценка его личности и мировоззрения в японской и европейской науке: одни считают его отрешившимся от мирских благ философом, другие видят в нем человека, подверженного всем слабостям человеческой натуры.

Однако самой характерной чертой, проходящей через все произведение Кэнко, думается, следует считать его стремление понять человеческую при-

---

[1] Название происходит от первых слов произведения: «Когда одолевает скука...»

роду во всех ее проявлениях, часто противоречивых, показать сложность духовного мира человека и многообразие восприятия им окружающего. Вероятно, именно здесь заключена причина того, что «Записки от скуки» выдержали самое трудное испытание — испытание временем: их читали во все последующие века, их высоко ценят и в современной Японии, как один из выдающихся памятников средневековой литературы.

Двести сорок три отрывка («дан»), составляющие книгу Кэнко, разнообразны по содержанию: тут и рассказы о различных событиях прошлого, и размышления о людях, их правах и обычаях, о старом и новом, литературные реминисценции и наблюдения над природой. И каждый отрывок несет в себе глубокое философское наблюдение. Толпа простолюдинов, глазеющая на скачки и сгрудившаяся так, что яблоку негде упасть, расступается перед человеком, высказавшим мудрую мысль, показывая этим ему свое уважение. «Человек ведь не дерево и не камень: бывают минуты, когда он не может не поддаться чувству»,— заключает Кэнко. Он нагибается над раковинкой, попавшейся ему на дороге, и внимательно рассматривает это крохотное произведение природы. Ничто окружающее, как бы мало оно ни было, не кажется ему ничтожным, не заслуживающим внимания.

Появление в это время произведения в жанре эссе нельзя считать случайным. Ушел в прошлое XIII век, когда самурайство выступило на историческую арену и был создан трагический эпос о кровопролитных битвах. В XIV веке самурайство, еще сильное политически и экономически, уже пережило свой наивысший подъем. Страна устала от бесчисленных феодальных сражений, грозный гул крестьянских восстаний временами заглушал их шум. Стремление найти в это переходное время непреходящие ценности побуждало отойти от традиций военно-феодальной литературы, интересовавшейся человеком прежде всего как представителем рода и носителем характерных для него качеств, и обратиться к отдельному человеку, пристально вглядеться в его духовный мир, раскрыть его сложность, будь это даже простолюдин из толпы. Размышляя над разнообразными случаями из жизни или предаваясь воспоминаниям о прочитанном и услышанном, автор приходит к мысли о ценности человека, о важности полного и многообразного восприятия всего окружающего,— и это, как в осколках зеркала, отражается в «Записках» монаха Кэнко. Творчество Кэнко прокладывало путь к дальнейшей гуманизации японской средневековой литературы. Новых вершин этот процесс достигнет в творениях выдающихся мастеров культуры позднего средневековья, и среди них — прозаика Ихара Сайкаку.

Японская литература развивалась в особых условиях. В период, когда рост буржуазных отношений привел к превращению городов в экономические и культурные центры, Япония была «изъята» из общего процесса мировых сношений. Правители из феодального дома Токугава (1603—1867), стремясь задержать развитие новых отношений, изолировали Японию от

стран, ранее вставших на путь буржуазного развития. Тем значительнее подвиг людей, сумевших и в этих условиях прийти к новому пониманию действительности,— мыслителей Араи Хакусэки, Андо Сёэки, драматурга Тикамацу Мондзаэмона, поэта Мацуо Басё и прозаика Ихара Сайкаку (1642—1693).

Сайкаку начал свой творческий путь как поэт и за поразительный дар поэтической импровизации получил прозвище «Мастера двадцати тысяч строк». Но после ряда семейных несчастий Хираяма Того (таково было, как предполагают, настоящее имя Сайкаку) оставил свои дела на попечение приказчиков и стал подолгу странствовать по Японии. В возрасте сорока одного года он написал свой первый роман. Сайкаку прожил после этого немногим более десяти лет, но за это время успел изменить облик японской прозы.

Бережливые отцы семейств и жрицы любви, чистые сердцем девушки и беспутные гуляки, трудолюбивые ремесленники и сметливые приказчики — весь пестрый мир средневекового города теснился у порога большой литературы, и Сайкаку раскрыл для него страницы своих произведений. Настойчивая тенденция Сайкаку показать силу стремления человека к личной свободе, к свободному чувству противоречила строгим догмам конфуцианской морали, являвшейся в период правления Токугава государственной идеологией. Отсюда — запрещение произведений Сайкаку, указ о котором был издан в 1791 году,— еще одна попытка сковать свободный дух горожан, так ярко выразившийся в творчестве великого прозаика.

Для жизни и быта феодально-абсолютистской Японии XVII века характерны были резкие контрасты. По-прежнему надменно держались дворяне-самураи, но они разорялись, а купцы, не обладавшие политическими правами, наживали состояния. За подачу крестьянской петиции угрожала смертная казнь, но сто шестьдесят восстаний потрясли страну в течение одного века. Уличенная в прелюбодеянии женщина подлежала казни, но в городах процветали кварталы публичных домов.

Потребности и желания горожанина, стесненные бесправием, мелочной регламентацией его обыденной жизни — вплоть до запрещения носить шелковую одежду — искали выхода. И зачастую стремление к свободе личности выливалось в желание свободы в области чувства. Люди из молодого и богатого сословия стремились вырваться из пут, им казалось, что они найдут желанную свободу в неограниченном проявлении чувственности, в разгуле.

В первом же прозаическом произведении «Мужчина, предавшийся любовной страсти» («Косёку итидай отоко», 1682) Сайкаку нарисовал картины жизни «веселых кварталов», очертил портрет героя своего времени.

Шесть столетий назад фрейлина Мурасаки создала роман о молодом человеке, посвятившем свою жизнь погоне за любовными наслаждениями. Но Сайкаку жил в другую эпоху и лепил образ своего героя из другого материала. Мурасаки рисовала мир придворных, далеких от реальной житей-

ской борьбы. За внешним блеском их жизни, за культом «очарования вещей» и любовных наслаждений уже явственно ощущался общий упадок, звучала пессимистическая философия бренности всего земного. Жажда наслаждений героя Сайкаку питается другим — избытком сил подымающегося сословия, стремлением высвободиться из-под влияния феодальной морали. И если Мурасаки идеализирует своего героя, то в изображении Ёноскэ, героя романа Сайкаку, явственно слышатся сатирические нотки.

Зорко подмечая новые черты характера, формировавшиеся в его время, Сайкаку создал тип предприимчивой, сметливой обитательницы «веселых кварталов» — это героиня повести «Женщина, несравненная в любовной страсти» («Косёку итидай онна», 1686).

За откровенным, напоминающим исповедь рассказом состарившейся куртизанки перед читателем — впервые в японской литературе — раскрываются мысли и чувства женщины, которую бедность толкнула на путь продажной любви. Все, чего она достигает в высшие моменты своей жизни, достается ей не по праву рождения, не переходит по наследству от предков,— она обязана своими удачами самой себе, своей красоте, сообразительности, энергии. Не удивительно, что в ней укореняется чувство собственного достоинства, мысль, что она — полноценный человек. Но тем горше для нее падение на самое «дно», сознание тщетности всех ее усилий. Ее судьба выступает как поистине трагическая.

Проводя свою героиню через различные приключения в домах знати и духовенства, Сайкаку как бы раздвигает сословные перегородки, и перед читателем разворачивается широкая картина жизни феодальной Японии, вскрываются разъедающие ее пороки, которые Сайкаку изображает с откровенной насмешкой и осуждением.

Круг зрения большого художника, конечно, не ограничивался миром «веселых кварталов». Писатель показал, что сила характера, активность в борьбе за свое личное счастье стали свойственны и обитательнице городского купеческого дома. Эта тема с большой остротой раскрыта в известном цикле новелл Сайкаку «Пять женщин, предавшихся любовной страсти» («Косёку гонин онна, 1686). Героини этих новелл уже не те покорные исполнительницы мужской воли, которых изображала литература Хэйана, в первую очередь, Мурасаки. Теперь женщина хотела любить по своему выбору. И каждая из героинь этих новелл активно проявляла свои чувства и желания, выступала смелой вершительницей своей и чужой судьбы. Но ее стремления не могли увенчаться успехом. Сайкаку показал в своих новеллах, что трагично само положение женщины, при котором любая случайность, первое же проявление своей воли приводят женщину к гибели. Он выступил здесь как глубокий гуманист, утверждающий ценность человеческой личности со всем ее внутренним миром, как большой художник, раскрывающий красоту свободного чувства.

Но в то же время Сайкаку предстает и как защитник интересов городского сословия, к которому он принадлежит, и он советует женщине слу-

шаться старших в семье, а мужчине — остерегаться «проказ» и «хитростей» женщин.

Эта черта особенно сказалась в таких произведениях Сайкаку, как сборник притч и преданий под многозначительным названием «Вечная сокровищница Японии» («Нихон эйтайгура», 1688) и «Двадцать рассказов о непочтительных детях в нашей стране» («Хонтё нидзюфуко», 1686). В первом из них он рассказывает о «домах, где водятся деньги», об удачах и разорениях купцов, чтобы преподать своим собратьям-горожанам полезные советы и нравоучения. «Все сейчас тянутся к роскоши не по средствам. Нехорошо это!» — говорит он. Ведь горожанин — не самурай, родословную ему заменяют деньги. Поэтому, если он беден, он «хуже того, кто в праздник обезьяну водит, людей развлекает. Главное — стремиться к удаче, искать богатство».

Близки по замыслу к «Вечной сокровищнице» и рассказы о «Двадцати непочтительных детях». «Нечего на меня надеяться, сами себе добро наживайте»,— такие слова вкладывает Сайкаку в уста богини милосердия Каннон. Дети не должны легкомысленно растрачивать богатство, нажитое родителями: сохраняя предписанную конфуцианской моралью почтительность, они должны поддерживать процветание дома, способствуя этим усилению всего сословия горожан,— таков сугубо рационалистический вывод, который делает Сайкаку. Мораль молодого японского бюргерства еще несет на себе отпечаток средневековой ограниченности, узости, скопидомства, и это сказывается во взглядах Сайкаку, вступая в противоречие со стремлением писателя способствовать свободному развитию человека. Свод правил трезвой купеческой морали представляется ему «вечной сокровищницей» жизненной мудрости.

Но и здесь мы находим свидетельства более широких устремлений Сайкаку: мало проку, говорит он, плавать лишь по «узенькой канавке» вокруг дома — надо добраться до «Острова сокровищ». Это высказывание знаменательно: «узенькая канавка» вокруг дома — это Сэто, Внутреннее море Японии, а «Остров сокровищ» — Нагасаки, единственный из портов страны, имевший право в период изоляции Японии вести широкую торговлю с иноземными купцами. Но, думается, и это нельзя понимать буквально. Не правильнее ли увидеть здесь иносказание — намек на то чувство стеснения, которое должна была вызывать у Сайкаку, как и у многих его современников, искусственная изоляция страны, невозможность увидеть широкий мир за ее пределами? Вся направленность его произведений побуждает нас придать этим словам более широкий смысл.

В огромной книге мировой литературы немало ярких страниц принадлежит писателям, жившим на рубеже нового времени в быстро развивающихся городах. Внутри феодального общества рождались новые классы, шла борьба за свободу обмена и общения, а это привело и к обмену духовными ценностями, к стремлению учиться у современников из тех стран, которые раньше вступили на путь развития новой культуры. Не случайно, например,

образ Дон-Жуана, человека, не ставящего ни во что законы общества, преступающего их, бросая вызов ханжеству и гнетущей морали феодализма, привлек внимание поэтов и писателей разных народов. Жанр плутовского романа, возникший в Испании, нашел распространение во французской литературе XVII века, в ней получил дальнейшее развитие сюжет о злоключениях бедного плебея или разорившегося дворянина, отвоевывающего себе счастье лишь благодаря своей изворотливости. В Англии, где буржуазные отношения развивались сравнительно быстро, рождается роман Дефо «Молль Флендерс», героиня которого, воровка и куртизанка, чувствует себя полноправным членом общества и требует признания своих прав. Широко развивается и жанр новеллы, одним из излюбленных сюжетов которого становится рассказ о тех, «чья любовь имела несчастный исход» («Декамерон», «Венецианский мавр» Джеральди, «Несчастные влюбленные» Салернитано). Эти сюжеты, созданные в Италии, вдохновляют писателей других стран.

«Все сословное и застойное исчезает, все священное оскверняется, и люди приходят, наконец, к необходимости взглянуть трезвыми глазами на свое жизненное положение и свои взаимные отношения»,— пишут Маркс и Энгельс («Манифест Коммунистической партии»). Так возникает тяга к жизненной правде, а процесс мирового общения ускоряет складывание в литературе нового метода — создание обобщенных, типизированных образов людей, действующих в типических обстоятельствах.

Под пером Сайкаку возникают также обобщенные новые образы: безудержно предававшегося любовной страсти купеческого сына Ёноскэ; образ вышедшей из низов куртизанки; образы простых горожан и горожанок, типичных детей своего времени и своей среды. Культурная изоляция Японии в XVII веке, застойные формы, которые приобрел японский феодализм, не могли не отразиться и на творчестве Сайкаку. Так, образ Ёноскэ значительно уступает в широте образам его собратьев в европейской литературе: он не наделен чертами сознательного свободомыслия и атеизма. Но Сайкаку сумел раскрыть трагизм столкновения новых характеров со старыми общественными нормами. Он показал губительное влияние общественных условий на судьбу человека из низов («Женщина, несравненная в любовной страсти»). В его новеллах история любви простой горожанки вышла за пределы тесного семейного мирка и достигла высоты подлинной драмы. Сайкаку создал подлинно новый художественный метод в японской прозе и поднял на небывалую высоту новеллу и повесть.

Название, под которым произведения Сайкаку остались в истории японской литературы, раскрывает направленность его метода: они именуются «повестями о нашей жизни» («укиё-дзоси»), именно о земной, реальной жизни, которую буддийская идеология обозначала, как «укиё» — бренную, суетную, противопоставляя ее «истинному и абсолютному миру», нирване. Эта «земная жизнь» была для Сайкаку жизнью развивающегося торгового

города, и писатель показал, что литература может найти в ней неисчерпаемый материал.

Таким образом, великий японский прозаик Сайкаку перешагнул в своем творчестве тот историко-культурный рубеж, по одну сторону которого остается средневековое мышление человека, а по другую начинается идеологическая борьба с этим мышлением в науке, философии, искусстве и литературе.

Е. ПИНУС

ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ ТАКЭТОРИ

I

ЧУДЕСНОЕ РОЖДЕНИЕ КАГУЯ-ХИМЕ

Не в наши дни, а давно-давно жил старик Такэтори. Бродил он по горам и долинам, рубил бамбук и мастерил из него разные изделия на продажу. Потому и прозвали его Такэтори — «тот, кто добывает бамбук». А настоящее имя его было Сануки-но Мияцукомаро́.

Вот однажды зашел старик Такэтори в самую глубину бамбуковой чащи и видит: от одного деревца сияние льется, словно горит в нем огонек. Изумился старик, подошел поближе, смотрит — что за диво! В самой глубине бамбукового ствола сияет ярким светом дитя — прекрасная девочка ростом всего в три вершка.

И сказал тогда старик:

— С утра и до позднего вечера собираю я бамбук в лесу, плету из него корзины и клетки, а нынче досталась мне не клетка, а малолетка, не плетушка, а лепетушка. Видно, суждено тебе стать моей дочерью.

Взял он ее бережно и отнес домой, а дома поручил заботам своей старухи. Красоты девочка была невиданной, но такая крошечная, что положили ее вместо колыбели в клетку для певчей птицы.

С той самой поры, как пойдет старик Такэтори в лес, так и найдет чудесный бамбук: в каждом узле золотые монеты. Понемногу стал он богатеть.

Росла девочка быстро-быстро, тянулась вверх, как молодое деревцо. Трех месяцев не минуло, а уж стала она совсем большой, как девушка на выданье. Сделали ей прическу, какую носят взрослые девушки, и с должными обрядами надели на нее длинное мо.

Из-за шелковой занавеси девушку не выпускали, чтоб чужой глаз не увидел,— так берегли и лелеяли. Ни одна красавица на свете не могла с ней сравниться нежной прелестью лица. В доме темного угла не осталось, все озарило сиянье ее красоты. Нападет иной раз на старика недуг, но взглянет он на свою дочь — и боль как рукой снимет. Возьмет его досада — рассердится, а только увидит ее — и утешится.

Долгое время еще ходил старик Такэтори в лес за бамбуком. Каждый раз находил он дерево, полное золотых монет, и стал неслыханным богачом.

Когда найденная дочь его совсем выросла, призвал старик Такэтори жреца Имбэ-но Акита из Мимуродо, и Акита дал ей имя Наётакэ́-но Ка́гуя-химэ́, что значит: «Лучезарная дева, стройная, как бамбук».

Три дня праздновали радостное событие. Старик созвал на пир всех без разбору. Пенью, пляскам конца не было. Славно повеселились на этом торжестве!

II

СВАТОВСТВО ЗНАТНЫХ ЖЕНИХОВ

Люди всех званий, и простые и благородные, наслышавшись о несравненной красоте Кагуя-химэ, влюблялись в нее с чужих слов, только и думали, как бы добыть ее себе в жены, только и мечтали, как бы взглянуть на нее хоть раз. Даже близким соседям, даром что жили они возле самой ограды, у самых дверей ее дома, и то не просто было увидеть Кагуя-химэ. Но влюбленные, глаз не смыкая, все ночи напролет бродили вокруг ограды и, проделав в ней дырки, заглядывали во двор и вздыхали: «Где ж она? Где ж она?» — а многим слышалось: «Где жена? Где жена?» Влюбленные вздыхали: «Мы тоскуем, мы плачем, а от нее ни привета, ни вести...» А людям слышалось: «Мы тоскуем о невесте, о невесте...» Так родились слова «жена» и «невеста».

Знатные женихи толпою шли в безвестное селение, где, казалось бы, не могла скрываться достойная их любви красавица, но только напрасно труды потеряли. Пробовали они передавать весточки Кагуя-химэ через ее домашних слуг — никакого толку.

И все же многие упрямцы не отступились от своего. Целые дни, все ночи бродили они вокруг да около. Те же, любовь которых была неглубока, решили: «Ходить понапрасну — пустое дело». И оставили тщетные хлопоты.

Но пятеро из несметного множества женихов — великие охотники до любовных приключений — не хотели отступиться. Один

из них был принц Исицуку́ри, другой — принц Курамо́ти, третий был правый министр А́бэ-но Мимура́дзи, четвертый — дайнаго́н Óтомо-но Миюки и, наконец, пятый — тюнаго́н Исонока́ми-но Маро́.

Вот какие это были люди.

На свете множество женщин, но стоит, бывало, этим любителям женской красоты прослышать, что такая-то хороша собою, как им уже не терпится на нее посмотреть. Едва дошли до них слухи о прекрасной деве Кагуя-химэ, как они загорелись желанием увидеть ее, да так, что не могли ни спать, ни пить, ни есть,— совсем от любви обезумели. Пошли к ее дому. Сколько ни стояли перед ним, сколько ни кружили около — все напрасно! Пробовали посылать письма — нет ответа! Слагали жалостные стихи о своей любовной тоске — и на них ответа не было. Но никакая суровость не могла отпугнуть их, и они продолжали приходить к дому Кагуя-химэ и в месяц инея, когда дороги засыпаны снегом и скованы льдом, и в безводный месяц, когда в небе грохочет гром и солнце жжет немилосердно.

Однажды женихи позвали старика Такэтори и, склонившись перед ним до земли, молитвенно сложив руки, стали просить:

— Отдай за одного из нас свою дочь!

Старик сказал им в ответ:

— Она мне не родная дочь, не могу я ее приневоливать.

Влюбленные разошлись по домам, опечалясь, и стали взывать к богам и молить, чтобы послали им боги исцеление от любовного недуга, но оно все не приходило. «Ведь придется же и этой упрямице когда-нибудь избрать себе супруга»,— с надеждой думали женихи и снова отправлялись бродить вокруг дома Кагуя-химэ, чтобы она видела их постоянство. Так своей чередой шли дни и месяцы.

Как-то раз старик, завидев у своих ворот женихов, сказал Кагуя-химэ:

— Дочь моя драгоценная! Ты божество в человеческом образе, и я тебе не родной отец. Но все же много забот положил я, чтобы вырастить тебя. Не послушаешь ли ты, что я, старик, тебе скажу?

Кагуя-химэ ему в ответ:

— Говори, я все готова выслушать. Не ведала я до сих пор, что я божество, а верила, что ты мне родной отец.

— Утешила ты меня добрым словом! — воскликнул старик.— Вот послушай! Мне уже за седьмой десяток перевалило, не сегодня-завтра придется умирать. В этом мире уж так повелось: мужчина сватается к девушке, девушка выходит замуж. А после моло-

дые ставят широкие ворота: семья у них множится, дом процветает. И тебе тоже никак нельзя без замужества.

Кагуя-химэ молвила в ответ:

— А зачем мне нужно замуж выходить? Не по сердцу мне этот обычай.

— Вот видишь ли, хоть ты и божество, но все же родилась в женском образе. Пока я, старик, живу на свете, может еще все идти по-прежнему. Но что с тобой будет, когда я умру? А эти пятеро знатных господ уже давно, месяц за месяцем, год за годом, ходят к тебе свататься. Поразмысли хорошенько, да и выбери одного из них в мужья.

Кагуя-химэ ответила:

— Боюсь я вступить в брак опрометчиво. Собой я вовсе не такая уж красавица. Откуда мне знать, насколько глубока их любовь? Не пришлось бы потом горько каяться. Как бы ни был благороден и знатен жених, не пойду за него, пока не узнаю его сердца.

— Ты говоришь, словно мысли мои читаешь! Хочется тебе наперед узнать, сильно ли любит тебя твой суженый. Но все женихи твои так верны, так постоянны... Уж, верно, любовь их не безделица.

— Как ты можешь судить об этом? — отвечала Кагуя-химэ.— Надо сначала испытать их любовь на деле. Все они как будто равно любят меня. Как узнать, который из них любит всего сильнее? Передай им, отец, мою волю. Кто из них сумеет добыть то, что я пожелаю, тот и любит меня сильнее других, за того я и замуж выйду.

— Будь по-твоему,— сказал старик Такэтори.

В тот же вечер, только стало смеркаться, женихи, как обычно, пожаловали к дому Кагуя-химэ. Кто играет на флейте, кто напевает любовную песню, кто поет, вторя себе на струнах, кто вполголоса тянет напев, а иной просто постукивает своим веером... Выходит к ним старик и говорит:

— Мне, право, совестно перед вами. Вот уж сколько времени вы ходите к моей убогой хижине, и все понапрасну. Говорил я своей дочери: «Не сегодня-завтра мне, старику, умирать. Сватаются к тебе знатные, именитые женихи. Выбери из них любого, кто тебе по сердцу». А она в ответ: «Хочу испытать, так ли велика их любовь, как они в том клянутся». Что ж, против этого не поспоришь! И еще она сказала: «Все они как будто равно любят меня. Хочу узнать, который из них любит меня всех сильнее. Передай им, отец, мои слова: «Кто сумеет достать мне то, что я попрошу, за того и пойду замуж». Я похвалил ее, хорошо придумала. Остальные тогда не будут в обиде.

Женихи тоже согласились: «Мудро она решила». И старик пошел сказать своей дочери: «Так-то и так. Согласны они достать тебе все, что ты прикажешь».

Кагуя-химэ тогда молвила:

— Скажи принцу Исицукури, есть в Индии каменная чаша, по виду такая, с какой монахи ходят собирать подаяния. Но не простая она, а чудотворная — сам Будда с ней ходил. Пусть отыщет ее и привезет мне в подарок. Принцу Курамоти скажи, есть в Восточном океане чудесная гора Хорай. Растет на ней дерево — корни серебряные, ствол золотой, вместо плодов — белые жемчужины. Пусть сорвет с того дерева ветку и привезет мне.— И, подумав немного, продолжала: — Правому министру Абэ-но Мимурадзи накажи, чтобы достал он мне в далеком Китае платье, сотканное из шерсти Огненной мыши. Дайнагон Отомо пусть добудет для меня камень, сверкающий пятицветным огнем,— висит он на шее у дракона. А у ласточки есть раковинка, помогает она легко, без мучений детей родить. Пусть тюнагон Исоноками-но Маро подарит мне одну такую.

— Трудные задачи ты задала,— смутился старик.— Не найти и в чужих странах таких диковинок. Как я им скажу, чего ты от них требуешь?

— А что здесь трудного? — улыбнулась Кагуя-химэ.

— Будь что будет, пойду уж, скажу.

Вышел к женихам и говорит:

— Так-то и так. Вот что Кагуя-химэ от вас требует.

Принцы и сановники вознегодовали:

— Зачем она задала нам такие трудные, такие невыполнимые задачи? Уж лучше бы попросту запретила нам ходить сюда,— и пошли в огорчении домой.

III

КАМЕННАЯ ЧАША БУДДЫ

Для принца Исицукури и жизнь была не в жизнь без Кагуя-химэ. Стал он ломать голову, как ему быть. «Даже там, в далекой Индии, чаша эта одна-единственная,— думал он.— Пусть я пройду путь длиной в сотню тысяч ри, но как знать, найду ли ее?»

Человек он был изворотливый, хитрого ума. «Нынче отправляюсь в Индию искать чудесную чашу»,— велел он сказать Кагуя-химэ, а сам скрылся подальше от людских глаз.

Когда же минуло три года, взял он, не долго думая, первую попавшуюся старую чашу для сбора подаяний. Стояла эта чаша,

вся покрытая черной копотью, перед статуей блаженного Пиндолы в храме на Черной горе в уезде Тоти провинции Ямато. Принц Исицукури положил чашу в мешочек из парчи, привязал его к ветке из рукодельных цветов и понес в дар Кагуя-химэ.

«Может ли быть?!» — подумала в изумлении Кагуя-химэ. Смотрит, в чашу письмо вложено. Развернула она письмо и прочла:

«Миновал я много
Пустынь и морей, $\frac{\text{и скал}}{\text{искал}}$
Эту чашу святую...
День и ночь с коня $\frac{\text{не слезал}}{\text{не слеза}}$
Кровь ланиты мои орошала...»

Кагуя-химэ взглянула на чашу, не светит ли она, но не приметно было даже того слабого сияния, какое исходит от светлячка.

И она вернула чашу, послав вместе с ней такие стихи:

«Капля одна росы
Ярче сияет утром
Дивной чаши твоей.
Зачем ты ее так долго
Искал на Черной горе?»

Принц бросил чашу перед воротами и в сердечной досаде воскликнул:

«В сиянье Белой горы
Померкла дивная чаша.
Я ли виновен в том?
Испил я чашу позора,
Но не оставил надежды...»

С тех пор и пошла поговорка про таких бесстыдников: «Испить чашу позора».

IV

ЖЕМЧУЖНАЯ ВЕТКА С ГОРЫ ХОРАЙ

Принц Курамоти был человеком глубокого ума. Он испросил себе отпуск у императорского двора якобы для того, чтобы поехать купаться в горячих источниках на острове Цукуси. Но прекрасной

Кагуя-химэ велел сказать: «Отправляюсь искать жемчужную ветку на горе Хорай»,— и отбыл из столицы. Челядинцы проводили его до гавани Нанива, а там принц сказал, что едет по тайному делу, лишних людей ему не надо. Оставил при себе только самых близких слуг, остальных отпустил домой.

Но принц только для отвода глаз говорил, что едет в Цукуси, а сам через три дня тайно вернулся на корабле в гавань Нанива. Он заранее повелел, чтобы призвали шестерых первейших в стране мастеров златокузнечного дела. Выстроил для них дом в таком потаенном месте, куда не могли бы наведаться любопытные, вокруг дома возвел тройную ограду и поселил в нем мастеров. Да и сам принц укрылся там от чужих взглядов. Молясь об успехе дела, принес он в дар богам шестнадцать своих поместий и велел мастерам с божьей помощью приступить к работе. И мастера изготовили для принца в точности такую жемчужную ветку, какую пожелала Кагуя-химэ. Хитроумную уловку придумал принц.

Через три года сделал он вид, будто возвратился в гавань Нанива из дальнего странствия, и прежде всего послал в свой собственный дворец извещение: «Я прибыл на корабле». Прикинулся, будто еле жив, так измучен трудной дорогой! Навстречу ему вышло множество народу.

Принц положил драгоценную ветку в длинный дорожный сундук, накинул на него покрывало и повез в дар Кагуя-химэ.

Пошла в народе громкая молва:

«Приехал из дальних стран принц Курамоти и привез с собою волшебный цветок Удумбара...»

Услышала эти толки Кагуя-химэ, и сердце у нее чуть не разорвалось от горя и тревоги: как знать, быть может, принц Курамоти и в самом деле одержал над ней победу?

Тем временем раздался стук в ворота: «Принц Курамоти пожаловал».

— Я, как был, в дорожном платье...— воскликнул принц, и старик поспешил ему навстречу.— Жизни не жалея, добыл я эту жемчужную ветку. Покажите ее Кагуя-химэ.

Старик отнес ветку девушке. Глядит она, к ветке послание привязано с такими стихами:

«Пускай бы вдали от всех
Погиб я смертью напрасной
В далекой, чужой стороне,
Но я бы вовек не вернулся
Без этой ветки жемчужной...»

Хорош был подарок, но Кагуя-химэ и глядеть на него не хотела.

Тут старик Такэтори опять торопливо вбежал в ее покои и стал убеждать и уговаривать:

— Смотри, принц достал тебе жемчужную ветку с горы Хорай, в точности такую, как ты велела, сомневаться нечего. Чем теперь ты станешь отговариваться? Принц приехал прямо к нам, как был, в дорожном наряде, даже дома не побывал. Ну же, не упрямься, выйди к нему скорее!

Но Кагуя-химэ, не отвечая ни слова, оперлась щекой на руку и погрузилась в невеселую думу.

А принц поднялся на веранду с видом победителя, словно говоря: «Теперь-то уж она не сможет отказать мне».

Старик тоже считал, что так и должно быть.

— Жемчужные деревья в нашей стране не растут,— сказал он Кагуя-химэ.— Нелегко, верно, было сыскать такое. Как ты на этот раз откажешь жениху? И собой он загляденье как хорош!

— Не хотелось мне ответить на просьбу моего отца решительным отказом,— жаловалась Кагуя-химэ,— вот я и попросила ненужную вещь, ее и в руки-то брать не хочется. Не ждала я, что он ее добудет. Что делать теперь? Что делать?

Но старик Такэтори, не слушая дочери, стал готовить опочивальню для молодых. Спросил он у принца Курамоти:

— Где растет такое дерево красоты небесной, чудесной, небывалой?

Начал принц рассказывать:

— Позапрошлый год в десятый день второго месяца отплыл я на корабле из гавани Нанива. Вышел корабль в открытое море, а куда плыть — не знаю. Но подумал я: «К чему мне жить, если не достигну я цели всех моих помыслов? Пусть же плывет корабль по воле ветра, куда понесут волны. Смерть, так смерть, но если суждено мне жить, то, верно, уж где-нибудь встретится мне этот чудесный остров Хорай».

Унесло мой корабль в неведомые просторы океана, далеко от родной страны. Много бед встретили мы на своем пути. Порою волны так вздувались и бушевали, что казалось, вот-вот поглотит нас морская пучина. Иной раз корабль прибивало волнами к берегам неизвестной земли. Нападали на нас страшные, похожие на демонов, существа, угрожая пожрать живьем. Бывало и так, что теряли мы направление, не понимая, откуда и в какую сторону плывем, и становились игрушкой волн. Когда кончались запасы пищи, собирали мы съедобные травы и коренья на берегах безвестных островов, чтобы только не умереть с

голоду. А однажды вдруг, откуда ни возьмись, появилось чудовище,— не описать словами его ужасного вида,— и, разинув пасть, напало на меня и моих спутников. Случалось, мы поддерживали свою жизнь только морскими ракушками. Сколько тяжких недугов перенесли мы в пути под открытым небом, там, где не от кого ждать помощи! Не знали, куда плывем, жутко было на душе...

Так неслись мы на корабле по воле морских течений, и вот на пятисотый день пути... Да, как раз на пятисотый день, утром, в «час Дракона», вдруг в морской дали показалась гора! Все мы на корабле сгрудились вместе и смотрели на нее, не отводя глаз. Большая гора точно плыла по морю нам навстречу. Как прекрасна была ее высокая вершина! «Вот она, та самая гора, которую я ищу!» — подумалось мне, и страшно стало на душе и радостно.

Два-три дня плавали мы вокруг горы, любуясь на нее.

Вдруг видим, вышла из самых ее недр молодая дева в одеянии небесной феи. Стала она черпать воду из ручья серебряным кувшинчиком. Тут сошли мы с корабля на берег. Спросил я у нее: «Как зовется эта гора?» Дева ответила мне: «Зовут ее Хорай». Не могу и описать, какую радость почувствовал я в ту минуту. Спросил я еще: «Как тебя величают по имени?» Ответила она: «Имя мое Уканрури — «Бирюза в венце»,— и с этими словами вдруг пропала в глубине горы.

А гора крутая, нигде не видно подступа к вершине. Стал я бродить по острову.

Всюду на горных склонах росли деревья, усыпанные невиданными цветами дивной красоты. Журча, сбегали вниз ручьи и потоки, золотые, серебряные, лазоревые, а над ними висели мосты, украшенные драгоценными камнями всех цветов радуги. Деревья вокруг так и светились, так и сияли! Растение с жемчужными ветками было среди них самым невзрачным, но я не посмел ослушаться приказа Кагуя-химэ и сломил с него ветку. Гора Хорай невыразимо прекрасна! Нет ей равных на свете,— можно без конца любоваться. Но только сорвал я эту ветку, как поспешил назад, на корабль. Сердце торопило меня скорей вернуться на родину. К счастью, подул попутный ветер, и спустя четыре сотни дней с небольшим мы уже увидели родной берег. Боги послали мне благополучное возвращение на родину в ответ на мои горячие молитвы. Только вчера возвратился я в столицу и, даже не сбросив с себя одежды, еще влажной от соленой морской воды, поспешил сюда. И вот я здесь!

Старик выразил свое сердечное сочувствие в такой песне:

«День за днем искал я бамбук.
На горе́ в бессолнечной чаще
Я узлы его разрубал,
Но встречался ты с горем чаще,
Разрубая узлы судьбы».

Принц молвил в ответ:

— Да, много я горя вытерпел, но сегодня наконец мое измученное сердце нашло покой.— И сложил ответную песню:

«Сегодня просох мой рукав,
Росой моих слез окропленный,
Росою любовной отравы...
О травы, на летних лугах,
Не счесть вас, как муки мои!»

Но, как на грех, в эту самую минуту во двор ввалилась гурьба людей. Было их шестеро. Один из них нес письмо, как подобает, на конце длинной расщепленной трости.

— Я — старшина мастеров златокузнечного дела из дворцовой мастерской,— объявил он.— Зовут меня Аябэ-но Утимаро́. Изготовил я вместе с моими подручными жемчужную ветку. Больше тысячи дней трудились мы не покладая рук, постились по обету, не брали в рот до конца работы ни риса, ни другого какого-нибудь зерна, но награды за свои труды не получили. Прошу уплатить мне, чтоб мог я поскорее вознаградить моих помощников.

— О чем толкует этот человек? — недоуменно спросил старик Такэтори.

Принц от смущения был сам не свой, душа у него готова была расстаться с телом.

До слуха Кагуя-химэ долетели слова: «...изготовил я жемчужную ветку».

Она потребовала:

— Покажите мне прошение этих людей.

Раскрыла она прошение и прочла:

«Милостивый господин принц! Больше тысячи дней мы, подлые ремесленники, скрывались вместе с вами в одном потаенном доме. За это время мы с великим тщанием изготовили по вашему приказу драгоценную ветку с жемчугами. Вы обещали, что не только пожалуете нам щедрую денежную награду за нашу работу, но и добудете для нас доходные государственные должности, однако ничего нам не уплатили. Пока мы думали, как же нам теперь быть, дошли до нас вести о том, что изготовлена эта жемчужная ветка в подарок вашей будущей супруге Кагуя-химэ. Мы пришли сюда в надежде получить от ее милости обещанную плату».

Когда Кагуя-химэ прочла эти слова, лицо ее, затуманенное печалью, вдруг просветлело, она улыбнулась счастливой улыбкой и позвала к себе старика:

— А я-то в самом деле поверила, что эта ветка дерева с горы Хорай! Все было низким обманом. Скорее отдай назад эту жалкую подделку!

— Ну уж раз это подделка,— согласился старик,— то, само собой, надо ее вернуть обманщику.

Легко стало на сердце у Кагуя-химэ. Отослала она жемчужную ветку назад с такими стихами:

«Я думала: истина!
Поверила я...
Все было поддельно:
Жемчужины слов
И жемчужные листья».

А старик Такэтори, который до этого так приветливо беседовал с принцем, прикинулся, будто спит. Принц не знал, что ему делать, куда деваться от смущения. Наконец смерклось, и он смог потихоньку оставить дом Кагуя-химэ.

Кагуя-химэ позвала к себе мастеров и в благодарность за то, что они так вовремя пришли со своей жалобой, щедро их наградила, как своих спасителей.

Мастера не помнили себя от радости: «Получили мы все, на что надеялись!»

Довольные, пошли они домой, но на обратном пути подстерег их принц Курамоти со своими людьми и нещадно избил. Недолго пришлось мастерам радоваться награде — побросали они деньги и убежали, обливаясь кровью.

А принц Курамоти воскликнул:

— Какой невиданный позор! На свете не бывает худшего. Потерял я любимую, но мало того — теперь мне стыдно людям на глаза показаться.

И скрылся один в глубине гор.

Придворные из его свиты, все его слуги, разбившись на отряды, бросились искать своего господина повсюду, да так и не нашли. Исчез бесследно... Может, и на свете его не стало.

А может быть, принц, стыдясь даже собственных слуг, спрятался так, что и найти его было нельзя.

С тех пор и говорят про таких неудачников: «Напрасно рассыпал он жемчужины своего красноречия...»

V
ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕРСТИ ОГНЕННОЙ МЫШИ

Правый министр Абэ-но Мимурадзи происходил из могущественного рода и владел большими богатствами. Случилось так, что в тот самый год, когда Кагуя-химэ наказала ему добыть наряд, сотканный из шерсти Огненной мыши, приехал на корабле из Китая торговый гость по имени Ван Цин. Ему-то и написал письмо Абэ-но Мимурадзи с просьбой купить в Китае эту диковину.

Письмо с деньгами он доверил своему самому надежному слуге Оно-но Фусамори. Фусомори поехал в торговую гавань Хаката, где находился китайский гость, и все вручил ему в сохранности.

Ван Цин написал такой ответ:

«Одежды из шерсти Огненной мыши нет и в моей стране. Слухи о такой диковине доходить до меня доходили, но видеть своими глазами ни разу не удалось. Думаю, что если бы где-нибудь на свете была такая, то и в Японию ее привезли бы. Но раз этой одежды никто не видел, значит, и нет ее нигде. Трудно исполнить ваш заказ. Однако попробую спросить у двух-трех самых великих богачей в моей стране, не водится ли этот товар в Индии. Если же и там нет, верну деньги с посланным».

Отправив такой ответ, Ван Цин вместе с Оно-но Фусамори отплыл к берегам Китая. Спустя немалое время воротился их корабль в Японию. Фусамори послал известие, что скоро прибудет в столицу, но правый министр Абэ так сгорал от нетерпения, что выслал ему навстречу самого быстроходного коня.

На этом коне Фусамори доскакал до столицы из страны Цукуси всего за семь дней и вручил своему господину письмо от Ван Цина:

«С большим трудом достал я, разослав повсюду гонцов, одежду из шерсти Огненной мыши. Не только в старые времена, но и в наше время нелегко добыть платье, сотканное из шерсти этого диковинного зверя. Услышал я, что некогда один святой мудрец привез в Китай такое одеяние из индийской земли и что находится оно в храме где-то в Западных горах. Испросил я на покупку разрешение императорского двора. Чиновник, поехавший выкупить эту диковину, сообщил мне, что денег не хватило, и я послал ему еще пятьдесят золотых. Прошу выслать мне эти деньги немедленно или же вернуть одежду из шерсти Огненной мыши в полной сохранности».

Правый министр Абэ голову потерял от радости.

— Нашел о чем говорить! Такие пустячные деньги! Непременно сейчас же верну! Я наверху блаженства! — И, сложив

руки, как на молитве, он низко поклонился в сторону китайской земли.

Ларчик, в котором хранился чудесный убор, был искусно украшен драгоценными каменьями всех цветов радуги. Сама одежда была цвета густой лазури, а концы шерстинок отливали золотом. Никакой наряд в мире не мог с ним сравниться. Казалось оно бесценным сокровищем!

Не водой очищали ткань из шерсти Огненной мыши, а жарким пламенем, и она выходила из огня еще прекраснее прежнего. Дорого было чудесное свойство этого наряда, но еще дороже его красота!

— Какое великолепие! Понимаю теперь, почему Кагуя-химэ так хотелось получить эту одежду,— в восхищении воскликнул Абэ-но Мимурадзи.

Он снова уложил драгоценный убор в ларчик, привязал к ларчику цветущую ветку дерева, а сам роскошно нарядился, думая, что уж непременно проведет эту ночь в доме Кагуя-химэ.

И сочинил для нее такую песню:

«Страшился я, что в огне
Любви моей безграничной
Сгорит этот дивный наряд.
Но вот он, прими его!
Он отблеском пламени блещет...»

Абэ-но Мимурадзи подошел к воротам дома Кагуя-химэ и остановился, ожидая, чтобы его впустили. Навстречу ему вышел старик Такэтори, принял от него чудесное одеяние и понес показать Кагуя-химэ.

— Ах, и правда, прекрасный убор! Но все же не знаю, в самом ли деле он соткан из шерсти Огненной мыши?

— Да что там ни говори, все равно я первым делом приглашу гостя в дом,— решил старик.— Во всем мире не видано такой прекрасной ткани. Уж поверь, что это и есть та самая одежда из шерсти Огненной мыши. Нехорошо так мучить людей,— упрекнул старик девушку и пригласил Абэ-но Мимурадзи в дом.

«Ну на этот-то раз, наверно, Кагуя-химэ согласится выйти замуж»,— обрадовалась в душе старуха.

О старике и говорить нечего! Он все время печалился, что дочь одиноко живет в девушках, и очень хотел выдать ее замуж за хорошего человека, но она упорно отказывалась от замужества, а принуждать ее насильно не хотелось.

— Надо бросить в огонь эту одежду,— сказала Кагуя-химэ старику.— Если пламя ее не возьмет, я поверю, что она настоя-

щая, и уступлю просьбам правого министра. Ты говоришь, что в целом мире не найти наряда прекраснее. Ты веришь, что он и в самом деле соткан из шерсти Огненной мыши, а по мне, надо хоть один-единственный раз испытать его огнем.

— Что ж, справедливо! — согласился старик и передал слова девушки правому министру.

— Шерсти Огненной мыши нет и в китайской земле,— ответил тот.— Насилу-то нашли! Какие здесь могут быть сомнения. Но если Кагуя-химэ так хочет, что ж! Бросайте в огонь!

Бросили одежду в жаркий огонь, пых! — и сгорело дотла.

— Ах, ах, подделка! Теперь вы видите сами! — с торжеством воскликнула Кагуя-химэ. А у правого министра лицо стало зеленее травы.

Не помня себя от радости, Кагуя-химэ вернула ему пустой ларчик, вложив в него письмо с таким ответным стихотворением:

«Ведь знал же ты наперед,
Что в пламени без остатка
Сгорит этот дивный наряд.
Зачем же, скажи, так долго
Питал ты огонь любви?»

Пришлось неудачливому жениху со стыдом воротиться домой. Пошли среди народа толки. Одни говорили:

— Правый министр Абэ достал чудесную одежду из шерсти Огненной мыши и подарил его Кагуя-химэ, значит, пришлось ей выйти за него замуж. Скажите, он теперь живет в ее доме?

А другие им отвечали:

— Да нет же, одежду бросили в огонь, и она сгорела дотла. Кагуя-химэ прогнала правого министра.

С тех пор и говорят при таких неудачах: «Погорело его дело, дымом пошло!»

VI

ДРАГОЦЕННЫЙ КАМЕНЬ ДРАКОНА

Дайнагон Отомо-но Миюки собрал всех своих слуг и домочадцев и возвестил им:

— На шее у дракона сияет пятицветный камень. Кто его добудет, тому я дам все, что он ни попросит.

— Воля господина для нас закон,— отвечали слуги, запинаясь.— Но добыть этот камень — трудная задача. Где его взять, дракона-то?

Дайнагон пришел в гнев и стал осыпать их упреками:

— Верные слуги должны исполнить любой приказ господина, жизни не жалея. А вы вон что... Пора бы вам знать свой долг. И если б еще дракон водился только за морем, в китайской или индийской земле, а у нас, в Японии, его не было бы! Но нет, этим вам не отговориться. В глубине наших морей и гор тоже обитают драконы и, вылетая оттуда, носятся по небу. Что вы на это скажете? Неужели уж такая трудная задача подстрелить одного дракона и снять с него драгоценный камень?

— Что ж, делать нечего! Нелегкое это дело, но если на то воля господина, пойдем добывать чудесный камень,— сказали слуги.

— Вот и отлично! — усмехнулся дайнагон.— Всюду вы известны как верные слуги моего дома. Так пристало ли вам противиться моему приказу?

Делать нечего, стали слуги собираться в поход. Чтобы могли они кормиться в дальней дороге, дали им с собой, сколько в доме нашлось, шелков, хлопка, денег. Ничего для них не пожалели.

— Пока вы не вернетесь домой, я буду держать строгий пост. Но уж зато если вы не достанете драконий камень, не смейте домой возвращаться!

Выслушав наказ господина, вышли слуги за ворота. Не велел он им возвращаться назад, если не добудут чудесный камень, а где его взять? За воротами все разбрелись в разные стороны, кляня про себя своего господина: «Придет же в голову такая блажь!»

Пожалованные на дорогу вещи слуги разделили между собой. Кто спрятался у себя в доме, а кто пошел, куда его сердце манило.

— Будь хоть родной отец, хоть господин, а нечего приказывать, что в голову взбредет,— ворчали слуги.

А дайнагон, ничего не зная, между тем размышлял: «Не подобает Кагуя-химэ жить в обыкновенном доме». И приказал выстроить для нее великолепный дворец. Стены дворца покрыли резным лаком с золотыми и серебряными узорами. Кровлю украсили бахромою из пестрых нитей всевозможных цветов. Во всех покоях повесили парчовые ткани невиданной красоты и поручили их расписать искусным художникам.

А всех своих прежних жен и наложниц дайнагон прогнал с глаз долой. «Скоро Кагуя-химэ будет моей! Непременно мне достанется!» — думал он и, готовясь достойно принять ее, жил тем временем в печальном одиночестве.

День и ночь ждал дайнагон своих слуг, посланных за чудесным камнем, но вот старый год кончился, начался новый год, а от них ни слуху ни духу. Не в силах он был ждать дольше и в вели-

кой тайне отправился в сопровождении только двух приближенных к гавани Нанива. Там спросил он у одного встречного рыбака:

— А скажи-ка, не довелось ли тебе случайно услышать, что один из слуг дайнагона Отомо ездил за море охотиться на дракона и добыл пятицветный камень?

Рыбак засмеялся:

— Чудно́е дело вы говорите, господин. Ни один корабль не выйдет в море на такую охоту.

Дайнагон подумал про себя:

«Пустяки! Бывают же отчаянные мореходы... Рыбак так дерзок со мной, потому что не знает, кто я!»

И сказал своим спутникам:

— Стрела из моего могучего лука поразит на лету любого дракона. А снять потом с него камень — пустое дело. Я не в силах дольше ждать, когда явятся эти негодники слуги, уж слишком они замешкались...

Сказано — сделано. Сел дайнагон Отомо на корабль и пустился в скитания по морям. Все дальше и дальше отплывал от родной стороны. Так достиг он моря у берегов Цукуси.

Вдруг, откуда ни возьмись, налетел сильный ветер. Весь мир одело тьмой, корабль понесло неизвестно куда, вот-вот, казалось, поглотит его пучина морская. Сердитые волны грозили захлестнуть корабль и крутили его в кипучем водовороте. Гром гремел над самой головой, ослепительно сверкала молния. Дайнагон голову потерял от страха.

— О, ужас! В жизни не попадал я в такую беду! Что делать теперь, как спастись?

Кормчий, правивший рулем, тоже упал духом.

— Долгие годы плаваю я по морю, но еще не видал такой страшной бури. Одной из двух смертей нам не миновать: или корабль пойдет ко дну, или нас громом убьет! И даже если боги сжалятся над нами и пощадят нас, то унесет наш корабль далеко, в неведомые Южные моря... Ах, видно, встречу я безвременный конец из-за того, что служу такому жестокому святотатцу, который хочет убить дракона.

И кормчий в отчаянии заплакал горькими слезами.

Дайнагон стал упрекать его:

— Кормчий всегда ободряет путников на корабле, и они надеются на него, как на гору неколебимую. А ты отнимаешь последнюю надежду.— И его стало рвать зеленью.

Кормчий сурово отвечал ему:

— А чем можно помочь богопротивнику? Вихрь нас кружит, высокие валы грозят поглотить наш корабль, вот-вот гром поразит

нас, а все потому, что ты, господин, замыслил убить дракона. Не иначе как нагнал на нас эту бурю разгневанный дракон. Скорей же умоляй его о пощаде!

— Правду ты говоришь! — закричал дайнагон и громко стал возносить моления.— О, внемли мне, бог — хранитель мореходов, правящих рулем корабля! По неразумию моему опрометчиво задумал я убить дракона. Отныне я малейшей щетинки на нем не трону! Умилосердись! Прости и пощади меня!

Обливаясь слезами, в отчаянии, он тысячу раз повторил свою мольбу. И кто знает, может, и правда в ответ на нее раскаты грома утихли. Стало немного светлее, но вихрь все еще бушевал попрежнему.

— Ты видишь теперь сам, что бурю послал на нас дракон,— сказал кормчий.— К счастью, подул добрый ветер, он не умчит нас в гибельную даль, а отнесет к родным берегам.

Но дайнагон был так измучен страхом, что уже не верил успокоительным словам. Благоприятный ветер дул, не меняя своего направления, несколько дней подряд и в самом деле отнес корабль к родным берегам. То было побережье Акаси в провинции Харима, но дайнагон вообразил, что корабль пристал к какому-то неведомому острову в страшных Южных морях, и упал лицом вниз, трепеща от ужаса.

Двое его спутников отправились к местному правителю известить о приезде высокого сановника.

Местный правитель немедленно сам лично вышел к кораблю, но дайнагон не соглашался встать на ноги, а все лежал ничком на дне корабля. Что было делать! Расстелили посреди сосновой рощи на прибрежном песке циновки и уложили на них дайнагона. Только тогда наконец дайнагон догадался, что он не на безвестном острове среди людоедов, и соизволил подняться на ноги.

Но что у него был за вид! Ветром надуло ему какую-то болезнь. И без того тучный живот его вздулся горой, а глаза воспламенились так, будто по обе стороны носа прицепили ему по красной сливе. Местный правитель не мог удержаться от улыбки...

Дайнагон приказал изготовить для себя невысокий паланкин и влез в него, кряхтя и охая. С трудом доставили его домой. Откуда-то узнали об этом слуги, посланные за чудесным камнем, сразу же возвратились все, как один, и стали каяться:

— Не смогли мы достать драконий камень, а вернуться без него не смели. Но теперь господин наш сам на опыте узнал, как трудно его добыть, и, верно, не будет бранить нас, подумали мы, и вот — явились с повинной.

Дайнагон встал с постели, сам вышел к ним и сказал:

— Какое счастье, что не достали вы драконий камень! Дра-

кон ведь один из богов грома. Если б вы напали на него, то не только погибли бы вы все, как один, но хуже того — я и сам бы лишился жизни. Спасибо вам, что не поймали дракона! Вижу теперь, эта злодейка Кагуя-химэ замышляла меня погубить. В жизни больше и близко не подойду к порогу ее дома, и вы тоже туда ни ногой, слышите!

И на радостях, что не добыли его слуги драконий камень, дайнагон пожаловал им все то немногое, что еще оставалось у него в доме.

Услышали об этом прогнанные жены и чуть животы со смеху не надорвали. А разноцветные нити, которыми была так богато застлана кровля дворца для невесты, растащили по своим гнездам ястребы и вороны.

Пошли в народе толки:

— Вы слышали, дайнагон подстрелил дракона и добыл пятицветный камень!

— Добыл пятицветный камень? Какое там! У него самого теперь вместо глаз две красные сливы!

Говорят, что тогда-то и появилось слово «трусливый», (трусливы), потому что дайнагон все время тер свои красные, как сливы, глаза. Да иначе его и не назовешь!

VII

ЦЕЛЕБНАЯ РАКОВИНА ЛАСТОЧКИ

Тюнагон Исоноками-но Маро приказал своим слугам:

— Известите меня, когда ласточки начнут вить гнезда.

Слуги удивились:

— Какая в этом надобность?

— А такая,— ответил тюнагон,— что, слыхал я, есть у ласточки целебная раковина, дарующая легкие роды. Вот я и хочу добыть ее.

— Много мы подстрелили ласточек,— отвечали ему слуги,— но ни разу не видели никакой такой раковинки. Правда, может статься, ласточка держит ее в клюве, только когда кладет яички... Но ведь ласточка — птица пугливая, чуть завидит людей, сразу порх! — и улетает.

Тут один из слуг подал такой совет:

— Надо пойти к дворцовой поварне, где рис варят. Под ее крышей гнездится множество ласточек. Выбери, господин, надежных людей и вели построить вокруг поварни сторожевые вышки. Пускай дозорные влезут на них и подглядывают за ласточками, глаз не спуская. Ласточек там несметное количество. Не одна, так

другая начнет класть яички. Тут и можно будет добыть целебную раковинку.

Тюнагон порадовался дельному совету.

— Хитрый способ! Я никогда о нем и не слыхал. Умно ты придумал!

Не медля ни минуты, тюнагон отрядил двадцать самых надежных слуг в дозорные и велел построить сторожевые вышки. Влезли на них дозорные и стали прилежно следить за ласточками. А тюнагон то и дело посылал к ним слуг с вопросом:

— Ну что, ну как, добыли уже раковину?

Услышали ласточки шум, увидели множество людей возле самой кровли дома и со страху не решались даже близко подлетать к своим гнездам. Тюнагон сильно опечалился: как же теперь быть?

Тут один старик по имени Курацумаро́, хранитель казенного амбара с зерном, пришел к нему и сказал:

— Я научу, как можно добыть у ласточки целебную раковинку.

Тюнагон усадил старика прямо перед собой, лицом к лицу, и повел с ним задушевную беседу.

— Плохой способ тебе присоветовали,— начал Курацумаро.— Так не добудешь ты раковинки. Подумай сам! Когда двадцать людей с шумом лезут на сторожевые вышки,— шутка сказать, столько людей,— ласточки, понятно, пугаются. А ты вот как сделай! Вели своим дозорным спуститься на землю, а сторожевые вышки — сломать. Выбери из своих слуг самого проворного, посади его в корзину с крупными отверстиями и прикрепи к ней веревку так, чтобы корзина могла легко подыматься и опускаться. Лишь только заметит дозорный, что одна из ласточек готовится положить в гнездо яичко, в тот же миг прикажи тянуть веревку, корзина и подымется. И тогда пусть человек в корзине скорей хватает раковинку. Ласточка уронит ее в гнездо, как только снесет яичко. Вот тебе мой добрый совет!

— Славно придумано! — воскликнул тюнагон.

И сейчас же приказал сломать сторожевые вышки.

— А как узнать, что ласточка собирается положить яичко? — спросил он у старика Курацумаро.— Ведь тут нельзя медлить, а то не успеем поднять человека в корзине.

— Когда ласточка хочет снести яичко, она первым делом поднимет хвостик торчком и начнет вертеться, семь раз быстро-быстро повернется... Это и есть самый верный знак. Только вы заметите, что ласточка семь раз повернулась, подымайте скорей корзину. И тогда непременно добудете раковинку.

Тюнагон обрадовался. Никому не сказавшись, он сам потихоньку отправился к дворцовой поварне и, замешавшись в толпу

простых слуг, стал и день и ночь караулить чудесную раковину. Очень он хвалил старика Курацумаро за ум и сметку.

— Ты ведь не из числа моих слуг, а душевно позаботился о том, чтобы исполнить мое желание... Вот ведь что дорого! — И, сняв со своих плеч богатое платье, пожаловал его Курацумаро с таким наказом: — Смотри же, старик, приходи сегодня вечером к поварне. Может, и ты пригодишься.

Начало смеркаться. Тюнагон отправился к дворцовой поварне. Вдоль всей ее кровли лепились ласточкины гнезда. Вдруг смотрит, и правда! — в точности, как сказал старик Курацумаро: одна ласточка подняла кверху хвостик и начала быстро-быстро вертеться на месте, раз, другой, третий... Сейчас же посадили человека в корзину и давай тянуть веревку. Корзина мигом взлетела кверху, слуга запустил руку в ласточкино гнездо, пошарил-пошарил и объявил:

— Никакой раковины в гнезде нет.

Тюнагон пришел в гнев:

— Как это — нет! Значит, плохо искал! Ах, вижу, не на кого мне положиться, кроме как на самого себя. Сам поднимусь в корзине, поищу.— Сел в корзину и крикнул: — Поднимай!

Подняли тюнагона вровень с крышей поварни, начал он заглядывать в ласточкины гнезда сквозь переплет прутьев корзины. Вдруг видит, одна ласточка подняла торчком свой хвостик и ну вертеться. Не мешкая, сунул он руку в гнездо и стал шарить. Нащупал что-то твердое и плоское.

— А-а, нашел, нашел, держу! Спускайте! Эй, старик, я нашел раковину! — завопил тюнагон не своим голосом.

Слуги все разом ухватились за веревку и стали тянуть, да слишком сильно дернули, веревка и лопни пополам! Тюнагон полетел вверх тормашками прямо на крышку большого трехногого котла для варки риса — хлоп!

Вот чем кончились все его хлопоты.

Слуги подбежали в испуге, приподняли тюнагона, смотрят, а у него зрачки закатились под лоб и дыханья не слышно. Влили ему в рот глоток воды. Насилу-то, насилу пришел он в себя. Взяли его слуги за руки и за ноги и бережно спустили с крышки котла на землю.

— Как изволишь себя чувствовать? — спрашивают.

Тюнагон чуть слышно прошептал, с трудом переводя дух:

— Немного опамятовался, но не могу спины разогнуть. И все-таки душевно рад, что наконец достал раковину! Подайте сюда свечу. Не терпится мне взглянуть.

С этими словами он приподнял голову, разжал кулак, взглянул. И что же!

Не раковинка у него в руке, а катышек старого птичьего помета.

Тюнагон жалобно застонал:

— Ах, эта злая раковина, раковина! На беду себе полез я...

А людям послышалось: «Ах, это злого рока вина, рока вина! Все бесполезно!»

С тех пор и говорят, когда клянут судьбу вместо собственной опрометчивости: «Ах, это злого рока вина! Все бесполезно!»

Когда тюнагон заметил, какую раковину он схватил, то совсем упал духом. Не положишь такой подарок в ларчик, не пошлешь Кагуя-химэ. В довершение беды он повредил себе спину. Как бы люди не проведали, что заболел он по собственному неразумию, со страхом думал тюнагон и слабел все больше от тоски и тревоги.

Все дни напролет он сокрушался, что не достал заветной раковинки. Горше того, он стал всеобщим посмешищем. Но как ни тяжело было ему умирать напрасной смертью, а еще тяжелее было думать, что люди над ним смеются.

Узнала про его беду Кагуя-химэ и послала тюнагону песню:

«Ужель это правда,
Что ждешь ты напрасно годами,
Так сердце волнуя,
Как волны покоя не знают
На берегу Суминоэ?»

Когда эту песню прочли тюнагону, он с великим усилием приподнял голову, велел подать бумагу и слабеющей рукой написал ответ:

«О, как мечтал я
Бесценный дар отыскать!
Увы, все даром!
Ударом судьбы сражен,
Уж я не найду спасенья...»

А кончив писать, расстался с жизнью.

Кагуя-химэ услышала о грустном конце тюнагона, и стало ей немного жаль его.

С тех пор, если выпадет кому маленький успех после тяжких испытаний, то говорят: «Ну и досталось ему счастье — с малую раковинку!»

VIII

СВАТОВСТВО МИКАДО

И вот, наконец, сам микадо услышал о несравненной красоте Кагуя-химэ. Призвал он к себе старшую придворную даму по имени Накатоми-но Фусакó и повелел ей:

— Слышал я, что живет на свете девушка по имени Кагуя-химэ. Говорят, отвергла она любовь многих богатых и высокородных людей, никого и знать не хочет. Ступай погляди, какова из себя эта гордячка.

Фусако, выслушав высочайшее повеление, отправилась немедля в дом старика Такэтори. Там ее почтительно встретили как посланную государя. Фусако сказала старухе:

— Государь услышал, что в мире никто не сравнится красотой с твоей дочерью Кагуя-химэ. Велел он мне хорошенько на нее посмотреть и доложить ему, правду ли гласит молва.

— Пойду скорее скажу ей,— заторопилась старуха и стала упрашивать девушку: — Выйди сейчас же! Прибыла посланная от самого государя.

Но Кагуя-химэ и тут наотрез отказалась:

— Нет, не выйду к ней ни за что. Совсем я не так уж хороша собой, как люди говорят. Стыдно мне на глаза показаться государевой посланной.

— Ах, не будь ты дерзкой упрямицей! Разве можно ослушаться повеления самого микадо? — ужаснулась старуха.

Кагуя-химэ и бровью не повела.

— А я слова микадо ни во что не ставлю!

Так и не вышла на смотрины из своих покоев.

Кагуя-химэ была для старухи все равно что дочь родная, но, услышав, как девушка говорит такие дерзостные слова,— страх даже берет слушать! — старуха вконец смутилась. Как принудить такую слушаться?

Делать нечего, вернулась она ни с чем и сказала посланной:

— Горько я жалею, но дочь наша по молодости, по глупости ничего и слушать не хочет. Нрав у нее уж очень строптивый. Не согласна она показаться вам.

Придворная дама стала сурово выговаривать старухе:

— Государь приказал мне поглядеть на Кагуя-химэ. Как же я осмелюсь вернуться, так и не взглянув на нее ни разу? Подумай сама, возможно ли, чтобы люди в нашей стране ни во что не ставили государев приказ? Не говори, пожалуйста, таких несуразных слов!

Но Кагуя-химэ еще хуже заупрямилась:

— Если я ослушница государевой воли, так пусть меня казнят — и делу конец!

Пришлось посланной доложить государю о своем неуспехе.

Микадо воскликнул:

— Да, многих людей погубило жестокосердие этой девушки!

Можно было подумать, что он отступился от задуманного, но на самом деле мысль о Кагуя-химэ глубоко запала ему в сердце. Не хотелось микадо, чтобы женщина и его, как многих других, победила своим упорством. Призвал он пред свои очи старика Такэтори и молвил ему:

— Приведи сюда ко мне твою дочь Кагуя-химэ. Слышал я, что она прекрасна лицом, и потому на днях послал одну придворную даму посмотреть на нее и убедиться, правду ли говорят люди, но дочь твоя наотрез отказалась к ней выйти. Худо делают родители, которые позволяют своим детям такие дерзостные поступки.

Старик Такэтори почтительно ответил:

— Дочь моя Кагуя-химэ не хочет служить при дворе, и я никак не могу победить ее упрямство. Однако пойду домой, еще раз сообщу ей государеву волю.

— Так и сделай! — сказал микадо.— Ведь ты ее вырастил, как же ей тебя не послушаться! Уговори Кагуя-химэ пойти на службу во дворец, а я за это пожалую тебя шапкой чиновника пятого ранга.

Старик Такэтори, радостный, вернулся домой и стал всячески уговаривать девушку:

— Вот что обещал микадо! Неужели ты и теперь станешь упрямиться?

— Да, что ты ни говори, а я твердо решила: не пойду во дворец служить государю,— стояла на своем Кагуя-химэ.— Будешь меня силой принуждать, я руки на себя наложу, так и знай. Пусть тебе сначала пожалуют придворный чин, раз он тебе так дорог, а потом я умру.

— Что ты, что ты! — испугался старик.— На что мне чины и почести, если я не увижу больше свое дорогое дитя! Но все-таки скажи мне, почему тебе так не хочется служить государю? Чем это худо? Стоит ли из-за этого жизни себя лишать?

— Ты думаешь, я пустое говорю? — отвечала Кагуя-химэ.— Заставь меня насильно пойти в жены к государю и увидишь, что тогда будет, лишу я себя жизни или нет! Многие до сих пор любили меня неподдельной, верной любовью, я и то всех отвергла! Микадо думает обо мне всего день-другой. Что скажут люди, если я уступлю его мимолетной прихоти? Стыдно мне будет.

— Пусть хоть весь свет тебя осудит, тебе-то что до этого? — возразил старик.— Но делать нечего, пойду во дворец, передам государю твой отказ.

Пошел он во дворец и доложил микадо:

— Я, ничтожный старикашка, обрадованный государевой милостью, всячески уговаривал Кагуя-химэ пойти служить государю. Но эта негодная упрямица сказала: «Если будешь меня принуждать, я лучше жизни себя лишу». А мне ведь она не родная дочь. Нашел я ее малым ребенком в бамбуковой чаще. Не такой у нее нрав, как у других девушек.

— А, так-так! — воскликнул микадо.— Ведь дом твой, старик, стоит возле самых гор. Что, если я сделаю вид, будто собрался на охоту? Может, мне удастся увидеть Кагуя-химэ словно невзначай?

— Хорошая мысль! — одобрил старик Такэтори.— Только ты, государь, сделай вид, будто случайно попал в наши края, без цели, без умысла... Войдешь вдруг в мой домишко и застанешь ее врасплох.

Микадо сразу же назначил день для охоты. Внезапно, без предупреждения, вошел он в дом к старику и увидел девушку, сиявшую такой чистой красотой, что все вокруг светилось.

«Она!» — подумал микадо и приблизился к ней. Девушка попыталась было убежать, но микадо схватил ее за рукав. Она проворно закрыла лицо концом другого рукава, но поздно! Государь уже успел увидеть ее. «Нет ей равной в целом мире!» — подумал он и, воскликнув: «Больше я не расстанусь с тобой!» — хотел было насильно увлечь с собой.

Кагуя-химэ молвила ему:

— Если б я родилась здесь, в этой стране, то повинна была бы идти во дворец служить тебе. Но я существо не из этого мира, и ты совершишь дурной поступок, если силой принудишь меня идти во дворец.

Но микадо и слушать не захотел:

— Как это может быть? Идем со мной, идем!

Подали паланкин, но только хотели посадить в него Кагуя-химэ, как вдруг, о чудо! Она начала таять, таять, одна тень от нее осталась.

«Значит, и правда Кагуя-химэ существо не из нашего мира»,— подумал микадо и взмолился:

— Не буду больше принуждать тебя идти со мной во дворец, только прими свой прежний вид. Дай мне еще один раз взглянуть на тебя, и я удалюсь.

Не успел он это вымолвить, как прекрасная дева приняла свой прежний образ и показалась ему еще желанней прежнего.

Еще труднее стало ему вырвать из своего сердца любовь к ней. Щедро наградил микадо старика Такэтори за то, что тот доставил ему радость увидеть Кагуя-химэ. А старик устроил роскошный пир для сотни придворных, сопровождавших государя на охоту.

Микадо собрался в обратный путь с таким чувством, будто, разлучаясь с Кагуя-химэ, оставляет с ней свою душу. Сев в паланкин, он сложил такую песню:

«Миг расставанья настал,
Но я в нерешимости медлю...
Ах, чувствую, ноги мои
Воле моей непокорны,
Как и ты, Кагуя-химэ!»

А она послала ему ответ:

«Под бедною сельской кровлей,
Поросшей дикой травой,
Прошли мои ранние годы.
Не манит сердце меня
В высокий царский чертог».

Когда микадо прочел эти строки, ему еще тяжелее стало покинуть Кагуя-химэ. Сердце звало его остаться, но не мог он провести в тех местах всю ночь до рассвета и поневоле вынужден был вернуться в свой дворец.

С той поры все приближенные женщины лишились в его глазах своей былой прелести. «Все они ничто по сравнению с ней!» — думал микадо. Даже самые красивые из них теперь представлялись ему уродинами, и на людей-то непохожими. Только одна Кагуя-химэ безраздельно царила в его сердце! Так он жил одиноко, в мечтах о ней, позабыв дорогу в женские покои, и с утра до ночи сочинял любовные послания. И она тоже, хотя и противилась его воле, писала ему ответные письма, полные искреннего чувства. Наблюдая, как сменяют друг друга времена года, микадо сочинял прекрасные стихи о травах и деревьях и посылал их Кагуя-химэ. Три долгих года они утешали друг друга.

IX

НЕБЕСНАЯ ОДЕЖДА ИЗ ПТИЧЬИХ ПЕРЬЕВ

С самого начала третьей весны люди начали замечать, что каждый раз, когда полная луна взойдет на небе, Кагуя-химэ становится такой задумчивой и грустной, какой ее еще никогда не видели.

Слуги пробовали ее остеречь:

— Не следует долго глядеть на лунный лик. Не к добру это!

Но едва Кагуя-химэ оставалась одна, как снова принималась глядеть на луну, роняя горькие слезы.

И вот однажды, в пятнадцатую ночь седьмого месяца девушка вышла на веранду и, по своему обыкновению, печально о чем-то задумалась, подняв свои глаза к сияющей ярким светом луне.

Домашние сказали старику Такэтори:

— Случалось, Кагуя-химэ и раньше грустила, любуясь на луну, но все не так, как теперь. Неспроста это! Что-нибудь да есть у ней на сердце, уж слишком она тоскует и задумывается. Надо бы узнать причину.

Стал старик спрашивать у Кагуя-химэ:

— Скажи мне, что у тебя на сердце? Почему ты так печально глядишь на луну? В твои годы тебе только бы жизни радоваться!

— Ни о чем я не грущу! — ответила Кагуя-химэ.— Но когда я гляжу на луну, сама не знаю отчего, наш земной мир кажется мне таким темным, таким унылым!

Старик было успокоился. Но немного спустя вошел он в покои Кагуя-химэ и увидел, что она опять сидит, печально задумавшись.

Старик встревожился:

— Дорогая дочь, божество мое, о чем ты опять задумалась? Что заботит твое сердце?

— Ни о чем особом я не думаю,— отозвалась Кагуя-химэ.— Просто любуюсь на луну.

— Не гляди на луну, умоляю тебя! Каждый раз, когда ты смотришь на нее, у тебя такая печаль на лице!

— А как мне на нее не глядеть? — вздохнула девушка. И каждый раз, в светлые ночи, она выходила на веранду и неотрывно смотрела на луну долгим тоскующим взором. Только в темные ночи Кагуя-химэ была по-прежнему беззаботна. Но лишь вечерняя луна появлялась на небе, как она принималась вздыхать и грусть затуманивала ее лицо.

Слуги начинали шептаться между собой:

— Смотрите, опять задумалась!

Не только чужие люди, но даже ее родители не могли понять, в чем дело.

Однажды, незадолго до пятнадцатой ночи восьмого месяца, Кагуя-химэ вышла на веранду и, увидев полную луну, залилась слезами так, как никогда еще до этого не плакала. Старик и старуха в испуге суетились вокруг нее и спрашивали:

— Что с тобой, что случилось?

Кагуя-химэ отвечала им сквозь слезы:

— Ах, я давно уже хотела обо всем вам поведать, но боялась вас огорчить и все откладывала. Но больше нельзя мне молчать! Узнайте, я не из этого земного мира. Родилась я в лунной столице, но была изгнана с небес на землю, чтобы искупить грех, совершенный мной в одном из моих прежних рождений. Настало время мне возвратиться. В пятнадцатую ночь этого месяца, в полнолуние, явятся за мной мои сородичи, посланцы Неба. Должна я покинуть этот мир, но при мысли о том, как жестоко вы будете скорбеть обо мне, я с самого начала этой весны не перестаю грустить и плакать.— И Кагуя-химэ заплакала еще сильнее.

— Что такое! Что ты говоришь? — вскричал старик Такэтори. Кто посмеет отнять тебя у нас? Когда нашел я тебя в стволе бамбука, была ты величиной с семечко сурепицы, а теперь вон какая большая выросла, со мной сравнялась ростом. Нет, нет, я никому тебя не отдам! — Он в голос рыдал: — Я не вынесу разлуки с тобой, я умру!

Не было сил глядеть на его горе.

Кагуя-химэ стала ласково ему говорить:

— У меня там, в лунной столице, остались родные отец и мать. Для них разлука со мной длилась одно краткое мгновенье, а здесь, на земле, протекли за это время долгие годы. Полюбила я вас всей душой и думать забыла о настоящих моих родителях. Не радуюсь я тому, что должна вернуться в лунный мир, а горько печалюсь. Но, что бы ни творилось в моем сердце, вернуться туда я должна.

И при этих словах Кагуя-химэ и старик пролили ручьи слез.

Даже простые слуги так привязались к Кагуя-химэ за долгие годы своей службы, так полюбили ее за благородство души и несравненную красоту, что теперь при мысли о разлуке с ней тоже безутешно горевали, глотка воды и то выпить не могли.

Услышав об этом, микадо спешно отправил посланца в дом старика Такэтори. Старик вышел к нему, неудержимо рыдая. Скорбь его была так велика, что за несколько дней волосы его побелели, спина согнулась, глаза воспалились от слез.

До этого времени выглядел он еще моложавым и бодрым, лет на полсотни, не больше, но от горя и тревоги сразу состарился и одряхлел.

Посланец спросил его от имени государя:

— Правда ли, что Кагуя-химэ последнее время чем-то озабочена и все грустит?

Старик ответил, не переставая лить слезы:

— Передай государю, что в пятнадцатую ночь этого месяца явятся сюда небожители из лунной столицы, чтобы похитить нашу

Кагуя-химэ. Пусть государь вышлет ко мне в эту ночь множество воинов с приказом прогнать похитителей.

Посланец доложил государю о просьбе старика Такэтори и рассказал о том, какой жалостный у него вид.

Государь воскликнул:

— Не мудрено! Один лишь раз видел я Кагуя-химэ и то не в силах ее позабыть! Старик любовался на ее красоту каждый день с утра до вечера. Что же должен он почувствовать, узнав, что у него хотят похитить радость его жизни — Кагуя-химэ?

Когда наступил пятнадцатый день восьмого месяца, государь повелел начальникам всех шести отрядов императорской стражи выслать вооруженных воинов. Собрался отряд численностью в две тысячи человек. Государь поставил во главе его опытного военачальника по имени Таканó Окуни и послал это войско к дому старика Такэтори.

Там отряд разделился на две половины: тысяча воинов окружила дом старика кольцом со всех сторон, взобравшись на земляную ограду, а другая тысяча начала сторожить кровлю дома. Многочисленные слуги охраняли все входы в дом, чтобы ни в одну щелку нельзя было пробраться. Все они тоже были вооружены луками и стрелами. В женских покоях внутри дома стражу несли служанки.

Старуха, крепко обнимая девушку, спряталась с ней в тайнике с земляными стенами. Старик запер дверь тайника на замок и сам стал у входа.

— Надежная у нас охрана! — радовался он.— Не поддадимся и небесному войску.— А воинам, сторожившим кровлю дома, он крикнул: — Стреляйте во все, что в небе завидите, будь оно меньше малого! Ничего не пропускайте!

Воины, сторожившие на кровле, крикнули в ответ:

— Не бойся, мы зорко глядим! Пусть только что-нибудь в небе появится, сразу подстрелим, будь хоть с иголку величиной.

У старика было от души отлегло, но Кагуя-химэ молвила ему:

— Как вы ни старайтесь меня спрятать, как храбро ни готовьтесь к бою, вы не сможете воевать с небожителями из лунного царства. Стрелы ваши их не настигнут. Спрятать меня вам тоже не удастся. Только они прилетят, как все запоры спадут и двери откроются сами собою. Воины сейчас готовы схватиться с кем угодно, но лишь увидят они небожителей, как у самых смелых сразу все мужество пропадет.

Старик в гневе завопил:

— Хорошо же! Тогда я сам вот этими своими длинными ногтями глаза им, негодникам, вырву! За волосы ухвачу и в землю

вколочу! Платья на них изорву, до пупа их заголю, осрамлю перед всеми добрыми людьми!

— Ах, не кричи таких нехороших слов,— стала его унимать Кагуя-химэ.— Воины на кровле услышат! Или ты думаешь, не тяжело мне покинуть вас, одиноких стариков, будто забыла я все ваше любовное попечение? Как была бы я рада, если б долго еще могла гостить на земле. Увы! Назначенный срок окончился, и мы должны расстаться. Но не могу я пуститься в обратный путь с легким сердцем, зная, что еще и в самой малой доле не отплатила вам за ваши добрые заботы. Оттого-то уже многие месяцы выходила я на веранду, лишь взойдет луна, и воссылала мольбу: «О, позвольте мне здесь остаться хотя бы на один год еще, на один краткий год!» Но и в этом мне было отказано... Вот почему меня все время мучила печаль. Как грустно мне знать, что я принесла вам, моим дорогим родителям, только одно горе и покидаю вас, безутешных. Жители лунного царства прекрасны собою, они не знают ни старости, ни забот, ни огорчений. Но я не радуюсь тому, что вернусь в эту блаженную страну. Когда я вижу, как вы оба в несколько дней состарились от горя, я не в силах покинуть вас с легким сердцем. О, как мне жаль вас, моих любимых!

— Не надрывай мне сердце такими речами! — сетовал старик.— Пусть небожители прекрасны, я им и дотронуться до тебя не позволю! — И он со злобой пригрозил небу.

Между тем прошла уже первая половина ночи, близился час Мыши. Вдруг весь дом старика Такэтори озарило сияние в десять раз ярче света полной луны. Стало светлее, чем днем. Можно было рассмотреть на лицах людей даже ямочки, откуда растут волоски.

Внезапно с высокого небесного свода спустились на облаках неведомые лучезарные существа и построились в ряд, паря в воздухе над самой землей. При этом все воины, которые сторожили дом снаружи, и все слуги, охранявшие входы в дом изнутри, замерли от ужаса и сразу потеряли охоту сражаться, словно попали во власть нездешней силы. Еле-еле опомнившись, схватились они за луки и стрелы, но руки их, вдруг онемев, бессильно повисли. Самые смелые, победив внезапную слабость, пустили стрелы в небесных гостей, но стрелы полетели в сторону, далеко от цели. Не в силах вести дальше бой, воины в душевном смятении только мерились взглядами с пришельцами из лунного мира.

Небожители были одеты в наряды невиданного на земле великолепия. С ними была летучая колесница. Эта колесница могла летать по небу, и был над ней навес из тончайшего шелка.

Один из небесных пришельцев, как видно, их предводитель, выступил вперед и повелительно крикнул громовым голосом так, что во всем доме было слышно:

— Эй, Миядукомаро! Выходи!

Тут старик Такэтори, который до той минуты так храбрился, вышел за двери и свалился ничком, почти без памяти.

Гость из лунного царства сказал ему:

— Слушай ты, неразумный человек! За твои малые заслуги дарована была тебе несравненная радость: на краткий срок приютить в своем доме Кагуя-химэ. За это тебе в изобилии посылалось золото. Скажи сам, разве ты теперь так живешь, как раньше? В искупление давнего греха, совершенного ею в прежней своей жизни, Кагуя-химэ обречена была жить некоторое время в доме такого ничтожного человека, как ты. Грех ее теперь полностью искуплен, и я послан взять ее назад на небо. Напрасны твои слезы и жалобы! Немедленно отдай нам Кагуя-химэ!

— Ты говоришь, что Кагуя-химэ была послана в мой дом на самый краткий срок,— возразил старик Такэтори.— Как же это? Уже два десятка лет с лишним я пекусь о ней, как о своей родной дочери... Может быть, ты ищешь какую-нибудь другую Кагуя-химэ? — И старик прибавил: — А моя Кагуя-химэ лежит тяжело больная в постели и не может выйти из дома.

Оставив его слова без внимания, предводитель небесных гостей велел поставить летучую колесницу на кровле дома.

— Скорее же, торопись, Кагуя-химэ! — крикнул он.— Не можешь ты дольше оставаться в здешнем нечистом месте.

И вдруг все запертые двери распахнулись настежь сами собою. Решетки на окнах отворились без помощи человеческих рук, и Кагуя-химэ, освободившись из объятий старухи, вышла из дома. Старуха, не в силах удержать ее, только испуганно смотрела вверх, обливаясь слезами. Старик, лежа на земле, тоже плакал в бессильном отчаянии. Кагуя-химэ подошла к нему и сказала:

— Я тоже не хочу расставаться с вами, но против своей воли должна вас покинуть. Прошу тебя, ты хоть погляди, как я буду возноситься на небо, хоть простись со мной взглядом.

— Что ты, разве я в силах с тобой проститься? Горе мое слишком велико! Что со мной теперь будет? Ты покидаешь меня, старика, уносишься на небо... Ах, возьми и меня с собою.

Кагуя-химэ стояла возле него, не зная, на что решиться.

— Постойте,— вдруг сказала она,— я напишу письмо вам в утешение. Когда будете меня вспоминать, смотрите на него. Пусть оно послужит вам дорогой памятью.

И, проливая горькие слезы, она написала:

«Если б я родилась в вашем мире, среди вас, земных людей, то я с радостью осталась бы с вами, мои дорогие родители, чтобы рассеять ваше горе. Никогда, никогда бы я вас не покинула! Но увы! Это невозможно! Сейчас я сброшу платье, которое носила в вашем доме, и оставлю вам как память обо мне. В ясную ночь выходите глядеть на луну. Ах, мне так тяжело покидать вас, что, кажется, я на полдороге упаду с небес на землю!»

У одного из небесных гостей был в руках ларец с одеждой из птичьих перьев. Другой держал маленький ларчик, в котором хранился сосуд с чудесным напитком: кто отведает его, тот никогда не узнает смерти.

— Дева, испей напитка бессмертия,— сказал небожитель.— Ты вкушала нечистую земную пищу и не можешь быть здорова.

С этими словами небесный посланец поднес сосуд с чудесным напитком к устам Кагуя-химэ. Она лишь пригубила напиток и хотела было завернуть сосуд в сброшенный ею с себя земной наряд, чтобы оставить в дар старику Такэтори, но один из небожителей остановил ее и не дозволил ей это сделать. Он вынул из ларца небесную одежду из птичьих перьев и только хотел на нее накинуть, как она взмолилась:

— О, погоди еще немного! Когда я надену на себя эту одежду, умрут во мне все человеческие чувства, а я должна написать прощальные слова еще одному человеку.

Небожители устали ждать.

— Что ты медлишь попусту! — воскликнули они.

Кагуя-химэ ответила им:

— Не судите о том, чего вам понять не дано!

И спокойно, неторопливо начала писать прощальный привет микадо:

«Вы изволили выслать большое воинство, чтобы удержать меня на земле, но за мной явились посланцы неба, которых нельзя ослушаться. Я принуждена следовать за ними. Жаль мне и грустно расставаться с землею! Я отказалась служить вам лишь потому, что я существо не из здешнего мира. Пусть не могли вы постигнуть истинную причину моего отказа и, может быть, дурно подумали обо мне, но я невластна была со спокойной душою ответить вам согласием. А сейчас тяжестью легла мне на сердце мысль о том, что сочли вы меня дерзкой и бесчувственной.

Разлуки миг настал,
Сейчас надену я
Пернатую одежду.
Но вспомнился мне ты —
И плачет сердце».

Окончив писать, Кагуя-химэ подозвала к себе начальника государственной стражи и велела ему передать микадо прощальное письмо и напиток бессмертия. Один из посланцев неба вручил их начальнику стражи. В тот же миг надели на Кагуя-химэ одеяние из птичьих перьев, и сразу же угасли в ней все человеческие привязанности. Перестала она жалеть старика Такэтори и грустить о его участи,— ведь тот, кто наденет небесную одежду из птичьих перьев, забывает обо всем земном. Кагуя-химэ села в летучую колесницу и в сопровождении сотни посланцев из лунного мира улетела на небо.

X

«ГОРА БЕССМЕРТИЯ» ФУДЗИ

Старик Такэтори и его старуха плакали кровавыми слезами, так велико было их горе. Домочадцы прочли им, чтобы их утешить, прощальное письмо Кагуя-химэ, но старики только повторяли:

— Зачем нам теперь беречь нашу жизнь? Кому она нужна? Не для чего нам больше жить! — Они отказывались от всяких лекарств и скоро ослабели до того, что уж не могли больше вставать с постели.

Начальник дворцовой стражи вернулся назад к государю и доложил ему о своей неудаче. А окончив рассказ, вручил микадо письмо от Кагуя-химэ и сосуд с напитком вечной жизни. Микадо развернул письмо, прочитал его и так жестоко опечалился, что отказался от пищи и забыл о своих любимых развлечениях: стихах и музыке.

Однажды призвал он к себе министров и высших сановников и спросил у них:

— Какая гора всего ближе к небу?

Один из сановников ответил:

— Есть в провинции Суруга высокая гора. Она и от столицы недалеко, и к небу всегда ближе.

Тогда микадо написал стихи:

«Не встретиться нам вновь!
К чему мне жить на свете?
Погас твой дивный свет.
Увы! напрасный дар —
Бессмертия напиток».

Он прикрепил послание с этими стихами к сосуду, в котором хранился напиток бессмертия. Потом он выбрал человека по имени Цукú-но Ивакáса, что значит: «Скала в сиянии луны», и, вручив

ему драгоценный сосуд, подробно объяснил, что надо делать. Цуки-но Ивакаса в сопровождении множества воинов поднялся на указанную ему гору и там, выполняя волю государя, открыл сосуд и зажег напиток бессмертия. Чудесный напиток вспыхнул ярким пламенем, и оно не угасает до сих пор. Оттого и прозвали эту вершину «Горой бессмертия» — Фудзи. Столбом поднялся вечный дым к далеким облакам, к царству светлой луны, и легким дымком улетело с ним прощальное послание микадо. Так говорит старинное предание.

КИ-НО ЦУРАЮКИ

«ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ТОСА В СТОЛИЦУ»

(Фрагменты)

Прежде, если верить молве, писание дневников (ведь так они именуются?) было делом мужчин, теперь на это отважилась женщина.

В некоем году, в двадцать первый день последней луны года в час Пса мы покинули дом.

Вот и первая запись.

Один человек, прослужив правителем четыре... нет, почти пять лет и завершив все, что надлежало ему по должности, получил от преемника своего разрешительные бумаги, оставил дом, где жил он, да и выехал к пристани, чтобы взойти на корабль. Знакомые и незнакомцы провожали его.

Самые же близкие, годами преданно служившие ему, опечаленные скорой разлукой, день напролет провели в заботах и суетливых сборах, хватались то за одно, то за другое... Ночь настала среди общего шума.

В двадцать второй день смиренно молим богов и Будду о спокойной дороге до Идзуми.

Ехать нам предстоит морем, а Фудзивара Токидзанэ устроил прощальное пированье, одарил подарками и прочее — словом, «направил на путь коней наших». Но направил он на путь скорей нас самих: все от господ и до слуг выпили лишку, и вот странность — море соленое, а шутки-то на берегу попахивали несвежей рыбешкой.

Двадцать третий день. Здесь живет некто Ясунори из рода Яги. Не связанный с губернаторством ни службою, никакими иными делами. Так вот он посетил нас и по-старинному красиво и чинно «направил на путь коней наших». Быть может, не столь уж дурно

было правление, если... Впрочем, иные и глаз не кажут: «Что он для нас теперь?!» Таковы здешние обитатели. А Ясунори, человек настоящего сердца, не погнушался прийти! Похвала моя отнюдь не из-за его подарков.

Двадцать четвертый день. Здешний настоятель также изволил «наставить на путь коней наших». Господа, слуги, все, кто там был,— даже малые дети,— упились до чертиков. Те, что прежде простого знака «один» начертить не умели, нынче отважно выписывали ногами мудреные письмена.

Двадцать пятый день. Из резиденции нового правителя — письмо с приглашением пожаловать к нему. Зовут — идем.

Весь день и всю ночь предавались веселью, самому изысканному.

Двадцать шестой день. Шумно пируем в усадьбе правителя. Нас угощают радушно. Хозяева щедры. Последний наш слуга наделен прощальными дарами. Читаются нараспев китайские песни. Хозяин, гости, все бывшие на пиру слагают японские песни, обращая их друг ко другу. Не привожу здесь песен китайских. Что до японских, то вот одна — сложенная любезным хозяином:

«Чая свидеться с вами,
Я, столичный оставя предел,
В путь нелегкий пустился...
Что проку? Напрасный путь!
Мы вскоре расстаться должны!»

И прежний правитель, сбиравшийся нынче к отъезду, ответил:

«Но разве не прибыли вы
Стезею волн белопенных
Сюда, на замену мне?!
Нам выпал жребий один,
И вы в столицу вернетесь!»

Сложили песни и остальные, но хороших среди них, помнится, не было. Беседуя о том и о сем, прежний правитель и новый спустились в сад; новый правитель и прежний, покачиваясь и поддерживая друг друга, пожелали друг другу всяческих благ, и — один воротился в новые свои палаты, другой покинул бывшее жилье свое навсегда.

Двадцать седьмой день. Вышли из Оцу в сторону селения Урадо. Между тем незадолго до отъезда маленькая дочь правителя, что родилась еще в столице, умерла. Он безучастно наблюдал суматоху сборов. Он возвращался в столицу, но не испытывал ничего, кроме печали. Смотреть на это было невыносимо. Один из нас сказал:

«Настал долгожданный день.
Мы едем в столицу!.. Но что же
Так душу печалит?
Одна из нас никогда
В родимый предел не вернется».

Спустя немного — еще:

«Бывает, забудусь
И словно живую зову,
Кличу ушедшую:
«Где ты? Скорей отзовись!»
И так печалится сердце!»

Корабль наш в это время подходил к мысу Какопосаки; тут нас нагоняет брат правителя и еще кое-кто — с вином и обильною снедью. Сходим на берег. Их речи полны сожаления о разлуке. Я расслышала даже чье-то мненье о них: «Вот неподдельная искренность! Среди всех людей нового правителя — только у них!» Ну что ж... Тут они — в превеликой грусти — распахивают грузные мрежи ртов своих и вываливают на берег тяжкие строки:

«К скорбящему о разлученье
Все мы пришли,
Собравшись словно бы стая
Уточек-неразлучниц,
И умоляем: «Останьтесь!»

Сказав это, они и в самом деле никуда не уходили и ждали. И тогда тот, кто уезжал, умиленный и взволнованный, говорит:

«Опускаю весло,
Но пучина морская
Не ведает дна.
Но так ясно видна мне
Глубина ваших чувств».

Однако же кормчий, не ведавший потаенной прелести расставанья, к тому же до самой кормы нагруженный вином, торопил нас.

«Вот-вот начнется прилив! Того и гляди, ветер поднимется?» — бушевал он.

Сейчас взойдем на корабль.

Одни — весьма к месту — читают китайские стихотворения, сочиненные в старину. Иные — поют восточные наши песни — это

в западной-то стороне! От этих песнопений «пыль на крыше ладьи пускается в пляс, облака в небесах замедляют свой бег и покачиваются»!

Вечером пристали наконец к Урадо.

. . . .

Первый день первой луны. Все еще в Оминато. Целебная новогодняя настойка исчезла. Кто-то поставил ее под навес: пусть, мол, побудет ночь на вольном воздухе, а ее сдуло за борт. Так и не удалось полакомиться. А на корабле — ни бататов, ни морской капусты, ни трав и кореньев, укрепляющих зубы (тех, что вкушают с молитвой о долголетии в третий день первой луны),— ничего! О, скудость новых владений бывшего правителя! Обсасываем изможденные губы сушеной форели. А что, как и она способна помыслить нечто, обсасываемая губами людей? Вот мысль... Однако все помыслы наши теперь в столице. Мы говорим друг другу: «Там на воротах домов к соломенным веревкам привязаны головы соленых наёси, ветки вечнозеленого остролиста. Новогодний обычай...»

. . . .

Одиннадцатый день. Засветло трогаемся в путь. Идем в Муроцу. Никто из нас еще не вставал, и, каково нынче море, не видим. Лишь по свету предутренней луны понимаем: там вот запад, а там — восток.

Наконец-то рассвело.

Умываем руки, молимся, завтракаем — обычное утро.

Полдень. И тут перед нами открылось место по имени Крылья.

«Крылья? — волнуются дети.— Как у птицы?!»

Мы улыбаемся ребячьим вопросам. Маленькая дочь одной нашей спутницы сложила:

«Если по правде
«Крыльями»
Эту землю назвали,
Я бы на них в столицу
Сразу бы полетела!»

Но и у взрослых на сердце одна только мысль: о, скорей бы в столицу! И что нужды, что стихи девочки были не хороши. Они правдивы и нейдут из памяти.

Память... Едва дети стали спрашивать нас об этих Крыльях, тотчас вспомнилась «та, что не возвратится». Да разве забудет-

ся она когда-нибудь? Сегодня мать девочки особенно печальна!.. Вдруг подумалось: а ведь не досчитались мы одной из тех, кто уехал тогда вместе с нами из столицы... всплыли в памяти старинные строки:

«На север, домой,
Возвращаются гуси и плачут.
Не досчитались они,
Верно, сородичей милых,
Спутников в долгом пути!»

И тогда один из нас сказал:

«С печальным участьем
Гляжу я на горестный мир,
Но нет печали печальней,
Тоски безутешней,
Чем тоска по ребенку!»

Он долго еще повторял эти строки.

. . . .

Семнадцатый день. Облака разошлись. Луна предрассветного часа необычно хороша. Корабельщики взялись за весла. Плывем. Где вершины облаков, где дно моря — не ведаем — соединились в одно. Правду сказал один старинный муж:

«Пронзает весло
луну средь бегущих волн.
Раздвигает ладья
небо в морской глубине».

Стихи привожу понаслышке. Тут некто прочел:

«Над самой луною,
Лежащей на дне морском,
Ладья проплывает.
Быть может, лунного лавра
Коснулось весло невзначай?»

Кто-то подхватил:

«Вижу, сиянье луны...
Она, верно, там, под волнами...
О, как уныло плыть
По равнине пустынной
Вечносущих небес!»

Ночь постепенно светлеет. Корабельщики говорят: «Близко тучи чернеются. Противный ветер может налететь. Надо бы вернуться»,— и мы возвращаемся. Начинается дождь. Всем очень грустно.

. . . .

Восемнадцатый день. По-прежнему в тех же местах. Море неспокойно, и корабль не снимается с якоря. Вид с нашей пристани прелестный — и вдаль, на горы, и вблизь, на залив. Но мы так страдаем, что уж ничто не трогает сердца.

Мужчины, желая немного забыться, читают нараспев китайские стихи.

А корабль не выходит.

Один из нас, развлечения ради, прочел:

«Не различая погоды,
Ни времен годовых,
Падает снег на прибрежье —
Хлопья пены, где плещут
Белоснежные волны».

Стихи человека, в обычное время равнодушного к стихам. Но вот другие стихи:

«Ни соловей не знает,
Ни весне невдомек,
Что за цветы на прибрежье:
Там, где неистово плещут
Ветром гонимые волны».

Стихи вполне сносные. Услыхав их, некий почтенный старик, чтобы хоть в малой мере рассеять мучительную тоску последних дней, сказал:

«Набегают и падают волны.
Никак не поймут:
Снег иль цветы на прибрежье?
О, ветер-обманщик!
И нас он с толку сбивает!»

Обсуждаем только что сложенные стихи. Один человек прилежно слушает наши споры, и вдруг неожиданно с губ его срываются стихи. Тридцать семь! Шестью слогами больше! Мы не выдерживаем, смеемся. Незадачливый стихотворец удручен и растерян. Но в самом деле: кто когда-нибудь сможет запомнить и

повторить такие стихи?! Их и по-писаному не произнесешь без запинки, до того неуклюже они построены. А если их и сейчас трудно прочесть, то — время пройдет — тем паче!

Девятнадцатый день. День выдался скверный. Стоим без движенья.

Двадцатый день. Все то же. Стоим. Все вздыхают жалобно. Иные в нетерпенье спрашивают: «Сколько дней мы в пути? Двадцать? Тридцать?!» — загибают они пальцы. С опаской гляжу — не вывихнули бы... Грустно. Мы не в силах уснуть... Луна двадцатой ночи. «Луна у края гор...» Увы, здесь не было гор, взошла она из глуби моря. И вспомнилось мне...

Когда-то давным-давно человек по имени Абэ-но Накамаро отправился в Китай и долго жил там. Настала пора возвращаться. Он выехал к пристани, чтобы взойти на корабль. Его провожали люди этой страны. Они устроили прощальное пированье, одарили его подарками; взволнованные разлукой, сочиняли они и читали ему стихи на тамошний лад. Но неутоленная горечь расставанья, верно, не отпускала их, и они оставались с Накамаро до восхода луны двадцатой ночи. И тогда тоже луна взошла из глуби моря. И Накамаро молвил тогда: «Еще во времена богов стихи, подобные этим, в стране нашей слагали боги в своей великой милости к нам. Ныне же всякий — и знатный и простолюдин умеет сложить их: и печалясь разлукой, как нынче, и в радости и в горе». Затем он произнес:

«Взор простираю вдаль
Над синей равниной моря...
Не в родной ли Ка́суга я?
Не взошла ли луна
Из-за края горы Мика́са?»

Чтобы все его поняли, он начертал суть своей песни китайскими письменами. Когда же сведущий в словах нашей страны человек переложил им песню, то они, надо думать, уразумев ее смысл, весьма его похвалили, даже сверх ожидания. Слова в Китае и в нашей стране различны, но лунный свет одинаков и у нас и у них, да и сердца, верно, одни и те же! Так вот, один из нас, вспомнив то давнее время, сказал:

«Та самая луна,
Что восходила прежде —
В столице, из-за края гор,
Теперь восходит над волнами
И за волнами вновь садится.

. . . .

Первый день второй луны. Все утро идет дождь. Только к часу Коня он прекращается. Выходим из залива Идзуми. Море по-прежнему спокойно. Плывем вдоль сосновой рощи по имени Черная коса. Имя — черное, сосны — зеленые, волны прибоя белы, ровно снег, раковины — багрово-красные. Только желтого не хватает до всех пяти цветов! Меж тем корабль наш из места Хаконоура — «Залив Драгоценный ларец» — тянут на толстенной бечеве. Некто сказал:

«О, ларец драгоценный,
Где лежат драгоценные гребни,
Отражаясь в зерцале!
Гребни волн улеглись,
И зерцало моря спокойно».

. . . .

Четвертый день. Кормчий говорит: «Ветер и облака нехороши!» И мы не выходим. А круглый день ни ветерка, ни малого волнения! Ну что за дурень: погоды и то толком указать не может!

Берег возле нашей стоянки усыпан прелестными ракушками и камнями. Одна из наших спутниц, томясь безутешной тоской по той, что не возвратится, сказала:

«Волны, прихлыньте сильней
И оставьте на берегу
Раковину «Позабудь»!
Скажет она: «Позабудь
Ту, что любишь так сильно!»

Тогда некто, не в силах этого вынести, продолжил... так, чтобы отвлечься немного от мучительных дорожных тягот...

«Подбирать я не стану
Раковину «Позабудь»!
Я жемчужину отыщу.
Пусть она будет в память
О драгоценности милой».

Должно быть, утратив дитя, родители сами впадают в младенчество. Ведь все тут могли возразить, что она ничуть не жемчужина! Но недаром говорят: «Вечно прекрасно лицо умершего ребенка».

. . . .

Пятый день.

День напролет молимся: «О волны! Не поднимайтесь!» Моленье наше услышано. Ни ветра, ни волн. Неподалеку резвится чаичья стая. Столица все ближе — вот стихи переполненного радостью ребенка:

«Моленье наше сбылось,
Радуемся затишью!
Но отчего же тогда
Белокрылые чайки — словно
Прибой белопенный».

Меж тем корабль идет все дальше. Сосновая роща на Каменной косе очень хороша, коса длинная-длинная... Проплываем близ Сумиёси. Один человек произнес:

«Вот и постиг я нынче,
Сколько осталось мне жить...
Прежде сосны́ в Суминóэ,
Вечнозеленой сосны,
Успел поседеть я».

В это время родительница той, что больше не вернется, даже на миг не в силах ее позабыть, сказала:

«О быстрее, ладья,
Быстрей в Суминоэ плыви.
Я сорву там траву «Позабудь»,
И, если молва справедлива,
Быть может, забвенье найду?!»

О, разве могла она все позабыть?! Она только хотела дать роздых горестной любви своей, чтобы затем отдаться ей с новой силой...

Внезапный ветер. Гребцы усердно налегают на весла, но что толку! Волны гонят корабль назад. Вот-вот перевернемся. «Ах ты, милостивый бог Сумиёси! — восклицает кормчий.— Тебе бы нынче родиться! Любишь наживу, как все ныне живущие!»

Уж ты-то, судя по всему, родился вовремя.

«Поднесите ему *ну́са*!» Мы послушно подносим нуса светлому Сумиёси — защитнику мореходов. Но ветер не стихает, дует все сильнее, все свирепее. Волны вздымаются все грознее. «Нуса не трогают божественного сердца,— изволит молвить кормчий,— но

каковой причине корабль и не трогается с места. Надо поднести что-нибудь более дорогое, чтобы больше обрадовать бога». Мы послушно пускаемся в размышления. «Глаз у каждого целых два. Это не так дорого. Поднесем ему зеркало. Оно у нас на корабле одно!» Кидаем зеркало в море. Всем его жалко. Но — о, чудо! — море вдруг становится похожим на гладкое зеркало, и кто-то говорит:

«Едва мы бросили зеркало,
Успокоилось море,
И увидели мы
В безмятежной его глубине
Сердце бурного бога».

Нет, это не был бог — хранитель спокойного моря, травы «Позабудь» и милых прибрежных сосенок. Мы в нашем зеркале узрели истинное сердце бога Сумиёси. У него было сердце нашего кормчего.

. . . .

Шестнадцатый день. Ныне вечером, по пути в столицу, проезжали Ямадзаки. Кстати, цветные ларчики в здешней лавке расписаны все так же, сладкие лепешки по-прежнему — витою трубочкой. А хозяева лавки? Впрочем, сказано ведь: «Как узнаешь сердце торговца?»

Мы все ближе к столице. В Симасака некто устраивает нам угощенье. Зачем? Вовсе не обязательно. Должна заметить, однако, что с той поры, как мы уехали, люди здесь стали много радушнее. Посылаем ответные подарки.

Мы хотели быть в столице только к ночи, ехали медленно. Луна взошла. Переправляемся через Ла́вровую реку при лунном свете. Мы говорим друг другу: «Это ведь не река Асука́, чьи воды мелки и нрав переменчив!» Кто-то уже читает стихи:

«О река, соименница лавра,
Что растет на луне вечносущей
В глубине твоих вод
Лунный свет отражается
Неизменно и верно».

Другой сказал:

«О река, соименница лавра,
Словно облако в глуби небесной,
Так была она далека.
И вот плывем мы по ней,
Увлажняя свои рукава!»

И еще кто-то сказал:

«Пусть не в сердце моем
Ты стремишь свои верные воды,
О река, соименница лавра,
Поспорят с твоей глубиною
Мои сердечные чувства».

Все мы исполнены радостью возвращения, оттого и излишек стихов.

Въезжаем в столицу. Ночь темна, и ничего кругом не видать. Но мы так рады! Вот и дом наш. Входим в ворота. Лунный свет освещает наше жилище... Мы уж слышали кое-что, но то, что мы увидели, описать невозможно! Все порушилось, запустело, заросло! Все скверно. Впрочем, не более скверно, чем сердце того человека, которому поручено было следить за домом. А ведь мы разделены лишь одною тонкою изгородью, наш дом и его,— по сути, один и тот же дом, и он сам предложил свои услуги. И всякий раз, как писал он нам о своем дозоре, мы слали ему подарки. Но повышать голос в первый день приезда... «Вот уж...» — могут сказать. Хозяин был весьма огорчен, раздосадован, но... решил все же отблагодарить нерадивого соседа...

В саду нашем было нечто вроде пруда — так, небольшая копань, наполненная водой. Рядом росла сосна. С одного боку ветки у ней посохли и отвалились. Пять лет минуло, а словно целая тысяча. Уж видны были новые юные побеги. Да, почти все тут пришло в упадок, но чего не коснешься, все было мило сердцу, все таило печаль. Какая печаль сжимает сердце, едва помыслишь, о той, что здесь родилась и сюда не вернулась. Корабельные наши спутники шумят о чем-то: вокруг них веселые стайки детей. О, какая грусть! Стихи — сказанные негромко той единственной, которая могла понять их до конца:

«Так печально глядеть
На побеги юные сосен
В нашем саду...
Здесь она родилась —
И больше сюда не вернется!»

Но чувства полнили сердце, и он вновь промолвил:

«О, когда бы она
Всегда была рядом со мной,
Как эта сосна, долговечна,
Но там, в далекой земле,
Она со мной разлучилась!»

Многое трудно забыть, немало тяжких печалей на сердце — разве достанет слов их высказать?! Да и к чему! Порвать бы все эти записи скорей, чтоб и помину не было!

СЭЙ-СЁНАГОН

ИЗ «ЗАПИСОК У ИЗГОЛОВЬЯ»

ВЕСНОЮ — РАССВЕТ

Весною — рассвет.

Все белее края гор, вот они слегка озарились светом. Тронутые пурпуром облака тонкими лентами стелются по небу.

Летом — ночь.

Слов нет, она прекрасна в лунную пору, но и безлунный мрак радует глаза, когда друг мимо друга носятся бесчисленные светлячки. Если один-два светляка тускло мерцают в темноте, все равно это восхитительно. Даже во время дождя — необыкновенно красиво.

Осенью — сумерки.

Закатное солнце, бросая яркие лучи, близится к зубцам гор. Вороны, по три, по четыре, по две, спешат к своим гнездам,— какое грустное очарование! Но еще грустнее на душе, когда по небу вереницей тянутся дикие гуси, совсем маленькие с виду. Солнце зайдет, и все полно невыразимой печали: шум ветра, звон цикад...

Зимою — раннее утро.

Свежий снег, нечего и говорить, прекрасен, белый-белый иней тоже, но чудесно и морозное утро без снега. Торопливо зажигают огонь, вносят пылающие угли,— так и чувствуешь зиму! К полудню холод отпускает, и огонь в круглой жаровне гаснет под слоем пепла, вот что плохо!

ВРЕМЕНА ГОДА

У каждой поры своя особая прелесть в круговороте времен года. Хороши первая луна, третья и четвертая, пятая луна, седьмая луна, восьмая и девятая, одиннадцатая и двенадцатая.

Весь год прекрасен — от начала до конца.

В ТРЕТИЙ ДЕНЬ ТРЕТЬЕЙ ЛУНЫ...

В третий день третьей луны солнце светло и спокойно сияет в ясном небе. Начинают раскрываться цветы на персиковых деревьях.

Ивы в эту пору невыразимо хороши. Почки на них словно тугие коконы шелкопряда. Но распустятся листья — и конец очарованию.

До чего же прекрасна длинная ветка цветущей вишни в большой вазе! А возле этой цветущей ветки сидит, беседуя с дамами, знатный гость, быть может, старший брат самой императрицы, в кафтане «цвета вишни» поверх других многоцветных одежд... Чудесная картина!

ПРЕКРАСНА ПОРА ЧЕТВЕРТОЙ ЛУНЫ...

Прекрасна пора четвертой луны во время празднества Камо. Парадные кафтаны знатнейших сановников, высших придворных различаются между собой лишь по оттенку пурпура, более темному или более светлому. Нижние одежды у всех из белого шелка-сырца. Так и веет прохладой!

Негустая листва на деревьях молодо зеленеет. И как-то невольно залюбуешься ясным небом, не скрытым ни весенней дымкой, ни туманами осени. А вечером и ночью, когда набегут легкие облака, где-то в отдаленье прячется крик кукушки, такой неясный и тихий, словно чудится тебе... Но как волнует он сердце!

Чем ближе праздник, тем чаще пробегают взад и вперед слуги, неся в руках небрежно обернутые в бумагу свертки шелка цвета «зеленый лист вперемешку с опавшим листом» или «индиго с пурпуром». Чаще обычного бросаются в глаза платья причудливой окраски: с яркой каймой вдоль подола, пестрые или полосатые.

Молодые девушки — участницы торжественного шествия — уже успели вымыть и причесать волосы, но еще не сбросили свои измятые, заношенные платья. У иных одежда в полном беспорядке. Они то и дело тревожно кричат: «У сандалий не хватает завязок!», «Нужны новые подметки к башмакам!» — и хлопотливо бегают, вне себя от нетерпения: да скоро ли наступит долгожданный день?

Но вот все готово! Непоседы, которые обычно ходят вприпрыжку, теперь выступают медленно и важно, словно бонза во

главе молитвенного шествия. Так преобразил девушек праздничный наряд!

Матери, тетки, старшие сестры, парадно убранные, каждая прилично своему рангу, сопровождают девушек в пути. Блистательная процессия!

Иные люди годами стремятся получить придворное звание куродо, но это не так-то просто. Лишь в день праздника дозволено им надеть одежду светло-зеленого цвета с желтым отливом, словно они настоящие куродо. О, если б можно было никогда не расставаться с этим одеянием! Но увы, напрасные потуги: ткань, не затканная узорами, выглядит убого и невзрачно.

ОТДАТЬ СВОЕГО ЛЮБИМОГО СЫНА В МОНАХИ...

Отдать своего любимого сына в монахи, как это горестно для сердца! Люди будут смотреть на него, словно на бесчувственную деревяшку.

Монах ест невкусную постную пищу, он терпит голод, недосыпает. Молодость стремится ко всему, чем богата жизнь, но стоит монаху, словно бы ненароком, бросить взгляд на женщину, как даже за такую малость его строго порицают.

Но еще тяжелее приходится странствующему заклинателю — гэ́ндзя. Он бродит по дальним тропам священных гор Митакэ́ и Кумано́. Какие страшные испытания стерегут его на этом трудном пути! Но лишь только пройдет молва, что молитвы его имеют силу, как все начнут зазывать к себе. Чем больше растет его слава, тем меньше ему покоя. Порой заклинателю стоит больших трудов изгнать злых духов, виновников болезни, он измучен, его клонит в сон... И вдруг слышит упрек: «Только и знает, что спать, лентяй!» Каково тогда у него на душе, подумайте!

Но все это дело глубокой старины. Ныне монахам живется куда вольготней.

ГОСПОЖА КОШКА, СЛУЖИВШАЯ ПРИ ДВОРЕ...

Госпожа кошка, служившая при дворе, была удостоена шапки чиновников пятого ранга и ее почтительно титуловали Мёбу-но омото. Она была прелестна, и государыня велела особенно ее беречь.

Однажды, когда Мёбу-но омото разлеглась на веранде, приставленная к ней мамка по имени Ума́-но мёбу прикрикнула на нее:

— Ах ты, негодница! Сейчас же домой!

Но кошка продолжала дремать на солнышке.

Мамка решила ее припугнуть:

— Окинамаро́, где ты? Укуси Мёбу-но омото.

Глупый пес набросился на кошку, а она в смертельном страхе кинулась в покои императора. Государь в это время находился в зале утренней трапезы. Он был немало удивлен и спрятал кошку у себя за пазухой.

На зов государя явились два куродо — Тадатака́ и Наринака́.

— Побить Окинамаро! Сослать его на Собачий остров, сей же час! — повелел император.

Собрались слуги и с шумом погнались за собакой.

Не избежала кары и Ума-но мёбу.

— Отставить мамку от должности, она нерадива,— приказал император.

Ума-но мёбу больше не смела появляться перед высочайшими очами.

Стражники прогнали бедного пса за ворота. Увы, давно ли сам То-но бэн вел его, когда в третий день третьей луны он горделиво шествовал в процессии, увенчанный гирляндой из веток ивы. Цветы персика вместо драгоценных шпилек, на спине ветка цветущей вишни — вот как он был украшен! Кто бы мог тогда подумать, что ему грозит такая злосчастная судьба.

— Во время утренней трапезы,— вздыхали дамы,— он всегда был возле государыни. Как теперь его не хватает!

Через три-четыре дня услышали мы в полдень жалобный вой собаки.

— Что за собака воет без умолку? — спросили мы.

Псы со всего двора стаей помчались на шум.

Скоро к нам прибежала служанка, из тех, что убирают нечистоты:

— Ах, какой ужас! Двое мужчин насмерть избивают бедного пса. Говорят, он был сослан на Собачий остров и вернулся, вот его и наказывают за ослушание.

Сердце у нас защемило, значит, это Окинамаро!

— Его бьют куродо Тадатака́ и Санэфуса́,— добавила служанка.

Только я послала с просьбой прекратить побои, как вдруг жалобный вой затих.

Посланный вернулся с известием:

— Издох. Труп выбросили за ворота.

Все мы очень опечалились, но вечером к нам подполз, дрожа всем телом, какой-то безобразно распухший пес самого жалкого вида.

— Верно, это Окинамаро? Такой собаки мы здесь не видели,— заговорили дамы.

— Окинамаро! — позвали его, но он словно бы не понял.

Мы заспорили. Одни говорили: «Это он!» — другие: «Нет, что вы!»

Государыня повелела:

— Укóн хорошо его знает. Кликните ее.

Пришла старшая фрейлина Укон. Государыня спросила:

— Неужели это Окинамаро?

— Пожалуй, похож на него, но уж очень страшен на вид,— ответила госпожа Укон.— Бывало, только я крикну «Окинамаро!», он радостно бежит ко мне, а этого, сколько ни зови, не идет. Нет, это не он! Притом ведь я слышала, что бедного Окинамаро забили насмерть. Как мог он остаться в живых, ведь его нещадно избивали двое мужчин!

Императрица была огорчена.

Настали сумерки, собаку пробовали накормить, но она ничего не ела, и мы окончательно решили, что это какой-то приблудный пес.

На другое утро я поднесла императрице гребень для прически и воду для омовения рук. Государыня велела мне держать перед ней зеркало.

Прислуживая государыне, я вдруг увидела, что под лестницей лежит собака.

— Увы! Вчера так жестоко избили Окинамаро. Он, наверно, издох. В каком образе возродится он теперь? Грустно думать,— вздохнула я.

При этих словах пес задрожал мелкой дрожью, слезы у него так и потекли-побежали.

Значит, это все-таки был Окинамаро! Вчера он не посмел отозваться.

Мы были удивлены и тронуты.

Положив зеркало, я воскликнула:

— Окинамаро!

Собака подползла ко мне и громко залаяла.

Государыня улыбнулась.

Она призвала к себе госпожу Укон и все рассказала ей.

Поднялся шум и смех.

Сам государь пожаловал к нам, узнав о том, что случилось.

— Невероятно! У бессмысленного пса — и вдруг такие глубокие чувства,— шутливо заметил он.

Дамы из свиты императора тоже толпой явились к нам и стали звать Окинамаро по имени. На этот раз он поднялся с земли и пошел на зов.

— Смотрите, у него все еще опухшая морда, надо бы приложить примочку,— предложила я.

— Ага, в конце концов пришлось ему выдать себя! — смеялись дамы.

Тадатака услышал это и крикнул из Столового зала:

— Неужели это правда? Дайте сам погляжу.

Я послала служанку, чтобы сказать ему:

— Какие глупости! Разумеется, это другая собака.

— Говорите себе, что хотите, а я разыщу этого подлого пса. Не спрячете от меня,— пригрозил Тадатака.

Вскоре Окинамаро был прощен государем и занял свое прежнее место во дворце.

Но и теперь я с невыразимым волнением вспоминаю, как он стонал и плакал, когда его пожалели.

Так плачет человек, услышав слова сердечного сочувствия.

А ведь это была простая собака... Разве не удивительно?

ТО, ЧТО НАВОДИТ УНЫНИЕ

Собака, которая воет посреди белого дня.

Верша для ловли рыб, уже ненужная весной.

Зимняя одежда «цвета алой сливы» в пору третьей или четвертой луны.

Погонщик, у которого издох бык.

Комната для родов, где умер ребенок.

Жаровня или очаг без огня.

Ученый высшего звания, у которого рождаются только дочери.

Остановишься в чужом доме, чтобы «изменить направление пути», грозящее бедой, а хозяин как раз в отсутствии. Особенно это грустно в День встречи весны.

Досадно, если к письму, присланному из провинции, не приложен гостинец. Казалось бы, в этом случае не должно радовать и письмо из столицы, но зато оно всегда богато новостями. Узнаешь из него, что творится в большом свете.

С особым старанием напишешь кому-нибудь письмо. Пора бы уже получить ответ, но посланный тобой слуга подозрительно запаздывает. Ждешь долго-долго, и вдруг твое письмо, красиво завязанное узлом или скрученное на концах, возвращается к тебе назад, но в каком виде! Испачкано, смято, черта туши, для сохранности тайны проведенная сверху, бесследно стерта.

Слуга отдает письмо со словами:

«Дома не изволят быть»,— или: «Нынче,— сказали,— соблюдают День удаления, письма принять не могут».

Какая досада!

Или вот еще. Посылаешь экипаж за кем-нибудь, кто непременно обещал приехать к тебе. Ждешь с нетерпением. Слышится стук подъезжающей повозки. Кто-то кричит: «Вот наконец пожаловали!»

Спешишь к воротам. Но экипаж тащат в сарай, оглобли со стуком падают на землю.

Спрашиваешь:

— В чем дело?

— А дома не случилось. Говорят, изволили куда-то отбыть,— отвечает погонщик и уводит в стойло распряженного быка.

Зять, принятый в семью, перестает навещать свою жену. Большое огорчение! Какая-то важная особа сосватала ему дочку одного придворного. Совестно перед людьми, а делать нечего!

Кормилица отпросилась «на часочек».

Утешаешь ребенка, забавляешь. Пошлешь к кормилице приказ немедленно возвращаться... И вдруг от нее ответ: «Нынче вечером не ждите».

Тут не просто в уныние придешь, этому имени нет, гнев берет, до чего возмутительно!

Как же сильно должен страдать мужчина, который напрасно ждет свою возлюбленную!

Или еще пример.

Ожидаешь всю ночь. Уже брезжит рассвет, как вдруг — тихий стук в ворота. Сердце твое забилось сильнее, посылаешь людей к воротам узнать, кто пожаловал.

Но называет свое имя не тот, кого ждешь, а другой человек, совершенно тебе безразличный. Нечего и говорить, какая тоска сжимает тогда сердце!

Заклинатель обещал изгнать злого духа. Он велит принести четки и начинает читать заклинания тонким голосом, словно цикада верещит.

Время идет, а незаметно, чтобы злой дух покинул больного или чтобы добрый демон-защитник явил себя. Вокруг собрались и молятся родные больного. Всех их начинают одолевать сомнения.

Заклинатель из сил выбился, уже битый час он читает молитвы.

— Небесный защитник не явился! Вставай! — приказывает он своему помощнику и забирает у него четки.

— Все труды пропали! — бормочет он, ероша волосы со лба на затылок, и ложится отдохнуть немного.

— Любит же он поспать! — возмущаются люди и без всякой жалости трясут его, будят, стараются из него хоть слово выжать.

Печальное зрелище!

Или вот еще.

Дом человека, который не получил должности в дни, когда назначаются правители провинций.

Прошел слух, что уж на этот раз его не обойдут. Из разных глухих мест к нему съезжаются люди, когда-то служившие у него под началом, с виду сущие деревенщины. Все они полны надежд.

То и дело видишь во дворе оглобли подъезжающих и отъезжающих повозок. Каждый хочет сопровождать своего покровителя, когда он посещает храмы. Едят, пьют, галдят наперебой.

Время раздачи должностей подходит к концу. Уже занялась заря последнего дня, а еще ни один вестник не постучал в ворота.

— Право, это странно! — удивляются гости, поминутно настораживая уши.

Но вот слышатся крики передовых скороходов: советники государя покидают дворец.

Слуги с вечера зябли возле дворца в ожидании вестей, теперь они возвращаются назад с похоронными лицами.

Люди в доме даже не решаются их расспрашивать. И только приезжие провинциалы любопытствуют:

— Какую должность получил наш господин?

Им неохотно отвечают:

— Он по-прежнему экс-губернатор такой-то провинции.

Все надежды рухнули, какое горькое разочарование!

На следующее утро гости, битком забившие дом, потихоньку отбывают один за другим. Но иные состарились на службе у хозяина дома и не могут так легко его покинуть, они бродят из угла в угол, загибая пальцы на руках. Подсчитывают, какие провинции окажутся вакантными в будущем году.

Унылая картина!

Вы послали кому-то стихотворение. Вам оно кажется хорошим, но увы! Не получаете «ответной песни». Грустно и обидно. Если это было любовное послание, что же, не всегда можно на него отозваться. Но как не написать в ответ хоть несколько ничего не значащих любезных слов... Чего же стоит такой человек?

В оживленный дом ревнителя моды приносят стихотворение в старом вкусе, без особых красот, сочиненное в минуту скуки стариком, безнадежно отставшим от века.

Тебе нужен красивый веер к празднику. Заказываешь его прославленному художнику. Наступает день торжества, веер доставлен, и на нем,— кто бы мог ожидать! — намалеван безобразный рисунок.

Посланный приносит подарок по случаю рождения ребенка или отъезда в дальний путь, но ничего не получает в награду.

Непременно нужно вознаградить слугу, хотя бы он принес пустячок: целебный шар кусудама или колотушку счастья. Посланный от души рад, он не рассчитывал на щедрую мзду.

Иной раз слуга не сомневается, что его ждет богатая награда. Сердце у него так и прыгает. Но надежды его обмануты, и он возвращается назад мрачнее тучи.

В семью приняли молодого зятя, но прошло четыре-пять лет, и еще ни разу в доме не поднимали суматоху, спеша приготовить покои для родов. Какой печальный дом! У престарелых супругов много взрослых сыновей и дочерей, пора бы, кажется, и внучатам ползать по полу и делать первые шаги. Старики прилегли отдохнуть в одиночестве. На них вчуже глядеть грустно. Что же должны чувствовать их собственные дети!

Вечером в канун Нового года весь дом в хлопотах. Лишь кто-то один лениво встает с постели после дневного отдыха и плещется в горячей воде. Сил нет, как это раздражает!

А еще наводят уныние:

долгие дожди в последний месяц года;

один день невоздержания в конце длительного поста.

ТО, ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ СЕРДЦЕ СИЛЬНЕЕ БИТЬСЯ

Как взволнованно твое сердце, когда случается:

Кормить воробьиных птенчиков.

Ехать в экипаже мимо играющих детей.

Лежать одной в покоях, где курились чудесные благовония.

Заметить, что драгоценное зеркало уже слегка потускнело.

Слышать, как некий вельможа, остановив свой экипаж у твоих ворот, велит слугам что-то спросить у тебя.

Помыв волосы и набелившись, надеть платье, пропитанное ароматами. Даже если никто тебя не видит, чувствуешь себя счастливой.

Ночью, когда ждешь своего возлюбленного, каждый легкий звук заставляет тебя вздрагивать: шелест дождя или шорох ветра.

ТО, ЧТО ДОРОГО КАК ВОСПОМИНАНИЕ

Засохшие листья мальвы.

Игрушечная утварь для кукол.

Вдруг заметишь между страницами книги когда-то заложенные туда лоскутки сиреневого или пурпурного шелка.

В тоскливый день, когда льют дожди, неожиданно найдешь старое письмо от того, кто когда-то был тебе дорог.

Веер «Летучая мышь» — память о прошлом лете.

ТО, ЧТО РЕДКО ВСТРЕЧАЕТСЯ

Тесть, который хвалит зятя.

Невестка, которую любит свекровь.

Серебряные щипчики, которые хорошо выщипывают волоски бровей.

Слуга, который не чернит своих господ.

Человек без малейшего недостатка. Все в нем прекрасно: лицо, душа. Долгая жизнь в свете нимало не испортила его.

Люди, которые, годами проживая в одном доме, ведут себя церемонно, как будто в присутствии чужих, и все время неусыпно следят за собой. В конце концов редко удается скрыть свой подлинный нрав от чужих глаз.

Трудно не капнуть тушью, когда переписываешь роман или сборник стихов. В красивой тетради пишешь с особым старанием, и все равно она быстро принимает грязный вид.

Что говорить о дружбе между мужчиной и женщиной! Даже между женщинами нечасто сохраняется нерушимое доброе согласие, несмотря на все клятвы в вечной дружбе.

ТО, ЧТО ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНЕ ХУЖЕ, ЧЕМ В ЖИЗНИ

Гвоздики. Аир. Цветы вишен.

Мужчины и женщины, красоту которых восхваляют в романах.

ТО, ЧТО ВЫГЛЯДИТ НА КАРТИНЕ ЛУЧШЕ, ЧЕМ В ЖИЗНИ

Сосны. Осенние луга. Горное селенье. Тропа в горах.

ТО, ЧТО ГЛУБОКО ТРОГАЕТ СЕРДЦЕ

Почтительная любовь детей к своим родителям.

Молодой человек из хорошей семьи уединился с отшельниками на горе Митакэ. Как жаль его! Разлученный с родными, он каждый день на рассвете бьет земные поклоны, ударяя себя в грудь. И когда его близкие просыпаются от сна, им кажется, что они собственными ушами слышат эти звуки... Все их мысли устремлены к нему.

«Каково ему там, на вершине Митакэ?» — тревожно и с благоговейным восхищением думают они.

Но вот он вернулся, здрав и невредим. Какое счастье! Только шапка немного смялась и потеряла вид...

Впрочем, я слышала, что знатнейшие люди, совершая паломничество, надевают на себя старую, потрепанную одежду.

И лишь Нобутака, второй начальник Правого отряда личной гвардии, был другого мнения:

— Глупый обычай! Почему бы не нарядиться достойным образом, отправляясь в святые места? Да разве божество, обитающее на горе Митакэ, повелело: «Являйтесь ко мне в скверных обносках?»

Когда в конце третьей луны Нобутака отправился в паломничество, он поражал глаза великолепным нарядом. На нем были густо-лиловые шаровары и белоснежная «охотничья одежда» поверх нижнего одеяния цвета ярко-желтой керрии.

Сын его Такамицу, помощник начальника дворцовой службы, надел на себя белую накидку, пурпурную одежду и длинные пестрые шаровары из ненакрахмаленного шелка.

Как изумлялись встречные пилигримы! Ведь со времен древности никто не видел на горной тропе людей в столь пышном облачении!

В конце четвертой луны Нобутака вместе с сыном вернулся в столицу, а в начале десятых чисел шестой луны скончался правитель провинции Тикудзэн, и Нобутака унаследовал его пост.

— Он был прав! — говорили люди.

Этот рассказ не из тех, что глубоко трогают сердце, он здесь к слову, поскольку речь зашла о горе Митакэ.

Но вот что подлинно волнует душу.

Мужчина или женщина, молодые, прекрасные собой, в черных траурных одеждах.

В конце девятой или в начале десятой луны голос кузнечика, такой слабый, что кажется, он почудился тебе.

Наседка, высиживающая яйца.

Капли росы, сверкающие поздней осенью, как многоцветные драгоценные камни, на мелком тростнике в саду.

Проснуться посреди ночи или на заре и слушать, как ветер шумит в речных бамбуках, иной раз целую ночь напролет.

Горная деревушка в снегу.

Двое любят друг друга, но что-то встало на их пути, и они не могут следовать велению своих сердец. Душа полна сочувствия к ним.

Наступил рассвет двадцать седьмого дня девятой луны. Ты еще ведешь тихий разговор, и вдруг из-за гребня гор выплывает месяц, тонкий и бледный... Не поймешь, то ли есть он, то ли нет его. Сколько в этом печальной красоты!

Как волнует сердце лунный свет, когда он скупо точится сквозь щели в кровле ветхой хижины!

И еще — крик оленя возле горной деревушки.

И еще — сияние полной луны, высветившее каждый темный уголок в старом саду, оплетенном вьющимся подмаренником.

ТО, ОТ ЧЕГО ВЧУЖЕ БЕРЕТ СТЫД

Тайники сердца мужчины, склонного к любовным похождениям.

Вор притаился в углу и, незаметно для всех, подсматривает. Пользуясь темнотой, кто-то украл вещицу и спрятал у себя за пазухой. Должно быть, вору забавно видеть, как другой человек делит с ним его сердечную склонность.

Монаху с чутким слухом приходится часто смущаться, когда он ночью читает молитвы в знатном доме.

Собираются молоденькие прислужницы, начинают судачить и высмеивать людей. Монах все слышит через тонкую перегородку, ему тяжело и совестно.

Иногда старшая придворная дама пробует их пристыдить:

— Что за поведение! Не шумите так!

Им хоть бы что! Продолжают болтать, пока не заснут от усталости... А монах долго не может опомниться от стыда.

Мужчина уже охладел к своей возлюбленной, но он старается обманными речами укрепить в ней доверие к его чувству. Это постыдно!

И еще хуже, если мужчина, который пользуется славой человека искреннего в любви и добросердечного, ведет себя так, что

женщина даже и усомниться в нем не может. А между тем он не только лукавит перед ней в глубинах своей души, но и на словах открыто предает ее. Он рассказывает о своей возлюбленной сплетни другим женщинам, точно так же, как черпит их в беседах с ней.

А она, понятно, не подозревает этого и радуется, слыша, как он умаляет других. Значит, любит ее одну. Какой низкий обман!

Зачем же тогда ей смущаться, если она встретит на своем пути другого человека, который хоть немного любит ее? Пусть прежний друг сочтет ее бессердечной, она вправе порвать с ним, в этом нет ничего постыдного.

Разлука трудна для женщины. Она сожалеет о прошлом, страдает, а мужчина остается равнодушным. «Что у него за сердце?» — с болью думает она.

Но самое ужасное, когда мужчина обольстит какую-нибудь придворную даму, у которой нет в жизни опоры, и после бросит ее, беременную, на произвол судьбы. Знать, мол, ничего не знаю.

ТО, ЧТО УТРАТИЛО ЦЕНУ

Большая лодка, брошенная на берегу во время отлива.

Высокое дерево, вывороченное с корнями и поваленное бурей.

Ничтожный человек, распекающий своего слугу.

Земные помыслы в присутствии Святого Мудреца.

Женщина, которая сняла парик и причесывает короткие жидкие пряди своих волос.

Старик, голый череп которого не прикрыт шапкой.

Спина побежденного борца.

Женщина обиделась на мужа по пустому поводу и скрылась неизвестно где. Она думала, что муж непременно бросится искать ее, но не тут-то было,— он спокоен и равнодушен, а ей нельзя без конца жить в чужом месте, и она поневоле, непрошеная, возвращается домой.

Женщина в обиде на своего возлюбленного, осыпает его горькими упреками. Она не хочет делить с ним ложе и отодвигается как можно дальше от него. Он пытается притянуть ее к себе, а она упрямится.

Наконец с него довольно! Он оставляет ее в покое и, укрывшись с головой, устраивается на ночь поудобнее.

Стоит зимняя ночь, а на женщине только тонкая одежда без подкладки. В увлечении гнева она не чувствовала холода, но время идет — и стужа начинает пробирать ее до мозга костей.

В доме все давно спят крепким сном. Пристойно ли ей встать с постели и одной бродить в потемках? Ах, если бы раньше догадаться уйти! Так думает она, не смыкая глаз.

Вдруг в глубине дома раздаются странные, непонятные звуки. Слышится шорох, что-то поскрипывает... Как страшно!

Тихонько она придвигается к своему возлюбленному и пробует натянуть на себя край покрывала. Нелепое положение!

А мужчина не хочет легко уступить и притворяется, что заснул!

ОДНАЖДЫ В ПОРУ ДЕВЯТОЙ ЛУНЫ...

Однажды в пору девятой луны всю долгую ночь до рассвета лил дождь. Утром он кончился, солнце встало в полном блеске, но на хризантемах в саду еще висели крупные, готовые вот-вот пролиться капли росы.

На тонком плетенье бамбуковых оград, на застрехах домов трепетали нити паутин. Росинки были нанизаны на них, как белые жемчужины...

Пронзающая душу красота!

Когда солнце поднялось выше, роса, тяжело пригнувшая ветки хаги, скатилась на землю, и ветви вдруг сами собой взлетели в вышину...

А я подумала, что люди нисколько бы этому не удивились.

И это тоже удивительно!

ТО, ОТ ЧЕГО СЖИМАЕТСЯ СЕРДЦЕ

Сердце сжимается:

Когда глядишь на состязания всадников.

Когда плетешь из бумаги шнурок для прически.

Родители твои жалуются на нездоровье и выглядят хуже обычного. А если в это время ходит дурное поветрие, тут уж тебя возьмет такая тревога, что ни о чем другом и думать не можешь.

А как сжимается сердце, когда маленький ребенок не берет грудь и заливается криком даже у кормилицы на руках.

В доме ты впервые слышишь незнакомый голос. Это одно уже волнует. И становится совсем не по себе, если кто-нибудь из твоих собеседников вдруг начнет разводить сплетни про того человека.

Войдет в комнату кто-либо тебе ненавистный,— и душа замирает.

Странная вещь — сердце, как легко его взволновать!

Вчера женщину в первый раз навестил возлюбленный, и вот — на другое утро письмо от него запаздывает.

Пусть это случилось с другой, не с тобой, все равно, сердце сжимается в тревоге за нее.

ТО, ЧТО УМИЛЯЕТ

Детское личико, нарисованное на дыне.

Ручной воробышек, который бежит вприпрыжку за тобой, когда ты пищишь на мышиный лад: тю-тю-тю!

Ребенок лет двух-трех быстро-быстро ползет на чей-нибудь зов и вдруг замечает своими острыми глазками какую-нибудь крошечную безделицу на полу. Он хватает ее пухлыми пальчиками и показывает взрослым.

Девочка, подстриженная на манер монахини, не отбрасывает со лба длинную челку, которая мешает ей рассмотреть что-то, но наклоняет голову набок. Это прелестно!

Маленький придворный паж очарователен, когда он проходит мимо тебя в церемониальном наряде.

Возьмешь ребенка на руки, чтобы немножко поиграть с ним, а он ухватился за твою шею и задремал... До чего же он мил!

Трогательно-милы куколки из бумаги, которыми играют девочки.

Сорвешь в пруду маленький листок лотоса и залюбуешься им!

А мелкие листики мальвы! Вообще, все маленькое трогает своей прелестью.

Толстенький мальчик лет двух ползет к тебе в длинном-длинном платьице из переливчатого лилового крепа, рукава подхвачены тесемками... Или другой ребенок идет вразвалочку, сам он — коротышка, а рукава долгие... Не знаю, кто из них милее.

Мальчик лет восьми-девяти читает книгу. Его тонкий детский голосок проникает прямо в сердце.

Цыплята на длинных ножках с пронзительным писком бегут то впереди тебя, то за тобой, хорошенькие, белые, в своем еще куцем оперении. Люблю глядеть на них. До чего же они забавны, когда следуют толпой за курицей-мамашей.

ТЕ, У КОГО УДРУЧЕННЫЙ ВИД

Кормилица ребенка, который плачет всю ночь.

Мужчина, снедаемый вечной тревогой. У него две любовницы, одна ревнивей другой.

Заклинатель, который должен усмирить сильного демона. Хорошо, если молитвы сразу возымеют силу, а если нет? Он тревожится, что люди будут над ним смеяться, и вид у него как нельзя более удрученный.

Женщина, которую страстно любит ревнивец, склонный к напрасным подозрениям. И даже та, что в фаворе у «Первого человека» в стране — самого канцлера, не знает душевного покоя. Но, правда, ей-то все равно хорошо!

Люди, которых раздражает любая безделица.

ХОРОШО ПОЕХАТЬ В ГОРНОЕ СЕЛЕНЬЕ...

Хорошо поехать в горное селенье в пору пятой луны! Вокруг, куда ни кинешь взор, все зелено: и луговые травы, и вода на рисовых полях.

Густая трава на вид так безмятежна, словно ничего не таит в себе, но поезжай все прямо-прямо, и из самых ее глубин брызнет вода невыразимой чистоты. Она неглубока, но погонщик, бегущий впереди, поднимает тучи брызг...

Справа и слева тянутся живые изгороди. Вдруг ветка дерева вбежит в окно экипажа, хочешь сорвать ее, поспешно схватишь, но увы! Она уже вырвалась из рук и осталась позади.

Иногда колесо экипажа подомнет, захватит и унесет с собой стебли чернобыльника. С каждым поворотом колеса чернобыльник взлетает вверх, и ты вдыхаешь его чудесный запах.

В ЗНОЙНУЮ ПОРУ ТАК ПРИЯТНО ДЫШАТЬ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОХЛАДОЙ...

В знойную пору так приятно дышать вечерней прохладой, глядя, как очертания холмов и деревьев становятся все более неясными.

Когда перед экипажем важного сановника бегут, расчищая дорогу, передовые скороходы, это рождает особое ощущение прохлады. Но даже если мимо едут простолюдины, по одному, по два в повозке,— тростниковая занавеска позади отдернута,— все равно, от этой картины веет прохладой.

Но чудесней всего, когда в экипаже зазвенят струны лютни-бива или запоет флейта. И так становится грустно, что звуки пролетели мимо и затихли вдали!

Иногда донесется странный, непривычный запах кожаного подхвостника на быке. Пусть я говорю сумасшедшую нелепицу, но, право, есть в этом запахе особая прелесть.

А как хорошо, когда во мраке безлунной ночи сосновые факелы, горящие впереди экипажа, наполняют его своим крепким ароматом.

В НАЧАЛЕ ДВАДЦАТЫХ ЧИСЕЛ ДЕВЯТОЙ ЛУНЫ...

В начале двадцатых чисел девятой луны я отправилась в храмы Хасэ, и мне случилось заночевать в каком-то убогом домике. Разбитая усталостью, я мгновенно уснула.

Очнулась я в середине ночи. Лунный свет лился сквозь окошко и бросал белые блики на ночные одежды спящих людей... Я была глубоко взволнована!

В такие минуты поэты сочиняют стихи.

КОГДА В ЯСНУЮ НОЧЬ...

Когда в ясную ночь, при ярком лунном свете, переправляешься в экипаже через реку, бык на каждом шагу рассыпает брызги, словно разбивает в осколки кристалл.

КАК ХОРОШ СНЕГ...

Как хорош снег на кровлях, покрытых корой кипариса.

А еще он хорош, когда чуть-чуть подтает или выпадет легкой порошей и останется только в щелях между черепицами, скрадывая углы черепиц, так что они кажутся круглыми.

Есть приятность в осеннем дожде и граде, если они стучат по дощатой крыше.

Утренний иней — на темных досках крыши. И в саду!

СОЛНЦЕ

Солнце всего прекрасней на закате. Его гаснущий свет еще озаряет алым блеском зубцы горы, а по небу тянутся облака, чуть подцвеченные желтым сияньем. Какая грустная красота!

ЛУНА

Всего лучше предрассветный месяц, когда его тонкий серп выплывает из-за Восточных гор, прекрасный и печальный.

ОБЛАКА

Я люблю белые облака, и пурпурные, и черные... И дождевые тучи тоже, когда они летят по ветру.

Люблю смотреть, как на рассвете темные облака понемногу тают и становятся все светлее.

Кажется, в какой-то китайской поэме сказано о них: «Цвет, исчезающий на заре...»

До чего красиво, когда тонкое сквозистое облако проплывает мимо ослепительно сияющей луны!

СОСТРАДАНИЕ — ВОТ САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ СВОЙСТВО...

Сострадание — вот самое драгоценное свойство человеческой души. Это прежде всего относится к мужчинам, но верно и для женщин.

Скажешь тому, у кого неприятности: «Сочувствую от души!» Или: «Разделяю ваше горе!» — тому, кого постигла утрата... Много ли значат эти слова? Они не идут из самой глубины сердца, но все же люди в беде рады их услышать.

Лучше, впрочем, передать сочувствие через кого-нибудь, чем выразить непосредственно. Если сторонние свидетели расскажут человеку, пораженному горем, что вы жалели его, он тем сильнее будет тронут, и ваши слова неизгладимо останутся в его памяти.

Разумеется, если вы придете с сочувствием к тому, кто вправе требовать его от вас, то особой благодарности он не почувствует, а примет вашу заботу как должное. Но человек для вас чужой, не ожидавший от вас сердечного участия, будет рад каждому вашему теплому слову.

Казалось бы, небольшой труд — сказать несколько добрых слов, а как редко их услышишь!

Вообще не часто встречаются люди, щедро наделенные талантами — и в придачу еще доброй душой. Где они? А ведь их должно быть много...

ЕСЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ЧЕРТЫ В ЛИЦЕ ЧЕЛОВЕКА...

Если какие-нибудь черты в лице человека кажутся нам особенно прекрасными, то не устанешь любоваться им при каждой новой встрече.

С картинами не так. Если часто на них глядеть, быстро примелькаются. Возле моего обычного места во дворце стоят шир-

мы, они чудесно расписаны, но я никогда на них не гляжу. Насколько более интересен человеческий облик!

В любой некрасивой вещи можно подметить что-либо привлекательное... А в красивом, увы,— отталкивающее.

ОДНАЖДЫ, КОГДА ГОСУДАРЫНЯ БЕСЕДОВАЛА С ПРИДВОРНЫМИ ДАМАМИ...

Однажды, когда государыня беседовала с придворными дамами, я сказала по поводу некоторых ее слов:

— Наш бедственный мир мучителен, отвратителен, порою мне не хочется больше жить... Ах, убежать бы далеко, далеко! Но если в такие минуты попадется мне в руки белая красивая бумага, хорошая кисть, белые листы с красивым узором или бумага Митиноку,— вот я и утешилась. Я уже согласна жить дальше.

А не то расстелю зеленую соломенную циновку, плотно сплетенную, с широкой белой каймою, по которой разбросан яркими пятнами черный узор... Залюбуюсь и подумаю: «Нет, что бы там ни было, а я не в силах отвергнуть этот мир. Жизнь слишком для меня драгоценна...»

— Немного же тебе надо! — засмеялась императрица.— Спрашивается, зачем было людям искать утешения, глядя на луну над горой Обасутэ́?

Придворные дамы тоже стали меня поддразнивать:

— Уж очень они короткие, ваши «молитвы об избавлении от всяческих бед».

Некоторое время спустя случились печальные события, потрясшие меня до глубины души, и я, покинув дворец, удалилась в свой родной дом.

Вдруг посланная приносит мне от государыни двадцать свитков превосходной бумаги и высочайшее повеление, записанное со слов императрицы.

«Немедленно возвратись! — приказывала государыня.— Посылаю тебе эту бумагу, но боюсь, она не лучшего качества и ты не сможешь написать на ней Сутру долголетия для избавления от бед».

О, счастье! Значит, государыня хорошо помнит тот разговор, а я ведь о нем совсем забыла. Будь она простой смертной, я и то порадовалась бы. Судите же, как глубоко меня тронуло такое внимание со стороны самой императрицы!

Взволнованная до глубины души, я не знала, как достойным образом поблагодарить государыню, но только послала ей следующее стихотворение:

«С неба свитки бумаги,
Чтобы священные знаки чертить,
В дар мне прислала богиня.
Это знак, что подарен мне
Век журавлиный в тысячу лет».

— И еще спроси государыню от моего имени,— сказала я,— «не слишком ли много лет прошу я от судьбы?»

Я подарила посланной (она была простая служанка из кухонной челяди) узорное синее платье.

Сразу же потом я с увлечением принялась делать тетради из этой бумаги, и в хлопотах мне показалось, что все мои горести исчезли. Тяжесть спала с моего сердца.

Дня через два дворцовый слуга в красной одежде посыльного принес мне циновку и заявил:

— Нате!

— А ты кто? — сердито спросила моя служанка.— Невежество какое!

Но слуга молча положил циновку и исчез.

— Спроси его, от кого он? — велела я служанке.

— Уже ушел,— ответила она и принесла мне циновку, великолепную, с узорной каймой. Такие постилают только для самых знатных персон.

В душе я подумала, что это — подарок императрицы, но вполне уверенной быть не могла. Смущенная, я послала разыскивать слугу, принесшего циновку, но его и след простыл.

— Как странно! — толковала я с моими домашними, но что было делать, слуга не отыскался.

— Возможно, он отнес циновку не тому, кому следовало, и еще вернется,— сказала я.

Мне хотелось пойти во дворец императрицы и самой узнать, от нее ли подарок, но если бы я ошиблась, то попала бы в неловкое положение.

Однако кто мог подарить мне циновку ни с того ни с сего? «Нет, разумеется, сама государыня прислала ее»,— с радостью подумала я.

Два дня я напрасно ждала вестей, и в душе у меня уже начали шевелиться сомнения.

Наконец я послала сказать госпоже Укё:

«Вот, мол, случилось то-то и то-то... Не видели ли вы такой циновки во дворце? Сообщите мне по секрету. Только никому ни слова, что я вас спрашивала».

«Государыня сохраняет все в большой тайне,— прислала мне ответ госпожа Укё.— Смотрите же, не проговоритесь, что я выдала ее секрет».

Значит, моя догадка была верна! Очень довольная, я написала письмо и велела своей служанке потихоньку положить его на балюстраду возле покоев императрицы. Увы, служанка сделала это так неловко, что письмо упало под лестницу.

ТО, ЧТО НЕ ВНУШАЕТ ДОВЕРИЯ

Притворщики. Они кажутся более чистосердечными, чем люди, которым нечего скрывать.

Путешествия на корабле.

ДЕНЬ СТОЯЛ ТИХИЙ И ЯСНЫЙ

День стоял тихий и ясный. Море было такое спокойное, будто натянули блестящий бледно-зеленый шелк, и нас ничто не страшило.

В лодке со мной находились девушки-служаночки в легких одеждах с короткими рукавами, в штанах-хакама и совсем еще молодые слуги.

Они дружно налегали на весла и гребли, распевая одну песню за другой.

Чудо как хорошо! Вот если бы кто-нибудь из людей светского круга мог увидеть, как мы скользили по воде!

Но вдруг налетел вихрь, море начало бурлить и клокотать. Мы себя не помнили от страха. Гребцы изо всех сил работали веслами, торопясь направить лодку к надежной гавани, а волны заливали нас. Кто поверит, что это бушующее море всего лишь мгновение назад было так безмятежно и спокойно?

Вот почему к мореходам нельзя относиться с пренебрежением. Казалось бы, на их утлых суденышках не отважишься плавать даже там, где совсем мелко. Но они бесстрашно плывут на своих скорлупках над глубокой пучиной, готовой вот-вот поглотить их. Да еще и нагружают корабль так тяжело, что он оседает в воду по самые края.

Лодочники без тени страха ходят и даже бегают по кораблю. Со стороны кажется, первое волнение — и всему конец, корабль пойдет на дно, а они, громко покрикивая, бросают в него пять-шесть огромных сосновых бревен в три обхвата толщиной!

Знатные люди обычно плавают в лодке с домиком. Приятно находиться в глубине его, но если стоять возле борта, то голова кружится. Веревки, которые служат для укрепления весел, ка-

жутся очень слабыми. Вдруг одна из них лопнет? Гребец будет внезапно сброшен в море! И все же более толстые веревки не в ходу.

Помню, я однажды путешествовала в такой лодке. Домик на ней был очень красиво устроен: двери с двумя створками, решетки на окнах поднимались. Лодка наша не так глубоко сидела в воде, как другие, когда кажется, что вот-вот уйдешь на дно. Я словно была в настоящем маленьком доме.

Но посмотришь на маленькие лодочки — и ужас возьмет! Те, что вдалеке, словно сделаны из листьев мелкого бамбука и разбросаны по воде.

Когда же мы наконец вернулись в нашу гавань, на всех лодках зажгли огни,— зрелище необычайной красоты!

На рассвете я с волнением увидела, как уходят в море на веслах крошечные суденышки, которые зовут сампанами. Они растаяли вдали. Вот уж поистине, как говорится в песне, «остался только белопенный след»!

Я думаю, что знатным людям не следует путешествовать по морю. Опасности подстерегают и пешехода, но все же, по крайней мере, у него твердая земля под ногами, а это придает уверенности.

Море всегда вселяет жуткое чувство.

А ведь рыбачка-ама ныряет на самое дно, чтобы собирать там раковины. Тяжелое ремесло! Что будет с ней, если порвется веревка, обвязанная вокруг ее пояса? Пусть бы еще мужчины занимались этим трудом, но для женщин нужна особая смелость.

Муж сидит себе в лодке, беспечно поглядывая на плывущую по воде веревку из коры тутового дерева. Не видно, чтоб он хоть самую малость тревожился за свою жену.

Когда рыбачка хочет подняться на поверхность моря, она дергает за веревку и тогда мужчина торопится вытащить ее как можно скорей. Задыхаясь, женщина цепляется за край лодки... Даже посторонние зрители невольно роняют капли слез.

До чего же мне противен мужчина, который опускает женщину на дно моря, а сам плывет в лодке! Глаза бы мои на него не глядели!

ТО, ЧТО НОЧЬЮ КАЖЕТСЯ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ДНЕМ

Блестящий глянец темно-пурпурных шелков.

Хлопок, собранный на поле.

Волосы дамы, красивыми волнами падающие на высокий лоб.

Звуки семиструнной цитры.

Люди уродливой наружности, которые в темноте производят приятное впечатление.

Голос кукушки.

Шум водопада.

ВОЗЛЕ ДОМА РОСЛИ ВЫСОКИЕ СОСНЫ...

Возле дома росли высокие сосны. Решетки ситоми были подняты с южной и восточной стороны, в главные покои лилась прохлада.

Там был поставлен церемониальный занавес высотой в четыре сяку, а перед ним положена круглая соломенная подушка. На ней сидел монах лет сорока, красивый собой и щеголевато одетый, в черной рясе и оплечье из тонкого шелка. Обмахиваясь веером цвета желтовато-алой гвоздики, он непрерывно читал заклинания — дхарани.

Видимо, кого-то в доме жестоко мучил злой демон.

В комнату на коленях вползла служанка, высокая и сильная, в светлом платье из шелка-сырца и длинных штанах. В нее-то и должен был переселиться злой дух.

Она села позади небольшого занавеса, отгораживающего часть комнаты. Повернувшись к девушке, монах протянул ей небольшой блестящий жезл и начал нараспев возглашать заклинания.

Собралось множество придворных дам, чтобы следить за ходом исцеления. Они пристально глядели на девушку. Вскоре ее начала бить дрожь, и она потеряла сознание. Все почувствовали священный ужас при виде того, как молитвы обретают все большую и большую силу.

В покои были допущены родные и близкие девушки. Исполненные благоговения, они все же были встревожены. «Как смутилась бы девушка,— думали они,— будь она в памяти».

Сама она не страдает,— это они знали,— но все же терзались жалостью, слушая ее стенания, плач и вопли. Подруги служанки, полные сочувствия, сели возле нее и стали оправлять на ней одежду.

Тем временем больной женщине, из которой изгнали демона, стало заметно легче. Монах потребовал горячей воды. Юные прислужницы бегом принесли из глубины дома кувшинчик с горячей водой, тревожно поглядывая на больную. На них были легкие одежды и шлейфы нежных оттенков, сохранившие всю свою свежесть. Прелестные девушки!

Наконец монах заставил демона просить о пощаде и отпустил его.

— О, я ведь думала, что сижу позади занавеса... Как же я очутилась перед ним, на глазах у всех? Что случилось со мной? — в страхе и смущении восклицала молодая служанка.

Подавленная стыдом, она завесила лицо прядями длинных волос и хотела скрыться...

— Обожди! — остановил ее монах и, прочитав несколько заклинаний, спросил:

— Ну, как теперь? Хорошо ли ты себя чувствуешь? — И он улыбнулся ей.

Но девушка все еще не могла оправиться от смущения.

— Я бы остался здесь еще, но наступает время вечерней молитвы.

И с этими словами монах хотел удалиться. Люди в доме пытались его удержать.

— Побудьте еще немного,— просили они, но монах слишком спешил.

Придворная дама, как видно, занимавшая высокое положение в этом доме, появилась возле опущенной шторы.

— Мы вам очень благодарны за ваше посещение, святой отец,— сказала она.— Наша больная была на краю гибели, но силою ваших молитв она теперь получила исцеление. Это великая радость для нас. Может быть, завтра вы найдете время вновь посетить нас?

— Боюсь, что демон этот очень упрям,— кратко ответил монах.— Надо не ослаблять бдительности. Я очень рад, что мои молитвы помогли.

И он удалился с таким торжественным видом, что можно было подумать, сам Будда вновь снизошел на землю.

КАК ПЕЧАЛЬНЫ ДОЛГИЕ ДОЖДИ ПЯТОЙ ЛУНЫ...

Как печальны долгие дожди пятой луны в старом саду, где пруд весь зарос душистым тростником, водяным рисом и затянут зеленой ряской. Сад вокруг него тоже однотонно-зеленый.

Смотришь уныло на туманное небо, и на душе такая тоска!

Заглохший пруд всегда полон грустного очарования. И до чего же он хорош в зимнее утро, когда его подернет легкий ледок!

Да, заброшенный пруд лучше того, за которым бережно ухаживают. Лишь круг луны белеет в немногих светлых окнах посреди буйно разросшихся водяных трав.

Лунный свет повсюду прекрасен и печален.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Спустился вечерний сумрак, и я уже ничего не различаю. К тому же кисть моя вконец износилась.

Добавлю только несколько строк.

Эту книгу замет обо всем, что прошло перед моими глазами и волновало мое сердце, я написала в тишине и уединении моего дома, где, как я думала, никто ее никогда не увидит.

Кое-что в ней сказано уж слишком откровенно и может, к сожалению, причинить обиду людям. Опасаясь этого, я прятала мои записки, но, против моего желания и ведома, они попали в руки других людей и получили огласку.

Вот как я начала писать их.

Однажды его светлость Корэтика́, бывший тогда министром двора, принес императрице кипу тетрадей.

— Что мне делать с ними? — недоумевала государыня,— для государя уже целиком скопировали «Исторические записки».

— А мне бы они пригодились для моих сокровенных записок у изголовья,— сказала я.

— Хорошо, бери их себе,— милостиво согласилась императрица.

Так я получила в дар целую гору превосходной бумаги. Казалось, ей конца не будет, и я писала на ней, пока не извела последний листок, о том, о сем, словом, обо всем на свете, иногда даже о совершенных пустяках.

Но больше всего я повествую в моей книге о том любопытном и удивительном, чем богат наш мир, и о людях, которых считаю замечательными.

Говорю я здесь и о стихах, веду рассказ о деревьях и травах, птицах и насекомых, свободно, как хочу, и пусть люди осуждают меня: «Это обмануло наши ожидания. Уж слишком мелко...»

Ведь я пишу для собственного удовольствия все, что безотчетно приходит мне в голову. Разве могут мои небрежные наброски выдержать сравнение с настоящими книгами, написанными по всем правилам искусства?

И все же нашлись благосклонные читатели, которые говорили мне: «Это прекрасно!» Я была изумлена.

А собственно говоря, чему здесь удивляться?

Многие любят хвалить то, что другие находят плохим, и, наоборот, умаляют то, чем обычно восхищаются. Вот истинная подоплека лестных суждений!

Только и могу сказать: жаль, что книга моя увидела свет.

Тюдзё Левой гвардии Мунэфуса́, в бытность свою правителем провинции Исэ, навестил меня в моем доме.

Циновку, постланную на краю веранды, придвинули гостю, не заметив, что на ней лежала рукопись моей книги. Я спохватилась и поспешила забрать циновку, но было уже поздно, он унес рукопись с собой и вернул лишь спустя долгое время. С той поры книга и пошла по рукам.

МУРАСАКИ СИКИБУ

ПОВЕСТЬ О БЛИСТАТЕЛЬНОМ ПРИНЦЕ ГЭНДЗИ

I

ФРЕЙЛИНА КИРИЦУБО́

В одно из царствований при дворе служило много статс-дам и фрейлин. Среди них находилась одна, которая хотя и не была особо высокого звания, но пользовалась исключительным расположением государя. С самого начала благородные особы, бывшие высокого мнения о себе, третировали ее как выскочку и злобствовали. Тем более волновались фрейлины одного с нею ранга или ниже ее. Даже исполняя свои утренние и вечерние обязанности во дворце, она этим только раздражала людские сердца и навлекала на себя злобу. И оттого ли, что этой злобы накопилось много, только она стала слабеть, чувствовала себя беспомощной и почти безвыходно проживала у себя в родном доме.

Государь же только сильнее привязывался к ней, не обращая внимания на всеобщее порицание. Это была любовь, о которой можно было бы рассказывать в последующие века. Придворные — и высшие и низшие — без стеснения косились и говорили: «Уж очень ослеплен государь этой любовью! В Китае именно из-за таких дел мир приходил в беспорядок и возникали беды...» Понемногу все кругом обратилось против нее, она превратилась в помеху для всех. Стали даже вспоминать случай с Ян Гуй-фэй... Много было неприятностей у нее, но все же она жила среди всех, опираясь на беспримерную к себе любовь государя.

Отца ее, Дайнагона, уже не было на свете, но мать — женщина благородного происхождения — во время дворцовых церемоний устраивала все, как нужно, так что ее дочь ничем не уступала тем высоким особам, у которых были живы оба родителя и положение

в свете которых в это время было блистательным. Но все же, поскольку не было у нее особого могущественного покровителя, случись что — и у пей ни оказалось бы никакой опоры, она была бы беззащитна.

Был ли тесен их союз уже в предшествующей жизни, только родился у них прекрасный, каких не бывает на свете, мальчик. Государь, все время в тревоге ждавший: «Ах, когда же, когда?» — повелел сейчас же принести его к себе и взглянул: действительно, это был младенец редкой красоты. Первый принц был рожден статс-дамой — дочерью Удайдзина, у него была, таким образом, могущественная родня, и за ним все чрезвычайно ухаживали, как за бесспорным будущим наследником престола; и все же он никак не мог идти в сравнение с красотой этого ребенка. Поэтому государь хоть и дарил тому — первому — свою высокую любовь, но по-обыкновенному; этого же мальчика лелеял, как драгоценность,— беспредельно.

Мать мальчика с самого начала не была на положении простой придворной дамы. К ней относились вообще как к благородной, она считалась принадлежащей к высшему кругу. Однако государь уж слишком упорно держал ее при себе и во время празднеств, во всех случаях, когда что-либо устраивалось, призывал ее первую. Случалось, что он,— после ночи, проведенной ею в его опочивальне,— так и оставлял ее у себя на весь день, не отпуская ни на шаг. Естественно поэтому, что она стала в глазах людей представляться чем-то вроде простой служанки. После же того, как у нее родился ребенок, государь стал еще более по-особому относиться к ней, так что у статс-дамы — матери первого принца — появились даже опасения: «Если бы что случилось с наследным принцем, как бы на его месте не оказался этот ребенок!»

Эта статс-дама раньше других появилась во дворце, и любовь государя к ней не была обычной; у ней были и еще дети от него. Поэтому государь только ее упреки и принимал к сердцу и с ними считался. Та же фрейлина,— хоть и полагалась во всем на высочайшую защиту, но кругом было столько людей, преследующих ее, ищущих у ней одни недостатки, что она чувствовала себя бессильной, беспомощной и только терзалась.

Помещением ей служила часть дворца, названная Кирицубо. Обычный путь ее поэтому лежал мимо покоев многих высоких особ; она беспрестанно, таким образом, проходила пред их взорами, и понятно, что этим снова раздражала их сердца. Даже когда она шла к государю, то и тут — как это было чересчур часто — случались даже неподобающие вещи: на перекидных мостиках, в галереях — там и сям по пути ей устраивали всякие гадости, и подолам платьев сопровождающих и встречающих ее женщин доста-

валось очень сильно. Бывало, что перед ней захлопывали дверь того коридора, по которому она должна была непременно пройти, причем по уговору делали это и с другого конца; мучили и преследовали ее всячески. И оттого, что во всех случаях у ней только росли одни огорчения, она страдала все сильней и сильней. Тогда государь, все более жалея ее, пожаловал ей «ближний покой» в納родэне, повелев перенести в другое место помещение той фрейлины, которая с давних пор там жила. Как безудержна была поэтому злоба этой фрейлины!

Когда маленькому принцу исполнилось три года, обряд первой хакама государь повелел совершить со всей пышностью, вынеся из казнохранилища и сокровищницы всякие драгоценности, чтобы ни в чем не было хуже того, как было устроено для первого принца. И по этому случаю всяких пересудов было немало. Однако наружность маленького принца, нрав его были такими замечательными, казались такими необычайными, что никто не был в силах злобствовать на него. Люди же, понимающие толк в вещах, только широко раскрывали глаза от удивления и говорили: «И появляются же на свете такие существа!»

В этом же году, летом, фрейлина-мать почувствовала себя несколько плохо и собралась уехать из дворца домой. Государь, однако, никак не давал своего разрешения на это. Так как все эти годы она постоянно прихварывала, он привык уже к этому и только говорил ей: «Попробуй еще немножко побыть здесь!» Однако с каждым днем она чувствовала себя все хуже и в каких-нибудь пять-шесть дней так ослабела, что к государю с плачем обратилась уже сама ее мать, и только тогда он разрешил ей уехать.

Боясь, как бы не случилось и тут чего-нибудь неприятного, она оставила маленького принца во дворце и уехала одна потихоньку.

Всему приходит конец; увы, государь не мог ее более удерживать и с невыразимой скорбью помышлял о том, что даже не провожает ее... Всегда такая очаровательная и прекрасная, она теперь совсем исхудала; сильнейшая тоска щемила ее сердце, но выразить ее словами она была не в силах. Она прямо таяла; казалось: есть ли она еще или нет ее? Государь, видя ее такой, перестал сознавать и прошлое и будущее и только со слезами повторял ей всевозможные клятвы и уверения. Но она даже ответить ему не могла. Взор ее был совсем безжизненный, она слабела все более и более и лежала, как будто уже ничего не сознавая, так что государь совсем растерялся. «Ах, что делать, что делать?» — восклицал он.

Государь хоть и распорядился сам о носилках, но, войдя к ней, опять не находил в себе силы отпустить ее. «Ведь мы уговарива-

лись с тобой: никому не уходить ни раньше, ни позже другого в этот путь, так быстро ведущий к концу! Скажи, ведь ты не покинешь меня здесь одного, не уйдешь...» — говорил он, и она с тоскою смотрела на него:

«Есть конец пути,
Есть конец пути разлук,
И печален он.
Но хочу тот путь пройти!
Жизнь, как ты желанна мне!

Если б я знала, что так выйдет...» — проговорила она, и дыхание ее совсем прерывалось. Было похоже, что она так многое хотела сказать, но она так страдала, была такой слабой...

«Нет, нужно оставить ее здесь! Я должен видеть до конца,— что бы с ней ни случилось!» — подумал государь. Но были уже позваны надлежащие люди: сегодня должны были начаться моления о выздоровлении; они уже пришли и торопили: «Сегодня, с вечера...» И государь, как ни было это ему горько, принужден был отпустить ее.

Все сердце государя было охвачено горем, он не мог сомкнуть глаз, не мог дождаться утра. Время вернуться посланцу, посланному вслед, еще не пришло, и государь все время пребывал в тревоге. «Только прошла полночь — и не стало ее!» — сказали там посланцу. В доме ее поднялся плач и шум, и упавший духом посланец вернулся во дворец. Сердце государя, услышавшего эту весть, пришло в полное смятение, он ничего более не сознавал и скрылся к себе.

Что касается маленького принца, то государю — даже и в таком состоянии — очень хотелось все время, как и до сих пор, видеть его около себя, но так как не бывало еще примера, чтобы в таких случаях ребенок оставался во дворце, маленький принц должен был покинуть дворец. Он не понимал, что произошло что-то, и только дивился, видя, в каком смятении находятся, как плачут все прислуживающие ему, как беспрестанно льет слезы и сам государь.

Когда все благополучно — и тогда такое расставание не может не быть грустным; насколько же печально было оно теперь — и сказать нельзя!

Всему наступает конец, и вот уже справлены полагающиеся обряды. «Я унесусь ввысь вместе с нею, в том же дыме!» — рыдала и металась мать умершей и села в экипаж провожавшей тело служанки. Обряд сожжения совершили со всей торжественностью в месте, называемом Атаго. Каково же было душевное состояние той, которая прибыла сюда! «Когда я смотрю на ее бездыханное

тело, мне все кажется, что она еще жива. Но ведь думать так — бесполезно, и поэтому лучше, если я уж собственными глазами увижу, как она превратится в пепел... Тогда, по крайней мере, я буду знать, что ее нет на свете!» — так, как будто здраво, рассуждала она, но была в таком волнении, что по дороге чуть не падала с экипажа. «Мы так и думали!» — говорили люди и не знали, что и делать с ней.

Из дворца прибыл посланец. Он привез известие, что умершая фрейлина возводится в третий ранг. Явился особый посол и прочитал соответствующий высочайший указ. И всем было при этом так грустно. Государь горько сожалел, что не успел пожаловать ее хоть званием статс-дамы, и теперь возводил ее хоть в следующий ранг.

Даже и тут нашлось немало людей, которые вознегодовали. Но те, кто понимал толк в вещах, теперь вспоминали, как прекрасна была ее наружность, какой мягкий был у нее нрав, как приятна она была, как трудно было ее не любить. С ней были жестоки, на нее злобились только из-за неподобающего отношения к ней государя. Но ее милый облик, ее чувствительное сердце теперь с любовью вспоминали даже служанки. Вероятно, о таких случаях и говорится: «Только когда умрешь...»

Незаметно шли дни. Государь и во время всех последующих обрядов неукоснительно посылал в дом почившей осведомляться обо всем, и чем дальше шло время, тем безысходнее становилась его печаль. Он совершенно прекратил даже ночное служение при себе высоких особ и проводил все дни и ночи в слезах, так что наблюдавшие его — и те превращались в напоенную росой осень. «Вот любовь! Даже после смерти она продолжает не давать другим покоя». Статс-дамы Кокидэн все еще никак не могли простить ей любви государя. Даже при виде старшего принца государь только вспоминал о прелести маленького; слал к нему своих ближайших служанок, кормилицу и всячески разузнавал о нем.

Однажды вечером, когда поднялся «пронизывающий поля» и сразу стало прохладно, она вспомнилась государю еще сильнее, чем обыкновенно, и он послал к ней в дом камер-фрау из семьи лучников. Он отправил ее вечером, когда так красива была луна, а сам так и остался в неподвижной задумчивости. В такие часы он когда-то просил Кирицубо играть для него... Ему представился,— как будто она была совсем рядом с ним,— облик ее; как извлекала она своими пальчиками совсем особые звуки, как отличались от всех прочих слова ее, даже случайно произнесенные... Это было еще хуже, чем «явь во тьме».

Когда камер-фрау достигла дома умершей и въехала в ворота, зрелище, представившееся ее взору, было очень печально. Хотя

это и было жилищем вдовы, но так как она все время думала о своей дочери, то до последнего времени держала дом в полном порядке, и кругом все имело приветливый вид. Но теперь, когда она, погрузившись во мрак, пребывала в горе, трава выросла высоко, при «пронизывающем поля» все приняло еще более неприютный вид, и только свет луны беспрепятственно проникал внутрь, «не смущаясь разросшейся буйно травой».

У южного подъезда камер-фрау сошла с экипажа, и мать умершей сразу даже вымолвить слова не могла. «Мне так горько, что я еще живу на свете! Когда же ко мне — сквозь усеянные росою кусты — приходит вот такая посланная, становится совсем стыдно!» — проговорила она, плача, и видно было, что ей действительно очень тяжело. «Навещавшая вас до этого камер-фрейлина уже рассказывала государю: «Когда я прихожу туда, все сердце надрывается, вся душа болит...» И действительно, даже мне, ничего не понимающей, и мне трудно вынести все это...» — сказала посланная и, немного помедлив, стала передавать высочайшие слова.

«Первое время я блуждал во тьме, думал: не сон ли это? Но мало-помалу стал приходить в себя и вижу, что уже не проснуться от этого сна! Это так мучительно! Мне не с кем даже обменяться словами,— что предпринять? Не приедешь ли ты ко мне тайком? И маленький принц, бедняжка! Живет он посреди напоенных росой... Мне так жалко его! Приходи скорей!» Государь не мог даже договорить как следует и захлебнулся слезами. А тут еще он не мог не подумать, что другие сочтут его слабым... и вид у него был такой страдальческий, что я, не дослушав до конца его речи, прямо поехала к вам»,— рассказывала камер-фрау и передала ей высочайшее послание. «Мои глаза не видят более, но при свете таких высокомилостивых слов...» — сказала мать и взяла послание.

«Я ждал: пройдет время, и горе мое немножко рассеется. Но дни идут за днями, и вместе с ними скорбь моя только становится невыносимее. Меня беспокоит, что с маленьким принцем. Как жалко, что мы не заботимся о нем вместе с тобою! Приведи его, будем иметь его подле себя, как память о прошлом. Будем воображать, будто она все еще с нами»,— убедительно писал государь.

«На полях Миягино
Сцепляет росинки ветер.
Слушаю звуки его,
И волнует мысль:
Что с маленьким Хаги?»

Было написано и это, но читавшая не смогла прочитать до конца. «Мне так горько, что моя жизнь длится так долго. Мне

стыдно даже того, «что подумает обо мне сосна», когда узнает... Тем более же я должна стыдиться, будучи во дворце. Я не раз уже слышала подобные милостивые слова, но вряд ли могу и представить себе что-нибудь такое. Что думает маленький принц? Вероятно, только и помышляет о том, чтобы уехать во дворец, и я с грустью считаю, что он прав. Вот что я думаю, и так доложите государю! Я — в трауре, и маленькому принцу жить со мною не пристало»,— говорила мать.

«Маленький принц, конечно, уже почивает. Я хотела взглянуть на него и подробно донести потом государю, но государь, верно, ждет меня, да и уже поздно будет»,— сказала камер-фрау и заторопилась.

«Когда вы со мною, как будто одним краешком рассеивается мрак сердца моего, блуждающего во тьме. Мне так хочется побеседовать с вами еще. Зайдите ко мне самой, когда будете свободны. До сих пор вы заходили ко мне лишь в случае радости, торжества, а теперь я вижу вас вот с такими вестями. И опять, опять думаю: как несчастна моя жизнь! Дочь моя с детства отличалась и умом и сердцем, и покойный муж мой — Дайнагон — до самой своей кончины говорил мне: «Непременно исполни мое заветное желание: отдай ее на службу во дворец! Пусть я и умру, но ты не иди против моих намерений, мне будет это очень горько»,— так непрестанно наказывал он мне, и я хоть и считала, что жизнь во дворце без покровителя и защиты может привести лишь к беде, все же не решилась пойти против его предсмертной воли и отдала ее во дворец. Там она удостоилась исключительной, превышающей ее достоинства высочайшей милости и жила посреди всех, тая стыд своего незначительного звания. Но злоба людская все росла, неприятности все увеличивались, и в конце концов вот так и получилось: она умерла безвременной смертью. Так что теперь я думаю иначе: какой роковой была для нее эта государева милость! Впрочем, я говорю так потому, что мое безрассудное сердце блуждает во тьме...» Мать не кончила речи и захлебнулась в слезах. Тем временем спустилась ночь.

«Государь тоже говорит так: «Я относился к ней от всего сердца, а оказалось, что этим почему-то привлекал лишь взоры людей. Вероятно, суждено было всему быть таким недолговечным. Теперь я вижу, что это был несчастный союз. Я никак не думал, что как-нибудь задену чье-либо сердце, а вышло, что из-за нее я навлек на себя злобу многих, от которых этого и ожидать было нельзя. И в конце концов теперь покинут ею, и нечем мне успокоить свое сердце. Люди начинают относиться ко мне все хуже и хуже, я совсем превратился для них в какого-то глупца... Хотелось бы мне знать мое прежнее существование!» — непрестанно повто-

ряет он, и соленые капли только и льются с его рукава»,— так говорила камер-фрау и никак не могла кончить.

«Уже очень поздно, мне надо еще сегодня обо всем доложить государю»,— заторопилась она.

Луна склонялась к закату. Небо было чисто и прозрачно. Ветер веял прохладой. Голоса насекомых в «селениях трав» как будто исторгали слезы. Трудно было уйти из этого обиталища травы...

«Сколько бы ни пели
Голоса судзумуси,
Все равно:
Долгая ночь коротка им,
Коротка она и для слез»,—

сказала камер-фрау и никак не могла сесть в экипаж.

«Уж и так много
Голосов судзумуси
На лугу из асадзи.
Ты же еще росинки добавляешь,
О человек, с облаков!

Я готова даже жаловаться на вас!» — сказала вслед ей мать.

Не такой был момент, чтобы подносить какие-нибудь дорогие подарки, поэтому мать дала посланной — на память о дочери — только то, что было нужно: полный набор одежд да прибор для прически.

Молодые служанки, конечно, грустили о печальном происшествии, но им, привыкшим все время проводить во дворце, было здесь очень скучно, они все время вспоминали про государя и убеждали мать умершей Кирицубо поскорей отправиться во дворец. Но та рассуждала: идти вместе с маленьким принцем и ей, находящейся в трауре,— значит навлечь на себя всеобщее осуждение; не видеть же принца хоть короткий миг — значит не находить себе места от беспокойства. И она не могла так просто отвести маленького принца к государю.

Камер-фрау с жалостью увидела, что государь еще не пришел к себе в опочивальню. Он все еще любовался тем, как красив, весь в цвету, был садик перед ним, и, призвав к себе нескольких женщин,— только тех, что отличались тонкостью чувств,— тихонько беседовал с ними. Он говорил с ними только об одном: о картинах-иллюстрациях к «Песни о бесконечной тоске», которые повелел нарисовать государь Тэйдзин, о песнях на языке ямато и о китайских стихах, которые повелено было сложить поэтам Исэ и Цу-

раюки на темы тех картин... Он попросил прибывшую камер-фрау рассказать обо всем подробно, и та тихонько доложила ему о виденной ею печальной картине.

Государь прочитал ответ матери:

«Я не знаю, как и быть при таких высоких милостях. Но даже при столь милостивых словах сердце мое все равно в смятении.

То дерево, чья сепь
Защищала от знойного ветра,
Засохло, и оттого
Тревожит сердце теперь
Маленький Хаги».

Ответ был несколько неподобающий, но государь простил, считая, что это оттого, что сердце у ней расстроено. «Нет, ни за что не покажу людям, что я так сильно опечален!» — уговаривал он сам себя, но никак не мог удержаться. Он собрал в своей памяти все,— даже год и месяц, когда он в первый раз ее увидел,— передумал снова обо всем. «Тогда было жалко терять и одну минуту, а теперь вот так проходят и дни и месяцы!» — с удивлением размышлял он.

«Я все время хотел, чтобы не оказалась напрасной та радость, с которой мать, во исполнение предсмертной воли покойного Дайнагона, так хорошо осуществила его желание о службе во дворце. А оказалась эта радость напрасной!» — говорил государь, и ему было очень грустно. «Но вот подрастет маленький принц, и тогда, несомненно, найдется подходящий случай. Будем надеяться, что мать умершей проживет еще долго»,— сказал он.

Государь взглянул на подарки. «Ты навестила жилище той, которой уж нет. О, если бы это была *шпилька для волос,—* свидетельство...» — так думал он, но думы эти были бесплодны.

«О, если б здесь был
Кудесник тот,
Что ушел ее искать...
Хоть из слов его я знал бы,
Где живет ее душа».

В образе Ян Гуй-фэй, нарисованной на картине,— хоть и был он написан искусным художником, но так как все же есть предел для кисти,— было мало очарования. Она была действительно похожа *на лотос в пруду.., на иву во дворце...* ее наружность была прекрасна... Но император вспоминал, как была привлекательна и мила Кирицубо, и находил, что не было средств изобразить ее —

ни в красках цветов, ни в звуках птиц. Государь постоянно уславливался с нею: «Будем двумя птицами об одном крыле, будем двумя ветками из одного ствола...» — но не осуществилось это, и так бесконечно было горько.

Государь — и при звуках ветра, и при голосах насекомых — только грустил, а Кокидэн в течение долгого времени даже не появлялась в ближних покоях. При красивом свете луны у ней до самой ночи шло веселье. «Очень нехорошо поступает»,— думал государь. Дворцовые слуги и служанки, наблюдавшие его в последнее время, говорили: «Бедный!» Та же, будучи особой резкой и своенравной, не считалась с происшедшим и, не думая о нем, вела себя, как хотела. Луна зашла,

«И в заоблачных высях
Всё слезами заволоклось,
Заволоклась осенняя луна.
О, как же она будет ясной
Там, в жилище асадзи?» —

волновался государь и не ложился, пока *не догорели уже все светильники.*

Послышались ночные сторожевые клики, было, значит, уже два часа ночи. Думая о том, что скажут люди, государь вошел в опочивальню, но заснуть ему не удалось. Встав поутру, он вспомнил слова: «Не зная, что уже рассвело...» И как будто был склонен по-прежнему *пренебречь делами правления.* Он не стал вкушать и пищи. До утреннего завтрака он дотронулся только для вида, не обратил никакого внимания на яства на большом столе, так что прислуживавшие при завтраке только вздыхали, наблюдая его страдальческий вид. Все, кто только ни был вблизи него,— мужчины, женщины, говорили между собой: «Какое ужасное событие!» — и вздыхали: «Верно, судьбою было так предрешено. Государь не обращал внимания на упреки и порицания стольких людей и утратил всякий рассудок... А теперь еще идет как будто и к тому, чтобы совершенно забросить мирские дела. Это весьма нехорошо!» — шептались они и опять приводили пример с другим императором в другой стране...

II

В ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ

...Лил долгий, беспрерывный дождь. Во дворце по какому-то случаю блюли пост, и Гэндзи целыми днями пребывал в личных покоях. Его тесть — канцлер все это время был недоволен им, досадовал на него за его легкомыслие, но все же продолжал посы-

лать ему различные наряды и всякие редкостные вещи. Сыновья же канцлера постоянно бывали у Гэндзи, навещая его в его дворцовых покоях.

Один из них — царской крови по матери, бывший тогда в звании Тюдзё, был особенно дружен с Гэндзи. Они вместе веселились, вместе развлекались, и Гэндзи чувствовал себя с ним ближе и приятнее, чем со всеми другими.

У этого Тюдзё также не лежало сердце к своему жилищу у тестя, где о нем так заботились и за ним так ухаживали: подобно Гэндзи, он был большим ветреником. В доме отца у него также было прекрасно устроенное помещение, и когда Гэндзи случалось бывать у своего тестя, Тюдзё не отходил от него: он проводил с Гэндзи целые дни и ночи,— то за наукой, то за удовольствиями, не отставал, в общем, от него и ни в чем ему особенно не уступал. Они были неразлучны, и естественно, что уже более не стеснялись друг друга и не скрывали друг от друга ничего, что у них было на сердце: так дружны они были.

И вот в этот сырой вечер, когда все время тоскливо лил дождь, во дворце было мало народу. И у Гэндзи в покоях было тише, чем обыкновенно. Они сидели вдвоем с Тюдзё у светильника и читали.

Тюдзё обратил внимание на лежавшие на этажерке рядом с Гэндзи различные письма. Взяв их в руки, он чрезвычайно ими заинтересовался и во что бы то ни стало захотел узнать их содержание.

«Будь здесь что-нибудь достойное внимания, я тебе, пожалуй, показал бы. Но, право, все эти письма ничего не стоят». И Гэндзи не давал ему читать.

«Именно вот такие, написанные без всяких стараний... такие, которые ты не хотел бы показывать другим,— вот они-то меня и интересуют. А обычные письма — они знакомы и мне, хоть я, конечно, в счет и не могу идти... Обычные письма присылают те, кому это полагается, даже и мне, хоть я и не могу равняться с тобой... Интересно взглянуть на письма интимные, где какая-нибудь женщина ревнует своего возлюбленного иль где она в сумерках нетерпеливо ждет его...» — так упрекнул своего друга Тюдзё, и Гэндзи перестал мешать ему: ведь те письма, которые были ему особенно дороги, которые надлежало бы таить от всех, он не положил бы здесь, на этажерке, на виду у всех; такие у него были запрятаны далеко, а эти — здесь... они, конечно, были второстепенные.

Проглядывая все эти письма, Тюдзё заметил: «Ну и разные же бывают женщины на свете!» — и стал допрашивать Гэндзи: «Это письмо от такой-то? А это — от такой-то?» — и то разгадывал верно, то высказывал совершенно несообразные предположения...

«Вот потеха!» — подумал Гэндзи. Никакого прямого ответа он Тюдзё не давал, только морочил его, пока, наконец, не отобрал у него все письма и не спрятал их.

«У тебя самого их, наверно, много — проговорил он.— На твои письма хотелось бы мне взглянуть... Покажешь,— и дверцы этого шкафчика раскроются для тебя настежь!»

«Ну, вряд ли у меня найдется что-нибудь, на что стоило бы тебе взглянуть!» — возразил Тюдзё, и у них начался такой разговор.

«Да! Мало женщин, о которых можно было бы сказать: «Вот это так женщина!» Мало таких, которые были бы безупречны во всем... Из своего знакомства с ними я все более и более убеждаюсь в этой истине. Есть, конечно,— и даже довольно много — женщин, кое-что смыслящих в нежных чувствах; женщин, что умеют искусно писать, умеют вовремя ответить подходящим стихотворением...

В известной среде их можно найти довольно много. Но если задумаешь выделить какую-нибудь одну, очень редко случается, чтобы какая-нибудь из них смогла бы удовлетворить всем требованиям.

По большей части женщины чрезвычайно гордятся тем, что каждая из них умеет, и ни во что не ставят всех остальных... Это действует так неприятно! Слышишь, например, о какой-нибудь девушке, что всю свою юность проводит в родительском доме, никуда не выходя; около которой безотлучно родители: лелеют ее, берегут... Слышишь, что у ней такие-то и такие достоинства,— и сердце начинает волноваться. Красива будто собою, не очень робка и застенчива, молода, не затронута еще светом; отдается целиком, по примеру других, одному какому-либо искусству — музыке или поэзии, достигает в этом успеха... Видевшие ее — умалчивают о ее недостатках и расписывают лишь одни ее совершенства. Ну, как станешь относиться к такой — так, без всякого основания,— с пренебрежением иль недоверием: «Неужто, мол, так и на самом деле? Не может этого, мол, быть!» Знакомишься, чтоб убедиться, так ли это,— и редко случается, чтоб по мере знакомства с нею такая женщина не стала терять в глазах все больше и больше»,— вздыхал Тюдзё с удрученным видом.

Гэндзи слушал все это и, хоть и не во всем,— но все же кое в чем был согласен. Улыбнувшись, он заметил:

«А разве существуют женщины, совершенно лишенные каких-бы то ни было достоинств?»

«А кто же с такими имел бы дело?» — воскликнул Тюдзё. «Таких женщин, которые бы положительно ни к чему не были пригодны, которые вызывали бы одно лишь чувство досады, таких

женщин так же мало, как и совершенных,— таких, которых можно было бы считать замечательными во всех отношениях. Эти последние — только на вид совершенны. Вполне естественно: рождены они в благородных домах, получили надлежащее воспитание,— и если и есть у них недостатки, они все прикрыты. Вот в средних слоях общества — там у каждой женщины виден ее нрав, все ее сердце... Там много всяких различий. Что же касается тех, кто принадлежит к низшим слоям,— ну, на тех и внимания обращать не стоит!» — говорил Тюдзё с видом человека, от которого ничего не утаилось. Гэндзи, заинтересовавшись, спросил:

«Что это за слои, о которых ты говоришь? Кого ты относишь к этим трем слоям? Ведь случается, что люди — благородные по происхождению — по какой-нибудь причине теряют свое значение, их положение становится низким, и они более ничего уже собою не представляют. Или же так: человек простой, но возвышается до звания аристократа; начинает с самодовольным видом разукрашивать свой дом, старается никому не уступить ни в чем... Куда следует отнести вот таких?»

В этот момент появилось двое новых приятелей Гэндзи — Самма-но ками и То-но сикибу-но-дзё, зашедших к нему вместе прокоротать время поста. Оба они были большими ветрениками и понимали толк в вещах.

Тюдзё радостно приветствовал их, и стали они рассуждать и спорить по поводу различий в женских характерах в зависимости от разных слоев общества. И наговорили они столько такого, что и слушать бы не хотелось!

Первым заговорил Самма-но ками.

«Как бы человек ни попадал в аристократы, но если происхождение у него не такое, какое требуется,— и отношение света к нему, несмотря ни на что, совершенно особое. С другой стороны,— какого бы благородного происхождения человек ни был, но если он почему-нибудь — благодаря ли отсутствию поддержки в других иль просто в силу изменившихся обстоятельств — теряет свое положение, то природа природой, но среди всех житейских недостатков и в нем появляются скверные черты. И тех и других, по-моему, следует отнести одинаково к среднему слою общества.

Иль возьмем, например, провинциальных сановников... Служа в провинции, они образуют как бы свой особый класс, однако и в их среде наблюдаются свои различия. В наше время стало возможным и из их среды выделять некоторых — вполне достойных во всех отношениях.

Точно так же: по сравнению со скороспелой знатью — куда лучше некоторые из тех, кто хоть и не дошел еще до звания советника, хоть и находится еще всего лишь в третьем или четвер-

том ранге, но тем не менее пользуется общим расположением света, сам — не такого уж низменного происхождения, живет себе в свое удовольствие. Так как в доме у таких недостатка ни в чем нет, то и воспитывают они своих дочерей обыкновенно, не щадя средств,— блестяще. И женщин, пренебрегать коими никак не приходится, в их среде появляется очень много. Случается даже — и нередко,— что эти женщины, появляясь при дворе, снискивают совершенно неожиданное для них высочайшее благоволение».

«Выходит, значит, что женщин следует различать в зависимости от степени их богатства?» — заметил, смеясь, Гэндзи.

«На тебя не похоже! Говоришь что-то несуразное...» — напал на него Тюдзё.

Самма-но ками меж тем продолжал:

«Когда в тех семьях, где все хорошо, и род и репутация, появляется вдруг женщина с каким-нибудь недостатком, все вокруг начинают говорить: «Как это из такой семьи и могла выйти такая особа?» — и отвертываются от нее. А если такая женщина прекрасна во всех отношениях — считают это само собою разумеющимся, никто не подивится, никто не скажет: «Вот это изумительно!»

Не буду говорить о высших из высших... до которых нам не достать. Скажу только, что мне бесконечно нравятся те случаи, когда где-нибудь в заброшенном, заросшем травою, ветхом домике вдруг оказывается сокрытым в полной неизвестности для всех, какое-нибудь прелестное существо. «Как это так она могла остаться до сих пор не замеченной никем?» — подумаешь при этом: так не ожидаешь этого всего... И сердце на диво привязывается к ней. Взглянешь на ее отца: старый, противный, толстый... старший брат — с омерзительной физиономией... И вдруг,— именно у них в доме, где никак не ждешь ничего особенного,— где-нибудь там, на женской половине, оказывается дочь — с самыми лучшими качествами, не совсем неумелая даже и в изящном искусстве! Пусть это будет даже какой-нибудь пустяк, но может ли это не нравиться именно своей неожиданностью? Разумеется: включать их в число совершенно безупречных во всех отношениях — нельзя, но и пройти равнодушно мимо них — тоже трудно»,— закончил Самма-но ками и бросил взгляд на Сикибу-но дзё.

«Моя сестра пользуется как раз такой репутацией... Не о ней ли он говорит?» — подумал последний, но не промолвил ни слова.

«Что такое он там говорит! Хороших женщин трудно найти даже в самом высшем кругу...» — подумал Гэндзи.

В мягко облегающем тело белом нижнем кимоно, с накинутой свободно поверх него одной лишь простой верхней одеждой, с распущенными завязками — фигура Гэндзи, дремавшего, присло-

нившись к чему-то, при свете светильника была очаровательна... так, как хотелось бы даже для женщины! Да! Для такого, как он,— даже если выбрать высшую из высших, и то, казалось, было бы недостаточно!

Остальные трое продолжали говорить о различных женщинах. Самма-но ками снова повел речь:

«Посмотришь на женщин в свете: как будто бы все они хороши: но захочешь сделать какую-нибудь из них своею, связать со своею жизнью,— оказывается, так трудно выбрать даже из очень многих. Так бывает и с мужчинами: так трудно найти такого человека, который мог бы, служа в правительстве, быть надежной опорой государства, который оказался бы вполне, по-настоящему, пригодным для этой цели. Впрочем, в деле управления государством положение таково, что, как бы человек ни был мудр и способен, он один иль с кем-нибудь вдвоем править не может: высшим помогают низшие, низшие подчиняются высшим... Каждый уступает другому его область. В тесных же пределах семьи хозяйка дома должна одна думать обо всем. И вот тут-то и обнаруживаются недостатки и скверные черты характера. Думаешь примириться с этим обстоятельством: «Ну,— не это, так то. Не в одном, так в другом»,— но даже и при такой снисходительности достойных оказывается мало. Стремишься вовсе не к тому, чтобы из пустой прихоти сердца переходить от одной к другой. Нет! Хочешь найти себе одну-единственную, но такую, которой можно было бы довериться вполне. Ищешь такую, которая бы не требовала от тебя больших забот; у которой не было бы таких черт, кои нужно было бы постоянно исправлять; которая была бы тебе вполне по сердцу... ищешь и не находишь! Бывает так: ладно! Не гонишься за тем, чтобы все обязательно согласовалось с твоими желаниями... Останавливаешься на какой-нибудь женщине потому, что тяжело ее бросить, трудно порвать раз начавшуюся связь. Становишься верным и преданным мужем... И женщина, с которой живешь в таком союзе, начинает как будто представляться такою, какой быть она должна для сердца. Но... осмотришься вокруг себя... понаблюдаешь мир... сравнишь — и окажется вовсе не так! Оказывается — ничего замечательного в ней никогда и не было вовсе... Да, друзья! Вот взять хотя бы вас... Для вас нужна самая лучшая, самая высшая,— и где же найдется такая, которая была бы вам под пару?

Иль вот: встречаешь женщину прекрасную собой, молодую, цветущую... заботящуюся о себе так, чтоб и пылинка к ней не пристала. И вот: напишет письмо,— так нарочно подберет лишь самые общие выражения... тушью едва коснется бумаги. Приходишь от этого в сильнейшее раздражение, размышляешь: «Как бы это узнать обо всем, что она думает, яснее!» Но она лишь заставляет

томиться напрасным ожиданием, а когда наконец заговорит с тобой — едва слышным голосом,— то и тот старается скрыть за своим дыханием! И на слова — скупа беспредельно. Таким способом женщины прекрасно умеют скрывать все свое...

А то смотришь: на вид такая нежная, робкая девушка и вдруг, поддавшись слишком чувству, совершает легкомысленный поступок... И то и другое, по-моему, является большим недостатком для женщин!

Самое главное для женщины — помогать мужу, быть ему поддержкой в жизни... Для этого она может и не быть особенно изощренной в истинно-прекрасном; может и не уметь по всякому поводу высказывать свою художественную чуткость, может и не преуспевать особенно в области изящного... Все это — так. Но... с другой стороны: представьте себе жену, занятую одними только прозаическими делами, некрасивую — вечно с заложенными за уши волосами: только и знающую что одни хозяйственные заботы... Уходит муж утром, возвращается вечером. Ему хочется поговорить с той, кто ему близок, кто может его выслушать и понять. Ему хочется рассказать о том, что делалось сегодня у него на службе и вообще на свете, что хорошего иль дурного у него произошло на глазах иль довелось ему услышать. Хочется поведать все такое, о чем не говорят с чужими. И что же? Смеялся ли он иль плакал... был ли гневен на кого-нибудь иль легло что-нибудь у него на сердце — он только подумает: «Ну, что ей об этом говорить? К чему?» — и, отвернувшись от жены, станет вспоминать один: то рассмеется, то вздохнет. А она — в недоумении: «Что с ним такое?» — и только обращает к нему свои взоры... Как это ужасно!

Иль так, например: имеешь жену, похожую на ребенка... нежную, послушную. Всячески исправляешь ее недостатки. Вполне положиться на нее не можешь, но думаешь: она изменится к лучшему. И вот: когда бываешь с ней, она представляется милой, и прощаешь ей все ее несовершенства; но стоит лишь куда-нибудь уехать и оставить ей какие-нибудь поручения... иль в твое отсутствие случится что-нибудь,— она одна справиться, оказывается, не в состоянии: ни с серьезным делом, ни даже с пустяками. Она сама никак не может додуматься до нужного... И так это бывает досадно! Так прискорбно! Этот недостаток в женщине — очень нехорош. А другая: в обычное время с мужем немножко врозь, не совсем ему по сердцу, но случится что-нибудь вдруг — тут и блеснет своею сообразительностью!» — так рассуждал Самма-но ками, от которого ничто не укрывалось, и горько вздохнул, не будучи в состоянии остановиться хоть на какой-нибудь женщине...

«Но хорошо! Оставим в стороне происхождение, не будем говорить и о наружности» — продолжал он.— Что особенно бывает неприятно у женщин, это — неровный характер! Когда этого нет — считаешь, что можно положиться на нее на всю жизнь как на надежную опору себе, быть совершенно спокойным. Когда у таких женщин к этому всему оказываются еще и какие-нибудь таланты и изящные наклонности — только радуешься всему этому и уже не стараешься отыскивать в ней какие-нибудь недостатки. Обладала бы она лишь легким и ровным характером, а вся эта поэтическая тонкость сама собою приложится.

А вот еще женщины: прекрасны собою, скромны... Даже в том случае, если есть за что ревновать, быть недовольной мужем,— они терпят, не показывают и вида; по внешности они как ни в чем не бывало. Но — на самом деле они все затаивают у себя в сердце, и когда терпение их, наконец, переполняется, пишут самые жестокие слова, горькие стихотворения... оставляют мужу что-нибудь — специально для упрекающего воспоминания о себе — и скрываются в отдаленные горы, на берега морей, где-нибудь там, на краю света. Когда я был еще маленьким, женщины у нас в доме постоянно читали повести в этом роде, и я, слушая их, всегда думал: «Ах, бедняжка! Какой геройский поступок!» — и даже проливал слезы. А теперь думаю, что наоборот: такой поступок чрезвычайно легкомысленен и ни к чему не ведет. Жить все время с мужем, который может быть, тебя глубоко любит, и, стоит появиться перед глазами чему-нибудь не по нутру, сейчас же, не испытав как следует его сердце, убегать из дому и скрываться; ставить этим в затруднительное положение и его; проводить так, вдали от мужа, долгие дни, предполагая, будто таким способом легче узнаешь его подлинное чувство,— как все это лишено хоть какого-нибудь смысла! А если такую особу еще кто-нибудь похвалит, скажет: «Вот, мол, решительная женщина!» — ее ретивость в этом направлении возрастает, и она кончает тем, что уходит в монастырь... Когда она решается на такой шаг, в тот момент намерения у ней, может быть, самые лучшие и чистые; у ней в голове, может быть, и мысли нет, что ей придется опять оглянуться на этот мир, но... являются навещать ее знакомые: «Ах, как грустно! И как это вы решились?» — говорят они... «Как это все печально!» — говорит и муж, все еще не забывающий ее, и, узнав, что она сделала, проливает горькие слезы. А прислужницы ее, ее прежние наперсницы, ей при этом напевают: «Вот видите, госпожа! Господин любит вас, горюет без вас,— а вы так необдуманно с собой поступили!» Слыша все это и ощупывая рукою свою обритую голову, она падает духом, теряет решимость и готова уж рыдать... Хочет сдержаться, а слезы капают сами... Временами становится совершенно невмо-

готу, ее охватывает сожаление в содеянном... И сам Будда должен, пожалуй, тут подумать: «Какое грешное сердце у ней!»

По моему мнению, вот такие женщины, что так колеблются из стороны в сторону,— блуждают по тропе, гораздо более опасной, чем даже те, что прямо погрязают в сквернах этого мира. То им приходит в голову мысль: «Если бы союз наш окончательно не порвался, если бы я хоть не постриглась бы в монахини, муж мог бы еще прийти ко мне и взять меня к себе снова...» То, вспомнив о случившемся, снова переживают прежнее чувство обиды и горечи... То — раскаяние, то — опять ревность! Нет! Плохо ли, хорошо ли — но все же куда лучше, сколь больше говорит о серьезности чувства — всегда оставаться друг подле друга! А если что и произойдет — посмотреть в таких случаях на поступок другого сквозь пальцы.

Опять-таки неразумно поступать и наоборот: чуть только муж увлечется на стороне, сейчас же ревновать его, высказывать ему свою ревность прямо, сердиться на него. Пусть он и увлекся на самом деле,— тут следует вспомнить о том, как сильна была его любовь при первом знакомстве с собою; следует больше ему доверять. А то такие сцены ревности могут лишь повести к тому, что порвется весь их союз.

Вообще говоря,— что бы ни случилось, женщина должна оставаться невозмутимой и недовольство свое высказывать лишь намеками, только давая понять ему, что ей все известно. Нужно ревность свою проявлять без злобы, осторожно... От этого прелесть женщины только выигрывает. К тому же сердце нас, мужчин, по большей части всецело в руках той, с кем мы живем. С другой стороны, конечно, быть решительно ко всему равнодушной, смотреть на все уж слишком сквозь пальцы — тоже нельзя: муж скажет, что она очень мила,— но ценить и уважать ее, конечно, не будет. И выйдет, что будет он носиться от одной к другой, подобно «непривязанной ладье по волнам»,— а это вряд ли приятно! Не так ли друзья?» — закончил свою мысль Сама-но ками, и Тюдзё кивнул утвердительно головой.

«Я раньше думал: если у тебя появятся подозрения, что женщина, которую ты любишь, которая тебе мила и дорога, неверна тебе, конечно,— это будет важным событием, но следует не обращать на это внимания, и тогда добьешься того, что женщина сама исправится. Но теперь я думаю иначе... Хотя, разумеется, для женщины нет ничего более похвального, чем отнестись к ошибке мужчины спокойно»,— заметил Тюдзё и подумал про себя: «Сестра моя как раз подходит под это требование».

Он имел в виду ее и — Гэндзи, но тот дремал и ни одним словом не вмешивался в разговор. «Вот противный!» — подумал Тюд-

зё. Самма-но ками же, сей профессор по части женских нравов, снова стал ораторствовать. Тюдзё — весь внимание — слушал его суждения, изредка вставляя свои замечания.

«Сравните сердце женщины с чем-нибудь другим! — продолжал Самма-но ками.— Например: резчик по дереву выделывает различные вещицы,— выделывает, как это ему нравится. Но ведь все это — пустячки. Прихоть момента. Никакой определенной формы, никакого художественного закона в такой вещи нет. Про такие вещи можно сказать только одно: «Что ж? Можно и так ее сделать!..» Конечно, среди них встречаются вещи и действительно красивые; они приспосабливают свою форму ко вкусам своего времени, оказываются поэтому модными и привлекают к себе человеческие взоры. Однако изготовить предмет украшения, красивый по-настоящему, по-серьезному; изготовить по определенной форме, безукоризненно в художественном смысле,— вот тут-то и проявится ясно искусная рука истинного мастера.

Или еще: у нас в Академии живописи — немало искусных художников. Все они не похожи друг на друга. Кто из них лучше, кто хуже — сразу и не подметишь. Однако один из них рисует гору Хорай, которую люди никогда не смогут увидеть; иль в этом же роде: огромную рыбу, плавающую по бурному морю, свирепого зверя, что живет будто в Китае; демона, который человеческому взору не виден. Те, кто рисует это все, следуют во всем своему собственному вкусу — и поражают этими картинами взоры людей. В действительности, может быть, оно и совсем не похоже, но... «Что ж? Можно и так нарисовать!..»

Другое дело писать самые обычные горные виды, потоки вод, человеческие жилища,— все так хорошо знакомое человеческому глазу. Писать так, чтоб казалось: «Так оно и есть на самом деле». Рисовать пейзажи со стремнинами, но без круч, а вписывая осторожно мягкие и нежные контуры... Нагромождать друг на друга древесные чащи, горы, удаленные от населенных мест иль изображать внутренность сада, нам всем знакомого... Вот на это все есть свой закон, которого необходимо придерживаться, и искусство здесь будет сразу же видно. В этой работе много есть такого, до чего неискусный мастер никогда и не доберется.

Или возьмем каллиграфию: там точно так же случается, что люди, не очень сведущие в ней, начинают проводить вместо точек линии, делают росчерки и очень этим довольны. На вид оно получается как будто бы и ничего себе. Но суметь написать тщательно, по всем настоящим правилам,— тут внешней красивости как будто и не получается, но стоит только раз сравнить такое писание с первым — сразу же перейдешь на сторону истинного каллиграфического искусства.

Так обстоит дело в незначительных вещах. Тем более же так это все и в приложении к человеческому сердцу. Нельзя доверять такому сердцу, которое на момент как будто и становится привлекательным. Нельзя доверять такому чувству, которое представляется только глазу...

Может быть, оно и покажется вам, что я просто любитель приключений, но все же я расскажу вам про один случай со мною самим»,— закончил свое рассуждение Самма-но ками, и все придвинулись ближе друг к другу. Гэндзи тоже проснулся. Тюдзё усиленно внимал Самма-но ками, поместившись против него и подперев щеку рукою. Все имели такой вид, будто слушают проповедь учителя закона: «Все в мире непостоянно...» Забавно! Они тут не скрыли друг от друга даже самых интимных вещей.

Самма-но ками начал так:

«В те времена, когда я был еще молод и в низких чинах, у меня была одна женщина, которую я любил. Она была в том роде, как я вам сейчас говорил,— не из очень утонченных и красивых. Как то и полагается юноше, мне и в голову не приходила мысль делать ее своею женой. Но даже и так, в качестве простой любовницы, она меня не удовлетворяла, и поэтому я с легким сердцем постоянно изменял ей. И вот она начала ревновать. Мне это не понравилось. «Чего тут ревновать? Лучше бы посмотреть на это снисходительно!» — думал я и очень был недоволен. Но, с другой стороны, мне было ее и жаль: подумаешь ведь, как она любит меня. И за что? Так бы все мое легкомыслие постепенно само собою и прекратилось...

Какова она была нравом? Нужно сказать, что она старалась изо всех сил делать все для меня — даже то, до чего я сам еще не додумался; беспокоясь о том, чтобы не показалось плохо со стороны, она прилагала свои усилия даже в тех областях, в которых была неискусна; всячески заботилась обо мне, стремилась во всем угодить мне...

«Немножко уж чересчур» — подумывал я, но она так льнула ко мне, так исполняла все мои желания. Всячески старалась приукрасить свою некрасивую наружность: «Как бы он, увидев меня, не отвернулся...» Всегда опасалась, что при встрече с другими мне будет стыдно за нее. Тщательно следила за своею внешностью. Постепенно я привыкал к ней и стал находить, что ничего дурного в ней нет, и только одно меня тяготило — ее ревность.

И вот мне пришла в голову мысль: «Если она меня так сильно любит, дай-ка я ее немножко поучу и тем излечу ее от этого недостатка. Надо мне будет сделать вид, что мне не по нутру ее ревность и что я собираюсь с ней порвать. Поскольку она так сильно ко мне привязана, она обязательно испугается и изменится»,—

рассуждал я. С этой целью я нарочно стал выказывать ей пренебрежение, и она, как полагается, вскипела гневом и стала меня попрекать. Тут я и начал. «Если ты будешь так злобствовать,— как бы ни был прочен и глубок наш союз, я порву с тобой и перестану с тобою встречаться. Если ты стремишься к тому, чтобы сегодня же мы с тобою разошлись, можешь ревновать и попрекать меня сколько угодно, но если ты рассчитываешь и хочешь жить со мной и дальше, тебе следует сносить все и не принимать к сердцу, какое бы неудовольствие я тебе ни причинял. Уймешь свою ревность — и я буду любить тебя. Подожди, дай мне стать постарше, продвинуться вперед в чинах, и ты будешь для меня тогда — единственной женщиной на свете».

Женщина слегка засмеялась: «Мириться с твоим низким теперешним званием, вообще — с твоим непривлекательным положением... мириться и ждать, когда ты выйдешь в люди, я готова с удовольствием и в тягость не сочту никогда. Но ждать долгие годы, чтоб ты исправился, перестал изменять мне — не в силах. Этого перенести я не могу, и поэтому лучше уж нам расстаться теперь»,— злобно сказала она. Тут я вспылил и, слово за слово, наговорил ей столько всего, что она, вне себя от раздражения, схватила мою руку и укусила меня за палец. Я нарочно громко закричал, как будто от боли... «И так я — человек низкого звания, а тут еще такая ужасная рана... Калека... Теперь уж и в свет показаться нельзя! О карьере — нечего и думать! О! Все надежды рухнули. Ничего не остается теперь, как только бежать от этого мира! — кричал я и, бросив ей: — Теперь уж прощай навсегда!» — зажал раненый палец и устремился вон из ее дома.

Уходя, я ей сказал:

«Если подсчитать
Все «суставы пальцев» мне —
Наши встречи здесь,—
Лишь один «сустав» болит...
Боль — от ревности одной...

Ни в чем другом упрекать тебя я не могу».

А она мне в ответ:

«Если подсчитать
В сердце мне всю боль свою,
Боль твоих измен,—
Нет! Не палец твой больной
Нас к разлуке здесь привел».

Само собою, я вовсе не собирался порывать с ней на самом деле, но все же после этого в течение некоторого времени и не

писал ей ничего, и, как всегда, переходил от одной женщины к другой.

Наступил канун праздника в честь бога Камо. Во дворце происходила полагающаяся церемония, и я присутствовал на ней. День был очень холодный, и с наступлением вечера пошел легкий снежок. Все стали разъезжаться — кто куда. «Куда бы мне отправиться на ночь? — подумал я.— Остаться на ночлег во дворце одному — все равно что заночевать в пути: неуютно. Отправиться к какой-нибудь важной даме и быть в необходимости держать себя чинно и церемонно — в такой холодный вечер неприятно. Хорошо бы так, попросту, погреться где-нибудь. Видно, негде, как только у ней,— решил я.— Что-то теперь она думает»,— подумал я, и мне захотелось ее повидать. Направился к ней. Шел снег. Я спешил, стряхивая снег со своих одежд. «Немножко неловко опять являться к ней, после того, как я так решительно порвал с ней... Да ничего. Сегодня вечером — опять все уладится»,— раздумывал я. Добрался до дому, смотрю: у самой стены — придвинут мерцающий светильник... Мягкие теплые одежды развешаны на подставках и греются у огонька... У входа поднята занавеска... Все так, как будто бы она ждет: «Вот сегодня вечером...» «Ага»,— подумал я самодовольно, но — ее самой дома не оказалось. Были только одни служанки. «Госпожа сегодня вечером отправилась в свой родительский дом»,— ответили они мне...

«Не послав любовного стихотворения... не написав чувствительного письма, так взять и скрыться — это бессердечно». Я был очень озабочен.

«Уж не завелся ли у ней другой любовник? — подумал я.— Может быть, она в припадке ревности и злобы решила: «Пусть он поскорее забудет о своей любви ко мне,— расстанусь с ним и сойдусь с другим!» Ничего похожего на что-нибудь такое не было, но в своем раздражении я стал подозревать за ней все дурное. Однако, так иль иначе, в этот вечер здесь, у ней,— и кимоно мне было изготовлено заново, и вся окраска и вышивка на нем была сделана с большим тщанием. Видно было, что она следила за этим даже после нашей окончательной разлуки... что она заботилась обо мне и теперь. При виде всего этого я решил: «Нет! Она не собирается уходить от меня навсегда»,— и после этого я стал посылать ей письма: «Не хочешь ли, чтоб все было по-старому?» Однако она — не то чтобы отказалась наотрез, но просто куда-то скрылась. Она ничего не делала такого, чтобы мне досадить; не писала мне ответов, чтобы меня устыдить. Она только сообщила: «Если ты все так же бессердечен, я не желаю прощать тебе и опять соединяться с тобою. Я вернусь к тебе лишь в том случае, если ты перестанешь изменять мне». Я тут успокоился и был уверен, что женщина ни

в коем случае меня не бросит. Поэтому решил: «Надо ее поучить хорошенько». Не обещал ей: «Исправлюсь, мол, как ты того хочешь»,— но стал вести себя по-прежнему, свободно. И вот она, скорбя о том, что я не изменяюсь и что она поэтому не может вернуться вновь ко мне,— заболела, бедняжка, и умерла. «Плохая шутка оказалась»,— все время думал я после этого. «Вот как раз такую бы хорошо иметь своей женой»,— вспоминаю я ее теперь постоянно. С ней можно говорить о чем угодно: и о пустяках, и о важном деле. Она была прямо сама богиня Тацута. Ничуть не хуже небесной феи Танабата — так хорошо умела она окрашивать ткани и шить»,— с печалью и любовью вспоминал умершую Сама-но ками.

Тюдзё заметил:

«Лучше, если б она уступала фее Танабата в искусстве шитья, зато была б похожа на нее в верности любовному союзу. Да! Эта твоя богиня Тацута редкая женщина. Как жалко ее! Возьми даже цветы иль красные кленовые листья... не то уж людей. И что же? Не вовремя зацветут они,— и плохо! — так и погибнут без всякого блеска... Поэтому-то я и говорю: «Да, трудная вещь — жизнь в этом мире!»

Самма-но ками заговорил снова:

«В ту же самую пору поддерживал я связь еще с одной женщиной. Эта была гораздо лучшего происхождения, чем первая; и воспитание у ней было самое прекрасное. Она сочиняла стихи, красиво и быстро писала, играла на кото. Во всем, где требовалось искусство руки иль меткость уст, она была очень искусна. И наружность ее была безупречна. Поэтому я, сделав ту — ревнивицу — своей постоянной любовницей, изредка тайком навещал и эту и с течением времени сильно ею увлекся. После смерти той я подумал: «Жалко,— но что делать? Хоть и жалко, но дело конченое, и ничего теперь не поделаешь» — и стал к ней хаживать чаще. Стал узнавать ее ближе,— и вот, кое-что стало казаться в ней неприятным. Мне не нравилось в ней это постоянное щегольство своим искусством и заигрывание с мужчинами. Я увидел, что полагаться на нее нельзя никак,— и стал показываться к ней реже. В это время мне показалось, что у ней завелся еще один тайный любовник. Как-то раз в десятом месяце, вечером, когда светила яркая луна, я выходил из дворца. Тут подходит ко мне один знакомый придворный и усаживается в мой экипаж. Я собирался ехать ночевать к одному своему знакомому, Дайнагону. Этот придворный мне и говорит: «Я очень беспокоюсь... Меня сегодня ждет одна женщина». Дорога наша лежала так, что нельзя было миновать ее жилище. Вот и видим мы чрез разрушенную ограду: пруд у ней там, и в нем отражается луна... Он никак не мог так про-

ехать мимо и слез с экипажа. Я подумал: «По всей вероятности, их связь длится уже с давних пор». Придворный не спеша направился в сад и уселся на галерее — неподалеку от ворот. Уселся и некоторое время молча смотрел на луну. В саду цвели хризантемы, были разбросаны повсюду красные кленовые листья, сорванные осенним ветром — было очень красиво и поэтично. Вынимает он из-за пазухи флейту и начинает играть, изредка напевая сам:

«У колодца здесь
Я нашел себе приют.
Хорошо в тени!
Свежая водица тут...
Для коня хороший корм...»

И вот из дому послышалось, как кто-то настраивает кото, так красиво звучащее... настраивает и начинает ему вторить. Выходило это у них не так уж плохо. Женщина играла, нежно касаясь струн,— и звуки неслись из-за занавески у входа: это было очень поэтично. И очень гармонировало с блестящей яркой луной. Мужчина, привлеченный ее игрою подошел к самой занавеске и с упреком проговорил: «Как это случилось, что сегодня на этих листьях красного клена не видно ничьих следов от тайных к тебе посещений? — Затем, сорвав хризантему продекламировал:

Лютни звуки здесь...
Хризантемы... Как воспеть
Мне приют такой?
Что ж находишь ты во мне,
Жалком бедняке таком?

Ты, наверно, ошиблась, но все ж, прошу тебя: пусть и существует человек, который оценит твою игру лучше, чем я,— все-таки не играй только для него одного!» — так полушутя, полуупрекая говорил он ей, и женщина жеманным голосом ответила:

«Ветер веет здесь...
С ним в согласии звучат
Звуки флейты — там...
Где же мне их удержать?
Слов не знаю я таких».

Так обменялись они словами, а женщина, не подозревая, что я здесь и наблюдаю за ней, настроила инструмент на другой лад и заиграла модную изящную пьесу. Это верно: играла она очень

искусно, но мне все-таки было неприятно. Да... Такие женщины хороши лишь тогда, когда с ними встречаешься изредка, когда видишь их, скажем, во дворце; тогда их бойкость и светское умение кажутся приятными. Но если хочешь найти себе настоящую верную подругу,— нет! «На такую положиться нельзя!» — решил я и, воспользовавшись этим случаем, прекратил с нею связь.

Вспоминаю я теперь эти две встречи с женщинами — и что же? Уж в молодом возрасте я узнал, что женщинам выдающимся в чем-нибудь — верить нельзя. А теперь — я в этом убедился как нельзя более. Вы, друзья, может быть, представляете себе, что вот такие и хороши, что блестящи, умеют флиртовать, податливы — что твоя росинка на ветке: но сломишь ее — и росинка скатилась... Что градинка на листике бамбука: взял ее в руки — а она растаяла. Нет, друзья! Поживите еще лет семь и сами придете к такому же убеждению. Я, хоть и не смею,— все же вас предупреждаю: не верьте женщинам, что легко поддаются всем вашим любовным желаниям. Они легко сбиваются с пути,— и из-за них вы сами заслужите плохую репутацию»,— так увещевал друзей Самма-но ками.

Тюдзё в ответ по-прежнему только утвердительно кивал головой. Гэндзи же улыбнулся и по виду тоже был с ним согласен; однако вслух он заметил другое.

«Ну, твое рассуждение — никуда не годится»,— так произнес он и рассмеялся.

Тюдзё прервал его словами:

«Расскажу и я вам про одну глупенькую женщину,— и начал свой рассказ:

Когда-то имел я тайную связь с одной женщиной. Это было довольно привлекательное существо. Конечно, я отнюдь не собирался поддерживать с ней связь до бесконечности, но — чем больше узнавал ее, тем больше к ней привязывался, и хоть изредка, но вспоминал про нее. В результате стало заметно, что она видит во мне свою единственную опору... Бывали минуты, когда я думал: «Если она в меня так верит, значит, ей должно быть очень неприятно, что я так редко у ней бываю». Однако женщина как будто совершенно не страдала от этого и, как бы редко я у ней ни бывал, ничуть не ревновала и не упрекала меня... Она неизменно подавляла свое недовольство. Мне стало ее жаль, и я готов был уже связать свою судьбу с ней и заключить с ней союз навсегда. Нужно сказать, что родителей у ней уже не было, и положение ее было поистине жалкое. Мне было приятно видеть, что она надеется на меня только одного. Ревности она никакой не высказывала, нрав у нее всегда был ровный,— вот я и перестал тревожиться. Однажды я не был у ней очень долгое время. И в этот промежуток она получила от моей жены угрожающее письмо. Я узнал об этом

только впоследствии. Ничего не подозревая, я не слал ей даже письма, и так прошло много дней. И вот она пришла в отчаяние и горе: ведь у ней был ребенок от меня. Сорвала она цветок гвоздики и послала его мне...» — говорил Тюдзё со слезами в голосе.

«Что же было в письме при этом?» — спросил Гэндзи.

«Ничего особенного,— ответил Тюдзё.— Всего только одно стихотворение...

«Пусть заброшен весь
Садик дровосека стал...
Все же сжалься ты!
Капельку любви-росы
На «гвоздичку» ты пролей!»

Она писала мне, чтоб я пожалел хоть нашу девочку.

Получил я это стихотворение, вспомнил про нее и отправился к ней. Она была, как всегда,— ровна и приветлива, но в душе, видно, страдала... Все время смотрела молча перед собой в запущенный сад, где всюду на траве лежала роса. Рыдающими звуками звенели цикады, и видно было, что и она плачет вместе с ними... Словом — было совсем как в старинных романах.

Тут я сложил такое стихотворение:

«Много здесь цветет
Всяких милых цветиков...
Выбрать — не могу:
Все же слаще ложа нет,
Что «гвоздикою» покрыт».

Хотел утешить ее... сказал, что — не столько девочку, сколько ее я люблю. Она же мне в ответ:

«Рукавом стряхнув
С ложа пыль — я жду...
Влажен весь рукав,—
На гвоздике ведь роса...
Осень с бурей ведь пришла».

По-видимому, на сердце у ней было очень грустно, но она сказала это просто, без особенного смысла и старалась усиленно не показать и виду, что в сердце у нее ревность. Все-таки слез сдержать не могла... уронила себе на колени несколько капель, но сейчас же стыдливо их подавила. Она считала, что будет очень нехорошо, если я замечу, что она чувствует мою неверность. Поэтому, я успокоился и опять в течение некоторого времени не навещал

ее. И вот — на этот раз она куда-то уехала, скрылась бесследно... Если она еще живет на белом свете, вероятно, находится в очень бедственном положении... Что ж... ведь если бы она в те времена, когда я ее любил, давала бы мне понять, как она привязана ко мне, хоть немного бы выказала мне свою ревность, так бы не получилось. Я бы не стал так ужасно забрасывать ее на долгое время и хоть и не сделал бы ее своею женою, но все же создал бы ей определенное положение, и наша связь могла бы длиться долго.

Мне было жалко девочку, и я всячески старался ее разыскать, но до сих пор не мог узнать, где она и что с ней. Она как раз может служить примером тех простых, скромных женщин, о которых говорил Самма-но ками. Я не представлял себе, что она так страдает от моей неверности, но любовь моя к ней никогда не исчезала...

В настоящее время я ее понемножку забываю, но она, думаю, меня не забывает... сидит по вечерам одна у себя и терзается сердцем. Да! Таких женщин сохранить около себя трудно... Они так ненадежны. Да и те, о которых сейчас говорили,— ревнивицы... Вспомнишь о них — приятно, а попробуй опять столкнуться на деле — они будут в тягость. Эта третья, что искусно играет на кото... Ей нельзя извинить пристрастие к флирту. У такой же женщины, о которой я сейчас рассказал, никак не поймешь что у ней на сердце... «Не ревнует,— значит, равнодушна, любовник есть»,— невольно возникает подозрение. И выходит, что нельзя различить, какая же из трех лучше. Таков уж этот свет! В конце концов — у всех свои недостатки, и сравнивать их друг с другом нельзя!» — так закончил Тюдзё.

Тут все заговорили.

«Где же ты найдешь женщину, чтобы имела одни прекрасные качества и никаких недостатков? На земле — по-видимому, нет. Уж не попробовать ли нам влюбиться в каких-нибудь небесных фей? Только от них будет нести буддизмом, и вообще они еще неизвестно, что такое из себя представляют. Лучше от них подальше!» И все засмеялись.

Тюдзё обратился в сторону То-но сикибу.

«Слушай, Сикибу, вероятно, и у тебя есть что-нибудь интересное... Расскажи нам!» — сказал он.

«У меня? Низкого из низких? Что же у меня может быть такого, что бы вам стоило слушать?» — смущенно проговорил тот. Но Тюдзё горячо настаивал: «Скорей! Рассказывай...» Тот немного подумал и начал:

«Когда я был молодым еще студентом, я познакомился с одной женщиной, которую можно было назвать образцом учености. Женщина эта,— как и говорил Самма-но ками,— могла вести раз-

говор и об общественных делах и вообще прекрасно знала жизнь. Со своей ученостью могла заткнуть за пояс любого второсортного профессора. Когда она с кем-нибудь спорила, выходило так, что тот принужден бывал умолкнуть. Познакомился я с ней по следующему случаю: в те времена занимался я с одним из профессоров; ходил к нему на дом и узнал, что у него много дочерей; улучив удобный момент, я повел нежные речи с одной из них. И вот ее отец — мой профессор, словно тот самый «хозяин», проведав об этом, шлет мне чарку для вина со словами: «Выслушай о том, что буду петь тебе о двух путях». Я,— хотя и не предполагал так свободно ходить к ней, но видя, что отец сам желает меня для дочери,— я стал продолжать свою связь с ней. С течением времени она сильно привязалась ко мне и всячески опекала меня. Даже на ложе она вела со мною ученые разговоры: поучала меня, как, например, вести себя во дворце... Когда писала мне письма, писала одними китайскими иероглифами, без примеси японских букв. Владела кистью она прекрасно, и если я теперь умею кое-как написать по-китайски, то только благодаря ей... Это благодеяние я всегда буду помнить. Однако жениться на ней я не хотел. Слишком уж учена она была... Будет у нее муж неученый, вроде меня, сделает что-нибудь неподходящее — жена сейчас же заметит, и ему будет стыдно... Нет, слишком тягостно постоянно следить за собой... Таким же, как вы, друзья, такая жена не нужна. Вообще говоря — мужчины очень любят перебирать: «Эта не хороша, та — не годится»,— а если женщина им нравится, то не замечают за ней никаких недостатков; сама судьба влечет их: завязывают связи, невзирая на то, есть недостатки у женщины или нет. Мужчине хорошо. Он не очень чувствует, что нет на свете совершенных женщин»,— говорил Сикибу.

Тюдзё хотел слышать дальше: «Любопытная женщина»,— и требовал продолжения.

Сикибу был очень доволен, что его вызывают на дальнейший рассказ, и продолжал.

«Одно время я долго у ней не был. Прихожу раз после этого, вижу — ее нет в ее обычном помещении; сидит она в другой комнате и отгородилась от меня ширмой. «Ну,— подумал я,— если она, несмотря на нашу связь, загораживается от меня, значит, она досадует, что я долго у ней не был». Однако, с одной стороны, порывать с ней, воспользовавшись этим предлогом, было бы неудобно; с другой — я знал, что она умна и не из тех, что сразу же ударяются в ревность. Тут она слабым голосом мне и говорит: «Я уж долго болею, простудилась... и наглоталась лекарства. Оно ужасно скверно пахнет, и мне поэтому неловко с вами встретиться. Если у вас есть дело, скажите так, через перегородку!» Это было очень

внимательно с ее стороны спросить, нет ли у меня дела,— но что мне было ответить ей в данном случае? Я только и мог сказать: «Ах, вот как?» — поднялся со своего места и направился было обратно. Ей, по-видимому, это было неприятно, и она громким голосом закричала: «Пусть рассеется запах... Приходите потом!» Не обратить на эти слова внимания и уйти было нехорошо: доставить ей неприятность. Я топтался на месте, не зная, что делать, и вдруг чувствую: ужасная вонь! Я не выдержал и бросился к выходу.

«Ждала ты меня...
Вечером я должен быть.
Вот и вечер уж.
Слышу: «Пусть рассеется...
Что? Иль мрак? В тумане я...»

«Бросить ее, воспользовавшись этим случаем, было бы слишком жестоко»,— подумал я и, оставив ей это слегка укоряющее стихотворение, вышел из ее помещения. По дороге меня догнала служанка и приносит ее ответное стихотворение:

«Была б связь у нас
Так сильна, что почи все
Вместе бы текли,—
Вряд ли нам с тобой тогда
Что-нибудь мешало днем...»

Ученая! Как быстро может сложить стихотворение»,— так рассказывал с серьезным видом Сикибу.

Все присутствующие подумали: «Что за неприятный рассказ! Может ли это быть? Неправда! — говорили они со смехом.— Где ты откопал такую особу? Лучше встретиться с ведьмой, чем с такою женщиной. Противно! Фи... — говорили они.— И что наговорил! — напали они на Сикибу.— Расскажи что-нибудь поизящнее!» — донимали они его. Сикибу растерялся: «Больше ничего интересного у меня нет»,— и ушел из комнаты Гэндзи.

Самма-но ками опять начал говорить:

«Вообще говоря, и мужчины и женщины,— если они невоспитанны,— стремятся во что бы то ни стало показать другим все, что они знают. Такие люди вызывают только сожаление. Когда женщина знает наизусть все «три истории» и все «пять древних книг»,— как она теряет в своей привлекательности! Вообще не может быть, чтобы женщина совершенно не понимала ничего, ни в общественных делах, ни в частных. Можно этому специально и не учиться, но если есть хоть какой-нибудь ум в голове,— так

много можно усвоить просто из наблюдений и понаслышке. Когда же женщина преисполнена ученостью, умеет писать китайские иероглифы, да еще скорописью... Когда видишь письма ее, на большую половину загроможденные этими трудными иероглифами,— с сожалением думаешь: «Как бы хорошо, если б у этой женщины не было такого чванства!» Сама она, может быть, и не замечает, что пишет, но читающий, слыша одни только эти неприятные и резкие китайские звуки, обязательно подумает: «Это она — нарочно! Чтоб похвастаться!» Такие женщины встречаются часто и в высшем кругу.

Затем — писание стихов... Есть люди, что очень гордятся таким своим искусством, только и знают, что пишут стихи. Слагают их, помещая в начальную строфу какой-нибудь намек на событие... Слагают и посылают их другим без всякого разбору, когда попало. Это бывает очень неприятно. Не ответь — неловко. Вот они таким образом и ставят людей неискусных в затруднительное положение. Самое затруднительное бывает в праздники... Например, в пятый день пятой луны... Утром спешишь во дворец, готовишься, тебе не до того — и вдруг: цветок ириса и с ним стихотворение. Или в девятый день девятой луны: тут занят размышлениями: «Как-то удастся сегодня сложить китайскую поэму»,— и вдруг цветок хризантемы, а с ним стихотворение с изложением своих чувств. Не ответить — нельзя. И отвечаешь, хотя голова занята совсем другим. И получается произведение поистине никуда не годное. Да не только в эти дни. И в другое время: пришлют тебе изящное стихотворение... Прочесть его потом на досуге — было бы очень интересно, а тут прислали, когда тебе некогда, и из-за этого не можешь хорошенько его прочувствовать. Такие люди, что совершенно этого не понимают, слагают стихи и посылают их другим, не считаясь со временем,— такие люди представляются мне скорее просто лишенными изящного вкуса. При всяких обстоятельствах бывают моменты, когда лучше не браться за стихи. И людям, которые в этом не разбираются, лучше перестать прикидываться, что у них есть вкус и понимание вещей. Вообще говоря, людям надлежит не подавать и виду, что они с тем-то очень хорошо знакомы... А хотят что-либо сказать, лучше не договорить, оставить недосказанным»,— говорил Самма-но ками.

Гэндзи слушал все это и про себя думал о Фудзицубо: «У ней-то нет ничего недостающего, нет и ничего излишнего... Других таких женщин, как Фудзицубо, на свете нет!» — и всю грудь его стеснила печаль.

Разбор женских характеров так ни к чему и не привел. В конце концов стали говорить уже совершенно невероятные вещи... И в такой беседе провели всю ночь до самого рассвета...

Гэндзи увлекается замужнею женщиной: женою одного провинциального администратора — старика, женившегося вторым браком на очень молодой девушке. Смелыми действиями он овладевает ею, но Уцусэ́ми (так обозначается она в следующей главе) преисполнена скорби: уступив один раз блистательному любовнику, она решительно восстает против связи с ним, у нее необычный для хэйанских дам характер. Гэндзи ропщет, пишет, требует,— но она ни звука в ответ. Тогда он решается на хитрость: взяв к себе на службу маленького братца Уцусэми — Коги́ми по прозвищу, и приблизив его к себе, как поверенного, он пытается действовать через него. И вот, в конце второй главы, Гэндзи остается под удобным предлогом ночевать в доме, где живет Уцусэми; остается с тем, чтобы ночью тайком пробраться к ней, в надежде воздействовать на нее личным присутствием. Но каково его горе, возмущение, негодование, когда Уцусэми, предвидя это, заблаговременно перебирается спать к служанкам, в общую спальню. Гэндзи, вне себя, принужден был вернуться в отведенную ему комнату со своим верным поверенным — Когими...

III

УЦУСЭМИ

Лежа в постели, Гэндзи говорил Когими:

«Я не привык к тому, чтобы меня так ненавидели. Сегодня вечером впервые я понял, как горька эта жизнь. Это — такой позор, что вряд ли я перенесу его». И отрок, лежа рядом, заливался слезами.

«Какой он милый!» — подумал Гэндзи. Дотронулся рукою: его тонкое маленькое тело казалось ему как-то похожим на сестру,— на нее, с ее недлинными волосами.

Идти, насильно вторгаться к ней было неудобно, и Гэндзи в горестных думах провел всю эту ночь. Он не вел, как обычно, ласковых речей с Когими,— и еще стояла глубокая ночь, как он ушел из этого дома.

А отрок остался один в грустных и печальных думах.

И у той также было не по себе на сердце. Никаких вестей от Гэндзи не получалось, и она решила: «Верно, он так теперь досадует на меня...»

А в мыслях мелькало:

«Как грустно, если все так и закончится! Не то это... Но, с другой стороны, если он не оставит таких, несущих одни неприятности, действий — создастся совершенно безвыходное положение. Нет! Уж лучше вовремя порвать это все». Так размышляла она, а взор у самой так задумчиво-рассеянно уходил куда-то вдаль.

А Гэндзи, зная хорошо, что не пристала ему эта любовь, все ж не мог расстаться с нею: все время на сердце у него была она, и, томясь так, что даже было неловко перед другими, он не раз говорил Когими:

«Мне так горько, так грустно! Стараюсь насильно отвратить от нее свои мысли, но сердце не слушается и мучается, страждет оно. Найди удобный случай! Постарайся хоть обманным образом устроить так, чтоб я мог встретиться с нею!»

И отроку так радостна была эта ласковая просьба Гэндзи! — хоть и знал он, как это трудно, хоть и касалось это все такого дела.

Своим детским сердцем следил он все время, не настанет ли как-нибудь этот удобный момент, и случилось, что муж этой женщины уехал в свою провинцию. В доме на свободе расположились одни только женщины.

«В сумраке вечернем — скрыт, утаён путь...» — говорится в стихотворении, и под покровом темноты Когими повез Гэндзи в своем собственном экипаже в дом сестры. «Ребенок он еще,— как бы не вышло чего-нибудь!» — размышлял Гэндзи, но, не будучи в силах совладать со своими думами о ней, торопил отрока, чтобы поспеть к дому до закрытия ворот, и старался только, чтобы его не заметили.

Когими поставил экипаж в незаметном месте и помог Гэндзи сойти. Ввиду того, что он еще был ребенок, привратник не обратил на него особого внимания и не вышел к нему. Все обошлось благополучно. Поставив Гэндзи у входа на галерею с восточной стороны, отрок стал громко звать и стучать в спущенные жалюзи с южной стороны и вошел внутрь дома.

«Почему это у вас спущены жалюзи, когда так жарко?» — спросил он, и служанка ему возразила:

«Ведь отсюда ж все видно внутри...— И прибавила: — У нас сегодня гостья — госпожа из западного флигеля. Они сейчас играют в шашки».

Гэндзи очень захотелось посмотреть на этих двух женщин друг возле друга, и, потихоньку пройдя в дом, он скрылся промеж спущенных занавесей.

Жалюзи, через которые прошел Когими, еще не были спущены, и сквозь открывшееся пространство он бросил взгляд в западную часть помещения.

Ширмы, стоявшие на том конце, также были с краю свернуты; занавески, могущие мешать взору, были подняты по случаю жаркой погоды,— и все было совершенно явственно видно.

Рядом с обеими женщинами горел светильник.

Та, что прислонилась к средней колонне этого центрального покоя в доме,— была она, что лежала на сердце у Гэндзи. Он прежде всего обратил свой взор на нее: на ней было надето легкое платье из лиловой кисейной материи, поверх которого было что-то накинуто; со своей изящной головкой и маленькая телом, она не бросалась в глаза своим видом и лицом своим,— при обращении к другим она старалась держать себя так, чтобы не привлекать на себя внимание; руки ее были тонкие и худые,— и она всячески старалась их прятать.

Вторая женщина сидела, обратившись к востоку, и была вся отчетливо видна.

На ней было прозрачное платье с кое-как наброшенной поверх виноградного цвета накидкой; весь облик ее, с грудью, открытой до самого низу, где завязываются уж шнурки юбок, был исполнен непринужденности и небрежности; с красивой белой кожей, с округлым, полным телом, довольно высокая ростом, со свежими очертаниями лица и овала щек, с миловидными глазами и устами, она представляла собою цветущую фигуру; густые пышные волосы были недлинны, но красиво ниспадали на плечи; она казалась прелестной во всем, без изъянов в чем бы то ни было.

Гэндзи с любопытством разглядывал ее. «Родитель прав, что считает ее единственной на свете!» — подумал он. Хотелось бы немножко спокойствия, мягкости,— но это вовсе не значило, что она была и так плоха.

Игра шла к концу, и когда она быстрым жестом бралась за шашки, ее движения были, казалось, немного резки и порывисты. Та же, другая, спокойно и мягко проговорила: «Постой! Это же не та фигура...»

«На этот раз я проиграла! Начнем считать! — И гостья стала считать, сгибая пальцы: — Десять! Двадцать! Тридцать! Сорок!» Положительно, это было немножко нехорошо в ней.

Глаза у старшей как будто немного припухли, формы носа не были правильно очерчены — словом, ничего выдающегося в ней не было; если бы разбирать все в подробности, она оказалась бы скорее даже просто некрасивой, но у нее были выдержка и манеры,— и облик ее, как проникнутый подлинным вкусом, останавливал на себе внимание даже более, чем той, которая превосходила ее красотою.

Впрочем, и у той — оживленной, очаровательной, красивой, свободно себя держащей, смеющейся — было много прелести; в своем роде и та была прекрасна.

«Что за взбалмошная особа!» — подумал Гэндзи, и его легкомысленное сердце, казалось, не хотело уже упустить из вида и ее...

Все те женщины, которых встречал до сих пор Гэндзи, церемонно держались, были чинно разряжены, отворачивали скромно при разговоре свое лицо.

Он видел лишь одну внешнюю, показную сторону их. Ему не приходилось наблюдать их вот так, украдкою, когда они чувствовали себя совершенно свободно.

«Бедняжки! — подумал он.— Ничего не подозревают и дают так себя разглядывать».

И хотелось ему долго-долго стоять так и смотреть.

Но послышались шаги Когими, и Гэндзи тихонько выскользнул оттуда и стал на свое прежнее место у галереи.

«Это ужасно! Держать так господина...» — беспокоился отрок и, обратившись к Гэндзи, сказал:

«Сегодня, против обыкновения, у нас гостья. Мне не удалось и подойти близко к сестре!»

«Что же? Значит, и сегодня вечером ты хочешь, чтоб я так и ушел обратно? Разве это не жестоко?»

«Нет, нет! Что вы... уйдет к себе гостья, а я уж как-нибудь обойду сестру»,— возразил тот.

«Однако вид у него таков, что, пожалуй он как-нибудь сломит ее сопротивление. Ребенок еще, а есть уже уменье проникать в суть вещей и понимать человеческое сердце»,— подумал Гэндзи.

В этот момент внутри как будто закончилась игра в шашки. Послышалось движение, и как будто стали расходиться.

Одна из служанок крикнула: «Молодой господин! Где вы там? Я сейчас буду закрывать эти жалюзи». И Гэндзи, обратившись к отроку, молвил:

«Все улеглись. Иди и постарайся сестру обойти!»

Когими знал, что сердце сестры непреклонно и твердо, и, не зная, что ей и сказать, решил про себя просто ввести прямо к ней Гэндзи, улучив момент, когда вокруг никого не будет.

«Ведь здесь сестра Ки-но ками? Дай мне немножко взглянуть на нее!..» — обратился к отроку Гэндзи.

«Как же это сделать? Ведь там за жалюзи еще спущены и занавески...» — возразил тот.

«Так-то оно так,— и все ж я только что...— засмеялся мысленно Гэндзи, но не сказал ему, что он все уже видел. —Жалко бедняжку!» — подумал он.

«Неприятно, однако, стоять и ждать так до ночи»,— только заметил он вслух.— Постучав вновь, отрок вошел во внутренние помещения. Кругом было уже тихо, все улеглись.

«Я лягу здесь, у входа. Ветерок! Ты обвевай меня!» — проговорил он и, постелив себе постель, лег. Вся женская прислуга

расположилась на ночь в восточных покоях дома; туда же ушла спать и девочка, открывавшая Когими дверь.

Некоторое время отрок притворялся спящим; потом встал, расставил у светильника ширму и в темноте потихоньку ввел Гэндзи.

«Как бы не вышло чего-нибудь!» — подумал Гэндзи, и совесть его немножко колола.

Однако он последовал за Когими и, приподняв опущенные занавески, был готов проскользнуть уже в комнату женщины. Вокруг все мирно покоилось, и среди ночной тишины слышался только мягкий шелест одежд Гэндзи.

Женщина была даже рада тому, что Гэндзи, казалось, уже забыл про нее. Однако это дивное свидание, мелькнувшее, как сон, не могло отойти от ее сердца. Она не в силах была забыться и «в спокойном, безоблачном сне».

«День весь в мечтаньях, а ночью лежу вся в думах одних»; «не весна ведь, а не знаю ни минуты я забвенья...» — так вздыхала она.

Девушка, игравшая с ней в шашки, заявила: «Я здесь тоже с тобою!» — и бесцеремонно улеглась вместе с нею. Служанки спали крепко, ничем не волнуемые.

Аромат от надушенных одежд Гэндзи разнесся повсюду, и женщина приподняла от изголовья свою голову. Несмотря на окружающий мрак, сквозь отверстие занавесей, частично приподнятых из-за жары, была явственно видна приближающаяся фигура. «Какой ужас!» — подумала она и, не успев даже размыслить хорошенько, тихонько поднялась и в одной легкой ночной одежде выскользнула из постели и убежала из комнаты.

Гэндзи вошел и, видя, что на постели лежит только одна женщина, успокоился.

Невдалеке, внизу, спали две прислужницы. Сдвинув покров, он лег с нею рядом.

Ему сразу же бросилось в глаза, что она как будто бы несколько иная, чем при первом свидании, но он ничего еще не заметил. Однако ему показалось странным то, что она так крепко и безмятежно спит,— и в конце концов он открыл, что это не та.

Гэндзи почувствовал замешательство:

«Она сразу поймет, что я пришел не к ней, и выйдет ужасно! А та!.. Убежать так, когда я пришел только к ней,— это значит, что она лишена всякого чувства, считает меня за глупца!» — размышлял он.

«Это ведь та, что казалась такой красивой там, при огне светильника. Как быть с нею?» — подумал он вновь, и в этом сказалась испорченность его сердца.

Наконец открыла глаза и девушка, но от полной неожиданности совершенно оцепенела, и — не будучи в состоянии ничего сообразить,— не прибегла ни к чему...

Для женщины, еще не знавшей света, она оказалась довольно искусной,— не робела и не смущалась.

«Сейчас она ничего не скажет про меня,— подумал Гэндзи, но потом, когда станет соображать, как это все могло произойти, несомненно, догадается, в чем дело. Для меня это ничего не значит, но для той — жестокой, так заботливо старавшейся скрыть все от света, это будет очень неприятно». И Гэндзи повел искусную речь о том, что он уже несколько раз приходил сюда под предлогом временного приюта на ночь.

Опытный человек понял бы все сразу, но — она была очень еще молода и, как ни была сообразительна, все же уразуметь истину не могла.

Она не была неприятной Гэндзи, но все же у него было такое чувство, что в ней нет ничего, что могло бы привлечь его сердце. И даже в это мгновенье он с досадой и горечью помышлял о сердце той — жестокой:

«Ведь где-нибудь прячется тут и смеется: вот, мол, глупое-то положение... Редко, где сыщется другая такая упрямица» — так размышлял Гэндзи, и образ той неотступно стоял перед ним.

Но все же и эта, с ее молодостью и доверчивостью, была мила ему, и он любовно повел с нею речь о дальнейших свиданиях:

«Не нужно, чтобы знали другие. Так лучше, втайне... «Прелести больше»,— как говорили в старину. И ты полюби меня. Мне же приходится считаться со светом, и я не могу следовать одному лишь своему сердцу. Кроме того, если все разгласится, начнем волноваться, как бы тебе не запретили те, кто вправе, эти свиданья. Не забывай и поджидай меня вновь!» — говорил он обычные речи.

«Мне стыдно, что́ обо мне станут думать. Поэтому я вам писать не буду»,— только и сказала девушка, выразив этим все, что у нее было в мыслях.

«Если все об этом будут знать,— правда нехорошо. Но мы можем пересылать друг другу через Когими. Ты же смотри не подавай и вида ни в чем!»— закончил Гэндзи и, захватив с собою легкую одежду, сброшенную той, вышел из комнаты и стал будить отрока, здесь же поблизости лежавшего. Тот спал беспокойно и поэтому сейчас же испуганно открыл глаза.

Когда он стал осторожно открывать наружную дверь, вдруг послышался голос старой служанки, громко спросившей:

«Кто это там?»

«Это я!» — в досаде ответил отрок.

«Что это ты там ходишь по ночам?» — воскликнула та и, собираясь как бы проверить, вышла из комнаты.

«Ничего особенного! Вышел немножко сюда,— вот и все!» И с этими словами Когими вытолкнул Гэндзи на галерею.

Было уже близко к рассвету, и на небе выступила яркая луна. При ее свете фигура Гэндзи сразу же стала заметной.

«Там еще кто-то... Кто это? — спросила старушка.—А... это как будто ты — Минбу. Ну и рост же у тебя, право!» — добавила она.

Над этой Минбу всегда потешались за ее высокий рост.

Думая, что отрок вышел вместе с этой Минбу, старушка заметила:

«Скоро, скоро и ты сравняешься с нею»,— и с этими словами вышла наружу.

Гэндзи был в замешательстве: ведь нельзя же было втолкнуть ее обратно,— и стоял, прижавшись к галерее, стараясь быть как можно более незаметным.

Старушка подошла к нему:

«Ты сегодня здесь, наверху, с господами? А я с третьего дня не знаю, куда деваться от болей в животе,— вот и сидела там, на кухне. Вчера перебралась сюда, наверх: сама госпожа позвала,— и народу здесь мало, говорит... Но все еще болит прямо нестерпимо! — горевала и жаловалась она и, не дождавшись даже ответа Гэндзи, успев бросить ему только: —Ой, ой! опять боли... Прости, пожалуйста!» — поспешно удалилась.

«Да, такие путешествия опасны!» — подумал Гэндзи.

С него было довольно. В сопровождении Когими он отправился к себе домой.

Рассказывая отроку обо всем случившемся, он выразил ему свое недовольство:

«Это ты — так по-детски недоглядел». Ломая пальцы свои, слал сердцу той укоры и упреки, и полный сочувствия к нему отрок не мог произнести ни слова.

«Она так ненавидит меня, что я сам себе стал противен! Но почему же она — пусть сторонится встречи со мной! — не пришлет мне хоть приветливый ответ? Значит, я хуже даже этого. Иэ-но сукэ?» — говорил он вне себя и, положив себе под одежду платье той, жестокой, захваченное с собою, улегся на постель. Уложив рядом с собою Когими, он то упрекал его, то снова говорил ему ласковые слова.

«Ты — милый мальчик, но выходит так, что я не смогу тебя долго любить»,— говорил убежденно Гэндзи, и отрок не знал, куда деваться от горя.

Гэндзи полежал некоторое время, но уснуть был не в силах. Придвинув к себе тушечницу, он на листке бумаги — не то чтоб письмо, но так просто, как будто бы упражняясь,— написал:

«Одежду сменила
Цикада свою...
Под деревьями здесь —
«Эта скорлупка пустая
Так дорога мне!»

Так написал он, и отрок спрятал эти стихи себе за пазуху.

«Что-то делает теперь эта девушка...» — побеспокоился Гэндзи, но, хорошенько поразмыслив, не велел ничего ей передавать.

Легкое платье было все пропитано благоуханием дорогой женщины, и Гэндзи неустанно прижимал его к себе.

Когда Когими явился домой, сестра его поджидала и стала ему выговаривать:

«Это ужасно, что произошло! Я его кое-как обманула, но толков нам не избежать. Положение безысходное. И о тебе самом-то что подумает Гэндзи?» — стыдила его сестра.

Когими страдал и от одной стороны, и от другой, но все же вытащил записку, набросанную Гэндзи, и та все-таки взяла и прочла.

«Что он подумает теперь об этой пустой скорлупке — о моем платье? Верно, скажет, что оно так же загрязнено, как одежда ребенка с побережья Исэ»,— и ужасно сердилась.

Та, младшая, также все время чувствовала себя в смущении. Никто ничего не знал, и она тайком от всех погружена была в рассеянную задумчивость.

При виде проходившего Когими у нее захватило в груди,— но вести от Гэндзи — не было.

«Значит, не любит!» — должна была бы подумать она, но по своей доверчивости только печалилась этому.

Та же — жестокая, хоть и успокоилась уже, все же, видя такую глубокую любовь Гэндзи, не могла вполне совладать с собою, хоть и не была она той, о которой поется:

«Если б той я была, что раньше...» «Если б смогла переменить себя самое я!»

На том же листке бумаги она написала:

«Та роса, что лежит
У цикады на крыльях,
Таится в ветвях...
И таятся те слезы,
Что увлажняют рукав».

IV

ВЕЧЕРНИЙ ЛИК

Это было в ту пору, когда Гэндзи тайком навещал даму, жившую в районе шестого проспекта. Выехав из дворца, он задумал проведать свою прежнюю кормилицу, которая сильно занемогла и постриглась в монахини, и добрался до ее жилища на пятом проспекте.

Ворота, куда можно было ввести экипаж, оказались закрытыми, и Гэндзи, послав слугу позвать Корэмицу, сам стал разглядывать картину той неприглядной улицы, что была перед ним.

Рядом с домом кормилицы стоял чей-то новый деревянный забор, и поверх его видны были решетчатые жалюзи; они были на четыре-пять футов приподняты кверху, и сквозь них свежо белелись занавески. Оттуда выглядывало несколько миловидных женских лиц.

Женщины толпились там, силясь приподняться повыше, и Гэндзи — представившему себе их во весь рост — они показались ужасно высокими. «Кто это такие?» — подумал он, заинтересовавшись.

Своему экипажу он приказал придать самый простой вид, передовых скороходов с ним не было, так что Гэндзи, совершенно спокойный за то, что его никто не узнает, принялся разглядывать этот дом.

Створчатая решетка ворот была открыта, и взор беспрепятственно проникал внутрь: то было бедное жилище,— и Гэндзи почувствовал жалость. Ему вспомнились слова стихотворения: «На свете целом...» Но для путника, уставшего от скитаний, и это — терраса из яшмы!.. По сплетенной ограде красиво ползли зеленые ветви вьющихся растений.

Белые цветы — в горделивом одиночестве — раскрывали свои смеющиеся глазки.

«У путника издалека... спрошу...» — промолвил тихо Гэндзи, и один из его слуг тут приблизился к нему и заметил:

«Эти белые цветы зовутся Юга́о («Вечерний лик»). Имя у них — как у людей... На какой невзрачной ограде приходится им цвести!»

И в самом деле: в этих неприглядных местах, где кругом стояли лишь одни маленькие домики, где всё — и то и это шаталось от ветхости, они вились по шатающемуся карнизу кровли.

«Бедные цветики! Сорви мне один!» — сказал Гэндзи слуге.

Тот вошел в ворота, что были открыты, и стал рвать цветы. В этот миг из входной двери, сделанной — между прочим — довольно изящно, вышла миловидная девочка в одежде из легкого желтого шелка и в длинной юбке. Она поманила рукою слугу.

Подавая ему белый, сильно надушенный веер, она проговорила:

«Подай цветок вот на этом! Цветочки так, без веток, будут, наверное, некрасивы...»

Тут в воротах показался Корэмицу и сам подал цветы Гэндзи.

«Никак ключ не могли найти! Простите, пожалуйста. Хоть тут и некому узнавать вас, но все же неудобно стоять так на улице и ждать!..» — извинялся он.

Гэндзи ввел экипаж и сошел на землю. У больной собрались: монах — старший брат Корэмицу, зять старушки — правитель провинции Микава, ее дочь; и все они были очень рады посещению Гэндзи и были превыше всякой меры ему благодарны. Монахиня, кормилица Гэндзи, приподнявшись на ложе, обратилась к нему:

«Мне жизни не жаль, но с одним расставаться тяжело: с возможностью вот так видеть вас и служить вам. Это все должно измениться! — думала я с горечью и все время боролась со смертью. Но вот — потому ли, что приняла я священные обеты — только жизнь вновь вернулась ко мне. Теперь, когда вы, вот так, побывали у меня, когда я вас повидала, теперь я готова с чистым сердцем предстать пред божественным светом Амида»,— сказала она и, ослабевшая от болезни, заплакала.

«Я сам очень горевал, что тебе в последнее время так сильно недужится. Теперь же ты еще приняла постриг, и это совсем уже грустно... Живи подольше, дождись того, как я достигну высоких чинов! В горних обителях рая ты, конечно, возродишься благополучно, но я слышал, что если люди здесь, на земле, оставляют хоть в чем-нибудь чувство неудовлетворенности, это причинит им страдания там»,— говорил Гэндзи со слезами.

Даже урод и тот в глазах кормилицы своей представлялся бы безгранично привлекательным,— а тут был сам Гэндзи, которого она выходила и которому служила! Он был так дорог ей, она с такой признательностью о нем помышляла, что все время, сама того не замечая, проливала слезы.

Корэмицу с братом были очень недовольны: «Если ей так трудно расставаться с этим миром, от которого она сама же отрекалась, то чего же еще расстраивать господина?» — толковали они между собой, подсев друг к другу и бросая на нее косые взгляды.

Гэндзи был очень расстроен:

«Еще в раннем детстве я был покинут один на этом свете дорогими мне людьми; много народу заботилось обо мне, но к тебе я привязался сильнее, чем ко всем другим. После, когда я стал взрослым, я был связан своим положением и не мог поэтому более видеть тебя по утрам и вечерам; не мог и навещать тебя, когда того хотелось. Однако, долго не видя тебя, я всегда скорбел в своем сердце: «Если б на свете неизбежной разлуки не стало!» Так обстоятельно беседовал он с нею, и благоухание от его рукавов, которыми он отирал свои слезы, наполнило ароматом все уголки помещения. И даже дети старой монахини, до этого времени ворчавшие на нее, и те смягчились: «Поистине,— подумали они, завидная судьба у нее — быть кормилицей такого господина!»

Отдав приказание возносить в дальнейшем моления о здравии больной, Гэндзи отбыл из дома кормилицы, и при выходе, распорядившись Корэмицу о факеле, стал рассматривать полученный с цветами веер. Видно было, что этот веер был в постоянном употреблении и весь пропитался приятными духами дамы. Тут же оказалась и красивая надпись:

«Сердце — в догадках:
«То — он ли?» — взирает...
Взирает Югао,
Цветок, что сияет
Светлой росой».

Написано было небрежно и спутанными знаками, но так как здесь чувствовался изящный вкус, то Гэндзи, против ожидания, это стихотворение понравилось.

«Кто живет здесь по соседству? Ты знаешь?» — спросил он у Корэмицу.

«Ну! Господин мой опять за свое!» — подумал тот, но сказать это прямо не решился.

«Хоть и живу я здесь вот уже пять или шесть дней, но все время был занят ухаживанием за больной и поэтому о соседнем доме не имел никакого понятия»,— дал он неутешительный ответ.

«Ты, кажется, предполагаешь, что здесь затронуто мое любовное любопытство... Но дело в том, что мне хотелось бы кое о чем спросить в связи с этим веером. Поищи кого-нибудь, кто знает эти места, и узнай!» — повелел ему Гэндзи.

Корэмицу вошел в ворота и, кликнув привратника, стал его расспрашивать:

«Это дом одного господина, который носит звание «правителя провинции». Сам хозяин в настоящее время в отъезде, а его су-

пруга здесь. Это молодая, красивая собою дама. Сейчас у нее сестра, которая служит при дворе»,— ответил тот.

Корэмицу, передав все это Гэндзи, добавил:

«А подробностей он, кажется, и сам не знает».

Гэндзи подумал: «Если так, то стихотворение послала мне та, что служит при дворе,— зная меня по дворцу». Однако, хоть и решил, что она не может быть достойна внимания, но все же содержание стихотворения и обращение к себе ему очень понравились. Гэндзи был всегда слаб в этом отношении. Поэтому он вытащил из кармана бумагу и измененным почерком — чтоб не узнали — написал:

«Ближе подойди —
Может быть, узнаешь...
Те цветы Югао,
Что в сумерках теперь
Неясно так блистают»,—

и отослал с тем же слугою.

Слуга направился к дому Югао: «Хоть они, по-видимому, и не видели господина, но, вероятно, прекрасно сообразили, что это — именно он. И вот, не желая так упускать его, они и решили его затронуть. Но так как время шло, а ответа не было, они, надо полагать, чувствовали себя обескураженными. Теперь — вот он, этот нарочно для них написанный ответ. Тут они растают и подымут переполох: «Что он там написал, что написал...» — размышлял он с неудовольствием.

При тусклом свете передовых факелов Гэндзи потихоньку выехал из дома кормилицы. Жалюзи в доме рядом были уже опущены. Свет, проникавший сквозь щели, был «еще неявственнее, чем светлячки», и вызвал грустное чувство.

Жилище той, куда ехал Гэндзи, было совсем в другом роде: деревья, палисадник перед домом — все было иначе, чем было у обыкновенных людей. Дама эта жила приятно и даже чрезмерно роскошно. Чинный вид самой дамы, ее наружность были настолько иными, что Гэндзи было не до воспоминаний о неказистом дощатом заборе Югао.

На следующее утро он немного заспался и вышел из опочивальни, когда солнце уже ярко светило. Его «утренний облик» был настолько очарователен, что становилось понятным, почему все им так восхищались.

На обратном пути сегодня он опять проехал мимо тех жалюзи. И раньше он не раз проезжал здесь, но теперь в его сердце запало это коротенькое стихотворение, и каждый раз, проезжая,

он обращал на это жилище свой взор с мыслью: «Кто бы мог жить здесь, в этом доме?»

Корэмицу явился через несколько дней.

«Больная была очень слаба, и пришлось ходить и смотреть за нею,— сказал он и, подойдя к Гэндзи поближе, стал рассказывать: — После того как вы приказали мне насчет того дома, я отыскал человека, который знает все по соседству, и стал его расспрашивать. Однако и он не мог сказать ничего определенного. Он сообщил мне только, что около пятой луны этого года там появилась под большой тайной какая-то женщина. Но и домашним не было объявлено, кто она такая. Я время от времени подглядывал сквозь щели забора и разглядел там фигуры молодых женщин.

Среди них есть одна — по-видимому, благородная, и носит она простое платье только для вида. Вчера лучи заходящего солнца озарили все уголки у них, и я очень хорошо рассмотрел: она писала письмо; лицо ее оказалось очень красивым, но она как будто была погружена в какие-то печальные думы; и некоторые из женщин там тоже как будто плакали»,— говорил Корэмицу.

Гэндзи улыбнулся: «Надо бы с нею познакомиться!» — подумал он.

«Господин мой занимает высокое положение в свете, но если принять во внимание его возраст и то, как все им восхищаются,— пожалуй, не увлекайся он так, ему было бы грустно и скучно.

Ведь даже и те, кто не пользуется таким вниманием к себе со стороны света,— и они в известных случаях отдаются любви»,— размышлял Корэмицу и продолжал далее:

«Мне хотелось как-нибудь познакомиться с нею. Поэтому, выдумав какой-то незначительный предлог, я послал ей письмо. Ответ пришел очень быстро — и написанный очень умелой рукою. Безусловно, это достойная внимания молодая дама!» — заключил он.

«Узнай ее поближе! Жалко будет, если ты не узнаешь о ней всех подробностей»,— проговорил Гэндзи и подивился в душе:

«В самом низу общества, в жилищах, к которым все относятся с пренебрежением, все же случается иногда подметить, совершенно неожиданно для себя, нечто достойное внимания»,— вспомнились ему слова приятеля.

Подглядывания Корэмицу, что поручил ему Гэндзи, закончились тем, что он разузнал много подробностей.

. . . .

«Кто такая она сама,— я так и не мог догадаться. Заметно, что она старательно таится. Случается, что молодые женщины

в доме выходят, когда им становится скучно, в наружный коридор на южную сторону дома, где есть подъемные жалюзи, и, когда на улице послышится шум экипажа,— начинают выглядывать наружу. Бывает при этом, что и она — как будто их госпожа — тоже тихонько к ним выходит. Я не успел ее рассмотреть хорошенько, но, кажется, она очень недурна. Как-то раз по улице проезжали «передовые», и маленькая прислужница, выглянув наружу, поспешно закричала: «Госпожа Укон! Смотрите скорее! Сейчас проедет господин Тюдзё». На ее крик вышла довольно красивая служанка: «Чего ты кричишь? — сказала она и, замахав руками, остановила девочку.— Из чего ты это видишь? Дай-ка я посмотрю»,— добавила она и украдкой вышла наружу. Чтобы выйти в коридор, нужно было по дороге пройти через что-то вроде мостика. Сбежавшиеся на крик женщины цеплялись подолами то за одно, то за другое и падали, а некоторые даже сваливались с мостика вниз.— «Ах, проклятый мост!» — ворчали они, и любопытство их остывало. Господин Тюдзё в этот день был одет в свое придворное платье, с ним были слуги. Девочка перечисляла их: «Это — такой-то, а это — такой-то...» — что и служит доказательством того, что люди господина Тюдзё эту девочку знают»,— рассказывал Корэмицу.

«Итак, это — Тюдзё!» — произнес Гэндзи. «Да, это — та, которую желаешь и не можешь забыть»,— понял он, и ему сильно захотелось с ней познакомиться.

Корэмицу, наблюдая за ним, произнес:

«У меня также есть там зазноба, и, воспользовавшись этим, я и узнал все подробности. Дело в том, что в доме этом живет одна молодая женщина, которая старается внушить другим, что она — такая же, как и все прочие там. Я бывал у них, зная, что меня водят за нос,— и они до сих пор пребывают в уверенности, что прекрасно все скрыли. Но есть там одна маленькая девочка,— и она иногда проговаривается. Тут начинают все заговаривать зубы и усиленно делают вид, будто никого особенного среди них нет»,— со смехом повествовал Корэмицу.

«Пусть это будет и временным жилищем для нее, но все же,— если принять в расчет, каково это жилье, в котором она обитает, выходит как будто, что она из тех самых низших кругов, о которых так пренебрежительно отзывался Самма-но ками. Но ведь и в их среде иногда — против всякого ожидания — обнаруживаются прелестные женщины...» — размышлял Гэндзи.

Корэмицу старался даже в мелочах угождать Гэндзи, да к тому же и сам был достаточно падок на любовные приключения. Поэтому он продолжал ходить туда, стараясь все время как-нибудь

обмануть их,— и в конце концов устроил так, что провел туда Гэндзи. Рассказывать об этом скучно, и я, как всегда, это все пропускаю.

Гэндзи не стал расспрашивать женщину, кто она такая; поэтому не назвал ей и себя. Он придал себе самый простой вид; против своего обыкновения, слезал с экипажа и готов был идти пешком, так что взиравший на него Корэмицу подумал: «Ну и влюблен же мой господин!»

Лошадь свою он предоставил Гэндзи, а сам поспешал с ним рядом.

«Обычно любовник должен быть ведь недоволен, если его дама увидит его в неприглядном обличье»,— становился он втупик от действий Гэндзи. Тот же, не желая, чтоб его узнавали, брал с собой теперь только слугу и отрока, лица которого никто не знал. Он не заходил даже к Корэмицу по соседству. «Вдруг догадаются!» — думал он.

Женщина, со своей стороны, дивилась и не могла взять все это в толк. Она то посылала проследить за посланцем от Гэндзи, то направляла подсмотреть, куда уходит Гэндзи от нее на заре, разузнать, где он живет. Но Гэндзи удавалось так или иначе скрывать свои следы.

Гэндзи нарочно приказал изготовить себе простой охотничий костюм для того, чтоб надевать его, когда шел к ней; изменял весь свой облик, лицо же скрывал под маской; приходил и уходил — ночью, когда все спали, так что было похоже, будто он — призрак, о котором повествуют древние времена. Женщине становилось прямо жутко, но так как было ясно, хотя бы на ощупь, что это человек, то она только гадала: «Кто бы это мог быть?» Был заподозрен Корэмицу: «Это все проделки этого любителя любовных похождений!» Но тот делал самое невинное лицо, не поддавался и шутил, как всегда, так что она никак не могла понять: «Что здесь такое?» И Югао дивилась, думая: «Как это все необыкновенно!»

Со своей стороны, тревожился и Гэндзи:

«Что, если Югао в один прекрасный день возьмет да и уедет оттуда? Где мне тогда ее искать? Там все имеет вид ее временного жилья,— но сказать заранее, когда ей захочется куда-нибудь оттуда переехать — никак нельзя»,— раздумывал он.

«Послушай! — заговорил он раз с Югао.— Поселимся где-нибудь на свободе — в каком-нибудь удобном месте!»

Однако та по-детски наивно возразила:

«Вы говорите такие странные речи. Я боюсь уже того, что вы и сейчас ведете себя так необыкновенно!»

«Это верно! — усмехнулся Гэндзи.— Да! Кто-нибудь из

нас — оборотень! Выходит, кто-то один из нас обманывает другого...» — говорил он ласково и нежно, и Югао, поддавшись ему, готова была поступить так, как он хотел.

Стояла восьмая луна,— было пятнадцатое число. Лучи полного месяца проникали в многочисленные щели деревянной постройки. Гэндзи не был привычен к такому жилью, и ему представлялось все это таким странным. Скоро должен был наступить и рассвет. В соседнем домике послышался голос какого-то простолюдина, который, проснувшись, говорил жене:

«Какой холод! Да... Плохи дела в этом году! Придется, видно, отправиться в деревню и промышлять чем-нибудь там. Слышишь, жена?»

Эти жалкие люди вставали каждый для своих дневных занятий; суетились, шумели,— а такая среда так не шла к Гэндзи, что, будь на месте Югао другая женщина, благородная и гордая,— ей оставалось бы только постараться исчезнуть куда-нибудь от стыда за окружающую ее обстановку. Но Югао была простодушна и не чувствовала никакого смущения или огорчения.

Под самым их изголовьем раздались звуки от рисовых ступ, грохотавших громче самого грома. «Что это такое стучит?» — подумал Гэндзи. Он не знал, что такой стук издает рисовая ступа,— и только внимал этим необычайным для него звукам. Многое было здесь для него совершенно невыносимо!

То там, то здесь начали раздаваться удары по плоским камням, на которых отбивали домотканую материю. В небе кричали стаи диких гусей. Как много здесь было всяких неудобств для него!

Покой их был расположен у самой наружной веранды. Открыв туда дверь, Гэндзи стал вместе с Югао оглядывать окружающее. В маленьком садике пред домом рос китайский бамбук, роса на кустиках блестела здесь так же, как и в том месте... Насекомые заливались на разные голоса.

Гэндзи до сих пор даже чириканье сверчка в стене приходилось слышать только издали, а теперь все это раздавалось прямо в ушах. Однако это все показалось ему только в диковинку: видно, чувство его к Югао было так сильно, что все грехи отпускались!

Не блиставшая внешней красотою фигура Югао — с ее белым платьем, с накинутой поверх него одеждой из светло-лиловой материи — казалась ему прелестной и хрупкой. В ней не было ничего, что можно было бы отметить как что-то особенное, но — миниатюрная и нежная, с ее милой манерой говорить — она вызывала в нем одно чувство: «Бедняжка! Какая она милая!»

«Если бы в ней было больше жизни!» — подумал Гэндзи. Ему захотелось видеть ее более открытой и свободно себя чувствующей.

«Слушай! Проведем остаток ночи где-нибудь в другом месте, здесь поблизости. А то тут только один шум. Так надоел он!» — обратился он к ней.

«Что это вы? Так внезапно...» — возразила она с рассудительным видом.

Гэндзи стал убеждать ее, что союз их простирается не только на это земное существование: ее откровенность начала казаться ему чем-то совершенно отличным от того, что бывает у других; она стала представляться ему совсем не привыкшей к обычным мирским делам. Поэтому, не страшась уже более того, что могут сказать о нем в свете, он вызвал Укон, приказал позвать к себе выездного слугу и подать себе экипаж. Женщины, жившие с Югао, немного растерялись, но, видя, как сильно чувство Гэндзи к ней,— положились на Гэндзи и успокоились за свою госпожу.

Близилось уже утро. Пения петухов слышно не было, а только звучали где-то вблизи старческие голоса, как будто кто-то свершал поклонение: то были, верно, пилигримы. Кто стоял на ногах, кто на коленях,— они важно были заняты своим делом.

Гэндзи сочувственно стал прислушиваться к ним:

«Чего хотят они в этом непорочном, как роса поутру, мире? О чем они молятся так?» — подумал он. Оказалось, что они взывали к будде Мироку.

«Прислушайся к ним! — обратился он к Югао.— Они помышляют не только об одном этом мире!» — тоном сочувствия произнес он.

«Идя по пути,
Что свершают они,
Пилигримы святые,—
Не сомневайся: союз
Будет прочным и впредь!..»

Древний пример клятвы во дворце Долгой жизни был для Гэндзи неприемлем; поэтому он вместо того, чтобы говорить о «двух птицах», упомянул о «грядущем будды Мироку». Говорить о жизни в мире ином было бы тут неуместно:

«По горю тому,
Что терплю в настоящем
За прежнюю жизнь,—
В грядущем мне также
Надеяться не на что, знаю!»

Судя по этим стихам, можно было думать, что все-таки душа у Югао была неспокойна!

При свете заходящей предутренней луны женщина призадумалась: так нежданно все это произошло и так волновало своей неизвестностью. Призадумалась она и заколебалась. Пока Гэндзи убеждал ее, луна вдруг скрылась за облаками, и стал очень красив этот вид светлеющего неба. Гэндзи торопил ее,— пока еще не стало совсем неудобно: у всех на глазах,— и легко подсадил ее в экипаж. Вместе с Югао села и Укон.

Когда они добрались до одного уединенного домика, здесь же, поблизости, Гэндзи,— пока вызывали смотрителя,— оглядывал это жилище: в полуразрушенных воротах разрослась густая трава, под деревьями стояла совершенная темень. Туман был так густ и роса так обильна, что когда Гэндзи стал поднимать занавески у экипажа, то сильно намочил свои рукава.

«Никогда я не бывал еще в таких делах! Да... нелегко все это...» — подумал он.

«В древности, когда-нибудь
Случалось, чтоб блуждали
Люди так, как я?
Ответь же, о неведомый,
Мой предрассветный путь!»

«А тебе все это — не внове, вероятно?» — обратился он к Югао.

Та смущенно-стыдливо ему возразила:

«Гребни гор
Не знают...
А луны заходящей
На небе высоком
Уж нет и следа!»

«Мне отчего-то очень грустно!» — сказала она, и как будто чего-то боялась, чего-то страшилась.

Гэндзи со смехом подумал: «Это оттого, что она привыкла к людным местам!»

Приказав ввести колесницу, он стоял и ждал,— прислонив экипаж к балюстраде,— пока приготовляли им покои в западной части дома. Укон с восхищением смотрела на него, и ей припомнилось прошлое. Видя, как хлопочет смотритель, старательно устраивая все, она догадалась, кто таков возлюбленный ее госпожи.

Хоть и делали все на скорую руку, но все же убрали все очень красиво.

Слуг у Гэндзи — в надлежащем количестве — не было, и смотритель подумал: «Как это неудобно!»

Этот смотритель был известен Гэндзи уже давно, так как ему приходилось бывать в доме его тестя-министра. Поэтому, приблизившись к Гэндзи, он предложил:

«Не позвать ли кого-нибудь для услуг?»

Но Гэндзи сразу же заставил его сомкнуть уста:

«Я нарочно искал такой дом, где б никого не было. Смотри, не проболтайся никому!»

Смотритель подал изготовленную наспех закуску,— но прислуживать за трапезой было некому.

И отошел Гэндзи ко сну — в непривычной для него обстановке.

Вышло, что завязал он союз совсем в духе стихотворения о «Бесконечной реке»...

Солнце стояло уже высоко на небе, когда Гэндзи поднялся с ложа. Собственными руками он поднял шторы. Вокруг было все страшно запущено и дико, никого из людей не было видно. Взор свободно охватывал далекое пространство, и купы дерев там имели вид весьма древний и мрачный. Ничего не было заметно особенного и среди растительности тут, вблизи. Все — «сплошное осеннее поле», как говорится в стихотворении. Пруд тоже был занесен весь листвою и имел очень унылый вид.

В отдельной пристройке были устроены жилые помещения, и там, по-видимому, кто-то жил. Однако их покой был далеко оттуда.

«Какое унылое место! — произнес Гэндзи.— Надеюсь, что хоть демоны-то оставят нас здесь в покое...»

Лицо Гэндзи все еще было сокрыто под маской, но теперь он подумал: «И женщине это должно быть неприятно, и — на самом деле: не стоит ставить здесь такую преграду между ею и собой». Поэтому он обратился к ней и сказал, развязывая тесемки маски:

«С вечерней росой
Связки свои распускают
Лепесточки цветка!
Ради тебя, о союз, что завязан
Случайно на длинном пути...»

«То — блестки росы... Ну, что ты скажешь на это?»

Югао в ответ на это, бросив взгляд на него, тихо проговорила:

«Блистаньем как будто
Тебе показалась
На «ликах вечерних» роса...
То — глаз твой ошибся
В тенях предвечерних!»

«Какой прелестный ответ!» — подумал Гэндзи. Весь вид его, чувствующего себя так свободно, открытого для нее сполна, поистине не имел ничего равного себе на свете и так не шел к этому дикому месту.

«Я все время пенял на тебя за то, что ты так таишься от меня,— и решил даже, что не откроюсь тебе! Но, вот видишь?.. Теперь и ты открой мне, кто — ты? А то — так неприятна эта таинственность»,— проговорил он, обратившись к Югао.

«Дитя рыбака — я...» — ответила та, но все-таки — при всей сдержанности и холодности — стала несколько ласковее.

«Что ж... хорошо! Видно «из-за себя» все, как говорится в стихотворении»,— молвил Гэндзи.

И так — то укоряя друг друга, то в мирной беседе — провели они день.

Пришел Корэмицу и принес им фрукты. Укон наговорила ему всего, и так как все окружающее показалось ему скучным, то к самому Гэндзи он не прошел. «Забавно смотреть, как мой господин так переходит от одной к другой!.. Впрочем, тут можно было догадаться, что женщина окажется такою. Я и сам мог бы с нею прекрасно познакомиться,— но вот уступил ему... Я — человек великодушный!» — хвастливо раздумывал Корэмицу.

Вокруг царила полнейшая тишина. Женщина задумчиво смотрела на вечернее небо, и так как мрак комнаты внушал ей страх, то она перенесла циновку к самому наружному краю веранды и здесь прилегла.

Так смотрели они друг на друга, при лучах вечерней зари,— и даже Югао, чувствовавшая все время неожиданность и странность своего положения, все же забыла о всех своих горестях и стала немного откровеннее и свободнее.

Вид ее — такой — был еще прелестнее, чем обыкновенно. Она тесно прильнула к Гэндзи и так оставалась все время, пугливо вздрагивая. И казалась она ему ребенком, и так жаль было ее ему.

Гэндзи опустил шторы и приказал подать светильник.

«Я так открылся тебе во всем, а ты все еще что-то таишь в своем сердце. Как это горько!» — упрекал он ее.

«Как меня теперь, наверное, разыскивают во дворце! Где меня только не ищут теперь! — раздумывал он, и — странности сердца! — пришло на ум ему, с чувством некоторого раскаяния, и то, как волнуются теперь на шестом проспекте, как шлют там ему укоризны.— Разумеется, это — неприятно. Но — по заслугам!»

Однако, всем сердцем своим обращенная к нему, Югао внушала ему только любовь и жалость, так что он мысленно сравнивал ее с тою: «Слишком пылка та нравом!.. Хорошо, если бы она

бросила кое-какие повадки свои, что так удручают того, кто ее любит».

Прошли первые часы ночи. Гэндзи слегка задремал. Как вдруг он видит, будто у изголовья стоит фигура какой-то странной женщины и говорит ему:

«Ты не хочешь идти к той, кто тебя любит, а приводишь с собой какую-то женщину, ласкаешь ее... Это ужасно и невыносимо!» С этими словами она как будто порывалась схватить ту, что лежала с ним рядом. Гэндзи подумал, что на них кто-то напал,— и в испуге проснулся: огонь в светильнике уже погас.

«Что бы это могло быть?» — подумал он и, обнажив свой меч и положив его рядом с собою, окликнул Укон. Укон, тоже вся перепуганная, подошла.

«Пойди разбуди людей, что спят там, в галерее, и скажи, чтоб принесли светильник!» — сказал он ей.

«Как же я пойду?— воскликнула Укон.— Ведь там темно!»

«Ты — как ребенок!» — улыбнулся Гэндзи и захлопал в ладоши.

Раздалось в ответ только эхо,— и было это очень жутко. Люди, видимо, ничего не слыхали, и никто не явился на зов.

Югао вся дрожала мелкою дрожью и была сама не своя. Обливаясь холодным потом, она почти лишилась сознания.

«Госпожа от природы страшная трусиха! Что теперь делать!» — сказала Укон. Югао на самом деле была такая робкая и тихая, что даже днем только и делала, что задумчиво глядела на небо.

«Бедненькая!» — подумал Гэндзи.

«Придется пойти самому и поднять людей. Хлопать в ладоши,— но это эхо в ответ действует так неприятно. Побудь здесь немного!» — сказал он Укон и, усадив ее подле Югао, направился к двери, ведущей в западную половину, открыл ее,— оказалось что и на галерее свет тоже погас.

Дул легкий ветер. Людей здесь было очень немного. Здесь находились: сын смотрителя дома — молодой человек, находившийся в личном услужении Гэндзи, его дворцовый отрок и обычный выездной слуга. Когда Гэндзи их окликнул, они отозвались и поднялись.

«Принесите свет! Да пусть мой выездной натягивает со звоном тетиву своего лука. Вы же все подавайте голос! Можно ли спать так беззаботно в таком уединенном месте? Корэмицу не приходил?» — спросил Гэндзи.

«Приходил, но так как приказаний от господина не было, то он и ушел, обещав на рассвете явиться»,— отвечал сын смотрителя.

Говоривший это сам был из дворцового караула. Грозно звеня тетивой и с кликами «слу-у-шай!» он направился в помещение смотрителя за огнем.

Гэндзи вспомнился дворец. «Вероятно, там идет сейчас проверка ночных караулов, и как раз в этот момент перекликается ночная стража...» — сообразил он.

Стояла еще глубокая ночь. Вернувшись в свои покои, он дотронулся до Югао: она лежала в прежнем положении. Рядом с нею, уткнувшись лицом вниз, распростерлась Укон. Гэндзи потянул ее и окликнул:

«Что с тобой? Сумасшедшая трусиха! Боишься, видно, как бы не накинулись на тебя в этом пустынном месте какие-нибудь привидения? Я — тут, поэтому никто на тебя не нападет!» — сказал он.

«Какой ужас! Я уткнулась потому, что сердце так колотилось, было так страшно. Но с госпожой, кажется, совсем плохо...» — проговорила Укон.

«Что? Как?» — воскликнул Гэндзи.

Он дотронулся до Югао, но она — уже не дышала! Стал трясти ее, но она лишь подавалась всем его движениям и не выказывала никаких признаков жизни. И Гэндзи в отчаянии понял, что призрак отнял у нее — робкой и слабой — жизнь.

Показался молодой слуга со светильником в руках. Так как и Укон не была в силах даже пошевельнуться, то Гэндзи, заслонив их ширмами, что стояли тут поблизости, сказал слуге:

«Давай сюда!» Однако, ввиду того, что это было не в обычае, слуга постеснялся и не посмел подойти к самому Гэндзи, не смея переступить даже порога.

«Давай же сюда! Сейчас не до церемоний!» — подозвал его тот.

Смотрит Гэндзи и видит, что у изголовья Югао опять тень — той самой женщины, что представлялась ему во сне. Появилась — и сразу же исчезла.

«Я слышал о таких вещах в старых сказаниях,— и это так необычно и страшно! Но что же случилось с нею?» — подумал он и в душевном смятении, не помня самого себя, лег рядом с Югао, звал ее, тряс,— но она становилась все холоднее, и дыхания у нее уже не было вовсе.

Сделать что-либо было уже нельзя. Не было никого, кому можно было бы довериться и с кем посоветоваться. В таких случаях можно было бы найти помощь у бонзы, но не было и такого. Гэндзи старался крепиться, но — был еще сам молод, поэтому при виде Югао, которую постигло такое несчастье, он не знал, за что взяться. Крепко обнимая ее, он воскликнул:

«Возлюбленная моя! Вернись к жизни! Не давай мне столкнуться с таким горем...» Но она оставалась бесчувственной, и жизнь от нее уже отошла.

Наконец Укон,— несколько прошло то состояние, при котором она могла лишь восклицать: «Ах, какой ужас!» — разразилась отчаянными рыданиями.

Гэндзи вспомнил один подобный случай, когда в Южной палате дворца злой демон однажды напал на министра. Стараясь овладеть собою, он прикрикнул на Укон:

«Она, может быть, еще и не совсем умерла... А ты так кричишь, да еще ночью». Однако и сам он метался из стороны в сторону и не находил себе места.

Обратившись к слуге, он сказал:

«На госпожу напало здесь какое-то страшное существо, и она теперь сильно страдает. Ступай сейчас же туда, где остановился Корэмицу, и скажи ему, чтоб он немедленно шел сюда. Если там окажется и тот самый монах, скажи потихоньку и ему, чтоб приходил сюда. Да не наделай шума, чтоб не услыхала моя кормилица монахиня. Она относится неодобрительно к таким моим похождениям». Так говорил он, а у самого стеснило всю грудь. С отчаянием он подумал: ведь это он убил ее!.. Ко всему этому и страх одолевал его беспримерно.

Было, вероятно, уже за полночь. Ветер становился все более пронзительным, и шум от сосен тяжело отдавался в ушах. Какие-то неведомые ему птицы кричали хриплым голосом. «Верно, совы...» — подумал Гэндзи. Что бы ни хотел он предпринять — вокруг него не было слышно ни одного человеческого голоса. «И зачем я забрался сюда, в это жалкое жилище!» — каялся он, но было уже поздно.

Укон, сама не своя, прижималась к Гэндзи и дрожала смертельною дрожью. «Еще и с этой что-нибудь случится! — думал Гэндзи и крепко держал ее в своих руках.— Выходит, что я один сохраняю присутствие духа... Неужели нельзя ничего придумать?»

Свет в светильнике едва-едва мерцал; на ширмах, стоящих в углу комнаты, то там, то здесь мелькали тени, слышался звук шагов, как будто кто-то ходит; сзади, казалось, кто-то подходит... «Скорей приходил бы Корэмицу!» — раздумывал Гэндзи.

Было точно неизвестно, где должен был заночевать Корэмицу, и пока его разыскивали, наступил уже рассвет,— время тянулось; Гэндзи казалось: «Целая вечность».

Наконец вдали послышалось пение петуха. «И за какие грехи терплю я теперь вот все это? Не наказание ли это за то, что я обратил свои взоры на ту, на которую не смел? И теперь это —

урок мне на всю жизнь. Как ни скрывать, все равно от света ничего не скроется. Узнают и при дворе; об этом станут говорить решительно все; даже злые мальчишки — и те станут насмехаться. И приобрету я в конце концов самую глупую репутацию...» — носилось в голове у Гэндзи.

Появился наконец Корэмицу. Обычно он и поздней ночью, и ранним утром — всегда служил желаниям своего господина,— и как раз именно в сегодняшнюю ночь его при нем не оказалось; да еще и на зов он явился так поздно. «Негодный!» — думал Гэндзи и, призвав его к себе, не был в силах приступить к рассказу,— не мог ничего сразу выговорить.

Укон, слыша, что пришел Корэмицу, припомнила, как все это шло с самого начала,—и зарыдала. Не мог больше выдерживать и сам Гэндзи. До этого момента он сохранял присутствие духа и поддерживал Укон, теперь же — при Корэмицу — он не мог более совладать с собой: почувствовал, как велико горе происшедшего, и некоторое время только рыдал, не будучи в силах остановить свои слезы.

Так, помедлив немного, он обратился к Корэмицу:

«Тут произошло странное событие. Сказать ужасное — мало... Случилась неожиданная беда с Югао... Нужно хотя бы начать чтение сутр, нужно приняться за дело! Нужно начать моления... Я же говорил, чтоб пришел и монах...» — сказал он.

«Тот ушел вчера в монастырь. Да, действительно неожиданный случай! Она и раньше чувствовала себя нездоровой?»

«Нет, совсем нет!» — отвечал Гэндзи.

Вид его — всего в слезах — был так трогательно-прелестен, что взиравший на него Корэмицу расплакался сам.

Будь здесь люди пожилые, прошедшие чрез жизненный опыт,— они, несомненно, нашлись бы при подобных обстоятельствах, но все трое, здесь находившиеся,— Гэндзи, Корэмицу, Укон,— были еще молодежь и растерялись.

«Обращаться к смотрителю дома — не стоит. Сам он-то человек верный, но тут замешаются всякие родные, и они, конечно, проболтаются. Знаете что? Уезжайте отсюда!» — сказал Корэмицу.

«Да где же найдешь место более уединенное, чем это?» — возразил Гэндзи.

«Это верно! В доме госпожи Югао — много женщин. Они примутся горевать, плакать, подымут переполох... Вокруг — соседи, найдет масса людей, что обвинят нас,— и дело получит огласку. Вот если б в монастырь в горах! Там вообще устраивают различные похороны, и дело могло бы пройти незамеченным»,— говорил Корэмицу и после некоторого раздумья добавил: — «Переве-

зем госпожу в один монастырь, где живет одна моя знакомая женщина, постригшаяся в монахини. Она приходится кормилицей моему отцу и теперь в очень преклонных летах. Народу там, положим, довольно много, но все-таки место тихое»,— предложил Корэмицу.

Было уже начало утренней зари, когда Корэмицу вывел экипаж. Гэндзи был не в силах поднять Югао, поэтому Корэмицу, обернув ее циновкой, положил в экипаж сам. Она была прелестна,— миниатюрная и не вызывающая такого неприятного чувства, как обычно мертвые. Покрыть ее всю не удалось, поэтому на край экипажа вылезли ее волосы. При виде их у Гэндзи помутилось в глазах, его пронизала жалость и скорбь; и захотелось ему быть с нею до самого конца. Но Корэмицу заявил:

«Садитесь скорее на коня и поезжайте домой! Скоро уже утро — и начнет толпиться народ». С этими словами он подсадил Укон в экипаж к Югао. Ввиду того же, что лошадь свою он предоставил Гэндзи, то сам отправился пешком, подоткнув полы своей длинной одежды.

Путешествие в таком виде было для него совершенно неожиданным и непривычным, но он о себе и не думал, видя, как страдает Гэндзи, и жалел его.

Гэндзи, как во сне, прибыл к себе домой.

Домашние встретили его возгласами:

«Где это господин был? У господина очень нехороший вид!»

Но Гэндзи прошел прямо к себе в опочивальню и, сжимая грудь, погрузился в печальные думы: «Почему я не отправился в экипаже вместе с нею? А вдруг она очнется... Какое будет у нее чувство? Ведь она с горечью решит: «Гэндзи бросил Югао и ушел от нее!»

В душевном смятении он думал то одно, то другое... и чувствовал, что всю грудь его захолонуло. Разболелась голова, в теле начался жар; мучился он чрезвычайно. «Как бы и мне не окончить так же печально свои дни!» — думалось ему.

Солнце стояло уже высоко, а Гэндзи все еще не вставал с постели. Все дивились и уговаривали его хоть съесть что-нибудь, но Гэндзи только терзался и чувствовал себя очень плохо. Явился посланный из дворца: оказывается, государь был очень обеспокоен тем, что Гэндзи вчера весь день не показывался при дворе. Явилось к Гэндзи и много молодых придворных — сыновей министра, но он приказал впустить к себе одного только Тюдзё — и то на минуту. Разговаривал с ним он чрез занавеску.

«У меня есть кормилица. Еще с пятой луны этого года она сильно занемогла. Постриглась в монахини, приняла обеты и, может быть, от этого некоторое время чувствовала себя лучше, но вот

с недавнего времени болезнь снова вернулась к ней, и она очень ослабела. Все говорила, что ей очень хочется еще хоть разок повидать меня, и так как я с детских лет привык к ней и понимал, что она может счесть меня бессердечным, то и отправился к ней. В доме же у нее был один слуга, который болел, и как раз в этот день он внезапно скончался. Я узнал потом, что, стесняясь меня, его унесли только по прошествии целого дня, поэтому и считал, что неудобно теперь, когда идут священные службы, появляться во дворце. Сегодня же с утра — я кашляю, болит голова и вообще чувствую себя скверно. Ты уже прости, пожалуйста!» — сказал Гэндзи.

«Хорошо! Я так и доложу. А то еще вчера вечером во время увеселений государь послал меня разыскать тебя и был недоволен,— ответил Тюдзё и, остановившись на пороге, заметил: — Чем это ты мог так оскверниться? Все, что ты рассказал, как-то не похоже на правду...»

Гэндзи весь сжался:

«Не рассказывай там подробностей! Доложи только, что соприкоснулся, мол, он неожиданно со скверною. Чтобы не придавали этому всему особого значения». Говорил он по виду твердым голосом, но в душе чувствовал невыразимую скорбь. Сердце его ныло, и он не захотел больше видеться ни с кем. Призвав только Куродо-но бэн, он попросил его доложить обо всем государю да послал известить тестя-министра, что случилось с ним осквернение и поэтому он не может прийти.

Когда стемнело, явился Корэмицу. Так как Гэндзи объявил, что на нем — скверна, то все приходившие к нему, постояв минуту, сейчас же уходили, и около него поэтому никого почти не было.

Призвав его к себе, Гэндзи спросил:

«Ну, что? Значит, она скончалась уже наверное?» — и, закрыв лицо рукавом одежды, заплакал. Заплакал и Корэмицу.

«Да! Жизни ее пришел конец! Оставлять ее такое долгое время было неудобно, и я сговорился с одним знакомым мне почтенным старым бонзою на завтра: свершить, если день будет хорош, то, что нужно»,— сказал он.

«А что с той женщиной, что была при ней?» — спросил Гэндзи.

«Похоже на то, что и она не выживет! Сегодня утром она «пыталась было броситься вниз с горы», в полном душевном расстройстве крича: «Я — за госпожою!» Она было объявила, что пойдет расскажет про все у них в доме, но я ее уговорил: потерпи немного! Сначала обдумаем все хорошенько...» — рассказывал Корэмицу, и Гэндзи нашел, что он поступил правильно.

«А я тоже страдаю ужасно. Сам думаю: уже не случится ли что-нибудь и со мною...»

«Ну, что вы там еще придумали!.. Ведь то, что произошло,— вещь неизбежная. Со всеми так будет. Если же вы хотите, чтоб никто об этом не проведал, Корэмицу возьмет все на себя и сделает все, что следует»,— говорил Корэмицу.

«Ты — прав! Я и сам так думаю; но мне тяжело, что из прихоти своего сердца я убил ее понапрасну и теперь понесу на себе ее ненависть и скорбь. Смотри, ты не рассказывай ничего даже сестре своей. Тем более же матери-монахине. Она всегда предостерегала меня, и мне теперь так стыдно перед нею...» Так замкнул уста Корэмицу Гэндзи.

Прислушивавшиеся к этому разговору женщины в доме Гэндзи дивились между собой:

«Что за диковина! Говорят, что осквернился, не идет во дворец, шепчется там и вздыхает...»

Гэндзи снова заговорил о похоронах.

«Смотри сделай же все как следует!»

«Уж конечно! Тут ничего трудного и нет»,— ответил Корэмицу и поднялся, чтоб уходить. Тут Гэндзи в сильнейшей тоске заявил:

«Я знаю, что это — неудобно, но я не в силах не повидать еще раз останки Югао. Я поеду с тобою, верхом на коне!»

Корэмицу считал это лишним, но все же сказал:

«Если вы уж так хотите, то делать нечего. Только едем скорее, чтобы вы успели вернуться домой до ночи».

Гэндзи переоделся в ту самую охотничью одежду, которую он изготовил себе для последнего времени, и вышел из дому.

На сердце у него было мрачно, и страдал он невыразимо. «Что, если и я на этом необычном пути повстречаюсь с такой же напастью?» — волновался он и никак не мог совладать со своею печалью.

«Увижу теперь все, что осталось от Югао, и когда, в каком мире мне придется повстречаться с ней опять?» — думал он.

Отправился он, как обычно, с одним Корэмицу и слугою.

Путь показался ему очень длинным. На небе светила полная луна. Впереди — у реки Камогава — мерцали огоньки. При виде кладбища,— как ни было оно неприятно в обычное время,— теперь он не почувствовал ничего.

В сильнейшем волнении прибыл он к месту. Место было мрачное; рядом со столиком стояла часовенка: здесь жила отдавшаяся исполнению буддийских обетов монахиня; и все вокруг имело весьма печальный вид. Сквозь щели домика просвечивал огонек светильников. Изнутри доносился голос плачущей женщины, снару-

жи же беседовали друг с другом двое-трое бонз. Они читали молитвы,— причем нарочно не возвышали голос. В самом монастыре вечерние службы уже закончились, и вокруг была тишина. Только в стороне Киёмидзу виднелось много огоньков, и там было много народу.

Когда бонза, сын этой монахини, начал мерным голосом возглашать священную сутру, у Гэндзи из глаз хлынули безудержные слезы.

Он вошел в домик. Спиною к свету за ширмой лежала Укон. Видно было, что она находилась в состоянии полного отчаяния. Взглянув на Югао, Гэндзи не ощутил никакого неприятного чувства: она была необычайно прелестна, и вид ее ничуть не изменился против обычного. Схватив ее за руку, он воскликнул:

«Дай мне еще хоть раз услышать твой голос! И что это за судьба наша такая? Так недолго пришлось мне любить тебя всем сердцем, и вот теперь ты бросила меня и погрузила в пучину смятения. Это ужасно!» И, не щадя голоса, он рыдал без конца. Бонзы, не зная, кто такой этот молодой господин, дивились всему и сами проливали слезы.

Обратившись к Укон, Гэндзи проговорил:

«Поедем со мною ко мне в дом!»

Но та отвечала:

«Как я могу расстаться с той, к кому так привыкла, с кем не разлучалась в продолжение долгих лет, с самого детского возраста? К тому же и люди станут расспрашивать меня: «Что сталось с госпожою?» И само по себе все это печально, а когда станут еще наговаривать на меня, что я виновата, будет совсем ужасно! — говорила она и в душевном смятении рыдала.— Вслед за дымом ее костра — последую и я!» — воскликнула она.

«Конечно, все это так! Но ведь таков уж весь этот мир. Разлука, разумеется, не может не вызывать чувства скорби, но ведь, что ни делай, всем нам предстоит такая участь... Успокойся и положись отныне на мою помощь! — убеждал ее Гэндзи, а в то же время сам был совершенно безутешен.— Я говорю так, а сам чувствую, что не выживу долее...»

Тут вмешался Корэмицу:

«Ночь уже близится к рассвету. Пора ехать обратно»,— сказал он, и Гэндзи, оглядываясь все время назад, со стесненным сердцем вышел из домика.

Дорога была покрыта росой, стоял густой предрассветный туман, и у Гэндзи было чувство, будто он блуждает неизвестно где. Всю дорогу в мыслях у него была Югао, лежавшая совсем как живая, прикрытая его пунцовой одеждой, той самой, что прикрыва-

лись они вдвоем на ложе. «Отчего так случилось?» — раздумывал он всю дорогу.

Видя, что Гэндзи не в состоянии твердо держаться на коне, Корэмицу ехал рядом и поддерживал его. Однако у береговых валов реки Камогава Гэндзи все же упал с коня и в бесконечном душевном волнении воскликнул:

«На такой дороге мудрено ли не потеряться совсем? У меня такое чувство, что вряд ли доберусь до дома...»

Взволновался и Корэмицу. «Хоть и говорил он, что чувствует себя крепким, но все же не стоило брать его с собою в такую дорогу!» — подумал он и в волнении то омывал руки в речной воде, то взывал к богине Каннон и не знал, что ему и предпринять.

Наконец, Гэндзи с трудом овладел собою и, молясь в душе Будде, кое-как поддерживаемый Корэмицу, добрался до дому.

Домашние только вздыхали по поводу его таких загадочных хождений позднею ночью и говорили друг с другом:

«Как это нехорошо! Последнее время господин наш как-то неспокоен, более чем обыкновенно; зачастил ходить по тайным свиданиям. Вчера он чувствовал себя таким нездоровым... И зачем ему понадобилось где-то скитаться?»

Гэндзи на этот раз слег уже непритворно и заболел не на шутку. Прошло два-три дня, и он совсем ослабел от болезни. Узнали про это во дворце и горевали там безгранично. Моления о его здравии возносились беспрерывно. Жертвоприношения, молебны, чародейские очищения — всего и не перечесть! Все переполошились: «Уж не будет ли и здесь, как всегда: люди беспримерно прекрасные — долго не живут на земле?»

Но, даже томясь и страдая, Гэндзи призвал к себе Укон и поместил в своем доме, в покое неподалеку от его собственного. Корэмицу же хоть и сам был в большом беспокойстве, но, овладев несколько собою, помогал ей устраиваться возле Гэндзи, так как она пребывала в состоянии полного отчаяния.

Ввиду того, что Гэндзи, едва только он чувствовал временное облегчение в своих страданиях, сейчас же призывал к себе Укон и держал ее возле себя, то скоро Укон ближе сошлась со всеми. Была она в темной одежде, и наружность ее была не из очень красивых, но все же она была молода и назвать ее безобразной было нельзя.

«Видимо, и я не выживу на этом свете... Разделю ее судьбу, судившую ей такие недолгие дни. Ты утратила в ней свою долголетнюю опору и, верно, очень скорбишь... Я и думал, что в утешение тебе буду — если выживу — обо всем заботиться для тебя, но скоро, наверно, и сам я присоединюсь к ней! Как все это грустно!..» — говорил ей Гэндзи наедине. Он был так слаб и так плакал,

что Укон, забыв о своей собственной судьбе, с жалостью помышляла только о нем.

Все домашние Гэндзи носились по всему дому, волновались. Из дворца летели посланцы чаще, чем капли дождя. Гэндзи, слыша, как горюет сам государь, преисполнился признательности и старался крепиться.

И тесть его, министр, всячески заботился о нем: являлся к нему ежедневно, устраивал ему все, что нужно; и, может быть, от этих забот,— как ни был слаб, как ни мучился Гэндзи, более двадцать дней,— но болезнь стала сдавать. В ту самую ночь закончился срок и его очищения от скверны, и Гэндзи переехал во дворец, побуждаемый к тому безутешным состоянием государя.

Тесть сам приехал за ним в своем экипаже и усиленно уговаривал его быть осторожным: «Смотри! Ведь болезнь!.. и то, и другое...»

В первый момент Гэндзи казалось, что он — будто бы и не он сам; будто он перешел в какой-то иной мир.

Двадцатого числа девятой луны болезнь его прошла совсем, и хоть похудел он очень сильно, но стал прекрасным больше прежнего; только остался задумчивым и постоянно со слезами на глазах. Одни его порицали, другие только говорили: «Тут какое-то наваждение!»

Однажды, тихими сумерками, привел Гэндзи к себе Укон и стал с нею беседовать.

«Очень странно все это! Отчего твоя госпожа так и не открыла мне, кто она такая? Пусть и была бы она «дочерью рыбака, не знающей имени»... Нет, она вообще как-то таилась от меня, не обращая внимания, что я ее так любил. Это очень горько!» — говорил Гэндзи.

«Отчего она так старательно скрывала? — возразила Укон.— Видите ли, некоторое время спустя она бы вам, несомненно, сказала свое имя, вначале же все случилось так странно и неожиданно, что она сама говорила мне, будто все это кажется ей каким-то сном. Вы ведь тоже скрывали свое имя... «Что ж, дело его!» — говаривала госпожа и с горечью думала, что вы ее только обманываете...» — говорила Укон.

«Ужасная упрямица! У меня никогда и в мыслях не было скрывать что-либо от нее. Просто я не привык еще к таким поступкам, что не разрешаются светом, и не знал, как устроить лучше. Подумай: прежде всего я имел бы выговор от государя,— и вообще вокруг меня много разговоров. Пошучу с кем-нибудь — и то сейчас же делают из этого целую историю. Положение мое очень затруднительное! Однако то обстоятельство, что с того самого случайного вечера ее образ сразу запал мне в сердце и вы-

шло так, что мы с нею сблизились, свидетельствует о том, что здесь — не что иное, как судьба! Раздумываешь теперь о случившемся и преисполняешься грустью. Вновь и вновь возвращаешься мыслью к прошлому, и так горько на душе... Укон, расскажи мне о ней подробнее! Чего теперь скрывать? К тому ж — вот на сорок девятый день, в день помина, когда я закажу написать иконы будд,— надо же мне хоть в мыслях иметь: для кого это все...» — просил Гэндзи.

«Скрывать теперь действительно нечего. Я думаю, что и она сама теперь, после кончины своей, жалеет, что все время таилась...» — согласилась Укон и стала рассказывать.

«Родители ее умерли рано. Отец ее был Самми-но тюдзё. Он очень любил дочь и всегда считал, что его положение не может обеспечить ей завидную участь. Вскоре после его кончины госпожа как-то случайно повстречалась с господином Тюдзё, тогда еще бывшим только в звании Сёсё. Три года — при самом искреннем чувстве — длилась их связь, но вот прошлой осенью от его тестя, «правого министра», последовали письма с угрозами, и она, всегда очень робкая и пугливая, сильно перепугалась и решила перебраться потихоньку в дом, где жила ее кормилица, в западной части города. Там было очень скверно и жить было трудно, и госпожа собиралась в деревню, но как раз в этом году дорога, по которой ей надлежало ехать, оказалась закрытой, и, чтоб не подвергаться беде, она и перешла вот в тот ужасный дом, где вы ее открыли, о чем она, между прочим, всегда сокрушалась. Она ведь была так непохожа на всех других: застенчивая, всегда со стыдом помышлявшая, что другие могут узнать об ее связи... А вам казалось, будто у нее нет сердца!..» — говорила Укон.

«Вот оно что!» — подумал Гэндзи, и становилась ему Югао все милее и милее.

«Тюдзё одно время горевал, что потерял из виду ребенка...»

«Был у нее такой?» — спросил Гэндзи.

«Был. Родился весною позапрошлого года. Это была девочка, такая прелестная»,— ответила Укон.

«Где же она теперь? Не говори никому ничего и отдай ее мне! Я остался теперь ни с чем, и мне — тяжко. Девочка же будет служить мне памятью о Югао. Я буду так рад ей,— говорил Гэндзи.— Можно было бы все рассказать и Тюдзё, но этим навлечешь только на себя его неприязнь,— продолжал он.— Я не думаю, чтобы при всех этих обстоятельствах кто-нибудь стал бы меня порицать за то, что я буду ее воспитывать. Впрочем, ты и кормилице скажи что-нибудь другое...»

«Это будет очень хорошо! — воскликнула Укон.— А то так жалко бедняжку, что должна она расти в доме этой кормилицы,

в западной части города. Ее ведь поместили туда только потому, что не было надежного человека, который бы мог ее воспитать»,— говорила она.

Стояла сумеречная тишь, вид неба был прекрасен: средь увядающих растений садика перед покоем Гэндзи хрипло звучали голоса певчих осенних цикад; листва на клене начинала немного алеть, все было так красиво, как будто нарисовано на картине.

Укон, оглядевшись вокруг, почувствовала неожиданно для самой себя, как хорошо жить в этом доме! Вспомнила о том доме — жилище Югао, и было сладко-печально это воспоминание.

В бамбуках послышались противно-протяжные крики птиц, и Гэндзи с любовью вспомнился облик Югао, так пугливо тогда — в том уединенном жилище — внимавшей этим птицам.

«Сколько лет ей было? Удивительно... Не в пример всем другим, она всегда казалась такой слабой и юной! Верно, все это оттого, что была она не жилицей на этом свете...» — проговорил Гэндзи.

«Ей было девятнадцать лет! — ответила Укон.— После того как умерла моя мать и оставила меня одну на свете, отец госпожи обласкал меня и все время воспитывал подле дочери. Подумаю теперь об этом и представить себе не могу: как это я все еще могу жить на этом свете?! Теперь я так раскаиваюсь, что тогда недостаточно любила ее, такую добрую и нуждающуюся в поддержке... И, наоборот, сама привыкла искать в ней опоры...» — говорила Укон.

«Именно такие женщины мягкого нрава нам и милы, и наоборот: себе на уме, никак не желающие подчиниться — так неприятны! Я сам по характеру человек нетвердый и неустойчивый, и — при такой ее мягкости — мог бы бросить ее и обмануть. Но те, кто так скромен, так готов подчиниться всякому нашему желанию, больше других привязывают к себе наше сердце. Когда видишь, как стараются они поступить так, как мы хотим, так желаешь их и так любишь!» — говорил Гэндзи.

«Она была именно такой, каких вы любите. Ах, подумаешь обо всем, как досадно, что все так случилось!» — опять заплакала Укон.

Небо тем временем заволоклось облаками, повеял прохладный ветер, и Гэндзи в глубокой задумчивости с тоской прошептал:

«Дымок, что вознесся
С любимой костра,—
Облачком вижу...
И вечернее небо
Родным стало мне!»

Укон не дала ему ответа. «Если бы она была тут!» — подумал Гэндзи про Югао, и всю грудь его стеснила тоска. Он вспомнил те звуки от каменных плит, что так навязчиво звучали в ушах тогда, и даже они показались ему теперь милыми. Шепча про себя слова из поэмы: «Эти долгие-долгие ночи...» — он удалился в опочивальню...

ИЗ КНИГИ «СТАРОДАВНИЕ ПОВЕСТИ»

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК СВЯТОЙ ЧУДОТВОР КУМЭ́ ОСНОВАЛ ОБИТЕЛЬ КУМЭДЗИ

В стародавние времена в уезде Ёсино́, что на земле Яма́то, был храм по названью Ворота Благого Дракона. Там некогда жили в затворе двое монахов и подвизались на поприще сянь, желая постичь тайны волшебства и узнать бессмертие. Одного из них звали Ацуми. Другого имя было Кумэ. Однако же Ацуми подвизался прежде Кумэ, он стал сянем, полетел и вознесся на небо.

В свой черед, и Кумэ стал сянем, но в тот самый миг, как возносился он на небо, некая молодка стояла в реке Ёсино и стирала одежды. А стирая одежды, она свои-то подвернула до самых лядвей, так что Кумэ узрел белизну ее лядвей, и помыслы его огрязнились, и он пал перед нею на берег. А потом и женился на ней.

Этот поступок святого чудотвора Кумэ изображен был на дверях во храме Ворота Благого Дракона, там же славный господин Китано удостоил начертать приличную надпись. И то и другое не стерлось от времени — видно и по сей день...

Итак, Кумэ, бессмертный сянь, стал обычайным смертным. Однажды, продавая лошадь, он под бумагою на сделку подписался: «Кумэ, бывший святой чудотвор».

Шло время. И вот, меж тем как та женщина и святой Кумэ жили в добром супружестве, указал государь воздвигнуть в тамошних местах, в уезде Такэти, столицу. Начали сгонять со всей Ямато жителей на ломовую работу. Пригнали туда и Кумэ. Работные давай насмехаться:

— Святой! Эй, святой чудотвор!

Как-то случились тут начальники над работами. Услышали — и вопрошают:

— Отчего и по какой причине зовется сей чудотвором?

Те ответствуют:

— Так, мол, и так. Прежде этот Кумэ жил затворником в храме Ворота Благого Дракона и подвизался на поприще сяпь, и стал он сянем, но в тот самый миг, как возносился он на небо, некая молодка стояла в реке Ёсино и стирала одежды. И увидел он сверху, что она обнажила свои белейшие лядвеи, и помыслы его огрязнились, и он пал перед нею на берег и в одночасье на ней женился. С той-то поры и по этой самой причине он зовется у нас чудотвор святой.

Начальники выслушали их и говорят в шутку:

— Ну что же! Достойный муж: подвизался на поприще сяпь и стал бессмертным сянем! Но не утерял же он разом всего своего волшебного искусства. Так чем перетаскивать множество грузных бревен с места на место, не лучше ли пустить в ход святую мощь и переправить их по небу?!

Кумэ отвечал на это:

— Давным-давно позабыл я премудрость сяней. Перед вами всего только обычайный смертный. Явить подобное чудо мне не под силу!

Так он сказал, а про себя думает: «Вот и сумел я постичь премудрость сяней, но — поддался простец любовной слабости, и огрязнила женщина его мысли! Теперь уж не стать мне больше бессмертным сянем. Но за столько-то лет подвига неужто божество храма не придаст мне хоть малой силы?!

И Кумэ сказал начальникам:

— Так, я помолюсь, пожалуй.

«Расхвастался дурак!» — подумали начальники, но отвечают:

— Весьма, весьма достойное, благое дело!

Тогда Кумэ затворился в дальней укромной часовне, очистился духом и телом и перестал есть! И вот уж семь дней, семь ночей беспеременжно, склонившись главою долу и съединив достойно ладони, умолял Кумэ божество о своей просьбе.

И так минуло семь дней. Начальники, нигде не видя Кумэ, то от души смеялись, а то и недоумевали. Как вдруг на восьмое утро небеса помрачились и стало темно, будто бы ночью. Загрохотал гром, полил ливень, и все затмилось вокруг. Люди ужаснулись, но тут гром замолк и небеса просветлели. И увидели люди, как от южного склона лесистой горы, где у лесорубов была делянка, плывут по небу бревна: большие, средние и малые — и опускаются точнехонько к месту постройки. Начальники затрепетали и низко склонились перед святым Кумэ.

О происшествии было доложено государю. Услышав это и исполнясь благоговения, государь подарил Кумэ тридцать тё земли, свободной от побора. Кумэ обрадовался и на те доходы воздвиг в своем уезде храм. Это и есть теперешняя обитель Кумэдзи.

Затем великий Кобо-дайси удостоил отлить для сего храма медную статую Будды-целителя о трех статях в шесть сяку высотою: то есть по левую руку Будды — бодисатва Солнечный, а по правую руку — Лунный. Оный великий наставник обрел во храме сутру Великого Солнца, и она послужила ему руководством, как быстрее сделаться буддой, и тогда отправился он в страну Тан, дабы причаститься учения Истинного Слова.

Рассказывают, что храм этот славится чудесами, а я рассказал вам лишь то, что слышал от других.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ОДИН МОНАХ С ПОМОЩЬЮ БОГА БИСЯМОНА ОБРЕТАЕТ ЗОЛОТОЙ СЛИТОК

В стародавние времена на Священной горе Хиэ́й подвизался один монах. Ученость его была обширна, однако бедность безмерна. У него не оказалось надежного числа прихожан, и он не мог оставаться на Горе, а потому спустился однажды в столицу и поселился в обители «Облачный лес». Родители у него умерли, не с кем было перемолвиться хоть словом, не на кого опереться в трудную пору, и он часто ходил в храм, что на холме Курама́, помолиться о том Бисямону, богу — подателю счастья.

Как-то во второе десятидневье девятой луны он отправился, по обыкновенью, в храм на Курама. На возвратном пути, когда достиг он улицы, что близ моста Идзумо, стало темнеть. Сопровождал его один только бедный служка. Луна уже ярко сияла, и монах ускорил шаги, как вдруг в переулке к северу от Первой Столичной дороги увидел он юношу лет семнадцати с виду, прелестной красоты, в белой одежде, небрежно схваченной узкою опояской. Вышло, что им по пути. «Юноша на дороге один, без наставника,— странно»,— подумал монах. Тут юноша подошел к нему поближе и говорит:

— Куда изволит идти его преподобие?

— В обитель «Облачный лес»,— ответил монах.

— Не возьмете ли и меня с собою?

— Но ведь я не знаю, кто вы, о достойный юноша. Как быть, прямо-таки ума не приложу! А вы, в свой черед, куда направляетесь: к своему ли наставнику, в дом ли почтенных родителей? Вы просите взять вас с собою, и я охотно исполнил бы вашу просьбу, но не подумают ли обо мне дурно?

— О, я понимаю почтенного святого, но выслушайте и вы меня! У меня был наставник, но мы поссорились, и вот уж десять дней я бреду незнамо куда. У меня были родители, но я лишился

их еще во младенчестве. О, если бы кто-нибудь пожалел меня и приветил, я пошел бы за ним куда угодно!

Монах сказал:

— Как радостно слышать это! Пусть говорят потом, что хотят, но уж братии не в чем будет меня упрекнуть. Но что ждет вас в келье монаха? Ведь кроме меня и этого жалкого служки, там нет никого, и вам будет скучно и одиноко.

Так они шли, беседуя друг с другом, меж тем цветущая прелесть юноши перевернула все мысли монаха, и он подумал: «Ах, будь что будет! Я возьму его с собой!» И они вместе взошли в обитель «Облачный лес».

Монах затеплил светильник и увидел, какая белая у него кожа, какое пухленькое лицо; все в юноше, всякое его движенье было верхом очарования и изящества. «А ведь он, наверное, не из простого рода»,— подумал монах и спросил:

— Кем был ваш почтенный отец, дозвольте узнать?

Но юноша не отвечал.

В эту ночь монах приготовил постель, против обычая, тщательно, [...][1] и юноша расположился ко сну. Монах улегся подле него, они долго беседовали, а потом уснули.

Наутро монахи из соседних келий увидели юношу и в один голос [...] хвалили [...]. Монах никому не желал его показывать, не выпускал даже на галерею, но один любовался юношей, ежеминутно помышляя только что о нем. Однако что-то все время смущало его, и вот вечером следующего дня он приблизился к юноше (а он уж вовсе к нему привык) и говорит:

— С тех пор как я родился в этом мире, кроме материнской груди, я никогда не касался тела женщины, а потому не могу в точности судить, что оно такое. Не знаю отчего, но кажется мне, что в вас таится некое различие в сравнении с обыкновенным мальчиком. Что это? Быть может, вы и на самом деле женщина? Коли так, скажите мне. Нет, я не покину вас, но все же мне хотелось бы знать.

Юноша улыбнулся.

— Ну, а если я взаправду женщина, разве это дурно?

— А как же! Раз я привел с собой женщину, я должен подумать о том, что скажут люди. А что помыслит о нас господин Трех сокровищ?!

— Думаю, что на меня Будда не станет сердиться. Кроме того ведь все видели, что вы пришли с мальчиком. И если даже я женщина, разве вы не можете вести себя со мной так, словно я мальчик?

---

[1] Пропуски в тексте оригинала.

Услышал это монах и совершенно уверился в том, что юноша на самом деле женщина. Ему и страшно было, он и раскаивался, но уж юноша завладел всем его существом, и удалить его от себя монах был не в силах. Он улегся спать и отгородился от юноши одеждой. Однако святости он был невеликой и чрез некоторое время пододвинулся и нежно прильнул к нему. «Ах,— подумал он,— этот юноша, хоть и не совсем обыкновенный, зато вряд ли сыщется на свете такой же милый и желанный! Это, несомненно, предопределение свыше!» Потом монахи из соседних келий не однажды рассуждали друг с другом: «И как это он, при его бедности, сумел заполучить столь прекрасного юношу?»

А некоторое время спустя юноша вдруг почувствовал себя дурно и перестал есть. Монах встревожился, а юноша говорит:

— Кажется, я беременна. Вот так и знайте!

Монах воскликнул:

— Ах, беда какая! О, я несчастный! Ведь все видели, что я пришел с мальчиком? А когда родится ребенок, как быть?

— А вот как — никому ничего не говорить. Я не доставлю вам хлопот. Когда же срок исполнится, прошу вас, не надо шуметь.

Монах не находил себе места от страха и от жалости к юноше. Меж тем луна на небе стала полной и яркой. Юноша в беспомощности своей говорил о печальном и то и дело принимался плакать. Монах был тоже сильно опечален. Юноша сказал:

— Ох, как мне больно. Я, верно, скоро рожу.

Монах в отчаянье поднял шум.

— Умоляю вас, замолчите,— прошептал юноша.— Лучше постелите циновки в отдельном домике.

Монах сделал все, как тот велел, и мнимый юноша туда вошел. Вскоре роды закончились, и чрез некоторое время монах решился заглянуть в домик. Тут он увидел нечто, запеленатое в женскую одежду, мнимый же юноша куда-то исчез. Монах несказанно удивился, подошел и осторожно развернул сверток: ребенка там не было, а в изголовье лежал камень. Замирая от страха, зажег он огонь. От камня полилось золотистое сияние. Монах пригляделся — перед ним был слиток золота.

Мнимый юноша не появлялся более, но часто монаху виделся в мечтах его смутный облик, и тогда печаль и тоска охватывали сердце!.. И все же он думал: «Это святой Бисямон из Курама все устроил, чтобы помочь мне». Он потом разрезал этот слиток на дольки, постепенно продавал их и сделался богатым.

Не с тех ли пор стали говорить: «Не дитя, а чистое золото!»

Случай сей передавали послушники обители «Облачный лес», а я рассказал лишь то, что рассказали мне.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ВОР, ПОДНЯВШИСЬ НА БАШНЮ РАСЁМОН, УВИДЕЛ МЕРТВУЮ ЖЕНЩИНУ

В стародавние времена явился в столицу некий человек, занимавшийся воровским ремеслом. Пришел он туда из земли Сэцу. Солнце еще не село, было светло, и он решил укрыться в глубокой тени под воротами Расёмон. Улица Судзяку была многолюдна. «Вот разойдется немного толпа, тогда и возьмусь за дело»,— подумал он и стал ждать. Вдруг он услышал шаги. Кто-то подходил к воротам со стороны улицы Горного замка. Вор поспешно поднялся по лестнице наворотной башни. И тут он увидел какой-то свет в темноте. Через решетчатое окошко вор заглянул в комнату. Там лежал труп молодой женщины. В изголовье горел светильник, а рядом сидела дряхлая седая старуха. Склонясь над мертвой, она выщипывала у нее из головы волосы. Вор никак не мог взять в толк, зачем она это делает. «А может быть, старуха — ведьма? — испуганно подумал он.— Или, может, она тоже мертвая?..» Как ни страшно ему было, он все же решился войти. Тихо отворил дверь, вынул меч, подскочил к старухе.

— Ах, низкая тварь! — закричал он.

Старуха отпрянула и нелепо замахала руками.

— Зачем ты это делаешь? — спросил вор.

Та отвечала:

— Хозяйка моя умерла. Хоронить ее некому, вот ее и принесли сюда... А волосы я рву для париков — погляди, какие у нее богатые волосы. Чем орать, лучше пособил бы!

Вор молча стащил с мертвой одежду, сорвал платье со старухи, отнял у нее надерганные пряди волос, сбежал вниз по лестнице — и был таков!

К слову сказать, в этой башне лежало множество трупов. Сюда свозили всех, кого некому было хоронить.

Обо всем этом рассказывал многим людям упомянутый вор, а я только в точности передаю то, что от них услышал.

ПОВЕСТЬ О ТОМ, КАК ФУДЗИВАРА АКИХИРА В МОЛОДОСТИ НАВЕЩАЛ ОДНУ ДАМУ

В стародавние времена жил знаменитый наставник в изящной словесности Фудзивара Акихира, Глава Палаты Наук.

Как-то, будучи еще молодым человеком, вступил он в знакомство с некоей дамой, служившей при дворе, и тайно ее навещал.

Однако же оставаться у ней ночью было небезопасно, и он сговорился с одной дворцовой служанкой, которая жила по соседству: «Я встречу ее в твоем доме, и мы проведем там ночь»,— сказал он ей.

Муж ее в ту пору куда-то отлучился, и кроме нее никого в домике не было. «Чего же еще желать!» — сказал Акихира. А поскольку спальня служанки оказалась мала и узка, только-только для нее одной, то Акихира и его даме было очень тесно; тогда они покинули спальню и, велев принести из флигеля, где жила дама, циновки, настелили их, устроили себе широкое ложе и легли.

Прошло некоторое время с того дня, и вот муж служанки однажды узнает, что жена его сошлась потихоньку с каким-то человеком.

— Как раз сегодня ночью тайный любовник придет к вашей женушке,— сказали ему.

«А я как раз подстерегу его и убью!» — решил он про себя и, известив жену, что будет несколько дней в отсутствии, сделал вид, что уехал, а сам спрятался неподалеку и стал ждать.

Ничего этого не зная, Акихира пришел в домик служанки и повел любовные речи со своею дамою. Настала глубокая ночь. Муж служанки подкрался к самому дому и прислушался. Там тихонько шептались мужчина и женщина. «Так и есть! — помыслил муж.— Значит, мне не солгали»,— и он неслышно проскользнул вовнутрь. Он почуял, что они расположились на его ложе, но не мог ничего разглядеть в темноте. Тогда он подошел поближе к тому месту, откуда раздавалось сонное храпение, вынул нож и, взявшись за лезвие, нащупал грудь мужчины; затем сказал про себя: «Ну, сейчас заколю!» — и занес уж было руку точнехонько над самым его сердцем, как вдруг лунный луч просочился сквозь щели кровли и упал на длинные витые шнуры шаровар «сасинуки». Он их тотчас увидел и удивился: «Чтобы у моей жены и любовник в таких дорогих сасинуки, которые носят лишь благородные господа?! Верно, люди обознались. Как бы не вышло беды!» И в этот миг он услышал какой-то дивный запах. «Вот незадача!» — мелькнуло у него в голове. Он отвел нож и принялся ощупывать разбросанные одежды, но едва он их коснулся, дама вдруг просыпается и говорит нежным, приятным голосом:

— Какой-то человек пришел сюда.

«У моей жены другой голос»,— растерялся муж и отступил от постели.

— Кто здесь? — удивился Акихира.

Услышав голоса, служанка, спавшая подле очага, пробудилась и со страхом подумала: «Вчера муж зачем-то поспешно уехал. А что, если он вернулся, да все перепутал!»

И принялась кричать:

— Ах! Кто это? Воры! Грабители!

Муж услышал ее голос и сразу понял, что на его ложе находилась какая-то другая женщина. Тогда он нашел жену, ухватил ее за волосы и вопрошает:

— Ну, в чем тут дело, отвечай.

— Я уступила свою спальню одной знатной даме, она попросила меня... Я легла здесь. Вы так ошиблись!

Акихира вышел к ним и удивленно спросил объяснений. «Так вот это кто?!» — подумал муж и сказал:

— Изволите ли знать, перед вами доверенный слуга господина правителя Ка́и, такой-то и такой-то. Не ведал я, что ваша светлость изволит здесь почивать. Да еще и не признал близкого родича моего господина. Страшная вина! Ужасная ошибка! Но мне сказали, что так, мол, и так... Вот я и решил подстеречь обидчика и, да не прогневается, ваша светлость, пробрался сюда. Увидел, что здесь мужчина и женщина. «Ах,— думаю,— не пощажу!» — подошел, вынул нож, нащупал, где у мужчины грудь, и занес уж было руку над самым сердцем, но тут луна вышла из-за туч и — о чудо! — увидел я шнуры прекрасных сасинуки вашей светлости. Вот я и подумал: не может человек в таких прекрасных сасинуки прийти к моей жене, что-то здесь не так! Дрогнула у меня рука. Ах, как хорошо, что я заметил ваши благородные сасинуки, а то чем бы все кончилось?!

У Акихира отлегло от сердца и его охватил прямой стыд. Ведь правителем Каи был муж его младшей сестры Фудзивара Киминари, а этот человек — доверенный его слуга! Он нередко бывал у него с разными поручениями своего господина, и Акихира видел его множество раз!

Поистине, невероятно — сия дивная жизнь спасена была милосердием шнуров сасинуки! История эта хранилась в тайне, но те, до кого она все же дошла, говорили, что бывать в подобных сомнительных местах вообще не годится.

А все же это было возмездием за проступки в прошлых рождениях. Вряд ли, конечно, то были проступки, которые караются смертью, ибо, хотя это и был презренный слуга, но он долго раздумывал перед ударом. В ином случае он убил бы его без размышлений.

Ведайте, всякому делу — свое воздаяние, а я рассказал лишь то, что рассказали мне.

ИЗ КНИГИ «ДОПОЛНЕНИЯ К РАССКАЗАМ ИЗ УДЗИ»

О МОНАХЕ С ДЛИННЫМ НОСОМ

В старину жил в Икэноо монах по имени Дзэнтин. Был он приверженцем секты Истинного слова и славился своей святостью.

Он в совершенстве владел искусством волшебства и заклинаний и долгие годы следовал пути, указанному Буддой. Далеко разнеслась молва о его чудотворной силе. То и дело миряне частенько просили его вознести молитвы по разным поводам, а посему жил он в достатке, и ни в храме, ни в кельях монашеских не было следов запустения. Не переводились приношения перед табличками с именами усопших, и не затухали светильники в храме.

Несколько раз в году он приглашал к себе монахов и потчевал их, нередко он читал и толковал для них сутры в храме, поэтому в монашеских кельях всечасно царило оживление. Не было дня, чтобы в бане не грели воду, и всякий раз набивалось туда монахов полным-полно. А со временем в округе появилось множество крестьянских хижин, и в селении тоже кипела жизнь.

Так вот, у этого Дзэнтина был длинный нос — размером в пять, а то и в шесть вершков, и свешивался он ниже подбородка. Цвета он был красновато-лилового, весь покрытый пупырышками и разбухший — ну в точности как кожица мандарина. И, бывало, зудел он несусветно. Тогда Дзэнтин согревал в котелке воду, и, проделав в деревянном подносе дырку, так, чтобы в нее проходил только нос, и тем самым защищая лицо от пламени, просовывал нос в дырку, опускал его в котел с кипятком и, тщательно проварив, извлекал наружу. Нос его от этого делался темно-лиловым.

Затем, положив нос набок на подстилку, он просил кого-нибудь из служек как следует пройтись по нему ногами, и тогда из разбухших пор показывались струйки дыма. Стоило же оттоптать нос посильнее, как из пор высовывались белые червячки, и тогда щипчиками из каждой поры можно было извлечь по такому червячку длиною в целых четыре бу. После этого монах сызнова погружал свой нос в кипяток, и, когда, еще раз хорошенько проварив, вытаскивал его из воды, он сжимался и становился таким же, как у всех людей. Но проходило два-три дня — и он опять вырастал, распухал, как прежде. И так бывало всякий раз. А поскольку чаще всего нос его пребывал распухшим, во время трапезы Дзэн-

тин усаживал против себя одного своего ученика, и тот с помощью деревянной дощечки длиною в сяку и шириною в сун приподнимал и придерживал его нос, покуда наставник не кончал есть. Когда же вместо этого ученика он приглашал другого, а тот с непривычки допускал какую-нибудь оплошность, Дзэнтин сердился и ничего более уже не брал в рот. Посему из всех своих учеников он неизменно отдавал предпочтение первому, и тот всякий раз во время трапезы придерживал его нос.

Но вот как-то случилось, что этот ученик занемог. Дзэнтин собрался было завтракать, но некому было поддержать его нос, и он ужасно огорчился. «Ну как же теперь быть?» — сокрушался он.

Тут один из мальчиков-служек сказал:

— А ведь я мог бы подержать нос господина священника. И нисколько не хуже его всегдашнего помощника.

Услышав его слова, захворавший ученик передал своему наставнику:

— Этот мальчишка говорит, будто сумеет сделать все как полагается.

И поскольку лицом мальчишка был весьма пригож, Дзэнтин призвал его к себе. Мальчик взял дощечку, чинно уселся перед ним и поднял его нос как раз в самую меру — ни слишком высоко, ни чересчур низко.

Отхлебнув рисовой каши, Дзэнтин воскликнул:

— Да ты и впрямь отменно справляешься! Даже лучше того моего ученика,— и продолжал трапезу. Но тут у мальчишки как раз защекотало в носу, и он отвернулся, чтобы чихнуть. Руки его дрогнули, дощечка накренилась, нос соскользнул с нее и бухнулся прямо в кашу. Каша расплескалась, и увесистые хлопья полетели в лицо монаху и мальчишке.

Дзэнтин страшно рассердился и, отирая бумажной салфеткой голову и лицо, сказал:

— Ах ты, негодник! Паршивый дурак — вот кто ты! Попробовал бы этаким же образом прислуживать носу другого, куда более почтенного человека, чем я?! Что тогда?! Жестокий, безголовый мерзавец!.. Ступай прочь, ступай...— С этими словами он прогнал мальчишку, а тот в недоумении пробормотал:

— Если нашелся на свете еще один человек с таким же носом, я-то, может быть, и попробовал прислужить ему. Только сдается мне, нет больше таких людей. Глупости изволит говорить господин священник...

Услыхав его слова, ученики монаха выскочили из комнаты и громко расхохотались.

О ТОМ, КАК ЖИВОПИСЕЦ ЁСИХИДЭ РАДОВАЛСЯ, ГЛЯДЯ НА СВОЙ ГОРЯЩИЙ ДОМ

Не теперь, а давно жил художник по имени Ёсихидэ. Однажды по соседству с ним случился пожар, и от сильного ветра огонь объял всю округу. Вскоре пламя перекинулось на его жилище, и он, желая спастись, выскочил на дорогу. Даже образ Будды, который писал по заказу одного человека, забыл прихватить. А жена и дети его не успели в суматохе одеться да так и остались в доме. Не вспомнив о них и заботясь лишь о том, как бы уцелеть самому, Ёсихидэ стал по ту сторону дороги.

Между тем полыхал уже весь его дом, а он все стоял и глядел на него, покуда не занялась и крыша. «Несчастье-то какое!..» — вздыхали люди, сбежавшиеся на пожар. Они хотели утешить Ёсихидэ, но скорбное зрелище повергло их в оцепенение.

— Как же все это случилось? — сочувственно вопрошали они, а он стоял неподалеку и, глядя на свой горящий дом, покачивал головою да изредка усмехался.

— О, удача! Выходит, все годы я писал не так, как нужно,— молвил он, люди же, пришедшие выразить ему сочувствие, недоумевали:

— Ну и ну, как же он может так стоять? Воистину презренный человек. Не иначе, вселился в него злой дух.

— Да отчего же злой дух? Все эти годы пытался я изобразить пламя Фудо-мёо, но тщетны были мои усилия. Теперь я понял: именно так должно полыхать пламя. Вот в чем моя удача. В сем мире избрал я для себя путь живописца, и ежели удостоюсь я написать как подобает самого Будду, появится у меня еще сотня, тысяча новых домов. Эх, вы... Нет у вас способности творить. Жалкие вы людишки!..

Так сказал он с презрительною усмешкой и пошел прочь.

С тех самых пор и поныне восхищает людей творение Ёсихидэ — объятый пламенем Фудо-мёо.

ЗАПОЗДАЛАЯ ТЫСЯЧА

В давние времена в Китае жил человек по имени Чжуан-цзы. Семья его ужасно бедствовала и даже ни одного дня в году не ела досыта. А по соседству с ним жил человек, которого звали Цзянь Хэ-хоу. К нему и пришел как-то Чжуан-цзы попросить немного проса, чтобы утолить голод.

— Извольте пожаловать через пять дней. К тому времени у меня будет тысяча рё, вот я и отдам эти деньги вам. Как же можно

такому почтенному человеку, как вы, дать проса, которого хватит всего лишь на день? Да меня ведь совесть замучит,— сказал Хэхоу. А Чжуан-цзы молвил ему в ответ:

— Вчера иду я по дороге, и вдруг откуда-то сзади доносится голос. Я оглянулся, но человека нигде поблизости не было. Только в небольшой луже, что образовалась во впадине от колеса повозки, вижу — плещется карась.

Не простой это карась, подумал я, подошел поближе — и правда: лужа — совсем мелкая — карась необычайной величины.

«Как же ты здесь очутился!» — спрашиваю я, а карась отвечает: «Я посыльный водяного и путь держу к озеру. Но в этом месте силы оставили меня, и я свалился в эту лужу. У меня пересохло в горле, и, видно, смерть моя близка. Я окликнул тебя, чтобы ты мне помог».

А я ему говорю в ответ: «Дня через два-три я как раз намерен отправиться в те края. Возьму тебя с собой, а там выпущу в воду»,— а рыба молвит: «До тех пор я ждать не могу. Лучше ты сейчас принеси пригоршню воды и смочи мне горло».

Я сделал, как он велел, и тем самым хоть немного облегчил его участь. То, что случилось с карасем, напоминает мое нынешнее положение. Ежели сегодня мне нечего будет есть, я умру от голода. Запоздалая тысяча золотых... Потом в ней не будет проку.— Так сказал Чжуан-цзы.

С тех пор и пошло выражение «запоздалая тысяча».

ИЗ «СКАЗАНИЯ О ДОМЕ ТАЙРА»

Свиток первый

1

ХРАМ ГИОН

Над храмами Гиóна [1]
Звонят колокола,
В их голосах мы слышим:
Живущее непрочно.
На вечном древе «ся́ра»
Белым-белы цветы,
Их вид закон являет:
Цветущее истлеет непременно.
Исчезнут гордые,
Их век, увы, недолог,

[1] Стихи в переводе В. Сановича.

Как сновидение
Короткой вешней ночи.
Погибнут храбрые,
Подобно расточатся,
Как праха горсть
Пред дуновеньем ветра.

В давние времена в чужих краях немало было тому примеров — циньский Чжао-гао, ханьский Ван Ман, лянский Чжу И, танский Лу-шань... Никто из них не следовал мудрому пути государей древности; до нужд народа им дела не было, сами же они погрязали в наслаждениях; внимали пустым наветам, не помышляя о подлинных опасностях — о смутах, грозящих государству; и этот путь привел их всех к скорой гибели.

А в недавнюю пору у нас, в родной стране, был Масакадо в годы Сёхэй, и Сумитомо в годы Тэнгё, и Ёситика в годы Кова, и Нобуёри в годы Хэйдзи, и многие, и многие другие... Все они, каждый на свой лад, отличались гордыней и жестокостью; однако всех их превзошел совсем недавно князь Тайра Киёмори,— о его деяниях, о его правлении передают такое, что, поистине, не описать словами и даже представить себе трудно.

Родословная князя такова: он был наследником и старшим сыном асона Тайра Тадамори, начальника сыскной управы, и внуком Масамори, правителя земли Сануки; а тот был потомком в девятом поколении принца Кадзурахара, пятого по счету родного сына государя Камму. Имя «Тайра» впервые получил Такамоти — внук сего принца — при назначении на должность правителя земли Кадзуса. Должность эта отделила его от двора, и Такамоти стал простым вассалом. Шесть поколений Тайра, от Куника, сына Такамоти, и вплоть до Масамори, исполняли должность правителя в различных землях, однако почетным правом являться ко двору они не обладали.

4

КАБУРО

Случилось так, что в третьем году эры Ниннан, в одиннадцатый день одиннадцатой луны князь Киёмори, пятидесяти лет от роду, внезапно занемог и, надеясь остаться в живых, поспешно принял духовный сан. В монашестве имя его стало Дзёкай — «Океан чистоты». Поступок его и в самом деле оказался угодным богам — мгновенно исцелился он от тяжкого недуга и впоследствии свершил свой жизненный путь сполна. Под порывами ветра гнутся де-

ревья и травы — перед ним покорно склонялись люди; дождь увлажняет землю — волю его впитывали все вокруг.

Самые знатные вельможи, самые храбрые герои не могли соперничать с многочисленными отпрысками семейства нового инока Киёмори, владельца усадьбы Рокухара. А князь Токитада, шурин Правителя-Инока, так прямо и говорил: «Тот не человек, кто не из нашего рода!» Мудрено ли, что каждый старался как-нибудь породниться с домом Тайра. Да и во всем, будь то покрой одежды или обычай по-особому заламывать шапку, стоило только заикнуться, что так принято в Рокухара, как все спешили сделать похоже.

Но в нашем мире так уж повелось, что какой бы мудрый правитель, какой бы добродетельный государь ни стоял у кормила власти, всегда найдутся никчемные людишки, обойденные судьбой неудачники,— в укромном месте, где никто их не слышит, осуждают и бранят они власти предержащие; однако в эти годы, когда процветал весь род Правителя-Инока, не было ни единого человека, который распустил бы язык и решился поносить семейство Тайра.

А все оттого, что Правитель-Инок собрал триста отроков четырнадцати — пятнадцати лет и взял их к себе на службу; подрезали им волосы в кружок, сделали прическу «кабуро́» и одели в одинаковые красные куртки. Постоянно бродили они по улицам, обшаривая весь город. И стоило хоть одному из них услышать, как кто-то дурно отзывается о доме Тайра, тотчас созывал он своих дружков, гурьбой врывались они в жилище неосторожного, всю утварь, все имущество разоряли и отбирали, а самого вязали и тащили в Рокухара. Вот почему, как бы ни относились люди к многочисленным отпрыскам дома Тайра, как бы ни судили их в душе, никто не осмеливался сказать о том во всеуслышание.

При одном лишь слове «кабуро́!» и верховая лошадь, и запряженная волами повозка спешили своротить в переулок. И в запретные дворцовые ворота входили и выходили кабуро без спроса, точь-в-точь, как сказано: «Свободно входили и выходили из Запретных ворот, но никто не смел спросить у них имя; и столичные чиновники отворачивали взор, притворяясь, будто они не замечают этого».

Среди придворных государя-отца Го-Сиракава были вельможа Фудзивара Наритика, придворные Сайко, Сюнкан и другие; все они были в большой чести у Го-Сиракава и вместе со своим повелителем замышляли погубить могущественных владетелей из рода Тайра.

В Оленьей долине, имении Сюнкана, управителя богатых земель монастыря Хоссёдзи, составился заговор. В тайных встречах участвовал и сам Го-Сиракава. Дайнагон Наритика готовил оружие, Сайко и Сюнкан также усердно собирали отряды для вооруженного нападения на Тайра...

Как раз в это время монахи Священной горы Хиэй подали жалобу на бесчинства и притеснения со стороны правительственных чиновников Моротака и Мороцуна. Это были сыновья Сайко, любимца государя. Разгневанный жалобой монахов, Го-Сиракава приказал отправить в ссылку настоятеля Священной горы, преподобного Мэйуна.

Однако монахи отвергли назначенного двором нового настоятеля, силой отбили прежнего, спрятали его в укромном месте и приготовились, в случае надобности, оказать вооруженный отпор...

Свиток второй

3

КАЗНЬ САЙКО

Услышав, что монахи Горы не отпускают Мэйуна, государь-отец Го-Сиракава разгневался еще пуще. К тому же инок Сайко ему нашептывал: «Монахи Горы не первый раз осмеливаются подавать дерзостные прошения, но теперешнее их ослушание беспримерно! Надо проучить их хорошенько!» Так говорил он, нисколько не предполагая, что его самого в скором времени ждет погибель, и так же мало помышляя о святости горы Хиэй и великого божества, ее покровителя. Его речи еще сильнее распаляли гнев государя. Недаром говорится: «Наветы вассала рождают усобицу в государстве». И в самом деле, это истинно так! И еще сказано: «Заросли орхидей стремятся расти, но осенний ветер ломает побеги; светом мудрости хочет государь озарить страну, но вассал-клеветник омрачает свет».

Тогда государь-отец созвал приближенных во главе с дайнагоном Наритика и стал совещаться, как поступить. Пошли слухи, что он вознамерился послать против монахов воинские отряды. И еще говорили, будто некоторые монахи, проведавшие о том, тайно склоняются на его сторону, толкуя между собой: «Мы родились и выросли подданными государя, надо ли противиться его воле?» Услыхав о таком двоедушии, настоятель Мэйун, укрывшийся в храме Мёкобо, затрепетав от страха, воскликнул: «Что же со мной-то теперь будет?» Но известия о том, что настоятель приговорен к ссылке, из дворца покамест не поступало.

Эти волнения в монастыре заставили дайнагона Наритика на время отложить свои заветные планы. Между тем, хотя тайные совещания и приготовления по-прежнему продолжались, Тада-но Юкицуна, на которого Наритика возлагал большие надежды, поразмыслив, решил, что напрасно он присоединился к заговорщикам, ибо их войско недостаточно сильно, чтобы сокрушить могущество дома Тайра.

Из ткани, подаренной дайнагоном Наритика на колчаны для луков, он велел скроить плащи и накидки, раздал их своим родичам и вассалам, а сам погрузился в глубокие размышления.

«Нет, если присмотреться, как процветает дом Тайра, ясно видишь, что в скором времени их не одолеешь... Напрасно я ввязался в эту безрассудную затею! Если заговор откроется, меня первого ждет погибель! Пока другие не донесли, надо переметнуться на сторону Тайра и спасти свою жизнь!» — решил он.

И вот в двадцать девятый день пятой луны того же года Юкицуна с наступлением сумерек украдкой пробрался в усадьбу Рокухара на Восьмой Западной дороге столицы и попросил стражу передать Правителю-Иноку: «Явился Юкицуна, ибо есть нечто, о чем он хочет поведать!»

— Бывало, и глаз не кажет, а тут вдруг пожаловал!.. Поди и спроси, в чем дело,— приказал Правитель-Инок вассалу своему Морикуни.

Но Юкицуна ответил, что его вести — не для посторонних ушей, и тогда князь Киёмори сам соизволил выйти к нему на галерею, ведущую к главным воротам.

— Ночь на дворе... Что означает столь поздний ваш приход? Что случилось? — спросил он.

— Днем слишком много любопытных, оттого я пришел под покровом ночи,— ответствовал Юкицуна.— В последнее время во дворце государя-отца готовят оружие, собирают воинов... Что вы думаете об этом?

— Слыхал я, будто он собрался идти войной на монахов Горы,— небрежно промолвил князь Киёмори. Юкицуна, не вставая с колен, пододвинулся ближе и понизив голос сказал:

— Нет, не для этого собирают там войско!.. Боюсь, что все это направлено только против вашего глубокопочитаемого семейства!..

— И государю-отцу о том известно?

— Именно так! Оттого-то и собирает отряды дайнагон Наритика, что получил на то высочайшее указание. Вот и на днях они опять собирались... Сюнкан предложил то-то, Ясуёри говорил так-то, Сайко отвечал то-то...— И он выболтал все разговоры друзей, присочинив и прибавив многое против правды и, сказав в заклю-

чение: «На этом позвольте мне удалиться!» — покинул усадьбу Тайра.

Князь Киёмори был потрясен и испуган; громовым голосом принялся он сзывать воинов-самураев. А Юкицуна вдруг устрашился, как бы из-за своего необдуманного поступка не попасть и самому в соучастники; и хотя никто за ним не гнался, он высоко подвернул хакама и поспешно выбежал за ворота, словно поджигатель, пустивший огонь в широкое поле.

Правитель-Инок призвал в первую очередь Садаёси и сказал:

— Столица кишмя кишит злоумышленниками! Дому Тайра грозит опасность! Спешно оповести моих родичей и собери всех воинов!

Садаёси вскочил на коня, объехал и созвал всех. Тотчас же прискакали сыновья князя — начальник Правой гвардии Мунэмори, военачальник третьего ранга Томомори, офицер Левой гвардии Сигэхира и другие Тайра, все в боевых доспехах и шлемах, с луком и стрелами за плечами. Сбежалось несметное множество самураев, тучами теснились они на подворье; за ночь в усадьбе на Восьмой Западной дороге собралось, верно, не меньше семи тысяч всадников.

Был канун первого дня шестой луны. Еще не рассвело, когда Правитель-Инок призвал начальника Сыскного ведомства Абэ-но Сукэнари и повелел:

— Скачи немедля во дворец государя-отца, позови Нобунари и пусть передаст: «При дворе государя нашлись люди, задумавшие погубить род наш Тайра и ввергнуть государство в новую смуту. Всех заговорщиков намерены мы схватить, допросить и поступить с ними по закону. Государь же да не будет причастен к этому делу!»

Сукэнари тотчас поскакал во дворец, вызвал управителя Нобунари и передал слово в слово, что велел Правитель-Инок. Побледнел Нобунари. Представ перед государем, он подробно доложил ему о случившемся. «А-а! Значит, тайна стала известна!» — в страхе подумал тот.

— Но как же так?.. Как же так?..— только и сумел вымолвить он, не сказав в ответ ничего определенно и ясно.

Сукэнари поспешно поскакал назад, доложил обо всем Правителю-Иноку, и тогда тот сказал:

— Значит, Юкицуна говорил правду! А промолчи он, может быть, меня и в живых уже не было бы! — и, призвав Тадаёси, правителя земли Тикуго, и Кагэиэ, правителя земли Хида, велел схватить всех заговорщиков. Тотчас во все стороны помчались отряды по двести, по триста всадников, и всех виновных схватили.

Затем Правитель-Инок послал юношу-скорохода в усадьбу дайнагона Наритика, повелев передать: «Нужно кое о чем посовещаться. Соблаговолите непременно пожаловать!» Дайнагон, не заподозрив ловушки, решил, что князь Киёмори желает, верно, посоветоваться, как отговорить государя-отца от намерения послать войско против монахов... «Только навряд ли это мне удастся!» — размышлял он, а сам тем временем облачился в мягкие, изысканные одежды, уселся в роскошную карету, взял с собой свиту из нескольких самураев, даже пажам и погонщикам волов приказал одеться понаряднее. Увы, лишь много спустя он понял, что покидал тогда дом свой навеки!..

Еще за несколько кварталов до усадьбы Тайра, только приблизившись к Восьмой дороге, увидел дайнагон множество воинов в боевых доспехах. «С чего бы это?» — подумал он, и тревога невольно закралась в душу. Выйдя из кареты, он прошел в ворота и увидел, что весь двор тоже до отказа заполнен воинством. У входа в главную галерею его уже поджидали несколько самураев свирепого вида; они схватили дайнагона с двух сторон за руки и потащили. «Вязать?» — спросили они. «Не надо!» — ответил из-за бамбуковой шторы Правитель-Инок. Тогда они втащили дайнагона на галерею, втолкнули в тесную каморку и заперли. Дайнагону казалось, что это какой-то страшный сон, в котором непонятно что творится и почему. Люди его, оттиснутые самураями, разбежались кто куда: все они, побросав и волов и карету, скрылись в смертельном страхе.

Тем временем притащили и других заговорщиков — преподобного Рэндзё, преподобного Сюнкана, правителя земли Ямасиро Мотокапэ, придворных Масацуна, Ясуёри Нобуфуса, Сукэюки...

А инок Сайко, как только услыхал дурные вести, вскочил на коня и, нахлестывая его, поскакал во весь опор во дворец Го-Сиракава. Но самураи Тайра догнали его и, преградив путь, закричали: «Срочный вызов из Рокухара! Велено немедленно поворачивать!»

— Я спешу во дворец с докладом государю Го-Сиракава. Закончу дело и сразу явлюсь! — ответил Сайко.

— А, подлый монах! Какие еще доклады! Полно голову морочить! — закричали самураи, стащили Сайко с коня, связали и, подвесив связанного между двух коней к седлам, так, на весу, и доставили в усадьбу Тайра. Обращались с ним особенно беспощадно, ибо Сайко с первого дня был одним из главных зачинщиков в заговоре. Его приволокли во внутренний двор и, не развязывая, бросили на землю.

Князь Киёмори, стоя на широком помосте, некоторое время молча взирал на Сайко, потом сказал:

— Поделом тебе, негодяю, если ты поднял руку на меня, Киёмори! Эй, подтащите его поближе! — самураи подтащили Сайко к самому краю помоста, и тогда Киёмори ногой, обутой в сапог, со всей силы ударил Сайко прямо в лицо.— Ты и твой сын,— оба вы холопье отродье,— получили на службе у государя-отца чины и звания не по заслугам, оба, что сын, что отец, зазнались сверх всякой меры, нашептывали государю, чтобы он сослал ни в чем не повинного настоятеля монастыря Хиэй, затеяли смуту в государстве, да мало этого — стали покушаться на весь мой род и с этой целью вступили в сговор! Признавайся во всем!

Но недаром Сайко отличался твердостью духа — он не дрогнул, не выказал ни малейшего страха. Он выпрямился, сколько позволяли веревки, и насмешливо рассмеялся в лицо Правителю-Иноку:

— Что ж, может быть! Только не я, а ты зазнался сверх меры! Может быть, для других оно и сойдет, но пред мною, Сайко, не следует держать такие речи! Я служу при дворе государя Го-Сиракава, как же мне не участвовать в деле, которое начал дайнагон Наритика, главный его управитель, по его высочайшему указанию? Да, я участник заговора. Но твои речи противны слуху! Это тебя, сына начальника сыска, до четырнадцати лет ко двору и близко не подпускали; это ты прислуживал покойному Фудзивара Касэй,— не тебя ли дразнили уличные мальчишки «Длинным Тайра», когда ты пешком, в гэта на высоких подставках ходил по княжескому подворью?! И вот ты вознесся до звания Главного министра — так лучше о себе скажи, что чужое место занял! А нам, рожденным в домах воинов-самураев, не в диковину исполнять должность правителей земель или министров! На этом всегда земля стояла и будет стоять!

Так говорил Сайко, бесстрашно высказывая свои мысли.

Князь Киёмори в гневе не сразу нашелся, что ответить, но затем приказал, обращаясь к вассалам:

— Глядите у меня, не вздумайте убить его сразу, легкой смерти он не увидит. Проучите его как следует!

Повинуясь приказу, Мацура Таро Тосисигэ начал допрос и пытку, дробя руки и ноги Сайко. И Сайко рассказал все, как было, ибо он и без того не намерен был запираться, к тому же пытка была жестокой. На пяти листах белой бумаги записали признания Сайко. Затем последовал приказ: «Разодрать ему рот!» И ему разодрали рот, после чего казнили смертью, отрубив голову на речном берегу, у Пятой дороги Сюсяка. Сын его и наследник Моротака отбывал ссылку в Итода, в краю Овари; но теперь тамошнему жителю Корэтоки, начальнику уезда Огума, приказали зарубить его насмерть,

что тот и исполнил. Младший сын Мороцуна находился в заключении в темнице,— его вытащили оттуда и зарубили на речном берегу у Шестой дороги. Младшему брату Морохира и троим вассалам также снесли голову с плеч.

Этот Сайко и его сыновья выбились из людишек совсем ничтожных, затеяли заговор, коего им никак не подобало бы затевать, обрекли на изгнание ни в чем не повинного настоятеля монастыря Хиэй; оттого-то, видно, и свершилась их карма, унаследованная из прошлой жизни,— скоро покарал их светлый великий бог, покровитель Священной горы Хиэй; вот и постигла их злая участь!

4

ПОУЧЕНИЕ

Запертый в тесной каморке, обливаясь потом, дайнагон Наритика предавался тревожным мыслям: «Значит, заговор наш открыт! О, горе! Кто же нас предал? Наверное, кто-нибудь из самураев дворцовой стражи...» Вдруг откуда-то послышались громкие шаги. Дайнагон вздрогнул: «Это самураи идут убивать меня!» Двери позади дайнагона с грохотом раздвинулись, и перед ним предстал сам Правитель-Инок, в коротком монашеском одеянии из некрашеного плотного шелка, в просторных белых хакама, с небрежно заткнутым за пояс коротким мечом, рукоятка коего была обтянута акульей кожей. Он некоторое время молча и гневно смотрел на дайнагона, потом промолвил:

— Помните ли вы, что заслужили смерть еще в годы Хэйдзи, но мой сын, князь Сигэмори, заступился за вас, предлагая свою жизнь взамен вашей? Только потому в тот раз эта голова уцелела! За какие же, спрашивается, обиды замыслили вы погубить наш дом Тайра? Благодарность за добро — вот что отличает человека от бездушной скотины! Скотина, та не ведает благодарности! Но не закатилась еще звезда нашего рода — я сумел встретить вас по заслугам! Послушаем теперь, как вы сами расскажете обо всех ваших замыслах и кознях!

— Ничего дурного нет и в помине! — отвечал дайнагон.— Я вижу, меня оклеветали! Вы сами убедитесь в этом! — Но Правитель-Инок, не дав ему договорить, крикнул: — Эй, кто там! Люди! — И на зов вошел Садаёси.

— Подай сюда признание мерзавца Сайко! — приказал князь, и Садаёси исполнил приказание. Правитель-Инок взял у него бумагу, несколько раз перечел ее вслух и воскликнул:

— Низкий человек! Чем ты после этого станешь оправдываться! — С этими словами он швырнул бумагу прямо в лицо дайнаго-

ну и вышел, с грохотом задвинув за собой перегородки. Гнев все еще бушевал в его сердце, и он снова позвал:

— Цунэтоо! Канэясу!

На зов явились два самурая.

— Тащите этого человека во двор! — приказал им князь Киёмори. Однако они не спешили исполнить приказ, колебались: «Что скажет на это господин Сигэмори?»

Тогда Правитель-Инок, весь вспыхнув, закричал:

— Ладно же! Вы подчиняетесь Сигэмори, а мои слова ставите ни во что! Ну, так пеняйте на себя!

И тогда, испугавшись, оба поднялись с колен и вытащили дайнагона во двор.

— Повалите его лицом в землю, и пусть подаст голос! — с довольным видом приказал Правитель-Инок.

Нагнувшись к дайнагону, оба самурая шепнули ему с двух сторон:

— Что бы там ни было, кричите! — И дайнагон несколько раз жалобно вскрикнул.

Когда демоны в преисподней мучают грешников, заставляют глядеться в зеркало, где отражены все их неправедные деяния, или ставят их на весы, измеряющие земные прегрешения, а потом, в зависимости от тяжести содеянного, всячески терзают виновных,— даже эти адские муки, пожалуй, не горше тех, что испытывал сейчас дайнагон!..

...Не только о себе он думал. Какая судьба ждет теперь его старшего сына Нарицунэ, что станет с младшими детьми? Шестая луна — жаркое время года, но, связанный, он даже не мог сбросить парадное одеяние и задыхался от зноя; казалось, грудь вот-вот разорвется, пот и слезы текли ручьями. «Может быть, князь Сигэмори все-таки меня не оставит!» — шептал он, но не знал способа передать Сигэмори свою мольбу.

Между тем князь Сигэмори тоже пожаловал наконец в Рокухара в одном экипаже с сыном и наследником Корэмори, как никогда торжественно и спокойно, в сопровождении нескольких дворян свиты и двоих-троих слуг, без единого вооруженного самурая. Все, начиная с Правителя-Инока, с невольным удивлением смотрели на невозмутимое лицо князя. Когда он вышел из экипажа, к нему быстрым шагом подступил Садаёси и спросил:

— Отчего же вы не взяли с собой хотя бы одного вооруженного воина, ведь такие важные события происходят?

Сигэмори ответил:

— Важными называют события, связанные с судьбами госу-

дарства. А подобное дело, сугубо личного свойства, стоит ли называть важным?

И, услышав эти слова, вооруженные до зубов воины невольно смутились.

«Куда же они запрятали дайнагона?» — думал князь Сигэмори, обходя одно за другим помещения, как вдруг увидел: поверх раздвижных дверей, ведущих в одну из комнат, во все стороны, словно паучьи лапы, прибиты доски. «Не здесь ли?» Он оторвал доски и раздвинул двери; дайнагон находился там.

Задыхаясь от слез, с поникшей головой, сидел он и не вдруг заметил вошедшего. «Что с вами? Что случилось?» — спросил князь Сигэмори. Только тогда дайнагон увидел его, и жалкой была его радость; наверное, так обрадовался бы грешник, неожиданно встретив в аду милосердного бодхисатву Дзидзо!

— Не знаю, почему и за что я очутился здесь! Вы всегда были ко мне так милостивы, я и теперь уповаю на вашу помощь! В годы Хэйдзи я был уже однажды на волосок от смерти, но благодаря вашему заступничеству голова моя уцелела. С тех пор я достиг высокого звания дайнагона второго ранга и вот дожил до пятого десятка... Никогда я не смогу как следует отблагодарить вас за ваши благодеяния, сколько бы раз ни переродиться к новой жизни в грядущем! Ныне я снова молю вас о милости. Пощадите, и я уйду от мира, затворюсь в обители Коя или Кокава и буду молиться о спасении души!

Так говорил дайнагон.

— Мужайтесь, не может быть и речи, чтобы вас казнили! Уж если дойдет до этого, я скорее отдам взамен свою собственную жизнь! — ответил князь Сигэмори и с этим удалился.

Представ пред отцом своим, Правителем-Иноком, он стал убеждать его:

— Подумайте хорошенько, прежде чем казнить дайнагона! Сколько предков его служили императорам; вот уж и он сам, первый в своем семействе достиг высокого звания дайнагона второго ранга. Ныне он любимейший вассал государя. Мыслимое ли дело вот так, в одночасье, зарубить его насмерть! Вполне достаточно выслать его за пределы столицы! Вспомните старинное предание: Сугавара Митидзанэ, оклеветанный министром Токихира, был сослан, как преступник, в Цукуси; Минамото Такаакира, оклеветанный Тада Мандзю, поверял свою скорбь облакам, плывущим над далекой землей Санъёдо; оба были ни в чем не повинны, однако обречены на изгнание... Так ошиблись мудрые государи, правившие в годы Энги и Анва. Даже в древности случалась такая несправедливость; что же говорить о нынешних временах? Сейчас тем более возможны ошибки! Ведь он уже взят под стражу, чего

же вам опасаться? Недаром говорится: «Не тревожься, если недостаточно наказание; недостаточные заслуги — вот что должно внушать тревогу!» Не стану напоминать вам, что я, Сигэмори, женат на младшей сестре этого дайнагона, а Корэмори, мой сын, женат на его дочери. Не подумайте, что я веду эти речи из-за этого родства... Нет, я говорю это во имя моей страны, во имя государя, во имя нашего дома! Ведь с тех пор, как в древние времена, еще при императоре Сага, казнили Фудзивара Наканари, и вплоть до недавних годов Хогэн смертная казнь в нашей стране ни разу не совершалась. Двадцать пять государей сменилось на троне за эти века, но ни разу никого не казнили смертью. А в последнее время, когда покойный сёнагон Синдзэй пользовался столь большой властью при дворе, он первый стал казнить смертью. И еще приказал он выкопать из могилы тело Фудзивара Ёринага, чтобы самолично убедиться, он ли там похоронен. Я и тогда уже считал неправедными такие поступки! Недаром мудрецы древности учат: «Если казнить людей смертью, заговорщики в стране не переведутся!» И что же? Пословица подтвердилась: прошло всего два года, наступила эра Хэйдзи, и снова в мире возникла смута! И раскопали тогда могилу, в которой укрылся Синдзэй, отрубили ему голову и носили ее по улицам на всеобщее поругание! То, что совершил Синдзэй в год Хогэн, вскоре пало на него самого! Страх невольно охватывает душу, как подумаешь об этом! Уж так ли виноват дайнагон по сравнению с Синдзэем? Взвесьте же все хорошенько и действуйте осмотрительно! Вы достигли вершины славы. Большего, пожалуй, и желать невозможно. Но ведь хотелось бы, чтобы процветали также и дети и внуки наши! На них падет добро и зло, содеянное дедами и отцами. Верно говорится: «В дом, где творят добро, снизойдет благодать; в дом, где царит зло, обязательно войдет горе!» С какой стороны ни взглянуть, рубить голову дайнагону никак невозможно!

Так говорил князь Сигэмори, и Правитель-Инок, как видно, рассудив, что он прав, отказался от мысли в ту же ночь казнить дайнагона.

Затем князь Сигэмори вышел к главным воротам и, обратившись к самураям, сказал:

— Смотрите не вздумайте погубить дайнагона, даже если Правитель-Инок прикажет! В пылу гнева он бывает опрометчив, но потом сам же непременно пожалеет об этом. Если сотворите неправедное дело, пеняйте на себя!

Так сказал Сигэмори, и самураи задрожали от страха. И еще он добавил:

— Нынче утром Канэясу и Цунэтоо жестоко обошлись с дайнагоном. Как объяснить такое поведение? Знали ведь, что от меня

это не скроешь, как же не убоялись? Таковы они все, мужланы!..— И, оставив трепещущих Канэясу и Цунэтоо, князь Сигэмори возвратился в усадьбу.

Между тем слуги дайнагона прибежали обратно в его усадьбу, что на пересеченье дорог Нака-микадо и Карасу-мару; узнав о случившемся, супруга дайнагона и все женщины в доме запричитали и заплакали в голос.

— Сюда уже высланы самураи! Мы слыхали, что и молодого господина, и младших детей — всех схватят... Скорее, скорее спасайтесь, бегите куда глаза глядят! — кричали слуги, и супруга дайнагона ответила:

— Дело не в том, грозит мне опасность или нет; зачем жить, когда случилось такое горе? Умереть вместе с мужем этой же ночью, как исчезает роса с рассветом,— вот единственное мое желание... Но больно и горько думать, что сегодня утром я в последний раз видела мужа и не знала об этом! — С этими словами она упала на землю и зарыдала.

Но вот разнеслась весть, что самураи уже неподалеку. Немыслимо было обрекать себя и детей на новый позор и горе, и потому госпожа села в карету вместе с детьми — восьмилетним сыном и десятилетней дочерью — и велела ехать, сама не зная куда. Надо было принять решение, и вот пустились они по дороге Омия на север и приехали к обители Унрин, в окрестностях горы Китаяма. Высадив мать с детьми вблизи монашеских келий, провожатые, в страхе за себя, поспешно простились и уехали.

Можно вообразить, что творилось на сердце у несчастной женщины, когда осталась она одна с малыми детьми, всеми покинутая в горестном своем одиночестве! Вечерело, и глядя, как постепенно заходит солнце, она думала о том, что этот день — последний для дайнагона, и ей казалось, что и ее жизнь вот-вот оборвется...

В прежней ее усадьбе осталось множество слуг и служанок, но не нашлось никого, кто толком убрал бы вещи или хотя бы закрыл ворота. Множество лошадей стояло в конюшнях, но не было никого, кто задал бы им корм. Еще вчера у ворот ее дома теснились экипажи, в покоях толпились гости, забавлялись и веселились, плясали и развлекались. В целом свете ничто ее не страшило, люди при ней и слова-то громко сказать не смели... Ночь — и все изменилось, и воочию явилась ей истина: «Все, что цветет, неизбежно увянет!» Вот когда в полной мере поняла она слова, начертанные кистью Оэ-но Томоцуна: «Радость минует, приходит горе...»

5

НАРИЦУНЭ ВЗЯТ НА ПОРУКИ

Нарицунэ, старший сын дайнагона Наритика, в эту ночь дежурил во дворце государя Го-Сиракава; он еще не закончил службы, когда прибежали люди дайнагона, вызвали Нарицунэ и рассказали ему о том, что случилось. «Странно, почему же тесть мой сайсё ничего не сообщил мне?» — сказал Нарицунэ, но не успел он произнести эти слова, как явился гонец с посланием, возгласивший: «От господина сайсё!»

Этот сайсё был не кто иной, как князь Тайра Норимори, младший брат Правителя-Инока; его усадьба находилась возле Главных ворот в Рокухара, отчего и прозвали его «Сайсё у ворот». Нарицунэ был женат на его дочери.

«Правитель-Инок приказал немедленно доставить тебя на Восьмую Западную дорогу, в его палаты. С чего бы это?» — гласило послание тестя. Нарицунэ понял, что означает приказ, вызвал придворных дам и сказал им:

— Вчера вечером я заметил в городе какое-то беспокойство, но думал, что это из-за монахов,— уж не вздумали ли они нагрянуть в столицу... Нет, оказалось другое. Отца моего дайнагона сегодня ночью ждет казнь, а значит, и меня, Нарицунэ, наравне с ним сочтут виновным. Хотелось бы еще раз пройти во дворец и проститься с государем, но не смею, ибо на мне уже тяготит преступление!

Дамы сообщили государю эти известия. Тот был потрясен. «Вот что! — подумал он, сразу вспомнив слова посланца, переданные ему утром по поручению Правителя-Инока.— Значит, все тайные замыслы их открылись!»

— И все же пусть войдет! — приказал он, и Нарицунэ вошел.

Го-Сиракава молчал, на глазах у него блестели слезы. Нарицунэ тоже хранил молчание, изо всех сил стараясь сдержать рыдания. Однако это безмолвие не могло длиться вечно, и вскоре, закрыв лицо рукавом, Нарицунэ удалился в слезах. Долго-долго смотрел ему вслед государь.

— Горько и скверно жить в эпоху упадка! — сказал он.— Вот и все. Наверное, я больше никогда его не увижу! — И пролились драгоценные слезы...

Горевали и все придворные, цеплялись за рукава Нарицунэ, удерживали его за край одежды; не было ни одного человека, кто остался бы равнодушен.

Приехав в дом тестя, Нарицунэ увидел, что супруга его, которая была на сносях и к тому же нездорова, с сегодняшнего утра, когда случилось это несчастье, пребывала в таком расстройстве, что

жизнь, казалось, вот-вот ее покинет. С того мига, как Нарицунэ выехал из дворца, слезы все время неудержимо текли у него из глаз, теперь же, увидев горе супруги, он и совсем упал духом.

У Нарицунэ была кормилица по имени Рокудзё.

— Я впервые пришла к вам в дом, когда нужно было вскормить вас грудью,— плача, сказала она.— Чуть только вы появились на свет, я сразу взяла вас на руки. Годы шли, я радовалась, глядя, как вы растете, и нисколько не горевала, что сама старею... Как мимолетный сон, промелькнуло то время, но если посчитать, то прошел уже двадцать один год, и ни разу я не отлучалась от вас! Когда вы уезжали на службу или на прием ко двору государя-отца и, случалось, поздно возвращались домой, я и то не знала покоя! Что же теперь будет?

— Не убивайся так! Надейся на тестя моего, сайсё. Что бы там ни было, а жизнь он мне отмолит! — утешал ее Нарицунэ, но кормилица, не стыдясь людей, плакала и ломала руки.

А между тем из усадьбы Тайра на Восьмой Западной дороге непрерывно слали гонцов, требуя скорейшего прибытия Нарицунэ.

— Делать нечего, поедем! — сказал сайсё.— Посмотрим, может, и обойдется!

И они отправились вместе, в одной карете.

Долгие годы, со времен Хогэн и Хэйдзи и вплоть до нынешних дней, отпрыски рода Тайра знали лишь веселье и радость и не ведали ни страданий, ни скорби. Только этому сайсё, по милости неразумного зятя, теперь впервые пришлось изведать горе!

Приблизившись к Восьмой дороге, они вышли из кареты и прежде всего попросили доложить о себе, но Правитель-Инок распорядился не допускать Нарицунэ в усадьбу и отвести в один из самурайских домов неподалеку. Сайсё один прошел в ворота, а Нарицунэ тотчас же был окружен самураями и взят под стражу. Можно представить себе, какая тревога охватила душу Нарицунэ, когда его разлучили с сайсё, на которого он только и надеялся!

Сайсё остановился у Главных ворот, но Правитель-Инок даже не вышел к нему. Тогда сайсё передал через самурая Гэн Суэсада:

— Я горько раскаиваюсь, что породнился с человеком, недостойным подобной чести, но сделанного уже не воротишь! Дочь моя, которую я выдал за него замуж, сейчас в тягости и хворает. С сегодняшнего утра, когда случилось это несчастье, стало ей и вовсе худо,— кажется, она вот-вот простится с жизнью... Прошу вас, доверьте мне на время этого Нарицунэ; я, Норимори, возьму его на поруки, к этому нет, как я полагаю, особых препятствий! Я сам догляжу за ним и, ручаюсь, не допущу никакой промашки! — Так сказал сайсё, и Суэсада отправился к Правителю-Иноку передать его слова.

— Норимори, как всегда, ничего толком не понимает! — воскликнул Правитель-Инок и даже не удостоил брата ответом. Лишь позднее он велел передать:

— Дайнагон Наритика задумал погубить наш род Тайра и ввергнуть государство в новую смуту. А Нарицунэ — сын и наследник этого дайнагона. Чужой ли, родной ли — просьбы тут неуместны. Если б заговор их удался, они и тебя бы не пощадили!

Суэсада, возвратившись к сайсё, передал эти слова, и тогда сайсё в отчаянии сказал снова:

— Со времен Хогэн и Хэйдзи я во многих сражениях грудью заслонял князя и не раз готов был пожертвовать жизнью ради его спасения. Я и впредь намерен защищать его так же, как раньше. Пусть я уже стар,— зато есть у меня много молодых сыновей, они будут ему надежной опорой! Я прошу доверить мне Нарицунэ на короткое время; если князь не соглашается, значит, он считает меня вероломным и двоедушным. Для чего же мне жить в миру, если я недостоин никакого доверия? Распрощусь же навеки с князем, приму постриг и уйду от мира, затворюсь где-нибудь в глухом горном селении и стану молиться о счастье в будущем рождении. Нет ничего бессмысленнее нашей суетной жизни! Пока живешь в этом мире, существуют желания; желания не сбываются — в душе рождается гнев и ропот... Так не лучше ли, отвернувшись от этой юдоли скорби, вступить на путь истины? — Так говорил сайсё.

Суэсада отправился к Правителю-Иноку и сказал:

— Господин сайсё хочет уйти от мира! Успокойте же его как-нибудь!

Удивился Правитель-Инок, услышав слова Суэсада.

— Из-за такой безделицы постричься в монахи, уйти от мира! Ни с чем не сообразные мысли! Ну, коли так, передай: «Хорошо, на время поручаю тебе Нарицунэ!»

Суэсада вернулся к сайсё, передал ему эти слова, и тогда тот воскликнул:

— Нет, не следует человеку иметь детей! Если бы не дочь, разве пришлось бы мне испытать такие терзания! — И с этими словами он удалился.

Увидев наконец сайсё, Нарицунэ в нетерпении спросил:

— Ну что же, что там было?

— Правитель-Инок в ужасном гневе,— отвечал сайсё,— так и не пожелал допустить меня к себе. Твердил, что пощадить тебя никак невозможно. Но когда я сказал, что уйду от мира, он велел передать: «Хорошо, пусть Нарицунэ пока остается в твоей усадьбе!» Боюсь, однако, что этим дело не кончится!..

— Только вам я обязан, что жизнь моя продлилась! А об отце моем, дайнагоне, вы не просили?

— Об этом не могло быть и речи! — ответил сайсё, и Нарицунэ со слезами на глазах промолвил:

— Поистине, я обязан вам жизнью, хоть и краткой; но ведь оттого-то и жаль мне было с нею расстаться, что хотелось еще раз повидать отца! На что мне жизнь, если его ожидает казнь? Какова бы ни была участь отца, нельзя ли попросить, чтобы мне позволили разделить ее вместе с ним? — Так сказал Нарицунэ, и жалостью исполнилось сердце сайсё, и он ответил:

— Видишь ли, о тебе я просил, как только мог... Что же касается господина дайнагона,— не знаю, какая судьба его ждет... Но мне рассказывали, что нынче утром князь Сигэмори всячески усовещивал Правителя-Инока, и потому похоже, что сейчас или, во всяком случае, в ближайшее время, смерть ему не грозит!

Услышав эти слова, Нарицунэ, весь в слезах, так обрадовался, что сложил руки, как на молитву.

Кто, кроме сына, способен так радоваться, забыв опасность, нависшую над собственной головой? Узы, соединяющие отца и сына,— вот истинно глубокий союз! «Нет, человеку обязательно нужно иметь детей!» — подумал сайсё совсем обратное недавним своим мыслям. Затем они вернулись домой, так же, как утром, в одной карете. А там женщины встретили Нарицунэ так, будто он воскрес из мертвых,— все собрались вокруг него и заливались слезами радости.

8

ДАЙНАГОН ПРИГОВОРЕН К ССЫЛКЕ

На второй день той же шестой луны дайнагона Наритика провели в парадный покой и подали завтрак. Но на сердце у дайнагона лежала такая тяжесть, что он даже не прикоснулся к еде. Затем подъехала карета, ему велели садиться, и дайнагон, против собственной воли, повиновался. Со всех сторон карету окружили вооруженные воины, из приближенных же дайнагона не было ни единого человека. «Я хотел бы еще раз увидеться с князем Сигэмори!» — просил он, но и в этой просьбе ему отказали.

— Пусть суров приговор и я осужден на заточение в дальнем краю, но где это видано — не позволить никому из моих близких или слуг сопровождать меня! — горевал дайнагон, сидя в карете; даже охранники-самураи и те преисполнились к нему сострадания.

Карета покатилась по Восьмой дороге на запад, потом свернула к югу, на дорогу Сюсяка, и дайнагон увидел дворец,— увы, больше ничто не связывало его с этим дворцом! Люди, сроднившие-

ся за долгие годы службы, все, вплоть до пажей и погонщиков волов, плакали, горюя о дайнагоне; не было ни единого человека, чьи рукава не увлажнялись бы пролитыми слезами. А супруга и малые дети? Тоска с новой силой сжимала душу дайнагона при мысли, что испытывают они в эти минуты.

Вот миновали уже загородную дворцовую усадьбу Тоба,— не было случая, чтобы дайнагон не сопровождал государя-отца, когда тот совершал сюда выезд!.. Неподалеку, в долине между горами, находилось и его собственное поместье Сухама. Но и мимо него он тоже проехал теперь, как посторонний.

Выехав из Южных ворот Тоба, самураи заторопились: «Готово ли судно?»

— Куда же вы везете меня? — спросил дайнагон.— Раз все равно суждена мне смерть, так уж лучше убейте где-нибудь здесь, поблизости от столицы!

Дайнагона неминуемо казнили бы смертью, и если его пощадили и заменили казнь ссылкой, то лишь благодаря заступничеству князя Сигэмори. В давние годы, когда он был еще только тюнагоном, исполнял он должность правителя земли Мино. И вот зимой первого года эры Као случилось, что к помощнику его Масатомо пришел монах из местного храма Хирано (а храм тот находился в ведении и под покровительством Священной горы Хиэй) продавать ткани, какие изготовляли в монастыре. Помощник же был пьян и под пьяную руку облил ткань тушью. Монах рассердился, стал браниться. Помощник крикнул: «Молчать!» — и обошелся с ним очень грубо. Тогда несколько сот монахов нагрянули в усадьбу чиновника. Тот, как водится, оборонялся; при этом человек десять, а то и больше монахов было убито. Тут уж взволновались монахи на Священной горе. На третий день одиннадцатой луны того же года подали они прошение прежнему государю, требуя правителя тюнагона Наритика отправить в ссылку, а его пмощника казнить смертью. Так случилось, что Наритика приговорили к ссылке в край Биттю и уже было отправили туда под конвоем, но он доехал лишь до Седьмой Западной дороги, когда государь-отец Го-Сиракава по своему единоличному усмотрению отменил приговор и возвратил Наритика обратно. Говорили, будто монахи Горы в отместку прокляли Наритика самым страшным проклятием... Тем не менее в следующем году он получил новое высокое звание, обойдя при этом вельмож Сукэката и Канэмаса. Сукэката был заслуженным старым придворным, Канэмаса — одним из самых знатных вельмож в то время. Оба были к тому же старшими сыновьями и главой рода, и то, что их обошли при очередном присвоении рангов, было весьма прискорбно! Тюнагона же Наритика повысили в награду за то, что он построил дворец на Второй дороге, в сто-

лице, и преподнес его в дар Го-Сиракава. А еще через год он был снова повышен в ранге и получил звание дайнагона. «И это несмотря на проклятие Священной горы!» — дивились люди, наблюдая его стремительный взлет.

Однако ныне судьба жестоко обошлась с дайнагоном,— кто знает, может быть, именно из-за проклятия монахов... Кара ли богов, людское ли проклятие,— рано или поздно непременно настигнет оно человека, и никто не знает, в какой час это случится.

На третий день той же луны в бухту Даймоцу из столицы прибыл гонец. Дайнагон затрепетал, услышав об этом. «Наверное, он привез приказ зарубить меня здесь!» — подумал он, однако приказ был иной: отправить его в изгнание на остров Кодзима, что в земле Бидзэн. И еще гонец привез дайнагону личное письмо от князя Сигэмори. Письмо гласило:

«Я всячески старался, чтобы место ссылки было где-нибудь поближе к столице, и, как мог, уговаривал Правителя-Инока, но увы, к великому моему прискорбию, ничего не добился. Сами видите, сколь я неловок и ни на что не годен! Но все-таки, хотя бы жизнь Вашу удалось отмолить!..»

И еще велел князь Сигэмори гонцу передать его наказ старшему самураю Канэясу Намба: «Всячески ухаживай за дайнагоном, пекись о нем со всем возможным усердием: не вздумай нарушить это приказание твоего господина!» К этому присовокуплены были подробные указания, как поступать в тех или иных обстоятельствах, могущих встретиться по дороге.

«Куда же меня везут?» — думал дайнагон, разлученный и с государем, столь к нему благосклонным, и с супругой своей, и с детьми,— а это расставание с ними, даже на короткое время, и то всегда было для него мукою. «Нет, видно, не вернуться мне больше в столицу, не видать больше жены и детей! В былые годы меня уже однажды приговорили к ссылке по жалобе монахов Горы, но тогда государь сжалился надо мной, и меня вернули назад с Седьмой дороги. На сей раз меня ссылают вопреки его воле... Да как же это возможно?!» Так горевал он и плакал, припадая к земле, взывая к небу, но увы, все напрасно!

С рассветом отплыли вниз от столицы, но и в пути дайнагон все время обливался слезами; казалось, смерть ему гораздо милее жизни. А все же эта горькая и хрупкая жизнь не испарилась, как роса. И постепенно между ним и столицей все больше и больше ложились белопенные волны,— след лодки, уплывшей вдаль, как сказано о том в песнях... Так шел день за днем, столица все отдалялась, а край, прежде казавшийся столь далеким, становился ближе и ближе. Наконец лодка причалила к острову Кодзима, что в краю Бидзэн, и дайнагона привели в жалкую хижину под пле-

теной крышей. Жилище это было таким убогим, что дайнагон только диву давался. И остров был, как все острова,— позади горы, впереди море. Ветер, шумящий в прибрежных соснах, волны, с грохотом набегающие на берег,— все, что касалось слуха и взора, лишь усиливало и без того неизбывное горе дайнагона.

9

СОСНА АКОЯ

Наказан был не один дайнагон, многих постигла тяжкая кара. Преподобного Рэндзё сослали на остров Садо, Мотоясу, правителя земли Ямасиро,— в край Хооки, Нобуфуса — в край Ава, Сукэюки — в край Мимасака...

В эти дни Правитель-Инок пребывал в своей вотчине, в Фукухара; в двадцатый день той же шестой луны отправил он Мотодзуми, одного из вассалов, к брату своему сайсё с посланием: «Без промедления доставь сюда зятя твоего Нарицунэ, ибо в том возникла необходимость».

— Скорее бы уж все это кончилось, я бы постарался смириться! — воскликнул сайсё.— Нет сил снова переживать эту муку!

И он приказал Нарицунэ отправиться в Фукухара. Тот покорно стал собираться, горюя и плача.

Женщины, в слезах, приступали к сайсё:

— Не говорите нам, что это невозможно, попытайтесь еще раз замолвить слово за Нарицунэ!

— Все, что я мог, я уже однажды сказал,— отвечал сайсё,— сверх того мне нечего больше добавить... Разве лишь то, что теперь я твердо решил удалиться от мира. Обещаю вам только — если я сам буду жив, навещу Нарицунэ, как бы далеко его ни сослали!

У Нарицунэ был малютка-сын, ему скоро должно было исполниться три года. В молодости люди редко чувствуют особенно пылкую любовь к детям; так и Нарицунэ до сих пор не проявлял заметной привязанности к ребенку. Но в миг тяжкой разлуки он, как видно, остро ощутил отцовское горе, ибо сказал:

— Я хочу еще раз его увидеть!

Кормилица принесла ребенка. Нарицунэ посадил мальчика на колени и со слезами на глазах, погладив его по волосам, промолвил:

— А я-то мечтал: вот исполнится тебе семь лет, после обряда совершеннолетия отдам тебя на службу во дворец... Да что пользы теперь толковать об этом! Если суждено тебе вырасти и уцелеть, ступай в монастырь и молись за упокой моей души!

И ребенок согласно кивнул головкой, хотя младенческим умом своим не мог, конечно, понять слова Нарицунэ. При виде этого и сам Нарицунэ, и мать дитяти, и кормилица, и все, кто находился при этом,— и слабые, и сильные духом,— все невольно оросили рукава слезами.

Между тем посланец из Фукухара торопил:

— Скорее! Скорее! Нам нужно засветло быть в Тоба!

И тогда сказал Нарицунэ:

— Я не собираюсь оттягивать свой отъезд, но, может быть, можно мне хоть одну ночь еще провести в столице?..

Однако посол торопился, так что в тот же вечер Нарицунэ покинул дом и прибыл в Тоба. Тесть его сайсё, совсем упав духом, на сей раз не поехал с ним.

На двадцать второй день той же луны прибыли они в Фукухара, и Правитель-Инок повелел сослать Нарицунэ в край Биттю, поручив его вассалу своему Сэноо Канэясу. Тот, опасаясь, как бы до сайсё не дошли неблагоприятные о нем слухи, в пути всячески ухаживал за Нарицунэ, стараясь его утешить. Но Нарицунэ был безутешен. Днем и ночью непрерывно твердил он имя Будды и молился о смягчении участи своего отца.

Дайнагона сослали на остров Кодзима, однако самурай Цунэтоо, которому его поручили, решил самолично, что место не годится для ссылки — слишком близко имелась большая гавань, куда заходили корабли. Он увез дайнагона с острова и поселил его в горах, в уединенном храме Арики, в уезде Нивасэ, неподалеку от границы, разделяющей земли Биттю и Бидзэн. Менее десяти тё отделяли владения Канэясу Сэноо в краю Биттю от храма Арики — в Бидзэн. Оттого-то Нарицунэ, живший в поместье Канэясу, с нежностью встречал даже порывы ветра со стороны Арики.

Однажды он решился спросить Канэясу:

— Сколько дней пути отсюда до Арики, в краю Бидзэн, где живет мой отец?

— Тот, рассудив, как видно, что говорить правду не следует, ответил:

— Ближним путем будет дней двенадцать — тринадцать!

Слезы потекли по щекам Нарицунэ, и он промолвил:

— В древности Япония делилась на тридцать три края, потом стало их шестьдесят шесть... Земли Бинго, Биттю и Бидзэн составляли когда-то единый край. Так же было и на востоке — прославленные земли Дэва и Митиноку были некогда одним краем, и звался он «Митиноку». Лишь недавно выделили двенадцать уездов и создали новый край Дэва. Когда вельможу Фудзивара Санэката сослали в восточные земли, захотелось ему взглянуть на прославленную достопримечательность этих мест — «Сосну Акоя». Все

уголки исходил он в поисках этой сосны, но напрасно. Решив, что поиски его тщетны, он пустился в обратный путь, и тут повстречался ему глубокий старик. «Послушайте! — окликнул его Санэката.— По виду вы человек весьма почтенного возраста. Не знаете ли вы, где находится прославленная сосна Акоя, достопримечательность здешних мест?» Но старик отвечал: «Здесь нет такой сосны! Наверное, она находится в Дэва!..» — «Значит, и вы не знаете! — поразился Санэката.— Поистине, недалек конец мира, если прославленные места уже позабыты!» И с этими словами он собрался было идти дальше своей дорогой, как вдруг старец остановил его за рукав: «Господин, вы изволите говорить о сосне Акóя, которой славится здешний край? О той самой, о которой поется в песне:

«Луну затенили
Могучие ветви Акоя —
Сосны в Митиноку...
Время восхода настало,
А она все не может взойти!»

Эту песню сложили в стародавние времена, когда вся здешняя земля считалась единым краем Митиноку. Но когда выделили двенадцать уездов, сосна очутилась не в Митиноку, а в Дэва!» — «Вот оно что!» — сказал Санэката. Он отправился в соседнюю землю Дэва и там увидел сосну Акоя... Оказывается, она была рядом. Нарочный, везущий с далекого острова Кюсю к государеву двору рыбу горбушу на праздник Нового года, покрывает весь путь за пятнадцать дней. Ты же говоришь о двенадцати днях пути,— да за такой срок можно добраться отсюда до Цукуси... Как бы далеко не было от нас до Арики, расстояние между Биттю и Бидзэн никак не может быть больше двух или трех дней пути. Значит, ты не хочешь, чтоб я знал, где находится мой отец дайнагон, оттого и выдаешь близкое за далекое!

И, сказав так, Нарицунэ никогда больше не заговаривал об отце, как бы сильно ни тосковал.

10

СМЕРТЬ ДАЙНАГОНА

Между тем Сюнкана, монаха Ясуёри и вместе с ними Нарицунэ сослали на остров Демонов, что лежит в море Сацума. Остров сей расположен далеко от столицы, морской путь к нему труден и опасен. Без особой нужды туда и кораблей-то не посылают. Людей на острове мало, и на жителей нашей страны они не похо-

жи. Цвет кожи у них черный, точно у буйволов, тело обросло шерстью, и слова, которые они произносят, понять невозможно. Мужчины не носят шапки, женщины не причесывают волос. Неведома им одежда, оттого и на людей они не похожи. Главное их занятие — убийство живых созданий, ибо нет на острове растений, годных для пропитания. Они не возделывают поля, оттого и нет у них риса, в садах не сажают деревья тута, оттого и нет у них шелка и других тканей. Посреди острова высятся горы, вечно пылает там неугасимое пламя. В изобилии имеется там вещество, именуемое серой, оттого и зовется этот остров еще и другим названием — «Иводзима», «Сернистый остров». Среди горных вершин непрерывно грохочут раскаты грома, в низинах же потоками низвергаются ливни. Кажется, ни единого дня, ни краткого мига невозможно здесь прожить человеку?

Тем временем, дайнагон, прибыв наконец к месту своей ссылки, думал, что, как бы то ни было, теперь он немного отдохнет от пережитых страданий, но, услыхав, что сына его Нарицунэ сослали на остров Демонов, понял, что отныне надеяться больше не на что и счеты его с жизнью закончены. И вот, когда представился случай, написал он князю Сигэмори, что решил постричься в монахи. Тот доложил об этом государю Го-Сиракава, и разрешение было дано. Вскоре свершился обряд пострижения. Вместо пышных нарядов былых времен облачился дайнагон в убогую черную рясу — одежду тех, кто порвал все связи с сей юдолью горестей и печали...

Между тем супруга дайнагона, таясь от людей, ютилась в храме Унрин, близ горы Китаяма. Жить в чужом, незнакомом месте и всегда-то печально, тем более сейчас, когда ей приходилось скрываться,— каждый день казался ей веком. Много слуг и служанок было у нее прежде, но, боясь людских глаз, теперь никто не являлся ее проведать. Среди них исключением был самурай Нобутоси. Он постоянно наведывался к госпоже, ибо имел на редкость доброе сердце. И вот, призвав этого Нобутоси, сказала она однажды:

— Молва твердила, будто муж мой сослан на остров Кодзима, в краю Бидзэн. Но недавно я услыхала, что теперь живет он, кажется, в Арики. О, как хотелось бы мне хоть один-единственный раз написать ему и дождаться его ответа!

Утерев слезы, отвечал Нобутоси:

— С детских лет я был обласкан милостью господина и никогда от него не отлучался. Когда предстоял ему отъезд в Бидзэн, я жаждал разделить с ним ссылку, но Тайра не разрешили. В ушах моих до сих пор звучит его голос; слова, которыми он, бывало, выговаривал мне, поучая, запали глубоко в душу. Что бы меня ни ожидало — я доставлю ваше письмо моему господину!

Супруга дайнагона обрадовалась, тотчас же написала письмо и отдала Нобутоси. Дети тоже написали каждый по письму. Нобутоси взял их послания и пустился в далекий путь, к земле Бидзэн, к храму Арики.

Приехав, он прежде всего дал знать самураю Намба Цунэтоо, которому поручено было сторожить дайнагона. Цунэтоо, тронутый его преданностью, сразу же разрешил свидание. И вот в то время, как дайнагон, погруженный в глубокую скорбь, всеми помыслами летел к столице, ему сказали: «Здесь Нобутоси!»

«Что это, уж не сон ли?» — мелькнуло в голове у дайнагона, и, не дослушав, он вскочил со словами: «Сюда! Сюда!»

Нобутоси вошел. Убогим было жилище,— первое, что обычно бросается в глаза людям,— но Нобутоси даже не заметил эту убогость, ибо у него потемнело в глазах при виде дайнагона, облаченного в черную рясу, и он чуть не лишился чувств.

Подробно передав все, что приказала госпожа, достал он письма и подал. Дайнагон развернул послание жены, взглянул,— слезы мешали разглядеть начертанные кистью слова.

«Малые дети тоскуют и плачут. Сил нет видеть их горе; я тоже, кажется, не вынесу этой муки...»

Прочитал дайнагон эти строчки, и сердце снова сжалось от боли, и подумал он, что все его страдания — ничто в сравнении с горем жены и детей.

Прошло несколько дней. «Позвольте не покидать вас до последнего вашего вздоха!» — умолял Нобутоси, но самурай Цунэтоо, которому вверен был дайнагон, упорно твердил: «Нельзя!» Делать нечего, пришлось и дайнагону приказать: «Возвращайся!»

— Меня, наверное, вскоре убьют,— сказал он.— Если услышишь, что меня уже нет на свете, помолись за упокой моей души поусерднее!

Затем дайнагон написал письмо супруге и отдал Нобутоси. Тот взял письмо, распрощался и со словами: «Я еще увижу вас!» — поднялся, чтобы уйти, но дайнагон задержал его.

— Навряд ли я дождусь тебя снова. Побудь же еще немного! Еще совсем немного! Слишком уж тяжело мне будет после твоего отъезда! — Так несколько раз возвращал он Нобутоси обратно.

Но прощание не может длиться вечно,— утирая слезы, Нобутоси отбыл и возвратился в столицу. Он отдал госпоже письмо дайнагона. Развернула госпожа бумагу, взглянула и поняла, что дайнагон уже постригся в монахи,— в письмо вложил он прядь волос, снятых при пострижении.

— Не радостно, а горько видеть мне этот его подарок! — воскликнула она, не в силах снова бросить взгляд на послание, и, упав ничком, зарыдала. Дети вторили ей громким плачем.

А дайнагона, как он и предчувствовал, убили. Случилось это в том же году, в шестнадцатый день восьмой луны. О гибели его ходили разные слухи. Говорили, будто поднесли ему отравленное сакэ, но яд не подействовал, и тогда его столкнули с высокого, крутого обрыва, а внизу были воткнуты копья с раздвоенными концами. Поистине, подлое и страшное дело! Такого, кажется, и в старину не бывало!

Услышав, что дайнагона уже нет в живых, его супруга сказала:

— До сих пор я жила среди людей, потому что надеялась когда-нибудь снова на него поглядеть, чтобы он увидел меня, но теперь мне незачем более оставаться в миру! — И она удалилась в храм Бодай-ин, стала монахиней, возносила молитвы Будде, как предписывает устав, и молилась за упокой души дайнагона.

Госпожа эта, дочь Ацуката, правителя земли Ямасиро, была несравненной красавицей и любимой наложницей государя Го-Сиракава. А так как дайнагон Наритика тоже был самым преданным и любимым его вассалом, то Го-Сиракава и пожаловал ее ему в жены.

Младшие дети дайнагона собирали цветы, черпали священную воду и, украшая могилу, молились за упокой души отца.

Шло время, разные событья сменяли друг друга... Все быстротечно, все меняется в нашем мире, где сами небожители и те не избегнут «Пяти увяданий».

16

МОЛЕНИЕ ЯСУЁРИ

Тем временем жизнь ссыльных на острове Демонов держалась чудом, подобно капле росы на кончике травинки, и мгновенно готовы были они расстаться с нею. Но из поместья, принадлежавшего тестю Нарицунэ, постоянно слали ему еду и одежду. Благодаря этому держались и Сюнкан и Ясуёри.

Когда Ясуёри приговорили к ссылке, он по дороге принял постриг и стал монахом, приняв имя «Сёсё» — «Изначальный свет». Он давно уже помышлял о том, чтобы уйти от мира, и теперь сложил песню:

«Вот и пришлось покинуть
Этот суетный мир.
О, досадная горечь:
Зачем не ушел я прежде,
Сам, по собственной воле?!»

Ясуёри и Нарицунэ издавна питали глубокую веру в бога Кумано, и задумали они как-нибудь устроить на этом острове молельню наподобие трех священных храмов Кумано, чтобы молиться там о возвращении в столицу. Сюнкан же от природы был первейшим во всей стране нечестивцем, в богов не верил и не разделял желания своих товарищей. Но у Ясуёри и Нарицунэ мысли были общие, и вот стали они бродить по острову в поисках уголка, похожего на местность Кумано.

Наконец встретилась им возвышенность, поросшая прекраснейшим лесом. Словно багряной парчой, разукрашены были деревья осенней листвою. Взору их предстали высокие горы причудливых очертаний; белые облака опирались на их вершины, а склоны, казалось, одеты тончайшим сине-зеленым шелком разных оттенков. Несказанно прекрасны были и лес и горы... К югу расстилалось безбрежное море; волны катились вдаль, теряясь в туманной дымке. К северу громоздились крутые скалы; бурля, ниспадал оттуда водопад длиною в сто сяку... Грозный шум водопада и шелест ветра в соснах придавали этому месту таинственность, величавость, и веяло здесь божественным духом, точь-в-точь как на святой вершине Нати в Кумано, где обитает бог Летящего водопада. Не колеблясь, решили они назвать это место «Вершина Нати».

«Та гора пусть будет у нас Главным храмом, тот утес да именуется Новым храмом...» Каждой вершине дали они название разных храмов Кумано. Ясуёри стал духовником, а Нарицунэ — паствой. Каждый день они дружно ходили туда молиться о возвращении в столицу, как будто шли на поклонение в Кумано.

— О великий бог-хранитель Кумано, молим тебя, яви свою милость, возврати нас в родимый край, сподобь снова увидеть наших жен и детей!..

Так, день за днем, ходили они молиться.

Вместо чистых белых одежд, подобающих богомольцам, приходящим в Кумано, они сшили себе одеяния из конопляных волокон, а обряд очищения совершали, черпая болотную воду, будто это чистый поток Ивада; а поднявшись в гору, говорили: «Вот Ворота прозрения!» Не было у них бумаги, чтобы написать и поднести божеству священные обеты, и потому всякий раз, приходя к священному месту, Ясуёри подносил цветы и читал молитвы.

Моление Ясуёри

— Сегодня, избрав счастливый день, счастливое утро, когда звезды показывают год петуха — первый год эры Дзисё, в двенадцатую луну, когда уже более трехсот пятидесяти дней миновало с начала года, я, недостойный, взываю к тебе, о великий, первейший, могущественный дух Японии, бог Кумано, и к тебе, грозный

и гневный бодхисатва Летящего водопада, карающий ослушников, нарушивших великий Закон Будды! Мы оба, полные веры, Фудзивара Нарицунэ и я, новообращенный монах Сёсё, очистив тело, уста и помысла от трех грехов и слив воедино душу и тело, от всего сердца смиренно обращаем наши молитвы к тебе, о великий бодхисатва Амида-нёрай! Ты учитель, спасающий все живое в этом мире страданий; ты единый в трех образах переправляешь грешников на Берег прозрения! И к тебе обращаем мольбы мы, о великий бог-целитель Якуси-нёрай, владыка Чистой райской земли, лазурью сияющей на востоке, славный бог Хаятама! И к тебе, бог Фусуми; ты же — бодхисатва Каннон, тысячерукое божество, обращающее на Путь истины все живое, проповедуя учение Будды на горе Поталака в далекой Индии — южной стране! Бодхисатва Каннон, одиннадцатиликое божество, ты владыка этой юдоли скорби, ты спасаешь все, что живет, ты вселяешь мужество в робких, ты внемлешь молениям смертных! Из всех одиннадцати ликов Будды твой лик — самый высокий!

Каждый, кто молится о покое и мире в этой жизни, начиная от государя и кончая последним смердом, каждый, кто жаждет блаженства после кончины, непременно сподобится твоей благодати, если станет провозглашать имя Будды по утрам, омывшись чистой водой, смыв скверну с тела и отбросив земные страсти, томящие душу, и по вечерам, обратившись лицом к Священной горе Кумано. Эти скалистые высокие горы для нас символ доброты и величия Будды, эти бездонные крутые ущелья глубоки, как стремление Будды спасти все живое, всех смертных! С верой в Будду поднимались мы на эти вершины, пробираясь сквозь тучи, опускались в ущелья, невзирая на хладные росы, и творили молитву. Если бы не уповали мы на божественную благодать великого бодхисатвы, как могли бы мы свершить путь, столь опасный и трудный? Если бы не веровали в чудесную силу святого бога, как могли бы прийти на молитву в это глухое, отдаленное место? А посему, о великий бог, и ты, бог Летящего водопада, обрати к нам милосердный и ясный взор твой, чистый, как лотос, приклони слух свой, чуткий, как у молодого оленя, узри чистоту наших помыслов, в коих нет двоедушия, и внемли нашему гласу, полному великой любви к тебе!

Ради спасения верующих и неверующих покинул ты, о бог Хаятама, и ты, о бог Фусуми, райские чертоги, сверкающие всеми сокровищами вселенной, умерили сияние, излучаемое сонмами посланцев Будды, и поселились вместе с нами, в нашем грешном мире, в его грязи и прахе. Вот почему без конца стекаются к вам вереницы приносящих вам дары и священные обеты, и несть числа почитающим вас и молящим с надеждой: «Милосердие божие,

да изменит предначертание Судьбы! Да обретет просящий жизнь вечную!» Приходящие в храм ваш в монашеском рубище приносят к вашему алтарю цветы прозрения, и так их много, что содрогается пол в священных чертогах! У верующих в бога Кумано сердца чисты, как воды в райском пруду Спасения всех грешных. Если мы удостоимся благодати и ты, о великий бог, внемлешь нашей молитве, исполнится то, о чем просим! Обращая взор ввысь, коленопреклоненно молю — о боги всех двенадцати святилищ Кумано, расправьте Крылья Спасения, воспарите высоко в небо над миром суеты и греха и положите конец мукам изгнания! Да исполнится заветная мечта наша — возвращение в столицу! Бью челом вам, снова и снова!

Так молился Ясуёри.

14

СТУПА В ВОЛНАХ

Нарицунэ и Ясуёри каждый день ходили в созданный ими храм Кумано, а случалось, проводили и всю ночь в молитвах. Както раз они всю ночь распевали песнопения «имаё». На рассвете Ясуёри задремал и вот что увидел во сне: будто из морской дали выплыла лодка под белым парусом и вскоре причалила к берегу; из лодки вышли женщины в алых хакама и, ударяя в ручной барабан, запели хором:

«Надежней святого зарока
Множества будд
Заступницы Тысячерукой
Единый обет.
Слыхали?! На древе иссохшем
От мощи его
Цветы расцветают внезапу,
Созревают плоды!»

Они повторили эту песню несколько раз и исчезли, точно растворились в воздухе. Пробудившись, Ясуёри немало дивился этому сновидению.

— Думается мне, то явился в преображенном виде Великий дракон, бог-повелитель морей и водоемов. Среди трех святилищ Кумано Западный храм посвящен богине Каннон. А бог Дракон — не кто иной, как один из двадцати восьми ее божественных стражей. Значит, есть надежда, что молитва наша услышана.

В другой раз, проведя ночь в молитве, они оба задремали, и приснился им одинаковый сон: ветер, подувший с моря, принес два

древесных листка и опустил их прямо на рукава каждому. Ни о чем не догадываясь, взглянули они на эти листочки: то были листья дерева «наги», что растет на святой вершине, в Кумано. Червяк прогрыз на них дырочки, так что ясно складывались слова песни:

«Если будут моления
Сильным и быстрым богам
Рьяны и ревностны,
Вам ли тогда не откроется
Путь возвращенья в столицу?!»

Чтобы хоть как-нибудь заглушить безмерную тоску по родным краям, Ясуёри решил вырезать из дерева тысячу ступ. На ступах он задумал начертать священную индийскую букву «А», год, месяц, день, свое мирское и духовное имя и две песни:

«О ветер, летящий
Над всеми путями морскими,
Матушке милой скажи:
Томлюсь я на острове малом
Что в Са́цума — дальнем заливе».

* * *

«Помысли, как тягостно мне,
Если даже в дороге недальней,
Зная, что скоро вернусь,
Тосковал я безмерно
О старинном пределе!»

Эти ступы Ясуёри относил к заливу. Всякий раз, когда белопенные волны, набегая, разбивались о берег и отступали обратно, он бросал по одной ступе в море, приговаривая:

— О великие боги, властители небес и земли, и вы, светлые боги, охраняющие столицу, и ты, великий бог Кумано и пресветлая богиня Ицукусима! Молю вас, пусть хоть одна из этих ступ достигнет столицы!

Так бросал и бросал он ступы, по мере того как были готовы. Шли дни, и число ступ росло, приближаясь к задуманной тысяче.

То ли тоскующая душа Ясуёри уподобилась ветерку, несущему вести, то ли помогла чудесная сила богов и будд, но только одну из тысячи этих ступ прибило волнами к побережью земли Аки, в Ицукусима, туда, где у самой воды стоит храм великого бога морей.

Как раз в это время туда пришел странствующий монах, близкий друг Ясуёри. «Если представится случай, поеду на остров Демонов, узнаю, что с ним!..» С такою думой отправился сей монах в паломничество по святым местам к западу от столицы и прежде всего пришел помолиться в храм Іцукусима. Здесь повстречался ему человек, по виду — жрец этого храма. Монах разговорился с ним и, рассуждая о том, о сем, спросил:

— Слыхал я, что будды и бодхисатвы, превратившись в японских богов, являют множество чудес... Но скажите, как случилось, что здешний бог стал повелителем всех существ, одетых в чешую и живущих в океанских просторах?

И жрец ответил:

— Здешний бог — это бодхисатва, принявший облик третьей дочери царя-повелителя соленых морей дракона Сякацура; ради спасения всех живых существ пребывает он здесь, снизойдя к нам из мира Справедливости и Закона! — И он рассказал о многих поистине дивных и благостных деяниях этого бога с первых дней его появления в этих краях и вплоть до нынешних времен.

Стройными рядами вознеслись коньки крыш всех восьми строений, образующих храм, как будто созданный чудодейственной силой бога; к тому же стоит этот храм прямо в море, и луна озаряет его в часы прилива и отлива. Прихлынет море,— огромные ворота и ограды, выкрашенные в алую краску, сверкают в лунном сиянии, как драгоценные камни; отхлынет море — «белый песок, озаренный луною, словно инеи, выпавший летней ночью...»

Монах, преисполнившись благоговения, стал читать священную сутру; между тем день постепенно померк, засияла луна, наступил час прилива. Вдруг среди водорослей, колеблемых волнами, заметил он какой-то предмет, очертаниями похожий на ступу. Ничего не подозревая, поднял он ее, стал разглядывать вблизи и вдруг прочитал: «...Томлюсь я на острове малом, в Сацума...» Резьба была глубокой, потому волны ее не смыли, и знаки виднелись отчетливо и ясно.

«О, чудо!» — подумал монах, положил ступу в легкий ящичек, висящий у паломников за спиной, возвратился в столицу и поспешил туда, где, таясь от людей, жила благородная монахиня — мать Ясуёри и его жена с детьми. Он показал им ступу. «О, как могло случиться, что эта ступа не унеслась по волнам в Китай, а приплыла сюда, чтобы снова терзать нам душу!» — восклицали они и еще острее почувствовали свое горе.

Слух об этом дошел и до государя-отца. «О, жалость! Значит, несчастные еще живы!» — промолвил он, взглянув на ступу, и пролились драгоценные слезы... Вскоре показали ступу и князю Сигэмори, а тот показал ее своему отцу, Правителю-Иноку.

Какиномото Хитомаро пел о лодке, что исчезает за островом, Ямабэ Акахито сложил песню о журавлях, что улетают в прибрежные заросли камыша; бог Сумиёси скорбел о ветхих крышах храма, бог Мива в песне рассказал о вратах из дерева криптомерии... С тех пор как в древности бог Сусаноо сложил первую песню «танка», многие боги поверяли стихам все богатство своих чувств и переживаний. Песня движет людскими сердцами, приводя их в волнение... Сам Правитель-Инок при виде ступы обронил, говорят, несколько сочувственных слов,— ведь и у него как-никак в груди было сердце, а не камень или бесчувственная деревяшка!

Свиток третий

1

ПОМИЛОВАНИЕ

Сменился год, наступил второй год эры Дзисё. В первый день нового года во дворце государя-отца, как обычно, был праздник — придворные приносили свои поздравления. На четвертый день поздравить державного отца прибыл сам император. Все шло раз заведенным порядком. Но с тех пор, как минувшим летом погиб дайнагон Наритика и многие другие верные слуги Го-Сиракава, гнев неотступно терзал его душу, управление страной было в тягость. Мрачен был государь. В свой черед и Правитель-Инок с того самого дня, как Юкицуна донес ему о заговоре придворных, с подозрением относился к государю и, хотя делал вид, будто ничего не случилось, в глубине души считал, что надо его остерегаться.

На седьмые сутки первой луны в небе, на востоке, появилась комета; в восемнадцатый день засветилась она особенно ярким блеском.

Между тем дочь Правителя-Инока, государыня Кэнрэймонъин захворала. Все — и благородные и низкорожденные,— печалились о ее недуге. Во всех буддийских храмах читали священные сутры за здравие государыни. Всем храмам, где почитали японских богов, от имени императорской семьи разослали щедрые подношения. Врачи предлагали все лекарства, какие только существуют на свете, чародеи, владеющие тайной законов Инь-Ян, прилагали все старания, все искусство. Священники провозглашали все молитвы, общеизвестные и самые сокровенные. Вскоре, однако, разнеслась весть, что болезнь сия необычна — государыня ждет ребенка. Государю исполнилось восемнадцать лет, государыне — двадцать два, но до сих пор не было у них ни сына, ни дочери. «Если родится наследник-мальчик, вот будет счастье!» — заранее ликовали все

отпрыски дома Тайра, словно этот мальчик уже родился; прочие же шептались: «Тайра процветают все больше. Счастье и на сей раз им не изменит,— несомненно, родится мальчик!»

Когда весть о беременности государыни подтвердилась, немедленно приказали священнослужителям самых высоких рангов служить молебны, молиться звездам, всем буддам и бодхисатвам о рождении наследника-принца. Во дворец прибыл настоятель храма Нинвадзи, принц крови, преподобный Сюкаку; он читал сутру Фазана, отводящую всякую беду и болезни. Прибыл также глава секты Тэндай, принц крови, преподобный Каккай, чтобы силою молитвы плод во чреве императрицы, если паче чаяния понесла она девочку, непременно превратился бы в младенца мужского пола.

Но по мере того как луна сменялась луною, здоровье государыни ухудшалось. Так страдала, наверное, на ложе болезни во дворце Чжао-Ян госпожа Ли из Ханьского царства, та, о которой сказано: «Кинет взгляд, улыбнется и сразу пленит обаянием родившихся чар...» Так грустила, верно, сама Ян Гуй-фэй из Танского царства,— «груши свежая ветка в весеннем цвету», что поникла от капель дождя... Лотос, сломленный ветром, цветок оминаэси, поникший от росы долу... Но государыня Кэнрэймонъин казалась еще печальнее и слабее. А в это время вокруг теснились чародеи и заклинатели, во весь голос читали заклятья, призывали божество Фудо-мёо, силою своих чар усмиряя злых духов, и те, повинуясь молитвам, вещали устами отрока-ясновидца, называя свои имена и звания.

То были духи живых и мертвых — дух покойного государя Сануки, сосланного в смутные годы Хэйдзи в землю Сануки и похороненного у кручи Сираминэ; скорбный дух князя Фудзивара Ёринага, погибшего в ту же смуту; дух убитого дайнагона Наритика; злобный дух монаха Сайко; живые духи изгнанников, томившихся на острове Демонов...

Тогда повелел Правитель-Инок успокоить духов, живых и мертвых; и тотчас же покойному государю Сануки посмертно присвоили высокий титул императора Сютоку. Покойного князя Фудзивара Ёринага повысили в звании, посмертно пожаловав ранг Главного министра. Посланником, везущим эти указы, назначили младшего придворного летописца Корэмото. Могила князя Ёринага находилась в краю Ямато, в уезде Соноками, на кладбище, неподалеку от селения Каваками. Осенью в один из годов смуты Хогэн могилу раскопали и выбросили останки. С тех пор непогребенные кости так и валялись на дороге. «Годы шли, и лишь густые травы весною шумели над разрытой могилой...» Как же обрадовался, должно быть, дух усопшего князя, когда прибыл императорский посланец и прочитал указ, дарующий ему новое звание!

Да, недаром страшатся люди гнева усопших! Оттого-то и провозгласили посмертно императором ссыльного наследника-принца Савара, а принцессу Игами, умершую в заточении, посмертно вновь провозгласили императрицей. Некогда государь Рэйдзэн помешался в рассудке, а государь Кадзан сам отрекся от трона, и все это натворил мстительный дух князя Мотоката! А дух покойного Кандзан, священника, служившего при дворе, отнял зрение у государя Сандзё.

Услышав об умиротворении покойных, тесть Нарицунэ, младший брат Правителя-Инока, сказал князю Сигэмори, своему племяннику:

— Каких только молитв не возносят, чтобы государыня выздоровела и благополучно разрешилась от бремени... А только сдается мне, нет лучшего средства снискать благословение богов, чем объявить внеочередное помилование всем осужденным. И, что ни говори, ничто не будет так угодно богам, чем возвращение в столицу ссыльных с острова Демонов!

Представ пред отцом своим, Правителем-Иноком, князь Сигэмори сказал:

— Князь Норимори молит о зяте своем Нарицунэ — больно глядеть, как он горюет! Слышал я,— и молва толкует о том же,— что порчу на государыню наслал скорбный дух покойного дайнагона Наритика. Если вы решили утешить и успокоить дух покойного дайнагона, верните же в столицу его старшего сына, еще живого! Утолите чужие печали — сбудутся ваши собственные стремления, прислушайтесь к чужим мольбам — и ваши собственные молитвы обретут силу: государыня родит сына, и род наш будет процветать, как никогда!

И откликнулся Правитель-Инок необычно мягко и тихо:

— А как же тогда Сюнкан и Ясуёри?..

— Их тоже верните обратно! Великий грех оставить на острове хотя бы одного человека! — сказал князь Сигэмори, но Правитель-Инок не согласился:

— Ясуёри можно простить, а Сюнкана я сам некогда вывел в люди, столько для него сделал! И вот благодарность — устроил у себя, в Оленьей долине, настоящую крепость, во всем показал себя дерзким ослушником! Нет, о Сюнкане и слышать не желаю!

Возвратившись в свою усадьбу, князь Сигэмори сказал дяде:

— Успокойтесь, считайте, что Нарицунэ уже прощен!

Норимори так обрадовался, что, сложив руки, готов был чуть ли не молиться на Сигэмори.

— Когда Нарицунэ уезжал в дальнюю ссылку,— сказал он,— мне все казалось, в душе он меня упрекает — отчего я не добился, чтобы его оставили у меня, не вымолил для него прощение.

Несчастный! Бывало, как посмотрит на меня, так на глазах слезы... Как вспомню, сердце замирает от жалости!

И ответил ему князь Сигэмори:

— Да, поистине, вы правы — дети дороже всего на свете! Не тревожьтесь, я еще и еще раз напомню отцу о Нарицунэ! — И, сказав это, он удалился во внутренние покои.

Итак, решено было возвратить двух ссыльных с острова Демонов. Правитель-Инок велел снарядить посольство и выдал грамоту о помиловании. Посланец уже готов был отправиться в дальний путь. Князь Норимори на радостях отправил вместе с ним и своего человека. «Не медлить, торопиться и днем и ночью!» — гласил приказ. Но морские пути не подвластны человеческой воле; прошло немалое время в борьбе с волнами и ветром. В конце седьмой луны покинул столицу посланец, но лишь на двадцатый день девятой луны добрался он наконец до острова Демонов.

2

ОТЧАЯНИЕ

Посланцем назначили Мотоясу Тандзаэмона. Сойдя с корабля на сушу, он провозгласил: «Где тут ссыльные из столицы — вельможа Фудзивара Нарицунэ и монах Сёсё?» Так громко возглашал он несколько раз. Но Ясуёри и Нарицунэ, как обычно, отправились молиться в свой «храм Кумано», и не было их на месте. Оставался один лишь Сюнкан. Услышав голос посланца, пришел он в смятение. «Я неотступно думаю о столице, и потому, наверное, мне просто чудится чей-то голос... Уж не демон ли Хадзюн смущает мне душу? Нет, не может быть, чтобы то была правда!..» Так безотчетно твердил он, а сам тем временем в великом смятении, падая, спотыкаясь, бегом подбежал к посланцу и назвал свое имя: «Я и есть тот самый сосланный из столицы Сюнкан!» Тогда посланец достал из сумки, висевшей у пажа на шее, грамоту Правителя-Инока и подал Сюнкану. Тот развернул, взглянул там стояло:

«Тяжкую вину, за которую вы были сосланы, настоящим объявляем прощенной. По случаю молебствий во здравие императрицы и дабы благополучно разрешилась она от бремени, объявляем внеочередное помилование. А посему сосланных на остров Демонов Нарицунэ и Ясуёри прощаем». Вот и все, что написано было в грамоте, имени же Сюнкана упомянуто не было. «Может быть, на обертке?..» — со всех сторон осмотрел он бумагу, но своего имени не нашел. Снова и снова читал он грамоту с первых строк до последних, потом еще раз с конца к началу, но все напрасно: упомянуты были двое, о третьем же не говорилось ни слова.

Тем временем вернулись Нарицунэ и Ясуёри. Взял грамоту Нарицунэ, прочитал, за ним прочел Ясуёри, но все напрасно — упомянуты были двое, о третьем не говорилось ни слова. В страшных снах такое бывает... И Сюнкан невольно думал: «Может быть, мне это снится?..» Увы, то была явь, а не сон. Но слишком невероятной казалась такая явь, и снова думалось: «Нет, это сон!..» Мало того, обоим его товарищам привезли из столицы много писем, Сюнкану же не было ни единой весточки, никто не справлялся, как он и что с ним... «Выходит, никого из моих родных и близких уже не осталось в столице!» — думал он, и эта мысль нестерпимой болью давила сердце.

«Но ведь мы, все трое, наказаны за одну и ту же провинность, все трое сосланы одновременно и в одно место. Отчего же двоих прощают, а третьего нет? Может быть, Тайра просто забыли обо мне, а может быть, писец ошибся при переписке? Как же так?» Так горевал он и плакал, припадая к земле, взывая к небу, но, увы, все напрасно...

— Эта горькая участь постигла меня по вине вашего отца, покойного дайнагона Наритика,— говорил Сюнкан, то хватаясь за рукав Нарицунэ, то ломая в отчаянии руки.— А значит, вы не можете остаться безразличны ко мне, как к постороннему. Если уж нет мне прощения и нельзя вам взять меня с собою, то позвольте хотя бы сесть в эту лодку, доставьте меня хотя бы до Кюсю. Пока вы оба жили здесь, само собой получалось, что и до меня долетали какие-то вести из родимого края, словно ласточки по весне, словно дикие гуси осенней порой... А теперь как же я их услышу?

— Поистине, мне понятно, что у вас на душе,— отвечал Нарицунэ,— вся радость возвращения отравлена вашим горем. Будь моя воля, я взял бы вас в лодку, но посланец ни за что не даст своего позволения. Вдобавок, если пройдет слух, что мы покинули остров втроем, это может, напротив, повредить вам в дальнейшем. Лучше сначала я возвращусь в столицу, посоветуюсь там с нужными людьми, разузнаю, в каком настроении Правитель-Инок, и пришлю за вами. А до тех пор крепитесь, ожидайте и живите, как прежде! Что ни говорите, жизнь — вот что дороже всего на свете! Пусть на сей раз помилование вас не коснулось, но в конце концов вы обязательно дождетесь прощения, не сомневайтесь! — Так утешал он Сюнкана, но тот в отчаянии ломал руки и, не стыдясь людей, плакал.

«Готовьте судно!» — раздался приказ, и началась предотъездная суматоха. Сюнкан то входил в лодку, то снова выходил из нее на берег. Он так жаждал уехать со всеми! Но что было делать?

Нарицунэ подарил ему на память свое покрывало, Ясуёри оставил несколько свитков священной сутры.

Вот наконец подняли парус, столкнули лодку в воду, но Сюнкан все не отпускал канат, вцепившись в него руками. Уже вода доходила ему до пояса, а потом и до шеи, а он все тащился за лодкой. Когда же глубина стала больше роста и ноги уже не касались дна, он обеими руками уцепился за борт.

— Так вот как поступаете со мною вы оба! Значит, все-таки бросаете меня здесь! Не думал я, что и тот и другой, вы окажетесь столь вероломны! Значит, долгая дружба ваша на поверку — всего лишь личина, притворство! Возьмите же и меня, пусть нельзя, а возьмите, молю вас! Отвезите хотя бы до Цукуси! — Так просил он, не умолкая, но посланник сказал: «Никак невозможно!» — оторвал его руки, цеплявшиеся за борт лодки, и гребцы налегли на весла.

Сюнкан вышел на сушу, ибо ничего другого ему больше не оставалось, упал на землю у самой кромки воды, там, где волны разбивались о берег, и в отчаянии стал колотить оземь ногами, как малый ребенок, в исступлении зовущий мать или няньку. Он вопил, надрывая голос:

— Эй, возьмите же меня с собой, негодяи! Заберите и меня, говорю вам!

Но лодка уплывала все дальше, и за нею, как всегда, шумели лишь белопенные волны. Лодка была еще близко, но слезы застилали взор, мешая видеть. Сюнкан бегом взбежал на пригорок и оттуда махал руками, обратившись к открытому морю. Поистине, сама Саёхимэ, махавшая шелковым шарфом с берега Мацура вслед отплывавшей в Силлу ладье, горевала не больше, чем Сюнкан в эти мгновенья...

Вскоре лодка скрылась из виду, настали сумерки, а Сюнкан, не возвращаясь под жалкий кров свой, всю ночь пролежал неподвижно на морском побережье, не чувствуя даже, что волны лижут ему босые ноги и ночная роса насквозь пропитала одежду... И если в тот час он не бросился в море, не утопился, то лишь потому, что в душе все-таки уповал на доброту Нарицунэ и верил — а вдруг тот и в самом деле поможет ему вернуться,— напрасная, несбыточная надежда! Вот когда в полной мере познал он горе братьев Сори и Сокури, покинутых мачехой на скалистом морском берегу, в Индии, в древние времена!

7

ВОЗВРАЩЕНИЕ НАРИЦУНЭ В СТОЛИЦУ

И снова сменился год, наступил новый, третий год эры Дзисё. В конце первой луны Нарицунэ покинул Касэ, имение своего тестя в краю Хидзэн, торопясь поскорее прибыть в столицу. Но сильный

холод еще держался, море было неспокойно; пробираясь вдоль побережья от бухты к бухте, от островка к островку, лишь к середине второй луны добрался он до острова Кодзима. Здесь отыскал Нарицунэ хижину, где жил ссыльный его отец, и увидел на бамбуковых столбах, на старых бумажных перегородках след кисти, оставленный дайнагоном.

— Вот лучшая память, которая остается по человеку! Если бы не эти письмена, как узнали бы мы обо всем, что здесь было?

Вдвоем с Ясуёри читали они надписи, сделанные дайнагоном, и плакали; плакали и снова читали...

«В двадцатый день седьмой луны третьего года эры Ангэн принял постриг».

«На двадцать шестой день той же луны прибыл Нобутоси...» — увидели они среди других такую надпись. Из нее узнали они, что Гэндзаэмон Нобутоси навестил дайнагона. Рядом на стенке виднелась другая надпись: «Три великих божества — Амида, Каннон, Сэйси — встретят истинно верующего на пороге райских чертогов! Верую без сомнений и с радостью ожидаю возрождения к новой жизни в Обители вечного блаженства!»

«Значит, несмотря на все муки, отец все-таки уповал на вечную жизнь в раю!» — подумал Нарицунэ, прочитав эту надпись, и эта мысль немного утешила его сердце.

Посетили они и могилу дайнагона, увидали посреди небольшой сосновой рощи не то чтобы настоящее надгробие, а просто небольшой холмик. Обратившись к нему и молитвенно сложив руки, Нарицунэ со слезами на глазах сказал так, словно говорил с живым человеком:

— Отец, смутные вести о вашей кончине дошли до меня еще в то время, когда я находился на острове, в ссылке. Но я не мог сразу же поспешить к вам, ибо был не волен в своих поступках. Конечно, я радуюсь тому, что, несмотря на два года ссылки, сохранил жизнь, непрочную, как росинка. Но что моя жизнь, если вас нет в живых?! Ныне я возвращаюсь в столицу, но что толку, если вас уже нет там? Только надежда на встречу с вами побуждала меня спешить в эти края; теперь же мне больше некуда торопиться! — Так горевал он и плакал.

Будь дайнагон жив, наверное, он сказал бы в ответ: «Здравствуй, сын! Ну, как ты, здоров?» Но безжалостна смерть, человек уходит туда, где нет ни света, ни мрака! Никто не отзовется из-под одетой мхами могилы, слышен лишь неумолчный шум сосен, шелестящих под порывами бури...

Эту ночь вдвоем с Ясуёри они провели возле могилы, ходили вокруг, читая молитвы, а когда рассвело, заново насыпали холм, окружили оградой, рядом соорудили хижину и в течение семи дней

и семи ночей молились и переписывали священную сутру. Когда же исполнился положенный срок молитвы, они выдолбили большую ступу и на ней написали: «Благородный дух почившего здесь да покинет сей мир, где жизнь неизбежно сменяется смертью! Да обретет он великое просветление!» Обозначив год, луну, день, они внизу поставили подпись: «Преданный сын Нарицунэ». При виде сего даже темные простолюдины, обитавшие в этом глухом горном селении, говорили: «Нет сокровища дороже родного сына!» И не было среди них ни одного человека, кто не прослезился бы в умилении.

Нет, никогда не угаснет память об отце-благодетеле, лелеявшем тебя с детства, сколько бы лун, сколько бы лет ни прошло! Давно миновали детские годы, словно сон, словно призрак... Но слезы по умершему отцу все льются и льются, и нет сил сдержать их! Будды и бодхисатвы всех трех миров с состраданием взирали на доброе сердце Нарицунэ, а уж как обрадовался, верно, дух его отца дайнагона!

— Хотел бы я остаться здесь и молиться, дабы мои молитвы обрели благую силу, но и там, в столице, тоже, наверное, ждут меня не дождутся! Сюда я еще приеду! — И, попрощавшись с отцом, Нарицунэ в слезах покинул могилу. А там, в глубине могилы, под покровом травы и листьев, дух умершего тоже, наверное, скорбел о разлуке с сыном.

Шел шестнадцатый день третьей луны, и солнце уже клонилось к закату, когда Нарицунэ прибыл в Тоба. Здесь, в Тоба, находилась усадьба Сухама, имение покойного дайнагона. Прошли годы с тех пор, как обитатели внезапно покинули усадьбу. Ограда еще держалась, но черепичные навесы упали; ворота еще стояли, но створки исчезли. Войдя во двор, увидали они, что давно уже не ступала тут нога человека, все вокруг заросло густыми мхами. Над Осенней горкой, устроенной посреди пруда, веял весенний ветерок, морща водную гладь, и тихо плавали взад-вперед бесприютные, никому не нужные более, яркие мандаринские утки и белые чайки. «Покойный отец так любил этот вид!» — подумал Нарицунэ, и из глаз его снова хлынули слезы. Дом еще не разрушился, но узорные решетки прогнили, ставни и раздвижные двери бесследно исчезли.

— Здесь он сидел, бывало...

— В эти двери, бывало, входил...

— Это дерево посадил своими руками...

Так говорил Нарицунэ, и в каждом слове звучала любовь и неутешная скорбь.

Стояла середина третьей луны, еще благоухали цветы сакуры.

Кусты и деревья, персик и слива, словно встречая приход весны, обильно цвели цветами множества оттенков. Пусть прежнего хозяина давно нет на свете — забудут ли цветы о приходе весны!

«Персик и слива молчат
О том, сколько минуло весен.
Не скажет бесследная дымка
О том, кто здесь прежде жил».

«О, если бы цветы
Селения родного
Могли заговорить?!
Я расспросил бы их
Про давнее былое...» —

вспомнил Нарицунэ старинные китайские и японские стихи, и монах Ясуёри, тоже взволнованный до глубины души, невольно утер слезы. Они решили повременить с отъездом до вечера, но остались далеко за полночь,— так жаль было покидать это место. Чем глубже спускалась ночь, тем ярче озарял все кругом лунный свет, проникая сквозь щели обветшавшей кровли террасы, как бывает всегда в разрушенном, опустевшем жилище. И вот уже рассвет озарил «гору Цзилоушань», а им все еще не хотелось уходить... Но всему приходит конец: «Ведь нас ждут в столице, навстречу высланы кареты, заставлять их томиться ожиданием тоже жестоко!» — подумал Нарицунэ; и, с грустью покинув усадьбу Сухама, направились они в столицу.

Монаха Ясуёри тоже встречала карета, но он не сел в нее, а доехал в одной карете с Нарицунэ до Седьмой дороги; там их пути расходились, и долгим было прощание — так не хотелось им расставаться.

Разлука всегда печальна, кто бы ни расставался,— люди, всего полдня гулявшие вместе под цветущею сакурой, или друзья, вместе скоротавшие ночь, любуясь луною; или случайные спутники, вместе ожидавшие, пока прошумит легкий весенний дождик, на короткие мгновения укрывшись под сенью одного дерева. Что же говорить о Нарицунэ и Ясуёри! Они вместе страдали, влача тяжкую жизнь изгнанников, вместе изведали тяготы долгого, трудного плавания; один рок судил им обоим одинаковый приговор. Их связали прочные узы, уходящие в глубокое прошлое; нерасторжимую силу этих уз ощутили они теперь в полной мере!

Нарицунэ прибыл в усадьбу тестя, князя Норимори Тайра. Мать Нарицунэ жила в Васиноо, близ горы Хигасияма, но в ожидании сына еще накануне прибыла в усадьбу князя. Увидев входящего во двор Нарицунэ, она воскликнула только:

— Я дожила, слава богам! — и, закрыв лицо покрывалом, залилась слезами.

Служанка и самураи, все, кто был в усадьбе, окружили Нарицунэ, плача от радости. А уж радость госпожи его супруги и кормилицы Рокудзё тем более нетрудно себе представить! Волосы Рокудзё, некогда черные, от неизбывного горя совсем поседели, а супруга, некогда прекрасная, как цветок, за эти годы так похудела и осунулась, что почти невозможно было узнать в ней прежнюю женщину. Младенец, с которым Нарицунэ расстался, когда тому было три года, вырос и уже достиг возраста, когда волосы пора собирать в прическу. А рядом с ним стоял трехлетний мальчик. «Кто это?» — спросил Нарицунэ, и кормилица Рокудзё, вымолвив только: «Это... это...» — прижала рукав к лицу и залилась слезами.

— Уезжая в ссылку, я оставил жену едва живую...— произнес Нарицунэ.— Значит, все обошлось благополучно, мой ребенок вырос! — И печаль охватила его при воспоминании о той поре.

Нарицунэ стал по-прежнему служить во дворце государя и вскоре продвинулся в звании.

У Ясуёри близ горы Хигасияма было поместье Сориндзи; там он и поселился, и заветные свои думы прежде всего поверил песне:

«О, как замшела кровля
Здесь, в старом доме моем,
Высоко в горах!
А в изгнанье казалось мне: ярче
Льется в щели сиянье луны».

Здесь, в своей усадьбе, вел он уединенную жизнь, вспоминая горести прошлого; передают, что он написал сочинение под названьем «Изборник сокровища».

8

АРИО

Итак, двое из троих ссыльных, томившихся на острове Демонов, получили прощение и вернулись в столицу. Один лишь Сюнкан остался сторожить постылый остров,— прискорбная, горестная судьба!

У него был юноша-паж, которого он заботливо воспитывал с детства. Звали его Арио. Услышав, что ссыльные с острова Демонов сегодня прибывают в столицу, он отправился встречать их да-

леко, в Тоба; смотрел во все глаза, но своего господина так и не увидал.

— Отчего это? — спросил он, и ему отвечали:

— Слишком велико его преступление, поэтому его не вернули!

Трудно описать, что почувствовал Арио, услышав эти слова. С той поры он все время бродил в окрестностях Рокухара, разузнавал и расспрашивал, но так и не смог узнать, когда же его господину выйдет прощение. Тогда пошел он туда, где, таясь от людей, жила дочь Сюнкана, и сказал:

— Господин батюшка ваш и на сей раз опять оставлен без милости, в столицу не возвратился. Я решил во что бы то ни стало поехать на остров Демонов, чтобы своими глазами увидеть, что с ним. Напишите послание, я отвезу его вашему отцу!

И юная госпожа, плача, написала письмо.

Арио распрощался и, ни слова не сказав отцу с матерью (ибо опасался он, что они не дадут ему позволения), нетерпеливо отправился в путь. Корабли, отплывающие в Китай, уходят не ранее четвертой или пятой луны, но Арио так торопился, что уже в конце третьей луны покинул столицу и, проделав долгий путь морем, добрался наконец до побережья Сацума, что на острове Кюсю. В гавани, откуда отплывали корабли на остров Демонов, люди отнеслись к нему дурно, заподозрили в чем-то, да самого же и обобрали до нитки, но он нисколько о том не сокрушался, тревожился лишь, как бы не пропало письмо юной госпожи, и потому спрятал его в пучке волос, собранных на макушке.

Наконец на купеческом судне переправился он на остров Демонов; глядит и видит — все здесь ничуть не похоже на то, о чем он смутно слышал в столице. Полей нет, ни заливных, ни сухих; нет ни деревень, ни селений. Изредка встречаются люди, но речи их непонятны. «Может быть, кто-нибудь из этих странных созданий все же знает местопребывание моего господина?..» — подумал он и окликнул одного из них: «Эй, постой-ка!»

— Чего тебе? — отвечал тот.

— Не знаешь ли, что сталось с преподобным управителем храма Хоссёдзи, сосланным сюда из столицы? — спросил Арио.

Кто знает, может быть, тот и ответил бы Арио, понимай он такие слова, как «управитель» и «храм Хоссёдзи», но так как не имел он о них ни малейшего представления, то лишь покачал головой и ответил: «Не знаю!» Но другой человек, случившийся здесь, понял, о чем спрашивал Арио, и ответил:

— Верно, верно!.. Такие люди,— их было трое,— здесь жили, но двоих вернули обратно. А третьего они оставили здесь, он все бродил по острову, а куда теперь делся — неизвестно!

Тогда решил Арио искать своего господина в горах. Он взбирался на отвесные скалы, опускался в долины; белые облака застилали ему дорогу, мешая разглядеть тропу под ногами; в прозрачном воздухе клубились дурманящие горные испарения, прерывая сон на ночлеге под открытым небом. Но ни следа, ни даже тени Сюнкана он так и не сумел отыскать.

Не найдя господина в горах, стал Арио искать его на морском побережье, но видел лишь следы чаек на песке, да в час отлива стаи птиц тидори, собиравшихся на белых отмелях, далеко-далеко на взморье. Того же, кого искал он, как не бывало...

Однажды утром на каменистом берегу появилось, шатаясь и с трудом передвигая ноги, какое-то существо, похожее то ли на кузнечика, то ли на отощавшую стрекозу. Когда-то, видно, существо это было монахом, потому что волосы его беспорядочно отросли и стояли торчком, пестрея сухими водорослями, так что казалось, будто на голове у него шапка, сшитая из колючек. Весь он был кожа, да кости, да обрывки какой-то непонятно из чего сшитой одежды. В руках сжимал он пучок съедобных водорослей «арамэ» и выпрошенную у рыбаков рыбу. «Немало нищих встречалось мне в столице,— подумал Арио,— но столь жалкого никогда еще не видал. В священных сутрах сказано, что демоны Асюра обитают у дальнего моря... А Будда учит, что три Сферы зла и четыре Пути греха находятся в глухих горах и у дальнего моря. Наверное, я забрался в одну из этих сфер — в царство Демонов голода...»

Между тем человек тот и Арио постепенно приближались друг к другу. «Кто знает, вдруг этому созданию известно что-нибудь о моем господине...» — подумал Арио и окликнул его:

— Эй, послушай!

— Чего тебе? — отвечал тот, и Арио продолжал:

— Не знаешь ли, где искать сосланного на этот остров управителя храма Хоссёдзи?

Арио забыл, как выглядит господин, но Сюнкан не мог не узнать своего воспитанника.

— Я и есть этот Сюнкан...— вымолвил он и, не договорив, выронил свою ношу и свалился на землю. Так узнал Арио, что сталось с его господином.

Сюнкан тут же лишился чувств; приподняв его к себе на колени и обливаясь слезами, Арио говорил:

— Это я, Арио, господин мой! Неужели напрасно прибыл я сюда, преодолев все трудности морского пути? Неужели лишь затем я приехал, чтобы сразу испытать новое горе? — Так повторял он, плача, и через некоторое время сознание вернулось к Сюнкану. Опираясь на Арио, поднялся он на ноги и промолвил:

— Поистине, прекрасен порыв, что привел тебя в эту даль!

На восходе и на закате ни о чем я не думал, кроме как о столице; сколько раз, бывало, и наяву и во сне являлись мне милые сердцу жена и дети... Теперь я так страшно исхудал и ослаб, что уже плохо отличаю сон от яви. Вот и сейчас: не сон ли твое появление? Ах, если это сон, как тяжко будет мне пробуждение!

— Нет, это не сон, это правда! — отвечал Арио.— А вот что вы, в таких горестных обстоятельствах еще живы — вот это, поистине, чудо!

— Ты прав! — сказал Сюнкан.— Подумай, что я пережил, когда год назад Нарицунэ и Ясуёри бросили меня здесь одного, какое отчаяние меня тогда охватило! Я хотел утопиться, но вероломный Нарицунэ, всячески меня утешая, говорил: «Жди вестей из столицы!» — и я, неразумный, уповал на его обещания, все надеялся — что, если и в самом деле?..— и старался выжить в надежде на его помощь. Но ведь на острове этом нет совсем ничего, что годилось бы в пищу! Пока я был в силах, я поднимался в горы, добывал серу и менял ее на еду у купцов, приезжающих с Цукуси. Но я быстро слабел, и сейчас это для меня уже непосильно. В ясную, как сегодня, погоду, я прихожу на берег, преклоняю колени перед теми, кто тянет сети и забрасывает удочки в море, и они дают мне из милости рыбу; а вечерами, после отлива, собираю ракушки или водоросли «арамэ»,— вот и вся моя пища. Так сохранил я жизнь, непрочную, как росинки, что блестят на мхах, одевших прибрежные камни. Сам не знаю, как я выжил в этом ужасном краю.

Сюнкан помолчал немного, а потом произнес:

— Мне не терпится тут же, на месте, расспросить тебя обо всем, но лучше пойдем ко мне в дом! — И Арио, услышав эти слова, с удивлением подумал: «В таком жалком он виде, а говорит, что имеет дом! Странно!»

Он пошел за Сюнканом и увидел под сенью нескольких сосен хижину — столбами служили бамбуковые стволы, выброшенные на берег волнами, стропила и балки заменял связанный пучками камыш, и все кругом — и пол и навес — было густо усыпано хвоей. Навряд ли такое жилище защищало от непогоды!

Некогда главный управитель всех земель храма Хоссёдзи, он владел более чем восемью десятками принадлежавших храму поместий, пребывал в пышных покоях за высокими воротами с навесом, в окружении сотен слуг и вассалов. Как же получилось, что он очутился теперь в столь жалком, горестном положении?

Разная кара ожидает людей за грехи, совершенные в жизни: «возмездие в настоящем», «возмездие в будущем» и «возмездие в отдаленном будущем». Сюнкан повинен был в том, что постоянно тратил для личных нужд богатства, принадлежавшие великому

храму Хоссёдзи. Тем самым впал он в грех, который сам Будда назвал «бессовестным присвоением лепты, приносимой верующими во славу храма». Вот за этот-то грех и постигло его столь жестокое наказание, словно все три возмездия разом обрушились на него уже в нынешней его жизни!

9

СМЕРТЬ СЮНКАНА

Наконец Сюнкан уверился, что Арио и впрямь предстал перед ним наяву, а не во сне, и промолвил:

— В минувшем году, когда прислали посольство за Нарицунэ и Ясуёри, не получил я никаких вестей от жены и детишек. Вот и теперь ты прибыл сюда, и снова нет мне от них ни строчки... Неужели ничего не велели они передать мне?

Задыхаясь от слез, опустил голову Арио и некоторое время не мог вымолвить ни слова. Но вот наконец собрался с духом и, утерев слезы, ответил:

— Когда вы находились еще под стражей на Восьмой дороге, в усадьбе Тайра, в дом ваш нагрянули самураи и стражники, связали всех, кто был в доме, учинили допрос о заговоре, а потом замучили до смерти. Госпожа, супруга ваша, спасая детей, пряталась с ними в храме на Курама. Только я бывал у нее, прислуживая, как мог. Все они предавались глубокой скорби, но больше всех тосковал об отце маленький господин наш; всякий раз, как я приходил, он просил меня о невозможном: «Послушай, Арио, поедем с тобой на этот остров! Остров Демонов, ведь так он называется, правда?» Совсем недавно, в минувшую вторую луну, он заболел оспой и умер. Госпожа наша, оплакивая это несчастье и тревожась о вас, погрузилась в безутешную скорбь, день ото дня слабела и вскоре, на второй день третьей луны, скончалась. Сейчас одна лишь юная госпожа живет у своей тетушки, в городе Нара. Вот от нее письмо я вам привез!

Развернул письмо Сюнкан, прочитал — все написано так, как рассказывал Арио. В конце же письма стояло:

«Троих сослали на остров, но двоих уже вернули обратно. Отчего же только мой батюшка до сих пор в столицу не возвратился? Ах, нет доли, печальнее женской, все равно, будь женщина высокого или низкого звания! Если бы я была мужчиной, ничто не остановило бы меня, я поехала бы туда, где мой батюшка! Поскорее, поскорее вместе с Арио возвращайтесь в столицу!»

— Взгляни сюда, Арио, прочитай, что пишет наивный ребенок! Больно слышать,— она пишет, чтобы вместе с тобой я поскорее возвратился в столицу! О, если бы мог я поступать по своей

воле, зачем бы я тут томился долгих три года! Нынче девочке исполнится, если не ошибаюсь, двенадцать лет, но она так наивна, что не знаю, сумеет ли выйти замуж или служить во дворце, сумеет ли сама себя прокормить?

И залился слезами Сюнкан, и ныло отцовское сердце, полное тревоги о своем чаде.

Нет, не во тьме кромешной
Обитают сердца
Родителей нежных,
Но им вечно блуждать по дорогам
Тревожных мыслей о детях.

— С тех пор, как я здесь, у меня нет календаря, и потому не ведаю счета ни дням, ни лунам. Вижу, как осыпаются листья, увядают цветы, и лишь по этим признакам различаю, что на смену весне в природе приходит осень. Запоют цикады, минует пора цветения злаков, значит, настало лето. Прибывает и убывает месяц,— значит, тридцать дней миновало. Так жил я... Загибая пальцы, считал — в этом году дитяти моему уже исполнилось шесть лет. А его уж и в живых нет! Когда меня увозили в усадьбу Тайра, он тянулся ко мне, плакал: «И я с тобою!» — но я его успокоил, сказав: «Я сейчас же вернусь обратно!» О, если б знать, что то была разлука навеки, отчего я не побыл с ним подольше! Быть отцом и быть сыном, стать мужем и женой — все предопределено еще в прошлых наших рождениях. Отчего же до сих пор они не подали мне никакого знака, явившись во сне или представ наяву, как призрачные видения, что уже покинули этот мир? Я страдал и унижался, стараясь сохранить себе жизнь только затем, чтобы еще раз их всех увидеть. Теперь осталась одна дочь, о ней одной еще лежит забота на сердце. Но ее судьба — судьба всех людей в нашем мире; оплакивая горькую свою долю, она все-таки как-нибудь да проживет на свете. Жить,— и жить еще долго,— понапрасну причиняя тебе заботы, кажется мне греховным и недостойным! — И, сказав так, Сюнкан перестал принимать пищу, устремил все помыслы к Будде и молился, чтобы тот сподобил его отбросить бесплодные, суетные мечтания и возродиться к новой жизни в Чистой обители рая. На двадцать третий день после прибытия Арио на остров Сюнкан, не покидая хижины, расстался с жизнью. Было ему, как передают, тридцать семь лет от роду.

Обхватив руками его бездыханное тело, Арио плакал и горевал, припадая к земле, взывая к Небу, но все напрасно. А выплакав свое горе, подумал: «Мне надлежало бы тут же на месте сойти в могилу вместе с моим господином, но осталась еще на свете юная госпожа, и к тому же надобно молиться за упокой души гос-

подина. Останусь же пока в живых, дабы о нем молиться!» И, не потревожив мертвого тела, он обрушил на него хижину, сверху набросал сухой камыш и сосновые ветви и предал тело огню. Когда же погребение в огне закончилось, он собрал в суму белые кости, повесил ее вокруг шеи и снова на купеческом корабле прибыл на Цукуси.

Потом он отправился к юной госпоже и обо всем подробно ей рассказал.

— Прочитав ваше письмо, господин опечалился еще больше. У него не было ни бумаги, ни туши, вот почему я не смог привезти вам его послания. Все, что наболело на сердце у господина, так и исчезло навеки, невысказанное, с ним вместе. Увы, больше мне никогда не увидеть облик вашего батюшки, не услышать его голос, сколько бы раз ни переродиться, сколько бы долгих лет ни прошло! — Так говорил он, и юная госпожа упала ничком и рыдала в голос. Не откладывая, всего двенадцати лет от роду постриглась она в монахини, посвятила себя служению Будде в храме Хокэдзи, в городе Нара, и молилась за упокой души отца и матери. Арио же, повесив на шею суму с костями Сюнкана, поднялся на Священную гору Коя, похоронил останки Сюнкана в главном храме, а потом тоже принял постриг в Долине лотосов и, паломником обходя святые места в разных краях и землях, молился за упокой души своего господина.

О, страшно подумать, что ждет дом Тайра, причинивший такие страдания людям!

КЭНКО-ХОСИ

ИЗ «ЗАПИСОК ОТ СКУКИ»

В скуке, когда, весь день сидя против тушечницы, без какой-либо цели записываешь всякую всячину, что приходит на ум, бывает, что такого напишешь,— с ума можно сойти.

XV

Отправляясь в небольшое путешествие, все равно куда, ты как будто просыпаешься. Когда идешь, глядя окрест пути то туда, то сюда, обнаруживаешь множество необычного и в заурядной деревушке, и в горном селении. Улучив момент, отправляешь в столицу письмо со словами: «Не забудь при случае того, сего». Это занятно.

В такой обстановке занимает решительно все. Даже привычная утварь кажется прелестной, а люди талантливые или прекрасные представляются очаровательнее обычного.

Интересно также укрыться тайком в храме или святилище.

XXXI

Однажды утром, когда шел изумительный снег, мне нужно было сообщить кое-что одному человеку, и я отправил ему письмо, в котором, однако, ничего не написал о снегопаде.

«Можно ль понять,— написал он мне в ответ,— чего хочет человек, который до такой степени лишен вкуса, что ни словом не обмолвился, как ему понравился этот снег? Сердце ваше еще и еще раз достойно сожаления». Это было очень забавно.

Ныне того человека уже нет, поэтому я не могу забыть даже такого незначительного случая.

XXXII

Двадцатого дня девятой луны по любезному приглашению одного человека я до рассвета гулял с ним, любуясь луной. Во время прогулки мой спутник вспомнил, что здесь живет одна женщина, и вошел к ней в дом в сопровождении слуги.

В запущенном садике лежала обильная роса. Нежно, неподдельным ароматом благоухали травы, и образ той, что сокрылась здесь от людей, казался мне бесконечно милым.

Немного спустя мой спутник ушел, однако я, занятый своими мыслями, некоторое время еще продолжал наблюдать за хижиной из своего укрытия. Дверь опять чуть приотворилась,— хозяйка, по-видимому, любовалась луной.

Закрой она дверь и скройся сразу же, мне стало бы досадно. Но откуда ей было знать, что тут человек, видевший все от начала до конца? Ведь подобные опасения могут возникнуть лишь из постоянной настороженности.

Потом я узнал, что вскоре та женщина скончалась.

XXXVI

Один человек сказал мне: «Когда ты долгое время не навещаешь любимую женщину, то уже думаешь о том, как она на тебя негодует. Выказав ей свою небрежность, мучаешься тем, что нет тебе никакого оправдания.

И тут ни с чем не сравнимую радость приносит тебе ее письмо, где говорится: «Нет ли у тебя слуги? Мне не хватает одного». Хороша женщина, у которой такой характер!»

Действительно, это так.

LXVIII

Жил в Цукуси некий судейский чиновник. Главным лекарством от всех недугов он считал редьку и поэтому каждое утро съедал по две печеные редьки и тем обеспечил себе долголетие.

Однажды, выбрав момент, когда в доме чиновника не было ни души, на усадьбу напали супостаты и окружили ее со всех сторон. Но тут из дома вышли два воина и, беззаветно сражаясь, прогнали всех прочь.

Хозяин, очень этому удивившись, спросил:

— О люди! Обычно вас не было здесь видно, но вы изволили так сражаться за меня! Кто вы такие?

— Мы редьки, в которые вы верили многие годы и вкушали каждое утро,— ответили они и исчезли.

Творились ведь и такие благодеяния, когда человек глубоко веровал.

LXXXII

Когда кто-то сказал, что обложки из тонкого шелка неудобны тем, что быстро портятся, Тонъа заметил в ответ:

— Тонкий шелк становится особенно привлекательным после того, как края его растреплются, а свиток, украшенный перламутром,— когда ракушки осыплются.

С тех пор я стал считать его человеком очень тонкого вкуса.

В ответ на слова о том, что-де неприятно смотреть на многотомное произведение, если оно не подобрано в одинаковых переплетах, Кою-содзу сказал:

— Стремление всенепременно подбирать предметы воедино есть занятие невежд. Гораздо лучше, если они разрозненны.

Эта мысль кажется мне великолепной. Вообще, что ни возьми, собирать части в единое целое нехорошо. Интересно, когда что-либо незаконченное так и оставлено,— это вызывает ощущение, будто жизнь течет долго и спокойно. Один человек сказал как-то:

— Даже при строительстве императорского дворца одно место специально оставили недостроенным.

Во внутренних и внешних сочинениях, написанных древними мудрецами, тоже очень много недостающих глав и разделов.

CVIII

Никто не жалеет мгновений. Отчего это — от больших познаний или по глупости? Допустим, это происходит по глупости нерадивого; но ведь хотя и ничтожен один сэн, но, если его беречь, он сделает богачом бедняка. Поэтому-то и крепка забота торговца сберечь каждый сэн.

Мы не задумываемся над тем, что такое миг, но если миг за мигом проходит не останавливаясь, вдруг наступает и срок, когда кончается жизнь. Поэтому праведный муж не должен скорбеть о грядущих в далеком будущем днях и лунах. Жалеть следует лишь о том, что текущий миг пролетает впустую.

Если придет к вам человек и известит вас о том, что завтра вы наверняка расстанетесь с жизнью, чего потребуете вы, что совершите, пока не погаснет сегодняшний день? Но почему же сегодняшний день — тот, в котором все мы живем сейчас,— должен отличаться от такого последнего дня?

Ежедневно мы теряем — и не можем не терять — много времени на еду, удобства, сон, разговоры и ходьбу. А в те немногие минуты, что остаются свободными, мы теряем время, делая бесполезные вещи, говоря о чем-то бесполезном и размышляя о бесполезных предметах; это — самая большая глупость, ибо так уходят дни, текут месяцы и проходит вся жизнь. Несмотря на то, что Се Линь-юнь был переводчиком свитков Хоккэ, Хуэй Юань не допустил его в Белый лотос, так как тот слишком сильно лелеял в своем сердце мысли о ветре и облаках.

В те минуты, когда человек забывает о мгновениях, как бы эти минуты ни были коротки, он подобен покойнику. Когда же спросят, зачем жалеть мгновения, можно ответить, что, если нет внутри человека тревоги, а извне его не беспокоят мирские дела, решивший порвать с миром — порвет, решивший постигнуть Учение — постигнет.

CIX

Некий мужчина, слывший знаменитейшим древолазом, по просьбе своего односельчанина взобрался на высокое дерево, чтобы срезать у него верхушку. Одно время казалось, что он вот-вот сорвется вниз, но тот, что стоял на земле, не проронил ни слова; когда же верхолаз, спускаясь, оказался на уровне карниза дома, товарищ предостерег его:

— Не оступись! Спускайся осторожнее!

Услышав эти слова, я заметил ему:

— Уж с такой-то высоты можно и спрыгнуть. Зачем вы говорите ему это сейчас?

Он ответил:

— Именно сейчас и нужно. Пока у него кружилась голова и ветки были ненадежными, он и сам остерегался, поэтому я ничего и не говорил. Но сейчас, когда ошибка не так страшна, он бы наверняка допустил ее.

Это говорил человек самого низкого сословия, но в наставлениях своих он равнялся мудрецу.

Вот и в игре — после того как возьмешь мяч из труднейшего положения, непременно пропустишь его там, где удар кажется слабым.

CXII

Может ли кто-нибудь человеку, узнавшему, что завтра ему отправляться в дальние страны, назвать дело, которое надлежит совершить спокойно, без спешки?

Человек, появится ли у него вдруг важное дело, впадет ли он в неизбывную печаль, не в состоянии слышать ни о чем постороннем. Он не спросит ни о горестях, ни о радостях другого.

Все скажут: «Не спрашивает»,— но никто не вознегодует: «А почему?» Поэтому должны быть такими же далекими от треволнений мира людьми те, чьи годы становятся все преклоннее, те, кто скован тяжким недугом, и в еще большей степени те, кто уходит от этого мира.

Нет такого мирского обряда, от которого не хотелось бы уклониться. И если ты следуешь мирской суете потому, что не в силах отвергнуть ее, если считаешь ее неизбежной, желания твои умножаются, плоть делается немощной и нет отдыха душе; всю жизнь тебе мешают ничтожные, мелкие привычки, и ты проводишь время впустую.

Вот и день меркнет, но дорога еще далека, а жизнь-то уже спотыкается. Настало время оборвать все узы. Стоит ли хранить верность, думать об учтивости?

Те, кому не понять этого, назовут тебя сумасшедшим, посчитают оцепеневшим и бесчувственным. Но не страдай от поношений и не слушай похвал!

CXIII

Если человек, которому перевалило за сорок, иногда развратничает украдкой, ничего с ним не поделаешь. Но болтать обо всем, ради потехи разглагольствовать о делах, что бывают между мужчиной и женщиной, ему не подобает. Это отвратительно.

По большей части так же омерзительно слышать и так же противно видеть, когда старик, затесавшись среди молодых людей, болтает, чтобы позабавить их; когда какой-нибудь пустой человечишка рассказывает о почитаемом всеми господине с таким видом, будто ничто их не разделяет, и когда в бедной семье любят выпить и стремятся блеснуть, угощая гостей.

CXVI

Древние нимало не задумывались над тем, какое название присвоить храмам, святилищам и всему на свете. Все называлось легко, в строгом соответствии с событиями. Нынешние названия так трудны, будто люди мучительно над ними думали, чтобы показать свои таланты. Никчемное занятие также стараться подобрать понеобычнее иероглифы для имен.

Говорят ведь, что тяга во всем к редкостному, стремление противоречить есть несомненный признак людей ограниченных.

CXVII

Семь человек плохи как друзья.

Во-первых, человек высокого положения и происхождения; во-вторых, молодой человек; в-третьих, человек никогда не болеющий, крепкого сложения; в-четвертых, любитель выпить; в-пятых, воинственный и жестокий человек; в-шестых, лживый человек; в-седьмых, жадный человек.

Хороших друзей трое.

Во-первых, друг, который делает подарки; во-вторых, лекарь; в-третьих, мудрый друг.

CXLII

Бывает, что человек, который всем кажется бесчувственным, скажет доброе слово. Некий устрашающего вида дикий варвар спросил однажды своего соседа:

— Детишки-то у вас есть?

— Нет, ни одного нету,— ответил тот, и тогда дикарь заметил ему:

— Ну, тогда вряд ли вам дано знать очарование вещей. Я очень опасаюсь, что вашими поступками движет бесчувственное сердце. Всякое очарование можно постичь лишь через детей.

И, по-видимому, это действительно так. Вряд ли у человека, не знающего душевной привязанности, есть в сердце чувство сострадания. Даже тот, кто сам не испытывал чувства сыновнего долга, начинает познавать думы родителей, едва только он обзаводится детьми. Человек, покинувший мир, ничем на свете не обременен, однако и для него относиться с презрением к тем, кто по рукам и ногам связан обузой, видя в них одну только лесть и алчность, неправильно.

Если мы поставим себя на их место, то поймем, что действительно ради любимых родителей, ради жены и детей можно забыть стыд, можно даже украсть. Следовательно, вместо того чтобы хватать воров или судить за дурные поступки, лучше так управлять миром, чтобы люди в нем не терпели голода и холода. Человек, когда он не имеет установленных занятий, бывает лишен и свойственного ему благодушия. Человек, доведенный до крайности, ворует. Если мир будет плохо управляться и люди будут мучиться от голода и от холода, преступники не переведутся никогда.

Доставляя людям страдания, толкать их на нарушение закона, а затем вменять им это в вину — занятие, достойное сожаления.

Итак, каким, спрашивается, образом сотворить людям благо? Не может быть никаких сомнений в том, что низшим слоям будет на пользу, если высшие прекратят расточительство и излишние расходы, станут жалеть народ и поощрять земледелие. Если же случится, что люди, обеспеченные одеждой и пищей, все-таки будут совершать дурные поступки,— их-то и надобно считать истинными ворами.

CLI

Некто сказал так:

— Искусства, в которых мастерство не достигнуто и к пятидесяти годам, следует оставить. Тут уже некогда усердно учиться. Правда, над тем, что делает старец, люди смеяться не могут, но навязываться людям тоже неловко и непристойно. Но что благопристойно и заманчиво — это, начисто отказавшись от всяческих занятий, обрести досуг. Тот, кто проводит свою жизнь, обременившись житейской суетой, тот последний глупец. Если что-то вызывает ваше восхищение, нужно бросить это, не входя с головой в постижение предмета, едва только вы узнаете смысл его, пусть даже понаслышке. Но самое лучшее — это бросить занятия с самого начала, когда еще не появилась тяга к предмету.

CLXVIII

Когда человек преклонного возраста в какой-нибудь области обладает выдающимися талантами, то в том лишь случае можно считать, что он не зря прожил долгую жизнь, если о нем говорят: «У кого же мы будем спрашивать, когда этого человека не станет?»

Но пусть даже это и так, все-таки и он, не имеющий изъянов, кажется глупым, потому что истратил всю свою жизнь на одно-единственное дело. Лучше, когда он говорит: «Что-то я уже позабыл это».

По большей части бывает так: если человек знает много, но без меры болтает об этом, люди считают, что таких, какими он похваляется, талантов у него пожалуй что и нет. Да и сам он тогда неизбежно допускает ошибки. А о том, кто говорит: «Я в этом не вполне разбираюсь»,— всегда думают, что в действительности-то он выдающийся мастер своего дела.

Тем более очень горько, слушая то, что по положению и возрасту своему не допускающий возражения человек с видом знатока говорит о неведомых ему самому вещах, думать: «Но ведь это же не так!»

CLXXV

Много есть в мире непонятного. Непонятны, например, причины, по которым находят интерес в том, чтобы по любому поводу первым делом выставлять сакэ и принуждать напиваться им.

Лицо пьющего совершенно невыносимо: он страдальчески морщит брови, пытается, обманув надзирающих за ним, выплеснуть сакэ, норовит сбежать, но его хватают, удерживают, не в меру напаивают — и тогда даже сдержанный человек вдруг делается сумасшедшим и выглядит дураком, а совершенно здоровый на глазах превращается в тяжелобольного и падает, ничего не соображая.

Так день, когда надобно праздновать, делается отвратительным. У человека до рассвета болит голова, он ничего не ест, лежит, стеная; о вчерашнем ничего не помнит, как будто это было в другом перерождении. Он пренебрегает важнейшими делами — служебными и личными,— и это обращается ему во вред.

Навлекать такое на человека — значит не иметь в душе сострадания и нарушать правила вежливости. Разве же не станет тот, кто столкнется с этакой напастью, думать о ней с горечью и негодованием? Скажи нам, что подобный обычай существует в другой стране, мы должны были бы найти его странным и непостижимым, когда б он не был принят у нас.

Тут больно смотреть даже постороннему человеку. Ведь даже люди, кажущиеся разумными, имеющие благородный вид, выпив, без видимой причины заливаются смехом и шумят, бывают многословны, не обращают внимания на то, что шляпа сбита набок, шнурки на платье развязаны, колени высоко задраны и оголены; в неряшливости своей они и сами на себя не похожи. А женщины, не прячась, откидывают со лба свалившиеся пряди волос, запрокинув бесстыжие лица, оглушительно хохочут, хватают других за руки, держащие бокалы с вином. Презренные типы берут закуску, суют ее другим в рот, жрут сами,— это отвратительно.

Омерзительны и те, кто с удовольствием наблюдает, как пьяные что есть мочи голосят, как каждый из них поет и пляшет, а старые монахи, что приглашены на попойку, оголив свои черные грязные тела, безобразно извиваются в танце.

Иные же заставляют своих соседей выслушивать хвастливые россказни о собственном величии; иные, упившись, плачут; чернь переругивается и ссорится,— это гадко и страшно.

Здесь творится лишь постыдное и достойное сожаления. А под конец, хватив лишнего, люди сваливаются с обрывов, падают с коней и повозок, ушибаются. Когда же ехать не на чем, то бредут по дороге, шатаясь из стороны в сторону, потом упираются в земляной вал или подворотню и изрыгают невыразимое; старые монахи с шарфами через плечо, вцепившись в плечо послушника, бредут, пошатываясь и бормоча нечто невнятное,— смотреть на них невозможно.

Ну, будь это занятие таким, которое бы в этой или будущей жизни приносило какую-то пользу, тогда бы делать нечего. Но в этом мире из-за него делают множество ошибок, лишаются богатства, навлекают на себя болезни. Хотя сакэ и называют главным из ста лекарств, все недуги проистекают от него. Хотя и говорят, что из-за него ты забываешь свое горе, но именно пьяный, вспоминая даже прошлое горе, плачет. Если говорить о будущей жизни, то из-за сакэ человек лишается разума, оно, как пламя, сжигает корень добра, увеличивает зло и, ломая всяческие заповеди, повергает в преисподню. Ведь проповедовал же Будда, что «тот, кто, взяв вино, поит другого человека, в течение пятисот перерождений родится безруким существом».

Но несмотря на то, что мы считаем вино таким противным, бывают случаи, когда и самим нам трудно от него отказаться. В лунную ли ночь, или снежным утром, или же при распустившихся цветах, безмятежно разговаривая, достать бокалы — занятие, усугубляющее всякое удовольствие. Если в тот день, когда тебя одолевает скука, к тебе нежданно приходит друг, то приятно бывает и пирушку устроить.

Очень хорошо, когда в доме, где вы чувствуете себя не совсем удобно, какое-то прелестное существо протягивает вам из-за бамбуковой шторы фрукты и вино. Зимою бывает очаровательно где-нибудь в тесном помещении подогреть на огне сакэ и наедине с задушевными друзьями пить его вволю. А во время путешествия на стоянке где-нибудь в глухих горах неплохо выпить прямо на дерне, говоря: «А что на закуску?» Очень хорошо также выпить для восстановления сил тяжелобольному. Особенно приятно, когда знатный человек, обращается к тебе: «Ну еще по одной: этого мало!» А еще приятно, когда человек, с которым хочешь сблизиться,— любитель выпить и близко с тобою сходится.

Что ни говори, а пьяница — человек интересный и безгрешный. Когда в комнате, где он спит утром, утомленный попойкой, появляется хозяин, он теряется и с заспанным лицом, с жидким узлом волос на макушке, не успев ничего надеть на себя, бросается наутек, схватив одежду в охапку и волоча ее за собой. Сзади его фигура с задранным подолом, его тощие волосатые ноги забавны и удивительно вяжутся со всей обстановкой.

CCIX

Некий господин, оспаривавший право на чужое поле, проиграл тяжбу и с досады послал на то поле работников, повелев сжать его, а рис забрать. Жнецы, однако, начали убирать другое поле, лежавшее при дороге. Увидев это, кто-то заметил им:

— Но ведь это поле — не то, которое было предметом тяжбы. Почему же вы так поступаете?

И жнецы ответили:

— Это верно: у нас нет причины жать здесь, но раз уж мы пришли вершить неправедное дело, так не все ли равно, где мы жнем?

Обоснование изумительнейшее!

CCXI

Нельзя требовать всего. Глупцы негодуют и сердятся оттого, что чрезмерно полагаются на что-то. Нельзя полагаться на свое могущество — сильные гибнут прежде других. Нельзя полагаться на то, что обладаешь многими сокровищами — проходит время, и их легко теряют. Нельзя полагаться на свои таланты — и Конфуций не устоял против времени. Нельзя полагаться на свои добродетели — и Янь Хуай не был счастлив. Нельзя добиваться и благосклонности государя — к казни приговорить скоро. Нельзя пола-

гаться на повиновение слуг — ослушаются и сбегут. Нельзя добиваться и благорасположения человека — оно, безусловно, изменчиво. Нельзя полагаться на обещания — в них мало правды. Если ты не требуешь ничего ни от себя, ни от других, то когда хорошо — радуешься, когда плохо — не ропщешь.

Если пределы широки направо и налево, ничто тебе не мешает. Если пределы далеки вперед и назад, ничто тебя не ограничивает. Когда же тесно, тебя сдавливают и разрушают. Когда душа твоя ограничена узкими и строгими рамками, ты вступаешь в борьбу с другими людьми и бываешь разбит. Когда же она свободна и гармонична, ты не теряешь ни волоска.

Человек — душа вселенной. Вселенная не имеет пределов. Отчего же должны быть отличны от нее свойства человека? Когда ты великодушен и не ограничен пределами, твоим чувствам не мешают ни радость, ни печаль и люди тебе не причиняют вреда.

CCXXIX

Говорят, что настоящий резчик всегда работает слегка туповатым резцом. Резец Мёкана, например, был не очень острым.

CCXXX

В императорском дворце Годзё водились оборотни. Как рассказывал вельможный То-дайнагон, однажды, когда в зале Черных дверей несколько высокопоставленных особ собрались поиграть в шахматы, кто-то вдруг приподнял бамбуковую штору и посмотрел на них.

— Кто там? — оглянулись придворные.

Из-под шторы, присев на корточки, выглядывала лиса, обернувшаяся человеком.

— Ах! Это же лиса! — зашумели все, и лиса в замешательстве пустилась наутек.

Должно быть, это была неопытная лиса, и перевоплощение ей не удалось как следует.

CCXXXV

Посторонний человек не явится, когда ему захочется, в дом, где есть хозяин. Если же хозяина в доме нет, туда не задумываясь заходит путник, а разные твари, вроде лис и сов, коль не отпугивать их людским духом, с торжествующим видом войдут туда и

заселят дом, и объявятся там безобразные чудища, вроде духов дерева.

И еще: зеркалу не дано ни своего цвета, ни своей формы, и потому оно отражает любую фигуру, что появляется перед ним. Если б имелись в зеркале цвет и форма, оно, вероятно, ничего не отражало бы. Пустота свободно вмещает разные предметы. И когда к нам в душу произвольно одна за другой наплывают разные думы, это, быть может, случается оттого, что самой души-то в нас и нет. Когда бы в душе у нас был свой хозяин, то не теснилась бы, наверное, грудь от бесконечных забот.

CCXLIII

Когда мне было восемь лет, я спросил отца:

— А что такое Будда?

— Буддами становятся люди,— ответил отец.

— А как они делаются буддами?

— Становятся благодаря учению Будды,— ответил отец.

И снова я спрашиваю:

— А того Будду, который обучал будд, кто обучал?

— Он тоже стал Буддой благодаря учению прежнего Будды,— опять ответил отец.

Я снова спросил:

— А вот самый первый Будда, который начал всех обучать,— как он стал Буддой?

И тогда отец рассмеялся:

— Ну, этот либо с неба свалился, либо из земли выскочил.

Потом отец потешался, рассказывая об этом всем:

— До того привяжется, что и ответить не можешь.

ИХАРА САЙКАКУ

ИЗ «ПОВЕСТЕЙ ОТ ВСЕХ КРАЕВ ЗЕМЛИ НАШЕЙ»

И БАРАБАН ЦЕЛ, И ОТВЕТЧИК НЕ В ОБИДЕ

Чтобы заполучить назад сокровища, взятые во дворец морского дракона в бухте за мысом Фуса у берегов Сануки, Тайсёккан вызвал туда столичных музыкантов, а потом из бывших при них больших барабанов один поднесли в дар Восточному храму в Нара, другой же стал драгоценностью храма Западного.

Какое-то время спустя этот барабан передали храму Ниси-Хонган и там на нем отбивали часы. Когда же взялись менять на

нем кожу, то заглянули внутрь, и оказалось, что там меленькими знаками начертан рецепт целебного снадобья «хосинтан». Посмотришь снаружи — простое дерево, зато внутри намалевано превеликое множество святых архатов золотого и серебряного цвета. Замечательный барабан, нет другого подобного в Японии.

А с барабаном Восточного храма получилась такая история. Его каждый год одалживали для отправления богослужений храму Кобуку. И вот однажды из Восточного храма объявили, что барабана больше не дадут. Настоятель и монахи-воины храма Кобуку стали умолять, чтобы их уважили хотя бы в этом году, барабан в конце концов получили и богослужение справили.

Однако, когда явились из Восточного храма посыльные, барабан им не вернули, а собрались всей братией и принялись ругаться. «Сколько лет одалживали, а теперь назло нам делают! Не отдадим, лучше разобьем в щепки!» — говорили одни. «Мало им этого, сожжем у них на глазах на равнине Летучих огней!» — кричали другие. Молодые послушники и буйные духом монахи-воины ярились, голоса их гремели в кельях, не умолкая. Тогда выступил вперед престарелый монах, премудрый учитель, и сказал: «С самого утра слушаю я вас и утверждаю, что все ваши вопли и угрозы служат лишь к разорению обиталища чувств ваших. По моему же разумению, есть способ у нашего храма присвоить сей барабан в целости и сохранности». Живо соскоблили внутри барабана старинную надпись «Восточный храм» и на том же месте вывели ту же надпись «Восточный храм» свежей тушью, после чего, ни словом о том не обмолвясь, вернули барабан Восточному храму. Там обрадовались, поместили немедля в сокровищницу и порешили впредь больше не давать никому.

Однако на следующий год перед началом богослужений опять явился к ним монах-посыльный из храма Кобуку и заявил: «По примеру прежних лет пришел я за нашим барабаном, что оставляем мы у вас на хранение». Озлившись, они посыльного избили и прогнали.

Дело было представлено в канцелярию начальника столицы и принято к расследованию. Когда барабан осмотрели, то увидели надпись «Восточный храм» по выскобленному месту, и решение вышло такое: «Хотя это дело рук храма Кобуку, однако только по оплошности Восточного храма нельзя уже выяснить, какова была старая надпись. Барабан отныне объявляется собственностью храма Кобуку, храниться же ему надлежит, как и прежде, в Восточном храме». Говорят, что с той поры храм Кобуку брал барабан, когда ему требовалось, и колотил в него, к полному своему удовлетворению.

В ящике сверло, рубанок, тушечница, угольник. Рассказывают, что жила на Итидзёкодзорибаси женщина, лицом неказистая, но не без приятности, могучего сложения и весьма искусная в плотницком ремесле.

Вы скажете: «Столица велика, в ней и мастеров мужского пола предостаточно, зачем же нанимали женщин?» Так вот, их призывали в особняки благородных кугэ для небольших работ в женских покоях, когда не стоило затрудняться отбором и проверкой мастеров-мужчин, например, в случае надобности исправить заграждение от воров или там заменить в окне бамбуковую решетку.

Как-то раз в конце осени за этой женщиной-плотником прислали служанок, и они проводили ее в сад, заросший алыми кленами. «Выноси сюда все из спальни госпожи, да поживее,— сказали ей.— Все шкафы и полки, не оставляй и подставок для изображений Эбису и Дайкоку».— «Покои эти совершенно еще новые,— усомнилась она.— Зачем же их разорять?» — «Удивление твое понятно,— ответили ей.— Но только случилось вот что. В прошлое полнолуние наша госпожа от души предавалась здесь развлечениям до самой темноты, а затем прилегла вздремнуть. Немного спустя две камеристки по имени Мигимару и Хидаримару принялись наигрывать на кото у ее изголовья. При этих звуках все, кто был в покоях, пробудились, стали осматриваться и видят: ползет по потолку женщина о четырех руках, с черной черепашьей харей и с плоской поясницей и вроде бы направляется к госпоже. «Подайте мне мой меч!» — вскричала госпожа отчаянным голосом. Ближняя служанка, которую зовут Кураноскэ, кинулась было за мечом, однако привидение в тот же миг исчезло. Придя в себя, госпожа пожаловалась, что приснился ей страшный сон и что чувствует она себя так, словно в спину ей вбили огромный гвоздь. От боли она едва разума не лишилась, и хотя на теле ее не было ни царапины, циновки под нею оказались залиты кровью. Тогда послали в Гион, что близ храма Ясака, за гадателем по имени Абэ-но Сакон. Погадавши, он объявил: «Должно быть, в этом доме где-то скрыт источник всяческих бедствий». Вот почему все без остатка надлежит здесь осмотреть. Не смущайся же и выноси».

Она и вынесла все, так что остались одни голые стены, сняла даже акарисёдзи, но ничего необычного не обнаружилось. «Разве что здесь что-нибудь...» — произнесла она и сложила наземь груду сбитых дощечек с молитвословиями из храма Энрякудзи. Тут все увидели с удивлением, что дощечки эти шевельнулись, и принялись отдирать их одну за другой. Под седьмой сверху дощечкой

оказалась ящерица ямори длиной в девять вершков, прибитая к ней гвоздем через спину, высохшая в толщину бумажного листа, но все еще живая. Ее тут же сожгли, и с тех пор в этом доме никогда ничего не случалось.

ИЗ КНИГИ «ПЯТЬ ЖЕНЩИН, ПРЕДАВШИХСЯ ЛЮБВИ»

ПОВЕСТЬ О СОСТАВИТЕЛЕ КАЛЕНДАРЕЙ, ПОГРУЖЕННОМ В СВОИ ТАБЛИЦЫ

Лучшие календари составляются в столице!

ЗАСТАВА КРАСАВИЦ

По календарю первый день новой луны второго года Тэнва — день счастливой кисти. Все записанное в этот день принесет удачу. Второй день — день женщины. С самой древности, с века богов, птицы, познавшие тайны любви, учат науке страсти. Потому и нет конца проказам мужчин и женщин.

Жила тогда одна красавица — жена придворного составителя календарей. Молва о ней с уст не сходила, кажется, горы бы сдвинула страсть, возбужденная ею в столице. Брови ее могли поспорить с лавром, с лунным серпом на праздничной колеснице. Обликом она была как первые вишни в Киёмидзу, когда они вот-вот начнут расцветать, а прелесть ее губ напоминала багряные листья кленов горы Такао. Немало сложили об этом песен.

Дом их находился в проезде Муромати. Даже в огромной столице, среди тогдашних щеголих, блиставших модными нарядами, не найти было второй такой, как она...

Все больше расцветает весна, заставляя трепетать человеческое сердце. В эту пору глицинии в Ясуи — словно лиловые облака, даже краски сосен блекнут рядом с ними. Здесь по вечерам толпятся люди, и гора Хигасияма дивится такой толчее.

Как раз в это время на всех перекрестках столицы пошли толки о «четырех королях» — компании молодых повес. Уж очень они выделялись, всех превосходили своей внешностью.

Беспечно тратя то, что им оставили родители, они от первого до последнего числа месяца развлекались любовью, не пропуская ни одного дня. Вчера встречали рассвет в Симабара с гейшами Морокоси, Ханасаки, Каору, Такахаси; сегодня — в театре на Сидзёгавара с актерами Таканака Китидзабуро, Карамацу Касэн, Фудзита Китидзабуро, Мицусэ Сакон... что с мужчинами, что с женщинами — каким только любовным утехам они не предавались!

Однажды после представления все сидели в ресторане Мацуя. Говорили о том, что ни разу до сегодняшнего дня не появлялось на улицах столько миловидных простушек. «Глядишь, попадется какая-нибудь и нам по вкусу!» И вот они выбрали самого сметливого из актеров главным судьей и принялись ждать сумерек, когда женщины возвращаются с любования цветами. Это обещало необычное развлечение.

Однако женщины большей частью проезжали в носилках, и разглядеть их лица, к сожалению, нельзя было. В толпе же, что беспорядочно сновала здесь, хотя и не было дурнушек, но зато не встречалось и такой, которую можно назвать красавицей.

Тем не менее они решили взять всех хорошеньких на заметку. Придвинули тушечницу, бумагу и приступили к описанию.

«На вид можно дать лет тридцать пять. Шея длинная, стройная, разрез глаз четкий, линия волос надо лбом естественна и красива. Нос несколько крупнее, чем нужно, но не слишком. Нижняя кайма подкладки, отвернутая наружу,— из белого атласа, средняя — бледно-желтая, верхняя — оранжевая. На левом рукаве рисунок от руки: преподобный Ёсида при лампаде читает старинные книги. Такой рисунок на платье говорит, во всяком случае, о необычных для женщины склонностях. Пояс из рубчатого бархата в клетку, на голове повязка, какие носят при дворе, таби светлого шелка, гэта на коже, с тройным шнурком. Походка неслышная, грациозная».

«Да, муженьку ее повезло, черт его побери!..» Но тут она открыла рот, чтобы сказать что-то слугам, и видно стало, что во рту у нее не хватает нижнего зуба. Весь их пыл сразу пропал.

За ней идет девушка лет шестнадцати, больше ей не дашь. Слева от нее, вероятно, мать, справа — монахиня в черном одеянии. Целая толпа служанок и мужчины-телохранители. Значит, в семье ее очень берегут. Казалось, что такая должна быть еще не замужем, но нет — зубы вычернены, брови выбриты. Личико круглое, миловидное, в глазах блестит ум, уши изящной формы, пальцы рук и ног холеные, кожа нежная, белая.

Нарядом всех перещеголяла. Нижнее платье желтое, без рисунка, на среднем по лиловому фону белые крапинки, верхнее — из атласа мышиного цвета с мелким шитьем, изображающим воробьев. Клетчатый пояс оставляет грудь приоткрытой, не стесняет движений. На лакированной шляпе металлические шпильки и шнурки, свитые из бумажных полос.

На первый взгляд эта женщина была очень привлекательна, но присмотрелись — а у нее, оказывается, сбоку на лице шрам размером более чем в полвершка. Непохоже, чтобы он был у нее от рождения.

— Ну, и ненавидит же, верно, она ту, что нянчила ее в детстве,— заключили они под общий смех.

Следующей — лет двадцать с небольшим. Платье из бумажной материи, домотканое, в полоску. Даже подкладка в заплатах, и видно, что женщина стыдится, когда ветер заворачивает полу. Пояс ее, наверное, перешит из хаори — такой узенький, что жалко смотреть. На ногах таби из фиолетовой кожи, давно вышедшие из моды,— надела, верно, какие подвернулись,— и непарные плетеные сандалии из тех, что делают в Нара. На волосах ватная шапка, а сами волосы — когда только касался их гребень? — растрепаны, спутаны и лишь кое-где небрежно подхвачены.

Так она шла одиноко, равнодушная к своей внешности. Однако черты ее лица были безупречны.

— Вряд ли найдется еще женщина, наделенная от природы такой красотой! — Все загляделись на нее и пожалели: — Такую нарядить как следует — мужчина голову потеряет, да ведь в богатстве и бедности человек не властен.

Послали потихоньку проследить за ней и узнали, что это табачница, живущая за проездом Сэйгандзи. Положение невысокое, и все же у каждого в груди закурилась дымком нежность к табачнице.

Но вот появилась женщина лет двадцати семи, щегольски наряженная. Три платья с короткими рукавами из двойного черного шелка, с пурпурной каймой по подолу; изнутри просвечивает вышитый золотом герб. Широкий пояс из китайской ткани в частую полоску завязан спереди. Прическа «симада» с низко отпущенными волосами перевязана бумажным шнуром и увенчана парными гребнями, сверху накинуто розовое полотенце.

Шляпа, какую носит Уэмура Кития, на четырех разноцветных шнурках, надвинута чуть-чуть, чтобы не скрывать лица, которым она, видимо, гордится. Идет мелкими шажками, покачивая бедрами.

— Вот, вот! Вот эта! Замолчите же!

Все, затаив дыхание, ожидали ее приближения. Но что это? У каждой из трех служанок, сопровождающих ее, на руках по ребенку! И самое смешное, что дети, как видно, погодки.

Она шла и делала вид, что не слышит, как они сзади зовут ее: «Маменька! Маменька!» Такой жеманнице даже собственные дети, должно быть, надоели. Таков уж людской обычай — детей называют цветами, пока они не появились на свет.

И повесы расхохотались так, что эта женщина почувствовала: ее время уже ушло.

Следующей была девушка всего четырнадцати лет, с удобством расположившаяся в носилках. Свободно спадающие назад волосы

на концах чуть подвернуты и перевязаны сложенным в несколько раз куском алого шелка, а спереди разделены пробором, как у юноши, и на макушке подхвачены бумажным жгутом золотого цвета. В них небрежно воткнут нарядный гребень размером больше обычного.

Красота этой девушки настолько бросалась в глаза, что не было необходимости описывать ее подробно. Нижнее платье из белого атласа разрисовано тушью, верхнее — из той же материи, но переливчатое, с вышитым павлином, который просвечивает сквозь наброшенную сверху сетку из китайской ткани.

К этому тщательно обдуманному туалету — мягкий пестрый пояс, на босых ногах обувь с бумажными завязками. Модную шляпу за ней несут слуги, а сама она заслонилась веткой цветущей глицинии и словно без слов говорит: любуйтесь, кто еще не видел цветка...

Всех красоток, что перевидали сегодня, сразу затмила она. Всем захотелось узнать ее имя, и проходящие ответили:

— Это барышня из знатного дома, с проезда Муромати. Ее прозвали «Новая Комати».

— Да, поистине это прелестный цветок! — решили повесы, и лишь много спустя узнали они, что у этого цветка «напрасно осыпались лепестки».

ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ СОН

Известно, что холостому мужчине доступны все развлечения, но даже и ему вечерами становится тоскливо без жены.

Так было и с неким придворным составителем календарей. Долгое время он оставался холостяком. И это в столице, где нашлись бы женщины и на разборчивый вкус! Но он желал найти жену, выдающуюся и по душевным качествам, и по внешности, поэтому трудно было ему подобрать подругу себе по сердцу.

В конце концов его «обуяла тоска, и, как плавучая трава» ищет, к чему ей прибиться, так и он принялся искать, на ком ему остановить свой выбор.

Тут до него дошли слухи о той, которую прозвали «Новой Комати», и он отправился взглянуть на нее. А когда увидел, то сразу уверился: вот она, заслонявшая лицо веткой глицинии, что выделялась своей «неуловимой прелестью» даже среди многих женщин, привлекавших внимание на заставе у Сидзё прошлой весной.

«Это то, что мне нужно!» — решил он и, воспылав, так поспешно взялся за устройство своих брачных дел, что смешно было смотреть на него.

На улице Симо-татиури-карасумару, одной из тех, которые ведут ко дворцу, жила тогда известная всем сваха О-Нару, по прозвищу «Говорливая». Вполне полагаясь на эту сваху, составитель календарей попросил ее позаботиться о свадебном бочонке, а когда все было готово, выбрал благоприятный день и взял свою О-Сан в жены.

С тех пор ни первые цветы вишен весной, ни ранняя осенняя луна не привлекали его взора: так он был поглощен супружескими обязанностями.

Год за годом прошло около трех лет.

О-Сан уделяла много внимания рукоделию, за которым женщины проводят дни с утра до ночи. Она самолично возилась с индийской пряжей, а служанок сажала ткать. Она заботилась о добром имени своего мужа, превыше всего ставила бережливость — не давала расходовать лишнее топливо, тщательно вела книги домашних расходов... словом, была образцовой хозяйкой купеческого дома.

Хозяйство их процветало. Радость в доме била ключом.

Но вот однажды пришлось хозяину ехать по делам на восток, в Эдо. Не хотелось ему оставлять столицу, да что поделаешь, раз жизнь этого требует! Собравшись в дорогу, он отправился в проезд Муромати к родителям своей жены и сообщил им о своей поездке. Родители, беспокоясь о том, справится ли дочь с хозяйством в отсутствие мужа, решили подыскать смышленого человека, чтобы поручить ему ведение дел. И для О-Сан в хлопотах по дому он был бы опорой.

Повсюду одинаково родители пекутся о своих детях. Так и эти: от чистого сердца заботясь об О-Сан, послали в дом зятя молодого парня — звали его Моэмон,— который служил у них в течение долгого времени.

Этот парень был от природы честен, за модой не гнался — волос надо лбом не выбривал и рукава носил узкие, едва в четыре вершка шириной. Уже придя в возраст, он не только не надевал плетеной шляпы, но и клинка себе не завел. Изголовьем ему служили счеты, и даже во сне все ночи напролет он строил планы, как бы скопить деньжонок.

Время было осеннее. По ночам свирепствовали бури, и вот, подумывая о близкой зиме, Моэмон решил сделать себе для здоровья прижигание моксой. А так как известно было, что у горничной Рин легкая рука, то он и обратился к ней со своей просьбой.

Рин приготовила скрученные травинки чернобыльника и постелила у своего зеркала свернутый в несколько раз полосатый бумажный тюфяк.

Первые прижигания Моэмон кое-как стерпел. Все, кто тут

был — и старая кормилица, и горничная, убирающая комнаты, даже кухонная служанка Такэ,— держали лежащего Моэмона и смеялись, глядя, как он гримасничает от боли.

Чем дальше, тем сильнее жгло, и Моэмон с нетерпением ждал, когда же наконец ожоги присыплют солью. Моксу, как и полагалось, ставили вдоль позвоночника сверху вниз, кожа на спине покрывалась морщинами, и страдания были невыносимы, но, понимая, как трудно руке, которая ставит моксу, Моэмон переносил боль, зажмурив глаза и сжав зубы.

Рин стало жаль его. Она принялась руками тушить тлеющую моксу, стала растирать его тело, и сама не заметила, как в сердце ее закралась нежность к Моэмону.

Вначале никто не знал о ее тайных терзаниях, затем пошли разговоры, и слухи достигли ушей госпожи О-Сан. Но Рин уже не могла справиться с собой.

Рин была простого воспитания, где ей было уметь писать! Она очень горевала, что не может прибегнуть к помощи кисти, и даже Кюсити, парень из лавки, возбуждал ее зависть умением кое-как нацарапать несколько иероглифов, что хранились у него в памяти. Она было попросила его потихоньку,— но увы! — он пожелал первым насладиться ее любовью.

Что оставалось делать? Дни проходили, наступило «неверное время» — сезон осенних дождей.

Госпожа О-Сан отправляя послание в Эдо, предложила Рин заодно написать для нее любовное письмецо. Легко скользя кистью по бумаге, она адресовала его коротко: «Господину М. От меня», перевязала и отдала Рин.

Рин, обрадовавшись, ждала подходящего случая, и вот как-то раз из лавки позвали: «Эй, принесите огонька закурить!» К счастью для Рин, во дворе никого не было, и вместе с «огоньком» она вручила Моэмону свое послание, сделав вид, словно сама его писала.

Моэмону и в голову не пришло, что это рука госпожи О-Сан,— он только решил, что у Рин чувствительное сердце. Он написал затейливый ответ и потихоньку передал его влюбленной горничной. Но та не могла его прочитать и, выбрав момент, когда хозяйка была в хорошем настроении, показала своей госпоже.

«Я не ожидал письма, в котором Вы изложили свои чувства. Так как я еще молод, то для меня тут нет ничего неприятного, только если мы с Вами заключим союз, как бы нам не нажить потом хлопот с повивальной бабкой!

Но все же, если Вы возьмете на себя расходы на платье и верхнюю накидку, на баню и все, что требуется для ухода за собой, то будь по-вашему, хоть мне и не очень хочется».

Таково было это бесцеремонное письмо.

Просто отвратительно! Неужели больше нет мужчин на белом свете? Ведь такого мужа, как этот Моэмон, Рин нетрудно будет заполучить, даром что она обыкновенная девушка, подумала О-Сан, а если еще раз поведать этому парню все ее печали, может быть, удастся смягчить его? Она написала новое письмо, употребив все свое красноречие, и переправила его Моэмону.

На этот раз послание тронуло Моэмона. Он уже сожалел, что так посмеялся над Рин, и в теплых выражениях составил ей ответ, пообещав, что обязательно встретится с ней в ночь на пятнадцатое число, когда все будут ожидать полнолуния.

Теперь О-Сан и бывшие при ней женщины хохотали во всю мочь. «Вот уж когда можно будет потешиться!» И госпожа О-Сан решила сыграть роль своей служанки. Нарядившись в бумажный ночной халат без подкладки, она заняла обычное место Рин, чтобы ждать там до рассвета.

Но она сама не заметила, как уснула сладким сном.

Было условлено, что служанки, все, сколько есть, прибегут, едва госпожа О-Сан подаст голос. Они притаились кто где с палками и свечами наготове. Но они еще с вечера были утомлены от шума и суеты и невольно погрузились в сон.

Прозвонил утренний колокол, и Моэмон, распустив пояс своего нижнего платья, тайком, в темноте, откинул полу спального кимоно О-Сан и, прижавшись к ее обнаженному телу, с торопливо бьющимся сердцем, не промолвив и слова, закончил приятное для него дело. «Ну и чудесно же пахнут рукава у нее,— подумал он, снова прикрыл О-Сан ее ночным кимоно и удалился на цыпочках.— Как, однако, легкомысленны люди в нашем мире! Я-то думал, что Рин не успела еще изведать мужскую любовь. Кто же этот человек, что опередил меня?» — удивлялся Моэмон и порешил непременно оставить все мысли об этой девушке.

После этого О-Сан проснулась и удивилась, что изголовье под ее головой сдвинуто, постель в беспорядке, пояс развязан и отброшен, рядом почему-то валяются листки ханагами...

Она себя не помнила от стыда. Ведь такое дело не сохранить в тайне. Теперь остается только махнуть на все рукой и стараться хоть как-нибудь прожить, сколько еще суждено... Придется бежать с Моэмоном, пусть даже навстречу смерти.

Как ни трудно было порвать с прежней жизнью, она сообщила Моэмону о своем решении. У того от неожиданности голова кругом пошла, но — раз уж сел на лошадь, не слезать же! И так как О-Сан уже завладела его мыслями, он стал ходить к ней каждую

ночь, не думая о том, что люди это осудят. Так он свернул с истинного пути.

А это приводит к тому, что у человека вскоре остается только один выбор: позор или смерть. Вот в чем опасность!

ОЗЕРО, КОТОРОЕ ПОМОГЛО ОТВЕСТИ ГЛАЗА

«Неисповедимы пути любви!» — написано еще в «Повести о блистательном принце Гэндзи».

В храме Исияма готовилось празднество, и столичные жители потянулись туда один за другим.

Не удостаивая вниманием вишни горы Хигасияма, «проходят и возвращаются... через Заставу Встреч». Посмотрите на них, большинство — нынешние модницы. Ни одной нет, что пришла бы на поклонение в храм, заботясь о своей будущей жизни. Желают они лишь превзойти друг друга нарядом да похвалиться своей внешностью.

Даже богине милосердия Каннон должны были казаться смешными такие побуждения.

О-Сан, в сопровождении Моэмона, тоже пришла помолиться.

«Наша жизнь — как эти цветы. Кто знает, когда суждено осыпаться ее лепесткам? Приведется ли снова увидеть эту горуУраяма? Так пусть же сегодняшний день останется в памяти!»

С этими мыслями они наняли в Сэта одну из тех лодок, на которых рыбаки выезжают выбирать невод.

Казалось, что в названии моста Нагахаси — Долгий мост — заключена для них надежда. Однако есть ли что-либо на свете короче человеческого блаженства?..

Волны омывали изголовье их ложа. Вот выплыла перед ними Гора-ложе — Токояма... Не выплыла бы и тайна их наружу... Они хоронились в лодке, с растрепавшимися волосами, с глубоким раздумьем на лицах. Да, в этом мире, где даже гору Зеркальную и ту видишь, словно в тумане, сквозь слезы,— трудно избежать Акульего мыса!

Возле Катада лодку окликнули. Сразу у них замерло сердце: «Не из Киото ли это? Не погоня ли?»

Они думали: «Наша жизнь еще длится, не об этом ли говорит имя горы Нагараяма — горы Долгой жизни, что видна отсюда? Ведь нам нет еще и двадцати лет,— уподобим же себя горе, именуемой Фудзи столицы. Но ведь и на ее вершине тает снег! Так исчезнем и мы...»

Эти мысли не раз вызывали слезы на их глазах, и рукава их увлажнились.

«Как от величия столицы Сига не осталось ничего, кроме предания, так будет и с нами...»

И на сердце становилось еще тяжелее.

В час, когда зажигаются фонари в храмах, они достигли храма Сирахигэ, помолились богам, однако и после этого их судьба продолжала казаться им печальной.

— Что ни говори, в этом мире чем дольше продолжается жизнь, тем больше в ней горестей,— сказала О-Сан.— Бросимся в это озеро и соединимся навеки в стране Будды!

— Мне не жаль этой жизни, но ведь мы не знаем, что будет с нами после смерти,— ответил Моэмон.— Я вот что придумал: мы оба оставим письма для тех, что в столице. Пусть говорят о нас, что мы утопились, а мы покинем эти места, заберемся куда-нибудь в глушь и там доживем свои дни.

О-Сан обрадовалась.

— Я тоже с тех пор, как ушла из дому, имела такую мысль. У меня с собой в дорожном ящике пятьсот рё денег.

— Вот на них мы и устроимся.

— Так скроемся же отсюда!

И каждый из них оставил такое письмо:

«Введенные в соблазн, мы вступили в греховную связь. Возмездие неизбежно. Нам негде приклонить голову, и в сей день и месяц мы расстаемся с этим миром».

О-Сан сняла с себя нательный талисман — изображение Будды размером чуть больше вершка — и приложила к нему прядку своих волос. Моэмон снял с эфеса своего меча, который он постоянно носил при себе, железную гарду в виде свившегося в клубок дракона, с медными украшениями работы мастера Сэки Идзумино Ками.

Оставив эти предметы, которые всякий сразу признал бы за принадлежавшие им, оба скинули верхнее платье, не забыв снять и обувь: О-Сан — соломенные сандалии, а Моэмон — сандалии на кожаной подошве, и бросили все это под прибрежной ивой.

Затем они тайно призвали двух местных рыбаков, искусных ныряльщиков, их называют иватоби — «прыгающие со скал» и, дав им денег, посвятили в свой замысел.

Те сразу же согласились все исполнить и остались ждать глубокой ночи.

Собравшись в дорогу, О-Сан и Моэмон приоткрыли бамбуковые ставни в доме, где они остановились, и растормошили сопровождавших их людей.

— Пришел наш последний час!..— сказали они и выбежали из дома.

С сурового утеса еле слышно донеслись голоса, произносив-

шие молитву, а затем раздался всплеск — точно бросились в воду два человека.

Поднялось смятение, послышался плач, а Моэмон подхватил О-Сан на плечи и, миновав подножие горы, скрылся в густых зарослях криптомерий.

Тем временем пловцы нырнули под воду и выбрались на песок в таком месте, где их никто не мог видеть.

Люди, бывшие с О-Сан и Моэмоном, в отчаянии лишь всплескивали руками. Обратились к жителям побережья, стали повсюду искать мертвые тела обоих, но безрезультатно. Уже на рассвете, со слезами собрав в узлы вещи, оставшиеся от погибших, возвратились в Киото и там рассказали о случившемся.

Все это держали в секрете от посторонних, опасаясь людских пересудов, но у людей ведь всегда уши настороже,— таков наш мир! Молва об этом деле все ширилась, и на Новый год оно дало пищу разговорам,— толкам не было конца.

Вот так и бывает всегда с беспутными людьми!

ЧАЙНАЯ, ГДЕ НЕ ВИДЫВАЛИ ЗОЛОТОГО

Перевалив через хребты, они очутились в провинции Тамба. Пробираясь сквозь заросли травы, где не было даже тропинки, Моэмон поднимался все выше в гору, ведя за руку О-Сан.

Содеянное страшило их. При жизни оказаться в мертвых! Пусть это было делом их рук, и все же такая судьба казалась им ужасной.

Вскоре исчезли даже следы людей, собирающих хворост. Вот беда: сбились с дороги! О-Сан выбилась из сил, она была так измучена, что, казалось, вот-вот упадет замертво. Моэмон собирал на листок капли родниковой воды, пробивавшейся из скалы, и пытался подкрепить ее, но надежды оставалось все меньше. Пульс у нее замирал — наступала смерть.

И нечем было помочь ей. Она готовилась к концу.

Тогда Моэмон приблизил губы к уху О-Сан и с грустью сказал:

— Если пройти еще немного, будет деревня, где у меня есть знакомые люди. Стоит нам добраться туда, как мы забудем наши печали и вдоволь наговоримся с тобой, соединив наши изголовья.

Как только эти слова дошли до слуха О-Сан, она воспрянула духом.

— Вот радость! — воскликнула она.— Значит, мы спасены!

Любовь придала ей силы, а Моэмон, жалея О-Сан, у которой не было другой опоры, кроме него, снова поднял ее на спину и продолжал путь. Вскоре они вышли к небольшой деревушке.

Им сказали, что тут неподалеку проходит Киотоский тракт. Была и крутая горная дорога — двум лошадям не разминуться. К соломенной кровле одного из домов были прикреплены ветки криптомерии — знак того, что здесь продают сакэ высшего сорта. Продавались и рисовые лепешки, неизвестно когда приготовленные, покрытые пылью и утратившие белизну.

В другом отделении лавочки они увидели чайные приборы, глиняные куклы, кабуритайко — детские погремушки, наполненные горошинами. Все это было привычно и немного напоминало Киото.

Радуясь, что здесь можно набраться сил и отдохнуть, Моэмон и О-Сан дали старику хозяину золотой, но тот скорчил недовольную мину: это, мол, мне — что кошке зонтик! — и заявил:

— Платите за чай настоящие деньги.

Да, деревня эта находилась всего в пятнадцати ри от столицы, но здесь никогда не видели золотой монеты. Казалось смешным, что есть еще такие глухие углы.

После чайной они отправились в поселок Касивабара и там зашли к тетке Моэмона, о которой он давно уже ничего не слыхал, не знал даже, жива ли она.

Вспомнили прошлое. Так как Моэмон все же был ей не чужой, тетка обошлась с ним по-родственному. Она даже прослезилась, когда разговор зашел об отце Моэмона — Москэ.

Проговорили ночь напролет. А когда рассвело, тетка увидела красоту О-Сан и поразилась.

— Кем изволит быть эта особа? — спросила она.

Моэмон растерялся: к такому вопросу он не был готов. И он сказал первое, что пришло ему на ум:

— Это моя младшая сестра. Она долго служила во дворце, но затосковала, столичная жизнь с ее трудностями стала ей не по душе. Хотелось бы найти для нее подходящую партию в каком-нибудь уединенном домике в горах... Она посвятила бы себя деревенской жизни и домашнему хозяйству. С этим намерением я взял ее сюда. И деньги у нее при себе: двести рё сбережений.

Куда ни пойди — всюду люди алчны. Тетке запала в голову мысль об этих деньгах.

— Какой счастливый случай! Моему единственному сыну никого еще не подыскали в жены. А так как ты нам родня, так и отдал бы ее ему!

Вот уж подлинно — из огня да в полымя! О-Сан украдкой лила слезы, тревожась о том, что ее ожидает. Тем временем наступила ночь, и вернулся сын, о котором говорила тетка.

Вид его был ужасен. Роста огромного, всклокоченные волосы в мелких завитках, как у китайского льва на рисунке, борода словно по ошибке попала к нему от медведя, в сверкающих глазах

красные жилки, руки и ноги — что сосновые стволы. На теле рубаха из рогожи, подпоясанная веревкой, скрученной из плетей глициния. В руках ружье с фитилем, в сумке зайцы и барсуки. Видно было, что он промышляет охотой.

Спросили его имя. Оказалось, что его зовут «Рыскающий по горам Дзэнтаро» и что всем в деревне он известен как негодяй.

Услышав от матери, что за него сговорили столичную особу, этот страшный детина обрадовался.

— С хорошим делом нечего мешкать. Сегодня же вечером...— И, вытащив складное зеркальце, он принялся рассматривать свою физиономию, что ему совсем не пристало.

Надо было готовиться к свадебной церемонии. Мать собрала на стол: подала соленого тунца, бутылочки для сакэ с отбитыми горлышками. Затем отгородила соломенной ширмой угол в две циновки шириной, разместила там два деревянных изголовья, два плоских мата и полосатый тюфяк и разожгла в хибати сосновые щепки.

Хлопотала она изо всех сил.

Каково же было горе О-Сан и смятение Моэмона!

«Вот ведь, сорвалось слово с языка, а это, видно, возмездие нам обоим,— думал Моэмон.— Мы старались продлить нашу жизнь, что должна была окончиться в водах озера Бива, и вот новая опасность! Нет, небесной кары нельзя избежать!»

Моэмон взял свой меч и хотел было выйти, но О-Сан остановила его и стала успокаивать:

— Ты слишком нетерпелив. А у меня есть план. Как только рассветет, мы должны бежать отсюда. Положись во всем на меня.

Вечером О-Сан спокойно обменялась с Дзэнтаро свадебными чарками, затем сказала ему:

— Люди меня ненавидят. Дело в том, что я родилась в год огня и лошади.

— Да хоть бы ты родилась в год огня и кошки, в год огня и волка — меня это не тревожит,— отвечал ей Дзэнтаро.— Я ем зеленых ящериц, и даже это меня не берет. Дожил до двадцати восьми лет, а у меня и глисты ни разу не заводились. И вы, господин Моэмон, следуйте моему примеру. Моя супруга столичного воспитания, неженка. Мне это не по нраву, но раз уж я получил ее из рук родственника...

Сказав это, он удобно расположился головой на коленях О-Сан.

Как ни грустно было обоим, они едва удерживались от смеха.

Но наконец он крепко уснул, и они вновь бежали и скрылись в самой глуши провинции Тамба.

Через несколько дней Моэмон и О-Сан вышли на дороги провинции Танго. Проводя ночь в молитве в храме святого Мондзю, они вздремнули, и вот около полуночи во сне им было видение.

«Вы совершили неслыханный поступок,— раздался голос,— и куда бы вы ни скрылись, возмездие настигнет вас. Теперь содеянного уже не исправить. Вам надлежит уйти из этого суетного мира, остричь волосы, как вам ни жаль их, и дать монашеский обет.

Живя порознь, вы отрешитесь от греховных помыслов и вступите на Путь Просветления. Только тогда люди смогут оставить вам жизнь».

«Ну, что бы там ни было в будущем, не беспокойся о нас! Мы, по собственной воле рискуя жизнью, решились на эту измену. Ты, пресветлый Мондзю, изволишь, наверное, знать лишь любовь между мужчинами, и любовь женщины тебе неведома...» Только Моэмон хотел сказать это, как сон его прервался.

«Все в этом мире — как пыль под ветром, что свистит меж сосен косы Хасидати...» Отдаваясь таким мыслям, они все дальше уходили от раскаяния.

ПОДСЛУШИВАНИЕ О САМОМ СЕБЕ

Плохое всякий держит про себя: игрок, проигравшись, помалкивает об этом; сластолюбец, не имея средств купить девушку для радости, делает вид, что ему не позволяет этого нравственность. Скандалист не расскажет о том, как его осадили, а купец, закупивший товары впрок, не сознается в убытке.

Как говорит пословица: «В потемках и собачий помет не пачкает!»

Самое ужасное для мужчины — это иметь беспутную жену.

И толки людские, столь неприятные для мужа О-Сан, были заняты лишь известием о ее смерти. Правда, при воспоминании о прежних днях, проведенных вместе, на сердце у мужа становилось горько, но все же он пригласил монаха и справил панихиду по ушедшей.

Какая печаль! Из любимого платья О-Сан сделали надгробный балдахин. Ветер — он тоже непостоянен! — колышет его и навевает новую скорбь.

Но нет в мире существа более дерзкого, чем человек!

Вначале Моэмон даже к воротам не выходил, но постепенно стал забывать о своем положении и затосковал по столице.

Однажды он оделся простолюдином, низко надвинул плетеную шляпу и, поручив О-Сан жителям деревни, отправился в Киото, хотя никакого дела у него там не было.

Он шел, осторожно оглядываясь, как человек, которого подстерегают враги. Вскоре со стороны пруда Хиросава подкрались

сумерки. Лик луны и другой, неразлучный с ним, в водах пруда — это он и О-Сан. И рукав Моэмона стал влажным от неразумных слез.

Остался позади водопад Нарутаки, без счета рассыпающий по скалам белые жемчуга. Омуро, Китано — это были хорошо знакомые места, и он пошел быстрее. Вот он углубился в городские улицы, и тут его охватил страх. Его собственная черная тень в свете поздней луны заставляла замирать сердце.

Достигнув улицы, где жил хозяин, у которого он так долго служил, Моэмон стал потихоньку подслушивать разговоры. Оказалось, что запоздали деньги хозяину из Эдо, наводят справки. Молодежь собралась и обсуждает фасоны причесок, покрой платьев из бумажной материи. И все для того, чтобы понравиться женщине!

Толковали о всякой всячине, и наконец зашла речь о нем.

— А ведь этому прохвосту Моэмону досталась красотка, равной которой нет! Пусть даже он поплатился жизнью, за такое счастье не жалко,— сказал один.

Кто-то добавил:

— Во всяком случае, есть что вспомнить!

Но по словам другого, видимо, рассудительного, этого Моэмона и человеком считать не следовало. Соблазнить жену хозяина! Нет, что ни говори, невиданный негодяй!

Так он осудил Моэмона с сознанием своей правоты.

Моэмон слушал все это, сжав зубы, но — что будешь делать?

«Ведь это говорил мерзавец Даймондзия Кискэ, который всегда радуется несчастью других. Как он смеет так говорить обо мне? Да ведь он мне должен по векселю восемьдесят мэ серебром! Придушить бы его за такие слова!» Но, вынужденный прятаться от всех, Моэмон терпел, как ему ни было досадно.

В это время заговорил еще один:

— Да Моэмон живехонек! Он, говорят, поселился вместе с госпожой О-Сан где-то возле Исэ. Ловкую устроил штуку!

Едва Моэмон услыхал эти слова, как весь затрясся — озноб пробрал его — и пустился бежать, не чуя ног под собой.

Остановившись на ночлег в гостинице Хатагоя в районе Сандзё, он, даже не побывав в бане, улегся спать. Как раз в это время проходили мимо собирающие для храма — те, что ходят в ночь семнадцатой луны, и он подал им на двенадцать светильников, молясь о том, чтобы его преступление до конца его дней осталось нераскрытым.

Но мог ли помочь ему, при его заблуждениях, даже сам бог Атаго-сама!

На другое утро, тоскуя по знакомым местам в столице, он отправился к Хигаси-яма, а затем, всячески скрываясь, и в Сидзёгавара.

В это время возвестили: «Сейчас начнется пьеса в трех действиях, с участием Фудзита Кохэйдзи!»

«Что это за пьеса? — подумал Моэмон.— Посмотрю, пожалуй, а потом расскажу О-Сан!»

Получив циновку для сидения, он занял место позади и с беспокойством оглядывался,— нет ли здесь кого-нибудь из знакомых.

По пьесе, один из героев тоже похищал девушку, и это было неприятно Моэмону, а когда он присмотрелся к тому, кто сидел впереди, то узнал супруга госпожи О-Сан!

Дух замер у Моэмона! Вот когда он поистине занес ногу для прыжка в ад!

Утирая крупные, как горох, капли пота, он выскользнул наружу и вернулся к себе в Танго. И уж после этого боялся Киото как огня.

Приближался праздник хризантем. В доме составителя календарей остановился торговец каштанами, который каждый год приходил из Танго. Рассказывая обо всем, что делается на белом свете, он, между прочим, спросил:

— А что приключилось с вашей хозяюшкой?

Всем стало неловко, и ответа не последовало.

Наконец хозяин сказал с кислым выражением лица:

— Сгинула...

Но торговец каштанами продолжал:

— Бывают же люди похожи! В Танго, возле Киридо, я видел женщину — как две капли воды схожа с вашей супругой, да и молодец этот с ней...

Молвив это, торговец ушел.

Муж не забыл этих слов. Он послал человека в Танго, и так как это действительно оказались О-Сан с Моэмоном, он собрал надежных людей и отправил их поймать обоих.

Так пришло возмездие.

Расследовав все обстоятельства, привлекли по этому делу и помогавшую им женщину по имени Тама.

И вот, вчера живые люди, сегодня они — всего лишь роса на месте казни в Авадагути... Всего лишь сон, что приснился на рассвете двадцать второго дня девятого месяца...

Они ничем не омрачили последних своих минут, и все это осталось в предании. И сейчас жива память о них, словно все еще перед глазами у людей то платье с узорами, что было надето на О-Сан.

ИЗ ПОВЕСТИ «ЖЕНЩИНА, НЕСРАВНЕННАЯ В ЛЮБОВНОЙ СТРАСТИ»

ТАЙНОЕ УБЕЖИЩЕ СТАРУХИ

«Красавица — это меч, подрубающий жизнь»,— говорили еще мудрецы древности.

Осыпаются цветы сердца, и к вечеру остаются только сухие ветки. Таков закон жизни, и никто не избегнет его, но порой налетит буря не вовремя и развеет лепестки на утренней заре. Какое безрассудство погибнуть ранней смертью в пучине любви, но никогда, видно, не переведутся на свете такие безумцы!

В седьмой день первого месяца случилось мне пойти в Сага, к западу от столицы. Когда я переправлялся через Мумэдзу — «Реку сливовых цветов», губы которых точно шептали: «Вот она — весна!» — встретился я с двумя юношами. Один из них был красив собой, щегольски одет по моде, но изнурен и смертельно бледен. Казалось, истерзанный любовной страстью, он клонился к скорому концу, проча старика отца в свои наследники.

Юноша говорил:

— Мое единственное желание на этом свете, где я ни в чем не знал недостатка,— чтобы влага моей любви никогда не иссякала, как полноводное течение этой реки.

Спутник его в изумлении воскликнул:

— А я желал бы найти страну, где не было бы женщин! Туда хотел бы я укрыться, там в тишине и покое продлить свои дни и лишь издали следить за треволнениями нашего времени.

Мысли их о жизни и смерти были так далеки друг от друга, как долгая жизнь непохожа на короткую.

Юноши спешили вперед, точно гнались за несбыточными снами, и, не помня себя, вели яростный спор, как в бреду. Дорога, не разветвляясь, вилась вдоль берега реки. Безжалостно топча молодые побеги диких трав, они шли все дальше в глубь гор, туда, где не было и следа людских селений.

Охваченный любопытством, я последовал за ними.

Посреди сосновой рощи виднелась редкая изгородь из сухих веток. Дверца, сплетенная из побегов бамбука, скрывала вход в природную пещеру, такой тесный, что, казалось, и собака не пролезет. Кровля с одним только пологим скатом, а на ней стебли «травы-терпенья» и сухие листья плюща: все, что осталось от давно минувшей осени. Под сенью ивы журчал ручеек, выбегая из бамбуковой трубы. Родниковая вода была чиста и прозрачна, невольно думалось, что и хозяин этой кельи — чистый сердцем святой! Я заглянул в окно, и кого же я увидел?

Женщину, согнувшуюся в три погибели под бременем лет. Волосы убелены инеем, глаза тусклы, как бледный свет закатной луны. На старом косодэ небесного цвета рассыпаны махровые хризантемы. Пояс с модным рисунком повязан спереди изящным узлом. Даже сейчас, в глубокой старости, она была не по летам разряжена и все же не казалась смешной и противной.

Над входом, который вел, видимо, в ее опочивальню, висела доска с шуточной надписью: «Обитель сладострастья».

Еще чувствовался аромат курившегося когда-то благовония, быть может, прославленного «хацунэ — первый крик кукушки». Мое сердце готово было впорхнуть к ней в окно.

Тем временем юноши вошли в дом, не спрашивая дозволения, с видом привычных посетителей.

Старуха улыбнулась:

— И сегодня тоже пришли меня навестить! Сколько в мире удовольствий манит к себе, зачем же ветер льнет к сухому дереву? Уши мои туго слышат, язык плохо повинуется. Уже семь лет, как я скрываюсь в уединении, отказавшись от суетного мира. Когда раскрываются цветы сливы, я знаю, что пришла весна. Когда зеленеющие горы меняют свой цвет под покровом белого снега, это для меня знак, что наступила зима. Давно уже я не вижу людей. Зачем же вы приходите ко мне?

— Друг мой гоним страстью, а я погружен в свои думы, и оттого мы оба не могли до сих пор постичь все тайны любви. Сведущие люди посоветовали нам прийти сюда. Расскажите, прошу вас, о своей прошлой жизни так, чтобы мы все увидели как бы своими глазами.

Юноша налил немного хрустально чистого вина в драгоценную золотую чарку и стал потчевать старуху, не слушая ее отговорок.

Неприметно старуха опьянела, в голове у нее помутилось, и она запела песню о любви, перебирая струны, совсем как в давно минувшие времена. И, увлекшись, она стала рассказывать, словно во сне, о своих былых похождениях и обо всем, что случилось на ее веку.

— Я не из низкого рода. Мать моя, правда, была не родовита, зато один из предков моего отца во времена императора Го-Ханадзоно был своим человеком у высшей знати, но, как часто бывает на этом свете, род наш пришел в упадок и хоть не совсем исчез с лица земли, но уже не мог служить нам опорой.

От рождения я была красива лицом и приветлива, и меня взяла к себе на службу дама, занимавшая при дворе самое высо-

кое положение. Жизнь среди утонченной роскоши пришлась мне по душе. Так служила я несколько лет. Казалось бы, что дурного могло со мной случиться? Но в одну памятную весну, когда исполнилось мне одиннадцать лет, сердце мое беспричинно потеряло покой. Мне вдруг захотелось причесаться по собственному вкусу. Это я первая изобрела прическу «нагэсимада» без буклей на висках, я первая стала связывать волосы шнурком «мотоюи». И узор «госёдзомэ» для платья тоже я придумала, вложив в него всю душу. С тех пор он и вошел в моду.

Жизнь придворной знати близка к изголовью любви. Все напоминает о ней: танка и игра в мяч. Всюду видела я любовь, всюду слышала я о любви. Что же удивляться, если сердце мое само собой к ней устремилось?

В ту пору стала получать я со всех сторон любовные послания. Они волновали мою душу, но скоро мне стало некуда их прятать, и я попросила молчаливых дворцовых стражей предать их огню. Но имена богов, написанные на них в подтверждение любовных клятв, не исчезли в пламени, и я разбросала обгорелые клочки в саду возле храма Ёсида.

Нет ничего причудливее любви! Все мои искатели были щеголи и собой хороши, но я осталась к ним равнодушна, а отдала свое сердце самураю низкого звания, который должен был бы мне внушать лишь презренье, отдала после первого же письма от него. Так оно захватило меня силой выраженного в нем чувства. Для этого человека и смерть была не страшна. С каждым новым письмом любовь моя разгоралась все сильнее. Я только и мечтала, когда же мы встретимся наедине. Наконец мы преодолели все препятствия. Я отдалась моему милому, и об этом пошла молва, но порвать нашу связь не было сил! Однажды на рассвете тайна наша раскрылась. Меня погнали к мосту Удзибаси и жестоко наказали, а его, несчастного, предали смерти.

Много дней после этого являлся мне, не то во сне, не то наяву, молчаливый призрак у самого моего изголовья, и я, не в силах вынести этого ужаса, хотела расстаться с жизнью. Но прошло время, и я обо всем позабыла. Вот свидетельство тому, что нет ничего на свете изменчивей и ненадежней женского сердца!

В то время было мне всего тринадцать лет, и оттого люди смотрели на мой проступок сквозь пальцы. Многие даже сомневались: «Да как это могло быть? Поверить нельзя!»

И правда, разве это могло случиться в прежние времена?

В былые годы невеста, покидая свой родной дом, печалилась о разлуке с близкими, и рукав ее был влажен от слез.

Нынешняя невеста стала умнее: она торопит сватов, спешит нарядиться и ждет не дождется свадебных носилок, прыгает в них,

не чуя ног от радости, и даже по кончику ее носа видно, что она млеет от счастья. Лет сорок тому назад девушки годов до восемнадцати резвились у ворот, как дети, на бамбуковых ходулях, юноши тоже совершали обряд гэмпуку не иначе как лет в двадцать пять.

Вот до чего мир изменчив!

И я тоже из скромного бутона любви обратилась в дразняще яркий цветок ямабуки на берегу стремнины. Увы! Не прояснятся больше воды мутного потока!

КРАСАВИЦА ГЕТЕРА

— У западных ворот храма Киёмидзу слышится песня под звуки сямисэна:

«Как печален этот мир,
Как грустна моя судьба!
Жизни мне не жаль моей,
Стану капелькой росы».

Эту песенку поет нежным голосом нищенка. Летом на ней халат на вате, зимой тонкое рубище... Теперь ей негде укрыться от налетевшего с окрестных гор пронзительного ветра, но спросите у нее: кем она была в минувшие времена? Когда веселый квартал находился еще в Рокудзё, она была знаменитой таю по прозвищу Вторая Кацураги, и вот каков ее конец в этом мире, где все непрочно. Осенью на празднестве любования багровой листвой сакура я бессердечно смеялась в толпе женщин, показывая пальцем на нищенку, но кому дано предугадать свою будущую судьбу?

Родители мои впали в беду. Мой отец необдуманно поручился за одного человека в торговом деле, а тот скрылся. Заимодавец потребовал долг — целых пятьдесят рё, и пришлось отцу продать меня в веселый дом Камбаяси в Симабара. Так выпала мне нежданная судьба стать дзёро всего в шестнадцать лет. «Луна в шестнадцатую ночь не может сравниться с тобой, даже здесь, в столице, где полно красавиц»,— говорил в восторге хозяин дома, суля мне блестящий успех.

Обычно девочки-кабуро, начиная прислуживать дзёро с самых юных лет, постепенно входят в тайны ремесла. Их не приходится ничему обучать, все ухищрения постигаются сами собой. Но я сразу стала законодательницей мод, как настоящая прославленная гетера. Затмив своими выдумками столичных щеголих, я сбрила брови на лбу и густо навела две черты черной

тушью. Сделала высокую прическу, не подложив обычного деревянного валика, и связывала волосы узкой лентой так искусно, что ее совсем не было видно и ни одна прядь сзади не выбивалась. Завела себе щегольские рукава длиной в два сяку и пять сун. Платье вокруг пояса не подбивала ватой, широкий подол веером ложился вокруг. Тонкий пояс, без прокладки внутри, был всегда заботливо повязан. Шнурок для мино я укрепляла выше, чем другие. Носила с несравненной границей три кимоно, одно поверх другого. Босоногая, я скользила плывущей походкой. В веселый дом впорхну быстрым шагом, в покои для гостей войду тихим шагом, на лестницу взбегу торопливым шагом.

Правда, я незаметно носила соломенные сандалии, встречным дороги не уступала, оглядывалась на незнакомых людей даже на перекрестке, думая, что они бросают на меня страстные взгляды, и всех считала влюбленными в себя. По вечерам я караулила прохожих у входа в веселый дом и, лишь покажется издалека кто-нибудь знакомый, сейчас же начну строить ему глазки. Если никого не видно, усядусь без церемонии на пороге и любезничаю на худой конец хоть с простым шутом.

Тут, бывало, имеешь случай похвалить гербы на платье ухаживателя, искусную прическу, модный веер, все красивое в наряде:

«Ах, жестокий погубитель! И кто только научил тебя так причесываться!» — хлопнешь его разок, точно всерьез, и бегом прочь. Самый искушенный мужчина не устоит.

Когда ж он начинает пылко молить о свидании, тогда, убедившись в искренности его любви, уже не требуешь от него подарков. От богатого гостя приходится скрывать свои тайные шашни, зато если про девушку пройдет дурная слава, тут уж возлюбленный стоит за нее, не жалея себя.

Можно просто и без всякого убытка порадовать мужчину, стоит изорвать у него на глазах в клочки и выбросить ненужные любовные письма, но гетера поглупее никогда до этого не додумается.

Бывает, что девушка, не хуже других наружностью, устав от любви, требует от хозяина даже в самый день момби, чтобы ее отпустили за собственный счет. Придя в тайный дом для свиданий, она делает вид, что ждет не дождется дружка, но хозяева там, догадываясь в чем дело, встречают ее неприветливо. Забившись подальше в уголок, она ест холодный рис, на приправу ей подают только соленые баклажаны да плохое сёю. Ей даже столика не придвинут. Она все терпит, лишь бы ничей посторонний глаз не заметил. Вернувшись к себе в дом, девушка украдкой поглядывает, какое выражение лица у ее хозяйки, и даже девочку-

кабуро просит принести воды для мытья тихим, робким голосом. В доме у нее одни неприятности.

Да, пренебрегать денежными гостями очень неразумно. Это значит причинять убыток хозяину и вред самой себе.

Если случится в компании за выпивкой торговаться насчет платы, то дзёро следует, высказав разумные доводы, держаться чинно, с достоинством и не говорить лишних слов. Опытного гостя не проведешь, а вот новичок, разыгрывающий бывалого кутилу, смутится и оробеет. Даже в постели он будет бояться лишний раз шевельнуться, а если рискнет раскрыть рот, то голос у него задрожит от смущения. Словом, он почувствует себя так же неловко, как человек, не имеющий понятия о чайной церемонии, которому в качестве главного гостя вдруг предложили бы судить о всех ее тонкостях.

Но мы на неопытного новичка не очень сердились. Конечно, вначале, когда он разыгрывает бывалого знатока, его нет-нет да и подденешь. Принимаешь его с церемонной вежливостью, будто даже пояс при нем неловко развязать. Потом прикинешься спящей. Он к тебе прильнет, ногу на тебя закинет, а ты не откликаешься. Взглянуть на него, так просто смех берет! Корчится весь в поту. А рядом на постели такое творится! То ли там старый дружок, то ли с первого раза гостя так ловко расшевелили...

Слышится голос дзёро: «О, вы не такой тощий, как можно подумать». Мужчина, не церемонясь ни с ширмами, ни с подушками, расходится все более. Девушка невольно всплакнет по-настоящему. Летят подушки... Раздается хруст сломанного гребня... В комнате наверху шуршат бумагой ханагами: «Вот до чего, смотрите-ка!»

На другом ложе начинают щекотать сладко разоспавшегося мужчину: «Уже скоро рассветет, пора расставаться». Мужчина спросонок отзывается: «Прости, пожалуйста! Я больше не могу...» «Вы о чем? О вине?» А он нижний пояс распускает. Вот любвеобильный мужчина! Это для нас, дзёро, настоящее счастье! Кругом все радостно проводят время.

Неудачливый новичок, который еще глаз не сомкнул, торопится разбудить свою подругу: «Нельзя ли нам встретиться в День хризантем в девятом месяце? До него уже недолго, может быть, ты с кем-нибудь сговорилась?» — задает он вопрос с прозрачной целью. «Ой, нет, не могу, я уже приглашена и на День хризантем и на Новый год»,— отказывается она наотрез, как и ожидалось.

Больше он не заговаривает о новой встрече, но напускает на себя вид победителя, не хуже других. Волосы его растрепаны, он то и дело поправляет на себе пояс. В душе он, правда, страшно зол на свою подругу и твердо решает: «Следующий раз ее не при-

глашу! Позову другую девушку, буду с ней гулять дней пять — семь и щедро одарю. Пусть эта негодяйка пожалеет, что упустила такого гостя! Или еще лучше: сюда больше ни ногой, буду водиться с мальчиками».

Он поспешно зовет своих приятелей, которым ночь казалась слишком коротка, и торопит их уходить. Но средство есть удержать и такого разобиженного гостя.

Надо на глазах у его приятелей, приглаживая его растрепанные волосы, тихо сказать ему будто на ухо: «Ах, бессердечный! Уходит, и хоть бы словечко!»

Стукнешь его по спине и бегом на кухню. Все, конечно, это заметят. Приятели ахают: «С первой встречи так увлечь женщину! Каково!»

А он и обрадуется!

«Да я у нее самый любимый дружок! Вчера вечером она не знала, чем мне угодить, даже больное плечо разминала. И за что только она в меня так врезалась, сам не понимаю! Наверно, вы ей наболтали, что я первый богач? Ах, нет, нет, я знаю, от продажных женщин не жди искренней любви, в них сильна только страсть к наживе... Но как она мила, как трудно ее позабыть!»

Вот таким путем вскружишь ему голову, и он станет твоим покорным рабом. Уж если так удастся опутать мужчину после неудачной ночи, где уж ему устоять против более приветливой девушки.

Если у мужчины нет какого-нибудь противного недостатка, то девушка не сторонится его при первой встрече. Однако бывает, что, пригласив в первый раз таю, гость до того перед ней оробеет, что сдаст в нужную минуту и, охладев, встает и уходит.

Продажная гетера не может любить кого хочет. Если она прослышит, что в Киото есть такой-то богач, то ей все равно, старик он или монах. Конечно, если мужчина молод летами, щедрого нрава и притом хорош собой, то ни о чем лучшем и мечтать нельзя, но такое счастье выпадает не часто!

В наши дни щеголь, любитель гетер, одевается по следующей моде: носит поверх платья ярко-желтого цвета в узкую полоску другую одежду с короткими полами из черного атласа, украшенную гербами; пояс из шелка рюмон светло-оранжевого цвета, хаори коричневого цвета с красным отливом. Подол и рукава подбиты чесучой хатидзё того же тона, что и верхнее платье. Соломенные сандалии обувает на босу ногу один только раз, а потом бросает. В парадных покоях такой повеса держится развязно, кинжал у него неплотно задвинут в ножны. Машет он веером так, чтобы ветерок задувал в отверстия рукавов. Посидев немного, встает облегчиться. Спрашивает воду для умывания и, хотя каменная

ваза полна воды, требует свежей и без стеснения прополаскивает рот. Прикавывает девочке-служанке подать ему табак в обертке из душистой белой бумаги и бесцеремонно закуривает. Кладет возле колен листки ханагами и после употребления небрежно бросает куда попало. Подзывает прислужницу: «Пойди-ка сюда на минутку»,— и заставляет ее потереть на плече шрам от прижигания моксой. Певицам заказывает модную песню Кагабуси, а когда они начнут ее исполнять, теряет интерес и не дослушивает. Посреди песни заводит разговор с шутом: «Как вчера замечательно играл актер-ваки в пьесе «Сбор водорослей». Сам Такаясу не сравнится с ним...».

«Насчет того, кому принадлежат слова исполнявшейся на днях старинной песни, пробовали спрашивать у самого первого министра, но, как я слышал, автор ее Аривара Мотоката...».

Расскажет две-три новости из жизни высшего света...

Этот гость, который с самого начала держится невозмутимо, с полным спокойствием, заставляет даже таю присмиреть от смущения. Его манеры кажутся им верхом совершенства. Они перестают корчить из себя важных дам и лебезят перед ним.

Вообще же дзёро пользуется почетом в зависимости от щедрости гостя. В самую цветущую пору веселого квартала в городе Эдо один старый любезник по имени Сакакура дарил своим вниманием таю Титосэ. Она очень любила вино, а на закуску предпочитала всему соленых крабов, что водятся в реке Могами на востоке. Сакакура велел одному художнику школы Кано написать золотой краской на маленьких скорлупках крабов герб с листьями бамбука. За каждую надпись он платил серебряную монету и круглый год посылал Титосэ крабов с такой надписью.

А в Киото один кутила по имени Исико, полюбив гетеру Нокадзэ, посылал ей первой раньше всех новинки моды и всякие редкости. Он придумывал ей небывалые наряды, например, покрасил ее осенние косодэ в «дозволенные цвета» и выжег на них круглые отверстия, чтобы сквозь них сквозила алая набивка. Что только он не изобретал для нее! Тратил на одно платье по три тысячи моммэ серебром.

И в Осака тоже один человек, по прозвищу «Нисан», купив на время гетеру Дэва из дома Нагасакия, решил потешить свою возлюбленную и развлечь веселых девиц с улицы Кюкэн, скучавших оттого, что у них по случаю осени было мало гостей.

В саду цвел куст хаги, днем роса на его ветках просыхала, так его обрызгивали водой, чтоб она блестела на кончиках листьев, точно капельки росы. Дэва была глубоко взволнована...

«Ах, если б под сенью этих цветов нашел убежище олень, стонущий в тоске по своей подруге... Я бы не устрашилась его

рогов. Как бы мне хотелось на него поглядеть воочию!» — «Что может быть легче!» — воскликнул Нисан и приказал немедленно снести заднюю половину дома и посадить тысячу кустов хаги, так что сад обратился в цветущий луг. Всю ночь напролет жители гор в Тамба ловили по его приказу оленей и ланей. На другое утро он показал их Дэва, а после дом был отстроен заново.

И так безумно поступают люди благородного происхождения, лишенные тех добродетелей, какие должны быть им особенно присущи! Но когда-нибудь кара небесная их настигнет.

А я, принужденная отдавать себя за деньги мужчинам, которые были мне не по сердцу, все же не отдавала им себя до конца. Я прослыла жестокосердной, строптивой, и гости покинули меня. Я всегда оставалась в одиночестве и неприметно опустилась, уже не походила на таю и только вздыхала о своем былом блеске.

Отворачиваться от гостей хорошо, когда ты в моде и все тобой восторгаются. А когда посетителей не станет, то, кажется, любому обрадуешься: слуге, нищему, «заячьей губе»... Да, нет ничего на свете печальней, чем ремесло гетеры!

НАЛОЖНИЦА БОНЗЫ В ХРАМЕ МИРСКОЙ СУЕТЫ

— У отшельниц-чародеек был, говорят, особый дар воссоздавать свой прежний юный облик в малом виде.

В самую цветущую пору буддизма священники в храмах, не таясь от взоров людей, открыто содержали молодых служек. Я, хоть мне и было совестно, подбрила себе волосы на макушке, как делают молоденькие юноши, научилась говорить мужским голосом, переняла их повадки, даже надела фундоси. Не отличить от молодого человека! Верхний пояс тоже переменила: вместо широкого женского пояса повязала узкий. Когда я прицепила сбоку меч и кинжал, то с непривычки было очень тяжело, даже на ногах устоять трудно, и очень странно было ходить в мужском платье и шляпе. Я дала нести соломенные сандалии слуге с наклеенными усами и, расспросив, где в этом городе находится богатый храм, отправилась туда в сопровождении привычного к таким делам скомороха. Делая вид, что хочу полюбоваться вишневыми деревьями, я вошла в сад через ворота в земляной ограде. Скоморох пошел к скучающему от безделья настоятелю и что-то прошептал ему на ухо. Меня провели в покои для гостей. Скоморох представил меня святому отцу: «Это молодой ронин. Пока ему выпадет случай вновь поступить на военную службу, он может по временам развлекать вас. Прошу подарить его своей благосклонностью».

Священник спросонья пробормотал: «Ты спрашивала у меня вчера вечером, как приготовить снадобье для изгнания плода... Я узнал все, что нужно, у одного человека...»

Тут он очнулся и захлопнул рот самым потешным образом. Потом он опьянел от вина, а из кухни потянуло запахом скоромной пищи.

Мы условились, что за одну ночь он будет платить мне по две серебряных монеты. Повсюду в храмах всех восьми буддийских сект эта секта любви в большом ходу, ибо ни один бонза не хочет открыто, как говорится, «обрезать свои четки».

В конце концов я очень полюбилась настоятелю, и мы заключили договор, что я в течение трех лет буду его наложницей за три кана серебра.

Я немало потешалась, наблюдая обычаи этого храма мирской суеты. К моему возлюбленному собирались только его старые приятели бонзы. Они не постились в дни поминовения Будды и святых вероучителей, а шесть постных дней в месяце блюли особым образом. В то время как в их уставе говорится: «...а в прочие дни, помимо этих, дозволено...» — они именно в запретные дни обжирались мясным и рыбным, а любители женщин особенно охотно распутничали в «Домике Карна» на Третьем проспекте и в других подобных заведениях. Невольно кажется, что раз все бонзы так ведут себя, то, может быть, сам Будда благословил их на такие дела и нет им ни в чем запрета. Чем больше в наше время богатеют храмы, тем больше священники погрязают в распутстве. Днем они носят облачение священнослужителей, а ночью, как светские любезники, надевают хаори. В кельях своих устраивают тайники, где прячут женщин. Потайной ход ведет в погреб, а там узкое окошечко для света, сверху настлан плотный слой земли, стены толщиной в один сяку и более, чтобы ни один звук не проникал наружу. Днем бонзы скрывают своих наложниц в тайниках, а ночью ведут в свои спальни. Понятно, как тягостно такое заточение для женщины. И еще вдвойне более тягостно оттого, что она соглашается на него не ради любви, а только ради денег.

С тех пор как я вверилась мерзкому бонзе, он имел со мной дело и днем и ночью без отдыха и сроку. Скоро необыкновенность этой жизни мне прискучила, интерес новизны пропал, и я мало-помалу стала таять и сильно исхудала. Мой настоятель стал еще более безжалостен. Страшная мысль терзала меня, что, если я умру, меня так и зароют в этом подземелье.

Но потом, когда я пообвыкла, мое заключение уже не казалось мне ужасным. Я с нетерпением поджидала возвращения настоятеля с заупокойной службы и грустила, думая, что на заре он разлучится со мной для церемонии собирания костей на погре-

бальном костре. Его белое нижнее платье пропахло ладаном, но и этот запах, сообщавшийся моему собственному платью, стал мне мил и дорог.

Понемногу я перестала грустить. Я привыкла к звукам гонга и кимвала, хотя вначале затыкала уши, чтобы их не слышать. Напротив, они стали мне приятны. Запах сжигаемых трупов уже не был мне противен, и я стала радоваться, когда бывало много погребений, потому что храму был от этого хороший доход.

По вечерам, когда приходил продавец сакана, я готовила белое мясо молодых утят, суп из рыбы фугу, сугияки и другие тонкие кушанья, а чтобы запах не просачивался наружу, закрывала жаровню крышкой, потому что все же приходилось немного опасаться людского суда.

Даже маленькие служки в храме, привыкнув к распущенности, проносят потихоньку в рукавах сушеные иваси и жарят их, завернув в обрывки старой бумаги, на которой написано святое имя Будды. Так проводят бонзы свои дни! Нет ничего мудреного, что они лоснятся от жиру и на работу крепки. Подвижников, которые по-настоящему покидают этот мир и скрываются в горных дебрях, питаясь дикими плодами, или людей, что по бедности довольствуются лишь растительной пищей, можно сразу узнать: они становятся похожими на сухое дерево.

Я служила в этом храме с весны до осени. Вначале настоятель до того мне не доверял, что, уходя, всегда запирал дверь на замок, чтобы не сбежала, но постепенно стал небрежен, и мне удавалось заглядывать на кухню храма. Как-то неприметно я осмелела и не убегала, даже завидев прихожан.

Однажды под вечер, когда осенний ветер шумел в вершинах деревьев, срывая засохшие листья банановых пальм и кругом все было угрюмо, я вышла на бамбуковую веранду. В душу мне глубоко проникло чувство перемены, совершавшейся в природе, и я, положив голову на руку, словно на изголовье, хотела забыться. Но не успела еще я уснуть, как передо мной явилось странное видение: вошла неверным шагом старуха, на голове — ни одной черной пряди, лицо покрыто волнами морщин, руки и ноги — словно палочки для углей. Почти неслышный голос наполнял состраданием сердце.

«Я долгие годы живу в этом храме. Меня считают старой матерью настоятеля. Собой я не так уж дурна, но нарочно стараюсь выглядеть как можно безобразнее. Я старше настоятеля на целых двадцать лет. Стыдно мне в этом сознаться, но только для того, чтобы как-нибудь жить на свете, я тайно для всех стала его возлюбленной. Сколько обещаний он мне давал, а теперь говорит, что я слишком стара. Я покинута в тени забвения. Мне дают есть

только жертвенную пищу с алтаря. Настоятель пылает злобой против меня за то, что я все не могу умереть. Но не его жестокость больней всего ранит и наполняет гневом мое сердце. Ничего не зная о моей участи, ты теперь ведешь любовные речи с настоятелем на одном изголовье. Ты стала его возлюбленной недавно, всего в нынешнем году, но знай, что трудно тебе уйти от моей судьбы. И вот я усмирила в моем сердце яростное желание вцепиться в тебя зубами и решила все сказать тебе нынче ночью...»

Ее слова поразили меня в самое сердце. «Нет, в этом страшном месте нельзя мне дольше оставаться, надо бежать отсюда»,— решила я и вот какую придумала забавную уловку.

Я подложила вату под свое платье, чтобы казалось, будто у меня вырос живот, и сказала своему возлюбленному: «До сих пор я от тебя скрывала свою беременность, но больше нельзя мне молчать, срок родин уже близко».

Настоятель ужасно перепугался: «Поезжай скорей к себе в деревню, роди там благополучно и возвращайся назад».

Он собрал для меня деньги, скопленные им от мирских подаяний, и преподал тысячу наставлений насчет будущих родов.

В это время скончался какой-то ребенок, и родители, увлажняя слезами рукава, пожертвовали его платье в храм, говоря, что им отныне было бы слишком больно на него глядеть. Это платье настоятель отдал мне для новорожденного.

Он собрал все, что мог, не жалея, и дал не рожденному еще младенцу имя Исидзиё.

Мне так опостылел этот храм, что я больше не вернулась туда. И, хотя бонза понял, к своему большому огорчению, что его надули, он не посмел обратиться в суд.

КРАСАВИЦА—ПРИЧИНА МНОГИХ БЕД

— Игра в ножной мяч — забава мужчин, но однажды, когда я, исполняя должность служанки на посылках у одного знатного вельможи, побывала в загородном дворце госпожи в Асакуса, мне случилось увидеть, как женщины ее свиты играют в мяч. В саду расцветали азалии, и все вокруг рдело пурпуром: и цветы и шаровары играющих дам. Беззвучно ступая в особых сапожках, они заворачивали свои рукава возле ограды площадки и делали отличные удары мячом — «перелет через гору» или «прыжок над вишневым садом».

Я сама женщина, но никогда до того мне не приходилось видеть, чтобы женщины играли в мяч. Столичные дамы считали непозволительной забавой даже стрельбу из детского лука. Первой

ввела ее в обычай прекрасная Ян Гуй-фэй, и сейчас еще считается, что эта игра приличествует женщинам; однако с тех пор, как принц Сётоку впервые в нашей стране стал увеселять себя игрой в мяч, не было примера, чтобы ею забавлялись лица моего пола. Но госпожа моя, супруга правителя провинции, была своевольная причудница.

К вечеру сгустились сумерки, и ветер зашумел в вершинах деревьев. Мяч начал падать далеко от цели, интерес к игре пропал. Госпожа сбросила с себя одежду для игры, но вдруг лицо ее приняло какое-то странное выражение, словно она что-то вспомнила. Неизвестно было, чем развеять ее сумрачное настроение. Состоявшие при ее персоне дамы сразу притихли и боялись лишний раз пошевелиться.

Одна из них, фрейлина Касаи, льстивая и угодливая особа, много лет служившая в доме правителя, предложила, тряся головой и вздрагивая коленями: «Устроим нынче вечером опять сборище ревнивых женщин, пока не догорят высокие свечи».

Лицо госпожи мгновенно прояснилось, и она весело воскликнула: «Да, да, это мне и нужно!»

Старшая дама, фрейлина Ёсиока, дернула за шнурок, украшенный нарядной кистью, от колокольчика на галерее. Не только дамы, но и последние служанки на побегушках без церемоний уселись в круг, всего человек тридцать пять. И я тоже присоединилась к ним поглядеть, что будет.

Фрейлина Ёсиока приказала всем рассказать, что у кого на сердце, без утайки, чернить женщин из зависти, поносить мужчин из ревности. Рассказы о любовных невзгодах утешат госпожу. Некоторые подумали про себя, что это странная забава, но так как на то была воля госпожи, никто смеяться не посмел. После этого открыли дверь из дерева криптомерии, на которой была нарисована плакучая ива, и достали куклу — живой портрет красавицы. Наверно, сделал ее какой-нибудь знаменитый мастер. Она побеждала своей прелестью даже глядевших на нее женщин: такой нежный был у нее облик, а лицо — точно цветок вишни.

А потом все по очереди стали изливать свою душу. Была там одна прислужница, по имени Ивахаси-доно, до того уродливая, что один вид ее сулил злосчастье в доме, точно она была живым воплощением злого божества. При дневном свете любовные интриги были для нее немыслимы, а ночью тайные встречи у нее давно уже прекратились, так что в последнее время ей и в глаза не приходилось видеть мужчин. Она-то и поспешила начать свой рассказ раньше других.

«Я вышла замуж в своей родной деревне Тоти в провинции Ямато. Скоро мой негодник муж отправился в Нара, а там у

одного священника храма Касуга была дочь замечательной красоты. Он и повадился к ней ходить. Сердце мое волновалось ревностью, и я, спрятавшись возле ее дома, стала подслушивать. Вижу, девица эта приоткрыла калитку и впустила к себе мужчину. «У меня, говорит, вечером все брови чесались, это верный знак, что будет у нас с тобой радостная встреча». Без всякого стыда она склонилась к нему своим тонким станом... Я завопила: «Это мой муж!» — и вцепилась в нее своими покрытыми черной краской зубами».

И тут вдруг рассказчица стала терзать зубами куклу, так живо напоминавшую человека. До сих пор у меня перед глазами это ужасное зрелище. Я ничего не знаю страшнее!

С этого все и началось. Следующая женщина, не помня себя, извиваясь, выползла вперед и стала рассказывать:

«Годы своей юности я провела в городе Акаси провинции Харима. Племянницу мою выдали там замуж за человека, который оказался отъявленным распутником. Он не оставляет в покое даже самых последних служанок, и все женщины в доме клюют носом целые дни напролет. Племянница покорно сносит недостойное поведение своего мужа, находя ему всякие благовидные оправдания. В досаде на такую безропотность я решила сама взяться за дело. Каждую ночь я приходила к ним и, хорошенько все проверив, запирала дверь их спальни снаружи на задвижку. «Нынешней ночью волей-неволей, а будешь спать со своей женой!» — говорила я зятю каждый раз, но что хорошего вышло из этого? Племянница моя скоро совсем истаяла, ей стало тошно даже глядеть на мужчин. Стоит ей увидеть хоть одного, как она начинает трястись всем телом, словно с жизнью расстается. Хотя она и родилась в год огня и лошади и должна была бы причинить беду своему мужу, но вышло наоборот. Муж ее совсем извел. Вот этому-то неукротимому сластолюбцу и отдать бы эту негодяйку, пускай бы отправил ее поскорей на тот свет».— И с этими словами она, ударив куклу, сбила ее на землю и стала шуметь и бесноваться.

Была там одна прислужница, по имени Содэгаки-доно, родом из Кувана в провинции Исэ. Еще не будучи замужем, она была до того ревнива к чужой красоте, что запрещала служанкам даже причесываться перед зеркалом и белиться. Она нарочно брала себе в услужение только дурнушек. Об этом прошел слух, и никто не захотел ее в жены. Что же поделать! Пришлось и ей приехать из провинции в Эдо незамужней девицей.

«Ах наверно, такая красотка уж чересчур податлива, ей ничего не стоит по ночам принимать мужчин!» И она тоже стала терзать с досады ни в чем не повинную куклу.

Так каждая срывала свою злость на кукле, но ни одна не сумела угодить как следует своей ревнивой госпоже.

Когда очередь дошла до меня, я первым делом бросила куклу наземь, села на нее верхом и стала вопить: «Ты — простая наложница, а покорила сердце господина! Законную жену — в сторону, а сама спишь с ним до позднего утра, сколько душе хочется? Этого я тебе не спущу!» И я стала гневно таращить на нее глаза и скрипеть зубами, как будто ненависть прожгла меня до самого мозга костей.

Я угадала самые заветные мысли своей госпожи.

— Все верно! Все верно! Князь, забыв меня, вывез из провинции одну красотку. Я невыразимо страдаю, а ему и дела нет, точно нет меня на свете. Печали женского сердца бесполезно изливать в пустых словах. Я приказала сделать куклу, похожую на эту негодяйку, и вот так я ее терзаю!

И не успела госпожа кончить своих слов,— о, чудо! — кукла открыла глаза, протянула вперед свои руки, обвела всех взором и встала на ноги.

Никто не остался смотреть, что будет дальше, все кинулись врассыпную, не чуя ног под собой. Кукла вцепилась в подол госпожи. Еле-еле госпоже удалось вырваться и спастись.

С той поры напал на нее недуг. Она стала бессвязно бормотать что-то жуткое. Домашние решили: «Всему причиной эта кукла. Если оставить ее, госпожа не избавится от тревоги. Спалить, и делу конец!»

Порешив так, сожгли куклу в самом дальнем углу сада и пепел весь без остатка в землю зарыли. Но скоро все стали бояться этой могилы. Каждую ночь из нее доносились жалобы и стоны. Пошли об этом толки и пересуды, и наконец дело дошло до ушей самого князя, который жил в ту пору в другом малом дворце.

Князь, пораженный изумлением, решил узнать правду и созвал к себе всех домашних вплоть до последних служанок. Делать нечего. Повинуясь долгу службы, явилась и я перед княжеские очи и доложила без утайки, как дело было. Когда я, рассказывая о сборище ревнивых сплетниц, дошла до того, как ожила кукла, то все присутствовавшие вассалы князя от удивления всплеснули руками.

«Какие отвратительные мысли бывают у женщин! Несомненно, ненависть госпожи так велика, что она поразит проклятьем девушку, и жизнь несчастной долго не продлится. Расскажите ей обо всем и отошлите на родину!» — приказал князь.

Явившись по зову, девушка грациозно опустилась на колени. Она была во много раз красивее куклы. Я немного горжусь своим

лицом, но даже и я, женщина, была ослеплена ее прелестью. Как ужасно, что такая несравненная красавица могла бы погибнуть из-за злого нрава госпожи, пораженная проклятием ее ревности.

Князя это, видно, тоже устрашило. С той поры он перестал посещать покои госпожи, и ей при жизни мужа выпала участь вдовы.

После всех этих событий служба моя мне опротивела, я попросила отпустить меня и вновь вернулась в Камигата с намерением постричься в монахини.

Отсюда видно, как страшна ревность. Это один из тех пороков, которых женщинам надлежит более всего избегать.

ЗОЛОЧЕНЫЙ ШНУР ДЛЯ ПРИЧЕСКИ

— Черные как вороново крыло волосы падают в беспорядке. В беспорядке разбросаны ларец и светлое зеркало. Взглянешь на нее, неубранную, в туалетной комнате, и скажешь: «Да, правду говорят, что женская красота — это прежде всего прическа».

Я понемногу научилась красиво убирать волосы, могла сделать по моде «висячий шиньон» и «сплошной шиньон», и потому меня пригласили на службу в один знатный дом причесывать госпожу.

Вкусы изменчивы: высокая прическа «хёго» нынче вышла из моды, а «пятиярусный узел» кажется безобразным.

В старину скромность считалась украшением каждой порядочной женщины, а теперь даже молодые невестки одеваются слишком смело, подражая гетерам и актеркам. Раструбы рукавов у них шире, чем у мужчин. Походка — как у женщин веселого поведения: идут не сгибаясь, подбрасывая ногами подол. Заботясь только о том, чтобы получше выглядеть, сами на себя становятся не похожи.

Какие только ухищрения не придумывают наши модницы: прячут от чужого взора родимое пятно на щеке; скрывают под длинным подолом толстые щиколотки; складывают бантиком широкий рот, боясь слово вымолвить, даже когда очень хочется.

Их спутники жизни, покривившись немного, мирятся с этим: «Что поделать! Нынче свет уж таков!»

А когда есть на выбор две невесты, то всегда побеждает самая смазливая.

Редко бывает, чтобы невеста обладала сразу всеми девятью достоинствами, но с каких это пор повелось, выдавая замуж девушку довольно привлекательной наружности, давать за ней при-

даное? Что может быть глупее? Следовало бы, наоборот, брать деньги от жениха соответственно красоте девушки.

Я условилась, что буду получать на новой службе восемьдесят моммэ серебра в год и сверх того платья для всех четырех времен года.

Рано утром на второй день второго месяца я впервые явилась в господский дом. Хозяйка еще принимала утреннюю ванну. Скоро меня позвали к ней в гардеробную.

На вид госпоже и двадцати лет не было, нежная, деликатного сложения, красавица такая, что второй подобной на свете не сыщешь. Я женщина, и то была покорена. Она стала ласково со мной беседовать, а под конец сказала:

«Есть у меня на сердце одно горе, такого рода, что никому о нем и сказать нельзя. Я держу его от всех в секрете и прошу тебя, напиши, что ты не выдашь мою тайну, на бумаге для клятв с именами богов».

Я не могла догадаться, о чем пойдет речь, но раз госпожа, доверившись мне, обратилась с такой просьбой, то нельзя же ослушаться. Повинуясь приказу, я взяла кисть и бумагу для клятв и написала на ней обещание хранить тайну, а сама в душе молилась: «Если не будет у меня постоянного друга, то дозвольте мне, боги и Будды, хоть мимолетную любовь».

«Теперь я расскажу тебе о моей беде. Я не уступаю другим красотой лица, но волосы у меня, на мое горе, редкие и плохие. Вот взгляни сама! — И она распустила свой шиньон. Фальшивая накладка выпала.— Собственных волос у меня круглым счетом с десяток, словно у лысого старика».

От сердечного огорчения госпожа увлажнила слезами свои рукава.

«Вот уже четыре года, как я вступила в любовный союз с господином этого дома. Если случится ему иногда вернуться домой слишком поздно,— «уж это недаром!» — сержусь я и, отодвинув подальше свое изголовье, притворяюсь спящей. Хороший повод для притворной размолвки и любовной игры, но в душе моей страх: ведь если ненароком мои волосы растреплются, то — прощай любовь! Как это мне горько! Долгие годы скрываю я свою беду от всего света. Боже тебя сохрани о ней проболтаться! Женщины должны стоять друг за друга». И она подарила мне с своих плеч косодэ, сплошь расшитое золотом и серебром.

Узнав о печальной тайне моей госпожи, я пожалела ее от всей души. Следуя за ней повсюду, как тень, я при помощи бесчисленных ухищрений умела скрыть ее недостаток от чужих глаз.

Но с течением времени в сердце госпожи вселилась беспричинная ревность. Она позавидовала моим прекрасным от природы

волосам и приказала мне их остричь. Жалко мне их было, но что поделать,— хозяйской воли нельзя ослушаться.

«Но ведь они скоро отрастут. Повыдергай себе волосы так, чтобы лоб у тебя оплешивел»,— приказала тогда госпожа.

Какое бессердечие! Я попросила расчет, но госпожа не захотела меня отпустить, а изводила злыми словами с утра до позднего вечера.

Я совсем исхудала и, возненавидев свою госпожу, задумала недоброе. Мне хотелось, чтобы господин увидел, какие у ней волосы, и разлюбил ее.

Я так приучила кошку играть по ночам с моими волосами, что она каждый вечер стала вскакивать мне на плечи.

Однажды в позднюю пору уныло лил дождь, и господин мой в обществе женщин с удовольствием слушал игру на кото. А я, улучив минутку, натравила кошку на госпожу. Кошка немилосердно вцепилась ей в волосы. Посыпались шпильки, выпала фальшивая накладка... Все тайное стало явным взору, и любовь, которая пять лет жила в сердце господина, исчезла в единый миг!

Красивое лицо госпожи изменилось от стыда и горя, она набросила себе на голову покрывало и погрузилась в печаль. С тех пор господин охладел к ней и вскоре, придравшись к какому-то пустячному поводу, отослал назад на родину. А я, улучив удобную минуту, прибрала хозяина к рукам.

Как-то вечером, когда дождь лил не переставая и поблизости никого, кроме нас двоих, не было, господин спал в гостиной, положив голову на край токонома, как на изголовье.

«Вот самое время добиться победы!» — решила я и, хотя он и не думал меня звать, нарочно откликнулась: «Иду! Иду!»

Я подошла к нему и разбудила его:

«Вы звали меня? Что изволите приказать?» — «Я не звал».— «Ах, значит, я ослышалась!»

Но я и не подумала уйти, притворившись простушкой, не знающей приличий. Закрыла его ноги одеялом, подложила под голову подушку... «Нет ли здесь людей?» — спросил он. «Сейчас как раз ни души». И не успел он взять меня за руку, как я забрала его в свои руки.

ПРИЗЫВНЫЕ КРИКИ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ НОЧЬЮ

— Я испробовала уже все должности, какие были только для меня доступны. Волны морщин побежали у меня по лицу, и я снова вернулась к морю любви — веселому кварталу Симмати в стране Цу. Так как я прежде в нем служила и хорошо его знала,

то я воззвала к состраданию своих старинных друзей и получила должность управительницы в доме любви.

Какая пропасть отделяла меня от прежних дней! Невольно становилось стыдно.

Для управительницы положен особый паряд, сразу ее узнаешь. Носит она светло-красный передник, не особенно широкий пояс повязан на левом боку. При ней всегда множество ключей. Оттого что ей приходится все время совать себе руку за пазуху, где лежат деньги, подол ее платья всегда сзади короче. Голову она обычно повязывает полотенцем.

Ходит управительница беззвучно, крадучись, с лица у нее не сходит нарочито суровое выражение. Ее боятся больше, чем можно было бы ожидать. Опытная старуха наставляет на ум молодых таю и даже самых недогадливых за короткое время сумеет отшлифовать так, что они будут иметь успех у гостей. Она заставляет девушек работать без отдыха.

Благодаря ее стараниям они начинают приносить хозяевам хороший доход.

Я знала до тонкости чувства дзёро и быстро открывала их тайные шашни с дружками. Ну и доставалось же им от меня! Даже таю меня боялись, да и гости жалели девушек и, не дожидаясь дней, когда принято делать подарки, давали мне по два бу с человека. Так дают черту шесть грошей при переправе через адскую реку. Но нельзя долго творить зло другим людям.

Меня так все возненавидели, что мне стало тягостно там оставаться. Я покинула должность управительницы и поселилась на далекой окраине города, в Тамацукури, где стоят только жалкие домишки. В них даже лавок нет.

Я поселилась в хибарке на задворках, куда пускали жильцов. Там было так пустынно, что среди белого дня носились летучие мыши.

У меня не оставалось никаких сбережений, и мне быстро пришлось распродать свои немногие наряды. Я не могла купить себе даже топлива и сожгла все полки в комнате. Вечером пила один кипяток. Чтобы как-нибудь утолить голод, мне оставалось только грызть жареные бобы.

Когда ночью во время грозы раздавался громовой раскат, заставлявший трепетать всех остальных людей, я молила бога грома: «О, если ты не лишен сострадания, лети ко мне, схвати меня и убей! Жизнь мне в тягость. Опостылел мне этот бренный мир!»

Я уже считала себе шестьдесят пять лет от роду, но люди уверяли, что на первый взгляд можно дать мне лет сорок с небольшим. Женщины маленького роста с тонкой кожей лица долго выглядят моложавыми. Но меня это не особенно радовало.

Однажды, перебирая в памяти греховные приключения своей молодости, я выглянула из окошка, и что же я увидела!

Под окном толпилось множество младенцев. На голове у них были надеты шапочки из листьев лотоса, а ниже пояса они были измазаны кровью. Счетом их было девяносто пять или шесть, и все они, плача, еле внятно лепетали: «Посади на спину!»

Ах, это, верно, те самые убумэ, о которых ходит столько страшных рассказов!

Я в ужасе глядела на них, а они стали хором упрекать меня: «О, жестокая бессердечная мать!»

«Так это, значит, дети, которых я в свое время выкинула,— с душевной болью подумала я.— О, если бы я благополучно вырастила своих детей, у меня сейчас была бы семья, многочисленнее клана Вада! Какое это было бы счастье!» — вспоминала я с тоской и раскаянием о невозвратном прошлом. Скоро призраки стали таять и исчезли бесследно.

Потрясенная до глубины души, я решила немедля положить конец своей жизни... Но увы! Настал рассвет, а я, к своему горю, все не в силах была проститься с этим миром...

Вдруг за стеной послышались голоса. Я прислушалась. Это разговаривали между собой три женщины, ютившиеся в одном со мной доме. Всем им было на вид лет под пятьдесят. Спали они по утрам допоздна, а чем жили, неизвестно. Из любопытства я наблюдала за ними. По утрам и вечерам они любили лакомиться больше, чем позволяло им их скромное положение. Покупали морскую рыбу, которую привозят из Сакаи. Выпить небольшую мерку вина им было нипочем.

Наговорившись досыта о том, как трудно жить на свете, женщины стали болтать о нарядах. На Новый год они решили сшить себе платья цвета светлого яичного желтка, на подкладке сделать цветной узор так, чтобы просвечивал насквозь: парусные корабли и круглые китайские веера. Пояса закатят себе такие, чтобы и ночью бросались в глаза: на фоне мышиного цвета будет рисунок, как на свитке, который развертывается справа налево.

Еще до Нового года было далеко, а они уже обсуждали праздничные наряды. Видно, в деньгах у них недостатка не было.

После ужина они наряжались, густо покрывали лицо дешевой пудрой, тушью для письма обводили края лба, где растут волосы, красили губы, заботились и о красоте шеи. Старательно забеливали морщины на груди до самых сосков. При помощи накладных волос сооружали из своих поредевших прядей прическу, туго перевязывали ее посредине потайным шнуром, а поверх еще одним, широким. Надевали темно-синее платье с очень длинными рукавами. Пояс из белой бумажной ткани повязывали

сзади. На ноги обували носки из толстых ниток и соломенные сандалии. За пазухой листки дешевой ханагами, переработанной из старья. Шнурками от косимаки заодно подвязывали и пояс для живота.

Весь день они ждали наступления вечера, когда лица людей неясно видны в сгущающемся сумраке. И тогда трое здоровенных молодцов, так называемые «быки», в хаори, узких штанах и ноговицах, с головой, обвязанной платком так, что видны одни глаза, или в низко нахлобученных длинных капюшонах вооружались толстыми палками, брали с собой свернутые в трубку циновки и звали женщин: «Ну, теперь пора!» И женщины выходили из дому в сопровождении этих молодцов.

По соседству с нами жил ремесленник с женой, который кормился тем, что изготовлял застежки для дождевых плащей. Под вечер жена его убиралась и красилась, а потом они раздавали сладкие пирожки своим пяти маленьким дочерям:

— Папа с мамой уходят по делу, будьте умными, хорошенько стерегите дом.

Отец брал на руки самого маленького двухлетнего ребенка, а мать набрасывала себе на голову старый холщовый халат, и они убегали потихоньку, чтобы соседи не заметили. Трудно было догадаться, в чем тут дело.

На рассвете женщины возвращались совсем не такими, какими ушли вечером, трепаные и измятые, пошатываясь и тяжело дыша. Чтобы подкрепиться, они пили кипяток с солью и торопливо глотали жидкую рисовую кашу. Потом на скорую руку мылись и отпускали свои туго перетянутые груди.

Из рукавов своих провожатых доставали пригоршни мон и, подсчитав на глаз выручку, из каждых десяти мон половину отдавали этим молодцам.

Потом все собирались вместе и рассказывали о том, что с ними было.

«Этой ночью, к моему несчастью, мне не попался ни один мужчина с листками бумаги за пазухой...»

«А мне попадались только молодые люди в самом расцвете сил. Когда я встретилась с сорок шестым, то думала, что мне придет конец. Я уже совсем изнемогала, но ведь нет предела человеческой жадности! Я опять принялась бродить, и мне повезло. После этого меня приглашали еще человек семь или восемь».

Другая женщина вдруг засмеялась про себя, не говоря ни слова. Все стали ее спрашивать: «Ты о чем?»

«Ну и попала же я впросак прошлой ночью! Выйдя из дому, я пошла своей обычной дорогой и решила подождать на зеленном

рынке в Тэмма, чтобы туда приехали крестьянские лодки с овощами.

И вдруг вижу юношу лет всего шестнадцати — семнадцати. Кажется, он был третьим сыном деревенского старосты. У него даже еще были не пробриты углы на лбу. Простой деревенский молодчик, но очень хорош собой, с такими приятными манерами. Женщины были ему внове, и он прихватил с собой своего односельчанина, а тот взялся выбирать красотку с видом знатока: «Дадим десять мон, как водится, и подарочек».

Но юноша не в силах был дожидаться, пока его приятель выберет. «Вот эта девочка мне нравится»,— ухватился он за меня и потащил в свою лодчонку, где волны служили нам подушкой. После того как он много раз слился со мной, мальчик стал ласково своей нежной рукой гладить мне бока: «Сколько тебе лет?»

Мне стало стыдно, и я тихо отвечала ему тонким голоском: «Семнадцать».— «Ах, вот как! — обрадовался он.— Мы, выходит, однолетки».

Ночь была темная, и мне удалось скрыть от него свое лицо. Ведь мне уже пятьдесят девять исполнилось, а ему сказала — семнадцать, значит, утаила сорок два года. На том свете меня черти за язык потянут. Но не осуждайте меня за эту ложь, надо же мне кормиться.

После этого я забрела на улицу Нагамати и попробовала счастья на постоялом дворе, где останавливаются паломники. Человек пять гостей собралось там на молитву. Я вошла в комнату, освещенную ярким огнем, отвернув в сторону свое лицо. На всех точно столбняк напал, никто не отозвался. Даже им, простым деревенщинам, я в мои годы пришлась не по вкусу. Не выразить словами, какую душевную боль я почувствовала в эту минуту. «Может быть, кто-нибудь из вас хочет развлечься? На ночь особо, а если ненадолго, то я спешу...»

При этих словах они еще больше съежились с испуганным видом.

Но бывший там старик почтенного вида вежливо прикоснулся к полу тремя пальцами и сказал: «Дзёро, не огорчайся! Молодые люди испугались оттого, что слышали, будто одна старая кошка с двумя хвостами оборотилась в старуху. Мы совершаем паломничество в тридцать три храма, чтобы заслужить себе за гробом райское блаженство. По молодости лет мои спутники одержимы страстью к женщине и потому, наверно, позвали тебя. Это большой грех против богини Каннон. Я же не питаю к тебе ни любви, ни ненависти, но иди от нас поскорее восвояси».

Я ужасно рассердилась. Возвращаться назад с пустыми руками — прямой убыток! Пошарила по двору, и стащила из того,

что плохо лежало, шляпу кага, вместо тех десяти мон, которые я могла бы заработать». Так закончила эта женщина свой рассказ.

«Но ведь недаром говорят: юные прекрасны, как цветы. А есть и среди нас немало молоденьких. Есть такие красивые, что по виду можно вполне принять их за тэндзин. До чего же им не повезло, если они стали уличными женщинами! В нашем ремесле нет верхнего, среднего и низшего разрядов, все равны, всем платят по десять мон. И выходит, что красивая наружность ни к чему, зря пропадает. Ах, попасть бы в такую страну, где никогда не бывает лунных ночей!»

Странное пожелание!

Выслушав внимательно их рассказы, я подумала:

«Вот оно что! Так они, наверно, те самые «сока», что хватают ночью за рукава прохожих на перекрестках улиц. Положим, они делают это для того, чтобы не умереть с голода, но все равно в их годы это страшный грех!» Так я осуждала их.

«Умру с голоду, и кончено дело»,— думала я, но не тут-то было. Тяжело расставаться даже с опостылевшей вконец жизнью.

Одна из моих соседок по лачуге, старуха лет семидесяти с лишком от роду, жаловалась, не умолкая, что уже на ногах не в силах стоять и не может добыть себе самое скудное пропитание. Она стала меня уговаривать:

«С твоей красотой смешно умирать с голоду. Непременно иди ночью на промысел, как другие».— «Ах, кто меня возьмет, в мои-то годы!»

Старуха вся залилась румянцем: «Что ты! Да если б я только могла стоять на ногах, я бы вплела в свои седые пряди фальшивые волосы и придала бы себе вид почтенной вдовы. Я бы ловко еще надула кого-нибудь! Да вся беда в том, что я уже еле хожу. А ты иди, иди, не бойся!»

Понемногу я поддалась на ее уговоры. Все лучше, чем умирать голодной смертью.

«Что ж, пойду попробую. Но только в таких лохмотьях ничего у меня не выйдет».— «Этому горю легко помочь».— И она сейчас же привела ко мне человека почтенного вида. Старик посмотрел на меня и охотно согласился: «В самом деле, в темноте она может заработать деньги».

Он сходил к себе домой и принес узел. Там оказалось платье с длинными рукавами, пояс, косимаки, пара носков из бумажной материи... Все это он дал мне в долг и за износ назначил плату. За холщовый халат на вате — в ночь три бу, за пояс — один бу пять рин, за косимаки и пару носков по одному бу. В дождливые ночи за зонтик надо было платить двенадцать мон, за пару

лакированных сандалий — пять мон. Ни в чем не было недостатка. Старик принес мне все, что только могло бы понадобиться.

В самое короткое время я нарядилась не хуже других и стала приглядываться и прислушиваться к повадкам уличных женщин.

Попробовала спеть призывную песенку «Ночное платье милого», но мой старческий голос прозвучал так неприятно, что я попросила «быка» женским голоском зазывать мужчин.

Снежной ночью побрела я через мосты. Сколько ни говори себе, что надо как-нибудь кормиться, но все же тяжело мне было!

В наше время люди стали уж очень умны, хотя речь идет всего о каких-то десяти грошах. Поджидают на улице, не покажется ли прохожий с фонарем, и при свете фонаря вглядываются в лицо женщины пристальней, чем богач, выбирающий себе таю. А то еще поведут к сторожке, где висит фонарь. Подходят со строгим выбором к пустой забаве, не так, как в старину бывало. Даже в ночной темноте, на самое короткое время и то не нанимают старую, дурную собой женщину. Говорят, в мире на тысячу зрячих — тысяча слепцов, но нынче всюду одни только зрячие, слепцов что-то не видно.

Наконец начал брезжить рассвет. Колокол пробил восемь или семь ударов. Мне хотелось домой, но надо было еще попытаться, и я бродила повсюду, пока не послышался звон бубенцов.

Это выходили на работу погонщики, а там кузнецы и продавцы тофу стали открывать свои лавки.

Потому ли, что я была слишком безобразна или я не знала, как взяться за дело, но не нашлось никого, кто пожелал бы меня.

Я решила, что больше не гожусь для любви, и навсегда рассталась с этим поприщем.

ВСЕ ПЯТЬСОТ АРХАТОВ ПОХОЖИ НА ПРЕЖНИХ ВОЗЛЮБЛЕННЫХ

— Деревья на горах заснули глубоким сном, и ветки вишен тоже скрыты под покровом снега в вечернем сумраке, но они ждут своего пробуждения на весенней заре. И только люди, старея, уже не возродятся вновь, и потому нет им ни в чем радости. Но всего тяжелее мне было думать о своем позорном прошлом.

О, лишь бы только найти спасение в будущей жизни! Я снова вернулась в столицу и посетила храм Дайундзи — воплощенный рай на земле. Душа моя исполнилась благочестия. Призывая имя Будды, я увидела на обратном пути от главного храма святилище с изображением пятисот архатов — учеников Будды.

Я остановилась поглядеть на них. У всех этих святых — какой только резчик по дереву их так искусно сделал? — были самые разнообразные лица. Молва говорила, что среди них непременно увидишь образ того, о ком думаешь. Что ж, может быть! Я стала внимательно в них всматриваться.

В самом деле, правда! Все они оказались верными подобиями тех мужчин, с которыми я когда-то делила ложе в мои цветущие годы.

Вон тот — вылитый Ёси-сама с улицы Тёдзямати. В бытность мою гетерой я обменялась с ним нерушимыми клятвами и в доказательство своей любви чертила знаки его имени тушью на самом запястье руки.

На меня нахлынули воспоминания о тех днях. Гляжу, а святой, сидящий в тени скалы, точь-в-точь мой прежний господин, у которого я служила в Верхней части Киото. У меня с ним были любовные дела, и я долго не могла его забыть.

Перевела взгляд в другую сторону, а там изваяние, до мельчайших подробностей похоже на Гохэя-доно, с которым я как-то жила одним домом, даже нос такой же вздернутый. Мы долгое время пробыли вместе, искренне любя друг друга, и потому он был мне особенно дорог.

А там какой-то пузан в светло-синем платье, спущенном с одного плеча. Кто бы это мог быть? — старалась я припомнить. Ну да, конечно! Когда я служила в Эдо, он тайно посещал меня шесть раз в месяц, в дни поста. Это Данхэй с улицы Кодзимати.

Вот в глубине на груде камней сидит белолицый святой. Кто этот красивый мужчина? Вспомнила! Актер с улицы Сидзёгавара. Он был из молодых учеников. Когда я служила в чайном домике, он впервые со мною познал женщину. Исчерпав все ухищрения любви, юноша истаял телесно и погиб ранней смертью. Так гаснет огонек в фонаре. Двадцати четырех лет он был погребен на кладбище Торибэно. У этой статуи были такие же впалые щеки, провалившиеся глаза.

Был там еще один святой, усатый, краснолицый и лысый. Не будь у него усов, он был бы как две капли воды похож на того настоятеля, у которого я столько натерпелась в тайнике храма. Как я ни привыкла к развратной жизни, но таких мучений, как от этого бонзы, мне еще испытать не доводилось. Он не отличал дня от ночи. Я считала этого бонзу своим злейшим врагом, но есть предел человеческой жизни. И этот неукротимый силач тоже обратился в дым на погребальном костре.

А вон тот, под облетевшим деревом, мужчина со смышленым выражением лица,— волосы над выпуклым лбом, как видно, подбриты им самим,— он точно хочет заговорить. Кажется, руки и

ноги у него вот-вот начнут двигаться. Чем больше я на него смотрела, тем больше открывала в нем сходство с одним из своих возлюбленных. Когда я была гулящей монахиней в Осака, среди разных гостей, ходивших ко мне каждый день, был один хранитель склада для зерна, привозимого из Западных провинций. Он так глубоко полюбил, что готов был ради меня расстаться с жизнью. «Никогда не забуду ничего, что делил с тобой: ни печалей, ни радостей...»

Он дарил мне то, что люди больше всего жалеют на свете: золото и серебро, и платил за меня старой монахине, у которой я была в подчинении.

Я застыла на месте, разглядывая пятьсот святых, и в каждом из них узнавала черты одного из моих любовников. Одно за другим вставали передо мной воспоминания о моих прошлых грехах. Увы, нет ничего ужасней жизни продажной женщины, это я узнала на собственном опыте. За мой век у меня были тысячи любовников, а я дожила до глубокой старости. Как это постыдно, как презренно!

Мне казалось, что в груди у меня грохочет огненная колесница ада, из глаз брызнули слезы, горячие, как кипяток... Душа во мне померкла. Забыв, что я нахожусь в храме, я рухнула наземь. Ко мне сбежалась толпа монахов. Как раз в это время раздался звон вечернего колокола. Он заставил меня очнуться.

«Что с тобой, старица, о чем ты так скорбишь? Почему льешь слезы? Уж не увидела ли ты среди этих учеников Будды кого-нибудь, кто напомнил тебе сына, раньше тебя покинувшего мир, или, может быть, супруга?» — ласково стали спрашивать меня монахи.

Не ответив им ни единого слова, я торопливо выбежала за ворота, но в этот миг я постигла самое важное в мире. Мне открылась правда слов поэта:

«Возле трав прибрежных на погосте
В груду пепла обратились кости.
На холме, под соснами густыми,
От него осталось только имя».

Я пришла к подножию горы, с которой падает Гремящий водопад, но у меня не было возможности проникнуть в глубь гор, где подвижники ищут спасения. Я отвязала канат с кормы ладьи, носившей меня по морю житейских треволнений, и молила только, чтобы она вынесла меня на берег по ту сторону жизни.

Не помня себя, я бросилась к пруду, находившемуся неподалеку от тех мест, чтобы утопиться, но меня удержал один мой старый знакомый, случайно встретившийся мне по дороге. Он

построил для меня хижину, покрыв ее листьями травы, как вы можете видеть это сами.

«Лучше жди, когда смерть сама к тебе придет. Оставь неправедный путь и, обновив свое сердце, иди по пути Будды»,— стал он уговаривать меня.

Я вняла его благому совету и с тех пор всей душой предалась молитвам в этой хижине.

Ваше необычное посещение смутило мой душевный покой, вино затуманило голову. Век человеческий недолог, а я рассказала вам о нем длинную-длинную повесть. Это греховный поступок.

Но так и быть! Пусть эта повесть будет моей исповедью в прошлых грехах, чтобы рассеялись черные тучи в моем сердце и оно засияло чистым светом луны, чтобы радостной была для вас эта весенняя ночь. Я прожила всю свою жизнь одиноко, без семьи, что пользы мне что-нибудь скрывать?

Я поведала вам всю правду о том, как я жила, пока лотос не раскрыл свои лепестки в моем сердце. И пусть даже жизнь моя текла нечистым потоком, но разве может теперь рассказ о ней замутить мою душу?

ИЗ «ДВАДЦАТИ РАССКАЗОВ О НЕПОЧТИТЕЛЬНЫХ ДЕТЯХ В НАШЕЙ СТРАНЕ»

ПОДСЧИТАЛИ—ПРОСЛЕЗИЛИСЬ БЫ, ДА НЕКОМУ

У бедняков всегда растет персик. Ведь растет он быстро, и прибыток дает скорый. Не оттого ли на скудной земле Фусими, что в краю Ямасиро, так много персиковых садов?

Вот и теперь они в полном цвету.

А когда-то, в далекую старину, в деревеньке Черный цвет, вблизи Фусими, цвели вишни, и даже горожане съезжались туда и сетовали, когда наступивший вечер скрывал это зрелище. Не только пьяницы, но и трезвенники провожали там чаркой уходящую весну, каждый день приезжали все новые люди, но пили-то они в тени одних и те же деревьев, а где пьют, там и льют, и хотя пролитой водки было куда меньше, чем росы, но она скопилась в подземный источник, подтекла под корни, и злосчастные вишни засохли, осталось от них одно лишь название: Черный цвет — будто по слову поэта. Что же до источника Черный цвет, то был он в тамошнем вишневом саду, и воду из него брали для чая самого князя Хидэёси. Наши времена — не то что прежние, по столичному трак-

ту нарыли колодцев, всюду строят и строят, в свой черед и эти места пришли в упадок.

В тех краях жил в своей ветхой хижине некто Жаровня Бунскэ. Пробавлялся он тем, что мастерил бамбуковые веники, жил кое-как, не имея одежды, чтобы прикрыть тело от вечернего ветра, греясь у костра в морозные ночи, и звали его не по имени, а по прозвищу: Жаровня.

Сколь это ни печально, даже в канун Нового года не готовились у него праздничные лепешки, не украшался вход сосновыми ветками, под навесом для дров было хоть шаром покати, в кадке для риса ни зернышка, ничего у него не было, и оставалось ему только сокрушаться, что не может он, как все люди, делать новогодние подарки одеждой и угощаться сушеной рыбкой из Танго. И сам он, и супруга его были уже в летах, и не видели они спасения от этой нужды. Ведь до того жалко было их положение, что дети их не наедались досыта в новогодние праздники.

Бытие наше ненадежно, и это весьма прискорбно. Несколько лет в этой деревне выращивали так называемый ранний персик, от самой весны, когда распускались цветы на ветвях, ждали и не могли дождаться начала осени, а с появлением плодов сразу же доставляли их в столицу во фруктовые лавки на Хигураси и получали хорошую прибыль. Так сколько-то лет с легким сердцем справляли новогодние праздники, и вдруг однажды двадцать третьего числа восьмого месяца случился ураган и повыдергивал с корнем все деревья! В особенную досаду был также недород. Можно сказать, всем людям доставалось одинаково, но только семейству Бунскэ стало наконец совсем худо. От крыши его дома уцелели одни стропила, и когда зарядили осенние дожди, им всем пятерым — родителям и детям — пришлось забраться в большой сундук, который каким-то чудом не успели продать, и накрыться крышкой, подперев ее по углам деревянными изголовьями, чтобы не задохнуться. Так они и сидели там на корточках, воздыхая тяжко: «Блуждаем во мраке бренного мира, и как же тосклива жизнь наша!»

Дом был собственный, но покупателя на него не находилось, а отдавать четыре стены задаром было жалко. В очень уж невыгодном месте он стоял, и Бунскэ жаловался: «Мне бы за него хоть пятьдесят, а то и тридцать грошей на водку выручить, я бы его отдал. Вот если бы стоял он на пристани Кёбаси, я бы взял за него все шесть каммэ и то бы продешевил, а так мне что здесь, что в любой другой деревне — всё едино». При всем том, сетуя на долю свою, он не оставлял надежду на будущее и упрямо твердил: «Вот ужо сёгун в столицу пожалует. Дождусь, нипочем дом не брошу!»

Было у него трое детей. Первенца-сынка звали Бунтадзаэмон, и в год, о котором идет рассказ, ему исполнилось двадцать семь. Огромный, долговязый был мужчина, с бакенбардами от рождения, со сверкающими глазами. Вечно он ухмылялся, но ликом был пострашнее, чем иной во время драки. Сложения был мощного, и ему бы родителей содержать, зарабатывая хотя бы грузчиком. Но наружность у него была столь устрашающая, что деньги он добывал просто грубым вымогательством, шатаясь по игорным притонам.

И всегда он был злодеем. Раз вечером, в свое шестнадцатое лето, он велел младшей сестренке, чтобы обмахивала его веером. Той было всего семь лет, в пальцах никакой силы, и он за то, что-де машет без усердия, ухватил ее за шею и швырнул на пол. Она грянулась о случившийся тут же жернов, обмерла, бедняжка, душа в ней затрепетала, и она в одночасье скончалась. Горю матери не было конца, она припала к мертвому телу и хотела уже покончить с собой, но тут меньшая дочка, пяти лет от роду, учуяла детским сердцем новую беду и, вцепившись с мольбой в ее рукав, горько расплакалась. Мать остановилась в нерешительности, стала думать, что будет с дитятей, а тем временем сошлись соседи и спросили, как же это случилось. «Смертный час моей дочери наступил по оплошности,— ответила она.— Горю ничем не поможешь». Поспешно устроили похороны, и дело до огласки не допустили.

В двадцать семь лет Бунтадзаэмон спутался с чужой женой и повадился всякий вечер бегать к ней в деревню Такэда. Проведав об этом, мать стала ему говорить: «Жизнь твоя на волоске». Он же, вернувшись однажды под утро домой, столь сильно ударил ее ногой, что свернул ей поясницу, и с тех пор она уже не могла ни встать, ни сесть. По счастью, к тому времени младшая дочь уже подросла и ревностно исполняла свой дочерний долг, так что было кому подать бессчастной калеке горячего чая.

Трудиться он предоставлял отцу, сам же спал в свое удовольствие и никогда не видел цветов утренней зари. «Эх, папаша,— говаривал он небрежно.— Жизнь наша подобна росе — есть она, и вдруг ее не стало». Все люди, ненавидя и презирая его, указывали на него пальцем и говорили: «Вот непокорный воле Неба!» — однако сделать ничего не могли.

Сама злая судьбина определила такие отношения между сыном и родителями, но все же пребывать под одной крышей с этаким злодеем, да еще влачить свое существование совершенно впроголодь было для них далее невозможно, ни единого дня больше не хотели они жить на этом свете,— ведь даже хвороста, чтобы

вскипятить чай, не осталось в доме, и они решили наложить на себя руки, положивши головы на одно изголовье.

Однако и тут мать с тоской подумала о своей дочери, призвала бабку-посредницу и, поведав ей все обстоятельства, попросила: «Не дай пропасть моему дитяти, устрой ее в услужение к хорошим людям из купечества». Бабка тоже прослезилась и, сказавши: «Услужу вам и процента с вас не возьму»,— повела их с собой, и мать опять проливала слезы, поскольку ноги ее не держали, и пришлось нести немощную на спине.

Девушка была умненькая, но телом мала и слаба, брать ее соглашались не на жалованье, а за харчи. «Но ведь так я только себя прокормлю, какой же в этом толк?» — говорила она, и они ни с чем возвратились домой. А там она шепнула бабке-посреднице: «Наружностью я неказиста, но ведь не только красивые служат утехой мужчинам. Не продать ли мне себя в веселый дом?» Узрев такое самоотвержение, бабка воскликнула: «Ради отца и матери хороши любые пути!» — и отвела ее в заведение на Симабара, именуемое, кажется, «Итимондзия». Там ее выслушали, выказали сочувствие и сказали: «Женщина ты не так чтобы очень, но чувства твои прекрасны и будущность обеспечена». Затем составили договор на установленный срок и уплатили вперед двадцать золотых.

Когда она вернулась в Фусими и отдала эти деньги родителям, те печально вздохнули: «Видано ли это в свете, чтобы позволить родному дитяти продать свое тело и на эти деньги покоить свою старость!» Вздохам их вторила, воротившись, и бабка-посредница. Однако немного спустя хоть и жалели они свою дочь, но возвеселились духом и в канун Нового года возымели намерение сделать к празднику разные покупки. Узнав об этом, торговцы, по своему обычаю, принялись за дело. Из рисовой лавки притащили целый мешок, принесли свои товары продавцы мисо, соли и водки, и даже от рыбника, о котором в этом доме и думать забыли, прислали спросить, не надо ли чего. И в тот же вечер, когда они радовались и повторяли: «Вольнее денежек ничего-то на свете нету!» — старший сын Бунтадзаэмон украл все двадцать золотых и скрылся. Рассвело, наступил последний день старого года, но платить по такому злосчастью было нечем, и все покупки пришлось вернуть. Короткая радость, как сон, канула в прошлое.

Теперь больше нечего было ждать от судьбы. Супруги потихоньку покинули дом, удалились к Шестиричному Дзидзо, этому дорожному знаку на пути в вечность, и остановились в поле неподалеку от храма Косэн Осё. Прозрели они, что крушение всех их

надежд в этой жизни есть кара за то, что давным-давно, в жизни прошедшей, свершили они жестокое преступление. И, молясь о предбудущем своем существовании, они многократно повторяли имя Будды, а затем умертвили себя, откусив языки. И трупы их пожрали волки.

Люди, ненавидя Бунтадзаэмона, говорили: «Бежал он, наверное, на восток, и перехватить его надо на заставе Встреч»,— и погнались за ним, но схватить его не удалось, и они с пустыми руками вернулись из Мацубары, что вблизи от Авадзу.

Никто не знал, куда он девался, и на это дело махнули рукой, а между тем Бунтадзаэмон тайком проник в городок Сюмоку, до которого было рукой подать, лихо справил новогодние праздники, собрав множество веселых девок, и ко дню «семи трав» промотал все деньги до последнего гроша. Слухи о его непотребстве распространились по округе, он бежал в деревню Удзи. Но едва дошел он до места, где приняли кончину родители, ноги его стали заплетаться, все тело свело судорогой, в глазах потемнело, и он упал. И тогда снова появились волки, пожравшие трупы родителей, и всю ночь напролет грызли его, причинив ему неисчислимые страдания, а затем множество огромных волков обглодали его кости до сухожилий и выложили их у обочины дороги в виде целого скелета. Так Бунтадзаэмон после смерти своей был выставлен на позорище.

Вот вам рассказ о беспримерном нарушителе сыновнего долга. Страшно такое преступление, и небо с неизбежностью карает за него. Будьте же почтительны к своим родителям.

ПРИМЕЧАНИЯ

КИТАЙСКАЯ ПРОЗА IV—XVIII вв.

ГАНЬ БАО (IV в.)

«ИЗ ЗАПИСОК О ПОИСКАХ ДУХОВ»

Перевод выполнен по изданию: Гань Бао. Соу шэнь цзи. Шанхай, 1957.

Стр. 37. *Гуанлин* — ныне город Хуайян в провинции Цзянсу.

...в конце династии Хань.— Династия Хань правила в Китае с 206 г. до н. э. по 220 г. н. э.

Мэйлин — древнее (до 220 г.) название Нанкина.

Чжуншань — гора на северо-востоке от Нанкина.

...первого государя царства У.— В начале III в. Китай распался на три воюющих между собой царства: Вэй, Шу и У; последнее находилось в нижнем течении Янцзы. Первый его государь Сунь Цюань (в новелле — правитель Сунь) царствовал с 222 по 252 г.

...духом — покровителем этой местности.— В старом Китае считалось, что в каждой местности есть свой дух-покровитель — туди.

Стр. 38. *...титул столичного хоу.*— Хоу — княжеский титул в древнем и средневековом Китае.

Цзянькан — название Нанкина в 317—589 гг.

Династия *Цзинь* правила в Китае с 265 по 316 г., а ее основатель *У-ди* — с 265 по 290 г.

Хэцзянь — центральная часть нынешней провинции Хэбэй.

Ван Дао (276—339) был начальником Гань Бао, автора «Записок о поисках духов», по службе. В 317 г., став первым советником трона, рекомендовал Гань Бао на должность придворного историографа. Поскольку в рассказе говорится, что он придворный секретарь, следовательно, подразумевается, что это событие будто бы случилось до 317 г.

Стр. 39. *Чэнь* — область территории современной провинции Хэнань.

Наньян — местность на территории нынешней провинции Хэнань.

«Предание Цзо».— «Цзо чжуань» — древняя летопись, составленная в IV в. до н. э. Цзоцю Мином.

Фуян — уезд в провинции Чжэцзян к западу от Ханчжоу.

Цяньтанцзян — река, на которой стоит знаменитый своей красотой город Ханчжоу.

Стр. 40. *Юйхан* — одно из названий Ханчжоу.

Юйханшань — горы к югу от Ханчжоу.

ТАО ЮАНЬ-МИН (?)

ИЗ «ПРОДОЛЖЕНИЯ «ЗАПИСОК О ПОИСКАХ ДУХОВ»

Перевод выполнен по изданию: Соу шэнь хоуцзи (в серии) Цуншу цзичэн. Шанхай, 1936.

Стр. 40. *К великому полководцу Цзинь — дасыма Хуань Вэню.*— Цзинь — династия, правившая в Китае с 265 по 420 г. Дасыма — название высшей военной должности, примерно соответствующей главнокомандующему. Хуань Вэнь — реальное историческое лицо, жил в 312—373 гг. и действительно хотел свергнуть государя и воссесть на престол.

Стр. 41. *...собрался расспросить о треножниках.*— Намек на старинную историю, рассказанную в древней «Летописи Цзо»: некогда чуский князь инспектировал свои войска, стоявшие на границах царства Чжоу. Мечтая стать царем Китая, он расспрашивал прибывшего из Чжоу посла о величине и весе жертвенных треножников, бывших символом царской власти.

...с севера пришел Го Пу.— В начале IV в. север Китая и столица Лоян были захвачены кочевниками и большинство ученых бежало в земли южнее реки Янцзы. Го Пу (276—324) — знаменитый ученый, поэт и комментатор, считавшийся знатоком даосской магии и, по преданию, ставший бессмертным.

...храмом бога земли.— В старину китайцы верили, что в каждой местности есть свое местное божество — туди, являвшееся как бы посланцем верховного Небесного государя и выполнявшего его приказания.

Стр. 42. *Дунпин* — местность на полуострове Шаньдун.

...исправлял должность тайшоу в Гуанчжоу.— Тайшоу — правитель области в старом Китае, Гуанчжоу — в ту эпоху область современной провинции Гуандун — район Кантона.

...звался Ма-цзы, что значит «Жеребенок».— В Китае у каждого человека было обычно по нескольку имен, детское часто давали по названию зверей и животных (собачонка, жеребенок и т. п.). Впоследствии человек получал новое, достойное имя.

...прежнего тайшоу родом из Бэйхая.— Бэйхай — местность на полуострове Шаньдун. Тем самым получается, что дева и юноша, хоть и встретились на юге страны,— оба земляки, а земляческие отношения в Китае всегда ставились очень высоко.

...согласно Записям жизней.— Китайцы верили, что в загробном мире существуют специальные книги судеб, в которых обозначен срок жизни каждого человека, его карьера и т. д.

Стр. 43. *Шэн* — мера объема, в ту эпоху от 0,06 до 0,09 л.

Бу — букв.: шаг; в ту эпоху мера длины около 1,5 м.

«Вечное счастье» (Юн-цзя) — девиз правления западно-цзиньского императора Хуай-ди, приходившийся на 307—313 гг.

Цзинань — в ту эпоху местность на полуострове Шаньдун, к востоку от современного Личэна.

ГО СЯНЬ (?)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДУНФАН ШО

«Жизнеописание Дунфан Шо» по традиции приписывается Го Сяню (ок. 26 г. до н. э.— ок. 55 г. н. э.), в современной науке считается подделкой V—VI вв. Перевод выполнен по изданию: Чжу ши Хань, Вэй, Лю чао сяошо сюань, Шанхай, 1941.

Стр. 43. *Дунфан Шо* (154—93 гг. до н. э.) — реальное историческое лицо, сановник государя, прославившийся как острослов и знаток всего чудесного.

...на третьем году правления... Цзин-ди — то есть в 154 г. до н. э.

Стр. 44. *В середине годов под девизом «Начало пожалований»* — то есть между 110 и 105 гг. до н. э.

Царица Запада — Си-ван-му.— Си-ван-му — мифическое божество, первоначально страшная повелительница болезней и эпидемий, а возможно, и потустороннего мира. Впоследствии в даосских легендах превратилась в прекрасную хозяйку фей, владычицу плодов бессмертия.

...дух звезды Тайбо.— Тайбо — китайское название Венеры. Дух этой звезды почитался в Китае как божество осени, считалось, что в пятнадцатый день каждого лунного месяца он спускается на Землю.

Стр. 45. *...на второй... под девизом «Великого начала»* — то есть в 103 г. до н. э.

Чи — мера длины, в древности от 24 до 27 см.

«Книга истории» («Шуцзин») — древнейший свод легендарных и исторических сведений, составление которого было начато едва ли не в XIV в. до н. э. Окончательная редакция, видимо, была проведена во II в. до н. э.

Стр. 46. *...у Лао Даня.*— Лао Дань, более известный под именем Лао-цзы,— великий философ, основоположник философского даосизма, фигура полулегендарная. Жил будто бы в VI в. до н. э.

Яо — мифический мудрый государь китайской древности.

...на втором году правления под девизом «Небесная Хань» — то есть в 99 г. до н. э.

Святой Нин-фэн.— Нин-фэн — легендарная личность, один из сподвижников мифического первопредка китайцев Желтого государя, впоследствии будто бы ставший бессмертным.

Стр. 47. *Ханьгуань,* или Юймыньгуань — застава в Северо-западном Китае, через которую проходил путь в Западный край — Центральную и Среднюю Азию.

Стр. 48. *Суйсин* — другое название звезды Тайбо.

ЮЙ ТУН-ЧЖИ (V в.)

ИЗ «ЗАПИСОК О РЕВНОСТИ»

Перевод выполнен по изданию: Гу сяошо гоучэнь (сост. Лу Синь), Пекин, 1954.

Стр. 48. *...усмирил земли Шу.*— Шу — область на территории современной провинции Сычуань.

Ли Ши — последний государь эфемерной династии Чэн, правил с 344 по 347 г. Прослыл высокомерным, скупым, развратным правителем, не заботящемся о делах страны. В 305 г. сдался цзиньскому главнокомандующему Хуань Вэню, о котором и идет речь в рассказе.

Наньцзюнь — область, охватывавшая восточную и южную части современной провинции Хубэй.

Стр. 49. *Сыту* — одна из высших должностей в государстве — распорядитель казны.

...жаловать вас девятью регалиями.— Девять регалий, коими жаловали удельных князей: колесница с конями, парадное платье, музыканты, ворота, крытые красным лаком, парадное крыльцо, телохранители, лук со стрелами, топор с секирой, жертвенные сосуды.

Ань-ци — второе имя Сюй Нина, видного сановника при династии Цзинь.

Лиян — область на территории современной провинции Аньхой.

...за Жуаня по прозванию Сюань-цзы.— Речь здесь идет о Жуань Сю (270—311), увлекавшемся даосизмом и изучением «Книги перемен»; нрава был искреннего, простого. Был убит разбойниками, когда бежал от мятежа.

Стр. 50. *Тайфу* — чиновник из свиты государя.

...стихи из «Книги песен» — «Встреча невесты» и «Саранча».— «Книга песен» («Шицзин») — древнейший свод китайской народной и ритуальной поэзии (XI —VII вв. до н. э.). «Встреча невесты» — первая песня книги, в которой, согласно древним толкованиям, выражается мечта о доброй благо-

нравной жене, которая никогда не будет попрекать мужа. Смысл второй песни — пожелание многочисленного потомства и плодовитости (подобно саранче) от жен и наложниц.

Чжоу-гун — легендарный правитель и мудрец китайской древности, брат основателя династии Чжоу (XII в. до н. э.).

ЛЮ И-ЦИН (403—444)

ИЗ КНИГИ «НОВОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РАССКАЗОВ, В СВЕТЕ ХОДЯЩИХ»

Перевод выполнен по изданию: Лю И-цин. Ши шо синь юй, в серии «Чжуцзы цзичэн», Пекин, 1956, т. 8.

Стр. 51. *Сюнь Цзюй-бо* — реальная историческая личность, жил во II в.

Гуань Нин (158—241) — известный мудрец, потомок древнекитайского философа Гуань-цзы. *Хуа Синь* (157—231) — прославился своей добродетелью, занимая высокие государственные посты. В юности учился вместе с Гуань Нином и Бин Юанем. Люди за талантливость называли всех их троих одним драконом, говоря, что Хуа Синь — это голова дракона, Гуань Нин — его брюхо, а Бин Юань — его хвост.

Братья Чжун.— Чжун Юй и Чжун Хуэй — реальные исторические лица (III в.); первый прославился своим остроумием, а второй мудростью. Оба дослужились до высоких государственных должностей.

Ван Жун (234—305) — видный государственный деятель, который еще в детстве прославился своей мудростью и которого Чжун Хуэй рекомендовал государю.

Сунь Сю (III в.) — шестой сын правителя государства У.

Стр. 52. *У-ди* — могущественный государь династии Хань, правил с 141 по 87 г. до н. э.

Стр. 53. *Юань-ди* — государь династии Хань, правил с 49 по 33 г. до н. э.

Вэйский император Мин-ди правил с 226 по 239 г.

Люй Лин (221—300) — знаменитый поэт и бражник, автор стихов о вине.

Стр. 54. *Ван Цзы-ю* (настоящее имя Ван Хуэй-чжи) — сын знаменитого каллиграфа Ван Си-чжи (303—379), отличался совершенно необузданным нравом. Поначалу служил у полководца Хуань Вэня, но после бросил службу.

Цзо Сы (ум. ок. 306 г.) — известный китайский поэт.

Дай Ань-дао (настоящее имя Дай Куй; ум. в 396 г.) — известный художник, каллиграф и музыкант, прославившийся своими высокими и чистыми помыслами, нежеланием своей игрой на цитре услаждать слух власть имущих, поэтому он и переехал жить в глухой уезд Яньсянь, где и хотел навестить его Ван Цзы-ю.

Гуа — крепость в районе Дуньхуана в современной северо-западной провинции Ганьсу, была захвачена туфаньцами в 727 г.

...военный наместник Ван Цзюнь-чжо был убит... — Талантливейший танский полководец, наместник западных областей был убит уйгурами в том же, 727 г. возле озера Кукунор, куда он подошел с войсками, преследуя туфаньцев.

...с главой Главного Секретариата Империи Сяо Суном,— Главой Большой имперской канцелярии Пэй Гуан-тином.— И Сяо Сун и Пэй Гуан-тин — реальные исторические деятели; Сяо, например, был назначен на этот пост в 729 г. и пробыл на нем четыре года, Пэй получил назначение в следующем, 730 г. Во главе Большой имперской канцелярии в то время стояли Юй Вэнь-жун и Хань Сю.

Стр. 57. *Цин* — мера площади, в ту эпоху от 560 до 750 акров.

Хуанчжоу — земли на территории современного Вьетнама.

Стр. 58. *Гао Ли-ши* (685—762) — видный политический деятель, фаворит государя.

БО СИН-ЦЗЯНЬ (?—862)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ КРАСАВИЦЫ ЛИ

Перевод новеллы дается по книге «Гуляка и волшебник» с некоторыми уточнениями.

Стр. 59. *Госпожа Цяньго* — почетный титул, пожалованный героине, видимо, вместе с землями по реке Цянь (притоку реки Вэй) в провинции Шэньси.

Чанъань — столица Танской империи.

...годы правления под девизом «Небесная драгоценность».— «Небесная драгоценность» (Тянь-бао) — один из девизов правления танского императора Сюань-цзуна, приходившийся на 742—756 гг.

Чанчжоу — местность в нынешней провинции Цзянсу.

Синъянский князь — Синъян — уезд в современной провинции Хэнань.

...когда он познал волю Неба — то есть в пятьдесят лет.

...пора надеть шапку совершеннолетия.— То есть ему исполнилось двадцать лет.

«Тысячеверстный скакун» — метафора талантливого многообещающего человека.

...послали на экзамены.— В эпоху Тан в каждой области местные власти выбирали талантливых юношей для посылки на экзамены в столицу. «Выдающийся талант» было тогда неким почетным званием, присваиваемым наиболее способным студентам.

Пилин — уезд в округе Чанчжоу, где служил его отец.

Бучжэнли — квартал, непосредственно примыкавший с запада к императорским дворцам.

Квартал Пинкан («Спокойствия и здоровья») был расположен как раз между Восточным рынком и юго-восточным углом императорского города, там жили в основном певицы и гетеры.

Стр. 61. *...пробили четвертую стражу.*— С наступлением сумерек в Китае на городских башнях отбивали начало каждой из пяти двухчасовых ночных страж (с 7 часов вечера до 5-ти утра). С наступлением темноты ворота всех кварталов Чанъани закрывались до утра, и ходить разрешалось лишь внутри кварталов. Нарушителей арестовывал ночной патруль.

...за воротами Яньпин — то есть практически за городом. Ворота Яньпин находились на юго-западной окраине столицы, в противоположном конце города.

Стр. 62. *...служить вам изголовьем и циновкой* — то есть стать женой.

Стр. 65. *...и запел похоронную «Песнь о белом коне»* — погребальную песнь, в которой говорится, что жизнь человеческая мимолетна, как тень белого коня.

...пел траурную песню «Роса на стеблях» — древнюю печальную песнь, в которой жизнь человека уподобляется росе на стрелках лука-порея.

Стр. 66. *...до восточных ворот квартала Аньи.*— Аньи — квартал, примыкавший с юга к Восточному рынку.

Стр. 67. *Лян* — мера веса, в эпоху Тан около 40 граммов, использовалась и как обычная денежная единица.

Стр. 68. *...сочинение на тему «Говори с государем прямо, увещевай его настоятельно»* — обычная тема, полагающаяся в ту эпоху на втором экзаменационном туре.

Стр. 69. *Чэнду* — крупный город, сейчас центр юго-западной провинции Сычуань.

...чтобы не оборвались жертвоприношения вашим предкам — то есть, чтобы она родила ему сыновей, которые продолжат его род.

...провожу вас за реку — то есть реку Цзялинцзян.

Цзяньмэнь — город в Сычуани.

Посмертное имя.— В старину китаец после смерти получал особое посмерное имя, которое только и употреблялось для усопшего.

Шесть обрядов — подношение невесте сговорных даров, осведомление об ее родословной, подношение подарка в знак помолвки после гадания о будущей судьбе брачующихся, подношение дорогих материй в знак окончательного заключения союза, назначение срока свадьбы и подношение традиционного гуся, отправление свадебного поезда за невестой.

...вступали в брак отпрыски владетельных семей Цинь и Цзинь.— Символ успешного заключения брака; правящие дома княжеств Цинь и Цзинь (VI в. до н. э.) во избежание междоусобиц заключали между собой браки.

Стр. 70. *...подле хижин, сооруженных у могил родителей, выросли линчжи.*— Высшая форма траура по родителям требовала, чтобы сын в течение длительного срока жил в специальной маленькой временной хижине подле самих могил. Линчжи — по китайским поверьям, волшебная трава, дарующая бессмертие.

...несколько десятков белых ласточек свили гнезда.— По древним поверьям, семью, под крышей которой свили гнезда белые ласточки — предвестницы благополучия, ожидали знатность и богатство.

Тайюань — крупный город в нынешней провинции Шаньси.

Цзиньчжоу — область в нынешней провинции Шаньси, к востоку от тогдашней столицы.

...смотрителем казенных перевозок по воде и суше.— В обязанность чиновника входила организация перевозок продуктов для армии и собираемых на местах податей.

...годы под девизом «Эра чистоты» — то есть в годы Чжэньюань (785—804); «Эра чистоты» — один из девизов правления государя Дэ-цзуна.

Ли Гун-цзо (763—869) — известный новеллист, автор новеллы «Жизнеописание правителя Нанькэ» и других произведений. Лунси — местность в Северо-западном Китае, в нынешней провинции Ганьсу.

...года под циклическими знаками «ихай».— Китайцы обозначали года с помощью сочетания двенадцати циклических знаков. Год «ихай» здесь 795 г.

ЮАНЬ ЧЖЭНЬ (779—831)

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ИН-ИН

Перевод новеллы печатается по книге «Гуляка и волшебник» с небольшими уточнениями.

Стр. 71. *Дэн Ту-цзы* — герой известной поэмы в прозе «Дэн Ту — сладострастник» Сун Юя (IV в. до н. э.). Дэн Ту-цзы был сановником чуского князя, завидуя славе Сун Юя, он пытался оклеветать поэта, говоря, что Сун Юй развратник. Князь хотел удалить поэта из дворца, но тогда Сун Юй написал поэму, в которой поведал, что уже три года по нему безуспешно вздыхает красавица — дочь соседа, а он ни разу не удостоил ее взглядом. У самого же Дэна жена «с лохматой головой, с кривулей вместо уха и с рваной заячьей губой, и зубы редки, и боком как-то ходит, сутулая какая-то. Да ко всему тому парша у ней и геморрой. Дэн Ту же обожает ее и дал ей родить пятерых. Вы хорошенько взвесьте, государь, который же из нас двоих любитель женщин, сладострастник настоящий» (перевод В. М. Алексеева). И князь понял беспочвенность обвинений против красавца поэта. Имя же Дэн Ту-цзы с тех пор сделалось нарицательным для сладострастного мужчины, готового сблизиться с любой женщиной.

...поехал в город Пу.— Пу (Пучжоу) — тогда крупный город к востоку от танской столицы, на территории современной провинции Шаньси.

Хунь Чжэнь — знаменитый полководец, прославившийся победами над туфанями и назначенный военным губернатором в районе к северу от Пучжоу, где он и умер в 799 г.

...евнух Дин Вэнь-я.— В танскую эпоху обычно посылали евнухов наблюдать за военными губернаторами, чтобы они не подняли мятежа.

Ду Цюэ — в те годы был правителем Тунчжоу, недалеко от Пу, и после смерти Хунь Чэня государь приказал ему отправиться правителем в Пу и ревизором района к северу от Пучжоу.

Стр. 72. *...в седьмую луну года «цзя-цзы»... а сейчас у нас год под циклическими знаками «гэн-чэнь» правления под девизом «Эры чистоты»...*— Год «цзя-цзы» — первый год шестидесятилетнего цикла, обозначаемого сочетанием двенадцати особых циклических знаков. Год «гэн-чэнь» — «Эры чистоты», то есть семнадцатый год шестидесятилетнего цикла — 800 г. по европейскому летоисчислению.

Стр. 73. *Осведомление об именах* — то есть расспросы о родословной невесты.

...искать в лавке, где торгуют сушеной рыбой.— Намек на притчу известного даосского философа IV в. до н. э. Чжуан-цзы, в которой рассказывается о том, как мудрец увидал в сырой дорожной колее пескаря, который умолял принести ему воды, дабы спасти жизнь. Мудрец пообещал подвести к нему воды из Западной реки, на что пескарь ответил: «Достань я воды хоть мерку или несколько пригоршней, остался бы в живых. Чем говорить то, что сказали вы, благородный муж, лучше уж заранее искать меня в лавке с сушеной рыбой» («Чжуан-цзы», гл. 26; см. «Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая», вступительная статья, перевод и комментарии Л. Д. Позднеевой, М., 1967, с. 278). Ср. с японской новеллой «Запоздалая тысяча» в наст. томе.

...написал Весеннюю песню — то есть любовные стихи.

Стр. 76. *...играла мелодию «Из радуги яркий наряд, из сверкающих перьев убор»...*— знаменитая в танскую эпоху мелодия, заимствованная из Западного края и восходящая к буддийским песнопениям. Под нее танцевала знаменитая красавица Ян Гуй-фэй, в которую был влюблен император Сюань-цзун (правил с 712 по 756 г.). Видя ее пестрый наряд, он дал и соответствующее название мелодии. Говорили, будто это музыка, которая звучит в лунных дворцах у тамошних фей.

Цунь — китайский вершок, около 3 см.

Стр. 77. *...подобно тому, кто увлек женщину игрой на цитре.*— Речь идет о знаменитом поэте древности Сыма Сян-жу (179—117 гг. до н. э.), который своей игрой на цитре пленил красавицу, молодую вдову Чжо Вэнь-цзюнь, дочь богача; поскольку родные не разрешали им пожениться, Чжо Вэнь-цзюнь бежала с поэтом и стала его женой.

...бросить в вас челнок.— В «Истории династии Цзинь» в «Жизнеописании Се Гуня» рассказывается, что в молодости он был влюблен в дочь своего соседа и постоянно приставал к ней. Как-то она сидела за ткацким станком и, рассерженная, бросила в него челнок, выбив Се Гуню два зуба. «Своего не добился, да еще и зубы потерял»,— говорили о нем.

...на бамбуке следы моих слез.— Намек на древнее предание о женах мифического государя Шуня, которые безутешно оплакивали его кончину на берегу реки Сян. От их слез бамбук на берегу стал пятнистым. Такой сорт бамбука растет там и поныне.

Стр. 78. *Ян Цзюй-юань* (760—832) — поэт, друг автора новеллы Юань Чжэня.

Ты прекрасней Пань-лана.— Пань-лан, или Пань Юэ (247—300) — поэт, прославившийся своей красотой. Когда он проходил по улице, девушки кидали в него цветы и плоды, чтобы обратить на себя внимание.

Юань Чжэнь из Хэнани — то есть сам автор этой новеллы.

«Страны металла» хозяйка.— Имеется в виду богиня Хозяйка Запада Си-ван-му, так как по древнекитайским представлениям западу соответствовал один из пяти элементов, а именно металл.

Юноша, чистый, как яшма — то есть посланец Небесного государя.

Стр. 79. *...к северу мимо Лояна.*— К северу от города Лояна, на реке Ло, как описывает поэт III в. Цао Чжи, он будто бы встретился с феей реки Ло.

...на восток от дома Сун Юя...— См. прим. к с. 71.

Утка с селезнем...— Утка и селезень — традиционный символ супружеской пары.

Стр. 81. *На гору Сун улетели.*— Гора Сун в Хэнани считалась самой высокой из пяти священных пиков Китая.

...Сяо ши // Скрылся в высокой башне.— Сяо Ши — легендарный музыкант древности, жил в IV в. до н. э. Прославился игрой на флейте. В него влюбилась дочь циньского князя Му-гуна и стала его женой. Князь построил для них башню Фениксов, в которой они прожили лет десять, а потом будто бы улетели на фениксах на небо.

Стр. 81—82. *Синь, государь династии Инь, и Ю, государь династии Чжоу...*— Речь идет о Чжоу Сине, последнем государе династии Инь (правил с 1191 по 1154 г. до н. э.), который прославился исключительной жестокостью и порочными наклонностями. Увлекшись красавицей Да-цзи, он забросил все государственные дела и привел династию Инь к гибели. Ю (или Ю-ван) — государь династии Чжоу, правил с 781 по 771 г. до н. э. По преданию, тоже погиб, увлекшись красавицей Бао Сы. Желая рассмешить свою возлюбленную, он приказал зажечь огни на сигнальных башнях. По сигналу все князья примчались в столицу, решив, что напал неприятель, чем насмешили Бао Сы. В другой раз, когда действительно на столицу напали враги и были зажжены сигнальные огни, князья уже не явились. Враги взяли город, а государь был убит. Оба эти примера постоянно приво-

дятся конфуцианскими историографами как случаи гибели царства из-за женщины.

Стр. 82. *Ли Гун-чуй* — настоящее имя Ли Шэнь (?—846) — крупный сановник и поэт, слава которого соперничала со славой Юань Чжэня.

Цзинъаньли — квартал в южной части тогдашней столицы Чанъань.

Стр. 83. *...звали Ин-ин...* — то есть «Иволга». Китайцы любили давать детям имена по названиям зверей и птиц. Впоследствии это детское имя заменяется взрослым именем. Замужних женщин обычно вообще звали по фамилии мужа — госпожа такая-то.

ЛИ ФУ-ЯНЬ (IX в.)

ГУЛЯКА И ВОЛШЕБНИК

Перевод новеллы (в оригинале «Ду Цзы-чунь») дается по книге «Гуляка и волшебник» с небольшими изменениями.

Стр. 83. *...на смену династии Северная Чжоу пришла династия Суй* — то есть в конце 80-х годов в VI в.

...у западных ворот... — Рынки в Чанъани имели по двое ворот с каждой из четырех сторон. Одни западные ворота вели к увеселительному кварталу Пинканли, другие — к соседнему кварталу Сюаньянли.

Стр. 84. *...у Подворья персов.* — В Чанъане в ту эпоху жили тысячи персидских купцов, торговавших своими товарами и державших свои харчевни и подворья. Были там и зороастрийские храмы.

Ши Цзи-лунь (или Ши Чун) — знаменитый богач, живший в IV—V вв.; *И-Дунь* — прославленный богач, живший в древности.

Стр. 85. *...в Заоблачную беседку.* — Заоблачная беседка, стоящая на вершине горы Хуашань, до сих пор является одной из достопримечательностей тех мест.

Девять Яшмовых дев — богини времени в даосской мифологии, им подвластны годы и дни соответствующих циклов.

Зеленый дракон и Белый тигр. — Зеленый дракон — символ востока, а в китайской алхимии — киновари; Белый тигр — символ запада, а в алхимии — свинца.

Стр. 87. *...его высшие и животные души предстали перед Ямараджей.* — Речь идет о душах хунь и по, одна из которых, по представлениям древних китайцев, после смерти покидает тело, а вторая остается при трупе. Ямараджа — китайское Яньлован — владыка Преисподней, образ которого китайцы заимствовали из буддизма.

Стр. 88. *...жена советника Цзя.* — Герой имеет в виду историю, приведенную в древней «Летописи Цзо»: «В прошлом некий вельможа Цзя, будучи уродлив, взял в жены красавицу. В течение трех лет он не мог до-

биться от нее ни слова, ни улыбки. Как-то он отправился с ней в пойму реки на охоту. Подстрелив фазана, Цзя принес его жене, и тут в первый раз она улыбнулась и заговорила. Увидев это, вельможа сказал: «Поистине не следует пренебрегать никакой своей способностью. Ведь не умей я стрелять, ты бы так никогда и не улыбнулась мне и не заговорила со мной» (перевод И. И. Соколовой).

Стр. 89. *...лишь одну любовь не смог ты побороть.*— По даосским представлениям, чтобы стать бессмертным, необходимо начисто отрешиться от семи эмоций: радости, гнева, скорби, страха, любви, ненависти и вожделений.

ЛЮ ФУ (XI—XII вв.)

ИЗ КНИГИ «ВЫСОКИЕ СУЖДЕНИЯ У ЗЕЛЕНЫХ ДВОРЦОВЫХ ВОРОТ»

ЧЭНЬ ШУ-ВЭНЬ

Перевод выполнен по изданию: Лю Фу. Цин со гао и. Шанхай, 1958.

Стр. 89. *...уроженцем столицы.*— При династии Северная Сун (960—1127) столицей Китая был город Бяньлян (нынешний Кайфэн).

...выдержал экзамен на знание классиков.— При династии Сун один из экзаменов был специально посвящен вопросам по тексту конфуцианских классических книг.

Стр. 90. *...вниз по реке Бяньшуй.*— Река Бяньшуй, связывающая реки Хуанхэ и Хуайхэ, на которой стояла тогдашняя столица, была тогда важнейшей водной артерией, связывающей север и юг страны.

Праздник Дунчжи.— При династии Сун день зимнего солнцестояния считался одним из важнейших праздников. В этот день жители столицы, нарядившись в новое платье, приносили жертвы духам предков.

...к храму Сянского князя.— Один из самых больших и знаменитых буддийских храмов северосунской столицы, построенный еще в VI в., был восстановлен в 710 г., когда на танский престол взошел Жуй-цзун, прежде носивший титул Сянского князя. Став государем, он пожаловал храму свой прежний титул.

ЗАПИСКИ О СЯО-ЛЯНЬ

Стр. 92. *...в годы Цзя-ю...*— то есть между 1056 и 1063 гг.

...перед посланцем бога земли.— Как уже говорилось, по представлениям китайцев, в каждой местности было свое божество земли — туди, которое следило за выполнением всех указов Небесного владыки и доносило ему обо всех происшествиях.

Стр. 94. *...в круговороте превращений.*— Согласно буддийским понятиям, душа человека после смерти принимает облик другого живого существа; тому, кто вел себя праведно, дано возродиться вновь человеком, за проступки полагается наказание в виде возрождения в облике низших существ. Этот процесс идет беспрерывно, одно рождение сменяет другое.

ЦЮЙ Ю (1341—1427)

ИЗ КНИГИ

«НОВЫЕ РАССКАЗЫ У ГОРЯЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА»

ЗАПИСКИ О ПИОНОВОМ ФОНАРЕ

Перевод выполнен по изданию: Цюй Ю. Цзянь дэн синь хуа (вай эр чжун). Пекин, 1962.

Стр. 95. *...почтенный господин Фан...*— то есть Фан Го-чжэнь, торговец солью, в 1348 г. поднял мятеж в приморской провинции Чжэцзян, много раз сдавался правительству монгольской династии Юань, получая каждый раз все более высокие посты, одно время был правителем Чжэцзяна.

Минчжоу — город на территории современного Чжэцзяна.

...пятнадцатой ночи...— В старину у китайцев новогодний праздник длился две недели, он завершался в пятнадцатую ночь красочным праздником фонарей, когда разноцветные фонари и фонарики разных форм и видов вывешивали у ворот и носили с собой гуляющие.

...год гэн-цзы правления под девизом «Достижение истинного»...— то есть в 1360 г.

...на склоне Чжэньминских гор.— Чжэньминский хребет проходит южнее Нинбо, на восточном побережье Китая.

...срок свидания в тутах.— Намек на известную песню из «Шицзина» («Книги песен») «В тутах», в которой говорится о тайном свидании влюбленных в тутовой роще.

Свидание с Ушаньской девой...— С древних времен в Китае рассказывают легенду о князе, которому во сне явилась фея Ушань и разделила с ним ложе. Уходя, фея сказала князю: «Я рано бываю утренней тучкой, а вечером поздно иду я дождем».

Фэнхуа — один из округов недалеко от города Нинбо в том же Чжэцзяне.

Стр. 96. *Лунное озеро* (Юэху) находится к юго-западу от Нинбо.

Стр. 97. *...подле Узорчатого моста.*— Узорчатый мост реально находился там же, юго-западнее Нинбо.

Стр. 98. *...даос, по прозванию Железная шапка, чья обитель на вершине горы Сыминшань.*— Речь идет о даосе Чжан Чжуне, который имел обыкновение ходить в железной шапке. По преданию, он как-то встретил необыкновенного человека, который передал ему магическое искусство. Гора Сыминшань находится в том же Чжэцзяне, на юго-западе уезда Иньсянь.

Стр. 99. *...уподобиться юному Суню.*— По древним повериям, человек, увидавший двуглавую змею, должен умереть. Но Сунь Шу-ао, живший в древности в царстве Чу, будучи мальчишкой, будто бы встретил такую змею, убил ее и закопал, чтобы она больше не причиняла никому вреда. Сам он не только не умер, а сделался впоследствии первым министром в своем царстве.

...по стопам Чжэня...— Чжэнь — герой новеллы танского писателя Шэнь Цзи-цзи «Жизнеописание урожденной Жэнь» повстречал лису, принявшую облик несравненной красавицы, и увлекся ею, даже зная, что она оборотень.

Шесть душ.— По даосским воззрениям, в теле (в легких) человека обретает семь нечистых душ. По смерти человека души эти выходят из трупа и расплываются по земле. Говоря о шести душах, героиня имеет в виду, что одна душа еще не покинула ее.

...в древности Великий Юй отлил треножники...— Мифический государь древности Великий Юй будто бы отлил девять треножников, изобразив на них все виды существ, с тем чтобы люди, встретив злых духов и оборотней, могли отличать их от добрых духов.

...некогда Вэнь Цяо зажег светильник из рога носорога...— В «Истории династии Цзинь» в «Жизнеописании Вэнь Цяо» (288—329) рассказывается, будто он смастерил светильник из носорожьего рога, чтобы осветить им водяных духов в реке Янцзы, у горы Нючжу. На этом месте впоследствии была выстроена беседка Зажженного носорога.

...когда показалась в воротах душа умершего, правитель Цзин из царства Цзинь в тот же год...— В древней «Летописи Цзо» рассказывается, что в 571 г. до н. э. цзиньский правитель Цзин казнил сановников Чжао Туна и Чжао Куа, на другой год во сне ему явился злой демон с ниспадающими до земли волосами, он бил себя в грудь, топал ногами и кричал: «Ты убил моих потомков. Небесный владыка дал согласие, чтобы я отомстил тебе». Он разнес большие ворота и двери спальни и ворвался внутрь. Правитель в испуге бежал во внутренние покои, но демон взломал и двери, которые вели туда. В тот же год правитель Цзинь скончался.

...правитель Сян из земли Ци нашел свой конец.— В той летописи рассказывается, что живший в конце VII в. до н. э. правитель царства Ци (на полуострове Шаньдун) по имени Сян-гун вступил в связь со своей младшей сестрой, а богатыря Пэна послал тайно убить ее мужа. Когда все раскрылось, он свалил всю вину на Пэна и казнил его. В 685 г. до н. э. правитель Сян отправился на охоту и увидал огромную дикую свинью. Приближенные сказали ему, что это Пэн. В гневе правитель выхватил стрелу и выстрелил

в свинью, та поднялась на задние лапы и громко зарыдала. В испуге Сян-гун упал с колесницы, ударил ногу и потерял туфли. В том же году он был убит.

...девяти небесах и учредили чиновников...— Понятие о девяти небесах китайцы, видимо, заимствовали из Индии через буддизм. Сами китайцы объясняли его как девять частей неба, соответствующие направлениям — сторонам света (восток, запад, центр, север, юг, юго-восток и т. д.).

...в десяти преисподних...— По средневековым китайским представлениям, ад состоит из десяти залов-судилищ, в которые попадают души умерших.

Якша — санскритское название рода демонов, заимствованное китайцами через буддизм.

Шэнь-звезда.— Шэнь — китайское название созвездия Орион.

Стр. 100. *...жертвенной куклой...*— В глубокой древности китайцы вместе с умершим князем хоронили и его жен, наложниц, рабов; впоследствии этот варварский обычай был заменен и в могилу стали класть лишь фигурки, изображающие слуг.

...когда лисы спокойно разгуливают.— Образ, восходящий к древней песне «Ищет подругу и бродит лис» из «Книги песен».

...перепела поднялись с полей.— Образ, восходящий к другой песне того же памятника — «Четой перепелки кружат у гнезда», которую средневековые комментаторы истолковывали как сатиру на разврат.

...так же быстро, как некогда выполнял их Люй-лин.— Люй-лин — один из богов грома, передвигавшийся с поразительной быстротой. Это выражение целиком было обычной формулой даосских заклинаний.

ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ДЕВЫ В ЗЕЛЕНОМ

Стр. 100. *Тяньшуй* — местность в современной провинции Ганьсу (Северо-западный Китай).

В годы под девизом «Непрестанного покровительства духов» — то есть в 1314—1320 гг.

Цяньтан — местность в провинции Чжэнзян, в районе современного Ханчжоу.

...сановника Цзя Цю-хо.— Цзя Цю-хо (настоящее имя Цзя Сы-дао; ум. в 1275 г.) — первый министр южносунского двора, предлагавший признать вассальную зависимость Китая от монголов. Прославился своей жестокостью и капитулянтской политикой. Впоследствии был снят с высокого поста и сослан в Гуандун. Поскольку Ханчжоу, где поселился герой новеллы, был столицей Южной Сунской династии, то естественно, что он оказался подле дворца ее бывшего министра.

Стр. 101. *...юбка желтая видна.*— Намек на известное стихотворение «Одежда зеленого цвета» из «Книги песен», где говорится: «Одежда на вас зеленого цвета. Вы желтый мой шелк для подкладки избрали» (перевод

А. А. Штукина). Средневековые комментаторы видели в этих стихах сетования жены вэйского князя Чжуан-гуна, отвергнутой им ради презренной наложницы. Поскольку желтый цвет считался одним из основных цветов, то из него полагалось шить верхнюю одежду, а зеленый, как цвет промежуточный, шел на подкладку или нижнее платье. «Вы отдали предпочтение зеленому» — значит, полюбила презренную наложницу. Именно этот уничижительный смысл и уловила в словах юноши героиня новеллы, почему и обиделась на него.

Стр. 102. *...линъаньской семьи.*— Линъань — название Ханчжоу (где происходит действие новеллы), употреблявшееся в эпоху Сун.

...в Зале полупраздного времяпрепровождения.— Цзя Цю-хо в числе своих дворцов, возведенных на Лиановом хребте у Западного озера, построил и особый Зал полупраздного времяпрепровождения, где, сидя на корточках в окружении толпы наложниц, устраивал бои сверчков.

Стр. 103. *...обвинив в клевете.*— Цзя Цю-хо усмотрел в этом четверостишии скрытый смысл. Дело в том, что в древнекитайской «Книге истории» («Шуцзин») говорится: «Коли приправлять бульон, то ты сойдешь за солоноватую дикую сливу». Впоследствии, в средние века, деятельность первого министра обычно сравнивали с приправлением бульона по вкусу государя. Вот почему Цзя Цю-хо рассвирепел, услыхав эти стихи.

Не один уже год // осажденный Сянъян голодает... // Из Хушани в поход // сытый люд выступать не желает...— В 1267 г. монгольские войска напали на сунский Китай. Первый удар принял на себя гарнизон города Сянъяна, солдаты и горожане в течение пяти лет отражали натиск врага, неоднократно прося помощи у Цзя Цю-хо, но он не реагировал на эти просьбы.

...перевернув ее кверху дном.— По даосским обычаям запрещалось ставить чашку кверху дном (особенно в храмах), таким образом, даос сделал вызывающий жест.

Стр. 104. *...речь идет о гибели у Мусяньского скита.*— В конце концов государь сместил Цзя Цю-хо с поста первого министра и отправил его в ссылку в Чжанчжоу, в приморскую провинцию Фуцзянь. Начальником конвоя был назначен Чжэн Ху-чэнь, отца которого в свое время казнил Цзя. Мстя за отца, Чжэн Ху-чэнь прикончил ссыльного Цзя Цю-хо по дороге подле Мусяньского скита.

...в честь поэта Су Дун-по.— Великий китайский поэт Су Ши (или Су Дун-по; 1036—1101) одно время служил правителем города Ханчжоу и построил дамбу на озере Сиху, которая до сих пор носит его имя.

ЗАПИСКИ О ШПИЛЬКЕ — ЗОЛОТОМ ФЕНИКСЕ

Стр. 105. *...в годы под девизом «Великой добродетели»...*— то есть в период правления хана Тимура монгольской династии Юань (1297—1306).

Фанъюй — военная должность, начальник местной самообороны.

Сюаньдэ — ныне город Сюаньхуа в провинции Хэбэй, далеко к северу от Янчжоу, где жила семья девушки.

...снял траурное платье.— По китайским обычаям после смерти отца преданный сын должен был в течение длительного времени носить траур.

Стр. 106. *...возжег перед алтарем бумажные деньги.*— В древние времена в Китае были особые бумажные деньги, не имевшие реального хождения, которые сжигали на могилах или перед алтарем, веря, что они попадут к усопшему и помогут ему в ином мире.

Наступил день поминовения.— Праздник поминовения приходился на пятое число четвертого месяца по тогдашнему лунному календарю, в этот день полагалось приносить жертвы на могилах родственников.

Стр. 107. *...«убьют дикую утку — спугнут мандаринских уточек-неразлучниц».*— Чуть измененные строки из стихотворения поэта Мэй Яочэня (1002—1060) «Бьют утку»: «Не бей дикую утку, спугнешь мандаринских уточек-неразлучниц». Мандаринские уточки — символ супружеской пары.

...«с цельной яшмой за пазухой» — то есть прихватив с собой драгоценности.

Чжэньцзян — река в провинции Цзянсу, не очень далеко от тех мест, где жила семья героини.

...добрались до Даньяна.— Даньян — уездный город в тогдашнем округе Чжэньцзянфу, в котором и был расположен городок Люйчэн.

...старостою стодворки.— В средневековом Китае существовала особая система круговой поруки, на каждые десять, а затем и сто дворов был свой староста, который отвечал за порядок.

Стр. 108. *...подобно Чжо Вэнь-цзюнь, бежала с господином.*— См. прим. к с. 77.

...как говорится, «старые хлеба кончились, новые уже созрели».— Героиня слегка перефразирует слова из древней книги «Беседы и суждения», в которой приводятся слова ученика Конфуция Цзай-во, предлагающего сократить срок траура по родителям с трех лет до одного года, за который «кончаются старые хлеба и созревают новые» («Луньюй», 17, 21).

...словно чете фениксов...— Перефразированная строка из «Книги песен» из «Оды царю» (III, II, 8), где говорится: «Четою нынче фениксы летят» (перевод А. А. Штукина).

Стр. 109. *...в свете Владетельной госпожи земли Хоу-ту фужэнь...*— Одна из богинь китайского народного пантеона, почитание которой особо было распространено в VII—X вв.

Стр. 110. *...и совершил паломничество в храм Желтой гортензии...*— Храм Желтой гортензии — даосский храм в городе Янчжоу, где живут герои, назван так потому, что подле него растут диковинные цветы и растения. Там совершались жертвоприношения божеству земли.

ЛИ ЧЖЭНЬ (XIV—XV вв.)

ИЗ КНИГИ
«ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗОВ У ГОРЯЩЕГО СВЕТИЛЬНИКА»

Перевод выполнен по изданию: Цюй Ю ...

ЗАПИСКИ О ШИРМЕ С ЦВЕТАМИ ЛОТОСА

Стр. 110. *Во времена под девизом «Достижение истины».*— «Достижение истины» (Чжи-чжэн) — один из девизов правления последнего государя монгольской династии Юань Шунь-ди, приходился на 1341—1367 гг.

...жил в Чжэньчжоу.— Чжэньчжоу — местность в нынешней провинции Цзянсу.

...в год син-мао — то есть в 1351 г.

Стр. 111. *...и наступил Праздник средины осени.*— Праздник средины осени справлялся в ночь на пятнадцатое число восьмого лунного месяца. Этот праздник считался Праздником луны, так как, говорили китайцы в старину, в эту ночь луна бывает самая яркая и самая круглая. В эту ночь было принято любоваться луной.

...бинтованные ножки...— В течение многих веков китаянкам с детства туго стягивали ступни специальными полосками материи, так, чтобы ступня росла не в длину, а вверх — бугром. Такие маленькие ножки считались признаком женской красоты, но ходить на них было трудно. Этот обычай вышел из моды лишь лет пятьдесят назад.

Стр. 112. *...пред Белохитонною Гуань-инь...*— Гуань-инь — китайское имя буддийского святого бодхисатвы Авалокитешвара, который со временем стал изображаться китайцами не в мужской (как в Индии), а в женской ипостаси. Культ матушки Гуань-инь (она часто изображалась в белом одеянии — отсюда прозвание Белохитонная) был распространен в Китае чрезвычайно широко, и монастыри, посвященные ей, были чуть ли не в каждом округе. Гуань-инь молились о ниспослании потомства и о спасении от всяческих напастей.

Стр. 113. *Мне кисть Чжан Би напоминали...*— Чжан Би (ум. в 51 г. до н. э.) был правителем округа Цзинчжао. Прославился тем, что самолично подрисовывал брови своей жене; такие тонкие брови жители тогдашней столицы называли «очаровательные брови правителя Чжана».

Стр. 114. *...на живопись Хуан Цюаня.*— Хуан Цюань — известный художник X в. Прославился своими изображениями цветов и птиц, особую известность получила его картина на белом шелке — белый заяц. Про него ходило много рассказов, вроде такого: однажды князю, при дворе которого служил художник, поднесли белого коршуна; увидав фазана, нарисованного на стене Хуан Цюанем, коршун расправил крылья и приготовился броситься на него, настолько живо изобразил художник птицу.

Цы — стихотворный жанр, стихи с неодинаковым количеством слогов в строке, писавшиеся на заранее заданный мотив.

Сучжоу — знаменитый своей красотой город недалеко от нынешнего Шанхая.

...кисти монаха Хуай-су.— Имеется в виду Хуай-су (примерно VII—VIII вв.) — мирское имя Цянь Цан-чжэнь, прославившийся каллиграфическим искусством, особенно скорописными иероглифами.

Стр. 114. *...в Пинцзянскую управу...*— Пинцзянский округ, в который в XIII—XIV вв. входил город Сучжоу.

Стр. 116. *Я переписал ее в назидание миру.*— В некоторых изданиях приводится целиком эта песня. Здесь она опущена.

ПУ СУН-ЛИН (1640—1715)

ИЗ СБОРНИКА «ОПИСАНИЕ УДИВИТЕЛЬНОГО ИЗ КАБИНЕТА ЛЯО»

Переводы печатаются по книге: Пу Сун-лин. Лисьи чары, Рассказы Ляо Чжая о чудесах, в переводах с китайского академика В. М. Алексеева. М., «Художественная литература», 1970.

ЛИС ИЗ ВЭЙШУЯ

Стр. 116. *Вэйшуй* — река на полуострове Шаньдун, протекающая через уезд Вэйсянь.

Стр. 117. *...свой визитный листок* — нечто вроде визитной карточки, листок красной бумаги с выведенными на нем черной тушью фамилией и именем человека.

Цинь — старинное название провинции Шэньси в Северо-западном Китае.

Стр. 118. *...в Цинь произошли мятежи и всякие несчастия.*— Речь идет о вспыхнувших во второй половине 70-х годов XVII в. в Шэньси и девяти других провинциях Китая антиманьчжурских восстаниях.

ЦЯО-НЯН И ЕЕ ЛЮБОВНИК

Стр. 121. *Гуандун* — провинция на юге Китая.

Лотосовые шажки — то есть шажки красавицы с маленькими ножками (см. прим. к с. 111).

Цюн — один из округов в той же провинции Гуандун.

Стр. 122. *...«хозяйкой восточных путей»* — то есть гостеприимной хозяйкой, так как в Китае с древних времен восток ассоциировался с хозяином, а запад с гостем.

...пуститься хоть в море...— Намек на изречение Конфуция, которое приводится в «Беседах и суждениях»: «Раз мой путь не приемлют... сяду на плот и поплыву за море» (V, 7).

...передала его служанке...— Обычай запрещал знатной девушке подавать что-либо мужчине, чтобы их руки не встретились.

Завари-ка чашечку круглого чая...— Круглый чай — то есть спрессованные в виде круглых лепешек сухие листья чая. Наверху такой лепешки обычно был оттиснут орнамент в виде дракона или феникса. Такой чай ценился чрезвычайно, с X в. лишь государи могли жаловать его своим сановникам.

Стр. 123. *...у нас остановили... колесницу.*— Вежливая речь девушки соткана так, что в ней использован образ одной из од древней «Книги песен», где говорится:

При звездах, да пораньше заложить колесницу,
Остановить ее в тутовом поле...

...смеет ли женщина Юань-лун.— Юань-лун — прозвание героя III в. Чэнь Дэна, про которого рассказывали, что когда к нему являлся гость, который ему не был мил, то он клал его на низкую лежанку, а сам спал на высокой и широкой кровати. Здесь дева имеет в виду, что она не может отнестись к гостю столь пренебрежительно, как это делал Юань-лун.

Стр. 124. *Узорная свеча.*— По старинному обычаю в покоях новобрачных ставились толстые, ярко раскрашенные и позолоченные свечи с оттиснутыми на них узорами.

...все девять отличий.— См. прим. к с. 49.

Стр. 127. *«Жабий гнев».*— В древнем философском трактате «Хань Фэйцзы» приводится такая легенда: «Правитель царства Юэ неоднократно ходил походами на царство У и ни во что не ставил человеческую жизнь. Но вот однажды он, выехав из дворца, увидал разгневанную жабу и стал кланяться ей, сидя в экипаже. Сопровождающие спросили, почему он столь почтителен к ней. «Из-за ее гнева»,— пояснил князь. С тех пор выражение «жабий гнев» иногда употреблялось как обозначение высшей формы проявления эмоций.

Стр. 130. *...вошел в Полупруд* — то есть в конфуцианское училище, успешно сдав экзамены на первую ученую степень.

Некто Цзы-ся из Гаою.— Гаою — уезд недалеко от современного города Янчжоу. Некоторые комментаторы, однако, предлагают иную трактовку этого места,— по их мнению, речь идет не о человеке из Гаою, а о земляке Пу Сун-лина Гао Хэне (1612—1697), имевшем как раз прозвание Цзы-ся — «Пурпурная заря» и занимавшем видные посты в государстве.

ПРИГОВОР НА ОСНОВАНИИ СТИХОВ

Стр. 130. *Цинчжоуский обыватель.*— Цинчжоу — один из округов провинции Шаньдун.

...родом из Иду.— Иду — уезд в том же округе Цинчжоу.

...произнесет «Будда» тысячу раз.— Китайцы верили, что бесконечное

повторение имени Будды Амитабы, заступника людей, или в северокитайском произношении: Омитофо — дает тот же эффект, что и молитва, к нему обращенная.

Стр. 131. *...почтеннейший Чжоу Юань-лян* — реальное историческое лицо, известный во времена Пу Сун-лина чиновник, настоящее имя Чжоу Лян-гун (1612—1672); Юань-лян — его второе имя.

...перевести его в хлебный магазин.— По предположению переводчика новеллы академика В. М. Алексеева, видимо, для содержания и кормления.

...«достал своего врага и сердце на нем усладил».— По разъяснению В. М. Алексеева: то есть, чтобы У и меня убил бы со злорадством и удовлетворением.

Дунгуань — уезд в провинции Гуандун на юге Китая.

Стр. 132. *Жичжао* — уезд в Шаньдуне.

Ичжоу — уезд в той же провинции Шаньдун.

...своих служителей с печатью...— Печать была в старом Китае основным символом чиновничьей власти, ее носили на перевязи.

...отдам свое имя замуж за У.— То есть буду действовать под именем У.

...слова «внутри будет счастье» — не более как знак «чжоу».— Иероглиф «чжоу», которым пишется фамилия прозорливого правителя, состоит из двух охватывающих черт и знака цзи — «счастье» — внутри.

Углы рта.— Углы четырехугольника, входящего в состав многих иероглифов, обычно отличаются у разных каллиграфов.

ТАЙЮАНЬСКОЕ ДЕЛО

Стр. 134. *...в Линьцзинь... был назначен... Сунь Лю-ся.*— Линьцзинь — уезд в районе Пучжоу в провинции Шаньси. Сун Лю-ся — реальное историческое лицо, настоящее имя Сунь Цзун-юань, современник автора, получил степень цзиньши (доктора) в 1655 г.

ЮАНЬ МЭЙ

ИЗ КНИГИ «О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛ КОНФУЦИЙ»

Перевод выполнен по изданию: Юань Мэй сань ши ба чжун (б. м.), 1892.

Стр. 135. *...третьего года Цянь-лун...*— то есть 1738 г.

Гора Гаотиншань находится в современной провинции Чжэцзян.

Стр. 137. *Династия Мин* правила в Китае с 1368 по 1643 г.; Наньян — область в провинции Хэнань.

...в середине годов Юн-чжэн — то есть в конце 20-х — начале 30-х годов XVIII в.

Стр. 138. *Доу* — мера сыпучих тел, 10,35 л.

...*кисти Чжао Цзы-ана.*— Чжао Цзы-ан, настоящее имя Чжао Мэн-фу (1254—1322) — знаменитейший художник и каллиграф, произведения которого ценились чрезвычайно высоко.

Стр. 139. *Ми Юань-чжан,* настоящее имя Ми Фэй (1051—1107) — знаменитый художник и каллиграф.

ЦЗИ ЮНЬ (1724—1805)

ИЗ «ЗАМЕТОК ИЗ ХИЖИНЫ «ВЕЛИКОЕ В МАЛОМ»

Переводы даются по книге: Цзи Юнь. Заметки из Хижины «Великое в малом», перевод с китайского, предисловие, комментарий и приложение О. Л. Фишман. М., «Наука», 1974.

Стр. 141. *Чжу Цин-лэй рассказывал.*— Чжу Цин-лэй, настоящее имя Чжу Вэнь — ученый и поэт XVIII в.

Стр. 142. *В Сичэне* — то есть в западной части Пекина.

...*господин Цянь Сян-шу...*— то есть Цянь Чэнь-цзинь (1686—1774), ученый и каллиграф, покровительствовавший Цзи Юню.

ФЭН МЭН-ЛУН (?—1646)

САПОГ БОГА ЭР-ЛАНА

Повесть тринадцатая из сборника «Слово вечное, мир пробуждающее». Перевод выполнен по изданию: Син ши хэн янь, Пекин, 1962.

Стр. 144. ...*на восьмого императора династии Северная Сун Хуэй-цзуна.*— Хуэй-цзун правил с 1100 по 1125 г.

Династия Южная Тан (937—975) правила в одном из десяти мелких государств, основанных на развалинах Танской империи в районе южного течения реки Янцзы. Последний владыка Ли — Ли Юн (правил с 961 по 975 г.) прославился как крупный поэт.

Стр. 145. *Государь Шэнь-цзун* — правил с 1067 по 1085 г.

...*его брат Чжэ-цзун* — правил с 1085 по 1100 г.

Меж Четырех морей — образное название Китая.

В первый год... эры «Возвещения гармонии» — то есть в 1119 г.

Стр. 146. ...*любимой наложницы государя Ань-фэй.*— Ань-фэй — дочь торговца вином как-то попалась на глаза всесильному сановнику Ян Цзяню, он доложил о ней государю, и девушка была взята во дворец. Она полностью завладела чувствами государя.

...уже закалывала волосы в пучок — то есть исполнилось полных пятнадцать лет.

Стр. 148. *Тайвэй* — высшая военная должность, равная первому министру.

Стр. 149. *Сюань-цзун* правил с 847 по 859 г.

...не менее сотни лет.— Сказитель рассказывает знаменитую в сунском Китае историю, послужившую сюжетной основой известной новеллы Чжан Ши (XII в.) «Красный лист» (русский перевод см. в кн. «Нефритовая Гуаньинь». М., 1972).

Стр. 150. *...Истинный и святейший правитель Северного предела* — дух Севера, черноликий Сюань-у, почитаемый последователями даосизма.

Бог Эр-лан.— Существуют различные предания о боге Эр-лане; по одной версии, он бог вод — сын древнего героя Ли Бина, по другой — племянник самого Верховного небесного владыки, Нефритового государя. В позднесредневековое время Эр-лан был особо почитаем как бог актеров.

Стр. 152. *...яшмовый пояс ланьтяньский.* Ланьтянь — название горы в одноименном уезде северо-западной провинции Шэньси.

Стр. 153. *...не парков инчжоуских житель...*— Инчжоу — сказочная гора, будто бы плавающая в море, на которой обитают бессмертные.

...у Чжан Сяня, дарующего сына...— Чжан Сянь — один из божеств китайского народного пантеона, который будто бы ниспосылает страждущим талантливых сыновей. Иногда его изображают с самострелом, стреляя из которого он якобы может рассеять нависшую над людьми беду.

Стр. 154. *...около Яшмового пруда.*— По древним мифологическим представлениям, на горе Куньлунь подле Яшмового пруда живут бессмертные феи, прислуживающие богине Запада Си-ван-му.

...в Пурпурном чертоге — то есть в обители Небесного государя.

Стр. 156. *...густые облака и щедрый дождь.*— Облака и дождь — символ соития.

Стр. 159. *Тайшань* — одна из крупнейших гор собственно Китая.

Стр. 168. *...книги Конфуция и Мэн-цзы.*— Мэн-цзы (372—289 гг. до н. э.) — известный философ, последователь Конфуция.

Стр. 169. *Разбойник Чжэ* — знаменитый разбойник древности.

Стр. 170. *Оленя лошадью назвав // сановник рассчитал вполне.*— Намек на известную историю, происшедшую в III в. до н. э., когда всесильный сановник Чжао Гао, мечтавший захватить трон, поднес молодому государю Эр-шихуану оленя, сказав, что дарит коня. Придворные, боясь Чжао Гао, стали тоже утверждать, что это конь, и государь решил, что его морочат бесы.

Или увидел мотылек // философа Чжуана.— В книге философа Чжуан-цзы (IV в. до н. э.) рассказывается, что однажды философу приснилось, что он весело порхающая бабочка. Проснувшись, он не мог понять, снилось ли ему, что он бабочка или это бабочке снится, что она Чжуан-цзы.

Стр. 174. *Заповеди Сяо-хэ // нарушать никогда не станешь.*— Имеются в виду строгие законы, разработанные в начале династии Хань (II в. до н. э.) советником Сяо Хэ.

ГЛИНЯНАЯ БЕСЕДКА

Повесть тридцать седьмая из сборника «Слово доступное, мир предостерегающее». Перевод выполнен по изданию: Цзин ши тун янь, Пекин, 1962.

Стр. 174. *...в Шаньдуне...*— Шаньдун здесь не полуостров, а сокращенное название местности в современной провинции Хубэй.

...несколько пучочков волос.— В старину китайцы выбривали детям головы, оставляя несколько пучочков волос.

Стр. 176. *Цзянькан* — местность в нынешней провинции Цзянсу.

...посреднику Чжоу...— При династии Сун в Китае существовал особый институт посредников, который подыскивал хозяевам работников, а если случалась кража или работник убегал, то помогали хозяевам ловить преступника.

Стр. 178. *Мэнчан живет в этом месте...*— Имеется в виду Мэнчанский господин, один из влиятельных сановников китайской древности, прославившийся своим гостеприимством. При дворе его кормилось несколько тысяч гостей.

Стр. 181. *...яшмовый заяц привстал на востоке.*— Яшмовый заяц — метафорическое обозначение луны.

Вот так и бамбук окропить...— См. прим. к с. 77.

Разрушили стену они // На многие-многие ли.— По народной легенде, от слез героини Мэн Цзян-нюй, муж которой погиб на строительстве Великой китайской стены, рухнула часть стены.

ИЗ БЕССЮЖЕТНОЙ ПРОЗЫ РАЗНЫХ ВЕКОВ

ХАНЬ ЮЙ

МОЛИТВЕННОЕ И ЖЕРТВЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ К КРОКОДИЛУ

Все переводы В. М. Алексеева, кроме перевода из Цзун Чэня, даются по книге «Китайская классическая проза в переводах академика В. М. Алексеева», М., 1959.

Стр. 191. *Чаочжоу* — область на территории нынешней провинции Гуандун, недалеко от Кантона.

Стр. 192. *...земли по Цзяну и Ханю* — то есть по рекам Янцзыцзян и Ханьшуй.

Чу и Юэ — древнекитайские царства.

...из варваров маней и и.— Мань — племена, обитавшие на южных окраинах Китая; племена *и* — собирательное название племен, обитавших на северных границах.

...за гранью больших четырех океанов — то есть внутри Четырех морей в самом Китае.

...внутри всех шести направлений — то есть верха, низа и четырех сторон света.

...следами работ Великого Юя.— Мифическому государю Юю приписывали покорение потопа и работы по ирригации.

Янчжоу — одна из девяти областей к югу от Янцзы.

ЛЮ ЦЗУН-ЮАНЬ (773—819)

НЕЧТО ОБ ОХОТНИКЕ ЗА ЗМЕЯМИ

Стр. 195. *Юнчжоу* — область в нынешней провинции Хунань.

...убивает троих червей — то есть злых духов, обитающих в голове, чреве и ногах человека и вредящих его здоровью.

Великий врач — то есть сановник, ведающий придворными лекарями.

Стр. 196. *Кун-цзы* (Мудрец Кун) — Конфуций.

РАССКАЗ О ПЛОТНИКЕ

Стр. 199. *...о принципах Иней и Чжоу* — то есть древних династий Инь (1766—1122 гг. до н. э.) и Чжоу (1122—255 гг. до н. э.).

То был И, или Фу, или Чжоу, иль Шао — то есть И Инь (XVIII в. до н. э.), Фу Юэ (XIII в. до н. э.) — мудрые советники правителей; Чжоу и Шао — братья У-вана, основателя династии Чжоу, прославившиеся своей мудростью.

ПРЕДИСЛОВИЕ К МОИМ ЖЕ СТИХАМ «У ПОТОКА ГЛУПЦА»

Стр. 200. *Гуаньшуй* — река в нынешней провинции Гуанси на юге Китая.

Стр. 201. *Долина Глупого магната.*— В сборнике «Сад рассказов» Лю Сяна (I в. н. э.) приводится такая история: «Цийский князь Хуань-гун отправился на охоту и, преследуя оленя, попал в горную долину. Увидев какого-то старца, он спросил: «Что это за долина?» Тот ответил: «Долина Глупого старца».— «Почему так?» — вопросил князь. «Да по имени вашего подданного»,— последовал ответ.

Но древний Нин-у-цзы — то есть Нин Юй, сановник древнекитайского царства Вэй, о котором Конфуций сказал: «Коль в стране Нин-у-цзы был путь, то он был мудр, коль в стране не было пути, то он (прикидывался) глупцом» («Беседы и суждения», 5, 21).

Философ Янь весь день не возражал... — Речь идет о любимом ученике Конфуция Янь Юане (514—483 гг. до н. э.), о котором великий мудрец сказал: «Я с Янем толковал весь день и не встретил возражений, похоже, он глупец. А когда он ушел, я проанализировал его поступки, оказывается, вполне понятлив, так что он вовсе и не глуп» («Беседы и суждения», 2, 9).

Стр. 202. *...стихи о восьми подходящих местах для глупца* — то есть перечисленные выше поток, холм, родник, канава, маленький пруд, павильон и остров.

ОУЯН СЮ (1007—1072)

ГОЛОС ОСЕНИ

Стр. 202. *Рты заткнуты.* — В древности воины в Китае во время похода вкладывали в рты специальные пластины, чтобы войско не производило шума.

Стр. 203. *Светлая Река* — Млечный Путь.

...есть нота шан... И далее ицзэ... — Шан — вторая ступень китайской пятиступенной гаммы; ицзэ — один из двенадцати тонов китайской гаммы.

В БЕСЕДКЕ ПЬЯНОГО СТАРЦА

Стр. 204. *...района Чу* — то есть в области Чучжоу в нынешней провинции Аньхой.

Ланъе — гора к юго-западу от Чучжоу.

Губернатор здешних мест — то есть сам Оуян Сю, сосланный сюда за заступничество за опальных сановников.

При этом помысел... не заключается в вине... — Намек на знаменитого поэта Тао Юань-мина (365—427), который неоднократно писал стихи о вине, но, как говорили, смысл их не в вине.

СУ ШИ (1036—1101)

КРАСНАЯ СТЕНА

Ода первая

Стр. 205. *...года под знаками «жэнь» и «сюй»* — то есть в 1082 г.

...стихи о «Светлой и белой луне», пропеть главу о «Милой скромной, о ней». — Су Ши имеет в виду песню из раздела «Нравы царств» древней «Книги песен», которая называется «Вышла на небо луна» (I, XII, 8); «Вы-

шла на небо луна и ярка и светла. // Эта красавица так хороша и мила...» (перевод А. А. Штукина).

...через Цзян... — то есть реку Янцзыцзян или Янцзы.

Цин — мера площади около 6,67 га.

Стр. 206. *...не принадлежат... Цао Мэн-дэ.* — То есть знаменитому полководцу и государственному деятелю, поэту III в. Цао Цао. Гость Су Ши цитирует его «Короткую песнь».

...там Сякоу. — То есть город Сякоу на Змеиной горе — Шэшань в нынешней провинции Хубэй.

Учан — ныне город Эчэн в провинции Хубэй.

...попал в западню Чжоу-лана. — Речь идет о полководце царства У, существовавшего в III в. в нижнем течении Янцзы, Чжоу Юе, который разбил войска Цао Цао под Красной стеной.

Цзинчжоу — местность на территории нынешнего уезда Сянъян провинции Хубэй.

...до Цзянлина... — то есть до уезда Цзянлин той же провинции Хубэй.

КРАСНАЯ СТЕНА
Ода вторая

Стр. 207. *...в реке Сунцзян* — то есть в реке Усун.

Стр. 208. *...храм тайный Фын И...* — Фын И — древний мифологический персонаж, дух вод.

ЦЗУН ЧЭНЬ (1525—1560)

ОТВЕТ ЛЮ И-ЧЖАНУ НА ПИСЬМО

Перевод дается по книге: «Дневная звезда», «Восточный альманах», выпуск второй, М., 1974.

ШЭНЬ ФУ (1763—1808)

ШЕСТЬ ЗАПИСОК О БЫСТРОТЕЧНОЙ ЖИЗНИ
(Фрагменты)

Перевод выполнен по изданию: Шэнь Фу, Фу шэн лю цзи, Пекин, 1926.

Стр. 211. *...земли Шу, Цянь и те, что к югу от Дянь.* — Шу — старинное название земель в провинции Сычуань на юго-западе Китая, Цянь — название земель в провинции Гуйчжоу на юге и Дянь — старинное название провинции Юньнань на крайнем юго-западе, у границ Бирмы.

Шаньинь — уезд в провинции Шаньси.

Ханчжоу — знаменитый своей красотой город на берегу озера.

Стр. 212. *...в Сучжоу.*— См. прим. к с. 113.

...Источника Старца по прозванию «Один из шести».— Знаменитый писатель Оуян Сю (1007—1072) взял себе псевдоним «Один из шести» (Лю-и), разъяснив его так: «В доме моем хранятся книги — один раз десять тысяч томов, да собрано древних подписей на бронзе и камнях — одна тысяча, есть одна цитра, одна доска для игры в шашки да один чайник для вина. Так разве я, старец, живущий давно среди этих пяти вещей, не есть один из шести?» Источник был назван так в честь Оуян Сю.

...от «духа румян и пудры» — то есть там разгуливают красотки.

Могила Су Сяо (точнее: Су Сяо-сяо).— «Малютка Су», знаменитая ханчжоуская певица, жившая при династии Южная Ци (479—501).

Год «гэн-цзы» — то есть 1780 г.

Год «цзя-чэнь» — то есть 1784 г.

Стр. 213. *Долгое лето* — образное название шестого лунного месяца.

Стр. 214. *Дунъюэ* («Восточный пик») — образное название горы Тайшань в провинции Шаньдун.

Год «син-чоу» — то есть 1781 г.

Стр. 215. *...в Уцзянскую управу.*— Уцзян — название уезда в провинции Цзянсу.

Минфу — правитель области.

Тайху — одно из крупнейших и живописнейших озер Китая, на границе провинций Цзянсу и Чжэцзян.

Хайнин — уезд в провинции Чжэцзян.

Чжан — 3,2 м.

Стр. 217. *...в Хуэйчжоу* — то есть в провинции Аньхой.

Цзы-лин — прозвание Янь Гуана (I в. н. э.), отшельника и друга государя Гуан-у-ди, который будто бы удил рыбу в этих местах.

Хуан Чао — руководитель народного восстания, вспыхнувшего в Китае в IX в.

...кистью Дровосека с горы Желтого аиста...— Прозвание знаменитого художника XIV в. Ван Мэна, внука Чжао Мэн-фу (см. прим. к с. 138).

Маньтоу — печенные на пару пирожки, вроде больших пельменей.

...двумя заморскими серебряными монетами.— Исследователи записок Шэнь Фу предполагают, что речь идет о серебряных талерах, имевших тогда хождение в приморских городах Китая.

Стр. 219. *...«уподобиться Фэн Фу».*— В трактате философа Мэн-цзы рассказывается о неком Фэн Фу, искусном ловце тигров, который однажды бросил свое занятие, чтобы стать ученым мужем, но потом обстоятельства вновь вынудили его вернуться к старому занятию.

...в Цзянбэе — то есть в землях к северу от Янцзы.

...из Восточного Гуандуна — то есть из района Кантона.

Линнань — земли на юге Китая, на границе с Вьетнамом.

Малая весна — образное название десятого лунного месяца.

Ухy — уезд в провинции Аньхой.

Стр. 220. *При ловле не бери частую сеть.*— Чуть перефразированные слова из книги «Мэн-цзы», где говорится: «с частой сетью не входят в стоячую воду» (I, 3).

...во вступлении к оде «Беседка Тэнского князя»...— Имеется в виду знаменитое сочинение Ван Бо (647—675) «Во дворце Тэнского князя. Предисловие к стихам» (русский перевод см. в кн.: «Китайская классическая проза в переводах академика В. М. Алексеева». М., 1959).

Стр. 221. *...актерок из Грушевого сада.*— Грушевым садом называлась в эпоху Тан школа, где обучали придворных актеров. С тех пор выражение «Грушевый сад» стало образным обозначением театра.

Стр. 222. *Кан* — лежанка, обогреваемая проходящим внутри дымоходом.

Стр. 224. *«Собрание всевозможных благовоний».*— Имеется в виду знаменитый каталог растений, составленный Ван Сяном при династии Мин (XIV — начало XVII в.).

Стр. 227. *Личжи* — небольшие плоды, растущие на юге Китая, по виду похожи на орехи, но внутри скорлупы мякоть, напоминающая клубнику.

Стр. 228. *Цинпу* — уезд в провинции Цзянсу.

Б. Рифтин

КОРЕЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

КИМ БУСИК

ИЗ «ИСТОРИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ О ТРЕХ ГОСУДАРСТВАХ»

Перевод печатается по изданию: Самгук саги, т. 1—2. Пхеньян, 1958—1959.

СЫН СОЛНЦА И ЛУНЫ ТОНМЁН-ВАН

Стр. 244. *Когурё* — одно из трех древнекорейских государств в первых веках новой эры в Северной Корее и Северо-восточном Китае; пало в конце VII в.

Тонмён-ван — полумифический основатель Когурё, носивший титул священного государя, правил в 37—20 гг. до н. э.

Чумон — личное имя Тонмён-вана, которое запрещалось произносить при его жизни.

Хэбуру — легендарный правитель Пуё (китайск. Фуюй), племенного владения в Северо-восточном Китае в I в. до н. э.

Конён.— Это и некоторые другие географические названия в «Исторических записях...» не идентифицированы.

Восточное море — Японское море.

Пять хлебов.— Здесь, скорее всего: рис, просо, ячмень, пшеница, бобовые.

Касобвон — по-видимому, название сказочной «равнины Касьяпа» (одного из семи древних будд) было присвоено местности на востоке Кореи, где ныне находится город Каннын (провинция Канвондо).

Стр. 245. *Убальсу* — название реки, местонахождение которой связывается с уездом Ёнбён в провинции Северная Пхёнандо.

Тхэбэксан — здесь: старое название горы Мёхянсан в уезде Ёнбён.

Хабэк — в корейской мифологии божество водной стихии.

Унсимсан.— Название горы не идентифицировано.

Амноккан (китайск. Ялуцзян) — река на границе между Кореей и Китаем, впадает в Желтое море.

Сын — мера объема, равная десяти пригоршням, или 1,8 л.

Стр. 246. *Омхосу* — подразумевается река Дунцзяцзян, северо-восточный приток реки Амноккан (провинция Ляонин, Китай).

Модунгок — долина, находившаяся, вероятно, в уезде Сончхон (провинция Южная Пхёнандо). Название реки Посульсу (китайск. Пушу) в провинции Шаньдун (Китай), которое упоминается в летописи «Вэйшу» (VI в.), здесь не подходит.

Чольбончхон — по-видимому, в районе современного города Кайюань (провинция Ляонин).

Пирюсу (китайск. Билишуй) — вероятно, современная река Хойфацзян, приток реки Амноккан (провинция Ляонин).

Стр. 246—247. *...второй год правления... Хёккосе... «капсин».*— Летосчисление в средневековой Корее велось по годам и девизам (эрам) правления китайских императоров и корейских королей, а также по шестидесятилетнему циклу, где название года состояло из парных сочетаний «десяти небесных стволов» (первоэлементов природы) и «двенадцати земных ветвей» (знаков зодиака). Год «капсин» соответствует 37 г. до н. э. Хёккосе — основатель другого древнекорейского государства Силла, правил с 57 г. до н. э. по 3 г. н. э.

Мохе — название тунгусо-маньчжурских племен, живших на северо-востоке Китая в районе реки Сунгари, а позже и в корейских провинциях Северная и Южная Хамгёндо.

Пирюгук — на самом деле не название государства, а территория вдоль реки Пирюсу.

ГОСПОЖА СОЛЬ

Стр. 247. *Чинпхён-ван* — король Силла, правивший в 579—631 гг.

Чонгок — местечко, позже почтовая станция в уезде Санчхон провинции Южная Кёнсандо.

Сарянбу — одно из шести поселений людей «подлого» сословия в Силла недалеко от нынешнего Сувона в провинции Кёнгидо.

Стр. 248. *Счастливый день.*— В старину в Корее, как и в Китае, для любого начинания, в том числе и свадьбы, устанавливался путем гадания или по специальным таблицам благоприятный день.

СОЛЬ ЧХОН И «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ЦАРЮ ЦВЕТОВ»

Стр. 249. *Соль Чхон* (VII — начало VIII в.) — крупный ученый в государстве Силла.

Вонхё (617—686) — буддийский подвижник из Силла, основатель секты, носящей его имя. См. «Вонхё ведет себя необузданно».

Учение даосов.— Древнекитайское учение об универсальном законе природы (Дао), который порождает многообразие мира и составляет сущность явлений и вещей, а также о нравственном самоусовершенствовании человека. Основоположником даосизма считается Лао-цзы (ок. VI в. до н. э.).

Девять классических книг.— Имеются в виду основные сочинения конфуцианского канона — «Ицзин» («Книга перемен»), «Щуцзин» («Книга исторических преданий»), «Шицзин («Книга песен»), «Чжоули» («Установления династии Чжоу»), «Или» («Обряды и установления»), «Лицзи» («Книга церемоний»), «Чуньцю» («Весны и Осени»), «Сяоцзин» («Книга о сыновней почтительности») и «Луньюй» («Беседы и суждения»).

Синмун-ван — король объединенного государства Силла, правивший в 681—691 гг.

Царь цветов.— Подразумевается пион; пионы начали разводить в Ханчжоу (Китай) при династии Тан.

Стр. 250. *«Дурные камни»* — у алхимиков название сильно действующего лекарства.

Фэн Тан (II в. до н. э.) — китайский сановник из царства Чжао, прослуживший при ханьских императорах Вэнь-ди и Цзин-ди, то есть в 179—140 гг. до н. э., и из-за своих умных, но дерзких по форме советов им не достигший высоких чинов при дворе.

Архат — буддийский праведник, достигший высшей степени совершенства перед тем, как стать буддой. Скульптурные изображения архатов помещаются в монастырях (см. с. 280).

...сочинение Вонхё «Шастра о самадхи по Алмазной сутре».— Не сохранилось. Шастра — буддийское философское сочинение; самадхи — состояние, когда человек, созерцающий истину, достигает единения с носителем истины — Буддой; Алмазная сутра — одна из важнейших частей буддийского канона, в которой описываются жизнь и проповеди Будды и его учеников.

Стр. 251. *Хёнджон* — корейский король династии Корё, правивший в 1010—1031 гг.

...год «имсуль» — начальный год эры правления «Цянь-син»...— 1022 г.

Хонъюху — один из рангов знатности местного правителя.

ИРЁН

ИЗ «ДОПОЛНЕНИЙ К ИСТОРИИ ТРЕХ ГОСУДАРСТВ»

Перевод выполнен по изданию: Самгук юса, Пхеньян, 1960.

ВОНХЁ, СБРОСИВШИЙ С СЕБЯ ПУТЫ

Стр. 251. *Инпхи-гон* и *Чоктэ-гон* — титулы знатности, дававшиеся в Силла представителям аристократии по названию владений.

Нэмаль — чин одиннадцатого ранга (всего было семнадцать рангов).

Чансан — старое название уездного центра Кёнсан в провинции Северная Кёнсандо.

«Жития танских подвижников» («Тансэнчжуань») — по-видимому, китайское сочинение «Сунские жизнеописания выдающихся монахов» (конец X в.), где даются биографии знаменитых буддийских монахов эпохи Тан.

Стр. 252. *Хасанджу*.— Местонахождение не установлено; по-видимому, в Санджу (см. ниже).

«Линь-дэ» — девиз правления (664—665) танского императора Гаоцзуна.

Мунму-ван — король Силла, правивший в 661—680 гг.

Санджу — уезд в провинции Северная Кёнсандо.

Хаджу — старое название уезда Чханнён (Южная Кёнсандо).

Самнянджу — старое название уезда Янсан (Южная Кёнсандо).

Амнянгун — старое название волости Амнян в уезде Кёнсан.

Чаин — название волости в том же уезде.

Детское имя.— В Корее, как и в ряде других стран региона, человеку могло быть присвоено несколько имен в различные периоды жизни.

Пятицветные облака — в народной мифологии: благовестные облака, на которых будто бы передвигаются бессмертные.

«Да-е» —девиз правления китайского императора династии Суй — Ян-ди (605—617).

Тхэджон — король государства Силла, правивший в 654—660 гг.

Мунчхон — речка в уезде Янджу в провинции Кёнгидо.

Намсан — невысокая гора в черте города Сеула.

Стр. 253. *...истолковал классиков*.— То есть конфуцианские сочинения.

«Страна, лежащая к востоку от моря».— Так в средние века китайцы именовали Корею. Под «морем» имеется в виду Желтое море.

...тыкву, на которой подыгрывают танцам... — то есть тыкву-горлянку, из высушенной половины которой на Дальнем Востоке изготовляют черпаки, а иногда используют вместо барабана.

Сутра «Хуаяньцзин» («Аватамсака сутра») — буддийское философское сочинение, легшее в основу учения секты китайского буддизма «Хуаянь» в

VI—VII вв.; оказало влияние на развитие средневековой философии в Китае и Корее.

Пунхванса — знаменитый буддийский монастырь, основанный в Силла в 634 г. близ Кёнджу (Северная Кёнсандо).

Дошел до сороковой ступени... — Согласно буддийскому учению, бодхисатва (святой) должен пройти пятьдесят два этапа к просветлению, прежде чем достигнет состояния будды.

...разделял свое тело на сотню сосен... — Буддийское выражение, означающее явление святого в разных видах.

«Саньмэйцзин» — «Сутра о самадхи» (см. прим. к с. 250).

...смысл двух видов просветленности... — то есть эзотерического самосозерцания, доступного лишь посвященным в учение Будды, и экзотерического созерцания — доступного тем, кто лишь на пути просветления.

Тэан (571—644) — великий наставник из государства Силла, у которого слушал буддийские проповеди Вонхё.

Стр. 254. *Славословие* (цзань) — один из видов китайской поэзии, в котором возносилась хвала той или иной выдающейся личности с кратким изложением ее деяний.

...обратил свою тень к пустоте — то есть достиг просветленности высшей формы, так как истинный реальный мир, согласно буддийскому учению, это мир теней.

ИЗ «ВОСТОЧНОГО ИЗБОРНИКА»

Перевод печатается впервые по ксилографическому изданию 1478 года, хранящемуся в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР.

ЛИМ ЧХУН

ИСТОРИЯ ДЕНЬГИ

Стр. 254. *Кунфан* — мелкая медная монета в Китае с отверстием посредине. В старину их считали «связками в тысячу монет» (гуань).

Шоуяншань — гора в Китае; сведения о ее местонахождении расходятся.

Хуан-ди («Желтый государь») — легендарный правитель древнего Китая в XXVII в. до н. э., который будто бы собрал медь на горе Шоуяньшань и впервые отлил из нее треножник.

Чжоу. — См. прим. к с. 199.

При составлении комментария к произведениям из «Восточного изборника» (за исключением «Премудрого Хмеля») использованы материалы А. Ф. Троцевич.

Стр. 255. *Хань.*— См. прим. к с. 37.

...Пи, правитель владения У...— Удельный правитель владения У (провинция Цзянсу, Китай). Стал сам лить медную монету, когда это было еще запрещено, и по богатству стал равным императору. После этого в 154 г. до н. э. он поднял восстание против господствовавшей династии Хань.

У-ди.— См. прим. к с. 52.

Кун.— Имеется в виду сановник Кун Цзинь, получивший в 120 г. до н. э. важный в ханьском Китае пост помощника управляющего солью и железом и одним из первых предложивший ввести государственную монополию на соль и железо.

...в возвращении древних порядков...— Намек на конфуцианский принцип «следовать древнему».

Цзинь — 0,6 кг.

Гун Юй (I в. до н. э.) — ученый муж и советник при императоре Юань-ди; предложил раздать беднякам деньги, затрачиваемые на развлечения.

Стр. 256. *Комментарий Гуляна...*— Гулян Чи — китайский ученый V в. до н. э.

Миньская земля — нынешняя провинция Фуцзянь в Китае.

Ручей Жое — ручей возле гор Жое в провинции Чжэцзян в Китае.

Чжун — древнекитайская мера сыпучих тел, примерно 40 л.

...жертвенную пищу в пяти треножниках? — В древнем Китае при жертвоприношениях мелкие чиновники приносили жертвенную пищу в трех треножниках, а крупные — в пяти.

Цзинь — династия в Китае, правившая в 265—420 гг.

Хэ Цяо (ум. в 292 г.) — сановник при двух первых императорах династии Цзинь, для которого стремление к богатству превратилось в «денежную лихорадку».

Лу Бао (III в.) — китайский ученый, живший в бедности; автор сатирического сочинения «Трактат о божестве денег».

Юань Сюань-цзы (Юань Су, III в.) — знаток «Книги перемен» и даосского учения, проживавший в государстве Цзинь, был известен любовью к вину.

Стр. 257. *Ван И-фу* (Ван Янь; 256—311) — китайский последователь даосизма. В его биографии сказано, что он никогда не произносил слово «деньги». Тогда его жена приказала служанке разложить деньги вокруг его постели. Когда Ван И-фу, проснувшись, увидел их, он призвал служанку и приказал ей: «Убери прочь эту дрянь!»

Лю Янь (ум. в 780 г.) — китайский сановник, который предпринимал усилия оградить неимущих от беззакония и вымогательств властей.

«Трактат о пище и деньгах» («Шихуачжи») — название раздела в «Истории Ранней Ханьской династии» («Ханьшу») Бань Гу (32—92).

Годы «Кай-юань» и *«Тянь-бао»* — китайские девизы правления, соответствующие 713—741 и 742—755 гг.

Шэнь-цзун — китайский император, правивший в 1068—1086 гг.

«Огненная Сун» — название китайской династии Северная Сун (960—1126). Эпитет «огненный» дан ей по названию одного из пяти первоэлементов — «Огонь», под которым правил первый император этой династии Тай-цзу.

Ван Ань-ши (1021—1086) — китайский политический деятель и поэт, автор реформ, направленных на укрепление государства.

Люй Хой-цин (ум. в 1071 г.) — активный сторонник реформ Ван Ань-ши.

Су Ши, возглавивший оппозицию реформ Ван Ань-ши, был сослан на остров Хайнань. О Су Ши — см. с. 36, а также прим. к с. 104 и 205.

Сыма Гуан (1019—1086) — крупный китайский историк, автор летописи «Зерцало всеобщее, управлению помогающее» («Цзычжи тунцзянь»), противник реформ Ван Ань-ши.

ЛИ ГЮБО

ПРЕМУДРЫЙ ХМЕЛЬ
(«ИСТОРИЯ ГОСПОДИНА ЦЮЯ»)

Стр. 258. *Винный источник* (Цзюцюань).— Так же называлась древняя область на западе провинции Ганьсу (Китай), где находился источник, вода которого будто бы имела вкус вина.

Сюй Мо (ум. в 249 г.) — советник крупного китайского полководца Цао Цао, знаменитый бражник.

Когда воины царства Чжэн напали на Чжоу...— Древнекитайское царство Чжэн (в современной провинции Шэньси) в VII—V вв. до н. э. вело вместе с другими удельными царствами борьбу против правящего дома Чжоу.

Пинъюань — округ в провинции Шаньдун при династии Хань.

Лю Лин из Чжуншаня (III в.) — китайский ученый и поэт из содружества «Семи мудрецов в Бамбуковой роще», известен как певец вина. Чжуншань — название старинного округа в провинции Хэбэй.

Тао Цянь из Сюньяна (Тао Юань-мин).— См. прим. к с. 204; за любовь к вину и стихи о вине его прозвали «хмельным поэтом» (Бо Цзюй-и). Сюньян — название старинного округа в провинции Цзянси.

Стр. 259. *Цинчжоу* — округ в современной провинции Шаньдун. Автор не случайно выбрал это географическое название; оно по звучанию совпадает со словом, означающим «очищенная водка».

Звезда Цзюцисин — в переводе: «Кабацкая вывеска»; по-видимому, Регул, самая яркая звезда в созвездии Льва. Гадание по звездам было издревле распространено в странах Дальнего Востока.

...весенними и осенними жертвоприношениями в храме предков...— Важная часть культа умерших, строго соблюдавшаяся со времен Конфуция.

Умелая кисть.— Этот персонаж взят из произведения Хань Юя «Биография кисти».

...чьи способности можно вместить в бамбуковую корзинку...— Цитата из «Бесед и суждений», в которой Конфуций хочет сказать, что страной управляют малоспособные люди.

...достиг высшего третьего ранга...— В китайском и корейском (с конца X в.) табелях о рангах было девять чиновничьих степеней, с подразделением каждой на полную и неполную. Но автор дает трехстепенную градацию: по сортам вина, совпадающую с тремя степенями знатности.

Стр. 260. *Вино, настоянное на перьях птицы чжэнь* — считалось сильнейшим ядом. Чжэнь — сказочная птица темно-красного цвета, похожая на орла и питавшаяся змеями.

...между округой Ци и областью Гэ...— Реальные названия древних владений в провинции Шаньдун; здесь автор обыгрывает звучания этих названий, совпадающие со словами «пупок» (ци) и «диафрагма» (гэ).

Чоучэн — название вымышленное.

Сян — река в провинции Хунань (Китай), впадающая в Янцзыцзян.

...недугом чрезмерной жажды...— то есть сахарной болезнью.

Стр. 261. *...до жалованья в две тысячи даней зерна в год.*— В старом Китае — это жалованье чиновников первых трех рангов из девяти. Дань — китайская мера веса, равная в ту эпоху 30 кг.

ЛИ ГОК

БАМБУЧИНА
(«ИСТОРИЯ ГОСПОЖИ ЧЖУ»)

Стр. 261. *Цзян-тайгун* (настоящее имя — Люй Шан) — китайский отшельник, удивший рыбу на реке в Вэйшуй и ставший советником чжоуского государя У-вана (1122—1115 гг. до н. э.) и получивший высокий титул «тайгун».

Стр. 262. *...ведать музыкой.*— Согласно конфуцианскому учению, музыка считалась одним из важнейших государственных ритуалов.

Юй — легендарный основатель китайской династии Ся (2205—1783 гг. до н. э.), считавшийся конфуцианцами идеальным правителем. Согласно преданию, когда Юй играл на свирели, прилетали фениксы, и наступала всеобщая гармония.

Фу-си — легендарный китайский правитель, которому приписывается изобретение иероглифической письменности. До изобретения бумаги писали на бамбуковых или деревянных дощечках, костях и коже.

Циньские бедствия.— Имеется в виду деспотическое правление создателя единой китайской империи Цинь Ши-хуана (246—209 гг. до н. э.), по приказу которого были сожжены древние и конфуцианские письменные памятники и заживо погребены более четырехсот шестидесяти ученых-конфуцианцев.

Ли Сы (ум. в 208 г. до н. э.) — ближайший советник Цинь Ши-хуана, беспринципный карьерист, сгубивший вкупе с себе подобными Циньскую империю.

Цай Лунь (ум. в 114 г.) — советник при китайском императоре Хэ-ди, впервые применивший для письма шелк, бумагу и тушь.

Вэнь-ван («Просвещенный государь», XII в. до н. э.) — китайский правитель, отец основателя династии Чжоу, почитавшийся примером мудрости и добродетели.

Владение Ци — одно из сильнейших царств в древнем Китае (XII—III вв. до н. э.) на территории нынешней провинции Шаньдун.

Янчжоу — город на юге нынешней провинции Цзянсу (Китай).

Владения ху — соседние с Китаем владения северных кочевых племен ху, к которым позже стали относить сюнну (гуннов).

Стр. 263. *Ван Цзы-ю* (Ван Хой-чжи; ум. в 388 г.) — сын знаменитого мастера каллиграфии Ван Си-чжи, с любовью и почтением относившийся к бамбуку; он называл его «господином».

Князь Сосна — символ твердости и верности долгу. При Цинь Ши-хуане сосне был присвоен княжеский титул.

...стойкость достославной Сливы Мэй... — Зимняя дикая слива, которая цветет, когда земля еще покрыта снегом; символ стойкости и благородной чистоты. Здесь подразумевается китайский ученый-отшельник Мэй Фу (I в. до н. э.— I в. н. э.).

...безмолвие Сливы Ли... — Ли — название культурных сортов сливы. Очевидно, подразумевается основатель даосского учения Лао-цзы, который имел фамилию Ли. Ему принадлежит изречение: «Знающий не говорит».

...старик Мандарин... мудрец Абрикос... — Под первым имеется в виду китайский поэт Цюй Юань, воспевший мандариновое дерево, символ гордости и несгибаемости; под вторым — Конфуций, который на Абрикосовой террасе излагал ученикам свое учение.

Вэнь Юй-кэ (Вэй Тун; 1018—1079) — китайский поэт, каллиграф, крупнейший мастер живописи на темы бамбука.

Су Цзы-чжань — прозвище поэта Су Дун-по (Су Ши). Многие его произведения связаны с образом бамбука.

Гучэншань — гора на северо-востоке провинции Шаньдун. Сохранилась китайская легенда, в которой рассказывается о том, как один бессмертный будто бы явился к Чжан Лану, соратнику первого ханьского императора Гао-цзу, и вручил ему книгу, ставшую знамением возвышения Ханьской династии, а сам превратился в Желтый камень под горой Гучэншань.

«День бамбукового хмеля» — традиционный праздник в Китае. Говорят, что если в этот день посадить бамбук, то он обязательно примется.

ОТШЕЛЬНИК СИГЁН

СЛУЖКА ГВОЗДЬ
(«ИСТОРИЯ ПОСЛУШНИКА ДИНА»)

Стр. 264. *Нюй-ва* — мифический персонаж, сестра и жена легендарного китайского правителя Фу-си, создательница людей.

Цзинь — одно из древних царств в Китае, находилось на территории нынешних провинций Шаньси и Хэбэй.

Семейство Фаней.— Имеется в виду основатель рода Фань, советник правителя царства Цзинь в VI—V вв. до н. э.

Стр. 265. *...покрыл свое тело лаком...*— Намек на жизнеописание мстителя Юй Жана (VI—V вв. до н. э.) в «Исторических записках» Сыма Цяня. Юй Жан был уроженцем царства Цзинь и служил сначала роду Фань, а затем Чжи-бо. Когда Сян-цзы, глава дома Чжао, убил в 453 г. до н. э. Чжи-бо, Юй Жан поклялся отомстить ему. Чтобы никто не смог узнать его, Юй Жан намазался лаком — и тело покрылось язвами, потом стал глотать уголь, пока не начал заикаться. Несколько раз он пытался убить Сян-цзы, но безуспешно. И всякий раз Сян-цзы оказывался великодушным к мстителю, уважая его преданность прежнему господину.

Старец Чжао (Чжао Чжоу; 778—897) — знаменитый китайский буддийский наставник, последователь эзотерического учения секты Чань.

Динтао — название местности в провинции Шаньдун.

Дин-саньлан — фамилия Дин («Гвоздь») и почетный титул третьей степени (из восьми).

...глиняный идол надо мной смеялся.— Намек на жизнеописание Мэнчан-цзюня (III в. до н. э.) в «Исторических записках» Сыма Цяня. «Когда мудрец Мэнчан-цзюнь собрался ехать к циньскому правителю Чжао-вану, все стали его отговаривать. Но он никого не хотел слушать. Тогда один из его друзей сказал: «Нынче на рассвете вышел я наружу и увидел беседовавших между собой деревянного и глиняного идолов. Деревянный и говорит: «Идет дождь, он вас разрушит». На это ему отвечает глиняный: «Я возник из земли. И если я разрушусь, то снова вернусь в землю. Если же вас теперь унесет небесный дождь, то вы не знаете, где найдете пристанище». Цинь — это земля тигров и волков. И вы хотите туда отправиться! Коль случится так, что вы не сможете вернуться, не будете ли вы достойны насмешки глиняного болвана?...» (См. также в данном томе произведение вьетнамского писателя Ле Тхань Тонга «Перебранка двух будд».)

Хуашань.— В Китае и Корее имеется несколько гор с таким названием (Цветочная гора); здесь, по-видимому, гора в провинции Цзянсу (Китай).

Хуаду — старинное название города в провинции Шаньси, где находится также гора Хуашань, одна из пяти знаменитых гор Китая.

Тыква-горлянка — здесь: даосский и буддийский образ пустоты.

СОН ХЁН

ИЗ СБОРНИКА «ГРОЗДЬЯ РАССКАЗОВ ЁНДЖЭ»

Перевод печатается по книге: Черепаховый суп. Корейские рассказы XV—XVII вв. Л., «Художественная литература», 1970.

ОПЛОШАЛ

Стр. 266. *Чонпха* — почтовая станция недалеко от столицы Хансон (ныне — Сеул).

Кисэн — профессионально обученные музыкантши, певицы и танцовщицы, относившиеся к низшему сословию в средневековой Корее.

Каягым — самый популярный в Корее струнный щипковый инструмент, напоминающий гусли.

Янбан (дословно: «два деления») — представитель привилегированного дворянского сословия, состоявшего из гражданских и военных чиновников.

СПУТАЛСЯ С СОБСТВЕННОЙ ЖЕНОЙ

Стр. 267. *...медвежья лапа и зародыш барса...*— деликатесы в старинной корейской кухне.

ЧХОН Е

ИЗ СБОРНИКА «РАЗНЫЕ РАССКАЗЫ ИЗ СТРАНЫ, ЛЕЖАЩЕЙ К ВОСТОКУ ОТ МОРЯ»

Перевод печатается по книге: Черепаховый суп ...

ГОЛЫЙ ЧЕДОК В СУНДУКЕ

Стр. 268. *Чедок* — начальник сухопутного и морского войска в провинции.

Кёнджу — крупный город в Южной Кёнсандо.

ЛЮ МОНЪИН

ИЗ СБОРНИКА «ПРОСТЫЕ РАССКАЗЫ ОУ»

Перевод печатается по книге: Черепаховый суп...

АРКА С НАДПИСЬЮ «ВЕРНОЙ ЖЕНЕ»

Стр. 272. *Муса* — военный дворянин.

Мильсон, Сонджу и *Санджу* — названия уездов и их центров в провинции Северная Кёнсандо.

Стр. 273. *...высилась арка — «Верной жене».*— В старой Корее в награду за особые заслуги в проявлении конфуцианских добродетелей (женское целомудрие, сыновнюю почтительность и т. п.) перед домами отличившихся строились арки красного цвета с соответствующими надписями.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ИЗ СБОРНИКА «МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ ОТ СКУКИ»

Перевод печатается по книге: Черепаховый суп

ЕСЛИ БАМБУК ТВОЙ...

Стр. 273. *Чуджин* — по-видимому, селение в уезде Анпхён в Северной Кёнсандо.

Сонсэн Ун Су — метафорическое название странствующих буддийских монахов, означающее в переводе «Бегущие облака и быстрые реки». Здесь используется как прозвище героя. Сонсэн — учитель.

Кан — единица жилой площади, равная 2,5 кв. м.

...по примеру Тао Юань-мина выращивал хризантемы...— Гордая царица осени хризантема — любимый цветок Тао Юань-мина. В китайском трактате XV в. «Слово о живописи из сада с горчичное зерно» хризантемы «сродни одиноким вершинам с их чувством собственного достоинства и покоем, они словно благородные люди с их чувством долга» (перевод Е. Завадской).

Чжоу Мао-шу (Чжоу Дунь-и; 1017—1073) — крупнейший китайский мыслитель, один из зачинателей сунской философской школы конфуцианства; большой любитель цветов лотоса.

«О продлении жизни» Чжуан-цзы — глава из трактата «Чжуан-цзы».

«Рассуждения об удовольствиях» Чжун Чжан-туна.— Трактат китайского ученого, жившего в 179—220 гг.

Стр. 274. *...с берегов реки Ци, что во владениях Вэй...*— то есть с мест, славившихся в старину в Китае зарослями бамбука. Ци — река, протекающая в провинции Хэнань, где находились владения древнего царства Вэй.

Аншань — гора в провинции Аньхой (Китай).

Линь Бу — китайский поэт XI в., известный также под прозванием «Хозяин озера Сиху». На скале возле этого озера он безмятежно жил, занимаясь поэзией и каллиграфией, наслаждаясь цветами зимней сливы «мэй» и полетом журавлей.

Господин Ли.— Вероятно, имеется в виду прославленный китайский пейзажист Ли Сы-сюнь (651—716).

Стр. 275. *Юй* и *Жуй* — небольшие китайские царства, находившиеся в нынешней провинции Шаньси.

КИМ СИСЫП

ИЗ «НОВЫХ РАССКАЗОВ, УСЛЫШАННЫХ НА ГОРЕ ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХИ»

Перевод печатается по одноименному изданию: М., «Художественная литература», 1972.

ПЬЯНЫЙ В ПАВИЛЬОНЕ ПЛЫВУЩЕЙ ЛАЗУРИ

Стр. 275. *Павильон Плывущей лазури* (Пубённу) — башня, сооруженная в XII в. на горе Узорчатой к востоку от *монастыря Вечной ясности;* одна из достопримечательностей Пхеньяна, не раз воспевавшаяся поэтами. Разрушена во время войны в 1951 г.

Чосон — название первого политического объединения древнекорейских племен, о происхождении и местонахождении которого существуют легенды. Согласно одной из них, Древний Чосон был основан мифическим правителем Тангуном на территории Северо-восточного Китая и Северной Кореи со столицей Вангомсон (будто бы в районе нынешнего Пхеньяна) и в 108 г. до н. э. был захвачен ханьским императором У-ди. Это название, неточно переводимое в литературе как «Страна утреннего спокойствия», вновь стало употребляться с конца XIV в. и поныне как самоназвание страны.

...когда чжоуский правитель У-ван одержал победу над государством Шан, он посетил там мудрого Киджа... — Правитель китайского царства Чжоу, У-ван, в 1122 г. до н. э. сверг последнего государя династии Шан-Инь и установил династию Чжоу (1122—247 гг. до н. э.). Киджа (по-китайски Цзи-цзы) — опальный вельможа из государства Инь, отказавшийся служить новой династии Чжоу и получивший владения на востоке, где будто бы в 1121 г. до н. э. вновь создал после Тангуна государство Древний Чосон.

«Великий план в девяти разделах» — глава в «Книге исторических преданий», приписываемая легендарному правителю Юю и пересказанная Цзи-цзы чжоускому У-вану. В девяти разделах этой главы излагались этические нормы и правила взаимоотношений между людьми.

Башня Феникса (Понхвандэ) — смотровая площадка в юго-западной части Пхеньяна.

Тюлевый остров (Ныннадо) — остров на реке Тэдонган, недалеко от Пхеньяна.

Пещера Единорога (Кирингуль) — грот под холмом, на котором находился павильон Плывущей лазури, где будто бы Тонмён-ван разводил единорогов — сказочных животных, покрытых чешуей, с телом оленя, коровьим хвостом и лошадиными копытами. Появление единорога предвещало мудрое правление и благоденствие.

Скала «Обращенная к небу» (Чочхонсок) — скала, находившаяся к югу от пещеры Единорога и отделявшая эту пещеру от реки Тэдонган.

Городище Чхунам — развалины дворца Чугу́на в Пхеньяне.

Монастырь Вечной ясности (Енмёнса) — один из девяти древних буддийских монастырей Пхеньяна, сооруженный в конце IV в. будто бы на месте бывшего дворца Тонмён-вана; разрушен во время войны в 1951 г.

Ли — мера длины, равная в Корее 0,393 м.

Стр. 276. *Ворота Тэдонмун* — восточные ворота с башней в Пхеньянской крепости, воздвигнутые в 1406 г.

«Лестница белых облаков» (Пэгунгё) и *«Лестница черных туч»* (Чхонунгё) — возведены будто бы во времена Тонмён-вана к югу от павильона Плывущей лазури.

Годы «Послушания Небу» (Тянь-шунь) — девиз правления китайского императора Ин-цзуна (1457—1464).

Согён — старинное название Пхеньяна, означающее «Западная столица» государства Корё в XI—XIII вв.

Праздник средины осени.— См. прим. к с. 110.

...стихи Чжан Цзи...— Имеется в виду стихотворение китайского поэта Чжан Цзи (ок. 725—780 гг.) «Ночью пристал к берегу у Кленового моста». Кленовый мост находится близ портового города Гусу на юго-востоке Китая.

Пурпурный чертог.— См. прим. к с. 153.

Хотелось вздохнуть, как при виде пшеницы, растущей на развалинах иньских дворцов.— В китайских летописях рассказывается, как в преклонном возрасте Киджа посетил бывшую столицу династии Шан-Инь. Увидев развалины дворцов, покрытых травой и злаками, он сочинил грустную песню «Пшеничные колосья».

Стр. 277. *Пхэган* — старинное название реки Тэдонган.

Стр. 278. *...алтарь Небесам.*— Алтарь Небу устанавливался в конфуцианском храме Неба, и все обряды этого культа должен был отправлять сам государь.

Храм Киджа — сооружен в Пхеньяне в 1105 г.

Храм Тангуна — один из главных храмов, построенных в Пхеньяне в связи с распространением в средневековой Корее культа мифического первопредка корейцев.

Стр. 279. *...души воинов суйских...*— Имеется в виду поход китайского императора Суйской династии Ян-ди против Когурё, окончившийся полным поражением после битвы под Пхеньяном в 612 г.

Стр. 280. *...обольстительница с ножками-лотосами!..*— По китайским канонам красоты было принято бинтовать ноги женщинам, чтобы уменьшить их рост.

Опадают плоды с коричного дерева, и похолодало в Нефритовом тереме.— По китайским легендам, на луне, возле Обители Холода и Пустоты (называемой также Нефритовым теремом), где жила лунная фея Чан-э, росло коричное дерево, под которым Яшмовый заяц толок в ступе снадобье бессмертия.

Серебряная река — Млечный Путь.

Монастырь Священной защиты (Синхоса) — буддийский монастырь, построенный на горе Чхангвансан в Пхеньяне.

Винный утес (Чуам) — находится на реке Тэдонган, недалеко от Пхеньяна.

Стр. 282. *Дворец Владыки Небес.*— Разумеется сказочный Нефритовый дворец верховного божества.

Стр. 283. *Чэн Тан* (XVIII в. до н. э.) — легендарный основатель китайской династии Шан-Инь, одержавший победу над последним правителем династии Ся — жестоким и беспутным Цзе. Его заветами были: «Почитать Небо и заботиться о народе».

...наставлял народ с помощью восьми заповедей.— Речь идет о восьми государственных делах, описанных в «Книге исторических преданий» в главе «Великий план». К ним относились: продовольствие, товары, жертвоприношения, управление общественными работами, культы и просвещение, уголовное управление, прием иностранных гостей, военные дела.

Стр. 284. *Ви Ман* (китайск. Вэй Мань) — беглый из китайского царства Янь (близ Пекина), с тысячью своих подчиненных отдавшийся под власть правителя Древнего Чосона Чун-вана и в 194 г. до н. э. занявший его трон.

Потаенная столица — в даосской мифологии обитель бессмертных.

Потаенные острова — в китайских мифах сказочные острова, на которых живут бессмертные.

...побывала в деяти землях и на трех островах.— В китайских мифах — десять сказочных островов в океане и три священных горы-острова (Пэнлай, Фанчжан и Инчжоу) в Восточном море, куда Цинь Ши-хуан посылал своих людей на поиски травы бессмертия.

Чан-э — героиня китайских мифов, укравшая у своего мужа, знаменитого стрелка И, эликсир бессмертия, который ему подарила богиня Запада — Си-ван-му, и вознесшаяся на луну, где, по одним преданиям, стала одинокой небесной феей, а по другим — лунной жабой, толкущей в ступе снадобье бессмертия.

Стр. 285. *Четыре удовольствия жизни* — приятный досуг, любование природой, наслаждения, приятные дела.

Стр. 286. *Гун-юань и Чжи-вэй.*— Гун-юань — прозвище китайского мага Ло Гун-юаня, сопровождавшего будто бы императора Сюань-цзуна в Лунное царство, дабы послушать мелодии небесных фей; Чжи-вэй («Познавший сокровенное») — прозвище китайского ученого и каллиграфа X в. Ван Чжо.

Царство Вэй — китайское царство, существовавшее в 220—264 гг.

Озаряет луна // черных буйволов княжества У...— По преданию, в древнекитайском княжестве У стояла как-то сильная жара, из-за которой даже ночью тяжело дышали буйволы, принимая яркую луну за солнце.

В эту пору Ли Бо // подымать свою чарку любил...— Великому китайскому поэту Ли Бо нравилось пить вино наедине с луной.

...У Ган // ствол коричный упорно долбил...— Китайский волшебник У Ган, мечтавший о бессмертии, за непослушание богам был навсегда отправлен на луну рубить коричное дерево, которое вновь срасталось.

Стр. 288. *Какчхок* (Отметка на свече) — состязание в сочинении стихов, распространенное в старой Корее. За время, пока свеча догорит до отметки, нужно было успеть сложить стихотворение.

...с Инь Хао на башне Юй Лян...— Сохранился эпизод, как Инь Хао (ум. в 356 г.), китайский сановник и последователь даосизма, однажды ночью поднялся на Южную башню в Учане и встретил там Юй Ляна (298—340), старшего брата императрицы и полководца. Инь Хао хотел было уйти, но Юй Лян попросил его остаться, и они беседовали всю ночь.

Стр. 289. *Монмёк* — другое название горы Намсан в Сеуле, на которой будто бы захоронены останки Тангуна. Алтарь духу этой горы был установлен в Пхеньяне.

Сушэнь — древние кочевые племена тунгусского происхождения, обитавшие в Северо-восточном Китае.

...Ткачихой подхлестнут, // поспешает зеленый дракон.— Персонажи из популярной китайской легенды о Ткачихе, которая ткет на небе одеяния из облаков.

Лань-сян (Аромат орхидеи) — по-видимому, небожительница Ду Лань-сян в китайских мифах. За провинности она была изгнана в мир людей, но потом была прощена небесными богами.

Конху — корейский инструмент типа арфы.

Стр. 290. *Чангёнмун* — бывшие восточные ворота в Пхеньянской крепости.

ЛИМ ДЖЕ

МЫШЬ ПОД СУДОМ

(Фрагменты)

Перевод печатается по книге: Лим Дже. Мышь под судом. М., «Художественная литература», 1964.

Стр. 291. *Ча* — мера длины, равная 3,3 см.

Чхи — мера длины, равная 3,3 см.

Королевская кладовая — правительственный склад, в котором хранились неприкосновенные запасы зерна на случай неурожая или стихийного бедствия.

Сом — мешок, как мера емкости, равная примерно 80 кг.

Стр. 292. *...поэты древности писали обо мне в «Щицзине»...*— В древнекитайской «Книге песен» в разделе песен царства Вэй есть стихотворение «Большая мышь», в котором говорится о жадной мыши.

Совершенный муж упомянул мое имя в «Лицзи».— Подразумевается «Книга церемоний» (ок. IV в. до н. э.), представляющая собой свод древних

установлений, норм обычного права и ритуальных предписаний. Создание ее приписывалось Конфуцию.

Стр. 293. *Семь отверстий* (на голове) — глаза, уши, ноздри и рот.

Сын Неба.— Так именовали императора в Китае потому, что он приносил жертвы Небу.

Стр. 294. *...закукует свое: «Лучше вернуться!»* — Согласно китайской легенде, правитель царства Шу, потрясенный добродетельными качествами одного из своих приближенных, передал ему власть, а сам ушел в горы, где и скончался во вторую луну, когда кукуют кукушки. С тех пор стали считать, что кукование кукушки — это плач души правителя Шу.

Пять отношений.— Имеются в виду взаимоотношения между людьми, составлявшие основу конфуцианского учения: между государем и подданными, родителями и детьми, старшими и младшими в семье, супругами, друзьями.

Стр. 297. *Луань* — в китайских мифах сказочная птица с красным оперением, на которой будто бы ездят бессмертные.

Пэн — по поверьям китайцев, огромная баснословная птица.

ПАК ЧИВОН

ИЗ «ЖЭХЭЙСКОГО ДНЕВНИКА»

Перевод выполнен по изданию: Пак Чивон. Ёрха ильги, I. Пхеньян, 1955.

ОТПОВЕДЬ ТИГРА

Стр. 300. *Фэйвэй* и другие названия фантастических животных заимствованы автором из китайского сочинения «Книга гор и морей» («Шаньхайцзин», различные ее части создавались в разное время, с VI в. до II в. до н. э.).

Дух первого съеденного тигром человека...— По поверьям древних китайцев и корейцев, душа заеденного тигром человека не может уйти куда-либо, а поселяется в тигре и становится его пособником (наводит тигра на людей и т. п.).

И хвост у него... на затылке! — Автор намекает на уродливую прическу (спереди волосы выстрижены, а сзади заплетены в косу), которую маньчжуры ввели во всем Китае с воцарением Цинской (маньчжурской) династии в 1644 г.

Стр. 301. *«Цвиньцань»* — род шелковичных червей.

...Инь и Ян в совокупности образуют Дао... порождают... пять первоэлементов... взаимодействуют шесть начал природы.— Инь (Тьма) и Ян

(Свет), две полярные космические силы в древнекитайской философии, ритмически чередуясь, образуют в совокупности Дао (Путь, всеобщий закон природы). Из взаимодействия этих сил и их борьбы возникают пять стихий, или первоэлементов природы (вода, огонь, металл, дерево и земля), которые путем порождения и преодоления друг друга создают все сущее. Под шестью началами разумеются силы Инь и Ян, ветер, дождь, мрак и свет.

Господин Бэй-го (Ляо Фу) — китайский ученый-эрудит периода правления Восточной Хань (25—220).

Цзюань — глава (свиток) в китайской книге.

Стр. 302. *Дун-ли* — прозвище вдовы китайского политика и конфуцианца VI в. до н. э. Гунсунь Цяо, данное ей по названию квартала Дунли в столице царства Чжэн, где проживал ее покойный муж. Несовпадение во времени жизни персонажей (в данном случае — Бэй-го и Дун-ли) было обычным для литературных средневековых сюжетов.

Стр. 303. *...императоры учатся у вас поступи...* — Поскольку тигр был символом храбрости, то в старину походку императора сравнивали с мужественной поступью тигра.

Ваше имя равно имени священного дракона... — Дракон в странах Дальнего Востока — символ императорского сана. Далее следует цитата из «Исторических записок» Сыма Цяня.

Пять устоев и три нравственных начала. — Пять устоев (отношений).— См. прим. к с. 294. Три нравственных начала —преданность подданных, почтительность сыновей и добродетельность жен в конфуцианской системе воспитания.

...с изуродованными ступнями ног, с клеймами на лицах. — По уголовному законодательству, в феодальном Китае и Корее лица, серьезно нарушившие конфуцианские устои, подвергались жестоким наказаниям, в том числе ударам бамбуковыми палками по пяткам или икрам ног и клеймением знаков, обозначающих преступление, на лице.

Стр. 304. *А один из вас... убил даже свою собственную жену!* — Намек на крупнейшего полководца древнего Китая У Ци (У-цзы; ум. в 381 г. до н. э.), убившего свою жену ради военной карьеры.

...кладут муравьев в яства... — В старину муравьиные яйца использовали для брожения.

...в провинции Шаньси во время сильной засухи... — То есть в 1779 г. в китайской провинции Шаньси, расположенной в среднем течении реки Хуанхэ.

Стр. 305. *...в провинции Шаньдун во время наводнения...* — То есть в начале 80-х годов XVIII в. в провинции Шаньдун, на востоке Китая.

Эпоха «Весен и Осеней» (Чуньцю) — название периода в истории Китая с 722 по 481 г. до н. э., который характеризуется непрерывной борьбой нескольких могущественных царств за власть в стране.

ХО ГЮН

«ПОВЕСТЬ О ХОН ГИЛЬДОНЕ»

Перевод печатается с небольшими изменениями по книге: Роза и Алый лотос. Корейские повести XVII—XIX вв. М., «Художественная литература», 1974 г.

Стр. 306. *Седжон* — корейский просвещенный монарх, правивший в 1418—1450 гг.

...сдал государственные экзамены и дослужился до Главы палаты чинов.— Система государственных экзаменов на чин (гражданский или военный) была введена в Корее с 958 г. Экзамены проводились в провинции, столице и во дворце. Выдержавшие экзамен получали право занимать должности в государственном аппарате. Палата чинов — одна из шести палат (министерств) в средневековой Корее, заведовала назначением и перемещением гражданских чиновников.

...сну о муравьином царстве Нанькэ! — Метафорическое обозначение чудесного сна, восходящее к новелле китайского писателя Ли Гун-цзо (VIII—IX вв.) «Правитель Нанькэ». Герою новеллы приснился удивительный сон, будто он попал в муравьиное царство и пробыл много лет его правителем. А потом на него посыпались несчастья. Во сне он понял, как превратна человеческая судьба. Название Нанькэ («Южная ветвь») — это дерево, стоявшее к югу от муравейника.

Стр. 307. *«Небо сотворило десять тысяч вещей, и самое высшее его творение — человек».*— Цитата из книги «Лецзы» (ок. III в. до н. э.). Десять тысяч вещей — символ многообразия природы.

Стр. 308. *Кильсан, сын Чан Чхуна.*— Под Чан Чхуном подразумевается, по-видимому, военачальник из государства Силла, отличившийся во время битвы с Пэкче в 659 г.

Унбонсан (Гора с заоблачной вершиной).— В Корее имеется несколько гор с таким названием, расположенных в разных частях полуострова.

Коксан — уезд в провинции Северная Хванхэдо.

За восточными воротами столицы...— Старые корейские города, подобно китайским и индийским, строились в форме квадрата, в каждой стороне которого были ворота, называвшиеся по странам света.

Стр. 309. *«Шесть планов»* («Лютао») — древнекитайское сочинение о военном искусстве, составленное не раньше III в. «Три тактики» («Саньлюэ») — китайский военный трактат, приписываемый легендарному Хуан Ши-гуну; создан в VI—VII вв.

Стр. 310. *«Книга перемен»* («Ицзин») — одна из древнейших книг конфуцианского канона, составленная в VIII—VII вв. до н. э. Использовалась также в гадательных целях. Описаны восемь триграмм (комбинаций целых и прерывистых линий), которые сочетаются в шестьдесят четыре гек-

саграммы, символизирующие чередование ситуаций в процессе мироздания. Это произведение оказало огромное влияние на развитие метафизических и космогонических воззрений в странах Дальнего Востока.

Стр. 312. *Разбойниками* в феодальной Корее именовали мятежников, выступавших против властей.

Стр. 313. *Кын* — мера веса, равная примерно 600 г.

...монастырь Хэинса, что в уезде Хапчхон... — один из трех крупных буддийских монастырей Кореи. Возведен в 802 г. на горе Каясан в провинции Южная Кёнсандо.

Стр. 314. *Восемь провинций Кореи.* — Корея в XV в. подразделялась на восемь провинций, сейчас — на семнадцать.

Хамгёндо — провинция на северо-востоке Кореи, ныне разделена на Северную и Южную.

Стр. 315. *Сыскной приказ.* — В средневековой Корее в столице и провинциальных центрах были созданы сыскные приказы для поимки разбойников. Эти учреждения подразделялись на два департамента — левый и правый. Названия «левый» и «правый» прилагались также к двум примерно равным по должности и положению высшим чиновникам; «левый» считался старшим.

Чи-ю — персонаж китайских мифов, который изображался полубогом или получеловеком, имевшим тело зверя и воевавшим с помощью богов ветра и дождя. Возглавляя воинственное племя, он поднял бунт против легендарного Хуан-ди и потерпел поражение на поле у Чжолу.

Стр. 316. *Мунгён* — название селения в провинции Северная Кёнсандо.

«Поднебесная — владение государя, а подданные государя должны быть его верными слугами». — Цитата из книги «Мэн-цзы».

Стр. 317. *Остров Ветров* — одно из бесчисленных подземных царств в буддийском учении.

Стр. 322. *...полетел к Южной столице. В странствиях попал он в земли Юльдогук.* — Южной столицей в Корее прежде называли Сеул, но здесь подразумевается город Нанкин, бывший столицей Китая в начале правления династии Мин, с 1368 по 1403 г. Юльдогук — сказочная страна, возникшая на скалистом острове, который превратился в цветущий край.

Чедо — вымышленный остров, будто бы лежащий на пути в Южную столицу Китая.

Река Ханган — самая многоводная река Центральной Кореи. На ней стоит город Сеул.

Стр. 323. *Переправа Соган* — находится в устье реки Ханган.

Путь на гору Мантаншань лежал через земли уезда Лочуань. — Гора Мантаншань находится в Китае, на границе провинций Цзянсу и Хэнань. На этой горе будто бы росли растения, сок которых служил отравой для смазывания стрел.

...человек по прозванию Бо-лун — «Белый дракон». — Прозвание дано по ассоциации с белым драконом — символом рек.

Стр. 325. ...*красота их способна низвергать царства.*— Образ всемогущества женской красоты, идущий в китайской поэзии из стихов Ли Яньняня (II в. до н. э.).

Чжао Те — такой же вымышленный персонаж, как и Бо-лун.

Первой женой стала дочь «Белого дракона», второй — дочь Чжао Те.— В средневековой Корее мужчине разрешалось иметь несколько жен, из которых первая жена считалась старшей в доме.

Стр. 326. ...*поднявшись на Лунную вершину, выбрал счастливое место погребения.*— Лунная вершина (по-корейски — Вольбонсан) — по-видимому, вымышленная гора. В старину в странах Дальнего Востока был распространен способ гадания — геомантия, с помощью которого будто бы можно определить благоприятные места для возведения могил, домов, монастырей и других сооружений в зависимости от очертания объектов окружавшей природы (рек, деревьев, холмов) и предсказывать судьбы отдельных лиц и семейств согласно избранному месту.

Стр. 328. ...*миновали три года траура.*— В старой Корее сын носил траур по отцу или матери на протяжении трех лет, справляя большие (во вторую годовщину смерти) и малые (в первую) поминки, совершая жертвоприношения, соблюдая строгий пост, одеваясь в грубую одежду и т. п. На время траура чиновники освобождались от службы.

Год «капча» — здесь 1444 г.

Стр. 329. *Воинство справедливости* — народное ополчение, стихийно возникавшее в Корее в период нашествия иноземцев. Автор повести перенес это название на войско Хон Гильдона.

Год «ыльчхук» — здесь 1445 г.

Стр. 331. ...*Яо и Шуня, о которых поется в песне игрока в биту...*— В песенке старого игрока в биту воспевается правление легендарных китайских правителей — Яо и Шуня как время всеобщего благоденствия.

Го из Фэнъяна (Го Цзы-и; 697—781) — прославленный китайский полководец, названный за многочисленное семейство «отцом ста детей и тысячи внуков».

Стр. 332. ...*старец с дягилевым посохом, в шляпе и одеянии из перьев журавля.*— Подразумевается даосский отшельник.

НЕИЗВЕСТНЫЙ АВТОР

ПОВЕСТЬ О ВЕРНОЙ ЧХУНХЯН, НЕ ИМЕВШЕЙ СЕБЕ РАВНЫХ НИ ПРЕЖДЕ, НИ ТЕПЕРЬ («ПОВЕСТЬ О ЧХУНХЯН»)

Повесть печатается по книге: Роза и Алый Лотос... Перевод уточнен А. Троцевич для настоящего издания по ксилографу XIX в., хранящемуся в ЛО Института Востоковедения АН СССР.

Стр. 332. *Инджо* — корейский король, правивший в 1623—1649 гг.

Династия Ли — правила в Корее с 1392 по 1910 гг.

Ду Му (Ду Му-чжи; 803—852) — китайский поэт; славился своей красотой.

Стр. 333. *Башня Пубённу в Пхеньяне* — то же, что и павильон Плывущей лазури (см. прим. к с. 275).

Храм Мэвольдан в Хэджу.— В корейском оригинале, по-видимому, ошибка. Храм с таким названием («Зимняя слива под луной») находился в Чонджу (центр провинции Северная Чолладо).

Башня Чхусонну в Чинджу.— В корейском оригинале ошибочно написан первый слог в названии башни, должно быть, Чхоксонну («Башня каменных громад»). Чинджу — город в провинции Южная Кёнсандо.

Терраса Кёнпходэ в Канныне... беседка Чхонганджон в Кансоне.— Здесь в повести перечисляются восемь достопримечательностей провинции Канвондо, расположенных на берегу Японского моря и в соответствующих уездах, из которых только два не совпадают по названию с современными (Когён — сейчас называется Косон, а Пхёнхва — Пхёнхэ).

Башня Кванхаллу (Терем простора и прохлады) — башня, построенная в XV в. в уездном городе Намвон в провинции Северная Чолладо.

Цзяннань (земли к югу от реки Янцзыцзян) — старое название провинции Хунань (Китай).

Юэянская башня — башня близ озера Дунтинху на севере провинции Хунань.

Терраса Фениксов — терраса в уезде Цзиньлин на севере провинции Цзянси (Китай).

Башня Желтого журавля — башня в провинции Хубэй (Китай).

Терраса Гусу — терраса на горе Гусушань в провинции Цзянсу (Китай).

Пятый день пятой луны — корейский традиционный праздник летнего солнцестояния, связанный с окончанием весенних полевых работ.

Стр. 334. *Девять излучин* — одно из красивейших мест Кореи (в провинции Северная Чолладо), воспетое крупнейшим мыслителем и поэтом Ли И (Юльгок; 1536—1584) в цикле трехстиший «Девять излучин Косана».

Горы Куньлунь — горы, где добывали нефрит, издававший при дроблении мелодичный звук.

...«золото встречается на реке Лишуй».— Цитата из первого китайского учебника грамоты «Тысячесловия» («Цзяньцзывэнь»). Река Лишуй — старое название реки Цзиньшацзян — в провинции Юньнань (Китай).

Стр. 335. *Дворец Дамин* — дворец, построенный в VII в. в провинции Хэбэй (Китай).

...дважды по восемь...— Традиционный в средневековом Китае и Корее отсчет лет со свойственной ему приблизительностью.

...вроде совы... ласточка на веревке.— Строки из трехстишия корейского анонимного автора.

Стр. 336. *Час Мыши.*— В странах Дальнего Востока сутки разделялись

на двенадцать интервалов, обозначавшихся циклическими знаками «двенадцати земных ветвей» (знаками зодиака). Час Мыши приходится на 11—1 час ночи.

...Фань Куай, который на пиру в Хунмэне смерил гневным взглядом Сян Юя... — Фань Куай (ум. в 189 г. до н. э.) — вначале мясник, потом советник Лю Бана (Гао-цзу), основателя китайской династии Хань. Во время пира в Хунмэне (в провинции Шэньси) правитель царства Чу, Сян Юй, задумал убить Лю Бана, приказав своим приближенным исполнить танец с мечами. Фань Куай, разгадав замысел, своевременным вмешательством спас Лю Бана от гибели.

...дракон из озера Девяти драконов... играет с жемчужиной, исполняющей любые желания... — По корейскому преданию, в Алмазных горах в озере Девяти драконов живет царь драконов, у которого есть волшебная жемчужина, добытая им в брюхе огромной рыбы и исполняющая все желания своего владельца.

...нить Лунного старца... — По китайской легенде, на луне живет небесный сват — Лунный старец, который связывал вступающих в брак невидимой красной нитью.

Чжо Вэнь-цзюнь — см. прим. к с. 77.

Шесть свадебных церемоний. — В соответствии с конфуцианской традицией в Китае и Корее, брачные церемонии состояли в следующем: 1) подарки невесте от жениха во время сватовства; 2) осведомление об имени и фамилии; 3) подарки невесте в знак помолвки, после гадания о будущей судьбе четы; 4) подарки невесте при окончательном заключении союза; 5) назначение срока свадьбы; 6) поездка жениха за невестой.

Гусли с цитрой. — Выражение из «Книги песен», символизирующее супружеское согласие.

Стр. 337. *Тушь «слюна дракона».* — По китайскому преданию, во дворце легендарного правителя Ся поселились два дракона. Чтобы избавиться от них, он попросил у них слюну. Они тотчас же исчезли, оставив слюну, которая растеклась по дворцу; здесь: название сорта туши.

«Небо — чхон, земля — чи...» — начальные слова из «Тысячесловия». Далее следуют начальные отрывки из китайских конфуцианских сочинений — «Книги перемен», «Книги исторических преданий», «Книги церемоний», «Великого учения», «Бесед и суждений», «Мэн-цзы».

Стр. 338. Четверостишие *«Утки крякают...»* взято из «Книги песен» (перевод Вл. Микушевича).

Иероглиф «небо» превратился в «большой»... — Здесь и далее обыгрываются китайские иероглифы, либо близкие по начертаниям, либо совпадающие по звучанию.

Семилетняя засуха — сильная засуха при китайском правителе Чэн Тане, который будто бы молитвами испросил у неба дождь.

Великий девятилетний потоп — наводнение в Китае, которое усмирил легендарный правитель Юй.

«Песня о Седьмой луне» — песня из раздела «Нравы царства» в «Книге песен».

Стр. 339. *Сяньчи* — в китайских легендах озеро, в котором по утрам умывается солнце.

Правитель округа Пэнцзэ... — Великий китайский поэт Тао Юань-мин, когда ему исполнился сорок один год, пробыл всего около трех месяцев на последней своей должности начальника округа Пэнцзэ (в провинции Цзянси) и навсегда отстранился от службы.

«Троецарствие» — популярный роман китайского писателя Ло Гуань-чжуна (ок. 1330—1400 гг.). Эпизоды и герои этого романа нередко были символами вдохновения для китайских и корейских писателей, художников, народных сказителей.

...Лю Сюань-дэ... пожелал навестить учителя Во-луна... — Эпизод из романа «Троецарствие», в котором описывается, как китайский полководец Лю Сюань-дэ (Лю Бэй, известный также под прозвищем «императорский дядюшка Лю»; 162—223) приехал за советом к знаменитому военачальнику Чжугэ Ляну (имевшему прозвище «Во-лун»; 181—234) в Наньян (город в провинции Хэнань).

Цзян-тайгун. — См. прим. к с. 261.

...Сонджин... Юккван... восемь фей... — персонажи первого романа на корейском языке «Облачный сон девяти» Ким Манджуна (1637—1692). Юккван — буддийский наставник, который «повелевал всем живым и обуздывал нечистую силу» и который изгнал Сонджина из обители в суетный мир. Семью небожительницами повелевала фея Вэй.

Десять символов долголетия — солнце, гора, вода, камень, облако, сосна, трава бессмертник, черепаха, журавль и олень.

Стр. 340. *Ван Си-чжи* — превосходный китайский каллиграф, известный еще как многодетный отец. См. прим. к с. 54.

Стр. 341. *Сонпхён* — разновидность вареников из рисовой муки, сделанных в виде раковин, с начинкой из бобов или каштанов.

«Выпейте, выпейте // полную чашу вина...» — Стихотворение «Подношу вино» неизвестного корейского автора.

Влаге живительной // рад был и ханьский У-ди. — Подразумевается напиток бессмертия, будто бы изготовленный для китайского императора У-ди из смеси росы с толченой яшмой.

Стр. 343. *...песню о судьбе, так, чтобы каждая строка заканчивалась словом «человек».* — Юноша Ли здесь подбирает строки из стихов разных поэтов, обыгрывая первый слог в корейском слове «судьба» (инён), который совпадает по звучанию с иероглифом «человек» (ин).

Стр. 344. *Мост Ло* — мост через реку Ло, приток Хуанхэ (Китай).

...песню, где в каждой строке будет слово «лета». — Чхунхян рифмует здесь слово «год» (ён), совпадающее по звучанию со вторым слогом в слове «судьба».

Девять истоков — по древним китайским поверьям, загробный мир.

Ручей Инь-Ян — неиссякаемый источник двух первоначал — сил Тьмы и Света.

Стр. 345. *Кымсонская ольха* — ольха из Кымсона в провинции Канвондо.

Стр. 346. *«Разве желтый петух... закричит «кукареку»...»* — Отрывок из анонимной корейской поэмы «Желтый петух».

Вершины Кымгансана — красивейшие Алмазные горы на восточном побережье Корейского полуострова.

Стр. 347. *...есть некая... Ян... нет ни одной овцы...* — Игра слов. Фамильный знак «Ян» по звучанию совпадает с окончанием имени «Чхунхян» и с корейским словом «овца» (ян).

Чхонпха — бывшая почтовая станция близ Сеула.

Предместье Бронзового воробья (Тонджокчон) — название полей недалеко от столицы, с которых собирали урожай для жертвоприношений, совершаемых самим королем.

Синсувон — старинный город Сувон в провинции Кёнгидо.

Омве — по-видимому, гора Сурисан недалеко от Ансона в провинции Кёнгидо.

Саннючхон и *Харючхон* — притоки реки Ансончхон, впадающей в Желтое море.

Чинвиып — старое название уездного города Пхёнтхэк в провинции Кёнгидо.

Чхирвон — бывшая почтовая станция на границе провинций Кёнгидо и Южная Чхунчхондо.

Стр. 349. *...драгоценный нефрит с горы Цзиншань.* — Согласно китайскому преданию, на горе Цзиншань еще за несколько веков до новой эры был найден необычайный нефрит белого цвета.

«Верный подданный не служит двум правителям...» — Цитата из «Исторических записок» Сыма Цяня.

Стр. 351. *...чжоуский Вэнь-ван сидел в темнице в Юли...* — До того как Вэнь-ван стал правителем (см. прим. к с. 262), он был оклеветан перед иньским государем Чжоу-ваном, у которого находился на службе. Чжоу-ван заточил его в крепость Юли. Друзья выкупили Вэнь-вана.

Восемь лакомств — то есть деликатесы, которые подавали к столу китайского императора: медвежьи лапы, оленьи хвосты, утиные языки, икра электрического ската, верблюжий горб, обезьяньи губы, хвосты карпа и бычьи мозги.

Роса в фарфоровой чашке. — Намек на чашу, в которую собирали росу для приготовления эликсира бессмертия для китайского императора У-ди.

Юкчинское полотно — полотно, вырабатывавшееся жителями шести крепостей, построенных вдоль северной границы Кореи в середине XV в. для защиты от набегов кочевников.

Сон в Наньяне — синоним вещего сна. Чжугэ Лян (один из главных героев китайской эпопеи «Троецарствие»), до того как стал знаменитым

стратегом, узнал свою судьбу по сну, который ему приснился, когда он жил отшельником в Наньяне.

Стр. 353. *Шао Кан-цзе* (Шао Юн; 1011—1073) — крупный китайский мыслитель, увлекавшийся метафизическими построениями по «Книге перемен», которыми пользовались также гадатели.

Чжоуский Шао-гун (XII—XI вв. до н. э.) — мудрый правитель царства Янь на севере Китая.

Го Пу — см. прим. к с. 41.

Ли Чунь-фэн (VII в.) — известный китайский астролог.

Чжугэ Кун-мин — второе имя Чжугэ Ляна.

«Четырехкнижие» — сочинения конфуцианского канона: «Беседы и суждения», «Великое учение», «Учение о Середине и Постоянстве» («Чжунъюн») и «Мэн-цзы».

«Трехкнижие» — сочинения конфуцианского канона: «Книга перемен», «Книга песен» и «Книга исторических преданий».

«Сто танских поэтов» — антология китайских поэтов VII—X вв., составление которой приписывается Ван Ань-ши.

Ли Тай-бо — псевдоним великого китайского поэта Ли Бо.

Лю Цзун-юань (773—819) — известный китайский писатель.

Бо Лэ-тянь — псевдоним великого китайского поэта Бо Цзюй-и (772—846).

«На мирных улицах слушал песни народа».— Традиционная тема на государственных экзаменах, посвященная образцовому правлению Яо и Шуня.

...отметил каждую строку кружком, каждый иероглиф — точкой.— Экзаменаторы отмечали красной тушью места в сочинениях, особенно им понравившиеся.

Нефритовая дщица.— В феодальной Корее чиновники носили при себе дощечки (нефритовые, бамбуковые или из слоновой кости) для записи распоряжений.

Стр. 354. *Нефритовые ступени* — метафора королевского дворца.

Три южные провинции.— Имеются в виду провинции в старой Корее: Чхунчхондо, Чолладо и Кёнсандо.

...ворота Суннемун и далее — географические объекты, расположенные к югу от Сеула на пути следования героя повести в Намвон в нынешних провинциях Кёнгидо, Южная Чхунчхондо и Северная Чолладо.

Стр. 355. *Тхэбэксан* — здесь: главная вершина одноименного хребта в провинции Канвондо.

...Шунь... на горе Лишань рыхлил.— По китайскому преданию, Шунь был изгнан мачехой из дома и занимался землепашеством на горе Лишань. Государь Яо, узнав о добродетелях Шуня, уступил ему престол.

Шэнь-нун (Божественный земледелец) — легендарный китайский правитель, будто бы научивший людей земледелию.

«Цветок в горах» — старинная трудовая крестьянская песня в Корее, исполняемая во время работы на рисовом поле.

Четыре... вехи — год, месяц, день и час рождения.

Стр. 357. *Хансу* — название реки Ханган в среднем течении.

Стр. 358. *Кёль* — податная мера земельной площади в феодальной Корее, колебавшаяся от 0,8 до 3,4 га.

Стр. 359. *...«не посчитав далеким путь в тысячу ли».*— Цитата из книги «Мэн-цзы».

Чао-фу и *Сюй-ю* — китайские мудрецы. Когда правитель Яо, прослышав о мудрости Сюй-ю, предложил ему престол, тот почел свой слух оскверненным такими речами и поспешил омыть уши водой из реки Иншуй. Его друг, Чао-фу, гнавший в это время теленка на водопой, увидел, что Сюй-ю моет уши, и удивился его отказу. Сказав, что теленок, в таком случае, не станет здесь пачкать морду, он повел скотину пить воду вверх по течению.

Духи знатоков вина.— Духи «шести великих бражников из бамбуковой рощи», то есть знаменитого поэта Ли Бо и его друзей.

Бо-и и *Шу-ци* (XII в. до н. э.) — сыновья правителя древнекитайского царства Гучжу. Отказавшись служить У-вану, удалились на гору Шоуяншань, где питались папоротником и дикими травами.

Э-хуан и *Нюй-ин* — жены легендарного Шуня. Оставшись вдовами, они от горя утопились в реке Сян.

Четыре седовласых старца.— Подразумеваются Дун Юань-гун, Лули, Ци Ли-цзи и Ся Хуан-гун, которые в знак несогласия с политикой Цинь Шихуана ушли в горы Шаншань, где досуг проводили за игрой в шашки.

Ма-гу — в китайской мифологии фея трав и цветов, жившая на священной горе Тайшань.

Сукхян — героиня одноименной корейской повести неизвестного автора, испытавшая в жизни много невзгод.

Стр. 360. *«Летом облака узорные...»* — Строки из стихотворения Тао Юань-мина «Времена года».

«Весною от разлившейся воды...» — Строки из того же стихотворения.

Стр. 361. *Ипчхум* — один из распространенных ритмических танцев в Корее.

Ют — азартная корейская игра, напоминающая игру в кости.

Стр. 362. *Унбон* — волость в уезде Намвон.

«Твои дела разъединили нас...» — Строки из анонимной корейской поэмы «Тоска в разлуке».

«Луна взошла на небосклон...».— Строки из анонимного корейского трехстишия.

Стр. 363. *«Я не рано очнулась...»* — Отрывок из анонимного корейского стихотворения «Весенний сон».

...«Седовласый рыбак // поселился у самой воды...» — Отрывок из стихотворения знаменитого корейского философа и поэта Ли Тхвете (1502—1571) «Рыбак».

«Не стану ловить тебя, белая чайка...» — Отрывок из анонимного корейского стихотворения «Белая чайка».

Стр. 364. *«Среди молчаливых зеленых гор...»* — Трехстишие неизвестного корейского автора.

Стр. 365. *Чжоу-синьлан* — по-видимому, Чжоу Лянь-си, живший при династии Сун, один из канонизированных в Китае конфуцианских святых.

Хэгым — корейский музыкальный инструмент типа скрипки.

Стр. 366. *Хань Синь* (ум. в 196 г. до н. э.) — китайский военачальник и сподвижник ханьского императора Гао-цзу. Предание гласит, что в детстве он был беден. Как-то он ловил рыбу в пруду, у городской стены, и одна из прачек накормила его. Став знаменитым, он щедро отблагодарил ее.

Стр. 367. *Цюй Юань* (340—287 гг. до н. э.) — великий китайский поэт-патриот, который, будучи оклеветан завистниками перед чжоуским правителем, покончил с собой, бросившись в реку Мило.

Л. Концевич

ВЬЕТНАМСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ЛИ ТЕ СЮЙЕН

ИЗ КНИГИ «СОБРАНИЕ ЧУДЕС И ТАИНСТВА ЗЕМЛИ ВИЕТ»

Из сохранившихся восьми вариантов книги, насчитывающих вместе с поздними добавлениями от тридцати до восьмидесяти восьми рассказов на вэньяне, был переведен на вьетнамский, очевидно, наиболее старый из них, хранящийся в Научной библиотеке Ханоя под номером А.751. Этот перевод, выполненный Чинь Динь Жы (с предисловием Динь Зиа Кханя) вышел в 1960 году в издательстве «Ван хоа» (Ханой). В 1972 году в издательстве «Ван хаук» вышло второе издание перевода, исправленное и отредактированное Динь Зиа Кханем. По этой книге, снабженной научным аппаратом, сделаны новые русские переводы, включенные в настоящее издание. Старые переводы тринадцати новелл из книги Ли Те Сюйена и более поздних добавлений, сделанные М. Ткачевым, издавались в книге «Повелитель демонов ночи. Старинная вьетнамская проза. Перевод с вьетнамского М. Ткачева, М., «Художественная литература», 1969.

Автор примечаний выражает глубокую признательность вьетнамским ученым Данг Тхай Маю и Хоай Тханю, писателям Нгуен Туану, Суан Зиеу и Доан Зиою и советским ученым Д. В. Деопику, Б. Л. Рифтину и А. М. Карапетянцу за ценные советы и помощь в работе над переводом и примечаниями.

Стр. 386. *...старшую сестру нарекли Чак, младшую — Ни.*— Некоторые источники выводят имена сестер из названий коконов шелкопряда: Тяк (Чак) — твердый кокон, Ни — мягкий.

...были они из рода Лак...— Принадлежность к «лакам» — указание на древность и знатность рода. Есть упоминания о том, что сестры были из царского рода Хунг.

Зиао-тяу (китайск. Цзяочжоу).— Здесь: наименование области, где жили предки вьетнамцев (лак-виеты) и родственные им нам-виеты.

Фаунг-тяу — один из главных районов расселения предков вьетнамцев в Северном Вьетнаме; происхождение из Фаунг-тяу — указание на древность рода.

Су Дин проводил в Зиао-тяу (34—40 гг.) жестокую политику ассимиляции, казнил многих вьетнамских вельмож, в том числе и Тхи Шатя, упомянутого в летописях.

...Чак, тотчас вместе с младшей сестрою подняла войска.— Восстание началось весной 40 г.

Округа Нят-нам, Кыу-тян и Хоп-фо.— Нят-нам и Кыу-тян — области в Северном Вьетнаме, к югу от Ханоя, Хоп-фо находился на юге современной китайской провинции Гуандун. Население их также восстало против ханьского владычества.

Наньхай (по-китайски — Южное море) — земли в Китае, на побережье Южно-Китайского моря.

Император Гуанъуди — ханьский император (25—56 гг.).

Даньэр — местность на китайском острове Хайнань.

...отправил Ма Юаня и Лю Луна с превеликим войском.— Ханьская армия, вторгшаяся в 42 г. в Зиао-тяу, насчитывала двадцать тысяч человек. Ма Юань действовал с крайней жестокостью, но ему с трудом удалось разбить войско сестер Чынг у озера Ланг-бак (около Ханоя) и в ущелье Кэмхе. По китайским источникам, Ма Юань казнил их и головы отправил в Китай. По вьетнамским источникам, сестры Чынг утопились в реке Хат-зианг; есть сведения, будто старшей сестре Чак удалось спастись. Часть повстанцев отошла в Кыу-тян и продержалась еще около полугода (43 г.).

Стр. 387. *Ли Ань Тонг* — король, правил с 1138 по 1175 г.

Тинь Зиой (Блаженный предел) — патриарх одной из ветвей вьетнамского буддизма, был близок ко двору (ум. в 1207 г.).

Цветы фу зунг.— Фу зунг — гибискус изменчивый; цветы его утром белого, а вечером розового цвета; в старой литературе символ женской красоты.

...государь послал подновить и изукрасить храм...— Сохранились два храма (дена) сестер Чынг: в Ханое (один из самых древних и почитаемых храмов столицы) и в деревне Хат-мон (провинция Ха-тэй, ДРВ), возле предполагаемого места их гибели.

Четвертый год «Многократного процветания» — 1289 г.; «Многократное процветание» — один из девизов царствования короля Чан Нян Тонга (1285—1293); тогда было отражено третье вторжение в Дай-виет войск монгольской династии Юань и праздновалась победа; духам, помогавшим, как считалось, в борьбе с врагом, присваивались почетные звания.

В двадцать первый год «Возвышения и изобилия» — 1314 г.; «Возвышение и изобилие» — девиз царствования Чан Ань Тонга (1293—1314); тогда отмечалась победа над Тямпой и были пожалованы звания духам.

ЖЕНА ВЕРНАЯ И НЕИЗМЕННО СЛЕДУЮЩАЯ ИСТИННОЮ СТЕЗЕЙ, ЦЕЛОМУДРЕННАЯ И ДОБЛЕСТНАЯ, ПОСТОЯННАЯ И ГРОЗНАЯ

Стр. 387. *Ша Дэу* — вьетнамская транслитерация имени тямского короля Джайя Симхавармана II (1042—1044), но он не пал в бою, а был убит приближенными.

Стр. 388. *Ли Тхай Тонг* — король (1028—1054); выдающийся правитель и полководец; был седьмым патриархом одной из ветвей вьетнамского буддизма.

Я ведь жена варвара... — Последователи Конфуция считали иноземцев, незнакомых с его учением, варварами.

...увидав на берегу храм... — Ден Ми Е сохранился в деревне Ли-нян (провинция Нам-ха, ДРВ).

Желтый источник — метафорическое обозначение подземных вод и всего Подземного (загробного) царства.

Стр. 389. *Первый год «Многократного процветания».* — Здесь — 1285 г., когда было отбито первое нашествие войск Юаньской династии. Празднуя победу, король жаловал звания духам-чудотворцам.

КНЯЗЬ, НАЧАЛЬСТВУЮЩИЙ ГОСУДАРЕВЫМ ВОЙСКОМ, СПАСИТЕЛЬ ДЕРЖАВЫ, ПРИБЛИЖЕННЫЙ СОВЕРШЕННОМУДРОГО

Стр. 389. *Князя из семьи Ле звали Фунг Хиеу...* — Выдающийся полководец, рассказ о нем соответствует летописным источникам.

Стр. 390. *Ли Тхай То* (Конг Уан) — король (1010—1028), основатель династии Поздняя Ли (1010—1225); один из самых выдающихся вьетнамских государей. Рожденье его и детство окружены легендами; воспитанник буддийского духовенства, с его помощью взошел на престол. Основал столицу Тханг-лаунг (город Взлетающего дракона) на месте современного Ханоя. Вел большое строительство, заботился о земледелии и ремеслах.

Ворота Всеозаряющего света (Куанг-зыонг). — Здесь, видимо, неточность, ворота назывались Куанг-фук (Всеобъемлющее счастье) и были северным входом в городскую цитадель.

...явился к гробнице Тхай То. — Государь после смерти считался духом-покровителем династии и страны; наследник, восходя на престол, приносил

присягу перед гробом покойного короля, гробницы королей почитались, как святыни.

Дворец Небесного первородства (Кан-нгуен) — место королевских аудиенций.

...читая в истории Танского дома о том, как Вэйчи Цзин-дэ помог императору в беде...— Вэйчи Цзин-дэ, полководец танского императора Тайцзуна (626—649), по преданию, вместе с полководцем Цинь Шу-бао ночью стоял в карауле у императорской спальни и прогнал докучавшую тому нечистую силу.

Стр. 391. *...замирен враг.*— Здесь неточность, так как после мятежа трех принцев, узнав о гибели Ву Дыка, восстал еще один принц — Кхай Куок. Тхай Тонг сам возглавил разгром мятежников и повелел всем вельможам и чиновникам ежегодно присягать в Тханг-лаунге на верность королю, уклонявшихся наказывали палками.

...первый год «Небесного озарения и мудрости»...— «Небесное озарение и мудрость» — один из девизов царствования Ли Тхай Тонга (1044—1048).

Мау — земельная мера, 3600 кв. м.

...поставили ден в его честь.— До наших дней в провинции Тхань-хоа (ДРВ) сохранилось неподалеку от родных мест Ле Фунг Хиеу десять его поминальных храмов.

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ПРЕДАННЫЙ И МУДРЫЙ, ВЕЛИКОДУШНЫЙ ВОИТЕЛЬ

Стр. 391. *...происходил он из семьи Мук, звали его Тхан...*— Мук Тхан — лицо историческое; родился в деревне Ваунг-тхи, у Западного озера.

Ле Ван Тхинь — выдающийся государственный деятель и дипломат; его называли Чанг Тхинь (Премудрый Тхинь).

Дай-ли (Да-ли) — тайское государство Наньчжао (VII—XIII вв.) на территории современной китайской провинции Юньнань.

Озеро туманов (Зам-дам) — старое название Западного озера, находящегося ныне в черте Ханоя; излюбленное место прогулок и охоты королей и знати, по берегам его располагались деревни рыбаков и ремесленников, храмы и дворцы.

Стр. 392. *...метнул свою сеть.*— Мук Тхан, по преданию, был даосом и магическим искусством своим одолел чары Ле Ван Тхиня.

...в изгнанье на реку Омовения — Тхао.— Название части Красной реки вверх по течению от Виет-чи (ДРВ).

Государь хвалил Мук Тхана...— По преданию, король пожаловал ему «в пожизненное кормление» все озеро Зам-дам.

До уи — средний военный чин.

...повелел воздвигнуть ден...— Сохранились два храма Мук Тхана у Западного озера.

ИЗ КНИГИ «ЗАПИСИ ДИВНЫХ РЕЧЕНИЙ В САДУ СОЗЕРЦАНИЯ»

Книга, написанная на вэньяне, полностью на вьетнамский язык не переводилась. Русский перевод сделан впервые по вьетнамскому тексту, переведенному Доан Тхангом в «Антологии поэзии и прозы Вьетнама X—XVII веков» (Ханой, изд-во «Ван хоа», 1962).

ПРЕПОДОБНЫЙ КХУОНГ ВИЕТ

Стр. 394. *Динь Тиен Хоанг* (букв.: Первый государь Динь) — король династии Динь, имя — Бо Линь (968—979). Создал единое государство Дай-ко-виет (позднее — Дай-виет); столицу основал у себя на родине, в горной долине Хоа-лы (провинция Нинь-бинь, ДРВ). Жизнь его окружена легендами.

На второй год «Благодатного мира»...— «Благодатный мир» — девиз царствования Динь Тиен Хоанга (970—979).

Гора Духа-заступника (Ве-линь) — вершина в современной провинции Винь-фу (ДРВ), откуда якобы вознесся на небо Небесный воитель из Фу-донга (см. «Рассказ о духе деревни Фу-донг» в «Дивных повествованиях земли Линь-нам»).

В первый год «Небесного блаженства»...— «Небесное блаженство» — один из девизов царствования короля Ле Дай Ханя (980—988).

Сунское войско вторглось в наши пределы.— Сун — китайская династия (960—1279). Сунский император напал в 980 г. на Дай-ко-виет. Ле Дай Хань разбил в 981 г. китайские передовые силы, остальная часть армии и флот отступили.

...посол Сунского дома по имени Нгуен Цзюэ.— Имя посла — Ли Цзюэ; при вьетнамской династии Чан (1225—1400) было запрещено упоминание имени предшествовавшей династии Ли, оно заменялось на «Нгуен». Запрет коснулся и китайского посла.

Стр. 395. *До Тхуэн* (Фап Тхуэн — «Блюдущий закон»; ум. в 990 г.) — патриарх одной из ветвей вьетнамского буддизма, был близок ко двору; между ним и Ли Цзюэ якобы произошло в пути поэтическое соревнование.

...сложил песню «Возвращение Вана».— В других источниках сказано, что Кхуонг Виет сложил стихи на вэньяне в жанре «цы», распространенном в китайской поэзии эпохи Сун и строившемся на мелодиях известных песен; свои стихи Кхуонг Виет якобы положил на напев песни «Возвращение (Сунского) Вана». Это древнейший из сохранившихся вьетнамских стихов.

НГУЕН ЧАЙ

ИЗ «ПОСЛАНИЙ К ВОЕНАЧАЛЬНИКАМ»

Письма Нгуен Чая (1380—1442) составляют отдельную книгу в семитомном «Собранье наследия Ык Чая» (прозванье Нгуен Чая); первоначальный вариант состоял из сорока двух текстов (тридцать восемь писем к ки-

тайским военачальникам и проч.), написанных Нгуен Чаем от имени Ле Лоя. В последнее время найдено еще около тридцати писем, королевских указов и проч., написанных Нгуен Чаем. Традиционные и вновь найденные тексты составили специальный раздел в «Полном собрании сочинений Нгуен Чая» («Кхоа хаук са хой», Ханой, 1969), переведенный с вэньяна на вьетнамский Фан Зюй Ле. По этому последнему изданию и выполнен русский перевод.

ОТВЕТ ФАН ЧЖЭНУ

Стр. 396. *Фан Чжэн* — китайский военачальник, командовавший войсками в Тхань-хоа. Отведя свои войска в горы, Ле Лой весной 1423 г. замирился с китайцами, чтобы пополнить армию, создать запасы и т. д. Китай тогда вынужден был бросить военные силы к северным границам для отражения кочевников и стремился к передышке на юге; китайцы рассчитывали также подкупом и посулами разложить армию повстанцев. В начале 1424 г. Ле Лой разорвал соглашение, а осенью перешел в наступление. Тогда и было написано это письмо.

ЕЩЕ ОДИН ОТВЕТ ФАН ЧЖЭНУ

Стр. 397. *Некогда ты, презренный, написал нам...* — В одном из своих писем Фан Чжэн обвинял в трусости засевших в горах повстанцев.

Вот, смотри, Мы пришли сюда с войском... — Взяв штурмом несколько крепостей в Тхань-хоа, повстанцы прорвались в Нге-ан (см. ниже) весной 1425 г. и начали освобождать округ, осадив центральную цитадель. Письмо написано в пятом месяце 1426 г.

Нге-ан (Умиротворенное правление) — здесь: округ из двух областей Зиен-тяу и Нге-ан (современная провинция Нге-ан, ДРВ, к югу от Тхань-хоа).

...вырядиться... в бабий нагрудник и повязаться платком. — Намек на события китайской истории времен Троецарствия (220—280), когда Чжугэ Лян напал на царство Вэй и, видя, что Сыма И, засевший в крепости, избегает сражения, обвинил его в трусости и послал ему женский головной платок и нагрудник.

ЕЩЕ ОДИН ОТВЕТ ВАН ТУНУ И ШАНЬ ШОУ

Стр. 397. *Ван Тун* — князь, военачальник династии Мин; осенью 1426 г. вьетнамские войска вышли к столице, и император, назначив Ван Туна главнокомандующим, послал его на юг с пятидесятитысячным подкреплением.

Шань Шоу — евнух, минский придворный; привез грамоту, жаловавшую Ле Лоя «правителем Тхань-хоа», чтобы подкупить его и обезглавить восстание. Уловка не удалась.

...прислали ко мне вы письмо и посланца с просьбой о замирении. — В январе 1427 г. Ван Тун направил к Ле Лою посла с просьбой о переми-

рии. К этому времени китайцы потеряли большую часть страны, главные их силы были окружены в столице. Ван Тун хотел выиграть время и дождаться подкрепления из Китая.

...крушат древности...— Китайцы переплавили на оружие древний колокол Куи-диен, знаменитый треножник из пагоды Фо-минь; ради бронзовых деталей разрушили башню Бао-тхиен и другие памятники столицы.

Книга «Описанья» («Чжун-юн») — одна из книг конфуцианского «Четырехкнижия».

Стр. 397—398. *Но ведь говорил Конфуций...*— Здесь цитируется книга «Лунь юй» («Беседы и высказывания»).

ПОСЛАНЬЕ ЧИНОВНЫМ МУЖАМ В КРЕПОСТИ ДИЕУ-ЗИЕУ

Стр. 398. *Диеу-зиеу* — крепость на левом берегу Красной реки, напротив столицы; была окружена в конце 1426 г., сдалась во втором месяце 1427 г.

Тэй-виет — в старых китайских и вьетнамских источниках название земель на юге современной китайской провинции Гуанси и северных районах ДРВ; здесь: государство Дай-виет.

...полчища Нго творили насилия...— Нго (китайск. У) — царство в Южном Китае (III в.), нападавшее на Зиао-тяу; у вьетнамцев — одно из наименований китайцев.

ПОСЛАНЬЕ В КРЕПОСТЬ ТРОЕРЕЧЬЯ — ТАМ-ЗИАНГ

Стр. 398. *Троеречье* (Там-зианг) — область, где реки Да (Черная) и Тхань (Ло) впадают в реку Ло (Красную), один из важнейших стратегических пунктов. В конце 1426 г. крепость была окружена; в марте 1427 г. туда прибыл Нгуен Чай, обратился к гарнизону с письмом и начал переговоры; 2 апреля 1427 г. крепость сдалась.

Стр. 399. *А недавно под деревом боде сам Военный наместник расписал сроки возвращенья своих войск...*— Речь идет о мирных переговорах в январе 1427 г., когда под знаменитыми деревьями боде (стиракс) в Зиа-лэме, на левом берегу Красной реки, в ставке Ле Лоя, китайский главнокомандующий намечал сроки отвода своих войск.

ПОСЛАНЬЕ ВАН ТУНУ

Стр. 399. *Аньюаньский князь* — минский вельможа и полководец Лю Шэн; командовавший армией, посланной на помощь Ван Туну, шедшей через Гуанси. Вторая армия (о ней не упоминается в письме) двигалась через Юньнань. По некоторым китайским источникам, у Лю Шэна было 70 000 сол-

дат, а численность обеих армий достигала 150 000. Приписываемая Нгуен Чаю «История государя из Лам-шона» (1433?) численность их определяет в 200 000 человек. В этом походе Лю Шэн (он участвовал и во вторжении 1407 г.) был убит.

Сиятельный властитель Баодина — минский военачальник Лян Мин; был в этом походе убит.

Главнокомандующий Цуй — минский военачальник Цуй Цзюй; был взят в плен вьетнамскими войсками.

Полномочный глава ведомства Хуан — один из высших минских чиновников (министр) Хуан Фу; был взят в плен вьетнамскими войсками.

Советник Ли — Ли Цин; после поражения покончил с собой.

Чиновник из здешнего люда Нгуен Хуэн... — Нгуен Дык Хуэн — вьетнамец, перешедший на службу к китайским властям.

Месяц спустя ваши полки прошли пограничные ворота. — Здесь неточность: армия Лю Шэна перешла границу в начале октября 1427 г.

Ти-ланг (Рубежный холм) — крепость близ границы с Китаем; дата указана неверно, сражение произошло в октябре 1427 г.; армия Лю Шэна была уничтожена по частям с 8 октября по 3 ноября.

На двадцать пятый день второго месяца войско наше снова дало сражение... — Эта дата неверна (см. выше). Командование второй китайской армии, узнав о поражении и смерти Лю Шэна, решило отойти в Китай; но началось повальное бегство, и вьетнамские войска, преследуя неприятеля, уничтожили более двадцати тысяч солдат.

Стр. 400. *...прочитав ваше письмо ко двору о реставрации дома Чан...* — Китай напал в 1407 г. на Дай-виет под предлогом восстановленья «законной» династии Чан; оккупировав страну, китайцы собрали вельмож и старейшин и заставили заявить, будто потомков чанских королей не осталось в живых, а потому народ просит, чтобы Дай-виет стал китайской провинцией. Но когда в конце 1426 г. Ле Лой обнаружил человека, выдававшего себя за чанского принца, и объявил его государем, Ван Тун лицемерно поддержал его перед минским двором, чтоб выиграть время фальшивым перемирием.

...взять приступом малую крепость Донг-куан. — Донг-куан (Восточная крепость) — так китайцы именовали Тханг-лаунг. В этом письме Нгуен Чай, обрисовав безвыходное положение минских войск, предлагает им сдаться и обещает беспрепятственно пропустить их в Китай. 12 декабря 1427 г. Ван Тун капитулировал, к 3 января 1428 г. закончился вывод китайских войск.

...подобно Тану и У... — Тан (Чэн Тан) — основатель полулегендарной династии Шан-Инь; У (У-ван) — основатель династии Чжоу (XII—III вв. до н. э.). Здесь, очевидно, намек на то, что Тан, разгромив народ цян, создал великую державу Шан-Инь, а У, разбив иньское царство, создал могучее государство Чжоу.

ВУ КУИНЬ, КИЕУ ФУ

ИЗ КНИГИ «ДИВНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ ЗЕМЛИ ЛИНЬ-НАМ»

Из девяти сохранившихся вариантов книги, написанной на вэньяне, для перевода на вьетнамский был выбран вариант А. 33, хранящийся в Научной библиотеке Ханоя; он, видимо, наиболее ранний и состоит из двадцати двух рассказов, что соответствует традиционным сведениям о книге Ву Куиня и Киеу Фу. Варианты, содержащие более поздние добавления, включают от сорока двух до семидесяти шести новелл. Наиболее удачный вьетнамский перевод принадлежит Динь Зиа Кханю и Нгуен Нгаук Шану (издательство «Ван хоа», 1960), по нему и выполнены русские переводы, заново отредактированные для настоящего издания (все тексты взяты из основного состава книги). Тринадцать новелл Ву Куиня и Киеу Фу и более поздних авторов изданы на русском в сборнике «Повелитель демонов ночи».

РАССКАЗ О ДУХЕ ДЕРЕВНИ ФУ-ДОНГ

Стр. 400. *...посылать дань Северу.*— Север — здесь: Китай, от которого Ван-ланг якобы находился в вассальной зависимости.

Иньский император.— Поскольку династия Хунг считалась современницей полулегендарной китайской династии Инь (Шан-Инь), противником Хунгов и назван иньский император. Следует с осторожностью оценивать сведения о непосредственных столкновениях между Шан-Инь (земли ее находились в бассейне реки Хуанхэ) и Ван-лангом, разделенными огромной по тем временам территорией, где жили враждебные племена.

Стр. 401. *Тхыок* — мера длины, равна 40 см.

Гадательные тавлы.— В древности в странах Дальнего Востока гадали по специальным таблицам с триграммами (сочетаниями прямых и прерывистых линий), заимствованными из древнекитайской «Книги перемен» («Ицзин»); иногда на таблицы наносились и циклические знаки, обозначавшие время суток, дни и годы.

...родившийся в седьмой день первого месяца.— Седьмой день первого месяца у народов Дальнего Востока считался «днем рождения мужчин». Хорошая погода в этот день означала год, благоприятный для рождения мальчиков.

Стр. 402. *Нон* — широкая коническая шляпа, обычно из пальмовых листьев.

Чыонг — мера длины, равна 320 см.

Стр. 403. *При государстве Тхуан Де из дома Ле... девица по имени Нго Ти Лан...*— Дом Ле — династия Поздних Ле (1428—1788); государь Тхуан Де — очевидно, король Ле Тук Тонг (правил в 1504 г.), личное имя которого Тхуан. Нго Ти Лан — поэтесса, автор знаменитых стихов «Четыре времени

года»; преподавала словесность женам короля Ле Тхань Тонга. В «Пространных записях рассказов об удивительном» (автор, возможно, был современником Нго Ти Лан) сказано, что стихи о горе Ве-линь написаны при Ле Тхань Тонге (то есть, до 1497 г.). Там же говорится, что Нго Ти Лан умерла не позднее 1509 г., и значит, в 1504 г. никак не могла быть юной «девицей».

РАССКАЗ ПРО ТОПЬ, ВОЗНИКШУЮ В ОДНУ-ЕДИНУЮ НОЧЬ

Стр. 403. *Тиен Зунг Ми Ныонг — «Красотой равная фее».* — «Красотой равная фее» — перевод первых двух слов имени; Ми Ныонг — традиционное имя дочерей государей Хунг, где «Ми», вероятно, означает «Прекрасная», «Возлюбленная», а «Ныонг» — «дочь», «девица».

Стр. 405. *Гора Красная яшма* — вершина Куинь-вин (китайск. Цюншань) на острове Хайнань, где добывали камень, похожий на яшму; плаванье «за море», возможно, намек на морские переезды буддийских бонз и паломников.

...бросили они свой дом... — Распространенный буддийский мотив отказа от имущества.

Стр. 406. *У-ди, император из дома Лян, послал Чэнь Ба-сяня...* — Лян — китайская династия (502—557); речь идет о первом государе ее — У-ди (502—549). В 545 г. Чэнь Ба-сянь вторгся в Ван-суан (см. ниже) и захватил часть дельты Красной реки, но решающего успеха не добился.

Ли Нам Де. — В 541 г. Ли Бон поднял в Зиао-тяу восстание, изгнал китайцев и в 544 г. объявил себя государем Нам Виет (Нам Виет Де — государь Южной Вьет); его называют Ли Нам Де (государь Юга из дома Ли); державу свою он назвал Ван-суан (Десять тысяч весен) и обосновался в Лаунг-биене (пригород современного Ханоя). Разбитый Чэнь Ба-сянем, он поручил войско Чиеу Куанг Фуку, скрылся в горах и умер (548 г.).

Чиеу Куанг Фук — полководец при Ли Нам Де; рассказ о боях в болотах За-чать соответствует летописным источникам. Узнав о смерти Ли Нам Де, Чиеу Куанг Фук объявил себя государем Чиеу Виет (государь Виет из рода Чиеу). Впоследствии был разбит одним из «законных» преемников Ли Нам Де и утопился в реке (571 г.).

Мятеж Хоу Цзина. — В 550 г. Хоу Цзин, военачальник, перешел на службу к У-ди и поднял мятеж, император отозвал в Китай Чэнь Ба-сяня для подавления мятежа.

РАССКАЗ О БЕТЕЛЕ

Стр. 407. *...старшего нарекли Тэн, младшего — Ланг.* — Иероглифы, обозначающие имена братьев, образуют в сочетании название арековой пальмы, из плодов которой готовят бетель.

РАССКАЗ О НОВОГОДНИХ ПИРОГАХ

Стр. 408. *...созвал государь всех принцев и принцесс...*— Короли в древности имели по несколько жен (главных и вторых) и много детей от них; долгое время не была упорядочена система престолонаследия.

...сын его по имени Ланг Лиеу...— Ланг — здесь: традиционное имя сыновей государей Хунг, точнее, часть их титула — куан ланг.

РАССКАЗ О ЗОЛОТОЙ ЧЕРЕПАХЕ

Рассказ о Золотой черепахе — одна из самых популярных во Вьетнаме легенд; существуют ее фольклорные варианты; введена в поздние своды вьетнамских летописей. Черепаха в государственной символике Дай-виета стала духом-покровителем династии.

Стр. 410. *Государь Ан Зыонг, повелитель Ау-лака, происходил из земли Ба-тхук...*— Ба-тхук (китайск. Башу) — древние государства в Сычуани, населенные, вероятно, предками таи, близкими к предкам вьетнамцев; некоторые китайские источники относили их к виетским (юэским)народам. После завоевания Ба-тхук царством Цинь (316 г. до н. э.) часть населения, видимо, отступила к югу и достигла района современной границы Китая и ДРВ; там сложился племенной союз Нам-кыонг во главе с родом Тхук (по преданию, потомки правителей Ба-тхук). Один из Тхуков — Фан, завоевал Ван-ланг и правил под именем Ан Зыонга (258—207 гг. до н. э.); это единственный государь династии Тхук. Название его страны — Ау-лак, очевидно, образовано из древних этнонимов предков вьетнамцев (лак-виет) и таи (тэй-ау); территория ее, объединив Нам-кыонг и Ван-ланг, включала в себя часть Северного Вьетнама и южнокитайской провинции Гуанси.

Стр. 412. *Лоа-тхань — «Крепость улитка»...*— В китайском источнике X в. (со ссылкой на более раннее «Описание земли Нам-виет») говорится, что стены укреплений поднимались девятью суживавшимися кверху уступами. Они напоминали издали раковину улитки. Название «Лоа-тхань», по-видимому, позднего происхождения. Недавние раскопки открыли в этом месте (неподалеку от Ханоя) остатки земляных валов овальной формы около 7000 м по окружности.

...спусковой крючок к самострелу.— Самострелами славилась земля Ба-тхук, откуда вышел Ан Зыонг; распространены они были и у лак-виетов. Еще ханьский полководец Ма Юань докладывал императору о «сильных луках» лак-виетов; китайские источники описывают огромные луки людей Зиао-тяу и стрелы с отравленными бронзовыми наконечниками (III в.). В «Краткой истории земли Виет» говорится, что самострел Ан Зыонга выпускал разом по десять стрел и поражал десять тысяч человек. Во время раскопок в Ко-лоа (Лоа-тхань) были найдены бронзовые наконечники для стрел и остатки оружейных мастерских.

Као Ло — в ранних вариантах легенды — дух, служивший Ан Зыонгу и сделавший волшебный самострел; но король обидел Као Ло, и тот ушел прочь; или — другой вариант: Као Ло оклеветали, и король его казнил. Иногда конфликт Као Ло с очернившим его Лак Хау (князем Лак?) и королем представлен как противоборство магических сил: Као Ло — воплощенье Каменного дракона (отсюда его прозванье — Дух камня) несовместим с воплощениями Желтой курицы (Ан Зыонг) и Белого гиббона (Лак Хау). Позднее Као Ло почитали как духа — заступника страны.

Князь из рода Чжао по имени Та.— Чжао Та был послан циньским императором Ши-хуаном на завоевание государства Наньюэ (Нам-виет), находившегося на территории граничащих с Вьетнамом современных китайских провинций Гуандун и Гуанси. Поход был неудачен. Позднее Чжао Та создал (точнее, воссоздал) виетское государство Нам-виет (в Гуандуне) и присоединил к нему Ау-лак. Он считается основателем вьетнамской династии Чиеу (китайск. Чжао; 207—111 гг. до н. э.). Потом Нам-виет — Ау-лак был захвачен ханьским Китаем. Сам Чжао Та умер в 137 г. до н. э.

...Чжао Та послал к Ан Зыонгу сватов.— Согласно «Краткой истории Виет», Чжао Та отправил сына к Ан Зыонгу заложником; Чжун-ши сошелся с дочерью короля, уговорил ее показать самострел, повредил его и бежал к отцу.

...дочь по имени Ми Тяу — «Прекрасная жемчужина»...— В китайском источнике VI в. сказано, что люди виет почитают жемчуг величайшей ценностью и потому, родив дочь, называют ее Жемчужиной.

Стр. 413. *...надену я платье из гусиных перьев...*— Китайские источники эпохи Тан и Сун упоминали, что в южных землях, у виетов, распространены были накидки и другие изделия из гусиных перьев. В деревнях вокруг Ко-лоа в день праздника в дене Ми Тяу жители не ели гусиное мясо, считая гуся сопричастным гибели принцессы.

...Золотая черепаха увела его за собой в море.— В ранних вариантах легенды Ан Зыонг садится в лодку и уплывает в море либо погибает. Версия «Краткой истории Виет» совпадает с рассказом, но там не упоминается гибель Ми Е.

Стр. 414. *Тело ее превратилось потом в камень нефрит.*— В дене Ми Тяу в Ко-лоа поклонялись камню, напоминавшему человеческое тело без головы (Ан Зыонг обезглавил дочь).

Тотчас он бросился в колодец...— В деревнях вокруг Ко-лоа бытует предание о том, что призрак Ми Тяу появился на берегу озера и запел песню; Чжун-ши поспешил к озеру, но Ми Тяу погрузилась на дно, и он бросился следом. Люди, не желая прикасаться к телу предателя, прорыли сток, и труп Чжун-ши уплыл по нему в реку.

...ежели жемчуг, добытый со дна Восточного моря...— По «Краткому описанию Ан-нама» (1333 г.) в крепости государей Виет был пруд, где люди омывали жемчуг, и он становился еще прекраснее.

РАССКАЗ О ГОРЕ-БАЛДАХИНЕ

Стр. 414. *Гора-Балдахин* (Тан-виен) — горная вершина (ок. 1280 м) в пятидесяти километрах западнее Ханоя, в провинции Ха-тэй; современное название — гора Ба-ви. В «Описании земель державы» (1435 г.) Нгуен Чая дано аналогичное объяснение названия «Тан-виен» и сказано: «Гора эта — прародина нашего государства».

...происходил он из рода Нгуен.— Этимология этого имени неясна; в другом источнике его зовут Хыонг Ланг. По преданию, дух якобы был среди пятидесяти сыновей, ушедших с Лак Лаунг Куаном в море, но потом вернулся на землю; гору Тан-виен он облюбовал ради ее красоты и доброго нрава живших окрест людей.

Ан-нам (китайск. Аньнань — «Умиротворенный Юг») — название, данное Зиао-тяу в 679 г. китайской администрацией, которую восстания виетов вынудили отказаться от управления по образцу провинций Китая и создать «протекторат».

Стр. 415. *Лу-гун* — князь земли Лун, прозвание китайского литератора Янь Чжэнь-цина (709—784).

Чжоуский император Нуань-ван — государь китайской династии Чжоу, правил с 314 по 245 г. до н. э.

...пришли к государю двое...— Есть сходный по сюжету рассказ о горе Тан-виен, где сказано, что Дух гор и Дух вод были неразлучными друзьями.

Стр. 416. *Нгуен Ши Ко* — выдающийся ученый и поэт, служил при трех чанских королях (правили с 1258 по 1329 г.); преподавал конфуцианский канон в Придворной академии; славился искусством стихосложения на вьетнамском языке.

Хаук ши — чин в королевской письменной палате, можно перевести как «обладатель познаний»; Нгуен Ши Ко имел более высокий чин Тхи до хаук ши — четвертый в государственной иерархии.

РАССКАЗ О ХА О ЛОЕ

Стр. 416. *Третий год «Унаследованного изобилия»* — 1344 г.; «Унаследованное изобилие» — один из девизов правления короля Чан Зу Тонга (1341—1357). Видимо, государь, действующий в рассказе, и есть Чан Зу Тонг, умерший в 1369 г.; летописные источники выводят Чан Зу Тонга, особенно в конце царствования, человеком распутным, доверившим дела временщикам.

Ма — растение с волокнистой корой, идет на изготовление дерюги, веревок и т. д.

Стр. 417. *Люй Дун-бинь* — один из восьми бессмертных у даосов, родился, по преданию, в эпоху Тан; больше четырехсот лет якобы странствовал по Китаю, побеждая чудовищ и оборотней.

Нгэмы — элегические стихи и поэмы с чередованием строк различной длины, внутренней и конечной рифмами. Вообще-то распространены были позднее.

Голос его вился вокруг стропил и останавливал бегущие облака.— В древнем китайском трактате «Лецзы» о певице Хань Э сказано: «Когда она ушла, звуки ее голоса вились вокруг стропил и не умолкали три дня». Там же сказано о Цинь Цине, что, когда он запел, голос его остановил облака.

Стр. 420. *Хуан-ди* — государь в древнекитайских мифах, верховное божество; обладал четырьмя лицами и видел все происходящее в мире.

Нас, как Сян-вана посетишь...— Намек на поэму Сун Юя «Ветер», где говорится о том, как князь Сян (Сян-ван) наслаждался приятным порывом ветра во дворце «Терраса орхидей».

Стр. 421. *...сложил... такие стихи на просторечье...*— В оригинале — «сочинил стихи на куок нгы» (то есть на вьетнамском); поскольку стихи в основном писались тогда на вэньяне, языке высокой учености и книжности, вьетнамский язык назван «просторечьем».

ЛЕ ТХАНЬ ТОНГ

ИЗ КНИГИ «СОЧИНЕНИЯ, ОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРЕМ ТХАНЬ ТОНГОМ ИЗ ДОМА ЛЕ»

Книга сохранилась в единственном рукописном варианте, хранящемся в Научной библиотеке Ханоя. Вопрос об авторстве Ле Тхань Тонга до сих пор остается открытым, хотя, по крайней мере, часть из девятнадцати новелл могла быть написана им. Книга была переведена с вэньяна на вьетнамский Нгуен Бить Нго (Ханой, изд-во «Ван хоа», 1963), по ней сделаны русские переводы, заново отредактированные для настоящего издания. Впервые девять новелл Ле Тхань Тонга опубликованы в сборнике «Повелитель демонов ночи».

ПЕРЕБРАНКА ДВУХ БУДД

Стр. 423. *...год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Воды и Змея...*— В царствование Ле Тхань Тонга знаки эти сошлись на 1473 г.

Стр. 424. *...вооружиться пятью проникновеньями и прибегнуть к шести знаниям...*— Пять проникновений (буддийск.): умение воплощаться в любую форму; мгновенно проникать взглядом в сердцевину любой вещи в любом мире; слышать все на любом расстоянии; проникать в сознание других людей и существ; проникать до конца в поток жизненных перерождений всех и самого себя. Шесть знаний (буддийск.): знание, дающееся божественным прозрением; знание, даваемое «тысячью глаз», знание, даваемое «тысячью ушей»; знание сознанья других существ; знание, идущее от способности принимать любую форму; знание конца потока жизненных перерождений.

...Сын Неба направляет сии слова против бурных и бесплодных деяний.— Речь идет об осуждении буддийского учения; Ле Тхань Тонг провел реформу по очищению монашества от «недостойных», постригавшихся лишь ради выгоды. Хорошо зная буддийские книги, он искусно пародирует «высокий штиль» вероучителей буддизма.

ПОСЛАНИЕ КОМАРА

Стр. 426. *Уж не дергался ли у тебя... указательный перст?* — По старинному поверью, подергиванье указательного пальца предвещает угощение.

Стр. 427. *...и стали они песчинками, светящимися во мраке.*— Так именовали в медицинских книгах комариные глаза, их извлекали из помета летучих мышей и употребляли для леченья глазных болезней. Здесь намек на то, что комаров съели летучие мыши.

Бао-ха — местность, славившаяся обилием комаров (Нге-ан, ДРВ).

ДИВНАЯ ЛЮБОВЬ В КРАЮ ХОА-КУОК

Стр. 430. *...с чаем, источавшим сладостное благоуханье орхидей.*— На Дальнем Востоке в ароматические сорта чая добавляют при сушке лепестки цветов.

Стр. 431. *...связать наши семьи узами брака, подобно семьям Чжу у Чэнь.*— В стихах Бо Цзюй-и описана деревня Чжу-чэнь, где все люди — выходцы из двух семейств Чжу и Чэнь (вьетнамск. Тю и Чанг) и сочетаются браком между собой.

Стр. 432. *...из Нефритового дворца на луне... с горы Соцветие яшм.*— Места, где якобы обитали духи и феи.

Стр. 435. *...почерк госпожи Вэй или... Ван Си-чжи...*— Госпожа Вэй и Ван Си-чжи, жившие в Китае при династии Цзинь (265—420), славились красотой своего почерка. О Ван Си-чжи см. прим. к с. 54 и 340.

Стр. 437. *...родилась я на Облачном острове...*— Здесь двойной смысл: имеется в виду некое небесное селенье или реальный остров Вандон — в средние века центр морской торговли.

Стр. 438. *В самом начале года, на коем в месяцеслове сошлись знаки Воды и Козла...*— В царствованье Ле Тхань Тонга знаки эти сошлись на 1463 г.

Дун и *Цзя* — Дун Чжун-шу (176—104 гг. до н. э.) и Цзя И (201—169 гг. до н. э.) — китайские ученые-конфуцианцы и литераторы.

Сунь и *У*.— Сунь-цзы и У-цзы — крупнейшие военные теоретики древнего Китая, авторы знаменитых трактатов.

Стр. 439. *...в давние времена Чжуан Чжоу приснилось...*— См. прим. к с. 170.

...«Посланец, летящий меж цветов»... как то и сказано в одном древнем стихотворении...— По мнению вьетнамского комментатора, здесь намек на

строку из стиха Ду Фу: «Средь цветов летает бабочка глубоко-глубоко...» Однако образ бабочки-посланца, возможно, навеян, стихотворением Нгуен Чая (на вьетнамском), где сказано: «Мотылек летит повсюду послом весенних вестей... множество цветов на полях...»

Стр. 442. *У бабочек есть своя царица, как и у муравьев — свой государь и подданные.*— Намек на новеллу китайского писателя Ли Гун-цзо (IX в.) «Правитель Нанькэ», где герой оказывается в муравьином царстве.

ПРИНЦЕССА НЕФРИТА ОБРЕТАЕТ СУПРУГА

Стр. 443. *...звали ее Нгаук Ти — «Нефритовая печать».*— Имя принцессы, возможно, означает символ высшей власти.

...состязание женихов... «Ожидание Феникса»...— Феникс по-вьетнамски — Фыонг хоанг, где «фыонг» означает самца феникса, а «хоанг» — самку; поэтому в оригинале состязание названо «Дай фыонг» — «Ожидание (приглашение) жениха».

...восседающего на лотосовом троне...— Буддисты чтут лотос как символ чистоты, и потому Будды и святые часто изображаются сидящими на цветке лотоса.

...подстрелить воробья, нарисованного на ширме?! — В Китае есть предание о некоем Доу И; он объявил, что выдаст дочь за того, кто попадет стрелой в глаз изображенного на ширме воробья.

...сотканный подводными ткачами.— Подводные ткачи, человекорыбы упоминаются в преданиях многих народов Дальнего Востока. В китайском «Описании удивительного» (V в.) сказано, будто на дне южных морей живут человекорыбы, они без устали ткут, а слезы их превращаются в жемчуг.

Стр. 444. *Дворец Пэнлай.*— Пэнлай, по древнекитайским легендам,— одна из трех гор, плавающих в Восточном море, на которых обитают бессмертные (см. прим. к с. 523).

Стр. 445. *Пришелец обладал... очами Шуня и бровями Яо...*— У мифического китайского императора Шуня в каждом глазу было якобы по два зрачка, а у его тестя Яо — разноцветные брови.

...достойные восседать на восточном ложе...— В старинной китайской хронике рассказано о том, как некто Си Цзянь послал человека в дом к Ван Дао выбрать жениха для дочери. Посланец вернулся и сообщил, что все юноши в доме Ван Дао почтительны и пригожи, а один из них во время посещения ел себе как ни в чем не бывало, возлежа на восточном ложе. За него-то, знаменитого впоследствии каллиграфа Ван Си-чжи, и отдал Си Цзянь дочь. С тех пор «восточное ложе» — метафорическое обозначение зятя.

...боевой порядок, наподобие змея с горы Чаншань...— В трактате «Сунь-цзы» правильно построенный боевой порядок уподобляется змею с горы Чаншань, который, когда его бьют в голову, ударяет врага хвостом,

когда бьют в хвост, ударяет головой, а если бьют в середине, ударяет и головой и хвостом.

...поступь войск неудержима, словно течение рек Цзян и Хань — то есть течение могучих рек Янцзы и Ханьшуй.

Река Хуанхэ подобна поясу, а гора Тайшань — точильному камню.— В «Исторических записках» Сыма Цяня приведена клятва получающего высокое звание: «Повелю Хуанхэ быть за пояс, а горе Тайшань за точильный камень, государству быть в вечном спокойствии, потомству расти и крепнуть». Со временем эти слова стали метафорическим обозначением спокойствия в стране.

Пять вершин и Четыре реки — величайшие горы и реки Китая.

ИСТОРИЯ МЫШИ-ОБОРОТНЯ

Стр. 448. *В «Книге песен» сказано...*— Здесь цитируется песня из «Книги песен» («Шицзин») «Дважды хворост кругом оплетя...», где говорится о любовном свидании.

...говоря словами поэта, «у петушиного окна в ночи безмолвной разворачивал свитки книг»...— Перефразированная строка из стиха китайского поэта Ло Ина (833—909). Петушиное окно — метафорическое обозначение кабинета ученого, восходящее к преданию о Су Цу-цзуне, который, купив петуха, держал его у окна. Петух якобы заговорил по-человечьи, и они подолгу беседовали.

Уподобился я бедному мудрецу...— Намек на китайское предание о Сунь Кане (IV—V вв.), который в юности, не имея денег на масло для светильника, читал по ночам при луне, отражавшейся от снега.

Стр. 449. *...мне рыба и гусь не приносят письма.*— Рыба и дикий гусь — символы письма в китайской поэзии, откуда образы эти перешли в поэтическую традицию Вьетнама: в древнем Китае письма вкладывались в деревянный футляр в форме рыбы; дикий гусь якобы принес императору письмо от полководца Су У, которого гунны держали в плену, объявив его мертвым.

«Боевая колесница» — песня («Шицзин»), в которой жена тоскует о муже, ушедшем в поход.

«Возвращение из похода» — песня («Шицзин»), где воин поет на чужбине о том, что ждет его под родным кровом.

Стр. 450. *Кхань* — бронзовый или каменный гонг в форме полумесяца.

Стр. 452. *Император Жэнь-цзун* — правил с 1022 по 1063 г.

Бао-гун (999—1062) — правитель сунской столицы Кайфэна, имя его — синоним справедливого судьи. В одной из легенд про Бао-гуна — с женой школяра, который сдавал экзамены, якобы жила принявшая его облик мышь-оборотень. Вернувшись, школяр подал жалобу уездному начальнику; дело дошло до первого министра, потом до императора. Тогда мышь вызвала еще четырех мышей-оборотней, и они превратились в императора, импе-

ратрицу, министра и Бао-гуна, который вел дело. Но подлинный Бао-гун доложил обо всем Небесному императору, тот послал на землю небесного кота, который загрыз мышей.

Стр. 453. *Семь отверстий.*— См. прим. к с. 293.

Сунь У-кун — царь обезьян, герой китайских легенд, якобы был конюшим Небесного императора, потом стал странствовать в поисках бессмертных; попал на пир к Владычице Запада Си-ван-му и выпил тайком весь эликсир бессмертия. Потом будто бы стал помощником Танского монаха Сюань-цзуна (ок. 600—660 гг.) и ездил с ним в Индию за книгами буддийского канона.

Лисы хотя и злобны...— Эта фраза в какой-то мере противоречит традиции китайских новелл о лисах-оборотнях.

...еще в эпоху Весен и Осеней мышь трижды тайком прогрызала рога жертвенных буйволов.— Эпоха Весен и Осеней — период китайской истории (722—481 гг. до н. э.). О мыши, прогрызшей рога жертвенных буйволов, сказано в древней летописи «Цзочжуань».

В Китае при императоре Сунской династии Шэнь-цзуне мышь родом из Цзиньлина поменяла старые своды законов...— Шэнь-цзун правил с 1067 по 1085 г. «Мышь родом из Цзиньлина» — намек на первого министра Шэнь-цзуна, Ван Ань-ши (1021—1086), последний знак его имени — «ши» — произносится так же, как «ши» — «большой», в слове «шишу» — «большая мышь» в песне из «Шицзин»; но родом он был не из Цзиньлина (Нанкин), а из Линьчуани. «Поменяла старые своды законов» — намек на реформы Ван Ань-ши.

А после клика Цай Цзина и Тун Гуаня...— При императоре Хуэй-цзуне (1100—1125) власть захватила клика крупных чиновников и помещиков во главе с Цай Цзином, Тун Гуанем и Чжу Мянем; разглагольствуя о реформах, они грабили народ. Положение в стране резко ухудшилось, в 20-е годы XII в. начались восстания и сунское государство рухнуло под натиском кочевников (1127 г.).

...«Без длинных клыков наши стены насквозь прогрызаешь».— Намек на строки из «Песни о невесте, отвергающей жениха» («Шицзин»): «Кто же скажет, клыков нет у мыши лесной, // Что прогрызла ограду в саду?» (Перевод А. А. Штукина).

...«Ты ль собирала зерно, что пшеницею нашей живот набиваешь».— Неточная цитата из песни «Большая мышь» («Шицзин»), где мышь — олицетворение тех, кто живут в сытости и праздности, используя тяжкий труд земледельцев.

...Су Дун-по непотребство мышей выносит даже в названье одной из своих од.— Речь идет об оде Су Дун-по «Хитрая мышь».

...мыши превращаются в перепелок...— Намек на фразу из китайской «Книги обрядов» («Лицзи»): «Когда распускаются цветы на тунговых деревьях, полевые мыши превращаются в перепелок».

ЛЕ ТХАНЬ ТОНГ

ИЗ КНИГИ «ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ О НЕПРИКАЯННЫХ ДУШАХ»

Это — самое старое из сохранившихся произведений прозы, написанных по-вьетнамски, бесспорно, принадлежит Ле Тхань Тонгу. Сделанный впервые русский перевод выполнен по книге «Собранье стихов на родном языке, сложенных в годы «Великой добродетели» (девиз царствования Ле Тхань Тонга; 1470—1497), вышедшей в Ханое в издательстве «Ван хоа» (1962 г.).

БУДДИЙСКИЕ МОНАХИ

Стр. 454. *Ястребиная гора* — гора Гридхракута, где поучал своих учеников Будда.

Как сказано в «Сутре Лотоса»... — Имеется в виду следующая фраза: «Когда Будда закончил это свое поученье, с неба дождем стали падать цветы...»

...переводы письмен, начертанных на пальмовых листьях... — Речь идет о священных буддийских текстах, записанных на листьях лантаровой пальмы.

Помышляя о трех тысячах чертогов Четвертого неба... — По буддийским представлениям, всего имеется шесть небес, на Четвертое небо возносятся праведники и отшельники.

...знать не желали о двенадцати вратах Подземного царства. — В Подземном царстве души существ, отягченных грехами, подвергались мученьям и пыткам.

Стр. 455. *...в Сёлах начал бестелесных...* — Здесь вьетнамский комментатор приводит цитату: «...Вот большое дерево, ни на что не пригодное, отчего не пересадят его в селенье «бесформенных (бесполезных?) сущностей?» — со ссылкой на первую главу книги «Чжуан-цзы». Однако ссылка, видимо, неточна.

КОНФУЦИАНЦЫ

Стр. 455. *...книги их на окне освещало мерцание светляка...* — При династии Цзинь (265—420) в Китае школяр Чэ Инь, не имея денег на масло для светильника, читал ночами книги в мерцающих отсветах светляка.

...отблеск белого снега озарял письмена на столе. — См. прим. к с. 448.

Были они подобны Ма Жуну, поучавшему перед завесой, и Дун Чжуну, читавшему под пологом... — Ма Жун — ученый-конфуцианец (79—166 гг.) поучал своих учеников перед красной шелковой завесой, за которой женщины играли на музыкальных инструментах. Дун Чжун — ученый, живший в ханьскую эпоху; чтоб оградить себя от помех, читал книги под опущенным пологом.

Светильник мудрого Ханя.— Здесь, видимо, намек на стихи знаменитого китайского поэта Хань Юя о преуспевающем в ученье, где сказано, что светильник светит после захода солнца, и ученик погружен в занятья и днем и ночью — круглый год.

Изголовье благородного Вэня.— Речь идет здесь о знаменитом китайском историографе Сыма Гуане (1019—1086), посмертное имя которого Вэньчжэн. Будучи весьма усерден в занятиях, он спал на круглом изголовье из дерева, с которого после недолгого сна соскальзывала голова. Вэнь просыпался и вновь садился за книги.

Чжу Си (1130—1200) — китайский философ, один из основоположников неоконфуцианского учения.

...выпить до дна озеро Юньмын...— Намек на строку из «Поэмы о Цзысюе» Сыма Сян-жу: «Девять озер он почти заглотал, девять таких, как Юньмын»... Здесь обозначает неуемность желаний, чрезмерные притязания.

...в груди у каждого бряцали оружием тысячи латников...— В «Истории династии Сун» о полководце Фань Чжун-яне (989—1052) сказано, что у него в груди сокрыты десятки тысяч латников, то есть ему ведомо множество воинских хитростей и он очень храбр.

...вспоминали... трактаты по воинскому искусству.— Имеются в виду старые китайские трактаты «Шесть стратегий» и «Три расположения».

Стр. 456. *...как на листке из Линьчуаня или в книге «Белый лотос».*— Знаменитый каллиграф Ван Си-чжи записал в Линьчуане на шелковой бумаге стихи, чтоб они сохранились для будущих поколений; запись эта называлась «листок из Линьчуаня». Книга «Белый лотос» — поэтический сборник «Белый лотос» ученого монаха Ци-цзина (IX в.). По-видимому, говоря о красоте почерка Ци-цзина, который не был каллиграфом, автор намекает на то, что, когда Ци-цзин в детстве был пастухом, он бамбуковым прутом писал на спинах волов стихи, и люди приходили полюбоваться на его письмена.

...подобно пронзившему ивовый лист стрелку.— Речь идет о Ян Ю-цзи, знаменитом стрелке из царства Чу в древнем Китае, он со ста шагов сто раз подряд попадал стрелой в лист ивы.

Преступив красный порог...— Здесь речь идет о дворцовых экзаменах на высшую степень.

...ворочались, обряженные в парчу...— Тем, кто отличались на экзамене в столице, жаловалось парчовое платье.

...словно рыба гунь или птица пэн...— В книге «Чжуан-цзы» описана огромная рыба гунь, которая превращается в гигантскую птицу пэн, и крылья ее заслоняют небо; здесь — аллегория дерзновенности и величия духа.

Инчжоу — одна из гор, населенных бессмертными в море Бохай.

Гора Бэйман — место погребения знатных людей близ города Лояна, который был одно время столицей Ханьской империи; название ее стало синонимом кладбища.

...словно песни Нин Ци...— Нин Ци, по преданию, был пастухом; однажды он остановился на ночлег в столице княжества Ци, накормил волов и запел. Правитель княжества Хуань-гун услыхал его песню и, пораженный глубоким ее смыслом, пригласил Нин Ци к себе на службу и сделал важным сановником.

Гунсунь Хун прославился своими ответами на экзаменах во времена ханьского императора У-ди (140—87 гг. до н. э.).

КУПЦЫ И БРОДЯЧИЕ ТОРГОВЦЫ

Стр. 457. *Тэм* — мера длины, равна восьмидесяти пядям.

Девятиустые жемчужины — редкая разновидность жемчужин с девятью отверстиями; через нее очень трудно продеть нить, так как отверстия идут не напрямик, а по кругу. По преданию, Конфуций посоветовал некогда человеку, нашедшему две такие жемчужины, обвязать муравья смазанной жиром нитью, чтобы он протащил ее сквозь отверстие. Подобный же способ изложен и во вьетнамской народной песне.

...как сон на подушке в Ханьдане.— См. новеллу Шэнь Цзи-цзи «Волшебное изголовье».

НГУЕН ЗЫ

ИЗ КНИГИ «ПРОСТРАННЫЕ ЗАПИСИ РАССКАЗОВ ОБ УДИВИТЕЛЬНОМ»

Книга Нгуен Зы из двадцати написанных на вэньяне рассказов (сохранились лишь поздние ксилографические издания 1764 г.) не раз переводилась на вьетнамский. В 1957 году в Ханое, в издательстве «Ван хоа» она вышла в переводе Чук Кхе и Нго Ван Чиена с предисловием Буи Ки и была переиздана в новой редакции издательством «Ван хаук» (1971 г.). По последней публикации и выполнены русские переводы. Пятнадцать новелл Нгуен Зы вышли отдельной книгой в издательстве «Художественная литература» (1974) в переводах М. Ткачева.

РАССКАЗ О ТЯЖБЕ В ДРАКОНЬИХ ЧЕРТОГАХ

Стр. 458. *Государь Чан Минь Тонг* — правил с 1314 по 1329 г.

Стр. 459. *...соорудил пустую гробницу...*— Если человек умирал на чужбине, сооружали гробницу без захоронения, там чтили память усопшего.

Стр. 460. *Сиятельный господин* — здесь: княжеский титул, второй по значению при династии Чан, жаловался за заслуги; позднее давался младшим членам королевской семьи.

Лю И опускался в озеро Дунтин...— В эпоху Тан в Китае некто Лю И повстречал дочь Повелителя вод озера Дунтин. Она открыла Лю И путь в

Подводное царство и просила доставить отцу письмо. Потом Лю И женился на ней, и они жили в Драконьем дворце.

...Шань Вэнь пировал в Драконьих чертогах.— При династии Юань (1260—1368) в Китае Шань Вэнь был приглашен в Подводный дворец, написал для Повелителя вод тронную речь и был зван на изобильный пир.

Зам — старинная мера длины, равна 432 м.

Стр. 461. *Цветы тьонг ви* — индийская сирень.

Стр. 462. *...феникс мог снова взлететь в облака...*— В Китае у дочери государя страны Вэй-ло жил феникс. Вдруг царевна понесла; государь велел убить феникса и зарыть в лесу. Царевна родила дочь и поехала с нею в лес, запела там песню, и вдруг появился феникс, обнял дочь и улетел с нею за облака.

...конь воротился назад к пограничной заставе.—В древнекитайской книге «Хуайнань-цзы» говорится о старике, разводившем коней на заставе; один конь убежал через рубеж, но потом вернулся, приведя за собой прекрасную лошадь.

Яшма по-прежнему нетронута, без изъяна...— В китайских летописях сказано, как один князь предложил соседу свою знаменитую яшму в обмен на пятнадцать городов: но посол соседнего князя заподозрил обман и вернул яшму «нетронутой».

Стр. 465. *Сюй Сунь* — жил в Китае при династии Цинь (246—207 гг. до н. э.), помогал людям истреблять водяных чудищ. *Шу Фэй* при династии Чжоу славился отвагой и чудотворством; однажды зарубил двух змеев, напавших на его ладью.

Ди Жэнь-цзе — вельможа эпохи Тан. *Хэнань* — одна из древнейших провинций Китая к югу от Хуанхэ.

РАССКАЗ О ЗЛЫХ ДЕЛАХ ДЕВИЦЫ ДАО

Стр. 465. *В пятый год «Унаследованного изобилия».*— См. прим. к с. 416.

Стр. 466. *Река Круглой серьги* (Ньи-ха) — древнее название излучины Красной реки неподалеку от столицы.

Первая восточная сходня (Донг-бо-дэу) — столичная пристань на Красной реке; при Чанах здесь проводились смотры войск и кораблей.

Стр. 467. *Лян* — государство в древнем и средневековом Китае.

...просит доступа на Тридцать третье небо.— По буддийским представлениям, на небе Индры (главного божества индуистов, признаваемого и буддистами) в каждой из четырех сторон расположено по восемь небес, а в центре — Тридцать третье небо, где возродилась мать Будды — Майя и находится блаженная столица Индры.

Кажется: вот они бросятся в реку, как некогда царские вдовы.— Речь идет о женах мифического китайского императора Шуня, утопившихся после его смерти в реке Сян.

Влаги священной черпнув из ущелия Цао...— Во времена династии Лян буддийский монах Чжи Яо плыл на лодке в Китай и, достигнув речки Цаоси, почуял сладостный дух, зачерпнул воды из Цао, понял, что место это свято, и основал там пагоду.

Тянется Дао, как прежде тянулась, к парчовой накидке певицы.— В Китае в эпоху Тан знатные люди, довольные пением певицы, набрасывали ей на голову кусок дорогой парчи.

...был на Празднике лотоса некогда Тао бессмертный обманут.— Настоятель Дунлиньской пагоды Хуэй-юань создал сообщество Белого лотоса и пригласил в него великого поэта Тао Юань-мина; поэт якобы согласился прийти, если его угостят вином, но вина не дали, и Тао, рассердясь, ушел (эта версия вьетнамского комментатора расходится с некоторыми китайскими источниками).

Стр. 468. *Врата Прозренья, Самосозерцанья...*— В оригинале — «врата бодхи», то есть истинного прозрения (прозрения через созерцанье).

Стр. 469. *С Южной галереи глядя в ночь...*— Во времена династии Цзинь в Китае вельможа Соу Лян любил глядеть на луну с Южной галереи.

Стр. 471. *В год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Буйвола...*— 1349 г.

Девять источников — аллегорическое название Подземного (загробного) царства.

Поученье шести подобий.— Поученье (буддийск.), где мирская жизнь уподоблена сновиденью, миражу, пузырям на воде, туману, мимолетности, кратчайшему мигу.

...оставишь пределы четырех материков.— По представлениям буддистов, земной мир состоит из четырех материков, «оставить» их — значит закончить земное существование.

Стр. 473. *Книга «Лэн-янь»* — сборник буддийских текстов, появившийся в Китае в эпоху Тан и не имеющий санскритского оригинала.

Стр. 474. *...как некогда Ша Мыня и его людей осудил государь Вэй...*— В Китае при династии Вэй (220—264) в одной из пагод было найдено оружие и подземелье, где прятались женщины; государь велел казнить ее настоятеля Ша Мыня и всех монахов, сжечь священные книги и разбить статуи.

РАССКАЗ О ПОКИНУТОЙ ПАГОДЕ В УЕЗДЕ ВОСТОЧНЫХ ПРИЛИВОВ

Стр. 475. *При государе Зиан Дине из дома Чан...*— Дом Чан — здесь: династия Поздних Чанов (1407—1413). Государь Зиан Динь — младший сын короля Чан Нге Тонга; поднял в 1407 г. восстание против захвативших Дайвиет китайцев, но был разбит, взят в плен и увезен в Китай (1409 г.).

Когда полчища Нго отступили...— Речь идет об изгнании из Дай-виета китайских войск (1428 г.).

Красногребенчатые утки (вьетнамск. иган) — птицы семейства утиных с пестрым оперением и мясистым красным гребнем.

Стр. 478. *Ле* — мера объема, равна 1,036 л.

...выдрать в саду сахарный тростник, подражая древнему Военачальнику Тигриной головы! — Гу Ци-чжи, полководец китайской династии Цзинь, имевший звание Военачальника Тигриной головы, славился пристрастием к сахарному тростнику.

Стр. 479. *Изваянья обоих Стражей истинного пути.*— Речь идет о дхармапалах (санскритск.) — охранителях закона, изваяния которых стоят у входа в буддийский храм.

...хаук ши по имени Су в правление дома Сун...— Имеется в виду Су Дун-по, друживший с настоятелями буддийских храмов.

...чанг нгуену из рода Лыонг у нас при государях Ле.— Чанг нгуен — высшая степень, присваивавшаяся на конкурсных экзаменах. Речь идет о Лыонг Тхе Вине (1441—?) — знаменитом вьетнамском ученом, дипломате и литераторе, входившем в Собрание двадцати восьми светил словесности.

...вроде Хань Чан-ли...— Имеется в виду китайский поэт Хань Юй.

РАССКАЗ О ДЕВИЦЕ ПО ИМЕНИ ТУИ ТИЕУ

Стр. 480. *Нгуен Чунг Нган* (1289—1370) — выдающийся государственный деятель, ученый и поэт; действительно был наместником в Ланг-зианге.

...год, на котором в месяцеслове сошлись знаки Земли и Пса...— 1358 г.

Стр. 484. *Квартал Мира и согласия* (Тхай-хоа) — один из старейших кварталов Тханг-лаунга в северо-западной части столицы.

Званье «Опора державы»((Чу куок) — одно из высших придворных званий, жаловалось за особые заслуги.

Они любовались цветами...— В Дай-виете, как и в соседних странах, существовал обычай «любованье цветами» — дерева *маи* (разновидность сливы) — весной, персика — под Лунный новый год и т. д.

Стр. 482. *И тучи над землями Цин небосклон застилают.*— Идиоматическое выражение для обозначения густых черных туч, восходит, очевидно, к стихам средневекового китайского поэта Сыкун Ту.

Где храбрый Кун-но или Сюй Цзюнь знаменитый? — Кун-но (Куньлуньский раб) и Сюй Цзюнь — персонажи средневековой китайской литературы; храбрецы, помогавшие соединиться разлученным влюбленным.

...как же вернуть мне мою драгоценную яшму? — Намек на стихотворение китайского поэта Ду Му (803—852), герой которого, вынужденный покинуть родину, получает в дар от друга поднос с рисом и дорогую яшму; взяв поднос, он возвращает яшму. С тех пор «вернуть яшму» — значит возвратить сокровище владельцу.

...бумажный листок, на подобном когда-то писала Сюэ Тао...— В эпоху Тан в Китае поэтесса Сюэ Тао сочиняла короткие стихи и потому нарезала бумагу небольшими листками.

Хэси — область древнего Китая к западу от Хуанхэ.

...как Мэн Гуан, я не поднимала до самых бровей поднос.— При династии Хань в Китае женщина по имени Мэн Гуан, почитая мужа, подавала ему еду, подняв поднос до бровей. Здесь героиня намекает, что ни к кому не питала сердечной склонности.

Игрою на каме, как древле Чан Цин знаменитый, никто еще сердце мое не сумел полонить.— Кам — пятиструнный щипковый музыкальный инструмент. Чан Цин (прозванье китайского поэта Сыма Сян-жу) — см. прим. к с. 77.

Я чтила высокий талант стихотворца Ду Му...— По мнению вьетнамского комментатора, речь идет о стихах, сочиненных Ду Му на пиру у вельможи, где певицы сравниваются с цветами.

Стр. 483. *...как в давнее время другую, // меня на дороге похитил злодей...*— Героиня сравнивает себя с красавицей Лю, возлюбленной танского поэта Хань Хэна, которую тоже похитил вельможа.

Хань Хэн написал, что поломаны ветки у ивы и ствол...— Здесь намек на стихи, посланные поэтом красавице Лю и построенные на игре слов, так как имя ее «Лю» означает «ива».

...но снова жемчужницы к старым прибьет берегам.— По преданию, у берегов Хоп-фо (см. прим. к с. 386) водились раковины-жемчужницы, которые при дурных правителях уходили в глубину, а при справедливых — возвращались к берегу.

...увы, как говорится, над землей Чу дождь, а в Яне — солнце...— Чу и Янь — государства на крайнем юге и севере Китая; фраза эта — намек на разобщенность влюбленных.

...горевала о бедном лепешнике...— Танский принц Нин Ван похитил жену лепешника, но она, живя во дворце, горевала о муже; принц призвал его и отпустил с ним жену восвояси.

...бросилась с галереи наземь...— Во времена династии Цзинь в Китае Чжао Ван-лунь, чтоб овладеть красавицей Люй Чжу, убил ее мужа; но она, храня верность супругу, бросилась с дворцовой галереи и разбилась насмерть.

Стр. 485. *...скорее, как говорится, обмерю пядью великую гору У...*— Здесь, видимо, намек на бытовавший в китайской словесности образ духа горы У, сводившего влюбленных; другое значение фразы — безнадежность затеянного предприятия.

...заводить речь о возвращении жемчуга.— В давние времена в Китае Линь Си нашел на постоялом дворе сумку, полную жемчуга, вернул ее владельцу и отказался от награды.

...или Чан-ли, который отпустил прекрасную Лю-чжи.— Чан-ли (прозванье китайского поэта Хань Юя) охладел к пытавшейся бежать из его дома наложнице Лю-чжи и отпустил ее восвояси.

Стр. 486. *Кто же, ища дорогую жемчужину, уляжется перед пастью Черного дракона?* — Некогда в Китае юноша достал со дна моря бесценную

жемчужину; отец объяснил ему, что жемчужину выронил во сне из пасти дракон, а не засни чудище, сыну б несдобровать.

Стр. 487. *...как некогда Вэй или Хо...*— Вэй Цин и Хо Цзюй — знаменитые полководцы династии Хань.

...спустились в округ Небесной вечности...— Вьетнамцы говорят не «ехать с севера на юг», а «спускаться» и наоборот, соответственно — «подниматься». Округ Небесной вечности (Тхиен-чыонг) — родина первых чанских королей (современная провинция Нам-ха, ДРВ).

...седьмой год «Великого правления»...— «Великое правление» — один из девизов царствования Чан Зу Тонга (1358—1369); здесь — 1365 г.

...едва перестав быть супругой Чыонга, стала соложницей Ли.— Чыонг (китайск. Чжан) и Ли — очень распространенные фамилии; фраза означает женское непостоянство.

...стоит покончить с сомнениями в Сяцае, вновь заблуждаешься в Янчене.— Сяцай и Янчен — уезды в древнем китайском царстве Чу, где было множество красавиц и куда съезжались якобы отовсюду титулованные и чиновные мужи. Здесь почти дословно цитируется ода китайского поэта Сун Юя.

РАССКАЗ О ВОЕНАЧАЛЬНИКЕ ЛИ

Стр. 487. *Сиятельный князь Данг Тат.*— Данг Тат был при Хо Куи Ли (см. выше) наместником округа и сохранил свой пост после китайской оккупации 1407 г.; узнав о восстании Зиан Диня, перебил китайцев в своем округе, присоединился к принцу и успешно возглавил армию повстанцев; но вскоре Зиан Динь по ложному навету казнил его (1409 г.).

Стр. 490. *Прошу почтительно царский суд...*— Здесь: суд Повелителя Неба, высшая инстанция, определявшая воздаяния за добро.

Судилище Южного созвездия.— Во вьетнамской мифологии упоминаются два брата-близнеца, духи Южного созвездия (Южного Креста) и Полярной звезды, рожденные смертной женщиной, зачавшей их в преклонном возрасте и носившей почти шесть лет. За мудрость и добронравие Самодержец Нефрита взял их на небо и поставил одного (Духа Южного созвездия) ведать рождениями, а другого — смертями.

Стр. 491. *Государев суд.*— Здесь: суд Повелителя Подземного царства Зием Выонга, где и происходит действие рассказа.

...не спутают здесь жеребца вороного с гнедою кобылой.— Государь царства Цинь в Китае Му-гун (659—621 гг. до н. э.) послал придворного Цзю Фан-гао выбрать ему резвого коня. Вернувшись, Цзю Фан-гао сообщил, что выбрал гнедую кобылу; однако государю привели вороного жеребца. Но главное — конь оказался резвым.

Стр. 492. *Хун Ян* — вельможа ханьского императора Чэн-ди (32—7 гг. до н. э.) захватывал чужие земли и выгодно их сбывал.

Ян Су — военачальник династии Суй (589—619), прославился своей жестокостью не только к врагу, но и к собственным солдатам.

Стр. 493. *Девятая темница* — метафорическое обозначение Подземного царства.

РАССКАЗ О ПОВЕЛИТЕЛЕ ДЕМОНОВ НОЧИ

Стр. 493. *На исходе лет «Многократного сияния».*— «Многократное сияние» — девиз правления Чан Куи Кхоанга (внука короля Чан Нге Тонга), поднявшего в 1409 г. восстание против китайцев; в 1413 г. был разбит, схвачен и отправлен в Китай; по дороге утопился в реке. В годы войны и минской оккупации погибло множество людей, вымирали целые деревни. Некому было хоронить покойников, совершать положенные обряды на могилах и у алтарей предков. Считалось, будто тени умерших, лишенные приюта и пропитания, рыщут среди живых.

Стр. 495. *...попирая права Небесного творца...*— Имеется в виду Повелитель превращений (Хоа Конг).

Повелитель мрака — то есть Зием Выонг.

Стр. 497. *Янь Хуэй* — ученик Конфуция, жил бедно, в глухом переулке; но благодаря своей справедливости и уму был назначен после смерти Письмоводом при Повелителе Подземного царства.

Чан-цзи — прозванье китайского поэта Ли Хэ (790—816); по преданию, с детства изнурял себя занятиями и оттого рано умер.

Стр. 498. *...умер от голода Дэн, владея медной горой...*— Дэн Тун был любимцем китайского императора Вэнь-ди (II в. до н. э.). Узнав, что Дэну предрекли голодную смерть, Вэнь-ди подарил ему медную гору и разрешил лить монету. Дэн разбогател; но новый император отнял у него гору и все добро, и Дэн умер с голоду.

...Чэ, появясь на свет, лишил достояния Чжу.— Бедняку Чжу Шу явился во сне дух и сказал, что ему достанутся на время деньги некоего Чэ. Вскоре Чжу разбогател, но засуха сгубила его урожай, и он с остатками имущества бежал на чужбину. По дороге неизвестная женщина попросилась переночевать под его колесницей, вдруг родила сына и назвала его Чэ (Колесница). Потом все деньги Чжу достались этому мальчику.

...разбушевался ветер у горы Маян...— По преданию, поэт Ван Бо (647—675), торопившийся в Наньян на состязание стихотворцев, причалил свою лодку у горы Маян на берегу Янцзы. Дух-повелитель вод обещал ему во сне помощь. Попутный ветер наполнил парус, и к утру Ван Бо был в Наньяне.

...молния расколола плиту с письменами у пагоды Цзиньфу.— По преданию, к китайскому вельможе Фань Чжунь-яню (989—1052) явился школяр, сетуя на нужду. Вельможа, выдав ему бумагу и тушь, велел снять в пагоде Цзиньфу тысячу копий с надписи знаменитого каллиграфа и продать их в столице. Но не успел тот начать работу, нагрянула буря, и молния разбила стелу.

Янь и *Минь* — ученики Конфуция Янь Хуэй и Минь Цзы-цянь, славившиеся своей сыновней почтительностью.

...вроде Ло или Лу...— Известные китайские литераторы Ло Бинь-ван (?—684) и Лу Чжао-линь (ок. 641—680 гг.); они стремились к «естественной» жизни, пренебрегая суетой и не заискивая перед власть имущими. Правитель танской столицы бранил их за то, что они литературные занятия предпочли службе, и предрек им дурной конец. И Лу Чжао-линь, заболев, утопился в реке, а Ло Бинь-ван примкнул к мятежу и был казнен.

М. Ткачев

ЯПОНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

ПОВЕСТЬ О СТАРИКЕ ТАКЭТОРИ

«Повесть о старике Такэтори» («Такэтори-моногатари», или «Такэтори-но окина моногатари») была известна также под названием «Повесть о Кагуя-химэ». Автор неизвестен. Существует гипотеза, что создателем ее был Минамото-но Ситаго (911—983), известный поэт и ученый. Время создания в точности не установлено, но уже в XI веке «Повесть о старике Такэтори» считали «прародительницей всех романов». Видимо, она появилась в самом конце IX века или в начале десятого. С тех пор и до нашего времени повесть эта пользуется огромной популярностью среди японских читателей. Она оказала большое влияние на поэзию, роман, театр Японии. Изучение памятника началось уже в средние века и идет со все возрастающей интенсивностью, но многие спорные вопросы до сих пор еще не разрешены. В «Повести о старике Такэтори» сплетены сказочно-фантастические мотивы самого разнообразного происхождения: японские, китайские, индийские. Одни из них взяты из самой гущи японского фольклора, другие навеяны буддийскими и даосскими легендами. Бытовая основа содержит в себе моменты острой социальной сатиры. Возможно, что отдельные сатирические стрелы были пущены в знатнейших сановников из правящего рода Фудзивара. Структура «Такэтори-моногатари» уникальна и представляет собой большой интерес для истории и теории романа.

Повесть переведена на многие европейские языки. На русский язык переводилась неоднократно, начиная с 1899 года, под разными названиями: «Принцесса Лучезарная», «Лунная девушка», «Дочь Луны», «Дед Такэтори».

Перевод «Повести» дается по книге: «Волшебные повести», перевод с японского В. Марковой, М., 1962. Уточнен для настоящего издания.

Стр. 519. *Сануки-но Мияцукомаро* — имя, пародирующее старинные летописи, звучит комически после сказочного фольклорного зачина.

...а нынче досталась мне не клетка, а малолетка...— Слово «ко» — «дитя» и «ко» — «плетеная клетка» по-японски однозвучны. Эта деталь свидетель-

ствует о том, что Кагуя-химэ народной сказки — девушка-птица, лишь на время принявшая людской облик.

Сделали ей прическу, какую носят взрослые девушки...— зачесали кверху детскую челку, а волосы с затылка спустили на спину.

Мо — предмет парадного женского одеяния, род длинного шлейфа, украшенного цветным рисунком и двумя ниспадающими лентами. Подвязывался сзади при помощи пояса. Когда девушка из знатного рода достигала двенадцати — тринадцати лет, то справляли обряд совершеннолетия, во время которого на нее в первый раз надевали «мо».

Стр. 520. *Жрец Имбэ-но Акита из Мимуродо.*— Имбэ — жреческий род (жрец), Акита — собственное имя, Мимуродо — название местности в провинции Ямасиро.

Наётакэ-но Кагуя-химэ.— В древнейшей Японии имена «сочинялись к случаю» и нередко включали в себя поэтические эпитеты. Наётакэ — гибкий бамбук. Корень «каг» в имени Кагуя обозначает свет и одновременно тень, иными словами, то, что отбрасывает от себя предмет. Тень понимается тоже как своего рода эманация. Недаром в главе VIII Кагуя-химэ обращается в тень. Химэ (дочь солнца) — почтительный суффикс к именам женщин из знатного рода.

Так и родились слова «жена» и «невеста».— В оригинале шуточно обыгрывается этимология слова «свататься», в первоначальном значении «тайно ходить к жене по ночам»,— форма брака, бытовавшая при родовом строе, когда жена оставалась в родительском доме.

Стр. 521. *Правый министр* (удайдзин) — третий по степени важности должностной чин после главного и левого министров в «Дайдзёкане» — Высшем государственном совете.

Дайнагон — старший государственный советник, по существу, высокое придворное звание.

Тюнагон — второй государственный советник.

...и в месяц инея...— одиннадцатый месяц (симоцуки) по лунному календарю.

...и в безводный месяц...— шестой месяц (минадзуки).

Ты божество в человеческом образе...— Старик Такэтори употребляет буддийский термин «хонгэ» (аватар). Согласно буддийским воззрениям, будды и бодхисатвы могут воплотиться в человеческом и любом ином образе на земле.

Стр. 523. *...есть в Индии каменная чаша...*— Чаша (санскритск. патра), по виду напоминавшая большую пиалу, служила нищенствующим монахам для сбора подаяний. Согласно легенде, чаша, с которой странствовал Будда Сакья-муни, испускала лазоревое сияние.

...есть в Восточном океане чудесная гора Хорай.— Китайские древние предания рассказывали, что в океане плавают на головах гигантских черепах три чудесные горы — обители бессмертных небожителей и мудрецов. Одна из них звалась Пэнлай. На ней росли нефритовые и жемчужные

деревья, плоды которых даровали бессмертие. Видимо, в этой легенде отразились представления о потустороннем мире. Легенда эта напоминает древнегреческое сказание о саде Гесперид и кельтские легенды о чудесных островах. Легенда о чудесном острове, видимо, скандинавского происхождения, бытовала и у русских поморов.

...платье, сотканное из шерсти Огненной мыши.— Согласно китайским легендам, горный хребет Куньлунь опоясывают огненные горы. В огне живет мышь ростом больше быка, покрытая густой шелковистой белой шерстью. Выйдя из огня, она обливала себя водой и умирала, а из ее шерсти пряли ткань, которую мыли не в воде, а в пламени.

...камень, сверкающий пятицветным огнем...— Под нижней челюстью у «Черного Дракона в Девятой пучине», который упоминается в книге «Чжуанцзы», находилась сверкающая жемчужина. Фантастический зверь-дракон — водяное божество. В гневе он мог вызвать грозу, бурю или наводнение. Дракону (змее) в древности приносили человеческие жертвы (см. книгу «Атеисты...», перевод Л. Д. Позднеевой, с. 313).

А у ласточки есть раковинка...— Раковины в Японии были средством народной магической медицины. Коясугай («раковина, помогающая при родах») — разновидность ципреи. Женщина во время родов держала эту раковину в руке. Коясугай по виду напоминает птичье яйцо.

Путь длиной в сотни тысяч ри...— Ри (китайск. ли) — мера длины примерно равна четырем километрам.

Пиндола — один из ближайших учеников Будды Сакья-муни.

Стр. 524. *...привязал его к ветке рукодельных цветов...*— Подарки и письма было принято привязывать к цветущей ветке. В большом ходу были искусственные цветы.

В сиянье Белой горы...— Кагуя-химэ метафорически уподобляется Белой горе (Сираяма). Гора эта находилась в провинции Кага.

Испил я чашу позора...— В оригинале: «бросил чашу» или, по созвучию, «потерял стыд».

...на острове Цукуси.— Цукуси (остров Кюсю) расположен к югу от главного острова Японии. Морское путешествие в те времена было длительным и опасным.

Стр. 525. *...до гавани Нанива...*— Осакский залив, где ныне расположен город Осака.

...волшебный цветок Удумбара.— Удумбара (санскритск.) — фантастическое древо, которое, согласно индийской буддийской легенде, цветет раз в три тысячи лет, и тогда на земле появляется Будда.

Стр. 526. *Нападали на нас страшные, похожие на демонов, существа...*— В Китае и Японии, так же, как в древней Греции, были в большом ходу рассказы о всевозможных чудовищах, населяющих острова в океане.

Стр. 527. *...утром, в час Дракона...*— В старой Японии, как и в Китае, сутки делились на двенадцать «страж», по два часа в каждой. «Час Дракона» — с восьми до десяти утра.

Стр. 528. *Один из них нес письмо...*— Знатному человеку, по обычаю, подавали письмо на конце трости из некрашеного дерева с зажимом в виде птичьего клюва.

...ни риса, ни какого другого... зерна...— Имеются в виду пять злаков: рис, ячмень, просо, сорго, бобы.

Стр. 529. *Напрасно рассыпал он жемчужины своего красноречия...*— В оригинале игра слов построена на том, что «тама» (душа) и «тама» (жемчужина) — ононимы. Поговорка имеет двойной смысл: «потерял жемчуга» — «потерял душу», то есть жизнь.

Стр. 532. *Погорело его дело.*— В оригинале слова «нет Абэ» (в доме Кагуя-химэ) переосмыслены по созвучию: «его постигла неудача».

Стр. 536. *...тогда-то и появилось слово «трусливый»* («тру-сливы»).— В оригинале восклицанию: «Ах, кисло!» (о сливе) — придан и другой смысл: «Ах, невыносимо (смешно)!»

Стр. 539. *Ужель это правда...*— Танка построена на сложной игре слов. Берег Суминоэ возле залива Нанива часто упоминается в японской поэзии. Там находится храм, посвященный богу моря Сумиёси.

Стр. 541. *...а я за это пожалую тебя шапкой чиновника пятого ранга.*— Согласно табели о рангах, все чины делились на восемь разрядов, старшим был первый, пятый давался чиновникам средней руки.

Стр. 544. *Не следует долго глядеть на лунный лик.*— Как свидетельствует древняя японская литература, считалось, что нельзя долго глядеть на луну или спать, когда лучи луны падают на лицо, это ведет будто бы к несчастью. Пережитки подобного суеверия сохранились и в наше время на севере Японии.

Стр. 547. *...час Мыши* — то есть полночь.

Стр. 549. *Одежда из перьев* (хагоромо) — сказочный атрибут небесной феи. Лишь в этой одежде она могла летать по небу.

Дева, испей напитка бессмертия...— Согласно древней китайской легенде, белый заяц, сидя под коричным деревом, растущим на луне, толчет в ступке пестом эликсир бессмертия (см. прим. к с. 280, 284).

Стр. 550. *Цуки-но Ивакаса.*— Родовое имя военачальника «Цуки», созвучно луне, «Ива» — горные скалы, Цуки-каса — кольцо вокруг луны.

Стр. 551. *Оттого и прозвали эту вершину «Горой бессмертия» — Фудзи.*— Так в повести прочтены по созвучию два китайских иероглифа, при помощи которых фонетически транскрибируется название горы Фудзи. Тут же шуточно обыгран один из возможных вариантов такой транскрипции: «изобилующая воинами», ибо на гору поднялось множество воинов. Название «Фудзи» — одна из загадок японской топонимики. Оно, видимо, очень древнего, айнского, происхождения; точное значение не установлено. Гора эта — потухший вулкан. В эпоху создания повести он уже не курился.

В. Маркова

КИ-НО ЦУРАЮКИ

«ДНЕВНИК ПУТЕШЕСТВИЯ ИЗ ТОСА В СТОЛИЦУ»
(Фрагменты)

Ки-но Цураюки (ок. 878 — ок. 945 гг.) — один из основателей японской литературы. Замечательный поэт, он возглавил комитет по составлению поэтической антологии «Кокин вакасю», сокращенно, «Кокинсю», («Собрание древних и новых песен Ямато»; далее — в примечаниях: «Кокинсю»), в предисловии к которой впервые изложил принципы японской поэтики. В «Собрание» вошли стихотворения лучших поэтов VIII—IX вв.; оно надолго определило пути развития поэзии, да и всей японской классической литературы. Основная форма японской поэзии тех времен — танка-пятистишие, стихотворение в тридцать один слог. Пятистишие было истинным воплощением понятия «прекрасного» в японской средневековой культуре (см. ниже, с. 854—855). Предметом поэзии была жизнь человеческого сердца в тесной связи с миром природы. Поэтика пятистишия испытала сильное влияние буддизма с его идеей бренности, с его интересом ко всему сущему, будь то высокое или низкое; отсюда и тонкое чувство смешного, любовь к гротеску. Мир пятистишия включал в себя всю гамму человеческих чувств, причем в особенности зыбкие, прихотливые переходы от серьезного к забавному, от величественно-прекрасного к живой прелести, открывшейся на миг. Все это в полной мере относится и к стихам самого Цураюки и к его «Дневнику», где отражены два месяца жизни поэта, возвращающегося в столицу после пребывания правителем в далекой земле Тоса на юго-западе Нанкайдо (ныне остров Сикоку). Он был послан туда правителем, видимо, в знак опалы. Разумеется, это не дневник в полном смысле этого слова, это повесть со скрытым лирическим сюжетом в форме дневника. Начинается она с литературной мистификации. Автор объявляет себя женщиной и пишет свой дневник не «мужскими знаками», то есть иероглифами, а японским слоговым письмом, которое было тогда в ходу именно у дам. Видимо, большинство,— если не все,— стихи написаны самим Цураюки.

На русском языке существует полный перевод «Дневника», сделанный Олегом Плетнером (см. «Литература Китая и Японии», М., 1935). Настоящий перевод осуществлен по изданию: Нихон котэн бунгаку тайкэй, 20 м, Токио, Иванами сётэн, 1969. Текст подготовлен Судзуки Томотаро.

Стр. 551. *Один человек, прослужив...*— Должность губернатора провинции была сменной. Служба длилась примерно четыре года. Цураюки был назначен правителем в 930 г.

Час Пса — от 7 до 9 часов вечера.

...о спокойной дороге до Идзуми.— Путь из Тоса (резиденция губернатора находилась близ нынешнего г. Нагаока в префектуре Коти) в столицу начинался в гавани Урадо и лежал вдоль западного и юго-западного побережья Нанкайдо, далее на северо-восток; затем, оставляя на севере о. Ава-

дзи, корабль входил в воды, омывающие тогдашнюю провинцию Идзуми на о. Хонсю (ныне южная часть преф. Осака), после чего путешественники сушей попадали в столицу. В «Дневнике» говорится о заливе Идзуми; такого географического названия не существовало. Во всяком случае, в этих местах уже можно было не опасаться пиратов.

Стр. 552. *Те, что прежде простого знака «один»...*— В оригинале: «Те, кто прежде не умели написать иероглифа «один», теперь писали — «десять».

Стр. 553. *...восточные наши песни...*— Имеются в виду песни земли Каи на востоке о. Хонсю (преф. Яманаси). Две подобные песни-пятистишия помещены Цураюки в 20 томе его знаменитой антологии. Они исполнялись на особую мелодию, видимо, диковатую для слуха столичных жителей.

Стр. 554 *...«пыль на крыше ладьи...»* — Здесь контаминация двух цитат из китайской словесности (см. прим. к с. 417).

Соломенные веревки (сирикумэнава) — в древности должны были преграждать путь злым духам.

Наёси — взрослая кефаль.

Стр. 555. «На север, домой»...— Стихи неизвестного поэта, помещенные в «Песнях странствий» антологии «Кокинсю».

«Пронзает весло»...— стихи китайского поэта Цзя Дао (793—865). Написаны в ответ на стихи корейского посла, которого он был послан встречать: «Птицы морские то нырнут, то вновь вынырнут. Облака над горами то рвутся, то сходятся вновь».

Лунный лавр.— В оригинале «кацура» (багряник японский). Японское соответствие сказочному дереву китайских легенд, растущему на луне и отождествляемому с коричным лавром,— см. прим. к с. 280, 284.

Стр. 557. *Абэ-но Накамаро* (ок. 700—770) — вельможа и талантливый поэт; долгое время прожил в Китае, где и умер. Стихи его вошли в антологию «Кокинсю».

...выехал к пристани...— Накамаро выехал в город Минчжоу (совр. провинция Чжэцзян).

Касуга... Микаса...— находились тогда близ столицы.

Стр. 558. *Раковина «Позабудь»* (японск. васурэгай).— Прибрежная раковина красивого светло-лилового цвета с пурпурными прожилками. По народному поверью, помогает забыть печаль, так же, как и *трава «Позабудь»* (васурэгуса — лилейник). Поверье это связано с древней верой в действенную силу слов — названий трав, цветов и т. д.

Стр. 559. *Сумиёси* (более древнее название: Суминоэ) — см. прим. к с. 539.

Нýса — вотивные приношения в виде полосок бумаги или ткани.

Стр. 560. *Лавровая река* (Кацурагава) близ *Ямадзаки* сливается с рекой Ёдогава и спокойно несет свои глубокие воды — в отличие от быстрой мелкой реки *Асука* (уезд Такэти провинции Ямато), которая стала в японской поэзии метафорой изменчивости.

В. Санович

СЭЙ-СЁНАГОН

ИЗ «ЗАПИСОК У ИЗГОЛОВЬЯ»

«Записки у изголовья» Сэй-Сёнагон — своеобразная, тесно спрессованная энциклопедия быта и искусства, она полна реалий, но увиденных глазами художника. Самый перечень их, принцип их отбора и сцепления подчинен художественным целям и апеллирует к внутреннему зрению читателя, к ассоциативному богатству, которым он наделен. Сэй-Сёнагон щедра, она хочет показать читателям то, что видела сама, и разделить с ними радость увиденного.

«Записки у изголовья» находятся под глубоким воздействием изобразительного искусства своего времени, особенно «эмакимоно» — иллюстраций к романам. Работая как живописец, Сэй-Сёнагон компонует картину, группируя фигуры, детали, намечая фон и фиксируя тончайшие оттенки красок и освещения. Лица, как и в «эмакимоно», лишены индивидуальных черт, это идеальный тип хэйанской красоты, портрет детализируется при помощи костюма. Текст служит как бы подписью для картины, но картина уже не нужна, все сказано словом. Сэй-Сёнагон на миг останавливает время, чтобы дать возможность полюбоваться прекрасным.

Любование прекрасным во всех его возможных гранях соответствовало мироощущению хэйанской эпохи. Не всегда красота отождествлялась с красивостью, даже уродливое и страшное могло вызывать эстетические эмоции, если оно стало предметом искусства. В «Записках у изголовья» мы находим эстетическое кредо эпохи, уже осознанное и продуманное. Восприятие красоты в хэйанском понимании было неразрывно связано с чувством и потому являлось актом глубоко личного сознания. Впрочем, Сэй-Сёнагон со свойственным ей юмором показала в «Записках у изголовья», как шаблонизировалось чувство красоты и подменялось чувствительностью напоказ.

Слово «красота» повторяется в книге многократно. Понятие это выражается по-разному разными словами. «Моно-но аварэ» — высший тип гармоничной красоты. Он вызывает глубоко лирическое чувство, окрашенное печалью. С ним тесно связано философское раздумье о непрочности бытия. Влияние китайской поэзии и буддизма здесь особенно заметно. «Окаси» — это красота как бы с улыбкой, красота, вызывающая радостное удивление. При всей своей прелести, она лишена глубины «моно-но аварэ». Сэй-Сёнагон, наделенная большой зоркостью и юмором, умела подмечать «окаси». Поиски необычного угла зрения вообще характерны для японского искусства. И эта любовь к необычному не случайна.

Предполагают, что Сэй-Сёнагон вела дневник, и с этого, в сущности, началась книга. Но куски повествовательной прозы расположены без всякой хронологической последовательности, чередуясь с «перечислениями», лирическими поэмами в прозе и всевозможными пестрыми заметками. Это как бы мозаика, составленная из разноцветных кусочков смальты. «Записки

у изголовья» — родоначальник нового, оригинального, чисто японского жанра «дзуйхицу» («вслед за кистью»). Они оказали огромное влияние на последующую литературу. В мировой литературе трудно подобрать соответствующую аналогию. Принцип жанра — полная свобода писать, не сообразуясь с каким-либо планом, вне рамок заданной фабулы, как бы идти вслед за своим пером (в Японии, оговоримся,— кистью) туда, куда оно поведет.

Подлинного манускрипта не сохранилось. Существует более десяти вариантов текста. В среднем книга содержит около трехсот фрагментов (по-японски они называются «дан» — ступень).

Сэй-Сёнагон происходила из семьи известных поэтов, но социальное происхождение ее отца было скромным — он занимал пост провинциального чиновника. Служить при дворе без поддержки знатного рода было нелегко, но это давало большой простор для наблюдений. Остроумная, язвительная Сэй-Сёнагон нажила себе при дворе немало врагов. Конец ее жизни был печальным. Годы рождения и смерти ее неизвестны. События, о которых говорится в книге, хронологически датируются с 986 по 1000 год.

Перевод печатается по изданию: Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья. М., «Художественная литература», 1975.

Стр. 562. Знаменитый «дан» (фрагмент) *«Весною — рассвет»*, первый в книге, в образах четырех времен года содержит в себе философию и эстетику красоты, присущую хэйанской эпохе.

«Весною — рассвет». Стиль настолько лаконичен, что слова «прекрасней всего» только подразумеваются. Стремительно дается переход от еле брезжущего рассвета к пурпуру: тончайшие градации между мраком и светом. Для картины лета выбрана безлунная, дождливая ночь, когда не летают, а лишь огоньками вспыхивают в глубине листвы светляки. Осень ассоциируется с закатом. Картина эта полна печальной красоты («моно-но аварэ»). Зимой придворная дама заперта в своих покоях, но утром она выглядывает в окно и любуется свежевыпавшим снегом. К полудню снег растает и будет растоптан. Эта маленькая поэма о временах года кончается гибелью красоты.

Стр. 563. *В третий день третьей луны...*— сезонный праздник, ныне известен, как праздник девочек.

...в кафтане «цвета вишни»...— Длинный шелковый кафтан, прямокроенный, с широкими рукавами и узкой опояской, был повседневной одеждой знатного человека. Вместе с этим кафтаном носили широкие шаровары и шапку из прозрачного накрахмаленного шелка. «Цвет вишни» — комбинированный: белый верх на алом или лиловом исподе.

...во время празднества Камо.— Синтоистский храм Камо, расположенный к северу от столицы Хэйан (ныне город Киото), устраивал торжественный праздник дважды в году (в четвертую и одиннадцатую луну). Первый из них иначе именуется Праздник мальвы, потому что в этот день листьями китайской мальвы украшали шапки, экипажи и т. д. Праздник справ-

лялся очень пышно, устраивались храмовые зрелища. Из дворца в храм Камо отправлялось торжественное шествие во главе с императорским послом.

Стр. 564. *...придворное звание куродо...*— Куродо прислуживали императору. Они носили особые одежды желтовато-зеленого цвета.

...ткань, не затканная узорами, выглядит убого...— Узоры на одежде были привилегией знатнейших.

Отдать своего любимого сына в монахи...— Отдавали своего сына в буддийский монастырь, потому что родителям монаха и всему их потомству обеспечено райское блаженство.

...странствующему заклинателю-гэндзя.— Заклинатели-гэндзя (ямабуси) были последователями особой буддийской секты Сюгэндо, возникшей в Японии в VIII в. Гэндзя бродили по священным местам (горы Митакэ и Кумано) с целью получить магические силы. Они врачевали при помощи заклинаний. Считалось, что недуг — это одержимость злым духом. Заклинатель должен был изгнать его, призывая доброго духа-защитника, то есть являлся своего рода шаманом. Иногда обряд изгнания совершался при помощи медиума, в которого на время якобы переселялся злой дух. В народных сказках бродячие монахи обычно изображаются как обманщики и даже грабители на больших дорогах.

Госпожа кошка, служившая при дворе...— Кошки в хэйанскую эпоху были еще редким зверем; их ввозили с материка. Шапка чиновника — часть церемониального наряда. Согласно хэйанской табели рангов, все чины делились на восемь разрядов (рангов), пятый ранг присваивался начальникам разных ведомств.

Мёбу-но омото.— Мёбу — звание фрейлины среднего ранга, омото — «госпожа», почтительное наименование.

Стр. 565. *Ума-но мёбу.*— Ума — прозвище фрейлины.

То-но бэн — комбинированное название двух должностей: старший куродо (глава придворного штата) и секретарь Государственного совета. Речь идет о Фудзивара Юкинари (971—1027), близком друге Сэй-Сёнагон.

Стр. 566. *В каком образе находится он теперь?* — Согласно буддийскому учению, душа проходит через ряд земных воплощений, прежде чем после полного просветления достигнет нирваны. Карма, то есть высший закон возмездия, предопределяет, в каком образе возродится душа.

Стр. 567. *...крикнул он из Столового зала...*— Столовый зал — служебная комната, где ставились подносы с кушаньем.

Зимняя одежда «цвета алой сливы» на желтовато-коричневом исподе носилась зимой, от одиннадцатой до второй луны.

...чтобы «изменить направление пути...» — «Изменение пути» (ката-тагаэ) — одно из средств защитной магии. Перед путешествием обычно обращались к гадателю, который вычислял, не заграждает ли дорогу в этот день одно из грозных божеств Неба (накагами), весьма чтимых в древней магии.

Чтобы отвратить беду, нужно было сначала поехать в другом направлении, по пути остановиться в чужом доме, а уж оттуда ехать куда следует.

День встречи весны — канун сезонного праздника прихода весны (риссюн). Справлялся в начале февраля по нашему стилю. Считалось, что в это время злые духи особенно опасны, поэтому люди часто не оставались в собственных домах.

Стр. 568. *...соблюдают «День удаления»...* — «День удаления от скверны» (ими-но хи) — синтоистский обычай ритуальных запретов. В эти дни не покидали свой дом, не принимали гостей и писем, не ели «нечистой пищи», чтобы появиться перед богами «чистым от скверны» или избежать беды.

Стр. 569. *...но увы! Не получаете «ответной песни».* — В хэйанскую эпоху в большом ходу были стихотворные диалоги. На экспромт надо было тут же ответить подходящим к случаю экспромтом. Очень ценились остроумие и находчивость. Долг вежливости требовал, чтобы, получив стихотворное послание, немедленно послать «ответную песню» (пятистишие — танку).

Стр. 570. *...целебный шар кусудама или колотушку счастья.* — Целебный шар кусудама — средство защитной магии. Представлял собой круглый мешочек, украшенный кисточкой, искусственными цветами и наполненный разными ароматическими веществами. Колотушка счастья — символически изображала небесное оружие против недугов.

Кормить воробьиных птенчиков. — Было в моде выкармливать ручных воробышков, на которых так легко нечаянно наступить.

...драгоценное зеркало уже слегка потускнело. — Бронзовые зеркала главным образом привозили из Китая.

Стр. 571. *Засохшие листья мальвы.* — Они напоминают о празднике Камо (см. выше).

Серебряные щипчики... — Хэйанские женщины выщипывали себе брови и вместо них наносили две широкие черты на лбу.

Стр. 572. *...белоснежная охотничья одежда...* — повседневный костюм знатного человека: кафтан с разрезом по бокам, задняя пола длиннее передней, широкие рукава, круглый воротник в виде стойки.

Стр. 574. *Земные помыслы в присутствии Святого мудреца.* — Святой мудрец (хидзири) — высокое звание, которое носили священнослужители буддийских сект Тэндай (Опора небес) и Сингон (Истинное слово).

Стр. 577. *...зазвенят струны лютни-бива...* — Щипковый инструмент, напоминающий мандолину. На нем играют при помощи плектра.

Стр. 578. *...я отправилась в храмы Хасэ...* — Буддийские храмы Хасэ находились возле города Нара.

Стр. 580. *...или бумага Митиноку...* — Плотная белая, слегка морщинистая бумага из Митиноку (северный край Японии) очень ценилась.

...глядя на луну над горой Обасутэ... — На эту гору в местности Сарасина (провинция Синано) любовались во время полнолуния.

Стр. 580. *Некоторое время спустя случились печальные события...* — В 995 г. отец императрицы Садако канцлер Фудзивара-но Мититака скон-

чался, и во дворце началась борьба за власть между старшим братом императрицы и ее дядей Митинага, который в конце концов стал канцлером. Сэй-Сёнагон заподозрили в том, что она является тайной пособницей Митинага.

Стр. 581. *Век журавлиный в тысячу лет.*— Журавль считался символом долголетья.

Стр. 584. *Решетки ситоми были подняты...*— Решетчатые щиты ситоми, служившие вместо стен и окон, пропускали свет и воздух, но были непроницаемы для чужих глаз. Верхняя рама могла подниматься при помощи особого приспособления.

Заклинания-дхарани.— Дхарани (санскритск.) — особые магические заклинания-молитвы.

Стр. 586. *...его светлость Корэтика.*— Фудзивара-но Корэтика — старший брат императрицы Садако.

«Исторические записки» — сочинение китайского историка Сыма Цяня, жившего во II в. до н. э.

Стр. 587. *Тюдзё Левой гвардии Мунэфуса* — второй начальник Левой гвардии Минамото-но Мунэфуса, один из близких друзей писательницы.

В. Маркова

МУРАСАКИ СИКИБУ

ПОВЕСТЬ О БЛИСТАТЕЛЬНОМ ПРИНЦЕ ГЭНДЗИ

Из пятидесяти четырех глав «Повести» здесь помещены первые четыре. Первая глава начинается по-сказочному: «В одном из царствований...» (В оригинале: «В какое царствование, неведомо»). Так могла бы начаться «Повесть о старике Такэтори», и — закончиться она могла бы, не будь ее героиня лунной феей, так, как завершается земная судьба фрейлины Кирицубо. Но сказочный мотив, едва возникнув, уходит в глубь повествования о современной Мурасаки повседневности — хорошо ей знакомой действительности хейанского двора. Там интересы какой-нибудь могущественной семьи ломали жизнь очередной конкубинки государя или наследного принца. Она могла и не умереть (как Кирицубо), но была нередко обречена на бедность, презрение, на тоскливую скуку доживания в дальнем монастыре или женою провинциального чиновника. В хрониках немало подобных историй... Двор недоволен все возрастающей любовью государя. Сановники ссылаются на печальный пример пагубной страсти китайского императора Сюань-цзуна к красавице Ян Гуй-фэй. В этом напоминании — угроза. Семья фаворитки, подчинив своему влиянию престарелого императора, причинила беды стране. Ян Гуй-фэй была казнена. Но читатели того времени знали не только подлинную историю тех событий, но и поэму Бо Цзюй-и «Вечная печаль» —

давно пленивший японцев рассказ о трагической любви Сюань-цзуна, не вольного спасти от смерти возлюбленную. Высокий строй стихов великого китайца пронизывает первую главу «Повести»: здесь и прямые цитаты, и японские реминисценции на темы «Вечной печали». Она словно бы вызывает на страницы книги и японские стихи-танка — мгновенные отклики сердца. Вернее сказать, танка неизбежно возникают в эмоциональных вершинах эпизодов главы, как возникали в лирических японских повестях и в близких им поэтических дневниках (вспомните дневник Цураюки). У Кирицубо рождается сын. И если глава начинается словно бы сказка, то кончается[1] подобно какому-нибудь разделу исторической хроники «Нихонги»: «Рассказывают, что восхищенный юным Гэндзи кореец, предсказатель судеб, назвал его блистательным». Случайно ли это? В середине «Повести», в главе «Светлячок» Гэндзи беседует со своей юной воспитанницей Тамакадзура о повестях, которые он называет «старинными». Он посмеивается над ее увлечением этими диковинными историями, для него они, говоря современным языком, вчерашний день литературы. Кстати, в те времена основными читателями этих книг были именно женщины и, в особенности, придворные дамы, и именно в их среде, полной интриг и реальной общежитейской пошлости, нашлась одна, которая написала, что старинные романы поражают ее своей неправдой. (Обманутая и отвергнутая мужем, она тоже поначалу увлеклась этими романами. То была автор «Дневника паутинки», который считается исследователями предшественником нашей «Повести».) Какая же требовалась правда в этих романах? Гэндзи говорит: «Впрочем, я несправедлив. Ведь в них-то и описано минувшее от самых времен богов. Что летописные книги, вроде японских анналов?! Случайные сколки жизни! Здесь же — повествование, обдуманное, подробное... Это не значит, конечно, что сочинитель берет историю такого-то человека и попросту излагает все, как было. Нет, перед ним вся жизнь людей этого мира, хорошее и дурное, и он всматривается неустанно, вслушивается, и все ему не довольно; он хотел бы поведать грядущим векам о том, что его взволновало; наконец — не в силах удержать этого в сердце — он начинает говорить. Положим, он рассказывает о ком-то с хорошим чувством, выбирая для рассказа только хорошее, или, в угоду людям, помещает диковинные истории, происшедшие из-за дурного,— все изображается им только так, как могло случиться в действительности. А разве сочинения, созданные в стране другого государя, в Китае, отличаются этим от наших? И напротив, у нас, в одной и той же стране Ямато, старые повести отличны от нынешних. Как, впрочем, и в Китае. Есть среди них сочинения глубокие, есть мелкие. Думаю, все же суть их одна, и называть их пустыми небылицами, разумеется, неверно. Ведь даже Будда в своих проповедях, возвышенно-строгих и чистых, пояснял великие истины с помощью притч, а люди невежественные наверняка немало испещрили священные свитки кривыми толкованиями. Во всех сутрах множе-

[1] Глава переведена не полностью.

ство подобных иносказаний, но сокровенная-то суть их та же, что и в истине Великого Колеса, и расстояние между прозрением и заблуждением не то же ли, что отличает хорошее от дурного в деяниях людей, описанных в повестях...»

Итак, для Мурасаки роман не менее, а даже более серьезен, существеннен, чем историческая хроника. Мурасаки решается даже сопоставить его с буддийскими священными книгами. Истину последних (синнё) — с правдой (макото) вымышленных, сочиненных произведений (цукури). Какая же это правда? Правда чувства (аварэ)! Аварэ — понятие очень емкое (см. с. 853), но — в истоке это безмолвный вздох при внезапно открывшейся истине, красоте истины. Когда это происходит? В любой обыденный миг течения реальной жизни, преображенной поэтом в художественном произведении. В этом реалистическом (другого слова не подберешь) романе начала XI века полнокровная реальность всегда «ощущает» присутствие правды целостного, высшей красоты, но эта красота потаенная, как бы спрятанная в обычном. Мурасаки отдает должное предшественникам, но ее роман в принципе чужд всего диковинного, странного, поразительного: дух госпожи из шестого квартала, убивший Югао, так же реален, как ревность этой госпожи, вызванная изменой Гэндзи. В своем дневнике Мурасаки по шутливому поводу, серьезно замечает, что никого, подобного принцу Гэндзи, при дворе нет. Гэндзи не тип, это образ эпохи, созданный великим поэтом. «Есть высшая смелость: смелость изобретения, создания, где план обширный объемлется творческою мыслию...» (А. С. Пушкин). Мурасаки и ее роман — плод всей японской культуры. Ее связь с фольклором глубока и, можно сказать, не опосредована предшествующей литературой. Фольклорное обобщение стремится поведать о человеке вообще, вот откуда сказочное начало «Повести» и сказочное описание младенчества Гэндзи. Он сказочно прекрасен, как прекрасна высшая культура Хэйана, талантлив, умен, добр, но он плоть от плоти Хэйана (вся его жизнь!), и жизнь его — предрешена.

«Повесть» — чудо архитектоники, в ее мире ничто не случайно. В первой главе завязывается карма — судьба Гэндзи. Он дитя великой любви; здесь он становится всеобщим любимцем; здесь он встречает ту, что стала самой сильной любовью его молодости,— Фудзицубо, наложницу своего отца. Всю беседу о нравах женщин во второй главе можно рассматривать как сложное предисловие к одной фразе Гэндзи: «Других таких женщин, как Фудзицубо, на свете нет». Прелестная незнакомка, о которой рассказывал Тюдзё, оказывается Югао четвертой главы. С героиней третьей главы Уцусэми мы вновь встречаемся в шестнадцатой, в главе «Застава», где судьба ее — на ущербе. Стремясь избавиться от злых чар, связанных с гибелью Югао, Гэндзи уезжает из столицы и встречает девушку, живо напоминающую ему Фудзицубо; оказывается, это ее племянница. Затем она становится (под именем Мурасаки) главной подругой Гэндзи. Фабульные приемы романа просты. Карма напоминает о себе, когда выясняется, что новый император сын Гэндзи и Фудзицубо. Карма в романе откры-

вается, как тайна судьбы. Затем карма вновь возникает, когда последняя любовь Гэндзи — Сан-но-мия отдается молодому придворному по имени Касиваги, и Гэндзи узнает, что она беременна. Повторяется история молодости самого Гэндзи. Умирает Мурасаки. Пятидесяти двух лет умирает и Гэндзи. Главы о его смерти (сороковой) нет. Есть только название: «Сокрытие в облаках» — блистательный Гэндзи умер, сияние его исчезло. Мурасаки не могла рассказать о смерти своего героя. Н. И. Конрад писал: «И автор, эта изумительная художница приема... ставит... всего только одно название главы... с тем, чтобы следующую главу начать совершенно просто: «После того, как свет сокрылся в облаках...» Отсвет сияния Гэндзи еще не померк. Жизнь продолжается, и Мурасаки пишет еще четырнадцать глав, главный герой которых Каору, сын Сан-но-мия...

Ряд косвенных данных заставляет предполагать, что «Повесть о Гэндзи» к 1009 году была в основном завершена. Создательнице ее в ту пору было немногим более тридцати лет.

Здесь помещено все, что перевел из великого японского романа выдающийся советский ученый Н. И. Конрад. Переводы сверены по новейшим японским изданиям. Тексты переводов печатаются: глава «Фрейлина Кирицубо» — по книге: «Литература Китая и Японии», М., 1935; «Разговор в дождливую ночь» («Хахакиги») — по книге: «Японская литература в образцах и очерках», Л., 1927; «Уцусэми» — по журналу «Восток», книга 4, Л., 1924; «Вечерний лик» — по журналу «Восток», книга 5, Л., 1925.

Стр. 587. *...из-за таких дел... возникали беды...* — См. прим. к с. 81—82.

Стр. 588. *Удайдзин* — правый министр. См. прим. к с. 521.

...не отпуская ни на шаг... — то есть нарушал все правила церемониала, соблюдаемого обычно в отношении главных наложниц.

Помещением ей служила часть дворца, названная Кирицубо. — Это название перенесено на самое обитательницу, которая обычно и именуется «фрейлиной Кирицубо». Павильон (цубо), против которого росли павлонии (кири), находился в северной, менее почетной, части императорского дворцового ансамбля, далекой от покоев государя.

Стр. 589. *Кородэн* — опочивальня, примыкающая с запада к покоям государя.

Обряд первой хакама — церемония надевания первой одежды после младенческой. Хакама — длинные штаны в складку, похожие на юбку или шаровары.

Стр. 590. *...чтобы в таких случаях ребенок оставался во дворце...* — Есть предположение, что с 907 г. дети до семи лет не должны были находиться во дворце при траурной церемонии.

Стр. 591. *«Только когда умрешь...»* — Намек на строку из предисловия к стихотворению неизвестного автора (антология «Кокинрокудзё», вторая половина X в.): «...ненавидели при жизни,— умерла, и все пожалели о ней».

...прекратил... служение при себе высоких особ... — то есть наложниц.

Кокидэн — название ближайших с севера к покоям государя покоев и имя матери первого принца и соперницы Кирицубо.

«Явь во тьме» — строка стихотворения из 13 тома «Кокинсю»: «Явь во тьме, черной, как ягоды тутовника... Насколько же более явственна, чем настоящий сон, увиденный ночью!»

Стр. 592. *«Пронизывающий поля»* (новаки) — название осеннего ветра.

...«не смущаясь разросшейся буйно травой».— Цитата из стихотворения Ки-но Цураюки: «Не единого гостя // Не ведал заброшенный дом, // Но весна, не смущаясь // Разросшейся буйно травой, // Смело взошла на порог».

...сквозь усеянные росою кусты...— Роса — метафора слез.

Хаги (леспедеца двуцветная) — род кустарника. Осенью цветет лилово-розовыми цветами. Здесь — метафора маленького Гэндзи.

Стр. 593. *...«что подумает обо мне сосна»...*— Цитата из стихотворения («Кокинрокудзё», том 5): «Что подумает обо мне // Сосна в Такасаго, // Верная сердцем сосна, // Если узнает однажды, // Что живу я еще на свете». Сосна в Такасаго — символ долголетия и супружеской верности.

...«Мрак сердца моего»...— Намек на знаменитое стихотворение Фудзивара Канэсукэ, двоюродного деда Мурасаки Сикибу. См. с. 704.

Стр. 594. *...соленые капли... льются... с рукава...*— Слезы обычно отирали рукавом одежды; отсюда «влажный рукав» метафорически — «горькие слезы».

Судзумуси — род цикад, издающих приятные «поющие» звуки.

Асадзи — широколистый аланг-аланг.

О человек с облаков! — Облака (далее: заоблачные высоты) — метафора императорского дворца.

Государь Тэйдзиин (867—931) — другое имя государя Уда (после оставления им трона).

...на языке ямато...— то есть по-японски.

Исэ (ум. 934) — известная поэтесса.

Стр. 595. *Ответ был несколько неподобающий...*— так как в нем игнорировалось, что защиты самого императора достаточно для благополучного существования «маленького Хаги», то есть принца.

«Ты навестила жилище...» — Здесь сравнение посланной государем дамы с даосом, знаменитым мудрецом из поэмы Бо Цзюй-и (в переводе Н. И. Конрада: «Песня о бесконечной тоске»). Тоскующий Сюань-цзун просит даоса разыскать погибшую Ян Гуй-фэй. Кудесник находит ее в обители бессмертных на острове Пэнлай (японск. Хорай). Она говорит ему: «Пусть же вещи, служившие мне на земле, // скажут сами о силе любви. // Драгоценные шпильки и ларчик резной // государю на память дари» (все цитаты из поэмы «Вечная печаль» даются в переводе Л. Эйдлина).

...на лотос в пруду, на иву во дворце...— Имеются в виду следующие строки поэмы: «Как лицо ее нежное — белый фужун, // листья ивы — как брови ее». Фужун — разновидность лотоса.

Стр. 597. *«Будем двумя птицами об одном крыле...»* — Пара однокрылых птиц — символ супружеской верности. Имеются в виду строки из поэмы: «Так быть вместе навеки, чтоб нам в небесах // птиц четой неразлучной летать. // Так быть вместе навеки, чтоб нам на земле // раздвоенной веткой расти!»

Там, в жилище асадзи... — то есть в доме матери Кирицубо, где находился маленький принц.

...пока «не догорели уже все светильники». — Имеются в виду строки: «И уже сиротливый фонарь догорал, // сон же все не смежал ему век».

«Не зная, что уж рассвело...» — Цитата из стихотворения Исэ, написанного на темы картин к Поэме (см. с. 594): «За яшмовым пологом спят крепким сном, не ведая, что уже рассвело... Могли ли они подумать, что так все кончится?..»

...пренебречь делами правления. — Имеются в виду строки из поэмы: «С той поры государь для вершения дел // перестал по утрам выходить».

...Лил долгий беспрерывный дождь. — По-японски, «беспрерывный дождь» и «долгая тоска» омонимы (нагамэ).

Стр. 597. *Тюдзё* — см. прим. к с. 587. В японской средневековой литературе часто вместо имени называется чин или звание героя(см. далее).

...хоть я, конечно, в счет и не могу идти... — Обычное выражение скромности.

Стр. 604. *...подобно непривязанной ладье по волнам...* — популярный образ из китайской поэзии, встречающийся и у Бо Цзюй-и.

Стр. 608. *Праздник в честь бога Камо.* — См. прим. к с. 563.

Стр. 609. *Тацута* — богиня ткацкого искусства. *Танабата* — звезда «Ткачиха» (Вега). Согласно легенде, небесные Пастух и Ткачиха, полюбив друг друга, стали нерадиво относиться к своему труду. Небесный владыка наказал их разлукой. Они могли встречаться раз в год, в седьмую ночь седьмой луны.

Кото — музыкальный инструмент, вроде цитры, отчасти — арфы.

Стр. 614. *...словно тот самый хозяин...* — Намек на одно из стихотворений Бо Цзюй-и, где хозяин дома говорит о двух путях замужества: богатая девица легко и рано выходит замуж, но мужу с ней будет трудно, и напротив, девица скромного достатка, когда выходит замуж, способна принести мужу покой и счастье.

Стр. 615. *«Три истории»:* «Исторические записки» Сыма Цяня, «История династии Хань», «История поздней Хань». *«Пять древних книг»:* «Книга перемен», «Книга преданий», «Книга церемоний», «Книга песен», летопись «Весны и Осени» (см. прим. к с. 249).

Стр. 616. *Пятый день пятой луны* — сезонный праздник. В этот день цветы ириса клали на кровлю, подвешивали к застрехе, прикрепляли к одежде, чтобы отогнать злых духов. Праздник мальчиков.

Девятый день девятой луны — праздник хризантем. Хризантемы —

символ долголетия в Китае и Японии. Китайцы считали, что она обладает магической силой.

Стр. 618. *«В сумраке вечернем...»* — Строка из стихотворения, помещенного в 14 томе антологии «Манъёсю» (VIII в.).

Стр. 621. *...«в спокойном безоблачном сне»...* — Здесь и далее фразы из известных стихотворений того времени.

Стр. 623. *Иэ-но сукэ* — имя мужа Уцусэми.

Стр. 624. *«Одежду сменила // Цикада свою...»* — Японская цикада в определенный момент лета меняет свою верхнюю кожицу на новую. Старая сохраняет форму цикады, и такие пустые скорлупки можно во множестве находить под деревьями. Гэндзи здесь, говоря о скорлупке, имеет в виду одежду, сброшенную Уцусэми и захваченную им к себе домой.

«Та роса, что лежит...» — стихотворение поэтессы Исэ.

Стр. 625. *...навещал даму, жившую в районе шестого проспекта.* — Город Хэйан (ныне Киото) в эту эпоху был распланирован в строго геометрическом порядке: через всю его территорию проходило несколько главных артерий — «проспектов», и от них в обе стороны расходились боковые улицы — «линии».

...сильно занемогла и постриглась в монахини.. — Как в хэйанскую эпоху, так и позднее, в Японии в среде верующих буддистов было распространено убеждение в том, что монашеский постриг (так сказать, «схима»), принимаемый в момент особенного обострения болезни, может привести к выздоровлению или облегчению страданий.

Корэмицу — один из слуг, наперсник Гэндзи.

...неприглядной улицы, что была перед ним. — Квартал, в котором обитала кормилица Гэндзи, был заселен главным образом простолюдинами.

«На свете целом»... — Строка стихотворения неизвестного поэта («Кокинсю», 19 том): «На свете целом, // Скажите, где же // Найду приют я, // Где б мог остановить // Свои скитанья?»

...и это «терраса из яшмы» — метафора роскошного дворца.

«У путника издалека... спрошу...» — Цитата из стихотворения неизвестного поэта («Кокинсю», 19 том): «У путника, издалека // Пришел что, вот спрошу... // Спрошу я, как зовут // Цветы те, что цветут, // Белея там, вдали?»

Стр. 626. *Амида* (санскритск. Амитаба — в переводе: Будда безмерного счастья) — одно из наиболее чтимых буддийских божеств, Будда Чистой земли, Западного рая.

Стр. 627. *«Если б на свете неизбежной разлуки не стало!»* — Гэндзи вспоминает известное стихотворение Аривара Нарихира («Кокинсю»): «Если б на свете // Неизбежной разлуки // Вовсе не стало!.. // Хоть ради детей, тех, что молят // О жизни в тысячу лет...»

...звание «правителя провинции». — Одно из многочисленных в ту эпоху званий и титулов, лишенных реального содержания и не связанных с какими-либо конкретными должностями.

Стр. 629. *...его возраст...*— В момент настоящего рассказа Гэндзи было семнадцать лет.

«...нечто достойное внимания»...— Ссылка на «беседу в дождливую ночь», где один из собеседников высказывает эту мысль (см. с. 599).

Стр. 630. *Передовые* — то есть очищающие дорогу по пути следования экипажа знатного хэйанца.

«Ах, проклятый мост!» — Здесь вспоминается заклятье, в гневе наложенное на один мост божеством Кадзураки. Знаменитый волшебник Эн-но Гёдзя строил в горах мост. Косоглазый, хромой Кадзураки помогал ему, но работал только ночью, стесняясь своего уродства.

...она иногда проговаривается...— То есть при обращении к Югао называет ее «госпожою».

Самма-но-ками — имя одного из приятелей Гэндзи, участника «беседы в дождливую ночь».

Стр. 631. *...я... это все пропускаю.*— Одна из манер изложения автора: делать оговорки при пропуске части повествования.

...брал с собою... слугу и отрока...— В эту эпоху знатный хэйанец всегда выезжал в сопровождении большой свиты и, даже отправляясь на тайное свидание, брал с собой слуг.

Стр. 632. *...как и в том месте...*— то есть как и во дворце.

Стр. 633. *Мироку* (санскрит. Майтрейя).— Будда грядущего, будущего человеческой земной жизни.

Дворец «Долгой жизни» — название одного из дворцов Сюань-цзуна. Он уговорился со своей подругой после смерти на земле стать «двумя птицами об одном крыле...». Гэндзи не хочет заключать такого уговора, во-первых, потому, что у Сюань-цзуна с Ян Гуй-фэй вышло не так, во-вторых, оттого, что он предполагает возлагать свои любовные надежды прежде всего на грядущую земную жизнь.

Стр. 634. *...припомнилось прошлое.*— То есть история связи Югао с Тюдзё.

То — блестки росы...— Также слова из стихотворения: «В догадках сердца // Смотрю: не то ли? // Росинок светлых // Блеск прибавлен // К красе цветка?»

Стр. 636. *Дитя рыбака — я...*— Образ из известного стихотворения: «Там, где пенистые волны // О побережье бьются, // Прошла вся жизнь... // Я — рыбака дитя, и где же // Приют иметь мне прочный?» Отсюда «дитя рыбака» употребляется как аллегория никому не известного, никому не нужного человека (см. с. 646).

«Из-за себя» — замысловатое выражение, означающее буквально то, как это здесь передано по-русски, но в то же время являющееся названием рода червячка, водящегося на водорослях. В данном случае Гэндзи вспоминает одно стихотворение,— смыслом которого и пользуется для ответа Югао,— так же основанного на поэзии, как и ее собственные слова: «На водорослях

тех, // Что рыбак собирает, // Червь «из-за себя»... // Из-за себя терплю я // И не ропщу на свет».

Стр. 635. ...*в духе стихотворения о «Бесконечной реке»* (Окинагава).— Имеется в виду стихотворение Ума Кунихико из 20 тома «Манъёсю». На пиру в его доме в честь экс-императора Сёму с супругой он исполнил старинную песню, которой приветствует гостя: «Пусть даже течь навеки перестанет // Река Окинагава, // Где ниодори дышат долго под водою, // Но в разговоре, друг, с тобою // Ведь не иссякнут никогда слова» (перевод и примечание А. Глускиной).

Стр. 637. ...*как волнуются теперь на шестом проспекте...*— то есть та дама, с которой Гэндзи уже давно поддерживал тайную связь и по дороге к которой он, остановившись у кормилицы, впервые столкнулся с Югао.

Гэндзи подумал, что на них кто-то напал...— Комментаторы пытаются доказать, что здесь на спящую Югао напал дух «дамы с шестого проспекта», которая сильно ревновала Гэндзи и искала случая узнать, кто у нее соперница, чтобы как-нибудь отомстить за отвлечение Гэндзи от нее. Ее мстительная ревность превратилась будто бы в злобного демона.

Вы же все подавайте голос! — Эти распоряжения даются Гэндзи с обычной для тех времен целью: звоном оружия и кликами отпугнуть демона.

Стр. 638. ...*с кликами: «Слу-у-шай!» — он направился в помещение смотрителя...*— Сын смотрителя издает тот самый возглас, который звучит во дворце в момент ночной переклички караулов.

...*найти помощь у бонзы...*— Гэндзи, полагая, что на Югао напал злой дух, думает о бонзе, который молитвами может его из нее изгнать.

Стр. 639. ...*я обратил свои взоры на ту, которую не смел?* — Имеется в виду Фудзицубо.

Стр. 641. *Разговаривал с ним он чрез занавеску.*— Соприкосновение со смертью, с мертвым, по господствовавшим тогда синтоистским воззрениям, почиталось за «скверну», и с таким «осквернившимся» в течение определенного срока было запрещено иметь дело.

Стр. 642. ...*идут священные службы...*— В девятой луне свершались некоторые особые религиозные церемонии во дворце, и в этот период никто из «осквернившихся» не имел доступ во дворец.

Куродо-но бэн — брат Тюдзё, один из приятелей Гэндзи.

Стр. 644. *Киёмидзу* — название храма.

...*«она пыталась было броситься вниз с горы»...*— Намек на стихотворение из 19 тома «Кокинсю»: «Когда все опостылело, и сердце полно горя, и ты готов броситься вниз с горы, самая глубокая пропасть покажется мелкой долиной».

Стр. 647. ...*закажу написать иконы будд...*— в качестве жертвенного приношения за Югао.

...*дорога... оказалась закрытой...*— по каким-нибудь сакральным соображениям (см. прим. к с. 567 — об «изменении пути»).

Стр. 649. *«Эти долгие-долгие ночи»...*— Слова одного из стихотворений Бо Цзюй-и, характеризующие осеннюю ночь: «В восьмую луну, в девятую луну, // Эти долгие-долгие ночи... // Когда тысячи звуков, десятки тысяч звуков // На миг остановки не знают».

Н. И. Конрад, В. Санович

ИЗ «СТАРОДАВНИХ ПОВЕСТЕЙ»

Изборник «Стародавние повести» («Кондзяку моногатари») создан, видимо, в последней трети XI века. Создателем книги долгое время считался Минамото Такакуни. По легенде, приведенной в «Дополнениях к рассказам из Удзи», Такакуни в летние месяцы подолгу жил в своей усадьбе близ храма Бёдоин недалеко от столицы. Он приказывал зазывать к себе бывалых людей, проходящих по большой дороге мимо, и подолгу слушал их рассказы. Видимо, так и составилось ядро изборника. Если «Повесть о Гэндзи» — книга о столице, то «Стародавние повести» рассказывают о всей Японии. Это — провинциальный эпос. Три «повести» переведены впервые: соответственно: XI, 24; XVII, 44; XXIV, 4 — по изданию: Нихон котэн бунгаку тайкэй, 24—26, изд-во «Иванами», Токио, 1965. «Повесть о том, как вор...» (XXIX, 18) — публикуется по книге: Сердце зари, Восточный альманах, вып. I, М., 1973.

Стр. 649. *Земля Ямато* находится на юго-западе Хонсю.

Господин Китанό — Сугавара Митидзанэ (845—903), поэт, каллиграф, государственный деятель. Умер в изгнании.

Стр. 651. *Кобо-дайси* (774—835) — посмертное имя Кукая, основателя секты «Истинное слово». Долгое время был в Китае (страна Тан). Крупнейший деятель культуры. Ему приписывается создание японской азбуки «хирагана» (см. прим. к с. 704).

...статуя Будды-целителя о трех статях.— Буддийская триада, скульптурная группа, где в центре — будда Якуси Нёрай (Будда-целитель), а слева и справа махаянистские божества Солнца и Луны, видимо, ипостаси милосердной Каннон (санскр. Авалокитешвары). Ср. с канонической буддийской триадой: Будда Амида и бодхисатвы Каннон и Сэйси (см. прим. к с. 696). См. Н. А. Иофан. Культура Японии. М., 1974.

Истинное слово (Сингон) — секта, зародившаяся в Индии. Ее сторонники утверждали, что опираются на «истинное слово» (мантра) самого Будды. Секта сыграла большую роль в сближении буддизма и синтоизма.

Стр. 651. *Священная гора Хиэй.*— Имеется в виду монастырь Энрякудзи (принадлежащий могущественной секте Тэндай) на горе Хиэй близ Киото. Монастырь основан Сайтё в 788 г.

Храм на холме Курама (Курамадэра) находился в Хэйане.

Стр. 654. *Фудзивара Акихира* (989—1066) — один из крупнейших деятелей японской культуры. Рассказы из частной жизни известных исторических деятелей — характерная черта изборника, влияние «уравнивающей» высокое и низкое, прекрасное и гротеск буддийской эстетики.

В. Санович

ИЗ «ДОПОЛНЕНИЙ К РАССКАЗАМ ИЗ УДЗИ»

Точное время создания изборника неизвестно. По-видимому, начало его оформления относится к последнему десятилетию XII века, а окончание — к первой четверти XIII века. Неизвестен точно и автор книги. Название и предисловие к этому произведению указывают на наличие его тесной связи с изборником «Стародавние повести», имевшим и другое название — «Повести дайнагона из Удзи». Из 197-ми рассказов «Дополнений» около 80-ти представляют варианты сюжетов повестей, вошедших в «Стародавние повести». Перевод выполнен по изд. Нихон котэн бунгаку тайкэй, 27, изд-во «Иванами», Токио, 1967.

Стр. 657. *Сун* — мера длины, 3,3 см. *Бу* — мера длины, 3,03 мм. *Сяку* — мера длины, 33 см. *Рё* — старинная золотая или серебряная монета.

Стр. 658. *Божество Фудо-мёо* — одно из воплощений великого Будды Дайнити (санскр. айрочана), для устрашения всех демонов зла, принявшее свирепый и гневный облик. Божество Фудо-мёо обычно изображают на фоне пламени, в правой руке меч, разящий зло, в левой — веревки, чтобы вязать злых духов.

Т. Редько

ИЗ «СКАЗАНИЯ О ДОМЕ ТАЙРА»

В основе «Сказания» лежат подлинные события второй половины XII века, когда на смену старинной родовой аристократии, окружавшей императоров в старинном городе Киото, на историческую арену выступило новое сословие господ — военное дворянство (самурайство). Огнем и мечом, казнями и ссылками прокладывало оно путь к власти. В пламени феодальных междоусобий горели дворцы и храмы, пылали крестьянские хижины, служившие самураям факелами для освещения ночных сражений; в непрерывных кровавых распрях жизнь человеческая и впрямь казалась короче сверкания молнии в небе.

Мир старой аристократии в «Сказании» олицетворяет зловещая фигура экс-императора Го-Сиракава, «государя-отца», пережившего пятерых императоров — своих юных сыновей и младенцев-внуков. Все они были только игрушками в жестоком противоборстве политических сил. Род Тайра, его глава князь Киёмори воплощают «новый порядок» — это новые властители, своеволием и жестокостью превзошедшие прежних. Но и Тайра торжествуют

недолго — под ударами своих соперников Минамото они терпят поражение за поражением. Проходит всего несколько лет, и вот уже нет больше дома Тайра — одни из них пали в бою, другие взяты в плен и преданы казни, третьи предпочли сами покончить с жизнью... Печальна и судьба победителя Ёсицунэ, военачальника дружин Минамото: он гибнет жертвой клеветы и коварства. Этот трагический круговорот падений и взлетов буддизм рассматривал как доказательство своих фаталистических догм, в частности — учения об извечной предопределенности всех событий (закон кармы). Религиозное буддийское мышление пронизывает всю ткань «Сказания», и это понятно в свете ведущей роли буддизма в идеологии средневековой Японии. Но люди средневековья знали и земные светлые идеалы, мечтали обрести счастье не только после смерти, в «Чистой обители рая», но и на этой земле, в реальном мире. В основе этих идей лежала феодальная концепция о справедливом и мудром государе, а источником служила богатая классическая литература соседнего Китая. Согласно этой концепции, долг государя и долг вассала суть основы гармонического порядка в обществе; где они нарушены, там царят хаос и произвол. Носителем этих идей в «Сказании» выступает добродетельный князь Сигэмори, старший сын и наследник Киёмори. (Не в силах помешать произволу отца, он умирает от горя почти в самом начале повествования.) Таков еще один идейный пласт «Сказания», заимствованный при оформлении эпоса его «учеными» редакторами из философских и этических сочинений китайской литературы.

Но главное содержание эпоса — полная сострадания повесть о многочисленных людских судьбах; сочувствие рассказчика всегда на стороне страдающих, слабых. Юноши, убитые в сражении в расцвете лет, старики, оплакивающие сыновей, отцы, против воли покидающие семью для битвы, матери, в страхе прячущие детей от расправы недругов, влюбленные, которых разлучила война, красавицы, насильно постриженные в монахини,— все страдают не по своей вине, все — жертвы произвола и междоусобной распри. В соответствии с народной эпической традицией, «Сказание» прославляет честность, мужество, прямодушие, осуждает жестокость и вероломство и делает это в высокохудожественной форме, свободно используя богатый поэтический опыт, накопленный литературой не только японской, но и китайской. В этом и кроется неувядающая прелесть «Сказания».

Перевод выполнен по изданию: Нихон котэн бунгаку тайкэй, 32, Токио, изд-во «Иванами», 1959.

Стр. 660. *Храм Гион* (санскрит. Джетаванавихара) — легендарный храм в древней Индии, построенный неким богачом в честь Сакья-муни (Будды). Одно из строений храма, именовавшееся «Павильоном непостоянства», служило больницей для монахов. Когда кто-нибудь из больных умирал, колокола, висевшие по четырем углам здания, сами собой начинали звонить, и в этом звоне будто бы слышались слова: «Все деяния непостоянны, все живущее неизбежно погибнет...» и т. д.

Древо «сяра» (санскрит. сала, букв.: высокий и крепкий) — вечнозеленое дерево. Согласно легенде, под этим деревом умер Сакья-муни; в тот же миг дерево засохло, и все его листья и цветы побелели.

Стр. 661. *Чжао Гао* — евнух циньского императора Шихуана (III в. до н. э.), пользовался огромной властью; был казнен императором Цзы Ином, взошедшим на престол с его помощью.

Ван Ман — регент при одном из малолетних императоров Старшей Ханьской династии (III в. до н. э.— I в. н. э.); в 8 г. н. э. совершил дворцовый переворот, объявил себя императором. Убит в 23 г. н. э. Историческая традиция рисует его честолюбцем и жестоким деспотом.

Чжу И — могущественный сановник при императоре У-ди китайской династии Лян (502—557).

Лу-шань — Ань Лу-шань, вассал танского императора Сюань-цзуна (VIII в.). В 755 г. поднял восстание, объявил себя императором, но вскоре потерпел поражение. Убит в 757 г.

Масакадо — Тайра Масакадо, могущественный феодал восточной части Хонсю, центрального острова Японии, поднял мятеж в пятом году Сёхэй (935 г.); он захватил несколько провинций, сделав местных феодалов своими вассалами, и в 939 г. провозгласил себя императором, убит в 940 г.

Сумитомо — Фудзивара Сумитомо поднял мятеж на западе Хонсю; убит в 941 г.

Ёситика — Минамото Ёситика поднял мятеж, но был убит в 1107 г.

Нобуёри — Фудзивара Нобуёри, один из участников «Смуты годов Хэйдзи» (1159—1160); убит в 1159 г.

Государь Камму — царствовал с 781 по 806 г.

Асон (букв.: вассал государя, государев слуга) — почетное звание лиц, имевших четвертый придворный ранг.

Стр. 663. *«Заросли орхидей...»* — отрывок из книги «Образец государя», танского императора Тай-цзуна (VIII в.); сочинение предназначалось в назидание наследнику престола. Издавна пользовалось популярностью в Японии. Тот же текст имеется в китайском сочинении «Основы управления государством», глава «Клевета».

Стр. 667. *...гэта на высоких подставках...*— Деревянная обувь «гэта» на высоких подставках надевалась, чтобы уберечься от уличной грязи. Тем самым Сайко подчеркивает, что Киёмори, по бедности и незнатности, не имел ни коня, ни экипажа и вынужден был ходить пешком.

...зарубили на речном берегу...— Хэйан, в подражание древнекитайским столицам Чанъань и Лоян, делился на кварталы, образованные пересечением широких параллельных дорог; девять «Больших дорог» пересекали столицу с востока на запад, заканчиваясь у реки. Берег реки, покрытый галькой, в средние века служил местом казней.

Стр. 670. *Бодхисатва Дзидзо* (санскрит. Кситигарбха) — в японском народном буддизме — олицетворение милосердия, заступник грешников, покровитель и защитник детей, всех обиженных и слабых, путешественников.

Сугавара Митидзанэ.— См. прим. к с. 649.

Минамото Такаакира — один из сыновей императора Дайго, перешел в ранг вассалов, получил родовое имя Минамото и был назначен Левым министром. Пользовался большой властью, но после неудавшегося заговора (так называемого инцидента годов Анва; 968—969) его постигла опала и ссылка на остров Кюсю.

Тада Мандзю — участвовал в заговоре вместе с Минамото Такаакира, Татибана Сигэнобу и другими, но затем предал своих сообщников, чем обрек их на ссылку.

Санъёдо — в средневековой Японии общее название земель Харима, Мимасака, Бидзэн, Биттю, Кинго, Суо, Нагато на острове Хонсю.

Годы Энги — 901—922 гг.; *Анва* — см. выше.

«Не тревожься, если недостаточно наказание...» — Парафраз изречения из «Книги истории» («Шуцзин»), одной из канонических книг конфуцианского Пятикнижия: «Не тревожьтесь, если сомневаетесь в преступлении (вассала); недостаточные заслуги (вассалов)—вот что должно внушать тревогу!»

Стр. 671. *...могилу, в которой укрылся Синдзэй...*— Синдзэй (монашеское имя вельможи Фудзивара Митинори) — один из главных заговорщиков во время «Смуты времен Хэйдзи» (1159—1160). Потерпев неудачу, пытался скрыться от преследования, спрятавшись в глубокой могиле, вырытой его верными вассалами; длинный бамбуковый ствол, опущенный в могилу, полый внутри, давал ему возможность дышать. Однако один из вассалов, попав в плен, выдал под пыткой, где спрятан Синдзэй. Могилу раскопали. Синдзэя вытащили и казнили. Этот эпизод подробно изложен в «Сказании о годах Хэйдзи» (XIII в.).

Стр. 672. *«Радость минует, приходит горе...»* — Строки из стихотворения на китайском языке японского поэта Оэ-но Томоцуна (886—957): «Все живущее неизбежно погибнет, // В дым костра превратится сам Будда, // Радость минует, приходит горе, // Даже небожителей ждет увядание...»

Стр. 673. *Горько и скверно жить в эпоху упадка...*— Согласно буддийскому учению, неизбежно наступит время, когда люди отвернутся от учения Будды, порядок в обществе нарушится, приблизится «конец мира» («маппо» дословно: конец закона). Идея «маппо» занимает важное место в буддийском вероучении.

Стр. 677. *Земля Мино* — современные южные районы префектуры Гифу, в центральной части острова Хонсю.

Первый год эры Као — 1169 г.

Земля Биттю.— См. прим. к с. 670.

Стр. 678. *Бухта Даймоцу* (неподалеку от современного города Осака) — в средние века была важной гаванью, через которую осуществлялась связь с островами Сикоку и Кюсю.

Земля Бидзэн.— См. прим. к с. 670.

...след лодки, уплывшей вдаль...— Парафраз стихотворения поэта Сами Мансэй (VIII в.), помещенное в поэтической антологии Сюивакасю (998 г.):

«Чему подобна наша жизнь. // Белопенным волнам — // Следу лодки, // Уплывшей вдаль // На рассвете...»

Мгновенно исчезающая рябь на воде, след лодки, уплывшей вдаль, как символ быстротечности, эфемерности человеческого существования — распространенный образ в японской средневековой поэзии.

Стр. 679. *Остров Садо* в Японском море, по тем временам считавшийся отдаленным, холодным краем, был традиционным местом ссылки.

Хооки, Ава, Мимасака.— Хооки находилась на западе современной префектуры Тоттори острова Хонсю, Ава — на острове Сикоку, Мимасака — на острове Хонсю; глухие, отдаленные от столицы земли, традиционные места ссылки.

Стр. 680. *Фудзивара Санэката* — Левый министр при императоре Итидзё (986—1021). Подвергся опале и был сослан в край Митиноку на северо-востоке острова Хонсю.

Стр. 684. *...собирали цветы, черпали священную воду...*— На алтарь Будды, на могилу или перед табличкой с именем умершего в домашнем алтаре обычно ставят живые цветы, вареный рис, чашу с проточной, «священной» водой.

Шло время, сменялись событья...— Цитата из «Повести о бесконечной тоске» китайского автора Чэнь Хуна (VIII в.): «Шло время, сменялись события, кончилась радость, настало горе» (перевод О. Фишман).

«Пять увяданий».— Девы-небожители, в отличие от будд и бодхисатв, смертны; перед кончиной они проходят как бы пять стадий («пять увяданий»), каждая из которых, как предвестник грядущей смерти, постепенно изменяет их облик. Сперва становятся грязными их одежды, затем увядают цветы в венке, украшающем голову, из подмышек начинает струиться пот, тело испускает зловоние, и, наконец, наступает смерть.

Стр. 685. *...питали глубокую веру в бога Кумано...*— В местности Кумано (современная префектура Вакаяма), на полуострове Кии в Центральной Японии, в живописной горной местности, среди густого, дремучего леса, у знаменитого водопада Нати, с древних времен находилось святилище, где поклонялись богам, олицетворявшим силы природы — воды, горы, леса. Главным богом считался Сусаноо, которому, наряду с разнообразными функциями, приписывалось также владычество над лесами — от занятия лесонасаждениями до плотницкого искусства. В средние века святилище Кумано приобрело особенно большую популярность, пользовалось покровительством императоров.

Словно багряной парчой, разукрашены были деревья осенней листвою... склоны... одеты тончайшим сине-зеленым шелком...— Парафраз стихотворения на китайском языке из антологии «Вакан-ройэсю»: «Алой парчою оделись поля, в небе сплелись нити синего шелка...» (раздел «Песни весны»).

К югу расстилалось безбрежное море...— Парафраз стихотворения Бо Цзюй-и из цикла «Новые народные песни»: «Море безбрежно, бездонна его глубина; // Кругом ни души, лишь волнистые тучи // И туманная дымка...»

Первый год эры Дзисё — 1177 г.

«Та гора пусть будет у нас Главным храмом...» — Святилище Кумано состоит из многих храмов, посвященных разным богам, но важнейших строений — три: «Главный храм», «Новый храм» и «Храм Нати» (храм Летящего водопада).

Стр. 685—686. *Грозный и гневный бодхисатва Летящего водопада.*— С проникновением в Японию буддизма многие «исконные» японские боги идентифицировались с богами буддийского пантеона. Так, главное божество Кумано — бог Сусаноо (другое имя — Кэцумико-но соками) идентифицировалось как Будда Амида. «Новый храм» посвящен *богу Хаятама*, который почитался как олицетворение будды *Якуси*; *бог Фусуми* — первоначально божество Водопада — почитался как бодхисатва Каннон (тысячерукое божество — см. ниже).

Стр. 687. *Ступá* — каменное, деревянное или глиняное изваяние конусообразной формы и разной величины, которое воздвигалось над каким-либо священным захоронением или как памятный знак священного места. Верхушка ступы украшалась резьбой, узорами. Нередко многоярусные пагоды при буддийских храмах в Японии и в Китае строились как стилизованное подражание контурам ступы.

Песнопения «имаё» (букв.: «современная песня») — одна из форм японской средневековой поэзии. Восьмистишие главным образом религиозного содержания.

Тысячерукая (Каннон) — воплощение всепроникающего милосердия.

Стр. 688. *Дерево «наги»* — вечнозеленое дерево из семейства криптомериевых с плотными блестящими листьями.

Стр. 688. *...и две песни...*— Песни Ясуёри (танка) помещены: первая — в антологии «Сэндзайсю», 1189 г., свиток 8, вторая — в антологии «Гёкуёсю», 1312 г., свиток 8.

Пресветлая богиня Ицукусима.— Храм Ицукусима в краю Аки, на полуострове Миядзима (современная префектура Хиросима близ города Хиросима), посвященный божествам моря, основан в древности, но особенно процветал в средние века. Пользовался особым покровительством рода Тайра, экономическое могущество которого в значительной степени основывалось на морской торговле. Заново перестроен при Тайра Киёмори (XII в.) и в таком виде хорошо сохранился до наших дней, считаясь одним из «трех красивейших мест Японии». Храм посвящен покровительнице морей, богине Итикисима-химэ (другое наименование — Саёри-химэ). С проникновением в Японию буддизма эту богиню стали почитать как воплощение бодхисатвы Бэндзайтэн (санскрит. Сарасвати), изображаемого в виде красавицы, увенчанной цветами, с лютней в руках.

Стр. 689. *Дракон Сякацура* (санскрит. Сагара; букв.: соленое море) — в буддийской религии один из восьми драконов, повелителей моря.

«...словно иней, выпавший летней ночью...» — Парафраз стихотворения Бо Цзюй-и: «Ветер шуршит увядшей листвою, будто дождь прошумел при

безоблачном небе; лунный свет гладь песка озаряет — в летнюю ночь он блестит: словно иней...» Сравнение озаренной лунным светом песчаной отмели с инеем, выпавшим в разгар лета,— распространенный образ китайской и японской поэзии.

Стр. 690. *Какиномото Хитомаро* — один из наиболее известных поэтов древности (конец VII — начало VIII в.). Песня о *лодке*, которую «Сказание о Тайра» приписывает этому поэту, в действительности принадлежит анонимному поэту («Кокинсю»): «В тумане утреннем вся бухта Акаси, // Которой свет зари едва-едва коснулся, // Не видно островов... // И думы все мои // О корабле, что не вернулся...» (Перевод А. Глускиной).

Ямабэ Акахито — один из наиболее известных поэтов древности (первая половина VIII в.). Широко известна его песня, вошедшая в антологию «Манъёсю»: «В этой бухте Вака, // Лишь нахлынет прилив, // Вмиг скрывается отмель. // И тогда журавли // В камыши улетают, крича...» (Перевод А. Глускиной).

Бог Сумиёси скорбел о ветхой крыше храма...— Бог Сумиёси — владыка морей и океанов. Имеется в виду песня, помещенная в 19 томе антологии «Син-кокинвакасю» (1205 г.) как сочинение анонимного автора: «Отчего мне так зябко, // Оттого ли, что ночь холодна? // Оттого ль, что одежда тонка и не греет, // Может быть, оттого, что сквозь щель прохудившейся кровли // Белый иней струится». Согласно легенде, эту песню пропел некий монах, заявивший, что его устами вещал сам бог Сумиёси, скорбящий о запустении посвященного ему храма.

Бог Мива в песне рассказал о вратах из древа криптомерии...— Это стихотворение (судя по содержанию — народная любовная песня) анонимного автора легенда приписывает богу Мива; храм, посвященный этому богу, находится у подножья горы Мива, в префектуре Нара: «Если любишь, приди, навести! // У подножья горы Мива мой дом, // Ты узнаешь его по воротам // Из дерева криптомерии!» («Кокинсю», том 18).

Бог Сусаноо сложил первую песню «танка»...— В древнем эпическом своде «Кодзики» (VIII в.) излагается миф о том, как бог Сусаноо, победив дракона, освободил красавицу и взял ее в жены. Воздвигая дворец для молодой жены, он радостно пел: «Тучи ввысь идут, // Вверх грядой... Что терем тот, // Что для милой я // Строю здесь грядою ввысь... // Терем многоярусный...» (Перевод Г. Монзелера). Согласно традиции, это было первое стихотворение «танка», сложенное в Японии.

Песня движет людскими сердцами, приводя их в волнение...— Парафраз широко известных строк из «Предисловия» поэта Ки-но Цураюки к антологии «Кокинсю»: «Песня движет... землей и небом; пленяет даже богов и демонов; утончает союз мужчин и женщин; смягчает сердца суровых воинов... Такова песня» (перевод А. Глускиной).

...не камень или бесчувственная деревяшка! — В стихотворении Бо Цзюй-и «Госпожа Ли» говорится: «Люди не камни, не деревяшка». Эта фраза стала крылатой в японской средневековой литературе.

Законы Инь-Ян.— Учение, возникшее в Китае (см. прим. к с. 301). В Японии учение Инь-Ян со временем претерпело существенные изменения и в эпоху развитого средневековья свелось к астрологии, толковавшей зависимость судьбы человека от движения планет и звезд; профессиональные толкователи законов Инь-Ян занимались главным образом предсказаниями судьбы, «счастливых» и «несчастливых» дней и в еще большей степени — заклинаниями, якобы обладавшими силой отвращать несчастье.

Стр. 691. *Сутра Фазана* — сутра, повествующая об одном из воплощений Будды — Будде Фазана (санскрит. Мапюра; японск. Кудзяку-мёо). Доброе божество, спаситель всех смертных, принявший облик фазана.

Госпожа Ли — любимая супруга ханьского императора У-ди; знаменитые строчки «кинет взгляд, улыбнется...» из поэмы «Вечная печаль» относятся, однако, не к госпоже Ли, а к Ян Гуй-фэй. *«Груши свежая ветка в весеннем цвету...»* — продолжение цитаты из той же поэмы (перевод Л. Эйдлина).

Государь Сануки — участник «Смуты годов Хэйдзи (1159—1160), был сослан в землю Сануки (современная префектура Кагава, на острове Сикоку), где и умер. После смерти, дабы умилостивить дух покойного, ему было присвоено посмертное имя *Сютоку* («Покидающий добродетель»). Похоронен возле утеса Сираминэ, на Сикоку.

«Годы шли, и лишь густые травы...» — Парафраз стихотворения Бо Цзюй-и: «Кто похоронен в древней могиле? Имя и род его неизвестны, стал он землею возле дороги; годы идут, шелестят весенние травы...»

Стр. 692. *Савара* — младший брат императора Камму (781—860), был назначен наследником престола, однако в 784 г. лишен сана и сослан. По дороге в ссылку скончался.

Принцесса Игами — супруга императора Конин (702—781 гг.) царствовала с 770 по 781 г.), дочь императора Сёму, была лишена сана и умерла в заточении, обвиненная в том, что хотела напустить на императора порчу.

...дух князя Мотоката.— Князь Фудзивара Мотоката, разгневанный тем, что мальчик, рожденный его дочерью Мотоко, фавориткой императора Мураками (926—967), не был назначен наследником престола, превратился в мстительный дух. Государи *Кадзан* и *Рэйдзэн* — сыновья императора Мураками. *Государь Сандзё* (976—1017) отрекся от престола и ослеп якобы из-за проклятия придворного священника *Кандзан* («Великое зерцало», раздел «О государях», глава «О государе Сандзё»).

Стр. 693. *Демон Хадзюн* — злой дух, постоянно мешающий человеку вступить на путь праведный, толкая его на путь греха.

Стр. 695. *Сама Саёхимэ, махавшая шелковым шарфом с берега Мацура...*— Легенда о принцессе Саёхимэ, горевавшей о разлуке с мужем, уезжавшим с посольством в древнее корейское княжество Силла, встречается в различных литературных памятниках — в поэтической антологии «Манъёсю», в «Описании земли Бидзэн» («Бидзэн Фудоки»; VIII в.) и других. Мацура — местность на Кюсю (современная префектура Нагасаки).

...Братья Сори и Сокури, покинутые мачехой...— Легенда о братьях Сори и Сокури изложена в сутре «Об истинной причастности бодхисатвы Авалокитешвары к Чистой земле». Однажды, когда на юге Индии разразился голод, отец мальчиков ушел на поиски чудесных плодов, неожиданно появившихся в лесу; в его отсутствие мачеха отвезла братьев на уединенный необитаемый островок в океане и там их покинула. Оба умерли от голода. Но благодаря ревностным молитвам, которые они вознесли, после смерти переродились — один превратился в бодхисатву Авалокитешвару (Кандзэон, Каннон), другой в бодхисатву Махастхамапрапта *(Сэйси)*. Изложение этой легенды встречается в средневековой книге буддийских притч «Изборник сокровища» («Хобуцу-сю»; XIIIв.).

Стр. 696. *Три великих божества — Амида, Каннон, Сэйси...*— Одна из триад северного буддизма. Согласно «Сутре Лотоса», они управляют «Западным раем» («Чистой землей»). Ср. прим. к с. 626. Каннон и Сэйси изображаются справа и слева от Будды Амиды.

Стр. 697. *Будды и бодхисатвы всех трех миров...*— Три мира — прошедшее, настоящее и будущее (иначе: жизнь в прежних рождениях, настоящая жизнь и жизнь в будущем).

Стр. 698. *...прежнего хозяина давно нет на свете...*— Парафраз знаменитого стихотворения Сугавара Митидзанэ: «Когда подует весенний ветер, // Благоухайте снова, о цветы сливы! // Пусть прежнего хозяина уж нет, // Но вы весны не забывайте!»

«Персик и слива молчат...» — Стихотворение на китайском языке поэта Сугавара Фумитоки (899—981) «Вакан-роэйсю».

«О, если бы цветы...» — Стихотворение поэта Дэва-но Бэн (антология «Госюисю», 1086 г. «Песни весны», 2).

...лунный свет, проникая сквозь щели обветшавшей кровли...— Парафраза стихотворения из «Вакан-роэйсю»: «В заброшенном жилище, // Где уж нет тебя, // Сквозь щели кровли // Проникает лунный свет, // И слезы увлажняют рукава...»

«Гора Цзилоушань».— Одному из стихотворений на китайском языке поэта Ки-но Тадана («Вакан-роэйсю») предпослано пояснение: «В мечтаниях о рассвете над горой Цзилоушань». Гора Цзилоушань находится в Китае (современная провинция Хубэй).

Стр. 699. *«Я дожила...»* — Печальные слова из стихотворения поэта Ноин-хоси: «Я дожила, и в нынешнюю осень // Луной любуюсь снова... // Но больше никогда не будет ночи // Для встречи с возлюбленным, // С которым разлучила смерть...» Аллегорический смысл этого стихотворения в данном случае: я дожила до встречи с сыном, но, увы, никогда не увижу больше моего мужа, ибо он мертв.

«Изборник сокровища» в самом деле принадлежит кисти Тайра Ясуери. Сокровище — это закон Будды.

Стр. 701. *Демоны Асюра.*— Согласно буддийским религиозным представлениям, злые духи, главным и излюбленным занятием которых являются

постоянные раздоры, войны, кровопролитие и всякого рода опустошительные кровавые распри, духи войны.

...демоны Асюра обитают у моря...— Цитата из «Сутры Лотоса» (см. прим. к с. 708). Из раздела «О благодати вероучителей».

Три Сферы Зла и Четыре Пути Греха.— Согласно буддийским религиозным представлениям, люди, грешившие при жизни, в наказание будут свергнуты после смерти в одну из «Трех Сфер Зла» — в Ад, в Царство демонов голода или в Царство скотов. «Четырьмя Путями Греха» считаются эти же Три Сферы плюс Царство демонов Асюра; таким образом, *Арио* цитирует неточно, ибо в «Четырех Путях Греха» фактически повторяются и три вышеупомянутые «Сферы Зла».

Царство Демонов голода...— Буддизм учит, что люди, впавшие в грех алчности, после смерти будут ввергнуты в царство демонов голода; здесь их непрерывно терзает жестокий голод и жажда. Эти грешники, обезумевшие от жажды и голода, и суть «демоны голода».

Стр. 703. *Город Нара* — был в VIII в. столицей Японии, но и после перенесения столицы в город Киото (Хэйан) сохранил свое значение важного религиозного и культурного центра средневековой Японии и продолжал играть большую, хотя и подчиненную роль в политической и культурной жизни страны.

Стр. 705. *Священная гора Коя...*— Буддийский монастырь на горе Коя (на северо-западе современной префектуры Накаяма) основан в 816 г. монахом Кукай (Кобо-дайси), выдающимся ученым и просветителем своего времени, основоположником секты «Сингон». Комплекс монастырских строений, расположенных в живописной местности, среди густого леса, привлекает многочисленных паломников даже в современной Японии, а в средние века монастырь Коя являлся важным политическим и культурным центром.

Долина Лотосов — название долины к востоку от вершины Коя. В XII—XIII вв. в этой долине селилось много людей, по тем или иным причинам бежавших от светской жизни. Здесь они принимали постриг и вели образ жизни отшельников.

И. Львова

КЭНКО-ХОСИ

ИЗ «ЗАПИСОК ОТ СКУКИ»

Вот что писал академик Н. И. Конрад в одной из своих статей: «Ёсида Канзёси, кому принадлежат эти «Записки», вовсе не монах. Тогда словом «хоси», буквально — «монах», обозначали и странствующих сказителей, и вообще странников — людей, не имевших ни своего дома, ни определенного положения. Канзёси вышел из семьи синтоистских жрецов, но по прихоти судьбы не смог унаследовать профессию своих предков. Он повел скитальческую жизнь, находя себе временное пристанище на службе то у одного влиятельного лица, то у другого. Так он обошел чуть ли не всю страну.

Его «Записки» — то, что он видел, о чем передумал. В них — целиком он, новый человек, зарождавшийся в ту беспокойную эпоху...

Кэнко-хоси (будем называть его этим именем) жил в 1283—1350 годах, то есть в самые бурные годы этой эпохи. «Записки» его относятся главным образом к событиям 1330—1331 годов — к моменту кульминации происходившей тогда борьбы. Ему было в ту пору сорок восемь лет, он был вполне зрелым, сложившимся человеком, с большим жизненным опытом. Что в этом опыте было? Было, во-первых, очень солидное образование. Он хорошо знал старую хэйанскую литературу — поэзию и прозу, хорошо понимал ее эстетическую сущность, и не только понимал, но и высоко ценил ее. Он был знаток «юсёку кодзицу», реалий древности,— должностей, званий, титулов, ведомств; официального быта — церемоний, празднеств, развлечений, религиозных торжеств, обрядов; знал предания, связанные со многими из этих реалий и призванные объяснять их происхождение и смысл. Он знал буддизм — и обрядный и философский, особенно то, что в нем обозначалось словом мудзёкан — «чувство непостоянства бытия». Но буддийское в его умонастроениях сочеталось с даосским, особенно с тем, что в даосизме скрывается за словами «ко» — пустота, «му» — небытие,— понятиями, служившими основами для очень различных направлений философской мысли, в том числе и того, которое ведет к своеобразному нигилизму и анархизму. Имел, конечно, представление и о доктринах конфуцианства. Такой сплав весьма различных идей и настроений уже сам по себе представляет новое явление в умственной культуре японского общества: ничего подобного с такой полнотой и своеобразной законченностью до этого еще не наблюдалось.

Однако главное — не в глубокой и разносторонней эрудиции автора, а в новом духе, которым проникнуты его «Записки». Он преклоняется перед эстетикой хэйанской культуры, восхищается гедонизмом хэйанцев, наслаждается их поэзией и прозой, но он понимает и другое: силу духа, непреклонную волю, суровый быт камакурских воинов. Хорошо понимает религиозный пыл и аскетизм буддийских проповедников. Но мысли его не ограничиваются лишь миром людей, их дел, их жизни; предметом его размышлений является и природа — ее красоты, ее меняющиеся лики, ее жизнь. При этом все у него окрашивается одной постоянной мыслью: «ё на садамэнаки косос имидзикэрэ» — «мир... в нем нет ничего определенного, но именно это и замечательно». Поэтому его мудзёкан — «чувство непостоянства бытия» — не горестное раздумье буддиста, а источник своеобразного любования антиномичностью жизни; он умеет находить свою собственную ценность во всем. Тем самым у него создается ощущение равновесия столь различных элементов жизни природы и человека, то есть по-своему гармоническое, чуть ли не гедонистическое мирочувствие. Он даже указывает на то, посредством чего оно достигается: это — гэдапу — «освобождение духа». «Освобождение» — но каким путем? Отнюдь не аскезой, не подавлением в себе жизненных устремлений, а путем сатори — «истинного познания». И в этом-то и есть наиболее существенное, что проскользнуло в столь пестрых, столь разнородных, столь

прихотливых по содержанию и форме, но всегда тонких и глубоких по мысли, изящных и точных по языку эссе, из которых состоит его причудливое произведение» (из статьи Н. И. Конрада «Японская литература XIII—XVI веков» в кн.: Н. И. Конрад. Японская литература. М., 1974).

Перевод дается по кн.: Кэнко-хоси. Записки от скуки. Перевод с японского. М., 1970.

Стр. 707. *Тонъа* — монашеское имя близкого друга Кэнко-хоси, известного поэта Никайдо-Садамунэ (1289—1372).

Коюсодзу — буддийский священнослужитель из храма Хэндзё (земля Ига), современник Кэнко. Годы жизни и мирское имя не выяснены.

Внутренние и внешние сочинения. — По буддийской терминологии «внутренним сводом» называются буддийские сутры, а «внешним сводом» — сочинения конфуцианских классиков.

Стр. 708. *Праведный муж* — здесь: человек, который постиг буддийское учение.

Се Лин-юнь (385—433) — китайский поэт эпохи Шести династий. Рассказывалось, что он вел расточительный образ жизни, имел много учеников и слуг, любил путешествовать.

Хоккэ (или Мёхорэнгэкё, санскрит. Саддхармапундарикасутра) — Сутра Лотоса Дивного Закона. Одно из самых знаменитых в Японии буддийских сочинений; сыграло большую роль в становлении японского буддизма.

Хуэй Юань (334—416) — китайский монах, проповедник буддизма.

Белый Лотос — буддийская секта, создана в Китае в IV в.

Стр. 709. *...день меркнет, но дорога еще далека.* — Фраза, по преданию, сказанная Бо Цзюй-и, когда ему был семьдесят один год.

Стр. 710. *...в-третьих, мудрый друг.* — Приведенное рассуждение навеяно, очевидно, аналогичным рассуждением Конфуция («Лунь юй»), гл. XVI «Цзи-ши», § 4: «Полезных друзей 3 и вредных 3. Полезные друзья — это друг прямой, друг искренний и друг, много слышавший. Вредные друзья — это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый (краснобай)» (см. по кн.: П. С. Попов. Изречения Конфуция, учеников его и других лиц. Перевод с китайского с примечаниями. СПб., 1910, с. 104).

Дикий варвар — подразумевается низший дружинник из северо-восточных районов острова Хонсю.

Стр. 711. *...мастерство... следует оставить.* — В книге «Лунь юй» (гл. IX «Цзы-хань», § 22) есть следующее положение: «Конфуций сказал: «На молодежь (дословно «позже рожденных».— *В. Г.*) следует смотреть с уважением. Почем знать, что будущее поколение не будет равняться с настоящим. Но тот, кто в сорок — пятьдесят лет не приобрел известности, уже не заслуживает уважения» (П. С. Попов. Изречения Конфуция, с. 51). Эта мысль и дала, вероятно, пищу Кэнко-хоси для приведенного рассуждения...

Стр. 713. *...ломая всяческие заповеди...* — Имеются в виду буддийские пять заповедей для мирян: не убий, не укради, не прелюбодействуй, не суе-

словь, не пьянствуй — и десять заповедей для принимающих сан: не ешь мяса, не будь жестоким, не разрушай, не клевещи, не обманывай, не говори ошибочного и греховного, не похваляйся и не вреди другим, не завидуй, не злись, не поноси три сокровища (Будду, закон и священников).

Стр. 714. *Янь Хуай.*— В гл. VI, § 2 «Лунь юй» есть следующее место: «Ай-гун спросил Конфуция: кто из ваших учеников любит учиться? Тот отвечал: был Янь-хуай, который любил учиться, не переносил гнева на других и не повторял ошибок. К несчастью, его жизнь была коротка, умер он...» (П. С. Попов. Изречения Конфуция, с. 30). Очевидно, Кэнко-хоси намекает на этот ответ Конфуция.

Стр. 715. *Мёкан* — скульптор, вырезавший в 780 г. для храма Кацуо (провинция Сэссю) статую буддийской богини Каннон.

Годзё — резиденция экс-императора Каэяма. Этот дворец в 1270 г. сгорел.

То-дайнагон — чиновник из рода Фудзивара. (То — китайское чтение иероглифа «фудзи»).

Зал Черных дверей — комната, в которой государь Коко (885—887) собственноручно готовил пищу, отчего, как говорили, дверь в комнате была покрыта копотью от очага. Об этом Кэнко рассказывает в отрывке XXIV.

В. Горегляд

ИХАРА САЙКАКУ

ИЗ «ПОВЕСТЕЙ ОТ ВСЕХ КРАЕВ ЗЕМЛИ НАШЕЙ»

Переводы (первая и вторая «повести» первого свитка книги) выполнены по изданию: Нихон котэн бунгаку дзэнсю, 39, Токио, изд-во «Когакукан», 1973.

Стр. 716. *...сокровища, взятые во дворец морского дракона.*— Согласно старинной легенде, одна из дочерей Фудзивара Каматари, отданная замуж за китайского государя Тай-цзуна, прислала для храма *Кобуку* (дзи) в Нара драгоценные дары (музыкальные инструменты для буддийских церемоний, камень для растирания туши и т.д.). Однако морской дракон отнял их. Тогда Каматари вошел в любовный союз с лучшей ныряльщицей-рыбачкой в *Сануки* (провинция на севере Сикоку), и у них родился сын. После этого он попросил ее достать украденные дары. А чтобы морской дракон ничего не заметил, Каматари велел лучшим музыкантам играть на берегу.

Тайсёккан (канцлер) — Фудзивара Каматари (614—669).

Стр. 718. *Кугэ* — знатные семейства.

Эбису, Дайкоку — два из «семи богов удачи». Боги богатства и удачи. Дайкоку изображался с большим животом; в одной руке у него — золотая «колотушка удачи», другой он поддерживает мешок с рисом,

переброшенный за спину. Эбису — бородатый человек с большой рыбой под мышкой и удочкой на плече.

Абэ-но Сакон.— Абэ — известный род гадателей.

В. Санович

ИЗ КНИГИ «ПЯТЬ ЖЕНЩИН, ПРЕДАВШИХСЯ ЛЮБВИ»

ПОВЕСТЬ О СОСТАВИТЕЛЕ КАЛЕНДАРЕЙ, ПОГРУЖЕННОМ В СВОИ ТАБЛИЦЫ

Переводы Е. Пинус и В. Марковой печатаются по книге: Ихара Сайкаку. Избранное. М., «Художественная литература», 1974.

Стр. 719. *Второй год Тэнва* — 1682 г. Тэнва — «Мир в поднебесной».

Второй день — день женщины.— Согласно народным поверьям, женщина в этот день начинала домашние работы: шитье и т. д. Он считался также благоприятным для любовной встречи.

...птицы, познавшие тайны любви...— Древнейший японский миф, который содержится в «Анналах Японии» («Нихонга»; VIIIв.), повествует о том, что трясогузки научили тайнам любви чету богов Идзанаги и Идзанами. Боги эти, породившие японские острова, небесные светила и множество божеств, удалились потом в Страну мрака (японский Аид), уступив свое место младшим богам.

...жена придворного составителя календарей.— Он был главой торгового дома в Киото, который продавал картины религиозного и светского содержания, а также каждый год выпускал календари, где указывались на разные случаи благоприятные и несчастливые дни.

Брови ее могли поспорить с лавром, с лунным серпом на праздничной колеснице.— В шестом месяце в Киото справлялся праздник Гион, во время которого по городу проезжала храмовая колесница, украшенная изображением гор и лунного серпа. Брови в виде лавра — прекрасные брови, напоминающие тонкий серп трехдневной луны. См. прим. к с. 555 (о лунном лавре).

...первые вишни в Киёмидзу...— Возле буддийского храма Киёмидзу, расположенного в горах, к востоку от Киото, росли вишни — сакура, прославленные своей красотой. Популярное место народных гуляний.

Гора Такао — возле Киото. *Гора Хигасияма* — там же. Неподалеку от этой горы в саду храма возле врат Ясуи росли знаменитые глицинии.

...о четырех королях...— Четыре небесных царя-дэва индийской мифологии. Так было принято называть четырех главных полководцев или вообще заправил.

Симабара — квартал домов любви в Киото.

...в театре на Сидзёгавара.— На этой улице в то время находилось семь знаменитых театров Кабуки. *Такинака Китидзабуро* — исполнял роли юношей, позже — молодых женщин. Славился как танцор. *Карамацу Касэн* —

тоже исполнял роли молодых героев, как юношей, так и женщин. *Фудзита Катисабуро* — изображал главных героинь. *Мицусэ Сакон* — знаменитый актер, исполнявший главные роли.

Стр. 720. *Однажды после представления...* — Театры в то время закрывались в пять часов дня.

...преподобный Ёсида. — Ёсида Кэнко, автор «Записок от скуки».

...зубы вычернены, брови выбриты. — После замужества женщины покрывали зубы черным лаком, а родив ребенка, сбривали брови.

...оставляет грудь открытой... — Широкий пояс обычно повязывается поверх кимоно так, чтобы оно не распахнулось на груди.

Стр. 721. *Пояс ее, наверно, перешит из хаори.* — Хаори — верхняя накидка.

Прическа «симада» — была введена в моду куртизанками, род сложного шиньона.

Уэмура Кития — артист, игравший во времена Сайкаку женские роли.

Стр. 722. *Ее прозвали «новая Комати».* — Оно-но Комати — известная поэтесса IX в., славившаяся своей красотой.

...напрасно осыпались лепестки. — Намек на стихотворение Оно-но Комати: «Краса цветов так быстро отцвела! // И прелесть юности была так быстротечна! // Напрасно жизнь прошла... // Смотрю на долгий дождь // И думаю: как в мире все невечно». (Перевод А. Глускиной.)

...«обуяла тоска, и как плавучая трава». — Из стихотворения Оно-но Комати: «Я одиноко тоскую. // Как у плавучей травы, // Нет у меня опоры. // Только волна меня поманит, // С нею вдаль уплыву» (Перевод В. Марковой.)

...веткой глицинии, что выделялась своей «неуловимой прелестью»... — Цитата из девятнадцатого фрагмента «Записок от скуки».

...на заставе в Сидзё... — Сидзё — название улицы в Киото, где были театры и места увеселений (см. Сидзёгавара).

Стр. 723. *...позаботиться о свадебном бочонке.* — Бочонок сакэ — непременная принадлежность свадебной церемонии.

...на восток, в Эдо. — Эдо — старинное название города Токио.

...но и клинка себе не завел. — То есть не носил короткого меча, который затыкали себе за пояс. Самураи носили два меча: длинный и короткий.

...прижигание моксой. — В качестве лечебного средства применялось прижигание тела коноплей или чернобыльником, смоченными в горючем масле,— моксой. После прижигания ожог для дезинфекции засыпали солью.

Стр. 725. *...когда все будут ожидать полнолуния.* — В ночь полнолуния горожане, особенно торговцы, молились о том, чтобы в доме был достаток.

Листки ханагами. — Эти листки из мягкой бумаги употреблялись как носовые платки и для обтирания.

Стр. 726. *В храме Исияма...* — В этом храме, по преданию, Мурасаки Сикибу писала «Повесть о блистательном принце Гэндзи». Расположен на юго-западном берегу озера Бива в префектуре Сига возле города Оцу.

...«проходят и возвращаются... через Заставу Встреч. — Застава Встреч

находилась возле горы Осака («Горы Встреч») на пути из Киото в восточные провинции, неподалеку от храма Исияма. В стихотворении поэта Сэмимару, жившего в хэйанский период и построившего шалаш возле этой заставы, говорится: «Вот она, эта застава! // Уходит ли вдаль, спешит ли домой, // Здесь путник с друзьями простится. // Знакомец ли твой, иль тебе незнаком, // Но сколько встреч на «Заставе Встреч». (Перевод В. Марковой.)

Сэта — местность на берегу озера Бива, напротив храма Исияма. Все упомянутые ниже места расположены вблизи озера Бива.

...в названии моста Нагахаси... заключена для них надежда.— В Сэта есть два моста: короткий и длинный. Короткий мост наводит на мысль о том, что их прегрешение грозит им бедой.

...возле Катада...— Одно из самых красивых мест на берегу озера Бива. Отсюда путь ведет в Киото.

...горе, именуемой «Фудзи столицы».— Здесь это метафорическое название горы Хиэйдзан возле Киото (см. прим. к с. 651). В словах «двадцать лет» содержится намек на фразу из «Исэ-моногатари», рассказ девятый: «Эта гора если сравнить ее с тем, что в столице будет, как если б гору Хиэ раз двадцать поставить на самое себя...» (Перевод Н. И. Конрада.) Все это место у Сайкаку содержит сложную игру слов, основанную на значении географических названий.

Стр. 727. *...столицы Сига...*— Сига в глубокой древности была столицей четырех императоров, ныне эта местность входит в город Оцу.

Храм Сирахигэ — синтоистский храм, у подножия горы Хиэйдзан. Сирахигэ-Мёдзин, которому посвящен храм,— «седобородый бог», иначе Сарутэхико, божество, пребывающее на одном из восьми небесных перекрестков, устрашающий великан с длинным носом; бог больших дорог, покровитель путников.

Стр. 730. *...угол в две циновки шириной...*— В японском доме площадь комнат измеряется количеством застилающих пол циновок стандартного размера. (1,80 × 1 м).

...я родилась в год Огня и Лошади...— Огонь и Лошадь — циклические знаки — одно из обозначений по старому китайскому календарю, принятому в Японии до 1873 г. Считалось, что женщина, родившаяся в этом году, должна будет убить своего мужа.

...я ем зеленых ящериц...— Считалось, что они содержат смертельный яд.

Тамба — провинция к северу от Киото.

Танго — провинция севернее Тамба.

...в храме святого Мондзю...— Святой Мондзю, бодхисатва Манджушри (санскрит.) согласно буддийским поверьям, дарует людям разум.

Стр. 731. *...меж сосен косы Хасидати.*— Находится возле храма Мондзю.

Ветер — он тоже непостоянен! — По буддийским представлениям, ветер — символ изменчивости, бренности жизни. Здесь также намек на неверность о-Сан.

Стр. 732. *...восемьдесят мэ* (моммэ) — около четырех граммов серебром.

...те, кто ходят в ночи семнадцатой луны....— Верующие, добровольно заменяющие монахов при сборе подаяний за буддийский храм, выполняют этот обряд в ночь на семнадцатое число в одежде из белой бумажной материи, с колокольчиком и ящиком для пожертвований на груди.

...и он подал им на двенадцать светильников...— Согласно народным верованиям, тогда исполняются желания молящегося.

Бог Атаго-сама — бог грома, защитник от огня.

Стр. 733. *Фудзита Кохэйдзи* — известный актер времен Сайкаку, выступавший в театре Кабуки.

Получив циновку для сидения...— В старом японском театре сидели на полу на циновках или на подушках.

...женщину по имени Тама.— Выше упоминалась служанка Рин, но в других пьесах на данный сюжет фигурирует сводня Тама. Вероятно, это подлинное имя женщины.

Авадагути — место казни в Киото.

В. Маркова

ЖЕНЩИНА, НЕСРАВНЕННАЯ В ЛЮБОВНОЙ СТРАСТИ (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)

Само название повести по-японски «Косёку итидай онна» многозначно, оно содержит в себе сложную игру слов. «Итидай онна» — женщина, первая в своем поколении, то есть самая первая, не знающая себе равных в любовной страсти («косёку»). Но «итидай онна» значит также — женщина, которая прожила всю жизнь одна, без семьи, без мужа. Отсюда возможен другой перевод: «Любовные похождения одинокой женщины». В этой многозначности названия проступает второй — трагический — план повести. (Для полного русского перевода был принят второй вариант.) Повесть содержит в себе шесть частей, каждая из которых подразделяется на четыре главы — новеллы. Перед читателями проходит вся феодальная Япония, начиная от княжеского чертога вплоть до нищенских трущоб.

Стр. 734. *«Красавица — это меч, обрубающий жизнь».*— Старинное китайское изречение, вошедшее в поговорку.

Сага — один из пригородов Киото. В старину туда ходили любоваться вишнями и кленами. Там же расположены знаменитые храмы.

Стебли «травы терпенья».— Имеется в виду даваллия, род папоротника.

Стр. 735. *Косодэ* — шелковая одежда, подбитая ватой.

...пояс... повязан спереди.— Так повязывали пояса гетеры.

...во времена императора Го-Ханадзоно...— Царствовал с 1428 по 1464 г.

Стр. 736. *Нагэсимада* — модная в эпоху Гэнроку прическа. Волосы на лбу и висках причесывались гладко. Большой шиньон на затылке перевязывался мягким шнурком мотоюн, сзади волосы подхватывались очень низко.

...узор «госёдзомэ» для платья — красивый и сложный узор, первоначально был введен в моду придворными дамами.

Игра в мяч — игра в ножной мяч была в Японии одним из придворных увеселений еще с древних времен. Матерчатый мяч набивался хлопком.

...самураю низкого звания.— В доме придворного аристократа — один из прислужников невысокого ранга.

...его, несчастного, предали смерти.— Поведение слуг в знатном доме регламентировалось строжайшим образом. Уличенных в распутстве предавали смерти.

Стр. 737. *...обряд гэмпуку.*— По достижении возраста совершеннолетия (четырнадцати — пятнадцати лет) юноше делали взрослую прическу, подбривая на лбу волосы и связывая в букли на висках.

...дразняще яркий цветок амабуки.— Намек на стихотворение императора-поэта Тоба-ин (1180—1239): «О, мост Удзибаси, // Глухою позднею ночью! // Порывы осеннего ветра // Гонят волну на камни // У «Ямабуки-но сэ». (Перевод В. Марковой.) «Ямабуки но сэ» — стремнина Ямабуки. Ямабуки — керрия, ярко-желтый цветок. Японское слово «иро» (цвет) означает также чувственную любовь.

Стр. 737. *Сямисэн* — трехструнный музыкальный инструмент.

Рокудзё — квартал любви в Киото.

Дзёро — вежливое наименование продажной женщины.

Девочки-кабуро — прислужницы в веселых домах.

Стр. 738. *Мино* — широкая набедренная повязка.

Босоногая, я скользила...— Согласно закону, гетеры ходили босиком.

День момби.— В дни сезонных и иных больших праздников плата была вдвое больше обычной.

Сёи — дешевая острая приправа к еде.

Стр. 741. *Актер-ваки* — актер на амплуа второй роли в театре Но. *«Сбор водорослей»* — пьеса из репертуара Но.

Такаясу — мастер исполнения ролей ваки школы Такаясу.

Аривара Мотоката — поэт X в. Его стихотворением открывается знаменитая антология «Кокинсю».

Школа Кано — национальная школа живописи, основателем которой был Кано Касанобу (1453—1490).

Дозволенные цвета...— Одежды пурпурного и густо-фиолетового цвета разрешалось носить только высокородным, но более бедными оттенками этих цветов разрешалось пользоваться и простому народу.

...человек по прозвищу «Нисан».— В обычае веселых домов было давать гостям клички, так как настоящее имя скрывалось.

Стр. 742. *...у отшельниц-чародеек был, говорят, особый дар...*— Согласно легенде, отшельницы-чародейки были стары и безобразны, но обладали даром выдувать из рта фигурки, похожие видом на них в дни молодости.

...даже надела фундоси.— Фундоси — мужская набедренная повязка.

...слуге с наклеенными усами.— В ту эпоху у слуг было в обычае при-

клеивать или рисовать себе фальшивые усы, чтобы иметь более солидный вид.

Ронин — самурай (военный дружинник), потерявший службу у своего феодального господина и оставшийся без средств к существованию.

Стр. 743. *...«обрезать свои четки»...* — то есть нарушить запрет любить женщин.

...за три кана серебра.— Кан (каммэ) — единица веса и денежная единица, равна 3,75 кг.

Стр. 744. *...для церемонии собирания костей на погребальном костре.*— Трупы в Японии сжигаются. После сожжения несгоревшие кости собирают в урну и предают погребению.

...продавец сакана...— Сакана — здесь: закуска.

...суп из рыбы фугу...— Мясо рыбы фугу (тетрадон) особенно ценится в Японии.

Сугияки — мясо, поджаренное на дощечке или в ящичке из криптомерии и пропитавшееся ароматом этого дерева.

Стр. 745. *Исидзиё* («Камень тысячи поколений») — имя, сулящее долгую жизнь.

Асакуса — местность возле города Эдо (ныне Токио).

Стр. 746. *Принц Сётоку* (572—621) — правил Японией как регент в царствование императрицы Суйко. Содействовал проникновению в Японию буддизма и китайской культуры.

Стр. 748. *Несомненно, ненависть госпожи так велика...*— По японскому старинному поверью, ненависть может поразить и убить человека, против которого она направлена, как бы превращаясь в злого демона.

Стр. 749. *...девятью достоинствами...*— Девять достоинств женщины: красивые руки, ноги, глаза, рот, голова, хороший нрав, цвет лица, голос, фигура.

Стр. 751. *...положив голову на край токонома...*— Токонома — парадный альков в японском доме. Пол его приподнят при помощи настила.

...в стране Цу.— Цу — старое название провинции, где расположен город Осака.

Стр. 752. *Так дают черту шесть грошей при переправе через адскую реку.*— Было принято класть шесть грошей в гроб покойника, чтобы он мог отдать их демону при переправе через адскую реку Сандзу-когава.

Стр. 753. *...шапочки из листьев лотоса.*— Лотос — священное растение буддистов.

«Посади на спину!» — Детей в Японии матери носят на спине.

Убумэ — согласно народным верованиям, призрак умершей во время родов женщины, плакавшей детским голосом.

Клан Вада.— Вада Ёсимори (1147—1213), известный воин. Его многочисленный клан состоял из девяноста трех семейств.

...рыбу, которую привозят из Сакаи.— Сакаи — город возле Осака.

Стр. 754. *...шнурками от косимаки.*— Косимаки — род нижней юбки.

...так называемые «быки» (жаргон) — сутенеры.

Стр. 755. *...у него даже еще не были пробриты углы на лбу.*— За один-два года до совершения обряда тэмпуку юношам подбривали волосы в углах лба, над висками.

...паломничество в тридцать три храма.— Тридцать три храма в разных местах Японии, посвященных культу богини Каннон.

Стр. 756. *Шляпа Кага.*— Плетенные из осоки шляпы, изготовлявшиеся в провинции Кага (северо-восток Хонсю), которые носили горожанки, монахини.

Тэндзин — гетера второго ранга.

...один бу, пять рин...— Бу, рин — монеты низкого достоинства. Бу — одна десятая часть моммэ. Рин — одна сотая часть бу.

Стр. 757. *...колокол пробил восемь или семь ударов...*— Два или четыре часа ночи.

Тофу — соевый творог.

Стр. 759. *...правда слов поэта...*— Имеется в виду знаменитый китайский поэт Су Дун-по.

Гремящий водопад — находился в провинции Ямасиро на острове Хонсю близ совр. Киото.

В. Маркова

ИЗ «ДВАДЦАТИ РАССКАЗОВ О НЕПОЧТИТЕЛЬНЫХ ДЕТЯХ В НАШЕЙ СТРАНЕ»

Перевод (второго «рассказа» первого свитка книги) выполнен по изданию: Нихон котэн бунгаку дзэнсю, 39...

Стр. 760. *Фусими* — место близ Киото. Там было много дворцов феодалов в конце XVI в., в частности последний замок князя Тоётоми Хидзёси. Фусими славилось персиковыми садами.

Деревенька Черный Цвет.— Намек на стихотворение Камоцукэ-но Минэо («Кокинсю»), написанное на смерть вельможи Фудзивара Мотоцунэ: «О когда бы у вишен // На склонах горы Фукакуса // Было доброе сердце, // Они бы хоть в эту весну // Расцвели черным цветом». Далее мысль стихотворения юмористически обыгрывается.

Стр. 763. *Шестиричный Дзидзо* (см. прим. к с. 670) — спаситель от шести перерождений: в аду, в мире голодных духов, злых тварей, демонов асюра, людей, в небе. Скульптура Дзидзо о шести статях находилась в храме Дайдзэндзи.

Косэн Осё (1633—1695) — один из патриархов дзэнской секты Обаку, выходец из Китая.

Стр. 764. *День «семи трав»* — весенний праздник (седьмой день первой луны года). Семь трав — семь целебных трав, добавлявшихся в пищу.

В. Санович

СОДЕРЖАНИЕ

ВЬЕТНАМСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА

Переводы М. Ткачева

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА ЯПОНИИ

На передней сторонке суперобложки:

Из серии «Тридцать шесть видов на гору Фудзияма из Восточной столицы». Утагава Куниёси (1797—1861). Цветная гравюра.

На задней сторонке суперобложки:

Сестры Чынг ведут войска в бой. Камень. XV—XVI вв. Ден (поминальный храм) Двух сестер. Ханой.

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 18

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОЗА
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Редакторы
В. Санович и С. Чулков
Оформление библиотеки
Д. Бисти
Художественный редактор
Ю. Коннов
Технический редактор
В. Кулагина
Корректоры
Д. Этгина и Н. Шкарбанова

Сдано в набор 4/III 1975 г. Подписано к печати 22/X 1975 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84 1/16. 56 печ. л. 52,248 усл. печ. л. 57,545 +8 нак.= = 58,236 уч.-изд. л. Заказ № 2509. Тираж 303 000 экз. Цена 2 р. 63 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
Москва, М-54, Валовая, 28








香



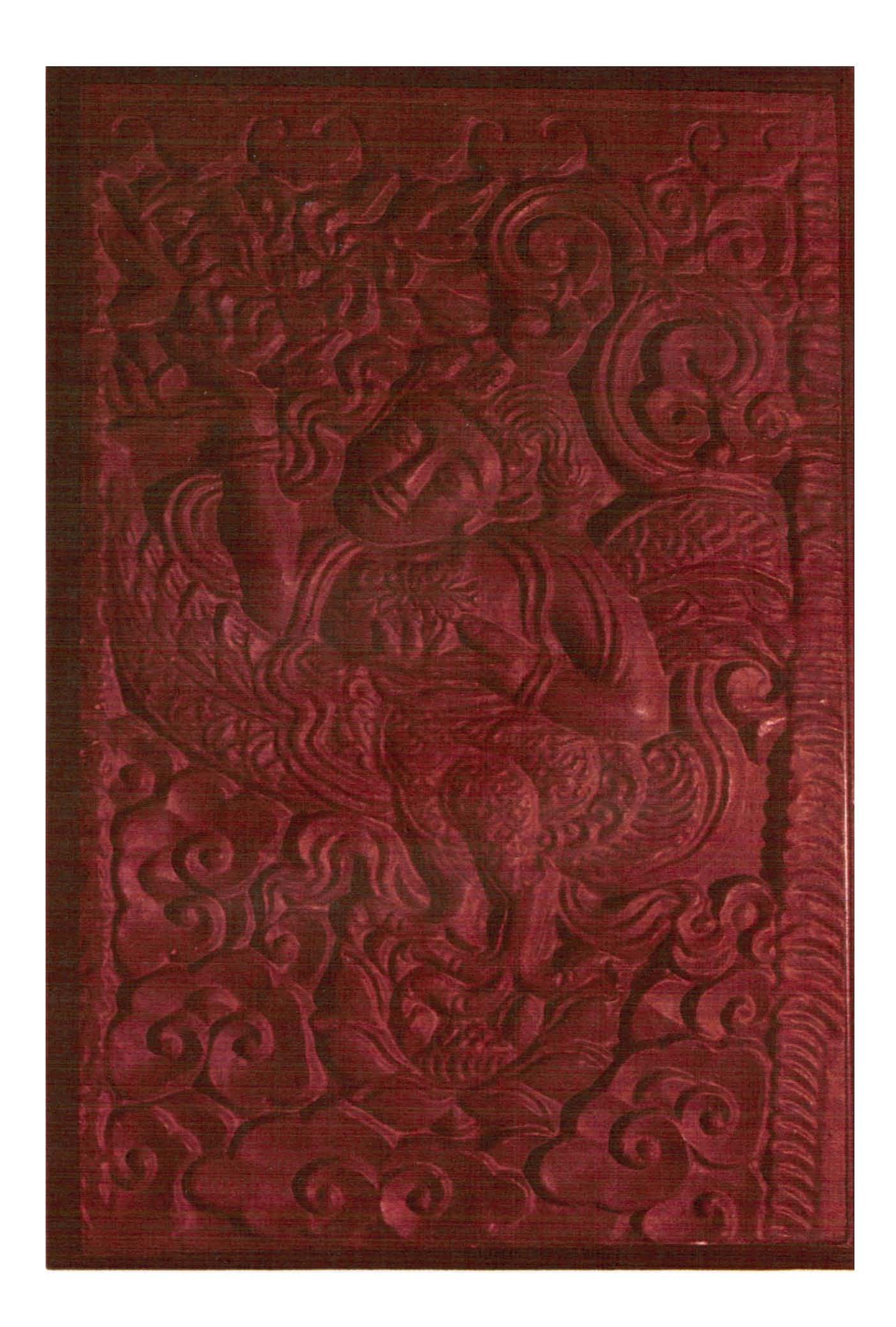





蕙園


白眼看他世上人



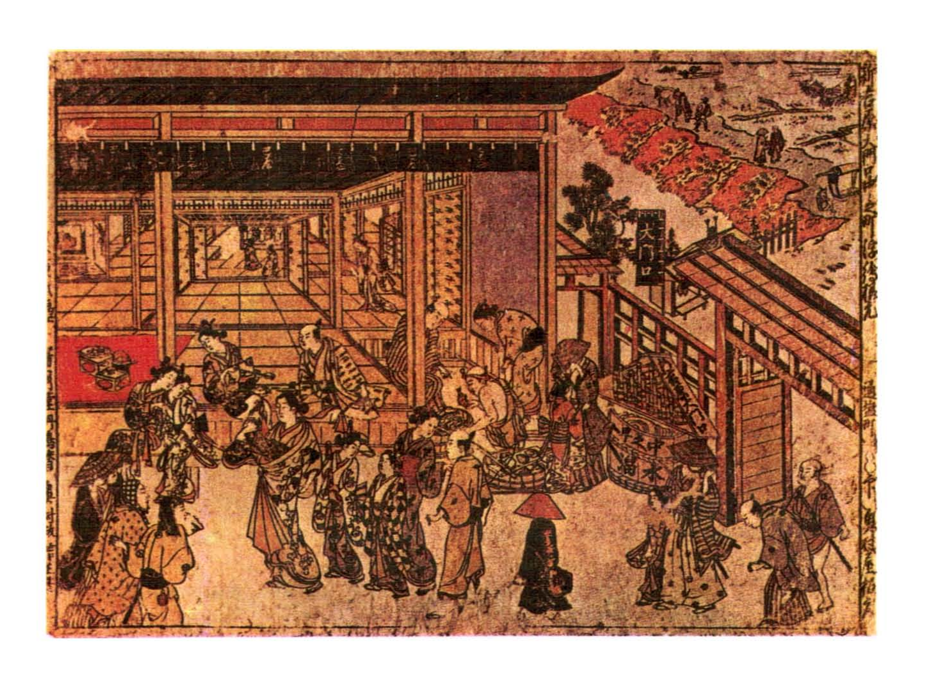











大門口

